

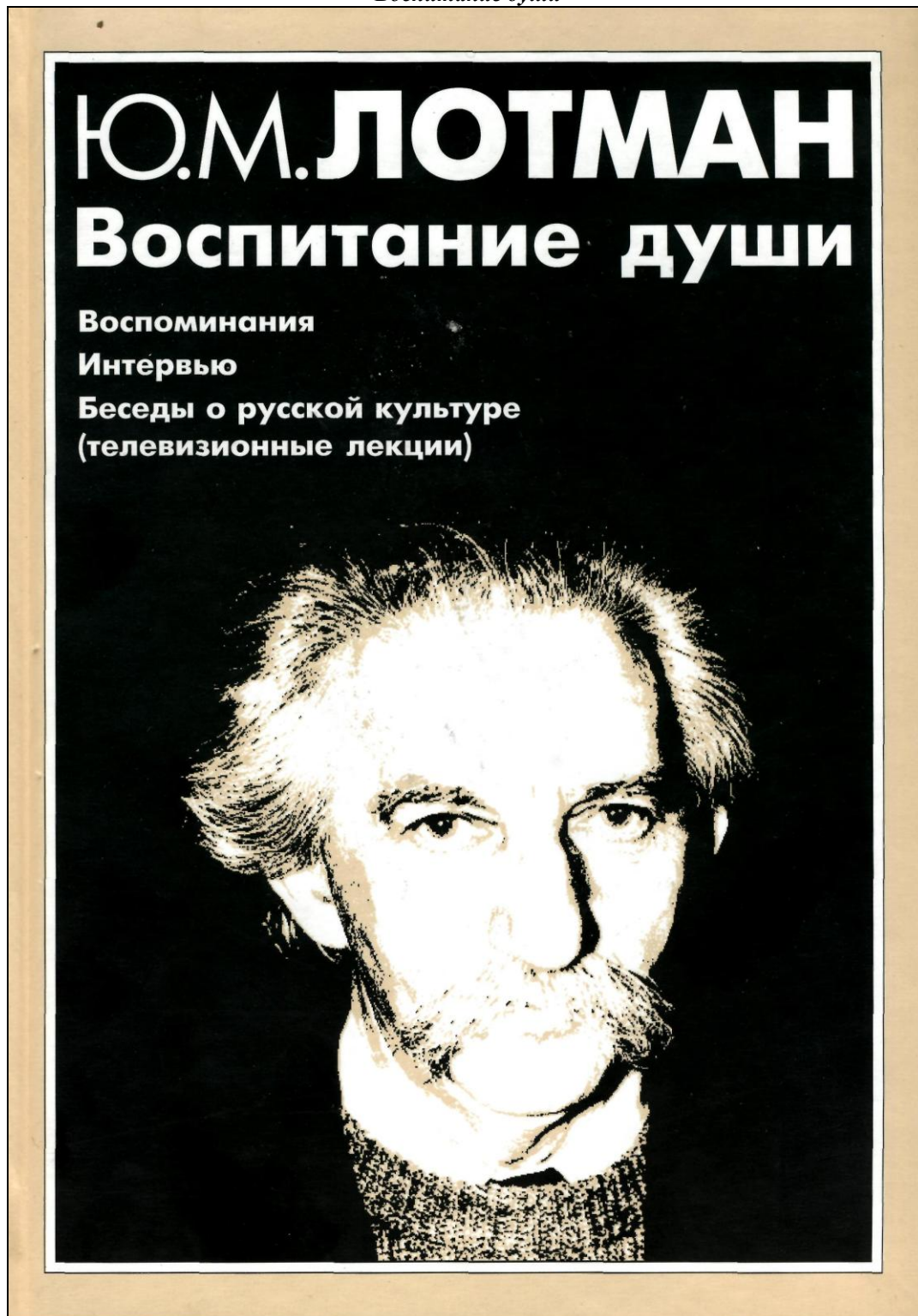
Электронная версия книги: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || <http://yanko.lib.ru> ||

<http://yanko.ru> || Иср# 75088656 || Трекер: <http://tvtorrent.ru> ||

Номер страниц – вверху

update 03.03.12

Ю.М.ЛОТМАН
Воспитание души



*Не-мемуары
Город и время
Объект семиотики — культура
Азбука судьбы
Мы живем потому, что мы разные
В мире пушкинской поэзии:
изобразительные искусства
глазами Пушкина (сценарий)
Беседы о русской культуре. Телевизионные лекции:*

1. Люди, судьбы, быт
2. Взаимоотношения людей и развитие культур
3. Культура и интеллигентность
4. Человек и искусство
5. Пушкин и его окружение

Ю. М. ЛОТМАН

Воспитание души

Воспоминания. Беседы. Интервью



В мире пушкинской поэзии (сценарий)



Беседы о русской культуре. Телевизионные лекции



Санкт-Петербург «Искусство—СПБ» 2005

УДК 316.7

ББК 71/79

Л80

Научный редактор *Л. Н. Киселева*

Составление и подготовка текста *Л. Н. Киселевой, Т. Д. Кузовкиной, Р. С. Войтеховича*

Материалы для первопубликаций предоставлены *М. Ю. Лотманом*

Художник *С. Д. Плаксин*

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© «Искусство—СПБ», 2003

© М. Ю. Лотман, наследник, 2003

© Л. Н. Киселева, Т. Д. Кузовкина, Р. С. Войтехович, составление, 2003

© С. Д. Плаксин, оформление, 2003

ISBN 5-210-01575-0

Электронное оглавление

Электронное оглавление	3
От составителей	6
Воспоминания. Беседы. Интервью	8
Творческая индивидуальность ученого	8
Не-мемуары ¹	8
Как вшей выводить	19
Двойной портрет ¹	34
Томашевский и Гуковский	34
Азадовский и Пропп: два подхода	41
<Эйхенбаум>	42
Николай Иванович Мордовченко ¹ (Заметки о творческой индивидуальности ученого)	43
Последний экзамен, последний урок... ¹ (Несколько слов о Романе Осиповиче Якобсоне)	47
[О Натане Эйдельмане] ¹	49
«У всех была разная война...» ¹	49
Жить только в Тарту ¹	50
Город и время ¹	53
Наука в современном мире	57
Ответы на анкету «Вопросов литературы» ¹	57
Семиотика и литературоведение	57
Семиотика и сегодняшний мир ¹	61
Как говорит искусство? ¹	63
Этот трудный текст... ¹	65
Люди и знаки ¹ (1969)	66
Семиотика	68
Что дает семиотический подход? ¹	70
Объект семиотики — культура	71
Разговор о пространстве ²	72
Ответы на вопросы корреспондента «Литературной газеты»	74
[О современном состоянии пушкинистики] ¹	75
Тревоги, надежды, работа ¹	78
Пушкиноведение: вернуться к академизму	79
Пушкин 1999 года. Каким он будет? ¹	80
Реабилитация совести	86
«Чем длиннее пройден путь, тем меньше вероятностей для выбора» ¹	87
О судьбах «тартуской школы»	89
«Будем работать для будущего!»	96
Воспитание души ¹	96
Итоги олимпиады ²	97
Готовимся к новому приему	98
Два слова новым студентам ¹	99
Чему же учатся люди? ¹	100
Университет, учитель, НТР ¹	101
Учитель на пороге двадцать первого века	105
Неюбилейные признания ¹ (К 150-летию со дня гибели А. С. Пушкина)	109
Беседы с профессором Лотманом ¹	110
Беседа первая	110
Беседа вторая	111
Беседа третья	113
Великие собеседники	114
Поэт, ученый, патриот ¹	114
Профессор, издатель и партизан	116
В мире гротеска и философии ¹	118
Замыслы гения ²	128
Размышления в юбилей Карамзина ²	131
«Пушкин притягивает нас, как сама жизнь» ¹	135
«Нам все необходимо...»	136
Угол зрения ¹	136
1. Какие проблемы человеческого общежития, в частности семьи и воспитания детей, кажутся вам наиболее актуальными?	136
2. Ваше отношение к аскетизму?	137
Восприятие мира ¹	137
Азбука судьбы ¹	138
О ценностях, которым нет цены ¹	140

История культуры: движение в будущее.....	144
Патриотизм есть стремление быть лучше... ¹	148
«Тут надо быть 1000 раз осторожным» ¹	149
География интеллигентности: эскиз проблемы ² (Дискуссия в Тартуском университете).....	152
«Попытки предсказывать интересны в той мере, в какой они не оправдываются».....	160
«Говоря о современности, я скажу вот что...».....	164
Мы живем потому, что мы разные ²	168
Мир соскальзывает в безумие.....	169
«Нам все необходимо. Лишнего в мире нет...» ¹	170
I. Пространство смысла.....	170
Зачем Пушкину другая Наталья Николаевна?.....	172
Забор или окно?.....	172
Резерв неправильности.....	174
II.....	174
Мы выживем, если будем мудрыми ¹	176
На пороге непредсказуемого ¹	177
Неотосланное письмо Ю. М. Лотмана.....	181

В мире пушкинской поэзии. Изобразительные искусства глазами Пушкина

.....	181
Авторская заявка ¹	182
Сценарий ²	183
Часть первая.....	183
Часть вторая.....	195
Музыкальная пауза.....	199
Приложение. Творческая заявка на сценарий по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» ¹	206
Беседы о русской культуре. (Телевизионные лекции).....	208
От составителей.....	208
Цикл первый. Люди. Судьбы. Быт (1986 г.).....	209
Лекция 1 ¹ (1986 г.).....	209
Лекция 2 ¹ (1986 г.).....	212
Лекция 3 ¹ (1986 г.).....	216
Лекция 4 ² (1986 г.).....	221
Лекция 5 ¹ (1986 г.).....	226
Лекция 6 ² (1986 г.).....	230
Лекция 7 ² (1986 г.).....	234
Лекция 8 ² (1986 г.).....	237
Лекция 9 ¹ (1986 г.).....	241
Цикл второй. Взаимоотношения людей и развитие культур (1988 г.).....	247
Лекция 1 ¹ (1988 г.).....	247
Лекция 2 ¹ (1988 г.).....	251
Лекция 3 ¹ (1988 г.).....	255
Лекция 4 ¹ (1988 г.).....	259
Лекция 5 ¹ (1988 г.).....	263
Лекция 6 ¹ (1988 г.).....	267
Лекция 7 ¹ (1988 г.).....	271
Лекция 8 ¹ (1988 г.).....	275
Цикл третий. Культура и интеллигентность (1989 г.).....	280
Лекция 1 ¹ (1989 г.).....	280
Лекция 2 ¹ (1989 г.).....	284
Лекция 3 ¹ (1989 г.).....	288
Лекция 4 ¹ (1989 г.).....	292
Лекция 5 ¹ (1989 г.).....	296
Лекция 6 ¹ (1989 г.).....	301
Цикл четвертый Человек и искусство (1990 г.).....	307
Лекция 1 ¹ (1990 г.).....	307
Лекция 2 ¹ (1990 г.).....	311
Лекция 3 ¹ (1990 г.).....	316
Лекция 4 ¹ (1990 г.).....	320
Цикл пятый. Пушкин и его окружение (1991-1992 гг.).....	325
Лекция 1 ¹ (1991 г.).....	325
Лекция 2 ¹ (1991 г.).....	330
Лекция 3 ² (1991 г.).....	336
Лекция 4 ¹ (1991 г.).....	342
Лекция 5 ¹ (1991 г.).....	348
Лекция 6 ¹ (1992 г.).....	352
Ю. М. Лотман — собеседник: общение как воспитание.....	356

Указатель имен.....	364
Содержание	376

От составителей

Научное наследие Ю. М. Лотмана широко известно во всем мире. За последние годы практически все его научные труды были переизданы петербургским издательством «Искусство—СПБ» в восьми больших томах. Все они пользуются заслуженной популярностью у читателей — как у специалистов, так и у гуманитарно ориентированной интеллигенции.

Новый том, составленный сотрудниками кафедры русской литературы Тартуского университета, представляет еще одну грань замечательного ученого — его удивительный талант педагога, просветителя, способного говорить о сложнейших научных проблемах языком, доступным пониманию самого широкого круга читателей. Здесь впервые становятся доступными статьи, разбросанные по малотиражным редким газетам, а также работы, никогда не печатавшиеся прежде на русском языке или вовсе не публиковавшиеся. Лотман предстает в них как публицист, откликавшийся на злобу дня, но откликавшийся так, как это может делать лишь человек тонкой и доброй души, интеллигент и гуманист, проживший большую и трудную жизнь. Солдат, воевавший всю Великую Отечественную войну на передовой, Ю. М. Лотман навсегда сохранил умение видеть жизненные проблемы и ситуации через призму военного опыта, умел «выстраивать приоритеты» и отмечать второстепенное, привходящее, сосредоточиваясь на главном, сущностном. Как культуролог, разработавший концепцию семиосферы, он был убежден в основополагающем значении художественной культуры в жизни человеческого общества и в жизни отдельного человека. Искусство дает человеческому бытию новое измерение, включая его в парадигму свободы, творчества, ответственности — эти положения своих научных трудов Ю. М. Лотман перенес и на страницы популярных статей и телевизионных выступлений, убеждая своих читателей и слушателей в том, что «не хлебом единым...».

Лейтмотивом издания и служит мысль о необходимости искусства, а также об ответственности человека перед окружающим его миром. Книга разделена на четыре раздела. Первый — мемуарный. Читатель получит воспоминания Ю. М. Лотмана, названные со свойственной ему иронией в свой адрес «Не-мемуары» (ранее они были напечатаны в малотиражном научном изда-

6

нии «Лотмановский сборник»), а также интервью, где он, отвечая на вопросы, рассказывает о своей жизни, о своих учителях, о коллегах-ученых. Второй раздел включает в себя популярные статьи о судьбах науки, в первую очередь гуманитарной, в современном мире, о будущем науки, о развитии семиотики, пушкинистики, о проблемах, которые встают перед молодыми исследователями. В третьем и четвертом разделах объединены юбилейные статьи, этические размышления и статьи на педагогические темы. Ю. М. Лотман был не только блестящим университетским профессором, но и автором школьных учебников, много размышлявшим о судьбах современной школы, о педагогическом процессе и о качествах (научных и человеческих), которые необходимы педагогу. Думается, что этот раздел вызовет особый интерес у учителей, а также у студентов, которые готовятся стать педагогами. Последний раздел составляют телевизионные выступления Ю. М. Лотмана. Это сценарий телевизионного фильма о Пушкине, а также цикл телевизионных «Бесед о русской культуре», записанных Эстонским телевидением в 1986—1992 годах и транслировавшихся также по российским каналам. Эти лекции вызвали в свое время живой отклик среди телезрителей, сотни писем, адресованных самому Лотману, где выражалось не только восхищение его эрудицией, восторг тем богатством знаний, которыми он делился с экрана, но и признательность за человеческое тепло, оптимизм, уверенность в осмысленности существования человека, которые Лотман смог им внушить. Телевидение также получало поток писем с просьбой повторить цикл «Бесед о русской культуре». Теперь широкий читатель сможет, по крайней мере, прочесть текст этих лекций.

Лотману была присуща ненавязчивая, но неотразимая по силе воздействия манера превращать своих читателей и слушателей в собеседников, рассуждать вместе с ними и подводить их самих к нужным выводам. Думается, что предлагаемая книга, как никакая

другая из его книг, раскрывает великого ученого как личность, позволяет читателю приобщиться к миру Лотмана-человека. Она даст тысячам людей радость общения с мудрым и добрым наставником.

Воспоминания. Беседы. Интервью

Творческая индивидуальность ученого

Не-мемуары¹

Идея записать военные рассказы Ю. М. Лотмана принадлежит Заре Григорьевне Минц. Осенью 1988 года Юрий Михайлович неохотно и с большим количеством оговорок согласился начать диктовать свои воспоминания, но за недостатком времени этот замысел постоянно откладывал.

Диктовать «Не-мемуары» он начал только в декабре 1992 года. Работа продолжалась до конца марта с большими перерывами. Частично воспоминания были записаны на диктофон, частично продиктованы автору этих строк. К публикуемому тексту Юрий Михайлович относился как к самой первой «конспективной версии» и с конца февраля начал работать над дополнениями — они внесены в основное повествование в соответствии с несколько условной внутренней хронологией. Тематика дополнений имела случайный характер — это было обращение к традиционным сюжетам его рассказов о войне.

Юрий Михайлович полагал, что, когда подобные сюжеты будут исчерпаны и внесены в основной текст, предстоит еще уточнить фактическую сторону воспоминаний и отредактировать их. Эту работу Юрий Михайлович сделать не успел. В какой-то мере этот пробел был восполнен Лидией Михайловной Лотман и Михаилом Юрьевичем Лотманом.

Е. А. Погосян

В тридцать девятом году Ворошилов заявил в одном из выступлений — я сейчас не помню в каком, — что отсрочка, которую получают студенты, несправедлива, и все студенты были лишены ее. Я учился на первом курсе филологического факультета, на отделении русского языка и литературы.

Поступление в университет совершенно переменяло мою жизнь. В школе в шестом — седьмом классах я пережил трудное время. У меня был конфликт с учительницей русского языка и литературы — как ее звали, не помню — и с определенной частью класса. Был один эпизод: мы проходили «Ревизора», учительница разбила класс на роли, и мы читали по ролям. Я должен был читать Хлестакова. Впервые в жизни я почувствовал в себе наклонность

¹ Впервые: Лотмановский сборник. I. М., 1995. С. 5—53.

9

к артистизму. И помню, как с особым чувством я выкрикнул: «Несут...» Класс захлопал, а учительница сказала, что я действительно хорошо играю Хлестакова, потому что это мой характер. Я был страшно оскорблен. На будущий год, начиная с девятого класса, у нас переменился учитель. Классным руководителем стал Дмитрий Иванович Жуков, математик, а литературу и русский язык вел Ефим Григорьевич.

Я вдруг понял, что в школе может быть интересно. В девятом — десятом классах я неожиданно для себя стал хорошо учиться. Меня увлекала тригонометрия, математика вдруг перестала быть мучением, и особенным увлечением неожиданно стала литература. Я зачитывался Достоевским. Толстого к этому времени я уже прочел всего (издание с черными томами — приложение к журналу «Огонек»). «Войну и мир» прочел несколько раз (до сих пор читаю ее непрерывно и не знаю, сколько раз читал, хотя, наверное, помню уже наизусть). Особенно меня поразили сказки Толстого.

После урока с Ефимом Григорьевичем подолгу мы говорили о Достоевском. Одновременно у меня в жизни произошло еще одно важное событие. Лида¹ поступила в университет. У нас дома начали бывать студенты (у Лиды был круг друзей и подруг, и они готовились к экзаменам у нас дома). В этом году еще (это был последний год) в университет не принимали детей служащих (это называлось «из нерабочих семей») без предварительной производственной практики. Надо было минимум два года отработать на производстве. Поэтому в группе Лиды только она и ее подруга Нелли Рабкина были непосредственно из школы. Лида, как правило, готовилась к экзаменам вместе с небольшой группой в нашей большой квартире на Невском. Кроме Лиды и Нелли там был молодой парень Наумов (потом женившийся на Нелли, *которая после замужества преподавала и писала статьи* под фамилией Наумова) — бойкий, интересовавшийся советской литературой, что тогда казалось не наукой, чем-то слишком новым для науки. Наумов тщательно скрывал, что был из репрессированной семьи², и уже вступил на путь партийной карьеры. В дальнейшем он на нем преуспел как руководитель ленинградского издательства. Но для меня решающей оказалась другая встреча — Анатолий Михайлович Кукулевич. Отработав агрономом необходимые для трудовой практики два или три года, он поступил в Ленинградский университет и одновременно учился на русском отделении под руководством Григория Александровича Гукковского и на античном под руководством Ивана Ивановича Толстого. Этот блестяще

одаренный и обаятельный человек, которому Гуковский сулил исключительное научное будущее, успевший опубликовать несколько статей о Гнедиче в Ученых записках Ленинградского университета и главу в только что тогда вышедшем томе «Истории русской литературы», погиб под Ленинградом в конце 1941 года. Он пережил отступление от границы до Ленинграда, забежал в военной форме к нам домой очень веселый и возбужденный — он только что вырвался из окружения.

¹ Лидия Михайловна Лотман (род. 1917) — средняя из сестер Ю. М. Лотмана. (Примеч. Е. А. Погосян).

² Его брат, авиаконструктор, был арестован. {Примеч. Л. М. Лотман}.

10

Он оказал на меня большое влияние. До этого я собирался заниматься энтомологией. В этом меня поддерживал приятель Кукулевича Саша [Александр Сергеевич] Данилевский, в будущем профессор-энтомолог, который был праправнуком Пушкина, происходил по прямой линии от сестры Гоголя и был непосредственным родственником писателя Данилевского. В профиль он немного напоминал молодого Гоголя и того Пушкина, который нарисован на картине Н. Н. Ге «Пушкин в Михайловском» (у Ге странный Пушкин — мало похожий на Пушкина, но чуть-чуть на Сашу Данилевского). Не без влияния обаяния Саши Данилевского я собрался стать энтомологом и усердно читал специальную литературу. Загадочный устрашающий и притягивающий меня мир насекомых до сих пор вызывает во мне странное чувство — я думаю, что именно насекомые, с их исключительно медленной эволюцией и поразительной силой выживания, будут последним населением нашей планеты. Они, бесспорно, наделены интеллектуальным миром, но этот мир для нас навсегда будет закрыт. Итак, с насекомых я «переселился» в русскую литературу. Под влиянием Ефима Григорьевича и Толи Кукулевича у меня пробудился интерес к литературе и — шире — к филологии вообще. Я начал изучать греческий язык (который я сейчас, к сожалению, совершенно забыл).

Мы все быстро выросли. В классе по крайней мере у человека десяти были арестованы родители. Был арестован и вскоре расстрелян отец моего лучшего друга Борьки Лахмана. Он был видным партдеятелем и директором Института слабых токов. В доме у них висел большой портрет Рыкова, как говорил Борька, подаренный им самим. Расстрел отца и ссылка матери и сестры (Борька осталась в квартире один, его не тронули) не повлияли на нашу дружбу. Мы продолжали встречаться по вечерам на его теперь уже пустой квартире или дома у нас и оба с радостью говорили, что скоро будет война. Сейчас это звучит дико. Начиная с Испании мы чувствовали всю неизбежность войны. Вообще, нет для меня ничего более смешного, чем рассуждения о том, что Гитлер внезапно и «вероломно» напал. Может быть, только лично Сталин был опьянен тем, что он считал очень хитрым, и заставил себя верить в то, что союз с Гитлером устранил опасность войны, но никто из нас в это не верил. Правда, некоторые девчонки (я забегаю на год с лишним вперед и, перескочив время испанской войны, вспоминаю об эпизоде, когда Риббентроп приехал в Москву) вдруг начали носить прическу арийских дев (валиком), и одна из однокурсниц Лиды у нас в доме говорила, что у Риббентропа «неотвратимо влияющие глаза». Но это такое краткое германофильство в кругу, о котором я могу говорить по личным впечатлениям¹, охватило только девчонок — старших школьниц и студенток².

¹ В дальнейшем я не буду повторять этой оговорки, но ее нужно иметь все время в виду, даже когда я говорю о газетных сообщениях и политических событиях.

² Позже в партизанском фольклорном тексте, переделанном из песни «Спят курганы темные...», популярной в последний предвоенный год (она из фильма «Большая жизнь»), были такие строки:

Под немецких кисонек (пелось и «ласточек» и «девушек») Ты прическу делаешь,

Губы понакрасила, (это тогда был такой разврат!)

Вертишься дугой.

Но не нужны соколу

Выходки немецкие,

И пройдет с презрением

Парень молодой. А вот текст, который я сам записал в партизанском отряде во время войны (стихи угнанных в Германию мальчиков и девочек):

ДАЙТЕ ОТВЕТ

Задайте вопрос и ответьте,

Любезные дочки страны,

Что может подлея быть на свете

Того, что творите здесь вы.

Меж тем, как кругом погибает

Отчизна.....

Народ невозможно страдает,

Страна погибает в крови,

А вам — все равно наслаждаться,

Снабжая Европу собой,

И вниз головою бросаться,

Обняв итальянца рукой.

Иль с чехом в дорожной канаве

Как в брачной постели лежать

И гордость советской.....

Везде бесконечно терять.

Это было в Белоруссии, район Скопен, там было много мальчишек из партизанских отрядов — их, наверное, потом всех пересадили. Оттуда начался большой прорыв к Минску — к нам приехал Жуков.

11

Как сейчас помню — не помню только, кто их сказал, я или Борька Лахман, — слова: «Тогда никому не придет в голову считать, кто троцкист, а кто бухаринец, а все будут солдаты на фронте». А поскольку всем было ясно, что после испанской войны будет большой фронт, испанскую войну мы переживали как что-то непосредственно наше — я помнил названия сотен военных пунктов, места сражений Интернациональной бригады. Замечу в скобках, что Хемингуэя тогда мы уже знали — мы читали его «Прощай, оружие!» и зачитывались им — это было опубликовано в журнале, который тогда назывался еще, кажется, «Интернациональная литература». Вообще мы очень много читали, прямо как опьяненные. За последние два школьных года я перечел собрание Толстого, отец мне купил двенадцатитомник Достоевского. У нас в семье детям дарили только книги. На это денег ни при каких обстоятельствах не жалели. А читал я как осатанелый.

Мы с Борькой даже пробовали пробраться в питерский порт (откуда тогда корабли отправлялись в Испанию), чтобы пролезть в трюм и удрать. Но нас, конечно, поймали и, подвергнув тщательному допросу (бдительность!), все же с миром отпустили. Борьку не взяли в армию в сороковом году, когда взяли меня. В это время он переживал сильное любовное увлечение. (Его возлюбленная Женя Зенова потом вышла замуж — это уже впечатления послевоенные — за человека, который, видимо, очень сильно ревновал ее к памяти погибшего Борьки и, видимо, внушил прежде ей совершенно

12

чуждые антисемитские настроения и речи. До войны ничего подобного, конечно, не было¹).

Школу я неожиданно для себя кончил как отличник с красным аттестатом. Подозреваю, что Ефим Григорьевич несколько подправил мое сочинение. Сочинение я писал по «Двенадцати» Блока, исписал целую тетрадь, не успел не только переписать, но даже проверить — думаю, что ошибок было значительно больше, чем официально числившихся «О орф./1 синт.», — это в черновике-то! Здесь, я думаю, сказалась доброта Ефима Григорьевича, который поощрял мой интерес к литературе и сквозь пальцы смотрел на некоторые орфографические недостатки. И оценка была «отлично». Это позволило получить красный аттестат, что давало право на поступление в вуз без экзаменов. Доброта ли Ефима Григорьевича, или осенившее меня орфографическое вдохновение, но это сыграло большую роль: на выпускной вечер я пришел без пиджака, потом мы всю ночь бродили по Ленинграду, я заболел тяжелым воспалением легких и пролежал в постели до начала сентября. Если бы я должен был сдавать экзамены, то не смог бы поступить в университет в этом году и вся моя судьба пошла бы другим путем. К сентябрю я выздоровел.

Время между началом университетских занятий и призывом меня в армию было, без каких-либо преувеличений, счастливейшим временем. Введение в литературоведение читал Гуковский, введение в языковедение — Александр Павлович Рифтин², крупнейший специалист в области семито-хамитской филологии. Оба читали блестяще. В университете все для меня было сказочно прекрасно. У меня сложились очень хорошие отношения с группой. У нас была замечательная группа; правда, вскоре юношей всех забрали в армию — я не подходил по возрасту, и меня взяли через год в начале второго курса. На курсе остались три мальчика — двое других не попали в армию по здоровью, и оба потом умерли во время блокады.

На первом курсе я увлекся фольклором, ходил на дополнительные занятия Марка Константиновича Азадовского и сделал очень удачный доклад на семинаре Владимира Яковлевича Проппа. (Пропп вел только семинарские занятия, лекции читал Азадовский — и то и другое было страшно интересно.) Доклад посвящен был теме «Бой отца с сыном в русском фольклоре» (с параллелями в немецком фольклоре). Проппу он, кажется, очень понравился.

¹ Замечу в скобках, что и на фронте я совершенно не сталкивался с этими проблемами. Я иногда раздражал окружающих, как может раздражать всякий человек, например, отсутствием навыков физической работы. Но очень быстро я это преодолел и с тяжелым физическим трудом справлялся легко; в частности, привык таскать тяжелые 160-миллиметровые снаряды. А снаряд, замечу для читателя, абсолютно безопасен, если уронить на землю; чтобы сделаться опасным, он должен быть повернут вокруг своей оси — тогда взрыватель приводится в боевое положение; нам приходилось ронять тяжелые снаряды взрывателем на камни так, что взрыватель совершенно деформировался. Все же экспериментировать в этой области никому не советую. (К сведению любопытствующих, так обстоит дело именно со снарядами, но не с минами).

² Рифтин был деканом, провез и сохранил факультет в эвакуации, возвратил его в Ленинград и умер в тот день, когда ему позвонил П. Н. Берков и сказал, что только что война кончилась. Он положил трубку, отошел от стола и умер. Это был замечательный человек и очень крупный ученый.

13

По крайней мере, когда после войны в солдатской шинели и немецких сапогах¹ я пришел в университет, то в коридоре перед деканатом увидел В. Я. Проппа и поздоровался с ним.

Посмотрев на меня (в моей длинной шинели, думаю, вид у меня был совсем не марциальный, пользуясь выражением Петра I), он поздоровался и сказал: «Постойте-постойте. Вы — брат Лиды Лотман. Нет, вы сами — Лотман». (Здесь, конечно, не только моя заслуга — Пропп обладал поразительной памятью и, видимо, помнил большинство студентов.) Среди разных наград и поощрений, которыми меня щедро и, боюсь, не всегда заслуженно дарила жизнь, слова Проппа я запомнил как одну из ценнейших.

В самом начале второго курса меня вызвали в военкомат и сообщили, что в течение ближайших недель я буду призван в армию. Я поспешил сдать экзамены за весь второй курс вперед (тогда это казалось невероятной глупостью, но потом, когда я вернулся, странным образом оказалось очень кстати).

Наконец, я получил приказ явиться в военкомат. Все казалось очень простым и прозаичным. Все знали, что приближается война, но как-то лихорадочно старались об этом не думать. Все, по крайней мере в моем кругу,

¹ Они отличались тем, что голенище их было в форме усеченного конуса, расширявшегося кверху (немецкие солдаты запихивали туда магазины автоматов), и я со своими тонкими ногами выглядел значительно менее героически, чем мне тогда казалось. Носил я их не из шика, а оттого, что из своей довоенной одежды и обуви я безнадежно вырос. Поэтому весь первый послевоенный год я проходил в военной форме; моя гимнастерка, обвешанная двумя орденами и восемью медалями, выглядела смешно. Но вопрос «как это выглядит?» ни меня, ни кого другого тогда не интересовал — мы были выше этой пошлости. Студентки, которые вернулись из армии, тоже ходили на лекции в кирзовых сапогах и военной форме (например, Ленина Иванова — прекрасная девушка, она вышла замуж за Витьку Маслова). Среди девушек имелась и другая группа, как правило из обеспеченных, чаще профессорских семей — мы их называли «фифами». Они демонстративно бунтовали против нашего аскетизма (то есть красили губы) и нашей «идейности» (ходили на танцы). Заводилой у них была дочь Гуковского Наташа. Судьба ее была трагической, но после ареста отца «фифа» показала себя твердым и мужественным человеком. В дальнейшем мы с ней очень сблизились.

Наташа была на курс старше меня. Когда Гуковский был арестован, а квартира его опечатана (для Наташи оставили только одну комнату) и веселая команда, всегда толкавшаяся вокруг нее, разбежалась, одна, в полузапечатанной квартире, ожидающая ребенка, она энергично боролась за отца и постоянно ездила по следственным чиновникам. Тогда же она вышла замуж за сына Аркадия Семеновича Долинина Костю. Брак этот был со стороны Долинина жестом благородства и смелости — семья была против этого брака, который, видимо, спас Наташу от высылки из Ленинграда. Узнав, когда подошел день ее рождения, я, собрав все свои деньги, купил большой букет роз, прекрасную коробку конфет «Маршалль» и нагрянул с этим к Наташе. За разговорами мы провели весь день почти до темноты и с тех пор стали друзьями, осмелюсь сказать, близкими.

(Юрий Михайлович не вспомнил о том, что значительно ранее этого посещения Наташи Гуковской он в критический момент нанес визит ее семье. В тревожные дни, когда Г. А. Гуковский ждал с минуты на минуту ареста, решительный звонок в дверь заставил всех вздрогнуть; вдруг раздался веселый возглас открывшего дверь: «Это Юра Лотман!» Об этом эпизоде впоследствии вспоминала Н. Г. Гуковская-Долинина. — *Примеч. Л. М. Лотман*).

14

непрерывно веселились, а в кинотеатрах шел фильм «Если завтра война» (1938), и все пели песню с тем же названием. И фильм, и песня были очень бодрые:

Если завтра война,
Если враг нападёт,
Если тучею черной нагрянет...

Основной ударной силой в будущей войне представлялись тачанки. Фильм кончался праздником победы после войны: с экрана на нас смотрели популярные актеры (на войне, которая шла на экране, конечно, никто из них не погиб), а за спиной у них пылал фейерверк победы. Такой представлялась нам война. Такой, да не такой. Мы все читали «На западном фронте без перемен» Ремарка и «Прощай, оружие!» Хемингуэя и достаточно много слышали и говорили о мировой революции, о второй всемирной войне. И как-то усердно об этом забывали.

Это чувство напоминает мне следующее, лично пережитое: летом сорок второго года нам довелось вырваться из окружения. Мы вытаскивали с собой наши орудия, которые везли трактора. За минуты — не могу сказать, сколько их было, может быть пятнадцать, может быть сорок, — убило двух трактористов, на их место садились новые (тракторист не мог прижаться к земле, находился практически без защиты на своей медленной, шесть-восемь километров в час, и неуклюжей машине). Трактора были гражданские, мы их до этого реквизируем в колхозе. Такое же чувство надвигающейся угрозы и вместе с тем желание забыть о ней было, помню, за несколько минут до начала прорыва. Мы все лихорадочно уснули «про запас», ощущая, что этот отдых нам еще потребуются. То же самое было и перед войной: все, не говоря этого, чувствовали, что эти минуты нам еще понадобятся. Все торопились веселиться.

Так и у нас дома. Отец уезжал в командировку за день до того, как я должен был явиться в военкомат. Я отправился на студенческую вечеринку, которую группа устраивала мне на прощание, и вышло так, что в армию я ушел не простившись с отцом и больше его никогда не видел. Мать пошла на работу в свою поликлинику. Провожать меня пошла только средняя сестра Лида, которая принесла мне конфет.

Провожали нас торжественно. Перед погрузкой нас выстроили около вагонов и командир эшелона объявил, что с прощальным словом к нам обратится старый питерский пролетарий. Слово

это я запомнил на всю жизнь как «Отче наш»: «Ребята! Гляжу я на вас, и жалко мне вас. А пораздумаю я о вас, так и ... с вами!» «По вагонам!» — взревел командир, и мы отправились в путешествие, которое оказалось долгим.

Ехали мы весело, в теплушке, сразу разбились на небольшие группы. Я был на втором этаже, а третий этаж напротив заняла группа, которая назвала себя лордами, а свою полку — палатой лордов. Мы, естественно, противостояли им как демократия.

Дорога была очень веселой. Все было ново — и быт, и география: нас везли в Грузию. Только в Кутаиси нам сообщили, где мы будем служить. Местом службы был назначен 427-й артиллерийский полк. В этом полку

15

(он менял название, превращался в гвардейский, потом в бригаду) под командованием командира полка К. Дольста я прослужил всю войну.

Дольст был немец. Правда, в той ситуации такая национальность не очень украшала, и он называл себя латышом, но все знали правду. Большинство офицеров из среднего и высшего командного составов к этому времени были арестованы, и армия практически была передана молодым командирам, занимавшим должности выше своих чинов. Как ни странно, это оказалось в военном смысле очень выгодно — старое начальство ворошиловских и бу-денновских времен или аракчеевцев типа маршала Тимошенко показало себя во время войны абсолютно не пригодными ни к чему.

На фронте один только раз, протянув связь в не помню какой, но очень высокий штаб, я видел маршала Тимошенко: он сидел в блиндаже под тремя накатами (наша землянка была прикрыта еловыми ветками, присыпанными сверху землей) и еле мог выдавить из себя слово — губы его тряслись, хотя никакой реальной опасности вокруг не было.

Осмелюсь сказать, что жестокий сталинский террор, прокатившийся по армии, пусть это покажется диким, имел, вопреки ожиданиям и самого Сталина, положительную сторону — он очистил армию от бездарных и некультурных командиров, доставшихся от первых послереволюционных лет. Конечно, среди репрессированных были и мужественные, и талантливые люди — они погибли в первую очередь, но террор был столь широким, что под него попадали и дураки. По крайней мере (уклонюсь от общих рассуждений и буду говорить только о личном опыте) полк, в который я попал, был укомплектован командирами (слово «офицер» тогда не было принято), занимавшими должности выше звания, молодыми и хорошо подготовленными. Скажу несколько слов о них, потому что с ними мне пришлось провести практически всю войну. Командир батареи капитан Григорьев был блестящий артиллерист. Командиром взвода был только что призванный запасник Шалиев, которого мы называли Стариком, — ему было чуть-чуть за сорок. Умный и, что очень важно, очень спокойный в боевых условиях человек. Военной выправки в нем не было ровно никакой, артиллерист же он был очень хороший. Заканчивал войну уже не в нашем полку, в генеральском чине, и, кажется, в конце войны погиб.

Начало боевых действий воспринималось нами как давно ожидаемое и потому облегчающее событие. А кроме того, было весело (да, да, весело) пережить на практике то, что так долго переживалось в уме. Помню такую сцену в один из первых дней. Я — на огневой у телефона. Пушки стреляют. Прямо к пушкам, несмотря на падающие поблизости снаряды, подкатывает полуторка. С крыла ее (особый шик был в том, чтобы ехать не внутри, а стоя на крыле машины: кроме шика, это давало возможность вовремя замечать пикирующие самолеты, но шик тоже был важен) соскакивает командир дивизиона и лихо, громовым командным голосом произносит: «Молодцы, первая (то есть первая батарея — это мы)! По вам стреляют, и вы стреляете, и получается — что получается? — артиллерийская дуэль».

Время, прошедшее между прибытием в часть и началом войны, заполнено было обычными обстоятельствами солдатской службы и не заслуживает подробного рассказа. Новыми были только выезды на «боевые стрельбы». Шли бесконечные южные зимние дожди, мы втаскивали наши пушки на

16

горы. Одну по скользкой, покрывающей гору грязи уронили вниз, к счастью никого не убили. Потом ее вытаскивали тремя тракторами.

Очень мокрый и покрытый грязью, я зато наслаждался полной волей после казарменных месяцев.

Грузины-горцы были исключительно приветливы. Нас, мокрых и грязных, зазывали в их построенные из плоских камней на вершинах не очень высоких гор хижины, грели, сушили нашу одежду и кормили. Помню, хозяин одного дома был солдатом в первую мировую войну, и он нам очень долго рассказывал, объясняя, что такое война.

Вскоре после возвращения с учений пришел приказ: полк разделить на две части, одну оставить на Кавказе, а другую переводить на западную границу. Вскоре я с теми, кто должен был ехать на запад, уже был в вагоне.

Нас привезли в Шепетовку, и вскоре мы переехали в летние лагеря в Юзвин. Война явно приближалась — это было видно из того, как часто нам на политзанятиях разъясняли, что войны с союзной Германией, конечно, не может быть.

Я твердо решил на приближающейся войне не показать себя «хлюпиком» и все свободное время делил между французскими книгами и турником, так что к началу войны без большого труда сдал все спортивные нормы (бег и прыжки для меня никогда не были трудностью, а на турнике я натренировал себя до твердой армейской «четверки»).

Война началась для меня так. Лагерная жизнь шла в палатках. За палатками проходила «линейка» — дорожка для солдат полка, по которой мы все ходили. Перед палатками проходила «линейка», по которой проходили только дежурные часовые и офицеры, находившиеся в этот день в наряде (она была усыпана желтым песочком). Еще дальше проходила еще одна «линейка», по которой не ходил никто. Там стоял часовой, заходить на дорожку разрешалось только тем, кто ее подметает и собирает с нее упавшие листья. По ней мог ходить командующий, если бы он заехал в часть. Однажды мы, как всегда, утром отправились на учебу, то есть нагрузили себя катушками, лопатками, топорами — всем, положенным по уставу, — и отправились в лес спать. Выспавшись к обеду, мы строевым шагом, с бодрой песней отправились назад. Но подходя к лагерю, мы вдруг увидели, что на «святая святых» стоит разворотивший дорожку пыхтящий трактор. Сразу стало ясно, что ничего, кроме конца света, произойти в наше отсутствие не могло. Лагерь был весь перевернут. Была объявлена боевая тревога. Выстроенные с полной боевой выкладкой, мы выслушали объявление (произнес его комиссар Рубинштейн — Дольет отправился в штаб армии получать боевое задание), что мы отправляемся, в точном соответствии с учебным планом, на новый этап боевой подготовки (за три дня до войны — 19-го), что тот этап обучения, который предстоит пройти, называется «подвижные лагеря», — двигаться будем только ночью, днем — маскироваться в лесах и придорожных кустах. И несколько изменив голос, комиссар добавил: «Кто будет ночью курить — расстрел на месте». После этих слов дальнейших пояснений уже не потребовалось.

Точно помню охватившее нас (пишу «нас», потому что мы на эту тему говорили) общее чувство радости и облегчения, какое бывает, когда вырвешь больной зуб. Как говорит Сальери у Пушкина:

17

Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член!¹

Для нас союз с Гитлером был чем-то противоестественным, ощущением опасности в полной темноте. А теперь и началось то, к чему мы всегда готовились и для чего себя воспитывали: началась война, которая, как мы полагали, будет началом мировой революции или, по крайней мере, продолжением испанской увертюры. Не могу утверждать, что именно так чувствовали все вокруг меня, но чувства ленинградской молодежи, моих друзей, были приблизительно такими. Правда, мой друг Перевошиков² оказался умнее. Когда мы говорили: «Слава Богу, началась война!» — он добавлял: «Теперь и Сталин, и Гитлер полетят...» (не уточняя, куда). Другие так не считали, хотя друг от друга мы своих мыслей не скрывали. В любом случае нарыв прорвался.

Мы в касках, в подогнанных по росту шинелях, с трехлинейными винтовками (автоматы мы только видели издали — ими обвешивались штабные начальники) с гордостью проезжали (в дальнейшем движение все убыстрялось, и мы уже ехали и днем и ночью) через деревни, и девушки из приграничных деревень забрасывали нас цветами и кричали (это точно, так оно было): «Не пускайте к нам немцев!» Как потом, «драпая», — наш технический термин для обозначения отступления — стыдно было вспоминать эти минуты!

Особенно стыдно было, помню, мы отходили и шли через то ли большую станицу, то ли маленький городок — как всегда, по обе стороны дороги стояли толпы, женщины и дети. И мальчик, взглянув на мою винтовку, крикнул: «Винтовка ржавая-то». В эту ночь я не спал — чистил и смазывал винтовку. В дальнейшем — лышу себя надеждой — ржавой винтовки у меня не было.

Приведу еще один пример, правда уже из «драпа» сорок второго года. Мы проходили через брошенный военный лагерь, набрали там гранат и даже консервов, в лихорадке оставленных тыловиками, а мой лучший друг Лешка Егоров³ нацепил себе нечто самое нелепое, что я видел за все время войны:

¹ Пушкин А. С. Моцарт и Сальери // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М., 1957. Т. 5. С. 367. Далее, кроме специально оговоренных случаев, тексты Пушкина приводятся по этому изданию.

² Еще до начала работы над «Не-мемуарами», во время одного обычного разговора, когда Юрий Михайлович рассказывал о предвоенном времени и настроениях тех лет, я записала несколько фраз о «Николке Перевошикове»: «смеялся над всем — все свое переживал как чужое»; «был пораженец, ждал войны с Америкой»; «обо всем говорил с усмешечкой». На фронте он однажды получил посылку с продуктами из блокадного Ленинграда, а вскоре его семья погибла от голода, осталась одна сестренка, которую Юрий Михайлович видел в Ленинграде уже после войны. (Примеч. Е. А. Погосян).

³ Не могу не упомянуть этого замечательного человека — настоящего рабочего парня (он был слесарем), поэта, влюблявшегося в каждой новой станице самой возвышенной и, как правило, платонической любовью. Помню несколько стихов, сочиненных им в сорок втором году на Кавказе: Куда ни глянь — повсюду только горы,

Куда ни глянь — кавказские края,
Но среди гор там расположен город,
Где проживает милая моя.

Помню еще такую сцену в Ингушетии, уже на следующий год. Мы спали в сарае на полу, а дочка хозяина на корточках сидела на пороге. Пришел Леша, и я невольно услышал ее слова: «Все спал, мой не спал, твой ждал».

18

фронттовую фляжку, отлитую из стекла какими-то выполнявшими план тыловиками: таскать стеклянную фляжку во фронттовых условиях — верх нелепости. Я с изумлением спросил Лешку, что это он, и получил объяснение: «Сохраняю в драпе вид бойца в полном обмундировании, чтобы видели местные жители, что мы не драпаем, а отступаем по плану». И он действительно не драпал, а отступал.

Начало войны догнало нас недалеко от старой границы. В середине ночи мы подошли к Днестру в районе Могилева-Подольского и сразу развернулись. Наблюдательный пункт был на старой границе, на возвышенном берегу Днестра. Линия занимала километров семь, посредине был разбит промежуточный пункт, и я был на промежуточном. Фронт еще не вышел к старой границе (на днестровский берег, где мы развернулись). Три дня мы стояли как бы в тылу, не видя перед собой никаких войск. Перед нами была Молдавия, в которой должны были находиться наши войска. Были ли они там — я не знаю, но с той стороны к нам из наших войск никто не пришел. Справа, в стороне Киева, грохотало. Над нами усиленно летали немецкие самолеты, но не бомбили. Самым крупным событием этих дней было следующее: мы расположились в районе, где раньше стояли наши тылы. Не ведаю, по какой причине тыловики удрали, причем так беспорядочно, как будто отступление было под прямым напором немцев, хотя те были еще очень далеко. Все свое имущество они побросали.

Лазая между брошенными ящиками с амуницией, снарядами и боеприпасами, мы обнаружили два больших ящика яиц (не знаю, сколько, но их было несколько тысяч). Мы сообщили об этом «по линии», и к нам потянулись со всех точек дивизиона. Помню, что сами мы ели яичницу из четырехсот яиц каждая после довольно тощего военного пайка.

Маленькое отступление о военном языке. Военный язык отличается прежде всего тем, что он сдвигает семантику слов. Употреблять слова в их обычном значении противоречит фронттовому языковому штетгельству. Но это не индивидуальный акт, а каким-то образом возникающие стихийно диалекты, которые зависят от появления некоторых доминирующих слов, как правило связанных с доминирующими элементами быта (а быт складывается очень быстро, даже если он подвижный, как, например, в отступлении). Он предметно очень ограничен и общий для всего пространства фронта, так что слова этого быта становятся как бы субязыком. Определяющее слово сорок первого — лета сорок второго года было «пикировать». Этим словом можно было обозначать почти все: «спикировать» могло означать «украсть», могло означать «удрать на какое-то мероприятие», например «спикировать к бабам» или же «завалиться спать» («пока вы чапали, я тут спикировал»), «уклониться от распоряжений начальства» и т. д. Обычно оно означало некое лихое действие, которым можно похвастаться. Помню, как разъяренный

19

офицер из какой-то другой части, у которого из легковушки что-то украли, кричал на своего шофера: «Пока ты дрых, у меня тут пистолет и все барахло спикировали!» Были потом и другие такие слова, по которым мы сразу узнавали, с нашего ли фронта человек или нет, — своего рода жаргон.

Прямые же значения слов табуировались. Так, например, существовало устойчивое табу на слово «украсть». Оно казалось отнесенным к другой — гражданской и мирной — и оскорбительной семантике. Мы знали, что немцы употребляли вместо него слово «организовать», но словом «украсть» не пользовались, тоже находя в нем неприятный привкус.

Когда-то в романе «Огонь» Барбюс цитировал разговор окопного писателя с солдатами-однополчанами. Солдат интересовало, как их фронттовой товарищ будет описывать войну — с ругательствами или нет. И решительно заверяли его, что без ругательств написать правду о войне нельзя. По своему опыту скажу, что дело здесь не только в необходимости передать правду. Замысловатый, отборный мат — одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств.

Настроение у всех было лихорадочно-веселое. Мимо нас на самую передовую линию проехали в дальнейшем совершенно бесполезные сорокопятки (45 мм или противотанковые пушки). К нам зашел покурить командир одной из этих пушчонок, лихой красавец-грузин со значками, которые выдавались победителям армейских соревнований. Помню, как лихо он держал наотмашь где-то добытую немецкую сигару (это был такой шик, что он даже не затягивался, чтобы подольше протянуть). Сообщив, сколько выстрелов он делает в минуту, он добавил: «Семь танков сожгу, прежде чем меня раздавят!» (формула эта звучала не ернически, а естественно — мы все так просчитывали). В ту же ночь я его снова встретил. Он был грязен, в разорванной гимнастерке, пушки рядом не было. «Понимаешь, Юрка (мы уже были на «ты» и по именам), — не сказал, а

буквально прорыдал он, — не берут. Я восемь раз попадал в танк, а ему (сменим лексику) хоть бы хны». Орудие его было раздавлено.

Двое суток мы вели непрерывный огонь и удерживались на исходной позиции. Наблюдательный пункт был уже занят, и разведчики и вычислители вместе с командиром батареи прибежали к нам на огневую. Еще полдня мы выдерживали на этой линии. К вечеру второго дня нашей войны было приказано с наступлением темноты отступить на четыреста метров... Кстати, когда наступила ночь, кухня побаловала нас: нам привезли вместо вечерней баланды прекрасную рисовую кашу. Это был запас, который не разрешалось расходовать. Настроение было, как говорит солдатская поговорка: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!» Затем началось отступление, которое первое время шло достаточно организованно.

Пользуясь тем, что противник ночью не воевал и с заходом солнца прекращал все боевые действия, мы держались принципа: выстоять до захода солнца. Когда наступала южная темная ночь, мы быстро сматывали линию и отходили, сначала на несколько километров. Там развергивались и окапывались, а утром начиналось все снова. Но через несколько дней «юнкерсы» усиленно бомбили небольшую станцию у нас в тылу, а рано утром откуда-то

20

сбоку туда прорвались танки. Это было наше первое окружение. Затем слово «окружение» стало одним из самых употребительных у нас.

Фактически окружением назвать это было нельзя, как слоеный пирог нельзя назвать кренделем. Это было подвижное состояние перепутанных между собою армий, которые все время стремились образовать нечто, что можно было назвать словом из военного учебника — «фронт». Постепенно возобладал совсем другой, не предусмотренный военной теорией принцип: те, кто обладали большей скоростью передвижения, оказывались впереди (так, например, штабы, автомобильные колонны, снабжение и танки оказались дальше всего в тылу), часто совершенно теряя связь с разбросанными воюющими частями. А пехота и артиллерия оставались позади.

У нас были прекрасные пушки и очень хорошие артиллеристы, но положенные нам скоростные тягачи мы потеряли довольно скоро. И потом уже до сорок третьего года нам не давали взамен ничего. Мы пользовались сельскохозяйственными гусеничными тракторами, которые мы реквизировали в колхозах и которые давали шесть километров в час, то есть не имели ровно никакой надежды оторваться от противника. Именно от этого наша тяжелая артиллерия несла такие большие потери в технике. Все-таки кое-как мы пушки тянули, не бросали их. Мы приспособились подключать к орудью два трехтонных грузовика. По ровному месту и даже в гору дело шло. Но с горы раскатившиеся орудия нажимали сзади на машины и шофера в ужасе бежали рядом со своими грузовиками и управляли рукой или же стояли на крыле. Потом начались дожди. Техника противника начала тонуть в клейком мокром черноземе, и движение фронта замедлилось. Мы, мокрые, проваливаясь в жидком черноземе, проклинали дожди, которые, по сути дела, нам очень помогли.

В начале войны нам стали выдавать знаменитые «наркомовские» сто грамм, то есть сто грамм водки (должен отметить, что в дальнейшем в отступлениях и окружениях бывали перебои с едой, почту мы не получали месяцами, снаряды нам доставляли относительно регулярно, но наркомовские сто грамм мы получали постоянно без перебоев). Конечно, по пути от них отхлебывалось немало, но это покрывалось потерями в людях, так что в общем положенные сто грамм до нас доходили полностью и неразбавленными.

Я до начала войны водки даже не нюхал. Дома у нас бывало столовое вино (отец понимал в винах и любил хорошие), но водка появлялась только на праздники для гостей. Когда нам начали выдавать водку, я свою порцию первые два дня отдавал ребятам. Но потом пятеро моих друзей собрались и слили свои дневные нормы вместе. Единным духом я лихо выпил поллитра водки. Помню только, что успел залезть в блиндаж и завалиться на солому спать.

Не знаю, сколько прошло времени, но меня растрясло. Пока я протирал глаза, мне в уши накричали, что немцы прорвали фронт на запад от нас и ушли глубоко в тыл, что мы практически опять в окружении и надо срочно сматывать. «Сматывать» в данном случае имело два значения — «сматывать удочки», то есть драпать, и сматывать катушки с телефонным проводом. В случае отступления оба значения сливались. Меня растрясло, и я нашел силу выполнить свою работу — смотал свои катушки и потащил их. Не без гордости скажу, что катушки и аппарат я все же в целости доставил на место. Но ребята потом рассказывали, что вопреки приказу двигаться молча и гово-

21

рить шепотом я всю дорогу орал сатирические стишки, которые разные театральные актеры занесли на фронт. Так, комическому «фрицу» приписывались слова песенки, которые мы превратили в свой иронический гимн:

Хоть в политике я лапоть,
Но пора как будто драпать...

Война, состоявшая из дневной работы нашей батареи, а потом быстрого свертывания и ночного отступления, с тем чтобы на новом месте развернуться перед зарей, восстановить все линии связи и с рассветом опять начать работу, длилась до зимы. В декабре завернули неожиданно сильные морозы (вообще, годы войны были отмечены исключительно жестокими зимами, как, по

словам местных жителей, давно уже прежде не было). Для меня война как-то неотрывно связалась с дождливой осенью, пушками и машинами, застрявшими до осей в черноземе, бесконечным их оттуда вытаскиванием, и жестокими зимними морозами.

Вообще (это не только мое чувство, я его проверял на других) основное внутреннее состояние — желание, «чтоб она к чертовой бабушке кончилась», — жажда конца. Зимой ждешь, пока начнутся морозы, трешь уши, затыкаешь лопнувшие ботинки (в сорок третьем году нам дали американские ботинки, они были как железные, до конца войны им сносу не было, но ноги они стирали до крови), зато немецкие танки и самолеты на своем эрзац-бензине наших морозов не выдерживали. Летом тепло, благодать, можно и переодеться, и вшей побить, урвать время постирать, а главное — вообще не мерзнешь. Да и спать можно не только в хате, а где-нибудь на стожке соломы. Но зато с утра до вечера по небу ползают «юнкерсы» (87 и 88). В полной мере сказывается превосходство противника в танках, и солдаты матерят изо всех сил ясное небо и хорошую погоду. Ждут осени и зимы, для того чтобы, растирая руки и танцуя, чтобы согреть ноги, проклинать зиму. Зимой сорок второго года наша станция называлась «Сосна». Помню постоянный вопрос по линии: «Сосна, сосна, скоро ли придет вторая весна?» Днем ждем ночи, ночью ждем дня. Летом ждем зимы, зимой лета. Это — закон фронта.

Светлая сторона. На фронте не так страшно, как кажется, когда описываешь или читаешь о нем в книгах. Вообще лучший способ избавиться от страха — это погрузиться в то, что этот страх вызывает. Если боишься передовой, чтобы избавиться от мучительного чувства, поезжай на передовую. Мы все были затерроризированы постоянной угрозой окружения. Но вряд ли кто-нибудь поверит, какое облегчение охватывает, когда нечто происходит на самом деле, когда вместо того, чтобы ждать и чувствовать, приходится действовать. И окружения не так страшны, как страшно их ожидание и рассказы о них. Да и война не так страшна, как когда ожидаешь или вспоминаешь о ней на дистанции. Погружение в нее — лучшее лекарство от страха. Поэтому мне приходилось сталкиваться с тем, как люди, зацепившиеся в ближних тылах или штабах, становились там болезненно трусливы, шли на самострел, что очень часто означало расстрел, лишь бы не попасть на фронт. Но я абсолютно убежден, что они были нормальные, а совсем не болезненно трусливые люди. И если бы судьба бросила их сразу в настоящую переделку, познакомила бы их с войной прежде, чем они «успели испугаться», то они

22

никогда бы не «заболели». Пишу «заболели», ибо это настоящая болезнь, я видел много людей, действительно больных. В холодную воду надо прыгать сразу, а не раздумывать на берегу.

Мне и вообще молодым ребятам нашего полка очень повезло тем, что мы в первые же дни попали туда, где казалось страшнее всего. И убедились, что по сути дела страх определяется нашим воображением и отношением реальности и привычки. В дальнейшем, когда я уже был опытным сержантом и к нам начали поступать «молодые» из тыла (это было уже в конце войны), я регулярно брал одного из них и шел туда, где казалось наименее приятно быть. Это необходимо для того, чтобы убедить человека, что страх рождается не объективными условиями (величиной опасности), а нашим к ним отношением.

(Кстати, это прекрасно демонстрируют фильмы ужасов. Если дешевые фильмы порождают страх зрителя чудовищными кадрами, то Хичкок блестяще показал, что любой предмет, бытовой и безопасный, можно снять так, что зритель окажется на краю инфаркта от ужаса.)

Мы отходили к Дону (лето сорок второго года). Немцы ночью не двигались, мы пользовались этим и за ночь пешком успевали оторваться от передовых немецких частей, перемещающихся на мотоциклах и бронетранспортерах, километров на тридцать.

Ноги были уже абсолютно сбиты. И когда после короткой стоянки встаешь, кажется, что легче подохнуть, чем сделать хотя бы один шаг. А ребята уже уходят. Заставляешь себя сделать первый, второй, третий шаг — болят. Стерты подошвы, пальцы ног. Невозможно разогнуть колени. И первые шаги все делают так, что, глядя на других, сам подымаешь со смеху. Очень больно от присохших к ногам стертых портянок. Вообще, разуваться уже перестали. Потому что ясно, что потом обуться будет невозможно и придется идти босиком. А босиком далеко не уйдешь. Так тынешься приблизительно первый километр, а потом ноги расходятся, портянки как-то более мягко укладываются в сапогах. Первый час — короткий отдых — второй... а к утру, глядишь, и намотаем километров тридцать.

Периодически над нами пролетает «рама» — немецкий разведывательный двухмоторный самолет «хейнкель», названный так потому, что у него между крыльями и хвостовым оперением фюзеляж раздваивается. Покружит и улетит. Мы острим: «Ну, сфотографировала, надо запросить карточку, домой послать» — или же: «В немецком штабе заметят, что сегодня небриты». По «раме» мы дружно стреляем, но она не обращает на это ровно никакого внимания. После ее ухода жди «юнкерсов». Так оно всегда и бывает. Сначала мы слышим гудение, а потом появляются бомбардировщики — не очень много, как правило три, иногда шесть, в зависимости от того, идем мы маленькой группой или толпой. Это «Юнкерс-87» — пикирующий одномоторный, очень хороший самолет, пикирует прямо вертикально со страшным ревом и очень точно бросает бомбы (что нас совершенно не радует).

Еще издали, но уже явно нас увидя и решив, что мы — цель, достойная внимания, «юнкерсы»

из треугольного построения вытягиваются в линию. Дальше происходит прекрасно нам известная своим строгим, хорошо соблюдаемым ритуалом процедура, очень напоминающая поведение хищных животных или насекомых. Пока «юнкеры» летят треугольником, можно быть

23

спокойными — они направляются куда-то в другое место. Но вот они вытянулись в змейку и заходят в круг, центр которого приходится немного впереди нас. Значит, к нам в гости пришли. Мы сбегает с дороги врассыпную и прижимаемся к земле. Земля — наша основная защита. А «юнкеры» змейкой направляются к нам. Вот первый оторвался, резко повернул носом к земле и почти вертикально, с красотой точного расчета падает на нас. Вот от него отделились бомбы — мы их прекрасно видим. Кажется, что падают абсолютно точно тебе в голову. Бомбы обгоняют самолет. Вокруг себя слышишь глухие разрывы, земля трясется. Летчики пикируют артистически, поворачиваются почти у самой земли — наши никогда так не пикируют. Самолет как гипнотизер приковывает взгляд, оторваться невозможно. Наверное, то же написали бы кролики о свидании с коброй.

Из покрывшего землю дыма, пласта пыли самолет с воем, доходящим до предела выносимого, вырывается вертикально вверх. Поднимаясь, он успевает еще обдать нас пулеметным огнем или огнем из авиационной пушки. Но свист пуль не слышен, потому что с воем падает следующий. В эти минуты отключаешься, чувства страха не испытываешь, не испытываешь вообще никакого чувства — вероятно, то же чувствовали лежащие под нами камни. Наконец последний самолет отбомбился, и они улетают. Мы поднимаемся.

Я всегда удивлялся низкой эффективности этих налетов. Конечно, по густым массам пехоты, по движущейся бронетехнике, по развернутым орудиям или танкам эти бомбовые удары были очень эффективны. Но по рассеявшимся отступающим частям армии, солдаты которой успевали прыгнуть в канаву, заскочить в какое-либо укрытие, эффективность ударов была низкая. Дым расходится. Мы, для ободрения себя и чтобы показать немцам, что тоже не лыком шиты, успеваем несколько раз выстрелить по самолету из карабина. Патронов было до черта, они валялись повсюду, и беречь их не приходилось. Но ни одного результата своей решительности мне увидеть не пришлось. То ли я плохо рассчитывал упреждение, которое на такой малой высоте должно быть очень большим, то ли броня у «юнкеров» была крепкая, но никаких неприятностей я немецкому вермахту этими своими выстрелами не доставил. Может быть, где-нибудь на каком-нибудь крыле и осталась царапина, но эффектного падения, подобного, например, описанному Твардовским в «Теркине», когда герой сбивает двухмоторный юнкерс, мне добиться не удалось. Но смысл этой стрельбы и был в другом: она очень подымает дух, перестаешь себя чувствовать кроликом, даешь выход энергии. В общем, вещь хорошая.

Мы движемся к Дону. От бомбежек, периодически появляющихся немецких танков мы разделились и идем на восток небольшими группами — два-три человека. Стараемся идти со своими, из своего полка, но практически уже растерялись. В степи во время бомбежки я встретился с солдатом из другого дивизиона нашего полка — донским казаком. Вскоре он подобрал в степи брошенную кем-то замученную лошадь и сел на нее. Лошадь, как и я, еле переставляла ноги, и мы с ней шли пешком, а он — верхом. Всю дорогу мы рассуждали, почему война для нас так неудачно складывается. Мой спутник выражал свою мысль приблизительно в следующих словах: «Ты, Юрка, не сердись, а евреи тут виноваты. Нет, ты не думай, я это не в фашистском духе и, знаешь, этих предубеждений у меня нету, но посуди сам. Вот немцы

24

к войне готовились, а мы что — мы фестивали делали, кино лучшее в мире выпускали, Ойстрах на скрипочке пилит — и все евреи. Не, знаешь, у меня предрассудков нету, но лучше было в это время не скрипочками заниматься». Я не разделял его взглядов и стремился ему объяснить, что идет война между фашизмом и антифашизмом, а антифашизм предполагает ренессанс — развитие искусства. На что он отвечал: «Вот и доренессансился, что немцы на Дону, туды-перетуды твой ренессанс!» Но, в общем, мы двигались дружно. Разошлись мы только когда темной южной ночью вышли на Дон.

Темнота только сгущалась от горящих по берегу и в темноте каких-то барж, машин и еще всяческой ерунды, которую армия дотянула до Дона и тут бросила. Мы подошли к берегу, нужно было решиться, что делать дальше, никакой переправы не было, но по берегу ходили отдельные растерявшиеся солдаты. Пробегавший солдат сказал, что здесь недалеко полузатопленная баржа и в ней сахар и водка и что ребята там пьют как муравьи. Мой напарник сказал, что пойдет выпьет и наберет с собой. Я решил переправиться, пока еще темно.

Как я это сделаю, мне было абсолютно неясно — плавать я не умел и не умею¹. Шагая по топкому песку на самом берегу Дона, я увидел две черные фигуры в плащах, закрывающих знаки различия (но плащи были командирские), и услышал отрывок разговора: речь шла о необходимости переправить через Дон лошадей. Один из говорящих докладывал, что нашел крепкую лодку и парня, который имеет небольшой опыт: он будет держать лошадь под уздцы, а она будет плыть, надо только найти опытного гребца. Меня захватила волна нахальства. Я вышел из темноты и подошел к ним со словами: «Гребца ищите? Вот он я». Вид мой, кажется, не внушил большого доверия тому, кто был старше чином. «Смотри, — сказал он, для убедительности

прибавив несколько слов из военного красноречия, — сам утонешь, так мне ... не жалко, а ты мне лошадей не утопи». Но меня уже понесло. Я сказал: «Не пугайте меня, дело привычное, на море вырос...» Мы отправились. Я на веслах, а другой солдат брал лошадь под уздцы, садился на корму, мы отталкивали лодку, лошадь, брыкаясь, заходила в воду, и я начинал грести. Сначала я крутился — одна рука обгоняла другую — гребец я был никудышный. Но постепенно начало получаться. Лошадь, попытавшаяся влезть в лодку, получила по морде и поплыла. Второй раз было легче. Не знаю, сколько раз я проездил, но потом я сказал: «Амба, ребята, еще раз отвезу, и хватит, ищите другого».

Мы переплыли. Я вылез из лодки и пошел с чувством переходящей все пределы усталости и ожидая, что здесь, на берегу, я сейчас натолкнусь на прочную нашу оборону. Там я получу данные о дальнейшем маршруте. Никакой обороны не было. По этому берегу, как и по тому, бродили отдельные солдаты. Куда идти — было совершенно непонятно. Я лег на мокрый береговой песок и уснул, кажется, прежде, чем успел опустить голову. Сколько я проспал — не знаю. Потом я встал и пошел на восток, надеясь, что все-

¹ Здесь — как и во многих других местах — типичное для автора принижение своего образа: плавал он — в смысле проплываемого расстояния — неплохо, но, никогда специально плаванию не обучавшийся, не знал никаких стилей, а плыл, как он это сам называл, «на бочку». (Примеч. М. Ю. Лотмана).

25

таки на какую-то оборону натолкнусь. Не может же быть, что фронт совершенно голый.

Дон в этом месте течет несколькими то сливающимися, то расходящимися потоками. У меня не было сил искать какие-либо места перехода. Я шел по прямой вброд, один за другим преодолевая довольно глубокие параллельные рукава. Было совершенно пустынно. Сил не было абсолютно, но я нашел способ их поддерживать: я шел и стрелял трассирующими патронами в небо, один за другим. Это каким-то странным образом позволяло пересилить чувство потерянности. При этом я во весь голос дико выкрикивал самые непечатные ругательства. Смесь выстрелов и моей дикой ругани странным образом поддерживала. Наконец, я перешел последний приток, бухнулся на землю и снова тут же уснул. Переправа через Дон была закончена.

Летом 1942 года фронт относительно стабилизировался. Нас пополнили и направили в район Моздока (Чечено-Ингушетия). Небольшой городок Малгобек, расположенный прямо на Тереке, находился непосредственно на линии фронта. По ту сторону реки, где было казачье население, расположился передний край немцев. Мы удерживали южный берег, но слово «удерживали» здесь можно употребить только метафорически: пехоты у нас почти не было. Наши пушки, насколько это позволял ограниченный запас снарядов, должны были одновременно выполнять свою прямую задачу — подавлять артиллерию противника — и страховать переправу, к чему они были мало приспособлены.

В ингушских домах прямо на берегу (население убежало в горы, и деревня была совершенно пустой) мы устроили ПНП (передовой наблюдательный пункт) и ожидали со дня на день начала новой волны немецкого наступления. Используя колоритные средства солдатского языка, мы обсуждали, что будем в этом случае делать, имея всего пять снарядов. Противник, видимо, даже не подозревал, сколь скудны были наши средства, и усиленно накапливал резервы (мы это прекрасно видели), готовясь к прорыву. Ему, видимо, и в голову не могло прийти, что ему противостоит на этом участке лишь дивизион артиллерии почти без снарядов, одна минометная батарея и какие-то ничтожные, наскоро собранные и плохо оснащенные отряды, составленные из самой разной публики, включая поваров, штабных писарей. Когда я — не без иронии — спросил командовавшего ими старшего лейтенанта: «А что это за род войск?» — он ответил изысканным матом опытного фронтовика, и мы оба покатались со смеху.

На противоположном берегу, прямо против нас, был расположен немецкий наблюдательный пункт и штаб. Мы прекрасно видели все, что там делается, и могли пересчитать по пальцам мотоциклы, которые непрерывно подъезжали и откатывали. Там шла оживленная штабная и наблюдательная работа, но снарядов у нас было так мало, что строго было приказано: стрелять только если противник начнет переправу. А наше молчание вдохновляло тот берег.

Однажды (жара стояла уже настоящая) мы увидели, что часовой, охранявший вход в штаб, стоит на посту совершенно голый, в чем мать родила, только в сапогах и с автоматом на шее. Он не только защищался этим от жары, но и явно находил удовольствие в том, какое впечатление должен был производить его вид на нас. Стоя анфас к нашему пункту, он хохотал и хлопал себя по

26

животу. Наш лейтенант не выдержал такого унижения и выпросил в штабе три снаряда: «Ну хоть припугнуть немножко, чтоб штаны надел», — упрасивал он комбата и получил ответ: «Ну ладно, три штуки дай». Тремя снарядами пристрелять орудие, даже если раньше пристрелка уже была, почти невозможно — ведь то ветер, а то орудие с каждым выстрелом пусть незначительно, но оседает, особенно на нетвердой прибрежной почве. Всем этим можно было пренебречь при обычной, массивной стрельбе. Это было бы просто незаметно. Но здесь работа была филигранная и требовала предельной точности. Наше орудие, выпустив три снаряда, конечно, не принесло заречному соседу никакого вреда, но намек он все-таки понял и штаны надел.

Вообще, отношение к обнаженному телу у нас и в немецкой армии было совершенно

различным. Причем здесь явно сказывалась разница между европейским и восточным взглядом на этот вопрос. Немцы не только не стыдились (все наши наблюдения шли через линию фронта, потому мое мнение нуждается в корректировке) расстегнутости, обнаженного тела, но даже, видимо, находили в этом особый стиль. Они охотно разъезжали по фронту голые на мотоциклах, на немецких воинственных плакатах фронтовой немецкий офицер всегда изображался в расстегнутой на груди форме и с закатанными рукавами (вероятно, в немецкой армии все это воспринималось как «марциальный шик»). У нас было принято стыдиться своего тела (я не помню, чтоб кто-нибудь из нас, особенно из крестьянских ребят, раздевался для того, чтобы загорать). Если в жару на работе мы позволяли себе вольность, это могло быть до пояса голое тело, но при обязательных штанах и сапогах.

Зато, замечу, зимой мы всегда ходили в шапках и европейский шик мужчины — ходить на морозе без шапки — нам был совершенно не знаком. Когда я много лет спустя (это было в Норвегии) заметил своему уже немолодому другу, ходившему на морозе с обнаженной головой, не холодно ли ему без шапки, то получил ответ: «Но это же так молодит». Замечу, между прочим, что в России покрывая даже в жару голова мальчишки тоже имеет свой шик, но противоположный — она взроллит. Оценка может меняться, но принадлежность головного убора к семиотике возраста сохраняется.

Как вшей выводить

В «Василии Теркине» у Твардовского есть такой эпизод. Старик, который участвовал в первой мировой войне, разговаривает с Теркиным и спрашивает:

А скажи, простая штука
Есть у вас?
— Какая?
— Вошь.

На что Теркин, присолившись, отвечает: «Частично есть»¹. На это участник первой мировой войны отвечает Теркину, что тот настоящий солдат. Темы этой не обошел никто, кто относительно правдиво писал о войне,

¹ Твардовский А. Василий Теркин. Книга про бойца. М., 1976. С. 68.

27

от Барбюса до Гашека¹. Вошь — частично запрещенная тема, она касается «той» стороны военного быта. До войны я знал о вшах только по литературным памятникам или же по энтомологическим исследованиям.

Мы отходили — был второй месяц войны. Но на Южном фронте было еще очень жарко. Однажды я почувствовал совершенно непонятный раздражающий зуд. Мы стояли в лесопосадке в степи и ждали ночи, чтобы выйти из укрытия от самолетов и снова начать отступление на восток. Я отошел поглубже в лесопосадку и, скинув рубаху, содрогнулся от отвращения.

Энтомология всегда была предметом моей любви, это чувство осталось даже после того, как я отказался от идеи самому сделаться исследователем насекомых. Особенно привлекали меня прямокрылые и сетчатокрылые, а о жесткокрылых я собирался писать исследование, и мне до сих пор жалко, что я его не написал. Но к паразитам, и среди них особенно к вшам, у меня было какое-то физиологическое отвращение. Увидев у себя на рубашке крупную белую вошь, я в прямом — неметафорическом — смысле слова содрогнулся и еле сдержал рвоту. Действовал я решительно, в соответствии с обстановкой. Я развел костер, поставил на него ведро с водой, разделся догола и все, кроме сапог и документов, запихал в ведро. К счастью, этот суп успел хорошенько свариться, прежде чем нам объявили марш. Я наскоро все выжал и, мокрый до нитки, отправился догонять взвод. Таково было первое впечатление.

Однако острота его скоро притупилась, и с постоянным появлением вшей и с постоянной необходимостью с ними бороться пришлось примириться. К счастью, в конце сорок первого или в начале сорок второго (не помню точно) было найдено верное средство.

Немцы тоже страдали от вшей и боролись с ними, осыпаясь разными химическими порошками. Но средства эти действовали плохо. Противник сильно страдал от насекомых, видимо совершенно незнакомых ему в нормальном быту, и так до конца войны действенных средств не умел найти. В результате, когда пришло время наступления, мы никогда, даже когда нужно было спрятаться от обстрела или мороза, в немецких землянках не жили: залезть туда означало наверняка набраться насекомых. Наша пехота, которая, конечно, не могла на передовой устроить даже самой элементарной вошебойки, тоже очень страдала от вшей. Но артиллерия и пехота второй линии практически к сорок второму году от них избавились. Не знаю, кто был тот гений, который изобрел простое и верное средство, но я бы ему поставил памятник (пишу это без всякой иронии).

Средство было такое. Найти на фронте железную бочку из-под горючего не представляло никакого труда. Они валялись рядом с разбитой и обгорелой техникой и другим фронтовым мусором. Их была масса. Из них делали самое

¹ Ср. в «Швейке»:

Весь фронт во вшах. И с яростью скребется
то нижний чин, то ротный командир.

Сам генерал, как лев, со вшами бьется
и. что ни миг, снимает свой мундир.

(Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Пер. П. Г. Богатырева // Гашек Я. Собр. соч.: В 6 т. М., 1985. Т. 6. С. 165).

28

элементарное устройство: брали бочку, выжигали или вымывали из нее остатки содержимого (мазута, смазочного масла, горючего). После этого аккуратно выбивали одно дно, сохраняя выбитую железную основу. Потом вырезались два куска дерева точно по диаметру бочки, они забивались в нее крестообразно на такой высоте, чтобы положенная на них амуниция не касалась дна. После этого на образовавшийся крест вешали одежду, подлежащую дезинсекции. Дно немножко поливали водой и железную крышку, обмотав для прочности плащ-палаткой, заколачивали сверху. После этого бочка ставилась на камни и под ней разжигался костер. Через полчаса или чуть больше раскаленную бочку открывали. Из нее вырывался сжатый пар, а на крестовине висело горячее, иногда чуть тлеющее, если касалось стенок, белье. Никакая вошь такого эксперимента выдержать не могла. Горячее скрипящее белье было очень приятно надеть. Правда, отстирать сгоревшую грязь уже было невозможно, но это нас совершенно не тревожило. Бочки были наше спасение.

Вши органически входили не только в быт, но и во фронтовой фольклор. Это была тема бесконечных шуток, изощренно-замысловатых ругательств, они становились героями многих происшествий. Вот одно из них.

В нашей батарее командиром взвода управления был инженер с Донбасса, милый и интеллигентный человек Иващенко (у огневигов был свой Иващенко — тоже лейтенант, страшно противный). Иващенко попал в армию прямо с «гражданки» во время отступления и сохранил многие черты штатского человека, но был хороший артиллерист, веселый, компанейский парень. Вот с ним и случилась история, которую, кстати о вшах, здесь следует вспомнить.

Это было в сорок третьем году в северном Донбассе. На фронте было относительное затишье, наблюдательный пункт был километрах в двух от передовой, и мы решили воспользоваться этим, чтобы избавиться от вшей. Для этого мы с той стороны наблюдательного пункта, которая была закрыта от передовой стеной сгоревшего дома, устроили «бочку». Первым повесил свою гимнастерку, брюки и белье командир батареи, а когда содержимое прокалилось, в бочку повесил свое добро командир взвода Иващенко. Человек непривычный, городской и культурный, он страшно не выносил вшей. Раздевшись догола, оставив только сапоги, он все повесил в бочку, а нам только приговаривал: «Жарь их, сволочей, жарь!» Мы и раскалили бочку. Но, видимо, искры подымались слишком высоко, и вдруг невдалеке упал сначала один снаряд, другой — немцы явно делали пристрелку, а затем начался довольно густой обстрел. Мы залезли в ровик. Бедный Иващенко влез туда как был — в чем мать родила, в сапогах и с партбилетом, который он догадался вынуть из кармана, в руках. Он выглядел не очень торжественно, и мы, не стесняясь, иронизировали над положением своего командира. Когда обстрел кончился и можно было вылезти, Иващенко бросился к бочке: увы, все сгорело. На дне бочки лежал только расплавленный гвардейский знак, который лейтенант забыл свинтить. Иващенко сидел в сапогах, голый, с партбилетом и гвардейским знаком в руках и, страшно злой, материл немцев, войну и нас, как он считал, неправильно повесивших белье.

Пришлось звонить на батарею, чтобы немедленно принесли кальсоны, штаны и другое имущество лейтенанту. Но когда по линии пошло, что с наблюдательного пункта для Иващенко требуют кальсоны, это вызвало новую

29

волну солдатских шуток. К чести лейтенанта следует сказать, что когда, наконец, имущество было принесено и с ним от старшины бутылка водки, то настроение его исправилось и он выражал громко радость, что не сгорел орден Красной Звезды.

Случай этот имеет смысл записать, потому что смешных и веселых эпизодов в самых тяжелых условиях всегда было много. Скажу, что на фронте мы смеялись гораздо больше, чем потом нам приходилось в мирной жизни, например во время разгрома университета в эпоху борьбы с космополитизмом.

* * *

Ранней весной сорок четвертого года фронт находился на Западной Украине и врезался в расположение противника узким длинным клином. На нашем участке он образовал своеобразный язык длиной около двадцати километров, но шириной всего от двухсот метров до километра. Наблюдательный пункт был вынесен на самое его острие, а пушки находились у основания. Противник простреливал нас с трех сторон, и практически непростреливаемого места в нашем пространстве не было. К этому нужно прибавить, что ранняя весна растопила снег, а почва оттаяла только местами, так что ходить приходилось в воде то по щиколотку, то по колено, скользя по льду под водой или же погружаясь в клейкую массу чернозема. Каждой ногой мы вытаскивали из земли пуд жидкой черной клейкой массы. Бегать по такому пространству было абсолютно невозможно, ходить исключительно трудно. А нам, связистам, ходить приходилось непрерывно. Противник вел довольно плотный обстрел этого пространства, столбы воды, грязи и куски льда вставали со всех сторон, мокрые шинели висели на плечах как пудовые, а морды были настолько

грязные, что без хохота смотреть друг на друга было невозможно.

Я шел по линии, где-то пересеченной осколком, продвигался через эту кашу чернозема, воды и льда и попал под густой, сконцентрированный обстрел. Не помню, какими словами я выражал свои чувства, но могу представить, что это была та лексика, которую лингвисты иногда именуют экспрессивной. Пришлось лечь в грязь на какую-то корягу. Осколки и комья мокрой грязи шлепались вокруг.

В это время по воде и грязи, подымая фонтаны, прямо на меня выбежал большой, весь залепленный грязью, заяц. Ему не везло, как и мне: он влево — и мина падает влево, он в другую сторону — и туда проклятая. Видимо, совершенно одурев, он, брызгая водой и грязью, побежал прямо на меня и встал, почти упершись носом в мой нос (очень может быть, что глаза у меня были скошены, как у него). Мы в недоумении уставились друг на друга.

Помню, меня поразила мысль, что заяц, очевидно, думает то же самое, что и я: «Какая гора железа направлена сюда с единственной целью меня ухлопать». Эта же мысль мелькала и у меня, правда с некоторым оттенком гордости, — испытывал ли заяц гордость, сказать не могу.

Одна мина упала совсем рядом и совершенно завалила нас водой и грязью. Заяц, видимо решив, что это уж слишком, бросился по воде в сторону. Я подумал, что он, пожалуй, прав и это место лучше покинуть, потому

30

что оно, видимо, противнику понравилось. Бежать было невозможно, я побрел. Обернувшись невзначай, я увидел, что заяц тоже бредет, но вприпрыжку, с трудом вытягивая ноги из грязи (думаю, зоологи никогда не видели зайца в таком виде). Я подмигнул ему, и мне показалось, что он улыбнулся. Больше мы не встречались.

* * *

Вряд ли стоит подробно, неделю за неделей, месяц за месяцем, описывать события войны. Мне они интересны, потому что касаются меня. Исторической ценности они не имеют, не потому, что исторические ценности порождаются участием в событиях «великих людей», а потому, что они порождаются литературным талантом того, кто описывает. Толстой писал, что случай, когда нищий музыкант в швейцарском городе Люцерне в течение получаса играл слушающим его богатым англичанам и не получил ни от кого из них ни гроша, — случай, достойный включения в перечень событий мировой истории. Поэтому величина события — производная от того, что произошло, способности наблюдателя осмыслить и передать это событие и культурного кода, которым пользуется получающий информацию. Поскольку я не обладаю необходимой способностью показать в событии его причастность истории, дальнейшие рассказы о войне можно закончить.

Писать о войне трудно, потому что, что такое война, знают только те, кто никогда на ней не был. Так же, как описывать огромное пространство, у которого нет четких границ и нет внутреннего единства. Одна война зимой, другая — летом. Одна во время отступления, другая — во время обороны и наступления; одна днем, другая ночью. Одна в пехоте, другая в артиллерии, третья в авиации. Одна у солдата, другая у приехавшего на фронт журналиста.

Журналист может провести многие дни на войне, быть на передовой или в тылу противника, может проявлять большую смелость и *жить совсем как*, но все-таки у него совсем другая война. Потому что в конечном счете он обязательно уходит. Он временно на фронте. Солдат на фронте постоянно. Я знаю по личному опыту войну в таких ее лицах: в сорок первом и сорок втором годах на Южном фронте, в сорок третьем на Южном и Юго-западном, затем на Западном, а в период наступления — на Прибалтийском, в Польше и Германии. Сначала, самые первые дни, на Днестре, затем пешим ходом — наша батарея полуторка сторела в первые же недели войны, в дальнейшем мы периодически захватывали какие-то машины, но скоро их теряли. Кроме того, батарейный телефонист — а я был именно им — всегда пешеход. Пока он разматывает или сматывает свою катушку, машины и трактора успевают уйти вперед в случае наступления или, что еще менее приятно, назад в случае драпа. Навалив на себя катушки и аппарат (в нашей практике, как правило, две катушки около восьми килограммов в каждой), телефонист идет пешком, догоняет своих, наконец находит в том беспорядке, который образуется при ночном перемещении армии.

Наш 437-й артиллерийский полк с командиром подполковником К. Дольстом считался ударным, пользовался по всему фронту славой, но для нас это оборачивалось тем, что нами все время затыкали дыры. Это приводило

31

к постоянным перебрасываниям с места на место и даже с фронта на фронт, то есть к дополнительным тяготам.

Фронтная жизнь значительно облегчается, когда положение стабилизируется и быт принимает привычные формы. Конечно, и в этих условиях регулярно происходят бомбежки и обстрелы и мы бегаем по линии, соединяя кабель, проваливаемся под лед и испытываем все прочие фронтные удовольствия. Но это все-таки регулярная жизнь: известно, где можно обогреться, когда подъедет кухня, если на огневой, или пойдет с термосом посланный на кухню и принесет хоть замерзший, но обед.

Совершенно иная жизнь при передвижении. Отступление и наступление имеют совершенно различные тяготы. Отступление несравнимо хуже наступления, но потери при этом несравнимо меньше. Вернее, они имеют иной характер. При отступлении может «потеряться» целая дивизия. Мы сами неоднократно терялись, то всем полком, то батареей, а то и в одиночку. Ночной драп мучителен бестолковостью, беспорядком, неожиданными наткновениями на неприятеля, неожиданными потерями, непониманием, что надо делать, и полным незнанием ситуации.

Наступление, как правило, проходит в обстановке меньшей бестолковости, хотя и тут ее достаточно. Столкновения с неприятелем здесь, как правило, происходят днем. Но потери при наступлении значительно большие. Вообще, наступать мы не умели и так и не научились. В последние месяцы войны, когда, казалось бы, должно было быть легче (и немец был уже не тот, хотя авиация его продолжала господствовать в воздухе, но это была уже совсем не та авиация — три, девять самолетов), потери мы продолжали нести очень большие, и главное, «дуром».

Дольст был хороший артиллерист и предпочитал стрелять с огневых позиций, а не прямой наводкой. Летом 1943 года на фронте среди командования вошло в обиход то, что можно назвать модой, — вытягивать тяжелые пушки на прямую наводку. Отчасти это было необходимо в случае, если приходилось прорываться через очень укрепленные, бронированные, многоэтажные немецкие линии обороны. Но в этой тенденции была и другая сторона: среди командующих дивизиями и армиями к этому времени все более развивалась погоня за орденами. А это требовало эффектных прорывов и совершенно чуждой для частей, переживших на своей шкуре большое отступление сорок первого — сорок второго годов, тенденции не щадить людей. Ущерб быстро пополнялся новыми тыловыми частями, молодыми солдатами. Низкую подготовку наспех пополненных полков с успехом компенсировали количеством и огромными жертвами. Страшные потери часто были очевидно лишними и подсказаны были погоней за эффектными фразами в рапортах.

Именно таков был дух нашего нового командира бригады Пономаренко. Во время наступления он с начальником артиллерии армии и каким-то писателем, который, видимо, переживал восторг от того, что испытывает опасности передовой, сидел в блиндаже. У него был немецкий графин для водки, где к дну был приделан стеклянный петушок. Они выдумали игру: «топить петуха» (заливают бутылку водкой) — «спасать петуха» (выпивают эту водку). С утра пьяный, он звонил в те или иные наступающие части. В том красноречии, которое передать на бумаге затруднительно, но которое мне по

32

телефону регулярно приходилось слышать (он даже привык узнавать меня по голосу), кричал спьяна: «Это ты, Лотман (называть фамилии было не положено), так-так-так! Скажи своим (речь шла о начальнике штаба дивизиона Пастушенко), чтобы они так-так-так высотку заняли так-так-так к следующему звонку (то есть к следующему „петушку“)». Или, разбрызгивая слюну, пьяным голосом: «Пастушенко, Пастушенко, поднимай дивизион в наступление, Одера больше не будет!» (Это многократно повторяемое выражение означало, что нельзя пропускать такую возможность получить Героя Советского Союза или по крайней мере хороший орден).

Начальник штаба дивизиона, умный человек и хороший артиллерист, находившийся в районе, густо обстреливаемом минометами противника, отвечал: «Слушаюсь» — и клал трубку с хорошим матом и словами: «Сам полезь». А потом докладывал о том, что приступил к атаке, встретил сильный огонь противника, залег, а к вечеру сообщал: «Отступили на исходный рубеж, потери средние».

Читатель (если он когда-нибудь будет) может не понять ситуации: командир дивизиона понимал, что, потеряв своих прекрасно обученных солдат ради орденов пьяного дурака, он обессилит батарею или дивизион. Им руководили вовсе не соображения гуманности или чего-то еще, о чем тогда не думали, а практический разум, который заставлял человека беречь свое оружие, поддерживать подразделение в боевой готовности, кормить своих солдат не из жалости, а чтобы они могли работать. Все эти оттенки чувств передаются средствами русского мата, который прекрасно выражает их и превосходно понимается слушателями.

Но были и такие командиры, которые по неопытности или из самолюбия и жажды наград действительно бросали свои подразделения в ненужные и безнадежные атаки. И тогда к формуле «отошли на исходные» — теперь уже реальной — прибавляли: «двадцать, тридцать и т. д. палочек упали» — так зашифровывались потери, потери людьми, которые были очень велики.

Кому-то из любителей орденов понравилась фраза, которую использовал — не помню в какой газетке — лихой журналист. Происхождение ее таково. В уставных документах есть фраза: «Артиллерия преследует врага огнем и колесами». Как это часто бывает, риторика превратилась в правило поведения. Выражение понравилось. Конечно, артиллерия действительно преследует огнем и колесами, но это означает, что она имеет для каждого рода батарей свои формы не отрываться от пехоты. Например, для наших пушек это могла быть и прямая наводка, и стрельба на пять километров. Но для эффектного донесения, для того чтобы изумить какого-либо заехавшего журналиста, а главное, чтобы получить награду, выгодно было представить это следующим образом: охваченные энтузиазмом артиллеристы рвутся в бой, колесами не отрываясь от передовых пехотных частей. <...> Выгоняли пушки на расстояния, слишком для них близкие,

практически лишая их эффективности (например, за время, которое требуется тяжелой артиллерии, чтобы сделать выстрел, танк может сделать их десяток). Поэтому непосредственная дуэль тяжелой батареи с выдвинутыми на нее танками обычно имеет один и тот же результат, который мы неоднократно испытывали на личном опыте: батарея успевает уничтожить один-два танка, но ценою утраты всех орудий

33

и личного состава. Одним из результатов было то, что артиллерия, неся чудовищные потери, теряла квалифицированных, подготовленных солдат, второпях заполнялась молодыми, в результате терялся навык быстрой и точной работы и самого главного в артиллерии — слаженности всей батареи в некое единое живое существо. Качество артиллерии понижалось, потери росли, зато с каждым прорывом и продвижением вперед росло число генералов, получавших медали героев и ордена.

Из-за больших потерь происходило следующее: армия продвигалась, казалось бы получала большой и, по сути дела, бесценный опыт и, следовательно, должна была повышать свои боевые качества, но, в силу огромных потерь и пополнения совершенно неопытными людьми, а также превратившейся к концу войны в настоящую болезнь погони за орденами, боевые качества частей и дисциплина в них понижались.

С наступлением стали развиваться совершенно неслыханные прежде грабежи, часто поощряемые штабными офицерами, которым было на чем перевозить награбленное. У нас тогда с отвратительным для нас шиком распространилось и даже сделалось модным употреблявшееся в немецкой армии выражение для обозначения грабежа «организовать»; например, «организовать себе радиоприемник», «организовать новые сапоги». С переходом на территорию Германии это выражение вошло в моду и означало войти в дом и забрать себе те или иные вещи. С полной ответственностью могу сказать, что в нашем полку этого не было.

Между тем это была тоже выдумка какого-то из тыловых политиканов — грабежи были негласным образом узаконены. Не успели мы перейти границу Германии, как нам сообщили, что мы имеем право отправлять посылки домой. Были введены нормы (количественные) для рядовых и сержантов (кажется, шесть килограммов, но не помню, на какой срок), а высокие чины быстро перестали стесняться всякими нормами. Могу сознаться, что — не помню, на какой станции — мы захватили немецкий эшелон с продуктами и я послал домой в послеблокадный Ленинград положенные мне шесть килограммов сахарного песка. Это был мой единственный «трофей» (слово это стало общим термином для называния присвоенного имущества). Мои друзья посылали домой захваченные на складах сахар или какие-либо другие продукты, то есть то, что действительно можно было назвать военным трофеем.

В повальных грабежах мы не только не участвовали, но и открыто выражали к ним отвращение. Зато у нас была другая метода: после стрельбы на батарее остаются пустые медные гильзы (для наших снарядов это были большие, в половину человеческого роста, металлические стаканы). Их надо было отправлять в тыл. Наши ребята забивали их трофейными продуктами или же барахлом из магазинов, и мне неоднократно приходилось слышать: «Пуускай наши бабы порадуются, а то голыми ходят». Но при всех смягчающих обстоятельствах возможность грабежа, как бы его ни называли, действовала на армию разлагающе. Потом, когда фронтовая армия превратилась в оккупационную, грабежи не уменьшились, а скорее наоборот. Фронтовые солдаты демобилизовались, и части пополнялись совсем молодыми деревенскими парнями, которые совершенно шалели от возможностей, которые открывало

34

перед ними, привыкшими к голоду и нищете, бесконтрольное положение оккупанта.

Однако воистину рыба тухнет с головы. То, что мог награбить (а теперь это уже было не присвоение сахарных мешков из немецких армейских запасов, а имущество гражданских людей), присвоить себе какой-нибудь солдат, совершенно несопоставимо было с возможностями генералов, которые пользовались ими достаточно широко. Не в оправдание могу сказать, что американская армия, с которой мы контактировали потом очень много, грабила не меньше, но с большим пониманием и разбором. Для нас было диковинкой все, они умели выбирать действительно ценное.

Наш полк (преобразованный сначала в гвардейский, а затем многократно награждавшийся различными боевыми орденами и превращенный в бригаду, сохранив почти до самого конца войны свой дух и основной костяк командиров) закончил войну за два дня до того, как она кончилась официально, на Одере, встретившись с американцами. Мы вышли с двух сторон на берег. Посередине реки на длинном острове скопились эсэсовские части, которые предпочли сдаться американцам и до самой последней минуты отбивали атаки с нашей стороны.

Наступил вечер, и мы вдруг неожиданно поняли, что война кончилась. Это было странно — более точного слова найти не могу. Наверно, так себя чувствует младенец, когда он родился: привычной ситуации нет, а что делать — он не знает.

Выпить с американцами нам тогда не удалось — это случилось на несколько дней позже. Мы где-то достали очень слабого, кислого домашнего яблочного вина и на безлюдном и уже совершенно безопасном берегу в темноте его пили. И тут случилось нечто странное.

Общее настроение все эти годы, как я говорил, было бодрым. Бывала усталость, проклятья, иногда энергию и силу приходилось поддерживать длинной и изощренной матерщиной (очень помогает). Вообще — никакой идиллии. Но это было нечто совсем иное по сравнению с тем, что случилось с нами сразу же после окончания войны. Стало почему-то очень грустно.

В ряде фильмов, изображавших конец войны, на экране всегда появлялись кадры торжественной встречи фронтовиков с вынесшими все тяготы их девушками и семьями. Но между окончанием войны и даже первыми незначительными демобилизациями прошли месяцы. Это были самые тяжелые месяцы.

Мы стояли в чем-то вроде негустого лесочка. Нас не допекали занятиями (обычная мука солдата в небоевых условиях), мы были свободны. Мы даже могли, когда хотели, пойти в ближайшую немецкую деревню или в очень милый близлежащий городок. Но вдруг, и казалось без видимой причины, нас охватила гнетущая смертная тоска — не скука, а именно тоска. Мы пили по-мертвому и не пьянели. Приходилось вспоминать и давать себе отчет в том, что в эти годы старательно забывалось.

В соседнем полку был скучноватый пожилой человек из запасников, выполнявший отнюдь не уважаемую нами роль какого-то мелкого политработника. Он был немножко пьян. Подсел ко мне и, рыдая (до этого между нами не было никакой близости) и утирая локтем сопли, заговорил со мной

35

на «ты». Начал рассказывать, что у них сожгли деревню, что дети у тетки, а где жена, он до сих пор не знает. А мне и самому было что вспомнить, хотя я этого ему не рассказывал (это было запрятано слишком глубоко).

Дело было в станице Орхонка на Кубани. В период, когда в сорок втором году Южный фронт подкатился непосредственно к Орджоникидзе — тогда еще не Владикавказу, — наш полк непосредственно прикрывал выход к городу. Если бы здесь не удалось задержать танковые колонны, к обеду Орджоникидзе пал бы. Накануне нас срочно сняли из-под Моздока. Мы развернули связь, и батареи только успели немного окопаться, как с первым утренним светом с немецкой стороны началась ураганная стрельба.

Для меня лично события развертывались естественным образом: связь была перебита. Я побежал по линии (проклятая судьба связиста — когда все поглубже затираются в ровики, он бежит по линии и связывает перебитые провода). Наш провод был переправлен через Орхонку — приток Терека, в том месте, где обычно бабы брали воду. Подбежав к Орхонке, я увидел то, что с тех пор сопровождает меня всю жизнь: женщина рано утром, конечно не зная, что за ночь фронт, который накануне был в тридцати километрах, если не больше, пододвинулся и вышел прямо на улицы, пошла за водой к реке, взяв с собой мальчика лет трех-четырёх. Разорвавшийся снаряд пробил ей висок, она лежала — я и сейчас это вижу — раскинув ноги, в задранный юбке, с небольшим расплывающимся красным пятном у виска. А рядом мальчик, ничего не понявший, тянул ее за руку. До сих пор для меня не решен вопрос, правильно ли я поступил: я думаю об этом постоянно и часто вижу эту сцену. У меня была перебита линия, и это означало, что батарея парализована. По интенсивности немецкого обстрела было ясно, что через несколько минут начнется массовая танковая атака, а батарея будет молчать. Мне надо было соединить провода, и я побежал по линии дальше. В ту минуту у меня не было даже никакого сомнения в том, что я должен делать.

Потом линию еще несколько раз перебивало осколками и я, подключая проверочный телефон, бежал то в ту, то в другую сторону, для того чтобы устранять новые повреждения. Когда артобстрел кончился и немецкие танки, не прорвавшись, откатились обратно, я побрел по линии назад к себе, совсем забыв про этот эпизод. Вдруг около нашего провода, в том самом месте, где я его завязал, я увидел лужу крови (потом мне женщины говорили, что они утащили ребенка в дом, а мать была, конечно, убита на месте). Не могу не признаться, что тогда это не произвело на меня особенного впечатления. Как сказал М. М. Сперанский Г. С. Батенькову: «На погосте живучи, всех не оплачешь». Но вот в первую же пьяную ночь после окончания войны я все это увидел вновь. Это и многое другое. Не случайно мы пили мертвую и было немало самоубийств. Их официально списывали по формуле «в пьяном виде», как позже списали самоубийство А. Фадеева. Но причина, конечно, была в другом. Пришло время расплачиваться за долги. Так же, как оно позже пришло и к Фадееву. (Замечу в скобках, что не могу не уважать Фадеева за то, что он оказался честным должником. А я нет.)

Пребывание в армии обрыдло до невыносимости, а демобилизация все еще была в каком-то далеком будущем. Желавшие поддержать дисциплину

36

командиры уверяли, что нас совсем не демобилизуют, а переправят в Китай. Мы пили мертвую чашу.

Но выход неожиданно подвернулся. В нашем полку был лейтенант Толя Томашевич. Он был сын известной в московских интеллигентских кругах дамы, которая была вторым браком замужем за одним из наиболее высокопоставленных генералов, профессором Артиллерийской академии, дворянином, перешедшим в Красную Армию еще в Гражданскую войну. Сейчас он был в

полуопальном положении уважаемого, но устраненного от непосредственного командования офицера. Его пасынок Толя по совершенно пустяковой истории (будучи студентом перед войной, он издавал рукописную газетку под названием «Уря!») попал в лагерь. Когда началась война, отчим-генерал, учитель ряда молодых маршалов, сумел вытащить своего пасынка из лагеря и отправить на фронт. На фронте умный, смелый и чрезвычайно художественно одаренный Толя быстро дослужился до лейтенанта, нахватал орденов, а когда кончилась война, решил организовать фронтовой театр. Пользуясь поддержкой некоторых генералов, он получил разрешение и собрал вокруг себя человек пятьдесят очень талантливых ребят. Армия — как Ноев ковчег. В ней всякой твари по паре. Нашелся превосходный скрипач, несколько профессиональных аккордеонистов, замечательный жонглер. Его коронным номером было ходить по канату, держа на носу тяжелый стол; канат был натянут так, чтобы проходил над первым рядом, где сидел генералитет и штаб, и шик был в том, что он все время как бы ронял тяжелый стол с двумя тумбами и потом возвращал его в исходное положение. Как-то раз, когда он блестяще проделал свой номер и, наконец опустив стол, раскланивался, комбриг вскочил в бешенстве и закричал: «Пять суток ареста!»

В этом доморощенном театре я исполнял роль художника — писал декорации. Когда мы ставили какие-то сцены из античного театра и в глубине были установлены изготовленные мною декорации, изображающие античных богинь, то начальник политотдела, думая, что это мы выгребли из запасов немецкого театра в подвале, сказал: «А эту немецкую ... — убрать немедленно». А когда я доложил, что это не немецкое, а я вчера рисовал, он, приоткрыв рот, сказал: «Это ты рисовал — ну, даешь!»

Так мы создавали очаг искусства в несколько необычной ситуации. Были и накладки. Толя картинно изображал заикание, и это был его коронный номер. Однажды он не учел, что аудитория в госпитале, куда нас привезли, — контуженые, из которых многие заикались. После блестяще проведенного номера его чуть не побили и ему пришлось прятаться.

Несмотря на все эти «веселости», переживания были очень тяжелые — мы все рвались домой и вместе с тем понимали, что мы отвыкли от той жизни, которая нас ждет, не имеем никакой профессии и едем в неизвестность.

Опасения наши, к сожалению, во многих случаях оправдались. Среди нас был ростовский парень — прирожденный артист, с великолепной трагической мимикой и каким-то от Бога данным артистическим жестом. Еще в армии он пристрастился пить эфир и вскоре после демобилизации, как нам писали, умер.

Наконец пришла и демобилизация.

37

По пути я встретился с сыном дворничихи нашего дома. Он попал в плен, но, по счастью, когда фронт развалился, из пленных был призван в армию (это бывало очень редко, как правило, их ссылали сразу в лагерь) и демобилизовался как солдат. Мы приехали в Ленинград глубокой ночью, вагон остановили где-то на запасном пути, нас никто не встречал. Домой я не сообщал точного дня, потому что даты возвращения указать было невозможно, а волновать даром не хотел. Мы остановили первую же машину — это оказалась «скорая помощь». Деньги у нас были, и шофер за небольшую сумму согласился развезти нас, после того, как отвезет больного. Так в середине ночи я приехал домой. Дома все спали — меня не ждали. На другой день я поехал в университет.

Я восстановился в университете и с какой-то жадностью алкоголика принялся за работу. Из университета я бежал в Публичку и сидел там до самого закрытия. Это было совершенно ощутимое чувство счастья. Надо было определять семинар. Общим кумиром студентов был Г. А. Гуковский. Я продемонстрировал самостоятельность и не пошел к Гуковскому, а записался к тогда еще числившемуся среди молодых профессоров и не пользовавшемуся такой популярностью Н. И. Мордовченко. Но у Мордовченко, который занимался Белинским, я взял тему по Карамзину — то есть по теме Гуковского, не думая, что это кого-либо заденет. Но Гуковский, видимо, обиделся.

Ничего не переживал я в жизни увлекательнее, чем эта тогдашняя работа над статьей «Карамзин в „Вестнике Европы“». Мне очень жаль, что работа так и не была полностью напечатана и значительная часть ее потом потерялась. Карамзин декларировал, что «Вестник Европы» будет журналом полностью переводным, публикующим информацию о новейших событиях в Европе. Источники он указывал очень глухо или не указывал их вообще. Я занимался поисками источников. Было совершенно несравнимым ни с чем наслаждением сидеть в пустой комнате Публичной библиотеки, где стояли французские журналы, и рыться в них, пока не начнут выгонять. Скоро обнаружилось, что Карамзин очень неточно указывал свои источники и фактически публиковал не переводы, а очень тенденциозные пересказы, делавшиеся с отчетливой ориентацией на события русской жизни. Например, мне удалось доказать, что Карамзин откликнулся на гибель Радищева, замаскировав этот отклик под перевод с французского.

Эта оставшаяся неопубликованной статья — до сих пор у меня самая любимая.

Целые дни я проводил между полок фонда Публичной библиотеки. А между тем события развивались быстро и очень грозно. Началась кампания по борьбе с космополитизмом. Она

подкралась для меня как-то незаметно. Сначала были нападки на Эйхенбаума. Но серьезность их как-то не доходила до моего сознания. Тем более что накануне был университетский юбилей, на котором Эйхенбаум получил орден. После первых статей в газетах, воспринимавшихся мной как нелепица, к которой не стоит серьезно относиться, я повторял себе слова из «Макбета»: «Земля, как и вода, содержит газы, и это были пузыри земли». И мне казалось, что лично ко мне это никакого отношения не имеет и все «пузыри» исчезнут так же, как появились.

38

Однажды, зайдя к Мордовченко (каждое посещение для меня было событием, и прежде чем звонить в дверь, я долго стоял на лестнице и волновался), я застал его испуганно-встревоженным. Понижая голос, хотя разговор шел в его квартире, он сказал мне, что в Москве арестован еврейский антифашистский комитет. Я совершенно не понял, почему он так взволнован, мало ли кого тогда арестовывали. В дальнейшем события развертывались очень быстро по заранее подготовленной программе.

А я все бегал в библиотеку и в архив. Когда события непосредственно вошли в университетские стены и начались разгромные заседания и проработки Эйхенбаума, Гуковского, Жирмунского и других профессоров, я долго не мог понять, в чем дело (во время проведения кампании из Пушкинского Дома в университет был прислан для «подкрепления» Бабкин, корректор, ставший профессором).

Подробности разгрома университета и Пушкинского Дома достаточно хорошо изложены в материалах, собранных К. Азадовским и изданных в соавторстве с Б. Ф. Егоровым¹. Поэтому буду касаться только того, что задевало лично меня.

Пришло время распределения. Проходило оно так: комиссия собиралась в главном здании ночью (начинали работать обычно в двенадцатом часу). До этого мы стояли в коридоре и ожидали. Потом отворялась дверь (в ритуал входило, чтобы зала заседаний была густо накурена, поэтому, когда отворялась дверь, оттуда валил дым как из ада). Там сидели Бердников, Федя Абрамов (до этого он был партийный деятель и громила первый номер, потом — известный писатель²) и весь состав партбюро.

Меня вызвали, я зашел, на меня посмотрели, хотя они меня знали и я их знал как облупленных, и сказали: «Выйдите, обождите, еще рано» (зачем они меня вызвали, я так и не понял). Был проделан обряд, напоминающий когда-то выдуманный Николаем I, когда приговоренных поляков прогоняли сквозь строй в определенном порядке, так что глава восстания проходил последним и до этого должен был видеть, как забивали до смерти всех его соратников. Наша процедура была менее торжественной, но в ней были свои «пригорки и ручейки». Ленинградских девочек из «комнатных» семей без каких-либо возражений направляли в сибирские деревни или на Дальний Восток. На все это я должен был, ожидая свою очередь, смотреть. Наконец, вызвали меня, посмотрели и почему-то заговорили со мной в третьем лице: «Он пусть придет в другой раз». Кончилось дело тем, что через несколько дней меня вызвали к Бердникову и он сообщил, что мне дают возможность открытого распределения. Когда я спросил Бердникова, где моя характеристика, выданная в бригаде при демобилизации³, он, посмотрев мне своими ясными глазами

¹ О низкопоклонстве и космополитизме: 1948—1949 // Звезда. 1989. № 6.

² Когда ему нужно было сдавать кандидатский минимум по Радищеву, он меня позвал для консультации. Он поразил меня тем, что при этом все время курил, а окурки приклеивал слюной к стене и все повторял; «Да ты мне лишнего не говори».

³ Характеристика была написана дивизионным писарем, который до этого был солдатом в моем взводе и хорошо ко мне относился, командир дивизиона ее подписал, но, конечно, все хвалебные эпитеты принадлежали писарю; получалось, что я чуть ли не единолично победил фашистского зверя в его собственном логове.

39

в глаза, сказал отчетливо: «Она потерялась». Это была та цена, которую с меня взяли за открытое распределение.

Начался длительный период поисков работы. Протекал он по вполне стереотипному сценарию. Утром я отправлялся в одно из тех мест, где, как накануне я выяснил, есть вакантное место (как правило, это была школа). Директор принимал меня очень ласково, говорил, что место есть, и просил на следующий день принести заявление и заполнить анкету. Как ни странно, еще в пятидесятом году я сохранял то качество, которое, в зависимости от ориентации, можно назвать и наивностью, и глупостью. Смысл заполнения анкеты для меня, весь жизненный опыт которого был связан с войной, был совершенно неясен. Когда мой приятель, веселый циник Димка Молдавский (до войны мы с ним были на одном курсе, но он страдал пороком сердца и на фронт не попал: к этому времени он был уже аспирантом при Наумове и занимался Маяковским) при первой же встрече спросил меня: «Ты кем вернулся?» — я не понял вопроса. «Ну, с каким пятым параграфом, балда?» (Мать Димки была русской, и по паспорту он был записан русским.) После объяснения я решительно возмутился и послал его довольно далеко. Сама постановка вопроса мне казалась дикой.

Мое образование в этом вопросе завершил А. В. Западов — человек умный, насмешливый и

цинический. Когда мы с ним однажды столкнулись на филфаке, я ему пожаловался на то, что места как бы есть, но все время повторяется одна и та же странная процедура: сначала подробная и многообещающая беседа, затем просьба заполнить анкету, предложение зайти через пару дней, а после этого какой-то странный взгляд в сторону и одна и та же формула: «Знаете, к сожалению, это место у нас вчера отняли». Западов посмотрел на меня, как на идиота. Я давно не видел такого изумленного лица. «Не знаете, в чем дело?» — спросил он меня. «Не знаю». — «Знаете, сходите в зоомузей, им нужен человек с филологическим образованием, поговорите». Я отправился туда. Зайдя в кабинет к заместителю директора, толстому пожилому еврею, я сказал, что меня прислал Западов. Человек посмотрел на меня с нескрываемым возмущением: «Зачем он вас прислал? Я же ему объяснял, что у нас уже работают два еврея. Больше я взять не могу». Я повернулся и ушел. Через пару дней я встретился на улице с Западвым. «Поняли?» — «Понял», — сказал я. «Ну что ж, — сказал он, — дурень умом богатеет».

Однако запас послевоенного оптимизма (может быть, глупости?) был во мне настолько велик, что настроение у меня в этот момент было боевое и веселое. Я продолжал писать диссертацию (я написал большую статью о Пнине, которая нигде не была опубликована, хотя, как мне казалось, она имела смысл).

Кроме того, у меня завязались несколько неопределенные отношения с Зарой Григорьевной. Познакомились мы еще в бытность мою на четвертом курсе. Я в эту пору регулярно прирабатывал тем, что писал большие портреты вождей по клеточкам. То, что получалось, только отдаленно напоминало образцы, с которых я срисовывал (особенно вначале). Но это и не требовалось. Заказчики — как правило, это были майоры или полковники, руководившие военными клубами, — следили только за тем, чтобы все ордена

40

были тщательно выписаны, и, убедившись, что по этой части все в порядке, решали, что можно вешать.

Между прочим, искусство писать портреты по клеточкам я освоил еще работая в нашем армейском клубе. Для того чтобы представить, что такое сходство с военной точки зрения, расскажу следующий эпизод. После конца войны наша бригада стояла в Потсдаме. Желая уклониться от надоевшей до невозможности строевой подготовки и совершенно бессмысленных после окончания войны тренировок в развертывании огневых позиций, я, как уже говорилось, устроился художником в клуб. Моим напарником был мой близкий друг Хачик Галюмерян — действительно талантливый художник и очень славный парень. С ним мы и освоили искусство рисования портретов по клеточкам.

Однажды нам сообщили, что в клубе будет собрание, на котором выступит кандидат в Верховный Совет от группы оккупационных войск, и что это — Абакумов. Имя это, пугавшее тогда даже самых смелых людей, мне ничего не сказало. В повести Тынянова есть фраза, объясняющая, почему приговоренного к сечению поручика не ведут на эшафот, ставя вместо него пустые козлы: «Преступник секретный, тела не имеет». Абакумов был отчасти секретным начальником. На обязательных по ритуалу плакатах с портретом и биографией кандидатов была какая-то совершенно непонятная мутная клякса. С нее следовало скопировать портрет в три метра высотой. Даже ордена нельзя было разобрать, но они были перечислены в печатной биографии. Мы разбили эту кляксу на квадратики и нарисовали что-то абсолютно невозможное. По тогдашней простоте нравов в клуб, в котором Абакумов должен был выступить перед избирателями, нас беспрепятственно пропустили на наши обычные места (за мной числилось еще и освещение зала). Когда Абакумов вышел на трибуну, мы с Хачиком переглянулись и чуть не упали. Ничего даже отдаленно похожего на нашу кляксу перед нами не было. Однако, при нашей тогдашней бесшабашности, это нас не испугало, а только рассмешило. Хачик, со своим легким армянским акцентом, который он в комические моменты усиливал, сказал мне: «Ничего, я сейчас подойду к нему и скажу — товарищ Абакумов, дай я тебе сейчас морду на квадратики разобью, — мы живо срисуем».

Однажды ко мне после лекции подошли Зара Григорьевна с Викой Каменской, и Зара Григорьевна предложила мне для приближающейся научной конференции, посвященной Маяковскому, оформить зал, нарисовав, в частности, его портрет. Я экономил все время для научных занятий, которым предавался со страстью алкоголика, тянувшегося к бутылке. Участвовать в подобных мероприятиях отнюдь не входило в мои планы. Сильно заикаясь (работая артиллеристом на телефоне, я выработал правильное дыхание и почти не заикался, но оказавшись после демобилизации «на гражданке», я вдруг обнаружил, что в разговоре с девушками или незнакомыми людьми заикаюсь так сильно, как никогда доселе; на заседании кружка я однажды должен был прервать доклад и уйти со сцены), я объяснил Заре Григорьевне, что рисую только за деньги. Ее комсомольский энтузиазм был ошарашен таким цинизмом, и она отошла от меня со слезами на глазах, громко произнеся: «Сволочь усатая!» Это было наше первое объяснение.

41

Следующий наш контакт был еще менее удачным. На студенческой научной конференции, посвященной Белинскому, Зара Григорьевна, с присущей ей тогда кавалерийской дерзостью, решила сделать доклад на тему «Белинский и романтизм». Доклад вышел неудачный, практически

провалился. Марк Качурин со свойственной ему пронизательностью мягко указал на то, что саму концепцию романтизма докладчица извлекла не из материала, а из распространенных штампов. Столь же принципиально, со всегдашней для него тактичностью, высказался Н. И. Мордовченко. Меня же черт понес выступить в качестве защитника, и я, сильно заикаясь, произнес несколько либеральных фраз о том, что, с одной стороны, конечно, так, а с другой стороны, нельзя не оценить... Докладчица мужественно перенесла всю критику. Но моей защиты перенести не могла и убежала в женскую уборную, куда за ней торжественно воспроществовали все девушки. Конечно, тактичность требовала, чтобы я просто удалился. Но я решил, что моя должность мужчины требует утешить, то есть самое худшее, что я мог придумать. Я дождался, пока Зара Григорьевна и другие дамы покинули убежище, и навязался провожать их до дому. (Эпизод этот мы позже вспоминали как критерий полного идиотизма, он стал одной из наших семейных легенд.)

В дальнейшем отношения наши исправились, и накануне ее госэкзамена я был приглашен как консультант, который должен был за ночь «накачать» Зару, Вику и Людю Лакаеву сведениями по XVIII и XIX векам (они были поклонницами Д. Е. Максимова, занимались Блоком и ничего, кроме Блока, знать не считали достойным, зато Блока знали в совершенстве).

До своей поездки в Тарту я исходил ногами не только огромные пространства Союза, но и пересек Польшу, Германию и Прибалтику. Однако ощущение границы для солдата совершенно иное, чем для штатского человека. Как сказал в одном месте Лев Толстой, солдат, даже если он пересечет весь мир, все время находится в одном полковом пространстве: все тот же фельдфебель, все та же батальонная собачка, все те же обязанности и интересы. Даже когда в различных перипетиях, в многочисленных отступлениях и окружениях приходилось иногда оставаться одному и сотни километров следовать в одиночестве в поисках своего полка, образ полка постоянно присутствовал и был как бы тем стеклом, сквозь которое просматривался весь остальной мир: направление, задачи, характер действий — все было предreshено. И если приходилось проявлять большую концентрацию индивидуальной воли, то направлена она была на то, чтобы опять влиться в это пространство.

Теперь создалась принципиально иная обстановка. Необходимо было самому решать свою судьбу. Мы ушли в армию мальчишками, вернулись взрослыми мужчинами. Мы научились ответственности. В определенных стереотипных обстоятельствах мы безошибочно знали, что нам следует делать, чтобы быть честными людьми. Но теперь мы оказались в совершенно других обстоятельствах, для которых у нас не было выработано никаких стереотипов. Мы привыкли быть взрослыми и принимать самые ответственные решения, а вместе с тем мы обладали опытом детей и к стандартным ситуациям были совершенно не готовы. А обстоятельства бросили нас в политическую ситуацию второй половины сороковых годов, категорически требовавшую

42

выбора поведения и индивидуальной ответственности. Одна из особенностей была в том, что когда ледоход времени раскалывал и разносил льдины, то очень часто на разных льдинах оказывались люди, все еще не забывшие совсем недавних фронтовых связей.

Нечто аналогичное отразилось на моих отношениях с Георгием Петровичем Бердниковым. Бердников — однокурсник моей сестры Лиды, Макогоненко и Кукулевича — в студенческие годы находился почти в нищете. Он наверняка не смог бы удержаться на студенческой скамье, если бы не Г. А. Гуковский. Гуковский заметил способного и зажатого нищетой и политическими трудностями студента и по законам, обязательным для старой профессуры, приложил все силы, чтобы помочь ему. Он оказывал Бердникову материальную помощь и помог ему превратить курсовую работу в статью и опубликовать ее в студенческом томе Ученых записок факультета.

На новый сороковой год Лидина группа традиционно собралась в нашей огромной квартире, и я, как это часто бывало, терся среди студентов. Я помню, как, когда часы проббили двенадцать, Бердников поднялся с бокалом в руках¹ и произнес: «Ребята! Мы же люди сороковых годов! Выпьем за сороковые годы!» И все дружно выпили. Действительно, начались сороковые годы.

После войны, в университете, я снова встретился с Бердниковым. Я восстановился на втором курсе, он — в аспирантуре. Мы оба ходили в гимнастерках, только на его погонах были капитанские звездочки. На войне он служил в штабе пехотного полка, и думаю, что воевал хорошо. Это, а также его частые бивания у нас дома, его женитьба на Тане Вановской, прелестной, милой девушке, подруге и однокурснице Лиды (к которой я, помню, был неравнодушен), придавали некоторый оттенок нашим отношениям даже тогда, когда он начал свой головокружительный карьерный путь. Могу, стараясь сохранить объективность, сказать, что Бердников был не глуп, жесток только в той мере, в какой это было необходимо ему для карьеры (в этой ситуации он был беспощаден), уничтожал людей по холодному расчету, но без удовольствия, — а это, знаете, очень много. При первой возможности старался хоть чуть-чуть отмыть свои руки. Так, например, сделавшись потом директором театрального института (не имея ровно никакого отношения ни к театру, ни к научному направлению института, но обладая статусом, при котором он мог быть директором не важно уже чего), он постарался вернуть на работу кое-кого из выгнанных в эпоху борьбы с космополитизмом, например Я. С. Билинкиса, и даже прослыл в ленинградских театрально-гуманитарных кругах прогрессистом. На самом деле он

был умный, абсолютно беспринципный человек, который ясно понимал, что весь идеологический шабаш продлится недолго и те, кто сейчас так быстро по чужим костям взмывают вверх, так же быстро свалятся вниз. Интуиция его не обманула. Для себя он хотел другой судьбы и добился ее, и сделавши несколько очень крутых поворотов, благополучно дожил свой век.

¹ Бокалы были наши семейные, старинные, но что пили из них — представления не имею, помню только, что шампанского, конечно, не было.

43

Передо мной были две возможности: продолжать искать работу в Ленинграде, стучаться в закрытые для меня двери или плюнуть и, сбросив со стола карты, начать какую-то совершенно другую игру. И я выбрал второе. На одном курсе со мной училась милая ленинградская девушка Оля Зайчикова. Отношения наши заключались в том, что мы иногда болтали, встретившись в библиотеке или в коридорах филфака. Ее жених погиб на войне, отношения наши были милые, но довольно далекие. Однажды встретившись с Олей, мы заговорили о наших делах, и она, узнав, что я долго и безуспешно ищу работу, что мне это в высшей мере обрыдло, что я хочу плюнуть и уехать куда-нибудь из Ленинграда (я тогда видел перед собой деревенскую школу и заранее собирал побольше книг, которые можно было увезти), предложила мне позвонить в Тарту, в тот же учительский институт, куда была назначена она и где, как она знала, было незанятое место по русской литературе. Я позвонил директору института Тарнику. Он, выслушав все мои анкетные данные, сказал, что я могу приехать.

Одевшись в слегка перешитый отцовский черный костюм, единственный мой «праздничный», я поехал в Тарту, где остался на всю остальную жизнь.

Незнание языка и обстановки, а также бессовестная глупость, которая сопровождает меня на всем протяжении жизни, помешали мне увидеть трагичность той обстановки, в которую мы попали. Я искренне воспринял ситуацию как идиллию: работа со студентами доставляла огромное удовольствие, хорошая библиотека позволяла энергично продвигать вперед главы диссертации, в основном уже написанной, дружба с кругом молодых литературоведов, в эту пору обитавших в Тарту, — все это создавало у меня ощущение непрерывного счастья. Четыре — шесть часов лекций в день не утомляли, а неожиданно сделанное открытие, что по ходу чтения лекции я способен прийти к принципиально новым идеям и что к концу занятий у меня складывались интересные и неизвестные мне вначале концепции, буквально окрыляло.

Диссертация была фактически написана еще в студенческие годы и сразу после окончания университета я подал ее на защиту (это, кажется, было воспринято как нахальство, но, честное слово, это была просто наивность).

Оппонентами были П. Н. Берков и А. В. Предтеченский. К моменту защиты кандидатской у меня уже практически была готова докторская. На это время приходится важные события моей жизни. Я перешел на работу в университет (количество студентов росло, и появилось добавочное вакантное место; ректор Ф. Клемент предложил мне его). И я женился. Зара Григорьевна переехала в Тарту (мне пришлось при этом преодолеть ее отчаянное сопротивление: она не хотела бросать свою школу и собиралась, как я ей ехидно говорил, «строить социализм в одном отдельно взятом классе»).

Оформление наших отношений было совершенно в духе комсомольского максимализма Зары Григорьевны. Мы отправились в загс «оформлять наши отношения». Ни я, ни Зара Григорьевна не рассчитывали, что там придется снять пальто. Но на мне все-таки был «лекционный» костюм (на семейном языке называвшийся «дым и мрак» — левый рукав его был закапан стеарином, потому что по вечерам выключали свет и работать приходилось при зечке). Праздничных платьев у Зары Григорьевны не было вообще (мещан-

44

ство!). А было нечто, «исполняющее обязанности», перешитое из платья тети Мани — женщины вдвое выше и полнее Зары Григорьевны.

Мы пришли в загс. «Пришли» — это не то слово: я буквально втащил отчаянно сопротивляющуюся Зару Григорьевну, которая говорила, что, во-первых, она не собирается переезжать в Тарту и бросать своих школьников Волховстроя, во-вторых, что семейная жизнь вообще мещанство (подруга Зары Григорьевны Люда резюмировала эти речи язвительной формулой: «Личное — взад, общественное — вперед!»). В загсе нас ожидал исключительно милый эстонец, занимавший эту должность при всех сменявшихся режимах и, как большинство интеллигентов того возраста и той поры, очень хорошо говоривший по-русски. Прежде всего, он поразил нас решительным ударом, предложив снять пальто. На Зару Григорьевну неожиданно напал приступ смеха (отнюдь не истерического, ей действительно была очень смешна эта «мещанская» процедура). Заведующий загса печально посмотрел на нас и с глубоким пониманием произнес: «Да, в первый раз это действительно смешно!» После этого мы устроили брачный пир, пригласив Шаныгина, работавшего в университете на кафедре доцентом. (В его комнате я провел несколько месяцев, пока не получил небольшое отдельное помещение.)¹ Он состоял из двух стаканов кофе на каждого и целого блюда булочек со взбитыми сливками — vastlakuklid.

Меня поселили в комнате в «уплотненной» квартире директора продуктового магазина — исключительно милого человека. Эстонец, он был женат на латышке и дома разговаривал по-

русски. Жена его была настоящая дама, никогда не работала и вела образ жизни самый светский. Квартиру она содержала в идеальном порядке и каждый день вытирала пыль белой тряпкой. Наша комната, заваленная книгами и отнюдь не сверкавшая аккуратностью, вызывала у нее брезгливое отвращение. Но хуже стало, когда у нас родился сын, а затем появилась нянька Степанида² из-под Пскова, которая немедленно развела таких больших и страшных тараканов, каких я ни до, ни после никогда в жизни не видал.

Перед нами закрыли двери кухни, и нам пришлось готовить уже на четверых, включая грудного младенца, на керосинке в коридоре. При этом Степанида неизменно засыпала, предварительно уничтожив все запасы съестного, а керосинка постепенно начинала коптить. Когда мы прибегали с лекции, войти уже было невозможно. Миша сидел почти как негртенок, Степанида спала³, а соседка лежала в обмороке.

¹ Шаныгин был убежденный холостяк. Мы никогда не убрали — пол был по щиколотку засыпан мусором. Он обзванивал знакомых дам, произнося при этом всегда один и тот же текст: «Юленька! (или Танечка. Сашенька и проч.) Я не спал три ночи (он отличался завидным сном и ужасно храпел). Я раскрыл перед собой свою душу и понял: нет-нет, я вас не достоин. Вы — чистая и святая!» После этого в трубке раздавалась либо готовность пасть с вершин святости, либо возвести и его на них, но он продолжал: «Вы не знаете всей меры моей испорченности. Прощайте — навек».

² Анахронизм — Степанида Тимофеевна была гораздо позже: как звали эту няньку, я не помню. (Примеч. М. Ю. Лотмана).

³ По словам родителей, просыпаясь, нянька бросалась на керосинку с неизменной формулой: «Холера — здынулась!» (Примеч. М. Ю. Лотмана).

45

Но жили мы очень весело: много работали, много писали и постоянно встречались в небольшом, но очень тесном и очень дружественном кругу. Я полностью перешел в университет, Зара Григорьевна работала в учительском институте.

В это время в Тарту приехал Б. Ф. Егоров. Жену его Соню — химика — ректор Клемент пригласил в Тарту. Борис Федорович учился на пятом курсе авиатехнического института, но на пороге окончания, предвещавшего ему хорошо обеспеченное будущее, что было совсем не пустяками в это время, имел смелость резко переменить направление своей жизни, заочно окончить ЛГУ по кафедре фольклора, прибыть в Тарту аспирантом-фольклористом Герценовского института и, быстро защитив диссертацию, сделаться членом кафедры литературы. Когда Б. В. Правдин ушел на пенсию, Егоров принял кафедру. Он перевел в Тарту на открывшуюся после ареста Адамса вакансию своего друга — молодого, исключительно талантливого Я. С. Билинкиса.

В Тарту сложилась небольшая, но интенсивно работавшая и постоянно обменивавшаяся дискуссиями на теоретические и историко-литературные темы группа. Мы очень часто собирались и часами спорили. Особенно острыми были дискуссии между мной и Билинкисом. Меня, получившего со студенческих лет закалку формалиста, привлекали структурные идеи. Борис Федорович тоже к ним тяготел. Зато со стороны Билинкиса они вызывали резкое неприятие: он называл их дегуманизацией гуманитарных знаний и защищал принципиальный интуитивизм. Исключительно талантливый лектор, он хотел бы и в науку внести вкусовую импровизацию.

В целом мы жили в напряженной и исключительно привлекательной атмосфере. Если же вырывались в Ленинград или в Москву, то только для того, чтобы по уши влезть в архивы.

В доме, в котором мы жили (я, Зара Григорьевна и дети), по тогдашней тартуской манере двери никогда не запирались. В Тарту это не было исключением. Войдя с улицы через крошечную прихожую, можно было пройти прямо в самую большую из наших комнат, в которой помещалась столовая, приемная для гостей и мой кабинет.

Утром одного из воскресений, когда я, Зара Григорьевна и дети сидели за завтраком, кто-то энергичными шагами вошел с лестницы и кулаком постучал в дверь. В дверях стоял высокий человек с энергией в лице и фигуре, которая выражала полную готовность вступить в драку. Нас осаждали заочники. Провалившись на экзамене, они часто не уезжали, потому что командировочные им оплачивали только при условии полной успеваемости. Я решил, что это очередной двоечник, который будет сейчас доказывать, что тройку он заслужил. Однако ситуация оказалась иной.

Вошедший представился. Это оказался в ту пору только что прогремевший своей первой повестью «Один день Ивана Денисовича» Солженицын. Не помню, как он представился, но и из слов, и из жестов вытекало, что он приехал бить мне морду. Для того чтобы объяснить ситуацию, придется немножко вернуться назад. В это время наши старшие курсы были достаточно

46

сильными. Зара Григорьевна увлеченно пользовалась несколько расширившимися возможностями вносить в программу новации. Курс советской литературы быстро делался интересным. «Лауреатов» удалось потеснить и за их счет частично ввести эмигрантскую литературу и репрессированных писателей. Все это было совершенно ново. Ни в Ленинграде, ни в Москве ничего подобного не было.

Так, на кафедре образовалась небольшая группа студентов, активно под руководством Зары Григорьевны изучавших творчество Булгакова. Один из них, подававший большие надежды, очень

способный молодой человек из местных русских, но с детства алкоголик и клептоман (что нам было неизвестно), был участником этих занятий. С рекомендацией Зары Григорьевны и моей, он был гостеприимно принят Еленой Сергеевной Булгаковой и допущен к чтению по машинописной копии еще не опубликованного тогда романа «Мастер и Маргарита». Через некоторое время он стал появляться на кафедре с машинописью этого романа (это был не первый экземпляр, но с карандашной авторской правкой). Он заверил, что получил эту рукопись легальным путем от Елены Сергеевны.

Дальше разыгралась совершенно булгаковская история. Елена Сергеевна взволнованно сообщила нам, что экземпляр «Мастера и Маргариты» выкраден, что она крайне тревожится, поскольку ведет переговоры с Симоновым о публикации (переговоры довольно безнадежные и затянувшиеся, но не прекращавшиеся), и что если рукопись ускользнет за границу и там будет опубликована, то это навсегда (тогда казалось, что навсегда) закроет возможность издания ее в СССР. Я поехал к упомянутому студенту домой — он жил на самом краю Тарту в плотном, совершенно купеческом доме, построенном, вероятно, в десятые годы, с богатым фруктовым садом и высоким забором с запиравшейся калиткой. Первое, что мне бросилось в глаза, — на полках большое количество пропавших у меня книг. Я повел себя несколько театрально, в духе маркиза Позы, о чем сейчас, может быть, стыдно сказать, но из песни слова не выкинешь. Я сделал театральный жест и произнес голосом шиллеровского героя: «Вам нужны эти книги? Я вам их дарю!» (конечно, надо было себя вести проще, но тогда я себя повел так; видимо, именно эта театральность произвела некоторый эффект). После этого я повернулся и опять-таки голосом маркиза Позы сказал, кажется, что-то в таком духе: что если в его душе есть остатки чести, он должен до вечера принести мне рукопись Булгакова, что шарить у него и делать обыск я не собираюсь. После этого я ушел.

Похититель, которого я ждал дома, не появлялся. Ночью (Зара Григорьевна и дети уже спали) я сидел у настольной лампы в темной комнате и ждал. Где-то около двух часов на лестнице раздались шаги. Через незапертую дверь просунулась рука и на стол в прихожей упало письмо (в моем архиве это письмо должно быть). После этого шаги удалились и дверь захлопнулась.

Письмо было совершенно ужасное. Такое письмо могла бы написать смесь Свидригайлова с Мармеладовым. Оно было покаянное, с отвратительными подробностями, с каким-то добавлением юродства, совершенно в духе Достоевского. Письмо сообщало, что рукопись уже отправлена Елене Сергеевне (деталь: бандероль он отправил незаказную, хотя тогда разница в стоимости исчислялась ничтожными копейками, зато незаказные часто терялись).

47

Эпизод этот закрыл его герою до этого бесспорно ему принадлежавшее место в аспирантуре. По распределению он ушел в пригородную школу недалеко от своего дома, а вскоре спился и умер. Кстати, очень красивый был парень.

И вот эта история получила неожиданное продолжение. Я уже знал от Елены Сергеевны, что вопрос исчерпан (ее задело, что отправлено было простой почтой, а мне, как невольному соучастнику всей этой грязной истории, потом было тяжело с ней встречаться, хотя никаких упреков или обвинений с ее стороны я никогда не слышал). Но оказалось, что Елена Сергеевна некоторое время не знала, что рукопись отправлена к ней. И именно в это «некоторое время» я и услышал в воскресенье энергичный стук в нашу дверь. К счастью, в первых же словах я мог успокоить Солженицына известием, что рукопись уже отправлена Елене Сергеевне и если еще не пришла, то должна прийти сегодня-завтра.

Разговор сразу принял другое направление. Я не помню, о чем мы говорили, но в центре, видимо, был «Один день Ивана Денисовича» и вопрос о возможности устройства в эстонскую обсерваторию или физический институт блестящего астронома NN, который после лагеря хотел эмпирически проверить теоретические расчеты о выделении элементов воздуха (или каких-то газов?) на Луне и о возможности каких-то форм простейшей жизни — он тогда был без работы. Расстались мы уже совершенно спокойно, и в тот же день я зашел к нему в гостиницу и мы довольно долго ходили по Тарту. Позже мы обменялись несколькими письмами. К сожалению, больше встреч у нас не было.

* * *

В конце шестидесятых годов в Тарту часто приезжала Наталья Горбаневская с сыном (он ровесник Леше). Мы с нею уже были знакомы, и мне нравились очень ее стихи, и между нею и нашим домом установились очень близкие отношения. Летом она жила у нас на даче и в Тарту у моей племянницы Наташи. В своем стиле она держалась подчеркнуто бесстрашно. Делала на квартире встречи конспиративного характера, хотя конспирацией этого назвать было нельзя — она ее в корне презирала. За нами уже очень следили, она это знала и сознательно этим бравировала.

В результате мы прожили очень бурное и бурно-веселое лето. Осенью Горбаневская принесла мне целую пачку каких-то листов и сдала на хранение. У меня в кабинете была высокая печка: я на нее все и положил. Грешный человек, я до сих пор не знаю, что там было, поскольку в чужих бумагах рыться не люблю. Не помню через сколько недель (Горбаневская уже уехала в Москву) рано утром позвонили, я открыл двери, и в квартиру, не представляясь и не спрашивая

разрешения, вошло человек двенадцать¹. Некоторых из

¹ Число участников обыска и их грубость несколько преувеличены. Хотя я сам в это время не был в Тарту, сужу по свежим рассказам. Формула, с которой они вошли к нам, стала в нашей семье крылатой: «С Новым годом, Юрий Михайлович, с новым счастьем. Вы меня, наверно, не помните: я — К., работник прокуратуры. Вот, пришли к вам с обыском». Дело происходило в начале января 1970 г. (Примеч. М. Ю. Литмана).

48

них я знал. Один был муж моей ученицы, известный пьяница, — потом он специально заходил, извинялся передо мной и расписывал, как ему было стыдно принимать участие в обыске. При этом от него пахло водкой, а она, как известно, пробуждает совесть¹. Но, видно, дело было не только в водке. Некоторое время спустя он ушел из прокуратуры и перешел на гораздо менее престижную должность юристконсульта.

Вошедшие начали деловито обыскивать квартиру. Их было очень много, и они наполнили все комнаты. Комнат было три. Первую — самую большую — занимала моя библиотека. Библиотека захватила также и вторую комнату, которая была нашей спальней и кабинетом Зары Григорьевны. А третья была детская. Между прочим, в детской на столе лежал свежий продукт романтических игр Алеши, которому было лет десять, и его приятеля, сына рижского профессора Сидякова (он в это время жил у нас постоянно). Юра Сидяков, зачитывавшийся в эту пору рыцарскими романами и Дюма, организовал «Общество физического уничтожения князей зла и врагов рыцарства». Вскоре один из гостей с торжеством принес мне бумагу и препротивным голосом потребовал, чтобы я объяснил, кто организовал общество, кто в него входит и какие цели общество преследует. Кстати, вид бумаги был настолько очевидно детским, а среди гостей все-таки оказались несколько не лишенных элементарной сообразительности людей, что бумагу не включили в протокол и в дальнейшем в деле она не фигурировала.

Между тем гости занялись исключительно кропотливым и совершенно неперспективным трудом. Они начали вытаскивать книгу за книгой и листать, что, очевидно, вскоре им надоело. Я чувствовал себя поганом, поскольку напряженно ожидал, когда же они доберутся до рукописей Горбаневской.

Что же касается Зары Григорьевны, то она, сидя за столом в этой наполненной неприятными гостями комнате, спокойно читала корректуры. Она была действительно поразительно смелый человек, я за всю жизнь не видел ее испуганной.

Уже темнело. Зара Григорьевна, которая демонстративно, даже гораздо более аккуратно, чем обычно, поддерживала обычную семейную жизнь, дала мне и детям ужин. Кагэбэшники смотрели голодными глазами, как мы посреди их толпы закусываем. Может быть, это сыграло решающую роль в том, что, когда необысканной осталась одна только печка, на которой лежал архив Горбаневской, начальник, пробурчав что-то не очень печатное, что можно передать формулой «ничего нет», предложил мне подписать протокол, что я сделал только после того, как они согласились вписать фразу, что ничего запретного обнаружено не было, и представить полный список изъятых

¹ Есть такая народная черта: негодай, а как напьется, придет каяться. Так было и с С. — напьется и придет: «Юрка, я — негодай, я — мерзавец, я — стукач. Но на тебя (на «ты» он обращался ко мне тоже только спяну) я никогда не стучал». Когда КГБ не смогло на кафедре никого нанять, С. взял на себя эту функцию, и это была с его стороны жертва. Но и на кафедре, и лично мне он помогал. Однажды, когда нас очень грызли, он мне сказал: «Решения разогнать не было».

49

бумаг (изъяты были пишущая машинка и машинописи уже опубликованных статей по семиотике)¹.

Недосмотренные шкафы они запечатали, шкафы простояли в запечатанном виде потом около месяца, после чего зашел господин и, выразившись самой красноречивой лексикой, просто снял печати, так и не открыв тех шкафов. Вообще общее впечатление было, что им это занятие ужасно надоело; ситуация стала типично российской, когда позже зашел муж моей ученицы и извинялся до тех пор, пока не надоел мне, а в конце предложил выпить.

Позже я узнал, что ректору по своим каналам они доложили о совсем не столь благоприятных результатах и даже включили формулу, что при обыске были изъяты документы, имеющие антисоветский характер. Это имело то последствие, что по делу Горбаневской обо мне было вынесено особое постановление, которое не влекло «дела», но и не означало оправдания. Этот хвост за мной тянулся еще очень долго и, в частности, послужил основанием тому, что длительное время мне не разрешали заграничных поездок даже тогда, когда все эти основания и все эти запреты перестали активно выполнять.

Бумаги я позже сжег, о чем и сказал Горбаневской, но это не вызвало у нее никакого интереса, поскольку и сами эти бумаги никакого особого криминала в нормальной ситуации не представляли. Литература эта называлась запрещенной, и литературу полагалось рассредоточивать по нескольким безопасным точкам у сочувствующих. Я думаю, в ее романтическом подсознании это выглядело так, что она создала такое запасное хранилище литературы.

* * *

Когда мы приехали в Тарту, «Ученые записки» почти не выходили. Единственный филологический номер содержал только одну, чисто вкусовую статью Адамса о Гоголе. Проведенный в 1958 году в Москве первый в СССР конгресс славистов сделался предлогом, благодаря которому мы получили согласие Клементя на издание целого тома. Это был первый выпуск «Трудов по русской и славянской филологии» — так мы назвали новую серию. Одновременно мне удалось пробить выход монографии, посвященной жизни и творчеству А. С. Кайсарова. Этот труд отнял у меня много времени и сил, но вернее сказать — не отнял, а подарил мне очень много действительно счастливых минут. Так начались тартуские издания по славистике.

¹ В действительности, здесь была еще пара сюжетов. Во-первых, кроме бумаг Горбаневской были и свои — «Доктор Живаго», «Четвертая проза», стихи Бродского и проч. (в Москве на это могли бы посмотреть сквозь пальцы, но в провинции считалось большим криминалом). Во время обыска отец спокойно вынул их из разных мест, положил в портфель и ушел «на работу». Во-вторых, кроме Н. Горбаневской у нас — на второй квартире, где после смерти маминой тети жила моя двоюродная сестра Наташа, — часто жила Г. Суперфин и какие-то свои бумаги то ли оставил, то ли забыл там. Обыск проводился на обеих квартирах одновременно, но на второй гэбисты вели себя гораздо более нагло. О тщательности же обыска я сужу по такой детали. Когда я приблизительно через неделю зашел в совершенно разгромленную вторую квартиру, то подобрал первую же попавшуюся бумажку — это была машинописная копия секретного приложения к договору Молотова — Риббентропа (до сих пор храню эту бумагу). (Примеч. М. Ю. Лотмана).

50

Издание первого тома «Записок» было мотивировано конгрессом славистики, однако в дальнейшем (и тут следует сказать спасибо ректору Клементу) нам удалось de facto завоевать себе право на ежегодное издание целого тома «Трудов по русской и славянской филологии», причем в значительно расширенном объеме. А через некоторое время мы добились разрешения на основании еще одной самостоятельной серии — серии семиотических трудов, которые сделались одним из основных дел нашей — Егорова, Зары Григорьевны и моей — жизни...

Слово «семиотика» почему-то дразнило наших московских оппонентов — нападки на это направление велись с двух сторон: с одной — нас обвиняли в деполитизации науки, а с другой — в ее дегуманизации, причем оппоненты часто соединяли свои фронты и в статьях одних и тех же авторов можно было прочитать, что «тартуская школа дегуманизирует литературоведение и обрекает его на безыдейность». Центрами «гуманизма» были ИМЛИ и советский отдел Пушкинского Дома.

Мы действовали по крыловскому принципу: «полают и отстанут». За всю свою научную деятельность, написав и опубликовав несколько сотен работ, я ни разу не отвечал ни на одну из полемических нападок. Это делалось не из «высокомерия», в чем меня неоднократно обвиняли оппоненты, а из-за того, что всегда приходилось экономить время и бумагу. Зара Григорьевна, Борис Федорович и я договорились о таком принципе: на каждый выпуск смотреть как на последний. Действительно, мы всегда исходили из возможности полного разгрома и ликвидации издания. От этого, с одной стороны, напряженная интенсивность работы, с другой — иногда нарушение стройности композиции: в статью приходилось вставлять то, что в более спокойных условиях можно было бы превратить в отдельную публикацию.

Научное творчество в эти годы развивалось исключительно быстро, особенно в Москве и Ленинграде. В Москве вокруг Вяч. Вс. Иванова возник целый круг молодых и исключительно талантливых ученых. Это был какой-то взрыв, сопоставимый лишь с такими культурными вспышками, как Ренессанс или XVIII век. Причем эпицентром взрыва была не русская культура, а индология, востоковедение вообще, культура средних веков. Необходимо было научное объединение, но это было нелегко. Тартуский и московский центры шли из разных точек и в значительной мере разными путями. Московский в основном базировался на опыте лингвистических исследований и изучении архаических форм культуры. Более того, если фольклор и такие виды литературы, как детектив, то есть жанры, ориентированные на традицию, на замкнутые языки, считались естественным полигоном семиотики, то возможность применения семиотических методов для сложных незамкнутых систем, типа современного искусства, вообще подвергалась сомнению.

На первой Летней школе на эту тему произошла очень острая дискуссия между мной и И. И. Ревзиным (употребляя слово «острая», я хочу сказать о напряжении в отстаивании научных принципов, которое, однако, не только не препятствовало сразу же сложившимся между нами отношениям чрезвычайной теплоты и уважения, но как бы подразумевало такой фон). Ревзин, гениальный лингвист (я без всяких колебаний употребляю эту оценку), слишком рано умер, именно в тот момент, когда он находился на пороге принципиально новых семиотических идей. Но в первой Летней школе он решительно

51

отстаивал неприложимость семиотических методов к индивидуальному творчеству, ограничивая их пределами фольклора. Идея о неразрывной связи, которая существует между семиотическими методами и замкнуто-традиционными структурами в дальнейшем наиболее последовательно развивалась А. К. Жолковским и Ю. К. Щегловым, обусловив их интерес к

детективу как к структуре, в которой законы языка значительно доминировали над текстами. В дальнейшем, правда, и эти исследователи сконцентрировали свое внимание на творчестве Ильфа и Петрова, а затем, еще более расширив текстовое пространство, переместили значительную часть своих интересов в область нарушения правил. Однако вначале их интересы были именно в этой сфере.

Непосредственное столкновение разных школ и, более того, разных ученых, отличавшихся индивидуальными научными особенностями, областями научного опыта, большей или меньшей ориентацией на традицию или личностное искусство, оказалось исключительно плодотворным, и дальнейшее развитие семиотических исследований многим обязано этому счастливому сочетанию.

Включение, начиная с третьей Летней школы, в тартускую группу Б. М. Гаспарова еще более обогатило общее движение, поскольку принцип разнообразия в единстве получил новое и яркое подтверждение.

Я уже сказал, что на каждый новый том и на каждую Летнюю школу мы смотрели как на последнюю. Это не риторическая фигура. Научное движение совершалось на фоне обстановки, к которой вполне были применимы слова Пастернака:

А в наши дни и воздух пахнет смертью:

Открыть окно — что жилы отворить¹.

На этом фоне складывались две культурные ориентации. Одна, представленная Б. М. Гаспаровым, как бы продолжала установку Пастернака — замкнутость, стремление «не открывать окна». Философия «башни из слоновой кости» была для Б. М. Гаспарова принципиальной (что, кстати, резко противоречило его таланту превосходного лектора, любящего и умеющего овладевать аудиторией). Что же касается З. Г. Минц, Б. Ф. Егорова и меня, то мы стали принципиальными «просветителями», стремились «сеять разумное, доброе, вечное».

Змея растет, сбрасывая кожу. Это точное символическое выражение научного прогресса. Для того чтобы остаться верным себе, процесс культурного развития должен вовремя резко перемениться. Старая кожа делается тесной и уже не защищает, а тормозит рост. На протяжении научной жизни мне вместе с тартуской школой приходилось несколько раз сбрасывать старую кожу. Самый близкий пример — это трудности ее теперешнего состояния, когда почти весь состав переменялся, пополнившись новым поколением. А старое поколение заметно сходит со сцены. Как бы ни были грустны отдельные моменты этого процесса, он не только неизбежен, но и необходим. Более того, он был как бы заранее запрограммирован нами. Остается лишь надеяться, что, сбросивши кожу, змея, меняя окраску и увеличиваясь в росте, сохранит единство самой себя.

¹ *Пастернак Б. Рояль дрожащий пену с губ оближет... // Пастернак Б. Избр.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 136.*

52

Двойной портрет¹

Эту статью Ю. М. Лотман диктовал в декабре 1992 года. По замыслу автора в нее должны были войти сравнительные описания его университетских преподавателей: Б. В. Томашевского и Г. А. Гуковского, М. К. Азадовского и В. Я. Проппа, Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского. Предполагалось, что она будет включена в сборник статей 1991—1993 годов. Однако, через некоторое время Юрий Михайлович решил, что воспоминания не представляют научного интереса, и работа осталась незавершенной. Некоторую ее часть автор считал возможным напечатать вместе с «Не-мемуарами». Статья публикуется полностью (по черновой рукописи), отдельные хронологические неточности не оговариваются. В подготовке текста к печати приняли участие Л. Н. Киселева и М. Ю. Лотман.

Т. Д. Кузовкина

Томашевский и Гуковский

Сжатую характеристику ученого обычно ограничивают перечнем его сочинений и концепций. Когда мы говорим о Томашевском, такое описание было бы значимым и богатым. Но оно не было бы полным. Томашевский-ученый неотделим от яркого, незаурядного облика Томашевского-человека. Всякий рассказ о нем в сжатой форме энциклопедического справочника пройдет мимо некоторой доминирующей черты этой исключительно нестандартной, самобытной личности. Он был выдающимся знатоком французской литературы и высшей математики, непревзойденным авторитетом в текстологии и обладал совершенно уникальной способностью читать трудные почерки². Можно было бы продолжить список его разнообразных научных способностей и интересов, однако при личном знакомстве с ним поражаало не только это, а тот труднообъяснимый комплекс благородных мужских качеств, который составляет шарм высшего тона военного человека. Булат Окуджава в стихотворении, посвященном Пушкину, писал:

*Он красивых женщин любил
любовью не чинной,*

¹ Впервые: Лотмановский сборник. 1. М, 1995. С. 54—71.

² Сейчас существует ряд технических средств для того, чтобы прочитывать густо замазанные и

зачеркнутые строки. Томашевский в них не нуждался: только прищурив глаза, читал любой зачерненный текст. Мне, тогда еще начинающему филологу, он говорил: «Это же очень просто. Зачеркивающий бессознательно следует определенной логике. Видите, он нанес ряд густых черточек наискось слева направо. Умственно снимите их. Это можно сделать, потому что они повторяются в правильном узоре. Под ними такая же цепь черточек справа налево. Снимите и их. Видите, перед вами совершенно ясная, незачеркнутая строка». Я сознательно привожу этот пример — в нем проявилась железная логика и одновременно сильно развитое воображение. Редкое сочетание этих качеств составляло творческий принцип Томашевского.

53

и даже убит он был
красивым мужчиной¹.

Можно спорить о том, так ли следовало характеризовать Дантеса, но сама мысль о распространяющейся вокруг Пушкина ауре мужской энергии справедлива. Эта же аура была и у одного из самых замечательных людей в плеяде русского пушкиноведения — Бориса Викторовича Томашевского. Если есть некая квинтэссенция положительных свойств подлинного мужчины, то в Томашевском она проявилась, может быть, в большей мере, чем в ком-либо из тысяч мужчин, с которыми мне приходилось встречаться в жизни. Для меня, тогда еще романтически настроенного, он ассоциировался с декабристом Луниным, хотя во внешности его ничего «гусарского» не было. Широкоплечий, с несколько мешковатой фигурой, с лицом скорее инженера, чем филолога, Томашевский не был тем, кого можно назвать красавцем. В его облике и в интонациях всегда присутствовала ирония. Он не выносил пафоса, даже искреннего. Атмосфера мужественности господствовала над обаянием его насмешливого ума и огромной эрудиции.

В науке он более любил разрушения красивых концепций, чем предположения, даже самые увлекательные. Мы его называли «великим деструктором», но за возведенным в принцип сомнением стоял тщательно скрытый слой романтики, которого сам он стыдился как недостатка, маскируя его насмешливым тоном.

Однажды, в самый разгар кампании борьбы с космополитизмом, мы столкнулись с ним при выходе из туалета в Пушкинском Доме. «Единственное место в этом доме, где легко дышится», — бросил он на ходу. Насмешливые реплики его были убийственны и в свое время составляли значительную часть своего рода устной хрестоматии коридоров Пушкинского Дома. В трагической обстановке заседаний, посвященных разоблачению космополитов, Томашевского тоже вытащили на трибуну и пытались заставить «каяться». Обвинение заключалось в том, что он читает спецкурс по поэтике, то есть, по мнению критиков, пытается «протащить» формализм. На кафедре, с которой один за другим сходили «признававшие ошибки» профессора, Томашевский презрительно буркнул: «Мне что Мария Семеновна² включила в расписание, то я и читал, не хотите — не буду». Правда, положение его было менее драматичным, чем у других, подвергавшихся в этот период критике профессоров. Собрание пушкинских рукописей в ИРЛИ, где он был незаменим, и один из основных технических вузов, где продолжал читать курс высшей математики, создавали ему надежные плацдармы для отступления. В сочетании с глубоким чувством независимости, это давало ему прочную почву под ногами. Пушкин в стихотворении «Еще одной высокой, важной

¹ Окуджава Б. Ш. Счастливчик Пушкин // Окуджава Б. Ш. Чаепитие на Арбате. Стихи разных лет. М., 1996. С. 158.

² Мария Семеновна Лев, занимая формально какую-то техническую должность, держала в своей памяти все дела кафедры, знала поименно всех студентов, напоминала профессорам все их дела, в общем, была в самом точном значении этого слова «душой факультета».

54

песни...» назвал «наукой первой» умение «*читать самого себя*»¹. Этим редким искусством Томашевский был наделен в полной мере. На филфаке Томашевский кроме курсов по теории литературы и стилистике вел спецкурс по Пушкину. Спецкурс, длившийся долгие годы, читался так: первый семестр посвящен был краткому резюме всего, что было прочитано до этого. Это было необходимо, так как состав слушателей каждый год менялся, но даже те, кто в прошлом году прослушал полный курс, любили ходить на это «повторение». Оно никогда не было механическим, а всегда содержало определенные черты новизны. Затем следовало чтение нового материала. Здесь Томашевский успевал продвинуться в творчестве Пушкина приблизительно на год (иногда несколько больше, иногда несколько меньше). Так длилось это шествие по биографии и творчеству Пушкина, которое оборвала смерть лектора.

Смерть оборвала и завершение итоговой монографии Томашевского «Пушкин». При его жизни успел выйти только первый том, в котором анализ жизни и деятельности Пушкина был доведен до конца южного периода. Предполагались еще два тома. Традиционная формула «неожиданная смерть» в данном случае — самое точное выражение, которое следует здесь употребить.

Томашевский приобрел дом в Гурзуфе, стоявший на том самом месте, на котором когда-то был дом Раевских, неразрывно связанный с крымским периодом жизни Пушкина. Считалось даже, что это тот самый дом, только несколько перестроенный и модернизированный. Томашевский поселился в этом доме, оваянном памятью Пушкина. С тех пор лето он обычно проводил в Гурзуфе. Здесь настигла его смерть, загадочные обстоятельства которой так и остались тайной.

Томашевский был превосходным, неутомимым пловцом. Но однажды слушавший его сердце

врач запретил ему продолжать эти занятия. Томашевский обещал, сказав лишь, что еще последний раз сходит поплавать. Далее произошло следующее: он поплыл далеко в море и больше уже не вернулся. Когда нашли тело, врачи установили, что в воде произошел инфаркт, и квалифицировали это как несчастный случай. Я глубоко убежден, что это было сознательное самоубийство. Когда-то Цветаева сказала о Маяковском, что он жил как человек и умер как поэт. Б. В. Томашевский был вполне достоин этих слов.

Я разговаривал с Томашевским за несколько дней до его последней поездки из Ленинграда в Гурзуф. Надо помнить, что пришедшее на смену того литературоведения, корни которого уходили в эпоху символизма, литературоведение в годы победоносного шествия формального метода принципиально отказалось от глобальных идей и головокружительных обобщений. «Приличными» считались те исследования, заглавия которых начинались сакральной формулой: «К вопросу о...» или «Несколько вводных замечаний к проблеме...» Такая установка была не только своего рода полемичной, но и содержала серьезные обоснования: из области тематики упомянутого Грибоедовым автора сочинения «Взгляд и нечто»², потомки которого населили массовое литературоведение эпохи символизма, литературоведение вступи-

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 158.

² Грибоедов А. С. Горь от ума. М., 1987. С. 115. Далее ссылки на комедию Грибоедова даются по этому изданию с указанием имени автора и страницы.

55

ло в период увлечения конкретными, строго обоснованными, но слишком частными разысканиями. Резко увеличился объем нового фактического материала, однако анализ явно обгонял синтез, гипотеза из неизбежного и плодотворного элемента науки перешла в сферу чего-то вненаучного и запрещенного для серьезного ученого.

В обширной пушкинистике тех лет практически не было новых синтезирующих работ о «Евгении Онегине». Попытка начинающего автора, зарекомендовавшего себя в печати только несколькими статьями о Радищеве и масонстве, могла восприниматься как дерзость. Меня, еще недавно ходившего в гимнастерке и шинели, это скорее подзадоривало, чем смущало. Я отдал рукопись своей статьи Томашевскому, и он попросил меня через несколько дней зайти к нему в Пушкинский Дом. (Особенность профессоров тех лет — самых маститых и уважаемых — заключалась в их глубокой, ненаигранной, невнешней культурности. Она проявлялась в неизменной любезности в отношениях со студентами и в постоянной готовности увидеть в студенте научного коллегу.) В назначенное время я явился в Пушдом и прошел в кабинет к Томашевскому. Прекрасный, пушкинских времен стол, за которым сидел Томашевский, был в исключительно организованном, аккуратном состоянии, хотя весь был покрыт книгами. Томашевский, которого я увидел, был для меня неожиданно новым — таким я его еще никогда не видел. Он не был насмешливым, не был злым, не был остроумным. Наверное, так выглядел бы немолодой рыцарь, снявший с себя доспехи и латы и аккуратно положивший свой шлем на маленьком столике у окна. Томашевский сказал мне, что он прочел статью и что ее надо печатать. С этой своей резолюцией он передаст статью в редакцию. «А когда напечатаем, можно будет и подискутировать». Это было одобрение, хотя и в свойственной ему сдержанной форме, и я вышел совершенно счастливый. Статья эта увидела свет в третьем томе издания «Пушкин. Исследования и материалы»¹. По трагическому совпадению этот том открывался фотографией Томашевского и статьей Н. В. Измайлова — развернутым некрологом памяти Томашевского. Обещанный им разговор не состоялся. Когда я много лет спустя вернулся уже под другим углом к той же теме, я многократно пытался представить себе полемические замечания Томашевского. Но это, конечно, было невозможно.

В пространстве научных исследований гуманитарные наиболее связаны с личностью автора. Академик А.С. Орлов однажды заметил, что исследователи невольно передают изучаемым ими писателям глубинные черты своего собственного характера. Эту мысль он пояснял сравнением: «Вот у Мейлаха все писатели осторожные, слова лишнего не скажут, всё оглядываются, уточняют формулировки, а у Гуковского так и шастают, так и шастают». В этом ироническом замечании таится глубокая истина.

Между исследователем и изучаемым им писателем складываются сложные диалогические отношения, в каком-то смысле подобные отношениям между палачом и жертвой. Чтобы изучать творчество писателя, даже при сознательном стремлении к предельной объективности, ученый должен найти в нем

¹ Лотман Ю. М. К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 3. М.; Л., 1960.

56

нечто созвучное себе, некое зеркальное пространство, в котором он сам может отразиться. Требования объективности не противоречат этому. Ограничив себя узкой сферой изучения (например, одним каким-либо писателем), исследователь может увлечься «самоотражением» в материале; расширение же изучаемого пространства (если он обладает достаточной степенью автокритицизма и широтой исследовательских знаний) невольно внесет коррекцию, предохраняющую от субъективизма. Несмотря на предельную объективность исследовательского

стиля Томашевского, его Пушкин всегда был именно *его* Пушкиным. В многообразии пушкинской личности Томашевский высвечивал объективный ум, действительно присущую Пушкину поразительную способность трезвого взгляда на жизнь. Томашевскому было чуждо стремление к эффективности, и в Пушкине он видел то, что Пастернак назвал стремлением впасть «...как в ересь, / В неслыханную простоту»¹. Трудно найти более точное определение для пафоса поэзии Пушкина. Для того, чтобы прозрачность стекла воспринималась нами, необходимо иметь в памяти мутные стекла. Для того, чтобы простота сделалась ощутимой, странной, то есть получила бы *значение*, ее надо пережить как ересь, то есть как предельную *антипростоту*. Этот пушкинский пафос был вместе с тем сознательным ориентиром Томашевского. Все эффектное в науке для него проявлением дурного тона, поэтому, в частности, слушавшие его студенты учились оценивать его методологическую сдержанность ретроспективно, с годами, когда постепенно сами вырастали до того, чтобы в науке выше, чем цветные, ценить абсолютно прозрачные, до незаметности, стекла, которые создают эффект открытого окна, не стремясь эгоистически прибавить к пейзажу собственную окраску.

Эрудиция Томашевского была широка и разнообразна. Изучение русской и французской литератур, биографий писателей сочеталось у него с исследованием языка, ритмики, стилистики. Если к этому добавить сознательную установку на критику и самокритику, стремление к объективной научности и отталкивание от восходящей к символизму традиции вторжения субъективности в исследование, то мы получим тот фон, на котором Томашевский строил свой научный метод, сочетавший яркую индивидуальность со строгой объективностью.

Соединение очерков, посвященных научным и человеческим портретам Гуковского и Томашевского, в одну главу продиктовано не стремлением воспроизводить классическую композицию Плутарха и не желанием построить эффектную антитезу, а реальной соотносительностью места этих двух исследователей в науке их времени. Трудно найти людей, более противоположных по темпераменту, складу интеллекта и культурной ориентации. Их человеческая и научная полярность в значительной мере определила то, что, работая в одно и то же время в одних и тех же стенах, читая лекции одним и тем же студентам, они не были близки. Более того, в отношениях между ними всегда ощущалась холодноватая сдержанность, а иногда и нескрываемая неприязнь. Но это не мешало тому, что оба они органически включались в то богатое

¹ Пастернак Б. Избр.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 310.

57

разнообразием единство, которое представлял собой филологический факультет Ленинградского университета предвоенного периода. И в науку они вошли своеобразной плутарховской парой, противоречивым единством. Студенты тех лет резко делились на поклонников (и поклонниц) каждого из этих профессоров, одновременно принадлежать к обоим лагерям как-то не было принято. А между тем без пересечения этих двух ярких человеческих характеров, представляющих одновременно две научные тенденции, каждый из них потерял бы определенную долю внутреннего богатства.

Одним из губительных последствий глобального уничтожения научных школ в гуманитаристике XX века была утрата разнонаправленности научных поисков. Единомыслие в науке — показатель ее умирания. Научные разномнения оттачивают исследовательскую мысль, поэтому процветание науки связано, кроме прочих причин, с высокой человеческой культурой — основой толерантного отношения к чужим мнениям. Ничего нет губительнее для науки той некультурности, которая выражается в формуле: «кто не с нами, тот против нас». Перенесение в научную сферу тех понятий, которые могут быть оправданы в этической, религиозной или политической областях, то есть там, где доминирует вера, противопоставлено пространству, вся жизнь в котором возможна лишь на основе сомнения и критицизма. Поэтому научный и общественный прогресс далеко не всегда идут в ногу: они сближаются в эпохи, когда исторические льдины начинают трещать, но еще прочно держатся на местах. В период ледохода их пути расходятся.

Г. А. Гуковского я впервые увидел, когда в 1938 году начал ходить на лекции доцента Л. Л. Ракова по античной литературе. Сначала несколько слов о Ракове. Блестящий лектор, он находился в эту эпоху (в конце 30-х годов) на вершине славы. Талантливый ученый, разнообразно одаренный человек — он был писателем и вместе с Д. Алем написал нашумевшую тогда комедию «Опаснее врага», которая была поставлена Н. П. Акимовым¹.

Читал он блестяще. На лекции в то время, когда старые профессора появлялись в протертых до блеска костюмах, сшитых, вероятно, еще в дорево-

¹ Само название было по тем временам дерзким: печать полна была статьями, громившими «врагов народа». Слово «враг» заполняло страницы газет, не устававших призывать к бдительности. Этим были полны кинофильмы. Использовались при этом талантливые актеры и одаренные режиссеры, создавшие с точки зрения киноискусства (если понимать его в духе Эйзенштейна, как мастерство, совершенно безразличное к истине или лживости того, что воплощается с помощью искусного использования монтажа, света и других приемов экранной техники) впечатляющее полотно. В одном из них — «Великий гражданин» — на экране актер, загримированный под Бухарина, декламировал Тютчева:

Молчи, скрывайся и таи

И чувства и мечты свои.

(Тютчев Ф. И. *Silentium* // Тютчев Ф. И. Лирика. М., 1965. Т. 1. С. 46).

Тютчев был возведен в идейные вдохновители самого ходкого в то время обвинения — в «двурушничестве». На этом фоне напоминание слов Крылова о том, что «услужливый дурак опаснее врага» (см. басню «Пустынник и медведь») звучало в достаточной мере дерзко.

5В

люционные годы, а студенты натягивали на себя что придется из родительского гардероба или нехитрых дарований госторговли, Раков являлся в изысканных заграничных костюмах с двубортными жилетами (я впервые увидел тогда эти портняжные изыски). Такое щегольство вызывало иронические замечания одних и злобное шипение других, однако оно вписывалось в ту короткую вспышку «процветания», которая определяла быстро увядавший потом «ренессанс» последних предвоенных лет. «Ренессанс» был специфический: по Невскому, скрываясь от милиции, проскальзывали серокожие женщины с грудными младенцами на руках — это были те, кому удалось ускользнуть от украинского и кубанского голода, — а на Марсовом поле были развернуты гигантские ларьки, оформленные талантливыми художниками, где продавалось все, что должно было демонстрировать изобилие. В столице и Ленинграде были отменены карточки. Мой школьный приятель рассказывал, как утром, когда он шел в школу, из дверей ресторана «Англетер» вышел сильно выпивший Петров¹ с воздушными шариками, привязанными к пуговицам заграничного пиджака, и, сев в услужливо подкатившего извозчика, тут же заснул... Шарик раскачивались в воздухе. Этот «пир», конечно, не лишен был того, что напоминало окончание пушкинского названия: «во время чумы». Это был пир перед войной, всеми ожидавшейся и уже ощутимой. И те, кто не попадали прямо под гусеницы сталинско-бериевского террора, спешили радоваться.

Г. А. Гуковский в предвоенные годы, когда я его впервые увидел, был самым молодым из профессоров филфака. Однако он не только среди студентов, но и в академических сферах уже занял признанное место одного из ведущих ученых. П. Н. Берков, который был старше Гуковского, однажды изумил меня, начав свою полемику с Гуковским по какому-то конкретному вопросу такими словами: «Григорий Александрович, я — ваш ученик!»

В коридорах филфака, в еще «доразгромный» период повторялся остроумный рассказ одного из литературоведов о нашумевшем в ту пору событии. Литературовед А. Л. Дымшиц, бывший тогда одним из партийных деятелей литературоведения, только что вернувшийся из армии и ходивший по филфаку в офицерском мундире, представил докторскую диссертацию. Оппоненты — Томашевский, Гуковский и Эйхенбаум — с треском его провалили. Свидетели этого тогда нашумевшего события рассказывали, что сначала Гуковский, как лев, разорвал его на куски, а потом Эйхенбаум с улыбкой начал тихим голосом клеветать диссертанта. После этого, по словам очевидца, на кафедре осталась лишь одна абсолютно обглоданная кость.

Эйхенбаум, всегда сдержанный, с улыбкой, неизменно изящный в выражениях и жестах, более всего чуждавшийся эмоций и эффектов, никогда не прибегавший на лекциях к декламационным приемам, был прямой противоположностью Гуковскому. Гуковский не мог закончить лекцию без того,

¹ Возможно, речь идет о В. М. Петрове (1896—1966) — кинорежиссере и кинодраматурге, который с 1928 г. работал на ленинградской киностудии «Севзапкино», был известен своими экранизациями: 1934 — «Гроза», 1937—1939 — «Петр I» (Примеч. Т. К.).

59

чтобы аудитория не дрогнула от взрыва аплодисментов. Именно по этому признаку мы замечали, что в актовом зале кончилась его лекция. Мне довелось слышать, как, проходя в это время по коридору, Эйхенбаум сдержанно сказал: «Театр!» В дальнейшем в потоке разгромных статей, наводнявших в ту пору всю периодику, имена Гуковского и Эйхенбаума упоминались рядом, через запятую, с одинаковыми эпитетами и обвинениями.

Г. А. Гуковский обладал прекрасным, звучным баритоном, стихи читал превосходно и неизменно побеждал на затеянных Тыняновым состязаниях: кто больше помнит наизусть малоизвестных и забытых поэтов. Память его была изумительна. Держался на лекции он свободно, присаживаясь на край стола, никогда не читал по готовому тексту. Кроме курса русской литературы XVIII века, который я слушал у Гуковского еще школьником, приходя к сестре в университет (когда я стал студентом, он этот курс уже передал Беркову, сам читал пушкинскую эпоху), Гуковский читал в послевоенные годы курс «Введение в литературоведение». Чтение протекало так: он входил в аудиторию с книгой в руках — это был текст того стихотворения, которое он собирался на этот раз анализировать, садился на край стола и прочитывал стихотворение. Затем начиналась свободная импровизация, посвященная какой-либо проблеме, связанной с анализом текста. Гуковский обладал совершенно несравненным чувством стиля, оттенки которого в анализируемом стихотворении он передавал слушателям и анализом, и интонацией, которая была одним из важнейших элементов его лекторского мастерства. Печатный облик его работ — книг и статей — совершенно бессилён передать шарм свободной непредсказуемости его устных импровизаций (именно импровизаций — он никогда не повторял один и тот же текст два раза).

Нынешний читатель работ Гуковского, лишенный возможности вообразить его интонации,

воспринимает Гуковского так, как представляет себе облик ископаемого животного наш современник, видящий окаменевшие отпечатки следов никогда им не виданного мощного существа. Ответ этого искусства научной импровизации в сильно ослабленном виде Гуковский передал некоторым из своих учеников, в особенности Г. П. Макогоненко. Критики Гуковского (особенно Эйхенбаум и Томашевский) справедливо обращали внимание на некоторые неточности и натяжки в его концептуальных построениях, но никто не обладал талантом так вдохновлять, открывать глаза и, главное, вызывать ответную способность исследовательского вдохновения. Анализ текста и великолепная декламация Гуковского заставляли аудиторию буквально перенестись в XVIII век и пережить его как свою современность¹. Подобно тому, как динамо-машина заряжает батареи, Гуковский «зарядил» Макогоненко и не его одного, а целое поколение.

¹ Некий безымянный студент подчеркнул в эпиграмме эту способность Гуковского заставить слушателей пережить прошедшее как настоящее:

О если бы и днесь вернулось все опять,
Державин жил бы вновь и Тредьяковский,
Какой урок прекрасный мог им дать
Григорий Александрович Гуковский.

60

Издав две книги по литературе XVIII века¹, Гуковский подвел этими изданиями черту под своей первой концепцией русского литературного процесса, пока еще охватывавшей пределы XVIII века. Прежде всего, от переживавшего тогда свой расцвет формализма Гуковского отличал интерес именно к процессу, к динамической системе. Вместо философии «приемов» он выдвигал понятие художественной доминанты, которая менялась в разные моменты литературного процесса. Понятие художественной ценности, согласно его воззрениям, переменчиво. Гуковский демонстрировал это на примере Сумарокова. Обруганный Ломоносовым, а затем Белинским, провозглашенный бездарным поэтом-подражателем (исторический анализ многие авторы подменяли без конца повторяющимися эпиграммными строками, в которых фамилия «Сумароков» рифмовалась с «бездарное дитя чужих уроков»), Сумароков в его руках оживал.

Отличительной чертой подхода Гуковского было то, что в центре внимания оказывался один излюбленный им персонаж, который, как солнце планетами, был окружен историческими личностями, игравшими в концепции второстепенную роль. В первой книге таким персонажем был Сумароков, во второй — Радищев. Сейчас трудно оценить новаторский пафос такого подхода. Гуковский не только извлек имя Сумарокова из праха, но оживил и его поэзию. Он как бы стер пыль с поэта, и тот заблестал перед нами во всем блеске своего неумного таланта, яркого полемического жара и трагического одиночества личной судьбы. Это была прекрасная школа того, как можно сочетать объективность исторического взгляда и непосредственно переживать чувства современника.

Концепция русского литературного процесса в сознании Гуковского на наших глазах расширялась. Сначала это был XVIII век, центром следующего круга стал Пушкин. Здесь Гуковскому пришлось столкнуться не только с достижениями предшествующей пушкинистики, но и с ее предрассудками. Согласно неписаным, но отчетливо ощущаемым правилам, Гуковский не был посвящен в рыцари ордена пушкинистов. То, что он вошел туда и сразу нарушил никем не сформулированное, но строгое табу на проблемные вопросы, вызвало у одних иронию, а у других даже раздражение. Гуковский обладал особым дарованием ни у кого не вызывать равнодушного отношения: ему или поклонялись, или его ненавидели. В кругу таких признанных авторитетов в научных сферах ЛГУ, как, например, Эйхенбаум, к нему относились с не очень добродушной сдержанностью. Особенно это начало проявляться, когда Гуковский, отойдя от литературы XVIII века (здесь его авторитет признавался безоговорочно, да и трудно было не признать компетентность человека, знавшего наизусть — без преувеличения — всю русскую поэзию XVIII века), «вторгся» в пушкинскую эпоху; впоследствии были опубликованы его монографии на эту тему: «Пушкин и русские романтики» (Саратов, 1946) и «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957). На обсуждении первой из

¹ Пробным шаром была небольшая книга «Русская поэзия XVIII века» (Л., 1927). Затем появились «Очерки по истории русской литературы XVIII века (дворянская фронда в литературе 1750-х — 1760-х годов)» (М.; Л., 1936) и «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» (Л., 1938).

61

этих книг (обсуждение проходило в атмосфере нескрываемого недоброжелательства со стороны ряда авторитетных профессоров кафедры) Б. М. Эйхенбаум после вводного доклада Гуковского с улыбкой заметил: «И жить торопится, и умствовать спешит».

Согласно господствовавшим тогда представлениям, Батюшков и Жуковский находились на противоположных полюсах арзамасской поэзии: корни оптимистической поэзии Батюшкова питал яркий мир античной идиллии, дорога к которому была открыта французской и итальянской поэзией; источник же трагического романтизма поэзии Жуковского находился в немецкой литературе. Гуковский, вопреки этому расхожему представлению, создал концепцию, с точки зрения которой оба эти направления являлись лишь поверхностным, внешним проявлением внутреннего единства. Основой для поисков единства Гуковский избрал поэтическое слово. Для

него было существенно не то, *что* говорят (под этим понимался тот аспект так называемого «содержания», который можно пересказать прозой), а то, *как* говорят — непередаваемая прозой основа поэтического текста. С этой точки зрения и Батюшков, и Жуковский создавали поэзию, о которой можно было сказать словами Лермонтова:

В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье¹.

В этом Гукковский видел сущность романтизма. Поэзия, обращенная не к реальному вещественному миру, а к миру иллюзорному, была для него поэзией романтической. И когда Батюшков писал, что «маленькая философия» его души разбилась о страшную реальность наполеоновских войн, он, по мысли Гуковского, выражал самую сущность своей идиллической поэзии. Гуковский пока еще безмолвно вводил в эту картину третье лицо — Пушкина, поэта, у которого слово было вещественным и реальным. Это сразу меняло перспективу. В Батюшкове и Жуковском высвечивалось глубокое сходство, мир их поэзии был самодостаточен и в сопоставлении с действительностью не нуждался. Когда же трагическая реальность вынудила к такому сопоставлению, то разница отошла на задний план. Наступила пушкинская эпоха. Эта концепция давала основания для критики, например, со стороны Томашевского, который в своих лекциях, не называя прямо Гуковского, показывал, сколь часто многочисленные реальные факты литературной истории получают упрощенно-схематическое, а иногда и просто неточное истолкование. Томашевский одним взмахом своей аналитической мысли, укрепленной обширной эрудицией, рассеивал научные иллюзии, которые увядали в его руках, как проколотые шарики. Но как генератор идей, он не мог сравниться с Гуковским. И это мы почувствовали по его первой (по трагическому стечению судеб оказавшейся последней) итоговой монографии о Пушкине. Там, где автору потребовалась концептуальность, ему пришлось *volens nolens* учесть идеи Гуковского.

Следует отметить, что две монографии, посвященные Пушкину, были для Гуковского только началом большого историко-литературного замысла,

¹ Лермонтов М. Ю. Русская мелодия // Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М., 1954. Т. 1. С. 34. Далее тексты М. Ю. Лермонтова цитируются по этому изданию.

62

который должен был включать в себя широко задуманную цепь монографий: после Пушкина был объявлен спецкурс о Гоголе (книга, написанная на основе этого спецкурса¹, не была закончена к тому времени, когда Гуковский был арестован и вскоре погиб в следственной тюрьме). Монография о Гоголе была опубликована лишь в первую «оттепель», в 1959 году, без развернутой вступительной статьи, с краткой редакционной заметкой без подписи, автором которой был Г. П. Макогоненко. Окончание последней главы было изъято во время обыска и затерялось где-то в архивах КГБ, но то, что в монографии не нашлось места «Выбранным местам из переписки с друзьями», не было следствием грубого внешнего вторжения, а представляло результат самой концепции Гуковского. *Его* Гоголь не должен был писать «Выбранные места...». Помню образ, которым он заканчивал спецкурс по Гоголю. Он рассказал, что однажды был свидетелем того, как какой-то человек, пересекавший железнодорожную линию, оказался между двумя несущимися навстречу друг другу поездами. Когда они пронеслись, между двумя путями оказалась стоящая вертикально фигура с оторванной головой. В этом Гуковский находил как бы символ трагедии Гоголя, оказавшегося между двумя несущимися в противоположных направлениях путями России², — Гоголя, разрываемого на части Белинским и славянофилами.

Цикл исследований, задуманный Гуковским, не был даже пунктиром намечен перед аудиторией, и его замыслы двух противопоставленных книг о Толстом и Достоевском остаются для нас лишь предметом печальных догадок. Несколько устных докладов, прочитанных им в последний период, дают основания для очень приблизительных выводов о том, чем должна была кончиться серия. «Клим Самгин» должен был сделаться отправным пунктом для сурового исторического суда над эпохой декаданса. Можно предполагать, что будущее представлялось исследователю как путь к новой пушкинской эпохе.

Г. А. Гуковский умел намечать для себя далеко идущие перспективные дороги. Но он умел не превращаться в раба этих собственных созданий. Он погиб в полном расцвете исследовательского таланта и, можно думать, что вряд ли он ограничился бы осуществлением задуманных планов. Очень может быть, что сами планы показались бы ему устаревшими. В нем были два чело-

¹ Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.

² Автобиографический эпизод, который рассказывал на лекции Гуковский, мог быть им осмыслен под влиянием соответствующего места из монографии А. Белого «Мастерство Гоголя» (отношение концепции Гуковского к интерпретации творчества Гоголя А. Белым должно было бы стать предметом отдельного разговора): «Гоголь, начав с пленяющих безделушек, цельных музыкой, дав цельность стиля за счет погасшей мелодии, вдруг ужаснулся узкой тенденцией, в которой завял его стиль, отчего и организм его творчества оказался... без головы; а голова — осталась без туловища: тело без головы взял в свои руки Белинский, раскрыв в нем тенденцию огромнейшей значимости; из неоконченной головы им извлекаемого процесса, оторванной от тела, Гоголь, выпотрошив мозг, сделал... жандармскую каску и арестовал свое творчество; но „Жандармская каска“, просунутая в „Переписку“ и „Исповеди“, не смогла отвести тока, шедшего через Гоголя-творца в рассудочно-безголовое тело его творений, головой которых оказалась вся русская литература, продолжавшая развивать дело Гоголя: без Гоголя-проповедника» (Белый А.

Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 27).

63

века: один как будто точно знал, куда идет литература, и готов был ее учить, другой всегда стоял на пороге двери, открытой в неизвестность, и готов был заново учиться. Именно этот второй Гуковский был наиболее плодотворен для своих учеников, хотя поверхностные его последователи ограничивались тем, что приносили клятву верности тем или иным догматам своего учителя.

Азадовский и Пропп: два подхода

Анализ текста допускает два возможных подхода. По сути дела, они настолько близки между собой, что очень часто различия между ними представляются лишь технической деталью, а не принципиально иным структурным основанием. В одном случае мы формулируем тип кода и затем на его основании создаем реальный текст. Во втором случае первичным является некоторый текст, из которого путем абстрагирования извлекается кодовая система. Может показаться, что оба эти подхода — деталь, от которой, говоря об общих закономерностях семиотической системы, можно отключиться. Семиотическое содержание не изменится в зависимости от того, в каком направлении мы к нему движемся. В реальности, однако, это не так. И в зависимости от того, идем ли мы от конкретного текста к абстрактной его модели или, наоборот, от модели к тексту, мы сталкиваемся с совершенно различными механизмами и неодинаковыми результатами.

Размышления о том, как влияет на самые основы науки выбор одного из, казалось бы, симметричных путей: от модели к тексту или от текста к модели, — позволяют нам яснее представить себе различие и сходство двух основных направлений в нашей фольклористике. Эти направления связаны с именами и деятельностью В. Я. Проппа и М. К. Азадовского. Автор этих строк имел счастье в студенческие годы работать под руководством и того и другого на кафедре фольклора Ленинградского университета.

При том бесспорном уважении и даже любви, которую вызывал у нас М. К. Азадовский, в 50-е годы нам (говорю о группе молодых фольклористов, которые в ту пору приступали к научной работе) более импонировал Пропп. Метод Азадовского казался эмпирическим и недостаточно концептуальным, в то время как свежие, недавно получившие научное признание идеи Проппа представлялись тем долгожданным новым словом, которое призвано совершить переворот в филологических науках. Не случайно, основопологатели отечественной семиотики, исключительно высоко ценя Проппа, Азадовского фактически обошли своим вниманием. Модели тогда интересовали ученых больше, чем тексты. В настоящее время, не принижая ни в малейшей степени блестящих идей В. Я. Проппа, нельзя не заметить, что подход Азадовского представляется, возможно, более актуальным. С точки зрения Проппа, реальностью является кодовая структура. Она как генотип скрыта в глубинах и реализуется во множестве взаимно равноценных текстов. Исследователь, поступая с текстом по способу, когда-то предложенному для несколько другой задачи: вскрыв его как «с трюфлями пирог»¹, — извлекает структуру, которая

¹ Батюшков К. Н. К Ж<уковско>му // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1978. С. 275.

64

и есть носитель смысла. С этим связано, например, то, что повторное решение одной и той же задачи совершенно не то же, что повторное чтение одной и той же поэмы. В отношении между структурой и текстом следует ввести еще третий элемент: того, кто в этом отношении участвует, — человека. Реагирование человека на структуру и текст принципиально различно. Поэтому движение «структура — человек — текст» и движение «текст — человек — структура» порождают принципиально различные результаты. При движении «текст — структура» носителем смысла будет то, что в разных текстах является одинаковым. Общее господствует над индивидуальным и именно оно (общее) собирает в себе смысл текста. Двигаясь в противоположном направлении, мы переменим не только путь, но и смысл движения. То, что было случайным, окажется релевантным, и наоборот.

Возвращаясь к началу нашего рассуждения, напомним, что В. Я. Проппа интересовало движение от фольклорного текста к его историческим архетипам. С этой точки зрения индивидуальное мастерство сказителя представлялось вообще ложной проблемой, ибо значимым для исследователя было то коллективное, архаическое, что уводило к прототекстам. Талант носителя фольклорного текста, его индивидуальные художественные особенности, наконец, его вдохновение, выносились Проппом за пределы структурного анализа. Активизировались другие понятия: память, бессознательная приверженность традициям, даже, в конечном итоге, — непонимание своего собственного текста. Сказитель был интересен лишь как *исказитель*. Причем такой подход принимал в изложении Проппа интересный научный поворот. Предметом анализа становился сам механизм искажения. В. Я. Пропп в лекциях неоднократно останавливался на вопросе, почему определенные аспекты традиционной эстетики подвергаются искажению, в то время как другие проходят сквозь века, сохраняясь в неизменном виде. Но и в этом случае интерес к искажению был средством вычленивать то, что сохраняет константные модели текста. Именно эта константная архимодель была для Проппа металлом, который надо выплавить из руды, сохраняющейся в памяти носителей фольклора вопреки их сознанию.

Для М. К. Азадовского характерна была противоположная ориентация: традиция представляла

для него основу, которая одновременно и сохраняется, и трансформируется в произведении искусства. Фольклорный сказитель использует традицию в такой же мере, в какой поэт использует свой национальный язык. Подобно тому, как именно на фоне языковой нормы художественная значимость поэтического текста делается особенно заметной, индивидуальное мастерство сказителя для Азадовского загоралось яркими красками на фоне безликой традиции. Проппа интересовало индивидуальное творчество как материал-основа для выявления типологических моделей. Для Азадовского типологические модели были материалом, на основе которого вспыхивало индивидуальное творчество. Конечно, такого рода характеристика страдает определенной упрощенностью. Оба ученых учитывали не только свои научные успехи, но и движение, которое прodelывалось их коллегами.

В некоторых работах В. Я. Проппа, особенно в тех, которые создавались в период, когда его метод подвергался крикливой и необоснованной критике, ощущается стремление найти убежище в классической фольклористике

65

ХІХ века, пожертвовав некоторыми аспектами собственных открытий. Такова, например, на мой взгляд, книга В. Я. Проппа «Русский героический эпос», написанная в самый разгар оголтелых нападков на него в «Литературной газете». Однако в этом случае речь, конечно, не может идти о сдаче принципиальных позиций. Исследователь пробовал только защитить свои идеи, перенеся их из сферы типологии в более традиционную и звучащую менее дерзко область исторического анализа¹.

Изучая фольклорное произведение по пропповской модели, мы отседем как не имеющие существенного значения самые основы того, что превращает фольклор в область искусства. Однако, идя по пути Азадовского, мы перемещаем доминанту таким образом, что у нас в руках, по сути дела, оказывается другой объект. Естественно, что модели его образуют совершенно иное пространство, чем в первом случае. Дальнейшая судьба полученных нами моделей будет различной в зависимости от того, стремимся ли мы к обобщениям художественного или логического типа.

Подобно тому как в пространстве, заполненном фигурками таким образом, чтобы фон в свою очередь тоже образовывал фигурки, но других начертаний (или такие же, но другого цвета), — мы можем видеть в модели Проппа фон, на котором высвечивается модель Азадовского, и приписать ей роль носителя смысла — и, наоборот, представить себе модель Азадовского в функции такого фона. В первом случае мы скажем, что направление шло от обедненности упрощенного видения мира к богатству его индивидуального, противоречивого облика. Во втором, что сквозь хаос неупорядоченности мы высветили закономерности структуры.

Мы начали это короткое сообщение замечанием, что анализ текста допускает два подхода, теперь мы можем уточнить это, сказав, что, во-первых, положение это справедливо, если речь идет не об искусственно созданных текстах, а о порожденных живым развитием культуры, и, во-вторых, что ограничение двумя подходами само по себе представляет лишь абстракцию. Следовало бы сказать: «минимально два подхода». При этом направление

¹ Подобно этому М. К. Азадовский пробовал защитить академика А. Н. Веселовского, доказывая, что великий фольклорист якобы близок к революционным демократам и представляет собой честь русской науки, и что нападки на него как на космополита вызваны недоразумением, тем, что бывшие в ту пору идейными вождями Фадеев и Симонов спутали великого русского патриота академика Веселовского с его братом, действительно якобы грешившим космополитизмом (делал уступку Азадовский), Алексеем Веселовским.

В начале кампании против Веселовского Фадеев и Симонов, оба высокие и стройные, появлялись на заседаниях Ученого Совета филфака ЛГУ в одинаковых, полувоенного вида френчах, выходили вдвоем плечом к плечу к кафедре на сцене и произносили речи рокочущими голосами прибывших наводить порядок военных начальников. Однажды при этом имел место забавный эпизод. Один из подвергавшихся критике (кажется, если память мне не изменяет, это был В. Н. Орлов) елейным голосом с ехидством сказал о Фадееве и Симонове: «Наши идейные вожди нам справедливо указали...» Поразительно было, что Фадеев мгновенно сник, как проколотый шарик, и закричал фальцетом: «Нет-нет! Вождь у нас один — товарищ Сталин, других вождей у нас нет и быть не должно».

66

развития идет в постоянном живом отношении между увеличением количества вариантов, выводимых из абстрактной исходной модели, и сокращением их. Сочетание роста и уменьшения вариативности, как правило, образует в живой динамической структуре пульсирующее пространство, на фоне которого высвечиваются тенденции развития и старения.

<Эйхенбаум>

Борис Михайлович Эйхенбаум в кругу замечательных людей, составлявших неповторимое своеобразием букет русистов на филфаке первых послевоенных лет, занимал совершенно особое место. Оценка вклада его в литературоведение — специальная тема, которая должна была бы сделаться предметом особых монографий. Здесь, однако, мы не претендуем на эту трудную и

требующую специальных розысканий работу. Нам хотелось бы лишь добавить несколько живых черт (плод личных контактов), которые могут частично восстановить живые черты этого замечательного человека и ученого. В «Каменном госте» Пушкин создал исключительно глубокий и нестандартный образ Дона Альвара — сочетание физической хрупкости и духовной силы.

Каким он здесь представлен исполином!

Какие плечи! что за Геркулес!..

Дон Гуан иронически замечает, что

Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку

До своего он носу дотянуть.

И тут же снимает всякую тень иронии противопоставлением героического духа этому не соответствующему ему телу:

... а был

Он горд и смел — и дух имел суровый...¹

Б. М. Эйхенбаум не был, как пушкинский Дон Альвар, ни тщедушным, ни узкоплечим, его невысокая фигура была изящной, до последних дней стройной. Она сочеталась с манерами светского человека, постоянным изяществом жестов, утонченной аккуратностью одежды. Но, как и герой пушкинской трагедии, он сочетал фигуру кабинетного ученого не только с изяществом манер, но и с рыцарским духом и необычайной твердостью характера. В конце 40-х — 50-е годы судьба обрушила на него серию тяжелых ударов: в последние дни войны на фронте погиб его сын — талантливый молодой композитор, которому предвещали судьбу нового Шостаковича, из жизни ушла его жена, как писал он в дневнике, единственная близкая к нему женщина (духовной близости с дочерью не было). За этим последовала длинная цепь оскорбительных, необъективных нападок в печати. Можно не упоминать о невежественных клеветниках, но, к сожалению, к кампании преследователей присоединились и такие люди, как Б. И. Бурсов.

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 390.

67

Тогда это был начинающий самородок, человек того разряда, который очень любили проникнутые просветительским пафосом старые ученые. То, что Бурсов — из простой крестьянской семьи и чуть ли не до восемнадцати лет был неграмотным, в соединении с бесспорной талантливостью привлекало к нему внимание старых ученых. Того, что ум его не гибок и явно склоняется к догматизму, старались не замечать, а его поистине безграничное самомнение в ту пору еще не проявилось. Я был слушателем первых лекций Бурсова: они были тяжелы, неинтересны, но содержательны. Тем более для нас было неожиданностью, когда мы узнали, что Бурсов на одном разгромном собрании, обратившись с кафедры к Эйхенбауму, сказал: «Борис Михайлович, признайтесь, ведь вы не любите русский народ!» Такие слова в те дни были равносильны приговору, который не подлежит апелляции.

Бурсов был незлой человек, но Эйхенбаум обладал особым, не очень приятным для него даром: он вызывал зависть. Ему смертельно завидовал Пиксанов, завидовал и Бурсов, ему завидовали его гонители тогда, когда он был месяцами безработным и продавал все свои книги (ему пришлось распродать свою когда-то очень большую библиотеку), завидовали, когда на него сыпались со всех сторон удары, завидовали те, кто в ту пору процветали и писали про него клеветнические статьи, потому что они понимали, что в каких бы высоких кабинетах их ни принимали, личных качеств Эйхенбаума у них никогда не будет. Б. М. Эйхенбаум был *свободный* человек, и это особенно раздражало. За выдержку и постоянную улыбку Эйхенбаум заплатил дорогой ценой: у него был тяжелый инфаркт и мозговая эмболия. Ухоженный и очень знаменитый врач Союза писателей, выходя из его кабинета и поправляя перед зеркалом галстук, произнес: «Мы, конечно, больше не увидим нашего дорогого Бориса Михайловича». Буквально из могилы Эйхенбаума вытащила Виктория Михайловна Лотман — тогда молодой, но уже известный в Ленинграде врач. Она неделями не отходила от его кровати.

В бытовом студенческом жаргоне Эйхенбаума называли Бумом, повторяли эпиграмму:

Наш ЛГУ не Бумом знаменит,

Он Миш<кой> Яковлевым славен.

Где стол был явств, там гроб стоит,

И на гробу сидит Державин¹

¹ Профессор Н. С. Державин был ректором Ленинградского университета, М. Яковлев — университетский преподаватель. Другие куплеты из так называемого «гимна формалистов» см. в мемуарах Л. Я. Гинзбург (Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 281—283). Из воспоминаний Ю. М. Лотмана следует, между прочим, что некоторые из этих куплетов в более позднее время ходили как эпиграммы. (Примеч. ред.).

68

Николай Иванович Мордовченко¹ (Заметки о творческой индивидуальности ученого)

Николай Иванович Мордовченко принадлежал к ученым, чья научная деятельность разворачивалась с большой внутренней сосредоточенностью, отличаясь более глубиной, чем стремительностью. Если к этому добавить, что он скончался сорока семи лет, в начале творческой

зрелости, то станет очевидно, что перечень написанных и опубликованных им трудов далеко не адекватен возможностям этого незаурядного и разностороннего ученого. Именно это — трагическое несоответствие между тем, что уже было заявлено, обдуманно, тщательно готовилось, и завершенным и опубликованным — делает для всех, имевших счастье лично знать Н. И. Мордовченко, его безвременную кончину столь же горькой сейчас, как и двадцать два года тому назад.

И все же не только горечь по поводу того, что ученый не успел сделать, заставляет сейчас называть имя Н. И. Мордовченко: его исследовательская работа обладает чертами, которые позволяют характеризовать ее как яркую и своеобразную страницу в истории отечественной науки. Богатство и надежность фактических сведений, глубокая научная честность давно уже сделали труды Н. И. Мордовченко авторитетным пособием, источником надежных сведений и тщательно выверенных концепций. Однако в настоящей работе нам хотелось бы сосредоточить внимание на другой стороне, менее бросающейся в глаза, — исследовательском *методе* покойного ученого.

Николай Иванович Мордовченко развился как ученый в обстановке интенсивных творческих общений с блестящей плеядой ленинградских ученых 1920-х годов. Ученик известного пушкиниста и декабристоведа, историка и филолога одновременно², воспитанный в школе строгого историзма, изучения литературы как части более широкого движения общественной мысли России, он одновременно получил ряд творческих импульсов со стороны Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, с которым его связывала длительная дружба, Г. А. Гуковского. Двойная перспектива, рассмотрение литературного произведения, с одной стороны, как исторического памятника, документа эпохи в ряду других документов и, с другой — как произведения искусства, текста совершенно особой природы, позволяла увидеть факты литературы в том двойном сочетании историзма и внутренней организованности, которое на современном научном этапе рассматривается как одно из наиболее обязательных условий анализа.

Общий поворот от теоретических проблем искусства к историческим был одной из характерных особенностей литературоведения 1930-х годов, и сформировавшийся в этот период Н. И. Мордовченко в первую очередь был *историком* литературы.

¹ Впервые: *Историографический сборник Саратов, 1973. № 1 (4). С. 205—213.*

² Имеется в виду Ю. Г. Оксман, не названный, по-видимому, по цензурным соображениям. (*Примеч. составителей*).

69

Каковы же были принципы Н. И. Мордовченко как исследователя исторического материала? Ответ на этот вопрос сложен, поскольку Н. И. Мордовченко принадлежал к ученым, которые, построив научное здание, тщательно убирают леса, а конструкцию, на которую опирается вся постройка, скрывают в толще массивных стен. Исследовательские принципы ученого, как и его научные концепции, глубоко скрыты в надежной толще фактических разысканий, многочисленных, концентрированно сообщаемых читателю документальных данных. У невнимательного читателя может создаться впечатление эмпиризма, впечатление глубоко ложное.

Основной, казалось бы технической, предпосылкой подхода Н. И. Мордовченко к документу являлось убеждение в том, что ни один текст не раскрывает своего глубинного смысла сам из себя, — будучи частью исторического движения культуры, он представляет собой ответ, отклик, реплику в споре, полемическое или сочувственное включение в борьбу мнений и вне ее не может быть понят. На семинарах и в устных беседах ученый не переставал предупреждать об опасности непосредственной подмены истолкования документа «сырой» цитатой из его текста.

Такой подход требовал сплошного анализа всей толщи культурной жизни эпохи, раскрытия ее как некоторого сложного спектакля, в котором каждая реплика обнаруживает свой смысл не сама по себе, как изолированная сущность, а в связи со всем многоголосием мнений и высказываний (в таком подходе явно ощущается связь с теорией пародии, полемики, представлением о том, что именно в отталкиваниях раскрывается и суть собственной позиции писателя, и активное лицо литературных процессов — со всем комплексом идей, который был положен в основу представлений о механизме литературной диахронии, разработанных Ю. Н. Тыняновым и Б. М. Эйхенбаумом, а позже — Г. А. Гуковским). С этим представлением было связано стремление к широте и фактической конкретности материала, привлекаемого историком. Выявление полемичности для современников того или иного текста позволяет не цитировать, а *обнаруживать значение* цитаты. Выключенный из многоголосия эпохи, документ остается немым настолько, что порой даже публикация текста не может включить его в науку. Из сказанного — попутно заметим — вытекает, что подчеркнутая фактологичность работ ученого представляла собой не отказ от концептуирования, а наиболее последовательную реализацию разделяемой ученым теоретической доктрины.

С этим же комплексом идей было связано повышенное внимание Н. И. Мордовченко к журналистике и критике. Именно в этой сфере историко-культурного материала с наибольшей полнотой раскрывалась возможность сопоставления мнений, позиций, высказываний, раскрытия прямых и скрытых полемик. В трудах Н. И. Мордовченко история журналистики и критики — в конечном счете история общественных идей — представляла как своеобразная ткань, в которой

различные линии, сложно переплетаясь друг с другом, образовывали целостное лицо эпохи, литературного направления, группы. С наибольшим блеском этот метод проявился в посмертно изданной докторской диссертации Н. И. Мордовченко «Русская критика первой четверти XIX века» (защищена в 1948 году, издана в 1959-м).

70

Уже само построение книги заслуживает пристального внимания, поскольку органически связано с методом исследователя. Работа открывается «Введением», озаглавленным: «Карамзин и его роль в развитии русской критики». Предлагаемый здесь читателю текст мало напоминает традиционные «введения» — по сути дела, это глава. Однако композиционная вынесенность подчеркивает его ключевое значение. Следует напомнить, что работа писалась тогда, когда роль Карамзина в истории русской культуры тенденциозно преуменьшалась. Напомним, что даже автор солидного исследования по истории русской литературы конца XVIII — начала XIX века, В. Н. Орлов, безоговорочно утверждая, что «дворянский сентиментализм Карамзина и литераторов его школы стал знаменем идейной реакции, в конечном счете служил целям защиты самодержавия и крепостничества»¹, писал: «Ортодоксальными ревнителями карамзинской теории были одни эпигоны, не оставившие в литературе сколько-нибудь заметного следа. Напротив, подавляющее большинство видных писателей эпохи не придерживалось взглядов Карамзина и в своем языковом творчестве прокладывало иные пути»². Опираясь не столько на теоретические декларации, сколько на тщательно организованный материал, Н. И. Мордовченко во введении к своему труду расставлял акценты в строгом соответствии с исторической истиной, определяя тем самым и историческую направленность, и, так сказать, научную атмосферу своего труда.

Книга делится на две части, и необычное их построение органически связано с охарактеризованными выше принципами исследования. Первая часть посвящена основным проблемам, волновавшим критику той поры. В главах этой части исключительно последовательно проведен принцип идейного и литературного диалога: каждое существенное положение критической мысли раскрывается во всей сложности сталкивавшихся мнений. Однако автор ясно отдавал себе отчет в том, что такое построение таит и определенную угрозу — возможность утраты целостности в характеристике позиции того или иного деятеля. Избежать ее помогает вторая часть, которая дает ряд монографий, посвященных наиболее значительным критикам той поры (Мерзлякову, Вяземскому, А. Бестужеву, Кюхельбекеру), в которых подчеркивается уже не соотносимость тех или иных идей этих деятелей с литературными мнениями эпохи, а органическое единство позиции каждого из них.

Для того чтобы представить себе, как понимал ученый выдвинутую им идею перекрестного допроса документа, поисков необходимого контекста, который раскрыл бы его глубинный смысл, уместно вспомнить об одном крайне интересном замысле Н. И. Мордовченко, оставшемся, к несчастью нашей науки, нереализованным.

Многолетние исследования Северного тайного общества (результаты этих изучений лишь в малой степени отразились в печати; так, огромная работа

¹ Орлов В. Н. Русские просветители 1790—1800-х годов. М., 1950. С. 372.

² Там же. С. 339. Уместно заметить, что некоторые характеристики Карамзина, содержащиеся в работах автора этих строк, написанных в начале 1950-х гг., в настоящее время представляются упрощенными.

71

по изучению политической и литературной позиции Рылеева, начатая в середине 30-х годов, вылилась лишь в издание небольшой, но тщательно продуманной и сохраняющей до сих пор свое значение книжечки «К. Ф. Рылеев, Стихотворения» (вступ. статья, ред. и примеч. Н. И. Мордовченко, Л., Малая серия Библиотеки поэта, 1938, 2-е изд. — 1947) и чрезвычайно интересного исследования о «Невском зрителе», которое было потеряно в редакции и не найдено до сих пор; к этому же кругу интересов следует отнести занятия А. Бестужевым-Марлинским, в результате которых появилась книга «А. А. Бестужев-Марлинский, Собр. стихотворений» (вступ. статья, ред. и примеч. Н. И. Мордовченко, Л., Большая серия Библиотеки поэта, 1948) привели ученого к мысли о необходимости создания исследования о процессе над декабристами. Побуждающим мотивом в данном случае была необходимость решения чисто историко-лингвистической задачи: в работе над историей любой тайной декабристской организации исследователь вынужден опираться в качестве основного источника на данные процесса над декабристами; показания, следственные материалы и пр. Но, говорил Н. И. Мордовченко в беседе с автором этих строк, все эти данные не представляют собой изолированных документов, смысл которых может быть понят, если каждый из них брать вне связи с другими. При таком подходе они могут породить многочисленные ошибки, возникающие в результате того, что документ не дешифруется, а в своей сырой непосредственности переносится в текст исследователя. К сожалению, ряд научных работ показывает, что опасения Н. И. Мордовченко не были лишены оснований. Каждый документ «дела декабристов» понятен лишь в общем контексте процесса, и восстановление этого контекста должно предшествовать использованию извлекаемых из него документов. Задуманная Н. И. Мордовченко книга должна была на основании всей совокупности дел следствия восстановить реальное течение этого трагического «дела». При этом речь шла не о том, чтобы, расположив

документы различных папок в хронологии их возникновения — по дням и часам, создать летопись процесса. Даже этот огромный труд мыслился лишь как предварительный. Случайность хода следствия могла расположить в хронологическом соседстве документы, мало связанные по смыслу и не проливающие света друг на друга. Конечным итогом замысла Н. И. Мордовченко было установление связей (последовательностей, полемик, очных ставок), которые позволили бы точно представить тактику, избранную на следствии каждым обвиняемым в момент написания того или иного документа, конкретно раскрыть — по дням и в применении к разным лицам — тактику следствия. Такой подход мог бы раскрыть факты этих драматических месяцев как напряженную борьбу между обвиняемыми и следствием и взамен выписок из того, что *написал* тот или иной подследственный, дать нам знание о том, что *значит* его показание, каких результатов он ждал от него, что в нем относится к разнообразным формам тактического поведения, а что — к событиям доследственной поры. Метод работы исследователя как дешифровщика документа, который, вдвигая текст в обширные контексты, сначала устанавливает общее значение документа в его целостности (например, в этом случае, значение тактики самозащиты, избранной данным декабристом в данный момент следствия), а затем уже переходит к выяснению частных значений отдельных высказыва-

72

ний, дополнялся взглядом на любое высказывание, показание, текст как на реплики в конфликтном диалоге. Смысл их раскрывается перед исследователем лишь тогда, когда он мысленно охватывает всю полноту подобных реплик, картину спора в целом.

Понимаемый таким образом замысел исследования приобретал исключительную источниковедческую ценность, наглядно отражая те свойства работы над источниками, которые были присущи Мордовченко как источниковеду во всех его работах, в частности посвященных Белинскому и критике 1830—1840-х годов.

Пытливое и чуждое любых предвзятостей, проникнутое духом научной честности исследование необычайно широкого круга документов по истории русской общественной мысли первой половины XIX века послужило для Н. И. Мордовченко основой создания широкой и продуманной концепции духовной жизни этой эпохи. Сочувственно оценивая работы тех своих коллег, для которых создание новой работы было синонимом выдвижения новой концепции, сам Н. И. Мордовченко предпочитал, однако, в собственных исследованиях иной путь: охарактеризованный выше метод анализа придавал научной мысли исследователя совершенно исключительную конкретность и точность, в свете которых большинство из распространенных концепций обнаруживали свой схематизм, а порой и удручающую приблизительность. Именно конкретизация общих положений науки, придание им гибкости и детализованности за счет тех поправок, которые вносят в общие закономерности живые и причудливые сцепления реальных фактов, составляли пафос исследовательского метода Н. И. Мордовченко.

Так, например, он весьма скептически относился к тем суммарным характеристикам декабризма, которые появились в ряде работ начала 1950-х годов и предавали забвению реальные достижения науки предшествующего периода по выявлению разницы этапов, внутренних противоречий группировок, тактических и программных разногласий внутри этого движения.

Любимыми объектами исследования Н. И. Мордовченко были сложные и противоречивые явления общественной мысли, не покрываемые какой-либо единой формулировкой. Не случайно его столь интересовал Н. И. Надеждин, в котором он видел представителя ранней стадии еще незрелого, не революционного демократизма, чей нескрываемый антагонизм по отношению к декабристской традиции и не менее очевидная роль предтечи Белинского сразу же вводили в самый центр одной из наиболее острых проблем исторического изучения общественной мысли — проблемы преемственности. Представление об исторической преемственности как о некоторой бесконфликтной передаче эстафеты передовых идей находило в лице ученого корректного, но сокрушительного критика. Преемственность представлялась ему как диалектически противоречивый, исполненный внутреннего напряжения путь борьбы, поисков, разочарований и надежд.

Накопленный годами упорного труда опыт анализа источников и обширные знания, добытые тщательным изучением общественного фона, десятков частных проблем и лиц, подготовил переход к научному синтезу — созданию фундаментальных монографий, свидетельствующих о переходе ученого к новому, синтетическому этапу творчества. Первым шагом в этом направ-

73

лении была монография «В. Белинский и русская литература его времени» (М.; Л., 1950). Горько сознавать, что этот первый шаг оказался последним. Смерть оборвала путь ученого в момент, когда он вступал в новый, более зрелый период научной деятельности.

Говоря об этом, только лишь наметившемся повороте, хотелось бы указать на один его аспект: постоянно изучая историю русской поэзии (известно, что научный путь его начался с исследований, посвященных Есенину, в дальнейшем объектом пристального внимания становились Пушкин, поэты-декабристы, Лермонтов, Тютчев), Н. И. Мордовченко почти ничего не публиковал касающегося этой части его постоянных интересов и упорных трудов. Однако переход к работе над монографией, посвященной столь неожиданному для тех, кто знал Н. И.

Мордовченко лишь по печатным публикациям, научному жанру, как внутренний анализ обширного поэтического текста — романа «Евгений Онегин», — постепенно подготовлялся. В 1947/48 учебном году Н. И. Мордовченко объявил в Ленинградском университете специальный семинар по «Евгению Онегину», участником которого посчастливилось быть автору этих строк. Замысел семинара, видимо, отражал некоторые черты плана монографии, рисовавшегося в уме ученого.

Участникам семинара были розданы темы — отдельные главы пушкинского романа в стихах. Предполагалось, что каждый докладчик напишет монографию по одной главе — текстологический анализ, историю написания, внутренний художественный строй, отклики критики. Из этих отдельных монографий должна была сложиться книга — монография, объединяющая воедино самостоятельные исследования по каждой главе. Хотя ход семинара далеко не полностью оправдал надежды руководителя (некоторые из участников выполнили свою часть работы недостаточно глубоко), нам он интересен с другой стороны — он приоткрывает завесу в крайне интересный, но нереализованный замысел ученого (единственным печатным трудом, отражающим работу ученого над «Онегиным», является маленькая газетная статья «„Евгений Онегин" — энциклопедия русской жизни», Пресс-бюро ТАСС, 1949, № 59, написанная к юбилею, но отнюдь не «юбилейная»; тонкая и вдумчивая, хотя и крошечная по объему работа). Роман Пушкина должен был быть показан как противоречивое единство, солнечная система, внутренне единая, но одновременно состоящая из вполне самостоятельных планет. Видимо, значительную роль автор отводил тщательному анализу переплетений мнений критиков по поводу романа, которые должны были составить контекстную раму — контрастный фон для пушкинского текста.

Книга была обдумана и сложилась в голове ученого, когда его настигла внезапная смерть.

В заключение нашего краткого и не претендующего на систематичность очерка хотелось бы отметить, что существует глубокая и вполне закономерная связь между трудами автора и его личным, человеческим обликом. Вдумчивый историк по трудам ученого восстановит его лицо с такой же точностью, с какой реконструируется тип эпохи по дневникам или письмам. Сдержанный, скромный, глубокий, предельно честный стиль научных сочинений Н. И. Мордовченко как нельзя лучше характеризует и его как человека.

74

Последний экзамен, последний урок...¹ (Несколько слов о Романе Осиповиче Якобсоне)

18 июля 1982 года в Кембридже (США, штат Массачусетс), не дожив нескольких месяцев до своего 86-летия, скончался один из виднейших мировых лингвистов, славистов, энциклопедический по своим интересам исследователь-гуманитар Роман Осипович Якобсон.

Научное наследие Р. О. Якобсона огромно: вышедшая в 1971 году библиография его трудов² насчитывает 828 номеров (среди них монографии в сотни страниц). А кипучая научная деятельность проф. Якобсона не прекращалась буквально до последнего дня, и список его трудов за последние десять лет увеличился еще намного. Вышедшие до сих пор пять обширных томов (по 700—800 страниц in quarto)³ не охватывают еще значительной части его трудов. Но главное не в этом, а в том, что каждая — буквально каждая — из этих сотен книг и статей, каждый доклад на той или иной конференции, каждое интервью было научным событием, сенсацией, разрушавшей сложившиеся научные представления и открывавшей новые, совершенно неожиданные научные перспективы. Он никогда не был продолжателем. Даже продолжателем самого себя...

Когда осенью прошедшего года я получил от редакции журнала «Keel ja Kirjandus»⁴ заказ на статью об Якобсоне, я вставил лист в пишущую машинку... и понял, что писать не могу. Причин было несколько. Первая состояла в следующем: для того, чтобы писать некролог, надо привыкнуть к мысли, что человек умер, *почувствовать* эту мысль. Некролог легко писать о человеке, который давно уже пережил себя, чей человеческий, научный, творческий путь закончился задолго до того, как жизнь покинула его тело. Но как «подводить итоги» научной жизни исследователя, который до последних дней напоминал гейзер, готовый в любую минуту взорваться целым извержением гипотез, идей, блестяще подобранных неожиданных фактов.

Я встретился с Р. О. Якобсоном в последний раз два года тому назад в Москве, и он был все тот же: блестящая память, исключительная умственная энергия, новые идеи. Никакого следа умственной старости. Он не кончал путь, он был в пути. Как тут «подводить итоги»?..

Но еще важнее другое. Смерть для того, кто умирает, — последний экзамен. Весь труд жизни, вся жизнь целиком вдруг приобретает для тех, кто

¹ Впервые — на эстонском языке: Moni sõna Roman Jakobsonist // Keel ja Kirjandus. 1983. № 4. Lk. 188—190. На русском языке: Вышгород, 1995. № 3. С. 36—40.

² Roman Jakobson. A bibliography of his writings, with a foreword by C. H. van Schooneveld, The Hague-Paris, 1971. Примеч. Ю. Л.

³ Jakobson R. Selected Writings, 1962—1981, Mouton, The Hague; vol. 1: Phonological Studies, 1962, Second expanded edition, 1971; vol. 2: Word and Language, 1971; vol. 3: The Grammar of Poetry and the Poetry of Grammar, 1981; vol. 4: Stavic Epic Studies, 1966; vol. 5: Verse: Its Masters and Explorers, 1981. Примеч. Ю. Л.

⁴ «Keel ja Kirjandus» (ости.) — «Язык и литература». Эстонский филологический журнал, выходящий в Таллине.

75

остался, совершенно новый смысл. Умерший уже не среди нас — он среди тех, чьи имена написаны на корешках книг, чьи мысли, труд и вдохновение стоят на полках. Его — по крайней мере если речь идет об ученом, поэте или мыслителе, — сопоставляют уже не с коллегами по институту или товарищами, как и он, претендующими на место в квартирной очереди или на путевку в дом отдыха, а с теми, кто ни на что не претендует: с Ньютоном, Пушкиным, Эйнштейном. Как ему там?

Для тех, кто остается, смерть — последний урок. То, что человек делал, обретает финал, в свете которого его поступки получают новый смысл: жалкий или величественный, но всегда простой и загадочный одновременно. Этот смысл надо понять. Чтобы понять — надо подумать. Я бы никогда не торопился писать некрологи. Их должно писать время.

И вот вчера ночью я внезапно понял, что могу писать о Якобсоне. Мне стал ясен основной смысл, «идея» его творческого пути, то, что объединяет его юношеские стихи и книги по фонологии, фольклору, поэтике «Слова о полку Игореве» и поэтике Маяковского, детской афазии и функциональной асимметрии больших полушарий человеческого мозга, поэзии грамматики и грамматике поэзии.

Наука имеет свои стили. Роман Осипович Якобсон всю жизнь был романтиком в науке.

Р. О. Якобсон при всей разносторонности своих дарований прежде всего был лингвистом. Не случайно он любил повторять переделанное им изречение: «Linguista sum; linguistici nihil a me alienum puto»¹.

Но вначале у него было и другое призвание — он был поэтом. Соединение поэзии и лингвистики привело его закономерно в круг тех поэтов 1910-х годов, которые группировались около Хлебникова и Маяковского. Кровную любовь к Маяковскому, который в стихах и в жизни называл его «Ромкой Якобсоном», ученый сохранил до последних дней. Наш прощальный разговор в Москве был о Маяковском. В кружке молодых футуристов 1910-х годов господствовал дух бунтарства. Преклоняться перед авторитетами считалось постыдным, свергать идола — было повседневною занятием. Этот дух бунтарства группа молодых филологов, вышедших из недр футуризма, перенесла в науку. Наука виделась им не как сложенный из вековых камней храм, а как несущийся автомобиль (автомобиль казался тогда пределом техницизма и скорости).

Рассматривая пути ученых, вошедших в науку одновременно с Якобсоном, часто наблюдаешь, как юношеский романтизм их научных идей с годами — добровольно или под влиянием обстоятельств — сменялся научным классицизмом, добропорядочным академизмом, а иногда просто усталостью, старые идеи делались привычными, на научных баррикадах 1920-х годов возникали уютные академические квартиры (хотя немало было и могил). Якобсон не старел, не уставал, не делался «добропорядочным» — он был и оставался бунтарем в науке, ниспровергателем, тем, кто будоражит, вносит смуту, не дает уютно устроиться в привычных, обжитых идеях, а тащит в степь, в пургу новых, ошеломляющих и непривычных мыслей и гипотез.

¹ Homo sum; humani nihil a me alienum puto. Я человек; ничто человеческое мне не чуждо. Здесь: я лингвист и т. д).

76

Научный труд Р. О. Якобсона прежде всего ассоциируется с созданием, совместно с Н. С. Трубецким, В. Матезиусом и рядом других выдающихся лингвистов 1920-х годов, Пражского лингвистического кружка и превращением лингвистического структурализма в целостную концепцию, сыгравшую авангардную роль в мировой лингвистике. Общеизвестно, что Пражский кружок вырос на научном фундаменте, заложенном Ф. де Соссюром и женеvской школой в конце прошлого века. Менее привлекало внимание то, что продолжение принципов женеvской школы для Якобсона на практике означало преодоление этих принципов. Так, для соссурианской лингвистики фундаментальным положением было противопоставление в языке синхронии и диахронии. В интерпретации Якобсона, этот принцип должен быть принят и преодолен. Необходимо выделять эти аспекты и одновременно демонстрировать относительность этого выделения. Само понятие синхронии было, по сути дела, фундаментально пересмотрено. Уже в 1931 году Якобсон писал: «Было бы серьезной ошибкой утверждать, что синхрония и статика — это синонимы. Статический срез — фикция: это лишь вспомогательный научный прием, а не специфический способ существования. Мы можем рассматривать восприятие фильма не только диахронически, но и синхронически: однако синхронический аспект фильма отнюдь не идентичен отдельному кадру, вырезанному из этого фильма. Восприятие движения наличествует и при синхроническом аспекте фильма. Точно так же обстоит дело с языком»¹.

Стремление внести динамику в само понятие структуры языка характеризует лингвистическую мысль Якобсона с самого начала.

Женеvская школа выдвинула принцип — также весьма плодотворный — имманентности языковой структуры. Верный тезису «преemptвенность есть преодоление», Якобсон истолковал его так: язык функционирует как имманентная структура, только благодаря этому он может

выполнить свою социальную функцию. Он с полным основанием может считаться одним из основоположников социолингвистики. Так, например, в исследованиях, посвященных деятельности славянских просветителей IX века Кирилла и Мефодия, Якобсон продемонстрировал тонкий анализ социокультурной функции созданного ими церковнославянского языка, одновременно продемонстрировав виртуозное владение техникой анализа средневекового документа.

Как один из создателей семиотики Якобсон и в эту сферу внес дух динамики. Статические модели теории информации в его исследованиях преобразились в увлекательную картину взаимоотношений, конфликтов, перекодировок, превращающих семиотическое исследование в динамический портрет духовной жизни общества.

С этим связана еще одна особенность научного «почерка» Якобсона — его интерес к интердисциплинарности. Мертвое разграничение «областей компетенции» ему было органически чуждо: грамматика у него вторгалась в поэтику, поэтика — в живопись или кинематограф. Поэтому, в частности, ему было так близко искусство XX века с его духом интеграции.

¹ *Jakobson R. Prinzipien der historischen Phonologie // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1931. N 4. P. 264—265. Пер. с нем. Ю. М. Лотмана.*

77

Научный динамизм, романтическую вражду к всякому застою Якобсон сохранил до конца своих дней. Редко можно указать на пример такой чуткости к новому в других областях науки и — даже более того — интуитивное предчувствие будущих открытий в областях, казалось бы, совсем далеких от лингвистики. Глубокие соображения о связи лингвистики и семиотики с молекулярной генетикой и новейшими исследованиями функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга человека стали возможны в последних трудах Якобсона лишь потому, что еще в начале 1940-х годов в его работах стали появляться мысли, свидетельствовавшие об огромной научной чуткости и о таланте «научного предчувствия».

Мне случалось читать медицинские работы, утверждавшие, что талант — это болезнь. Глядя на творческий путь Р. О. Якобсона, хочется сказать, что это болезнь заразительная: куда бы Якобсона ни забросила трудная судьба человека середины XX века, вокруг него неизменно возникал научный кружок, который скоро превращался в исследовательский центр мирового значения. Это делает научную биографию Якобсона неотделимой от истории гуманитарной науки нашего века.

[О Натане Эйдельмане]¹

...Мы сидели у Петра Андреевича Зайончковского и обсуждали пути движения русской исторической науки. Я собрался уходить. «Подождите, — сказал Петр Андреевич, — я познакомлю вас с самым многообещающим из молодых историков. Он скоро придет». Минут через десять раздался звонок и в прихожую вошел Натан Яковлевич Эйдельман. Так я впервые его увидел...

В дальнейшем я встречался с Натаном Яковлевичем неоднократно — в архивах и библиотеках, на научных конференциях и семинарах, в московском Доме литераторов. Я слушал его лекции и доклады в Москве и в Тарту, на Тыняновских чтениях в Резекне, на Пушкинских конференциях в Ленинграде. Он всегда был увлечен новой архивной идеей. Мы работали в смежных областях, и мне всегда было интересно говорить с ним. Даже если между встречами проходили многие месяцы, мы продолжали разговор с полуслова, будто он был прерван вчера, и всегда прекрасно понимали друг друга.

Натан Яковлевич не умел писать неувлекательно. Под его пером историческая наука органически перерастала в беллетристику: все оживало, делалось притягательным, загадочным, ярким. Мне случалось слышать, что увлекательность его работ частично навеяна вкусами издателей, но я всегда видел здесь другую причину. Натан Яковлевич был лектор и педагог Божьей милостью. Несправедливая судьба навсегда отделила его от педагогической кафедры, но жажда педагога кипела в нем. В нем жила потребность видеть

¹ *Впервые: Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 335—336.*

78

лицо своей аудитории. Популяризаторский жанр создавал ощущение непосредственного контакта с ней и утолял жажду лекторства.

...В последний раз мы виделись с ним в Мюнхене, в больнице, где я лежал после серьезной операции. Натан Яковлевич направлялся из Америки в Москву с портфелем, набитым сенсационными материалами из американских архивов. Новая работа только начиналась, и он был полон планов. Мы говорили о будущем. А для него оно уже кончалось...

Но для историка прошлое — всегда его будущее. Мы уходим — наша работа остается и ждет своих продолжателей.

«У всех была разная война...»¹

О войне рассказывать очень трудно, потому что все слушатели (те, кто не были на войне) имеют о ней ясное представление, а рассказывающие (те, кто были на войне) ясного

представления о ней не имеют: для того чтобы иметь ясное представление, надо видеть на расстоянии, а наше поколение видело войну слишком вблизи. Всем ясно, что война — вещь плохая, но молодость — вещь хорошая. А наша молодость прошла на войне, поэтому у нас о войне не только плохие воспоминания.

Кроме того, как у всех людей разная жизнь и разные о ней представления и воспоминания, так у всех была разная война. Знать войну вообще так же невозможно, как знать жизнь вообще. Я знаю ту войну, которая была у артиллериста, кадрового солдата (я был призван в армию со второго курса Ленинградского университета еще в 1940 году), успевшего к ней психологически подготовиться и получить некоторые (не очень большие) профессиональные навыки; провоевавшего в 1941—1944 годах на южном фронте и только в 1944—1945-м попавшего на север — в Эстонию, Польшу, а затем — Германию.

Это все важно: в артиллерии одна война, в пехоте — другая, в степи одна война, в лесу и болоте — другая, в 1941 году одна война, в 1942-м — другая, в 1943-м — третья, четвертая, пятая. В одних случаях страшнее всего мороз, в других — танки, в третьих — комары и пикирующие самолеты, в четвертых — старшина или стертые ноги. Трудности всегда разные. Общее только одно: их всегда неизмеримо больше, чем человек может вынести физически. Поэтому преодолеть эти трудности можно лишь волей, характером или душой.

Но есть на войне и свои радости, и их не так мало. Во-первых, война все очень упрощает. Упрощает она жизненные нужды — почти все из того, что до войны казалось важным, из-за чего люди хлопотали, ссорились, шли на компромиссы, старались приобрести, оказалось ненужным: потребности в еде сводятся к котелку каши, дом — землянка, которую каждый очень скоро

¹ Впервые: Тартуский государственный университет. 1980. 16 мая. № 4 (88). С. 1 (под рубрикой: «Ветераны вспоминают»).

79

может научиться строить, а копать ее и рубить для крыши лес можно в любом месте, ни у кого не спрашивая, основное удобство — чтобы ноги были сухие. А для этого есть простое средство: портянку верхним концом наматывать на голую ногу: пока нижняя половина мокнет — верхняя сохнет от тепла ноги, через полчаса можно перемотать верхним концом вниз — и ноги сухие или хотя бы теплые. Таких радостей очень много, и их быстро научаешься ценить.

Упрощаются и нравственные задачи. Для меня, например, для того чтобы быть собой довольным, считать себя порядочным человеком и иметь спокойную совесть, нужно было, чтобы телефонная связь между наблюдательным пунктом и батареей работала без перебоев. Это бывает очень трудно, требует умения и физических сил, постоянно связано с опасностью для жизни, но не требует никаких духовных поисков, разлада с собой, самоанализа. Умеешь работать и не трусишь — и все в порядке. В мирной жизни бывает сложнее.

Говоря о положительных сторонах моих военных впечатлений, не могу не отметить, что нам, мальчишкам, начинавшим войну в восемнадцать лет, было ясно, что мы сразу стали взрослыми. Все скидки на возраст, неопытность и неумелость сразу исчезли. Ответственность стала безмерной, но зато и возросла свобода. На войне (и, подчеркиваю, на передовой) человек получает одновременно ответственность и свободу. Я надеюсь, что моим читателям не придется никогда воевать но если придется, то мой совет — держитесь ближе к передовой. На передовой — те, кто не были, мне могут не поверить — гораздо лучше, если, конечно, не считать того, что там чаще убивают. Но это на войне входит в условия игры.

И конечно, воевать можно только когда знаешь, за что воюешь, и веришь в это дело.

А вообще, от души желаю всем читателям мирной жизни.

Жить только в Тарту¹

— Что, по-вашему, формирует главные качества личности (семья, школа, случайности; позже — своя воля...)? Что было определяющим на вашем пути становления тем, кто вы есть? Вы росли в семье адвоката. Не ждали ли от вас продолжения семейной традиции?

— Я не знаю, кто я есть, и всю жизнь пытаюсь приблизиться к пониманию этого. Следовательно, я не могу сказать, какие факторы сформировали мою личность. Это и о другом человеке сказать очень трудно. О себе же — тем более когда жизнь еще не кончена и сам не знаешь, что еще сможешь и не сможешь совершить, — невозможно. О семейной традиции: в нашей семье

¹ Интервью на эстонском языке было опубликовано в газете «Noorte Hääl» 28 февраля 1982 г. («Noorte Hääle» lugejate küsimustele vastab TRÜ vülikirjanduse professor filoloogidoktor Juri Lotman). В оригинале опубликовано впервые: Вышгород. 1998. № 3. С. 77—84.

80

жила традиция уважения к человеку независимо от его профессии, положения или национальности. Родители хотели, чтобы я был честным человеком. Отец однажды сказал мне, что лучше умереть, чем быть подлецом. Что же касается профессии, то здесь все было полностью предоставлено моему выбору.

— Кто из людей, учителей (какие из книг) имели самое большое влияние на ваше развитие, поиски? Чье мнение вы (сейчас) цените превыше других?

— Я очень счастливый человек: с ранних лет, в университете, на войне, в зрелые годы мне встречалось очень много прекрасных людей. Многих из них уже нет на свете, но для меня они все живы. Одним из высших свойств человека я считаю память — я всех их помню, часто вижу во сне и вспоминаю наяву. Все они оказали на меня влияние, и перечислить их было бы невозможно. Кроме личной памяти есть и общая — зовется она «культура». В памяти нет разницы между живыми и мертвыми: все живы, со всеми можно говорить, выслушивать их укору или одобрения. Отсюда и ответ на последний вопрос: выше всего я ценю мнение Пушкина и очень боюсь его осуждения.

— Может ли ученый, у которого есть способности и желание оставить свой след в науке, сделать это при любых условиях? Что одушевляет, что мешает заниматься наукой?

— Вопрос поставлен неточно: оставить свой след в науке не может быть *главным* побуждением ученого. История науки знает много случаев, когда ученые из соображений успеха, в поисках истины или из этических соображений жертвовали возможностью связать то или иное открытие со *своим* именем. Известный лингвист академик А. Шахматов, человек не только гениальной одаренности, но и высокой нравственности, не стал печатать одну из своих статей, узнав, что один из его учеников написал на ту же тему книгу. Он сознательно уступил приоритет открытия молодому ученому (статья Шахматова была опубликована только после его смерти). В науке есть свои «могилы неизвестного солдата», и у настоящего ученого они вызывают не меньшее уважение, чем самые блестящие имена. Что же касается возможностей, то, конечно, необходимо, чтобы способные к науке люди, особенно молодые, имели благоприятные условия для своей работы, и прежде всего время («время — пространство для развития таланта», — сказал К. Маркс). Таланты надо уважать — это такое же национальное богатство, как и природа. Мы уже поняли, что надо охранять среду обитания и не относиться к ней хищнически. К талантам также нельзя относиться хищнически — они нуждаются в защите не меньше, чем вписанные в Красную книгу животные. Но всё же ссылки на «условия», не дающие возможности развить свой талант, часто скрывают отсутствие целеустремленности, готовности к тяжелому повседневному будничному труду, без которого нет науки. Совесть ученого не удовлетворяется рассказами о трудных условиях, а спрашивает: «Все ли *ты* в этих трудных условиях сделал, что в них можно было сделать?»

— Что одушевляет, что мешает заниматься наукой?

— Одушевляет любовь к истине, мешает — более всего душевная лень, боязнь трудностей и жертв, которые неизбежны при серьезной любви к науке.

81

— Какой должна быть (идеальная) супруга ученого?

— Очень терпеливой. То же качество требуется и от мужа, если жена его — ученый.

— Уживаются ли два ученых под одной крышей?

— Вопрос странный. Любых два порядочных и культурных человека должны уживаться под одной крышей. Следовательно, надо было спросить: «Бывают ли ученые порядочными и культурными людьми?» Ответ: «Иногда бывают».

— Если вам предложат уединиться с пятью книгами, какие бы книги вы выбрали?

— Тайком бы пронес в свое уединение еще два чемодана книг.

— Нравится ли вам Тарту; какие достоинства, какие недостатки у Тарту как научного центра?

— Я не хотел бы жить ни в каком другом городе. Побывать мне хотелось бы во многих других городах, но жить — только в Тарту. Мне кажется, что здесь самый воздух помогает работать и думать. Может быть, оттого, что в городе основной «человеческий пейзаж» составляет учащая молодежь, то есть та категория людей, которую я люблю больше всего. Что касается недостатков, то они есть везде. В Тарту как научном центре недостатком ощущается трудность общения с другими научными центрами, особенно зарубежными, недостаток в новой зарубежной литературе по гуманитарным вопросам. Возможности приобретения такой литературы университетской библиотекой явно не соответствуют научному значению Тартуского университета.

— Сколько монографий вы написали? Можно ли где-нибудь найти полную библиографию ваших работ?

— Монографий, то есть книг, посвященных какой-либо научной проблеме, — восемь. Самая полная библиография до сих пор была: K. Eimermacher and S. Shishkoff. Subject bibliographie of Soviet semiotics. The Moscow-Tartu School. Ann Arbor, 1977. Однако сейчас готовится к изданию в Таллине более полная.

— В скольких странах издавались переводы ваших работ? Есть ли у вас замечания по поводу переводов?

— Лучше говорить не о странах, а о языках. Если я не ошибаюсь, то на три языка народов СССР (эстонский, литовский и армянский) и шестнадцать зарубежных: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, шведский, финский, венгерский, польский, чешский, словацкий, румынский, голландский, новогреческий и японский. О качестве переводов мне трудно говорить: на тех языках, на которых я читаю, переводы хороши. Например, немецкий перевод, выполненный известным переводчиком Rolf-Dietrich Keil («Die Struktur literarischer Texte», Munchen, 1972), мне нравится больше, чем моя книга.

— Справочники пишут о вас как об одном из создателей структурализма в советском литературоведении. Может быть, окажется возможным предельно просто объяснить самой широкой аудитории, что такое структурный метод анализа художественного произведения.

82

— Я не считаю себя «создателем». Структурные методы возникли давно. Вообще в науке вопрос: «Кто первый?» — всегда затруднителен и редко имеет смысл. На вторую часть вопроса я бы ответил так: можно ли заменить хорошую погоду танцами, стихотворение скульптурой или любовь тортом? Почему нет? Видимо, потому, что каждое из этих явлений обладает чем-то, что не переводится и не заменяется другим. Это «что-то» — структура данного явления. Следовательно, структура есть то, что отличает одно явление от другого. Но одновременно мы можем про десятки и сотни различных по величине и цене объектов сказать: «Это торт». И про чувства X к Y, A к B, D к E сказать: «Это любовь», хотя чувства весьма отличны и люди разные. Почему? Потому что в данных объектах мы выявляем общую (инвариантную) структуру. Следовательно, структура есть то, что объединяет, казалось бы, разные явления. Это и изучают структурные методы. Но великий швейцарский лингвист конца прошлого века Фердинанд де Соссюр сказал, что всякая система общения между людьми (любую такую систему в семиотике называют языком) покоится на механизме сходств и различий. Следовательно, структурные методы не просто помогают проникнуть в сущность тех или иных явлений, но и раскрывают их функцию в человеческом общении, то есть их общественную функцию.

— Вы член Союза писателей Эстонии. Какие связи у вас с эстонской литературой? Будет ли опубликовано что-либо из ваших работ на эстонском языке?

— За эти годы в журналах Эстонии («Keel ja Kirjandus», «Looming» и других) неоднократно публиковались мои статьи. К осени будущего года должны выйти два учебника для эстонской школы: «Vene kirjandus IX kl.» совместно с профессором С. Исаковым (на эстонском языке) и «Учебник-хрестоматия по русскому литературному чтению» тоже для девятого класса совместно с доцентом В. Н. Невердиновой (на русском языке). В издательстве «Eesti Raamat» находится в производстве сборник моих статей по теории культуры.

— Как вы относитесь к теоретическим работам, которые пишутся на малых языках, в том числе на эстонском? Есть ли у них перспектива? Что, по вашему мнению, могло бы оживить эстонскую литературоведческую мысль?

— Прежде всего, я не согласен с постановкой вопроса в таком виде. Нет «малых языков», как нет «малых культур». Всякий язык, на котором сказано новое слово в человеческой культуре, есть великий язык. В этом смысле языки малых народов, например исландский, венгерский или эстонский, — великие языки. Европа относительно поздно открыла для себя исландскую эпическую поэзию, но это не означает, что исландский язык не был великим языком и до того, как его «открыли». Теперь о науке, в частности гуманитарной. Венгры не боятся того, что их язык мало известен в Европе (как не боятся этого, например, японцы), и ученые соответствующих профессий вынуждены знакомиться с их работами в подлинниках. Одновременно венгры издают свои исследования и на русском, французском, немецком и других доступных для невенгерских ученых языках. Одно не исключает другого. Важно, чтобы было сказано новое слово. В этом отношении у эстонского литературоведения, я полагаю, большие и еще не использованные возможности.

83

И конечно, здесь особые надежды, как всегда, возлагаются на молодое поколение ученых. Что касается второй части вопроса, то это большая и важная проблема, ответить на которую коротко было бы трудно. Хочу лишь отметить, что, на мой взгляд, исключительно важную роль сыграли бы переводы важнейших работ советского и мирового литературоведения последних десятилетий на эстонский язык. Издательства не проявляют в этом большой заинтересованности, видимо полагая, что для таких книг недостаточно читателей. Это ошибочно: во-первых, в республике много студентов, учителей, писателей, журналистов, которым такие книги нужны. Но я сейчас хотел бы подчеркнуть то, что связано с заданным мне вопросом: перевод классической научной книги — незаменимая школа для переводчиков и читателей и сам по себе поднимает теоретическую мысль на новый уровень. Конечно, большинство эстонских филологов могут прочесть ту или иную книгу по-русски или по-английски, по-немецки или по-французски. Но появление таких книг, как сочинения М. М. Бахтина или Мукаржовского, Тынянова или Ингардена, на эстонском языке было бы событием, стимулирующим молодых ученых республики и повышающим уровень литературной критики.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Тем же, чем всегда: читаю книги, читаю лекции, пишу статьи. Работаю над сопоставлением типологии различных по своей природе культур. А что из этого получится, маленькая статья или большая книга, — не знаю.

— У умудренных жизненным опытом людей обычно складывается пессимистическое мнение о молодом поколении...

— Значит, они недостаточно умудрены. Мудрость состоит в том, чтобы критически относиться к себе и снисходительно к другому.

— Как вы относитесь к сегодняшней молодежи? К студентам, которых вы учите? Действительно ли их тяготение к знаниям (науке) меньше, чем было некоторое время назад?

— С огромным интересом. Я не верю, что про целое поколение можно сказать «лучше» или «хуже». Так говорят, как правило, люди поверхностные. Некоторые черты сегодняшней молодежи мне нравятся больше, чем то, что я помню по своей молодости, некоторые меньше. А в целом молодость имеет огромные преимущества, и сталкиваться и работать с молодыми людьми — большое счастье. Конечно, хотелось бы часто лучшей предварительной подготовки. Белинский сказал очень точно, что никакое высшее образование не заменит начального, а мы часто пытаемся прикрыть первым недостатки второго. Хотелось бы больше внутренней культуры. Но что мне безусловно нравится в сегодняшней молодежи — это гораздо более сильно выраженное разнообразие личностей, вкусов, интересов. Я очень высоко ценю в людях любовь к искусству, особенно к поэзии и ее знанию. И меня очень радует, когда я сталкиваюсь с тем, что поэзия, духовная жизнь являются для человека не «десятым делом», а жизненной необходимостью.

— Что для вас свято?

— Человеческое достоинство.

84

Город и время¹

В беседе с Юрием Михайловичем Лотманом принимают участие Михаил Лотман, Любава Морева и Игорь Евлампиев. (Тарту, 28 декабря 1992 года)

Л. М.: В ваших статьях, Юрий Михайлович, рассматриваются проблемы: город как имя, город как пространство, я хочу предложить еще один сюжет — город как время. И в этом сюжете взглянуть на время по августиновской гипотезе как на единство трех составляющих: настоящее прошедшего, настоящее настоящего, настоящее будущего. Из настоящего я предлагаю взглянуть на «время Петербурга». И еще один сюжет, связанный со временем, — те модели города, которые вы упоминаете: Петербург в реальном историческом времени, Петербург как новая Голландия, как замысел вхождения в историческое время — это одна модель: вторая модель — Петербург как вечный город, как город, включенный в сакральное время; и третья модель — модель Петербурга как эфемерного, как несуществующего, как вневременного города. Как перекликаются эти три модели во времени? И если говорить о настоящем будущего — какие вы видите переплетения этих моделей в настоящем будущего?

Ю. Л.: Я несколько лет не был в Петербурге и не очень себе представляю, чем он за это время стал... Понимаете, зададимся вопросом: чем город построенный отличается от чертежа или раскопок? Тем, что это живой организм. Когда мы стараемся понять его, мы складываем в своем сознании какую-то одну доминирующую структуру — скажем, пушкинский Петербург, Петербург «Медного всадника». Петербург Достоевского или же Петербург нашего времени. Мы берем какую-то остановленную временную точку. Но это в принципе неадекватно реальности. Потому что город, даже если он встроен по какому-то строго военному и как будто бы застывшему, установленному плану, как только он стал реальностью — он зажил; а раз он зажил, он все время не равен сам себе. Он меняется в зависимости от того, с какой точки зрения мы смотрим на него. Даже в самом простом смысле; например, мы сейчас можем смотреть на Петербург с самолета, — Пушкин не мог посмотреть на Петербург с самолета, он только мог вообразить эту точку зрения. Мы не можем посмотреть на Петербург, например, как он выглядит из Парижа. Это разнообразие точек зрения дает разнообразие реальных потенциалов того, что означает слово «Петербург», что входит в образ Петербурга. Потому что он живой, что он сам себе не равен.

Мы создаем некую модель, жесткую, которая сама себе равна, и она очень удобна для стилизаций, для исследовательских построений. Но в модели нельзя жить, нельзя жить в кинофильме, нельзя жить ни в одном из наших исследований. Они не для этого созданы. А жить можно только в том, что само себе не равно. То, что все время о себе говорит на разных языках. Ведь Петербург, это очень интересно, был задуман как военная столица, помните: «Люблю, военная столица / Твоей твердыни дым и гром»? А что такое воен-

¹ Впервые: *Метафизика Петербурга (Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. I)*. СПб., 1993. С. 84—92.

85

ная столица, военное поселение? Это план, который когда-то и кем-то был нарисован. И город должен быть точно таким же, как план. Но в таком городе нельзя жить. Там нельзя не только жить, там и умереть нельзя. Там не будет жителей. Там первоначально будут только солдаты. Но раз только солдаты, то там со временем появятся, извините меня, дамы. Там появится быт. А быт в принципе неоднозначен. Одна из особенностей быта состоит в том, что он не переводится на один язык, как не переводится на один язык живое существо. Можно модель живого существа на один язык перевести, можно кинофильм о живом перевести, все то, что рукотворно. А то, что нерукотворно, на один язык не переводится. Жизнь обязательно должна сама себя не понимать, сама все время должна вступать в конфликты с собой. Раз появляется рядом с Петербургом Пушкина Петербург Достоевского, значит, город — живой. Уже Петербург «Медного всадника» не был единым, значит, уже существовала какая-то жизнь... В чем отличие жизни от идеи? Идея

всегда одновременна и поэтому мертва. Вся история человечества состоит в том, что мы пробуем реализовать идею, самую хорошую; а идею реализовать нельзя в принципе, она — одновременна. А жизнь поливременна. Поэтому Петербург все время занимался тем, что сам с собой воевал, сам себя переделывал, сам все время как бы переставал быть Петербургом. Сколько можно привести текстов, в которых утверждалось — это уже не Петербург. Раз уже перешло за Невскую заставу, это уже не Петербург, это уже что-то другое.

И. Е.: Но что-то вечное все-таки остается?

Ю. Л.: Конечно, но в том-то и дело, что для того, чтобы остаться, надо измениться. Тот, кто не меняется, тот и не остается. Например, если вы не знакомы с античной культурой и приходите в Эрмитаж, то статуя для вас только статуя, это только место. Она ничего вам не говорит. А с другой стороны, когда вы обходите известную скульптуру петербургского Вольтера, то вы видите, как у него меняется лицо... Чем неподвижнее — тем заметнее перемены. Это глубочайшая иллюзия думать, что подвижное меняется, а каменное запечатлевает. Именно каменное — лицо этого города. Потому что он каменный, потому что он неподвижен, потому что он прибит железным гвоздем к географии, — он стал динамичным. Он как волновой камень, он бросает в культуру, он принимает из культуры. И наконец, он вторгается извне. Когда некоторый организм оказывается в какой-то среде, то он, с одной стороны, стремится уподобить эту среду себе, переделать ее под себя, а с другой стороны, среда стремится подчинить его себе. Это постоянно создает сложную динамику взаимодействия. Это проблема Петербурга. А Петербург — это Россия...

Между прочим, это особенно заметно в городах, которые расположены на воде. Вообще, города — мне об этом приходилось писать — делятся грубо на две группы: города, которые на горе, на материковой почве, и города, которые на берегу или в дельте реки. Это принципиально разные города. Вот Москва — это город на семи холмах, это город, который всегда в центре. Город, который находится, как Москва, в центре, тяготеет к замкнутости и к концентричности, а город, который на краю или за пределами, он эгоцентричен, он агрессивен (и не только в военном смысле), он выходит из себя, ему еще нужно найти пространство, в котором он будет центром. И поэтому

86

Ленинград-Петербург сейчас как бы «обрубленный», потому что он должен быть новым центром, иначе его смысл отсутствует. Точно так же многие города Балтики сейчас, поскольку Балтика потеряла свое историческое значение, должны заново найти себя, тот же Кёнигсберг... Представьте себе, что из Венеции ушла вода и она стоит на глине...

М. Л.: Если иметь в виду Кёнигсберг, то там не только «вода ушла», там не такая историческая ситуация, он стал советским Калининградом.

Ю. Л.: Ручаюсь, что вы все доживете (я, наверное, нет) до того, как он снова станет Кёнигсбергом.

И. Е.: Предположим, Калининград снова станет Кёнигсбергом, но он наверняка уже не сможет стать старым Кёнигсбергом. То же самое с Петербургом-Петроградом-Ленинградом, ведь тоже многое изменилось. Сможет ли он снова стать старым Петербургом, каким он был в начале века?

Ю. Л.: Старым стать нельзя. Никто никогда старым стать не может, даже если очень стараться. Я, например, очень хочу быть пятнадцатилетним, но это невозможно. Я думаю, что мы даже не осознаем тех больших перемен, современниками которых мы являемся.

Вообще, город соотносится с границей — это граница в границе. Возможно, со временем нас ждет упрощение всех отношений. Тогда понятие города и понятие государства изменятся и многие города несколько изменят свой смысл с изменением понятия границ, с изменением понятия морских путей сообщения, со сдвигом понятия «военная столица». Впрочем, предсказывать это трудно, это не дело историка. Исторически сложилось определенное понятие культуры, сложилось понятие города. Быть может, вы доживете до коренных перемен в смысле этих понятий, и это будет неудобно; но в этом мире, в котором мы живем, есть понятие города как хотя бы того, что отличается от не-города, как соединение современной культуры и старой среды... Правда, я никогда не видел этих чудовищных южноамериканских городов; хотя нет, был в одном — в Каракасе. Но это небольшой город, относительно небольшой: город воронкой уходит вниз, кругом горы как стены, поверху живут нищие и бандиты, и туда не ходят вообще, туда если и ходят, то только отважные иностранцы и с особыми предосторожностями. А внизу прекрасный испанский город, который состоит из нескольких старых городов, которые совершенно заросли в новых домах.

М. Л.: Но там, где горы, там всегда город в «яме».

И. Е.: Но не всегда вокруг города кольцо трущоб и разбойники; наверное, структура города как-то связана со структурой культуры.

Ю. Л.: Да, это так.

М. Л.: Но ведь и города на берегу тоже могут быть очень разными. Один тип — это Петербург, который «выплывает» пространство из себя, другой тип — колониальные города, которые строились на побережье, от них начиналась экспансия. Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро — это именно такие города. А потом возникали города в центре, например Бразилия.

Ю. Л.: Вообще, это особая наука, так сказать городоведение.

87

М. Л.: Есть разные точки зрения на город, но есть точка зрения самого города. В чем специфика петербургской точки зрения на самого себя?

Ю. Л.: Первое, это то, что он не Европа. Второе, что он не Россия. Я бы сказал, что он — будущая Россия; это город, который должен ангажировать будущее, он должен наметить, он должен показать идеал. Хотя идеал может быть разным, и он менялся — он мог быть по Павлу сделан, но он мог быть и совсем другим.

Поэтому, между прочим, в Петербурге всегда устранилось необходимое в городе пространство каких-то мелких застроек, полукрестьянских домов — то, что вокруг города. Это город, который стоит прямо, вдруг возникает. Я еще помню, как казалось, что будущее — это, по Чапеку, заводы; или же дачи. Но в любом случае — это как бы квинтэссенция завтрашнего дня. И — это очень интересно, этого, по-моему, нигде в мире не было — существовало ограниченное число инструкций о том, какими должны быть дома, какими должны быть фасады домов. Исключительная часть петербургской архитектуры имела высочайше утвержденные фасады; точно так же регламентировалась и окраска города.

М. Л.: С одной стороны, нормативность, но с другой стороны, в самосознание Петербурга входит определенная иррациональность.

Ю. Л.: Не просто нормативность, он задуман как образец для всей России.

И. Е.: Вы сказали, что Петербург есть идеал, но, наверное, идеал не в том смысле, как его понимало Возрождение, как гармония, совершенство, а в классическом русском смысле, как у Гоголя и Достоевского: идеал, который одновременно отпугивает и ужасает, в котором заключены внутренние противоречия.

Ю. Л.: Да, но кого пугает? Достоевского пугает, но вспомним в то же время: «Люблю, военная столица, / Твоей твердыни дым и грот...»

И. Е.: Но все же есть определенная неоднозначность в его восприятии.

Ю. Л.: Мы немножко испорчены гуманизмом. Дело вот в чем: это не город для того, чтобы в нем жить, это город для представительства.

М. Л.: Город утвержденных фасадов, он и подобен фасаду, предполагается, что неприлично смотреть на него со «спины», поэтому такой шум был вызван «Физиологией Петербурга». Никто не пишет очерки «Физиология Москвы», потому что в Москве, естественно, есть задворки, есть всякая дрянь, есть нищие; а «Физиология Петербурга» — это открытие, оказалось, что, с одной стороны, фасады, а с другой — город как город, даже еще похлеще.

Ю. Л.: Интересно, что не всегда правильно различают. Говорят, что Петербург — это европейский город; но в Европе в то время не было таких городов! Не было городов, когда стоят дом к дому. Это северо-германская деревня, которую Петр принял за город. В Германии, особенно в северо-восточных областях, есть такие деревни: стоят каменные дома, дом к дому, и они образуют каменные улицы. Европейские города в то время так не строились, дома не прислонялись друг к другу, а стояли отдельно. В то время господствовали культурные представления ренессансной эпохи, а это очень далеко

88

от города Достоевского, где — дом на дом, этаж на этаж, в подвалах черт знает что. Это только отчасти потом появилось, уже гораздо позже, начиная с тридцатых годов XIX века в Париже. Ни в Лондоне, ни тем более в итальянских городах нигде не строили дома стенка к стенке. Европейские города строились по такому принципу, но в других условиях. Когда город был окружен стеной и территория была очень ограниченной, тогда здания тесно лепились друг к другу, улицы были кривые, дома имели несколько этажей. Когда город строился как оборонительный пункт.

Л. М.: В одной из работ, Юрий Михайлович, вы пишете, символы предшествовали самому городу. О каких символах, предшествующих созданию Петербурга, вы могли бы сказать и какие символы, как вам кажется, сохранили до сих пор свое значение для Петербурга?

Ю. Л.: Первый символ — что это европейский город. Причем, понимаете ли, это совершенно разные вещи: европейский город и петербургское представление о европейском городе. Это совершенно разные вещи — Россия не Европа. Далее, второй символ — что это Венеция. Ведь долгое время Петр колебался, не отказывался от идеи организовать общеевропейский поход на Турцию, ему представлялось, что новый город будет типа Венеции. Только конфликт с Европой заставил выбрать, в общем-то, довольно неудобный выход через Балтику, очень неудобный выход, удобнее было бы через Черное море. Но сам принцип остался — город, который есть одновременно морская крепость. Причем здесь есть еще одна любопытная деталь — Петр совершенно не понимал, что город — это экономическое понятие. Город для него был военным поселением, он считал: город — то, что можно брать штурмом, или же то, что можно основать и этим закрепить территорию. Поэтому пушкинская формула «Люблю, военная столица...» очень точна. Петербург совершенно против желания Петра оброс экономикой, потому что даже самую простую технику все равно надо как-то налаживать, и деготь гнать, и все прочее, не везти же все из Москвы. Но в принципе это должно было быть нечто подобное римскому лагерю, который организован и укреплен очень рационально и ничего, кроме военного, там нет. И Петербург был

выстроен именно так, и долгое время в Петербурге существовала проблема — не хватало женщин. Пока не начал съезжаться двор и не привез своих крестьянок и пока не начали вокруг города строиться населенные пункты. Но все равно долгое время жениться ездили в Москву, потому что в Петербурге женщин не хватало, ведь в казарме им не положено быть.

И. Е.: Это то, о чем мы говорили в начале: город был создан как каменный идол, который постепенно стал живым.

Ю. Л.: Да, он оживал.

Л. М.: А все же, Юрий Михайлович, чем можно объяснить неослабевающий апокалипсический мотив в саморефлексии Петербурга, в пределе предрекающий отнюдь не метафорическую тотальную «смертогенность» этого города?

Ю. Л.: Я думаю, что мы слишком любим повторять старые мотивы. Но на самом деле ничего не повторяется. Я думаю, что никто из тех, кто пережил ленинградскую блокаду, не скажет вам о «смертогенности» города, который

89

был завален трупами. И вообще, в истории нет «мертвого», не бывает. Вы возьмете какую-нибудь книгу и скажете: это уже не актуально, ей уже сто пятьдесят лет, никакой школьник это сейчас не читает. Но кто бы мог сказать, что «Бедная Лиза» Карамзина станет бестселлером, будет поставлена в нескольких театрах. Это одна из особенностей истории: она непредсказуема. Мы все очень любим предсказывать, находим в этом большое удовольствие. Наверное, потребность такая заложена в нас. Но, к счастью, наши предсказания почти никогда не оправдываются, иначе было бы ужасная скучища, а не жизнь.

Л. М.: Но все-таки какие-то основания для такого рода «повторений» от самого основания Петербурга до наших дней есть?

Ю. Л.: Понимаете ли, в чем дело: все повторения отличаются одной особенностью — что они не повторяются. Как сказал как-то Короленко: в Петербурге каждый год случается что-то такое, чего не помнят старожилы. Так вот, повторяемость — это наш способ видения. Мы можем сказать: все повторяется — каждый мальчик становится драчуном, потом собирается стать космонавтом или еще кем-то, потом то-то и еще то-то и кончается тем-то. Так можно описать. Но это потому, что мы избрали такой язык; если же мы возьмем другой язык, то получим, что ни один мальчик не повторяет другого; если хотя бы один мальчик повторял другого, то он был бы совершенно избыточен, он был бы ненужен... Знаете, я не убежден, что та обезьяна, которую мы с вами представляем, очень удачный зоологический образец. Она имеет очень много недостатков. Но у нее есть один плюс — она очень вариативна, это отчасти уже от культуры, а не только от природы. И это создает чрезвычайную выживаемость, чрезвычайную какую-то коллективную талантливость. И поэтому предсказывать что-либо я всегда очень опасаясь.

Л. М.: Но здесь не о предсказании идет речь, а о попытке понять, каковы истоки этого повторяющегося мотива эсхатологичности, апокалипсичности города.

Ю. Л.: Истоки — в нашем сознании, а не в городе... но и в городе... Возьмите историю. Сколько раз ждали реального конца света, сколько раз на Руси не сеяли хлеб, потому что ожидали конца света. Конечно, это в средние века было и в Италии, особенно после чумных бедствий, но в таких масштабах... Это специфика русской истории. Об этом невозможно в нескольких словах сказать: она очень устойчива и очень динамична, она как будто бы все время одинакова и совершенно не одинакова. Это все та же возможность быть собой, не будучи собой... Легко можно сказать, что периоды определенных царств как бы повторяются и в то же время не повторяются... Может быть, это затем и задумано, чтобы на земле было такое непредсказуемое и вместе с тем творческое начало. Может быть, так. И при этом Россия очень хочет быть западной или восточной иногда, и при этом она все время описывается с Запада. Это все время приводит к неадекватному описанию. И было бы интересно попытаться понять, что же под этими дешифровками можно вычленил единого. Очень интересно.

Сейчас, я думаю, мы будем присутствовать при очень интересном процессе — собирании России. Знаете, как у Гоголя свитка, которая срastалась, —

90

она будет срastаться; сейчас ее разрежут, будет отдельно Украина и что-то еще. Но постепенно свитка будет срastаться, даже не понять, почему она будет срastаться, экономически это уже не обязательно. Но вот я умру, а вы скажете: а он-то все соврал, или скажете: нет, что-то такое есть. Я думаю, что будет срastаться и восстановится приблизительно в старых границах. Конечно же, исключая Польшу. Польша никогда не была Россией, это совершенно другое. А вот Кавказ — очень может быть, на каких-то особых правах, на отдельных условиях...

И. Е.: И все это, наверное, создаст новую по качеству культуру.

Ю. Л.: Думаю, да. Помните, как к священнику — это в каком-то западном тексте — к священнику приходят венчаться невеста, жених. Невеста какая-то кособокая, жених с одним глазом. Он говорит: дети мои, любите друг друга, ибо иначе какой черт вас полюбит... Вот, скажем, Эстония хочет быть Европой, но она ведь не выдержит этого, она не выдержит Европы. Здесь и география другая, и совершенно иная культура производства. Мы ведь не выдержим конкуренции. Все же я думаю, после центробежного, невозможно сказать в каких границах, но

начнется центростремительное движение. Вот так, мы уже перешли в область гаданий.

Л. М.: Но это же естественный процесс — переход в непредсказуемое пространство, как жизненное пространство.

Ю. Л.: Да, это увлекательно, но это соблазн, тем более для историка.

Л. М.: И все-таки Петербург остается тайной. Все его символы оказались нереализованными, да они и не могли реализоваться: он не стал европейским городом, он не стал Венецией, не стал вторым Римом — он стал собственной тайной.

Ю. Л.: Но назовите мне вещь, которая не является тайной. Хотя бы одну вещь!

91

Наука в современном мире

Ответы на анкету «Вопросов литературы»¹

1. Как вы оцениваете основные итоги развития советской литературной науки за пятьдесят лет в той области, в которой вы работаете?

2. Какие актуальные проблемы русского классического наследия кажутся вам еще недостаточно разработанными и нуждающимися в дальнейшем изучении?

3. Какие литературоведческие работы последних лет показались вам наиболее интересными с точки зрения методологии и мастерства историко-литературного исследования?

1 и 2. Советское литературоведение остро, нуждается в подведении итогов пройденного им пути. Боюсь, что при современном состоянии изучения истории нашей науки задача эта не будет успешно решена ни публикацией обзорных статей, ни подготовкой какого-либо коллективного труда на эту тему. Первоочередной задачей является иное — издание достаточно обширных собраний сочинений наиболее выдающихся из ушедших уже советских литературоведов. Подобные издания должны стать традицией — это позволит оценить действительные завоевания нашей науки, окажет огромную помощь молодым научным библиотекам (а их в нашей стране тысячи) и начинающим научным работникам. Это необходимо и для оздоровления нравственной атмосферы в науке, для отделения книг-однодневок от подлинных исследований.

Не следует жалеть бумаги на подобные издания. Вспомним, сколько бумаги уходит на издание книг, устаревающих прежде, чем их успевают распродать, и что речь идет об исследованиях, уже выдержавших испытание временем. Считаю необходимым переиздать полные или предельно обширные собрания сочинений Ю. Тынянова, Г. Гуковского, Б. Эйхенбаума, Б. Томашевского, В. Гиппиуса, Н. Мордовченко, Н. Бродского, Н. Гудзия, И. Еремина и других покойных советских исследователей.

¹ Впервые: Вопросы литературы. 1967. № 9. С. 31—32.

92

Необходимо также издать полные хрестоматии по истории советского литературоведения. Здесь критерий отбора должен быть другим: туда должны войти не только лучшие, но и наиболее характерные для тех или иных направлений работы (например, выдержки из наиболее «социологических», наиболее «импрессионистических» и других исследований).

3. М. Бахтин, «Творчество Франсуа Рабле»; Вяч. Иванов и В. Топоров, «Славянские языковые моделирующие семиотические системы».

Семиотика и литературоведение

Науки традиционно делятся на точные, естественные и гуманитарные. Отсюда, по правилам логики, вытекает, что гуманитарные науки можно определить как неточные и неестественные. С этим, к сожалению, иногда приходится соглашаться, поскольку «неточные науки» это *contradictio in adjecto* и *contradictio in re*², поскольку наука не может быть неточной, а неточная наука не есть наука. Об этом можно было бы и не писать, если бы не находились авторы, вроде московского критика П. Палиевского, которые видят в неточности специфику и сущность гуманитарных наук, если бы не находились любители Навешивания этикеток, которые в стремлении гуманитариев к точным методам тотчас же усматривают «формализм», «механицизм» и чуть ли не посягательство на марксизм. Правда, здесь можно было бы вспомнить Карла Маркса, который, по словам Поля Лафарга, в высшей математике «находил диалектическое движение в его наиболее логичной и в то же время простейшей форме. Он считал также, что наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой»³. Не упрекнуть ли и Маркса в посягательстве на марксизм?

Итак, ясно, что в самих поисках новых методов в литературоведении нет ничего криминального, — это естественный результат развития научной мысли. Однако какие научные соображения диктуют потребность этих поисков, в чем причина неудовлетворенности современным состоянием литературоведения?

Нельзя сказать, чтобы голоса, критикующие традиционное литературоведение, раздались впервые. За последние полвека накопилось немало обоснованных претензий в адрес науки о

художественном слове. Прежде всего, это — отсутствие строгой процедуры научного доказательства, приводящее к субъективности выводов. Сколько раз мы были свидетелями того, как двое

¹ Опубликовано на эстонском языке: *Semiootika ja kirjandusteadus // Keel ja Kirjandus*. 1967. № 1. Лк. 1—5. В оригинале публикуется впервые.

² Противоречие между определяемым словом и определением и сущностное противоречие (лат).

³ Лафарг П. Воспоминания о К. Марксе. Цит. по кн.: *Воспоминания о Марксе и Энгельсе*. М., 1956. С. 66.

93

ученых, опирающихся на один и тот же круг фактов, предлагали читателю диаметрально противоположные выводы! Подобное положение, которое и само по себе не может считаться нормальным ни для одной науки, имеет еще одно неудобство: в гуманитарных науках особенно часто приходится, к сожалению, иметь дело со стремлением не искать истину, а подгонять ее под заранее заданные, часто конъюнктурные, представления. Некоторые исследователи еще до того, как приступают к изучению материала, создают себе априорное представление, например, такого типа: «Писатель NN — крупный художник, следовательно, он реалист и глубоко народен». Если они встречаются с фактами противоположного типа, то предпочитают их игнорировать. Конечно, иногда это делается бескорыстно. К сожалению, не всегда. Но в любом случае подобная методика глубоко чужда всякой науке, в особенности марксистской. Но напрасно было бы расточать критику в адрес тех или иных авторов юбилейных статей, искажающих истину в угоду «конъюнктуре», — они только используют, как умеют, ту приблизительность, которая царит в методах современного литературоведения. Стремление к точным методам находит опору в тяге к научной честности.

Неизбежным результатом неточности исследовательских методов является удручающе плохое положение в вопросе научной терминологии. Литературоведение являет собой картину уникальной науки, не имеющей терминов, ибо термину, по самому его определению, присуща однозначность. Слово, содержание которого определяется разными говорящими по-разному, термином не является. В этом смысле такие слова, как «романтизм», «реализм» и др., терминами не являются, поскольку содержание их составляет предмет продолжающейся дискуссии. Вместо обычного в науке однозначного определения понятия (например, «водород»), которому потом дается условное, но строго однозначное обозначение («H»), мы имеем в литературоведении прямо противоположное: выдвигается некоторое слово — например, «типичность», «образность», а затем начинается дискуссия: какое значение следует в это слово вкладывать. Я далек от желания оспаривать полезность подобных дискуссий, — хочу лишь подчеркнуть, что употребляемые при этом слова теория науки отказывается считать терминами.

Я не хотел бы, чтобы смысл моей статьи был понят как отрицание достижений мирового, в частности советского, литературоведения. Традиционное литературоведение сделало очень много и продолжает делать, особенно в области истории литературы. Более того, накопление и исторический анализ фактов истории литературы — по-прежнему необходимая задача науки. Владеть методами традиционной истории литературы должен каждый современный литературовед. Однако именно успехи истории литературы убеждают нас, что на столь существенные вопросы, как художественное значение литературных памятников прошлого для современного читателя, критерии художественного достоинства и др., — оно не дает ответа. Художественное произведение растворяется в ряду публицистических, философских, морально-этических и других текстов той или иной эпохи. Несмотря на все призывы и утверждения о том, что «форму» и «содержание» нельзя отрывать, а следует рассматривать в их диалектическом единстве, на самом деле мы все же имеем отдельное изучение идей и «художественного мастерства», раз-

94

говору о котором чаще всего выступают в виде факультативных добавлений к тексту.

Самый лучший индикатор здесь — школьное преподавание. Неизменно ученику сначала сообщают «идею» произведения, а затем добавляют, что оно написано очень хорошим, «понятным» языком и поэт употребил много эпитетов и метафор, которые красочно оттеняют его мысль. Но совершенно ясно, что если идею огромного романа, сложной поэмы можно пересказать на двух страничках учебника, то писатель — это лишь человек, который длинно рассказывает то, что можно рассказать коротко. Зачем же его читать? И не нужно винить учебники и учителей — они лишь обнажают открыто то, что присуще методике «высокой» науки. А из этой методики неизбежно вытекает, что литература не нужна, что идея художественного произведения может быть оторвана от его текста и понята вне его. Напомню слова Л. Толстого, который указывал, что если он захотел изложить идею «Анны Карениной», то «должен был написать роман тот самый, который написал сначала», так как в его романе нет ни одного слова, которое не отражало бы идею. Более того, Толстой резко подчеркнул: вне созданной им словесной ткани романа, вне его построения идеи, которую он хотел бы передать читателям, не существует: «Нужны люди, которые показали бы бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателя в том бесчисленном лабиринте сцеплений, в

котором состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений»¹.

Л. Толстой, как известно, не был «формалистом» и стоял за искусство идейное и реалистическое. Однако он ясно понимал, что идейность искусства состоит не в тех или иных высказываниях. Подобный подход он называл «бессмыслицей отыскивания отдельных мыслей в художественных произведениях». Но ведь именно на этом строится и анализ литературных произведений во многих претендующих на научность трудах, и — почти всегда — в школьных разборах и критических статьях о современных писателях. Исследователь и критик уподобляется плохому составителю судебного протокола, который все время обрывает подследственного: «это к делу не идет», «это меня не интересует» — и ищет в его объяснениях лишь ответа на *свой* вопрос. Просматривая, например, роман о любви, иной критик сразу же отбрасывает три четверти текста: «это к делу не идет», «это „художественные особенности“», «это красота стиля» (то есть все то, о чем можно упомянуть в конце статьи), а ты, как бы обращается он к автору, скажи мне, что ты думаешь о борьбе за технический прогресс или о посадке кукурузы. Найдя высказывание на заданную тему, критик облегченно вздыхает и приписывает его автору. Если высказывание ему представляется правильным, то он объявляет роман творческой удачей, если неправильным — идейной ошибкой. Если же этих высказываний нет, то критик говорит: «мелкотемье», ибо искренне убежден, что там, где нет *сентенций* по вопросам мировоззрения, нет и мировоззрения. Толстой противопоставлял такому подходу требование проследить,

¹ Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. М., 1953. Т. 62. С. 269—270.

95

как отдельные части текста, имеющие определенное значение, «сцеплены» между собой и как это сцепление порождает особый, вне его невозможный смысл: «Каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится»¹.

Таким образом, идея художественного произведения, его содержание, мысль не есть какая-либо прямая декларация — это специфическое построение текста. Художественная идея отличается от нехудожественной тем, что она *построена* и не может существовать вне этой организации. Поэтому результатом непонимания сущности искусства является распространенная методика критического разбора, при которой рецензент, обнаружив в произведении декларацию правильных и ценных мыслей, заключает, что произведение имеет большую художественную и воспитательную ценность. Между тем дело обстоит совсем не так просто: те «сцепления», о которых говорил Толстой, то сочетание идей, которые своим соседством порождают новые повороты мысли, то есть та *структура*, которую автор придал своему тексту, — отражает определенный облик мира, его определенную *художественную модель* и облик того, кто эту модель строит, — сознания художника (*моделирующего сознания*). И если мир, который строится данным художественным изображением, беден, плосок, примитивен, в конечном итоге неверен, а личность автора раскрывается перед читателем как поверхностная, лишенная глубины, то хорошие декларации не спасут положения — они, по выражению Л. Толстого, «бесконечно понижаются». Правильные и глубокие сами по себе мысли, заключенные в художественно плоский текст, начинают звучать как банальность. И подобные произведения не только не оказывают полезного воспитательного воздействия на читателя (вопреки мнению некоторых критиков; сколько раз мы читали и слышали мнения вроде: произведение, конечно, слабое, но оно полезно, потому что написано на актуальную тему и содержит своевременную мысль о необходимости улучшения городского транспорта), — они вредны, поскольку дискредитируют те хорошие мысли, которыми автор пытается прикрыть свою неспособность к художественным открытиям.

Говоря о том, что вне структуры художественного текста нет художественной идеи, мы можем пояснить свою мысль одним сравнением: идея — это жизнь произведения. Но всякий биолог знает, что жизнь — это функция особым образом организованной материи и вне этой организации невозможна. Современное состояние науки совершенно исключает возможность появления биолога-виталиста, который бы сказал: я изучаю жизнь и не такой формалист, чтобы заниматься структурой клетки или другого механизма жизни. Между тем в литературоведении и литературной критике подобный «виталист» — существо вполне реальное. Он говорит: меня интересует идея произведения, но я не какой-нибудь формалист и механизмом построения художественного текста, его структурой заниматься не собираюсь. Как всегда в науке, профессиональное неумение оборачивается самым тривиальным идеализмом.

¹ Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 62. С. 269—270.

96

Исследователь, который ищет идею произведения, игнорируя законы его построения, напоминает человека, который, узнав, что здание включает в себе план, выражающий идею строителя, стал бы ломать стены в поисках места, где архитектор спрятал свои чертежи. Но архитектор не замуровал их в стену — он их *реализовал* в пропорциях здания.

Таким образом, изучение структуры художественного текста — необходимое условие понимания его общественной роли. Но как изучать эту структуру?

Предпосылкой изучения структуры искусства является то бесспорное обстоятельство, что художественное произведение содержит в себе некоторую информацию и что эта информация воспринимается определенным коллективом. Следовательно, науки, изучающие общие законы получения, хранения и передачи информации, имеют прямое отношение и к изучению литературного произведения. На первое место здесь, видимо, выдвинутая теория моделей как особая область познания, находящаяся на границе гносеологии и логики, и семиотика — наука о знаковых системах. Рассмотрение, с этой точки зрения, познавательной и коммуникационной функций искусства раскрывает перед исследователями и новый круг проблем, и значительное разнообразие исследовательских приемов.

Одной из основных черт нового этапа в литературоведении является его синтетический характер — ломаются вековые, санкционированные традиционной наукой границы между отдельными сферами познания. Границы между математическими и гуманитарными науками уходят в прошлое не только потому, что математические методы все шире внедряются в языковедение, литературоведение, историю, социологию. С появлением таких дисциплин, как кибернетика и семиотика — гуманитарных и математических одновременно, — самая обоснованность этой антитезы стала казаться сомнительной. Но еще более знаменательно другое: единой науки, традиционно именуемой филологией, в настоящее время, откровенно говоря, не существует. Она уже более пятидесяти лет как разделилась на две вполне самостоятельные ветви — литературоведение и лингвистику. Если когда-то филология воспринималась как понятие комплексное, соединяющее изучение языков, текстологию, историю литературных памятников, то в настоящее время литературовед гораздо ближе к историку, чем к лингвисту. Свойственное науке второй половины XIX века стремление к дифференциации затронуло и литературоведение. Результаты этого были двоякими: с одной стороны, оно позволило резко увеличить количество фактического материала, произвести массу частных разысканий. С другой — сузились интересы ученых: литературовед стал специалистом сначала по одной литературе, затем по одной эпохе, по одному писателю или даже по одному произведению. Это привело — особенно при изучении современной литературы — к появлению массы «облегченных» исследований, научная достоверность которых весьма сомнительна.

Современный этап развития литературоведения, прежде всего, отменяет границу между ним и лингвистикой. Искусство — одна из форм коммуникации и, с этой точки зрения, особым образом организованный язык. Следует напомнить, что в современной науке (логике, семиотике) под языком понима-

97

ют определенную систему знаков («слов» данного языка), упорядоченную при помощи некоторых правил их сочетания («грамматики»). Поскольку и знаки, и правила их сочетания известны и говорящему (передающему), и слушающему (принимающему), с их помощью можно передать определенные сообщения. Естественные языки — русский, эстонский, французский, японский и др. — наиболее распространенный вид «языков» в этом смысле. Но не единственный. Можно, например, классический балет, пантомиму, театр кукол, литературу того или иного направления (например, романтизма, классицизма, реализма) рассматривать как своеобразные языки со своими — особыми для каждого — знаками и «грамматиками»¹. С этой точки зрения, не только литературовед, но и искусствовед, театровед, этнограф должны стать профессиональными лингвистами, овладевая навыками изучения языкового материала (отметим попутно, что не только современные лингвисты все более часто обращаются к математике, но и в среде математиков и общих специалистов по теории науки растет интерес к лингвистике как науке о самой массовой знаковой системе). Итак, литературовед должен быть не только человеком, осведомленным в целом ряде математических дисциплин (теория множеств, теория вероятностей, теория информации, кибернетика, семиотика), — он должен быть и лингвистом. Но при этом он не имеет права отказаться от знания исторических, особенно историко-идеологических, и историко-философских, и историко-культурных материалов. Наконец, одна из важных особенностей применения статистических и структурных методов состоит в том, что они проявляют особый интерес к повторяющимся элементам той или иной системы в силу особой роли повторяемости при коммуникации. Поэтому и в изучении литературы особый интерес приобретают случаи повторения тех или иных событий. Это заставляет снова подчеркнуть роль долгое время недооценивавшихся в советском литературоведении сравнительно-типологических изучений. Наблюдение над сходными явлениями в разных культурах требует владения широким сравнительным материалом. Все более ясно, что современный литературовед не может ограничиваться традиционными сведениями из двух-трех европейских литератур. Как мы видим, круг наук, сведений, исследовательских навыков, владение которыми необходимо литературоведу в наши дни, неудержимо расширяется. Человек, который собирается исследовать какую-либо европейскую поэзию XX века, может встать перед необходимостью заняться математикой или ориенталистикой. Да, времена, когда филологический факультет считался «легким», уходят в прошлое. Профессия филолога становится трудной, и в ближайшее время трудность ее еще неизмеримо возрастет. Это будет означать конец дилетантизма в гуманитарных науках. И это — одна из наиболее обнадеживающих перспектив применения точных методов в литературоведении.

¹ Знаки этих языков могут иметь «иконический» (изобразительный) характер и выступать в качестве своеобразных моделей своих объектов, а сами языки в целом — представлять собой моделирующие системы и поэтому служить не только целям коммуникации, но и быть средством познания действительности. Особенно ярко эта вторая функция выделена в искусстве.

98

Семиотика и сегодняшний мир¹

Среди революций, потрясавших человечество XX века, не последнее место занимает революция в науке. Мирное, постепенное течение научных знаний, количественное возрастание фактических сведений при неизменности самой системы, столь характерное для науки XIX века, сменились подлинным научным взрывом, изменением самых коренных принципов научного мировоззрения. Карта науки перекраивалась в XX веке с не меньшей интенсивностью, чем географическая: традиционно разделенные сферы сливались, образуя сочетания, немислимые с точки зрения традиционной и общепринятой в XIX веке системы — классификации наук. Когда отец европейского позитивизма О. Конт строил свою классификацию наук, он расположил математику и социологию на крайних полюсах как наиболее отдаленные сферы познания. Такие сочетания, как биофизика или бионика (инженерная биология), ему, конечно, показались бы абсурдными. А что сказал бы он о математической лингвистике, о применении математических методов в археологии при дешифровке надписей на неизвестных языках или об опытах измерения информации, заключенной в произведениях искусства?

Наряду со слиянием традиционных наук происходило бурное выделение новых дисциплин. Одним из крупнейших событий научной жизни последнего двадцатилетия явилось появление кибернетики — «науки об управлении, регулировании и передаче информации в организме животного и в машине» (Н. Винер). Когда Винер в 1948 году обнаружил основные положения кибернетики, она показалась многим сомнительным и ненужным новшеством. Но прошло двадцать лет, и представить современный мир без кибернетики столь же невозможно, как, например, без счетных машин или полетов в космос.

Однако в самой основе кибернетики лежит мысль об изучении передачи информации. Внимание к этому вопросу побуждалось успехами и другой дисциплины — теории информации. Наблюдения над процессом передачи информации убедили в том, что между передающим и принимающим информацию обязательно должен иметься посредник — сигнал и код, который фиксирует значение этого сигнала. Так, например, если я хочу передать информацию о пожаре при помощи ударов в подвешенную рельсу, мне необходимо, чтобы эта рельса имела и чтобы звук ударов был услышан тем, кому направляется информация (*сигнал*); однако нужно и другое: предварительная договоренность, что удары в рельсу означают пожар, а не обеденный перерыв или окончание работы (*код*).

Сигналы представляют механизм передачи информации и управления внутри механизмов и животных, при связях между человеком и механизмами (например, нажатие на кнопку включает машину) и человеком и животными (при помощи сигналов человек подзывает кошку или останавливает лошадь). Однако еще шире применяются сигналы внутри человеческого коллектива.

¹ Статья была написана для газеты «Rahva Hääl» в марте 1970 г., но была отвергнута редакцией. Публикуется впервые.

99

Здесь они образуют стройные системы с элементами, имеющими точные значения, — знаками. Знаки имеют поистине всеобщее значение в жизни человеческого коллектива. Уличные сигналы и слова человеческих языков, мундиры и ордена, вывески магазинов и произведения искусств — все это знаки и группы знаков, передающие человеку различную — качественно и количественно — информацию. Осознание общности столь различных сфер человеческой деятельности вызвало к жизни новую научную дисциплину — *семиотику*, науку о знаках и знаковых системах, их природе и функциях в передаче информации и организации человеческих коллективов. Но здесь ученые припомнили, что есть одна сфера знаковой деятельности человека, и притом важнейшая, в которой изучение знаков и знаковых систем продвинулось далеко и достигло таких успехов, которые превратили применение математических методов в реальную возможность. Это была структурная лингвистика. Воздействие этой дисциплины на семиотику было огромным. Бурное проникновение лингвистических методов анализа в изучение самых различных сфер передачи информации в человеческом обществе, которое породило в 1960-е годы целый поток научной литературы на самых различных языках, несмотря на неизбежные увлечения, в целом оказалось чрезвычайно плодотворным.

В настоящее время семиотика — молодая и энергично развивающаяся наука, достижения которой из области теоретических исследований все больше проникают в практику. Тем более уместно напомнить, что один из несправедливо забытых основоположников семиотики был эстонцем и принадлежал эстонской науке. В 1916 году в книге «Принципы философского языка. Опыт точного языкознания», выпущенной в Петрограде на русском языке эстонским ученым Я. Линцбахом, был сформулирован ряд основных положений семиотики. Книга не была замечена

современниками, поскольку на много лет обогнала науку своей эпохи. В дальнейшем ее забыли. Лишь в 1965 году московский ученый И. И. Ревзин обратил на нее внимание. В рецензии, появившейся полвека спустя после выхода книги, опубликованной в «Трудах по знаковым системам» Тартуского государственного университета, он писал: «...Линцбах, совершенно независимо от Соссюра <Ф. де Соссюр — великий швейцарский лингвист, один из основоположников современной структурной лингвистики. — Ю. Л.>, выдвигает программу построения общей семиотики...» Свою рецензию И. И. Ревзин заканчивает словами: «...книга поразительна, как поразительна и сама личность автора. Он несомненно принадлежал к тем людям, которых он сам охарактеризовал в следующих словах: „По общему правилу среди тысяч и миллионов людей удерживают способность интуиции лишь те немногие, которых, смотря по материальным результатам их деятельности, считают либо чужаками, либо особенно одаренными и гениальными личностями. По сравнению с обыкновенными людьми это как бы дети, ибо их продолжает поражать и занимать то, что неспособно уже возбуждать какой-либо актуальный интерес у других...”»¹

Со времен Я. Линцбаха семиотика превратилась из гениальной догадки, суммы гипотез в развитую, обладающую и современной научной теорией,

¹ Ревзин И. И. О книге Я. Линцбаха «Принципы философского языка» // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965. Вып. 181: Труды по знаковым системам. Т. 2. С. 341, 344.

100

и широкой областью практических применений исследовательскую дисциплину. В сферу ее компетенции входят и теория построения оптимальных искусственных языков (так называют искусственно создаваемые человеком знаковые системы, от знаков уличной сигнализации до «языков», употребляемых при программировании, алгебраических или химических записях или шифровке секретных документов), и теория языкознания, изучение способов контактирования с глухонемыми и космолингвистика — теория языковых контактов с существами, принципиально иначе устроенными, чем мы. В специальную область вычленилась зоосемиотика — изучение знаковых систем, функционирующих в коллективах животных. Представление о животных как «бессловесных существах» в настоящее время приходится оставить: животный мир нем не сам по себе, а лишь для нас, поскольку мы не владеем его «языками». В этой области следует отметить труды американского ученого Т. Себеока. Ряд лет руководимая Б. А. Успенским лаборатория при Московском университете изучала знаки, используемые дельфинами. А недавно мы в Тарту на студенческой научной конференции слушали доклад московской студентки, изучавшей сигналы, которыми обмениваются кошки. Докладчица пришла к выводу, что у кошек действуют три «языка». Один — самый богатый по средствам выражения — предназначен для общения с подобными себе, второй — более упрощенный — для контактов с другими животными (в первую очередь, с собаками), третий, наиболее примитивный, своего рода жаргон, кошки обращают к людям, видимо приспособившись к низкому, с их точки зрения, уровню интеллекта собеседников.

Изучая языки различных наук (так называемые метаязыки), семиотика сближается с логикой, общей теорией науки.

Особенно бурно развивается семиотика в последние годы как инструмент исследования сложных знаковых систем, функционирующих в человеческих коллективах, — семиотика культуры, семиотика живописи, поэзии, кино привлекает все большее число ученых. Человек учится понимать животных, готовится к контактам в космосе, но ему еще предстоит понять себя и тех, кто находится рядом с ним, понять, что значит вообще «понимать». Понимать понимание — означает понять непонимание: не случайно появление таких работ, как «Грамматика ошибок», исследований по механизму непонимания, дезинформации, расовых предрассудков. Они интересуют и педагога, и социолога, и историка.

Если один из пионеров семиотики принадлежал эстонской науке, то естественно, что и в настоящее время ученые Эстонии живо интересуются этими проблемами. Ряд актуальных исследований в этой области осуществляется в Тартуском государственном университете. Так, доц. Х. Рятсеп и руководимая им группа молодых ученых уже ряд лет занимаются изучением проблемы генеративных грамматик — одной из наиболее актуальных областей современной теоретической лингвистики. Проведенная этой группой всесоюзная научная конференция и осуществляемые ею издания получили высокую оценку у научной общественности. Доц. И. Куль изучает ряд математических аспектов информатики — науки о теории поисковых систем — и исследует семиотику обучения. Большую активность развивают ориенталисты университета (П. Нурмекунд, Л. Мяль). Научная конференция ориенталистики

101

и сборник ее трудов, изданный университетом при участии ведущих ученых других республик, поставили ряд актуальных проблем семиотики культуры. На кафедре эстонской литературы Я. Пыльдмяэ ведет исследования по системному описанию ритмико-фонологических уровней эстонского стиха. Ряд работ проводится и на кафедре русской литературы и русского языка. Здесь, в первую очередь, хотелось бы отметить исследования И. А. Чернова о семиотике фольклора и Б. М. Гаспарова (семиотика музыки, теоретические проблемы синтаксиса). В течение ряда лет на кафедре русской литературы читаются факультативные курсы по семиотике культуры, семиотике

кино, теории художественных коммуникаций. Традиционными стали проводимые раз в два года Летние школы, на которые съезжаются ведущие ученые из многих городов Союза. Опубликовано ряд исследований.

Практические применения проводимых исследований многообразны, и перечислить их в данной статье не представляется возможным. Приведу лишь один пример: проф. А. Симоно (A. Simoneau), преподаватель Лицея Мохамеда V в Марракеше (Марокко), обратился к нам на днях за помощью в расшифровке системы условных знаков, встречающихся в наскальных рисунках позднего неолита Атласских гор. В настоящее время семиотическая группа кафедры русской литературы, совместно с рядом московских ученых, приступила к изучению этой проблемы.

Однако главное направление практических применений наших исследований, конечно, не в этом. В настоящее время ряд сотрудников кафедры исследует, что может дать применение новых научных методов национальным школам нашей республики, как повысить эффективность методов обучения, активизировать интересы учащихся. Работы эти имеют большое научное и практическое будущее. Но успех их в значительной мере зависит от притока свежих научных сил, в первую очередь за счет студенческой молодежи. И я хотел бы заключить настоящую статью обращением к тем учащимся эстонских школ, которые заканчивают средние школы в этом году и выбирают будущую специальность: на отделении русского языка и литературы Тартуского государственного университета вас ждет интересная в научном и актуальная в практическом отношении работа. Наука нуждается в вас. Она вас ждет.

Как говорит искусство?¹

Язык — средство общения, коммуникационная система. Для того чтобы речевое общение произошло, нужно, чтобы был отправитель сообщения (адресант), получатель (адресат) и текст сообщения — письмо, устная речь, книга, магнитофонная лента. Но этого мало. Предположим, что мне прислали книгу на неизвестном мне языке. Есть и отправитель, и получатель сообщ-

¹ Впервые напечатана на эстонском языке: Kuidas kõneleb kunst? // Noorus.] 970. Nr. 9. Lk. 46—47. На русском языке публикуется впервые.

102

щения и текст, а акта коммуникации нет. Оказывается, что еще требуется наличие общего для всех языка: отправитель кодирует сообщение в определенной системе знаков и получатель, владея той же кодовой системой, может декодировать сообщение. Для того чтобы получить сообщение, надо владеть языком, на котором оно написано.

Истина эта настолько очевидна, что кажется тривиальной. Однако, когда мы говорим об искусстве, оказывается, что помнить ее небезполезно. Художественное произведение — одно из средств общественной коммуникации: художник говорит, передает некоторую информацию — аудитория получает эту информацию. И здесь имеется передающий, принимающий и связывающий их текст. Но именно здесь уместно напомнить, что получить сообщение мало — надо еще его понять. А для этого требуется владение языком. Искусство тоже имеет свои языки: классический балет кодирует сообщение не как поэма, а кинофильм не так, как опера. Те, кто думает, что понимать искусство можно не зная его языка, напоминают людей, которые хотели бы знать, что написано в книге на иностранном языке, а самого этого языка знать не желали бы.

Все понимают, что языкам надо учиться. Часто повторяют слова одного мыслителя XVIII века, что иностранному языку можно выучиться в несколько лет — для родного же требуется целая жизнь. Но кто, где и когда учил нас языку живописи, балета, кино? Если язык художественной литературы мы еще изучаем в школе и кое-как понимаем его (изучаем мы его именно как иностранный, то есть учимся *понимать*, получать чужое сообщение на нем, но еще не так давно — лет сто тому назад обучение литературе означало не столько знание ее истории, сколько умение написать стихотворение на заданную тему или заданным размером. Существовали такие формы, как буриме или акrostихи, которые играли ту же роль, что и задачи при обучении математике. Обязательной частью курса была риторика — умение построить ораторскую речь; это было обучение литературе как «родному языку», с точки зрения активного, а не пассивного владения ее нормами.

В отношении же других искусств мы самоучки. Мы пользуемся языком кино или живописи так, как два-три раза съездивший на курорт в страну, языком которой не владеет, изъясняется с ее жителями: нахватал десятка два слов, понимает несколько фраз, выучил по разговорнику, как спросить, который час и далеко ли до рынка, и считает уже себя специалистом. И ведь иногда это касается не только зрителя, но и того или иного начинающего критика: когда я читал статью одного молодого критика (Б. Туха) об одной из новых театральных постановок, мне сразу же пришла мысль: «Это же фразы из разговорника, десяток элементарных выражений, которые критик выучил на чужом для него языке театра!»

Языком искусства надо владеть, ему надо учиться. Конечно, можно пользоваться услугами критика, как мы пользуемся помощью переводчика. Но всякий, кто владеет языком, понимает, как много смысла уносит переводчик, даже самый хороший.

Но зачем же учиться языку искусства? Разве оно и так не понятно? Разве, глядя на картину или просмотрев кинофильм, мы не понимаем в нем самого основного и важного, а если какие-либо

оттенки и ускользают, то пусть в них

103

разбираются специалисты! Да ведь и создаются произведения искусства не для знатоков, а для публики и, следовательно, должны быть понятны без всякой подготовки. На это рассуждение можно многое возразить. Прежде всего, напомним, что говорим мы не для лингвистов, пишем не для учителей орфографии. Понять, что написано, можно и в случае если в письме полно ошибок. И безграмотный человек не исключен из общения: его, за очень редкими случаями, понимают вполне удовлетворительно и он понимает других. И все же мы понимаем, что быть безграмотным стыдно — во всем, кроме искусства.

Но язык искусства, язык, на котором с нами говорят великие художники и поэты, — особый язык, и некоторые основные заблуждения относительно его понятности проистекают не только из недостаточности нашей подготовки, но из самой его сущности.

Язык всегда пользуется знаками, которыми он заменяет вещи, явления и понятия. Сатирик Свифт привел своего героя, путешественника Гулливера, на остров Лапуту, где ученые изобрели язык без знаков: они не пользовались словами, а просто носили за спиной в мешках все нужные им предметы и вынимали, показывая их друг другу по мере надобности. Конечно, общаться таким образом нельзя. Достаточно представить себя в этом положении, чтобы понять, что без знаков социальное общение невозможно.

Но знаки бывают двух родов. Сопоставим слово и рисунок. Для того чтобы понять значение слова, надо знать язык или заглянуть в словарь — само слово своим внешним видом не похоже на обозначаемый им предмет. Иное дело рисунок. Знаки первого типа называют условными, второго — изобразительными. По сравнению с первыми вторые поражают непосредственным сходством с обозначаемыми ими предметами. Иногда это могут быть даже сами предметы, но в особой, знаковой, функции. Булка, которую мы покупаем в магазине, — предмет, а не знак. На та же булка, выставленная в витрине и не продающаяся, — знак того, что здесь можно купить булку. И если для того, чтобы прочесть словесную надпись на вывеске, надо владеть языком и быть грамотным, то для того, чтобы «прочесть» витрину, достаточно знать, что такое булка и что такое магазин (сообщение кодируется предшествующим жизненным опытом).

Поскольку искусство (особенно это очевидно на примере изобразительных искусств) пользуется изобразительными знаками (их называют иногда «иконами» — по-гречески *изображениями, образами*), возникает убеждение в его очевидной понятности, необусловленности никаким предварительным кодом.

Однако это иллюзия — иконические знаки тоже условны. Чертеж — иконическое изображение объекта. Однако каждый чертеж обладает определенной, заданной ему мерой условности: масштаб и тип проекции. Всякий, самый реалистический рисунок условен — условен, поскольку мы отражаем трехмерный мир на двухмерной плоскости полотна, безграничный мир на ограниченном пространстве картины. Мы выбираем перспективу (вид проекции). В частности, та привычная нам перспектива, которая утвердилась в европейской живописи после Возрождения и которую мы порой склонны приписывать самому объекту, воспроизводит условную точку зрения непо-

104

движного и одноглазого (монокулярного) зрителя. Не случайно не только живописцы барокко или романтизма — Эль-Греко или Делакруа, но и художники классического реализма — Репин и Серов — систематически ломали школьные нормы «правильности» такой перспективы, внося в картины динамизм, достигаемый совмещением различных точек зрения.

Театр так похож на жизнь, что кажется, что у него нет своего специфического языка. Но именно борец за реализм на сцене — Пушкин, создавая «Бориса Годунова», подчеркнул неотделимость условности от сцены. Пушкин писал: «Правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Что, если докажут нам, что самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие? Читая поэму, роман, мы часто можем забыть и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, но истина. В оде, в элегии можем думать, что поэт изображал свои настоящие чувствования в настоящих обстоятельствах. Но где правдоподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена зрителями»¹.

Мысль Пушкина очень важна: он отделяет вопрос о языке искусства от истинности содержания, правдоподобие от правды. Искусство служит истине, но пользуется при этом своим языком, который всегда включает определенную меру условности.

Современная семиотика, по сути, внесла существенные коррективы в деление знаков на изобразительные и условные. Условность и изобразительность не воплощаются в чистом виде ни в одном из типов знаков — это две тенденции, два языковых механизма, конфликт, борьба, напряжение между которыми определяет жизнь той или иной знаковой системы. В наибольшей мере это присуще языкам искусств: самая основа их в столкновении тенденций к изобразительности и условности. Эти тенденции должны бороться, но не должны побеждать друг друга. Именно взаимное их напряжение порождает богатство художественного языка. Не случайно одно из самых молодых искусств — искусство кино, давшее благодаря техническим

возможностям движущейся фотографии неслыханное увеличение возможностей иконизма (сходства знака и объекта), дало столь же резкий скачек условности: монтаж, комбинированная съемка, смена точек зрения так же неотделимы от языка кино, как и натурная фотография. Кинематограф выработал самый похожий и самый не похожий на жизнь в одно и то же время язык, которым когда-либо обладало искусство.

И вероятно, ни в одной области искусства мы не платим так дорого за зрительскую неграмотность, беспечное невладение языком, как в кино. Кинематограф обладает огромными воспитательными возможностями, он ближе всех других искусств к педагогике (об этом недавно напомнил в своей брошюре доцент Паламетс). Но для этого надо уметь с ним разговаривать.

С полотен картин, со сцены театров, с экранов кинематографов и со страниц книг искусство разговаривает с нами. Не будем глухими, постараемся *понимать* его язык.

¹ Пушкин А. С. О народной драме и драме «Марфа посадница» // Пушкин А. С. Т. 7. С. 212.

105

Этот трудный текст...¹

Разделение филологической науки на лингвистику и литературоведение является фактом истории культуры, а с фактами не спорят. Более того, факт этот абсолютно нормален: все существующие крупные области знания делятся на частные дисциплины, обладающие самостоятельными методами и тяготеющие к превращению в отдельные науки. Едва ли кого-нибудь смущает, что в рамках математики имеется, например, теория вероятностей и топология, а биология включает в себя столь далеко разошедшиеся дисциплины, как генетика и этология. Одновременно, как справедливо заметил акад. Д. Лихачев, происходит и сближение далеких дисциплин, возникновение новых и перспективных методов на стыках, образующих наиболее динамические сферы науки как целого. Процесс этот столь сложен и в такой мере связан с многими и глубинными факторами, что прогнозировать его мы до сих пор, в сущности, не умеем. Тем более неуместны здесь субъективные вмешательства, несостоятельность которых история науки неоднократно демонстрировала и продолжает демонстрировать. Только само развитие науки показывает, какие идеи и направления оказались наиболее плодотворными. На одних этапах человеческого знания доминируют аналитические тенденции, и науки разделяются и специализируются, на других — синтетические. Процессы эти распределяются в разных науках одного и того же исторического периода неравномерно и не имеют фатального характера.

Что же касается того, имеет ли филология в настоящем, исторически сложившемся ее виде право на научную целостность, как математика, физика или биология (при всей раздробленности каждой из этих наук, делающей практически невозможным специалисту в той или иной науке понимать исследования, которые производятся во всех ее разветвлениях), то на этот вопрос можно ответить утвердительно. Мнение В. Федорова о том, что относительно природы филологии ничего «никто не знает толком», опрометчиво, и такие суждения надо осторожнее высказывать от собственного лица. Древняя задача филологии — объяснение, дешифровка текста, раскрытие его смысла. Задача эта, которая кажется столь простой, при ближайшем рассмотрении оказывается сопряженной со значительными трудностями. Такие исходные понятия, как «смысл», «объяснение», «текст», в настоящее время значительно усложнились и сами требуют многообразного научного анализа. Смысл любого сколь-либо культурно ценного текста строится как многоуровневая система, в которой понимание одного пласта еще не обеспечивает проникновения в смысл других. Мы можем дать лингвистически точный перевод какого-либо древнего текста (перевести все слова и грамматическую структуру средствами слов и грамматики родного языка). Но если мы не знаем функ-

¹ Впервые: Литературное обозрение. 1979. № 3. С. 47—48. Статья была опубликована в рубрике «Дискуссионный клуб» в дискуссии на тему: «Филология: проблемы, методы, задачи», где кроме Ю. Лотмана принимали участие Я. Билинкис, Д. Лихачев, В. Федоров, В. Кожин, М. Марков, М. Гиршман, В. Григорьев.

106

ции данного текста, того, что это: календарь или магическая формула, стихотворение или молитва, закон или прецедент, если мы не можем объяснить, почему один документ нацарапан на бересте, а другой вырезан на камне, почему один хранится, а другой уничтожается, мы еще далеки от понимания его смысла. Таким образом, лингвистический анализ, жанрово-художественный, социоисторический, психологический и другие, различаясь по методикам, ведут к одной цели: объяснению смысла и функции того или иного текста в общем культурном контексте. Этим и занимается филология. Художественные словесные тексты составляют один из наиболее сложных по организации типов текстов. Объяснение их — центр филологических усилий. Этим занимаются и лингвистика, и литературоведение, дешифруя разные уровни смысла произведений словесного искусства. Как это часто бывает в науке, четко разделенные в области теории, эти сферы в каждом конкретном анализе бывают столь тесно слитыми, что разделение их делается весьма трудным. Это обязывает филолога владеть разнообразными методиками.

Более того, по мере развития филология (а в XX веке она пережила подлинную революцию) выявляет свою специфику, в частности, в том, что привлекает методы других наук. Это делает

современную филологию комплексной наукой, а филолога обязывает к научно-теоретической широте и обширной эрудиции. Вот тут и начинается основная трудность. Я полагаю, что узкое место кроется не в самой науке, а в методах нашего современного филологического образования. Положение здесь тревожное. Русская филологическая наука традиционно находилась на исключительно высоком уровне. Положение это было блестяще подтверждено советской филологией. Не впадая в преувеличение, можно сказать, что значительная часть идей, которые сыграли авангардную роль в истории мировой филологии XX века, впервые были высказаны на русском языке. Но на этом фоне тем более заметно появление таких работ, о которых, с точки зрения современных научных требований, вообще невозможно серьезно говорить. К сожалению, их немало, и мы окажем плохую услугу нашей культуре, если будем игнорировать этот факт. Причины здесь сложны; я не берусь их анализировать. Укажу лишь на одну; о ней дружно говорят все вузовские преподаватели в столице и провинции, с которыми мне приходилось в последние годы беседовать: уровень гуманитарной подготовки студентов, поступающих на первые курсы филологических факультетов (а он отражает уровень соответствующей подготовки в школах), существенно понижается. Это оказывает, в свою очередь, давление на структуру вузовского образования: приходится расширять разного рода вводные курсы (в настоящее время студенты-русисты в университетах слушают четыре «введения»: «Введение в языкознание», «Введение в литературоведение», «Введение в специальность» и «Введение в славяноведение»). В ряде педагогических институтов введены прелиминарные курсы, которые должны преодолеть разрыв между знаниями, полученными в школе, и самым элементарным уровнем вузовского преподавания литературы.

Положение тревожное, но отнюдь не безвыходное: исправить его можно, и это необходимо сделать. Как сделать — вопрос серьезный, требующий всестороннего обсуждения работниками высшего образования, и здесь не место его поднимать. В связи с настоящей темой хотелось бы лишь отметить, что

107

в данных условиях особенно нежелательной выглядит порой встречающаяся «облегченная филология» — работы, в которых иногда не лишены меткости, иногда интересные, но всегда субъективные и чисто «вкусовые» «вчитывания» в текст, не опирающиеся ни на лингвистическую, ни на историко-культурную эрудицию, выдаются за научный анализ. Поставить молодого исследователя непосредственно перед художественным текстом, объяснить ему, что все виды комментария и дешифровки — средства, а понимание текста — цель, — такова задача учителя-филолога. Она сопряжена с раскрытием трудности и огромности этой задачи, включением текста в языковой, культурный, общественный, исторический опыт народа. Не следует скрывать — задача эта трудна. Но плохую услугу оказывают те, кто хочет подменить эту сложную работу, требующую знаний и методических поисков, рецептом «медленного чтения» и субъективных «мечтаний» над текстом. Субъективное эссе вполне допустимо как один из многих жанров объяснения текста, к тому же как жанр, тяготеющий скорее к литературе, чем к науке о литературе. Однако когда он начинает претендовать на ведущее, а тем более исключительное место, да еще под пером людей, не являющихся выдающимися стилистами, то порой превращается в ширму для «облегченной филологии». Путь этот опасен, ибо соблазнителен, — как все легкие пути в науке. Но легкие пути в науке не только ложны — они безнравственны. А трудный путь исследования имеет двойную — научную и этическую — ценность.

Тарту

Люди и знаки¹ (1969)

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с просьбой. В последнее время мы все чаще и чаще слышим о семиотике. Я знаю, что это молодая наука, наука о коммуникативных системах и знаках, которыми мы пользуемся в процессе общения. Но, к сожалению, об этом очень мало пишется в нашей периодической печати. Каковы отдельные задачи семиотики? Каковы свойства и способности знаков? Каков механизм передачи и хранения информации и надежен ли он? Очень хотелось бы прочитать об этом на страницах вашей газеты подробную, популярно написанную статью высококвалифицированного автора, специалиста в области семиотики.

г. Тарту

И. Семенников,

помощник машиниста дизель-поезда

Ответить на вопросы, поставленные в письме в «Советскую Эстонию» И. Семенниковым, редакция попросила заведующего кафедрой русской литературы Тартуского госуниверситета доктора филологических наук профессора Юрия Михайловича Лотмана.

¹ Впервые: Советская Эстония. 1969. 1 февр. Перепечатано: Вышгород. 1988. № 3. С. 133—138.

108

Наука занимает в нашей жизни все большее место. Она вторгается в повседневный быт, наводняя его механизмами, техникой, меняет строй нашего мышления, самый характер речи. На всем земном шаре миллионы людей с надеждой или же с опаской обращают свои взоры к науке. Одни ждут от нее заведомо большего, чем она может дать, — всеобщего решения всех вопросов,

мучающих человечество; другие опасаются, не приведет ли научно-технический прогресс к полному исчезновению людей. Люди науки, их творчество, склад мышления, условия жизни, стали одной из любимых тем писателей и кинематографистов. Создалась специальная литература, посвященная науке и ее будущим достижениям, — научная фантастика. И то, что все эти произведения с жадностью поглощаются читателем, несмотря на их очевидную порой низкопробность, — не случайно. В этом сказывается стремление широких кругов читателей понять, что такое научное творчество.

Но достаточно почитать научно-фантастические романы, чтобы убедиться, что самая сущность научного творчества представляется часто писателям (а их представления переходят в читательскую массу) в искаженном виде. Ученый чаще всего предстает в виде Паганеля из известного всем с детства романа Жюль Верна. Это ходячая энциклопедия, сборник ответов на все мыслимые вопросы. Такое обывательское представление внушает читателю мысль: «Вот если бы я мог выучить наизусть всю Большую Советскую Энциклопедию, я был бы ученым, на все мог бы ответить». В этих романах обыкновенные люди сомневаются, а ученые (часто с помощью таинственных машин, на изобретение которых так щедры фантасты) знают: «простые» люди спрашивают — ученые отвечают.

Соответственно с этим же обывательским представлением, в мире, непосредственно окружающем человека, все ясно — над чем здесь ломать голову! Поэтому если писатель стремится изобразить научный поиск, то он пошлет своего героя в далекие, недоступные горы, или — еще лучше — в туманность Андромеды, или на какую-нибудь звезду, обозначенную греческой буквой и манящим звонким названием. Там-то и произойдет удивительное открытие.

Подобные толкования труда ученого были бы только смешны, если бы не причиняли непосредственного вреда. Распространение ложного обывательского взгляда на сущность научного творчества вредно, во-первых, потому, что сбивает с толку молодежь, а молодежи принадлежит в науке будущее. Во-вторых, не следует забывать, что условия существования науки — благоприятные или неблагоприятные — создаются не учеными, а обществом. И для этого общество должно понимать, что полезно для науки, а что вредно.

Вступление это было необходимо, потому что семиотика — наука, в которой с большой ясностью отразились некоторые черты, присущие всякому научному мышлению.

Наука далеко не всегда ищет неизвестного за тридевять земель. Часто она берет то, что казалось простым и простым, и раскрывает в нем непонятность и сложность. Наука далеко не всегда превращает неизвестное в известное — часто она поступает прямо противоположным образом. Наконец, наука часто совсем не стремится дать как можно больше ответов: она исходит из того, что правильная постановка вопроса и правильный ход рассуж-

109

дения представляют большую ценность, чем готовые, пусть даже истинные, но не поддающиеся проверке ответы.

Предмет семиотики — науки о коммуникативных системах и знаках, которыми в процессе общения пользуются люди (и не только люди, но и животные или машины), прост. Что может быть проще и знакомее ситуации «я сказал — ты понял»? А между тем именно эта ситуация дает обильные основания для научных размышлений. Каков механизм передачи информации? Что обеспечивает надежность ее передачи? В каких случаях можно в ней сомневаться? И что означает «понимать»? Эти и многие другие вопросы, которые кажутся столь простыми, если ограничиваться узкой сферой бытового опыта, окажутся вполне серьезными, если приглядеться к ним внимательно. Представим себе, что мы имеем дело с машиной-автоматом, включаемой определенными сигналами. Мы подаем сигналы — машина включается. «Понимает» ли нас машина? В настоящее время установлено, что некоторые животные обмениваются информацией при помощи сигналов, образующих порой весьма сложную систему (этим занимается специальная дисциплина — «зоосемиотика»). Значит, животные друг друга «понимают»? А можем ли мы их «понимать»? Или заставить их «понимать» нас?

Наконец, представим себе случай, пока остающийся достоянием фантастов, но который, возможно, в один прекрасный день сделается реальностью, — контакт с инопланетными разумными существами или другими космическими цивилизациями. Сможем ли мы обмениваться информацией, понимать друг друга? Коллизии непонимания, как правило, оканчиваются трагически. Чтобы не ссылаться на обильные примеры, которые мы находим в истории человечества, укажу на взаимоотношения, которые сложились на Земле между человеком и животным миром. Здесь сразу же возникла коллизия непонимания. Она привела к тому процессу полного истребления животных, который в настоящее время вступает в завершающую стадию.

Было ли оно необходимо? Всегда ли оно диктовалось борьбой за существование? Но ведь там, где мы имеем дело с подлинной борьбой за существование, например с конфликтом между хищниками и травоядными, птицами и насекомыми, почти никогда не происходит истребления одних и полного торжества других — устанавливается некоторое равновесие. Случай «тигры без остатка съели всех травоядных» в природе невозможен — он, прежде всего, не соответствует интересам тигров как биологического вида.

Истребление животных человеком далеко не всегда диктуется борьбой за существование —

очень часто оно есть следствие непонимания намерений и действий животных. Рассуждения о том, что «животные не умеют думать» и, следовательно, «их невозможно понять», «они и сами друг друга не понимают и живут в вечной войне», «самое простое — избавиться от них», не только элементарно невежественны, но и подозрительно напоминают аргументы, на которые ссылались колонизаторы, ведя в прошлом веке истребительные войны против туземцев в Африке, Австралии и Америке. Тот, кто не понимает другого, всегда склонен считать, что тут и понимать нечего, надо истреблять. Но в конфликте человека с животным миром сила оказалась на его стороне. Так ли это будет в случае космических контактов? Не слишком

110

ли здесь велик риск, чтобы к нему относиться легкомысленно? А если это так, то очевидно, что научное исследование сущности понимания может получить некогда совсем не абстрактно-академическое значение.

Но если мы посмотрим внимательно вокруг себя, то убедимся, что не следует ждать космических гостей, чтобы задуматься над этим вопросом. Нас не удивляет тот факт, что мы не понимаем книгу, написанную на языке, которым мы не владеем. Зато мы очень изумляемся (и даже сердимся), когда не понимаем произведение искусства — слишком новое или слишком старое. Л. Толстой не понимал Шекспира и имел смелость в этом признаться. Мы не признаемся, но означает ли это, что мы его понимаем? Понимаем ли мы детей? А что означает понимать себя? Очевидно, что на все эти вопросы (а в решении их заинтересованы и эстетика, и педагогика, и психология, и просто жизненная практика) мы не сможем ответить, пока не определим содержания слова «понимать», пока не превратим его в научный термин.

Во всех случаях, о которых шла речь, мы имели дело с некоторыми системами коммуникаций и передачей с их помощью определенной информации. Так выделяется некоторый общий предмет исследования. Говорим ли мы или пишем на каком-либо языке (эстонском, английском, русском, чешском или любом другом), наблюдаем ли сигнализацию уличных светофоров, читаем роман или смотрим кинофильм, улавливаем сигналы из космоса или дешифруем язык дельфинов — мы стремимся включиться в некоторую систему коммуникаций и получить передаваемую с ее помощью информацию. Без получения, хранения и передачи информации невозможна жизнь человека — ни познание мира, ни организация человеческого общества. Поэтому очевидно, что сравнительно новая наука, изучающая коммуникативные системы, — семиотика — имеет право на место в семье наук и что место это со временем, видимо, окажется немаловажным.

Семиотика

Семиотика возникла как самостоятельная дисциплина сравнительно недавно, хотя еще в XVII веке английский философ-материалист Дж. Локк очень точно определил сущность и объем семиотики (использовав именно этот термин). Локк писал, говоря о разделении науки: «Следующий раздел можно назвать „семиотика“, или „учение о знаках*». Задача этого раздела, по его мнению, — «рассмотреть природу знаков, которыми ум пользуется для понимания вещей или для передачи своего знания другим». Это определение семиотики до сих пор остается вполне удовлетворительным с научной точки зрения.

Однако долгие годы глубокие идеи Локка не получали развития. Потребовался общий переворот в целом ряде традиционных наук, чтобы произошло рождение семиотики. Наука эта возникла в пятидесятых годах нашего века на скрещении нескольких дисциплин: структурной лингвистики, теории информации, кибернетики и логики (это «гибридное» происхождение привело к тому, что до сих пор предмет и сущность семиотики несколько различно понимаются представителями этих областей науки).

Особенно велика была роль современного языкознания. Это не случайно. Мы уже говорили, что в основе многих семиотических проблем лежит изучение элементарной коммуникативной ситуации типа «я говорю — ты понимаешь». Но ясно: для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы у нас был

111

общий язык. Языки, на которых говорят народы мира (их называют «естественными языками»), — самая важная, распространенная и хорошо изученная коммуникативная система. Успехи структурной лингвистики в значительной мере определили поэтому исследовательские приемы семиотики.

Однако в дальнейшем было замечено, что по типу естественных языков во многом организованы все знаковые коммуникативные системы, функционирующие в человеческом обществе, будь то система уличных сигналов, азбука Морзе или структура выразительных средств искусства. Понятие языка начало трактоваться расширительно — заговорили о «киноязыке», «языке танца» или определенных типах социального поведения как особых «языках». Всякий раз, когда мы имеем дело с передачей или хранением информации, мы можем ставить вопрос о языке этой информации. Так возникла общая теория коммуникативных систем.

Значительный вклад в нее сделала теория информации. Эта математическая дисциплина зародилась во время второй мировой войны из сравнительно скромных и чисто технических задач: перед инженером Шенноном (США) была поставлена проблема изучения надежности линий связи. Шеннон одновременно разработал математическую теорию, которая позволяла измерять

количество информации, условия шифрования и дешифровки текста, вероятность искажений и т. п. Основные понятия теории информации — «канал связи», «код», «сообщение» — оказались чрезвычайно удобными для интерпретации ряда семиотических проблем.

Проблема хранения и передачи информации одновременно оказалась и в центре внимания кибернетики, причем «информация» стала трактоваться здесь более широко, как всякая структурная организация. С этой точки зрения, информация — это не только то, что я узнал, но и то, что я могу узнать: не прочитанная еще книга, неоткрытая звезда или непроигранная грампластинка — все равно представляют определенные величины информации. Картина мира, набросанная отцом кибернетики Н. Винером, — это колоссальная битва организации и дезорганизации *информации, ее разрушения* («энтропии»). Таким образом, наука о передаче информации для кибернетики оказывается лишь частью его собственной проблематики. Однако известно, что передача информации требует одного неперемного условия — знака. Понятие знака, которое одновременно разрабатывалось и лингвистами, и математиками, и логиками, стало фундаментальным понятием семиотики, которую не случайно чаще всего называют наукой о знаковых системах.

Английский писатель Дж. Свифт в фантастическом путешествии Гулливера на остров Лапуту описал чудаков-ученых, которые решили заменить слова предметами. Нагруженные разнообразными вещами, тащились они по городу и вместо того, чтобы произнести слово, протягивали друг другу предметы. Именно в таком положении находилось бы человечество, если бы оно не сделало некогда одного из величайших открытий в своей истории — не изобрело знаков. Знаки заменяют сущности, явления и вещи и позволяют людям обмениваться информацией. Наиболее знакомый и употребимый вид знаков — слова. Однако мы широко пользуемся и другими видами знаков-заменителей. Так, деньги, как показал К. Маркс, являются знаком стоимости общественно необходимого труда, затраченного на производство вещи. Знаки с особенной

112

активностью аккумулируют социальный опыт: ордена и звания, гербы и ритуалы, деньги и обычаи — все это знаки, отражающие разные принципы организации человеческого коллектива. Но знаки используются и системами, накапливающими духовный опыт людей. Произведения искусства создают образы реального мира, которые служат накоплению и передаче информации, — эти образы тоже знаки.

Знаки обладают многими интересными свойствами. Так, например, для того, чтобы сдвинуть с места камень, надо приложить определенные усилия, причем по закону сохранения энергии эффект будет равен затраченным усилиям. Теперь представим себе заводской гудок. Энергия, которая нужна для его пуска, ни в коей мере не может быть сравнима с последствиями его действия: остановкой машин огромной мощности, приведением в движение масс рабочих. Знаки обладают способностью энергетически неравноценного воздействия. На этом же основана сила слова. Действие, которое оно производит, не может быть сопоставлено с затратой энергии на его произнесение.

Изучение знаков раскрывает широкие возможности их практического применения: от проблем лечения недостатков речи и наиболее эффективных способов приобщения слепых к жизни коллектива до машинного перевода, управления автоматическими системами и изобретения методов космического общения.

Особую область представляет собой изучение искусства как знаковой системы. Социальная активность искусства общеизвестна. Знаки, применяемые художниками или писателями, обладают многими чрезвычайно ценными общественными свойствами. Изучение того, как искусство аккумулирует в себе общественно значимую информацию, представляет собой интересную задачу. Не говоря об открывающихся при этом теоретических перспективах, укажу на некоторые — пока еще отдаленные — возможности практического приложения исследований по семиотике искусства. Художественные творения привлекают нас силой эстетического воздействия. Но на них можно взглянуть и с другой, менее привычной стороны: произведения искусства представляют собой чрезвычайно экономные, емкие, выгодно устроенные способы хранения и передачи информации. Некоторые весьма ценные свойства их уникальны и в других конденсаторах и передатчиках информации, созданных до сих пор человеком, не встречаются. А между тем, если бы нам были ясны все конструктивные секреты художественного текста, мы могли бы использовать их для решения одной из наиболее острых проблем современной науки — уплотнения информации. Это, конечно, не ограничило бы возможностей художников находить новые пути для искусства — так знание законов механики не ограничивает конструкторов в поисках новых идей. Сейчас уже существует бионика — наука, изучающая конструктивные формы биологического мира с целью использования их в создаваемых человеком механизмах. Не возникнет ли когда-либо «артистика» — наука, изучающая законы художественных конструкций для «прививки» некоторых их свойств системам по передаче и хранению информации?

Но и кроме этих — пока еще фантастических — предположений у семиотики много актуальных задач, исполненных захватывающего научного интереса. Семиотика — молодая наука, наука будущего. Ей предстоят еще многие открытия.

Что дает семиотический подход?¹

Вопрос о соотношении науки и искусства имеет право на наше внимание. Это доказывается хотя бы страхами, которые будит в современном среднем культурном человеке сама постановка вопроса о взаимовлиянии искусства и науки, искусства и техники. А культура, в частности, затем и существует, чтобы рассматривать и рассеивать страхи. Страх перед сциентификацией и технизацией культуры стар и имеет глубокие корни. Механический человек, автомат, живая кукла, мир господства автоматов над людьми — традиционные кошмары культуры нового времени.

При этом следует, однако, подчеркнуть, что, во-первых, в основе этого почти мифологического представления лежит метафора: на самом деле мир бесчеловечных машин, пугавший и просветителей, и романтиков, никакого отношения к реальному прогрессу науки и техники не имел. Когда Гофману мерещились бездушные куклы и злые автоматы, он имел перед глазами огромную социальную машину пруссачества, отнюдь не отличавшуюся активностью техники и прогрессом точного знания. Ни николаевская Россия В. Ф. Одоевского, ни давившая своим автоматизмом Салтыкова-Щедрина русская реакция второй половины XIX века не были эпохами вторжения техники в жизнь, хотя и вызывали в сознании художников фантазмагорические образы автоматизации всего живого. Таким образом, машина здесь лишь метафорический образ мертвого движения, псевдожизни, а не реальная причина омертвления.

Во-вторых, развитие современной теории коммуникаций убеждает нас в том, что взаимовлияние есть нечто прямо противоположное нивелировке. Общение между тождественными устройствами бесполезно. Именно нивелировка людей обрывает коммуникативные связи между ними. Связь делается слишком легкой и функционально абсолютно бесполезной. Между тем как специализация различных сфер культуры, делая общение между ними сложной семиотической проблемой, одновременно обуславливает их взаимную необходимость. Следовательно, речь не может идти о том, чтобы превратить искусство в науку или наоборот. Чем более искусство будет искусством, а наука наукой, чем более они будут специфичны в своих культурных функциях, тем более реальным и плодотворным будет диалог между ними.

В-третьих, следует иметь в виду, что в наши размышления о роли машины в культуре незаметно для нас самих, но властно вкрадывается представление об известных нам машинах. А если учесть, что в масштабе потенциальных возможностей науки любая современная техника является исключительно примитивной и малоэффективной, то неизбежно получается подмена мысли о роли техники в культуре другой — о возможностях воздействия примитивных форм техники на принципиально сложные сферы культуры. Механическая концепция машины, созданная в культуре XVII века, уходя из современной техники, остается фактом сознания современного культурного человека, тормозя не только технический прогресс, но и общее развитие культуры.

¹ Впервые: Вопросы литературы. 1976. № 11. С. 67—70.

Вопрос о воздействии техники на искусство представляется нам если не раздутым, то, по крайней мере, малоинтересным. Значительно существеннее аспект влияния искусства на технику. В течение веков научно-техническая мысль ориентировалась на представление о том, что мир Природы устроен неэффективно, подлежит усовершенствованию, что следует выдумывать то, чего в Природе нет, и рационализировать то, что в ней имеется. Современному научному сознанию мир Природы раскрывается как исключительно сложный и целесообразный механизм, уроки которого мы не можем широко использовать только в силу своей научно-технической неподготовленности. Именно это ограничивает возможности бионики. Однако именно Природа дает нам идеалы саморазвивающейся или думающей машины, машины-личности, представляющей уникальный организм и кооперирующейся с другими уникальными организмами (как это далеко от представления о безликости и серийности как идеалах машины!). Сложность биохимических механизмов Жизни оказывается, однако, барьером, форсировать который нам пока не удастся. И здесь уместно вспомнить о другом объекте, который, с одной стороны, обладает чертами жизнеподобия (например, способностями саморазвития и накопления в ходе этого процесса информации и соответствующего понижения в своем окружении уровня энтропии), а с другой — является рукотворным, созданным человеком и, следовательно, заведомо более поддающимся моделированию. Я имею в виду Искусство. Можно с уверенностью утверждать, что произведение искусства — самое сложное и наиболее целесообразно функционирующее из всего, что до сих пор создала рука человека. В определенных аспектах произведение искусства — идеальный образ машины будущего (усвоя ряд структурных принципов производства искусства, будущий технический объект не заменит, однако, последнего и не уподобится ему; напротив, именно тогда функциональная противоположность искусства и техники обнаружится в «чистом» виде).

Приведем пример. Всем, кому приходилось иметь дело с современной проблемой искусственного интеллекта, известно, что достижения в этой области оказались значительно ниже

ожидаемых. Думается, что одна из причин этого кроется в том, что усилия были сконцентрированы на относительно примитивных интеллектуальных функциях, из которых, как из кубиков домик, надеялись построить мыслящее целое. Между тем само понятие интеллектуальной деятельности остается неясным, поскольку индивидуальная мысль человека остается единственным и ни с чем не сравнимым объектом. В результате невозможно отличить, что принадлежит всякому интеллекту, а что одной из его форм — человеческому сознанию.

Современная семиотика искусства и семиотика культуры позволяют, с одной стороны, видеть в произведении искусства созданное человеком мыслящее устройство, а с другой — взглянуть на культуру как на естественно и исторически сложившийся механизм коллективного разума, обладающий коллективной памятью и способный осуществлять интеллектуальные операции. Это выводит человеческий интеллект из состояния единственности, что представляет существенный научный шаг.

Для того чтобы понять, что это может означать для техники будущего, приведем один пример. Широко известно, какое огромное место занимает

115

память в системе современной теории машин. Однако как только человеку потребовалось искусственно создавать помнящее устройство, перед ним встал знакомый ему образ хранилища (библиотеки, книги — любого типа надындивидуальной памяти, возникшей в эпоху графики) — ячеек, заполненных текстами. Книга — старая и исключительно примитивная машина памяти — стала моделью для новой памяти машин. Между тем если бы мы могли в терминах, переводимых на общенаучный язык, объяснить, почему, прочитав художественное произведение, мы «вспоминаем» то, что нам было неизвестно и о чем в нем текстуально не говорится, но что вложено автором в скрытую память романа или поэмы, почему один и тот же текст выдает разным читателям разные сведения и, образуя с каждым из читателей в отдельности сложное структурное целое, выдает каждому именно то, в чем тот нуждается, сообщая каждому столько, «сколько он может вместить», то, вероятно, наши модели искусственной памяти были бы менее громоздкими (вспомним недосыгаемую для современной техники компактность художественного текста и кажущуюся простоту его структуры!) и значительно более эффективными.

Не загружая читателя специальными подробностями, можно сказать, что возникающая сейчас наука — кибернетика художественного текста — артоника таит в себе не только научно-теоретические, но и технико-практические возможности. Последнее утверждение основывается не на умозрительных соображениях, а на опыте многолетнего сотрудничества между кафедрой русской литературы Тартуского государственного университета, кибернетиками Ленинградского института авиационного приборостроения (группа профессора М. Игнатъева) и группой профессора Б. Егорова из ЛГПИ имени А. И. Герцена.

Можно надеяться, что наступит момент, когда внимательное исследование явлений искусства и механизмов культуры сделается привычным и для теоретика-кибернетика, и для создателя новых форм техники.

Объект семиотики — культура

— Как вам известно, традиция Фердинанда де Соссюра и споры вокруг этой традиции продолжают сохранять актуальность. Как вы относитесь к этому вопросу?

— Общеизвестно, что традиция Соссюра, его идеи — один из истоков современной семиотики. Развитие Московским лингвистическим кружком, Пражской школой, повлиявшие на русский формализм, они в значительной мере определили и исходные позиции Тартуско-Московской семиотической школы в начале 1960-х годов. Однако продолжение — всегда преодоление. Самое плодотворное продолжение традиции есть борьба с ней.

¹ Интервью с финским журналистом о семиотике. 1980-е гг. Публикуется впервые.

116

И здесь уместно вспомнить ту многолетнюю и, сказал бы, героическую работу по преодолению Соссюра в рамках соссюрианской традиции, которую вел Роман Якобсон.

Не касаясь этой сложной проблемы во всем ее объеме, мне хотелось бы остановиться на том аспекте, который в наибольшей мере привлекает исследователей в Тарту. Речь идет о том, что коммуникативная функция (функция передачи некоторого сообщения) представляется не единственной рабочей задачей семиотического механизма. Не менее важной является функция выработки новых сообщений — не только передача информации, но и создание новой. С этих двух точек зрения семиотические механизмы выглядят совсем не тождественно. При передаче информации существенно, чтобы адресат получил точно то же сообщение, которое было передано. Всякий сдвиг значений есть ошибка, «шум» в канале связи. Такая задача требует полной семиотической идентичности передающего и принимающего (идентичности их кодовых структур), что практически достижимо лишь при переходе на искусственные языки или метаязыки. В этих условиях текст играет пассивную роль: он выступает как материальная «упаковка», в которую вложен некоторый смысл. Получатель «распаковывает» сообщение, извлекает смысл и отбрасывает его временное материальное выражение. Сообщение имеет целью «содержание», выражение — лишь средство его передачи.

С точки зрения выработки новой информации картина рисуется иной. Реальное несовпадение кодов говорящего и слушающего из помехи и источника ошибок становится одним из источников порождения новых смыслов. Трудности взаимопонимания, ситуации непереводимости из одной семиотической системы в другую, семиотическое многоязычие культуры привлекают внимание исследователя как механизмы смыслопорождения. Вместо автоматического выражения языка в тексте — смысловое напряжение между ними. Текст предстает не как материализация какого-либо одного языка, а как устройство, шифруемое минимально двумя (реально — многими) языками. Поэтому текст не пассивно несет в себе смысл, а оказывается генератором смыслов, механизмом, порождающим смыслы, «семиотическим мозгом». В равной мере в центре внимания оказываются проблемы диалога и художественного перевода, выступающие как механизмы смыслопорождения. Объектом же семиотики оказывается не какой-либо изолированный язык (изолированный язык не работает!), а *культура* — сложная структура, включающая в себя языки и другие семиотические объекты и являющаяся коллективным мозгом человечества.

— В интервью с Генри Бромсом несколько лет назад вы с большим уважением отозвались о научных идеях Л. Ельмслева. В этой связи я хотел бы задать еще один вопрос. Как вы знаете, в области семиотики до сих пор не достигнута полная строгость в терминологии. Как вы считаете, может ли развиваться семиотика как наука (а не как эссеистика), если не будет достигнут общий терминологический аппарат?

— Достижение общего терминологического аппарата и создание своего метаязыка, как известно, цель всякой науки. Вне этого стремления наука не может существовать. Но надо учитывать, что существовать для науки означает развиваться, и быстрая динамика научных идей неизбежно приводит

117

в конфликт со строгой упорядоченностью терминов, требующей замкнутых статических научных моделей.

*Determinatio est negatio*¹. Научный импрессионизм в употреблении терминов и слишком большая жесткость научного языка, теряющего в силу этого способность описывать противоречия объекта, в равной мере опасны.

Необходимо учитывать еще одно обстоятельство: семиотика, изучая культуру, как бы расположена вне ее, но как часть культуры она в нее включена. Научный метаязык семиотики активно включается в живые культурные процессы, теряет определенность, но стимулирует развитие интеллектуальных процессов в обществе. В этом отношении интересно наблюдать, как наиболее строгие терминологические системы становятся метафорами общественного сознания. Влияние семиотики на культуру XX века бесспорно. Ученый иногда констатирует это с досадой, так как видит, прежде всего, профанацию сложных проблем. Однако такова реальность. А на реальность нельзя сердиться — ее надо изучать.

— Как вы оцениваете перспективы научного сотрудничества финских и эстонских ученых в области семиотики?

— Для такого сотрудничества имеются все основания: заинтересованность и научная активность с обеих сторон. А так как я, прожив шестьдесят с лишним лет в XX веке, все же остаюсь оптимистом, то и на этот вопрос я смотрю оптимистически.

Разговор о пространстве²

Ред.: Существует точка зрения, что география как наука, изучающая и переживающая пространство, есть реликт средневекового мышления. Если исходить из модели мира, предложенной Мишелем Фуко, как вы думаете, насколько это правильно, насколько структуралисты вообще правильно воспринимают средневековые и действительно ли представление о пространстве средневекового человека было настолько явным и целостным, что современные пространственные науки (география, архитектура) есть продолжение средневекового мышления?

Ю. Л.: Во-первых, структурализм разнообразен; Мишель Фуко тоже разнообразен и не всегда сам себе идентичен. Во-вторых, я думаю, что наша привычка считать время и пространство однопорядковыми вещами, следуя в этом за Эйнштейном, не совсем верна. Я думаю, что это разные вещи, что категория времени — более поздняя и от пространства, в общем, отделенная. Пространство — это, наверное, древнейший архаический язык. И это не только то, что является адекватом географии, не только то, что мы сей-

¹ Определение есть отрицание (лат.).

² Интервью для журнала «Geografiti». Зима 1992 г. Публикуется впервые по рукописной записи секретаря.

118

час осознаем как «пространство», но это универсалия, с помощью которой выражались и этические понятия. Средневековому человеку этой эпохи представлялось, например: «здесь живут негодяи», «это пространство воров», «здесь живут соседи», «здесь живут боги», и это прослеживается вплоть до наших дней. Для человека той эпохи выйти за границу — означало прорваться за пределы реальности. В организуемом на языке пространства мышлении такие

понятия, как грех, блаженство, рай, смерть, получают прежде всего пространственное воплощение. Когда ребенку страшно перейти в темную комнату, это — запрет на страшное пространство. Загробный мир тоже представляется нам как особое — страшное — пространство, и смерть во всех культурных системах предстает как *переход* куда-то или же как *приход* откуда-то. (Ср. выражение «потусторонний мир».) «Куда» и «откуда» — это коренные понятия.

Ред.: Переживать пространство — значит, в вашем понимании, иметь чувство дистанции и границы?

Ю. Л.: Конечно, основной признак пространства — это граница, граница жизни и смерти, граница чести и бесчестия. Это очень остро чувствуется на войне. Какие-нибудь двести метров, отделяющие «нас» от «них», превращаются в недоступную черту, по выражению Пушкина¹. Это незримые линии, которые структурируют мир для «нас» и создают разные типы поведения: поведение домашнее, поведение враждебное, поведение напряженное. По сути дела, мы имеем пучки границ, где какие-то границы могут доминировать. В средние века доминируют религиозные границы, в новое время доминантой сделались политические. Специфика современного положения в том, что старая система доминантных признаков разграничения ушла в прошлое, а новая еще не оформилась.

Фактически мы имеем в своем сознании сложную сетку границ. Некоторые накладываются друг на друга, и получаются «сильные» границы, некоторые, наоборот, расходятся. Границы, в частности, разделяют реальность и нереальность или «другую» реальность. (Посмертная жизнь — это ведь тоже реальность, но другая.) Таким образом, пространство может быть *наше/чужое, реальное/нереальное; чужое, но существующее/пространство, которого, может быть, и вообще нет*. То есть присутствует иерархия пространств. На этом языке мы можем описать что угодно — «Войну и мир» или поэзию Лермонтова, все распишется между «нашими» и «чужими», между добром и злом, то есть, по сути дела, между пространственными категориями.

Таким образом, я думаю, что география — это особый частный случай, где пространственный язык применяется к пространству, создается своего рода «пространство в квадрате». С одной стороны, это некая база вторичного языка. Потом это делается базой вторичного языка. Все остальное тоже описывается этим языком на разных иерархических уровнях, в разных системах. Причем это особенно характерно, как мне кажется, именно для

¹ Пушкин А. С. Под небом голубым страны своей родной... // Пушкин А. С. Т. 2. С. 330.

119

русской культуры, потому что есть культуры, более ориентированные на другие исходные понятия, например культуры очень замкнутого неподвижного мира, культуры архаических городов. Конечно, слово «город» здесь метафора. Это коллективные большие жилища, отгороженные стенами, вроде муравейника.

Ред.: Вы упомянули, что разные культуры испытывают различное тяготение к категории пространства. Можно ли провести сопоставление различных культур по этому основанию? Как вы, как историк культуры, видите динамику «веса», важности фактора пространства в ходе истории?

Ю. Л.: Начну с последнего. Видите ли, когда мы говорим о пространстве, нам нужно иметь в виду, что мы, по сути дела, говорим о двух вещах. Пространство становится универсальным языком, когда оно не осознается как пространство, а осознается как средство моделировать какие-либо отношения, скажем любовные или политические. И только потому, что нам нужно найти для них универсальный язык, мы опираемся на пространство. Другое дело — когда мы на этом языке начинаем размышлять о пространстве же. Это уже вторичная структура, это то же самое, как когда на языке мы начинаем размышлять о языке или когда мы средствами математики пытаемся смоделировать математику. Это второй, более сложный, метаструктурный уровень.

Когда мы берем пространство в фольклоре, мы описываем то, как эти коллективы, эти люди представляют себе пространство, но при этом мы выносим за скобки вопрос о том, на каком языке мы описываем их представление о пространстве. То есть нам надо еще описать свой механизм, который мы пускаем в ход, а он, как правило, имеет пространственную основу. Правда, мы уже столько раз переводили, перепутывали, что это очень замаскировано.

Ред.: А применительно к разным культурам, ну хотя бы на уровне дихотомии «Россия и Европа», можно ли говорить о различиях в интерпретации, переживании пространства в культурной деятельности?

Ю. Л.: Тут есть принципиальная разница. Английской культуре свойственно представление о себе как о единственной «нормальной» культуре. С этой точки зрения, англичанином быть естественно, в то время как существование неангличан само по себе несколько удивительно и требует особой мотивировки. Отсюда вытекает установка на чудачества и странное поведение, — это средство сделать собственное бытие для себя ощутимым, по выражению Лафатера, *am kräftigsten existieren* (сильнее, ощутимее существовать). Это подобно тому, как при изучении под микроскопом прозрачных растворов и находящихся там одноклеточных организмов в них вводят краску для того, чтобы сделать их более заметными.

Для некоторых же эпох русской культуры, послепетровской прежде всего, свойственно представление о том, что «нормальна» иностранная жизнь: мы невежды, а они все разумные.

Византийская же модель, существовавшая на Руси до Петра, говорила прямо противоположное: мы святые, а они все грешники. Отсюда формула протопопа Аввакума по отношению к иностранцам: «умны вы с дьяволом». Отсюда же толстовское представление о святости ду-

120

рака и совершенно неперебиваемое на европейские языки понятие юродивого, который в русской традиции есть святой и все понимает, потому что он сумасшедший. Юродивый — это одновременно и сумасшедший, и мудрец, и грешник, и святой. Это, так сказать, пространство, где противоречия сняты. Юродство есть в принципе переходное состояние.

Вот мы сейчас находимся в том состоянии, когда старая антитеза отпала, а новой нет, когда структурирование смазалось, границы размылись, сделались принципиально проницаемыми, хотя мы еще мыслим старыми границами. Я думаю, сейчас опираться на идеи исключительно трудно, процесс образования новых структурных границ, видимо, еще впереди.

Ред.: Границы в идеологическом пространстве?

Ю. Л.: В разных культурных пространствах, в том числе и в идеологическом. Наиболее стабильной кажется этическая граница. Важно еще и то, что в рамках русской истории четкая структурированность воспринимается почти всегда как иностранное влияние. Но при этом в основе русской культуры утвердилась бинарная система: мы более всего презираем тех, кто находится на переходах.

Ред.: А как вы думаете, эта поляризованность русского этического поля как-то сопряжена с особенностями физического пространства Руси, России?

Ю. Л.: Да, она имеет, вероятно, историко-географические обоснования: пограничное положение России между Западом и Востоком, между различными религиозными укладами. Но ведь пограничное положение не первично, — оно уже есть результат описания. Ведь можно сказать, что и Германия занимает пограничное положение, а уж Польша тем более.

С этим сопоставимо теперешнее положение Эстонии. Эстония в двадцатые годы моделировала себя как страну, находящуюся на границе цивилизованного мира, на границе Европы. Теперь вдруг оказывается, что Европа, европейское движение сняло эту границу. И то, на чем держалось межвоенное положение Эстонии или Польши, — положение «границ Европы», — теперь уходит. Европа этих границ не признает, а мы еще в значительной мере не можем от них отказать. Это чувствуется и в Польше, и в Прибалтике. Было представление, что мы держим какое-то пограничное знамя, а русские держат ключи обороны от вторжения в Европу с востока. Раньше говорили: Германия — последняя цивилизованная страна, дальше на восток — варварство. Так думали очень многие, кроме представителей другого типа культуры, которые говорят, что граница между грехом и праведностью, между дикостью и цивилизацией проходит через мое сердце. Так что все зависит от языка, на котором мы описываем.

Ред.: Вы сказали, что Европа перестала воспринимать этот старый рубеж, стражами которого считали себя Польша и та же Эстония. Что вы имеете в виду?

Ю. Л.: Сейчас делается попытка создать мировое пространство — экономическое и культурное. Это видно на языках, на том, что мы сейчас не можем представить мир без Японии, не можем вывести ее в «кинокультурное» пространство. Ощущение рубежности, пограничности из пространственного ста-

121

новится этическим, переходит внутрь человека, то есть мы пытаемся создать общечеловеческую цивилизацию. Единство состоит не в том, чтобы все были одинаковыми. «Понимаемость», к которой мы так стремимся, — это один полюс; другой необходимый полюс — «непонимаемость», потому что непонимание делает понимание мучительным и вместе с тем имеющим смысл и высокую ценность. Будущее — не в стирании национальных границ, а в понимании чужого, в понимании необходимости чужого: чужой, инакомыслящий, иначе устроенный для меня мучительно необходим и составляет мое мучительное счастье.

Два индивида, две национальные культуры (фактически любой объект общения) испытывают муки взаимного непонимания. Построим модель идеального взаимопонимания: два одинаковых кегельных шара, которые имеют одинаковую память и пользуются одним и тем же языком общения. Они свободны от мук непонимания. Но о чем они будут говорить? Общение делается настолько легким, что полностью теряет не только ценность, но и смысл. Единство ценности и трудности и составляет страдание, муку жизни (Qual, по выражению Якоба Беме), но оно же составляет и ее радость.

Ответы на вопросы корреспондента «Литературной газеты»

— Как вы оцениваете современное состояние гуманитарных наук?

— На такой вопрос нельзя ответить однозначно, ответ будет неизбежно противоречивым, как и само состояние наук этого цикла. Однако важно осознать, что за последние пятьдесят лет гуманитарные науки продвинулись больше, чем за предшествующие пятьсот. Сейчас осознание этого факта делается даже важнее, чем дальнейшее продвижение вперед, хотя и это чрезвычайно важно.

В течение многих веков гуманитарное знание составляло основу культуры и именно по его

уровню определялся общий уровень культурного развития данного общества. Наука постренессансной эпохи перестроила и состав культуры, и отношение к ней. Математические, естественные, физические науки заняли ведущее место в составе культуры, а критерий общего уровня развития¹ все более стал отождествляться с уровнем техники. В начале XX века это привело к своеобразному обожествлению техники, понимаемой узко как механизация.

Сейчас принято много говорить о научно-технической революции. Однако мало задумываются над тем, что именно в ее ходе произошла смена заве-

¹ Текст сохранился в рукописи. Публикуется впервые.

122

щанных XIX веком оценок соотношения разных видов знания. Теперь уже никого не удивит утверждение о неразрывной связи прогресса вычислительной техники и прогресса в лингвистике, проблемы искусственного интеллекта с исследованием механизмов естественного знания, в широком диапазоне — от структуры индивидуального интеллекта до семиотики культуры. Прогресс в технике настолько переплетается с прогрессом в гуманитарных науках, что развитие первого без второго делается просто невозможным. И то, что факт этот осознается достаточно медленно, превращается в реальный тормоз развития не только гуманитарии.

Но у вопроса есть и другая сторона: чем мощнее и грознее техника, тем более ответственным становится вопрос об ее использовании. И здесь мы сталкиваемся с ответственной ролью гуманитарных наук, особенно истории. Перед гуманитарными науками открываются горизонты, даже мечтать о которых еще полвека назад было невозможно. Но это же означает и неизмеримо возросшую меру ответственности.

— Как вы оцениваете современное состояние литературоведения?

— В основном оптимистически. Дело даже не в том, что достаточно часто мы получаем от наших издательств такие книги, как «Поэзия садов» Д. С. Лихачева, «Очерк истории русского стиха» М. Л. Гаспарова или «Пушкин в 1836 году» С. Л. Абрамович (сознательно беру книги разного стиля, исследовательской методики и читательской ориентации), а в общем уровне литературоведческой науки. Достаточно взять в руки многочисленные сборники «Ученых записок» разных учебных заведений, издававшиеся в 1950-е и 1970—1980-е годы, чтобы увидеть огромный скачок: исчезли школярские «разборы» «образов» или наивно-дилетантские обосуждения вопросов, что «понял» и в чем «заблуждался» Толстой или Достоевский. Сейчас неудивительно встретить на страницах так называемых провинциальных изданий статьи, превышающие по научному уровню иные солидные труды. Так, например, восемь выпусков «Болдинских чтений» никак не могут, кроме как по месту издания, быть названы «провинциальными». То же можно сказать и о рижских «Пушкинских сборниках», и о многих других изданиях.

Нельзя сказать, что этот быстрый процесс научного роста, в который вовлечены молодые поколения литературоведов (следует учитывать, что преподавательский состав провинциальных — часто молодых — университетов часто значительно моложе среднего уровня соответствующих столичных кафедр), протекал без издержек. Основная опасность здесь, как мне кажется, — стремление к широким обобщениям и новым построениям, не подкрепленным иногда в достаточной мере фактами. Порой стремление к новизне приводит к легковесности. Исключительно отрицательную роль играет соблазнительный пример так называемого детективного литературоведения, когда серьезное исследование подменяется сенсационными «тайнами» и «открытиями». Однако это неизбежные издержки быстрого развития и именно так должны рассматриваться.

123

[О современном состоянии пушкинистики]¹

— Не разделяю вашего оптимизма. Еще в недавнем прошлом было принято справлять помпезные юбилеи и «отмечать успехи». Сейчас с самых высоких трибун заговорили о тревожном отставании нашей науки. К сожалению, и наука о Пушкине не составляет исключения. Вместе с общими потерями, которые понесла наша культура в годы сталинщины и последующий период, существенный ущерб нанесен и изучению, и пропаганде наследия Пушкина. Заканчивая одну из своих пьес, Пушкин заметил о ее герое: «Остается погружен в глубокую задумчивость»², а А. Н. Островский на пушкинских торжествах 1880 года сказал о Пушкине: «Наша литература обязана ему своим умственным ростом» — и призывал «проследить свое умственное обогащение» от чтения Пушкина³. Насаждавшиеся в период застоя помпезные мероприятия, перечисление успехов, к сожалению часто мнимых, не создавали ни атмосферы глубокой задумчивости, ни умственного обогащения и практически мало способствовали подлинной любви к Пушкину.

Ущерб, нанесенный в эти годы пушкиноведению, проявился в разных сферах: в низком уровне некоторых, в том числе и академических, изданий, в том, насколько далеко от идеала преподавание Пушкина в школе, в состоянии памятных мест и музеев, в том, с какой безумной легкостью разрушались и разрушаются связанные с именем Пушкина дома и пейзажи. Следует иметь смелость сказать, что уровень науки о Пушкине за эти годы понизился. Посмотрим пушкинские издания 1920—1940-х годов, откроем академическое Полное собрание сочинений; мы

видим имена: П. Е. Щеголев, М. А. Цявловский, Б. В. Томашевский, Н. В. Измайлов, С. М. Бонди, В. В. Гиппиус, Б. М. Эйхенбаум, Д. П. Якубович, В. В. Виноградов, Ю. Н. Тынянов, Ю. Г. Оксман, Г. А. Гуковский, Н. И. Мордовченко, Д. Д. Благой и многие другие. Список далеко не полон, и каждый из этих ученых был яркой научной индивидуальностью, оставившей свой след в изучении наследия Пушкина. Поистине нигде в мире не было такого букета эрудитов, теоретиков, текстологов. За неполные двадцать лет они создали подлинную науку о Пушкине, ставшую передовым отрядом литературоведения вообще и, могу уверенно сказать, не имевшую равной в мире. Без преувеличения можно сказать, что уровень советской пушкинистики тех лет намного превосходил все существовавшее в этой области в мировой науке. И вот на этой основе в 1937—1949 годах было создано уникальное Полное собрание сочинений Пушкина, прочтены и изданы все его творческие рукописи, проделана работа, объем и научный уровень которой невозможно переоценить. Его выпуск — настоящий научный подвиг.

¹ Статья написана в 1988 г. Публикуется впервые.

² Пушкин А. С. Пир во время чумы // Пушкин А. С. Т. 5. С. 422.

³ Островский А. Н. По случаю открытия памятника Пушкину // Островский А. Н. Поли. собр. соч. М., 1978. Т. 10. С. 111—112.

124

Сейчас, полвека спустя, недостатки этого издания очевидны, пришла пора выпускать новое тридцатитомное полное собрание сочинений. Но очевидно также, что мы сейчас не располагаем научным коллективом, даже отдаленно сопоставимым с тем, который готовил первое. Как участник этого предполагаемого издания скажу про себя, предоставляя каждому из моих коллег говорить самому о себе: зная и труды, и лично помня это блестящее поколение моих учителей, я безо всякой ложной скромности, просто из трезвого сознания собственных научных возможностей, не решусь поставить себя вровень с теми, кого мы, пользуясь выражением Пушкина, «сменив, не заменили»¹. И это не моя личная беда (тогда об этом можно было бы и промолчать) — это уровень, с которым мы теперь имеем дело. Пора разобраться в причинах.

— Что же происходит у нас с наукой?

— Признание отставания сейчас все более открыто слышится от представителей самых разных областей знаний. Недавно один видный ученый заявил о кризисе нашей науки. А в «Литературной газете» от 5 октября с. г. Антонина Галаева привела страшные, если вдуматься, слова: Лысенко нет, но «лысенковщина отнюдь не исчезла»² — и дала анализ причин, над которым стоит задуматься. Относятся эти тревожные слова и к гуманитарным наукам.

В годы сталинских репрессий литературоведение понесло существенные потери, не обошла беда и пушкинистику. Но это общее положение мало что нам объяснит, если мы не задумаемся в то, что представляет собой наука как живой организм. Наука — не только сумма книг или открытий, даже не собрание ученых. Наука — это самовоспроизводящийся механизм, органическое — почти живое — целое. И если механизм самовоспроизведения нарушен, то никакие дотации, средства, программы и широковещательные кампании не помогут. Давно историки науки заметили: таланты или идут «косяком», являясь как из-под земли, или исчезают — появляется степь безводная. Дело в том, что талант воспроизводится талантом. Когда существует ядро ученых высшего класса, бескорыстной преданности науке, широкой эрудиции, глубокой внутренней интеллигентности (а я убежден, что есть такая высота науки, которая достигается только при чистоте помыслов и душевном благородстве, и, напротив, даже малый привкус карьеризма, корысти, «шариковщины» пресекает научный путь даже способному человеку), то вокруг него складывается самовоспроизводящийся механизм науки. Но уберите этих несколько человек и посадите на их место бюрократов с учеными степенями — и пройдет немного времени, как наука исчезнет, заменившись ведомственной возней и склоками карьеристов, облеченных в одежды «научных» проблем. Серость плодит серость не по злему умыслу, а по самой своей природе. Поэтому серость в творческой сфере отнюдь не безобидна. Она агрессивна. В свое время Стендаль пронзительно сказал: «Не следует бояться

¹ Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Т. 5. С. 16.

² Галаева А. Гласность без слышимости? Еще раз о выборах в научных институтах // Литературная газета. 1988. 5 окт.

125

свистать слишком громко; никакой пощады посредственности, — она ослабляет наше чутье к изящным искусствам»¹. Он говорил об искусстве. В области же науки можно сказать: наше чутье к истине, к суровой требовательности бескомпромиссного знания.

У нас перед глазами чуть ли не экспериментальный пример: почти все из плеяды пушкинистов, перечисленных мной, вышли из так называемого Венгеровского семинара Петербургско-Петроградского университета. Если к списку, приведенному выше, добавить таких ученых, прошедших с 1908 до 1919 года (в 1920 году Венгеров скончался) через его семинар, как Азадовский, Балухатый, Комарович, Лопатто, Бем, Пропп, Коварский, Долинин, Энгельгард, Святополк-Мирский, библиографов Фомина и Замкова, поэтов Гумилева, Хлебникова, С. Городецкого, Лозинского, Маслова, то картина мощного центра гуманитарной культуры предстанет перед нами с убедительностью контрольного опыта. Венгеров — ученый широкого

профиля, передовой общественный деятель, талантливый педагог, неутомимый организатор культурно-просветительных начинаний. Прекрасный штрих к его портрету дает эпизод, рассказанный одним из его учеников в посвященном ему некрологе. В 1920 году Венгеров умирал в Петрограде от голодного тифа совсем один (жена скончалась, сын погиб на фронте, о чем он, к счастью, так и не узнал). Он умирал, а с двух сторон его постели сидели его ученики — Тынянов и А. Слонимский. И Венгеров слабым голосом говорил им: «Ну, поспорьте еще при мне о формализме». Формализм был ему, либеральному народнику и стороннику культурно-исторической школы, чужд. Он был бесконечно далек от авангардистских страстей. Но его утешало в последние минуты, что молодежь горит вопросами культуры, может, забывая о хлебе, спорить о методах литературного анализа, яростно отбрасывать старое и искать нового.

Такой человек мог сплотить ядро. А когда оно возникло, вступили в силу законы «критической массы», которые ускоряют научное развитие всех, кто имеет счастье попасть в такую атмосферу, и помогают им достичь того, чего в иных условиях они наверняка не достигли бы. Разрушьте эту структуру, и вы отбросите науку далеко назад.

Неизмеримый вред нашей науке наносит бюрократический принцип отбора кадров, когда в вопросах аспирантуры, приема на работу и т. п. решающим оказывается голос отдела кадров или замечание члена профбюро о том, что данный кандидат не проявил активности на субботнике. Пока эта практика не будет решительно сломана (никакие полумеры не дадут результатов), нам не избавиться от научного отставания, которое будет прогрессировать. Необходимо понять, что это не случайное явление, а самый корень сложившегося в науке положения.

Другой вопрос — необходимость объективной, квалифицированной и свободной от пристрастий научной критики. Не может быть критики, глядящей на ведомственное положение автора и, что бы он ни написал, утверждающей, что это «вклад», «без которого не обойдется теперь ни один спе-

¹ Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М.; Л., 1936. Т. 11. С. 291.

126

циалист». Но проходит два-три года, должностное лицо уходит в отставку, и это сочинение, на которое был обязан ссылаться каждый молодой диссертант, никто уже не вспоминает. В науке нет должностных лиц. Великий Ломоносов называл «оним застарелым академическим несчастьем» то, что академией управляли администраторы, а ученые были при них как факультативное добавление. Наука нуждается в администрации, но суть ее творческая, а не административная. Пока у нас не будет авторитетного журнала, целиком посвященного критическому анализу всей пушкинистики — научной и популярной, советской и мировой, — добиться подлинной научности мы не сможем.

— А в чем же вы видите задачу Фонда культуры в этой связи?

— Фонд должен способствовать поднятию уровня, с одной стороны, науки о Пушкине, а с другой, я бы сказал, «умной любви» к поэту. Я до сих пор говорил о положении в науке. Хочу сказать и о том, какие задачи мне видятся в области популяризации. Прежде всего, я решительно не понимаю, когда пытаются противопоставить интересы науки и популяризации и говорят о научных проблемах: «Это не для широкого читателя, а для узкого круга специалистов». Это точка зрения того крыловского персонажа, который хотел бы, чтобы «были желуди», и подрывал корни дерева, на котором они растут. Нет науки — нечего популяризовать. О популяризации, противопоставляющей себя серьезному знанию, Александр Блок писал в дневнике 1917 года: «Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, популяризацией. Вульгаризация не есть демократизация». И дальше: «Кто спускается, тот проваливается»¹. Популярная статья и брошюра — самый трудный жанр. Эти работы должны писать ученые масштаба Мечникова и Тимирязева. Вспомним хотя бы, что блистательный ученый С. М. Бонди писал вступительные статьи для детгизовского Пушкина, П. Е. Щеголев превратил свою классическую «Дуэль и смерть Пушкина» в популярную книгу для серии «ЖЗЛ» (редактировал М. А. Цявловский), популярные книги писал В. Шкловский, а Тынянов написал своего «Кюхлю» как повесть для детей. Помню, что в пушкинский юбилей 1949 года Г. А. Гуковский прочел в Ленинградском лектории цикл лекций о Пушкине; люди стояли в проходах и толпились на крыльце: учителя, студенты, моряки, солдаты — просто ленинградцы, любители Пушкина. Писать популярно — трудно и ответственно. Мне, например, каждая популярная работа стоит значительно большего труда, чем узкоспециальная. И все же я не знаю ни одного серьезного исследователя, который не выступал бы перед учителями и школьниками, по радио и телевидению. Разговоры о каком-то мнимом противостоянии интересов науки и популяризации я считаю несерьезными.

Создание популярной литературы нельзя считать второстепенным делом, тем более что читатель возрос и совсем не редкость, когда научную книгу в руки берет вовсе не филолог по специальности. Следовательно, и требования к неспециальной литературе должны расти.

¹ Блок А. А. Дневник 1917 года. 8 июля // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 277.

127

— Не потому ли у нас мало действительно популярных книг о Пушкине, что пишут их порой недостаточно квалифицированные авторы, наполняя нелепыми домыслами и фактическими ошибками? В результате написано много, а хороших и честных книг — единицы.

— Конечно, не будем представлять картину слишком мрачной. Много пишется хорошего, особенно в последнее время, когда издательская деятельность значительно оживилась, а авторам не навязываются догматические шоры. Но одновременно обнаруживается опасность того, что вы справедливо назвали домыслами. Здесь большие претензии можно предъявить к многочисленным разделам в журналах и газетах под названиями типа: «Гипотезы, находки». Они часто распространяют недостоверные или просто ложные данные, пропагандируют дилетантизм. Редактор не всегда компетентен и порой слишком стремится к сенсации, а наука ориентируется на истину, а не на сенсацию. Истина же, как правило, проста. Большое число так называемых находок и открытий оказываются мыльными пузырями. А именно они попадают в руки массовому читателю.

— А не кажется ли вам, что они оживляют интерес к прошлому, избавляя его от академической сухости?

— Нет ничего интереснее и живее истины. В истории, если ее смотреть свежими глазами и преподносить живым языком, — неисчерпаемый родник интересного. Но для этого надо не поддаваться на соблазн легких сенсаций. Вспоминаю покойного Владислава Михайловича Глинку. Каждая беседа с ним была праздником, потому что он жил в истории России как в своей комнате. Как-то он мне сказал: «Конечно, когда человек знает два факта, то ему легко сделать открытие, узнав третий. Нам же открытия даются трудно: годы работаем, чтобы узнать что-либо новое. И то открытием не считаем: слово-то слишком громкое».

— А народное пушкиноведение, о котором в последнее время говорят довольно много?

— Есть народная любовь к Пушкину, есть желание узнать о нем больше, но нет народной пушкинистики, как нет народной ядерной физики или народной грамматики. В той мере, в какой стремление сделать посильный вклад в изучение Пушкина сливается с фольклористикой, краеведением, народоведением, социологией современного читателя, педагогикой, — это нужное и почтенное занятие. Его надо приветствовать и ему надо помогать. Но в той мере, в какой под этими словами понимают противоположное науке (в этом случае прекрасное слово «академическая» произносится с необъяснимым оттенком превосходства), то это просто щит для дилетантства. Научное мышление требует критического отношения к напечатанному и ответственности за него, а эпитеты «народное» или слова типа «гипотезы», «предположения» и прочее — лишь самозащита от критики.

Я отношусь с большим уважением к тем, кто собирает краеведческие данные, легенды о Пушкине, стремится оживить интересы школьников к пушкинской эпохе, самоотверженно борется за сохранение и восстановление культурных гнезд той эпохи. Но когда я сталкиваюсь с «заочной школой

128

текстологии» или попытками исправить текст Пушкина путем общего голосования, то мне кажется, что эпитет «народное» здесь пристал в такой же мере, как крыловской вороне павлиньи перья. «Народное» — прекрасный эпитет, но пользоваться им надо иметь право, так же, как словом «пушкиноведение». Не иметь специальных знаний еще не значит быть народом, а писать о Пушкине — пушкинистом.

Тревоги, надежды, работа¹

Как вы оцениваете нынешнее состояние пушкинистики? Какие тенденции в ней представляются вам наиболее перспективными? Что вызывает тревогу и несогласие?

Нынешнее состояние пушкинистики не могу признать удовлетворительным, как и состояние литературоведения в целом. Общее понижение уровня гуманитарного образования в школе, филологического образования в университетах, разгром и фактическое уничтожение ведущих кадров пушкинистов в 1948—1950 годах, прервавшее традицию и нарушившее нормальный ход самовоспроизведения научных кадров, дали свои печальные плоды. И сейчас появляются очень хорошие работы, и сейчас мы можем назвать блестящих исследователей Пушкина, но общий уровень пушкинистики по сравнению с 1920—1930-ми годами, бесспорно, понизился. Тем более что это происходит на фоне исключительно интенсивного развития лингвистики, психологии, в том числе и психологии культуры, культурологии, появления принципиально новых идей в исторической науке. Литературоведение продолжает, однако, являть собой печальное зрелище заколдованного острова, куда почти не доходят новые веяния.

Что вызывает наибольшую тревогу? Активное наступление субъективизма, обилие чисто дилетантских домыслов, не подкрепленных специальными знаниями, стремление не изучать, а перетолковывать пушкинский текст, подменять анализ «красивыми словами», приписывать Пушкину те или иные чуждые ему, но модные сейчас идеи. Фактически это вчерашний догматизм навыворот. Если определенные исследователи в 1920-е годы приписывали Пушкину идеологию «капитализирующего дворянства», то сейчас ничего не стоит представить его мистиком или «подтянуть» его к «Выбранным местам из переписки с друзьями».

Другой грех — погоня за сенсациями — «гипотезы» и «открытия», лишенные научной обоснованности. При этом забывают, что гипотеза — это совсем не заманчивая выдумка, а наиболее вероятное объяснение всей имеющейся суммы фактов, пока список фактов остается

открытым.

¹ Впервые: Литературное обозрение. 1989. № 6. С. 17—18. Ответы на анкету о современном состоянии пушкинистики.

129

Что представляется вам важнейшими задачами пушкинистики и пропаганды пушкинского наследия на сегодняшнем этапе? Насколько осуществимо решение этих задач?

Спокойная и объективная оценка работ пушкинистов, возрождение научной критики, традиции которой полностью прерваны, уничтожение «ведомственных» рецензий, возносящих ту или иную книгу с оглядкой на должность, занимаемую автором, уничтожение института лауреатов, поскольку опыт показал его объективный вред для науки, и изыскание других методов поощрения научного творчества, более отвечающих реальной ценности работ. Весьма полезен был бы научно-критический журнал пушкинистики, своеобразная «школа» пушкинистики.

Над чем вы работаете сейчас и собираетесь работать в ближайшее время как пушкинист?

Готовлю академическое издание «Евгения Онегина», работаю над исследованием позднего творчества Пушкина. Последние годы подсказывают новые подходы к историческому процессу России и Европы в XVIII—XX веках. Если хватит времени, сил и знаний, хочу попытаться осмыслить место Пушкина в этой по-новому увиденной истории.

Пушкиноведение: вернуться к академизму

— С чем подошло отечественное пушкиноведение к 1 50-летней годовщине гибели поэта и какие основные проблемы стоят сегодня перед пушкинистами?

— В чем вы видите пользу для современного пушкиноведения от проведения «Пушкинских чтений» в Тарту?

С такими вопросами наш корреспондент Дмитрий Кузовкин обратился к одному из ведущих современных пушкинистов, профессору Тартуского университета Юрию Михайловичу Лотману, перед самым открытием «Пушкинских чтений».

Пушкиноведение традиционно является центральной сферой наших гуманитарных наук, причем не только филологии, но и культурологии и истории. И это закономерно в связи с совершенно особым местом Пушкина не только в истории русской культуры, но и в нашей истории в целом.

Пушкиноведение как наука за последние сто лет проделало огромный путь. Первый итог можно подвести было в 1937 году созданием академического Полного собрания [сочинений] Пушкина и целого ряда фундаментальных трудов. Конечно, это академическое издание не идеально, сказалась обстановка тридцатых годов. Так, первый том не получил одобрения Сталина. Но именно тогда пушкинистика из области публицистики и любительских

¹ Впервые: Вперед (Тарту). 1987. 14 нояб.

130

упражнений перешла в сферу знаний, основанных на рукописях, на текстологии, на изучении истории общественной мысли, на изучении истории русской и европейской литературы. Правда, этот переход пушкинистики на научную основу наметился еще в прошлом веке.

В дальнейшем в истории пушкиноведения начались трудности. И главный вред состоит даже не в том, что такие блистательные ученые, как Томашевский, Гуковский, Эйхенбаум и другие (Тынянов до разгрома 49-го года не дожил), были несправедливо охаяны и перенесли очень много страданий. Дело еще и в другом: был нарушен механизм научного воспроизводства. Получилась вещь для науки исключительно опасная: была нарушена научная эстафета.

Последствия этого мы ощущаем и сейчас: у нас есть замечательные пушкиноведы, очень крупные ученые, но никто не может встать в ряд с теми, кого мы потеряли. Были нарушены традиции. И сейчас, когда возникает практическая задача издания нового академического Пушкина, такого коллектива, какой был при первом издании, у нас нет.

Я не хочу зачеркивать того, что было сделано в эти годы (а вышло много полезных работ), но фактически мы остались в лучшем случае на уровне 37-го года. И вместе с тем в последующие годы в значительной мере начался откат. Одно из последствий, о чем я буду говорить на конференции, — это настоящее бедствие дилетантизма в современном пушкиноведении.

Сейчас представление о том, что такое научная работа, совершенно исказилось. В массовом сознании создалась мифология исследовательской работы, которая напоминает работу следователя: вот Шерлок Холмс, который пришел, открыл сундук, а там лежит...

Настоящая научная, скажем архивная, работа состоит не в том, чтобы найти рукопись, которую никто не видал. Это бывает, но это то же самое, что найти сто рублей на улице. Настоящая работа состоит в том, чтобы сопоставить различные факты, мелкие или крупные, которые без сопоставления молчат. А для того чтобы их сопоставить, надо что-то знать. Настоящая архивная работа сродни диагностике: разрозненные симптомы, интуиция врача, предшествующий опыт — все вместе есть то, что позволяет из ничего не значащих отдельно фактов слепить значащую картину.

От дилетантизма — еще и другой грех. В ходе сороковых, пятидесятых и до начала шестидесятых годов произошла этакая догматизация пушкинистики: все стало известно, все ясно, все понятно, знай пиши себе популярные брошюры... И их писали, и писали много.

Когда в середине 1960-х годов наука смогла вздохнуть от этой догматизации, появился другой крен: свобода фантазии по формуле «мне кажется». Появились фантастические и субъективистские эссе. Это, в общем, неплохо, когда бы мы отделяли эссе от науки. Цветаевские статьи о Пушкине — это эссе писателя. А. А. Ахматова — автор высокопрофессиональных работ о Пушкине, но ее «Невское взморье» — это чистое эссе. Тыняновская работа «Утаенная любовь Пушкина» — тоже замечательное художественное произведение.

И наконец, конкретный ответ на ваш вопрос: с чем приходит пушкиноведение к годовщине гибели поэта. Даже в самые трудные годы изучение Пуш-

131

кина не прекращалось, делались отдельные — конкретные — неплохие работы, но общий уровень не развивался. Происходило явное снижение уровня академических пушкинских конференций.

Теперь мы от науки ждем оживления. Причем ждем оживления не свободных журналистских идей, а оживления академической науки. Как сказал в свое время Б. В. Томашевский: «Хватит писать популярные работы, скоро нам будет нечего популяризировать». Правда, беда здесь в том, что нам не хватает знаний. Ведь даже такая простая вещь, как проблема знания иностранных языков: для тех ученых, у которых я учился, ее не существовало!.. Сейчас же мы все находимся на значительно более низком уровне. И на это закрывать глаза нельзя.

Но при том что сейчас атмосфера не догматическая и наука находится в состоянии динамическом, я смотрю на дальнейшие перспективы пушкиноведения с оптимизмом. Ясно одно: старые идеи, плодотворные в тридцатые годы, сейчас остаются за гранью научных исследований. Сегодня возникает насущная потребность в больших новых научных концепциях, которые осмыслили бы творчество Пушкина на фоне того реального исторического опыта, который мы пережили в XX веке. Потому что изучать прошлое можно только глядя на настоящее и в будущее.

Я надеюсь, что в этом трудном и не быстром пути (в науке вообще ничего быстрого не бывает), в деле перехода к каким-то новым взглядам на Пушкина и на русскую историю вообще, мы кое-что сделаем. Как говорится, и «моего меда здесь капля есть»: какую-то каплю меда наша конференция в эту общую чашу, думается, внесет.

Пушкин 1999 года. Каким он будет?¹

Исполнилось сто пятьдесят лет со дня смерти Пушкина. Но приближается еще более торжественная дата — двухсотлетие со дня рождения поэта. Что принесло второе столетие посмертной жизни Пушкина? Вопрос этот будет в ближайшие десять лет занимать и историков литературной науки, и литераторов, и любителей словесности. Ответ на него дадут обобщающие итоговые работы, которые пока еще не написаны. Сейчас на эту тему возможно высказывать лишь предварительные мысли, не претендующие ни на глубину, ни на основательность. И все же приходится делиться этими соображениями, даже ясно сознавая их незрелость и уязвимость. Дело в том, что без них невозможен ответ на другой вопрос: каким будет для читателей, для культуры в целом Пушкин XXI века? Вопрос совершенно ненаучный по самой своей постановке, но тем не менее важный. Его можно переформулировать так: каким мы надеемся увидеть Пушкина на третьем веке его жизни в культуре?

¹ Впервые: Таллинн. 1987. № 1. С. 56—64.

132

Прежде всего, оглянемся на сто лет назад. Конец XIX века стал временем взлета общественной популярности Пушкина. Впервые историческое значение Пушкина было очерчено Белинским в начале 1840-х годов. Взгляды Белинского определили отношение к Пушкину ряда поколений и, что очень важно, повлияли на школьное преподавание, распространившись через него весьма широко. Появление в 1855 году книги П. В. Анненкова «Материалы для биографии Пушкина» — первого опыта научной биографии поэта — вызвало целую волну споров о Пушкине, совпавших со временем общественного подъема 1860-х годов. Статьи Чернышевского, Добролюбова, Ап. Григорьева, Дружинина, Дудышкина поставили имя Пушкина в центр внимания читателей. Но вот в 1865 году появилась статья Писарева «Пушкин и Белинский», и творчество Пушкина было объявлено устаревшим, ретроградным и барским. Пушкин был объявлен «величайшим специалистом по части всяких юношеских мечтаний, пегих и буланых, о маленьких ножках и об изделиях вдовы Клико». Заключительные стихи «Памятника» Писарев характеризует как «честолюбивые надежды искусного версификатора, самовольно надевшего себе на голову венец бессмертия, на который он не имеет никакого законного права»¹. «Статья Писарева, — резюмирует современный исследователь, — на пятнадцать лет вычеркнула вопрос о Пушкине из числа злободневных вопросов критики и публицистики»².

Утрированный нигилизм Писарева имел характер интеллектуальной бравады и был спровоцирован складывавшимся в эту пору официальным культом Пушкина. Но если слова Писарева были полемическим упрощением, то персонажу из «Братьев Карамазовых», Ракитину, уже было нечего упрощать: бойкие фразы Писарева он воспринял как истину и право на хамство. Формула: «Пушкин — певец женских ножек» — освобождала от культуры. Но Писарев не заметил, что свою формулу ниспровержения Пушкина он строил как вывернутую официальную:

он переставил плюсы и минусы, но не дал ничего нового. Не случайно в дальнейшем обе формулы прекрасно уживались в единых рамках пошлости. Прекрасно об этом писал Александр Блок в статье «Интеллигенция и революция», характеризуя мир «гнетущей немзыкальности»: *«Средняя школа: „Пушкин — наша национальная гордость“. „Пушкин обожал царя“. „Люби царя и отечество“. „Если не будете исповедоваться и причащаться, вызовут родителей и сбавят за поведение“. „Замечай за товарищами, не читает ли кто запрещенных книг“. „Хорошенькая горничная — гы“.*

Высшая школа: „Вы — соль земли“. „Существование бога доказать невозможно“. „Человечество движется по пути прогресса, а Пушкин воспевал женские ножки“³.

Слова Блока могут показаться сатирическим преувеличением. Однако в почти документальной их точности нас удостоверяет любопытный документ: в 1900 году в Киеве под редакцией директора 1-й Киевской гимназии

¹ Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 232, 413.

² Пушкин. Итоги и проблемы изучения, коллективная монография. М.; Л., 1966. С. 72. Цитируемые оценки принадлежат В. Б. Сандомирской.

³ Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 17—18.

133

И. В. Посадского был опубликован сборник речей, произнесенных педагогами Киевского учебного округа на заседаниях, посвященных пушкинскому юбилею 1899 года. Так, законоучитель историко-филологического института в Нежине священник А. В. Лобачевский сказал: «Жизнь и деятельность поэта, как известно, обуславливалась <...> отеческой опекой над ним любящего государя императора. Поэт был ограничиваем в своих словах и делах зорким и любящим оком своего монарха. Попытка сделать важный жизненный шаг без ведома своего покровителя окончилась для поэта, как известно, печально: он был убит»¹. Примечательно, что, хотя к этому времени учитель гимназии уже мог опереться на вполне удовлетворительную книгу В. Я. Стоюнина «Пушкин» (1881), написанную опытным педагогом и специально предназначенную для преподавателя-словесника, большинство докладчиков ссылаются на примитивную и весьма реакционную книгу А. Незеленова «А. С. Пушкин в его поэзии». Именно из Незеленова черпается большинство штампов, часть из которых дошла и до наших дней. Конечно, никто не станет сейчас, как преподаватель каменец-подольской гимназии Л. П. Максимов, утверждать, что в 1820-е годы «общественные развлечения состояли почти исключительно в балах, танцах, карточной игре, кутежах, которые часто приводили к ссорам и поединкам. Пушкин тоже увлекался такой жизнью, сделался человеком задорным и нетерпимым и нередко отбывал наказания под арестом. Чувственная атмосфера Кишинева вызвала несколько стихотворений, воспевающих пирушки, вино и женщин. Но рядом с эротическими стихотворениями уже в это время, несмотря на неблагоприятные условия, поэт создает произведения, в которых наделяет своих героев благородными стремлениями»². Но зато здесь мы найдем в изобилии рассуждения о том, что народностью своей Пушкин обязан Арине Родионовне, что «Татьяна Ларина, идеальнейший образ в галерее пушкинских образов, отказывается от личного счастья, чтобы не разбить счастья другого человека» (преподаватель женской гимназии Ш. Чатадзе)³. Одновременно слышатся и писаревские нотки: герои Пушкина — эгоисты, порожденные крепостной средой: «Они какие-то больные, страшные субъекты, вроде, например, Ленского, Алеко, отправляющегося искать свободы у дикарей-цыган, или богатыря-самодура Троекурова, мстителя, поджигателя и разбойника Дубровского, или бретера Сильвио («Выстрел»). Как все здесь случайно, чтобы не сказать — бессмысленно». «Пушкин первый подметил и нарисовал в лице Онегина и Ленского тип русского передового человека, достаточно разоблачив и показав всю внутреннюю его пустоту; с другой стороны, Пушкин же первый обратил внимание и на общественное положение низшей братии — бедных классов народа, а равно и горькое положение не тронутой разумным воспитанием и образованием русской женщины» (учитель Острожского женского училища Ф. П. Кутневич)⁴. Тут же многократные

¹ Памяти Пушкина. Празднование столетней годовщины со дня рождения А. С. Пушкина в учебных заведениях Киевского учебного округа. Киев, 1900. Т. 2. С. 12—13.

² Там же. С. 295.

³ Там же. С. 491.

⁴ Там же. С. 539—540.

134

повторения того, что «Пушкин любил учиться», «любил русскую природу», что «язык его был необыкновенно чист». Не поддадимся искушению иронизировать над наивностью суждений тех, кто давно уже умер и в свое время делал что мог на ниве просвещения. Удержимся от улыбки даже тогда, когда автор статьи «Воспитательное значение поэзии А. С. Пушкина» преподаватель Ровенского реального училища В. П. Ляскоронский будет уверять своих слушателей, что свою любовь к родной природе Пушкин «выразил в стихотворении „Зима“» («Зима, крестьянин торжествуя...»). Задумаемся лучше над тем, в чем корень этого тяготения к примитиву, этой глухоты к красоте стиха, этого представления, что идейный смысл можно извлечь, вырвав строчки или пересказав их прозой? В чем секрет искусства убивать поэзию, заменять красоту скукой? Ведь

очевидно, что большинство этих преподавателей были достаточно образованны и любили Пушкина. Размышления эти могут оказаться полезны и сегодняшней школе.

При этом следует отметить, что наука о Пушкине к его столетнему юбилею уже могла назвать книги и статьи А. Н. Пыпина, П. В. Анненкова, В. Е. Якушкина, а открытие в 1880 году памятника Пушкину в Москве обогатило публицистику и критику выступлениями Островского, Тургенева, Достоевского, Г. Успенского и др. Казалось бы, даже на этой основе можно было бы уже внести в школьное преподавание живую струю. Но между этими двумя направлениями, ведущими, казалось бы, к единой цели, к Пушкину, складывается отношение трагической глухоты, свидетелями которого, к сожалению, мы будем и в дальнейшем.

Юбилей 1899 года, сыграв большую роль в оживлении интереса к Пушкину, между прочим, обнаружил одну особенность. Пушкиноведение предшествующего этапа еще не отделилось от критики. С одной стороны, ему было присуще стремление к глобальным концепциям (это была сильная сторона), с другой — донаучные, чисто критические методы, отсутствие прочной базы в виде изучения пушкинских рукописей и фактической стороны его творчества. В этом была слабость. Но и сильная сторона имела свою ахиллесову пята: не общие концепции кроились по росту Пушкина, а часто наоборот — Пушкин подгонялся под концепции, созданные вне его творчества. Об этом зло и метко писал Салтыков-Щедрин А. Н. Островскому: «Пушкинский праздник произвел во мне некоторое недоумение. По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу»¹.

Возникло ощущение, что Пушкин ушел из статей о Пушкине, из докладов, посвященных его творчеству и толкующих часто противоположным образом одни и те же цитаты, взятые из собрания сочинений. Естественно, что новый этап, хронологически совпавший с вступлением поэта в свое второе столетие, начался под знаком поисков подлинного, научно документированного образа Пушкина. Внимание обратилось к рукописям и комментаторской работе. Пушкиноведение становится самостоятельной профессией, самой активной и динамической областью академического литературоведения.

¹ Щедрин А. Н. (М. Е. Салтыков) Поля. собр. соч. М., 1939. Т. 19. С. 158.

135

В 1900 году в рамках Академии наук была создана Пушкинская комиссия, которая с 1903 года начала издавать сборники «Пушкин и его современники». В 1905 году был основан Пушкинский дом Академии наук. Период этот выдвинул блестящих исследователей: П. Е. Щеголева, Б. Л. Модзалевского, Н. Н. Лернера, труды которых обогатили науку не только огромным числом новых разысканий, но и новыми методами, основанными на анализе рукописей, критике источников. Писать обобщающие работы стало считаться дурным тоном и признаком дилетантизма. Откроем наудачу один том «Пушкина и его современников» (например, вып. 29, 30). Здесь нам попадутся такие заглавия: «Заметки о Пушкине», «К вопросу о литературных вкусах Пушкина», «Несколько замечаний к комментарию...», «Мелочи о Пушкине», «Еще одна дата», «Архивные мелочи о Пушкине» и т. д. Не будем торопиться выносить суждения: под такими названиями часто попадались прекрасные, до сих пор представляющие интерес разыскания, оттачивалось исследовательское мастерство. Не следует забывать, что именно из таких «мелочей» сложилась первая и до сих пор не замененная хронологическая летопись жизни Пушкина, написанная Н. Н. Лернером, и монументальный труд М. А. Цявловского «Летопись жизни и творчества Пушкина», к сожалению не доведенный до конца.

И все же ощущение того, что Пушкин опять уходит из пушкиноведения, росло — и не без оснований. Кстати, показателем кризиса пушкиноведения на разных его этапах являются периодические вспышки интереса к теме «Пушкин и дамы». Слов нет, любовь занимала в жизни Пушкина большое место. Ханжески игнорировать эту сторону его биографии означает заранее отказаться от понимания личности поэта. Но между точным и деликатным (что не исключает анализа самых сокровенных душевных струн; анализ безжалостен по своей природе) изучением и сенсацией, щекочущей нервы мещанского читателя, дистанция огромного размера. По мере того как Пушкин покидает страницы, ему посвященные, туда под видом «открытий» и «находок» заползает сплетня. Вообще следует отметить, что число появляющихся (в том числе и в наши дни) в нетребовательной печати сенсаций обратно пропорционально приближению к Пушкину и свидетельствует совсем не о «всенародной любви», а о торжестве мещанских вкусов. Кульминацией такого интереса явилась пользовавшаяся в свое время ни с чем не сравнимым успехом книга В. Вересаева «Пушкин в жизни» и его же трактовка личности поэта в популярной работе «В двух планах. Статьи о Пушкине» (1929).

Стремление вернуть пушкиноведение к обобщенному пониманию творчества Пушкина как целого определило деятельность С. А. Венгерова. Не будучи профессиональным пушкинистом, Венгеров хранил прочную связь с традицией демократической критики XIX века с ее тенденцией к целостному научному мировоззрению. Однако важно было в ходе нового синтеза не потерять достижений предшествующего периода. Эту задачу Венгеров задумал решить, превратив шеститомное Собрание сочинений Пушкина в «Библиотеке великих писателей» (1907—1915, изд. Брокгауза и Ефрона) в своеобразную пушкинскую энциклопедию. Этот интересный замысел не решил поставленных перед ним задач. Свежая струя воздуха пришла с другой стороны: в

организованном С. А. Венгеровым в Петроградском университете пушкинском

136

семинаре, как в тигеле алхимика, каким-то чудом произошел неожиданный сплав традиций историко-культурной школы, к которой принадлежал руководитель семинара, и блестящей научной молодежи, рвавшейся к изучению самой поэтической ткани творений Пушкина. Можно напомнить, что из стен семинара вышли М. К. Азадовский, С. Д. Балухатый, С. И. Бернштейн, С. М. Бонди, А. Л. Бем, М. Гофман, Н. С. Гумилев, В. В. Гиппиус, А. С. Долинин (Искоз), В. М. Жирмунский, Н. В. Измайлов, В. Л. Комарович, М. К. Клеман, Л. А. Коварский, Г. В. Маслов, Ю. Г. Оксман, В. Я. Пропп, Ю. Н. Тынянов, Д. П. Святополк-Мирский, Б. М. Энгельгард, А. Г. Фомин, А. Слонимский, Д. П. Якубович, что в орбите семинара развивались Б. М. Эйхенбаум и Б. В. Томашевский — весь цвет литературоведения 1920—1930-х годов, создатели новой школы пушкиноведения. Молодые воспитанники Венгеровского семинара явились создателями формального метода в литературоведении. Формальная школа поставила в центр внимания само литературное произведение, его текст. Это обращение к секретам мастерства было веянием времени. И даже такой враждебный формализму поэт, как Блок, резко осуждавший за него Гумилева, провозгласил «веселую истину»: «Для того, чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать»¹. Под этими словами подписался бы любой член ОПОЯЗа.

Послереволюционные годы дали ряд новых импульсов изучению Пушкина: открытие государственных архивов, сделавшее доступным значительное число новых документов, создание таких направлений истории общественной мысли, как «декабристоведение», переворот в деле издания классиков, начатый Томашевским, Эйхенбаумом и Халабаевым (все «венгеровцы»), работы формальной школы, достижения лингвистики, поднимающие гуманитарные науки на новый уровень, — все это вместе привело к неслыханному расцвету пушкиноведения. Более того, пушкиноведение сделалось как бы опытным участком литературоведения в целом, его авангардом. Именно на материале рукописей Пушкина Томашевским, Эйхенбаумом, Бонди, Измайловым и другими создавалась новая школа подлинно научной текстологии. Итогом разнообразных усилий явилось создание многотомного монументального академического Полного собрания сочинений Пушкина (т. 1—16, 1937—1949) и появление целостных концепций творчества Пушкина (Тынянов, Гуковский, Томашевский). Значительную роль сыграл пушкинский юбилей 1937 года, давший щедрую жатву разнообразных публикаций и изданий.

К началу 1940-х годов огромный научный труд предшествующих десятилетий начал складываться в синтетическую картину. Утвердилась единая концепция творчества Пушкина, которая начала проникать и в школьное обучение, вытесняя упорно державшиеся здесь вульгарно-социологические догмы.

Пушкиноведение праздновало победу над Пушкиным. Казалось, что он прочно пойман, «раскрыт» и окончательно объяснен. К началу 1950-х годов сложилось убеждение, что Пушкин «весь изучен» и осталось только выводить узоры на стенах прочного и уже законченного здания. И тут стали происходить странные вещи. Под влиянием духа, господствовавшего в гуманитарных

¹ Блок А. А. Собр. соч. Т. 6. С. 168.

137

науках в этот период, истины начали превращаться в догмы. В научных статьях запестрели выражения: «как известно», «давно доказано» и др. Те, кто непременно хотел бы видеть в Пушкине идеолога крестьянского восстания, обвиняли в политической неблагонадежности тех, кто в этом сомневался. Даже время перехода Пушкина к реализму казалось «окончательно установленным». И вдруг мы снова обнаружили, что Пушкин начал уходить из статей о Пушкине, что он сам по себе, а они сами по себе, что шумные дискуссии идут как-то мимо его творчества и что время сурово отсеивает подлинные достижения предшествующего периода от шелухи и плевел.

Начался нынешний этап пушкиноведения — этап распутия. Естественной реакцией на догматизм конца 1940-х — начала 1950-х годов было стремление «освободить» Пушкина от общепринятых концепций. В середине 1950-х годов Пастернак горько писал:

Не знал бы никто, может статься, В почете ли Пушкин или нет, Без докторских их диссертаций, На все проливающих свет¹.

Пастернак говорил не о подлинных достижениях пушкиноведения, а о тех, кого он именовал «влиятельными подхалимами». Но именно они в определенный момент начали задавать тон в пушкиноведении.

Стремление к дедогматизации на первых порах привело к простейшим решениям по принципу «осердившись на вшей, да и шубу в печь». Возобновилась тяга к «медленному чтению», отказу от анализа и субъективному вычитыванию смысла из текста, «вживанию» в текст. В этом тоже была положительная сторона: непосредственное эстетическое чувство, свежесть индивидуального прочтения составляют необходимое условие подлинного научного творчества. Однако интуиция исследователя не бесконтрольное наитие: она воспитывается в ходе научного труда. К сожалению, под флагом права на «своего Пушкина» часто «свой» остается, а Пушкин исчезает. Дилетантизм и бездоказательность эффектных утверждений создают минутные сенсации, но отодвигают науку еще дальше назад. Непрофессионализм — бич многих работ последних лет. Весьма

отрицательную роль здесь играют разделы «гипотез» и «находок» в непрофессиональных изданиях. Предположения, за которыми не стоит ничего, кроме игривости ума, с одной стороны, вводят в заблуждение доверчивых читателей, а с другой — соблазняют на этот путь некоторых исследователей и понижают общий уровень науки.

Приведем один лишь пример. Рисунки Пушкина давно привлекают исследователей. Изучение и дешифровка их смысла — задача, важность которой не вызывает сомнений. Однако не менее очевидна и ее трудность. Не побоимся сказать, что до сих пор, при всем обилии работ на эту тему и даже моде на них, никакой методики определения прототипов пушкинских рисунков нет. И именно это не останавливает, а соблазняет многих авторов. Формула «мне кажется, что это похоже» служит основанием для самых категорических выводов. Если глубокий знаток быта, мундиров, иконографии В. М. Глинка

¹ Пастернак Б. Избр.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 439.

138

в ряде работ показал, сколь много трудностей в определении лица, изображенного на тщательно выписанном портрете в орденах и мундире, то легко себе представить степень вероятности ошибок в атрибуции небрежного профиля, сделанного одним росчерком пера! Приведем один пример: среди рисунков Пушкина неоднократно выделялся профиль, трактуемый как «портрет П. Я. Чаадаева». Основанием было сходство («только повернуть в профиль») с известной миниатюрой, изображающей, как многократно утверждалось, П. Я. Чаадаева. Но недавно А. М. Горшман и Н. А. Марченко доказали, что на миниатюре изображен не П. Я. Чаадаев, а кузен его Петр Иванович. Атрибуция бесспорно установлена на основании анализа мундира¹. «Сходство» подвело!

Не будем останавливаться на мелких журнальных заметках, посвященных этой теме и появляющихся на страницах непрофессиональных изданий. Посмотрим статью, опубликованную в авторитетном издании: В. П. Старк. «Стихотворение Пушкина „Завидую тебе, питомец моря смелый...“»². На рукописи Пушкин набросал схематизированный профиль юноши античного типа, лет шестнадцати — восемнадцати. В. П. Старк стремится доказать, что в стихотворении Пушкин имел в виду капитана О. Коцебу. Основания для такого предположения весьма шатки: автор исходит из трех ничем не доказанных предположений. 1) Стихотворение имеет реальный прототип; 2) прототип этот русский моряк; 3) событие, лежащее в основе сюжета стихотворения (морское плавание), должно быть синхронно времени его написания. А Коцебу «был единственным», кто удовлетворял этим требованиям. Интересно, как с этой точки зрения выглядят «Колумб» Тютчева или «Капитаны» Гумилева? Или такие строгие ограничения а priori предписаны только Пушкину? Шаткую позицию автор подкрепляет соображениями относительно профиля, набросанного на рукописи стихотворения. Свои выводы он излагает в категорической форме и не обинуясь называет их открытием: «Сопоставление портрета О. Е. Коцебу, приложенного к книге, с портретными рисунками, сделанными рукою Пушкина на полях» рукописи, «привело к неожиданному открытию, подтвердившему выводы настоящей работы». Какова методика работы? Берется гравюра Г. А. Ухтомского с портрета кисти Варнеке, где изображен в три четверти морской офицер с типично немецким лицом, уже не молодой и причесанный а la Александр I, с тщательно выписанными мундиром и регалиями, с ним сопоставляется профиль античного (?) юноши (волос, мундира, вообще одежды — нет). Автор полагает, что если мысленно повернуть гравированный портрет Коцебу в профиль, то у них выявляются общие черты: «Высокий лоб, крупный нос с горбинкой (неверно! У Коцебу действительно крупноватый нос, но в пушкинском рисунке нос точно соответствует классической пропорции, занимая ровно треть лица и равняясь по величине лбу и нижней части лица; более того, точность пропорций обнаруживает руку, натренированную на уже автоматическое рисование классических профилей. — Ю. Л), выпуклые, рельефно очерченные губы, несколько

¹ Горшман А. М., Марченко Н. А. Об атрибуции портрета молодого Чаадаева // А. С. Пушкин и русская литература. Калинин, 1983. С. 130—134.

² См.: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 20. Л., 1986. С. 5—23.

139

тяжеловатый подбородок — все эти характерные черты внешности Коцебу мы видим ясно запечатленными и на рисунке Пушкина¹. Конечно, если «пересказывать портрет», используя самые общие выражения и не отмечая действительно характерных черт (например, у Коцебу бесцветные — видимо, серые или голубые — глаза, пушкинский юноша наделен черными очами, у Коцебу глазки небольшие и хитровато прищуренные, у юноши — вдохновенно распахнутые, у Коцебу на устах улыбочка, рот юноши выражает сильную эмоцию), то можно «доказать» любое сходство. Так предположение, покоящееся на предположениях же и шатких «как бы доказательствах», подносится как открытие и сообщается читателю в самой категорической форме. •

Мы остановились подробно на статье В. П. Старка совсем не потому, что она представляется исключительной в негативном отношении. Скорее наоборот: она типична для целого ряда работ, и, добавим, работ не самых худших, работ, которые противостоят унылым статьям, повторяющим известное и доказывающим давно доказанное, но более стремящимся к «интересности», чем к

истине. Небрежность в отношении навыков и методики профессионального поиска оборачивается равнодушием к истине.

Было бы ошибкой думать, что пушкиноведение, как и литературоведение в целом, находится в тупике. Скорее можно утверждать противоположное: по количеству выдающихся исследований последние двадцать лет можно считать весьма плодотворными. Но характерно отсутствие единого уровня: рядом с действительно замечательными исследованиями и как бы в одном ряду с ними идут дилетантские работы. Нет не только единства методов, но даже сопоставимости критериев. Пушкиноведение распространилось вширь, но потеряло единый авторитетный руководящий центр: провинциальные пуш-

¹ Временник Пушкинской комиссии. Вып. 20. С. 14—15. Фактически в основе рассуждения автора лежит еще одна презумпция, из которой исходит большинство пишущих в настоящее время о рисунках Пушкина. Согласно ей, подавляющее большинство пушкинских профилей — «портреты реально существовавших современников Пушкина» (*Цявловская Т. Г.* Рисунки Пушкина. М., 1980. С. 125). Положение это нигде никогда не было доказано. Тем не менее рассуждение, как правило, строится так: априорно предполагается, что данный профиль является («как все») портретным. Остается лишь предположить, чей это портрет. И хотя, как справедливо отмечает В. П. Старк, «портреты редко писались в профиль», «а Пушкин, как правило, рисовал в профиль» (с. 13—14), трудность эта мало кого смущает, после того как женская фигурка, нарисованная Пушкиным со спины, была определена как Е. К. Воронцова на основании фотографии со статуи работы Фуатье в том же ракурсе, хотя в анфас скульптор настоятельно стилизовал свою модель под античную богиню, что всякое сопоставление делается рискованным (см.: «Прометей», № 10, 1974, с. 14 и 20). Атрибуция эта была подхвачена, и уже по аналогии с ней мужской профиль внизу был определен как Александр Раевский (см.: «Комсомольская правда», 26 марта 1983 г.). Между тем сама методика этого типа игнорирует психологию рисующего поэта. Это — задумчивая игра, когда перо соединяет черты нескольких (например, себя и Робеспьера), фантазирует, придавая каждому сложившемуся профилю знакомые черты, трансформирует, шаржирует. Когда-то в каждом лирическом стихотворении искали биографическое признание. Наглядное опровержение этих наивных толкований дано в прекрасной статье В. Э. Вацура «К истории элегии „Простишь ли мне ревнивые мечты“» (Временник Пушкинской комиссии. 1978. Л., 1981). Пример этот поучителен и для методики работы с рисунками Пушкина.

140

кинские конференции часто интереснее столичных. Когда-то пушкинисты составляли некоторое сообщество избранных, сейчас мы сталкиваемся с противоположной крайностью. Иногда это радует, но подобное «самозачисление» имеет и издержки.

Бесспорно, что в настоящее время пушкиноведение утратило характер ведущего отряда литературной науки: эстафета перешла к изучению средневековой (древнерусской) литературы и литературы XX века. Здесь создаются наиболее интересные труды, здесь отрабатываются и новые методы.

Дает ли сказанное основания для пессимизма? Думаю, что нет. Более того, то, что Пушкин вновь ускользнул из наших ловушек, успешно обойдя даже такие новомодные из них, как «карнавальность», скорее внушает надежду: значит, снова предстоит погоня, то есть самое плодотворное для науки время, время пересмотра готовых ответов и поисков новых путей.

Итак, двухсотлетний юбилей Пушкина совпадет с «тектоническим» периодом, временем пересмотров и поисков. И как всегда, дело начнется с фундамента: проверки на прочность текстологии предшествующих периодов и генерального пересмотра пушкинского документария. Вопрос этот особенно остро встанет в связи с готовящимся новым академическим изданием полного собрания сочинений Пушкина. Он назрел давно. И не только потому, что старое большое академическое издание стало редкостью и разбросанным по стране молодым литературоведам часто недоступно, но и потому, что каждое издание Пушкина — ступень в развитии русской культуры. Значение такого издания намного превосходит любые утилитарные его приложения. Хотя старое большое академическое издание во многом нас сейчас не удовлетворяет¹ и хотя ведающий новым изданием Пушкинский дом (ИРЛИ АН СССР) располагает в своих стенах несколькими прекрасными пушкиноведами, нужно прямо сказать, что в настоящее время мы не можем надеяться составить издательский коллектив, хотя бы приблизительно равный по квалификации тому, который подготавливал первое издание². Но и при таком составе все редакционные решения подвергались перекрестному рецензированию. Такой когорты пушкинистов высшей категории сейчас не существует ни у нас в стране, ни во всем мире. Разгром и шельмование, которому подверглись кадры исследователей Пушкина в конце 1940-х — начале 1950-х годов, нанес им невосполнимый урон. Кроме того, этот коллектив уже имелся до начала работ над изданием (как известно, большую роль сыграли предшествующие издания: шеститомник приложения к «Красной ниве», издательства Academia, однотомник Б. В. Томашевского). В настоящее время такой коллектив еще предстоит создавать. Это, прежде всего, заставляет надеяться, что издание не

¹ Несмотря на это и невзирая на готовящееся новое издание, я считал бы в высшей мере полезным параллельное фототипическое переиздание старого, хотя бы учитывая его исключительную историческую роль.

² Напомним состав редакционного коллектива, выполнявшего реальную текстологическую работу: М. П. Алексеев, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, В. В. Гиппиус, Г. А. Гуковский, Н. К. Гудзий, В. Л. Комарович, И. Н. Медведева, Л. Б. Модзалевский, Ю. Г. Оксман,

Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, А. Слонимский, М. А. Цявловский, Т. Г. Цявловская-Зенгер, Б. М. Эйхенбаум, Н. В. Яковлев, Д. П. Якубович.

141

будет готовиться как узковедомственное, что к участию и обсуждению будут привлечены все ныне работающие специалисты, а решения будут приниматься в обстановке научной гласности.

Издание полного собрания сочинений не должно быть изолировано от других научных мероприятий, призванных активизировать пушкиноведческую жизнь и создать атмосферу, в которой только и могут сложиться новые коллективы пушкинистов. Необходимо переиздать (пополнив и устранив недостатки) Словарь языка Пушкина. Томас Шоу, профессор Висконсинского университета, издал в 1974 году словарь рифм Пушкина, а в 1985-м — двухтомный конкорданс на поэзию Пушкина¹. Решение спорных вопросов атрибуции, анализ стиля на современном уровне без этих справочников невозможны. Но у нас подобных нет, а названные выше доступны лишь небольшому кругу ученых. Необходимо издать метрический справочник по Пушкину, справочник по литературным цитатам и ссылкам, встречающимся в сочинениях Пушкина. Необходим полный свод мемуаров о Пушкине с оценкой степени их ценности и достоверности. Нужна Пушкинская энциклопедия. Уже в ходе этих работ создадутся условия для «нового Пушкина». Но можно было бы также напомнить, что новый пушкинский том «Литературного наследия» также украсил бы собой двухсотлетие поэта. Наконец, нельзя забывать, что мы до сих пор не имеем полной научной биографии Пушкина, причем такой биографии, которая не просто суммировала бы факты его жизни, а создавала бы целое.

Реабилитация совести

— *Жизнь и смерть Андрея Дмитриевича Сахарова заставляют нас думать о той опасности для человечества, которую представляет собой современная наука. Мы видим, что многие научные открытия способствуют развязыванию войн, укреплению тоталитарных режимов и несут угрозу уничтожения жизни на Земле. Поэтому главный вопрос, с которым я обратился к профессору Тартуского университета Юрию Михайловичу Лотману, был об ответственности ученого перед обществом.*

— Вы ставите очень серьезный вопрос, который не может не тревожить всех людей науки и в гуманитарных, и в других областях знаний. Но, конечно, не случайно этот поворот начался в области физики.

Физики, с одной стороны, были активными участниками тех угрожающих экспериментов, которые сделала наука в нашем веке, и именно здесь

¹ Shaw Th. Pushkin's Rhymes. A Dictionary. The University of Wisconsin Press, 1974; *idem*. Pushkin. A Concordance to the Poetry. Vol. 1—2 // Slavica Publishers, Inc. Columbus, Ohio, 1985.

² Беседа с Ю. М. Лотманом редактора тартуской газеты «Alma Mater» Д. Кузовкина. Впервые: Alma Mater: Студенческая газ. (Тарту). 1990. № 2. С. 3. Перепечатано: Русская мысль. 1990. 15 июня. С. 12.

142

сказалась опасность «чистой науки». Когда шли первые дебаты об атомной бомбе, у многих физиков (а мне приходилось со многими видными физиками беседовать) появилась соблазнительная возможность проверить теоретические знания.

Теоретические знания, которые представляются совершенно чистым делом и, бесспорно, достижением человечества, широко могли быть проверены в области, которая казалась удаленной от проверки. И то, что физики-теоретики получили вдруг от государства финансовую поддержку, было для них неожиданностью и многими рассматривалось как подарок: не все ли равно, кто будет платить за то, что физика делает огромный шаг вперед. И даже то, что за это платят военные ведомства, казалось несущественным: ну что ж, военное ведомство может платить и за лингвистические науки...

А ведь эти эксперименты стоят гигантских денег, которых никто не даст отдельному физика. Не каждый из них обладал силой Эйнштейна, чтобы отказаться от искушения тем, что мои знакомые физики называли «прекрасными опытами», и неважно, кто платит, потому что есть старое высказывание римского императора: деньги не пахнут. И физики же первыми схватились за голову, увидав, что выпустили джинна из бутылки. Они думали подчинить себе военную технику, но оказалось, что военная техника подчинила их себе. Отсюда то чувство вины, которое руководило Андреем Дмитриевичем Сахаровым и другими физиками. Но надо было обладать такой душой и такой культурой, чтобы так это пережить и так искупить, как это сделал Сахаров. Фактически он пожертвовал жизнью, потому что обрек себя на путь преследований вместо обеспеченного ему пути физика-теоретика, при котором можно было жить и оставаться честным человеком. И никто бы не сказал, что он каким-то образом нарушает этику.

— И не вина ученого, что результатами его исследований могут воспользоваться для совершения черного дела.

— Дело в том, что в мире, в котором мы живем, одна из трудностей состоит в том, что как бы никто не виноват. Можно быть честным человеком (считать себя таковым) и быть участником очень черного дела. Потому что никто не совершает черного дела: каждый делает какой-то

винтик, который может быть применен сюда, а может — в другом месте; решает частную проблему. А в какой она войдет контекст... — мое ли это дело?

Сахаров — крупный ученый, крупный политик, но прежде всего он человек большой совести, огромной совести, которая входит в традицию культурной деятельности вообще и всегда была лучшей чертой русской культуры. Эта «большая совесть», как говорил Глеб Успенский, боль не за свои преступления. Очень легко сказать: «Господи, я правовернее всех. Не я виноват, не я винуил». И действительно, никто не обвинит. На то и большая совесть, чтобы увидеть ответственность там, где можно легко от нее отстраниться,

Главное, что я вижу в личности Сахарова, — это не его облик ученого, тоже достаточно значительный, и даже не его, не будет преувеличением сказать, героическую деятельность (ведь умер он как солдат — в бою), главное — это реабилитация совести как основного принципа жизни. И это очень важно потому, что традиционно наука как бы отделилась от морали. Даже

143

предполагалось, да и сегодня часто предполагается, что мораль — это для священников, а у науки — объективные законы.

— Это характерно только для нашего общества?

— Это распространено в среде ученых вообще и особенно в среде ученых-физиков, чему очень способствует анонимность современной науки. Она настолько разделена, настолько делается многими людьми по разным частям, что трудно осмыслить ее значение. В этом смысле гуманитарные науки еще сохранили личностный характер исследования, а, например, математические науки, особенно техника, стали фактически анонимными. И это как бы успокаивает совесть: можно идти по опасному пути, двигать по нему человечество и все время говорить, что я здесь ни при чем, не я это выдумал.

С того момента, как кончилось средневековье и мы отделились от религиозного обоснования в нашей деятельности и оценках и перешли к представлениям о практических ценностях, мы отнесли этические ценности или же к области лицемерия, или же к области наивности. Одни, как дети, наивны и думают, что миром можно управлять, говоря, что есть добро и зло. Другие — хитрые люди, которые, как когда-то сказал Гейне, пьют потихоньку вино и проповедуют воду. Поэтому моралисты оказались осмеянными, и действительно, они выглядели жалкими в XIX и XX веке. Но они всегда выглядят жалко. Для того, чтобы не выглядеть жалко, им нужно, как Сахарову, как Льву Толстому, заплатить жизнью. Сахаров показал, что люди масштаба Льва Толстого у нас не исчезли. Все время казалось, что тот век уже кончился и таких людей, на которых оглядывается мир, уже нет. И мы теперь, ну знаете, как дети в лесу: некому сказать, что вот это, как бы ни хотелось, нельзя, или это нужно, как бы ни было страшно. Таких людей всегда бывает очень мало, их не может быть много. Но на них в значительной мере держится мир.

— Я бы не сказал, что у нас очень прислушивались к Сахарову. Это видно и по поведению Горбачева, например, во время II съезда.

— Знаете, не было никого смешнее и жальче Христа, пока он не был распят и не сделался потом Богом. Люди не могут сказать, что этот человек велик: «Какой же он великий, если я его вчера видел?.. Какой же он великий, мы с ним вместе в очереди стояли?» Пока человек жив, для того, чтобы люди сказали, что он велик, нужно, чтобы он ходил в золотых одеждах. Есть старые иконы раннего средневековья, и там Христос другой: жалкий, замученный человек, смотреть страшно. Но, понимаете, он начинает расти... Да Господи, сколько вы найдете в старых газетах о Льве Толстом: «Да писал бы он лучше романы... Из ума выжил, старый дурак!» А Достоевский был просто смешной человек: денег никогда не было. И это вечное: какой же он великий, я его вчера видел. Этим людей обязательно нужно распять, и тогда они начинают расти. Это та цена, которую приходится платить.

— Когда вы сказали: «как маленькие дети в лесу», у меня возникла мысль: а кто мог бы сегодня...

— Заменить?

144

— Да. Кто мог бы стать для нас Сахаровым сегодня?

— Я думаю, что в ответе на предшествующие вопросы я ответил и на этот. Мы не можем про живого сказать этого, мы можем его только распинать. Мы всегда знаем только прошлое, мы не знаем не только будущего, но и настоящего. И я убежден, что есть люди, о которых потомки будут говорить, что в их эпоху жили... Но мы не можем знать, в чью эпоху мы живем. Пока Андрей Дмитриевич Сахаров был жив, никто всерьез не мог бы сказать, что мы живем в эпоху Сахарова. А теперь это звучит как тривиальная истина. В жизни таких людей есть не только истина, есть и красота. Он действительно своей смертью подвел черту. Начинается новое время, может быть, более страшное, может быть — лучшее: я не знаю и думаю, что никто не знает. Но тот период уже кончился — период Сахарова.

Тарту, апрель 1990 г.

«Чем длиннее пройден путь, тем меньше вероятностей для выбора»¹

Каждая студенческая конференция — это этап в нашей работе и работе университета и вместе

с тем всегда какое-то отражение путей науки. В этом отношении очень интересно следить, как меняется тематика. Тематика конференций, вообще, интересный предмет для наблюдений, потому что, с одной стороны, она создается случайно: значительная часть тематики определяется прибывшими к нам коллегами и поэтому, видимо, непредсказуема. Да и интересы тартуского студенчества определяются его свободным выбором и очень колеблются из года в год. С другой стороны, во всем этом есть какая-то закономерность. Например, на этой конференции нет работ по древнерусской литературе. Почти нет XIX века, и таким образом, тот активный пульсирующий центр, который всегда был мерилем развития нашей истории и литературной мысли, — пушкиниана — теряет свое доминирующее место. Интерес ушел в литературу XVIII и XX веков. Слабая представленность XIX века ни в коем случае не означает, что он изучен, что там все понятно, но выбор тематики, кроме научных интересов, связан еще с чувством сегодняшнего дня. Интерес к XVIII веку сегодня заставляет задуматься. Наши устоявшиеся представления о XVIII веке нуждаются в коренном пересмотре. И перед нами как бы стремление переиграть этот период, вернуться к истокам и искать другой путь.

¹ Вступительное слово на Международной студенческой конференции русских филологов, Тарту, 1990 г. Записал К. Немирович-Данченко. Впервые: Alma Mater. 1990. № 3. С. 1.
145

Чтобы находить новое и важное, есть разные способы. Самый простой — способ захвата новых территорий, когда мы начинаем изучать совершенно новые области и, естественно, находим новые материалы. Но другой путь — путь обновления «старого», в процессе которого мы узнаем, что старое совсем не есть устаревшее, а известное — совсем не так уж известно. Оказываются, что наше представление об изученности той или иной эпохи иллюзорно. Так происходит потому, что мы изучаем искусство, а не историю техники. А у искусства есть одна особенность — оно бесконечно, и не только во времени, но и с точки зрения возможности его интерпретации. Наш опыт, подсказанный историческим сознанием XIX века и не потерявший своего смысла, диктует нам, что мы должны изучать не литературу, а историю литературы. То есть при этом предполагается, будто история литературы и есть реальность литературы. И отсюда мысль, что новым и важным является только последний период, а прошедшие эпохи — это прошедшие эпохи и мертвые остаются с мертвыми, как говорил Гейне. Но делаем новый шаг и узнаем — прошедшее живо. Оно оказывается другим.

Сейчас, я думаю, главное — создать иную картину, но не ценой отказа от старой. Сделано очень много. Мы стоим на документах, а документы, конечно, остаются, как остаются и интерпретации, но наряду с этим остается и неисчерпаемость интерпретаций. Я убежден, что нас еще ждет новое осмысление Пушкина и Гоголя... Но, естественно, нельзя начинать с нового осмысления Пушкина. Новое начинается с новой тематики. В этом смысле смена тематики — показательный симптом.

Движение изучения литературы подвержено нашему вмешательству, но оно и не подвержено — мы подвержены ему. Мы делаем его, но и оно делает нас, и точно так же как история несвободна, мы тоже несвободны, изучая ее. Поэтому динамика интересов и динамика взглядов — тоже интересный исторический факт.

Мы знаем смелость. Какой же честный человек ее не будет уважать. Смелость человека, который говорит опасные вещи... Но есть и другая смелость — смелость ученого, человека, говорящего то, что другим кажется неправильным. И вот час этой смелости, быть может смелости менее заметной, тоже наступит. Но это час тем более трудный, потому что можно строить свою смелость, не выходя из общепринятой точки зрения, поменяв лишь плюсы на минусы. Правда, это тоже иногда полезно. Это как бы детство нового взгляда. Это полезно, эффективно, но быстро проходит. Смелость же ученого указывает искать ему новую дорогу, погружаться в совершенно новый материал. Ведь наука имеет тоже свои предрассудки, то есть то, что кажется истинным, потому что этого никто не опровергал. Когда-то для удобства своего мы решили, что люди думают, а животные — нет. Мы сконструировали себе животного. Но что такое животное для нас, что такое насекомое?.. А насекомые — исключительная, эпохальная тема, потому что им, может быть, принадлежит будущее. Они переживут все атомные катастрофы, останутся последними на этой земле. Но мы не знаем, что такое насекомые, мы даже не знаем, что там является индивидуальностью: равняется ли она одной особи с ее шестью ножками, или она представляет собой организм, составленный из особей. Этот мир, хорошо изученный энтомологически, по

146

сути дела, для нас закрыт. Но и другие, более доступные животные, что они для нас? Мы создали образ животного, поскольку семиотическая структура нуждается в несемiotической, подобно тому как нация нуждается в «ненации», конструируя образ врага. И мы уничтожили животных... Думая, что мы — мыслящие, — уничтожаем немслящих, мы — культурные — уничтожаем некультурных!

Семиотика создает несемiotический мир. Напрасно думать, что мы окружены от природы несемiotическим миром и в нем покоится озеро семиотики. Мы действительно окружены несемiotическим миром, но мы не видим его. Мы видим тот мир, который создаем, —

семиотический мир несемiotического мира. И как можно вырваться за пределы семиотики? Как это сделать? Ведь если нельзя вырваться, то и объекта нет! То, что — все, одновременно и ничего. Это вопросы, на которые мы сейчас не имеем ответа.

Сознание молодых исследователей менее сковано предрассудками. Естественно, чем длиннее пройден путь, тем меньше вероятностей для выбора нового шага. Каждый шаг отнимает у нас возможность куда-то свернуть. И настоящий исследователь — тот, кто умер от смерти, а не оттого, что исчерпал возможности своего выбора.

О судьбах «тартуской школы»

— Наша тема: современное состояние «тартуской школы», может быть, ее место в современной науке. Первый вопрос такой. Юрий Михайлович, помните, когда русский символизм уходил с арены, тогда предвестником этого были мемуары и саморефлексия самих символистов, переход от творчества к критике, к теории. Не означает ли сейчас, когда семиотики начали вспоминать о «тартуской школе» и о старых временах, что подошло время конца или последнего периода «тартуской школы»?

— Я думаю, что в этом есть некоторая ностальгия. Ностальгия вызвана пересечением двух осей. Одна ось касается людей, а другая — идей. Основатели или деятели первых призывов «тартуской школы» уходят из жизни или сходят с научной арены по возрасту и переживают приблизительно то, что случается переживать на войне.

Позвольте мне одно воспоминание из военной жизни. Вот представьте, что вы держите оборону, находясь на передовой, вас не очень много, и вас не пополняют, потому что начальство готовит наступление. Однажды (я говорю от имени рядового или сержанта, который сидит в окопе и не информирован о том, что будет дальше, какие планы) вы вдруг замечаете, что за день из тылов

¹ Интервью с Пеэтером Торопом (ныне — заведующим отделением семиотики Тартуского университета), записанное в 1992 г. Расшифровка магнитофонной записи. В оригинале печатается впервые. Частично опубликовано: Peeter Torop conversa con Yuri M. Lotman // *Discurso: Rivista International de semiotica e teoria literaria*. 1993. № 8. P. 123—137.

147

подходят совершенно новые резервы, техника, они проезжают через вас и уходят вперед, начинают наступление. Фронт быстро откатывается вперед, а вы, который еще час назад были на передовой и удерживали ее с большим трудом, с большими потерями, вдруг оказывается далеко в тылу. И вы остаетесь, не очень представляя, что же вам сейчас делать, вы ходите в полный рост по тем самым местам, где до сих пор даже и голову из окопов высунуть нельзя было, и вы все видите иначе. Вы привыкли на все смотреть, лежа на земле, где каждый муравей казался очень большим, а теперь вы стали на ноги.

Вот так происходит, когда в науке — быстрый рывок вперед и целое поколение из деятелей превращается в мемуаристов — из тех, кто делал науку, превращается в свидетелей того, как делают науку. Они уже не ведут впереди бой, они только любопытным людям рассказывают, как это было, и оказываются в совершенно для них незнакомом состоянии тыловика. Вот это приблизительно произошло, я думаю, с некоторыми из моих современников. Но, конечно, очень многие из них продолжают активную работу, для них это сравнение не годится, а другие, так же как я, отходят в число, так сказать, научно убитых.

Воспоминания — это, с одной стороны, лирический и не без некоторой грусти взгляд на прошедшее. С другой стороны, участники школы вдруг обнаруживают, что они интересны тем, что помнят, как это было. Я тоже сейчас переживаю этот шок, потому что мне еще трудно согласиться, что из списка деятелей я вычеркнул, хотя, реально говоря, это так, если себя не обманывать и смотреть на вещи прямо.

Но с другой стороны, нечто аналогичное переживает наука, если рассматривать науку как существо. Она тоже доходит до периода, когда ей надо остановиться, оглянуться, оценить прошлое и понять, что для того, чтобы делать дальнейшие шаги, надо от этого прошлого освободиться. Надо, чтобы вышли из тылов молодые солдаты, чтобы подошли новые подразделения, с новой техникой, и как ни грустно смотреть потом в их спины, когда они прорвутся, уйдут вперед, примириться с тем, что многое из того, что они говорят, вам уже непонятно, вы уже не обладаете тем уровнем. Это очень грустно, но жить вообще грустно, однако в этой грусти есть свое удовольствие.

Сейчас деятели первых поколений «тартуской школы» вдруг оказываются тыловыми, ценность или интерес к которым определен тем, что они что-то помнят и о чем-то могут рассказать, а их новые идеи им еще кажутся интересными, но на самом деле они должны примириться с тем, что это или что-то очень архаическое или же что-то очень малоквалифицированное. Потому что фронт уходит вперед, требует новых знаний, новых сил и новой — что очень важно — душевной умственной гибкости. Это стареет прежде всего, это и есть научный склероз. И поэтому нам, моему поколению, надо сохранить то, что очень легко забывается, но имеет ценность, потому что далеко не только письменная традиция имеет смысл. Очень часто продолжение высвечивает те аспекты, которые мы сами, современники, не заметили. Так что полностью перечеркивать свою

память и говорить, что это книги из бабушкиного шкафа, не стоит. Но с другой стороны, надо иметь смелость отбрасывать и говорить, что некоторые из этих книг, по крайней мере сейчас, никакой пользы принести не могут. Может быть, их время еще придет.

148

Изучение истории еще раз убеждает в мудрости Гегеля, который говорил, что движение вперед есть возвращение к первооснове. Мы все время возвращаемся к первооснове, когда имеем смелость от нее оторваться. Таково, я думаю, отношение ученого к традициям. Это отношение лично болезненное, но необходимое. И я скажу, что если это глубокие идеи, то сказать, исчерпаны они или нет, очень трудно. Всегда надо понять — с какой точки, определить значение этой точки, с которой мы судим.

— Это было несколько неожиданно слышать от вас, но тогда возникает такая проблема: если мы говорим о «тартуской школе» как о некотором, пусть невидимом, научном коллективе (так как люди не всегда работают вместе в буквальном смысле в одном пространстве — они работают в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тарту, разных местах), видите ли вы внутри школы новые силы, молодых людей, составляющих научное содружество?

— Видите ли, я глупый человек, это я искренне говорю, серьезно. Один из аспектов моей глупости — это неисчерпаемый оптимизм. Я считаю, что это, во-первых, полезно для здоровья и, во-вторых, хорошо для работы. Таким образом, хотя бы как рабочее условие я принимаю концепцию оптимизма.

То, что мы называли «тартуская школа», находится в сложном состоянии. Частично оно размылось географически, и слово «тартуская» становится почти метафорой или немножко дорогим воспоминанием о прошлом. Но я думаю, что здесь можно вспомнить русскую народную поговорку: денег нет перед деньгами. Идей нет перед идеями. Наука затормозилась, может быть, она тяжело больна. Может быть, она погибла, а может быть, она переживает муки рождения. И кто родится и кто потом вырастет из этого — нам не дано знать. Нам даже не нужно этого знать. Нам нужно только помнить.

Я все говорю сравнениями: представьте, что вы идете (это опять-таки личные воспоминания) по какой-то местности, по лесу или по полю, глубокой ночью, абсолютно темно. Куда идти — неясно. Но до того, как вы вошли в это пространство, вы были на каких-то высоких холмах, и с них вам показали направление. Сейчас вы не видите направления, у вас даже компаса нет. Остается одно — надо опереться на свою память, надо верить себе, что ты идешь правильно. Это может быть ошибка. Но нельзя менять, метаться, надо идти по избранному пути. И вот я и считаю, что когда говорят: семиотика устарела, или ориентация на математические методы устарела, или еще что-то устарело, это, я думаю, несерьезно. Мы не знаем следующего открытия. Следующее открытие непредсказуемо в принципе, а когда оно произойдет, эта вспышка света высветит, что там, и окажется, что оно было настолько предсказано, что мы только по слепоте этого не видели. Потом эта вспышка исчерпает себя и окажется, что то, что мы сейчас объявили несуществующим, будет фундаментом будущей вспышки. И мы вот так идем, как человек, который шагает по лесу и зажигает спичку: вспыхнула, и он видит что-то, потом она меркнет, меркнет, тухнет, он идет в темноте, потом он опять зажигает спичку. И вот разные, иногда очень мучительные, вспышки в науке, в личной жизни, в искусстве, вспышки в истории человечества и составляют те точки, которые потом мы подбиваем и складываем в исторический процесс. По сути дела, когда мы описываем это как исторический процесс, мы делаемся его соавторами.

149

— Да, но это вы говорите с точки зрения идей. Но есть еще другой аспект: ведь в науке очень важна личность. И важно лидерство. Я глубоко убежден, — может быть, я ошибаюсь, — для меня «тартуская школа» и Лотман — синонимы. У меня нет культа Лотмана, я это сразу говорю. Я всегда читал вас критически, хотя вы Учитель с большой буквы. Однако для меня школа все-таки неразрывно связана с вашей личностью. Трудно говорить об этом именно с вами, но насколько существование школы, по-вашему, можно связать с одной личностью? Видимо, любой научной школы...

— Судьбы людей, истории, научных достижений непредсказуемы. Если общее направление можно как-то предположить, учитывая разные, в результате разных взрывов и открытий, возникающие направления, то появление незаменимого человека предсказать нельзя. Это уж как Бог даст. Вы можете считать это метафорой и считать, что сказанное — случай, это неважно. Помните, как у Пушкина в гениально кратком перечне путей науки: «О сколько нам открытий чудных / Готовят просвещенья дух...» Там есть: «И случай, бог изобретатель»¹.

Вот, и случай — он тоже не так случаен, я бы сказал. Он настолько разбросан и оставляет настолько большое пространство выбора, что через него очень многое может пробиться. Но он непредсказуем. И я считаю, что если мы что-то реально сейчас из новых идей и держим в руках, то одна из них — мне кажется, важнейшая — это мысль об историческом, научном и еще каком-то значении непредсказуемости (а также непредсказуемость как научный объект). Мы до сих пор или же считали, что непредсказуемости нет, по Гегелю, или же полагали, что, если она есть, она остается за пределами науки. Это давало нашей науке очень малое пространство, и, по сути дела, наука получала очень тощий отпечаток реальности. Непредсказуемое, случайное (если вам это

слово больше нравится), механизм которого является одним из важнейших объектов науки, вводит совершенно по-новому в науку и роль искусства. Потому что если наука ориентирована на предсказуемость, то искусство было всегда ориентировано на непредсказуемость. Поэтому я думаю, что сейчас происходит любопытная вещь: как бы эстетизация науки. Наука, может быть, «украдет» некоторые принципы художественности, не в методах, не в том, чтобы красиво говорить. Это пошлый взгляд на искусство только как на способ красиво говорить то, что можно сказать просто и ясно. Приходится подчеркнуть это, потому что такой школьнический взгляд на искусство слишком крепко держится. Искусство совсем не красивенький цветочек — это совсем другой способ мышления, другая система моделирования мира (по сути дела, создание другого мира, параллельного нашему). Кажется, что мы можем жить в мире, который создается по модели науки, и можем жить в мире, который создается по модели искусства. На самом деле мы живем в мире, который возникает на конфликтном единстве этих двух моделей. И отсюда и разный уровень предсказуемости, разное значение непредсказуемости, разное значение таланта. Как бы, я думаю, горько улыбнулся Гегель, если бы мы с ним заговорили о роли таланта в истории.

В конечном счете это сводится к вопросу: огромная масса людей, которая населила всю землю, и может быть, населит дальше, это что? Это масса

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 161.

150

отдельных существ, живущих только тем, чтобы друг у друга отвоевать пространство и право на жизнь, или это единое существо? То есть «масса отдельных существ» — это один метод описания, а «одно существо» — это другой метод описания. Фактически же ни один метод описания не исключает другого, а они взаимным напряжением образуют как бы некий третий взгляд. Вот я думаю, что если эта гипотеза не окажется абсурдной, то направление, по которому пошла «тартуская школа», имеет некоторый смысл.

— Можно ли это назвать некоторой глобализацией семиотики?

— Видите ли... человек вообще, наука и искусство в частности агрессивны. Понимаете ли, в каком смысле? Предположим, камень упал в воду и пошли круги. Эти круги стремятся охватить все пространство; когда они бесконечно расширяются, они сами себя отрицают. Вот мы все время и находимся в разных сферах, в безграничных аннексиях разных типов мышления. То нам казалось, что математика есть наука наук и она решит все. С математикой сложнее, потому что это не только наука, но и метод мышления.

— А семиотика?

— Понимаете, как наука она конечна. Круг этот будет расширяться пока и, как все круги на воде, расширяясь, самоотрицаться. Как метод, я думаю, она очень сильно трансформируется и превратится в процессе эволюции сознания в то, что совсем непохоже и непредсказуемо в начальной точке. Нельзя из начальной точки предсказать дальнейшее развитие. Она сохранится, вероятно, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит»¹, как говорил Пушкин. Действительно, по сути дела, в чем вечность поэзии? Только в том, что она сохраняется, абсолютно меняясь. Это, между прочим, и закон жизни. Ее устойчивость в ее изменчивости. Если мы даем для научного мышления жесткие правила, небольшой набор, который не обладает механизмом самоизменения и самоперерождения, то эта наука будет исчерпана, когда будет исчерпан ее объект. Если же мы можем построить некоторый сложный механизм, который обладает самоперерождением и может оставаться собой, делаясь совершенно другим, то это уже черты жизни, и это дает некоторое долголетие для данного научного метода.

— Но не является ли это некоторым балансированием на грани профанирования науки? Расширяя свое мышление на разные объекты, можно ведь чрезмерно упрощать эти объекты?

— Знаете, это, конечно, так. Но ведь это общий закон. Конечно, победа опасна, поражение всегда безопасно. Конечно, движение вперед рождает новые опасности и гораздо ближе к гибели. Понимаете ли, если мы имеем дело с некоторой жизнью, которая — вот как, может быть, жизнь, которая несется в космосе, — попадает в замкнутое ядро, защищенное от разнообразных радиоактивных и прочих вторжений, она не погибнет в ужасных условиях, которых жизнь не может вынести. Но на самом деле она равна самой себе, и это — выживание и фактически уже гибель. Вообще понятия выжива-

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 373.

151

ния и гибели настолько подразумевают необходимость знать, что будет дальше, что ими приходится пользоваться с большой осторожностью.

— Это очень серьезный разговор. Есть о чем подумать младшему, хотя уже не молодому, поколению.

— Видите ли, ведь по сути дела это очень просто, если вспомнить слова Христа, которые любил цитировать Толстой: зерно, которое не погибнет, не вырастет и не даст плода. Для того, чтобы — я уже от цитирования перехожу на мысль — дать жизнь, надо умереть. По сути дела, если оставить сакральную природу этого источника, посмотреть на это как на познание, на, если хотите, формулу науки, это исключительно глубокая мысль. Для того, чтобы выжить, надо погибнуть, только потому, что гибель есть перерождение в той новой форме, которая не выживет.

Как можно описать любой процесс? И процесс искусства, который ближе волнует нас, и другой процесс можно описать как поток жизни и поток смерти. По сути дела, это одно и то же.

— В таком случае, учитывая начало нашего разговора, где вы были очень ностальгичны, по своему даже пессимистичны, можно ли сказать: «тартуская школа» умерла — да здравствует «тартуская школа»?

— Я надеюсь, что так можно сказать. Я думаю, что мы сейчас являемся свидетелями появления нового поколения. Молодого, очень разного, очень отличного от первой волны и второй волны, потому что была ведь и вторая волна. Между «основоположниками» и «нынешними» есть целое поколение, куда входите вы, куда входит профессор Чернов и многие другие, я не буду перечислять. Эта вторая волна — она ведь тоже очень своеобразна. И, по сути дела, она не исчерпывается сходством с первой или продолжением в третьей. Она имеет свое лицо.

— Вам не кажется, что непродуктивность этой так называемой второй волны связана или с авторитетом первого поколения, первой волны, или с какими-то внешними или личностными обстоятельствами? Почему она не утвердилась как волна?

— Об авторитете первого поколения я могу только вспомнить слова Анатоля Франса, который говорил: старики любят свои мысли (я цитирую не очень точно), поэтому они консервативны. У дикарей — я не помню, кого Анатоля Франс называл, ну, условно скажем, мумбо-юмбо — обеспечение прогресса достигается тем, что стариков съедают. У нас для этого, говорил Франс, существуют академии.

Конечно, старики консервативны, и всякий, кто является стимулятором мысли, почти закономерно — кому удастся избежать этого? — превращается с годами в тормоз мысли. Бесспорно, есть счастливые исключения, но в общем, конечно, старость и в этом смысле тяжелая вещь.

Но второе поколение — оно, слава Богу, еще достаточно молодо, чтобы не стать предметом изучения, и поэтому говорить о нем как о чем-то законченном я сейчас не могу... Поэтому лучше не о людях, а о периоде говорить. Потому что период действительно прошел. Я думаю, кроме внешних препятствий на «научное детство» второго поколения пали очень тяжелые годы. Так вот, если о периоде говорить, он, тяжелый период, имел очень большое положительное значение. Он был как бы, по Гегелю, периодом отрицания отрицания. Он ясно

152

нам показал, что для того, чтобы быть семиотиком, мало быть семиотиком. Эта веселая бодрость первого поколения — что надо только выбрать материал, а семиотический метод уже в руках и сейчас мы всё представим в самом ясном и красивом виде модели — натолкнулась на исключительно целесообразный скепсис, на важнейший механизм науки — сомнение. Большой научный взрыв распространяет огромную эйфорию, и это продвижение вперед, но потом должен прийти такой же большой автоскепсис, отрицание себя и сомнение во всем. Мы пережили и то и другое. И я думаю, что сейчас мы находимся на уровне нового, большого взрыва, нового молодого оптимизма и новых — на гораздо более широкой основе — научных моделей. Конечно, если они будут продуктивны, то окажутся затем включенными в этот процесс старения, самоотрицания и нового возвращения. Так что я думаю, что один из источников нашего оптимизма — это то, что мы и все вокруг нас — смертны.

— Да, после таких философских слов трудно продолжать... Но можно ли поговорить о такой проблеме: как вы думаете, в чем перспектива, так сказать, третьей волны, или «новой тартуской школы», или новой семиотики в Тарту? Это приближение к западным течениям в семиотике? Или это нахождение каких-то новых, собственных материалов? Или это индивидуальность каждого тартуского «нового семиотика»?

— Я не думаю, что тот путь, который каждое новое поколение начинает заново, — в общем, по традиции русской истории — это обращение за истиной на Запад. Вообще, западничество, я считаю, одна из характерных черт русской жизни, а на Западе я что-то не знаю такого направления. Так вот, я думаю, что тут сейчас назревает большой переворот, который требует очень многого. Он будет определять — опять как тогда — резкое расширение знаний. Просто знаний... Начиналось с того, что достаточно взять простую модель — пародию или какую-то элементарную — киномодель — и получить простую разгадку сложных явлений. Я думаю, что теперь мы будем пробовать свои инструменты на сложных, неясных, очень размытых механизмах, например на русской культуре. Она опять приобретает новый общенаучный смысл в силу ее способности оставаться собой, становясь другой, в ее нежесткости и в постоянном самоощущении себя как находящейся на границе двух миров. И это действительно так. Только любопытно, на какой границе мы дальше будем. Но в любом случае это делает этот материал в общенаучном смысле очень трудным и очень показательным.

— То есть чтобы приобщиться к «тартуской семиотике», нужно быть представителем двух специальностей: знать что-то о семиотике и знать что-то о русской культуре? То есть должен быть некий симбиоз историка и семиотика?

— Я бы так сказал: знать что-то — желательно максимально — о семиотике, и не только о русской, вообще о культуре, особенно о динамических, неопределенных, «женственных» этапах других культур, когда они еще не застыли. То есть фактически, если сказать попроще, мы не

можем свой объект представить как сумму готовых, застывших, равных самим себе вещей.

Мы тут оказываемся в сложном положении. Казалось бы, основа научного мышления, в частности, состоит в том, что сначала берется элементарное, однозначное, потом оно усложняется. Мы сталкиваемся с тем, что «элементарное» трансформирует самую сущность объекта. То же самое, как сначала

153

нам кажется, что понять жизнь можно, начиная с анатомии: сначала убить и разъять, а потом оказывается, что одновременно мы получаем и очень много, рассматривая все в статических застывших, готовых формах, но, с другой стороны, мы что-то важнейшее таким способом понять не можем. В этом может быть методологическое значение и переходных эпох, и культур, которые находятся на линиях срыва, перерыва. Конечно, мы можем предположить что эти линии — скажем, черта между Западом и Востоком — сотрутся и сгладятся...

— В очень далекой перспективе...

— Я в этом не убежден, потому что одновременно со сглаживанием мы все время воспроизводим различие. Точно так же, как трещины в нашей планете как бы сглаживаются, но они остаются, проходят по вертикали насквозь. Так что я думаю, что в каком-то смысле антитезы типа «западные — восточные культуры», пограничные типы или сотрутся, или же останутся как постоянная черта какого-то культурного пространства... Об этом очень трудно судить, и это покажет эмпирический материал будущих тысячелетий. Если они будут.

— Если взять ваше собственное научное творчество, то можно ли сказать, что вы вышли из периода семиосферы и теперь находитесь в периоде, так сказать, процессуальности или семиозиса?

— Может быть, но это очень хорошая формулировка, и она требует гораздо больших знаний, чем те, которыми я сейчас располагаю и которые я еще могу надеяться получить. Поэтому это не то, что я делаю, а то, что я, может быть, считал бы нужным делать, если бы я мог делать.

— На Западе очень распространено сейчас отношение к семиотике как к некоторой прикладной и новой, революционной науке, которая очень легко может быть понята обычным, так сказать, непросвещенным человеком и при помощи которой можно переделать мир или все понять в окружающем мире. Как вы считаете — это профанация семиотики или это просто другая грань семиотики?

— Нет, я думаю, что в науке происходят те же процессы, о которых мы говорили. Это застывание кипящего материала. Сейчас, когда я знакомлюсь с тем, что называют семиотикой, то вижу там, конечно, очень много разного, исключительно много полезного. Я отнюдь не склонен к вычеркиванию, но иногда хотелось бы больше новых идей, больше, извините меня, абсурдных идей. Получается так, что научная теория создается по какой-то готовой и не очень большой мерке. Это, я думаю, разница между западной и восточной традициями в науке. Однако каждое целое создает свои полюса. Если есть система, то у нее обязательно будет северный и южный полюс, и у любой планеты это будет, а если их нет, то они рано или поздно будут созданы или же это будут абсолютно, даже в физическом смысле, мертвые явления. Таким образом, следует рассматривать культуры Запада и культуры Востока как некоторые необходимые полярности динамической структуры.

— Да, но эти полярности обычно стираются в массовой культуре. Семиотика становится некоторой частью массовой науки.

— Представим себе большой шар, в котором есть север и юг, и это его организует, и происходит вот что: поверхность втягивается в центр, центр

154

выбрасывается на поверхность, изменение идет и по горизонтали, и по вертикали. Таким образом, мы можем говорить, что гениальность затыгивается в пошлость, а пошлость выбрасывается в гениальность.

«Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...» — говорила Ахматова¹. И главное, когда мы цитируем, мы «сор» понимаем, а тут ведь есть глубокая мысль — бесстыдность истины. Она не стыдится быть тривиальной, не стыдится быть банальной. Такой сложный механизм, который все время меняет позиции...

— То есть вы считаете, что для развития семиотики не очень опасно, что очень много людей считают, что эта наука проста?

— Это не опасно. Опасности вообще нет, за жизнь живую страшиться нам не надо.

— Да, но когда распространяется мнение, что семиотика — это что-то очень простое, журналы перестают интересоваться серьезными трудами и на научном рынке требуются более «простые» монографии. Однако упрощается изложение, упрощается мышление и какие-то измерения в науке пропадают.

— Это, конечно, неприятно. Но ведь все время мы видим, как все превращается в пошлость и из пошлости появляется гениальность. Я уже цитировал: «Когда б вы знали, из какого сора...» Ведь, простите за такую параллель, и сам половой акт — довольно пошлая вещь, а между тем он несет продолжение, и самовозрождение, и перерождение жизни... Бояться не надо. Другое дело, что есть разница между пошлым, ничтожным, грязным и вырастающим из этого динамическим,

гениальным — это одно. А другое, — когда мы сталкиваемся с мертвым разложением.

— Но усредненность не есть ли разложение?

— Да, энтропия, если хотите. Но опять-таки смерть требует указания, в каких пределах. Так что смерть всегда локальна. Что-то умирает... Если зерно не умрет, то и не возродится, — как было сказано.

— Но я задал этот вопрос с некоторым умыслом. После создания в Тарту кафедры семиотики мы начинаем преподавать семиотику, и встает вопрос — как мы будем преподавать. И тут две проблемы: одна — упрощение семиотики, то есть чтобы мы были понятны, мы должны «продавать» свои знания, это один аспект. Другой аспект: если мы будем преподавать классическую западную семиотику, семиотику Морриса и Пирса, то они уничтожат и наше собственное лицо. Как мы сохраним «тартускую семиотику» в такой ситуации, когда мы, с одной стороны, принимаем Запад и, с другой, обслуживаем всех: и Запад, и Восток?

— Маршак когда-то написал такие стихи: «Был этот мир глубокой тьмой окутан. / Да будет Свет! И вот явился Ньютон. / Но сатана недолго ждал реванша. / Пришел Эйнштейн — и стало все, как раньше»². Вот так и я представляю себе: конечно, вначале надо получить классические истоки упрощен-

¹ Ахматова А. А. Тайны ремесла // Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1979. С. 202.

² Маршак С. Я. На Ньютона и Эйнштейна // Маршак С. Я. Соч.: В 4 т. М., 1959. Т. 3. С. 601.

155

ными, это, может быть, будет материал одного или двух лет обучения. В идеале я бы делал так: во-первых, идет эмпирическое изучение культуры и биоматериала, но обязательно какого-то материала. Это, так сказать, тот навоз, без которого зерно не пойдет в рост.

— То есть знание фактов?

— Да. Потом одновременно или, может быть, с некоторым запозданием даются модели, которые демонстрируют, как этот мир прост, и как только ученик приходит от этого в эйфорию, тут ему ударяют по голове показом того, насколько все это упрощение непросто, и он всходит на следующий этап, где он должен оказаться опять в том, как бы первоначально хаосном, мире, но уже на новом этапе, и опять повторить всю эту историю.

— Я так понял, что надо сперва дать эмпирический курс, потом простые модели, потом показать, что эти простые модели на самом деле очень сложны.

— Трудность семиотики как предмета преподавания состоит в том, что ее нельзя преподавать с нуля. Этот материал хорош после пятого курса, то есть надо иметь хорошую культурную почву. Наверное, такая почва и есть где-нибудь. У нас сейчас, к сожалению, общекультурный пласт, который дает наша средняя школа, очень истощен. И поэтому тут есть угроза бойкого скакания по верхам. Но если мы получаем толковых молодых людей (я все-таки оптимистически считаю, что их источник не иссяк), то, с другой стороны, хорошо, что мы можем освободить их от заведомо ненужных занятий. Вот так.

— Тогда еще одна проблема, которая интересует очень многих: место «тартуской школы»? Очень трудный вопрос, я не знаю, нужно ли вообще отвечать на такие вопросы, говорить об актуальности или новаторстве какой-то научной школы.

— Понимаете, Пезтер, я бы об этом не счел нужным говорить, потому что этого нам не дано знать. Все, что научно в высоком смысле, или есть, или будет актуально.

— Да, но тут есть еще одна проблема: саморефлексия научной школы, то есть куда научная школа помещает себя в мировой науке, или тут должно быть всегда чувство автономности, не нужно по сторонам смотреть?

— Понимаете, и то и то... Перенесите это на проблему личности каждого данного ученого, и вы тоже не найдете ответа. Одному, так сказать, продуктивно отталкивание и чувство того, что он абсолютно новый, а другому свойственно и продуктивно вначале осознание себя как звена, а дальнейшая научная зрелость должна принести некое гармоническое сочетание. Это ведь проблема аспекта, проблема точки зрения, а уж точка зрения на самого себя — это всегда очень сложно.

— Я с вами полностью согласен. Связана ли возможность такого подхода еще и с тем, что «тартуская школа» никогда не вырабатывала своей доктрины? Есть целый ряд школ, скажем немецкая лингвистика текста или словацкая теория мета-текста (нитрошская группа), которые довели до точности свой метаязык, уточнили все свои понятия, все схематизировали и получили некоторый готовый корпус готовых схем. Затем готовый метод изучения они просто распространили на новые материалы, но сама наука, само развитие свободной мысли тем самым затормозилось.

156

— Я хотел бы воспользоваться одним расширением вопроса. Особенность положения, географического положения «тартуской науки», — положение на рубеже. И географически, и культурологически мы — люди рубежа. Между прочим, это вызвало в свое время такой взрыв и петербургской культуры, — вот культура, которая развивается на положении рубежном. С одной стороны, это огромный минус, это вечное страдание петербургской культуры, что она висит в воздухе, что она как бы не имеет твердой почвы под ногами, что шаг вправо, шаг влево называется

побег. А с другой стороны — это дало возможность пережить себя как «чужого», а «чужого» как себя, и таким образом это создает заложенное в крови как бы двойное переживание материала, что для культуры особенно важно, вообще важно для жизни, важно для динамики. И в нашем вопросе — две культуры, и это, конечно, минус, потому что пограничное явление — это явление надбездное, с другой стороны, это дает гарантию динамики и некоторой возможности, как бы сказать, «чужого» языка как «своего» и «своего» как «чужого». А это один из определяющих элементов динамической структуры.

— То есть это преимущество Тарту и отличие от многих других школ?

— Отчасти Тарту, отчасти Петербурга, отчасти — в другие исторические эпохи — других культур, которые тоже были такими (в разных смыслах): такой недостаток стабильности, невозможность вписать себя в стабильную модель, все время необходимость выхода за пределы. В очень давнее время совсем еще молодой Сталин протестовал против положения диалектической философии о том, что необходимо «прыгнуть выше себя», говоря, со свойственной ему агрессивной активностью, что прыгать выше себя — не свойство философии, а свойство диких коз. Как вы помните, эта формула потом неоднократно расценивалась как один из законов диалектики. Так вот, положение диких коз отчасти свойственно пограничным культурам и «пограничным» в самых разных смыслах: не только в географическом и не только в историческом. И это один из основных механизмов динамики. Динамика — это то состояние, которое перерезало границы на две половины.

— Значит, перспектива развития всегда находится внутри самой школы, внутри этого пространства, где школа находится?

— Да, но...

— Или где-то впереди?

— Понимаете ли, впереди или по бокам, это все втягивается в модель. Напомню вам, что сказал поэт: «Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта». Вот творческое значение трещины. Именно нахождение с трещиной в сердце или вне — это и есть нормальное состояние динамической структуры.

— Вы вначале говорили о случайности. Тогда получается, что случаен Лотман, случайно Тарту, все случайно. Ваш комментарий.

— Я полагаю, что такое скопление случайностей высвечивает какую-то неслучайность. Я бы сказал так: то, что моя жизнь привела меня в Тарту и связала с Тарту не только как с городом, не только как с географическим

157

пространством, но и как с культурно-человеческим пространством, это случайно, как всякая удача. Это случайно, как большое счастье. Потому что я думаю, что если мне что-то удалось реализовать в науке, то это в значительной мере связано с тем комплексом случайностей и неслучайностей, которые образовались и в моей личной жизни, и в исторических судьбах Тартуского университета и самого этого города. Вероятно, если бы случайности занесли бы меня в иной географический центр, то нельзя сказать, было бы это лучше или хуже — понятия «лучше — хуже» здесь не существует, — но совершенно ясно, что на том фортепиано, которое есть историческая судьба, были бы затронуты совсем другие ноты и прозвучали бы, вероятно, совсем другие мысли. Я не думаю, чтобы они были совершенно иными, потому что тут есть и другой механизм, механизм верности самому себе, но то, что все-таки мотивы были бы иными, звучала бы другая музыка, бесспорно. Поэтому я с Тарту связываю то, что мне удалось реализовать, и если у меня есть то, что мне не удалось реализовать, то это тоже связано с Тарту. То есть вся судьба — научная и личная — связана с этим городом, и не нам судить, хорошо это или плохо, продуктивно или нет, но как я не могу себя сейчас воображать в другом теле и в другом скоплении всех тех случайностей, которые образовала моя жизнь, то я не могу себя представить как «себя» вне Тарту.

— Но разве это не ситуация пересаженного дерева? Ваша почва все-таки Петербург?

— Сейчас я уже сказать этого не могу. Уже все-таки, все-таки нет. Но это очень болезненный, сложный вопрос... Нет, я все-таки человек моей судьбы. А моя судьба — Тарту. Отделить себя от своей судьбы я не могу.

— Тогда, может быть, вы просто как ветка ивы — корни ваши в Петербурге отрезали, ветку — посадили в новой почве и она дала новые корни.

— Ваше сравнение очень поэтично.

— У вас корни здесь и корни там, поэтому такое сравнение.

— Я считаю Тарту своим, но еще нужно, чтобы и Тарту считал меня своим. Этот процесс не может быть односторонним. И поэтому судить о том, что же здесь, разделенная любовь или нет, я сам не могу. Это, наверное, может сделать кто-то другой и, наверное, в ту уже близкую минуту, в которую меня на тартуской земле и вообще на земле больше не будет.

— Вы не совсем правы, потому что, Юрий Михайлович, вы все-таки значите для Тарту больше, чем Тарту для вас, или по крайней мере не меньше.

— Как вы будете говорить, что важнее — я в зеркале или зеркало во мне? Это слитые вещи. Кроме разговора о Тарту есть вторая нота, которой я хотел бы кончить. Тарту — это, так сказать, зеркало пространства, для меня всегда важно было зеркало во времени. Наше зеркало — это наши

ученики. И если в этом зеркале я как-то отражусь, то большего я, собственно говоря, от жизни и не хочу. Вот этим я и закончу...

«Будем работать для будущего!»

Воспитание души¹

Люди входят в класс... Одни из них — маленькие люди — садятся за парты, другой — большой человек — садится за стол учителя. Начинается урок, учитель перед классом, человек перед людьми...

Остановимся и задумаемся: что происходит за этой дверью? Если нам скажут: «За этой дверью совершается тончайшая хирургическая операция, острый нож в руках виртуозного мастера спасает человеку жизнь», мы остановимся, затаив дыхание, или пройдем на цыпочках, боясь скрипнуть полом. Если нам скажут: «За этой дверью человек в опасности — невежественный хирург взялся за нож», мы в возмущении бросимся что-то предпринимать, звать на помощь. Но если нам скажут: «За этой дверью начался урок», мы спокойно пройдем дальше. Мы говорим: «Хороший урок — и вкладываем совсем не те чувства, как в слова «удачная операция»; «плохой урок» звучит для нас иначе, чем «больной погиб на столе». А ведь суть одна и та же, и ответственность одна и та же, и те же удачи и жертвы, и те же преждевременные инфаркты от перенапряжения у операторов. Только в одних случаях оперируют тело, в других — душу.

Я не считаю, что можно разделять обучение и воспитание, видя в них две различные педагогические задачи. Думаю я также, что различные специально «воспитательные» мероприятия (особенно когда ученики заранее предупреждены, что сейчас их начнут «воспитывать») играют в процессе воспитания наименьшую роль. Всякое общение есть воспитание, так как те, кто хотят общаться, должны настроиться на общую волну, стремиться к взаимопониманию и, следовательно, в чем-то уподобиться друг другу. Для того чтобы я мог тебя обучить, то есть передать тебе знания, мало того, чтобы я хотел передать, нужно еще, чтобы ты хотел принять. Обучение подразумевает, что один хочет учить, а другой хочет учиться. То есть любому акту обучения обязательно сопутствует настройка учителя (самовоспитание) и настройка ученика (воспитание).

¹ Опубликовано на эстонском языке: Hinge kasvatamine // Rahva Hääl. 1984. 29 aug. В оригинале печатается впервые.

159

Без этого будет разговор глухонемых. Бывает так: урок идет гладко, вполне благополучно, ученики отвечают на вопросы (активность!), учитель «дает» новый материал, повторяет старый («закрепление»), «связывает с современностью» (задав, например, вопрос: «Чем отличается образ современного молодого человека от Онегина?») — все в порядке. А главного нет — нет эмоционального контакта, ученики внутренне ждут звонка, им не интересно. А если не интересно, то и «усвоение», и «воспитательный момент», и все другие «педагогические показатели» превращаются в формальные пункты отчета. Для того чтобы ученик хотел получить то, что ему хотят передать, нужно, чтобы ему было интересно. Но только интереса мало: взаимопонимание между людьми, особенно между людьми столь разного возраста, как учитель и ученик, и столь разных интересов, жизненного опыта, целей, установок, — всегда чудо. И чтобы это чудо произошло, необходимо доверие учеников учителю. Часто одно фальшивое слово, нарушенное обещание, некрасивый, недобросовестный поступок убивают доверие и воздвигают стену между учителем и классом. Ученики оценивают не только то, что говорит учитель, а всю его личность, и именно своей личностью, человеческим обликом как в классе, так и за его пределами учитель оказывает основное воспитательное воздействие на учеников.

Воспитание имеет много аспектов: тренер воспитывает тело — мускулы, силу, энергию, физическую волю, математик воспитывает ум, способности абстрактного мышления. Но есть еще одна важная сфера воспитания — воспитание души. Она в основном связана с гуманитарными знаниями (говорю «в основном», поскольку биология с ее общением с природой также играет огромную роль в воспитании души, особенно сейчас, когда бездушное отношение к природе может превратиться в угрозу будущему человечеству). И все же именно литература несет в школе основную долю того важнейшего и вместе с тем очень трудного дела, которое мы называем воспитанием души. Но чем сложнее операция, тем больше вреда может принести неумелое ее исполнение. Учитель, который, стремясь воспитать благородные чувства у учеников, будет превращать художественные произведения в нудные моралистические поучения «в образах» по известной схеме: «В чем мы должны подражать такому-то герою, а в чем нет?», при самых благих намерениях принесет лишь вред. У учеников скоро выработается «эффект невосприимчивости», иммунитет против слов, и тогда между ним и учениками возникнет «полоса отчуждения», пробиться через которую бывает очень трудно. Почти четыреста лет тому назад Шекспир в «Гамлете» создал сцену: король подсылает к Гамлету своих придворных с тем, чтобы они проникли ему в душу и вызвали его доверие. Гамлет протягивает Гильденстерну флейту, и происходит следующий диалог:

Гамлет. Не сыграете ли вы на этой дудке?
 Гильденстерн. Мой принц, я не умею.
 Гамлет. Я вас прошу.
 Гильденстерн. Поверьте мне, я не умею.
 Гамлет. Я вас умоляю.
 Гильденстерн. Я и держать ее не умею, мой принц.

160

И тогда Гамлет говорит: «На мне вы готовы играть <...> Черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке?»¹

Этой сценой я начинал бы обучение всех, желающих в будущем стать педагогами. «Вы готовитесь стать музыкантами, играющими на самом тонком и чувствительном инструменте — человеческой душе. Помните, что для этого нужно и упорство в постоянной тренировке, без которого нет музыканта, и особая музыкальность души, педагогический „слух“, чуткость». Но эту сцену не мешает помнить и тем, кто занимается подготовкой педагогических кадров. Оценку эффективности нельзя производить «по валу», сопоставляя количество принятых и окончивших студентов и строго осуждая педагогические учебные заведения за отсеивание. В консерватории поступают дети, уже прошедшие через музыкальные школы, которые отбирают наиболее способных. И все же не все, кто зачислен на первый курс, становятся музыкантами. А там, где готовят учителей, считается, что идеалом является, когда количество выпускников приближается к количеству [поступающих].

Как говорил Гамлет: черт возьми, или, по-вашему, играть на человеке легче, чем на дудке?

Все дело в том, что брак в подготовке инженера, врача, музыканта сказывается немедленно, брак в подготовке учителя может сказаться через многие годы.

Еще в древние времена учителя сравнивали с сеятелем, обучение — с посевом. Начинается осень — наша педагогическая посевная. Мы сеем сейчас — жатва будет в будущем. Будем работать для будущего!

Тарту

18 августа 1984.

Итоги олимпиады²

Подводя итоги олимпиады, необходимо поговорить и о некоторых отрицательных сторонах изучения русской литературы в школах республики. <...> Участие в олимпиаде в какой-то мере позволяет судить о преподавании литературы в школах. <...> Существенной стороной олимпиады было выявление у школьников навыков самостоятельного мышления, умения не только повторять заученное, но и размышлять, сопоставлять факты, делать выводы. Ведь именно с этой стороны изучение литературы призвано оказать помощь фор-

¹ Шекспир У. Гамлет, принц Датский / Пер. М. Лозинского // Шекспир У. Поли. собр. соч. М., 1960. Т. 6. С. 88—89.

² Статья, посвященная итогам республиканской олимпиады по русской литературе 1967 г., написанная в соавторстве с С. Г. Исаковым, была впервые опубликована под заглавием «Надежды и тревоги»: Молодежь Эстонии. 1967. 13 апр. Воспроизводится по рукописи только в той части, которая принадлежит Ю. М. Лотману. Небольшие сокращения касаются статистических данных об участии в олимпиаде конкретных школ и т. п. деталей.

161

мирующим молодым людям, какую бы профессию они ни избрали. Что же мы даем школьникам? Вооружаем ли их для трудной, но необходимой борьбы за самостоятельный жизненный путь, или вкладываем им в головы готовые решения, удобные для ответов и сочинений, но бесполезные в трудных жизненных ситуациях? Олимпиада показала, что оба случая имели место. Итак, несколько слов о штампах.

Прежде всего, хочется поделиться мыслью, которая может показаться еретической: не слишком ли мы увлекаемся сочинением как формой учебной работы? При сравнительно небольшом выборе тем для школьных сочинений, при устоявшихся формах характеристики персонажей, работы этого типа уже не способны выявить подлинное лицо учащегося, его мысли и знания. За безликими оборотами: «Писатель ярко рисует», «писатель разоблачает», «герой (вставляется фамилия) является ярким представителем передовых кругов современного ему общества», «писатель подверг острой критике современную ему действительность, но не смог указать выхода, и в этом ограниченность его реализма» — невозможно понять ни того, о каком писателе идет речь, ни что представляет собой автор этих строк. Читаешь такое сочинение и думаешь: наверное, за душой у этого юноши нет ни одной своей мысли, ни одного свежего слова. Но потом встречаешься и с удивлением видишь любопытные глаза, слышишь живую, серьезную или ироническую речь. В чем же дело? Не в том ли, что сочинения «заштамповались» и в сознании учеников, и в сознании учителей? Не в том ли, что самая форма сочинений сейчас навязывает гладкие, устоявшиеся формы выражения? Во многих сочинениях видны следы борьбы со штампами мысли и речи. Однако не всегда можно согласиться с теми путями, которые при этом избираются. Бедную, представляющую набор общих мест мысль авторы некоторых сочинений

камуфлируют в пышные, ложнокрасивые слова. Сочинение, конечно, должно быть стилистически богатым. Но ведь богатство стиля проявляется в умении найти самые точные слова для своей мысли, а не подменять мысль словами, сколь бы «красивыми» они ни были. Хорошо, если сочинение написано эмоционально. Но ведь эмоциональность совсем не в том, чтобы в одной и той же фразе употребить: «великолепный», «превосходный» и «замечательный».

Но как же без сочинений работать над письменным стилем? На это можно заметить: во-первых, речь идет не о ликвидации сочинений, а об уменьшении их удельного веса в школьном обучении, во-вторых, в школьную практику надо шире внедрять стилистические упражнения, интересно и разнообразно составленные.

Желая пробиться к ученику, узнать собственное лицо каждого участника соревнования, за стеною фраз обнаружить его подлинные знания и интересы, комиссия и отказалась в третьем туре от сочинений, заменив их широким кругом вопросов и упражнений. При этом обнаружились некоторые любопытные особенности. Ученики мало знают подробностей из жизни писателей. Биография большинства писателей — благодатный материал для интересных бесед, воспитательное значение которых трудно переоценить. Чем же объяснить недостаточные знания и слабый интерес учащихся к этой части литературного курса? Думается, что не последнюю роль здесь играет то, что порой ученикам преподносят не биографии писателей, а стандартные, почти по

162

одной схеме составленные «жития». Мы боимся вводить в изложение живой индивидуальности материал и думаем, что повышаем воспитательный эффект, упрощая трудные пути, по которым шел тот или иной писатель. Но результат получается противоположным: гладкая биография, в которой Добролюбов похож на Чернышевского, Чернышевский на Герцена, Тургенев на Толстого, трудные, порой драматические искания истины, заблуждения, срывы, борьба, разочарования, победы заменены стандартными характеристиками и возбуждают не интерес, не желание подражать, а скуку. «Хрестоматийный глянец», о котором писал Маяковский, убивает интерес к писателю. И среди первых жертв его в школьном преподавании литературы — сам Маяковский.

Олимпиада показала, что среди учеников старших классов русских школ республики есть молодые люди, вдумчиво, серьезно интересующиеся литературой, есть школы, в которых преподавание поставлено хорошо и ученики получают твердые знания и — что не менее важно — привычку искать в сочинениях писателей ответы на серьезные жизненные вопросы. И все же итоги олимпиады вызывают не только радость, но и тревогу. И дело не только в том, что до третьего тура дошло слишком мало участников, но и в том, что результаты всех трех туров свидетельствуют о некотором снижении уровня знаний по литературе по сравнению с олимпиадой 1965 года.

Итоги олимпиады дают обильную пищу для размышлений: тут и вопросы о порядке организации будущих олимпиад... и, что гораздо важнее, проблемы изучения литературы в школе. Тут давно уже назрела потребность поделиться мнениями, надеждами и тревогами. И именно этим вопросам будет посвящена научная конференция «Школа и литературоведение», которая состоится в Тартуском университете в середине апреля. Здесь мы надеемся начать давно назревший разговор о проблемах, которые возникают перед учителями русской литературы нашей республики.

Готовимся к новому приему

Отделение русской филологии Тартуского государственного университета имеет все необходимое для успешной подготовки педагогических и научных кадров. <...> За пять лет обучения в университете студенты русского отделения получают солидную подготовку по идеологическим дисциплинам, специальным предметам и предметам педагогического цикла. Изучая разнообразные лингвистические дисциплины, теорию и историю литературы, слушая специальные курсы, в которых преподаватели приобщают студентов к само-

¹ Впервые: Советская Эстония. 1963. 18 мая. Заметка была адресована абитуриентам и преследовала «рекламные» цели. Ю. М. Лотман стремился привлечь к поступлению на отделение русской филологии Тартуского университета как можно больше будущих выпускников. Печатается с небольшими сокращениями (пропущен перечень предметов, которые абитуриентам предстояло сдавать на вступительных экзаменах, и т. п. детали).

163

му процессу изыскания научной истины, знакомят их с наиболее сложными и актуальными проблемами современной науки, работая над курсовыми и дипломными сочинениями, студенты получают необходимые для будущего педагога знания и, что не менее важно, навыки самостоятельного мышления.

Порой от некоторых приходится слышать: «Зачем изучать много предметов — ведь некоторые из них в школе не потребуются?» А от других: «Стоит ли идти в школу простым учителем, получив такие обширные и разнообразные знания?» И те и другие заблуждаются.

Кто такой учитель? Это не человек, который «проходит» со школьниками из года в год один и тот же материал, который он предвзятельно «от сих до сих» сам выучил. Учитель — это человек,

который умеет думать и умеет научить думать. Мы часто делим детей на талантливых и неспособных и при этом не думаем, что так называемые неспособные дети — это дети, подлинное направление таланта которых мы не сумели вовремя отгадать, обнаружить. «Неспособный» ребенок, а потом с неизбежностью неспособный человек — это часто совсем не жертва природы, а жертва неумелости, нечуткости и просто некультурности того или иного учителя, который привык оперировать со средними цифрами успеваемости и проглядел живую, яркую душу ребенка. Дело воспитания талантов имеет огромную, прямо скажем, государственную важность, особенно в наш век, когда спор двух миров решается в большой степени и успехами в области производства и науки, то есть подготовкой квалифицированных кадров. А сколько личных трагедий возникает из-за неумения молодого человека определить, а его учителей подсказать ему направление его собственного дарования!

Если смотреть на дело так, то станет ясно, что для учителя нет «лишних» знаний.

Университет готовит не только будущих учителей, но и будущих учителей учителей. Система университетского образования позволяет выделить людей, проявляющих научную одаренность, с тем, чтобы наилучшим образом использовать их способности. <...>

Два слова новым студентам¹

Отделение русской филологии пополнилось новыми студентами. Что можно пожелать и посоветовать вчерашним школьникам, вошедшим сегодня в аудитории Тартуского государственного университета? Прежде всего, хотелось бы сказать, что, сдав вступительные экзамены и получив студенческий документ, молодой человек сделал всего лишь первый шаг к тому, чтобы действительно, а не номинально стать студентом. Предстоит сдать следующий, значительно более трудный экзамен — экзамен на взрослость. В чем же пер-

¹ Впервые: Тартуский государственный университет. 1975. 19 сент. № 34.

164

вые проявления превращения школьника в студента, подростка, который учится потому, что его посылают в школу родители, потому, что учителя задают и контролируют задания, потому, что «все учатся, как же иначе?», во взрослого человека, который сам выбрал свой путь в университет и сознательно движется к знаниям? Внешний и плохо разбирающийся в сущности высшего образования наблюдатель скажет: «Разница в том, что у студента больше свободы, самостоятельности, меньше контроля». Однажды мне даже пришлось слышать и такое определение: «Студент — это школьник, вырвавшийся на волю». Об этой стороне студенческой жизни писано и говорено много. В 1825 году студент Дерптского университета, друг Пушкина, поэт Николай Языков в стихотворении «Дерпт» писал:

Мне милы юности прекрасной
Разнообразные дары,
Студентов шумные пиры,
Веселость жизни самовластной,
Свобода мнений, удаль рук,
Умов небрежное волнение
И благородное стремление
На поле славы и наук

<...>

Мы здесь *творим* свою судьбу,
Здесь гений жаться не обязан
И Христа ради не привязан
К самодержавному столбу!¹

И все же, рискуя разойтись с традицией, я сказал бы, что жизнь студента отличается (должна отличаться!) в первую очередь дисциплиной. Перефразируя одно старое высказывание, я сказал бы: «Для того чтобы стать настоящим студентом, нужны три вещи: дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина». Дисциплина ума, позволяющая планировать самому занятия и сознательно выбирать из моря знаний основное и нужное; дисциплина характера, которая, освобождая человека от внешнего и принудительного контроля, заменяет его гораздо более требовательным — внутренним; и дисциплина работы, превращающаяся с годами в культуру умственного труда, в последовательность и систематичность, в привычку постоянного увеличения знаний. Только ценой постоянной самодисциплины покупается та свобода взрослого мыслящего человека, которая реализуется в творческом труде и не имеет ничего общего со «свободой» просыпать лекции и обрастать «хвостами».

И еще одно: надо научиться дорожить временем: пять лет — это очень короткий срок для того, кто должен превратить себя в будущего педагога и воспитателя, вооружиться знаниями на всю будущую жизнь. За потерянное время потом придется платить очень тяжело. Те, кто сейчас сели за столы студенческих аудиторий, будут учить молодежь в начале XXI века. Это и будет основной экзамен. Самое горькое, что может быть в жизни, — это когда педагогу нечего дать своим ученикам. Скрыть это от них и от себя невозможно. А чтобы этого не произошло, существует лишь одно средство — работа.

¹ Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964. С. 166.

Чему же учатся люди?¹

Прежде всего, позвольте поздравить вас с тем, что вы находитесь в стенах университета, и с началом нашей с вами работы.

Университетское образование, как и всякое высшее образование, означает иную ступень по сравнению со средней школой. И одна из особенностей этой ступени в том, что здесь уже нет верха и низа — учителей и учеников — здесь все коллеги, то есть люди, которые работают вместе. Ведь работа высшего учебного заведения состоит в сотрудничестве, когда одни хотят учиться, а другие им помогают в этом. Принуждение, обязательный, «насильственный» контроль остались на низшей ступени образования. И отношение преподавателей к вам будет иное. Это будет отношение коллеги к младшему коллеге.

Но это не означает, что станет легче, — станет труднее. Вообще, ничего легкого в хорошем деле быть не может. Это будет трудное дело, потому что нет контролера строже, чем сам человек (если нет такого внутреннего контролера, то нет высшего образования). Правда, не существует такой линии, которая отрезала бы от нас детство, отрезала потом юность... И элементы средней школы и детства часто вторгаются в университет: не будем делать секрета из того, что некоторые студенты подсказывают друг другу и даже видят некоторый спорт в том, чтобы поменьше выучить и получше получить. Это школьный подход. Но школьный подход нормален лишь в свое время: «Смешон и ветреный старик, / Смешон и юноша степенный»².

У вас сегодня может начаться другой возраст. Возраст — это не количество прожитых вами дней, а поведение, которое вы можете осуществлять.

Но давайте подумаем! Я не случайно так сказал, это слово любил философ Сократ. Своих учеников Сократ никогда не учил «правильному», никогда на вопрос учеников не отвечал: «Поступайте так». Он говорил: «Давайте подумаем!» А что значит «подумаем»? Вы не знаете, как поступить, я тоже не знаю, как вам поступить. Вы пришли не как школьники, получить правильный ответ, вы пришли к коллеге посоветоваться, подумать вместе. А вместе думать действительно лучше. Именно различия во мнениях помогают продвигаться к истине.

Посмотрите, кто мы с вами такие? Можно сказать, что мы очень умные и хорошие машины. Мы умеем делать много разных вещей. Но какая особенность у каждой машины? — У всех разные лица. А зачем? Казалось, было бы

¹ Впервые: Alma Mater. 1990. № 1. С. 2. Выступление на открытии Субботней русской гуманитарной гимназии при Тартуском университете 20 января 1990 г. Записал Д. Кузовкин.

Гимназия была основана преподавателями кафедры русской литературы для старшекласников города Тарту. Одной из целей было подготовить учеников к последующему обучению в университете. Гимназия просуществовала десять лет.

² Пушкин А. С. К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин...») // Пушкин А. С. Т. 1. С. 245.

проще, чтобы у всех были одинаковые лица. Было бы легче во многом, может быть, было бы меньше ошибок... Но для чего-то нужно, чтобы у нас были разные лица, разные характеры, разный опыт, чтобы мы все были разными людьми.

Философ Руссо, написавший самую откровенную книгу в истории человечества, где не просто рассказал о себе, о своих положительных и плохих качествах (ими тоже можно гордиться, если такой характер), рассказал о своих стыдных поступках, открыл всего себя, написав сверху: «и без кожи и в коже»¹. В этой книге он написал: я такой, как все, и «я не похож ни на кого на свете»². Это очень глубокое замечание: человек, во-первых, такой, как и все другие люди, а во-вторых, он индивидуален, он — один такой, и другого такого же нет. Поэтому он может сказать что-то такое, чего другие не знают. И потому вся наша жизнь, все наше обучение находится на двух дорогах. По одному пути мы идем, чтобы быть такими, как другие, для того, чтобы понимать других людей и чтобы они могли понимать нас. Но надо иметь в виду и то, что «другому» меня не так легко понять... Вот правила уличного движения все понимают одинаково, кроме тех, кто их не знает или плохо о них осведомлен. А Пушкина все понимают одинаково? Нет, все по-разному. И не говорите, что одни его понимают правильно, а другие — неправильно. Пушкин перед каждым выступает так, как будто он сейчас и именно для него написал. Вы все время имеете возможность разговаривать с гениальным человеком, который сам хочет вам что-то сказать. Только откройте уши, только будьте внимательны! Главная беда нашего века состоит в том, что у нас закрыты глаза и уши. И значительная часть вашего образования состоит в том, чтобы открыть глаза и уши и увидеть, как говорил Гоголь, чего «не зрят равнодушные очи»...³

И тут мы подходим к одной вещи, которая вам известна по не очень литературному, но всем понятному слову — «наплевать»: «А мне наплевать!» Определить культуру человека можно по одному признаку: на что ему не наплевать, что его трогает.

Жизнь каждого человека проходит в неких изолированных кругах. Один живет в маленьком кружке, другой — в круге побольше, третий — в еще большем. Величина вашего круга определяется многими признаками: что вам любопытно, что вы знаете, что вас интересует, и еще один и очень важный признак — когда вам больно? Одному, например, больно, когда его ударят, а

другой на это только скажет: ну по морде, это не опасно, лишь бы не убили. Круг побольше возникает, когда человек на оскорбление отвечал дуэлью, и говорил, что оскорбление хуже, чем смерть: смерть не может унижить человека, а оскорбления я не перенесу. Другой скажет: я не перенесу оскорбления людей, которых я люблю, я не дам обижать моих детей, не дам оскорблять свою мать, но вот чужого человека... Когда больно от чужой боли — это и есть самый большой круг, круг культурного человека.

¹ Руссо Ж.-Ж. Исповедь // Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 683.

² Там же. С. 9—10.

³ Гоголь Н. В. Мертвые души // Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. [М.; Л.], 1951. Т. 6. С. 134. Далее ссылки на произведения Гоголя даются по этому изданию.

167

Конечно, нельзя сделать так: я сегодня проснулся, захотел стать культурным и начал сочувствовать униженным и оскорбленным. Так не бывает, и самые добрые намерения здесь не помогут. Надо вырабатывать душу.

Есть много признаков, отличающих человека от животного. Я не к тому, что человек умный, а животное глупое. Животное совсем не глупое. Животное обладает большим умом, но его ум всегда связан с определенной ситуацией. Знаете выражение: «Как баран перед новыми воротами». Это не значит, что баран глупое животное. Баран обладает высоким уровнем интеллекта, но его интеллект прикован к определенной ситуации, и в новой он теряется. А человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть только две «ноги»: интеллект и совесть. Как совесть без развитого интеллекта слепа, но не опасна, так опасен интеллект без совести.

Мы живем в очень интересное время. И хотя неинтересных времен нет, бывают такие времена, в которых историки, оставляя чистые страницы, отмечают, что ничего не произошло. А те страницы, которые полностью исписаны, в такое время жизнь ничего легкого не представляет. Она тогда требует от человека очень многого. Человек перестает быть винтиком, у него возникает множество ситуаций, когда появляется возможность выбора: поступить одним или другим способом. Каким? На это ему дана совесть, и потому его можно судить. Нельзя судить камень за то, что он падает вниз, но не говорите себе: «Я был в таком положении, я ничего плохого не хотел, но были такие обстоятельства, я иначе поступить не мог...» Это неправда! Не бывает обстоятельств, когда нельзя поступить иначе. А если у нас такие обстоятельства все-таки находятся, значит, у нас нет совести. Совесть — это то, что диктует, как поступить, когда есть выбор. А выбор есть всегда... Выбор — вещь тяжелая, поэтому дураком быть легче, с дурака нет спросу: «Мне приказали, а что я мог сделать?» «Меня привели, а вы бы сами попробовали...»

Я напомним слова декабриста Пушкина, друга Пушкина, сказанные им в разговоре с царем. Человек, у которого руки были скованы, на вопрос Николая: как вы решились на такое дело? — отвечал: иначе я бы считал себя подлецом. Этим он говорил: у меня есть совесть, есть выбор — либо эти руки в этих цепях, либо я сам себя буду считать подлецом. История показала, что высокая нравственность этих людей помогла им перенести самые тяжкие испытания, выпавшие на их долю в Сибири. И физически они сохранились лучше, чем те, кто в ту же николаевскую эпоху своих друзей предал, потом сделал карьеру и все у них внешне шло хорошо и чудно...

Итак, чему же учатся люди? Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести. Это три предмета, которые необходимы в любой Школе и которые вобрало в себя искусство. Искусство это, по сути своей, Книга Памяти и Совести. Нам надо только научиться читать эту Книгу. Я надеюсь, что мы для этого и собрались здесь.

168

Университет, учитель, НТР¹

В чем сущность НТР? Какова роль образования в период стремительных и фундаментальных преобразований буквально всех сторон жизни общества? Ответить на эти вопросы не так-то просто. Да, безусловно, развитие НТР немислимо без широкого внедрения компьютеров и микропроцессорной техники. Да, развитие НТР неразрывно связано с автоматизацией и роботизацией производства... Но, продолжая этот перечень, мы все-таки особо должны подчеркнуть тот факт, что НТР означает прежде всего новое положение человека в мире. Человек оказывается в принципиально новой ситуации: от по преимуществу репродуктивной деятельности, от традиционного наследования знаний и опыта предыдущих поколений он переходит на позицию новатора, творца нового. Такой переход предполагает психологическую перестройку человека, изменение стиля его мышления. Тем самым проблема человека выдвигается в центр всей тематики НТР, что одновременно означает и все возрастающее значение системы образования, в частности высшего.

И одной из важнейших сегодня, по-видимому, становится задача осмысления самой сущности образования в новых условиях, прежде всего его методологических основ, которые должны рассматриваться не только в контексте подготовки специалистов для тех или иных отраслей народного хозяйства, но и в более широком контексте культуры общества и ее воспроизводства.

Какова же при этом роль университета? Какие тенденции в развитии университетской подготовки учителей наблюдаются сегодня? Какие требования предъявляет и еще предъявит НТР к человеку?.. С этими вопросами наш специальный корреспондент О. В. Долженко обратился к профессору Тартуского университета Ю. М. Лотману, специалисту в области теории и истории культуры, семиотики, литературоведения.

— Юрий Михайлович, сегодня, когда система высшего образования вступила в период перестройки, все более настоятельной становится потребность в осмыслении накопленного опыта, в выявлении «узких» мест в жизни высшей школы. Это имеет прямое отношение и к подготовке учителей для общеобразовательной и профессиональной школы. Как вы считаете, каковы в этом отношении задачи университетов? И как, по вашему мнению, они справляются с решением этих задач?

— Вы думаете, на этот вопрос просто дать однозначный ответ? По крайней, мере я за это не берусь. Отмечу только следующее. Школа мне близка, я постоянно читаю лекции учителям. Поэтому сложившееся там положение дел мне хорошо известно. И вот в чем здесь состоит вопрос.

Не вызывает сомнения, что университет должен работать для школы. Но, признавая эту истину, мы порой излишне упрощаем этот вопрос. Вот пример. На курсы повышения квалификации нашего министерства приходят учителя, и неплохие. Но у них сформирована определенная психология: они требуют от нас разработок уроков. И когда я начинаю им говорить о состоянии со-

¹ Впервые: Вестник высшей школы. 1986. № 7. С. 69—73.

169

временной науки, ввожу их в круг вопросов, определяющих сегодня исследовательский поиск, они быстро теряют к такой лекции интерес, им становится скучно. У нас учитель часто не учит, а «выполняет программу», «проходит предмет». Под флагом сближения с практикой и от университета начинают требовать рецептов проведения уроков, их разработок. Между тем подготовка учителей для школы в университете не должна быть ориентирована исключительно на школьные программы, сводиться к «натаскиванию» на них. У университета есть в этом смысле более значимая цель. Во многих местах, где нашим выпускникам придется работать, они будут самыми культурными людьми; именно поэтому учитель прежде всего должен быть образованным и культурным человеком. Пора понять: культура — не пирожное, а хлеб, без которого не могут жить люди. И поэтому я не могу согласиться с позицией тех, кто порой упрекает преподавателей: вы даете студентам лишний материал! Но что значит — лишний? При таком подходе уровень университетской научной работы естественно начинает снижаться. И цепь замыкается. Когда мы из школы получаем пополнение, которое не готово к учебе в вузе ни с содержательной, ни с психологической точки зрения, мы, в свою очередь, начинаем приучать их к новым условиям примитивными методами: выясняем, сколько у них пропусков аудиторных занятий, были в библиотеке или не были. И забываем об одном — знания приобретают только те, кому просто интересно познавать. Вот в этом — сделать интересным процесс учебы, отобрать тех, кто хочет и может учиться, — задача университета.

— Таким образом, первый вывод, который можно сделать из ваших слов, формулируется, видимо, следующим образом: подготовка учителей в университете должна быть нацелена не столько на решение чисто педагогических вопросов (ориентацию на ту или иную школьную программу, методику и т. п.), сколько на реализацию культурных предпосылок к будущей деятельности студентов, воспитание действительно образованных людей, отвечающих самым высоким требованиям современности.

— Нашим выпускникам предстоит жить и трудиться в XXI веке, и как бы хорошо они ни были подготовлены к работе в школе 1986 года, если в них не был заложен «механизм развития», уже в 1996 году они психологически устареют. Их спишут, как старую машину, и это будут человеческие трагедии.

— Из этого следует прежде всего необходимость сохранения и развития общей гуманистической атмосферы университета, неразрывно связанной с поиском, получением и передачей новых знаний; переход от догматически-рецептурного обучения к обучению поисковому, формирующему не чисто репродуктивный, а творческий стиль мышления. Как бы вы оценили в связи с этим положение дел в высшей школе?

— Не берусь оценивать положение в целом, но скажу о трех, как мне кажется основных, трудностях. Первая — средняя школа дает нам в целом недостаточно подготовленный «материал»; вторая — у студентов снижается желание учиться; третья — у них остается мало времени на овладение своей непосредственной специальностью.

Самое же важное — произошло падение престижа высшего образования. Здесь есть над чем задуматься: люди учатся пять лет, а в итоге оказываются материально обеспечены хуже, чем те, кто не учился. Но дело не только в этом. Образование и культура сами по себе притягательны, и молодежь стремится

170

к ним. Однако если качество работы учебных заведений начинает измеряться в процентах отсева, это не может не снизить авторитет высшего образования. Да, у нас отсев велик, но, извините, как ему не быть таким, если мы получаем из школы слабо подготовленное пополнение? В сущности, мы все время идем против течения. Можем ли мы, принимая студента на первый курс, точно определить, получится ли из него хороший педагог? В большинстве случаев нет. Это выявится где-то года через два. И если окажется, что учитель из студента не получается, его надо, пока не поздно, отчислить и помочь ему найти другой путь в жизни. Мы не имеем права выпускать плохих специалистов!

Более того, селекция учителей продолжается и в школе; из нее чаще всего уходят учителя самые лучшие и самые худшие. Остаются средние, у которых нередко возникает соблазн

облегчить себе жизнь, снижая требования к ученикам. Вообще такое снижение требовательности обнаруживается на всех этапах обучения в вузе; и в результате мы сейчас уже отвыкли от очевидной истины: для того чтобы развитие человека состоялось, ему должно быть трудно. Первый шаг в формировании мышления — разумное определение степени трудности обучения человека.

Итак, надо поднимать авторитет высшего образования. Во многом он зависит от авторитета каждого данного вуза, от степени его самостоятельности, возможности принимать решения.

Один пример. Вот уже десять лет мы пытаемся провести симпозиум по семиотике. Однако на число симпозиумов установлена для университета норма. Не понимаю, кому будет плохо, если соберутся ученые и обсудят волнующие их проблемы, почему заранее, за два года, нужно подавать заявку в министерство, которое отправит ее в Москву. Когда там уже все утвердят, планы конференций «спускают» к нам. К чему столько волокиты? Неужели мы сами не способны решать такого рода вопросы?

Авторитет вуза связан и с его изданиями. Но у нас нет возможности самим решать вопрос о публикации той или иной работы. Наш университет мог бы издавать монографии, которые сделали бы честь лучшим университетам мира. И бумаги на это много бы не пошло — тираж-то вузовских изданий не превышает обычно тысячи экземпляров. Но мы не имеем и на это права.

Хочется сказать о странном распоряжении, ограничивающем объем всех вузовских сборников и Ученых записок десятью печатными листами, а каждую статью в них — одним печатным листом. Причем ограничение это, необъяснимое само по себе, не делает различий между гуманитарными и математическими науками, хотя положение их явно не одинаково. Ряд бессмысленных бюрократических ограничений принижает значение университетской науки. Характерно, что в серьезных центральных научных изданиях Ученые записки, как правило, не рецензируются, издаются они на скверной бумаге, в небрежном оформлении, как бы заранее обреченные на провинциализм. Между тем они призваны показывать научное лицо вузов.

— Юрий Михайлович, одна из характерных черт нашей сегодняшней жизни — компьютеризация. Как вы полагаете, в чем, собственно, состоит ее смысл?

— Конечно, я считаю, что если та или другая наука без ущерба для своего развития может использовать вычислительную технику, то это свидетельство

171

высокого уровня зрелости данной науки. Но все-таки нельзя забывать, что значительная часть гуманитарных наук имеет дело с исключительно сложным, многопрограммным объектом и формализовать его мы еще не можем. Поэтому использовать в этих науках компьютеры можно при решении лишь некоторых, совершенно определенных задач. Их материал надо предварительно подвергнуть семиотическому или какому-то другому исследованию и определить возможность и целесообразность обращения к ЭВМ. Я убежден: горячиться и спешить в этом деле не надо. ЭВМ — это не панацея, которая снимет все проблемы. По крайней мере, пока...

Сегодня, я думаю, для нас гораздо актуальнее введение в учебные планы гуманитарных факультетов курсов новейшей лингвистики, семиотики, теории культуры, а также разработка специального курса математики для гуманитариев. Ведь и в математике дело не сводится к простому программированию. А уже тем более это справедливо в отношении гуманитарных наук. Но элементы знаний, связанных с кибернетизацией, необходимы всем.

В 50-е и начале 60-х годов нам всем казалось, что проблема машинного перевода в принципе решена. Стоит сделать программу — и все будет в порядке: ведь теоретически все ясно. Нужно создать формальную грамматику обоих языков, сконструировать систему, ввести в нее блок перевода — и переводчики уже никому не будут нужны. Однако задача оказалась значительно более сложной, чем представлялось. Зато в ходе ее изучения мы попутно получили такие сведения о языке, на которые не могли даже рассчитывать. Произошла история, сходная с открытиями Колумба: он открывал одно, а открыл совсем другое. Мы получили интереснейшие данные, которые изменили наше представление о языке. Как объект научного исследования он оказался гораздо более сложным и богатым, чем мы полагали. И сегодня проблема машинного перевода вполне разрешима, но это решение связано с совсем другим уровнем знания и понимания существа проблемы. Здесь мы сталкиваемся с задачей диалогического общения с машиной...

В области языка мы имеем дело не с одним, а с несколькими механизмами. Самый простой из них, который мы сейчас можем запрограммировать, — это перевод команд, то есть передачу некоторой константной информации от меня к машине или к другому человеку. Однако это только одна функция языка. Если бы она была единственной, то наш реально существующий язык выглядел бы как чудовищно неэкономная кибернетическая система. И скажем, язык уличной сигнализации оказывался бы гораздо более совершенным, чем наш обычный. А хуже всего выглядели бы стихи: ведь в них однозначное понимание явно исключено. Но тем не менее наш язык — это самая совершенная, очень хорошо сделанная, отлаженная система. Дело в том, что язык кроме передачи команд выполняет еще одну функцию: он думает. Он не только передает информацию, но и порождает новую. И вот здесь мы вступаем в область очень сложного, совершенно неожиданного...

Изучая теорию или историю культуры, знакомясь с произведением искусства, мы опять же

обнаруживаем, что информация в них избыточна, повторяется и что изучаемые структуры обладают способностью совершать интеллектуальные операции. В сущности, мы сталкиваемся с коллективными интеллектуальными процессами, внутри которых находится наше индиви-

172

дуальное восприятие, наш личный опыт. Поэтому-то полагать, что искусство представляет собой что-то добавочное, без чего мы можем обойтись, — это глубочайшее заблуждение. Сейчас это нам уже более или менее очевидно. Причем искусство — только один из таких механизмов, а есть много других периферийных структур, обеспечивающих не только порождение новой информации, но и функционирование ряда очень интересных механизмов выработки коллективной памяти. Мы, сами думающие, находимся внутри другого думающего устройства, называемого культурой.

Для того чтобы имитировать, моделировать или как-то строить интеллектуальные процессы у человека, надо находить помимо него и другие интеллектуальные устройства. И в этом плане культура представляет собой исключительно важный общенаучный объект, причем не только для гуманитариев. Я уже лет десять тому назад писал и сейчас полагаю, что настанет время, когда изучение искусства будет профессионально обязательным для инженеров.

При изучении культуры как сложного семиотического механизма мы выходим за пределы области, подлежащей на современном уровне науки полной формализации. Бесспорно, формализуемые механизмы в культуре есть. Ни одна система, состоящая из большого числа различных элементов, без этого не может сохранить устойчивость; это частично касается механизмов, благодаря которым достигается адекватное понимание. Но это только часть огромного явления культуры. Представьте себе, мы с вами оба абсолютно одинаковы, как технические устройства; а если мы разные — значит, допущен конструктивный дефект. С этой точки зрения очень хорошо, что мы одинаковы, потому что в результате вы меня абсолютно, полностью понимаете... Но, извините, тогда мне с вами не о чем разговаривать!

— Таким образом, речь выступает в качестве средства не просто передачи информации, но и условия выработки в процессе общения новой информации, причем она выводится не только из слов, которые вы мне адресуете, но и из взаимодействия их с содержанием моего собственного опыта, того смысла, который я придаю сказанному вами. В таком случае возникают новые знания, новая информация, которая в первоначальной, например, фразе может и не присутствовать.

— Культура «работает» в двух направлениях. С одной стороны, она нас делает схожими, и это условие того, что мы можем понимать друг друга. Но она нас делает и разными. Культура как бы воспроизводит непонимание: чем своеобразнее моя личность, тем труднее вам меня понимать и тем ценнее та информация, которую мы получаем друг от друга.

— Хотелось бы уточнить: в чем вы видите в этой связи смысл научно-технической революции?

— Я полагаю, что научно-техническая революция не должна и не может сводиться к овладению ремеслом программирования, размениваться на него. Она должна перестроить наш интеллект, обогатить и развить наши представления о культуре, и в частности поднять, как ни странно, уважение к индивидуальности. Ведь именно с помощью семиотических и кибернетических исследований мы приходим к выводу, что индивидуальность стоит совсем не в начале эволюции человека, а в конце ее.

173

Несколько лет назад был некоторый бум, вызванный открытием биологов. Выяснилось, что можно осуществить точную репродукцию организмов, находящихся на очень низких уровнях развития. И тогда некоторые научные фантасты пришли в восторг. Один из них написал, что в будущем человечество выберет одну прекрасную женщину — внешне Венеру Милосскую, а умом Афины Палладу. И одного прекрасного мужчину, который будет Аполлоном Бельведерским и Альбертом Эйнштейном вместе. И затем «отпечатают» десять тысяч одних и столько же других, поселят их на какой-то планете — и вот тогда начнется подлинная история человечества. Но ведь ясно, что такой коллектив очень быстро вымрет. Потому что, каковы бы ни были интеллектуальные возможности человека, развитие будет ставить перед ним все более и более сложные задачи. Человек всегда будет работать в условиях информационного голода; всегда у него знаний меньше, чем ему нужно. И выживает он не потому, что располагает таким большим объемом знаний, который не требует выбора, а благодаря тому, что у людей имеются разные мнения. А все эти люди вместе образуют коллективно мыслящую систему.

Именно диалектическая игра интеллектуальных сил, игра многочисленных факторов и порождают человека. Но сама по себе такая постановка вопроса наводит на некоторые размышления. В частности, на мысль о том, что НТР — это не количественное увеличение элементарных машин, скажем примусов. Смысл НТР состоит во включении нас в совершенно новую, творческую в своей основе ситуацию. Ведь творчество — это вовсе не значит, что все будут писать, например, стихи. Чем шире будут вводиться «думающие машины», тем динамичнее, непредсказуемее будет мир, тем больше потребуются от человека способности к творческим, индивидуальным решениям. Если сапожник не любит свое дело, не вкладывает в него свою душу, то и сапоги будут соответствующие. И мы носим такие — конвейерные — сапоги. Конвейерная техника — это примитивная стадия развития техники вообще. Мы еще придем к возрождению

художественно-ремесленного труда. Сейчас мы окружены стандартными предметами, но я думаю, что мы переживаем преходящую, временную стадию.

— Но эта стадия, пожалуй, породила тенденцию к потребительству. Массовая культура не просто снижает интеллектуальный уровень, но и довольно-таки агрессивна по отношению ко всему, что несет на себе отпечаток индивидуальности. Почему это происходит?

— Ясно, почему. У любой культуры есть своя стереотипная сторона, самая простая и поэтому агрессивная. Эту сторону нужно уравновесить. Вот это гораздо сложнее. Ведь примитивные организмы всегда легче выживают. Неизбежная стереотипизация жизни должна уравниваться одновременным расширением сферы творчества.

Идет процесс становления современной культуры, отвечающей возможностям общества на новом этапе его развития. Идет рост, и у культуры «ломается голос». Если этот период задержится, то наступит культурный кризис. При увеличении числа людей унификация — не зло. Развитие техники — вещь необходимая, если только она не становится единственной целью. Против этого восстает наша культура, язык, сущность человеческая...

174

Я все-таки полагаю, что будущее за творчеством. И в этом смысле распространенное мнение о том, что коренные вопросы жизни и даже философии решаются в области техники, а гуманитарные науки эти решения просто дополняют, — это мнение неверно, оно нежизненно. Я убежден: коренные вопросы жизни человека будут решаться именно в сфере синтетической науки о человеке, которая потребует сложного синтеза гуманитарного и математического сознания.

Учитель на пороге двадцать первого века

Мы живем в годы научно-технической революции. Истина эта могла бы от частого повторения показаться тривиальной, если бы частота повторения была пропорциональна глубине понимания. К сожалению, это не так. Вообще говоря, дело и не может обстоять иначе, поскольку переживаемый нами момент есть *начало* научно-технической революции и никто не может предсказать ни ее далеко идущих последствий, ни полного объема тех изменений, которые она принесет в мир. Очевидно лишь то, что в короткие, исторически ничтожные сроки человечеству предстоит пережить не только смену привычных форм техники и быта, но и значительные перемены в психологии человеческой личности — не только решение одних проблем, но и рождение других, может быть значительно более трудных. И к этому надо быть готовым. Нам предстоит научиться жить в непривычном для нас мире, мире быстро меняющемся, по сравнению с которым динамический XX век покажется уютно-неподвижным.

Сейчас уже не вызывает сомнений, что основным в переживаемой нами перемене будет широкое вторжение во все сферы жизни электроники, вычислительной техники, «думающих машин». Решающим делается вопрос: каково будет место человека в этом мире? Массовое сознание, воспитанное на антиутопиях XX века и переносящее на науку ужас, подобный тому, который некогда человек испытывал перед непонятной мощью магии и колдовства, рисует кошмарные картины полностью автоматизированной Вселенной, из которой вытеснена любая непредсказуемость, а человек, послушный нажиматель кнопок, постепенно превращается в кнопку, на которую нажимает господин Робот. Как бы само собой подразумевается, что чем шире сфера «думающей техники», тем уже область творчества и тем пассивнее, служебнее роль человека.

Конечно, каждое новшество открывает не одну, а много дверей в будущее, и по какой дороге пойдет реальное движение истории — предсказать невозможно. Но все же многое в этих опасениях принадлежит неосведомленности и наивному, хотя и естественному, представлению о том, что будущее

¹ Статья 1985 года. Публикуется впервые.

175

лишь количественно увеличит те формы, которые нам сейчас кажутся верхом сложности и потолком технических возможностей и которые, вероятно, скоро покажутся младенческими. Когда Жюль Верн погружался в научные фантазии, он мог представить себе полет на Луну или изобретение субмарины. Но пушка и паровая машина казались ему настолько непреходящими вершинами техники, что его подводная лодка была паровой, а межпланетный корабль рисовался в образе снаряда.

Вероятно, и наши прогнозы во многом аналогичны.

Более надежный путь — попытаться сделать наблюдения над последствиями великих научно-технических революций прошлого. В этой области человечество имеет уже некоторый опыт. Если не говорить о так называемой неолитической революции, о которой мы имеем недостаточно четкое представление, то можно было бы указать на изобретение письменности и революционный переворот всего строя жизни Европы, произошедший в период между Гутенбергом и Ньютоном. Ни одна из этих великих перемен не имела однозначных последствий. Изобретение письменности, например, создало условие для невозможной дотоле централизации и развития бюрократии. Так, в одном лишь не полностью еще раскопанном административном здании древнесирийского города Эбла (конец третьего тысячелетия до н. э.), несколько условно именуемого «царским дворцом»,

обнаружены десятки тысяч клинописных документов управленческого характера. Древние культуры Востока и Египта буквально задыхались от обилия документации при относительно скромном (с современной точки зрения) объеме реального хозяйства. Можно полагать, что такие гигантские честолюбивые мероприятия, как строительство пирамид, были в определенной степени связаны с тем, что управленческие возможности значительно превосходили реальные потребности общества.

Но изобретение письменности имело и прямо противоположные следствия: оно резко ускорило общественную динамику, стимулировало общее развитие культуры, размывало традиционный строй жизни, ломало вековую психологию. А это потребовало инициативного, полного воли и интеллекта человека — создателя великой культуры античности. Развитие техники не предопределяет фатально будущего. Напротив, оно резко увеличивает число тех исторических перекрестков, на которых выбор одного шага может сказаться на судьбах человечества. А *где выбор — там и ответственность*. Именно это слово становится ключевым для людей приближающегося нового века.

Глубоко ошибаются те, кто думают, что, овладев азами программирования, мы войдем подготовленными в век научно-технической революции. Научно-техническая революция поставит человека не в центр застывшего, спокойного и стабильного мира, а окружит его дестабилизированными, динамическими условиями. Это потребует создания личности, способной жить в новых, неожиданных для нее обстоятельствах. Сама машина из конвейерного продукта все больше превращается в уникальный, индивидуализованный агрегат. Мы привыкли считать уникальность и неповторимость чертами произведений искусства, а технике (кстати, греческое слово «техника» и означает «искусство») приписываем стандартность. Серийная машина требовала серийного специалиста при ней. Уникальная, сложная, наделенная памятью и интеллектуальными способностями техника потребует индивидуально под-

176

готовленного специалиста совершенно нового типа. Творчество будет входить в минимум профессиональной пригодности.

Будущее готовится сегодня. Как говорил философ Лейбниц, «настоящее беременно будущим». Те, кто сегодня поступают на первые курсы университетов и педагогических институтов, будут преподавать в XXI веке.

Как мы их к этому готовим?

В сегодняшней подготовке учителей мы сталкиваемся с двумя противоположными направлениями. Если, заостряя, придать им откровенные формулировки, то выглядеть они будут так. Одни деятели просвещения, которые часто себя именуют «практиками», настойчиво проводят мысль о том, что при подготовке будущих учителей следует строго ограничивать нужды теоретической подготовки, сократить преподавание гуманитарных предметов, непосредственно в школе не преподаваемых, и фактически ориентироваться на ныне действующую школьную программу. Другие — к ним принадлежит и автор этих строк — являются сторонниками широкой теоретической и образовательной подготовки. Рассмотрим аргументы.

Практичны ли «практики»?

Тридцать пять лет я занимаюсь педагогической деятельностью: готовлю учителей, много лет проводил занятия в школе, читаю лекции на всевозможных курсах повышения квалификации учителей, являюсь автором учебников для школы, пособий для учителей, методических разработок. И сколько раз за это время мне приходилось слышать: «Вы далеки от практики (в том числе от людей, никогда не давших в школе ни одного урока!), учителям это не нужно». «Это» менялось, но убеждение, что учителя надо оберегать от «лишних» знаний, звучало постоянно. Много раз мне и прямо говорили, что задача вузовской подготовки учителя — «углубленно пройти» (беру эти слова в кавычки потому, что в своей речи никогда их не употребляю) школьную программу. А то, что свыше ее, — «от лукавого». И если речь заходит о перегрузке студентов, эту часть можно и сократить (и ведь сокращают!).

Не будем говорить о том, что для большинства детей учитель на долгие годы останется самым культурным человеком, для многих — на всю жизнь эталоном культуры. И о том, что область общения учителя и ученика (особенно в сельской местности, где это общение значительно теснее) не может и не должно ограничиваться программой. Эти рассуждения сами могут показаться недостаточно практичными. Как мне было однажды сказано, «академическими» (почему-то некоторые считают хорошим тоном употреблять это слово уничижительно).

Но ведь все, кто именно практически работают в области просвещения, знают, как нестабильна эта самая программа, как часто она меняется. «Натаскать» будущего учителя на школьную программу не только теоретически неправильно, но и практически просто невозможно: почти наверняка, пока он будет учиться, программа успеет измениться, и хорошо, если только один раз.

Программы меняются слишком часто и в школе, и в вузах. Так, например, на отделении русской филологии Тартуского государственного университета сейчас одновременно действуют три разные программы, и все они вводились как «окончательные» и «научно обоснованные». Это, конечно, зло — от частой перемены программ учебное заведение лихорадит. Но одновремен-

177

но наивно полагать, что программы могут не меняться и что принятые в 1986 году на первый курс студенты, две трети педагогической деятельности которых будут протекать в XXI веке, могут быть ориентированы на какую-то конкретную программу.

Между тем лозунг «Не нужно лишних знаний» проникает и в психологию некоторых учителей. Я помню годы, когда на курсах повышения квалификации слушатели просили дополнительных лекций о новых достижениях науки, о произведениях, не входящих в школьную программу. А теперь случается слышать: «Дайте нам конкретную методическую разработку данного урока, зачем нам лишнее!» Я не против конкретных методических разработок и даже являюсь соавтором книги методических разработок к написанному мной учебнику. Но как понимать методические разработки? Методическая разработка — полуфабрикат урока, некая отправная точка, в которой нуждается учитель, чтобы, исходя из нее, подключить собственное педагогическое творчество. Но ошибочно и вредно думать, что можно подготовить схему урока, пригодную «в готовом виде» для любого учителя и любого класса, которая освободит учителя от раздумий и сомнений. А именно это часто понимают под требованием «конкретной разработки». Мне пришлось слышать и такое возражение: «Поймите, у нас есть слабые учителя, которые сами не могут построить урок, а так они проделают все, что записано в разработке, и урок состоится». Это все равно как если бы, пригласив на концерт, сказали: «У нас слабый скрипач, он не умеет играть, но мы вам сейчас поставим пластинку». Слабый учитель, учитель, который не может учить, — не учитель. Как невежественный врач, он может принести лишь вред, тем более опасный, что вред этот скажется много лет спустя.

Взглянув в будущее и поняв, что оно настоятельно потребует людей творческих и инициативных, талантливых и профессионально смелых, мастеров своего дела, можно высказать некоторые прогнозы относительно будущего процесса обучения. Мы привыкли к классным и групповым занятиям. Сам образ школы или университета для нас неотделим от классных комнат или аудиторий, в которых целая группа обучаемых одновременно получает знания. Нам естественно думать, что так оно будет всегда. Но форма эта исторически возникла, и будет ли она всегда единственной? Заглянем в учебные заведения, готовящие творческих работников, например в классы консерватории или музыкального училища. Мы увидим в помещении *одного* ученика и *одного* преподавателя. Или же, как, например, в классах живописи, учитель, переходя из одного обучаемого к другому, ведет с каждым *индивидуальную* беседу.

Трудно сказать (да и бессмысленно гадать), в какие формы отойдет учебный процесс XXI века. Но ясно одно: по мере роста требований к индивидуальности специалиста групповым занятиям придется потесниться, уступая все возрастающую долю учебного времени индивидуальной работе, в ходе которой учитель будет поставлен лицом к лицу с личностью ученика, а не только с «показателями успеваемости». Время потребует широкой вариативности тематики и самых программ. А жизнь будет требовать все более тонких специализаций, все более творческого подхода к труду. Вот тут-то перед учителем встанет жесткая альтернатива: тот, кто способен вести лишь средние и типовые уроки по заранее разработанным раз и навсегда планам,

178

может оказаться списанным ранее пенсионного возраста (для нынешних студентов — около 2020-х годов).

А для того чтобы наши выпускники в XXI веке не оказались в этом плачевном положении, подготовку их в стенах вузов надо менять уже *сейчас*. Надо решительно остановить конвейер подготовки педагогических кадров. Ни для кого не секрет, что далеко не все, поступающие на первый курс (говорю о филологических факультетах, как более мне знакомых, но думаю, что приблизительно то же положение и на других), обладают и способностями, и простым желанием учиться. Между тем принятый на первый курс почти автоматически через пять лет будет педагогом. Много раз на своем педагогическом веку мне приходилось слышать и упреки за «процент отсева», и угрозы сокращать штат кафедр. Сейчас это, говорят, отошло в прошлое. Говорят-то говорят, но и сейчас на совещаниях, сравнивая работу различных кафедр и факультетов (сужу по собственному опыту), продолжают говорить о процентах успеваемости, среднем балле и прочих ничего не показывающих «показателях». Сколько раз мне приходилось слышать, во сколько обходится в денежном исчислении отчисленный студент, и ни одного раза — во что обходится ученикам, школе, нашей культуре в целом плохой учитель, который не учит, а «выполняет программу».

В «Гамлете» есть сцена, в которой Гамлет просит подосланного к нему Гильденстерна сыграть на флейте.

Гильденстерн. Мой принц, я не умею.

Гамлет. Я вас прошу.

Гильденстерн. Поверьте мне, я не умею.

Гамлет. Я вас умоляю.

Гильденстерн. Я и держать ее не умею, мой принц.

И на это Гамлет восклицает: «Черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке?»¹

При подготовке музыкантов-исполнителей существуют такие понятия, как отсутствие таланта, неспособность, профнепригодность. Но в практике подготовки учителей мы молчаливо исходим

из того, что «играть на людях» проще, чем «на дудке», и что здесь никаких специальных способностей не требуется. Видимо, дело в том, что фальшь флейтиста слышат все, а фальшь учителя — лишь дети, которых мы не слушаем.

Между прочим, борясь с отсевом студентов, мы не обращаем внимания на другой отсев, исследовать причины которого давно бы следовало социологам: отсев учителей из школ. Почему значительный процент говорит, что уходит не только неспособные к педагогической деятельности, но и очень способные и начинавшие свою работу с энтузиазмом и горячим желанием сделать профессию учителя творческой. Здесь есть тревожные симптомы, над которыми стоит задуматься.

По мере того как на учителя будет все в большей мере падать груз индивидуальной работы с учеником, а обучение протекать в обстановке тесного

¹ Шекспир У. Гамлет, принц Датский / Пер. М. Лозинского // Шекспир У. Поли. собр. соч. М., 1960. Т. 6. С. 88—89.

179

личного общения, будут расти требования к личности педагога: его культурному кругозору, его человеческому обаянию, его способности честностью и положительными качествами характера вызывать безусловное доверие у обучаемых. Это заставляет уже сейчас обратить внимание на узость культурного кругозора многих современных молодых педагогов. Закрывать глаза на это — значит заниматься самообманом. Еще более ошибочно думать, что задача превращения вчерашнего школьника в деятеля культуры проста и может быть решена введением факультативных занятий по эстетическому воспитанию или чем-нибудь в этом роде. Для решения этой задачи требуется создание *атмосферы культуры*, что само по себе настолько важно, что заслуживает специального разговора.

Наконец, можно ожидать, что изменения в природе обучения коренным образом изменят соотношение преподавания и науки. Во французском языке нет различия между словами, обозначающими университетского и школьного преподавателя. Оба они именуется «professeur», то есть «профессор». По-моему, в этом есть глубокий смысл. У нас же привычным сделалось представление, рассматривающее профессора и учителя как чуть ли не полярные противоположности. Ошибочность такого взгляда всегда была мне очевидна. Одно из опасных его последствий состоит в том, что от преподавателя вуза как бы само его звание требует быть участником научного развития, не отставать от движения исследовательской мысли. Для школьного же учителя не создается условий не только для развития науки, но даже и для систематического следования за ее успехами и проблемами — *это не входит в его обязанности*. Считается нормальным, что преподаватель высшего учебного заведения сам учится всю жизнь, а обучение учителя фактически останавливается в момент получения диплома. Кратковременные сборы на курсы повышения квалификации являются паллиативом, который не способен решить вопроса. А наука движется. Новейшие ее достижения через популярную литературу протекают в умы учеников. Учитель же остается на уровне знаний прошедших лет, отстает. Происходит явление, известное в технике под названием морального износа. Учитель привыкает учить и отвыкает учиться. А продолжение, непрерывность расширения знаний, обновление их должны сделаться постоянной частью жизни учителя. Не берусь судить о том, как создать для этого условия. На первый случай достаточно, если мы ясно осознаем эту задачу. Думаю, что немалую роль здесь должны сыграть специальные педагогические издательства. Давать постоянно в руки учителя не только учебники и методическую литературу, но и серьезную, новую для учителя научную книгу представляется мне их прямой задачей. Приходится слышать мнение о том, что научная книга учителю трудна, непонятна и не нужна. Думаю, что это апология отсталости. Трудна — да, непонятна — может быть, но именно поэтому нужна. Как же учитель будет учить детей превращать непонятное в понятное, если сам он может только читать то, что легко и понятно, то есть, как небезызвестный литературный персонаж, твердить зады, убоившись бездны премудрости. Конечно, это задача трудная и для решения ее требуется преодоление многих объективных препятствий. Но необходим и психологический перелом, отказ от представления о том, что учитель «уже все знает» и все заботы следует свести лишь к тому, *как* преподавать.

180

Знание, *что* преподавать, он якобы раз навсегда получил вместе с дипломом. Необходимо сломать представление о том, что наука — дело для учителя чужое, лишний груз. Ведь первичную профессиональную ориентацию, выделение научно способной молодежи, обеспечение ей еще в школе условий для развития способностей должен делать именно учитель. В настоящее же время огромный процент усилий учителя занимает работа с двоечниками и борьба за средний уровень. Конечно, речь идет не об оранжерейном выращивании отличников, которым у нас порой тоже увлекаются. Нельзя считать, что двоечник — это синоним бездарности. Слишком многие великие деятели культуры, науки и искусства были плохими учениками или неуспевающими студентами. Очень часто двоечник — это тот, чьи подлинные способности и интересы не получили отклика в предложенных ему методах обучения.

Итак, мне видится процесс обучения, в котором классные и лекционные занятия будут перемежаться с длительными беседами один на один у приборов, в библиотеке или просто в парке, где учитель будет соединять в себе ученого и психолога, культуру и порядочность.

Мне могут сказать, что все это утопии. Не берусь судить, но знаю, что только в этих условиях мы сможем реализовать те положительные возможности, которые таит в себе уже совершающаяся научно-техническая революция. Она не дает нам времени на сборы и колебания и в противном случае обернется к нам своим жестоким железным лицом.

Двадцать первый век может оказаться огромной казармой, может оказаться новым Ренессансом. Развитие науки и техники открывает перед нами обе двери.

В какую мы войдем, зависит от нас.

Неюбилейные признания¹ (К 150-летию со дня гибели А. С. Пушкина)

— Мы говорим: Пушкин — великий русский поэт. Нужен ли Пушкин в эстонской школе? Мы знаем, что он включен в программу изучения русского языка в качестве литературного чтения в эстонских школах.

— Я думаю, говорить о том, нужно ли изучать Пушкина в эстонской школе или нет, это уже все равно что воевать с ветряными мельницами. Ясно, что нужно. Хотя в свое время вокруг этого вопроса приходилось ломать копыя.

Но все-таки зачем? Я бы хотел сказать только одно: изучение языка невозможно без эстетического переживания этого языка. Язык есть не только сумма программ и кодов, слов и грамматических правил. И в этом смысле, конечно, хорошо звучащий, красивый текст на том или другом языке имеет прямое отношение к восприятию этого языка. Здесь беда не в том, что надо

¹ Впервые: Вперед (Тарту). 1987. 14 февр. Интервью взял Дмитрий Кузовкин.

181

доказывать, что пушкинские тексты нужны, а в том, что надо научиться их подбирать. Вот этот вопрос до сих пор еще остается большим не только для эстоноязычных школ, но и для русскоязычных.

Кстати, попутно скажу (поскольку газета обращена прежде всего к русскоязычному читателю), что положение в русских школах республики мне представляется неудовлетворительным. Особенно по части преподавания литературы, в частности творчества того же Пушкина. И вспомнить на юбилее о том, что нас менее радует, — самое время.

Мне кажется, давно уже пора обратить внимание на очень низкий уровень преподавания литературы в русскоязычных школах республики. И Пушкин здесь перед нами возникает как некий живой укор, как некий указатель тех высоких требований, к которым надо было бы приблизиться и от которых мы еще очень и очень далеки.

— Юрий Михайлович, когда вы говорите о низком уровне преподавания литературы, то это частный вопрос, касающийся только нашей республики, или вообще...

— Это, конечно, и частный, и общий вопрос... Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на общую недооценку преподавания гуманитарных дисциплин в школе. Это, в частности, сказывается на том, как истолковывается в педагогических кругах школьная реформа. Пока что реальный ее результат есть еще одно сокращение программ гуманитарных предметов. Я не хочу сказать, что дело только в количестве часов. Но сокращение — путь явно неправильный. Он имеет реальную основу: развитие науки увеличивает число предметов, увеличивает число знаний и потому нужно что-то сокращать. Возникает серьезный вопрос: за счет чего разгружать программу школы? Решать его, гонясь за сиюминутными эффектами, с целью быстрее «откликнуться» на очередной лозунг дня, неразумно. Ясно, что школа должна давать основные, фундаментальные знания, основы наук, на базе которых в дальнейшем ученик будет уже получать узкоспециальные. Между тем мы часто перенасыщаем программы по химии и физике технологическими сведениями, которые уже сейчас соответствуют технологии вчерашнего или позавчерашнего дня и безнадежно устареют к моменту, когда школьник станет специалистом. Мы думаем, что приближаем этим школу к практике, а часто приближаем ее к отсталой практике. А количество базовых, фундаментальных сведений сокращается. Совершенно недопустимо сокращение тех сведений, на основе которых складывается нравственный облик человека. Гуманитарные дисциплины преподносятся школьникам так сжато и в столь примитивном виде, что воспитательный эффект их фактически сводится к нулю. Разрушается экология культуры. За этим стоит некое «короткофокусное» зрение, которое полагает, что необходимо бросаться от одной задачи, которая сегодня видна, к другой и совершенно не думать о том, что же это будет в более отдаленной перспективе. Уже применительно к природе мы поняли, что такое псевдоактуальное решение вопроса есть путь самый плохой. Нельзя решать эти вопросы по системе крыловского тришкина кафтана: отрезать рукава, надставляя полы. Там, где надо, надо шить новый кафтан.

Мы никогда сегодня не можем сказать, что будет научно актуально завтра. Давно ли казалось, что лингвистика не имеет отношения к технике...

182

Все мы помним разговоры о неактуальности кибернетики. О том, что те, кто занимается мухой дрозофилой, «бесплодны, как проклятая смоковница», что генетика — «игра буржуазного ума». Все это мы пережили. Пора, наконец, делать из этого выводы!

И кроме того, для нас становится даже не явным, а просто большим вопросом о моральном состоянии нашего общества. Это вопрос, который не может в своем решении откладываться на

завтра. И здесь мы опять упираемся в необходимость серьезного отношения к гуманитарным дисциплинам, в частности к Пушкину. К сожалению, и сама гуманитарная наука сейчас находится далеко не в удовлетворительном состоянии, причины чего нас увели уже слишком далеко от пушкинского юбилея.

— Юрий Михайлович, вы когда-то работали в школе. Какие же цели должны ставить педагоги в преподавании творчества Пушкина? Думается, что «ваш Пушкин» все-таки труден для школьника.

— Пушкин гениально прост, но очень труден для преподавания: он своим творчеством противостоит догматическому пониманию, он не поддается однозначным толкованиям. Интересно, что большинство зрелых пушкинских произведений не имеют как бы завершающих концовок: они кончаются вопросами, а не ответами. Пушкин очень глубоко почувствовал, что поставить вопрос важнее, чем дать ответ. Ответы уходят, вопросы — остаются. «Евгений Онегин» обрывается вопросом. «Борис Годунов» кончается вопросом. «Медный всадник» — тоже кончается вопросом. Не случайно с тех пор вся литература о «Медном всаднике» — это споры, кто прав: Петр или Евгений. Ответа у Пушкина нет и не может быть. Между тем это, конечно, с одной стороны, создает трудности в школе, поскольку всякое преподавание, особенно, школьное, неизбежно догматизирует. Оно неизбежно должно как бы подтолкнуть к ответу. Но с другой стороны — Пушкин как бы предохраняет от догматического ответа, ответа скороспелого, от ответа категоричного. И нам очень важно сейчас отучиться от этой манеры спрашивать школьников: нужно ли подражать Татьяне, как бы вы поступили на месте... — этому мы должны сопротивляться.

Чехов писал Суворину: «...вы смешиваете два понятия: *решение вопроса* и *правильная постановка вопроса*. Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решен ни один вопрос, но... все вопросы поставлены в них правильно»¹. Это подлинно пушкинский подход.

Но мы в преподавании литературы все еще стремимся навязать каждому произведению «единственно правильный» ответ, превращаем глубокое создание реалиста в басню с однозначной моралью. А грубое нравоучение убивает интерес.

Школьника нужно подготавливать к восприятию красоты пушкинского текста. Здесь нужен и умелый анализ, и непосредственное воздействие на чувства учеников, воспитание у них вкуса. А для этого надо вырабатывать художественный вкус у себя. Вот тогда мы достигнем понимания пушкинского текста. И так работать в школе можно!

¹ Чехов А. П. Письмо А. С. Суворину 27 октября 1888 г. // Чехов А. П. Поли. собр. соч.: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1976. Т. 3. С. 46.
183

Беседы с профессором Лотманом¹

Беседа первая

Беседа первая, в которой профессор вспоминает свои студенческие годы и говорит о том, почему у нас так мало образованных людей

Мне кажется, существует огромное несоответствие между тем, каким должно быть университетское образование, и тем, каким оно является в действительности. Университеты должны готовить образованных людей. Это кажется настолько тривиальным, что, на первый взгляд, тут не о чем даже и говорить. Кого мы можем отнести к образованным людям? Что такое вообще образованность? Если вы меня спросите, что такое добро, я с большим трудом объясню вам это понятие. Но отличить в жизни добро от зла вы всегда сможете. Что такое — честный человек? Чтобы объяснить это, нужно писать фолианты по этике. Но в жизни честного человека вы всегда отличите. Так и с образованностью. Образованному человеку не хватает знаний, в отличие от малообразованного, которому их всегда достаточно. Человека совсем необразованного лишние знания тяготят.

Все чаще от чиновников различного ранга слышится: необходимо приблизить университетское образование к школьной программе, то есть — убрать лишнее. Но наши университеты на самом деле уже десятилетия работают под знаком педагогизации. За те годы, что я работаю в вузе, школьная программа изменилась во много раз, и отнюдь не в лучшую сторону. В свою очередь, изрядно пострадало и университетское образование: мы уже убрали латынь, старославянский, будем убирать у филологов обязательный курс «История СССР» и переводить его на факультатив, который, как известно, студенты посещать не будут. Неделю назад мы получили типовую программу для университетов, где русская литература сокращена на треть. Время для самостоятельных занятий студентов высвобождается за счет предметов по специальности и иностранного языка. Для русистов сокращена древнерусская литература... Когда-то нам, филологам, в течение двух семестров читали античную историю, столько же занимал курс истории СССР, мы слушали большой курс европейской истории. Так обстояло дело в пору моего студенчества. Теперь же, убирая «лишнее», мы не подозреваем, как скоро начнем сетовать (уже сетуем!) на недостаток патриотизма у своих детей и говорить о восстановлении исторической памяти. А воз будет не только там — он будет катиться назад.

Главная наша беда заключается в том, что готовим специалистов «для распределения». Этот принцип в большой мере сомнителен, так как опыт показал, что наше планирование исключительно дефектно и по сути фиктивно. Следуя ему, мы лишь заполняем бюрократические ведомости. Разве мы можем запланировать выпуск Ломоносова? Кто осмелится сказать, что через пять лет у нас будет всего один выпускник на химическом факультете, но

¹ Впервые: Дайджест «Ленинградский университет». 1999. 12 апр. С. 8—9.

184

зато равный Менделееву? Нет таких. Мы можем планировать только какую-то среднюю квалификацию, то есть не высшего класса. Специалистов такого ранга мы вообще не готовим. А без них нет и среднего, потому что если вы срезаете с горы вершину, то горы нет. Если нет Менделеева, то нет и школьных преподавателей химии. А между тем появление Менделеева при нашем планировании принципиально исключается. Вот поэтому мы готовим для школы плохих учителей на конвейере. И они представляют сейчас для школы серьезное препятствие, даже опасность, потому что считают свой уровень знаний высшим.

Я работаю на школу сорок лет, пишу книги, пособия, адресованные учителям, мои выпускники распределяются в школы — это тысячи людей, судьбы которых мне известны. Поверьте, сейчас я веду не отвлеченный разговор. Самые лучшие из учителей из школы уходят. Школа — это особый механизм, который отбрасывает тех, кто пытается работать не по стандарту, кто пытается внести в процесс обучения что-то творческое. Когда рядом с вами работает опытная учительница, которая считается прекрасным методистом, ее портрет висит на всех почетных досках, и она двадцать пять лет кряду повторяет одно и то же своим ученикам, — вы работать не сможете. Педагогический труд имеет свои профессиональные болезни, свои специфические травмы. С одной стороны, педагог бесконтрольно командует детьми, с другой — им бесконтрольно командует начальство. Он угнетатель и угнетенный в одном лице. Не случайно в нем развиваются различные комплексы и вместе с тем — чрезвычайное самомнение. Последнее — компенсация за ложное положение... Выпускник «деревенеет», теряет приобретенные знания, ориентируясь на старших товарищей, — вот уже перед нами то, что школьники называют «училка», которая твердо знает, как построить урок, застраховать себя от неожиданных ответов и как выступать с трибуны, делясь опытом. И она наверняка знает, что «Печорин — лишний человек», и стремится, чтобы об этом не забывали ее воспитанники. К чему приводит такая система? Школьники не читают классики. Классика, по их понятиям, обуза. Зачем читать сотни страниц «Войны и мира», если в десяти строчках учебника можно узнать, в чем идейное содержание произведения, в следующих пяти — прочесть о художественных особенностях, а заодно заучить несколько слов, применимых к Горькому, Шолохову, Пушкину и Гоголю. Был, дескать, передовым деятелем, патриотом, показал угнетение народных масс, разоблачал... Всегда, заметьте, что-то разоблачал!

А ведь когда-то учитель был самым интеллигентным человеком, которого люди встречали на протяжении почти всей своей жизни...

Беседа вторая

Беседа вторая, в которой профессор говорит о том, откуда берутся передовые люди, и опровергает мысль о том, что история не знает сослагательных наклонений

Глебу Успенскому принадлежит замечательное определение — «люди с большой совестью». Они были всегда — те, кто не так уж высоко ставили свое личное благополучие и даже жизнь, понимая, что все мы смертны... Они понимали и то, что жить оплеванными — тоже не удовольствие. Нет-нет,

185

жизнь, как таковая, далеко не всегда превыше всего. Мы с детства знаем слова Николая Островского о том, что «самое дорогое у человека — это жизнь» и т. д. Но может быть, как раз совесть есть самое дорогое? Или честь? А может быть, творчество есть самое дорогое и лучшее, что человеку дано? По логике знаменитого высказывания получается, что Пушкин был... дурак. Стрелялся с Дантесом, а между тем мог бы еще долго жить: он был человеком крепкого здоровья, дожил бы до восьмидесяти лет и сколько бы еще прекрасных вещей написал! А он решил, что поэмами можно пожертвовать. Есть такой момент в жизни каждого человека, когда он должен выйти к барьеру, потому что иначе он будет не человек. Он не будет себя уважать! А Пушкин в одном стихотворении написал: «И нас они (то есть домашние боги. — Ю. Л.) науке первой учат: / *Чтить самого себя*»¹. Если не уважаешь самого себя — жизнь не имеет никакой цены. Есть люди, для которых чувство уважения к себе достигает такого высокого накала, что требует жертв. «Зрелище бедствий народных / Невыносимо, мой друг, / Счастье умов благородных — / Видеть довольство вокруг»². Но при этом очень важна причастность к культурной традиции. Она — рельсы из прошлого в будущее. Но гораздо труднее самим класть рельсы и самим же по ним ехать: тогда все получается сложнее и гораздо менее надежно...

Передовые люди готовы постоять и пострадать за свои убеждения, которые непременно основываются на уважении и любви к другим людям — это обязательное условие. Для всякой гуманистической теории чрезвычайно важно уважение к другому человеку, к его праву *быть* независимо от того, угодно мне это или не угодно, к его праву быть таким, каким он хочет, а не таким, каким хочу я, чтобы он был. И я должен уважать в нем это право и требовать уважения к

себе, к своему праву быть, и быть таким, каким я хочу. Все это вместе взятое и есть уважение к народу, потому что народ — это я и ты, это наши родители и деды, которые умерли, это наши дети и внуки, которые будут. Позвольте процитировать такой источник, как Евангелие: «Кто говорит: „я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Из чувства ответственности, высокого чувства стыда, обостренного чувства совести, готовности идти на жертвы и причастности к культурной традиции и появляется передовой (или нужный для культуры) человек. Человек культуры.

Часто слышу мысль о том, что история не знает сослагательных наклонений. Не соглашусь: знает! Потому что ни одна ситуация не дает однозначного решения. История не фатальна. Мы видим шансы в прошлом и не видим их в настоящем. А знаете, почему мы мало видим шансов вокруг себя? Потому что шансы в прошлом или будущем нам ничего не стоят. (Вот образец «маниловщины»: «Если бы я был другом Пушкина, я бы заслони́л его от пули Дантеса...») Ведь всякое решение в сегодняшнем дне для меня чем-то чревато, оно мне что-нибудь да стоит. А убеждения наши отличаются только одним — той ценой, которую ты готов за них заплатить. Одну цену я готов заплатить за убеждение, что шоколадные батончики вкуснее, чем монпансье.

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 158.

² Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. Л., 1982. Т. 4. С. 116.

186

Но когда я встану на распустье: «Налево пойдешь — коня (или честь) потеряешь, направо — жизни лишишься», — что я предпочту, что скажу на словах и как поступлю в реальности? Когда этот выбор встанет передо мной, на что я смогу опереться? А опереться можно на воспитание, на семейную память, на какие-то глубокие душевные чувства и привязанности. Но чем труднее решение, тем оно и драгоценнее.

Если мы предположим, что в истории происходит то, что должно было произойти (а так мы часто говорим), то с нас нет никакого морального спроса. Мы уподобляемся бильярдным шарам: разве можно спросить с него, что он покатился под тем, а не иным углом? Он лишь подчинился законам геометрии, механики и т. д. У человека всегда есть выбор, ибо он обладает интеллектом. А интеллект дает возможность выбирать, так что человек еще располагает и информацией. Один бит информации есть минимальный выбор из двух. Интеллектуальная машина есть машина выбора, и поэтому история подразумевает повесть, которая такая же серьезная категория, как и экономические законы. История делается людьми, а не чайками, и каждая единица имеет выбор. И об этом очень точно писал Пушкин. (Екатерина II говорила, что когда ей нужно что-то обдумать или найти новое решение, она идет в кабинет Петра Великого и там это находит. Вот и нам, когда нужна глубокая мысль, нужно взять в руки том Пушкина.) Вот о чем идет речь в нижеследующей цитате. Когда впервые была сформулирована идея о закономерности истории, о том, что все вытекает одно из другого, это дало сильный импульс исторической науке. То была идея для своего времени очень важная. И увлекающийся, талантливый, но несколько поверхностный литератор Николай Полевой в своей «Истории русского народа» энергично начал развивать мысль о том, что история всегда закономерна. Пушкин на это ответил: «Не говорите: *иначе нельзя было быть*. Коли бы это была правда, то историк был бы астроном. Жизни человеческие были бы предсказаны в календарях, как солнечное затмение. Но провидение — не алгебра. Ум человеческий по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть *случая* — мощного, мгновенного орудия провидения»¹. Разве не подписался бы сейчас под этими словами любой математик?

В истории есть процессы случайные, но как только случайное совершилось, оно меняет коренным образом ситуацию и становится закономерным. История дает нам все время возможности выбора. А потому ни наш ум, ни наша совесть не есть нечто исключенное из истории. И личность человеческая из истории не исключена. Человек — это не марионетка, которую дергают за нитки исторические закономерности.

В разные эпохи Россия могла бы выбирать из множества путей. Возможно (и наверняка это так!), дело первого марта сорвало опыт первой русской конституции. Но смеем ли мы так осуждать этих людей, которые могли бы ответить нам словами А. П. Чехова: «Как терпеть, когда нет сил терпеть?» И сле-

¹ Пушкин А. С. Второй том «Истории русского народа» Полевого // Пушкин А. С. Т. 7. С. 144.

187

довало одно за другим польское восстание, и выстрел Каракозова у Летнего сада... А разве в России феодальной не предпринимались радикальные реформы? И Екатерина II, и Павел I, и Николай I — все они понимали необходимость отмены крепостного права. Почему же в России XVIII века не удалось то, что сделала Мария-Терезия в Австрии? (Она провела земельную реформу, которая подорвала основы феодализма в этой стране.) Передовые мероприятия, различные своевременные реформы срывались силами косности, привычки, бюрократии, наконец, и всем тем, что мы теперь называем «силами застоя», традиция которых в России очень сильна.

Когда мы говорим о необходимости нового мышления, мы, сами того не понимая, решаем для себя гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» Причем мы имеем вполне реальную перспективу

«не быть» уже на уровне наших внуков, в том случае, если это новое мышление не обречет. Бюрократия может отказаться от него, оперевшись, как всегда, на незримо присутствующий во всех ее рассуждениях тезис: «Мне хорошо за счет того, что другому плохо». Но в том-то и дело, что все мы сидим в одной лодке, и если потонем, то все вместе.

Беседа третья

Беседа третья, в которой профессор подает платок Пушкину

У Сергея Сергеевича Аверинцева есть хорошие слова о нравственных обязательствах историка быть справедливым по отношению к людям прошлого. Человеческие права наших предков не могут, по словам Аверинцева, быть упразднены тысячелетиями, а их самих нельзя превратить ни в схему, ни в модную картинку. То, что люди прошлого охраняют человеческие права, — это бесспорно. Поэтому мне неприятно видеть, как мы иной раз бесцеремонно вторгаемся в интимные тайны писателей прошлого, когда мы начинаем судить и рядить Наталью Николаевну Пушкину, защищать ее или обвинять. Она была женой Пушкина — и этого довольно. А Пушкин имеет право на свои тайны, которые ничего общего не имеют с тайнами творчества. Наталья Николаевна — женщина. Почему же мы с такой легкостью смеем чернить память женщины? Пушкин, защищая ее честь, вышел к барьеру! Скольких пушкинистов он бы вызвал на дуэль! Я думаю, что в этом «литературоведении» многое подсказывается мещанским интересом. Помните, Поприщин у Гоголя очень хотел знать: что по ту сторону закрытой двери? Этот интерес далек от интереса историков.

Но в словах Аверинцева есть другая интересная мысль. Живой человек до конца не познаваем, потому и историческую личность прошлого до конца познать не дано. Да что там прошлое — мы себя и своих современников плохо знаем! А тут мы имеем дело лишь с документами, которые, как правило, доходят до нас лишь во фрагментах. Их трудно понять в полной мере: вырванный из контекста и атмосферы своей эпохи, документ превращается в загадку. Однако то, что человек индивидуален и до конца не познаваем, не отменяет того, что он является человеком определенного времени и включен в типовые повторяющиеся психологические ситуации: такими ситуациями являются ситуация насилия, возмущения, бессилия... Человек всегда носитель определенного кода — языкового, культурного. К примеру, через тысячу лет

188

меня или другого моего современника смогут изучать как носителя русского языка. Иными словами, каждый человек всегда в чем-то неиндивидуален. Если бы он был абсолютно индивидуален, человек был бы всегда одинок. При этом чем гениальнее человек, тем он и неповторимее! Но человек всегда входит в какие-то общности. Когда вы входите в лицейскую атмосферу, видите Пушкина и Дельвига взрослыми людьми, уже перешагнувшими за грань тридцатилетия, и когда вы видите, как эти взрослые люди смотрят друг другу в глаза, как влюбленные, то сможете открыть в Пушкине то, что есть в Дельвиге, а в Дельвиге то, что есть в Пушкине. Но если вы не захотите принять это во внимание и заявите, что Пушкин был индивидуален, то общим красивым словом замените понимание его личности.

Но Пушкин не только лицеист, ибо любой человек — это сгусток культурных полей, которые создает его время. К примеру, он отстаивает свою честь на дуэли. А такой не менее тонкий и в не меньшей степени обладающий честью человек, как Чехов, на дуэль бы не вышел никогда. Это варварский для Чехова способ. Неужели он, умный, интеллигентный, тонкий человек конца XIX века, будет пулей решать конфликты?! Дуэль в чеховскую эпоху насаждается в офицерской среде грубо, сверху — это пошло с Александра III. Впрочем, все вышесказанное не означает, что в Чехове меньше чести, чем в Пушкине! Такой тонкой души и такого честного человека еще поискать! Та тонкая духовная организация, которую создала русская культура в Чехове, — это одно из величайших достижений мировой культуры. Мы сейчас по своему невежеству думаем, что честь защищают на дуэли. Для Чехова дуэль — это драка. Или — гонор. Вспомните его «Дуэль». Или «Поединок» Куприна. Разве интеллигентные, тонкие вопросы решаются обменом пуль? В чеховскую эпоху — нет. Вот почему для Чехова решать вопросы чести дуэлью — то же самое, что забивать микроскопом гвозди.

Честь не есть выражение чести. Честь — нечто гораздо более глубокое, и выражается она в разные эпохи по-разному.

Мы говорили о том, что человек всегда входит в какие-то общие категории. Так, Пушкин несет на себе печать дворянина своего времени. И это совсем неплохо! Дворянская культура была великой, но, как всякая культура, она имела две стороны. Пушкин тоже отвечал и той и другой стороне. И то, что он пишет, к примеру, о Надеждине, читать неприятно, потому что Пушкин третирует Надеждина как поповича. Он пишет: «Он показался мне весьма простонародным... и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный»¹. Действительно, по законам поведения в дворянском обществе, Надеждин сделал чудовищный прокол: он, мужчина, подал другому мужчине платок. Но Надеждин — литератор, который зло критиковал Пушкина, — поднял гению платок. А Пушкин в быту был светским человеком и хотел ни в чем не уступать своему правилу, как вы помните из его «Египетских ночей». Он ненавидел в быту быть литератором — и уж тем более гением! Ненавидел позу и всякую драпировку. Светский человек — это, по понятиям того времени, приличный, хорошо воспитанный, сдержанный,

¹ Пушкин А. С. Table-talk // Пушкин А. С. Т. 8. С. 111.

189

скромный человек и исключительно гуманный. Вместе с тем, однако, ревниво хранящий даже внешнее свое достоинство. А Надеждин с этим не посчитался...

И все же мои симпатии на стороне Надеждина. Боюсь, что я, проявив дурное воспитание и полное отсутствие аристократизма, тоже бы поднял Пушкину платок.

...В чем притягательность пушкинской эпохи? А в чем притягательность детства? В осознании того, что главные пути в жизни еще не пройдены. Чем ближе к началу, тем больше альтернатив и, как говорят кибернетики, степеней свободы. Пушкинская эпоха давала множество дорог, по которым наша культура не пошла...

Сейчас часто вспоминают слова Н. В. Гоголя о том, что «Пушкин — это русский человек в развитии, в котором он явится через 200 лет»¹. Срок исполнения гоголевских слов не за горами. Мне же кажется, что Гоголь несколько поторопился. История и культура развиваются скачкообразно. Но не будем терять надежду. Лучше постараемся быть адекватными, вдумчивыми читателями Пушкина. Это тоже немало.

¹ Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Т. 8. С. 50.

190-

Великие собеседники

Поэт, ученый, патриот¹

Михаил Васильевич Ломоносов принадлежал к энциклопедическим умам: поэзия, филология, философия, физика, астрономия, химия, металлургия, история, художественная мозаика, геология — таков далеко не полный список областей знания, в которых он оставил след как самообытный и глубокий мыслитель. И в каждой из этих областей он выступал как прокладыватель путей, ученый-новатор. Ломоносов ставил химические опыты, собирал и изучал летописи, работал над грамматикой и географическим атласом, обучал студентов и составлял государственные проекты — и все это выполнял с жаром, страстью и научной добросовестностью. Каждый химический закон стоил сотен опытов; создавая грамматику, он исписывал стопы бумаги, стремясь уловить живые черты языка. Когда уже в конце своей жизни он составил список известных ему языков, — их оказалось *тридцать!*

И все же значительная доля немеркнувшего обаяния Ломоносова связана с другим — с личностью и судьбой этого человека. Жизнь, словно нарочно, ставила Ломоносова в условия, которые должны были воспрепятствовать развитию его научного дарования. Общеизвестны трудности, с которыми столкнулся юноша-крестьянин, боровшийся за свое право учиться в императорской дворянской России XVIII века. Известна нищета, которую преодолел он, будучи студентом, и то, сколько настойчивости и самостоятельности, веры в свое призвание пришлось ему проявить, чтобы с дороги средневековой схоластики выйти на путь европейской науки.

Гораздо меньше знают о дальнейшей жизни Ломоносова — на первый взгляд, менее богатой яркими эпизодами. А между тем вся жизнь его, до последних дней, была напряженной борьбой и подвигом на благо науки.

Ученый и патриот, он вынужден был с горечью видеть, как дело его жизни зависело от капризного произвола скучающих вельмож, бороться с интригами, защищать интересы науки, свое человеческое достоинство, преодолевать материальную нужду. Эта непрерывная и жестокая борьба истоша-

¹ Впервые: Советская Эстония. 1961. 19 нояб. С. 3.

191

ла силы Ломоносова. Незадолго до смерти он написал: «Я не тужу о смерти, пожил, потерпел, и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют»¹.

Чувство человеческого достоинства, в высшей мере присущее Ломоносову, было связано не только с естественной гордостью большого ученого и поэта. Ломоносов с полным основанием считал себя представителем народа, видел в своих заслугах проявление народной одаренности и поэтому не мог не возвыситься над мышиною возней дворцовых сплетен и академических интриг. Именно это — гордость гения, не желающего гнуть шею перед вельможей, раболепствовать перед чиновником, — выделит в Ломоносове Пушкин: «С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть»². Далее Пушкин, сам с напряжением отстаивавший свое человеческое достоинство от покушений Николая I, с уважением цитировал письмо Ломоносова вельможе Шувалову, который вздумал было над ним пошутить: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у Господа моего Бога дураком быть не хочу». В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» «Нет, — возразил гордо Ломоносов, — разве Академию от меня отставят»³.

Заслуги Ломоносова перед русской и мировой наукой и русской поэзией — огромны. Основатель материалистического направления в русской философии, борец за развитие опытных наук, реформатор русской поэзии, основоположник научного языкознания в России, Ломоносов заложил фундамент всего последующего развития русской науки. В развитии науки он видел не только профессиональный долг ученого, но и подвиг гражданина, патриота.

Деятельность Ломоносова — ученого и популяризатора научных знаний вызвала яростное сопротивление церкви, и Ломоносов вступил в чрезвычайную смелую по тому времени борьбу с нею. В работах по астрономии он едко издевался над предрассудками людей, видящих в небесных явлениях «божественные предсказания». Это, язвительно писал он, мнение «бродящих по миру богаделенок», «кои не токмо во весь свой долгий век о имени астрономии не слыхали, да и на небо едва взглянуть могут, ходя сугорбясь. Таковых несмысленных прорекательниц и легковерных внимателей скудоумие ничем, как посмеянием, презирать должно»⁴.

Еще резче преследовал Ломоносов суеверия и предрассудки в стихотворных сатирах. Религия — враг науки:

Боясь падения неправой оной веры,
Вели всегдашню брань с наукой лицемеры...⁵

¹ Ломоносов М. В. 1765 февраля 26 — марта 4. План беседы с Екатериной II об обстоятельствах, препятствующих работе Ломоносова в Академии наук // Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. М.; Л., 1957. Т. 10. С. 357. Далее ссылки на это издание даются с указанием автора, тома и страницы.

² Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А. С. Т. 6. С. 283.

³ Там же. С. 285—286.

⁴ Ломоносов М. В. Явление Венеры на солнце... // Ломоносов М. В. Т. 4. С. 370.

⁵ Ломоносов М. В. О пользе стекла... // Там же. Т. 8. С. 517.

192

Ломоносов был пламенным патриотом. Вся жизнь его посвящена служению родине. Россию он называл своей «возлюбленной матерью». Отдав всю свою жизнь для славы и просвещения своей страны, мечтая видеть ее богатой и великой, Ломоносов вместе с тем был исполнен уважения к другим народам, их жизни и культуре. Великий ученый многократно резко осуждал колониальные захваты. Описывая захват испанцами Мексики, он ясно выразил свое отвращение к порабощению одних народов другими:

Уже горят Царей там древняя жилища,
Венцы врагам корысть и плоть их вранам пища!
И кости предков их из золотых гробов
Чрез стены падают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом, и тиранством¹.

Надеясь, что процесс науки избавит человечество от нищеты и порабощения, Ломоносов мечтал о содружестве свободных и просвещенных народов. Живя в век непрерывных войн, он не уставал призывать к миру — «возлюбленной тишине». Обращаясь к России, он писал:

Великая промолви Мать
И повели войнам престать².

Большое внимание уделял Ломоносов изучению культуры и языков народов, населявших Россию и смежных с нею. Его с полным основанием можно считать основоположником финно-угроведения в России. Записи его свидетельствуют о том, что эстонский, венгерский и финский языки были в поле его внимания. Более того, именно Ломоносов впервые указал на роль финских племен как исторических соседей славян и на необходимость историку России знать язык и быт ближайших соседей. В его сочинениях разбросаны замечания, свидетельствующие о постоянном внимании к этому вопросу. В «Древней российской истории» он писал: «Народ почитал идола Иомалу, что на ливонском, финском и на других чудских диалектах бога значит»³. В другом сочинении читаем: «Лопари белокуры, больше финского облику; язык с финским, как французский с итальянским сходны»⁴. Под влиянием Ломоносова русские историки XVIII века — например Татищев, — обратились к изучению финских языков, быта и поверий этих племен.

Политические воззрения Ломоносова были воспитаны его эпохой. Стремясь к благу родины, он искренне верил в то, что защиту народных интересов и научный прогресс в России лучше всего обеспечит власть просвещенного царя-патриота, царя-труженика. Этот утопический идеал Ломоносов старался подкрепить ссылкой на Петра I, чью деятельность он значительно идеализировал. Жизнь дала Ломоносову суровый урок. Ему приходилось быть свидетелем того, как в результате дворцовых переворотов на русском престоле

¹ Ломоносов М. В. О пользе стекла... // Ломоносов М. В. Т. 8. С. 514.

² Ломоносов М. В. Разговор с Анакреоном // Там же. С. 767.

³ Ломоносов М. В. Древняя российская история... // Там же. Т. 6. С. 196.

⁴ Ломоносов М. В. Примечания [на рукопись «Истории...» Вольтера 1757 г.] // Там же. С. 92.

193

оказывались то мрачно-деспотическая Анна Иоанновна, то легкомысленная Елизавета, то лицемерная Екатерина II. Ломоносов не мог не видеть, как далеко отстоит его утопический идеал

прогрессивного монарха от реальных русских царей и цариц. Ломоносов не нашел выхода из этого, глубоко для него трагического, противоречия. Только человек следующего поколения, А. Н. Радищев, смог сделать вывод о порочности самого принципа самодержавной власти.

Имя Ломоносова вспоминает каждый, кто обращается к истории русской поэзии, науки, просвещения. Но и Радищев, и Пушкин, и Белинский, и Герцен, и Некрасов видели в Ломоносове большее — проявление творческих сил народа, его способность, преодолевая любые препятствия, пробиваться к знанию и правде. Н. А. Некрасов, вспоминая жизнь Ломоносова, «архангельского мужика», который «стал разумен и велик», писал:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, —

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!¹

Имя Ломоносова навсегда останется среди имен славных, благородных и сильных, любящих свою родину представителей русской культуры.

Профессор, издатель и партизан

К 150-летию Отечественной войны 1812 года

12 (24) июня 1812 года огромная, тщательно подготовленная армия Наполеона перешла через Неман и углубилась на территорию России. Началась Отечественная война. А через несколько дней из Тарту выехало несколько повозок, груженных типографскими машинами, латинскими и русскими шрифтами и литературой. Обоз сопровождало несколько типографских рабочих, а в ехавшем рядом экипаже сидели профессора Тартуского университета Кайсаров и Рамбах.

При известии о начале войны профессора обратились в штаб русских войск, предложив свои услуги с тем, чтобы организовать в действующей армии печатание листовок, агитационной литературы. Предложение было принято, и Барклай-де-Толли обратился к университету с предложением

¹ Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем. Л., 1981. Т. 2. С. 35.

² Впервые: Советская Эстония. 1962. 25 сент. С. 3.

194

немедленно снабдить профессоров всем необходимым и срочно снарядить их в действующую армию.

В лагере у Дриссы обоз нагнал армию. Директором походной типографии был назначен Андрей Сергеевич Кайсаров. Это был замечательный человек: способный литератор, филолог, доктор философии Геттингенского университета, где он в 1806 году защитил на латинском языке диссертацию «О необходимости освобождения рабов в России». Он владел немецким и французским языками, свободно изъяснялся по-английски и по-итальянски, изучил также древние и славянские языки. В то же время он не был кабинетным ученым. Кайсаров был человеком с обостренным гражданским, патриотическим чувством. Вся его короткая жизнь была наполнена стремлением к общественной деятельности. Правда, это стремление не раз разбивалось о сопротивление косной государственной бюрократии тех лет. Кайсаров мечтал об объединении научных сил всех славянских народов, о создании широкой просветительной организации, которая объединяла бы всех студентов русских университетов. Война открыла новое поприще для общественной деятельности, и Кайсаров не мог этим не воспользоваться.

Лагерь на реке Дриссе, куда прибыли Кайсаров и его спутники, был выбран крайне неудачно генералом Пфулем. Армия вынуждена была отступить оттуда к Витебску. Обстановка в штабе 1-й армии, куда прибыл Кайсаров, была очень трудной. Командовал армией Барклай-де-Толли, однако фактически власть его была ограничена. С одной стороны, его действия не встречали сочувствия со стороны группы военных деятелей. С другой — власть командующего была ограничена присутствием в армии императора, с тучей военных советников и придворных чинов, и взбалмошного брата царя, великого князя Константина Павловича. Декабрист А. П. Муравьев позже вспоминал, как в его присутствии Константин публично называл Барклая-де-Толли изменником и отказывался выполнять его приказы.

Присутствие царя сказалось отрицательно и на первых опытах типографии. Одним из них, видимо, было издание листовки, составленной прусским либеральным государственным деятелем и патриотом фон Штейном и обращенной к немецкому народу и немецким солдатам в армии Наполеона. Листовку редактировал Александр I — он вычеркнул показавшееся ему «опасным» место о предательстве немецких князей и патриотизме народа. Естественно, что в этих условиях типография Кайсарова не могла стать центром пропаганды идеи народной, партизанской войны. А идея эта зрела в сознании патриотических сил в армии и тылу. Пламенным сторонником ее был А. Кайсаров, решительно высказывали ее столь различные по военным принципам полководцы, как Багратион, командовавший 2-й армией, и Барклай-де-Толли.

Но вот царь и придворная камарилья 6 июля покинули армию, стоявшую под Полоцком. Для типографии Кайсарова начался новый период. Время было трудное и, казалось бы, мало подходящее для литературной работы и развертывания типографии с неуклюжими машинами.

Армия все время находилась в движении, отходя с тяжелыми арьергардными боями. Штаб 1-й армии с короткими остановками двигался на Витебск. И все же типография Кайсарова сразу заработала. Под Витебском была выпущена газета «Россия-

195

нин» (видимо, удалось издать лишь один номер). Первая фронтовая газета — уникальное явление в русской периодике — была составлена лично Кайсаровым. В дальнейшем историки забыли об этом примечательном факте, а он между тем достоин самого пристального внимания. Особенно характерно, что в центре внимания первого же номера газеты оказались победы Кутузова на Дунае. Кутузов был окружен в семье Кайсаровых ореолом любви и уважения: родной брат Андрея Кайсарова Паисий, полковник, позже генерал, был многолетним любимцем Кутузова, его адъютантом и доверенным лицом. Андрей Кайсаров еще в 1811 году в Дерпте (Тарту) в университетской речи прославлял патриотизм Кутузова. Но дело не в этом: в условиях трудного начала войны общественное мнение искало фигуру, которая могла бы сыграть роль народного вождя. Взоры всех обращались к Кутузову. Царь его не любил. После заключения Бухарестского мира Кутузов не получил нового назначения и жил в деревне. В один и тот же день, 17 июня, московское и петербургское дворянство единодушно избрало Кутузова командующим своими ополчениями. То, что Кайсаров значительную часть первого номера своей газеты посвятил победам Кутузова, конечно, не было случайно.

Типография работала с большой нагрузкой. Солдат наполеоновской армии Цезарь Ложье записал в своем дневнике: «19 июля (1812 г.). Движение на Березино. Находим по дороге множество печатных прокламаций, оставленных для нас русскими: переписываю несколько отрывков: „Итальянские солдаты! Вас заставляют сражаться с нами <...> Вспомните, что вы находитесь за 400 миль от своих подкреплений. Не обманывайте себя относительно наших первых движений; вы слишком хорошо знаете русских, чтобы предположить, что они бегут от вас. Они примут сражение, и ваше отступление будет затруднительно. Как добрые товарищи, советуем вам возвратиться к себе; не верьте уверениям тех, которые говорят вам, что вы сражаетесь во имя мира. Нет, вы сражаетесь во имя ненасытного честолюбия государя, не желающего мира. Иначе он давно заключил бы его. Он играет кровью своих храбрых солдат...”¹ Вот как пригодилось Кайсарову его знание итальянского языка, над изучением которого он упорно работал в Геттингене!

Двадцать второго июля армии Барклая и Багратиона соединились у Смоленска. Оборона Смоленска — одна из героических страниц 1812 года. Зазвучала вслух идея народной войны. Впервые печатно она была высказана в листовке, отпечатанной в типографии Кайсарова (он был, видимо, и автором, хотя под ней была поставлена официальная подпись Барклая-де-Толли). Листовка была обращена к крестьянам Псковской, Смоленской и Калужской губерний и призывала их к вооруженной борьбе. Партизаны назывались в ней «истинными сынами Отечества». «Они вооружились в домах своих с мужеством, достойным русского, карают злодеев без всякой пощады. Подражайте им!»² Чтобы оценить смелость этого воззвания, следует помнить, что царь был решительным противником вооружения народа, а хваставшийся патриотизмом командующий в Москве реакционер граф Растропчин отказался воору-

¹ Ложье Ц. Дневник офицера великой армии в 1812 г. М., 1912. С. 38—39.

² Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г. М., 1900. Ч. 7. С. 246.

196

жать московский люд со словами: «Мы еще не знаем, как повернется русский народ»¹.

По прибытии в армию в качестве командующего М. И. Кутузова Кайсаров оказался в центре кипучей деятельности по организации народной войны. Рамбах вернулся в Тарту — Кайсаров продолжал один руководить делом. Нам не известно, что делала типография в напряженные дни отступления к Бородину, Бородинской битвы и оставления Москвы. Но мы знаем, что в день Бородина Кайсаров был рядом с Кутузовым. Он был в группе, проходившей через уже оставленную, опустевшую Москву. Листовок, датируемых этими днями, не сохранилось. Может быть, их и не было, а может быть, они затерялись в это грозное время. Но уже то, что Кайсаров в трудных условиях отступления сохранил свою типографию, доставил ее в Тарутино, — настоящий подвиг.

Двадцать первого сентября Кутузов, совершив знаменитый фланговый марш, оторвался от авангардов французской армии и встал лагерем в пятидесяти километрах от Москвы, в деревне Тарутино. Здесь армия пополнялась, активно организовывалось партизанское движение. Типография Кайсарова зажила полной жизнью. Вокруг типографии сложился кружок молодых, патриотически настроенных людей. Ночью на дороге от Бородина на Москву Кайсаров встретил поэта Жуковского в ополченском мундире — своего старого друга. К ним присоединился другой поэт — Воейков. (После смерти Кайсарова он занял его место на кафедре Дерптского — Тартуского университета). К кружку примкнул и друг Кайсарова по Геттингенскому университету, в будущем историк, Михайловский-Данилевский.

Типография, работавшая под личным наблюдением Кутузова, выпускала листовки, брошюры, воззвания на русском, немецком и французском языках. Печатавшиеся здесь реляции штаба Кутузова расходились по всей России и перепечатывались в столице. Это были умело

составленные агитационные документы, настойчиво пропагандировавшие идею народной войны. Однако типография Кайсарова ставила перед собой и другую цель, которая не могла быть достигнута с помощью официальных бумаг штаба.

Во время нахождения в Тарутинском лагере Кутузов подвергался при дворе Александра I нападкам и поношению. Его почти открыто обвиняли в сдаче Москвы, старались взвалить на него ответственность за отступление. Только боязнь общественного мнения и растерянность препятствовали царю сместить главнокомандующего. В этих условиях издания типографии Кайсарова прославляли Кутузова, его тактику, объясняли спасительность действий главнокомандующего. В Тарутине, в палатке Кайсарова, Жуковский написал знаменитое стихотворение «Певец во стане русских воинов», в котором призывал «доверенность к герою» (Кутузову) и горячо прославлял его. К типографии Кайсарова потянулись передовые люди. Для нее написал замечательную листовку один из самых интересных людей в богатой интересными людьми русской армии 1812 года, М. Ф. Орлов, — тот человек, которому предстояло подписать акт о капитуляции Франции и сде-

¹ Глинка С. Записки. СПб., 1895. С. 255.

197

латься одним из активных декабристов, другом Пушкина и собеседником Герцена.

В трудных условиях зимнего наступления типография Кайсарова продолжала свою работу. В великом деле организации народной войны есть и ее немалый вклад.

Но вот кампания 1812 года была завершена, вскоре скончался Кутузов. Обстановка в штабе с возвращением царя, прибытием людей типа Аракчеева резко изменилась. Кайсаров почувствовал себя лишним. Брат его еще раньше ушел из штаба и стал во главе крупной армейской «партии» (партизанского отряда). Пропагандист народной войны Андрей Кайсаров жаждал принять в ней личное участие. 15 мая 1813 года профессор-партизан героически погиб в отряде своего брата.

Андрей Сергеевич Кайсаров, ученый-солдат, был смелым, скромным человеком. Он искал опасности, а не наград, и официальная дворянская историография, вообще несправедливая к Кутузову и его сподвижникам, забыла его. Но теперь, в дни 150-летия великих битв, уместно почтить память профессора-патриота. Правда, напрасно мы будем искать в Тарту улицу или хотя бы мемориальную доску с именем Кайсарова. А ведь он заслуживает того. Чтя подвиг Кайсарова, следует вспомнить и о безымянных типографских рабочих-эстонцах, выехавших с ним из Тарту и разделивших весь героический путь военной типографии Тартуского университета.

В мире гротеска и философии¹

Читатель, вступающий в мир философских романов и повестей Вольтера, сразу оказывается ошарашенным фантастическим потоком событий: эпизоды, один страннее и необычнее другого, следуют с калейдоскопической скоростью кинематографа 1920-х годов. Землетрясения и костры инквизиции, зверства солдат и галантные похождения «безбрачных» католических священников, похищения и суды — нелепые и смехотворные, но заканчивающиеся не смехом, а жестокими казнями, следуют друг за другом. И читатель готов, пожав плечами, отвернуться от неправдоподобных историй, которые насочинял двести с лишним лет тому назад насмешливый старик Франсуа-Мари Аруэ, известный всему миру под именем Вольтера. Или, сказав себе: «В жизни так не бывает», успокоиться, решив, что перед ним забавные сказочки, которые можно почитать на досуге.

¹ Данная статья была написана Ю. М. Лотманом летом 1978 г. по заказу издательства «Eesti Raamat» как предисловие к эстонскому переводу философских повестей Вольтера. Впервые на эстонском языке: Grotkeski ja filosoofia maailmas // Voltaire. Filosoofilised jutustused. Tallinn, 1979. В оригинале впервые напечатана: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. IV. Новая серия. Тарту, 2001. Благодарим Л. И. Вольперт за помощь в подготовке текста. (Примеч. составителей).

198

«В жизни так не бывает...»

Гоголь, написав совершенно неправдоподобную повесть о том, как у петербургского чиновника ушел его нос и как этот нос стал вдруг господином Носом, видным бюрократом, обогнавшим по чину своего бедного хозяина, заключил: «Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия»¹. Гоголь не писал, что литература иногда неправдоподобна, — иногда неправдоподобна жизнь, утверждал он.

Жизнь может таить в себе элементы гротеска, издевки, фантастики. Тот, кто жаждет Разума и Гармонии, кто несет в своем сознании высокий идеал Жизни, одухотворенной смыслом, именно он в первую очередь замечает, как нелепа привычная действительность, как глуп и оскорбителен тот мир, который другим кажется «нормальным». Но для того, чтобы обычный читатель попал в этот мир, нужно, чтобы дверь ему открыл наблюдатель-философ, который поведет его по сумасшедшему дому человеческой жизни, как Вергилий повел Данте по кругам ада. А в конце изумленный читатель обнаружит, что он, думая, что находится в фантастическом царстве кривых зеркал, входил в свою собственную жизнь, а наблюдая экстравагантных жителей этого бедлама, смотрел в зеркало.

Сочетание величественной философии и гротескной действительности характеризует не только романы Вольтера — такова и его жизнь. Одно ее лицо — мудрец и философ, автор 90-томного собрания сочинений (которое совсем не полно), ученый, охвативший все области современного ему знания, распространивший физику Ньютона на Европейском континенте и за это избранный почетным академиком в Петербурге, в то время как Академия в Париже трижды проваливала его кандидатуру, историк, заложивший основы современной науки о всеобщей истории человечества и давший ряд блестящих конкретных исследований по истории Франции, Англии, Швеции и России, юрист, философ, теоретик литературы и одновременно политик и трибун, борец за поправные права человека в мире феодального бесправия. Облик этого человека величествен. Слово его волнует Европу, и короли домогаются его дружбы: Фридрих Прусский при свидании целует его руку, Екатерина II из Петербурга заискивает перед ним, короли Швеции и Англии, немецкие князья и дипломаты всей Европы дорожат его вниманием, боятся его сарказма и трепещут перед его гневом. Ферне — поместье на границе Франции и Швейцарии, куда он удалился, становится местом паломничества. Туда, как в новый Рим, стекаются со всех стран поклонники разума и просвещения. Обиженные, угнетенные, несправедливо осужденные видят в «фернейском патриархе» своего адвоката.

А вот и другое лицо жизни Вольтера: суетность и тяга к сильным мира сего вовлекают его не раз в двусмысленные и даже унижительные положения; если гордый плебей Руссо предпочитает нищету подачкам и бездомные скитания милостям богатых покровителей, то Вольтер не брезгует подарками, которые иногда приносят ему нечистые руки, движимые еще более нечистыми побуждениями. Жизнь Вольтера — почти непрерывная цепь гонений.

¹ Гоголь Н. В. Т. 3. С. 73.

199

Но он умеет найти себе и могущественных покровителей, и вполне надежные и комфортабельные убежища в феодальных замках просвещенных и вольнодумных вельмож. Так, например, в 1745 году официальное признание, казалось, приблизилось к Вольтеру: писатель, дважды сидевший в Бастилии, присуждавшийся к изгнанию, чьи книги сжигались на Гревской площади Парижа рукой палача, — он был призван ко двору.

Дело в том, что официальная фаворитка Людовика XV г-жа Шатру скончалась. А место фаворитки короля было в дореволюционной Франции почти официальной должностью, и должностью более важной, чем первого министра. Вакантное место штурмом взяла юная красавица, дочь крестьянки, не имевшая доступа даже в передние Версальского дворца, но с детства поставившая перед собой цель сделаться любовницей короля, — мадмуазель Этиоль, вскоре получившая известность под именем маркизы де Помпадур. Юная Этиоль была в числе приятельниц Вольтера, и когда он в посвящении к повести «Задиг, или Судьба» писал ей (под именем вымышленной «султанши Шераа»): «Не целую праха ног ваших, ибо вы почти не ходите, а если и ходите, то по иранским коврам или розам», то здесь, под покровом пышного «восточного» комплимента, скрыта легкая ирония: Вольтер прекрасно знал, что ноги маркизы Помпадур не всегда попирали ковры и розы. В этом же посвящении он писал «султанше»: «Вы любите своих друзей»¹. Помпадур приблизила Вольтера ко двору, он получил звание придворного историографа и королевского камергера. Академия открыла перед ним свои двери. Он пишет официальные поэмы и ставит пьесы, прославляющие короля.

Но при дворе он чужой. Он не в силах скрыть своего умственного превосходства. Поставив оперу в честь короля «Храм славы», он сам же осмеял ее в злой эпиграмме, назвав «ярмарочным балаганом», и, не удержавшись, пустил эпиграмму по рукам. Король демонстрирует ему холодное презрение, придворные смеются над ним, а мучимые завистью собратья по перу мстят за успехи целым потоком печатной и рукописной клеветы. И тут из-за спины Вольтера-придворного, готового на уступки и компромиссы, выглядывает непримиримый Вольтер-трибун и Вольтер-философ. Присутствуя со своей возлюбленной м-м дю Шатле при карточной игре в королевском дворце, он замечает увлекшейся и проигравшей крупную сумму женщине, что надо играть осторожнее, когда находишься в компании шулеров и всякой сволочи. То, что замечание это было брошено по-английски, означало совсем не желание скрыть обидную фразу от придворных ушей (знание английского языка было почти обязательным в «модном свете» Франции XVIII века, в котором еще совсем недавно тон задавали английские аристократы-эмигранты). Это должно было подчеркнуть обидное для двора высокомерие: Вольтер становился в позу не плебея, польщенного тем, что его допустили в высший свет, а просвещенного европейца, знаменитого писателя, известного от Лондона до Петербурга, с отвращением наблюдающего ничтожество людей, с которыми его столкнула судьба.

¹ Romans de Voltaire. Paris, 1809. Т. 1. Р. 3—4. Здесь и далее тексты философских повестей Вольтера цитируются Ю. М. Лотманом по этому изданию в собственном переводе с французского.

200

Этой же ночью ему пришлось бежать из Парижа.

Однако он не искал спасения в скитаниях по большим дорогам или на крошечном острове посреди Бриенцкого озера в Швейцарии, как Руссо, а направился в замок герцогини Мэнской, богатой и влиятельной особы, оказывавшей ему покровительство. Здесь, скрываясь от нескромных

глаз, не выходя из комнаты, в которой шторы были спущены, а жалюзи закрыты, он провел осень 1747 года. Здесь он написал первые «философские повести»: «Видение Бабука», «Мемнон» и «Задиг».

Мы остановились относительно подробно на этом эпизоде не только потому, что с ним связано начало обращения Вольтера к жанру произведений, включенных в настоящее издание (т. е. повести. — *Ред.*). В истории краткого сближения Вольтера с придворными кругами Парижа ясно выразилась не раз повторявшаяся в его жизни модель отношения писателя и власти, сильных мира сего: сначала сближение, при котором Вольтер допускается почти как равный; его ласкают, им восхищаются, ему кажется, что в этом кругу звания, знатность и должности не имеют значения, что Ум и Талант ставят его вровень с людьми, стоящими на вершине общества. Затем начинается взаимное разочарование: писатель замечает, что в нем видят лишь своеобразное развлечение, разновидность высококвалифицированного шута, а высокие собеседники обнаруживают, что «выскачка зазнался» и претендует на подлинное равенство и собственное достоинство. Гордость Вольтера распрямляется: из забавного собеседника, автора застольных острот и стихотворных комплиментов, он превращается в сатирика и трибуна. Тут власть прибегает к насилию, маски падают: с одной стороны оказывается Разум в лице гениального писателя-одиночки, не защищенного ничем, кроме таланта, с другой — Власть, опирающаяся на деспотизм грубой силы. И именно здесь вспыхивает поединок, ареной которого делается вся Европа, а зрителями — все читатели эпохи. И Разум, нанося Власть страшные удары, убеждает всех в том, какой обладает он силой. Вольтер уже борется не за себя и мстит не за свое оскорбление: он борется за униженное человечество и мстит за попранные права человека.

Вот пример из периода, когда Вольтер делал еще первые шаги в жизни и литературе. Вольтеру тридцать лет. Он молод, но уже если не знаменит, то известен. Его трагедия «Эдип» (под которой впервые появился псевдоним «Вольтер») пользуется успехом. Он только что опубликовал в тайной печати (во Франции существовало большое число незарегистрированных типографий, да и те, что были официально признаны, не брезговали доходом от выпуска запрещенной книги, ставя на титуле фиктивные указания на Гаагу, Лейден или Франкфурт как место печати) первый вариант поэмы «Генриада» (под названием «О лиге»). Публикация принесла ему известность, хотя он тут же, используя тактику, к которой многократно прибегал в дальнейшем, объявил о своей непричастности к этому изданию, якобы предпринятому без его ведома.

Как молодой и модный литератор он, несмотря на свое буржуазное происхождение, принят в салонах высшей знати. Он дружит, как равный, с герцогом Сюлли, принцем Конти, маркизом д'Аржансоном. В литературных салонах он привык первенствовать, затмевая всех присутствующих. Это не понравилось молодому щеголю кавалеру де-Рогану. Однажды он принялся публично издеваться над плебейской фамилией и происхождением своего врага

201

(Вольтер происходил из семьи уважаемого и состоятельного нотариуса, но предки его были ремесленниками в Пуату). «Я не волочу за собой великого имени (Роган принадлежал к знаменитому роду, давшему Франции полководцев, придворных и мятежников) — я сам прославлю свое имя», — отвечал Вольтер. Щеголь не нашелся, что ответить. Драться на дуэли с плебеем было смешно — он избрал другой выход: напустил на Вольтера своих лакеев. Двое лакеев держали молодого писателя, а двое избивали, в то время как щеголь из кареты с удовольствием наблюдал эту сцену. Избиение происходило на пороге дома Сюлли, где Вольтер был гостем, но ни Сюлли, ни другие великосветские приятели Вольтера не встали на его защиту. Расправа дворянина с плебеем-литератором казалась им естественной. Вольтер рвался отстоять свою честь на дуэли — его упрятали в Бастилию. Здесь он просидел недолго, но по выходе из тюрьмы сразу же был выслан из Франции. Вольтер уехал в Англию.

Личная месть Рогану — дуэль — не удалась. Мелочью была и месть Сюлли: Вольтер убрал из изданной в Англии «Генриады» все упоминания о подвигах его предка, министра Генриха IV. Личное оскорбление Вольтер обобщил, и оно стало лишь штрихом в общей картине унижений, которые приносит человеку общественное неравенство. В Англии он написал «Философские письма» (английский перевод вышел в 1733-м, французский оригинал — в 1734 году) — первая атака Вольтера на мир феодальных предрассудков. Книга была осуждена парижскими властями как «соблазнительная, противная религии, добрым нравам и почтению к властям» и публично сожжена рукою палача. Здесь же были написаны тираноборческие пьесы «Брут» и «Смерть Цезаря». Путь, по которому пошел Вольтер, был избран.

По очень сходной схеме будет развиваться и другой эпизод, относящийся совсем к другому — более позднему — периоду жизни Вольтера. Мы уже говорили, что попытка Вольтера сблизиться с версальским двором окончилась провалом — из резиденции короля Франции ему пришлось скрыться. Начиная с 1734 года у него было надежное убежище от житейских бурь — замок Сиресюр-Блез в Шампани, поместье его друга и возлюбленной, маркизы Эмили дю Шатле, женщины редкой образованности, увлекавшейся математикой и философией. Но в 1749 году молодая женщина неожиданно скончалась в родах, оплаканная своим мужем, Вольтером и молодым поэтом Сен-Ламбером, который был ее последним увлечением и отцом причинившего ей смерть ребенка. Вольтер вновь оказался без убежища. Он вспомнил, что прусский король Фридрих II

давно уже приглашал его в Потсдам, и отправился по берлинской дороге.

Ко двору прусского короля Вольтера привели два совершенно самостоятельных и одинаково для него важных ряда соображений.

Вольтера-философа манила утопическая мечта просвещенной монархии. Фридрих рисовался его воображению в облике монарха-философа, «северного Соломона», как он его именовал в письмах, который практически приложит догматы Разума к управлению своим государством. Себе он отводил роль философа-просветителя, руководящего монархом. В этой перспективе его приезд в Берлин выглядел совсем не как бегство одинокого старика (10 июля 1750 года, когда Вольтер прибыл в Потсдам, ему перевалило за пятьдесят пять лет), а как торжественный въезд нового Аристотеля в столицу

202

нового Александра Македонского. Перед Вольтером, казалось, открывалась возможность реализации просветительской утопии просвещенной монархии, и он не мог ее упустить. Вольтер-человек смотрел на дело более практически: Берлин давал ему безопасность и материальное благополучие (вопрос о финансовой стороне пребывания Вольтера в Берлине был тщательно обсужден заранее — король назначал философу двадцать тысяч франков годового содержания), высокое положение (по приезду в Берлин Вольтеру был вручен ключ камергера, знак высокого придворного звания, и прусский орден «Pour le me rite»¹). Положение друга прусского короля, политическое и военное значение которого в Европе быстро росло, во-первых, укрепляло личный авторитет Вольтера и, во-вторых, давало прекрасную возможность отомстить версальскому двору, так низко оценившему его таланты. И если Вольтер-философ идеализировал своего коронованного друга, закрывая глаза на его недостатки, то Вольтер-человек прекрасно их видел и умел ими пользоваться.

В свою очередь и Фридрих II был отнюдь не бескорыстен, заигрывая с Вольтером. Король, прозванный в дальнейшем «великим» и ставший объектом немецкого националистического культа, страдал комплексом неполноценности. Его глубоко уязвляло то, что в семье европейских правителей он считается захолустным главой безвестной провинции (курфюрст Бранденбургский только лишь в 1701 году, в награду за военную помощь, получил из рук императора Австрии титул короля; европейская дипломатия относилась к новоявленному королевству пренебрежительно). Отсюда глубокое сочетание в его политике и личности заносчивости и холопства: с одной стороны, он лихорадочно создавал армию и всю свою внешнюю политику строил на основе военных планов, с другой, он был глубоко убежден в том, что пруссаки в области культуры ничего создать не могут, не любил немецкий язык — говорил и писал только по-французски, рабски копировал обычаи версальского двора, хотя между грандиозными Версальским и Царскосельским дворцами крошечный Сан-Сусси в Потсдаме выглядел не очень внушительно. Присутствие Вольтера должно было придать блеск его двору, а самого короля показать Европе как покровителя гонимых философов, ценителя талантов, передового правителя, создающего в Берлине новые Афины. К выходящему в Европу фасаду прусской казармы надо было пристроить портик афинской Академии.

Медовый месяц дружбы короля и философа длился недолго. Вольтер не был равнодушен к деньгам и почестям, но он никогда не видел в них цену, за которую он может продать свободу мысли и слова. Независимость суждений, право думать и говорить, писать и печатать то, что он считает истиной, было для него неотъемлемо как дыхание. Ничто не могло заставить его отказаться от этого права. Он не продавал не только своих слов, но даже и своего молчания. Он очень скоро убедился в том, что король его морочит, использует его имя, а сам смотрит на него лишь как на дорогостоящего шута. Ни награды, ни придворные развлечения, ни интимные ужины, где Фридрих II вел просвещенные беседы в обществе Вольтера, француза Мопертюи, который был

¹ Орден этот, учрежденный Фридрихом II в 1740 г. по случаю вступления на престол, был в Пруссии высшей наградой. (Примеч. Ю. М. Лотмана).

203

президентом Берлинской академии, французов философа Ламеттри, офицера Шазо, маркиза д'Аржана, итальянца-философа Альгаротти, шотландского эмигранта Джона Кейта и куда из немцев допускался лишь молчаливый барон Польвитц, не могли удержать языка и пера Вольтера. Вольтер тайно напечатал и неожиданно для короля опубликовал памфлет «Диатриба доктора Акакия, папского врача», в котором зло издевался над Берлинской академией и ее президентом. Король в памфлете прямо задет не был, но если в Париже тайное издание было делом обычным, то в Берлине оно считалось государственным преступлением. Вольтер знал об этом, но явился в Берлин не для того, чтобы приспособливаться к варварским законам, а чтобы приспособлять их к себе. Король был вне себя от гнева (его раздражало еще и то, что президент академии Мопертюи был чиновником прусской службы, что, по его понятиям, делало научную полемику с ним оскорблением государства). Памфлет был сожжен на площади перед дворцом. Вольтер понял, что ему пора убраться из Берлина. Уезжая, он «по забывчивости» захватил собственноручную рукопись короля — тетрадь эпиграмм против королей и правителей Европы. Узнав об этом, Фридрих пришел в панику. Его эмиссар во Франкфурте-на-Майне барон Фрейганг, подчиняясь приказу из Берлина, грубо нарушил статус Франкфурта как вольного города, не имеющего

никакого отношения к юрисдикции прусского короля, арестовал и обыскал Вольтера и отобрал у него прусский орден, камергерский ключ и злополучную тетрадку.

Вольтер снова оказался на распутье: пути во Францию были для него небезопасны, в Германии, он убедился, нет угла, защищающего от прусского произвола. Правда, был еще Лондон, его усиленно приглашали ко двору в Вену, но он не стал искать себе новых королевских покровителей: с королями было покончено. Вольтер-человек нашел практический выход: он купил в Швейцарии, недалеко от французской границы, небольшое поместье Ферне, расположение которого обеспечивало ему безопасность, а доходы — независимость. Вольтер-философ искал других решений: надежды на добрую волю просвещенных монархов были подорваны в корне. Однако Вольтер понял, что есть власть более могущественная, чем королевская, и царство более обширное. Царство это предстояло создать и власть в нем завоевать. Царство это было — европейское Общественное Мнение. Именно Вольтер был создателем общественного мнения как культурной и политической реальности, с которой вынуждены были считаться короли и кардиналы. Несправедливых правителей он вызывал на публичный суд совести, смело вторгаясь в область административной, судебной или дипломатической тайны. Луч света, направленный в области, окутанные бюрократической тайной, громкое слово о том, что казалось осужденным на вечное безмолвие, сразу обнаружили бессилие тех, чья власть в темноте и безгласности казалась безграничной. Ферне сделался столицей Общественного Мнения, а Вольтер — его царем, чью власть были вынуждены признать все монархи Европы, поддерживая с ним дипломатические отношения как с главой подлинного правительства. Борьба с закоренелыми предрассудками, злоупотреблением властью, произволом, которую Вольтер вел одним-единственным оружием — оружием нескованного слова, — сделалась его основным жизненным занятием. Именно Вольтер заставил людей европейской культуры осознать, что в основе демократии

204

лежит общественное мнение, без которого любые наилучшим способом сформулированные законы — мертвы.

Вольтер уже был совсем не молод, пользовался славой знаменитого писателя, классика почти всех литературных жанров, от легкой поэзии до трагедий и эпических поэм, философа, физика и историка. Он был богат и независим. Казалось, наступало время, когда он мог наслаждаться столь тяжело завоеванным покоем и уважением. Но именно в это время для него наступила пора наибольшей гражданской активности. Возглавить общественное мнение всего континента мог только боец. И Вольтер был, в первую очередь, именно бойцом.

1760-е годы были временем наступления реакции во Франции. Общественный строй, который всего тридцать лет отделяли от полного краха, судорожно пытался остановить часы истории.

Бездарные правители, стоявшие во главе Франции тех лет, закрывали глаза на тот глубокий кризис, который переживала страна, на развал экономики. Сдавленная тисками непроизводительных феодальных отношений, Франция, будучи одной из изобильнейших стран Европы, превратилась в страну голода и неурожаев. Критические настроения, связанные с постоянным финансовым кризисом, застоєм в ремесле и торговле, ростом дороговизны в городах, коррупцией, были всеобщими. Правителям же казалось, что, стоит заткнуть рот одним и запугать других, власть их продлится бесконечно. Они не понимали, что, преследуя «опасных» писателей, они уничтожают лишь следствия, а не причины недовольства, поскольку, как писал К. Маркс Зигфриду Мейеру, протестующие голоса идеологов «свидетельствуют о том, что глубоко внизу происходит брожение. Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа»¹. Наиболее верным путем деятелям реакции казалось разжигание в стране религиозного фанатизма. Несколько жестоких судебных процессов должны были, с одной стороны, запугать недовольную массу, а с другой — создать благоприятные условия для расправы с оппозиционной литературой. Как объект, на который решено было натравить одурманенного фанатической пропагандой обывателя, были избраны религиозное меньшинство — протестанты — и вольнодумная молодежь. Но план, конечно, имел и более далекий прицел: создав атмосферу взвинченного фанатизма, добравшись до стоявших во главе демократического движения философов-просветителей.

Волна массового судебного преследования и запрещений книг была прелюдией. Затем последовали террористические судебные процессы, ведшиеся с целью запугивания, создания фанатического угара и при полном нарушении французского законодательства, которое, при всей своей феодальной устарелости, все же обеспечивало некоторые права обвиняемых.

В Тулузе проживал почтенный шестидесятивосьмилетний торговец-протестант Жан Калас. 13 октября 1761 года в его семье случилось несчастье: тридцатилетний сын его Марк-Антуан, видимо в припадке умопомешательства повесился. Местные церковники распространили слух, что на самом деле имело место ритуальное убийство: якобы Марк-Антуан собирался перейти в католичество и был за это повешен отцом. Суд протекал в обстановке

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. М., 1964. Т. 33. С. 147. (Примеч. Ю. М. Лотмана).

205

фанатической истерии: у тела мнимого мученика якобы происходили чудеса. Старик Калас был подвергнут мучительным пыткам, но стойко вынес их, продолжая настаивать на своей невинности. Суд велся с вызывающей пристрастностью: ни одно из соображений в пользу

подсудимого не было принято во внимание, участь его была решена еще до начала процесса. Он был признан виновным, приговорен к смертной казни через колесование (приговоренному перебивали кости рук и ног и клали на специальное колесо, где он медленно умирал, проткнутый насквозь острой спицей). Труп его должен был быть сожжен на костре. Казнь состоялась 9 марта 1762 года. Сын Каласа Пьер после позорной процедуры был изгнан из города, дочери отданы в католические монастыри.

Вольтер, который узнал о процессе Каласа уже после его казни, понял, какое значение для судеб всего цивилизованного мира имеет хотя бы посмертное разоблачение этого чудовищного приговора и реабилитация его жертвы. Он писал д'Аржанталю 14 июля 1762 года: «Меня может заставить покинуть это дело только смерть. Я видел и испытал за пятьдесят лет столько несправедливостей, что хочу доставить себе удовольствие разоблачить эту»¹. Вольтер ударил в самый центр судебного преступления: он потребовал гласности судопроизводства, предоставления всех материалов процесса общественности. «Они говорят, что это не в обычае, — писал он д'Аржанталю, — А! Чудовища! Так мы же добьемся того, что это делается обычаем». Вольтер пишет статьи и философские повести против фанатизма, побуждает друзей, позорит французскую юстицию перед народами и правительствами, «кричит до безголосицы», по выражению Радищева², — и добивается успеха. Перед лицом широкой огласки, которую получило дело, реакция отступила: 9 марта 1765 года Калас был посмертно оправдан, семья его полностью реабилитирована. «Братья мои, как сильна правда!» — восклицал Вольтер в письме друзьям. Если в практической сфере победа ознаменовалась оправданием Каласов, то в сфере идей ее увенчал написанный Вольтером «Трактат о терпимости» («*Traité sur la Tolérance*») — теоретическое обоснование неотъемлемости права человека на свое мнение, доказательство того, что мысль не есть преступление и не может быть судима уголовным судом. В «Философском словаре» (статья «Фанатизм») он писал, что «судьи, которые осуждают на смерть тех, кто не совершил иного преступления, кроме инакомыслия», сами являются преступниками³.

Не успел остыть пепел костра Каласа, как проживающий около Тулузы землемер Сирвен — тоже, разумеется, протестант — подвергся аналогичному обвинению: его сестра утонула в колодце, его обвинили в убийстве девушки,

¹ Здесь и далее письма Вольтера цитируются в переводе Ю. М. Лотмана, видимо, по изд.: *Oeuvres complètes de Voltaire. De l'imprimerie de la société littéraire — typographique. 1784—1785. T. 57—59: Recueil des lettres de M. de Voltaire et de M. d'AIembert 1746—1768: Corresp. de d'AIembert. T. 1. Ср.: «Я оставляю это дело только со смертью. Шестьдесят лет я наблюдал несправедливости и сносил их. Я хочу доставить себе хоть раз удовольствие — способствовать разоблачению одной из них» (Вольтер. Бог и люди: Ст., памфлеты, письма: В 2 т. М., 1961. Т. 2. С. 271).*

² Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 260.

³ *Dictionnaire philosophique, portatif. Londres, 1767. T. 1. P. 231—234.*

206

якобы с целью воспрепятствовать ее мнимому намерению перейти в католичество. Сирвен успел бежать. Суд заочно приговорил его к сожжению, а жену его — к повешению. Вольтер с такою же энергией взялся за дело Сирвенов. Он апеллировал к международному мнению и не уставал напоминать французскому обществу о павшем на него всемирном позоре. «Все народы оскорбляют и презирают нас», — пишет он д'Аржанталю. Кондорсе он писал: «Весьма печально для наших милых французов, что вся Европа смотрит на нас как на трусливых убийц». Семь лет бился Вольтер, не ослабляя своих усилий, и в 1769 году Сирвен был оправдан при вторичном рассмотрении его дела.

Еще более зловещим был замысел судебной трагедии, разыгравшейся в 1765 года в Абвиле, на севере Франции. Во время уличного церковного хода два молодых щеголя, Ла-Барр и Эталонд (первому было шестнадцать, второму — семнадцать лет), демонстративно не сняли шляп перед проносимыми мимо святынями. Через месяц кто-то поцарапал ножом установленное на мосту деревянное распятие. Подозрение пало на молодых людей. Эталонд бежал, Ла-Барр же был схвачен. При обыске у него были найдены модные романы, в том числе и весьма вольного и кощунственного содержания, и «Философский словарь» Вольтера. Амьенский епископ де Ла Мот и местный суд почувствовали поживу: можно было устроить шумный процесс против зараженной безверием и цинизмом молодежи и, через их голову, добраться и до «духовного отравителя» Вольтера. Хотя книги никак не могли рассматриваться в качестве улики совершенного преступления, Ла-Барр был подвергнут чудовищным пыткам. Мальчик их мужественно перенес и отказался назвать имена сообщников. Суд, не располагая никакими уликами, приговорил подсудимых (Эталонда заочно) к вырыванию языка, отсечению правой руки и сожжению на медленном огне. Развратный Людовик XV был ревнителем морали и веры, когда дело касалось его подданных. Приговор был им утвержден, и 1 июля 1766 года Ла-Барр был подвергнут казни (из милости ему перед сожжением отрубили голову, и на костер был положен его труп).

Друзья Вольтера понимали, против кого направлен удар, и советовали ему быть осторожнее и не вмешиваться в это дело. Вольтер ринулся в бой как тигр. Все соображения политики и тактики, остроумие и ирония, даже сильно развитое в нем спортивное чувство борьбы — все отступило на второй план перед болью и негодованием, которыми он был охвачен. Он пишет сочинения, которые жгут бумагу. Соратнику по Энциклопедии философу и математику д'Аламберу он пишет:

«Я стыжусь принадлежать к этой нации обезьян, так часто превращающихся в тигров»¹. И далее: «Нет, теперь не время шутить, остроумие неуместно на бойне... Парижане поговорят немного и пойдут в комическую оперу... Я плачу о детях, у которых вырывают языки. Я — больной старик, мне простительно». Вольтер заставлял всех, у кого *не вырваны* языки, почувствовать стыд за соучастие в преступлении. Тому же д'Аламберу он писал: «Я жалею людей, у которых вырывают языки, в то время как вы пользуетесь своим органом речи, чтобы говорить весьма приятные и

¹ Ср. отрывок из письма д'Аламберу от 18 июля 1766 г.: «Не понимаю, как мыслящие существа могут жить в стране обезьян, которые так часто превращаются в тигров» — по изд.: *Вольтер. Бог и люди*. Т. 2. С. 317.

207

милые вещи... Простите мне мою печаль». Хозяйке известного салона, державшей в своих руках нити литературных мнений и обширные политические связи, г-же дю-Деффан, он писал: «Страна, где хладнокровно, отправляясь обедать, совершают такие жестокости (намек на Людовика XV, подписывающего приговоры в предобеденные часы. — *Ю. Л.*), которые заставили бы дрожать даже пьяных дикарей, это ли страна столь мягкого, столь легкого, столь веселого народа? Арлекины-людоеды!.. Спешите от зрелища костра на бал и с Гревской площади в Комическую оперу; колесуйте Каласа, вешайте Сирвена, жгите бедных юношей... я не хочу дышать одним воздухом с вами»¹.

Письмами, брошюрами, художественными произведениями, логикой, насмешкой, слезами, обращением к совести каждого честного человека и международному мнению Вольтер будил веками отученных от гражданской активности французов, создавая из них граждан. Он создавал общественное мнение, он создавал во Франции демократически настроенный народ.

Таков был исторический контекст, в котором создавались «философские повести и романы» Вольтера: «Кандид, или Оптимизм» (1759), «Простодушный» (1767), «Вавилонская принцесса» (1768), «История Дженни» (1775). Без учета времени, когда писались эти произведения, мы не поймем ни их иронии, ни их горечи, ни их основной идейной адресованности. Нам останется непонятной и причина перехода от относительно спокойной иронии «Задига» и «Микромегаса» к сарказму «Кандида» и горькой патетике «Простодушного». С другой стороны, без «Задига» и «Микромегаса» нам не раскроются истоки идейной позиции Вольтера в годы напряженной борьбы его с судами, церковью, всем зданием средневекового фанатизма и деспотизма.

Повести Вольтера, вошедшие в настоящий том², называются «философскими». Понимание их подразумевает некоторую ориентировку в философских воззрениях автора.

Философские идеи Вольтера приобрели определенные контуры очень рано. Уже в момент возвращения из Англии он обладал весьма определенным мировоззрением. В основе философских воззрений Вольтера лежала борьба с догматизмом. Догматическое мышление было представлено в истории философии Европы к началу XVIII века, с одной стороны, построениями средневековой схоластики, а с другой — рационалистической философией Декарта и Лейбница. При всем глубочайшем различии этих систем, из которых одна ориентировалась на веру, а другая на разум, между ними существовало и родство, позволявшее Вольтеру, как и некоторым другим философам-просветителям, полемически их отождествлять. Во-первых, обе эти системы

¹ Ср. в письме от 16 июля 1766 г.: «Страны, в которых люди хладнокровно, мимоходом, перед тем, как сесть за обед, совершают жестокости, от которых содрогнулись бы пьяные дикари. И все это делает мягкий, легкомысленный, веселый народ: шуты-людоеды! Я не хочу больше слышать о вас. Спешите от костра на бал, с Гревской площади — в Комическую оперу, колесуйте Каласа, вешайте Сирвена, сжигайте пятерых несчастных юношей... не хочу дышать одним воздухом с вами» (*Вольтер. Бог и люди*. Т. 2. С. 316—317).

² В эстонское издание 1979 года вошли следующие повести Вольтера: «Задиг, или Судьба», «Микромегас», «Кандид, или Оптимизм».

208

покоились на априорных началах: они строились на основе рассуждений. Опыт, практика, чувства, наблюдения рассматривались как явления низменные и не содержащие в себе истины. В противовес этому Вольтер выдвинул систему философского эмпиризма, почерпнутую им в основном у английского философа Локка. Знание имеет опытное происхождение и основывается на данных человеческих ощущений. Априорной физической модели строения Вселенной, построенной Декартом, Вольтер противопоставил систему Ньютона, в которой он видел воплощение идеала синтеза опытной физики и философии. Вольтер был неустанным пропагандистом Ньютона, и именно он сделал его концепцию распространенной и популярной за пределами Англии. Все отвлеченные рассуждения, противопоставленные опыту или на него не опирающиеся, для Вольтера ассоциируются с ненавистной ему средневековой схоластикой. Во-вторых, и средневековая теология, и рационализм XVII века настаивали на абсолютности и истинности своих положений. В противовес им Вольтер опирался на скептицизм Пьера Бейля. Человечество движется к истине постепенно, и ни одна сформулированная людьми идея не может претендовать на абсолютное и вечное значение. Этот тезис был для Вольтера особенно существенным, поскольку в убеждении священников или философов в том, что они, и *только* они, обладают абсолютной истиной, он видел психологический корень ненавистной ему нетерпимости, ненависти к тем, кто думает иначе и претендует на другой способ мышления. Нетерпимости

сторонников церковной или философской догматики Вольтер противопоставлял терпимость мудрого скептика, который, сомневаясь в любых абстрактных идеях, не сомневается в ценности добра, гуманности и человеческого достоинства. Сомнение Вольтер возводил в основной гносеологический принцип. В этом он расходился со своим кумиром Ньютоном. Картина фантастического космоса, нарисованная в «Микромегасе», конечно, в первую очередь направлена против церковных представлений о Земле и Человеке как главных творениях Бога, расположенных в центре мироздания.

Однако нельзя не заметить, что общий взгляд на космическую механику у Вольтера значительно более «релятивистский», чем это было возможно для физиков его века. Продолжая принципы сатиры Свифта, которого он высоко ценил, Вольтер подчеркивает относительность понятий величины, скорости, опытных и умозрительных данных. Само имя «Микромегас», образованное от греческих корней, означает «маленький» и «огромный» одновременно. Герой его мал или огромен в зависимости от того, мерами какого мира он измеряется. Таким образом, жительница Сатурна именуется «красивой маленькой брюнеткой» с «миниатюрным станом» «всего только шестисот шестидесяти туазов ростом» (т. е. около 1 км 250 м). То, что разные точки Вселенной имеют различные представления об основных физических показателях тел, для Вольтера лишь основа представлений о бесполезности яростных споров об истине — тот, кто терпимо встречает чужое мнение, мудрее того, кто настолько убежден в своем, что готов отправить на костер всех думающих иначе. Сформулированный таким образом скептицизм был острым оружием, направленным против средневековья, инквизиционных законов и догматического мышления.

Третьей общей чертой враждебных Вольтеру учений было их стремление построить единую систему, которая охватывала бы весь универсум. Вольтер

209

видит в этом посягательство на суверенную свободу мысли и предпочитает эклектизм жесткой стройности умозрительных построений. Поэтому он демонстративно не строит свои взгляды как систему. Противоречие не является для него грехом. Он мыслит парадоксами, а не догматами. Ставить человека перед противоречием, с его точки зрения, это будить активность разума, навязывать ему систему — сковывать свободную мысль. Поэтому ни философские трактаты, ни философские романы Вольтера не содержат не только какого-либо «учения», но даже очень часто не содержат положительных ответов на вопросы, в них обсуждаемые. Так, философская повесть «Мемнон, или Человеческая мудрость» начинается с того, что мудрец Мемнон утром решает сделаться счастливым: это ведь так просто. Надо лишь потушить в себе все страсти, не смотреть на красивых женщин, быть воздержанным, не пить вина и умеренно расходовать свои средства. Не успел Мемнон закончить свои планы, как он увидел плачущую красивую женщину. Он бросился ей на помощь, и она умолила его защитить ее от притязаний свирепого опекуна. Увлеченный ее красотой, Мемнон дал заманить себя в ловушку. Он был обвинен в соблазнении и насилии и отпущен лишь за большой выкуп. Вечером, чтобы отвлечься, он пошел к друзьям, где его напоили, обыграли в карты на огромную сумму и в возникшей драке выбили ему глаз. Когда он вернулся домой, он обнаружил, что дом его уже разграблен и занят обыгравшими его проходивцами. Он лег возле дома на соломе, и тут ему явился добрый гений. Добрый гений поведал ему, что все в этом мире устроено совершеннейшим образом. Добро и зло расположены по иерархии: имеются миры, в которых царствует абсолютное добро, с каждой ступенью вниз степень зла в мире возрастает. «Я опасаюсь, — сказал Мемнон, — что наш маленький земной шар — это сумасшедший дом Вселенной». «Не совсем так, но близко от этого», — отвечал дух. Повествование кончается словами духа о том, что зло в строении мира необходимо, как часть гармонического целого. Все прекрасно в мире, если рассматривать его в целом. «Ах! — ответил бедный Мемнон, — я в это поверю лишь тогда, когда мне возвратят мой глаз»¹. Следует отметить, что и аргументы духа, и аргументы Мемнона Вольтер многократно высказывал от своего лица, как собственные. В конце повести он сталкивает их друг с другом, ставит читателя перед обнаженным противоречием и не дает ответа. Повесть «Простодушный» он заканчивает словами о том, что «добрый Гордон» (герой, бесспорно, положительный и не раз в повести выражавший авторские мнения) берет себе девизом: «От несчастья бывает польза». Однако после этого следуют авторские слова, заключающие рассказ: «Сколько есть на свете порядочных людей, которые могли бы сказать: „От несчастья нет никакой пользы!“»². Читатель остается перед этими двумя взаимоисключающими суждениями, и выбор автор предоставляет ему самому.

Принцип незамаскированного противоречия, который лежал не только в основе философии, но и определял личное поведение Вольтера, делает его мышление значительно более диалектическим и гибким, чем идеи многих его единомышленников-просветителей XVIII века. Как Дидро и Руссо, Вольтер,

¹ Memnon ou la sagesse humaine // Romans de Voltaire. Paris, 1809. Vol. 1. P. 131—132.

² L'ingénu, histoire véritable // Op. cit. P. 389.

210

утверждая рационализм XVIII века, уже готовил диалектическое сознание последующей эпохи. Четвертым существенным отличием воззрений Вольтера от систем теологов и рационалистов,

от Спинозы до Лейбница, было различное решение вопросов оптимизма и пессимизма. Полемика по этим вопросам пронизывает все философские сочинения Вольтера. Еще в Сирейском замке он устраивал с г-жой Дю Шатле своеобразные состязания: она писала сочинения, защищающие оптимизм Лейбница, а Вольтер — опровергающие его. Почему же Вольтер придавал этой проблеме такое значение? Почему его центральная философская повесть имеет слово «оптимизм» в своем заглавии? И средневековое сознание, и философы типа Лейбница понимают под оптимизмом веру в общую гармонию, установленную Божественной волей или всемирным Разумом. С этой точки зрения, несчастье отдельного человека, страдания личности, делающейся жертвой зла, существующего в природе (смерть, болезни, несчастные случаи) или в обществе (деспотизм, насилие, все формы угнетения), не может служить основанием для критики миропорядка. Частное зло необходимо в общей системе мира или вообще не есть зло, а лишь кажется таковым с ограниченной и слепой точки зрения человека. Вольтер видел в оптимизме такого рода духовное оружие для оправдания зла и насилия, царивших в окружающем его мире. Вере в то, что «все прекрасно в этом лучшем из миров», Вольтер противопоставил счет, который Разум мог бы предъявить мировой истории с ее войнами, инквизицией, царством насилия и попранием всех прав человека. Перед судом Разума земной шар оказывается не «лучшим из миров», а «сумасшедшим домом Вселенной». Однако такой пессимизм был пессимизмом совершенно особого рода и весьма отличался от того вульгарно-житейского содержания, которое обычно вкладывают в это слово. Чтобы понять это, вернемся несколько назад.

Скепсис Вольтера не означал неверия в человеческий разум или науку. Ограниченной и относительной является каждая человеческая истина, однако в целом прогресс разума абсолютен. В этом Вольтер резко расходился с Руссо. Вольтер признавал существование Бога в качестве создателя Вселенной. Однако, видя обилие несправедливостей и несовершенств в его творении, он останавливался перед дилеммой: Бог или не добр, или не всевластен — или он не хочет создать совершенное царство добра, или не может этого сделать. Особенно потрясло Вольтера лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 года, когда в несколько минут была уничтожена одна из цветущих столиц Европы. Вольтер ответил на это событие поэмой «На разрушение Лиссабона», содержащей резко выраженные сомнения в премудрости божественного Промысла. Выход из этого противоречия Вольтер видел в следующем: Бог дает лишь первый толчок миру. Мир не совершенен в момент своего создания, но он продолжает усовершенствоваться. Основой этого усовершенствования является постепенное движение человечества от варварства, нетерпимости, убийств, фанатизма и насилия к просвещению, прогрессу и гуманности. Вольтер глубоко верил в исторический прогресс и в человеческий разум, лежащий в основе этого прогресса. В этой вере заложена основа оптимизма Вольтера. Если прошедшее и настоящее человечества кажутся ему внушающими отчаяние, вся история человечества — сплошным безумием,

211

а исторически сложившиеся институты в настоящем — предрассудками, которые должны пасть перед судом Разума, то будущее рисуется ему в светлых тонах, как результат победы ума над невежеством. Это был просветительский оптимизм, основанный на вере в человека и противостоящий оптимизму средневекового теолога, верившего в сверхчеловеческую благость и мудрость. Этот оптимизм был наполовину слит с крайней горечью, граничившей с отчаянием, которое наполняло сердце просветителя, когда он смотрел на окружающую его реальность, а не размышлял о судьбах прогресса. Отсюда, в частности, постоянный синтез сатиры и утопии, гротеска и фантазии, характерный для философских романов Вольтера.

Романы Вольтера — не картинки, иллюстрирующие заранее данные философские тезисы. Это самостоятельные и органические художественные произведения — яркая страница в истории мировой сатиры. Вступая в мир романов и повестей Вольтера, мы прежде всего поражаемся его странности. Здесь все возможно: законы времени и пространства отменены. В философских повестях действие безо всякой задержки переносится из места в место и из одного времени в другое. Создается странный и насквозь условный мир. Мир этот соткан из противоречий. В этом одна из существенных черт философских повестей Вольтера, отличающих их от произведений «à la these» (то есть посвященных иллюстративному доказательству некоторой предвзятой идеи). Фантастические и моральные повести «à la these», весьма распространенные в XVIII веке, имели целью пропагандировать в квазихудожественной форме некоторую наперед данную идею. У Вольтера нет наперед данной идеи — есть противоречие между идеями, обостренное до парадокса. Он имеет целью не внушить читателю уже готовую мудрость, а ошеломить его, поставить в тупик, запутать в неразрешимых «проклятых вопросах» и этим отучить от философского самомнения, внушить недоверие к «истинам», которые на поверку оказываются предрассудками и ложью.

В предшествующей философской традиции Вольтер ближе всего к Сократу, поскольку противоречие оказывается для него не педагогическим приемом, а способом мышления. Так, например, Вольтер не просто верил в прогресс — он является создателем мощной концепции, связывающей всю историю человечества в единый процесс поступательного развития. Этому он посвятил «Опыт о нравах и духе народов» — книгу, которая явилась прямой предшественницей грандиозной теории исторического прогресса Гегеля. Вводя здесь понятие «философия истории».

Вольтер в качестве теоретического стержня исторического процесса указывал на прогресс цивилизации и успехи разума в борьбе с предрассудками. Идея эта пронизывает многие страницы философских повестей (ср., например, посещение Амазаном России, Польши, Швеции, Германии и Англии в «Царевне вавилонской»). На эту идею Вольтер, без какого-либо согласования, накладывает другую: человеческим миром управляет глупость, одни нелепые обряды и правила сменяются другими, но бессмысленность человеческих действий пребывает неизменной. Фанатизм меняет маски, но остается собой. Зверство и глупость торжествуют на всей земле. Этот взгляд позволяет Вольтеру перескакивать из эпохи в эпоху, соединять несоединимые времена и пространства. Просветительский

212

оптимизм и просветительский пессимизм смешиваются, не сливаясь. А это порождает ту смесь смеха и гнева, которая определяет специфику сарказма Вольтера, его особый стиль — смесь иронии, гнева, смеха и слез.

Сатира Вольтера построена еще на одном противоречии.

Вся критика современности, которую развернули философы-просветители, велась с позиций Разума. Именно он был той наблюдательной вышкой, с которой просветитель смотрел на мир. Но одновременно возникало и другое понятие: для того чтобы подвергнуть пересмотру мир, надо находиться вне его. Н. А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день» писал: «Сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его перевернуть с собой. Каких усилий это потребует от вас! — между тем, как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком»¹. Для того чтобы умственно, в сознании, перевернуть мир — а просветитель XVIII века стремился именно к этому, — ему надо было поместить свое сознание как бы вне этого мира. Так, избирался герой с планеты Сириус («Микромегас») или «дикий» индеец из лесов Северной Америки («Простодушный»), который становился носителем этого критического сознания. Здесь могли быть два пути: наблюдателем можно было сделать мудреца из другого мира (так поступил Монтескье в «Персидских письмах», так же поступил и Вольтер в «Микромегасе») или «естественного человека» — дикаря, что соответствовало бы точке зрения Руссо (отчасти такой принцип использован Вольтером в «Простодушном»).

Вольтер использует оба метода. Однако он присоединяет к ним третий, роднящий его с Рабле и Свифтом, а также с народной сатирой: точкой зрения берется дурак, который умнее умных. Вольтер смотрит на современную ему жизнь и на историю глазами человека, который не понимает ничего в том, что окружает его. Все ему кажется странным, все возбуждает изумление. Именно такому взору раскрывается вся нелепость мирового порядка (в отличие от Руссо, который противопоставлял несправедливость человеческого общества добру и мудрости Природы, Вольтер видит зло и нелепость и в законах природы, и в законах человеческого общества). Таким образом, возникает парадокс: для того, чтобы высказать точку зрения Разума, стать его высшим носителем, надо проститься с умом, сделаться придурковатым (именно таков Кандид).

Такая позиция сближает Вольтера с фольклором. Он и не стремится к утонченности: поэт, который в лирике дал блестящие образцы поэзии рококо, а в трагедии — высокие создания классицизма, в философском романе сознательно ориентируется на грубоватую шутку народной книжки или армарочного балагана.

Однако Вольтер не только едкий сатирик — он постоянно еще и мечтатель. Почти в каждой его философской повести в том или ином виде появляется утопия счастливого и просвещенного общества, такого, как Эльдорадо в «Кандиде». Этим же объясняется характерная для него поэтика «счастливых концов». Соединение сатиры и утопии также связывает Вольтера с Рабле, создавшим образ идеального мира мудрецов-гуманистов — Телемское аббат-

¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1963. Т. 6. С. 126.

213

ство. Вольтер и на практике пытался осуществить этот идеал, превратив свое поместье Ферне в остров просветительской утопии посреди моря феодальной Европы. Однако если Вольтер — автор утопий и рассуждений о разумной деятельности того или иного сказочного принца, воплощающего в себе идеал «просвещенного монарха», вполне соответствовал нормам просветительского сознания, то Вольтер, напоминающий шекспировского шута, — балагур и мудрец, умный дурак — решительно из него выпадал. Сила просветителя в том, что он, глядя на мир, понимает его, сила вольтеровского повествователя в том, что он решительно не понимает смысла нелепой действительности. Не случайно один из завершающих своих философских трудов Вольтер озаглавил «Невежественный философ» (1766). «Невежество», которое в сознание просветителя могло входить лишь под отрицательным знаком, становится для Вольтера маской, позволяющей ему «не понимать» мир так, как его не понимает сказочный дурак, носитель истинной мудрости, в простоте решающий загадки, непосильные для мудрецов.

Сочетание гротескной сатиры, восходящей к поэтике фольклора (с ее резким гиперболизмом, отказом от оттенков и психологизма, интереса к событиям, с фарсовым комизмом), и философской утопии характерно для прозы Вольтера. Но оно же составляет типичную окраску его биографии. Вольтер был прославлен во всех жанрах современной ему литературы, и жизнь его также протекала как бы во многих жанрах: тут были и галантные эпизоды в духе поэзии рококо

(например, любовь втроем, а после — вчетвером в замке Сире-сюр-Блез), была и высокая трагедия классицизма, но огромное место занимали и пародия, фарс, гротеск, соединяемые с мечтой и утопией. Философский роман Вольтера как бы непосредственно переливается в его биографию. Какой материал для философского романа Вольтера могли бы дать, например, трагикомические приключения его собственного праха!

Зимой 1778 года Вольтер прибыл в Париж. Он был в зените своей славы — Париж встретил его, как победителя. Сотни людей домогались чести быть ему представленными, каждое его появление на улице вызывало взрыв энтузиазма толпы и приобретало характер триумфа. В театре его увенчали лавровым венком. Париж видел в нем честь Франции и национального героя. 30 мая, истощенный почестями и не прерывающейся напряженной работой, Вольтер скончался, отказавшись перед смертью помириться с церковью. И здесь церковники получили возможность отомстить своему давнему врагу: выяснилось, что во Франции нет клочка земли, который бы принял его прах. Архиепископ Парижа запретил похороны, такого же запрета следовало ожидать от церковных властей Ферне. Ночью 31 мая 1778 года труп Вольтера был наряжен в спальный халат и ночной колпак, усажен в карету и отправлен в Шампань, где тайно предан земле. Этот посмертный маскарад не был последним приключением Вольтера после смерти. В 1791 году, по постановлению Учредительного собрания, прах его был перевезен в Париж и торжественно, при всеобщих восторгах, положен в Пантеоне. Во время Реставрации Пантеон был превращен в церковь, а гроб Вольтера вынесен в подвал. Пушкин писал:

<...> Вольтер, Превратности судеб разительный пример,

214

Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище.

(«К вельможе»)¹

Пушкин оказался пророком: в 1830 году Пантеон был восстановлен и гроб возвращен на свое место. В 1864 году наследники Биллета — человека, купившего Ферне, сделавшего там музей Вольтера и хранившего сердце писателя, — подарили эту реликвию Парижу. По этому случаю гроб Вольтера был вскрыт, и обнаружилось, что он пуст. Время исчезновения тела точно не установлено. Есть известие, что в 1814 году группа католических фанатиков ночью выкрала тело философа и выбросила его в яму с негашеной известью.

В 1830-е годы русский император Николай I устроил смотр Эрмитажу — музею своей бабки Екатерины II — и нашел в нем много «лишнего». Особенный гнев его вызвала статуя Вольтера, изваянная знаменитым Гудоном. Свои чувства император выразил словами: «Убрать эту обезьяну» — и приказал статую разбить. Только благодаря работникам музея статую спасли, спрятав ее в подвале. Войдя в Париж в 1940 году, гитлеровцы уничтожили памятник Вольтеру. Вольтер и после смерти продолжал вызывать ненависть и насмешливо торжествовать над своими гонителями. Трагическая буффонада его философских романов стала его судьбой и после смерти.

В Эрмитаже в Ленинграде хранится замечательное создание резца Гудона — статуя «Вольтер в кресле» (один из двух авторских экземпляров — второй находится в Париже во «Французской комедии»). Если обойти статую кругом, не спуская глаз с лица писателя, то можно увидеть, как веселая усмешка на его губах сменяется гримасой отвращения, сарказмом. Затем мы увидим Вольтера-мыслителя, погруженного в раздумье, и Вольтера-«дурач-ка», с простодушным удивлением взирающего на нелепость мира. Постепенно перед нами выступит гневный и негодующий Вольтер, с крайней точки мы увидим Вольтера плачущего.

Гудон гениально уловил все оттенки повествовательных интонаций, характеризующих творчество писателя. В философских романах эти интонации сплавлены воедино.

Замыслы гения²

Пушкина у нас читают и любят. Читают стихи и прозу, поэмы и драмы. В последнее время все чаще массовый, непрофессиональный читатель берет в руки дневники поэта, его интимную переписку, биографические документы. Это, конечно, хорошо. Однако не следует забывать, что все наследие поэта делится на две части. Первая — это то, что сам Пушкин предназначал

¹ Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1948. Т. 3. С. 219.

² Впервые: Известия. 1986. 28 дек.

215

для чтения современниками, потомками, нами. Вторая заключает в себе то, что нужно для понимания первой. Иногда возникает смещение: все, что касается Пушкина, настолько захватывающе интересно, что вторая часть наследия приобретает для массового читателя как бы самостоятельную ценность и даже начинает теснить первую. Читатель, который довольствуется усвоенными со школьной скамьи утверждениями о том, что «Евгений Онегин был лишним человеком», с жаром рассуждает о «донжуанском списке» Пушкина или спорит о том, хорошо ли повели себя друзья Пушкина накануне дуэли.

Трудность, однако, состоит в том, что не всегда бывает просто определить, где проходит черта, которая делит наследие поэта на творческую часть и часть, объясняющую творчество. Более того, порой одни и те же тексты в зависимости от нашего угла зрения могут оказаться то по одну, то по

другую сторону этой черты.

Но взглянем на дело несколько иначе. Поставим вопрос так: равен ли Пушкин своему полному собранию сочинений, все ли он написал, что мог и хотел написать? Не бросает ли ненаписанное или отброшенное ответ на смысл законченного? Нужно ли нам, например, знать дороги, по которым автор *не захотел* пойти, хотя и мог? Например, работая над седьмой главой «Евгения Онегина», Пушкин полностью отбросил замысел включить в нее «Альбом Онегина». А между тем в нем содержалось оправдание героя и, в частности, слова, сказанные ему умной женщиной:

И знали ль вы до сей поры,

Что просто — очень вы добры?¹

Пушкин колебался. Сначала написал: «Что очень были вы добры»², но вычеркнул. Был добр, но сделался злым; был и остался в сущности очень добрым, — Пушкин искал. В конце концов поэт предпочел противоположный путь: седьмая глава романа содержит самые разоблачительные характеристики героя. Но уничтожает ли это интерес к колебаниям, которые испытывал автор? Не свидетельствует ли о том, что этот скрытый мотив в романе сохранился, столь же неожиданная оценка Базарова другой женщиной: «Я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры»³ Тургенев, видимо, не знал отброшенных Пушкиным строк, хотя они и были в руках его приятеля П. Анненкова; но он был внимательнейшим читателем «Евгения Онегина» и улавливал не только то, что лежит на поверхности.

Пушкин развивался стремительно. Гений его обгонял его собственные замыслы. Поэтому весь его творческий путь как бы уставлен обломками незавершенных произведений, планами ненаписанных, начатых или только задуманных поэм, драм или повестей. Это были навсегда оставленные или просто отложенные про запас мысли, которым еще предстояло дозреть. Так, напри-

¹ Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. Т. 5. С. 543.

² Там же. Т. 6. С. 475.

³ Тургенев И. С. Отцы и дети // Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1981. Т. 7. С. 166.

216

мер, вероятно, в 1826 году Пушкин набросал список, который принято толковать как перечень сюжетов будущих трагедий. Здесь были: «Скупой. Ромул и Рем. Моцарт и Сальери. Дон Жуан. Иисус. Беральд Савойский. Павел I. Влюбленный бес. Димитрий и Марина. Курбский»¹. К некоторым сюжетам он потом обращался (в 1830 году в Болдине были реализованы «Моцарт и Сальери» и «Скупой рыцарь»), другие остались невоплощенными, продолжая тревожить творческое воображение поэта. Однако ясно, что в какой-то момент они обладали для Пушкина единством, он видел в них нечто общее; не зная, что он хотел сказать о Павле I, мы до конца не понимаем, почему, например, был избран сюжет о Моцарте и Сальери.

Особенно волнуют замыслы тридцатых годов. Путь Пушкина оборвался. Нам, читающим его прозрачные в своей классической завершенности последние произведения — лирику тридцатых годов, «Медного всадника», «Пиковую даму», «Капитанскую дочку», — кажется, что далее в совершенстве идти некуда. Мы невольно придаем его наследию композиционную завершенность. А между тем Пушкин не только находился в расцвете сил, он был на пороге чего-то нового, возможно связанного с радикальными переменами. И кто знает, какие, ныне незаметные, черты в известных нам произведениях бросились бы нам в глаза, если бы мы могли прочесть то, что было бы написано после них. В этом отношении все его творчество последних лет жизни может представляться как «незавершенный замысел».

Окинем мысленным взором, над чем собирался Пушкин тогда работать, составляя планы, возможно, на десятки лет вперед. Тут и такие капитальные (на много лет!) труды, как история Петра I и история французской революции, и планы повестей и романов, в которых отчетливо проступают декабристская тема, интерес к русскому и европейскому XVIII веку (сравните параллельную работу над материалами о Радищеве и попытки опубликовать «Записку о древней и новой России» Карамзина, запрещенную цензурой), и продолжающий волновать его образ Клеопатры Египетской, и работа над повестью об Иисусе Христе, и замыслы «современной повести». А в лирике — завершенной и незавершенной — что ни произведение, то загадка. Понимаем ли мы смысл гениального «Когда великое свершалось торжество...» («Мирская власть»)? Или «В начале жизни школу помню я...»? Или «Отцы пустынноики и жены непорочны...»? Или работы над целостным замыслом так называемого «каменноостровского цикла»?

Прежде всего, поражают охват и разнообразие интересов и тем. Кажется, что между ними трудно найти что-либо объединяющее, что взгляд поэта разбрасывается. Но стоит присмотреться пристальней, и мы заметим, что пестрота складывается в определенную и, видимо, продуманную картину: вырисовываются контуры огромного исторического периода, который катастрофически катится к своему концу, умножая внутренние противоречия, теряя нравственные опоры. Кончается целый период европейской цивилизации, и кончается он веком крови и железа. «Жестокий век», «железный век», «ужасный век» — такие эпитеты находит Пушкин для определения

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 613.

217

эпохи насилия и унижений в истории человечества. В настоящем человек находит точку опоры в самом себе, в чувстве собственного достоинства, которое Пушкин называл «наукой первой», то есть главной. Но он, предвзято поиски всей русской литературы XIX века, ищет источник надежды в будущем. И в этом отношении искания Пушкина последних лет особенно знаменательны.

Давно уже замечено, что общий закон подлинного искусства — способность, казалось бы, законченных произведений развиваться, меняясь на протяжении веков, выдавая каждой эпохе именно то, что ей в данный момент нужно и близко. С особенной силой закон этот проявляется в творчестве Пушкина. Выражение «мой Пушкин», которым пользовались многие литераторы, часто воспринималось как свидетельство их субъективизма. Но не случайно же оно применяется именно к Пушкину. Часто оно отражает простую реальность: способность его творчества, меняясь, сохранять актуальность в изменчивом мире. Сто с лишним лет назад за Пушкиным сложилась репутация гармонического, спокойного и даже отрешенного от злобы дня «возвышенного певца». Одни видели в этом его достоинство, другие — недостаток, но спорящие не находили причин сомневаться в справедливости такой оценки «пафоса» поэта. Сейчас все больше проступает лик взволнованного, мятущегося, ищущего, сомневающегося и надеющегося поэта, поэта трагического, увидавшего в жизни и человеческой душе то, что сделалось явным лишь взгляду читателей конца XX века.

Стоит только приглядеться, и мы увидим, что Пушкин открывает нам глаза на мучительные противоречия жизни и не стремится снять их каким-либо готовым решением. «Евгений Онегин» оборван как бы на полуслове — конца нет. Иронические концы «Графа Нулина» и «Домика в Коломне» пародируют самую идею возможности втиснуть жизнь в литературное псевдорешение. Нет решения в «Медном всаднике», а «История Пугачева» и «Капитанская дочка» заглядывают в такие трагические глубины русской истории, которые в принципе исключают возможность однозначного приговора. Исследование будет продолжаться Толстым, Достоевским и Чеховым, а приговора так и не последует — «суд удалился на совещание». Исключительно характерна для Пушкина концовка «Пира во время чумы» — одного из напряженнейших его созданий. После страстного диалога, в ходе которого высказываются непримиримые точки зрения, следует завершающая авторская ремарка: «Пир продолжается. Председатель остается погружен в глубокую задумчивость»¹. Приглашение погрузиться в размышление, осознать трагическую ответственность момента и самому искать решений — таким видится сейчас пафос позднего Пушкина. Это не уклонение от потребности ответить на мучительные вопросы, а ясное сознание того, что работа мысли не может быть завершённой.

Пушкин до 1825 года, как декабристы, как революционеры и просветители XVIII века, полагал, что истина найдена и дело лишь в том, чтобы отыскать пути к ее осуществлению. Пушкин после 1825 года — учитель

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 422.

218

мысли. В этом отношении обращенные к жизни слова из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» — «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу...»¹ — могут быть эпиграфом ко всему его творчеству этого периода.

Поиск еще не найденной истины требует гораздо больших душевных сил, чем самое смелое следование истине найденной. Он требует высочайшей внутренней независимости, той степени духовной культуры, недостижимым примером которой до сих пор остается Пушкин. И представляется, что именно этим он нужен нам сегодня, теперь, когда смелость мысли стала необходимостью, от которой зависит, быть или не быть человечеству.

В 1880 году, в разгар торжеств по поводу открытия памятника Пушкину в Москве, когда речи Тургенева и Достоевского вызвали кипение страстей, аплодисменты и слезы, А. Н. Островский произнес скромный тост на обеде Московского Общества любителей российской словесности. Между тем Островский высказал очень глубокую мысль. Он не стал превращать Пушкина в проповедника *своих* любимых идей (характерно в этой связи ироническое замечание Салтыкова-Щедрина в письме Островскому о том, что «умный Тургенев и безумный Достоевский» похитили у Пушкина его праздник, каждый в свою пользу²). Как важнейшую черту поэта он выделил следующее: «Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоцененны. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть». И далее: «Пушкиным восхищались и умнели, восхищаются и умнеют»³. И умнеют не оттого, что он в стихах зарифмовывал готовые истины, а потому, что он давал пример смелой мысли и открывал ей дорогу.

Такое понимание высокой миссии искусства можно было бы назвать «реабилитацией красоты», поскольку предполагалось, что искусство служит орудием мысли именно потому, что оно остается искусством и что создание красоты есть высокий акт познания (с этим, видимо, связана редко отмечаемая еще одна пушкинская традиция: философская мысль в России всегда стремилась к художественной форме выражения). Такое понимание миссии искусства, вплотную подводя к наиболее современным идеям, снимало вековое противопоставление красоты и

познания. И, видимо, этому должен был быть посвящен неоконченный замысел произведения о путях знания, от которого сохранился небольшой стихотворный отрывок:

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель⁴.

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 197.

² Салтыков-Щедрин М. Е. Письмо А. Н. Островскому 25 июня 1880 г. // Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1976. Т. 19. Кн. 1: Письма 1876—1881. С. 157.

³ Островский А. Н. По случаю открытия памятника Пушкину // Островский А. Н. Поли. собр. соч. М., 1978. Т. 10: Статьи, записки, речи, дневники. Словарь. С. 111, 112.

⁴ Пушкин А. С. Т. 3. С. 161.

219

В нескольких строках начертаны основные пути познания: эксперимент, основанный на пробах и ошибках, гений, имеющий смелость мыслить парадоксально, и, наконец, случай, вносящий в процесс познания необходимую непредсказуемость.

Круг пушкинских замыслов так широк, что вся последующая русская литература так или иначе с ними соотносилась, продолжая и как бы реализуя (часто в форме отрицания, спора, глубоко творческих преобразований) намеченный им путь духовного развития.

Насколько Пушкин созвучен нашему времени и в какой мере мы умнеем, общаясь с ним, можно показать на одном примере. В 1937 году отмечалась столетняя годовщина со дня смерти поэта. Дата эта дала обильную жатву исследований о Пушкине. Следует отметить, что тогда в науке о Пушкине сосредоточились уникальные силы. Перечень блестящих имен и выдающихся работ занял бы слишком много места. Но если начать перечитывать литературу юбилейного года подряд, ориентируясь на массовый ее уровень, то вырисовывается такая картина: исследователь чувствует себя несколько умнее того материала, который он исследует (например, Пушкина). Он «вскрывает» противоречия его творчества, указывает, где Пушкин объективно правдиво отразил общественную борьбу своего времени или предшествующих эпох (например, в «Скупом рыцаре» — эпоху первоначального накопления), а где он, в силу исторической ограниченности своего мировоззрения, не понял то, что авторы докторских диссертаций, «на все проливающих свет» (выражение Б. Пастернака)¹, прекрасно поняли. Такой взгляд не был случайностью, он имел параллель в отношении к природе, в которой также видели что-то недостаточно хорошо устроенное и менее «умное» те, кто брался переделывать ее, игнорируя глубокие функциональные связи и не желая их понимать. Сейчас же в пушкиноведении произошел, еще научно не реализованный, сдвиг в психологии исследователей: никому не придет в голову «учить» Пушкина. Пушкин, как и во времена Островского, продолжает идти впереди, продолжает учить нас, в том числе и его исследователей. А нам предстоит, внимая умному собеседнику, учиться и, стараясь все глубже его понимать и овладевая трудным делом самостоятельного мышления, по словам Островского, «восхищаться и умнеть».

Размышления в юбилей Карамзина²

225 лет тому назад — 1 (12) декабря 1766 года — родился Николай Михайлович Карамзин — писатель, поэт, журналист, историк. О Карамзине можно было бы писать как о создателе новой русской прозы, поэте, чью реформаторскую смелость отмечал Пушкин, и каждый из этих рассказов был

¹ Пастернак Б. Л. Избр. В 2 т. М, 1985. Т. 1. С. 439.

² Статья была продиктована в 1991 г. и предназначена для «Литературной газеты». Публикуется впервые.

220

бы содержательным и более чем достаточно обосновывал бы внимание наших современников¹.

Имя Карамзина связывается в сознании современного читателя с той маской, которую писатель не без снобизма надевал на себя в молодости, одновременно превратив ее в своего литературного двойника. Простодушные читатели воспринимали это порождение художественного творчества за реальный жизненный портрет автора. Ничто так не устойчиво, как простодушное невежество. Литературная маска заслонила лицо Карамзина.

В «Письмах русского путешественника» Карамзин создавал образ беспечного, не очень глубокого, поверхностного вояжера, и тень эта преследовала его до конца жизни. Уже восемь томов «Истории государства Российского» — плод гигантского труда — были завершены, а молодой Пушкин, возможно еще не успев прочесть эту книгу, приветствовал ее эпиграммой:

«Послушайте: я сказку вам начну
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород, про время золотое,
И наконец, про Грозного царя...»

¹ Давая интервью по поводу книги «Сотворение Карамзина» (М., 1987), Ю. М. Лотман писал: «Жизнь и творчество Николая Михайловича Карамзина в настоящее время сделались предметом

пристального внимания и читателей, и исследователей. Произведения Карамзина в последние годы также издаются весьма активно.

Над темой Карамзина я работаю со второго курса университета, т. е. с 1947 г. Однако до сих пор публиковал лишь статьи, посвященные тем или иным возникающим в этой связи научным вопросам. Книга, которую я сдал в издательство „Книга“ (20 авт. л.), представляет собой опыт целостной биографии. Правда, биографии особого рода. В 1837 г. в письме к А. И. Тургеневу П. Я. Чаадаев, назвав Карамзина „необыкновенным человеком“, писал: „Чего стоит у нас человеку, родившемуся с великими способностями, сотворить себя хорошим писателем“. Карамзин всю жизнь „творил себя“, вся его жизнь была опытом великого самовоспитания, и именно это „сотворение себя“ мне хотелось сделать стержнем его жизнеописания. Но для этого надо было пройти по двум трудным дорогам. Прежде всего — преодолеть недостаточность наших фактических знаний. Приведу пример: важнейший этап во внутреннем развитии Карамзина — его заграничное путешествие 1789—1790 гг. Начинающий писатель встретился с крупнейшими умами Европы и стал свидетелем начала Великой французской революции. А что мы знаем об этих важных событиях его жизни? Никаких документов — только „Письма русского путешественника“. Мне пришлось проделать тщательную работу по дешифровке этого документа, отделению реальности от художественного вымысла, выявлению намеков, ключи от которых были в руках внимательного современника Карамзина, но утрачены потомком.

Вторая дорога ведет нас во внутренний мир Карамзина. Это трудный путь, и здесь гипотез больше, чем уверенных решений. И все же только образ саморазвития „внутреннего человека“ может придать разрозненным фактам целостность, сложить из них характер. Здесь перед нами предстанет Карамзин — наблюдатель Карамзина, Карамзин — судья Карамзина и Карамзин — творец Карамзина.

Работая над рукописью, перечитал заслуженно вызвавшие интерес читателей книги о моем герое — „Последний летописец“ Н. Эйдельмана и „Три жизни Карамзина“ Е. Осетрова» (Книжное обозрение. 1986. 11 июля).

221

— И, бабушка, затеяла пустое!

— Докончи нам «Илью-богатыря»¹.

Карамзин смолоду любил надевать маски, менять лица. А был он, в сущности, труженик в литературе и честный человек в жизни. Всю жизнь он уклонялся от проторенных путей. Достигнув на каком-либо поприще победы, момента, когда уже можно было спокойно наслаждаться заслуженной славой, он резко менял поприще и появлялся перед читателями в новой роли.

Дворянин небогатого рода, но принадлежавший семье, традиционно гордившейся образованием и независимостью, Карамзин свои первые шаги начал на проторенной дороге — офицером в привилегированном гвардейском полку. Затем последовал первый резкий поворот — неожиданный выход в отставку. Вспомним, что во время суда над Новиковым императрица раздраженно помянула раннюю отставку Новикова как доказательство его нелояльности. Выход Карамзина в отставку также был демонстративным поступком. В «Послании к женщинам» Карамзин так объяснял свою отставку:

В чиновных гордечах чины возненавидя,
Вложил свой меч в ножны. («Россия, торжествуй, —
Сказал я, — без меня!»)... и. вместо острой шпаги,
Взял в руки лист бумаги...²

Карамзин, нарушая словесную традицию, сделался профессиональным литератором, человеком, для которого перо стало не забавой дилетанта, а инструментом профессионала. Но заработок не стал целью. Целью была пропаганда просвещения. В обществе масонов недавний светский щеголь сделался суровым моралистом, стремящимся «познать самого себя». Но на пути к «высшим таинствам» — резкий поворот: разрыв с масонами и путешествие в Европу. Карамзины были небогаты, и длительное путешествие потребовало почти разорительных для писателя расходов. Это не остановило его.

Тютчев писал:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!³

Карамзин полностью постиг это блаженство. Позже, в «Письмах русского путешественника», он описал свое странствие, но вместе с тем многое скрыл. Ему пришлось обойти подробности длительного пребывания в охваченном революцией Париже и знакомство со многими из выдающихся политических деятелей этих дней. Он прибыл в Россию с твердым намерением стать реформатором. Его программа укладывалась в рамки европеизации и коренных реформ русской культуры. С умением, неожиданным для начинающего литератора, он организовал литературный журнал.

Организуя издание, ему приходилось одновременно создавать новый тип читателя. Карамзин создавал журнал, который ориентировался на читателя, но это был читатель, которого одновременно создавал Карамзин. И в этом

¹ Пушкин А. С. Эпиграмма (На Карамзина) // Пушкин А. С. Т. 1. С. 243.

² Карамзин Н. М. Поли. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 170.

³ Тютчев Ф. И. Цицерон // Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 36.

222

особенно проявился его гений журналиста и просветителя. Издание журнала оборвалось под

давлением цензуры, и Карамзин создал новую литературную форму — альманах. Все дальнейшие русские альманахи — «Северные цветы» Дельвига, «Полярная звезда» Рылеева и Бестужева, «Мнемозина» Кюхельбекера — были литературными потомками «Аглаи» Карамзина. Плодотворность позиции Карамзина проявлялась, в частности, в том, что среди продолжателей он имел гораздо больше полемистов, чем эпигонов.

Цензурный гнет сделал издание литературного журнала практически невозможным. И здесь Карамзин вновь проявил себя как гений журналистики. Он начал издавать «Пантеон иностранной словесности» — журнал, относительно которого он объявил, что в нем не будет печататься оригинальных произведений, только переводы античных и западных писателей будут развлекать и просвещать «пренумерантов» издания. На самом деле Карамзин, умело komponуя и сопоставляя иногда достаточно свободные переводы, сумел провести через цензуру злободневные издания. Однако цензура тоже не дремала. Вычеркивались даже римские авторы, поскольку они были республиканцами. Вскоре журнал был закрыт. Последовало несколько лет молчания.

С восшествием на престол Александра I Карамзин возобновил деятельность журналиста, и опять он выступил как новатор. Время было либеральное. Александр I провозгласил начало эпохи реформ, а фактически управлявший страной интимный круг друзей императора сами участники не без кокетства называли «Комитетом общественного спасения», забавляясь параллелью с Робеспьером.

Либерализм сделался признаком лояльности — Карамзин стал консерватором. Взгляды его изменились с годами и историческим опытом. Но чувство независимости и стремление идти по непроторенным дорогам остались теми же. Карамзин создал первый в России оригинальный политический журнал — «Вестник Европы». В журнале были опубликованы важные художественные произведения — «Рыцарь нашего времени», «Моя исповедь», «Марфа Посадница». Однако главенствовала в журнале политика. Карамзин мог притворяться дилетантом. На самом деле он признавал только хорошую, высокопрофессиональную работу. «Вестник Европы» привлекал современников не только содержанием материалов, но и высокой профессиональностью издания. Еще полтора десятка лет спустя после карамзинского «Вестника Европы» издатель А. Е. Измайлов, задержав на масляной неделе выход своего журнала, извинялся перед читателями следующими стишками:

Как русский человек на праздниках гулял: Забыл жену, детей, не только что журнал¹.

Карамзин же утвердил как закон точные даты выхода номеров журнала два раза в месяц. «Марфу Посадницу» он писал, когда в соседней комнате стоял гроб его скончавшейся в родах первой жены, — журнал не должен был опаздывать.

¹ Поэты-радищевцы: Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Л.. 1935. С. 421. 223

Новый тип издания был завоеван. И Карамзин, уже немолодой человек, оставил завоеванное поприще, уступил журнал продолжателям и начал новый труд. Он стал историком. Опять все с начала. Снова огромная черновая работа, годы труда, насмешливые и недоверчивые улыбки современников — последняя победа пришла после смерти: двенадцатый том выходил уже как памятник героическому труду его автора.

Карамзин заложил для русской литературы некие основные принципы. Первым из них была независимость. Карамзин отстаивал свою независимость и от давления со стороны правительства, и от пылких нападков «юных либералов» — декабристов и Пушкина. Ученик Новикова, прошедший в его суровой школе науку популяризации, воспринявший вкус к проповеди просвещения, Карамзин на всю жизнь сохранил опыт новиковского просветительства. В 1802 году в статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России»¹ (характерно дерзкое соединение, казалось бы, противоположных понятий: «любовь» и «торговля») Карамзин писал, что до Новикова «расходилось московских газет не более 600 экземпляров, г. Новиков сделал их гораздо богаче содержанием, прибавил к политическим разные другие статьи и, наконец, выдавал при ведомостях безденежно „Детское чтение“, которое новостью своего предмета и разнообразием материи, несмотря на ученический перевод многих пьес, нравилось публике. Число пренумерантов ежегодно умножалось и лет через десять дошло до 400».

Карамзин разошелся с Новиковым и его масонистскими соратниками. Он не разделял мистических увлечений и возлагал надежды не на моралистическую литературу и суровые этические наставления, а на красоту, вкус и художественное воспитание. Цель была та же: очищение души человека, приобщение его к идеалам добра и гуманности, но путь этот, по мнению Карамзина, в 1790-е годы шел через интересную книгу, изящное стихотворение. Карамзин возлагал надежды не на проповедь, а на романы. И то, что Пушкин в 1820-е годы мог создать образ поэтичной и высоконравственной героини, которой

...рано нравились романы;

Они ей заменяли все...² —

было оправданием издательской практики Карамзина.

Мы подходим к нашей главной теме — какие уроки может извлечь современность из опыта Карамзина.

В последней трети XVIII века Россия переживала подъем книгоиздательской деятельности. Книги раскупались быстро и впервые в России начали приносить доход. Появилась литература, которая быстро расходилась. Печатать стало выгодно. Эта массовая литература приносила бесспорную пользу. Но все же стимулы, которые двигали многочисленными издателями, были в значительной степени финансовыми. Наряду с хорошими, ценными книгами появился целый поток изданий, стремившихся эксплуатировать читательский спрос. Количество читателей быстро росло, книг не хватало, литература

¹ Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 117—120.

² Пушкин А. С. Т. 5. С. 49.

224

сливалась с коммерцией. Большие семейные библиотеки начали возникать не только в дворянских домах. Тот, кто листал книги XVIII века, читал на них владельческие надписи купцов и мещан, а жирные, запачканные углы страниц многочисленных романов лучше всего свидетельствуют о читательском голоде: книгу передавали из рук в руки. Некоторые книги — дешевые и третьестепенные с точки зрения XVIII века, такие как «Повесть об английском милорде» Матвея Комарова и пресловутый «Мартын Задека», который лежал под подушкой у пушкинской Татьяны, — сделались библиографическими редкостями и приобрели величайшую ценность именно потому, что были «зачитаны» массовым для той эпохи читателем.

Необходимо было поднять книгоиздательское дело до уровня высокой культуры. Пионером в этом деле выступил Новиков, но подлинный переворот произвел Карамзин. Антитезам «хорошая книга — доходная книга», «просвещение — коммерция» они противопоставили соединение: «хорошая и доходная», «высококультурная и коммерческая». Аристократическая традиция XVIII века утверждала, что рассматривать книгу как источник заработка постыдно. Гонорары выплачивались переводчикам, но не авторам. Считалось, что гонорар унижает, оплачивать ремесленный труд естественно, но творческий — оскорбительно. Только с опорой на традицию Новикова — Карамзина Пушкин мог дерзко написать:

На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите, вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите — вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она:
Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же
Печатаете вы? — Для денег. — Ах, мой боже!
Как стыдно! — Почему ж?¹

(«На это скажут мне с улыбкою неверной...»)

Карамзин продемонстрировал органическое соединение литературы как искусства, гражданского подвига и коммерческой профессии. Первое определяло цель, второе — средство. Более того, книжная коммерция означала независимость — культура выходила из-под государственного контроля. Деньги как нечто низменное, недостойное поэта приобретали новый смысл:

Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет².

(«Разговор книгопродавца с поэтом»)

И здесь мы подходим к вопросу, который прямо нас ведет к современности.

Эпоха государственной книги теперь кончилась. С этим связаны три коренных изменения. Во-первых, раньше книга была под государственным контролем: государство могло издавать книги, которые не покупаются, и задерживать книги, которых ждал читатель. Государственная монополия, а не

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 361.

² Там же. Т. 2. С. 197.

225

читательская потребность определяла списки выходящей литературы. Это — отрицательная сторона.

Во-вторых, книга была дешевой: никто не предъявлял к ней критериев окупаемости или, по крайней мере, не делал их главенствующими. Низкая цена и большие тиражи делали книгу доступной, и это была положительная сторона. В случае убыточных изданий издательство компенсировало их дотациями.

В-третьих, государственная зависимость не всегда была негативной чертой. Многотомные академические издания, редкие памятники культуры почти никогда не приносят доходов, они меряются другими критериями. Чернышевский в свое время писал, что если от каждой книги требовать дохода, то астрономические справочники не будут изданы никогда.

Ответ на эти трудные вопросы таков: книгоиздательское дело — честь национальной культуры. Оно должно гармонически сочетать частные издания с изданиями государственными. Нельзя памятники национальной культуры или же такие издания, как «Литературные памятники», выносить на произвол рынка. Но нельзя и игнорировать то, что книга — товар и должна контролироваться потребителем. Итак, словесность и торговля как союзники, а кто враги?

Мы переживаем период книжного голода. Пищевые и промышленные товары почти исчезли,

но книжные прилавки не пустуют, и главное, что книги находят покупателей. Даже нынешняя чудовищно дорогая книга не залеживается на прилавке. Это имеет свою опасную сторону. Так, например, в 1930 году два крупных исследователя — Сергей Гессен и Анатолий Предтеченский — задумали издать интересный источник — знаменитое сочинение маркиза де Кюстина, описавшего свое посещение николаевской России. Покойный Анатолий Васильевич Предтеченский, зная которого лично я имел счастье, рассказывал мне о том, через какие издательские барьеры приходилось проводить эту книгу. В результате русское издание было сокращено более чем на три четверти и многое ценное было утрачено. Сами издатели называли свой труд изуродованным, но не могли об этом печатно сообщить читателю.

Обстоятельства переменялись, и вот теперь издательство «Терра» переиздает издание 1930 года без дополнений и изменений не потому, что ему мешают цензурные или какие-либо другие подобные условия, а потому, что надо «делать деньги», и как можно быстрее, проще и дешевле для себя. Как с этим бороться? Не запретами, а конкуренцией, созданием профессиональных квалифицированных издательств по традиции Новикова и Карамзина.

И тут поможет еще одна карамзинская традиция: Карамзин был основоположником систематической книжной критики. Он давал в руки читателю объективную, квалифицированную оценку книг, где единственным критерием были интересы культуры. Такой журнал и теперь необходим, он должен быть возглавлен объективными, авторитетными деятелями культуры, чье суждение — моральный суд для книгоиздателей. Это — вновь по традиции Карамзина — внесет в издательское дело квалифицированную здоровую конкуренцию. Как и в конце XVIII века, у нас накопился запас издательской культуры. Имя Карамзина подскажет нам, как его использовать.

226

«Пушкин притягивает нас, как сама жизнь»¹

Не сетуйте: таков судьбы закон; Вращается весь мир вокруг человека, — Ужель один недвижим будет он?² —

вот ответ на вопрос: «Меняется ли отношение к Пушкину в течение жизни?» Меняется мир, вместе с ним меняется и человек. Меняется не только наш взгляд и мы сами, меняется и Пушкин. Многогранный, сложный, объемный мир не укладывается в слово и даже во многие слова. Приведу пример. Те, кто бывал в Эрмитаже и видел скульптуру Вольтера работы Ж.-А. Гудона, знают о ее удивительном свойстве. Когда вы обходите ее, у скульптуры меняется выражение лица. Вы видите, как Вольтер плачет, издевается, смотрит на мир трагически и задыхается от смеха. Казалось бы, мрамор недвижим, но меняется наша точка зрения и меняется лицо скульптуры. Точно так же, когда мы обходим мир, он меняется. Не только мы меняемся перед лицом мира, но и мир меняется перед нашим лицом.

Одна из замечательных особенностей Пушкина — способность находиться с нами в состоянии диалога. Вы можете сказать: как же так? Его книги напечатаны, страницы зафиксированы, буквы сдвинуть с места нельзя. А меж тем система, которую Пушкин создал и запустил в мир, — это динамическая структура, она накапливает смысл, она умнеет, она заставляет нас умнеть, она отвечает нам на те вопросы, которых Пушкин не мог знать. Эта система — сам поэт. Поэтому в том, что он меняется перед нашим взглядом, нет ничего удивительного: в этом его жизненность. Любое сложное, богатое произведение искусства тем и отличается от других созданий человеческих рук, что обладает внутренней динамикой.

Когда вы имеете дело с гениальным человеком, вы никогда не сможете очертить до конца возможности его будущего. Замечательно об этом сказано в набросках романа Л. Толстого о декабристах. После возвращения из Сибири в Москву одному из декабристов жена говорит замечательные слова: «Я могу предсказать, что сделает наш сын, а вот ты еще можешь меня удивить»³. Вот эта способность удивлять — свойство гения. Гений — это не только романтическое и красивое слово, это довольно точное понятие. Гений отличается от других одаренных людей высокой степенью непредсказуемости. Это свойство гениальности в высшей степени присуще Пушкину. Из-за его ранней гибели, трагических обстоятельств обрыва его творчества, невозможно представить, что бы он мог сделать, если бы прошел по жизни еще шаг, два, десять... Очень интересно, что его друг Баратынский, сам гениальный поэт, после гибели Пушкина получивший доступ

¹ Впервые: Русская газета (спец. вып.). Тарту. 1993, 1 нояб. Записала В. Василькова.

² Пушкин А. С. Была пора: наш праздник молодой... // Пушкин А. С. Т. 3. С. 374.

³ Толстой Л. Н. Декабристы // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1979. Т. 3. С. 364.

227

к его рукописям, пишет о них своей жене поразительные слова: «Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиной!» И дальше замечательная фраза: «Он только что созрел»¹.

Что это значит? Совсем не то, что он был незрел до этого, а то, что пришла вторая, третья — новая зрелость. Это тоже одна из особенностей Пушкина — обретать новую зрелость. В очень тяжелую для себя минуту, когда умер А. А. Дельвиг — единственный близкий друг из лицеистов

(два других были в Сибири), он пишет П. А. Плетневу: «Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья <...> мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо»². Эти строки говорят о том, какой необыкновенной силой принятия жизни обладал сам поэт.

Пушкин притягивает нас, как сама жизнь. Он способен подняться до понимания поэзии болезни, помогая ее пережить:

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет³.

Под этими строками мог подписаться любой декадент. Но у Пушкина в этих строках притягивает здоровье в интонации. Ведь стихи говорят разными голосами. Помните у Жуковского — «И лишь молчание понятно говорит»?⁴ У Пушкина интонация не болезни, у него сила принятия болезни как формы жизни, принятие жизни и в ее трагических проявлениях. Эта как бы сопричастность здоровью — тоже поразительное свойство Пушкина. Особенность глубоких вещей, в том числе и пушкинских текстов, в том, что каждый берет от них столько, сколько может вместить. Так было и будет всегда. Сегодня много говорят о том, что наступило трудное время. За этими словами стоит иждивенчество — сделайте мне легкое время и я тоже буду честный человек. Что значит трудное время? А когда оно было легким? Разве у Пушкина было легкое время? Для мужества, для работы, для добра — всегда его время. Как отзовется то, что мы делаем сегодня, — очень трудно сказать. Делаем, как можем. И да не будет нам сказано, что мы сидели сложа руки, когда надо было дело делать.

¹ Баратынский Е. А. Письмо А. Л. Баратынской от 6 февраля 1840 г. // Летопись жизни и творчества Е. А. Баратынского / Сост. А. Песков. М., 1988. С. 359.

² Пушкин А. С. Т. 10. С. 368.

³ Пушкин А. С. Осень (Отрывок) // Пушкин А. С. Т. 3. С. 263—264.

⁴ Жуковский В. А. Невыразимое (Отрывок) // Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 33.

«Нам все необходимо...»

Угол зрения¹

1. Какие проблемы человеческого общежития, в частности семьи и воспитания детей, кажутся вам наиболее актуальными?

— На протяжении всей истории человечества «работают» две закономерности, две неизменные тенденции. Одна состоит в том, что все течет, все изменяется. И поэтому предсказать что-нибудь определенное, даже на ближайшие двадцать лет, я не берусь. Другая тенденция состоит в том, что особенно важные вещи вообще не меняются.

Думаю, что и впредь мужчины будут любить женщин, а женщины — мужчин. И по-прежнему для тех и других это будет крайне важно. По-прежнему родители будут любить своих детей и бояться за них, и по-прежнему дети будут доставлять родителям огорчения. Без этого тоже невозможно. По-прежнему будут трагические коллизии. Люди будут умирать — ведь бессмертие индивидуума — гибель для человечества. А вместе с тем каждая смерть — это тяжелая утрата для близких. По-прежнему будут существовать трагически-этические проблемы. Если их не будет, человечество превратится в стадо упитанных животных. Люди нуждаются в трагедиях, чтобы сохранять высокое напряжение души. По-прежнему будут недостижимые научные задачи... И по-прежнему люди будут интересоваться тем, что будет через сто лет, совсем как мы сейчас.

Что же касается воспитания нового поколения, то я полагаю, что самое главное — развивать духовный мир, приучать человека к активной работе мысли и совести. Даже при постижении простейших законов физики ученикам даются лабораторные работы, чтобы к выводам они пришли самостоятельно. Это и есть приобщение к творчеству, которое необходимо во всех

¹ Впервые: Молодежь Эстонии. 1974. 18 апр. Дискуссия на страницах таллинской газеты под рубрикой: «Четыре угла зрения: приглашение к спору». Беседу вели Г. Диомидова и Б. Томбу, участвовали писатель-фантаст И. А. Ефремов, эстонский психиатр Х. Кадастик, эстонский астроном Ч. Виллман и Ю. М. Лотман. Вопросы были взяты из интервью И. А. Ефремова журналу «Техника — молодежи». Воспроизводятся только ответы Ю. М. Лотмана.

сферах. Слишком уж часто, в силу разных причин, мы предпочитаем давать готовые выводы, нагружая память, а не вызывая напряжения интеллекта. И уж совсем недопустимо мы злоупотребляем этим в этической сфере. Мы мало учимся подводить детей к самостоятельному сложному духовному поиску, идем по более легкому пути системы разрешений и запретов — вот за это получишь пятерку, а за это — двойку, что приводит к духовной пассивности, к духовному потребительству.

Мы слишком много терпим формализма, особенно губительного для детей, «планируем мероприятия» там, где должна совершаться работа совести. Мы мало задумываемся над тем, насколько ранима детская совесть, каким внимательным, чутким, осторожным, каким культурным должен быть человек, работающий с детьми, с какими труднейшими задачами ему приходится иметь дело.

2. Ваше отношение к аскетизму?

— Полагаю, что аскетизм тут ни при чем. Беда не в погоне за вещами, а в диспропорции между духовными потребностями и интересом к вещам. Рост духовных интересов должен обгонять интерес к вещам. Вещь сама по себе ни плохая и ни хорошая. Она никакая. И значение приобретает лишь по месту в культуре в целом, в духовном мире.

А искусственное обеднение физической стороны потребностей так же губительно, как обеднение духовной. Человек не должен обеднять себя. Но, действительно, есть диспропорция между быстро развивающейся материальной сферой жизни и ростом духовных потребностей. И беда наступает тогда, когда в силу внутренней убогости человек, имеющий возможность купить что-то, приобретает, скажем, пианино не как предмет культуры, а как вещь.

Чем ниже уровень духовной культуры, тем меньше индивидуальностей, тем больше люди похожи друг на друга. И сейчас, я думаю, это чувствуется особенно остро. Долгие века вещи изготавливались кустарно и потому были неповторимы. Сейчас же вещи сходят с конвейеров миллионными тиражами и человеческая индивидуальность проявляется лишь в «духовной продукции». В тех сферах труда, где есть творчество.

Давайте сразу же оговоримся, что никакое формальное определение места, должности, звания, научной степени не обеспечивает человеку глубины внутреннего мира. Иначе нам пришлось бы признать, что любой действительный статский советник должен был бы писать стихи лучше, чем Пушкин, всего лишь коллежский секретарь. Полнота духовной жизни определяется талантом, природу которого я не берусь определять, и культурой. Культура — понятие сложное. И складывается она, в частности, из разных форм памяти. Я полагаю, что земледелец, владеющий тысячелетиями накопленным опытом, — культурный человек. Ведь мы не случайно говорим — «культура обработки земли». Во всяком случае, он гораздо более культурен, чем человек, живущий в стандартной квартире и не помнящий вчерашнего дня.

Правда, некультурный человек с внешними признаками культуры может выступать в функциях культурного человека, потому что при сложности современного мира, при многогранности нашей жизни отличить одного от другого становится все труднее.

230

Восприятие мира¹

Иногда Большую Науку сравнивают с зеркалом, разбитым на множество осколков, каждый из которых отражает определенный кусочек реального мира. Физики, биологи, химики, историки, математики, представители десятков специализаций размежевали Науку.

Как сказывается специализация на восприятии мира? Какой отпечаток она накладывает на ученых?

— Гуманитарные науки сейчас решительно движутся к точным. Но их слияния, на мой взгляд, никогда не произойдет. Как существуют север и юг. стихи и проза, так всегда будут соседствовать науки гуманитарные и точные. И поэтому у гуманитария свое лицо. Он вплотную связан с этическими проблемами. Если инженер, проектируя, скажем, автомобиль, не интересуется тем, кто будет в нем ездить, или задается этим вопросом только во вне рабочее время, то гуманитарий в процессе своей работы от такого вопроса отмахнуться не может. Ибо вопрос этот составляет сущность его деятельности.

Гуманитарные науки существуют для того, чтобы обеспечить человечеству непрерывную этическую память, без которой оно немислимо, без которой оно не выживет. Память выражается в том, что мы знаем, что мы пишем, что мы получаем от предков и передаем потомкам. Это и есть культура — отнюдь не праздная забава.

Гуманитарные знания органически связаны с совестью. Равнодушный к эстетическим проблемам инженер может быть безупречен с профессиональной точки зрения. Физик, равнодушный к этике, — явление социально опасное, но профессионально допустимое. Чуждый морально-этическим проблемам гуманитарий профессионально непригоден.

И если астроном стоит лицом к лицу со Вселенной, то гуманитарий стоит лицом к лицу с Историей Человечества, с его главным вопросом о смысле жизни.

Каждое поколение закономерно задает этот вопрос, который ценен не ответом, а самим фактом существования. Есть вопросы, на которые культура дает ответ. Другие же — сохраняет, ставит их заново и заново, меняя лишь формулировки.

В чем смысл жизни? Это должно стоять перед человеком как извечный вопрос, чтобы определить этическую устремленность его поведения. Тем самым человек отличается от животных. Хотя я думаю, что мы несколько примитивизируем животных. Они умнее, чем мы полагаем. И наконец, было бы большим несчастьем, если я или кто-то вдруг смог бы ответить на вопрос о смысле жизни. Зачем тогда жить?..

¹ Молодежь Эстонии. 1974. 11 июня. Беседу вели Г. Диомидова и Б. Томбу, участвовали эстонский астроном Ч. Виллман, математик А. Монин, филолог Ю. Лотман. Воспроизводятся только ответы Ю. М. Лотмана.

231

Азбука судьбы¹

Нам говорят «безумец» и «фантаст», Но, выйдя из зависимости грустной, С годами мозг мыслителя искусный Мыслителя искусственно создаст .

Гете

Искусственный интеллект — одна из самых интересных и запутанных проблем современной науки. Она — на перепутье многих, если не всех, областей знания: математики и философии, кибернетики и психологии, бионики и социологии... О ней продолжают спорить ученые. Причем зачастую эти споры ведутся «на разных языках», за которыми не только несовпадения в терминах, но и в корне различное представление о самом предмете спора. Специалист по компьютерам говорит о сверхмощной, сверхбыстрой, сверхумной самопрограммирующейся ЭВМ, механик — о человекоподобном роботе, биолог представляет себе материю, организованную по тем же принципам, что человеческий мозг.

«Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» — так, не в самых строгих научных терминах, можно сформулировать сегодняшнее состояние проблемы искусственного интеллекта.

Однако наши собеседник — литературовед, ученый, интересы которого должны, казалось бы, лежать совсем в иных пределах. Но профессор кафедры русской литературы Тартуского университета Юрий Михайлович Лотман, историк литературы, искусствовед, «специалист по XVIII веку», культуролог, — автор не только известных книг о структурном анализе художественных произведений, но и работы «Моделирование сложных систем типа «робот-манипулятор» на основе семиотических методов».

— Юрий Михайлович, мне хочется начать нашу беседу с цитаты из книги американского ученого, писателя-фантаста Дж. Слэйгла: «ЭВМ будет в ближайшем будущем нашим рабом или в некотором смысле братом. Если же мы примем соответствующие меры, то вычислительные машины останутся нашими друзьями и в более отдаленном будущем. Если эти меры не будут приняты, имеется определенная опасность, что когда-нибудь разумные машины „одержат верх“. Один из величайших уроков истории заключается в том, что рабы рано или поздно сбрасывают иго, и часто путем революций. Но каждый человек наделен от природы первичными желаниями или целями. Следовательно, надо позаботиться о том, чтобы „высшей целью“, заложенной в высокоразумную машину, было благосостояние человека, а не какие-либо личные цели машины».

Насколько возможен такой итог развития «машинной цивилизации» и идет ли здесь речь об искусственном интеллекте, сравниваемом с естественным, человеческим?

¹ Впервые: Московский комсомолец. 1979. 23 нояб. Беседу вел С. Кашницкий.

² Гёте И.-В. Фауст: Трагедия / Пер. Б. Пастернака // Гёте И.-В. Фауст. Лирика: Пер. с нем. М., 1986. С. 249—250.

232

— Для начала согласимся: мы вообще не знаем, что такое интеллект. Всякое определение будет условным, неточным. Ведь научно описать человеческий интеллект очень трудно: не сопоставимый ни с чем, не имеющий аналогов в природе, он не является предметом науки. Возможно, этот аналог создаст сам человек.

Что это будет — высокоразумная машина?

Но под машиной, даже самой совершенной, мы привыкли понимать серийное устройство. Чем больше один образец похож на другой, тем выше качество производства. Если у одного из них есть отклонения выше допустимой нормы, это уже брак. Серийная машина, превосходя человека в отдельных качествах, всегда будет уступать ему в главном — индивидуальности. В сравнительно простых ситуациях она станет действовать по программе (в блоке памяти машины хранится определенный объем информации). Если же ситуация сложная, тогда только хранить информацию — мало, нужно ее вырабатывать (ведь неизвестно, окажется ли наша программа оптимальной). А чтобы устройство само вырабатывало информацию, оно должно быть «личностью».

Имеет ли смысл делать его «личностью»? Это совсем не простой вопрос, и предостережение Дж. Слэйгла не лишено оснований. А если да, то как? Вопрос еще более сложный...

— ...и непосредственно связанный с вопросом: что такое личность?

— Древнегреческий философ Гераклит говорил, что психее (душе) присущ самовозрастающий логос¹. Количество информации в мозгу человека непрерывно возрастает, даже если никаких источников информации, кроме самого мозга, нет. Это, по-видимому, и есть основной признак интеллекта. За счет множества и сложности внутренних связей мозга информация внутри него всегда возрастает, а его поведение непредсказуемо.

Что еще, имеющее эти признаки, можно поставить рядом с интеллектом человека?

Я считаю: только два объекта — культуру и художественный текст. Поэтому высокоразумное устройство, на мой взгляд, скорее будет напоминать стихотворение, нежели самый совершенный «примус».

Стихотворение (как любой художественный текст, да и культура вообще) после своего рождения живет самостоятельной жизнью. Это саморазвивающаяся структура. Она обгоняет все известные из созданных до сих пор человеком систем с обратной связью и во многом приближается к живым организмам. Художественное произведение находится в обратной связи со средой и под ее влиянием изменяется. Шекспир умер в XVII веке, а «Гамлет» не просто живет, но постоянно меняется вместе с историей человечества. И мы, разумеется, сегодня читаем «не того» «Гамлета», что первые его читатели и сам автор.

Вот почему основные признаки художественного текста — индивидуальность, память, непредсказуемость, саморазвитие — дают право рассматривать его как «модель» искусственного интеллекта.

¹ См.: Гераклит. Фрагмент 112 (115ДК).

233

— Значит, жизнь высокоразумных устройств будет как-то соотноситься с жизнью художественных произведений?

— Несомненно. Так же, как и жизнь «естественного интеллекта» — человека. Вспомним для примера пушкинскую Татьяну:

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...¹

Известны случаи прямого воздействия персонажей и сюжетов на поступки людей.

Человек соотносит реальную ситуацию с идеальной и в уме распределяет список персонажей идеального сценария, один из которых — он сам. Набор сюжетов помогает оценить реальное поведение. И только в этом столкновении реального с идеальным возникает осмысленная цепь поступков, имеющих значение для человека, — его поведение.

Культурный багаж становится для нас своеобразным «блоком памяти». Сначала действие «прокручивается» там на основе хранящейся информации.

— Видимо, это ответ на сакраментальный вопрос «зачем нужно искусство»?

— Да. Причем вопрос этот не столь примитивен, как может показаться, а ответ на него отнюдь не очевиден.

Представьте себе, что к нам на Землю попал инопланетянин. Первое место, где он оказался, — библиотека. Легко изучив язык, он стремится по огромной массе текстов понять, чем живут разумные существа этой планеты. Пожалуй, пришелец не столько изумился бы обилию научных текстов (они ему доступны: язык логики везде один), сколько морю беллетристики. Зачем, спросил бы он, так много выдуманных действий в выдуманных обстоятельствах? Воспоминания о том, чего не было? Ну так ли важно для человечества, что женщина любила, переживала и наконец бросилась под поезд? А ведь судьбу этой никогда не жившей женщины годами описывал один из умнейших, талантливейших людей. Непростой парадокс для инопланетянина.

Чтобы рассеять недоумение, ему предстояло бы узнать, что художественные тексты разрабатывают сюжеты человеческого поведения и организуют, задают его в обществе. Люди на моделях реконструируют практические результаты (что будет, если я поступлю так?), выбирают стратегию поведения

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 59.

234

с учетом моральных норм («нравственно — безнравственно» не менее сильно влияет на выбор, чем «эффективно — неэффективно»).

Вам хочется что-то сообщить другим людям. Чтобы это индивидуальное сообщение построить, вы должны владеть языком, то есть держать в памяти единую для всех систему грамматики и лексики. Точно так же индивидуальный поступок в индивидуальной ситуации совершается, когда есть язык поведения.

А индивидуальное поведение коллектива программируется культурой. Значит, для рождения высокоразумных устройств необходим союз культуролога и создателя эвристических программ. Именно из этого союза должна родиться новая научная дисциплина — культуроника. Она объединит проблему искусственного интеллекта с исследованиями кибернетики культуры, а частная сфера культуроники артоника — с исследованиями кибернетики искусства. Артонику можно назвать техническим искусствоведением. Культура — эта самонастраивающаяся и саморазвивающаяся система — окажется полезной для «обучения» роботов сложным формам поведения.

— Значит, интеллект искусственный, подобно человеческому, должен быть индивидуален в поступках. А для этого ему нужен «культурный багаж»...

— Культурный багаж даже не в переносном, а в прямом смысле. Овладевать им устройство сможет по мере собственного усложнения. Чем больше степень усложнения, тем выше индивидуальность устройства, тем более развитая «личность» создана. В пределе машина приблизится к произведению искусства: она будет принципиально неповторима, а ее взаимоотношения со всякой личностью предсказать так же сложно, как «взаимоотношения» произведения искусства со зрителем или читателем.

— То есть двух одинаковых роботов не будет?

— Если мы говорим о роботе не как о подручной машине для облегчения труда человека, а как о самостоятельной «интеллектуальной единице», то, разумеется, что ни робот, то личность.

— Как вы считаете, развитие сложных систем — «кандидатов в искусственный интеллект» — будет ускоряться или замедляться?

— Чем сложнее устройство, тем труднее его создать. Думаю, что по мере усложнения трудности будут возрастать. Ведь даже на примере человека мы видим, что развитие отнюдь не сопровождалось сокращением трудностей. И они, эти трудности, необходимы.

Зачем, к примеру, понадобилось природе громоздить столько сложностей с любовью и браком? Не легче ли было каждому мужчине ставить в соответствие определенную женщину? И тогда никаких разочарований, несовпадений характеров, несчастий. Однако все это неизбежные «накладные расходы» на развитие общества разумных существ. Несоответствия, случайности, межличностные шероховатости — залог разнообразия, внутреннего усложнения системы, ее обогачения «самой за счет себя». Чем труднее добывается информация, тем она ценней, — это одно из противоречий развития системы, хорошо известное в кибернетике.

235

— Тогда нужно признать несостоятельной идею цивилизации суперличностей, многократно повторенных мужчин и женщин, соединяющих в себе качества лучших индивидов (скажем, мужчина — красивый, как Аполлон, умный, как Эйнштейн, талантливый, как Пушкин, и так далее)?

— Такая цивилизация была бы обречена на скорое вымирание. Для жизни, для развития требуются не клишированные идеалы — нужны неправильности, несовершенства, но не всякие, а индивидуальные, неповторимые, с бесчисленностью взаимных сочетаний. Так было всегда с людьми, так будет с устройствами, к которым применимо понятие «интеллект».

О ценностях, которым нет цены¹

Из эстонского города Тарту к нам приехал Юрий Михайлович Лотман. По приглашению ректората и кафедры русской и зарубежной литературы Казахского педагогического института имени Абая (а такие приглашения здесь вошли в традицию) известный ученый прочел цикл лекций по проблемам истории и теории литературы.

Тарту — особенный город. Триста пятьдесят лет его быт и бытие определяет Университет.

Классик эстонской литературы Юхан Смуул назвал Тарту городом-умницей, молодым городом и городом молодежи. Местные остроловы любят игру слов, в которой имя города переводится как «город с головой» (в отличие от Таллина, «города-голова»). Тарту похож: на деловой, сосредоточенный читальный зал, где никто не мешает другому работать. Здесь царит университет. Синие, зеленые, малиновые фуражки, которые студенты, верные традиции, носят даже в стужу; переполненный концертный зал университета: в оркестре — доктор математических наук, а в зале много детей; ни на кого не похожий, удивительный театр «Ванемуйне»; диспуты, лекции, взрывные «Тартуские Ученые записки»; словом, это «микроклимат, в котором воспитывается будущая культурная Эстония».

Юрий Михайлович Лотман — доктор филологических наук, профессор Тартуского университета. И наш званый гость сегодня.

— Вы так прочли в аудитории «Евгения Онегина», что давным-давно затверженные строфы пушкинского романа вдруг обнаружили неосвоенную «бездну пространства». Все ново, все как в первый раз, все ждет разгадки. Наверное, никто из слушавших вас не рискнет заявить: «Я это уже читал!» Такое чтение длится всю жизнь... Как этому научиться? Как стать похожим на вас читателем?

— Не надо обо мне. Читаю я плохо, медленно. Я должен сначала сам сочинить эту книгу, а

потом уже сравнить ее с написанным...

¹ Впервые: Ленинская смена. 1982. 23 окт. Беседу вел Л. Герций.

236

В чем зачастую вред детективов? В абсолютной пассивности читательского восприятия. Я детективы люблю: это интересное чтение, но почти всегда — отдых для активно работающего мозга. Так же, как убаюкивающие фильмы — варианты Голливуда тридцатых годов про Золушку. Или как сидение, на манер забастовки, перед телевизором. Это своеобразный наркотик. Помните, как Твардовский сказал про любителей забывать «козла»: «Уж за стол как сел, так сел, / Разговаривать не надо, / Думать незачем совсем»¹.

Таким наркотиком может быть и чтение, в особенности бессистемное. Оно напоминает современную остроритмическую музыку. Это на самом деле наркоз: повторяющиеся готовые блоки отключают мозг.

Чтение должно быть работой. Приятной — ведь работать приятно: когда хорошо поколешь дрова, поют мускулы. Поэтому я убежден: полезно только то чтение, которое относительно трудно. Которое каким-то образом встречает внутреннее сопротивление в читателе, переделывает его. То есть когда возникает контакт между автором и читателем. При этом книга обнаруживает признаки живого организма! Она меняется — в зависимости от контактов. И то, что мне очень легко, к чему заранее готов, что входит в меня, как винтик в гаечку, — это, в лучшем случае, бесполезно. А чаще всего и вредно: отучает думать.

— С приглашением прочесть лекции к вам обращаются многие вузы страны. Чем привлекательны для вас такие поездки?

— Я езжу по приглашению нечасто. Много работы, а жизнь коротка, времени мало, с каждым годом это понимаешь острее. Но мне всегда доставляет удовольствие видеть новые человеческие лица, а молодежи — особенно. Кроме того, я люблю работать с теми, кто начинает, кому интересно дело. И это тоже большая радость. Если бы по какой-то причине мне пришлось отказаться от педагогической деятельности, для меня это было бы большим несчастьем...

— Эйнштейн, как известно, мечтал об участии зрителя маяка. А вашей работе мешают педагогические «перегрузки»?

— Мне — не мешают. Преподавание я люблю и думаю даже, что не смог бы заниматься научной работой без педагогической.

Мысли у людей рождаются по-разному. Пушкин, например, мыслил только с пером в руке. Единственный раз в жизни он сочинил сцену для «Бориса Годунова» в седле и считал, что это лучшая сцена, но, приехав, он ее... забыл, она осталась нам неизвестной. А Лермонтов или Маяковский, напротив, только записывали уже сочиненное, готовое. У меня, как правило, мысль рождается, когда я говорю. И если какая-нибудь новая область меня очень интересует, я начинаю читать на эту тему спецкурс. Он для меня — выработка мыслей. А поскольку у нас на кафедре не принято повторять спецкурс дважды, я всегда выбираю для лекций ту тему, над которой буду работать через год.

¹ Твардовский А. Т. Теркин на том свете // Твардовский А. Г. Избр. соч.: В 3 т. М., 1990. Т. 2. С. 405.

237

— Круг ваших научных интересов обширен. История культуры — русской, а теперь и западноевропейской, история и теория литературы, семиотика... Можно ли выделить главное?

— Возможно, это заблуждение, но мне представляется, что это все — одно и то же, что я занимаюсь одним делом. Оно может, очевидно, казаться разбросанным, ведь и дом, пока стены не подведены под крышу, напоминает кучу строительного мусора. Но если судьба даст мне возможность продолжить работу, то, может быть, удастся и «крышу выложить». А тогда моему дому, пожалуй, отыщется единое имя-определение...

— При всем том известна ваша преданность одному имени в русской литературе...

— Пушкин? Да, из русских писателей и поэтов люблю его больше всех. Много лет изучаю его творческое наследие. Кроме того, в творчестве Пушкина сходятся, пожалуй, все основные проблемы отечественной литературы. Они или приводят к нему, или вытекают из него. Ну разве это не увлекательно?

— Чтобы написать таких тринадцать печатных листов, говорят о вашей книге «А. С. Пушкин. Биография писателя», надо знать дело на тысячу триста... Кажется, для вас нет тайны в пушкинском времени. Но если бы случилось невозможное и вы повстречали поэта, о чем бы спросили его?

— Я бы молчал. Есть такое ритуальное правило: царствующим персонам нельзя задавать вопросов. Если вам придется когда-нибудь встретить королеву, не спрашивайте ее, который теперь час и нравится ли ей погода.

Пушкин, помните, сказал про себя: «Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». В присутствии Пушкина я бы не смел открыть рта.

— Что вы особенно цените в научном работнике?

— Стремление к истине. Это основное. Если ученый ради эффекта, интересности, популярности или каких-нибудь других соображений уклоняется от поиска истины, он перестает

быть ученым. Причем это особенно показательно в гуманитарных науках. Ведь математические выводы — и это обязательное условие — дают проверяемость решения. Нет ни одного математического решения, которое бы не имело повторяемого алгоритма. А гуманитарные науки оперируют гораздо более сложным материалом. Прежде всего, по количественному охвату — читатель не может пойти в архив и проверить корректность использования документов. Читатель не может перелистать вслед за ученым все страницы источников. Здесь огромную роль играет доверие к личности ученого. И поэтому помните Козьму Пруткову: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?»¹

— А способности, как с ними?

— И способности, конечно, — к самому будничному труду. Люди талантливые, способные генерировать идеи, редки. Это очень здорово, когда сту-

¹ Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и афоризмы. 74 // Прутков К. Соч. М., 1974. С. 130.

238

дент или аспирант выдумывает новое, я, как всякий педагог, ценю это. Но если человек оказывается неспособен проколоть воздушный шарик собственной блестящей идеей, когда она обнаружила свою уязвимость, если не готов пожертвовать ею и высиживать новую идею, очень скоро это приведет к утрате научной честности, без которой науки нет.

Несколько лет назад в Тарту скончался замечательный скульптор Старкопф. В его мастерской под станком, на котором стояли очередные гранитные глыбы, неизменно лежала куча ломаных, тупых железных зубил. Старкопф рассказывал: вот приходит ко мне девочка — мол, хочу быть скульптором. Я дам ей кусок гранита, молоток и зубило — руби, милая. Если она завтра скажет, что мозоли, руки болят, я ей: иди, милая. А будет день и другой рубить гранит — потом сможет и глину мять, и мрамор рубить.

Надо любить работу всякую. Вы переписываете цитату за цитатой (с ксерокопией пока что у нас плохо), накапливаете карточки, выписки, а потом вдруг оказывается, что они никуда в дело не пойдут. И что же? Если вы сторонитесь такой работы, если она для вас не в радость, не содержательна, я сомневаюсь, способны ли вы вообще к труду.

— Жестковатый принцип...

— Жесткий. Но наука требует жесткости. Вы ведь не захотите, чтоб вашего ребенка лечил неуч, которого выпустили из института «добрые» люди? А плохой педагог, на мой взгляд, опаснее плохого врача. Его ошибки не столь очевидны, они скажутся через много лет. Разве не сталкивались мы все с учителями, которые прививают нелюбовь к своему предмету? У нас в руках профессия очень ответственная, потому что дает много власти над человеком. И воспитать будущего учителя культурным, знающим, гуманным, терпимым человеком и просто добрым — дело настолько важное, что жесткость необходима.

— Расскажите, пожалуйста, о своих учениках.

— Первый мой дипломант сейчас находится в Алма-Ате с делегацией Эстонской республики. Это доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы Тартуского университета Сергей Геннадьевич Исаков. На мой взгляд, очень перспективный доктор наук, хоть и молод еще для ученого. Он занимается литературными связями народов СССР, хорошо эрудирован в вопросах эстонской прозы и поэзии, знаток декабристской литературы. Совсем недавно в соавторстве с ним мы написали учебник для девятого класса эстонской школы. Это был эксперимент: ни у одного из нас опыта работы в таком специфическом жанре нет. Должен вам сказать, это был очень интересный труд! Я писал историко-литературную часть, Сергей Геннадьевич — все, что касается связей данных писателей с Эстонией и переводов: учебник на эстонском языке. Мы сознательно адресовали его не любому школьнику, а именно эстонскому, с учетом его психологии, его навыков чтения на родном языке. Педагоги, специалисты встретили учебник положительно. Но вышел он только в сентябре, и нужно несколько лет, чтобы решить, хорош он или нет.

239

Учеников довольно много, а все, в общем, получилось так: в начале пятидесятых на кафедре университета собрались энергичные и очень в ту пору молодые преподаватели. Возглавил кафедру известный ленинградский ученый, сейчас доктор наук, профессор Борис Федорович Егоров. Прошло время, и весь нынешний состав университетской кафедры — это наши ученики, те, кого мы вырастили. Они уже «отпочковались» и в Таллин: кафедра пединститута почти полностью укомплектована нашими выпускниками. Питомцы университета работают во многих республиках страны... Мы можем сказать с гордостью, что литературоведческие, семиотические, культурологические работы читаются и переводятся практически всюду.

А кроме того, разве мы учимся только у тех, чьи лекции слушаем? Я не видел никогда Юрия Николаевича Тынянова, не было такого счастья, но считаю себя его учеником (хотя, может быть, это с моей стороны самонадеянно). Бывают, я думаю, и такие вот заочные ученики.

— Пожалуйста, подробнее о ваших занятиях в области культурологии. Это наука, родившаяся практически на наших глазах...

— Семиотическая культурология — одна из «горячих точек» всей современной науки. Здесь сходятся самые разные научные интересы. Например, мы долгие годы сотрудничали с

ленинградскими кибернетиками. Проблема создания эффективного робота сегодня стоит остро: это и вопрос рабочей силы, то есть практический вопрос, и другие. Но построить робота означает не просто свинтить гайки. Это означает возможность искусственно моделировать человеческое поведение, в значительной мере — интеллект. Но что мы назовем искусственным интеллектом? Устройство, которое в заданном порядке будет складывать кубики? Едва ли. А что такое сложные интеллектуальные операции? Вопросов возникает очень много. Культурология обнаружила очень далеко идущие параллели между отдельным сознанием и культурой как коллективным интеллектом. А с момента открытия мозговой асимметрии — разницы в работе левого и правого полушария мозга — параллелизм этот идет особенно далеко. И сейчас мы ведем общие исследования с Институтом эволюционной физиологии.

Культура, как объект интеллекта, обладает огромной документацией, правда не обработанной пока под этим углом зрения. А в механизмы нашего индивидуального сознания мы пока проникаем с огромным трудом. Кроме того, мы имеем дело пока только с одним интеллектом — человеческим. Было бы самонадеянным полагать, что он — единственно возможный или самый совершенный. Значит, задача заключается в том, чтобы рядом с ним поставить другие интеллектуальные устройства и получить возможность сопоставления. В этом направлении работает сейчас зоосемиотика, выявляя языковые и интеллектуальные функции у животных. Это шаг в одну сторону, а в другую — то, что делаем мы: сопоставляем индивидуальное сознание, изучаемое психологией и психофизиологией, с культурой как коллективным интеллектом. Это позволяет с гораздо большей уверенностью строить модели сознания.

240

— Когда в вас впервые «проснулся» филолог?

— Я колебался до девятого класса между литературоведением и энтомологией — наукой о жизни насекомых. Занимался энтомологией для школьника довольно серьезно и до сих пор продолжаю испытывать к ней нереализованную склонность. Если бы я жил достаточно долго, то к занятиям культурологией я бы присоединил занятия зоосемиотикой, языками животных (особенно интригуют меня формы общения насекомых). Я думаю, вопросы общения с обитателями космоса пока что малоактуальны. Научиться бы нам с муравьями общаться. Это гораздо ближе и, мне кажется, гораздо труднее... Как видите, мои сегодняшние научные интересы совсем не так далеки от пути, по которому я мог бы пойти.

— Развитие — это всегда смена. Вы воспитываете новые поколения исследователей. Видите ли вы тех, кто вас опровергнет?

— Старые идеи — не заблуждения, которые следует отбросить. Они входят как часть в новую концепцию. Всякое развитие в науке, сосуществование разных направлений и гипотез целесообразно. Я не думаю, правда, что в современной филологии развиваются антагонистические направления. Просто есть хорошие работы, есть плохие. В одних новый фактический материал обработан традиционными филологическими методами (кстати, именно они ценны своей надежностью). Другие отмечены методологическими поисками. Это тоже необходимо. И на то они и поиски, чтобы не всегда вызывать единодушные одобрения. Сколько на нашей памяти было исследований, казавшихся исключительно перспективными, отмеченных высокими премиями, — а сейчас их не читают, не переиздают. Другие работы долго ждали публикации — у всех на памяти судьба Михаила Михайловича Бахтина. Без ссылки на него нет сейчас ни одной работы ни за рубежом, ни у нас. И очень часто цитатами из Бахтина, как пирог сахарной пудрой, посыпают те, кто лет пять назад молчал о нем, а лет десять назад ругательски ругал. Все это принадлежит к поверхности науки, как сказано у Шекспира: «Земля, как и вода, содержит газы, / И это были пузыри земли»¹. А объективное развитие науки не нуждается в наших одобрениях или осуждениях. Наука — дело живое и устойчивое. Она сама отсеивает мякину, оставляет зерна. Совершенно очевидно, — я не строю никаких иллюзий — и в моей работе есть мякина. Хочется надеяться, что время, отсеяв мякину, что-то оставит. А пока что каждый должен делать свое дело так хорошо, как он умеет.

Лекции Ю. М. Лотмана предназначались филологам — студентам, аспирантам, преподавателям. Но в самой просторной аудитории дружно теснился чрезвычайно разный народ: математики, консерваторы, психологи, физики, кинематографисты. Дружно скрипели перья, слегка надменно крутились кассеты

¹ Слова из трагедии В. Шекспира «Макбет» (акт I, сц. 3), ставшие эпиграфом к сборнику стихов А. А. Блока «Пузыри земли».

241

диктофонов. Лекции кончались — в нарушение всех академических традиций — аплодисментами...

Все верно: судьбы отечественной культуры кровно интересны всем. Интересно соединение классического (Пушкин, Тютчев) материала и современных методов исследования. Захватывающе интересна логика ученого, когда сталкиваются мысль и образ, когда огромное количество сведений, очень далеких, на первый взгляд, от строгого научного обихода, попросту бытовых (правила дуэльных поединков Онегина), вдруг оживает на наших глазах и становится ключом к очередной загадке...

Специалиста кто-то сравнил с древним человеком, который замерзал, сидя у каменноугольной глыбы. Бедняга не подозревал, что уголь — отменное топливо. Лекции (и, конечно, широко известные книги, статьи) Ю. М. Лотмана открывают нам огромные запасы историко-культурного нашего «топлива». Общего нашего достояния.

История культуры: движение в будущее

В жизни сегодняшнего общества есть важная отличительная черта: люди размышляют, спорят, действуют, опираясь на реалии истории культуры. Идет ли речь о живописи, литературе, нравах и традициях, проблемах развития науки и техники. И налицо стремление как к преумножению наших духовных запасов — за счет открытия забытых имен и переосмысления, казалось бы, известного, так и к тому, чтобы поставить гуманитарную науку на службу общественному развитию. Стремление активно сопрягать ее с действительностью, включать в социальную, духовную жизнь современности. А в чем смысл и критерий актуальности культуры для настоящего и будущего? — с этого вопроса началась наша беседа с доктором филологических наук, профессором Тартуского государственного университета Юрием Михайловичем Лотманом.

— Прежде всего, наверное, необходимо уточнить, что следует понимать под словом «актуальность». Употребляется оно часто, но актуальность в развитии экономики, техники и актуальность в развитии искусства имеет, видимо, совсем разные значения, поскольку речь идет об ориентации на разную временную дистанцию. В свое время под «актуальностью» мы часто понимали лишь соответствие лозунгу дня. Когда-то Маяковский иронизировал над социовульгарным представлением о том, что ценно в классике: «Лермонтов близок и дорог как первый обличитель либерализма»². Осмеян-

¹ Впервые: Советская культура. 1987. 7 мая. Беседа вела Т. Меньшикова.

² Маяковский В. Марксизм — оружие, огнестрельный метод... // Маяковский В. Собр. соч.: В 13 т. М., 1958. Т. 7. С. 108.

242

ные им представления подобного рода очень напоминают систему Тришкина кафтана, изображенную Крыловым, когда отрезают полу, чтобы заделать дыру.

В культуре особенно заметно, если мы, ради представляющихся нам злободневных задач, разрушаем или наносим ущерб далеко идущим культурным идеям и нашим культурным богатствам. Нам порою кажется: мы знаем, что сейчас актуально. А что станет необходимым для наших внуков и правнуков? Угадать сложно. Отсюда главный вывод: необходимы бережное отношение к историческому наследию и постоянная мысль — не все, что мы сейчас понимаем, есть конечная истина и что великое классическое наследие еще будет раскрываться. Скажем, ни Пушкин, ни Толстой, ни Достоевский не поняты и не будут поняты нами до конца, поскольку они — явления живые и развивающиеся.

А в целом в связи с перспективой быстрого развития техники актуальным всегда остается только одно — глубокое гуманистическое развитие человека. Вот это, видимо, та далекая, постоянно действующая перспектива, которая будет делаться все более насущной.

— У нас есть конкретная возможность поразмышлять о движении культуры из прошлого в настоящее: восьмисотлетие «Слова о полку Игореве», столетие со дня гибели Пушкина. Эти две даты — как яркие вспышки — позволили нам по-новому взглянуть на тот духовный багаж, который мы берем в будущее.

— Великие культурные ценности — это отнюдь не некий многоуважаемый шкаф из «Вишневого сада». Не скопление книг на полке, которые редко берут в руки. Не портрет на стене. Это живое явление культуры. Я не знаю, к примеру, сколько людей читают Софокла. Наверное, не так много. Но наша культура включает античную, стоит на ней, не может без нее существовать. И, я думаю, удачная постановка античной трагедии в кино или театре способна оживить ее в сознании миллионов как явление современное.

Или возьмем музыку Баха. Совсем недавно казалось, что она существует только для знатоков, что так называемому широкому слушателю Бах не нужен. А уж добаховская музыка, музыка ренессансная, средневековая казалась чем-то давно забытым, списанным в архив. Но посмотрите на современные афиши. Ее исполняют и слушают с гораздо большим удовольствием и пониманием, чем хронологически более близкие вещи.

Кстати, об этом понятии — «широкая аудитория», — которым любят оперировать те, кто мало изучает реальную аудиторию, — ведь легче всего сказать: «Широкому читателю, зрителю, слушателю то-то не нужно». Под выражением «широкая аудитория» часто скрывается отсутствие конкретной адресованности, социологическая незаметность. Аудитория — всегда адрес.

В подлинной культуре ничего не умирает. Может оставаться, как незажженная лампочка. Но придет минута, чья-то рука коснется выключателя — вспыхнет яркий свет. Вспомним хотя бы Пушкина. Были ведь после смерти его эпохи, когда Пушкин, казалось бы, оттеснен, его переставали читать. Но потом он снова возвращался, и я думаю, что он у нас не за спиной, он все еще впереди: отчасти он наше историческое прошлое, отчасти — культурное будущее. И сегодня он привлекает нас прежде всего тем, что он поэт раз-

243

думья. Не случайно уже с середины двадцатых годов его произведения кончаются не ответами, а вопросами. Лирика Пушкина всегда дает толчок для мысли.

Мне уже приходилось писать, что нам невольно хочется видеть в Пушкине литератора, уже закончившего свою дорогу. Мы как бы придаем такую композиционную завершенность его пути. Но все дело-то в том, что Пушкин нашел необходимость постоянного движения. И тут мы должны говорить об участии Творца, Личности в культурной жизни не только своего времени.

Культура преодолевает биологическую смерть и не всегда подчиняется простой логике: чем новее — тем современной. Понятие это — не механическое. И формула «незаменимых людей нет» — везде неправильная — здесь вопиюще несправедлива. В области художественного творчества все незаменимы. Не изобретенная одним человеком машина будет изобретена другим — ненаписанное произведение останется ненаписанным. А ведь без «Евгения Онегина» или «Братьев Карамазовых» история России была бы другой. После крупного мастера какой-то путь остается непройденным.

Непройденные дороги — это не заваленные тоннели, не потерянные тропы. И культура часто возвращается назад, чтобы найти потерянную тропу. История идет вперед и будет идти очень круто. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов вдруг скажут нам еще что-то новое, чего мы не предполагали.

— Как пишет академик Д. С. Лихачев, культура движется путем накоплений, а не отталкиваний от прошлого. Но, наверное, и потери неминуемы? Ведь что-то же исчезает навсегда, становится бесполезным для сегодняшнего общества, конкретной новой эпохи?

— Видите ли, когда мы полагаем, что новое само по себе является лучшим, — это результат упрощенно понимаемого прогресса. Это прогресс, понятый в рамках уже пройденного этапа техники. Представьте, мы имеем дело со старым и новым велосипедом. И вы будете говорить, что вот этот велосипед новенький, а значит, он и лучше.

Но вот вам предлагают думящую машину со сложной компьютерной структурой, с банком памяти. Вам предлагают новенькую, только что сделанную ЭВМ. И вы скажете: нет, эта машина только сделана, память у нее «белая», пустая. Лучше старая, накопившаяся память, огромный материал.

Пока человечество имело дело с техникой докомпьютерного периода, естественно было больше ценить новенький, свежескрашенный «велосипед». Сейчас же мы ценим накопление, память. История культуры преподает нам уроки, что «вычерки» казавшегося архаическим — непростительная оплошность. Вот вам пример. Совсем недавно казалось, что более архаичной фигуры, чем Карамзин, в отечественной литературе и представить невозможно. О Карамзине повторяли одно: «Бедная Лиза», ах-ох, барашки-овечки... Об «Истории государства Российского» все историки последующих поколений говорили как о чем-то безнадежно устаревшем.

И вдруг совершенно неожиданно Карамзин стал живым писателем. Он нужен. Его читают, ставят на сцене. Его издают все издательства — к сожа-

244

лению, не всегда текстологически хорошо. Впрочем, ничего странного нет. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода», рассуждая об отечественной литературе и безнадежно списанных в архив писателях, говорил: «И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них?»¹

Судить, что в культуре умерло, а что остается, — очень трудно. Я думаю, подлинно талантливое не умирает. Другое дело, что мы часто оказываемся не на высоте нашего наследия, не на высоте своей культурной памяти.

— В разговорах об актуальности гуманитарной культуры нередко присутствует слово «кризис». Его, как правило, связывают с развитием технической цивилизации, в которой якобы не будет места для лирики. Развитием техники пытаются оправдать и технократические подходы к обществу и личности. Насколько, на ваш взгляд, велика опасность? Действительно ли возможен кризис?

— Я не ставил бы знака равенства между техникой и технократией. Развитие техники есть реальность, и реальность неизбежная, вся история человечества им сопровождается. Историк культуры знает, что техника и боязнь техники в истории человечества всегда шли рядом. Это не вчера началось. Скажем, Мильтон в своей поэме описывает изобретение артиллерии, которая тогда казалась самым страшным и бесчеловечным орудием, как вымысел дьявола, созданный для того, чтобы штурмовать небо. Торквато Тассо призывал вернуться к «благородному» оружию — мечу и шпаге.

Но ведь речь идет не о том, как остановить развитие техники, а о том, чтобы люди не были ее рабами. Наука, как и ее практическая реализация — техника, может иметь два различных будущих. Отнимать у человека инициативу и превращать его в исполнителя своей воли — тогда это будет злая, очень опасная для человечества техника. Или напротив — расширять инициативу и возможности человека, брать на себя определенную часть работы, высвобождать время для творчества.

Каждое большое открытие порождало не только позитивные, но и тяжелые негативные

последствия. Возьмем изобретение письменности и книгопечатания, которое породило и дезинформацию, и разнообразные виды массового оболванивания. Печать — вообще опасная вещь. Но она порождает и великую литературу, нового читателя, гораздо более широкое привлечение человечества к культурным ценностям.

Значит, техника может и должна не только подчинять себе человека, поставить перед ним совершенно новые задачи — она увеличивает количество альтернатив, стоящих перед ним, и тем самым умножает его ответственность. Нужно, чтобы чувство ответственности не отставало от развития возможностей, а обгоняло их.

Если мы окажемся на высоте этого трудного исторического момента, который переживаем, противостояния техники и человечности не будет. Именно техника обнажает необходимость совести: никогда на моей памяти

¹ Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. М., 1953. С. 8.

245

люди не ощущали проблему ответственности и совести так остро. Правда, пока что мы об этом больше пишем в газетах. Но все-таки пишем! Все-таки уже связываем с будущим человечества совесть и нравственность, а не только количество комбайнов. Решение в конечном счете принадлежит человеку: техника будет такая, каким будет он сам.

— Но здесь возникает очень серьезный вопрос: сегодня, когда мы говорим о гуманистических приоритетах, продолжают срабатывать старые стереотипы. В частности, гуманитарные науки по укоренившейся привычке рассматриваются как второстепенные. Как быть с этим?

— Да, укоренилось глубоко ошибочное представление, будто в современных условиях, когда мы так нуждаемся в научно-техническом прогрессе, его можно совершать за счет гуманитарного. Что, мол, возможно сконцентрировать силы на каком-то участке, который сейчас представляется решающим, и оголить другие. Что и нашло отражение в целом ряде настойчиво проводимых мероприятий.

Между тем, создавая новые технические возможности, мы не можем не думать — да простят мне сентиментальное выражение — о руках, разуме и сердце того, кто будет этой техникой управлять. Культура именно в том и состоит, чтобы создать гармонию усилий человека. Но, помимо этого, чисто нравственного, аспекта есть и практический, научный смысл.

Развитие науки не поддается прямому прогнозированию. Смотреть на потребности будущего, абсолютизируя сегодняшний уровень знаний, — это научно близорукий взгляд. Я помню, как перед войной нам говорили: удаляющиеся в абстракцию, далекие от народа физики занимаются ядерной энергией в то время, когда надо заниматься баллистикой, которая практически необходима. В сороковом году могло казаться — и очень ответственным людям казалось, — что теоретическая физика является вещью совершенно абстрактной.

Не так давно люди — опять-таки в достаточной мере ответственные — были убеждены, что лингвистика никакого отношения к технике не имеет, что можно допустить отставание в ней хоть на сто лет. Но теперь мы знаем, что лингвистика теснейшим образом связана с кибернетикой, с языком компьютеров. Но до сих пор прогрессивные направления в лингвистике развиваются значительно менее активно, чем даже в шестидесятые годы. В семидесятые годы произошло резкое наступление на прогрессивную лингвистику.

И очень возможно, что завтрашняя техника будет нуждаться именно в том, что мы чуть ли не сознательно обрекаем сегодня на отставание. Кто может доподлинно знать, какой она будет? Я, например, совершенно убежден, что инженеру будущего необходимо быть еще и искусствоведом. Почему? Поскольку такого совершенного устройства, такой сложной и виртуозной кибернетической системы, обладающей богатейшими возможностями, как произведение искусства, человечество еще не создало.

Наша чрезвычайная отсталость в области искусствоведения, наш консерватизм в гуманитарной сфере — это прорыв во фронте. Когда-то греки говорили: «Музы ходят хороводом». Концентрация на каком-нибудь отдельном

246

участке — временная, частная операция. Если мы хотим выиграть генеральное сражение в познании мира, в борьбе за гуманистические ценности — простите за военные термины, — необходимо наступление по всему культурному фронту. Тут звеньев, которые можно отдать отсталости, попросту нет. Не должно быть.

В этом смысле я полностью разделяю мнение А. Чегодаева, высказанное в статье «Наука об искусстве: сигнал тревоги»¹. Позиция «что нам Гекуба?» — неплодотворна. Будущее — это гармония человеческих усилий, интересов, возможностей. Нельзя допустить, чтобы «вымирали» целые отрасли гуманистического знания, чтобы непоправимо беднел культурный генофонд общества.

— Значит, приходится опасаться не только невнимания к гуманитарным наукам, но и падения самого уровня этих наук?

— Конечно. И одно из решающих обстоятельств — подготовка гуманитарных кадров, которая, на мой взгляд, находится в крайне запущенном состоянии.

Начнем со школы, где все и начинается. Когда беседеешь с педагогами, обнаруживается:

многие вообще не представляют, в чем суть школьной реформы. Некоторые руководящие педагоги настроены и вовсе странно. Мол, надо изменить все так, чтобы ничего не менять при этом. Основные педагогические принципы якобы давно известны. Тем же, кто начинает критиковать такую позицию, заявляют: вы далеки от практики.

Я уже много лет учу будущих учителей, пишу для них книги, знаю школу. И вижу: под «практикой» зачастую понимается бытующий в школьном образовании низкий уровень подготовки. А под лозунгом защиты практики защищают отсталость, шаблоны, постоянное завышение оценок при низких знаниях. Сегодня в школе не только сокращают часы на гуманитарные предметы, но и ведут их так, что только подрывают авторитет этих дисциплин. Один писатель сказал мне: «Я люблю Достоевского, потому что в свое время мы его не проходили в школе». Увы, он не одинок. Мы отлично научились заниматься убиением живого интереса к литературе, истории.

Еще яснее видится мне проблема на примере вузов.

В вузе по-прежнему количество преподавателей исчисляется из числа студентов. Есть отсев — уменьшается количество ставок. Преподавателей просто вынуждают заниматься приписками, потому что оценка их труда ведется бюрократическим путем. Проверяется не качество лекций, а количество выставленных двоек. Много их — значит, преподаватель плохой? Отсев?.. Преподавание поставлено скверно. Однако ведь даже от слесаря не требуют сделать из килограмма железа килограмм гвоздей.

Мы — делаем. А посему складывается тип учителя, далекий от желаемого идеала. Для огромного процента детей учитель на долгие годы будет самым культурным человеком в жизни. Он и обязан быть гораздо культурнее тех, кого ребенок видит в семье, на улице. Но культурный уровень будущего педагога нередко оказывается чрезвычайно низким.

¹ См.: Советская культура. 1987. 31 янв.

247

В среде теоретиков педагогической науки мне, к сожалению, приходилось очень часто сталкиваться с людьми, которые видят приближение университета к практике школы как приближение университетской программы к школьной. И на этом воинственно настаивают.

В результате «педагогизация университета» — лозунг, под которым мы работаем не одно десятилетие, — приводит к тому, что какие-то предметы, составляющие основу филологии, текстологии, урезают из года в год истории языка и литературоведческие дисциплины. Страдает не только словесность. Мы, будучи студентами-русистами филфака Ленинградского университета, слушали курс мировой истории. Сейчас слушают курс русской истории, да и то в исключительно сжатом виде. Под убаюкивающие разговоры о необходимости увеличения студентам времени на самостоятельную работу урезают часы на специальность. Но по некоторым предметам сокращения часов не происходит. Налицо какой-то двойной счет. С одной стороны, говорят, что сокращение часов способствует освобождению времени студентов и повышает их знания, с другой, распространяют этот принцип только на специальность. Утвердилась концепция: главное для учителя — не что, а как.

Смешно было бы возражать против методики. Но она — это, в первую очередь, опыт, дающийся с годами. Методические навыки специалист будет приобретать, а специальные, если они не имеют твердой базы, увы, теряются. Знаю, как тяжело учителю прочесть научную книжку. Сначала нет времени — его у учителя всегда нет. Потом он просто отстал, новая книжка вызывает раздражение, потому что она уже непонятна.

Это трагедия, но учителя не читают не только новых монографий, но и новых книг, в том числе и общедоступных. А ученики читают. И происходит ужасное: учитель начинает сердиться на тех, кто читал больше, чем он. Ему искренне начинает казаться, что дети его подкусывают. И вместо того, чтобы тянуть ростки познания, он начинает «бить по голове» школьников — ты мне, дескать, мешаешь, ты вообще много мнишь о себе. Учитель становится профессионально непригодным.

Натаскивая будущего учителя на готовую программу, позволяя ему думать, что специалисту не обязательно идти в ногу с современной наукой, мы сами фактически программируем собственную отсталость в гуманитарном развитии.

— Видимо, нужно критически посмотреть и на порядок отбора новых научных кадров?

— Несомненно. Понижается уровень учителей — понижается уровень школьников, а вслед за этим — студентов и аспирантов. При отборе в аспирантуру научный руководитель и заведующий кафедрой, которые лучше всех знают профессиональные качества студента, не имеют права решающего голоса, они только выдвигают кандидата. Решение же принимается в бюрократическом порядке, на основании анкетных данных людьми, которые студента и в глаза не видели. Далее. Мыслимое ли дело уже на третьем курсе определить будущего кандидата? Но именно в этот срок мы должны назвать

248

его, чтобы включить в план загодя. Кроме того, практика отбора единственного кандидата исключает нормальную и необходимую в данном деле конкуренцию.

Сейчас у нас действительно есть все основания говорить о том, что уровень филологической науки оставляет желать лучшего. В 1937 году, когда мы отмечали столетие со дня гибели

Пушкина, мы имели пушкинистику, равной которой не было. Какие имена! Гуковский, Жирмунский, Эйхенбаум, Томашевский, Виноградов... Возьмите академическое издание и посмотрите, кто его тогда выпускал. Ныне с пушкинистами дела обстоят неважно. Это видно и по пушкинским конференциям, которые становятся все бледнее.

Дело не в том, что нечего изучать. Пушкинистика всегда была экспериментальным полем литературоведения, здесь вырабатывались новые методы исследования. И застой в пушкинистике есть застой в методах.

— Так что же, на этой печальной ноте и завершится наша беседа?

— Почему на печальной? На тревожной. Но у нас есть чем и гордиться в гуманитарной сфере, в частности — в филологии. На самом передовом уровне ведутся, например, исследования в области древнерусской литературы. Под руководством Дмитрия Сергеевича Лихачева работает передовой отряд литературоведов, историков культуры. Много интересного в области изучения культуры XX века. Накоплен огромный багаж.

Но необходимо искать новые дороги, преодолевать застой. И весьма симптоматично, что это чувство тревоги, необходимости нового поиска подсказано, в частности, Днем памяти Пушкина. Ведь одно из великих свойств Пушкина состояло и состоит в том, что он задал уровень русской культуры. И каждый раз, когда мы оказываемся в состоянии зстоя, Пушкин, как барометр, его регистрирует.

Пока мы будем ориентироваться на высокий уровень нашего наследия, будет надежда, будут предпосылки движения вперед.

Патриотизм есть стремление быть лучше...¹

Литература создана, чтобы люди учились думать. Читая, учились читать. Понять «Евгения Онегина», не зная окружающей Пушкина жизни — от глубоких движений и идей эпохи до «мелочей быта», — невозможно. Роман живет неисчислимыми связями, намеками, ассоциациями, сцеплениями смыслов, неминуемо ускользающих от читателя, который впервые прикасается к пушкин-

¹ Впервые: Книга и искусство в СССР. 1988. № 4 (59). С. 42—43. (Интервью с Т. Туриным).

249

скому тексту. Слова все те же, а смысл давно изменился. Понятия чести, смерти, даже старости и молодости не те, что в пушкинскую эпоху. Мы подставляем свои, сегодняшние, и думаем, что читаем и понимаем Пушкина. Надо воскресить смысл слов — «дуэль», «мазурка», «бал»...

Работа такого рода — популяризация — трудный жанр. Очень сложно упростить тип разговора, не упрощая содержания. Ломоносов однажды заметил: ясно говорят, когда ясно понимают. С массовым читателем может говорить только очень квалифицированный автор. Я долго считал себя не готовым к такой работе. И пришел к ней во многом через исследования специального характера, предназначенные для малотиражных изданий — в 500—1000 экземпляров.

Жизнь Пушкина — это одно из его произведений. А каждое его произведение обязано преодолению — настроения, окружения, оно неотделимо от сопротивления материала. Мы усвоили, что человек зависит от исторических условий, что он продукт среды или представитель ее. Но с продукта и спроса нет. Бильярдный шар не отвечает за то, что он катится — или не катится — в лузу. А человек может выбирать. У гения — у Пушкина — большой выбор. Чем труднее обстоятельства, тем больше выбор. Работать с гранитом труднее, чем с глиной, но скульптор выбирает гранит. Творчество всегда есть умножение возможностей выбора. Пушкин постоянно преобразует судьбу. Кажется, что судьба ему подыгрывает, ворожит. Он никогда не был несчастным. Он был одним из самых счастливых людей в России, он творил свободу из неволи. Пушкин всегда и всюду торжествовал над обстоятельствами, и в 1836 году тоже.

В России есть одна странная закономерность. Если писатель не попал в ссылку, на каторгу, не был убит, мы им толком не интересуемся. О Крылове мы почти ничего не знаем, о Грибоедове до момента убийства — тоже. Карамзин — одна из важнейших фигур в русской культуре, а располагаем мы обломками архива. Часть его сгорела в пожаре 1812 года, посмертный архив странно пропал. Писем осталось мало, в письмах он обычно сдержан. Понять полностью другого человека мы не можем. Такого огромного, как Карамзин, и подавно. Мы не очевидцы. Выявить природу давних событий очень трудно. Письма, дневники нуждаются в дешифровке. Что такое биография? Реконструкция личности, которая возвращает жизнь мертвым бумагам.

Один из современников говорил о том, как полезно для здоровья погреться у прекрасной души Карамзина. К десятым годам XIX века в России появляется читатель, человек, для которого книга — неперенный атрибут быта, часть жизни. И это прямая заслуга Карамзина. Карамзин переделал психологию поколения. Он работал над книгами и над русским обществом. Он считал, что только культура может приблизить человечество к лучшему будущему. И к своей душе относился, как Пигмалион к Галатее.

Самовоспитание — одна из важнейших традиций русской культуры, и об этом надо напомнить. Патриотизм есть стремление быть лучше.

250

«Тут надо быть 1000 раз осторожным»¹

Уважаемая редакция!

Может быть, мое письмо следовало бы назвать «Дайте слово националисту», ибо у нас нередко считают таковым каждого, кто высказывает взгляды, отличающиеся от формулировок в учебниках. «Националистические идеи», «националистические лозунги» — к таким ярлыкам мы в Латвии давно уже привыкли, и все же пишу вам потому, что, как мне кажется, пора говорить о таких вещах откровенно, вслух, стремясь в них разобраться.

По-моему, один из признаков национализма — когда свою нацию ставят выше остальных. Национализм, как я представляю, проявляется в конкретных действиях, направленных на то, чтобы унижить, оскорбить представителей других народов (или, наоборот, в бездействии против таких проявлений). Если этого нет, то нет и речи о национализме.

У нас же если ты не говоришь по-русски — а после войны знание русского языка стало обязательным, — то можешь автоматически попасть в разряд «националистов». В то же время многие руководящие работники в республике не владеют латышским языком. А разве это не обратная сторона того же явления? Все собрания проходят на русском языке, на нем пишутся приказы и т. д. В сложившейся ситуации это понятно: по данным на конец 70-х годов лишь 38 процентов жителей Риги составляли латыши, а сейчас, наверное, и того меньше. Значительная миграция из других республик не могла пройти бесследно. Если так будет продолжаться, мы вскоре станем у себя меньшинством. Вопросы, связанные с языком, серьезны. Нельзя сказать, что ничего не делается для их решения, — делается, но мало. Обвинять в национализме, наверное, легче, чем выявлять истинные причины возникающих противоречий и искать пути их разрешения.

*В. Огрэнс, работник коммунального хозяйства
г. Рига.*

Сама жизнь, и прежде всего события последних месяцев, свидетелями которых мы стали, заставляет задуматься и самостоятельно разобраться в такого рода проблемах. Тем более что нередко подобные вопросы возникают в общении со студентами, и тут уж готовыми, удобными формулами не отделаешься. Сам я родился и вырос в Ленинграде. В том, что после окончания университета попал в Тарту, есть элемент случайности, но я благодарен стечению обстоятельств, прочно связавших меня с судьбами республики, которую я уже считаю своей. Может быть, в деловой беседе это и прозвучит несколько сентиментально, но я люблю Эстонию, живущих здесь людей, всем сердцем принимаю их нужды и стремления. Так что я в большей степени буду ссылаться на те явления и события, которые происходят здесь, ибо лучше их знаю и,

¹ Впервые: Коммунист. 1988. № 6. С. 105–108.

251

надеюсь, лучше понимаю, хотя, наверное, они в достаточной степени характерны и для других регионов.

Видно, что автор письма пытается разобраться в сути проблем, с которыми периодически сталкивался и продолжает сталкиваться в повседневной жизни. Естественно, его прежде всего задевают за живое очевидные проявления неуважения к человеческому достоинству, к национальным традициям, к укладу жизни и т. д. С другой стороны, в «национальный вопрос» он, как мне кажется, включает и многое из того, что порождено командно-административными методами, которые не могли не оказать негативного воздействия на все сферы нашей жизни, но, преломляясь в призме межнациональных отношений, приобрели и дополнительный оттенок.

Подчас высказывается мнение, что демократизация, гласность, перестройка как бы обострили национальный вопрос. Это не так. Другое дело, что на повестку дня выдвинулись многие острые и важные вопросы общественного развития, которые ранее зачастую загонялись вглубь, замалчивались и выдвинулись потому, что появилась реальная возможность их честного обсуждения и кардинального решения, причем в комплексе. Ведь, действительно, многие моменты, которые сейчас относятся к разряду национальных, по сути таковыми не являются, они лишь приняли форму национального. С другой стороны, национальный вопрос в чистом виде тоже не существует, а включает в себя весь спектр политических, экономических, культурных и иных отношений. Важно понять, что является причиной, а что — следствием.

Дело, думается, в том, что при решении многих экономических и социальных вопросов в минувшие десятилетия, как правило, исключался национальный фактор. Считалось, что общегосударственные интересы (хотя нередко под ними скрывались интересы тех или иных союзных министерств и ведомств) автоматически должны совпадать с интересами республик и их жителей. Однако вдруг оказывалось, что очередное административное начинание вызывало (подчас неожиданно и для его инициаторов) негативную реакцию у местного населения, и вроде бы чисто хозяйственная проблема «вдруг» превращалась в национальную.

Вот, скажем, московские предприятия привлекали иногороднюю рабочую силу, в результате чего приезжие невольно стали конкурентами коренного населения столицы в распределении жилплощади и других социальных благ. А теперь представьте, что подавляющее большинство мигрантов составляли бы представители какой-то определенной национальности, и сразу же этот социально-экономический вопрос приобрел бы национальную окраску.

Именно так обстоит дело в Прибалтике — этот момент отмечает и автор письма. По решению центральных плановых органов и союзных министерств здесь строятся крупные промышленные объекты без учета наличия рабочей силы. В результате стимулируется массовая миграция населения из других республик, причем приезжим вне очереди предоставляются квартиры, места в детсадах, иные фактические социальные привилегии. Кроме того, многие из них — люди иной, негородской, культуры, не знают местного языка, не подготовлены к жизни в многонациональных коллективах. Вот и возникают трения, которых вполне можно было бы избежать.

252

Хочу, чтобы меня поняли правильно: я отнюдь не выступаю против миграции, как таковой. Более того, считаю, что любой человек волен выбирать место жительства и работу. Да и говорить о национальной однородности республик сегодня неразумно и нереалистично. В этой же Эстонии, особенно в районе Причудья, с давних времен селилось русское население, и у нас, как и повсюду в стране, происходило и происходит постоянное смешение различных наций и народностей. Но этот процесс должен быть естественным, а в общегосударственных рамках — определяться принципами рационального размещения производительных сил.

На практике мы то и дело встречаемся с совершенно иным подходом со стороны министерств и ведомств. Они стремятся построить свои предприятия там, где наиболее развита инфраструктура, нимало не считаясь с интересами этих районов и их населения. И если подобные решения прибавляют проблем любому российскому городу, то в условиях национальных территорий к ним прибавляются и национальные. По-моему, каждый такой проект должен разрабатываться с учетом всех мнений, нужно советоваться с людьми, обдумывать все возможные последствия, избегать диктата и волевых решений.

Приведу актуальный пример такого рода волевых решений. В Эстонии обнаружили залежи фосфоритов, и Министерство по производству минеральных удобрений СССР планирует приступить к их освоению. Замечу: наших специалистов даже не спросили, не говоря уже о том, чтобы привлечь их к работе над проектом. По их мнению, в компетентности которого сомневаться не приходится, эти разработки нанесут непоправимый ущерб окружающей среде: дымящиеся отвалы, обезвоженные земли, уничтоженные пахотные угодья... А ведь речь идет почти о трети территории республики!

Надо иметь в виду и врожденную любовь эстонца к окружающему пейзажу, без чего не воспринять культуру этого народа. Пейзаж для него — огромная, постоянно читаемая книга, в которой чуть ли не каждый камень, каждое урочище связано с преданиями и легендами. Смести их бульдозером — значит нанести глубокое оскорбление национальному чувству.

Подобная проблема где-то в России рассматривалась бы как экономическая, экологическая, культурная, но не затронула бы межнациональных отношений. В данном случае столкновение ведомственных амбиций и местных интересов приобретает уже иную окраску. Таков механизм превращения экономических, социальных, экологических да и многих других конфликтов в национальные. На них накладываются прежние обиды, непонимание, недоразумения, и тогда споры и не по столь существенным вопросам вырастают до уровня трудноразрешимых проблем.

А ведь что нужно? Прислушаться к высказываемым точкам зрения, трезво взвесить все «за» и «против» и сообща выработать *взаимоприемлемое* решение! Учли же в конце концов точку зрения ученых и писателей, выступавших против проекта переброски северных рек. Более того, инициаторы этого движения стали чуть ли не национальными героями. Теми же чувствами руководствуются и у нас в республике, но в ответ летят упреки в национализме, местничестве, пренебрежении к общегосударственным интересам. Понятно, насколько небезобидными могут стать такие обвинения.

253

Это одна сторона дела — когда мы сами рождаем проблемы, нередко способствуя превращению вопросов нашего социально-экономического развития в национальные. Но нельзя не сказать и о другой стороне.

Думается, нашим специалистам в области общественных наук нужно более четко определить понятия «национальные чувства», «национальное сознание», «национализм». Конечно, такие границы трудно провести и в теории, и на практике. Я бы сказал так: когда национальные чувства перерастают во вражду или даже ненависть к другому народу, наносят ему какой-либо ущерб, — мы имеем дело с национализмом или шовинизмом. Стремление делать добро «своим» (будь то ваша семья, народ или страна) оправдано лишь в том случае, если не причиняет вреда соседу. Об этом, собственно, и пишет автор письма.

Понятно, жить без проблем, споров вряд ли возможно. Пора привыкнуть к мысли, что это — естественное условие развития. Однако чтобы вопросы межнационального общения не становились трудноразрешимыми, необходимо терпение, особое внимание к каждой «мелочи», квалифицированный подход к возникающим разногласиям. И, бесспорно, прежде всего огромный такт. Как замечал В. И. Ленин, «тут надо быть 1000 раз осторожным»¹.

Конечно, было бы непростительным упрощением видеть в межнациональных отношениях лишь негативную, конфликтную сторону. Но нельзя закрывать глаза и на то, что — хотим мы этого или нет — проблемы, связанные с сосуществованием и взаимодействием многочисленных

наций и народностей в рамках единого государства, существуют. Возникли они не сегодня и не вчера, они накапливались годами и затрагивают самые различные области нашей жизни, в том числе и такую, как культура.

Нашу многонациональную культуру следовало бы, на мой взгляд, рассматривать не только как единое целое, но и как сложную взаимосвязь притяжений и отталкиваний. Конечно, роль русской культуры для всех национальностей страны огромна, и прежде всего благодаря ее великому потенциалу. Но наивно думать, что в этой сфере возможна гегемония. Центры интеллектуальной жизни перемещаются, культурные лидеры сменяются. Происходит постоянный процесс взаимообогащения, и не так уж важно, кто в данный момент имеет приоритет.

Культура не способна развиваться в узконациональных рамках. Подчас речь о таких рамках заходит, когда мы сталкиваемся с реакцией самозащиты небольшого народа, которому кажется, что его культура, язык, сам уклад жизни находятся под угрозой. Между прочим, это касается не только малочисленных наций. Ведь и уклад жизни многих групп внутри одной национальности (скажем, казаков или архангельских поморов) не менее самобытен и нуждается в бережном отношении. И, кстати, сколько веков существует русская культура, столько ведутся споры о ее сохранении, о путях сбережения и развития русского языка. Однако отгородиться от внешних влияний невозможно. Тем паче в современном мире с его чрезвычайно усложнившейся взаимозависимостью. Более того, мы сейчас стоим на пороге формирования глобальной культуры, что, по моему мнению, станет одной из важнейших задач

¹ Ленин В. И. Письмо к А. А. Иоффе от 13 сентября 1921 г. // Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1982. Т. 53. С. 190.
254

грядущего века. И трудно себе представить, что в этом океане мы останемся изолированным островом.

Но неумелость и бестактность могут принести при самых благих намерениях вред даже в таком прекрасном деле, как пропаганда культурного наследия. Нельзя забывать, что если в вопросах территории и населения есть большие и малые народы, то в области культуры малых народов нет. Территория и население древних Афин, создавших одну из величайших мировых цивилизаций, в период расцвета уложились бы в нынешний средний областной центр. Культуры велики людьми, произведениями и идеями. В этом смысле всякая подлинная культура есть культура великая¹. И тот, кто пропагандирует великую (действительно великую!) русскую культуру, должен помнить и о великой украинской и армянской, грузинской и эстонской и других культурах. Только высококультурный человек имеет право пропагандировать культуру. И он никогда не допустит ни высокомерия, ни бахвальства.

На весь этот комплекс проблем накладывается вопрос о двуязычии, который также затрагивает в своем письме В. Огрэнс. Дискуссии по этому поводу ведутся не первый год, и не только у нас, но и в других многонациональных странах. Я думаю, что каждый язык — дверь в иную культуру, один из важнейших инструментов познания не только ее, но и своей собственной культуры. Многие европейцы сегодня свободно владеют двумя или несколькими языками. И, как представляется, тут не может быть двух мнений: любой человек, будь то коренной житель или приезжий из другой республики, зная помимо родного еще один язык, получает доступ к культурным ценностям, сокровищам мысли и духа народа, с которым его свела судьба.

Конечно, в общении, особенно в многонациональных коллективах, без знания русского языка не обойтись, однако и приезжим нужно, на мой взгляд, освоить язык, на котором говорит коренное население. Скажем, мои дети и внуки уже двуязычны, и я считаю это совершенно естественным. Что же касается принципов, на которых следует строить изучение обоих языков в школе, то здесь имеются разные точки зрения. Я, например, считаю, что факультативное

¹ Сходные мысли и почти в тех же выражениях Ю. М. Лотман высказал в статье «Закон о языке нужен», написанной в поддержку закона, придававшего эстонскому языку статус государственного в условиях тогда еще Советской Эстонии: «Кому нужен закон о языке? Естественный ответ: Эстонии и ее национальной культуре. Но только ли ей? Есть большие и малые народы, но нет больших и малых культур. Роль той или иной культуры в мировом культурном сообществе не определяется количеством людей, говорящих на том или ином языке, или пространством на карте: сделать великий вклад в мировую культуру равно доступно и великим и малым народам. Население древних Афин количественно не превышало число жителей небольшого современного города, а Флоренция XIII—XIV веков была меньше современного Тарту. Это не помешало этим городам-государствам сыграть величайшую роль в истории мировой культуры. В развитии культур разных народов заинтересованы не только они, но и их соседи, человечество в целом. Развитие эстонской культуры не только не ущемляет интересов других народов, но, напротив, прямо соответствует этим интересам. В частности, это относится и к неэстонскому населению Эстонии: оно тоже выиграет от дальнейшего развития эстонской культуры. Ведь каждый хочет жить в культурной стране, и никто не выигрывает от неизбежных спутников зажима национальной культуры: взаимной вражды, подозрений и обид» (Молодежь Эстонии. 1988. 1 нояб.).
255

обучение русскому языку в эстонских школах или эстонскому — в русских (как это многими предлагается) принесет мало пользы: язык люди так и не изучат. Но это мое мнение. При той или иной системе обучения, конечно, главное — чтобы это делалось не из-под палки, чтобы люди сами почувствовали интерес к языку братских народов, осознали практическую и духовную

пользу от его знания.

Вопросы, связанные с двуязычием, затрагивают не только сферу просвещения. Так, по-моему, стоит пересмотреть правило, согласно которому даже диссертации по эстонской или, скажем, грузинской филологии должны быть написаны по-русски. Следует, наверное, всерьез рассмотреть предложение о введении доплаты за знание второго языка — конечно, в тех случаях, когда это необходимо человеку в его профессиональной деятельности. И уж вне всяких сомнений каждый руководящий работник, приехавший в республику (естественно, не как гость) обязан изучить язык ее народа, и в этом ему надо помогать.

Карлейль, английский философ прошлого века, как-то заметил, что демократия приходит, «опоясанная бурей»¹. Очистительная буря сметает сегодня все то, что мешает движению вперед, снимает чуждые наслоения прошлого. Это в полной мере относится к проблеме межнациональных отношений, где также требуется отказ от многих устоявшихся стереотипов и догм. Еще недавно многим казалось, что эти вопросы подождут, что их вполне можно отложить на завтра. События последнего времени всем нам еще раз показали: нельзя более делать вид, что все в порядке, нельзя загонять болезнь внутрь или «лечить» ее исключительно запретительными мерами. Необходима каждодневная, терпеливая, тактичная, умная работа. И ее нужно делать.

География интеллигентности: эскиз проблемы² (Дискуссия в Тартуском университете)

«Литературная учеба»: Что греха таить, всем ныне живущим и мыслящим ясно — столичные гуманитарии сейчас изолированы от провинции больше, чем столетие назад, да и не много осталось от гнезд культуры, служивших основой ее бытия. К чему это привело? К резкому падению, а порой и исчезновению культурного фона, к эрозии нравственности и духовности в обществе.

И причина, как нам кажется, в том, что на область культуры долгие годы переносился губительный бюрократический принцип: она ведомственно делилась на «центр»,

¹ См. работу Т. Карлейля «Французская революция». Данная сентенция превратилась в крылатое выражение благодаря Блоку. См.: Блок А. А. Интеллигенция и революция // Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 9, 499.

² Впервые: Литературная учеба. 1989. № 2. С. 3—17. Дискуссию вели В. Каширская и Т. Шубина, участвовали Б. Ф. Егоров, С. Г. Исаков, Ю. М. Лотман, Г. М. Пономарева. Публикуются только ответы Ю. М. Лотмана.

256

где «руководство», и «периферию», где сосредоточены «исполнители». Парадокс в том, что, несмотря на явное творческое «бесплодие» (по крайней мере, в гуманитарной сфере) некоторых столичных институтов и вузов, развитие науки в провинциальных центрах искусственно сдерживалось бюрократическими средствами.

Давно пора бить тревогу, созывая и объединяя всех, болеющих за судьбы отечественной культуры и науки. В прошлом году в Курске, на Овечкинских чтениях, наш журнал начал разговор о проблемах провинциальной культуры, и видим необходимость продолжить его сейчас в Тартуском университете. В университете, хранящем светоч истинного уважения к знанию, расположенном вдали от столичной суеты...

Юрий Михайлович Лотман, профессор: Сложилось ненормальное положение: культурная жизнь за пределами нескольких столичных городов фактически лишена воздуха. Сознательно уклоняюсь от слова «провинциальная культура», поскольку в этом слове неизбежно есть оценка и создается представление о какой-то культуре второго ряда. Так никогда не было. Всегда существовал реальный обмен между научными, культурными силами, которые развивались в столичных и периферийных центрах на территории России. Посмотрите географический состав студентов или же места, где родились крупнейшие деятели культуры прошлого. Вы увидите, это не только петербуржцы и жители Москвы, — это и приезжие с Украины, Закавказья, с Волги, из Твери, из Сибири... Причем такой плодотворный период развития русской интеллигенции — вторая половина XIX века — характеризуется особым перемешиванием культурной географии, а перемешивание возникает за счет культурных центров за пределами столицы.

У нас этому препятствует, во-первых, очень простая вещь — прописка, но, конечно, совершенно аномальная. Мне недавно жаловался сотрудник столичного журнала, что они не могут взять хорошего работника, потому что он не москвич. Создается некий замкнутый круг, люди, как бы заранее предназначенные для культурной деятельности, — это обладающие столичной пропиской, а ведь культура не терпит закупорки сосудов. Она требует свободного, открытого кровотока. Представьте себе, что, скажем, Маяковского не прописали бы в столице и он должен был бы заниматься сочинением стихов в Кутаиси. Для Кутаиси, может быть, это было бы прекрасно, но в целом — абсурдное положение. Или Короленко не мог бы прописаться в Москве...

Другой вопрос состоит в том, что приглашение того или иного сотрудника в конечном счете решает отдел кадров. Не профессиональные качества, а прописка, наличие жилплощади и «хорошая» анкета — вот что определяет критерии отбора научных и, полагаю, культурных кадров. Вред, приносимый таким положением, неизмерим.

Еще один вопрос, не менее важный: в культурных центрах за пределами столиц исключительно слабы материальные возможности. А так не всегда было: в губернских городах перед революцией существовали ученые, археологические, исторические комиссии, которые издавали свои труды по разным отраслям знаний. Полистайте каталоги периодики: какой напряженной была культурная жизнь в Твери, Калуге, Самаре, Саратове, Тюмени. Это были не затхлые углы, а районы со своей культурной жизнью. Конечно, идеализировать их не надо. Культурная жизнь в провинции имела и свои недостатки, но находилась в несравненно лучшем положении, чем сейчас. И для того, чтобы

257

она развивалась нормально, культурные очаги нужны во многих центрах страны. Они складываются, безусловно, из материальных условий, но и не только. Прежде всего — из наличия ядра местной интеллигенции. В XIX веке была довольно мощной именно местная интеллигенция, из среды которой вырастали писатели. В свое время Бунин любил подчеркивать значение треугольника Орел — Воронеж — Тула для развития русской литературы XIX века. Без «провинциального» культурного слоя невозможно появление таких величин, как Чехов или Короленко, людей действительно уникальных. Но уникальность — это не беспричинность.

Да, культурный фон очень пострадал. Кажется, первым ударом был (сейчас об этом мало помнят) разгром исторического краеведения в конце двадцатых годов. Это затронуло многих и, по сути, разорило наше краеведение. Тогда и оказался в лагере такой замечательный человек, как Н. П. Анциферов, автор книги «Душа Петербурга».

«ЛЮ»: К счастью, труды Н. П. Анциферова возвращаются к нашему читателю: в издательстве «Книга» подготовлены к печати интереснейшие произведения Анциферова: «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и миф Петербурга» с предисловием академика Д. С. Лихачева и комментариями ленинградских исследователей К. А. Кумпан и А. М. Конечного. Почти шестьдесят лет прошло со времени тех печальных событий, когда даже в краеведении чересчур ретивым чиновникам чудился криминальный душок. И это имело, к сожалению, вполне конкретные последствия.

Ю. Л.: Да, краеведение было разгромлено. И позже многочисленные удары, меняя формы, систематически обрушивались на интеллигенцию. В результате «провинциальная», простите за это слово, живущая в провинции интеллигенция была почти поголовно уничтожена. Конечно, не только в провинции. Но в столице хоть какое-то воспроизведение работает, хотя, конечно, как говорил Пушкин, «сменив, не заменили». Одновременно с целенаправленным уничтожением шла кампания дискредитации: слово «интеллигент» до сих пор часто звучит в лучшем случае как «человек второго сорта».

Административные меры могут разрушить культуру, но разрушенную культуру воссоздать они не могут. И напрасно думать, что если какое-то культурное гнездо уничтожено, потом достаточно «решить» его восстановить, даже отпустить на это деньги, и оно возродится. Культура должна обладать механизмом самовоспроизведения. Если этот механизм сломан, — а сломать его легко, — то и о самовоспроизведении нет смысла толковать.

А что такое механизм самовоспроизведения? Для небольшого города — это десяток образованных энтузиастов и созданная ими атмосфера, которая притягивает к себе новые и новые круги. Попадая в эту атмосферу, люди развиваются быстрее и идут дальше. Они могут даже от этого круга оторваться и развиваться в другом направлении или учиться в столице или за границей, но потом вернуться людьми, которые сами будут способны создавать атмосферу. С чем бы это сравнить? Вот, скажем, чтобы поставить нового церковного иерарха, нужна хиротония: нужно к нему прикоснуться, чтобы передать ему святой дух. То есть человек, на котором почиет святой дух, должен прикоснуться, иначе посвящение не совершается. Чтобы культура развивалась,

258

тоже нужно, чтобы кто-то — носитель высокой культуры — «прикоснулся». Кто-то передал. Конечно, и по книгам можно создать культуру, но то, что по книгам будет делаться сто лет, в непосредственном живом общении сотворится за одно поколение. И поэтому разрушение, истребление людей культуры — настоящая национальная трагедия, не меньшая, чем разрушение экологии, которой сейчас все так озабочены.

«ЛЮ»: «Зло, существующее в мире, почти всегда происходит от невежества» — мысль принадлежит Альберу Камю, но так ли она оригинальна? Мы срослись со своим невежеством, и порой, чтоб не стыдиться его, гордимся им, декларируя свободу от лишних знаний. Много ли осталось еще библиотек, представляющих истинную научную ценность, а ведь они, эти библиотеки, могли бы сохранить культурный фон хотя бы на небольших пространствах. Они бы оставляли надежду, что пусть не мы, но внуки соединят разорванную нить. <...>

Ю. Л.: И нельзя сказать, что сейчас в провинции нет способных, энергичных, бескорыстных культурных деятелей. Они есть, но нет вокруг них атмосферы, нет у них необходимого авторитета. И начиная с самого простого: я еще помню, что, когда учитель шел по деревне, крестьяне снимали шапки. Не потому, что он был там начальник большой, а он был Ученый Человек. Он был носитель какого-то особого мира, мира, который притягивал. И попадая в этот мир, дети заражались, намагничивались и получали импульсы для дальнейшего духовного труда. Я не

представляю, чтобы сейчас, когда учительница идет по деревне или когда она приходит в сельсовет просить дров, ей было оказано такое уважение. Наоборот, считается хорошим тоном говорить: «Вот я работаю, а ты языком болтаешь».

Так уж сложилось у нас. Десятки лет говорили: интеллигенция — паразитическая прослойка, наемные лакеи, которые должны служить победившему классу, и вбили это в головы людям. Простая вещь: приезжаю я в Таллин. Огромный плакат. Может быть, в цифрах чуть-чуть ошибусь. Курсы для обучения водителей троллейбусов — полгода, стипендия двести рублей. После окончания гарантируется заработок от двухсот пятидесяти до четырехсот рублей. У нас в университете не полгода — пять лет. А после окончания, если человек пойдет в школу, получает куда меньше, а если идет, скажем, лаборантом? А ведь для того, чтобы была наука, нужны и лаборанты — квалифицированное звено. А если он лаборант, то это сто двадцать. Так вот что написано на этом плакате, если уметь читать: «Если у тебя есть голова, иди водителем троллейбуса, а если уж ты ни на что не годен, иди в университет». Конечно, все равно в университет идут учиться. И не только те, у кого недостаточно интеллектуальных сил, чтобы быть водителем троллейбуса. Почему? Дело в том, что творчество привлекательно само по себе. Оно притягивает людей даже при таком несправедливом к ним отношении.

Поэтому я не думаю, что все решит автоматическое, скажем, увеличение зарплаты, хотя зарплату увеличить работникам интеллигентного труда надо бы, процентно они получают гораздо ниже, чем соответствующей квалификации работники в тех зарубежных странах, где я бывал. Правда, там свои трудности, — очень жесткая конкуренция, крайне жесткая. Там нужно все время доказывать, что ты на своем месте. Это трудно, но справедливо. И все-таки вопросы культуры и науки нельзя решить только деньгами.

259

Нужна психологическая переориентировка общества. Нужно воспитывать уважение к творческому труду, к духовной жизни. Сколько лет вбивали, что вот, передовой школьный класс: все идут на стройку или в колхоз, а если какой-нибудь мальчик или девушка собирается пойти в вуз, его клеймят чуть ли не как изменника. Он дезертир. Все идут работать, а он там будет книжечки читать. Между прочим, я должен сказать, что такое отношение к знанию не всюду, оно совершенно чуждо Эстонии. Здесь нет неприязни к интеллигенции и представления о том, что она живет за чей-то счет. На хуторе здесь с гордостью говорят: наш сосед (или наш брат, или наш сын) университетский профессор, или художник в Таллине. Это гордость. Между прочим, такое же уважительное отношение к учителю, к священнику и уж тем более к профессору, к писателю я встречал в Армении. Я там по деревням ходил. И не слышал такого, что мы, мол, здесь работаем, а он там перышком скребет, на нашей шее сидит.

«ЛЮ»: Конечно, вы верно сказали: нужно воспитывать уважение к духовной жизни. Именно этого уважения недостает. Но можно ли его воспитать, привить, так сказать, назидательно? Может быть, и вина интеллигенции в том, что корни этого уважения оказались подсечены, может быть, часть интеллигенции все-таки скомпрометировала себя? В тех же библиотеках не стоит труда найти десятки книг — романов, поэм, драм советского периода, особенно тех, что были на устах официальной критики, где полный набор и ханжества, и лжи, и готовности к компромиссу, и жажды обслуги «победившего класса». Вряд ли и местная литература может отличаться самостоятельным мышлением, а проводником каких идей становился учитель, только ли образцы лучшего попадали в учебники?

Ю. Л.: Ах, литература! Видите ли, я прекрасно помню пьесы сорок девятого года, где профессор если не сам шпион, то окутан шпионами, которые им играют, так как он честолюбив, корыстен, а обличает его лаборантка или лифтер, поскольку они-то и делают настоящее открытие. Это вредные произведения, ничего общего с жизнью не имеющие. Когда писатель пишет об интеллигенции и изображает каких-то полушпионов-полукрокодилов, мне его жаль. Он рисует интеллигента, как Голливуд советского колхозника, — с таким же пониманием своего героя. Он не видел в жизни интеллигентного человека, потому что их давно уже уничтожили, а он видел и. о. интеллигенцию, квазиинтеллигенцию.

Вы думаете, обедать в Москве, в Доме литераторов, — это уже значит быть интеллигенцией? И ученые, о которых вы говорите, это не ученые. Вот так. Не все, кто имеет дипломы, интеллигенция; не все, кто изобретает какие-то штуки, ученые. И поэтому кто себя опорочил, кто себя скомпрометировал? Эйнштейн себя опорочил, Гейзенберг, или Бор, или Лихачев? Пушкин и Чехов, Менделеев и Сахаров — вот наша интеллигенция. Опорочили себя скороспелые лауреаты, так они же не ученые! Сегодня пишут, что это «вклад» и «труд», а завтра никто эти «труды» и в руки не берет, читать стыдно. А потом начинается: ученые виноваты... Зато экстрасенсы очень правы. Дискредитируют себя лысенки — науку дискредитировать нельзя.

«ЛЮ»: Вы больно сейчас хлестнули, что вместо интеллигенции все больше «и. о.» и «квази», а настоящую почти всю уничтожили. Но на Западе? В Америке же не

260

было такого давления на интеллигенцию. Напротив, туда стекались лучшие силы Европы...

Ю. Л.: Простите, если я понял правильно ваш вопрос, вы сейчас хотите сказать, что наука, в принципе, представляет опасность. Это правильно. Все с чем человек имеет дело, представляет

опасность. У Платона есть диалог [«Федр» 274с—275b] о том, как один мудрец пришел к фараону и предложил ему разные изобретения. Фараон поблагодарил и сказал, что изобретения очень полезные. А потом ученый рассказал, что он сделал главное открытие — письменность. И фараон ему ответил, что это вредное изобретение, потому что люди должны помнить и рассуждать, а когда они будут записывать и доверять записям, то память у них станет хуже. Правильно. Так что же, вы хотите вернуться к неписьменному обществу? Знаете, у Крылова, человека не просто умного — мудрого (я очень сожалею, что у нас Крылова очень редко читают, его надо читать, как «Отче наш», раз в день), так вот у Крылова есть басня о том, как один человек решил побриться и «У зеркала сквозь слез так кисло морщит рожу, / Как будто бы с него содрать собирались кожу». А почему? Бритвы слишком остры, и он, боясь порезаться, взял тупую. Ему говорят, что тупыми бритвами бриться не надо, а острою «обреешься верней: / Умей владеть лишь ею»¹. А мы, простите, действуем по народной поговорке: «осердившись на вшей, да и шубу в печь». Я все-таки полагаю, что шубу в печь еще рано. И разговоры, что надо от мертвящей техники обратиться к живому духу, это как у Салтыкова в сказке «Коняга». Коняга работает, а кругом пустоплясы, которые создают разные теории опрошения. Коняга работает, и человечество работает, в том числе и с помощью науки. А то, что в шубе вши завелись, — ну, у очень гигиеничных людей вши не заводятся, а если по какой-то причине и завелись, для этого есть средства, а шубу жечь не надо.

«ЛУ»: Шубу эту мы много раз бросали в печь, а потом сами же и выхватывали: и шуба страдала, и руки... Отсюда и «бум», восторженное открытие того или иного исторического имени, но стоит все-таки оправдаться тягой людей к истории, к истинной культуре. Люди хотят восстановить «белые пятна» в собственном восприятии отечественной истории и культуры.

Ю. Л.: Вообще «бум» — это слово или этот термин относится к сфере моды. Мода — вещь неизбежная, но она приходит и уходит. Интерес, например, к Карамзину продиктован несколькими обстоятельствами. Во-первых, Карамзин долго был недостаточно оценен. На нем висело чуть ли не проклятие консерватора или даже реакционера. Просто плохо знали. И естественно, если что-то давно было запечатано, то при распечатке это вызывает интерес: и обоснованный, и иногда просто модный. Но есть еще одна сторона. Видите ли, мы давно были ориентированы оценивать исторических деятелей прошлого по их общественной позиции. Мы относились к ним вроде как к школьникам на экзамене и спрашивали: «Как ты относишься к отмене крепостного права?» — «Так-то». — «Молодец, деточка. А ты как?» — «А я так-то». — «Очень плохо, деточка». А сейчас нам дела-

¹ Крылов И. А. Бритвы // Крылов И. А. Басни. М.; Л., 1956. С. 223.

241

ется все интересней нравственная личность человека. Мы понимаем, что взгляды — вещь сложная. Вырванные из контекста, они выглядят иначе. Вот, например, вы рыбу ловите, форель. В воде она имеет один цвет, а вы ее вытащили — и она, как будто бы лампочку выключили, — погасла. Когда вы исследуете какого-то исторического деятеля в его среде, он сверкает всеми красками, а когда вы его вытаскиваете в цитату, чтобы сказать, что он представляет собой «этап», какую-то «ступеньку» на какой-то лестнице, то он и потух сразу, и неинтересен, и сводится к сумме высказываний. А разве человек адекватен своим высказываниям?

История, между прочим, наука, которая сродни реанимации, или, если хотите, воскресению. Она наука немножко чудотворная. Но для того, чтобы воскресить, надо знать, что воскрешать. Воскрешаем мы человека, человек же всегда очень разный. Нас сейчас все больше начинает интересовать человек, а Карамзин был один из лучших людей русской истории. Один из современников говорил, что хорошо иногда даже для здоровья погреться у прекрасной души Карамзина. Погреться. Отчасти поэтому интерес к Карамзину.

Но что касается меня, никакой «бум» меня никогда не тревожил, я начал заниматься Карамзиным в сорок седьмом году и занимаюсь им до сих пор.

Мне довелось недавно быть в Италии, в Болонье, на праздновании девятисотлетия университета. Там поднимался один из важнейших вопросов — соотношение гуманитарного и точного знания. Выступали химики, физики, математики, гуманитариев было мало, но большинство из выступавших говорили, что без гуманитарного знания наука развиваться не может. Хочу вспомнить известного физика Гейзенберга. Во время мюнхенской революции не было занятий в гимназии, и гимназист Гейзенберг сидел на крыше и по-гречески читал «Диалоги» Платона. Потом он говорил, что без «Диалогов» Платона, без возможности взглянуть на мир с двух точек зрения, увидеть материю в ее реальности и ирреальности, он никогда бы не стал физиком-теоретиком. А мы, сокращая программу гуманитарного образования в школе, относимся к науке, да и к искусству, по принципу того многоумного животного, которому желуди были нужны, а корни дуба подрывать, полагало оно, можно.

Мы от науки хотим практического знания, мы сами себя задурили выражением: а какое это имеет практическое значение? Эти практические приложения уходят каждый день в прошлое, нужны глубокие теоретические знания. Вспоминаю, как перед началом войны пошли в печати разговоры, что вот, мол, серьезная ситуация, нужна баллистика, а физики занимаются ядерными вопросами, которые практического значения не имеют. Говорили, что генетика, как проклятая смоковница, бесплодна, что надо делать опытные участки, как Лысенко, а генетики мушкой

занимаются, «страшно далеки от жизни». Что далеко от жизни, а что близко к ней — об этом не могут судить не только чиновники, но даже современные ученые.

И о каком культурном фоне мы можем сейчас говорить, если система преподавания, что сложилась у нас, вероятно, самая худшая из всех предшествующих, ибо она представляет собой эклектические осколки разных систем.

262

«ЛЮ»: Собственно, недовольство образованием у нас в России вошло в традицию. Еще в словаре Брокгауза и Ефрона есть горькие сетования, что «нельзя прикрывать теорией умственной гимнастики тот печальный факт, что три четверти абитуриентов выходят из гимназии без всяких знаний... Достаточным доказательством этого являются отзывы университетских профессоров об умственном развитии студентов. Еще недавно у нас в России (в 1899-м) был произведен опрос профессоров: оказалось, что у большинства абитуриентов гимназии нет и речи о „гармоническом развитии всех душевных сил“. Большинство не только не способно к „глубокому анализу человеческих мыслей“ и к самостоятельному, систематическому умственному труду, но часто не может разобраться в простейших вопросах и не обладает простой любознательностью. Таким образом, формальное образование ума, во имя которого совершена была реформа русской средней школы в 1870 году, оказалось призраком. Классицизм не развил и литературно-эстетического вкуса, о чем свидетельствует огромный успех низкопробной литературы и драмы именно среди людей, запасшихся в молодости аттестатом зрелости. Что касается этико-гуманного образования, то у получивших классическую подготовку нечасто приходится констатировать живое участие к великим вопросам человечества, глубокое понимание их и свободу от мелочности и узкого эгоизма».

Прошло почти сто лет. Много ли у нас успехов на поприще образования?

Ю. Л.: Культура — это организм, который должен развиваться непрерывно, и нельзя никого копировать, надо органически развивать свое. Самая большая педагогическая мудрость сейчас бы состояла в том, чтобы подбирать хороших учителей и не мешать им работать.

Но еще хуже, когда мы начинаем действовать подобно мартышке с очками: то их на хвост нанижем, то понохаем, то полижем. Говорим: вот в Америке. Во-первых, там, кроме плохо поставленного образования, другой принцип: очень рано отделяются способные люди, рано ставятся в условия жесткой конкуренции. Хорошо это или плохо, не буду судить — система другая, но это дает эффект выжимания мозгов. Действительно, если из постоянного числа людей на кратком промежутке надо выжать наибольшее число идей, то это эффективный путь. Но он противоречит всей европейской традиции, которая нам, в общем-то, ближе.

«ЛЮ»: Но возможно ли всем дать одинаково прекрасное образование? Или так: возможно ли каждому дать то образование, которое необходимо именно ему? Возможно ли предугадать судьбу каждого и помочь этой судьбе во благо же будущего? Как пытаются содействовать делу образования университеты, хотя бы столичные? Что там меняется?

Ю. Л.: Все начинается со школы, а школы плохие и в столице, и в провинции. Школа требует учителя, окруженного уважением. Учитель должен заниматься творческим трудом, быть хозяином в классе: и хозяином программы, и хозяином оценок. И если ему что-то указывается, то в форме совета, а не в форме приказа и головной боли. Он не должен быть последней спицей в колеснице, где любой инспектор, зам. директора, директор — все ему начальники. Или же он авторитетен и может сам многое решить, или же он не учитель вообще. Это один из таких корней.

Другой корень. У нас сложилось твердое убеждение, что культурная жизнь происходит только в столице. Когда какой-нибудь театр из провинции приезжает, то это ну прямо как будто бы приехали готтентоты, и все удивляются, что тоже люди. А уж что пишется научного за пределами столичных

263

центров, это вообще как бы во внимание не принимается. Вот вам пример. Крупнейшие наши научные центры «Ученых записок» не издают. Давно уже не выходят ни в Ленинграде, ни в Москве. В Ленинграде вышел, не помню когда, последний сборник, кажется, на филологическом факультете, потом еще несколько разрозненных томов вышло, когда появляются молодые диссертанты, которым совершенно уже негде печататься. А между тем почему так получилось? Люди, преподающие в столичных вузах, предпочитают гонорарные издания. Провинциальные или находящиеся в провинции вузы всегда издавали «Ученые записки» без гонорара. Более того, во многих вузах авторы складываются, оплачивают типографские расходы и бумагу. А столичные вузы, как правило, не издают, потому что они не заинтересованы, потому что люди, находящиеся в столице, близки к издательствам и имеют другие возможности печататься.

Мы сегодня говорим о нашем культурном фоне. В течение застойного периода Госкомиздат взял линию на свертывание «Ученых записок» вообще. Если бы не было международных показателей по линии ЮНЕСКО и если бы в 1913 году (сопоставление ведется с тринадцатым годом) в России не выходило много «Ученых записок», то их, видимо, вообще закрыли бы. Но принята странная, просто, я скажу, глупая мера, которая действует до сих пор. Кто-то распорядился, чтобы «Ученые записки», независимо от специальности, профиля, ограничивались десятью печатными листами и чтобы автор не мог написать более одного печатного листа. Кто

был этот мудрец, какое отношение он имел к науке и сколько он сам написал, никому не известно. «Ученые записки» хотя и не закрыли, но поставили в довольно жалкое положение.

Это поддерживается и установкой критики. Критика, в частности по филологии, у нас сосредоточена в столичных журналах. Она занимает там, как правило, второй раздел и не систематична, выборочна. Я не помню серьезного, квалифицированного разбора «Ученых записок». Как-то еще в шестидесятые годы в «Новом мире» покойный ныне Александр Григорьевич Дементьев писал об «Ученых записках». Но это так, чохом. Все «Ученые записки» по всем городам и весям, по две строчки на каждый том с оценкой от двух до пяти. Между тем мы тридцать лет выпускаем «Ученые записки», и было всего два-три отзыва, по-моему. А последние десятилетия совсем нет.

«ЛУ»: Давайте сузим вопрос об университетском образовании вообще, сведем это к такой проблеме. Зачем нужны «Ученые записки»? Может быть, достаточно, что те или иные авторы печатают книжки или статьи в специальных журналах? И почему так складывается, что во всем мире их издают именно университеты? Является ли это рутинной данью традиции или в этом есть какой-то научный смысл?

Ю. Л.: Я полагаю, что отдельные монографии и исследования, публикуемые в специальных изданиях, вещь прекрасная, но заменить «Ученые записки» они не могут.

Это лицо коллектива. Лицо университета. Это не сборники, где представлены статьи по отдельным вопросам, а показатель уровня, направленности и лица той или иной кафедры. Они действительно отражают, кто есть кто. И между прочим, происходит любопытная вещь. Критика продолжает игно-

264

рировать «Ученые записки», а между тем за последние десять лет начали выходить в разных городах очень хорошие «Записки». Разве это не говорит об известном повышении культурного фона?

В Сибири, на Алтае, в Кемерове, Новосибирске, Саратове, Риге... Всех не перечислишь! В Таллине несколько хороших сборников вышло.

Госкомиздат под видом якобы коммерческих соображений (а какие коммерческие соображения, эти люди никакого отношения к этому не имеют и не умеют заниматься коммерцией) каждый том «Ученых записок» приказал представлять в виде отдельного сборника. Это распоряжение могло прийти в голову человеку, который абсолютно не понимает, кем и чем он хочет руководить. «Ученые записки» создаются коллективами, кафедрами. Кафедры, особенно кафедры не в самых крупных вузах, включают разных специалистов: не может быть кафедры по творчеству Пушкина или кафедры по творчеству Маяковского. В лучшем случае это кафедра истории русской литературы или истории советской литературы. Поэтому объединение это носит совершенно искусственный, формальный характер, вместо того чтобы честно называть «Ученые записки» такой-то кафедры, том такой-то. Стремление заменить «Записки» сборниками имеет глубокий корень, за этим стоит убеждение в том, что истории нет, что у научного коллектива нет и не должно быть своего органического пути, что одна книга не продолжает другую. Серия трудов — факт истории науки.

«ЛУ»: В 1988 году исполнилось тридцать лет, как вы в Тартуском университете издаете у себя на кафедре серию «Труды по русской и славянской филологии». Об этих трудах знают во многих городах, вот и мы получили заказ привезти последнюю книжку.

Ю. Л.: Первый том вышел тридцать лет тому назад, последний был, кажется, 32-й номер, после этого уже номера с титулов книг исчезли. Истории не надо! Не нужно представлять, что кафедра — это живой научный коллектив, он развивается! Посмотрите наши «Записки», вы увидите, как одно поколение сменяется другим, появляются новые имена. Это история кафедры, история научной мысли, история поиска. Осмелюсь утверждать, что наши «Ученые записки» — это одна большая эпопея, где закономерно развиваются и меняются темы, которые не зависят от бумажек сверху, от планов, которые создаются, как сказал однажды Вольтер, хитрыми людьми для обмана глупых людей. Это органический путь науки, небольшого научного коллектива, воздух, которым дышат преподаватели и студенты, и поэтому мы боролись за сохранение этой нумерации. Мы не победили в этой борьбе, как и во многих других случаях. Борьба нам приходилось. Вот один факт. Не так давно, уже застойный период кончился, у нас вышел том, где было в одной статье упоминание Гумилева, а в другой статье упоминание Бердяева. Был уничтожен весь тираж. Сохранился один уникальный экземпляр, а весь том был перепечатан. Я не знаю, кто виноват, мне было сказано, что был донос. Не было сказано, от кого, и донос не был показан. Более того, пока суть да дело, то уже Гумилев был отчасти распечатан, и уже в четырехтомном издании «Истории русской литературы» Пушкинского Дома в главе «Акмеизм» была опубликована большая глава о его поэзии. Мы показывали комиссии это, не по-

265

могло. При том что это ведь убыток, целый тираж пошел под нож. Я не хочу проникать в тайны бюрократической психологии, мне ее все равно не понять. Я хотел бы сказать только, что путь наш тридцатилетний не был усыпан розами, но за эти тридцать лет мы выпустили более тридцати томов, а если включать отдельные монографии, то даже и больше. И у нас нет ни одной

строчки, которую сейчас нам было бы стыдно прочесть. Слышим порой: «Знаете, вот такое было время, приходилось, да ну вы сами знаете, как было трудно». Ну, может быть, кому-то было трудно, нам было «очень легко». Нечестного, неискреннего слова в наших «Ученых записках» нет. Ни одного. И это, я думаю, очень важно для педагогического центра, потому что вранье очень развращает, вранье порождает вранье. И если вы хотите быть педагогом, то врать — это очень стыдно. <...>

«ЛЮ»: За последнее время и в общественной жизни, и в науке, и в культуре все-таки наметились позитивные сдвиги, в борьбе с рутинной и косностью пробиваются демократические тенденции. Было бы наивным полагать, что тремя-четырьмя годами можно что-то реально изменить — слишком сильна инерция. Но в чем вам видятся ростки нового? Где сейчас, на ваш взгляд, болевые точки? Мы понимаем, что любой прогноз — вещь ненадежная, но попробуйте обнадежить или, напротив, огорчить... <...>

Ю. Л.: Искусство и всякое творчество — вещь такая, которую прогнозировать очень трудно, и может быть, даже не нужно. Как раз об этом мы сейчас и думаем: например, сколько нам надо заполнить таких-то рабочих мест — и делаем план приема, но мы не можем прогнозировать явление Ломоносова, не можем. Во всем нашем квазиплановом рассуждении для него нет места. Он как будто совершенно лишний и только путает карты, а на самом деле культура движется именно этими непредсказуемыми фигурами. Поэтому предсказать, провидеть искусство, культуру, историю действительно нельзя. Если умрет тот, кто, например, должен был изобрести диктофон, диктофон все равно изобретут. Другие. А если бы Достоевский умер в детстве, романы его не были бы написаны... И история России приобрела бы другое течение.

Полагать, что все сферы жизни и особенно те, где активно работает творчество, предсказуемы, — заблуждение. Есть сферы приблизительно прогнозируемые, есть такие, которые хорошо прогнозируются, есть сферы, прогнозируемые в определенных аспектах, и есть вообще непрогнозируемые. Если бы их не было, мы могли бы предсказывать историю надолго вперед, и история была бы совершенно ненужной вещью. Мы документируем прошлую историю за шесть-семь тысяч лет, а не можем предсказать в творчестве завтрашнего дня.

Сейчас ни для кого не секрет, и хорошо, что об этом пишут: наука у нас в состоянии, в общем-то, критическом. Подымать искусство и науку как сельское хозяйство нельзя: тут каждый на своем участке должен творить...

«ЛЮ»: Кстати, наш экономический опыт убедил наконец: сельское хозяйство тоже нуждается в личности, в творце. И здесь, оказывается, нужно каждому на своем участке — в науке ли, в поле — творить и трудиться. И где творят — получается.

Ю. Л.: Есть над чем задуматься! Недавно в «Литературной газете» в статье о выборах у биологов говорилось: Лысенко давно нет, а «лысенков-

щина» есть. Разрушительный процесс продолжается, чернозем продолжает истончаться, реки загрязняться, а что в культуре, в науке? Я полностью присоединяюсь к Борису Федоровичу (Егорову. — *Ред.*) в оценке деятельности Академии наук, даже больше скажу: президент Академии наук несет юридическую ответственность за катастрофу в библиотеке Академии наук. И то, что сейчас там происходит, — это замятый Чернобыль! Это преступление, которое скрыто от общественности, и я бы хотел, чтобы это и было так напечатано.

У вас был вопрос про библиотеки, это страшный вопрос. И то, что случилось с этой знаменитой библиотекой, — тоже чудовищно. Там, где есть преступление, там есть преступники. Я не юрист, не следователь, но считаю — по своей должности президент несет за это полную ответственность. Библиотека создана не им, а является частью национального достояния. Читаем сейчас в газетах, чуть ли не в разделе забавных происшествий: из библиотеки Академии наук — уже сгоревшей! — продолжают кражи, книги поступают в антиквариат, антиквариат сообщает об этом дирекции и дирекция два-три месяца (!!!) не может найти времени отреагировать. А на завтра мы узнаем, что из Русского музея или Эрмитажа вынесли картину или античную статую и продали, и будем потом затылки чесать.

Но я думаю, что дело не только в этом. Когда я напоминал о «лысенковщине», то хотел подчеркнуть ее живучесть — происходят такие происшествия в сфере культуры потому, что творится и другая, еще более разрушительная вещь: с помощью доносов или еще подобных вещей из культуры вышибаются талантливые крупные деятели, а их места заступаются обязательно людьми бюрократического склада. Они не черные, не белые, они — серые. Казалось бы, это не представляет опасности и всегда можно сказать: «Ну что вы против Н. Н.? Он доносов не писал, он ничего плохого не делает, он выполняет научный план, правда звезд с неба не хватает». Вот тут-то самое худшее. Не случайно самое активное разрушение нашей науки и культуры произошло не в сталинские годы, а в хрущевско-брежневские времена. Потому что именно здесь все пустые места были заполнены серостью, а серость воспроизводит серость. Когда создается такой механизм самовоспроизведения, разрушается сама ткань культуры.

Культура — это не Иван Александрович, и не Александр Сергеевич, и не Михаил Юрьевич, и не Лев Николаевич, если взяты они отдельно. Культура — это некий организм, который сам себя производит: культура производит культуру. Я об этом говорил, но хочу подчеркнуть, что когда

этот механизм разрушен, тогда создается бюрократический механизм, который воспроизводит бюрократию. Это та серость, которая в каком-то смысле ничуть не лучше, чем фигуры лысенковского типа. Она при этом плоха еще тем, что Лысенко открыт, он нам ясен, а человек бюрократического типа хорошо загримирован. Часто он даже не хочет плохого, он просто убежден, что его уровень — это и есть уровень науки, уровень культуры... И когда подбор кадров оказывается в руках этих людей, то получается то, что у нас уже получилось. Этот механизм самовоспроизведения серости работает и приносит нашей науке и культуре такие же последствия, как промышленности и сельскому хозяйству. И результаты те же. Но творчество — самая хрупкая, самая

267

уязвимая и самая трудно контролируемая сторона. Если на поле ничего не выросло, можно, конечно, приписать, но рано или поздно видно. А хорошее исследование (я науку тоже отношу к творчеству) от серенького как отличить?

И тут интересный момент: всякий удар или нажим по науке и литературе начинается закономерно с простой вещи — разгрома критики. Это неоднократно было в истории советской литературы. Против журналов или персональных критиков выступают те писатели, которых они критиковали, и выдвигается стереотипное обвинение: он не просто меня критикует, это он родину хочет унижить. И критика исчезает. Мы идем от успеха к успеху и лауреатские премии выдаем, и все чудно. «Обозначено в меню, а в натуре нету», — как говорил Твардовский. Так что начинать надо с возрождения критики.

«ЛЮ»: Ну, разве критика не возрождается? Какой журнал ни открой, критика присутствует, да еще как! Вот «Новый мир». А. Латынина начинает статью: «Несмотря на призывы миротворцев свернуть критические баталии, сражения не утихают. Похоже, критика сейчас — тот полигон, на котором идет пристрелка идей, формирование направлений общественной мысли... И от того, как будет развиваться полемика, отчасти зависит и то, каким обществом мы сделаемся...» Так что звон рапир стоит, только искры сыплются.

Ю. Л.: Меня очень огорчает, что критика, возрождаясь, сразу делается групповой. Сразу ясно, в каком мундире критик. А критик должен быть в одном мундире: в мундире истины. Конечно, страстные убеждения имеют право быть высказаны. Использую еще раз образ Крылова. Проповедник проповедовал в церкви, все слезы лили, а один стоял и совершенно никакого волнения не выказывал. Его спросили, что ты стоишь и не плачешь? Сердце у тебя каменное? А он отвечает: а мне чего слезы лить, «ведь я не здешнего прихода!»¹ Понимаете, критика еще только возрождается, но она уже расписалась по приходам.

«ЛЮ»: Разве не в традициях русской литературы горячие дискуссии и столкновения в журнальных «круговоротах»? Вот хотя бы «Русское слово» с «Современником»? <...>

Ю. Л.: В этом нет греха, свой приход можно любить, но больше надо любить литературу. И в чужом приходе могут быть хорошие вещи... И больше всего надо любить истину...

Мы перешли от довольно яркого состояния науки и культуры двадцатых годов XX века к такому серому байковому одеялу, что этот этап сопровождался понижением не только профессионального, но и нравственного уровня. Когда ученый или настоящий литератор подбирает аспиранта или сотрудника журнала, он подбирает ученого или литератора и не может руководствоваться нравственно нечистыми соображениями, потому что он Ученый или Писатель, а вот когда подбирает «по моему приходу» — это вносит аморальность. И клубочек один: за какую ниточку ни потяни — мы говорим о специальных научных вопросах, а они имеют этический

¹ Крылов И. А. Прихожанин // Крылов И. А. Басни. М.; Л., 1956. С. 214.

268

смысл, неизбежно касаются атмосферы в науке и положения в литературе в целом. <...>

«ЛЮ»: Теперь, когда двери внезапно распахнулись, право, разбегаются глаза: с чего начать? К сожалению, для многих потерянное уже невосвратно. Механизм самовоспроизведения культуры нельзя наскоро подремонтировать или подмазать, чтобы заработал. Он живой, его нельзя заштопать, как и озоновую дыру в атмосфере. Но не одряхлели духовные силы народа, а чище они, как и родниковые воды, в глуши, в провинции, и постепенно, постепенно, может быть, все и начнет образовываться... <...> А какова в этом роль литературы? По праву говорится, что дети похожи не на своих родителей, а на свое время. Каков же молодой писатель сегодня? Успел он себя заявить, проявить, можно его узнать?

Прошлая «оттепель» породила такие мощные поэтические силы, что тесно стало на площадях от народа, — слушали, думали.

Ю. Л.: Я человек, по-моему, с не очень хорошим вкусом. Правда, у меня есть подозрение, что литература и искусство и созданы для людей с таким вкусом, как у меня... с обычным, читательским. Опять-таки оговорюсь, я не все читаю, но вижу, появляется много интересного. Однако, на мой взгляд, в период первого такого общественного оживления (тогда это действительно оттепелью называли) появилось больше молодых талантов, чем сейчас. Огорчает, что сейчас гораздо больше возможностей, а вот оригинальности меньше. Молодые писатели впадают в штамп, и очень легко такие штампы вырабатываются. Уж есть штамп, как Сталина

изображать и как Христа... Я хотел бы пожелать им больше смелости, больше внутренней раскованности, ни на кого не глядеть и не торопиться примерять мундиры: какой надевать, а каким пренебрегать. Расчетливые пошли молодые люди, а нужен ли тут расчет? Еще молодой писатель, только, можно сказать, из пеленочек, а уже ориентируется, будет ли он печататься в «Нашем современнике» или надо шить мундир для «Москвы», или еще для какого-то журнала.

«ЛУ»: Юрий Михайлович, а может, это не мундир, а бронезилет. Сейчас условия существования в литературе вряд ли безопаснее, чем в шестидесятые.

Ю. Л.: Тот, кто надевает бронезилет за сто километров от фронта, называется трусом. А надо больше смелости, больше доверия к себе. Мундирный-то ряд охранит, но он сделает невидимкой, разве можно разглядеть лицо в строю? Ведь на самом деле, если человек достаточно смел, то он будет оригинален. Оригинальность — есть форма смелости. Просто, да непросто. И это относится ко всем жанрам — к поэзии, к прозе, к критике, заметно и в публицистике. Да, откроешь журнал и видишь: вот этот коллега читал Хомякова, а этот Бердяева, а этот Чаадаева, а этот... <...> Вернемся к началу нашего разговора: нам надо восстанавливать научные и культурные центры, потому что научные центры не бывают без культурных — это комплексные вещи. И в заключение скажу, что наша встреча была полезна. Мне кажется, поиски вашего журнала пока что очень интересны, и может быть, действительно плодотворно устраивать такие дискуссии в разных культурных и научных коллективах. Это поможет нашему общему делу, за которое мы все радеем и бодем. <...>

269

«Попытки предсказывать интересны в той мере, в какой они не оправдываются»

Беседа с Ю. М. Лотманом была проведена Ю. Цивьяном и М. Ямпольским в рамках традиционных Тыняновских чтений в Резекне.

Ю. Ц.: Юрий Михайлович, мы более или менее знакомы с вашими взглядами на теорию и эстетику кино. Можно ли отделить исследовательскую, теоретическую точку зрения от простой зрительской?

Ю. Л.: Если представить себе, как выглядит то, что происходит на экране, для того, кто сидит в зале, то, пожалуй, основным вопросом, который неизбежно возникает у зрителя, будет вопрос: похоже это на жизнь или нет? При этом почему-то предполагается, что, «что такое жизнь», мы знаем и, следовательно, сопоставить экран с жизнью очень просто. Экран оказывается в роли подсудимого, поведение которого мы оцениваем с точки зрения заранее известного кодекса. Мы предъявляем экрану заведомые требования, и он вынужден, несколько смущаясь, этим требованиям отвечать. Если даже не всякий зритель так смотрит, то уж, конечно, так смотрит критик, который исходит из того, что, «что такое жизнь», ему известно, а также известно, что экран должен это, как он выражается, «отражать», твердо полагая, что, «что такое отражать», ему тоже известно. Между тем знать вещь — это означает, во-первых, знать, как она устроена, во-вторых, знать, зачем она служит, и, в-третьих, знать, что с ней будет хотя бы в ближайшем будущем. Ни на один из этих вопросов относительно жизни мы ответить не можем. Мы не знаем, как она устроена, мы не можем даже предположить, зачем она существует, и даже для каждого из нас в отдельности мы отнюдь не можем сказать, что будет через несколько минут.

Само понятие «жизнь» гораздо более непонятно, чем мы, может быть, сами полагаем, и поэтому сопоставление с жизнью — всегда вещь очень сложная. Сопоставить с жизнью на самом деле означает попытаться понять или как-то проникнуть в это неизвестное и непонятное целое. А что значит попытаться проникнуть? Стремление зрителя сопоставить экран с жизнью — это требование, предъявленное не столько экрану, сколько жизни. Оно спровоцировано самой природой кинематографа, которая как бы отвечает самым древним представлениям об искусстве. Как известно, самые архаические представления связаны с тем, что живопись возникла из отражения; из зеркала, или из взгляда на поверхность воды, или из обведенной пальцем тени, а рифма возникла из эха. Это старые мифы, они существуют у разных народов, и в них вложено одно и то же наивное представление: искусство есть удвоение жизни, автоматическое, механическое удвоение; но при этом сразу

¹ Впервые: Кино (Рига). 1987. № 1. С. 24—26.

270

можно спросить: а что значит удвоение жизни? Уже в зеркале изображение перевертывается. Левое делается правым, правое — левым. Между тем, по самым основным и глубоко лежащим представлениям человека, общим для всех культур, верх и низ, правое и левое неравнозначны. Правое связывается с правильным, устойчивым, прямым. Левое — с коварным, лживым. Поменяй правое на левое — и изменятся отношения истинного и неистинного, мужского и женского, реального и нереального. Зеркало не случайно фигурирует в двух обликах — и как правдивое (оно очень часто в старой иконологии — символ Богородицы), и как лживое (это древнейший магический предмет общения с потусторонней силой). Уже сам момент удвоения таит в себе некоторый сложный смысл. Кинематограф, как будто бы выросший из такого удвоения, из фотографической возможности остановить и удвоить момент, уже таит в себе не только

адекватность, но и неадекватность. И вот тут выясняется, что обе эти стороны в процессе художественного построения дополняют друг друга. Позвольте обратиться к одной совершенно в стороне лежащей идее, которая кое-что прояснит, потому что искусство и другие формы мышления очень связаны и постоянно переливаются друг в друга.

Я имею в виду ту область, которая называется логикой и семантикой «возможных миров». Общая идея такова: излагаются некоторые постулаты (которые, в общем, могут братья произвольно) и на них строится мир, замкнутый в своей логике и совершенно логичный внутри себя. Сопоставляя его с другими мирами, мы прежде всего меняем наш взгляд на окружающую нас бытовую жизнь. Это вообще характерно для нашего века, когда можно взглянуть на мир и из космоса, когда меняются все масштабы. И на обычную, естественную и, казалось бы, всем понятную жизнь (кто же не знает, что такое жизнь: все мы утром просыпаемся, вечером ложимся, находимся внутри жизни, и смешно сказать, будто мы ее не знаем) можно смотреть как на единственно возможную и единственно данную. А если варьировать возможности и представить себе наш бытовой мир как *один из возможных*? Мне скажут, что этим постоянно занимаются научные фантасты. Но малая убедительность, как мне представляется, неудачных попыток средней руки фантастов не в том, что они очень фантазируют, а в том, что они фантазируют мало, обнаруживая свою неспособность вырваться за пределы единственно данного мира. Хлестакову, когда он предельно завирался, придворная жизнь представлялась как очень увеличенная жизнь мелкого чиновника. Фантазируя, он лишь обнаруживал законы своего бытового сознания: суп на пароходе из Парижа, арбуз в тысячу рублей, крышку супа подымеешь, а там запах такой, что уму непостижимо. Быт мелкого чиновника количественно умножается. Это очень напоминает наши представления в фантастических текстах о далеком будущем. Это очень-очень умноженное настоящее. Вырваться из настоящего бывает вообще очень трудно. И в этом смысле внутреннюю вариативность и скрытые возможности мира нашего ограниченного бытового опыта могут гораздо успешнее раскрыть как раз так называемые реалистические фильмы (но, конечно, хорошие), которые берут реальную бытовую или реальную жизненную ситуацию, но при этом представляют ее как одну из возможностей. И будь то в самой картине или «за картиной», но возникает ощущение бесконечной вариативности мира.

271

В этой связи позволю себе сказать два слова о фильмах на военную тему. Очень часто приходится наблюдать, что фильмы на военную тему, по сути дела, не ставят себе целью сделать что-то похожее на то, что было на реальной войне, причем они остаются очень хорошими фильмами. Должно быть, это очень трудно, не знаю. А скорее всего, не так уж и нужно. Военный жанр используется как возможность в относительно свободных, небытовых, экстремальных условиях сконструировать ситуацию, в иных условиях невозможную. В военной картине проступают черты из других эпох, в частности современные характеры, которые очень отличаются от характеров сороковых годов. Это, между прочим, мне видится в фильмах Германа, которые многие считают образцом исторической реконструкции. Это наивно... Для человека, который помнит людей тридцатых годов, и тем более хорошо помнит военный быт, конечно, очевидно, что здесь совсем другая задача. Герман, по сути дела, использует ситуацию тридцатых годов или же военную ситуацию с очень точным воспроизведением быта тех лет для переосмысления современной жизни. И это отнюдь не принижает его, а, по-моему, как раз и отвечает некоторым законам искусства.

Но это так... отступление в сторону. Просто я хочу сказать, что познание жизни средствами кинематографа подразумевает, может быть, даже очень неожиданные вариации этой жизни, реконструкцию отношений, которые нам представляются недвижимыми. То есть то, что словами Достоевского можно назвать «фантастической реальностью». Ударение здесь на обоих словах: чем реальнее, тем фантастичней. Фантастика не есть отрыв от бытовой данности, а есть сдирание с нее коры, она — перестановка сложившегося и перекомбинация неперекомбинируемого. И поэтому — вспарывание жизни изнутри. В этом смысле кинематограф предоставляет совершенно неожиданные возможности, поскольку он обнаруживает ту же способность к перестройке, что и словесный текст, но при этом обладает наглядностью изобразительного текста.

М. Я.: Юрий Михайлович, значит, для восприятия кинематографического произведения важным представляется сравнение с каким-то образом реальности? А эффект реальности, который возникает в кино. — что это, продукт такого сопоставления или все-таки он основывается на каких-то кинематографических условностях?

Ю. Л.: Видите ли, сопоставление только в самом простом вульгарном виде дается как некая прямая аналогия, причем слово «вульгарном» не имеет здесь никакого осуждающего оттенка. Искусство всегда должно иметь некоторый элемент, ну, скажем так, грубой простоты. Но и без того некая невысказанная или, может быть, даже неосознанная, несформулированная потенциальная сопоставимость есть всегда. Хотя бы потому, что мы не можем мыслить мира без каких-то данных нам констант. И как бы мы их ни переставляли, выскочить из языка этих констант мы не можем. Грубо, скажем, наблюдая придворный балет, сопоставлять его с экономическими процессами помещичьего хозяйства. Но какая-то соотнесенность все-таки есть. Например, исключенность из жизни: глядя на придворный балет, зрители забывают обо всем,

кроме него. Ведь забывание все-таки есть форма соотнесенности с тем, о чем забывают. Сопоставление с жизнью неизбежно. Другое дело, что сопоставления могут быть самого разного типа. Видя, что герой в историче-

272

ском фильме надел гусарские штаны, а мундир — уланский, вы можете сопоставить это с нормами одежды и сказать, что это ошибка. Но нельзя сопоставить мир фильма с нашим миром и сказать, что фильм есть ошибка, если перед нами художественно мотивированное расхождение.

М. Я.: А есть ли тогда принципиальная противоположность между тем, что принято называть «люмьеровским» и «мельесовским» кинематографом? Ведь тогда это в принципе — лишь различные вероятные миры, которые просто по-разному соотнесены с нашими представлениями о реальности?

Ю. Л.: Пожалуй, я бы с этим согласился. Ну, а как вы посмотрите, скажем, на гравюру и живопись? Можно сказать, что они создают разные миры? Бесспорно. Внутри этой пары они, может быть, в чем-то более отталкиваются, чем сближаются. А в чем-то могут пересекаться, так как обе принадлежат к миру изобразительных языков, а также входят в то, что мы называем миром нашей жизни, которая включает в себя очень разные пласты. Всегда есть искушение ограничиться изолированным описанием, но ведь можно и отбросить отдельное изолированное описание. Все зависит от того, на какую степень приближенности вы настроили свой телескоп. Что-то я все метафорами и какими-то параболами говорю... Знаете, в Японии когда учат детей рисовать, то прежде всего учат оставлять белое пространство между рисунком и краем листа. Изменить край листа означает изменить и рисунок. Будут ли Люмьер и Мельес разновидностями одного и того же или антагонистами, зависит от границы нашего взгляда.

М. Я.: Есть такая идея, например, у Садуля, что к кинематографу с неизбежностью привела логика исторического развития как техники, так и искусства, что кино — порождение целой линии развития культуры, которая подвела нас к такой степени жизнеподобия.

Ю. Л.: Видите ли, я знаю эту точку зрения и даже думаю, что в определенном смысле она оправдана. Но вот представьте себе, что вы пришли в посаженный лес, где деревья стоят в определенном порядке. У вас, естественно, создается иллюзия, что вы стоите в центре и все деревья сходятся к вам. Вы меняете место, а все деревья опять к вам сходятся. Пока вы не осмыслили исторический материал, вы находитесь в диком лесу, у вас ощущение беспорядка. Как только вы его осмыслили, вы переселились в посаженный лес и все деревья сходятся к вам. Сначала — в защиту этой идеи Садуля. Она правильна. Действительно, в искусстве наблюдается движение к кинематографу до кинематографа. Возьмите «Фальшивый купон» Толстого, и вы увидите, что это — типичный сценарий, киносценарий. Вся литературная психология отброшена, психология есть, но она не в толстовских рассуждениях, а в монтаже эпизодов. Вообще — вещь поразительная. И, видимо, как раз из-за этого кино по этому роману нельзя снять...

М. Я.: Брессон недавно снял такой фильм, «Деньги», и очень хороший.

Ю. Ц.: Этот пример скорее подтверждает, чем опровергает сказанное: Брессон ведь только такие романы и выбирает, которые снять в принципе невозможно...

Ю. Л.: Но вот представьте себе, что техника построила не кинематограф, а, я уж не знаю... голограф или что-то там другое. И тогда историки обнару-

273

жили бы то, чего мы сейчас не видим, — что в толще культуры и к этому шли дороги. Нам свойственно полагать, что то, что случилось, во-первых, не могло не случиться и, во-вторых, было единственным, что должно было случиться. А между тем каждый исторический путь (а иначе история не носила бы никакой информации и давным-давно была бы исчерпана) есть выбор на развилке. Раз выбрана одна дорога, значит остальные останутся непройденными. И нам свойственно полагать, что их не было. Можно вполне написать историю человечества как историю упущенных дорог, пропущенных возможностей. Если бы история шла только теми дорогами, которыми она может идти, произошла бы одна очень простая вещь. Документируемая история насчитывает приблизительно семь тысяч лет до нашей эры и вот уже скоро две тысячи лет нашей эры. Девять тысяч лет — очень большой срок. Если бы мы имели дело с однозначно развивающейся траекторией, мы могли бы предсказать ее по крайней мере на три дня вперед. Представьте, что камень пролетел значительную часть своего пути. Мы в каждый момент можем вычислить его следующее состояние. Между тем история не дает предсказуемости. И все попытки предсказывать более всего интересны в той мере, в какой они не оправдываются. Это связано с тем, что история — не летящий камень, а процесс, который каждый раз доходит до перекрестка. Есть, конечно, в истории автоматически действующие силы. Это развитие производства, развитие техники. И там можно сказать: умер в детстве Эдисон, его открытие не было сделано им, но оно будет сделано, потому что здесь дорогу можно предсказать. Но если умер Пушкин, «Евгений Онегин» написан не будет. Что-нибудь другое будет, а этого произведения не будет. История — это не только история процессов, но и история людей. И то, что она история людей, придает ей непредсказуемость. Выбирая дорогу, мы каждый раз теряем дорогу, и поэтому не следует полагать, что обязательно должно было произойти то, что произошло. И вот если бы произошло *другое*, тогда бы мы обнаружили, что вся культура готовит и такой взгляд. Она готовит очень

многое. А что она готовила, мы узнаем только ретроспективно. Вот так бы я на ваш вопрос ответил.

Ю. Ц.: Вы говорили о гравюре и живописи. Гравюру и ее возникновение мы можем датировать точно. Она возникла как отказ от живописи. Кино ведь тоже соотносится не только с нашими представлениями о действительности, но и с нашими представлениями о кино?

Ю. Л.: Сперва все-таки о гравюре. Она не столько отказ от живописи, сколько отказ от уникальности. Здесь есть влияние ренессансного духа тиражирования и массовости. По крайней мере, мне так представляется. А теперь вернемся к кинематографу.

Ю. Ц.: Раз уж возникла тема тиражируемости, хотелось бы услышать о тиражируемости в кино. А также — о соотношенности каждого фильма не только с жизнью, но и с другими фильмами.

Ю. Л.: Бесспорно, конечно, когда я говорю о соотношенности фильма с жизнью, я все-таки имею в виду, что дело не только в жизни, но и в фильме. Для того, чтобы фильм был фильмом, он должен обращаться к нам на киноязыке. А язык — это уже соотношенность с другими фильмами. Конечно, здесь возникает опять-таки довольно сложная вещь. Всякое произведение искусства

274

есть, с одной стороны, текст на каком-то языке. То есть если вы никогда не видели фильма и не имеете представления о кино, то, пожалуй, зрителем вы не станете. Вам нужно в какой-то мере владеть киноязыком. Но дело в том, что каждый текст есть не только реализация языка, но и генератор нового языка. Если он — только воплощение уже существующего языка, он вам покажется бедным и мало что даст.

По сути дела, мы в искусстве присутствуем при парадоксальном сочетании двух вещей. С одной стороны, язык как бы предшествует, и мы получаем на нем текст, а с другой, предшествует текст: мы получаем как бы текст на неизвестном языке и по нему восстанавливаем язык. Обе эти вещи вполне реальны. Когда мы говорим друг с другом, мы пользуемся заранее нам данным языком. Но когда мы выкапываем из земли статую или археологический предмет, мы не знаем, игрушка это или предмет культа, молились этой статуэтке или ею дети играли. То ли это магический предмет, то ли произведение искусства... Мы не знаем, на каком языке оно говорило с теми людьми. А когда мы видим новый фильм и новую картину? Фильм, с одной стороны, исходит из того, что мы знаем, из наших культурных презумпций, иначе бы не было общения с экраном, и вместе с тем говорит с нами на непривычном нам, новом языке. И нам предстоит по тексту учить язык. Обычная вещь — мы учим по текстам язык, когда овладеваем родным языком, и мы учим по языку текст, когда изучаем иностранные языки. Искусство выступает для нас одновременно как иностранный и родной язык. Мы слышим детьми, как вокруг нас говорят, и понимаем смысл фраз. Мы смотрим на экран. Сначала мы его читаем как бы только в пределах знакомого нам языка, а потом он, как учитель, нас учит новому языку. Поэтому отношение к *предшествующему* фильму очень сложно. Но это ведь вы сами хорошо знаете... Оно всегда есть и продолжение, и отталкивание, и преемственность, и борьба.

Что же касается тиражирования, то это вещь опять-таки двойная, обоюдоострая. Изобретение печати — огромный культурный шаг вперед. Это один из основных шагов Ренессанса. И привело это к массовому приобщению к культуре, к исключительно быстрому распространению знаний, это полностью перестроило жизнь. Но это, как и изобретение письменности задолго до изобретения печати, имело и негативные последствия. Например, волны панического страха, процессы над ведьмами, процессы, которые привели в отдельных местах Германии к поголовному уничтожению женщин и которые стали настоящей болезнью XVI века, — все это, кроме других причин, связано и с печатью, потому что «дьяболистическая» литература, спустившаяся в народные книжки, обрела такие тиражи, о каких средневековые совершенно думать не могло... тиражи, в общем, приближающиеся к современным цифрам. И попадая в руки массового, не очень культурного и при этом охваченного чувством социальной неустойчивости человека XVI века, человека, убежденного в том, что мир идет к катастрофе, эта дьяболистическая литература сыграла роковую роль... Тиражирование — вещь очень хорошая при культурной ценности того, что тиражируют. И отношение к тиражированию сложное. С одной стороны, искусство должно уметь говорить со всеми и быть... ну вот как Ахматова говорила: «Когда б

275

вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...»¹ Искусство отнюдь не чуждается самых грубых форм. Между прочим, как раз искусство больших мастеров всегда грубее, чем искусство второстепенных деятелей. Но одно дело — художественная грубость, а другое дело — создание подделок, квазиискусства, превращение доступности в фетиш... И тогда в искусство, в частности в кинематограф, вкрадываются опасные тенденции. Когда-то были затеяны шумные пушкинские праздники, на которых Достоевский произнес речь, Тургенев произнес речь... Менее заметной прошла скромная речь Островского. А он сказал очень глубокую вещь — что, читая Пушкина, мы делаемся умнее. При чтении одних произведений мы делаемся умнее, при чтении других — остаемся теми, что мы есть, а при чтении некоторых делаемся глупее. И с этим связана очень большая ответственность искусства. И чем оно массовее, тем эта ответственность больше. Хотя кино — массовое искусство, его язык — очень живое и динамичное целое, а отнюдь не

синхронная матрица, которая штампует.

М. Я.: Означает ли это, что задача строго научного описания такого языка практически вообще не может стоять?

Ю. Л.: Простите, если вы к таким пессимистическим выводам приходите на материале киноязыка, то как же быть тем, кто работает на материале культуры, в которую кино входит одной и даже отнюдь не доминирующей частью? Мы действительно имеем дело с гетерогенными и исключительно многофакторными объектами, которые и в самом деле очень трудны для моделирования. Но знаете, как в идиллии Феокрита, когда сиракузянки спрашивают, можно ли пробиться сквозь толпу, чтобы попасть во дворец, ехидная старушка отвечает им: «Пытались ахейцы и в Троию вступили»².

«Говоря о современности, я скажу вот что...»

«Интервью — это не мой жанр», — сказал профессор Тартуского университета Юрий Михайлович Лотман, давая интервью «Независимой газете».

— А что значит «не ваш жанр»? Что есть жанр интервью?

— Он, разумеется, предполагает, что у того, у кого спрашивают, есть что сказать, что интересно и для людей, и для газеты.

¹ Ахматова А. А. Творчество // Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы. М., 1979. С. 202.

² Эта строка в переводе М. Е. Грабарь-Пассек звучит так: «Пробрались лишь терпением ахейцы в Троию» (Феокрит Мосх Бион. Сиракузянки, или Женщины на празднике Адониса // Феокрит Мосх Бион. Идиллии и эпиграммы. М., 1958. С. 72).

³ Впервые: Независимая газета, 1991, 16 июля. (Интервьюер — Д. Ицкович).

276

— И все же. Пусть темой нашего разговора будет «Политика и культура» — место культуры в современном мире и в современной политической ситуации.

— Место культуры всегда одно — это культура. Слово «культура» — неопределенно, в одном американском справочнике я насчитал свыше четырехсот определений слова «культура». Но я предпочел бы другие слова.

«Культура» может означать сумму технических средств. Скажем, культура каменных топоров. Это определенный этап техники. Культура может означать определенный тип поведения или может означать определенный тип сознания. Это достаточно неопределенное слово мы заменяем бытовым значением, которое наполняется таким содержанием: что-то очень хорошее, где-то около просвещения. Мы говорим: «человек культурный», если он ведет себя не слишком дикарским образом.

А есть устоявшееся понимание культуры в противопоставлении природе, восходящее к XVIII веку, к эпохе Просвещения. Оно могло получать два истолкования: культура — это хорошо, а природа — это плохо; или природа — это хорошо, а культура — это плохо. По этой линии шел известный спор между Вольтером и Руссо. Руссо считал, что культура портит человека: все прекрасно, выходя из рук Творца, но все портится, попадая в руки к человеку. Совершенство дано человеку как исходная точка, от природы, а дальнейшее вмешательство культуры искажает, ослабляет и, главное, вносит ложь в человеческие отношения. Вольтер занимал точку зрения, более близкую нам. Он считал, что человек начинает с некоего дикого состояния, но культура его очеловечивает.

За этим спором стоял очень важный вопрос: отношение к технике. И что еще сейчас стало неожиданно актуально — отношение к богатству. Руссо был сторонником равенства, но он при этом ясно понимал, что равенство подразумевает бедность, и считал, что коллективная бедность есть та цена, которую человечество должно заплатить за социальную справедливость. Вольтер над этим очень смеялся и написал совершенно дерзостную поэму, в которой прославлял богача и богатство, говоря, что богатство стимулирует производство и открывает дорогу талантам, и полагал, что человек, включенный в идеальное равенство, будет примитивным человеком. Вольтер считал, что, лишь обогащая себя, человек способен обогатить и социальный мир. Это утверждение вызвало довольно острую критику со стороны сторонников эгалитарных взглядов. Вот — исходная позиция.

Существует и иное понимание культуры. Можно, как Блок, например, противопоставлять не культуру и природу, а культуру и цивилизацию. На сходных позициях стоял и Освальд Шпенглер. Блок не читал Освальда Шпенглера, а Освальд Шпенглер не читал Блока. Они современники, которые, как я сказал, культуру противопоставляют цивилизации. Здесь мыслится, что цивилизация — это нечто, связанное с техникой или же с поверхностным (но тут уже дело оценок, можно ставить знак плюса одной стороне, можно другой), с внешним научно-техническим прогрессом, а культура — это нечто глубинное, стихийное, находящееся в основах высших человеческих ценностей. Культура оказывается связанной со стихией. У Блока получалось, что революция, выражающая дух природного взрыва, есть акт культуры, так же как музыка. Музыка тоже культура. А техника — это цивилизация.

277

Таким образом, мы сразу получили несколько определений культуры. И прежде чем говорить,

как мы к тому или другому понятию культуры относимся, нам надо договориться, на каком языке мы будем говорить.

— По-моему, когда люди сегодня противопоставляют культуру и политику, культуру и общность, то это и есть блоковское понимание: культура и цивилизация.

— Понимаете ли, Блок — поэт и, кроме того, гений; идти по пути, которым шел он, нам опасно и вряд ли стоит: как поэты мы состязаться с ним не можем, как гении — тем более. Поэтому, я думаю, получая из рук Блока одну его, так сказать, формулировку, отрывая ее от его целостного взгляда на мир, мы не получим хороших результатов.

— Я просто пытаюсь привести к общему, общепонятному знаменателю. Когда говорят слово «культура», то имеют в виду, например, упадок культуры, потому что все занимаются политикой. Человек писал книгу стихов — он занимался культурой, стал работать в какой-нибудь комиссии — стал политиком.

— Это, конечно, наивный взгляд, и мы его разделять не будем. Я думаю: если человек пишет плохие стихи, то он не принадлежит к культуре, а если он занимается политикой, касаясь самых глубинных сущностей жизни, то это не есть что-то, от чего можно отмахнуться.

Тут сложность состоит в том, что, во-первых, есть разные виды деятельности. В такие сложные периоды типа революционных периодов или общих бедствий... Когда горит дом, вы не говорите людям, сбжавшимся на пожар, что вы не специалист по тушению огня, что вы пишете стихи. Вы тушите огонь. Это, конечно, не всегда правильно. Потом может оказаться, что огонь вы тушили плохо, создали суету и не принесли пользы пожарным. А вот стихи могли бы быть хорошие (и пожарный такие стихи никогда не напишет). Я полагаю, что важных и неважных профессий не существует. Есть профессиональная работа. Поэты (такие, как Ахматова и Цветаева)¹ не стеснялись называть поэзию ремеслом. «Наше священное ремесло» — как говорила Ахматова¹. А Цветаева говорила: «Я знаю, что Венера — дело рук, / Ремесленник — и знаю ремесло»².

Я думаю, что каждый человек талантлив. Неталантливых людей просто нет. Но есть люди, которые занимаются тем, к чему у них нет таланта. Сейчас у нас, как мне кажется, в результате того, что очень долго, почти целый век, политическая деятельность не была профессией (вероятно, в России она никогда не была профессией), мы имеем исключительно много дилетантов. Людей, которые занимаются политикой, как будто это не требует специального таланта, и специальной подготовки, и специальных знаний. Правда, политика — вещь такая... Каждая профессия, особенно профессия популярная (а иногда даже выгодная), привлекает к себе людей, которым не надо этим заниматься. Очень много плохих актеров, которые тем не менее играют. Хороших профессионалов очень мало. Я с удовольствием вижу, что у нас все-таки появляются политики. Но вместе с тем как историк (а я все же историк)

¹ Ахматова А. А. «Наше священное ремесло...» // Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л., 1979. С. 207.

² Цветаева М. И. «Ищи себе доверчивых подруг...» // Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. Л., 1994. Т. 2. С. 120.
278

я вижу чрезвычайный дилетантизм в области политики. Нельзя научиться плавать, когда нет воды. Сейчас, если события у нас не сорвутся (помните, как говорил Салтыков-Щедрин про то, как некие любезные культурные деятели чирикали, а потом пришел генерал-майор Отчаянный и всех слоуп), — так вот, если это салтыковское предсказание с нами не произойдет, то я думаю, что у нас сложится и политика, и появятся политики. А сейчас происходит любопытная вещь. Вот Горбачев. Я не считаю его блестящим государственным деятелем, но поразительно другое — поразительно, что в такой огромной стране нет другого. Помните, как Гамлет говорил: вы не умеете играть на флейте, а хотите играть на мне. Политика играет на людях. Это еще труднее, чем играть на скрипке. У нас есть гениальные флейтисты — видимо, потому, что какая-то непрерывная традиция все-таки была. А гениальных политиков я не вижу. Бесспорно, гениальным политиком был Наполеон. (Я не говорю, что он был нравственный человек, что мне нравится его политическая линия.) Талейран был гениальный политик. О России труднее сказать, потому что там, где нет спроса, там плохо получается с предложением.

Сейчас очень популярно ругать Петра I, это считается даже чем-то обязательным. Не стану высказывать своего мнения о Петре. Но я бы посоветовал изучать его не только по Мережковскому. Я не говорю о Мережковском как о писателе, как о философе, но с исторической точки зрения некоторые его работы — это же Бог знает что. Абсолютно полное искажение фактов. Но это — другой вопрос.

Видите ли, политика, в отличие от других профессий, в чем-то приближается к поэзии, она индивидуальна, она требует личности. Мы очень долго полагали, что личность — понятие неисторическое. А это ошибочно. Человеческая история говорит и действует через людей — но в разных сферах по-разному. Стоит задуматься, почему в истории поэзии, или живописи, или политики мы запоминаем имена, а в истории техники мы имен не знаем. Говорят, потому, что мы неблагодарны, невежественны. Отчасти это правильно. Мы запоминаем имена только там, где процессы имеют взрывной характер. Там, где происходит нечто неожиданное, и должно происходить неожиданное, и выдвигается имя человека. Для Гегеля, который полагал: то, что

происходило, не могло не произойти, а человек — тот механизм, который история взяла в свои руки и заставила делать то, что она прикажет, — имен нет. Их можно не запоминать. Но мы твердо знаем, что если бы Пушкин, к нашему несчастью, умер в двенадцать лет, никто не написал бы его поэзии, а если бы не было его творчества, у нас был бы другой Достоевский. А если бы у нас был другой Достоевский, ого-го как бы повернулась наша история! А если бы умер человек, который сделал существование техническое изобретение, которого ждала промышленность, требовали покупатели, то, наверно, это изобретение сделал бы кто-то другой. В истории есть индивидуальные процессы и неиндивидуальные. И те и другие одинаково важны. Но история России сложилась так, что взрывные процессы в ней играют очень большую роль. Хорошо или плохо — я полагаю, к истории эти категории вообще неприменимы. Хорошо это или плохо — в истории говорить нельзя. А говорится — так было. И говорится, что, как будет в будущем, история сказать не может. На протяжении всей жизни человечества история

279

никогда не предсказывала будущее. Но в области постепенных процессов — предсказывала. Например, можно просчитать и предсказать (приблизительно) определенные динамические процессы в области промышленности. Но есть процессы, в которых предсказывать нельзя, и предсказания мы привносим задним числом. Пастернак очень точно об этом сказал. (Правда, он сказал, что слова принадлежат Гегелю, а как указала тартуский ученый Надежда Пустыгина, слова принадлежат Шлегелю, но сама ошибка Пастернака очень характерна, потому что мысль тут гегелевская.) А слова такие:

Однажды Гегель ненароком
И, вероятно, наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад¹.

В то время как будущее подчинено случайности, только слово «случайность» не должно пониматься в житейском смысле. Оно означает, что есть некоторый набор равновероятных возможностей. И в этих процессах личность и другие специфические элементы играют особую роль. Так в искусстве.

Это в значительной мере в революционные эпохи выливается в человеческое поведение. Совершенно наивно думать, что результаты революции 17-го года были однозначно предсказаны. И сейчас мы находимся на некотором пересечении, у которого нет однозначного ответа в принципе. Понимаете ли, гегелевское представление о том, что действует закон достаточного основания, подталкивает нас к пассивности. Дескать, история обязательно пробьет свою дорогу, у нее нет альтернативы. Это неправильно, история имеет альтернативу — всегда. И поэтому пассивность — это действие.

— Пассивность — это действие?

— Это действие. Значит, мы кому-то открываем дорогу. Пассивность — это поступок. И я считаю, что значительная наша беда состоит в том, что мы очень долго собирались. Понимаете ли, вот как бывает, например, перед атакой. Объявят, что надо готовиться; мы все собрались, и в подумке у нас все приготовлено, мы даже немножко выпили и теперь сидим, ждем. А команды нет. И мы сидим, сидим, сидим. Потом я говорю: «Ребята, к чертовой бабушке! У меня ноги мокрые, сейчас я разуюсь. Тут, видно, все отложилось». Только я разулся, вот тут и команда. Я разулся, другой пошел оправляться, третий ищет, что ему шлопать. Мы слишком долго ждали и поэтому не готовы. Напрасно думать, что чем больше ждешь, тем больше готов. Знаете, если затянуть с женитьбой, то девица делается менее готовой. У нас исторически сложилось так, что мы страшно затянули и поэтому не готовы. Но не нам выбирать. Мы не Гегели опять-таки, который считал, что историческая закономерность пробьется не у нас, так пробьется где-нибудь в Китае — это неважно. Тогда мы просто, с его точки зрения, не представляем собой исторической личности. Я не могу разделить этого фатализма. Да сейчас его никто и не разделяет. Значит, нам можно горевать, что наша эпоха взрыва пришла

¹ Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 561. Цитата из ранней редакции (1924) поэмы «Высокая болезнь».

280

вот для меня, скажем, слишком поздно. По возрасту мне хотелось бы быть лет на тридцать моложе. Я думаю, что для нашей страны тоже чуть-чуть поздно. Но делать нечего. Надо действовать. Я думаю, что сейчас пропустить момент — чудовищно, потому что повторить его не удастся.

— Юрий Михайлович, если продолжить аналогию, в какую сторону, куда должна быть направлена атака, цель какая?

— Я только что говорил, что это непредсказуемо. Я не знаю, куда все будет направлено. Я знаю только то, что я должен делать. Понимаете, вот вы выходите. Вы спрашиваете, что сегодня будет: дождь, снег или пожар? Если пожар, я возьму одно, если дождь — другое. А если вам скажут: «Неизвестно»? Неизвестно, может быть, пожар, а может, снег. А может, наводнение. И в эту минуту все равновероятно. И если вы будете готовы к неожиданностям, то... понимаете ли, готовность к неожиданности означает отсутствие программы поведения, но предполагает наличие программы нравственности. Вы готовы не прозевать, готовы действовать в непредсказуемых

условиях.

У нас сейчас, как мне представляется, странная ситуация. Мы как бы собираемся делать американскую жизнь, то есть жизнь хорошую, постепенную, техническую, мирную, где бы действовали закономерности и экономика была бы такая, где два плюс два все-таки получается четыре, а не бомба. Теперь неприлично говорить «буржуазный порядок» — у нас он называется «экономический» — а он закономерный. И значит, мы как бы готовы к хорошему. Но хорошего не будет. У нас обязательно будут взрывы. А не будет взрывов только в одном случае, если нас всех загонят в тюрьму. А утвердить порядок человеческий вот так мирно, тихо, как теперь все кланутся, только легальными способами... Не знаю...

— На сегодняшний момент чрезвычайно повышается роль именно личности в истории?

— Когда мы говорим — личность, у нас сразу возникает представление: с одной стороны, личность, где человек отдельно, а с другой стороны — масса, где все одинаковые. Если повышается роль личности, значит, понижается роль масс. Это не так.

Что такое масса? Если это стадо (я не ругаюсь, я просто определяю ситуацию, когда собрано вместе много животных), то все в этом стаде ведут себя одинаково. У них запрограммировано одинаковое поведение. Кстати, не у всех животных. Это мы так, берем условно. Когда люди образуют множество, они не отказываются от индивидуальных различий.

Толпа людей возникает очень редко. Я видел толпу. Это, скажем, когда потерявшая разум от отчаяния солдатская масса бежит от танка, — вот тут они ведут себя, как толпа, и тут нет разницы, что один поэт, а другой инженер; один рыжий, а другой плешивый. Тут они себя ведут, как стадо каких-нибудь копытных, которые бегут от льва. Но если не эту, по сути дела очень крайнюю, ситуацию взять, то любая человеческая группа выигрывает оттого, что там разные люди.

Простите, самая элементарная человеческая группа: мужчина и женщина. Они разные, они индивидуальны. Теперь посадите их в тюрьму, в камеру,

281

и тогда они будут: ты — заключенная и я — заключенный, мы — одинаковые. Мы в эту минуту выступим так, как будто половая разница неважна, индивидуальность неважна, то, что ты поэтесса, а я инженер, ты женщина, а я мужчина, ты красивая, я урод — неважно. Мы люди — мы, значит, стали одинаковы. Но только вы нас выпустите из тюрьмы, окажется, что ты женщина, а тебя могу любить или не любить, ты пишешь стихи, а я занимаюсь другим. Таким образом, индивидуальность может проявляться в группе в два человека. А эта группа лежит в основе других групп. Мы включаемся в систему, где целое состоит из частей, а часть подобна целому.

— То есть повышение роли личности и повышение роли масс — это одно и то же?

— Это вещи связанные. Но это такая идеальная модель, которая в реальности осуществляется только через колебания вокруг, образует равновесие несходства и сходства того, что мы разные, и того, что мы одинаковые. Конечно, разница талантов, характеров, обстоятельств делает перекокс то в одну сторону, то в другую, но это уже отклонение от некоей нормы.

— Юрий Михайлович, но вот есть реальная ситуация и реальные миллионы людей, большинство из которых вряд ли готовы нести ответственность за свое поведение и быть активными.

— Я думаю, что большинство никогда не готово нести ответственность. Но, с другой стороны, люди быстро обучаются. Мне это вот что напоминает. Предположим, среди нас есть гениальный поэт. Например, Пушкин. Он написал стихи, не думайте, что мы в восторге. В особенности вот если реально о Пушкине. Зрелый Пушкин, где-то после 30-го года. Мы считаем, что Пушкин стал хуже писать, он нам непонятен. Пушкин, мы говорим, исписался. Прежде так хорошо писал, мы всё понимали, а теперь какой-нибудь такой «Борис Годунов» вышел!

Был еще такой Бестужев-Рюмин, которого называли, чтоб отличать от декабриста, Бестужев-Рюмин. Так вот, он написал стишки:

И Пушкин стал нам скучен, И Пушкин надоел, И стих его не звучен, И гений ослабел. Бориса Годунова Он выпустил в народ. Прискорбная обнова, Увы, на Новый год.

И все хохотали. И Пушкин писал о том, что он теряет читателя. Это означает, что он очень вышел вперед. Но дальше происходит следующее. Произведение таланта — это не просто текст, это некоторый механизм обучения. И те, кто вчера не понимал, прочитав один раз, уже делаются другими. Всегда происходит так: сначала он пишет совершенно непонятно, а следующее поколение говорит: «Что здесь нового, это же естественно, это же очевидно, надо что-то более сложное нам!» Еще Пушкин жив, а уже говорят, что нужны более сложные поэты, что он слишком прост.

282

То же самое и тут. Все время происходит вторжение некоего изобретательного гения, который сначала окружен непониманием, как писал Баратынский:

Скажи: твой беспокойный жар —

Смешной недуг иль высший дар?

Реши вопрос неразрешимый!¹

Что такое то, что я делаю: что-то гениальное или, может быть, я просто сумасшедший? И ведь отличить действительно нельзя. Отличает общественный отбор на следующем шагу. Причем он не всегда справедлив. То, что сегодня отброшено, через сто лет, может быть, будет найдено. Такая

вот машина. Она выбрасывает свое будущее, иногда его отбрасывает, иногда съедает, а потом это будущее делается общим достоянием и превращается в пошлость. Потом и его отбрасывают, а потом через некоторое время окажется, что его отбросили рано и что оно совсем не пошлое. Понимаете, человек все время выбирает. И это дает ему динамику мысли и динамику жизни. И не нужно противопоставлять народ толпе — это романтические представления. А нужно говорить о механизме развития.

Мы находимся внутри поезда, который летит, мы не знаем куда. Остановиться нельзя, двигаться назад — черт знает что, надо двигаться вперед, надо быть прогрессивным. Но что в конце этого прогресса, это нам неизвестно. Может быть, там будет что-то очень хорошее, потому что человечество много раз уже выкручивалось: дойдя до такого положения, которое казалось катастрофическим, оно вдруг обнаруживало, что там много возможностей, о которых оно не подозревало. И перескок на новый этап. Может быть, так...

Мы живем потому, что мы разные²

Воскресная нравственная проповедь — вероятно, самый новый и самый непривычный жанр нашего телевидения. Не все передачи этой рубрики равноценны и не каждый выступающий способен снискать всеобщее доверие, но одно несомненно: общество сегодня нуждается в слове вразумляющем, вызывающем к лучшему в людях. У нас, к сожалению, нет (да и откуда бы взяться!) привычки к проповеди в изначальном значении слова. И потому, наверное, многие спешат повернуть переключатель программ сразу после окончания воскресного выпуска передачи «7 дней». Не будем спешить. Прочтем вместе слово, с которым обратился к телезрителям в минувшее воскресенье один из замечательных наших филологов, профессор Тартуского университета Юрий Михайлович Лотман.

¹ Баратынский Е. А. Рифма // Баратынский Е. А. Поли. собр. стихотворений. Л., 1957. С. 194.

² Впервые: Известия. 1990. 24 февр.

283

В чем мне видится смысл этой передачи? Мы редко встречаемся друг с другом. У нас нет культуры постоянных общений. И, несмотря на огромные технические возможности разных средств, мы, по сути дела, привыкли жить каждый внутри себя.

Нам надо научиться общему языку — это первое. Легко иметь общий язык со своими единомышленниками — ну, правда, сейчас мало, по сути дела, единомышленников, но это нетрудно. Надо научиться говорить с другими людьми, которые совершенно иначе думают. Надо научиться ценить других людей за то, что они другие, совсем не требовать, чтобы они были похожи на нас. Ведь, Боже мой, если бы мы все были одни и те же, одинаковые, мы бы просто не выжили как биологическая единица. Мы живем потому, что мы разные.

Общество человеческое держится на различии между людьми, на том, что никто сам по себе не составляет даже части истины, а все мы вместе составляем путь к ней. Если бы мы были выполнены по самым лучшим рецептам, мы бы давно вымерли. Надо научиться ценить в другом человеке другого человека и надо обеспечить ему это право — быть другим.

Мы привыкли к старой, в основе своей демократической формуле, но формуле XVIII века — о правах большинства. Большинство, бесспорно, имеет права, но каждый из нас входит в какое-то меньшинство: меньшинство больных, больных этой болезнью, в меньшинство влюбленных, в меньшинство неудачно влюбленных, в меньшинство лысых, одноглазых, слепых, несчастливых — каждый из нас обязательно входит в меньшинство, иначе он не был бы единицей, не был бы человеком, он не был бы никому нужен, и прежде всего не был бы нужен сам себе.

У нас нет культуры ценить другого человека, мы все хотим, чтобы он был такой, как я, чтобы мне легче было с ним разговаривать. Но ведь прекрасно — он будет такой, как я, и мне будет легко с ним разговаривать, но зачем мне с ним разговаривать, если он такой, как я? Он мне не нужен. Минимальная разница, какую природа дала людям, — это разница пола. Представьте, как было бы хорошо, если бы мы все были одного пола, — нет любовных драм, никто не стреляется, не вешается, нет необходимости шить мужскую и женскую одежду. Мы были бы не нужны никому!

Итак, прежде всего — уважать другого человека и давать ему возможность быть другим. Это совсем не означает, что этот другой человек будет антиобщественным. Он будет самым общественным, и весь педагогический опыт показывает, что чем менее люди уважают разницу между собой и другими, тем они менее общественны. Общество — это не набор солдат, это оркестр, где каждый инструмент ведет свою, самостоятельную мелодию. Ну, представьте себе огромный оркестр, играющий одну и ту же ноту, — зачем он нужен? Оркестр состоит в замечательном единстве разных голосов. И это первое, что мне кажется очень важным.

Мы воспитаны на нетерпении к другому человеку, мы хотим только, чтобы нам было просто с ним общаться. Но ведь недаром говорят: простота хуже воровства. Надо уважать своеобразие, не пресекать его, начиная со школы. Ведь уже в школе люди уравниваются.

Я не хочу слишком подчеркивать другую сторону — необходимо как разнообразие, так и однообразие, и здесь сама жизнь дает нам образцы. Язык —

284

он одинаков, и он различен. Он одинаков у всех, иначе люди не могли бы общаться, и он

строго индивидуален. А в чем больше всего выражается язык? В поэзии. Именно поэзия и есть тот нормальный язык, который индивидуален для всех и для всех различен.

И отсюда глубочайшее заблуждение думать, что сначала нужно обеспечить людей необходимыми материальными ценностями, — нужно, без этого человек жить не может, а искусство — это так... для тех, кто уже наелся досыта. Но человечество за всю свою длинную и очень печальную историю никогда еще не наедалось досыта. Не было такого случая. И тем не менее оно всегда создавало произведения искусства, и для этого выделялись не слабые, ни на что не годные люди — самые талантливые, лучшие, гениальнейшие выделялись. И это необходимо, потому что именно здесь создается норма жизни. Это норма жизни. Иначе жизни не будет вообще.

Если мы думаем, что искусство — вещь не первостепенная, простая, вещь, которую можно декретировать, подвергать каким-то не очень нам самим понятным правилам, — это в меру нашего ограниченного мышления. Это только показывает, что мы еще не созрели сами до себя. Мы внутри себя в значительной мере как дети, которые попали в музей или в очень ценную лабораторию, которые смотрят на ценный прибор и думают, что это плохо сделанный молоток. Каждый из нас — прибор, ценности которого мы еще не можем постичь, и поэтому нужно оставить некую гарантию роста в расчете на то, что мы еще поумнеем.

Ведь первое свойство глупого человека — он считает себя умным; первое свойство умного человека — понимать ограниченность своего ума. Надо понять ограниченность нашего ума. Надо понять, что творчество необходимо человеку, — без него не будет хлеба. Представление, что сначала хлеб, а потом творчество, — одна из распространенных ошибок. Не будет хлеба без творчества.

Итак, значит, во-первых, разные люди — и одинаковые. Как язык. Во-вторых, творчество. Из этого вытекает еще одна особенность — терпимость.

Разница между культурным и некультурным человеком может определяться несколькими способами. Но есть один практический критерий — человек сталкивается с непонятым; он может заинтересоваться или же обозлиться. Культурный человек заинтересуется, некультурный человек обозлится, раздражится. Проследите свою реакцию на такую ситуацию: я захожу в комнату, там сидят люди и говорят на непонятном мне языке. Что я переживу? Любопытно, о чем они говорят... Или страх: они сговариваются против меня, они друг друга понимают, а я их не понимаю — я сейчас же должен вооружиться. Вот вторая реакция — это реакция некультурного человека. Он читает великого поэта и не понимает его величия. И он злится на него, и он говорит, что это обман, что все это только для того, чтобы людей надувать, а самому, не работая, пожрать. Или же он сталкивается с идеей, слишком трудной для его понимания. «Как это я не понимаю, что я, дурак, что ли?» Умный человек скажет: «Да, я дурак. Мне еще учиться и учиться». А глупый человек: «Нет, я умен. И это меня обманывают...» Глупый человек — он вообще пуглив. Ломоносов предложил когда-то бессмертную формулу — «пугливые невежды». Невежды пугливы, подозрительны, им кажется, что весь мир в заговоре против них. И особенно они боятся людей, которых не понимают,

285

которые чем-то не похожи на них, которые почему-то что-то там на скрипке играют... А черт его знает, чего он там на скрипке играет?..

Помните, у Салтыкова случай, когда доносчик сообщает о том, что потомок барина заперся в своем доме и один книжки читает. И он доносит на неблагонадежность. Когда ему говорят, что тот, мол, никого не принимает, доносчик говорит: «*А может, он промеж себя крамолу пуцает?*» Вот — «промеж себя крамолу пуцает», поэтому мы так и боимся индивидуальностей, боимся непохожего человека: а вдруг он и вправду крамолу «пуцает»?

Итак, еще одна необходимая вещь — терпимость. Ум. Образование. А терпимость означает и вот что — терпимость не только к тем, кто прав, умен и образован. Ко всем. Ко всем. И к тем, кто думает иначе, даже если он думает неправильно, даже если мне кажется, что он думает вредно. Но тут есть важная вещь — терпимость к мысли, а не к действию. Есть старое правило — рук не распускать. Человек имеет право на любую мысль, и сказать ему, что он думает неправильно, — значит лишить его мысли вообще. Но есть моральные, этические законы, понятные всем людям. Человек не имеет права на убийство. Не имеет права на проповедь убийства. И чем больше наши возможности в убийстве, тем сильнее должны действовать эти законы. Единственное, что может нас спасти, — полное запрещение вредного действия, полная запрещенность убийства. Не может быть оправданного убийства. Это обман. Не может быть убийства ради благой цели. Это обман. Мы уже этот период пережили.

Мы — люди. Мы на одном корабле плывем, все вместе — и хорошие, и плохие, и праведные, и грешные, и разных национальностей, и разных вер — мы все плывем на одном корабле. И нам или плыть, или тонуть. Тонуть вместе всем. И на этом корабле споры необходимы, дискуссии нужны, нужна свобода дискуссий. Запрещены — убийства! Запрещено пролитие крови, потому что тогда потонем все...

Мир соскальзывает в безумие

Я не публицист и не политик. Предложение «Мегаполис экспресс» поделится с читателями

своими научными идеями направило мою мысль в сферу привычных для меня вопросов о путях истории человечества. Однако в разгар моих размышлений мне принесли с почты бандероль из Баку: Бакинский центр искусств любезно приглашал меня принять участие в заседании Международного гуманитарного форума. В первых же строках организаторы декларируют свою обеспокоенность «усиливающимся драматизмом современной жизни». К приглашению приложена декларация Бакинского международного форума. Я распечатал конверт с волнением. Я ждал такого письма и очень на него надеялся. В момент, когда мир соскальзывает в безумие и национальная и религиозная вражда, кажется, рвется возвратить нас в эпоху средних

¹ Впервые: Вперед (Тарту). 1991. 8 июня.

286

веков, конечно, на интеллигентов всех народов ложится историческая миссия остановить эскалацию безумия.

Однако по мере того как я читал, во мне росло недоумение. Организаторы провозглашают гуманные лозунги и призывают далекие народы объединиться. А близкие? Ни одного слова о трагедии на границах Азербайджана и Армении, ни одного гуманного, внушающего надежду слова о трагедии Карабаха. Или гуманность организаторов распространяется только на дальние проблемы и чужие земли? Но ведь Христос сказал: «Аще кто речет яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть» (1 Ин: 4, 20). Через всю историю человечества проходит вопль: Каин, где брат твой? И этот вопль не заглушить ни псевдонаучными конференциями, ни лживыми газетными заверениями.

Я — старый человек. Пережил солдатом большую войну, исходил пешком и Россию, и Европу. Среди моих близких друзей были и есть и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и эстонцы, и немцы, и многие другие. И теперь, на пороге смерти, я вынужден наблюдать то клиническое безумие ненависти, которое охватывает целые пространства нашей земли. Я не могу скрыть, что все мои симпатии сейчас на стороне армян. Но и азербайджанцам я не враг. Я жалею тех из них, кто ослеплен ненавистью. Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас, из-за кулис, разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них? То, что делают их руками, очень скоро сделают с ними чьими-нибудь третьими. А те, кто стоит за кулисами, выступают как миротворцы, когда сочтут, что обе стороны пролили достаточно крови.

Ну хорошо, мое ли дело открывать глаза азербайджанцам. А кто откроет нам глаза, нам — интеллигентам этой трещиной империи, кто откроет глаза русской интеллигенции? Сейчас, когда уже много дней льется в Закавказье кровь (только ли в Закавказье; а Литва, а Латвия?), интеллигенция России не очень торопится высказать свое мнение: как бы не осложнить свои собственные дела перед выборами президента республики. Но колокол никогда не звонит по кому-нибудь другому, как бы нам этого ни хотелось, — он всегда звонит по мне, и взрыв в Москве пришелся вовремя: он должен открыть уши тем, кто не слышит ударов колокола в Карабахе и Вильнюсе, тем, кто думает, что если заткнуть уши, то колокол перестанет бить, тем, кто надеется, что они отсидятся, или же возлагает надежды на либералов Запада: может быть, поставят такие условия для финансовой помощи, что внутренняя реакция вынуждена будет отступить. Нет, никто не поможет тому, кто сам себе не помогает. Мюнхенская капитуляция не спасла Запад от второй мировой войны. Договор Молотова — Риббентропа не спас Россию от самой страшной войны в ее истории. Странники насилия — трусы. Как только они сталкиваются со смелостью, они отступают. Но как только они видят перед собой слабых, старых или трусливых, безоружных, нерешительных — их охватывает жажда насилия. Они мстят за свою трусость и за свои унижения. Так и складывается аппарат. В глубине его те, кто скорее взорвет мир, чем отдаст мельчайшее из своих преимуществ, а исполнители их воли — изъеденная комплексом неполноценности, униженная толпа, которая ненавидит тех, кому завидует, а завидует она всем.

Эпоха мелких конфликтов и частных столкновений кончилась. Мир един, и то, что происходит на одном конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся никому. Колокол звонит по каждому из нас.

287

«Нам все необходимо. Лишнего в мире нет...»¹

I. Пространство смысла

«Беседы о русской культуре»² — несколько обработанный лекционный курс, который одновременно лежит в основе трехтомника³. В общем, это короткое изложение моего представления о специфике русской культуры и ее месте в мировой культуре. Но чтобы прояснить некоторые подходы к этой теме, нужно поговорить дополнительно вот о чем.

Мы с вами находимся в пространстве динамических процессов, но динамика эта различного типа. Есть динамика, повторяющаяся с такой ощутимой для человека периодичностью, что она очевидна. Есть процессы, повторяющиеся так редко, что для нас они практически остаются незамкнутыми. Есть процессы, о которых мы не можем судить — замкнуты ли они, обладают какой-то повторяемостью или принципиально разомкнуты. Мы предполагаем, что какие-то

процессы, в принципе, разомкнуты, но, по сути дела, проверить не можем — это требует таких масштабов времени, которые с нами трудно коррелируют.

Однако для историка это не так уж важно, так как мы все-таки берем процессы относительно повторяющиеся. Но это тоже условно: каждый процесс как бы дается нам и в его эмпирической реальности, в определенных событиях, и в некоторой его идеальной модели. Мы можем сказать, что процесс «зима — лето» повторяющийся. Но в то же время даже на собственном эмпирическом опыте знаем, что зима не повторяет зиму, а лето не повторяет лето, а повторяется то, что мы называем словами «зима» и «лето». В общем, у нас все время возникает вопрос об облике объекта, который мы начинаем познавать, описывать, то есть переводить на какой-то другой язык. Можем перевести, например, на язык математики или другие избранные нами языки. Наука тоже есть процесс перевода на определенный язык. Но есть разница между описанием одного и того же процесса с разных точек зрения, соответственно — на разных языках (скажем, на языках математики, философии, искусства). То, что в описании на одном языке будет являться существенным

¹ Впервые: Эстония. 1993. 13 февр. С. 5. Публикация появилась в преддверии дня рождения Ю. М. Лотмана (28 февраля 1993 г. ему исполнялся 71 год). Первая часть была напечатана под рубрикой «Крупным планом» и представляла собой монолог Лотмана, разделенный на подглавки, названия которых принадлежат корреспонденту. Вторая часть — ответы на вопросы журналистки Этэри Кекелидзе, выпускницы отделения русской филологии Тартуского университета, — помещена под рубрикой «Зеркало говорящего».

² Имеется в виду изд.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1992.

³ Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. Таллин, 1992—1993.

288

и повторяемым, на другом вообще может не проявиться, и, таким образом, получается сложная картина. Мы как бы находимся в пространстве языков. Но очень важно подчеркнуть, что это не пространство, из которого мы вообще не можем вырваться. Нельзя сказать, что мы обречены быть рабами своего языка.

Когда мы имеем дело с историческими предметами (конечно, и с биологическими тоже), мы сталкиваемся с одной любопытной вещью. Представим себе некоторый мир. Он состоит из того, что в нем происходит, — назовем его объектом, и языка того, кто этот объект видит и об этом говорит. И тогда мы можем сказать, что у нас есть реальность, которая находится за пределами языка, и реальность, переведенная на язык. Это общепринятая точка зрения.

Одна из фундаментальных особенностей тартуской школы состоит в представлении о том, что мир не может иметь один язык и что реальность не описывается одним языком. Минимум — много языков. Можно даже предположить, что это число открытое. Вот пример. Вы общаетесь с человеком, который говорит на неизвестном вам языке. Он при этом делает какие-то жесты. Можно ли его понять, если не видеть жестов? Или увидев только миг жеста — скажем, на фотографии? Может быть, можно. А может быть, нет. Для понимания необходимо иметь представление, что в жесте значимо, а что нет, что несет смысл, а что не несет смысла. Но и это не все. Сочетание жестов может иметь совсем другое значение, и чтобы понять все, нужно знать несколько языков. На самом деле мы пользуемся целым пучком языков, многими языками.

Семиотические идеи долгое время исходили из представления, что есть говорящий, слушающий и язык общения. Тартуская школа коренным образом изменила это представление. Система, обладающая одним языком, может быть теоретической моделью, но в реальности существовать не может. То, что долгое время казалось изобилием природы, ее расточительностью — она наделила каждого разной внешностью, разной судьбой, разными языками, — оказалось необходимостью. Кстати, из представлений о расточительности природы и возникли теории о необходимости создания мира рационального, рентабельного, строго экономически обоснованного — он будет для нас «удобнее». Сторонники этой точки зрения полагали, например, что человечеству лучше перейти на искусственные языки. Мы действительно можем перейти на искусственные языки и очень многое с их помощью передать. Много — но не все.

Например, есть редкий случай доказанной в гуманитарной области теоремы — она доказана как раз тартуской и московской школами семиотики: на искусственном языке стихи писать нельзя. Простите за игру слов, но это так — на искусственном языке нельзя создать искусство.

Когда мы закладывали основы этих идей, а это было три с лишним десятка лет назад, находились решительные, в основном математико-технические умы, которые заявляли, что искусство есть нечто лишнее, без чего можно обойтись. Искусство — как бы соус, левая рука в фортепианной партии, то, что подыгрывает, но в нашем жестком мире с напряженной борьбой за выживание обязательным не является. Но это заблуждение.

289

Один из коренных принципов, по которому тартуская школа семиотики отличается от многих направлений, исходит из того, что ничего лишнего нет. Все так называемое лишнее есть огромный разброс вариативных резервов. Вернемся к жесту — есть языки, где жест является как бы словом, где, условно говоря, взмах левой руки означает не то же самое, что взмах правой, а есть системы, где жест дополняет слово. То есть мы находимся не в ситуации «ты — я — и один между нами язык», а в ситуации «я — ты — и много языков». Как минимум два — мой и твой. У работающей

системы много языков.

Соединяющее нас языковое пространство — пространство открытое. Оно может разрастаться, может сжиматься, может переводить определенные вещи на статус языка — обязательной структуры, в которую я закладываю нечто, а ты это нечто получаешь. Но может случиться, что я заложил — а ты не вынул. Это факультативное добавление, то, что может получить смысл, а может и не получить. То есть существует пространство смысла. Так вот, особенность тартуско-московской (так точнее) школы в том и заключается, что она изучает смысловое пространство как нечто живое и очень динамическое.

Зачем Пушкину другая Наталья Николаевна?

Какие-то из этих множеств языков можно почти полностью перевести на другие, а какие-то могут вообще не поддаваться переводу. Сфера переводимости языка на язык относительно широка, но есть и сферы полной непереводаемости. Между ними существуют некие отношения, пересечения, колебания. Именно здесь и находится определенное место искусству. Например, такие своеобразные явления, как поэзия или балет, как бы не переводимы на другой язык. Попробуйте пересказать словами балетный спектакль или прозой стихотворение? Чем труднее переводимы языки, тем перевод оказывается длиннее, и в конечном счете все равно остается резерв непереуведенного.

Некоторые кибернетики считали, что наш идеал — полная переводимость, поэтому сферу непереводаемости они были склонны вообще отбрасывать. Но эта сфера занимает огромное место. Сколько раз каждый из нас был готов сказать другому: «Ты меня не понимаешь. Как грустно, что даже ты, такой близкий мне человек, не понимаешь меня. Мы говорим одни и те же слова — но между нами глухая стена». И в то же время можно, не разговаривая, полностью понимать друг друга в молчании. Мы находимся в некотором пространстве, которое лично для человека в определенной мере трагично. Вообще динамика, движение, развитие для него вещь трагическая. Динамика противоречива, не совместима с нами, не умещается в нас. С другой стороны, мы не охватываем ее всю, она вокруг нас. Это конфликтная ситуация. Она трагична и мучительна, но имеет и еще одну сторону. Вот пример, который я всегда привожу на лекциях.

Мы все разные. У нас разная память: я где-то был, а ты нет, ты что-то видел, а я об этом только слышал; у нас разный пол, разная внешность, разные характеры, мы мучительно пытаемся понять друг друга, и далеко не всегда это получается.

290

Как это больно, трудно, трагично. Но вообразим себе, что я — кегельный шар, и ты кегельный шар, и он, и она... Даже не кегельные шары, потому что каждый из них может иметь какие-то индивидуальные отличия, а геометрические модели кегельных шаров — абсолютно одинаковые. У нас, моделей кегельных шаров, одинаковая память. Тут и Пушкин, и Дантес, и Наталья Николаевна, и я, и вы... Что Пушкин скажет — я вмиг понял...

Как чудесно! Как хорошо нам жить! Но... зачем мы друг другу? Зачем Пушкину другая Наталья Николаевна, которая бы его так хорошо понимала? Тем более — была бы мужчиной и одного с ним возраста? И вместе с ним писала бы одни и те же стихи — так на черта она ему была бы нужна? Он бы прекрасно без нее обходился. Нам нужен — другой. Тот, кто нас понимает, и тот, кто нас не понимает.

Именно это столкновение понимания и непонимания, эта трагическая борьба создает бесконечную необходимость одного для другого. Ромео и Джульетта потому и нужны друг другу, что трагически разлучены. А представьте, что они бы сказали: привет, пройдемся? Прошлись и разошлись — не было бы нужности, любви, несчастья, трагедии... Не было бы нашего ужасного мира. Но это единственный мир, в котором мы можем жить. И он, как ни парадоксально, своей ужасной стороной содержит механизм нашего счастья. Мы нуждаемся в непонимании так же, как в понимании. Мы нуждаемся в другом так же, как в своем. Мы нуждаемся в том, без чего мы не можем, так же, как и в том, без чего мы можем и что может без нас. Мы нуждаемся в постоянном напряжении, в переходе понятного в непонятное, гениального в ничтожное... Нуждаемся во всем огромном, многообразном, многоязыковом мире. Многоязыковом — в этом суть дела.

Лишних языков нет. Можно предположить, что количество языков ограничено — но не вообще, а как ограничено оно для нашей физиоисторической реальности... Но вдруг возникает эпоха, когда всем много говорит язык кино. Мы бросаемся смотреть фильмы, и то, что говорит нам кино, нам никто и ничто другое сказать не может. В это же время, условно говоря, классический балет отходит в другую, более ограниченную по своему воздействию сферу. Есть эпохи, когда, например, люди умирают за стихи, а есть времена, когда большинство относится к поэзии равнодушно: это же стихи, что с них возьмешь... Пространство смысла подвижно и динамично.

Забор или окно?

Русская культура находится в точке чрезвычайно сложного пересечения понимания и непонимания. Это культура, которая, с одной стороны, погранична и всегда себя мыслила как пограничная. Например, когда один из киевских князей еще в дохристианское время начал

проникать на Балканы, он перенес туда столицу. И сказал парадоксальную вещь: здесь центр земли моей. Мать его писала из Киева: ты за чужой землей гонишься, а свою потеряешь. По сути дела, это ситуация Петра I, который тоже сделал столицу своей земли за ее пределами. И вероятно, был согласен с древним киевским князем, сказавшим о чужой земле странные слова: здесь центр моей земли. Потому что его земля для него была за пределами его земли. Это то,

291

что Достоевский называл всечеловечностью: перенесение центра за пределы границ.

Другая точка зрения — культура замыкает центр где-то в середине. В истории всегда есть и правила, и исключения, история динамична. Но можно проследить два типа государств, городов и два типа культур. Есть государства, столица которых стоит на границе, иногда даже за границей, как у киевского князя, который считал Константинополь своей столицей. Или же как Петр, который, по сути дела, вывел Россию практически за пределы ее границ, создав чрезвычайно сложную, до сих пор напряженную ситуацию.

Когда я говорю «Россия», я не имею в виду нынешние государственные границы, для историка понятна мгновенность всех этих границ. Но понятие «пространство русской культуры» более или менее понятно. И в истории России были периоды, когда центр ее перемещается в середину, стремится как бы закрыться, как это было в допетровской Руси. У Лермонтова в «Песне» о купце Калашникове есть прекрасная фраза, точно выражающая дух допетровской Руси: нужен высокий забор, чтобы не увидели «злые соседушки»¹. Представление, что сосед — враг, что от него нужно отгородиться забором, колючей проволокой, типично для закрытых систем. Один популярный писатель, желая подчеркнуть свою лояльность, в одной из многочисленных анкет написал бессмертную формулу: родственников за границей не имею, иностранными языками не владею. Восприятие соседа не как врага требует другой психологии, которая ставит себя не за забором, а на открытом окне.

Образ «окна в Европу» — это символ целой культурной эпохи, и не только в России. Такое понимание характерно для итальянских городов эпохи Возрождения, для других культур, которые стремятся к открытой системе, от себя — вовне. Открытая система динамична. Но история не ставит пятерок и двоек, не говорит: это выгодно, а это нет. Какая система лучше — такой же бесполезный спор, как и спор о том, кто лучше — правые или левые, кто нужнее — мужчины или женщины. Ясно, что система должна обладать разнообразием. Разнообразие же — вещь весьма негармоническая.

Здесь мы подходим к чрезвычайно важному историческому моменту: сейчас мы создаем из многости человеческих структур, видимо, какую-то единую. Удастся создать или нет? И что значит единая — тоже непонятно... Единство создается взаимосвязью разного, а не многократным увеличением числа одного и того же. То, что создается путем многократного увеличения одинакового, то и рассыпается. Если бы я не запретил себе предсказания, а историк не должен заниматься предсказаниями, можно было бы обратить внимание на интересный момент. Большая историческая структура, скажем, на территории бывшего Союза распадается. Когда она начала распадаться, субъективно многие из тех, кто помогал историческому ветру разносить в разные стороны куски, провозглашали: мы никогда вновь не сойдемся, мы слишком разные, более того, мы враги. Действительно, правому

¹ Лермонтов М. Ю. Т. 4. С. 109.

292

глазу может показаться, что левый глаз ему не нужен. Хорошо, разойдемся. А с кем сойдемся? Оказывается, не так-то просто сказать: я сейчас присоединяюсь к Испании. Это процесс, в котором заключено столько непредсказуемого... И непредсказуемое составляет не только слабую, но и сильную сторону.

Соединение предсказуемого и непредсказуемого создает сложную игру, которая и есть жизнь. Отсюда и еще один вывод — предсказать результат игры невозможно. Мы не можем упустить из виду возможность трагических исходов. У нас все время есть опасность сорваться с позиции, где мы друг другу нужны, в катастрофу. У нас всегда есть возможность погибнуть. И вся история человечества — это история тех культур, которые погибали, и тех, которые погибали и возрождались... Конечно, это всегда стоило человеческих жизней, трагедий и катастроф.

История вообще не занятие для тех, у кого слабые нервы. Для серьезного историка — это исключительно грустная профессия, по крайней мере — напряженная и мучительная. И вместе с тем — в этом залог нашей надежды. Понимаете, там, где нет опасности, нет и надежды. Где нет трагедии — там нет счастья. Где нет разрыва, нет угрозы сорваться в общую гибель — нет надежды на единение. Человечество все время как бы играет этим. Играет на грани — на грани гибели Флоренции или гибели Рима. Что вы делаете, безумцы, вы губите Рим! Да, оказывается, Рим погибает, но тут возникает нечто совсем новое, чего бы не было, если бы Рим не погиб. То же самое и мы сейчас... Но ведь можно погубить так, что ничего нового не возникнет. Особенно в мире, где техническое развитие сильно увеличивает возможности, может быть, сильнее, чем разумные способности ими пользоваться. Хватит ли сил устоять... Гёте говорил: в самоограничении виден мастер. В чем мысль Гёте? Мастер — высшая степень гения. Гений обладает огромной разграниченностью. И когда существует такой гигантский размах

непредсказуемого, должен включаться механизм самоограничения. Но если этот механизм попадает в руки цензору, или просто дураку, или человеку милому, но недалекому... Самоограничение — очень непростой процесс, и сложен он еще тем, что то включает механизмы непредсказуемые, то вводит языки управляемые, то есть переводит в предсказуемые сферы. И рассуждая об игре на грани, мы рассуждаем о том, как устроен кораблик, на котором мы плывем, и радуемся, что кораблик может утонуть, забывая при этом, что все мы находимся на его палубе...

Резерв неправильности

Один древний философ родом из греческих территорий что-то покупал в лавке в Афинах. И торговка его спросила: вы иностранец? Вы слишком правильно говорите по-гречески. Когда «слишком правильно» — значит, на неродном языке. Родной — есть набор возможных неправильностей, вариантов, потому что он живой. Для того, чтобы нечто жило, нужен резерв неправильностей, вариантов, повторяемостей, отклонений, тогда рождаются такие сложные, мучительные процессы, как, скажем, любовь. Нельзя же любить абстракцию. Хотя мы знаем легенды о любви к статуе как к некоему идеалу.

293

С другой стороны, ожидаемое оживание статуй есть превращение абстракции в жизнь, правильного в неправильное.

В этом сложном мире, в котором мы находимся и который мы сейчас изучаем, добавляется еще одна сложность: мы его изучаем, находясь внутри. Что заведомо как будто лишает нас возможности исследования. Действительно, находясь в системе, ее изучать нельзя. Но для этого нас и много, чтобы все могли представлять себе точку зрения вне системы — точку зрения ребенка, женщины, мужчины, соседа, поэта, кибернетика, древнего грека, человека другой национальности. Мы все время смотрим на мир и всегда можем сконструировать точку зрения, которая находится в мире и смотрит на нас. И это особенно активно происходит в области искусства. Поэтому искусство совсем не забава для тех, кому есть досуг не заниматься делом.

Мы все время находимся в напряжении между однообразием и разнообразием, сближением и разрывом, трагичностью расхождения и бессмысленностью сближения. В этом динамическом, сложном, живом организме искусство представляет как бы кипящий котел, который многое моделирует и дает возможность того, чего не может дать жизнь. В кино мы можем сказать: остановите, повторите. Мы можем в искусстве сделать эксперимент. Жизнь нам возможности эксперимента не дает.

Таким образом, то, о чем мы говорим, это, с одной стороны, как бы отвлеченная наука, с другой — соприкасается с определенными сферами реальности; осмысляется в пространстве исторической науки и в том широком пространстве, которое мы называем — несколько расплывчато и нередко по-разному понимая — семиотикой культуры. Этому отчасти и посвящены книги, о которых мы говорим, вернее, они рассматривают проблемы культуры под этим углом зрения. Таков был замысел, если он, конечно, получился...

Я как историк знаю, что книги не умирают, в этом смысле Булгаков прав, «рукописи не горят»¹. Они обладают поразительной устойчивостью. Если бы такие силы прикладывались к уничтожению танка, от него бы давно порошок остался. Есть какие-то механизмы самовозвращения и, конечно, механизмы уничтожения... В объеме хронологии нашей жизни механизмы уничтожения гораздо более действенны. В объеме же хронологических пространств, в которых живет история, или — шире — биология, или — еще шире — космос, устойчивость проявляется сильнее.

Что нам с нашими бедными пятьюдесятью — восьмьюдесятью годами жизни до этих вековых повторений? Есть кое-что. Потому что мы в нашей недолгой жизни включены в гораздо более длительную память. Сейчас слово «память» опоганено, а между тем это одно из величайших понятий. И было бы полезно показать, что в этой так называемой «Памяти» как раз все есть, кроме памяти². Повторение пройденного не есть память, тем более плохое повторение плохого пройденного.

¹ Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 278.

² Подразумевается националистическое общество «Память», активно действовавшее в России на рубеже 1980—90-х гг.

294

II

— Юрий Михайлович, вы, наверное, рассматривали нашу жизнь и время и с точки зрения того, что Пушкин называл «скрытым смыслом»? Каков же скрытый смысл наших дней?

— Понимаете, конечно, как каждый человек, я не могу об этом не думать. Но как историк я запрещаю себе об этом говорить. Не будете же вы у человека, который обладает некоторыми представлениями о космических законах, спрашивать, что делать, например, с соседом. Он имеет мнение о соседе, но тогда он должен сказать себе: в эту минуту я не ученый, а участник. Я всегда старался быть в жизни участником и, конечно, имею мнение. Но не могу сказать, что мнение меня-

участника есть мнение меня-ученого. Тут, к сожалению, я перехожу в другую сферу. Но зато я получаю право говорить от лица одного из многих, высказывать «мнение другого» — помните, мы только что говорили о многообразии как необходимости. Только не имею права сказать: пускай это мое мнение будет твоим мнением.

— Я на собственном опыте знаю, какой вы великолепный, замечательный лектор. Нашему курсу повезло особенно — вы читали нам русскую литературу от древней до середины XIX века...

— Спасибо за эти слова, и я должен сказать, что действительно работа — это одно из бесспорно возможных счастья. Мне кажется, я помню всех студентов. Очень помню ваш курс.

— А какая эпоха из русской истории вас больше всего привлекает сегодня?

— Видите ли, постепенно у меня сфера научных интересов расширяется. И сейчас, если бы у меня еще было время, если бы еще были научные силы, которые, к сожалению, я теряю — особенно мешает сложность со чтением, — тогда бы я сказал: вся история. Потому что опять-таки самое интересное — изоморфизм частного в целом. Как в коротком миге каждого отдельного события можно прочесть всю историю и вместе с тем во всей истории можно увидеть ключ к отдельным событиям. Сейчас мне интересна была бы вся русская история, и даже шире — вся европейская история. К сожалению, я и научно к этому не готов, и уже не имею времени получить необходимую компетенцию. И с грустью должен сказать, что моя компетенция гораздо уже, чем мои интересы.

— Простите, Юрий Михайлович, но это невозможно.

— Спасибо за неправду...

— И все-таки — в общем интересе есть более частный?

— Моя узкая сфера, где я считаю себя специалистом, — русская культура XVIII века и, теперь могу сказать, пушкинская эпоха, даже несколько расширяя ее до сороковых годов XIX века. Не знаю, оставите вы эти слова или нет — но если бы вы знали, какой я невежда.

— И как вы это заметили?

295

— Каждодневно! Сошлюсь на слова одного очень умного учителя. Собрав своих старших учеников, он нарисовал на доске кружок и сказал: это ваши знания. А вокруг кружка написал — «незнание». Потом нарисовал большой круг и сказал: это мои знания. Видите, насколько они больше ваших, но вы видите и то, что мои знания соприкасаются с большим пространством невежества. И дальше сказал правильную вещь: пока вы будете ощущать себя невеждами, вы будете еще что-то знать, и чем больше вы будете знать, тем мучительнее будет ощущение невежества. И так будете вовлечены, по сути дела, в безнадежную борьбу. Видите ли, всякая серьезная борьба безнадежна. Так же борьба с нашим незнанием. Мы его стремимся победить, а оно растет. Как в былинке — Илья сражался с чудовищем, а оно росло. Наше невежество растет. И маленький ученик, делающий первые шаги к знанию, и человек отдаленных культурных эпох обладали меньшим чувством невежества, чем мы. Конечно, объективно мы как бы знаем больше. Но в жизни далеко не всегда решает количество знаний. Очень часто решает уверенность. Например, на войне. Незнание меры опасности — великое счастье, оно дает силы, вооружает энергией, позволяет принимать решения. Как можно принять решение, представив себе подробно безнадежность ситуации? Насколько легче сказать, не зная: «А! Переживем и это! Авось!..» Способность восполнить одно пространство другим — это то, что так хорошо чувствовал Тургенев, писатель бесспорно гениальный. Долгое время он как бы не имел читателя, но я думаю, скоро он его снова найдет. Конфликт между глупостью решительного борца и бессилием Гамлета... Соединить способность одновременно быть близоруким и дальноруким, соединить две точки зрения воедино значит дать объемность, непредсказуемость, размытость. За счет этого мы можем ориентироваться в неоднозначном, тоже размытом, имеющем разные голоса мире...

— Что же следует хранить и с чем можно без сожаления расстаться?

— Я бы ответил так: рецепта нет. Для этого существует честь и совесть. Простое старое сердце подскажет... Обращайте себя — ни к вопросу, ни к ответу — вообще. Вопрос и ответ придут к вам соответственно вашей готовности. Ну вот еще один такой пример. Бернард Шоу справлял свой юбилей в Москве. Это был демонстрационный поезд в Советский Союз, отношения между Москвой и Англией были очень напряженными. Когда Шоу вернулся, его тотчас окружили журналисты. А до этого в одной из газет был опубликован ответ молодого Черчилля, которого спросили, что он думает о поездке Шоу в Москву. Я думаю, решительно ответил Черчилль, старик с ума сошел. Шоу же спросили, что он думает об ответе Черчилля. Шоу ответил: каждый видит меня таким, каким может в себе поместить. В господина Черчилля я влезаю как сумасшедший.

Каждый ответ, по сути, есть зеркало говорящего. Нам нужно расширять свое зеркало, тогда в нем многое отразится...

— Изобретательное человечество придумало рецепт: может, в целях неувеличения энтропии вообще ничего не делать?

— Если бы Бог мог задать этот вопрос человеку, человек бы ему ответил: и это пробовал...

296

Мы выживем, если будем мудрыми¹

Что я мог бы пожелать читателям «Вестника Тарту» в первом номере газеты, выходящей под этим названием, в первом номере наступившего нового 1992 года?

Сейчас по телевидению, на радио и в газетах много говорят о новом годе, и господствует то, что я назвал бы сдержанным пессимизмом. Я же хотел бы выразить сдержанный оптимизм. Я полагаю, что, как говорится в поговорке: «Страшен сон, да милостив Бог» — и что ожидающие нас трудности, возможно, не так и страшны, как нам кажется.

Почему я так думаю? В молодые годы я всю войну был на фронте, я — артиллерист. И я знаю, что когда находишься за тридцать километров от передовой, откуда идет сплошной гул, — то очень страшно. Когда приближаешься на расстояние в десять или даже в восемь километров, то уже не так страшно. Оказывается, разряды идут не сплошным рядом: снаряды падают то там, то здесь, перелетают, недолетают... Главное, для того, чтобы избавиться от страха, идти ему навстречу. Мы очень часто переживаем страх заранее, видим все в гораздо худших формах, чем оно есть на самом деле, — и падаем духом. Стоит посмотреть страху в лицо, и выясняется, что он не так и страшен. Поэтому первое, что я пожелал бы всем, — бодрости.

А. С. Пушкин в очень тяжелую для него минуту, когда умер А. А. Дельвиг — единственный близкий друг из лицейцев (два других были в Сибири), писал П. А. Плетневу: «Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья... мы будем старые хрычи, божья наша — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчишки станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо»².

Чтобы сохранять бодрость в тяжелое время, надо быть очень большим человеком. Пушкин, как всегда, пошел по правильному пути: основной способ сохранить бодрость — это утешать другого. Нельзя сохранить бодрость в одиночку. В одиночку вообще спастись нельзя. Поэтому второе, что бы я пожелал, — это консолидации.

Земля, на которой мы все живем, совсем не велика. Это прежде она представлялась огромной. Еще во времена моей молодости казалось, что ей нет конца. А сейчас мы видим, что она маленькая. Поэтому отделить себя от армян — нельзя, отделить себя от событий на Кавказе — нельзя, отделить себя от событий во всем мире — нельзя. Мы все плывем в одной лодке: или мы все вместе утонем, или все вместе спасемся. Спаситься же в одиночку не удастся никому. Единственный способ спастись — быть бодрым и помогать ближнему.

¹ Впервые: Вестник Тарту. 1992. 4 янв. Редакция местной тартуской русской газеты обратилась к Ю. М. Лотману с просьбой открыть первый номер газеты новогодним пожеланием читателям.

² Пушкин А. С. Письмо П. А. Плетневу 22 июля 1831 г. // Пушкин А. С. Т. 10. С. 368.

297

В Эстонии, я думаю, судьбы всех нас — и эстонцев, и русских — в значительной степени будут зависеть от того, насколько мы научимся понимать друг друга. Нам нужно не обиды свои перебирать — обид у нас у всех от Адама полно, — а нужно научиться прощать и помогать. Если же мы начнем искать первую обиду, мы все равно ее не найдем, но этот поиск станет для нас школой ненависти — и мы все потонем. Поэтому, когда к нам бывают несправедливы, — конечно, это очень обидно, — надо все время помнить о том, что и мы бываем несправедливы. И надо не считать, а прощать, надо быть умными.

Мы выживем, если будем даже не умными, а мудрыми. Мы уже не дети, которые столько тысячелетий играли в войны, и живем мы не в каменном веке. Может быть, сейчас эпоха войн уже подходит к концу. Только бы не случилось по украинской поговорке: «Покі сонце зійде, роса очі виїсть». Только бы роса не выжгла очи. Что для этого нужно? Помните, как говорил автор «Слова о полку Игореве»: «И стали князя про малое «это великое» молвить... а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую»¹. Так вот, войны приходят, когда люди начинают «про малое «это великое» молвить». Поэтому я желаю нам всем мудрости и терпения.

И еще я хочу пожелать вот чего. Каждый из нас может дать другому немножко тепла. В Евангелии сказано: «Аще кто речет яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть» (1 Ин: 4, 20). Любить абстракцию легко, вот соседа любить тяжело. Каждый из нас может двум-трем людям сделать жизнь чуть-чуть легче, а может — тяжелее. Так вот, я желаю, чтобы мы делали жизнь хотя бы тем, кто около нас, чуть-чуть легче, ибо когда мы делаем другому жизнь легче, и нам делается легче.

Если же я запрусь и буду считать, сколько, кто и когда меня обижал, жить мне будет горько, а мир вокруг меня будет представляться несправедливым. А это не так. Я должен считать не тех, кто передо мной виноват, а тех, перед кем я виноват. Мы все виноваты друг перед другом: перед нашими близкими, перед нашими родителями, перед нашими соседями. Мы все время — даже не желая этого — приносим зло. Поэтому еще я желаю запастись терпением и снисхождением.

Я желаю всем в новом году счастливой любви, без которой тоже жить нельзя. Желаю здоровья, здоровье очень важно. Но здоровье тоже зависит от нашей бодрости. Знаете поговорку: «На печального и вошь лезет»? Не нужно быть печальными. Господи, ведь сейчас не блокада, не война. Ведь смотря от какого конца вести отсчет... Если считать от идеала, то у нас много чего нет. А если от конца последнего, то много у нас есть чего терять. Дай Бог не потерять, дай Бог сохранить то, что имеем. Дай нам Бог принести кому-то пользу, кого-то утешить, кому-то помочь.

Только это нас спасет — всех вместе и каждого в отдельности.

¹ Слово о полку Игореве / Пер. О. В. Творогова // Памятники литературы Древней Руси. XII в. М., 1980. С. 379.

298

На пороге непредсказуемого¹

— Юрий Михайлович, если не возражаете, начнем разговор с «Послесловия» к третьему тому «Избранного». Вы пишете: «В разное время мои статьи подвергались критике, порой очень острой и иногда имевшей политический характер. Я никогда на нее не отвечал. <...> Андерсен в одной из своих сказок говорил: „Позолота сходит, а свиная кожа остается“. Я думаю, что „позолота“ полемических заметок давно уже сошла: если от нашей работы осталась добротная свиная кожа, то она может представлять интерес для читателей». Сегодня, в эпоху всеобщей переоценки ценностей, позволить себе подобное могут очень немногие. Оказывается, «добротная свиная кожа», неизменная сущность — достояние избранных. А множество «званных» ниспровергателей «революционного прошлого» пересматривают и русскую историю, скажем, XIX века; в немилость впадают Герцен, декабристы: они же «разбудили»... Как-то в телепередаче один из дворянских потомков на вопрос: «Как вы относитесь к декабристам?» — ответил: «Осуждаю! С них-то все и началось!» Насколько оправданно это обвинение?

— Наверное, это говорит тот, кто не закончил и семи классов... Это несерьезно. И что значит — «все началось»? Когда началось? Все началось при Адаме, когда он скушал не то яблоко... Понимаете, легко говорить гораздо больше, чем знаешь, и гораздо больше, чем думаешь. Ну что ж, каждый рассуждает в меру своих знаний, способностей и ума, а уж тот, кто может думать несколько глубже, тот думает. И конечно, я никому не судья, ничего не оцениваю и гораздо больше сомневаюсь, чем знаю. Но приходится слышать исключительно неквалифицированные суждения. Чем человек меньше знает, тем у него меньше сомнений, тем он категоричнее. Главное, тогда он ищет, кто виноват, а исходит из того, что он-то уж конечно прав...

— Я вспоминаю ваши давние слова о том, что «декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека», и сопоставляю с другой вашей мыслью — о существовании пушкинской «Капитанской дочки», о том, что человечность выше «схематичных и социально релятивных „законов“». На ваш взгляд, до этой пушкинской истины не поднялись ни просветители XVIII века, ни декабристы. Но почему она не дается и нам, на пороге XXI века?

— Мир, в котором мы живем, все больше хочет получить важнейшие ценности по самой дешевой цене. Это напоминает не очень радивых школьников, которые подглядывают в ответы к задачам вместо того, чтобы ре-

¹ Интервью для журнала «Человек», записано Л. Ф. Глушковой 6 июля 1993 г. Публиковалось под разными заглавиями. Впервые в сокращении: «Выбор есть мысль, и ответственность, и несчастье, и счастье» // Молодежь Эстонии. 1993. 2 окт. Затем: «Более всего опасна победа»: Последнее интервью Юрия Лотмана // Известия. 1993. 1 дек.; На пороге непредсказуемого // Человек. 1993. № 6. С. 113—121; Последнее интервью // Вышгород. 1994. № 1. С. 10—18.

Текст воспроизводится по изданию: Человек. 1993. № 6. С. 113—121. Опушено вступление от журналистки, где Лотман представлен читателю. Первый вопрос дан в сокращенной редакции по версии «Известий».

299

шать их самим. Мы хотим получить истину как можно быстрее, как готовые ботинки, сшитые на «никого». А истина дается только ценой жертвы самого дорогого. По сути дела, получить истину можно только ради нее погубив себя. Истина не бывает «для всех и ни для кого». Рылеев максимально жертвовал, когда пошел на эшафот, а Пушкин — когда не пошел на эшафот. Истину надо найти для себя свою...

— Юрий Михайлович, время, когда создавалась тартуская школа семиотики — шестидесятые годы, в сознании нашего поколения связано с «оттепелью». Но в общем для интеллигенции это было не такое уж и легкое время...

— Легкого времени нет. Как писал Карамзин, что хорошо для дурачков — это поздний Карамзин, его интонация... — что хорошо для дурачков, недурно и для воришек, а нам-то, князь, что?.. Человеку, который мыслит, и человеку, который имеет совесть, не может быть и не будет легко. Он все время находится, с одной стороны, под властью сомнений, а с другой стороны — под властью раскаяния. И он не ищет виноватых с подтекстом: а я-то прав... Тот же Карамзин писал про разницу между умными и глупыми — это в стихах, но я перескажу их в прозе. Умник полон недовольства собой, а дурак думает: меня ли не любить? Конечно, за многое многих можно обвинять, но начинать надо с себя. Если же люди, обвиняющие кого-то, предполагают, что сами они только жертвы и сами они абсолютно правы, о чем с ними говорить? Они останутся такими всегда, у них никогда не будет болеть совесть, потому что они — жертвы... Им чего-то недодали... Они не будут мучиться собственной глупостью, потому что считают себя умными, не будут мучиться чужими страданиями, потому что считают, что страдают больше других. Дай им Бог и дальше так жить, а мы вернемся к нашему вопросу...

— О судьбе вашей тартуско-московской школы семиотики, ее истоках и, как принято говорить,

перспективах развития...

— Дело в том, что это направление возникло в силу каких-то случайностей, которые, однако, в истории культуры повторяются. Между прочим, в культуре — как в биологии. Скажем, в природе вдруг по не очень понятной причине все «заливают» муравьи, происходят какие-то такие взрывы. То же самое в культуре. Глухая пора бывает (пастернаковская глухая пора), и вдруг выплескиваются талантливые люди...

В тот период, когда создавалась тартуско-московская школа, на поверхность выплеснулась целая волна гениальных людей. Многих из них уже нет. Не всегда, конечно, гениальные возможности дают гениальные результаты, это сложный процесс. Но в тот период именно в этой сфере как бы забился пульс культуры. И пожалуй, самое поразительное было — обилие блистательных умов. Постфактум разбирать, кто сделал больше, бессмысленно. Другое дело, что заложенный общими усилиями потенциал еще не исчерпан. Мы пережили некоторый период, когда старые, исключительно плодотворные в своих истоках научные идеи дали то, что они могли дать. Продолжение и в науке, и в культуре всегда есть отрицание. Нельзя продолжать, держась за готовые формулы. И я думаю, сейчас мы переживаем период отрицания,

300

который необходим и, по-моему, плодотворен. Мне кажется, мы уже близки к большому научному взрыву. Трудно сказать, каким он будет, но все-таки можно предполагать, что сведется он вот к чему.

Если не брать во внимание очень далекий античный период, а взять только нашу ближайшую историю, то мы в Европе «стоим» на Ренессансе и на XVIII веке. Это время, когда наука резко обогнала технику и в результате техника тоже пошла вверх. Но разница между наукой и техникой в том, что техника (блестящий пример — Жюль Верн), техника делает предсказуемое. Еще не изобретено, но будет изобретено. И поэтому есть некая правда в том, что имена великих технических изобретателей мы забываем. Фактически не он, так другой сделает какой-то элементарный, адекватный технический шаг. В науке и в искусстве — дело другое. Искусство, в частности, идет по многим дорогам. Если бы в раннем возрасте — о чем страшно подумать — умерли Гёте или Пушкин, никто не написал бы этих произведений. И разговор, что написали бы что-нибудь адекватное, — пустой. В искусстве адекватного нет... Это сфера непредсказуемого.

В чем особенность того, что, например, сейчас интересует нас в Тарту? Мы стремимся ввести непредсказуемость в область науки. До сих пор наука занималась причинно-следственными связями, оставляя непредсказуемое, случайное за своими пределами. Это был необходимый этап, но это не конец. Таким образом, впереди мы видим новый процесс. Он более живой, динамичный и, между прочим, более адекватно отражается в искусстве. Отсюда, как мы полагаем, и взгляд на искусство меняется.

Когда-то Державин, хотя сам он был исключительно непредсказуемый поэт, поэт блестящих абсурдов, уронил такую фразу: «Поэзия тебе любезна, / Приятна, сладостна, полезна, / Как летом вкусный лимонад»¹. Это — высказывание, противоречащее ему самому, что, конечно, не противопоставлено гениальности. Но на самом деле искусство, и не только оно, некоторые другие сферы культуры тоже, вводит нас в область непредсказуемого. И решать, как это делала классическая наука XVII—XVIII веков, что область непредсказуемого находится за ее пределами и вообще за пределами науки, мы сейчас не можем. Совершенно иное место при этом отводится искусству. До сих пор многие смотрели на него как на периферию для людей, которые не могут, не способны заниматься более точными вещами, строить эффективные машины, — так пускай пишут стишки. Мы переходим на другой взгляд: искусство — экспериментальная сфера, которая занимается игрой, то есть сложными процессами переплетения случайного и неслучайного.

— Юрий Михайлович, в работе о роли случайных факторов истории культуры вы приводите гениальную пушкинскую фразу: не говорите — иначе нельзя было быть... Ум человеческий не пророк...

— «...Ум человеческий не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей... но невозможно ему предвидеть *случая*...»²

¹ Державин Г. Р. Фелица // Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 101.

² Пушкин А. С. Второй том «Истории русского народа» // Пушкин А. С. Т. 7. С. 144.

301

— Сейчас же, наоборот, все берутся пророчествовать и предсказывать, предопределяя не только события, но даже исторические лица. Может быть, в самом деле наука вышла на тот уровень, когда именно предвидение, предсказуемость, прогнозирование будущего играют все большую роль? А «исходные данные» позволяют вам, например, как ученому судить с большой вероятностью о характере грядущего времени, культуры?..

— Когда мы смотрим на культуру, мы можем описать, например, эпоху романтизма и можем условно людей той эпохи назвать романтиками. Такой взгляд возможен. Но это не вся истина. Нам интересны люди той эпохи тем, что они все разные. Ни один не заменяет другого, ни одного нельзя предсказать. Нельзя же рассуждать, что если это современник Гофмана, то он должен был написать так-то. Ничего он не должен был. Он находился в широком поле непредсказуемости, которое и открывает новые дороги. В этом и есть, как уже говорилось, принципиальная разница

между наукой и техникой. Мы привыкли рассматривать эти слова — *наука* и *техника* — как синонимы. Техника, безусловно, почтенная вещь. Она логична, она развивает то, что уже заложено, то, что уже имеется в «исходных данных». А современная научная волна, как мне представляется, несет в себе взаимовлияние предсказуемых и непредсказуемых процессов.

Постренессансная европейская культура разделила науку и искусство. Не исключаю, что произойдет их сближение. Не исключаю, что само понятие науки несколько сдвинется, поскольку некоторые стороны здесь требуют другого подхода. Так, в результате большого движения науки мы достигли понимания того, что человек есть животное среди животных. Теперь, видимо, на следующем витке, придется заняться тем, что человек не только животное, или животное совершенно особого рода (что не отменяет предшествующего). Нам, наверное, придется более глубоко разобраться в особенностях человеческой памяти, человеческого языка и в особенностях искусства как все-таки человеческого показателя. Конечно, это абсолютно некорректно — противопоставлять человека животным, и в серьезном разговоре этого нельзя себе позволить. Но когда мы говорим о животных, мы подразумеваем наиболее сложных млекопитающих, некий мир, который, безусловно, от нас отличается, но, вероятно, как-то и пересекается с нами.

Был период в моей жизни, когда я собирался стать совсем не филологом, а энтомологом. Я очень плохо и мало знаю эту сферу, но думаю, что это та сфера, которую переводить как-то адекватно на формулы нашего понимания если и возможно, то, видимо, в каком-то недостижимом будущем. Дело тут не только в протяженности жизни или в представлении, по Дарвину, что примитивные вначале существа делаются затем все сложнее и сложнее. По этому поводу возникают сильные сомнения, поскольку многократно наблюдались движения от исключительно сложных форм к примитивным. Например, что за явление паразитизм? Это — коллективизм, существование организма в союзе с другими организмами. Конечно, всякие прямые параллели между биологией и социально-историческими процессами, при нашем исключительно неполном знании, — это дешевые спекуляции, но что-то в этом есть.

Все наши достижения совсем не означают, что мы все открыли, все законы природы изучили и теперь нам надо расширять свои познания только

302

количественно, написать еще одну работу еще об одном поэте... Надо написать еще тысячу работ об одном поэте, но это не значит, что мы уже дошли до какой-то общей ясности, а дальше пойдет только черновая работа. По сути дела, мы сейчас на пороге полной неясности.

Один крупный ученый сказал в свое время, что наука идет не от непонятного к понятному, а от понятного к непонятному. Пока мы находимся в донаучном состоянии, нам все понятно, а первый признак науки — непонимание. Один хороший учитель рисовал на доске мелом маленький круг. Внутри него он писал: «знание», а за его пределами — «незнание». Он говорил ученикам: «Смотрите, какое маленькое пространство — знание, зато как мало оно соприкасается с незнанием...» Потом он рисовал большой круг, писал внутри: «знание», снаружи — «незнание» и говорил: «Увеличив пространство знания, мы тем самым увеличили наше соприкосновение с незнанием». Чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Это, между прочим, черта, к которой хорошая школа должна подвести в конце ученика. Если высшее образование хорошее, а не повторение средней школы, то в конце концов оно вызывает у человека шок, потому что из области, где он узнавал истины, он переходит в область, где встречается сомнения. И чем больше человек знает, тем больше он сомневается. И это уже не только область науки, искусства, но и область культуры в целом, в том числе и политики.

— Но сейчас все — от политиков до домохозяек — кажется, только тем и занимаются, что провозглашают свою точку зрения истиной в последней инстанции...

— Когда мы видим политика, который точно знает, что надо делать, который не сомневается, то в лучшем случае это глупый политик, а в худшем — опасный. Конечно, политика — такая область, где сомневаться нелегко, но это и есть реальная основа демократии. Главный принцип демократии ведь не в том, что все позволительно говорить одному и сто одному человеку, а в том, что от безусловной истины, бесспорной и несомненной, мы переходим к праву на сомнение, к предположению об ограниченности своего знания и несовершенстве своих самых, казалось бы, правильных идей. И нам нужен другой человек. Не потому, что он умнее, а просто потому, что он другой. Приведу один пример. Я, видите ли, в жизни имел разные профессии, в том числе был артиллеристом. И артиллеристом, между прочим, неплохим...

— Кто бы подумал, Юрий Михайлович?..

— Что неплохим? Ну что вы! Я же всю войну прошел... Так вот, предположим, у вас есть пушка, стреляющая по цели, которую вы не видите. Цель находится за горой. Перед вами гора, и ни черта не видно. Что делать? И вы делаете простые вещи. Вы выносите один наблюдательный пункт далеко влево, другой — далеко вправо и соединяете их рацией. Один смотрит под одним углом, другой — под другим, а вы видите то, что находится за горой. То есть вы меняете и таким образом расширяете свою точку зрения. Разница позиций обеспечивает некоторый прорыв к истине. Поэтому надо уважать чужое мнение за то, что оно — чужое. Не нужно требовать, чтобы оно совпадало с моим, тогда оно мне абсолютно не интересно. Обычный ход рассу-
ж-

303

дений человека ограниченного: мне нужно чужое мнение, если оно подкрепит мое. Нет, мне нужен тот, кто со мною не соглашается...

Видите, от артиллерийской стрельбы мы переходим к демократии. Тот, кто смотрит с другой точки зрения, видит то, что я не вижу, а я вижу то, чего он не видит.

Знаете, как у Жуковского:

Душе блеснул знакомый взор; И зримо ей минуту стало Незримое с давнишних пор.¹

То, что нас так много, компенсирует ограниченность ума каждого. И в этом, конечно, надежда!

— И все-таки, всегда ли единство оборачивается коллективизмом, нивелировкой личности, ограниченностью?

— Когда мы переходим от поиска истины к действию, нам необходимо некое единство. Сказать, что единство — всегда насилие, всегда ограниченность, тоже неправильно. Когда мы говорим, что нужно только множество, то тем самым проповедуем множество, а утверждаем единство.

Безусловно, нужно и единство, особенно когда от теории мы переходим к практике. Нельзя подавать советы хирургу, когда он уже принял решение. Но если с ним рядом нет тех, кто смотрит несколько иначе, тогда он должен в своем личном опыте и в своей личной медицинской культуре учитывать ограниченность, относительность своих знаний. Таким образом, мы все время находимся в сложных отношениях. Единство необходимо для действия, множественность необходима для мысли, и одно не должно победить другое. Не знаю, вероятно, и в области политики то же. А уж в области науки и культуры победа — самое опасное, потому что она всегда создает возможность и искушение подавить чужую точку зрения.

Заметьте, как после последней мировой войны вырвались вперед побежденные страны. Потому что там развернулось разнообразие идей и мнений, там отступили бесспорные истины.

Между тем бесспорные истины тоже нужны. Я бы очень не хотел, чтобы любую из тех двуединых идей, о которых я говорил, восприняли бы изолированно, как какую-то проповедь.

Вот вы слушаете хорошую музыку, которую исполняют на рояле, а потом вы слышите ее в оркестре. Конечно, рояль — это великое искусство, но все-таки он как бы навязывает вам одну точку зрения, одну интерпретацию, он, если хотите, тиран: он знает истину. А оркестр, особенно современный... В силу своей ограниченности я не люблю джаз, но когда слышу, как вдруг саксофон начинает фантазировать, сочинять то, чего не было, по ходу, — это жизнь, это индивидуальность в коллективе. Он не вырывается за пределы джаза, но он импровизирует. А искусство — это величайший механизм импровизации. Конечно, не только импровизации. Если саксофон побе-

¹ Жуковский В. А. Песня («Минувших дней очарованье...») // Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 310.

304

дит всех других и мы услышим лишь его импровизации, все развалится. Вот такие метафоры...

Главное, надо уважать *другого*. Очень удобно, чтобы *другого* не было. Чтобы не было другого воспитания, другого пола, как скажем, и бывает в определенные моменты, когда женщина становится как бы мужчиной в юбке или оттесняется из какой-то сферы. Или же, наоборот, как сейчас, когда мужчины делаются женщинами в штанах. На самом деле бинарность необходима. Это очень интересный биологический закон. Ведь могло быть гораздо больше полов и гораздо больше органов чувств. В общем, бинарность доминирует, потому что при этом можно создать множественность и сохранить единство.

Это, впрочем, уже другой вопрос. Но, вероятно, и ответ на часто задаваемый вопрос, зачем нам нужно искусство. «Тут хлеба нет, а мы с вами стишки пишем...» Эта мысль очень глубокая (и старая), и ее обычно истолковывают, что «хлеб» — это низменное, а человек живет возвышенным чем-то. Это не так, не только так... Человек живет множественностью, отсюда — ответственность, потому что он должен сделать выбор. Действие есть превращение потенциального множества в реальное единство. Если бы не было множества, то есть не было бы искушений, то в чем была бы заслуга нашей добродетели? Если бы не было многообразия путей, то какая же заслуга была бы в том, что мы выбрали именно этот свой путь? Поэтому у элементарных одноклеточных (если мы их правильно понимаем, в чем я не очень уверен) нет выбора — все-таки они моральным судом не судимы, вряд ли можно представить ад для одноклеточных. У нас есть выбор. Знаете немецкую поговорку: «Wer hat Wahl hat auch Qual» («Кто имеет выбор, тот имеет мучение»). И наоборот: кто имеет мучение, тот имеет выбор. А выбор есть мысль и ответственность, и несчастье, и счастье.

Вот в таком мире нам приходится жить. Проще сделать его казармой или тюрьмой, или хорошим зоологическим садом, где зверей будут кормить, гладить, но все за них решать. Нам все-таки жить надо в человеческом мире, который накладывает на нас муки выбора, неизбежность ошибок, величайшую ответственность, но зато дает и совесть, и гениальность, и все то, что делает человека человеком...

В своем последнем письме в редакцию журнала «Человек» Юрий Михайлович писал: «Как историк я предпочитаю изучение прошлого малодостоверным прогнозам будущего. В основе таких прогнозов (особенно в форме, в которой они предлагаются массовому читателю) лежит предпосылка безусловной или очень вероятной предсказуемости. Эта предпосылка никогда никем

не была доказана. Как человек я по природе своей оптимист, но как относительно информированный историк я слишком часто сталкиваюсь с необходимостью ограничивать эту свою склонность».

Сама возможность время от времени встречать таких людей, как Лотман, позволяет оставаться оптимистом даже самому информированному человеку. Информированный историк знает: если в нашей жизни, в нашей культуре были и есть такие люди, как Юрий Михайлович, значит в ней есть место надежде.

305

Неотосланное письмо Ю. М. Лотмана

Уважаемая Людмила <оставлено место для отчества. — Л. Г>! Большое спасибо за Ваше письмо, которое мне было любезно передано коллегами. На Ваши вопросы я не знаю что ответить, тем более не знаю, что я мог бы сказать сейчас читателям Вашего журнала. Вместо этого я просто отвечаю Вам как человек человеку. Я не возлагаю больших надежд на различные интервью и газетные декларации, которые появляются в последнее время в таком количестве (хотя сам достаточно грешен многочисленными участиями в этом жанре). Мир, в котором мы живем, все больше хочет получить важнейшие ценности по самой дешевой цене. Это напоминает не очень радивых школьников, которые подглядывают ответы к задачам вместо того, чтобы решать их самим. Мы хотим получить истину как можно быстрее, как готовые ботинки, сшитые на «никого». А истина дается только ценой жертвы самого дорогого. По сути дела, получить истину можно только ради нее погубив себя. Истина не бывает «для всех и ни для кого».

Рылеев максимально жертвовал, когда пошел на эшафот, а Пушкин — когда не пошел на эшафот. Истину надо найти для себя свою² и принести ей жертву — так, как Авраам принес Исаака, а не торговаться с ней и не говорить — «это для меня слишком дорого, а на это у меня нет времени».

Поэтому на разнообразные интервью, которыми сейчас захлестнуты различные газеты, я смотрю как на эрзац, обычное заполнение желудка псевдопищей. При этом мне было бы очень грустно, если бы Вы восприняли мои слова как что-то для Вас лично обидное: Вы честно выполняете свою работу. Но нельзя сделать из жертвы профессию, а истина требует жертвы. Мне будет очень грустно, если Вы воспримете мои слова как некое нравоучение свысока. Не ради рисовки, а просто веря Вашим хорошим чувствам, признаюсь Вам, что самое глубокое мое личное ощущение — ощущение своего недостойнства. Это — нормально, я не бог весть какого уровня творческая личность, но представляю себе рабочее состояние любого, причастного творческой профессии, как цепь следующих переживаний. Сначала рождается нечто, очень напоминающее те чувства, которые, наверное, есть у курицы, собирающейся снести свое яйцо. Это состояние надежды. Затем курица, ценой напряжений и усилий, выбрасывает это яйцо из себя. И Вам, вероятно, случалось быть свидетельницей того состояния эйфории, которое ее охватывает в эту минуту. Как сказал один американский юморист, она кричит так, будто снесла не яйцо, а маленькую планету. Эту же эйфорию переживает каждый человек, сделавший трудное, рожденное им дело. А затем он видит, что снес яйцо, которое ничем не лучше огромного числа других яиц, и что мир остается тем же. Вероятно, он бы и не нес яиц, если бы мог этого не делать. Но ему суждено пережить те же надежды и те же

¹ Впервые полностью: Вышгород. 1994. № 1. С. 8—9. Письмо обращено к редактору журнала Людмиле Францевне Глушковой.

² Фрагмент из письма, начиная со слов: «Мир, в котором мы живем...» — был перенесен Л. Глушковой в текст интервью (ср. выше, с. 298—299).

306

разочарования. Однако вид курицы, с важным видом поучающей своих молодых соратниц правильному искусству нести яйца, наверное, был бы комичен.

Многие поэты, от Гёте до Фета, и в стихах и в прозе говорили, что не писали бы стихов, если бы могли этого не делать. Так же и многие ученые, даже зная последствия атомной бомбы, не могут не снести этого яйца, если оно уже созрело в их организме. Поэтому быть пессимистом так же старо и бесполезно, как и быть оптимистом. Мы обречены нашей работе. Остается надеяться только, что если не нам, то другим людям сделается понятным смысл и цель нашей деятельности. Вы, вероятно, заметили, что я старательно обхожу те ответы, которые Вы можете найти в недрах религиозных переживаний. С этими вопросами Вы можете обратиться к гораздо более достойным людям.

С искренним уважением...

В мире пушкинской поэзии. Изобразительные искусства глазами Пушкина

Сценарий телевизионного фильма

Авторская заявка¹

Предлагается сценарий передачи *«В мире пушкинской поэзии. Изобразительные искусства глазами Пушкина»*.

Понять поэзию можно, только попытавшись взглянуть на мир глазами поэта, «присвоить себе» его зрение. Однако поэтическое зрение — не просто физический акт. Поэтому было бы совершенно недостаточно показать зрителю на экране те произведения живописи и скульптуры, которые упоминаются в произведениях поэта. «Поэтическое зрение» — акт творческий, эмоциональный и интеллектуальный одновременно, ведущий нас *от* тех или иных «созданий искусств и вдохновенья» (Пушкин. «Из Пиндемонта») *во внутренний мир* самого поэта. Это непрерывный диалог между статуями и полотнами, с одной стороны, и Пушкиным, с другой.

Особенностью творческого «глаза» Пушкина было восприятие статических по своей природе произведений изобразительных искусств как движущихся. Встречающееся уже в «Деревне» выражение «подвижные картины» не было для Пушкина оксюмороном (противоречием между эпитетом и определяемым словом), а представляло собой естественное для него стремление увидеть в неподвижном изображении движущуюся мысль, динамический образ. Глаголы движения — естественные спутники всех пушкинских описаний статуй и картин: «Юноша трижды шагнул...» («Парень, играющий в бабки» Пименова), «Урну с водой уронив...» (царскосельская статуя). Таким же динамическим прочтением характеризуются стихи на «Последний день Помпеи» Брюллова и многие другие. При этом Пушкин никогда не ограничивается тем, что видит, — он развертывает «подвижные картины» в сюжеты, создаваемые его воображением.

Особенно показателен здесь «Медный всадник».

Однако анализ этого произведения ведет нас к более общей проблеме, выводящей наши наблюдения в более широкий круг творческих размышлений Пушкина: движущаяся статуя — это оживающая статуя. Жизнь — одна из высших ценностей в сознании зрелого Пушкина — неизменно связана

¹ Публикуется впервые.

309

с движением. Оживление статуи для Пушкина — зримое воплощение идеи торжества жизни и движения над косностью и смертью. Однако движению оживающего камня («...я мрамор видел в ней / Перед мольбой Пигмалиона / Еще холодный и немой, / Но вскоре жаркой и живой»¹) противостоит жуткое движение мертвого, имитирующего жизнь. Таково движение статуи командора в «Каменном госте», подмигивающей Германну пиковой дамы. Сочетание мертвенности и какой-то ужасной, нечеловеческой жизни делает «тяжелозвонкое скаканье» Петра исполненным страшной поэзией.

Таким образом, рассмотрение темы должно вывести нас к существенным вопросам мирозерцания поэта.

Характер материала таит в себе большие возможности с точки зрения экранной выразительности. Передача задумана как сложное сочетание дикторского голоса, читающего объяснительный текст, другого голоса, читающего поэтические тексты, и фильмовых съемок, дающих динамическое прочтение тех или иных памятников, статуй и картин. Ни один из этих элементов не является доминирующим, и следовательно, нельзя себе представить экранное изображение как простую иллюстрацию к словам чтеца. Экран должен *думать* и раскрывать ту сложную природу «умного зрения», которую показать бывает легче, чем описать. Следовательно, все элементы равно активны и соотносятся полифонически, а не как текст и иллюстрации.

В случае если этот опыт окажется удачным, можно было бы обдумать другие передачи из этой же серии, например: «Архитектурные ансамбли глазами Пушкина», «Природа глазами Пушкина» и др.

Сценарий может быть сдан через два месяца после подписания соглашения.

1 марта 1983

Доктор филологических наук,
проф. *Ю. М. Лотман*

Сценарий²

Часть первая

<p>Пока на экране идут титры, камера проезжает по аллее Летнего сада в Ленинграде, выхватывает крупным планом лица, статуи в Архангельском, статуи в царскосельских парках, памятники, залы Эрмитажа (смонтированы так, что образуют как бы один непрерывный парк).</p>	<p><i>Голос диктора:</i> Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природы красотам И пред созданными искусств и вдохновенья Трепеща радостно в восторгах умиленья.</p>
--	--

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 529.

² Впервые: Версии: Телевизионные сценарии. М., 1989. С. 6—33

310

	<p>Вот счастье! вот права... <i>А. С. Пушкин. «Из Пиндемонти», 1836)¹</i></p>
<p>Теперь на экране именно царскосельский парк.</p>	<p><i>Женский голос:</i> Смуглый отрок бродил по аллеям, У озерных грустил берегов, И столетие мы лелеем Еле слышный шелест шагов.</p>
<p>К началу второй строфы на экране появляется статуя сидящего Пушкина-лицеиста (Р. Р. Баха). Наезд. Голова Пушкина крупным планом. Длинная пауза, на экране лицо Пушкина. На экране появляется лицо ведущего².</p>	<p>Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни... Здесь лежала его треуголка И растрепанный том Парни .</p>

К началу второй строфы на экране появляется статуя сидящего Пушкина-лицеиста (Р. Р. Баха). Наезд. Голова Пушкина крупным планом. Длинная пауза, на экране лицо Пушкина.

На экране появляется лицо ведущего².

Ведущий в кадре: Мы часто говорим: «эти стихи я не понимаю», «этого поэта я понимаю». Однако если вдуматься, то станет ясно, что глагол «понимать» употребляется здесь совершенно в ином значении, чем, скажем, в выражении «эту теорему я понял».

Понимать стихи значит приблизительно то же самое, что «понимать» человека. Понять задачу — это значит найти к ней ответ, понять человека — войти в его внутренний мир, взглянуть на окружающее его глазами. Понимать поэзию — это уметь войти в ее мир, полюбить этот мир, его законы и логику, взглянуть на жизнь глазами этого мира. А у каждого поэта свой мир, свое поэтическое зрение.

Мир Пушкина огромен. Входя в него, мы как бы попадаем в обширную, могучую державу, охватить границы которой, окинуть ее разнообразные пространства, проникнуть во все ее таинственные уголки, нам не дано. Но тем занятнее и поучительнее странствовать по этому миру и приобщать себя к его законам.

В мире Пушкина особое место занимает искусство: скульптура, живопись, архитектура, балет, музыка всех форм и видов — от народной песни до арии Россини и «Реквиема» Моцарта, — театр, не говоря уже о поэзии и вообще всех формах словесного искусства, заполняют собой пушкинскую поэзию и прозу. Исключительно широк исторический охват: искусство самых разных народов, на всех исторических стадиях его развития — от самых древних до наиболее современных для той эпохи — привлекает внимание Пушкина. Но мало говорить о внимании — оно органически входит в пушкинский художественный мир и под пером Пушкина говорит на его языке. Из одних имен разнообразных деятелей искусств, упоминаемых, цитируемых или действующих в произведениях Пушкина, можно было бы составить настоящую энциклопедию. Однако такая энциклопедичность говорит не только о широте интересов и образованности поэта. Они неотделимы от самой сущности поэтического

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 369.

² Ведущий здесь и далее — автор сценария. (Примеч. Ю. М. Лотмана)

³ Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1977. С. 26—27.

311

мира Пушкина, от его художественного глаза. Сегодня мы поговорим о том, какую роль играют в творчестве Пушкина образы скульптуры и живописи.

Человек пушкинской эпохи знакомился с произведениями скульптуры и живописи не так, как в наше время. Теперь мы отправляется в музей, где рассматриваем выставленные в специальных помещениях, хронологически расположенные полотна и статуи. В XVIII — начале XIX века кроме императорских хранилищ существовали многочисленные частные — порой богатейшие — коллекции. С картинами знакомились в залах и комнатах, где они сочетались с тщательно подобранными интерьерами: внутренней архитектурой комнат, росписью плафонов, вазами, обоями, мебелью, антиквариатом и книгами в старинных переплетах, зеленью зимних садов. Державин, рисуя образ екатерининского вельможи — «второго Сарданапала» (Сарданапал — ассирийский царь, известный роскошью и деспотизмом), пишет:

А ты, второй Сарданапал!
 К чему стремишь всех мыслей беги?
 На то ль, чтоб век твой протекал
 Средь игр, средь праздности и неги?
 Чтоб пурпур, злато всюду взор
 В твоих чертогах восхищали,
 Картины в зеркалах дышали,
 Мусия, мрамор и фарфор?¹

Представим себе описанный Державиным интерьер: картина повешена так, что зритель видит отражение ее в зеркалах. При смене освещения (надо учитывать, что капризы северной природы — в отличие от постоянно безоблачного неба Италии — делают непрерывную смену освещения фактором, которым умело пользовались создатели дворцовых интерьеров XVIII — начала XIX века; вечером же колеблющийся свет свечей создавал особые световые эффекты) картина в зеркалах «дышала», то есть казалась подвижной. А сочетание с мозаиками («мусия») и мрамором интерьера, мраморными статуями и фарфоровыми вазами порождало эффект соединения стилей, эстетические контрасты и гармонические сочетания.

Весной 1827 года Пушкин со своим другом Соболевским впервые посетил подмосковное имение князя Николая Борисовича Юсупова Архангельское. Бывал он здесь и позже. В результате этих посещений появилось стихотворение «К вельможе», на обложке рукописи которого поэт нарисовал фигуру Юсупова.

¹ Державин Г. Р. Вельможе // Державин Г. Р. Стихотворения. М., 1958. С. 127.

На экране появляется рукопись с рисунком и (сначала далеким планом) Архангельское — парк и дворец, а затем медленным движением — интерьеры Архангельского дворца.	Музыка второй части (La Livri) концерта для клавесина, скрипки и виолончели Рамо (концерт № 1 до минор, соч. 1741 г.)
На экране продолжают медленно плыть интерьеры; монтируются контрастные планы: зала — вид	<i>Голос за кадром:</i> От северных оков освобождая мир, Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир, Лишь только первая позеленеет липа, К тебе, приветливый потомок Аристиппа,

312

парка из о к н а (в раме оконного проема!), резко освещенная статуя — картина, картина — гобелен...
 К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
 Где циркуль зодчего, палитра и резец
 Ученой прихоти твоей повиновались
 И вдохновенные в волшебстве
 состязались...

Ведущий в кадре: Пушкин, как всегда, нашел исключительно точное выражение для определения художественной природы ансамбля различных произведений: «вдохновенные в волшебстве состязались». Слово «состязание» лучше всего определяет то отношение единства и различия, которое и образует художественный ансамбль, частью которого становилось полотно в интерьере.

На экране вновь Архангельское.	<i>Голос за кадром:</i> ...Ступив за твой порог,
На экране появляются «Амур и Психея» Кановы (ныне в Эрмитаже, из прежнего собрания Юсупова в Архангельском) и Корреджио из Пушкинского музея в Москве (важен контраст между ярко освещенным белым мрамором и тонущей в полутьме итальянской картиной, поэтому можно дать любую итальянскую картину с контрастом светотени).	Я вдруг переносюсь во дни Екатерины. Книгохранилище, кумиры, и картины, И стройные сады свидетельствуют мне, Что благосклонствуешь ты музам в тишине, Что ими в праздности ты дышишь благородной. Я слушаю тебя: твой разговор свободный Исполнен юности. Влиянье красоты Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой. Беспечно окружась Корреджием, Кановой, Ты, не участвуя в волнениях мирских. Порой насмешливо в окно глядишь на них...

Ведущий в кадре: Полотна, украшавшие интерьеры дворцов и особняков, в основном принадлежали кисти мастеров Ренессанса и барокко. Им было свойственно стремление к динамике: живопись, как бы борясь со статикой полотна, стремилась передать иллюзию движения.

Включение в интерьер, с его рассчитанными контрастами и эффектами освещения, усиливало эту иллюзию. Картина действительно должна была, по счастливому выражению Державина, «дышать».

Восприятие живописи в контрастном поле подвижного/неподвижного, живого/неживого поддерживалось распространенной салонной игрой в «живые» или «подвижные» картины: сюжет и композиция какой-либо знаменитой картины воспроизводились одетыми в соответствующие костюмы участниками игры. Рама, за которой располагалась группа, и подобранное освещение иногда создавали полную иллюзию картины. И когда в заключение игры фигуры приходили в движение, столкновение живописи и жизни производило исключительно сильный эффект.

Дядя Пушкина Василий Львович пересказал в стихах известный в то время анекдот о человеке, который, желая испытать мнение знатоков, позвал их якобы смотреть свой портрет, а на самом деле сам уселся за застекленной рамой.

¹ Так как современный интерьер Архангельского все равно другой (все наиболее ценные полотна и статуи, если сохранились, перешли в музей), то в монтаже можно использовать съемки, сделанные в Эрмитаже и других хранилищах. (Примеч. Ю. М. Лотмина).

² Пушкин А. С. Т. 3. С. 168.

³ Там же. С. 171.

313

«Портрет, — решили все, — не стоит ничего:
Прямой урод, Эзоп, нос длинный, лоб с рогами!
И долг хозяина предать огню его!»
— «Мой долг не уважать такими знатоками
(О чудо! говорит картина им в ответ):
Пред вами, господа, я сам, а не портрет!»¹

В картине ценилась жизненная динамика, а в реальном пейзаже — картинность. Именно в эту пору красивые пейзажи стали называть «картинами». Так в басне И. И. Дмитриева

Прохожий, в монастырь зашедши на пути,
Просил у братий позволения
На колокольню их взойти.
Взошел и стал хвалить различные явленья,
Которые ему открыла высота.
«Какие, — он вскричал, — волшебные места!
Вдруг вижу горы, лес, озера и долины!
Великолепные картины!»²

И Пушкин охарактеризовал пейзажи Михайловского словами, за которыми стояла определенная культура восприятия и истолкования живописи:

...Везде передо мной подвижные картины.³

Однако для восприятия скульптуры еще более важными были другие ансамбли — парковые и городские. В замечательной книге академика Д. С. Лихачева «Поэзия садов»⁴ исключительно ярко показано, что сад XVIII — начала XIX века, сад, по аллеям которого бродил Пушкин, был сложным и своеобразным произведением искусства.

<p>На экране статуя «Кентавр» из Павловского парка, снятая сквозь колеблемую ветром листву (или на фоне листвы под ветром, в солнечных бликах). Так, чтобы создавалась иллюзия динамики.</p>	<p>Д. С. Лихачев пишет: «Сад — это прежде всего своеобразная форма синтеза различных искусств» (с. 337). В частности, особый эффект возникал от взаимодействия скульптуры и зелени. Белея сквозь зелень, под бликами солнечных пятен, играющих сквозь листву деревьев, статуи «оживали». Этому же способствовало то, что, двигаясь по переплетенным дорожкам, приближаясь и отдаляясь, зритель видел статую все время с разных точек зрения. Скульптор учитывал эту, невозможную в современном музее, динамичность зрителя и использовал ее для преодоления неподвижности своего материала.</p>
--	---

¹ Пушкин В. Л. К князю П. А. Вяземскому // Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 680.

² Дмитриев И. И. Прохожий // Русская басня XVIII и начала XIX века. Л., 1951. С. 347.

³ Пушкин А. С. Т. 1. С. 359.

⁴ Лихачев Д. С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982.

314

	<p>Приведем один лишь пример. В одной из зал Эрмитажа ныне стоит мраморная фигура Вольтера в кресле, резца французского скульптора Гудона.</p>
--	--

На экране появляется статуя Гудона, голос ведущего звучит за кадром.	Пушкин хорошо знал и, видимо, любил ее: работая в библиотеке Вольтера (она была куплена Екатериной II и хранилась в эрмитажной библиотеке, теперь в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина),
На экране появляется рисунок Пушкина (см.: Лит. наследство. М., 1934. Т. 16—18. С. 917).	он 10 марта 1832 года сделал с нее набросок в своей записной книжке. Статуя эта примечательна: если ее медленно обходить, не спуская взгляда с головы Вольтера, то становится заметно, что лицо как бы меняет
На экране — крупным планом голова Вольтера. Камера медленно скользит с en face на правый профиль, затылок и левый профиль.	выражение: улыбка сменяется саркастическим смехом, горькой гримасой и переходит в плач. Вольтер смеется, негодует, горюет и плачет, глядя на окружающий его мир.
На экране появляется памятник Петру Первому в Петербурге Растрелли-отца (почти en face, резко снизу вверх, на фоне Инженерного замка). Сменяется фальконетовским Петром, пока только как темный профиль, без деталей.	Особую жизнь обрела статуя на площадях городских ансамблей. Отношение к городскому ансамблю, с одной стороны, и к пьедесталу, с другой, могла подчеркнуть в ней неподвижность, как бы противопоставив ее текучести времени и изменчивости обыденных дел людских, или выделить динамику, порыв. Статуя может согласовывать свою идею с материалом — бронзой и гранитом — или спорить с ними, рваться из них, создавая иллюзию оживания.

Ведущий в кадре: Итак восприятие живописи и скульптуры эпохой подсказывало антитезу динамки и статики, живого и мертвого, подвижного и неподвижного. Это обусловило особую роль образов живописи и скульптуры в художественном мире Пушкина.

Исследователи неоднократно отмечали динамичность мира Пушкина. Трудно найти поэта, у которого глаголы играли бы такую большую роль, глагольные категории были бы так тщательно отработаны и весь мир которого носил бы такой напряженно-динамический, активный, деятельный характер. Противопоставление движения неподвижности вбирает в себя все основные категории пушкинского мира. Так, противопоставление свободы рабству неизменно вызывает у Пушкина образы, противопоставленные по признаку «движение — неподвижность».

На экране появляется замерзшая, покрытая льдом река. В середине чтения стихов лед ломается, приходит в движение: начинается ледоход (в случае технических трудностей кадры эти можно дать как цитату из какого-либо фильма, например из «Чистого неба» Г. Чухрая).	<i>Голос за кадром:</i> Кто, волны, вас остановил, Кто оковал ваш бег могучий, Кто в пруд безмолвный и дремучий Поток мятежный обратил? Взыграйте, ветры, взройте воды, Разружьте гибельный оплот.
--	--

315

Где ты, гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод .

Ведущий в кадре: Но не только свобода — самая жизнь отождествляется Пушкиным с движением, развитием, изменением. Смерть же — душевная или физическая — вызывает образы застывания (в черновиках «Кавказского пленника» мелькнет выражение: «Для любви оледенел...»), застывания, превращения в камень. В 1820 году Пушкин вместе с семьей генерала Н. Н. Раевского посетил пятигорские минеральные воды. Позже, в 1829 году, он вспоминал: «...Ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки»². Здесь Пушкин увидел, как ветка или лист растения, попадая в минеральный источник, каменеет, покрываясь кристаллами. Образ этот поразил его и сделался для него символом окаменения души, брошенной в омут современной жизни. Через два года он начал в Кишиневе элегию:

На экране ведущий, который дер- кит в руках окаменевшую ветку.	...Но все прошло! — остыла в сердце кровь. В их наготе я ныне вижу И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь, И мрачный опыт ненавижу. Свою печать утратил резвый нрав, Душа час от часу немеет; В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав В ключах кавказских каменеет .
--	--

А еще через несколько лет, работая над «Евгением Онегиным», поэт хотел ввести в текст романа альбом героя, куда начал заносить мысли и наблюдения Онегина. Образ окаменевшего

цветка снова возник в его воображении:

Цветок полей, листок дубрав
В ручье кавказском каменеет.
В волненье жизни так мертвеет
И ветренный и нежный нрав⁴.

Образ человека, каменеющего, теряющего жизнь, превращающегося в движимый какой-то внешней силой автомат, начинает все чаще появляться в произведениях Пушкина. В 1830-е годы он уже преследует воображение поэта. Человек застывает, превращаясь в вещь.

На экране появляется стол, накрытый зеленым сукном, канделябры, щетки, мелки. Ракурс прямо сверху, руки банкюмета и понтера. Банкюмет мечет.	<i>Голос ведущего за кадром:</i> «Германн... поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.
--	---

¹ Пушкин А. С. Т. 2. С. 151.

² Там же. Т. 6. С. 644.

³ Там же. Т. 2. С. 119—120.

⁴ Там же. Т. 5. С. 543.

316

Рука понтера перевортывает карту: на зеленом сукне, поверх груди разбросанных карт, брошены две пиковые дамы. Резкий наезд — дама из колоды понтера занимает весь экран. Вдруг, подмигнув, она усмехается.	Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. — Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту. — Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский. Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его... — Старуха! — закричал он в ужасе).
--	--

Ведущий в кадре: Тема омертвления, превращения человека в вещь, застывания проходит через всю повесть и подготавливает превращение старухи в карту и — что в данном случае то же самое — карты в старую графиню. С самого начала повести подчеркивается ее мертвенность, отрешенность от жизни. Она «погружена в холодный эгоизм». «Чуждая настоящему», она присутствует на балах, «разумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной заль»². Сцена в спальне графини, когда Германн видит ее автоматически раскачивающейся направо и налево, подготавливает превращение ее в одну из падающих направо или налево карт: «Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шеveled отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо». «Мертвое лицо»... «...Скоро впала в прежнюю бесчувственность»... Графиня — живой труп. Когда жизнь окончательно покидает ее тело, она превращается в статую: «Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие»³. Живой труп — окаменелая статуя — карта — такие превращения претерпевает старая графиня. Но и другие персонажи повести подвержены тому же закону окаменения человека в мире эгоизма. Германн, живущий в начале повести в мире «расчета, умеренности и трудолюбия», движущийся по автоматическим орбитам мелкого накопительства, как бы просыпается и оживает, когда в жизнь его вторгается страсть. Переломный момент в его жизни отмечен глаголом движения, резко противоречащим всему его облику рационального автомата, подчеркивавшемуся Пушкиным до этой минуты: «Германн затрепетал»⁴. Именно этим словом будет Пушкин отмечать то состояние внутреннего и внешнего движения, в котором отныне находится его герой, охваченный

¹ Пушкин А. С. Т. 6. С. 355.

² Там же. С. 328.

³ Там же. С. 339, 340, 346.

⁴ Там же. С. 332.

317

«беспорядком необузданного воображения». «Германн трепетал, как тигр»; «с трепетом ожидал ее ответа»¹.

Однако страсти, разбудившие Германна, — страсти эгоистические: жажда денег и власти.

Германн хочет быть игроком, играющим как игрушками другими людьми и их судьбами. Он сам превращается в игрушку эгоистической стихии. Вместо безграничной свободы и своеволия его ждет окаменение, автоматизм и превращение в вещь. Старая графиня передала ему не только тайну трех карт, но и неизбежность утраты живой жизни, проклятие камня. Не случайно именно во время сцены в спальне графини Пушкин впервые говорит о своем герое: «Он окаменел». Три карты вошли в сознание Германна как «неподвижные идеи»² (Пушкин использует термин психиатрии его времени, но одновременно подчеркивает самую идею неподвижности). Далее в движениях и поступках Германна выделяется нарастающий автоматизм. Дуэль его на картах с постоянно улыбающимся застывшей улыбкой Чекалинским — дуэль двух автоматов. В конце повести все личное, человеческое покидает Германна: «Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: „Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..“»³ Как и старая графиня, он превратился в карту, вещь, автомат. Камень вытеснил жизнь.

Музыка играет мазурку. В кадре бал (можно использовать кадры из любого фильма, например из «Войны и мира»). Стоп-кадр, все застыли в нелепых позах. Крупный план беседующих и смеющихся людей в костюмах пушкинской эпохи. Стоп-кадр — гримасы. Кадр — солдаты, застывшие с поднятой ногой. Бой барабана.

Ведущий в кадре: Застывшее, окаменевшее лицо перестает быть лицом — оно превращается в маску, а общество в целом — в маскарад, парад масок:

Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной...⁴

А Татьяна так характеризует мир, в котором живет:

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура.
Мои успехи в вихре света,

¹ Пушкин А. С. Т. 6. С. 336, 340.

² Там же. С. 338, 351.

³ Там же. С. 355.

⁴ Там же. Т. 5. С. 168.

318

Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикой сад...¹

Маска вместо лица возникла перед Пушкиным, когда он рассматривал бюст Александра I работы Торвальдсена.

<p>В кадре появляется мраморный бюст Александра I Торвальдсена (Эрмитаж).</p>	<p>Стихотворение, вызванное этими впечатлениями, поэт, маскируя его подлинного адресата, озаглавил «К бюсту завоевателя»: Напрасно видишь тут ошибку: Рука искусства навела На мрамор этих уст улыбку, А гнев на хладный лоск чела. Недаром лик сей двуязычен. Таков и был сей властелин, К противочувствиям привычен, В лице и в жизни арлекин".</p>
---	---

Этому же бюсту посвящена прозаическая заметка Пушкина: «Торвальдсен, делая бюст известного человека (даже в заметках для себя Пушкин предпочитал не называть Александра Первого. — Ю. Л.), удивлялся странному разделению лица, впрочем прекрасного — верх нахмуренный, грозный, низ, выражающий всегдашнюю улыбку»³. Торвальдсен называл это лицо отталкивающим (во всех изданиях Пушкина неточно переводят употребленное скульптором итальянское слово «bruta» как «грубым» — правильный перевод именно «отталкивающим», «отвратительным»). Торвальдсен, сторонник классицизма, не мог примириться с соединением в одном лице противоречивых характеров. Оценка Пушкина имела иное основание. Само по себе такое соединение не только не странно или необычно, но может считаться одной из черт психологической динамики портрета. Так, П. Флоренский, анализируя икону Богородицы Одигитрии XIV века из Троице-Сергиевской лавры в Загорске, отмечает различие в возрастной и

психологической трактовке верхней и нижней части лица: «Нижняя часть лица Богоматери — по очертанию очень моложава. В особенности юны и девственны губы. <...> Общее впечатление от глаз в целом — не молодости, возраста даже лет до сорока, утомленности, но не физической, а, скорее, духовной, от созерцания зла».

Мы уже говорили, что противоречия, внесенные в мир скульптуры, скорее привлекали, чем отталкивали Пушкина. Почему же он с удовольствием повторил слова скульптора об отталкивающем лице?

Всмотримся в бюст Торвальдсена (вернее, в авторское его повторение, хранящееся в Эрмитаже).

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 189.

² Там же. С. 144.

³ Там же. Т. 7. С. 513.

319

На экране вновь появляется бюст Александра Первого, затем только верхняя и только нижняя его части.	<i>Голос ведущего за кадром:</i> Дело не только в том, что настроения и характер верхней и нижней частей лица противоречат друг другу. Важно то, что обе они — неподвижные маски, как бы механически склеенные. Именно застылость делает лицо распадающимся.
---	---

Это не оживший камень, а окаменевший человек. Лицо стало маской еще до того, как скульптор взял в руки резец, чтобы его воспроизвести в камне. Пушкин назвал Александра Первого арлекином. Словарь языка Пушкина объясняет это слово просто — «шут». Но не следует забывать, что арлекин — персонаж итальянской комедии, выступал или под маской, или с густо набеленным и покрытым толстым слоем грима лицом. Говоря о маске арлекина, историк итальянской народной комедии А. К. Дживелегов писал: «Маска — это образ актера, который он принимает раз навсегда»¹. Именно это и имел в виду Пушкин — две неподвижные маски вместо человеческого лица.

Итак, в окружающем Пушкина мире живое каменеет. А каково же в нем место искусства, в частности искусства вааяния, которое по самой своей природе имеет дело с камнем, с неодушевленным материалом?

Просматривая многочисленные высказывания Пушкина о скульптуре и живописи (особенно о скульптуре), мы видим нечто прямо противоположное: художник живит камень, превращает неживое в живое, неодухотворенное в одухотворенное.

Уже в «Руслане и Людмиле»:

Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам:
Под ними блещут истуканы
И, мнится, живы...²

Это не был случайный, проходящий образ, а глубокая, найденная на всю жизнь мысль. Позже в неоконченном отрывке Пушкин писал:

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевою,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет;
Где вечный лавр и кипарис
На воле гордо разрослись;
Где пел Торквато величавый;
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал;
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял...³

¹ Пушкин А. С. Т. 4. С. 38.

² Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. *Commedia dell'arte*. М., 1962. С. 99.

³ Пушкин А. С. Т. 3. С. 55.

320

В одном из последних стихотворений Пушкин скажет о скульпторе:

Гипсу ты мысли даешь...¹

Античный миф о ваятеле Пигмалионе, влюбившемся в свою статую — нимфу Галатею и оживившем ее своим искусством и страстью, становится для Пушкина как бы символом скульптуры вообще. У искусства и любви много общего: они одухотворяют и живят жизнь. Четвертая глава «Евгения Онегина» начинается пропущенными строфами. Первоначально Пушкин думал открыть ее отрывком, посвященным женщинам (под этим заглавием он и был отдельно опубликован в 1827 году):

В начале жизни мною правил

Прелестный, хитрый, слабый пол;
 Тогда в закон себе я ставил
 Его единый произвол.
 Душа лишь только разгоралась,
 И сердцу женщина являлась
 Каким-то чистым божеством...
 Именно здесь ему понадобился образ Пигмалиона:
 ...То вдруг я мрамор видел в ней,
 Перед мольбой Пигмалиона
 Еще холодный и немой,
 Но вскоре жаркой и живой...²

Миф о Пигмалионе волновал умы уже просветителей XVIII века. Ж.-Ж. Руссо посвятил ему лирическую драму, а скульптор-философ Фальконе изваял группу, призванную запечатлеть самый момент оживления мрамора. Друг Пушкина поэт Баратынский был близок к его идеям, когда в стихотворении «Скульптор» описал процесс ваяния как освобождения живой души статуи из плена каменной глыбы, ее скрывавшей:

На экране появляется «Пигмалион и Галатя» (Эрмитаж). Фальконе	<i>Голос за кадром читает стихотворение Баратынского:</i> Глубокий взор вперив на камень, Художник нимфу в нем прозрел, И пробежал по жилам пламень, И к ней он сердцем полетел. Но, бесконечно вожаделенной, Уже он властвует собой: Неторопливый, постепенной Резец с богини сокровенной Кору снимает за корой. В заботе сладостно-туманной Не час, не день, не год уйдет,
---	---

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 365.

² Там же. Т. 5. С. 528 и 529.

321

	А с предугаданной, с желанной Покров последний не падет, Покуда, страсть уразумя Под лаской вкрадчивой резца. Ответным взором Галатя Не увлечет, желаньем рдея, К победе неги мудреца ¹ .
--	--

Ведущий в кадре: Итак, искусство сродни жизни. Оно оживляет и одухотворяет неживое и неодухотворенное.

Нельзя не заметить, что у Пушкина было особенное влечение к искусству ваяния и — шире — к зрительным, пластическим искусствам. Образы их его влекли, и они встречаются в его творчестве постоянно. Но что особенно важно, все эти образы у него **находятся в движении**. Даже для архитектурных ансамблей, строений и дворцов он находит глаголы, создающие динамические представления. «Дворцы и башни» у него «теснятся», мосты «повисли». Во вступлении к «Медному всаднику» ансамбли петербургских строений и корабли, которые

Толпой со всех концов земли
 К богатым пристаням стремятся...² —

поставлены рядом и как бы уравниены. Здания Петербурга — эскадра, которая только что бросила якорь у невских берегов и не потеряла еще инерции стремительного движения. Это подготавливает картину наводнения, когда дома действительно оказываются кораблями и противопоставление между подвижным и неподвижным, находящимся на твердой земле и плывущим по воде, снято:

...челны
 С разбега стекла бьют кормой...
 ...И всплыл Петрополь, как тритон...³

Можно сказать, что в отношении пластических искусств у Пушкина был особый тип зрения.

Каждая эпоха изобразительных искусств требует и вырабатывает свой тип зрения. Зрение сродни мировоззрению, и они взаимно влияют друг на друга. Классицизм требовал умения объять все произведение единым взором, увидеть гармоническое единство всех частей и целого. Точка зрения наблюдателя неподвижна. Более того, и для скульптуры, и для архитектурного сооружения имеется некоторая «главная» точка, с которой данное произведение следует рассматривать. Произведение эпохи барокко следует смотреть на ходу, меняя все время позиции наблюдателя. Целое может вообще ускользнуть из поля зрения, несогласованность частей делается источником художественного эффекта. Глаз должен уметь видеть красоту напряженного, динамиче-

¹ Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 294.

² Пушкин А. С. Т. 4. С. 381.

³ Там же. С. 387.

322

ского и дисгармоничного. Это достигается тем, что точка зрения наблюдателя и порядок, в котором он рассматривает детали, не упорядочены, они как бы мечутся, и от этого объект кажется находящимся в бурном, неупорядоченном и противонаправленном движении.

Пушкину свойственно совершенно особенное зрение: он переводит взгляд с детали на деталь, так что неподвижная статуя начинает восприниматься во времени. Она превращается в постепенно развертывающийся текст. Он **рассказывает** статуе и этим как бы заставляет ее двигаться перед нашим взором. Но при этом она не теряет гармоничности, не утрачивает единства.

Вчитаемся в стихотворение «Нереида», написанное Пушкиным в 1820 году в Крыму:

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала¹.

Нереида — персонаж древнегреческих мифов, полубогиня, дочь морского царя Нереея, морская нимфа. Стихотворение принадлежит к так называемым антологическим, то есть подражающим кратким формам античной поэзии. Однако по всей своей образной системе стихотворение ориентировано на пластику — искусство камней и скульптуры. Не случайно Белинский назвал его шестистопный ямб «дорогим паросским мрамором, для чудных изваяний, *видимых слухом*». «*Прислушайтесь* к этим звукам, — писал он, — и вам покажется, что вы *видите* перед собой превосходную античную статую»². Однако для нас сейчас стихотворение замечательно тем, что обнажает пушкинский способ видения парковой скульптуры, скульптуры, влитой в пейзаж. То, что человеческая фигура дается нам на фоне волн, а не листья, дела не меняет: сохранен основной цветовой контраст белое/зеленое («среди зеленых волн» и «белую, как лебедь»), зыблущееся движение листья и волн также создает сходный эффект противопоставления стоящей фигуре. Привычное парковое зрение переносится здесь на воображаемую античную картину, сквозь призму которой осмысливается, вероятно, реальное жизненное наблюдение, впечатление от конкретного события.

Сначала дается взгляд с предельно широким охватом кругозора (кинематографисты сказали бы «далекий план») и указывается освещение: «на утренней заре». Затем взгляд, так же издалека, переносится на фигуру, которая, что соответствовало бы требованиям «классицистического видения», охватывается взором полностью: «...я видел нереиду». Затем указывается точка зрения наблюдателя («сокрытый меж дерев»). Для тех, кто бывал в Крыму или может представить себе по многочисленной пейзажной живописи XVIII века берега Греции, интуитивно ясно, что деревья не растут на уровне воды, а по-

¹ Пушкин А. С. Т. 2. С. 22.

² Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 269.

323

крывают круто поднимающийся вверх скалистый обрыв, берег же — всегда бухта, создающая естественный амфитеатр. Таким образом, в позицию зрителя внесено ощущение театральности (всегда присутствующее в эстетическом переживании паркового пейзажа): он смотрит сверху на полукруглую зеленую сцену бухты, в центре которой возвышается белоснежная фигура.

С третьего стиха точка зрения меняется, как в кино, резкой сменой дальних планов на крупные. Фигура видится уже не вся, а частями: сначала грудь, затем руки, выжимающие воду из волос, и наконец, струйка воды, стекающая из-под пальцев. При этом камера как бы медленно движется снизу вверх — от поверхности воды к поднятым над головой рукам, что, не уничтожая неподвижной завершенности фигуры в целом, придает ей динамику, движение во времени.

Много позже, в конце XIX века, Роден учил видеть движение неподвижного мрамора. Пушкин был наделен именно этим даром.

<p>На экране появляется панорама Александровского парка в Пушкине, колоннада Александровского дворца, затем, наездом, статуи Пименова и Логановского «Парень, играющий в бабки» и «Юноша, играющий в свайку».</p>	<p><i>Голос диктора за кадром:</i> В октябре 1836 года Пушкин посетил годичную выставку работ учеников Академии художеств и особенно обратил внимание на две статуи: «Парень, играющий в бабки» работы Николая Степановича Пименова и «Юноша, играющий в свайку» Александра Васильевича Логановского. Статуи эти позже, отлитые в бронзе, были установлены в царскосельском Александровском парке. Пушкин посвятил каждой из этих статуй по стихотворению, в</p>
---	--

	которых отразилась его манера «читать» скульптуру:
На экране крупно «играющий в бабки».	<p><i>На статую играющего в бабки</i> Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро оперся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный, Врозь расступись; не мешай русской удалой игре .</p>

Ведущий в кадре: Для того чтобы яснее представить себе особенности пушкинского видения, сопоставим это стихотворение с текстом другого поэта, тоже посвященным статуе царскосельского парка. Это «„Раса". Статуя мира». Автор стихотворения, Иннокентий Анненский, прекрасный русский поэт конца XIX — начала XX века, вдвойне удобен нам для сравнения: и как певец царскосельских парков, и как тонкий знаток и любитель пушкинской поэзии.

На экране появляется статуя «Раса» (богини мира) из Екатерининского парка в Пушкине.	<i>Голос ведущего уходит за кадр.</i>
--	---------------------------------------

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 377.

324

«РАСЕ»
Статуя мира

Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вокруг густые травы.
Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан,
Одни туманы к ней холодные ласкались,
И раны черные от влажных губ остались.
Но дева красотой по-прежнему горда,
И трав вокруг нее не косят никогда.
Не знаю почему — богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...
Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.
Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее беспомощно белеет...
О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам¹.

Ведущий в кадре: В стихотворении Анненского статуя входит в поэтический мир именно как статуя, скульптура, вещь. Поэт описывает именно статую. Поэтому предметом поэтического внимания делается, например, ее отбитый нос. Художественная идея — гордое равнодушие статуи перед лицом обид и разрушений, которые наносит ей рука времени. Не богиня, а статуя богини мокнет под холодным дождем и разрушается от непогоды. И именно потому, что мраморная вещь подвержена разрушению, рельефнее делается неразрушимость заключенной в ней идеи, которая равнодушна к хрупкости своей временной формы. Такова мысль Анненского. Мысль Пушкина была иной, и иным было его зрение.

Пушкин видит не статую юноши, а юношу в статуе. Поэтому его зрение рисует ему движущуюся фигуру. И он учит нас видеть изваяние как бы движущимся, последовательно воспринимаемая части ее как динамическую смену состояний:

<p>На экране крупно ноги «Юноши...», голос лектора уходит за экран. На экране крупно, повторяя последовательность текста, планы фигуры юноши.</p>	<p>«...трижды шагнул...» Мы видим его уже остановившимся, но поэзия дорисовывает динамическую картину и, главное, задает последовательность нашему взгляду. С ног взор переходит на торс.</p>
---	---

¹ Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 122.

325

<p>Лицо анфас.</p>	<p>«...наклонился...» левую руку «...рукой о колено бодро оперся...» правую руку «...другой поднял меткую кость», руку и сощуренный глаз: «Вот уж прицелился...» То, что глаз движется, начиная с ног, и останавливается на лице, исполнено смысла. Движение заканчивается мгновенной паузой перед новым жестом — броском.</p>
--------------------	--

Системы прошедших времен, показывающих, что **поза**, которую мы видим, — результат предшествующих **действий**, сменяется повелительными формами глаголов, обращенных к воображаемой толпе. Побудительная форма глагола характеризует действие, которое еще должно совершиться. Можно лишь изумляться мастерству, с которым Пушкин строил смыслы, выражаемые категориями глагольных времен и наклонений, описывая скульптуру, не знающую по своей природе ничего, кроме настоящего времени и изъявительного наклонения. Ср. сплошь настоящее время в описании статуи Анненским.

Но искусство последовательного видения деталей не отменяло, а подразумевало умение видеть целостно, единым взором. И именно так увидел Пушкин вторую, парную статую Логановского «Играющий в свайку».

<p>На экране «Юноша, играющий в свайку».</p>	<p><i>Голос ведущего уходит за кадр:</i> На статую играющего в свайку Юноша, полный красоты, напряженья, усилия чуждый, Строен, легок и могуч, — тешится быстрой игрой! Вот и товарищ тебе, дискбол! Он достоин, клянуса, Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать .</p>
<p>На экране, как бы просвечивая друг сквозь друга, «Юноша...» и «Дискбол», приписываемый Мирону (V в. до н. э.).</p>	<p>Здесь Пушкин имел в виду другую мысль: идея родства русской народной — крестьянской — культуры и культуры Древней Греции развивалась еще старшим современником и приятелем Пушкина Гнедичем. Она повлияла на русскую скульптуру. Развивая эту идею, Пушкин прибег и к античному, целостному взгляду, охватывающему всю статую единым взором и одновременно вызывающему в памяти зрителя образ античной статуи.</p>

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 377.

326

Ведущий в кадре: Мы уже знаем, какую роль играют глаголы и глагольные формы в пушкинском видении скульптурных образов. Попробуем применить наши знания. Внимательно слушайте и отмечайте эту сторону текста.

<p>На экране статуя царскосельской «Молочницы с разбитым кувшином» (фонтан работы Соколова).</p>	<p><i>Голос диктора за кадром:</i> Царскосельская статуя Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит .</p>
--	---

Ведущий в кадре: В этом случае перед Пушкиным была не парковая скульптура, а фонтан. При внешнем сходстве, между этими видами изваяний глубокая разница. Скульптура — как *бы* остановленный момент, фонтан постоянно действует. Не случайно в эмблемах XVIII века (а о важности для восприятия паркового искусства, культуры чтения эмблем — ныне совершенно утраченной — недавно совершенно справедливо напомнил акад. Д. С. Лихачев). Фонтан был символом неустанной деятельности. Функциональная природа «Молочницы» Соколова глубоко раскрыта в конструкции времен пушкинского текста: первый стих говорит о прошедшем, действиях, совершившихся до того момента, в который мы смотрим на фонтан:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.

Во втором стихе — действие одновременно с моментом нашего взгляда:

Дева печально сидит, праздный держа черепок.

Обратим внимание на симметрию, с которой глаголу в каждом стихе соответствует деепричастие, своей одновременностью с ним усиливающее его временную природу: уронив — разбила (прошедшее), сидит — держа (настоящее). В двух последних стихах настоящее становится вечным, и этим временность вообще отменяется. Категория вечности соединяет непрерывно текущую воду с неподвижной струей:

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;

Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

Мы убедились, как богато видел Пушкин скульптуру, выделяя в ней, в зависимости от той или иной интерпретации, динамику или статику, смену планов и игру деталями, или целостность, повествовательность, требующую сложной игры глагольными временами, или вневременное бытие. Не последнюю роль играло тяготение Пушкина в данной тематике к античным размерам или другим формам повествовательного стиха. Поэтому не только пуш-

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 180.

327

кинские интонации, но и пушкинское зрение чувствуем мы в стихотворении Блока «Статуя».

<p>На экране черным силуэтом появляется фигура всадника и коня с Аничкова моста в Ленинграде.</p>	<p><i>Голос диктора за кадром:</i> Лошадь влекли под уздцы на чугунный Мост. Под копытом чернела вода. Лошадь храпела, и воздух безлунный Храп сохранял на мосту навсегда. Песни воды и хрипящие звуки Тут же вблизи расплывались в хаос. Их раздирали незримые руки. В черной воде отраженье неслось. Мерный чугун отвечал однотонно. Разность отпала. И вечность спала. Черная ночь неподвижно, бездонно — Лопнувший в бездну ремень увлекла. Все пребывало. Движенья, страданья — Не было. Лошадь храпела навек. И на узде в напряженьи молчанья Вечно застывший висел человек .</p>
---	---

Ведущий в кадре: Стихотворение Блока вывело нас к новым темам, связанным уже со скульптурой не в парке, а в городском архитектурном ансамбле. Но с этим же текстом мы входим и в более широкую проблему: место скульптуры и картины как своеобразных действующих лиц в мире пушкинского творчества. Однако этому вопросу мы посвятим вторую лекцию.

На экране ночная панорама Ленинграда, Нева, Петропавловская крепость. Медный всадник.

Конец первой части.

Часть вторая

<p>Пока по экрану движутся титры, музыка играет старинные военные марши (марш Семеновского, Измайловского, Преображенского полков, «Парижский марш» 1815 года, нервно бьют барабаны). На экране ансамбли Петербурга, Петропавловская крепость, Нева в разную погоду, львы у Дворцового моста, львы у дома Лобанова-Ростовского, львы у дома</p>	<p><i>Голос за кадром:</i> Люблю воинственную живость Потешных Марсовых полей, Пехотных ратей и коней Однообразную красоту, В их стройно зыблемом строю Лоскутья сих знамен победных, Сиянье шапок этих медных, Насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, Твоей твердыни дым и гром,</p>
---	--

¹ Блок А. А. Собр. соч.: В 6 т. Л, 1980. Т. 1. С. 304.

328

<p>Лавая, львы, львы. львы... Обелиск Румянцеву, памятник Суворову...</p>	<p>Когда полнощная царица Дарует сына в царской дом, Или победу над врагом Россия снова торжествует, Или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет И, чуя вешни дни, ликует... <i>Другой голос за кадром:</i> Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит...</p>
---	---

Ведущий в кадре: Всякий город, имеющий великую историческую судьбу, — памятник культуры, огромное хранилище человеческого труда и опыта, своеобразная книга, в которую заносится веками накопленная информация. Петербург пушкинской эпохи был не только памятник культуры, но и огромное произведение искусства, уникальное по величине и стройности ансамблей и единству структуры. Архитектура, монументальная скульптура, парковое искусство, поэзия, искусство интерьера, эстетика уличных церемоний и многие другие виды художественной деятельности вносили свой вклад в создание этого уникального художественного единства, обозначавшегося современниками Пушкина словом «Петербург». Жить в Петербурге — означало жить в обстановке искусства, дышать его воздухом. В этих условиях и специфически петербургская природа: Нева с ее ширью, колебаниями в уровне воды, ледоходами, белые ночи, вычерчивающие силуэты зданий на фоне прозрачно-светлого неба, острова невской дельты — воспринималась как реализации художественного замысла.

Это создавало особую чуткость к деталям. За всем угадывался смысл; то, что в других условиях казалось бы просто вещью, в петербургском контексте естественно истолковывалось как символ.

Это приводило к тому, что в петербургском городском ансамбле монументальная статуя «читалась» совсем иначе, чем в контексте парка. Академик Д. С. Лихачев в неоднократно уже цитированной нами книге «Поэзия садов» показал, что сад в разных культурах воспринимался как миниатюрное воспроизведение идеального мира — Рая. Кому бы ни приписывалось его создание: самой природе или Тому, Кто природу создал, сад был естествен в высшем смысле. Беломраморные статуи богов, населявшие эту зеленую идеальную вселенную, входят в нее органично.

Город в системе культуры всегда воспринимается как нечто искусственное, противоположное природе (не случайно жители города стремятся

¹ На западной стрелке Елагина острова, у Русского музея, на Итальянской лестнице в Павловске, львиная ограда на Свердловской набережной и др. (Примеч. Ю. М. Лотмана).

² Пушкин А. С. Т. 4. С. 382.

³ Там же. Т. 3. С. 79.

329

периодически выезжать «на природу»). Особенно это относится к Петербургу, созданному «наперекор стихиям», усилием государственной воли, вступившей в поединок с Природой.

Петербургский архитектурный ансамбль глубоко конфликтен — он построен на контрасте

водных просторов, белых ночей, метелей — начала стихийного и природного — и гранита набережных, памятников, силуэтов дворцов и соборов — начала культурного и рукотворного. Вписанная в этот контекст монументальная статуя неизбежно приобретает двойственный и часто трагический характер.

Пушкин был кровно связан с Петербургом, и его восприятие искусства в значительной мере определялось причастностью художественной стихии Петербурга.

По экрану проплывают панорамы залов Эрмитажа.

Ведущий в кадре: Во второй половине 1820-х — начале 1830-х годов Пушкин закрепляется на позициях реализма. Одновременно все больший интерес проявляет он к возможным параллелям между словесными и изобразительными искусствами. Существует представление, что Пушкин мало интересовался живописью. Оно связано с тем, что набор имен художников, упоминаемых в его произведениях, невелик по отношению к списку писателей, а характеристики порой стереотипны. Представление это ошибочно, так как не учитывает тех случаев, когда скрытые, не названные художественные впечатления принимали подсознательное или осознанное Пушкиным участие в выработке тех или иных словесных образов.

Приведем один лишь пример. В известном стихотворении «К морю» Пушкин, обращаясь к морю, использует неожиданным образом грамматические формы мужского рода:

Смиранный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты выиграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.
И дальше:
Ты ждал, ты звал... я был окован¹.

То, что обращение к морю в мужском роде встречается в стихотворении дважды, исключает случайность и простую ошибку поэта. А изучение черновиков стихотворения убеждает, что именно такое обращение появилось в самых первых вариантах текста и потом, многократно переделывая текст, этого Пушкин не менял. Почему же все-таки, вопреки русскому языку, море у Пушкина здесь в мужском роде?²

¹ Пушкин А. С. Т. 2. С. 198, 199.

² Ср.: Лотман Ю. М. Почему море в мужском роде // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 342—346.

Обратимся к другому стихотворению. История его создания такова: в августе 1826 года, уже после казни декабристов, до Пушкина, находившегося в Михайловском, дошел (оказавшийся ложным) слух, что Николая Тургенева, находившегося во время восстания за границей и заочно приговоренного к смертной казни, английское правительство выдало и его везут в цепях на корабле в Петербург. В это время Пушкин получил от своего друга Вяземского, отдыхавшего на берегу Финского залива, стихотворение, в котором рабской земле противопоставлялось свободное море. Пушкин отвечал стихотворением:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славил лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник¹.

Это одно из самых горьких стихотворений Пушкина. Однако нас сейчас интересует одна деталь: море снова в мужском роде («древний душегубец»). Однако стихотворение дает нам и разгадку этого образа. Стих «седой Нептун земли союзник» дословно совпадает с названием картины Рубенса «Союз Земли и Воды».

<p>На экране появляется «Союз Земли и Воды» Рубенса (Эрмитаж).</p>	<p><i>Голос ведущего уходит за кадр:</i> Картина представляет собой соединение двух вертикальных аллегорических фигур: Земли (Кибелы) и Моря (Нептуна), с любовью глядящих друг на друга. Седая голова Нептуна («седой Нептун» у Пушкина) увенчана венком из морских трав, в руках у него трезубец. Вяземский в стихах говорил о вражде Земли и моря. Образ моря у Пушкина устойчиво связывался с поразившей его картиной Рубенса. Нет, Земля и Море — союзники. Однако</p>
--	---

	ВСПОМНИЛ
Объектив высвечивает называемые детали.	картину Пушкин лишь затем, чтобы горько не согласиться с фламандским мастером: у Рубенса союз Земли и Моря несет людям счастье и изобилие, их венчает Мир и даже тигр, перестав быть хищником, тянется к плодам. У Пушкина союз Земли и Моря — соглашение тиранов ради подавления свободы.

Когда в лицейской поэме «Монах» Пушкин писал:

Но Рубенсом на свет я не родился,

Не рисовать, я рифмы плетсть пустился...² —

¹ Пушкин А. С. Т. 2. С. 331.

² Там же. Т. 1. С. 25.

331

то упоминание имени фламандского мастера свидетельствовало лишь о поверхностном знакомстве «с чужих слов». Сейчас Рубенс не назван, но созданный им живописный образ «работает» в художественном воображении поэта, влияя на художественную ткань создаваемых им текстов.

У Пушкина вырабатывается концепция определенных жанрово-стилистических соответствий между живописью и словесным искусством.

В 1832 году молодой тогда критик Иван Киреевский сравнил поэтическую манеру Баратынского с живописью голландского художника Франца ван Мириса (Баратынский, как и Пушкин, произносил, следуя написанию, «Миериса»). Пушкин горячо поддержал это сравнение, но не согласился с советом Киреевского Баратынскому написать комедию. Пушкин писал:

На экране появляется картина Франца ван Мириса Старшего «Утро голландской дамы». Крупным планом — детали: лицо дамы, ковер на столе, жест руки.	<i>Голос ведущего за кадром:</i> «Ваше сравнение Баратынского с Миерисом удивительно ярко и точно. Его элегии и поэмы точно ряд прелестных миниатюр; но эта прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и верность оттенков, все это может ли быть порукой за будущие успехи его в комедии, требующей, как и сценическая живопись, кисти резкой и широкой?»
---	---

Ведущий в кадре: Для того чтобы понять, что Пушкин имел в виду, необходимо привести еще одну цитату: в главе четвертой «Евгения Онегина» Пушкин характеризует дамские альбомы его времени (*перед ведущим стопка альбомов, он их листает, раскрывает, показывает в объектив*):

Но вы, разрозненные томы

Из библиотеки чертей,

Великолепные альбомы,

Мученье модных рифмачей,

Вы, украшенные проворно

Толстого кистью чудотворной

Иль Баратынского пером...²

На экране миниатюры Ф. П. Толстого из собрания Русского музея в Ленинграде и Третьяковской галереи, например «Цветок, бабочка и мухи» (ГРМ, Р-6800), «Ветка винограда» (ГТГ, 2966), «Пейзаж под бумагой» (ГТГ, 3014) и др.	<i>Голос ведущего за кадром:</i> Посмотрите, насколько уместна здесь характеристика Пушкина: «...прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и верность оттенков...» Значит, и Ф. Толстой попал не случайно в соседство с Баратынским. Что же означают эти сопоставления для понимания оценки Пушкиным исключительно высоко ценимого им Баратынского?
--	--

Ведущий в кадре: Пушкин обозначает ими точность психологического рисунка, отчетливость в изучении оттенков настроения, правдивость в описании чувств. Это он и ценит в Баратынском. А что означает «кисть резкая

¹ Пушкин А. С. Т. 10. С. 404. ² Там же. Т. 5. С. 89.

332

и широкая», которой он у Баратынского не находит? Очерченность сильных и ярко выраженных характеров, что для Пушкина в эти годы нераздельно связано с широтой исторических обобщений. Входит сюда и динамическая напряженность образа, столь ценимая Пушкиным. Здесь требуется широкий мазок; не случайно Пушкин вспомнил о «сценической живописи» — искусстве декораций, противопоставив его искусству миниатюр. Обратите внимание, как свободно он применяет художественные термины и понятия для характеристики поэзии: «Байрон... выставил ряд картин, одна другой разительнее, вот и все. Но какое пламенное создание! какая широкая и быстрая кисть!» (XI, 160)¹. И совершенно теми же словами он характеризует уже не поэзию, а живопись Доу в Военной галерее Зимнего дворца. *Голос уходит за кадр:*

<p>На экране Военная галерея — панорама.</p>	<p><i>Приглушенные звуки гвардейского марша.</i> У русского царя в чертогах есть палата: Она не золотом, не бархатом богата; Не в ней алмаз венца хранится за стеклом; Но сверху донизу, во всю длину, кругом, Своею кистию свободной и широкой Ее разрисовал художник быстроокой².</p>
--	--

Сравним также любимое выражение Пушкина: «быстрый карандаш».

«Свободная и широкая» кисть — формула, не случайно напоминающая требования, предъявляемые Пушкиным к автору трагедии: «Что нужно драматическому писателю? <...> живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. *Свобода*» (XI, 419)³. Образцом «свободной и широкой» кисти Пушкин считал портрет Баркляя-де-Толли в Военной галерее. Пушкина привлекает трагический контраст гения и его судьбы, исторический драматизм — все, что входило в понятие «свободной и широкой» кисти и ассоциировалось у поэта с художественным миром высокой трагедии. Это самое подробное описание картины у Пушкина.

<p>На экране портрет Баркляя-де-Толли кисти Доу. Сначала общий план, затем медленный наезд и очень долго лицо.</p>	<p><i>Голос актера за кадром:</i> ...Но в сей толпе суровой Один меня влечет всех больше. С думой новой Всегда остановлюсь пред ним, и не свою С него моих очей. Чем долее гляжу, Тем Более томим я грустию тяжелой. Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,</p>
	<p>Высоко лоснится, и, мнится, залегла Там грусть великая. Кругом — густая мгла; За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый, Он, кажется, глядит с презрительною думой.</p>

¹ Пушкин А. С. Т. 7. С. 193. Ю. М. Лотман ссылается на Полное академическое собрание сочинений Пушкина.

² Здесь и далее Лотман цитирует стихотворение Пушкина «Полководец» (Пушкин А. С. Т. 3. С. 330).

³ Пушкин А. С. Т. 7. С. 625.

333

<p>Портрет Баркляя отступает и уходит во тьму.</p>	<p>Свою ли точно мысль художник обнажил, Когда он таковым его изобразил, Или невольное то было вдохновенье, — Но Доу дал ему такое выражение. О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:</p>
--	--

	<p>Все в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоём звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою. И тот, чей острый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво порицал... И долго, укреплен могущим убежденьем, Ты был неколебим пред общим заблужденье; И на полупути был должен наконец Безмолвно уступить и лавровый венец, И власть, и замысел, обдуманно глубоко, — И в полковых рядах сокрыться одиноко. Там, устарелый вождь, как ратник молодой, Свинца веселый свист слышавший впервой, Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, — Вотще! —</p>
	<p>..... </p>
	<p>О люди! жалкий род, достойный слез и смеха! Жрецы минутного, поклонники успеха! Как часто мимо вас проходит человек, Над кем ругается слепой и буйный век, Но чей высокий лик в грядущем поколенье Поэта приведет в восторг и умиление!</p>

Музыкальная пауза.

Ведущий в кадре: Тесное взаимодействие живописных и словесных средств художественной выразительности ставило вопрос не только о чертах общности, но и о принципиальном своеобразии каждого из видов искусств. Не случайно чем более укреплялся и углублялся реализм Пушкина, тем острее возникал перед ним вопрос неизбежной условности искусства. В программной статье, написанной в 1830 году, он спрашивал: «Почему же статуи раскрашенные <в первоначальном варианте далее следовало: «и, следовательно, ближайшие к природе»> нравятся нам менее чисто мраморных и медных? Почему поэт предпочитает выразить мысли свои стихами?» (XI, 177)¹.

В этом аспекте Пушкина особенно интересовал портрет: обязательное сходство его с конкретным, известным зрителям человеком особенно резко

¹ Пушкин А. С. Т. 7. С. 211–212.

334

обнажает отличие самой природы изображаемого и изображенного. Так, посетив в 1829 году Ермолова, Пушкин отметил достоинство сходства в портрете Доу в Военной галерее Зимнего дворца: «Когда... он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом»¹.

<p>На экране портрет Ермолова из Галереи 1812 года.</p>	<p>Голос ведущего уходит за кадр. Но одновременно подчеркивается и другое: портрет закрепил лишь определенные «высокие» моменты личности Ермолова. Кроме того, портрет остановлен во времени: при сопоставлении с портретом Пушкину бросилась в глаза старость Ермолова; то же чувство, вероятно, вызывал у него и портрет Н. Н. Раевского, и Дениса Давыдова, и многих других.</p>
---	---

Военная галерея, портреты (скользят).	<p><i>Голос диктора:</i> Нередко медленно меж ими я брожу И на знакомые их образы гляжу, И, мнится, слышу их воинственные клики. Из них уж многих нет; другие, коих лики Еще так молоды на ярком полотне, Уже состарились и никнут в тишине Главою лавровой².</p>
---------------------------------------	---

Тема контраста между портретом и изображаемым лицом, превращения изображения в условный знак того, кого оно изображает, волнует Пушкина. Вот Дон Гуан в «Каменном госте» рассматривает статую убитого им командора:

Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! что за Геркулес!..
А сам покойник мал был и щедушен.
Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку
До своего он носу дотянуть³.

Статуя — это командор и вместе с тем это командор, отчужденный сам от себя. Поразительная формула: «не мог бы руку до своего он носу дотянуть» — превращает ее в странного, иррационального двойника личности. Когда Германн прокрадывается в спальню старой графини, ему бросается в глаза портрет: «На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebgrun». Один из них изображал «молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах». Это графиня. «Сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам»⁴. Это тоже графиня. Германн видит оба зрелища одновременно. Живая

¹ Пушкин А. С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года // Пушкин А. С. Т. 6. С. 641.

² Пушкин А. С. Т. 3. С. 330.

³ Там же. Т. 5. С. 390.

⁴ Там же. Т. 6. С. 337, 338—339.

335

графиня уже наполовину мертва, а ее неживой портрет полон жизни. Портрет, как андерсеновская тень, отделяется от человека, может быть лучше его:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит¹, —

писал Пушкин по поводу портрета Кипренского. Изображение может быть мертвее, неподвижнее оригинала. 14 мая 1836 года Пушкин писал Наталье Николаевне из Москвы: «Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (XVI, 116)².

Итак, статуя и картина имеют двойное бытие: по отношению к тому, что изображено, и по отношению к своему материалу. В первом случае они выступают как нечто неподвижное, остановленное во времени, идеализированное или ухудшенное, заменяющее жизнь ее неподвижным знаком. Во втором — активизируется способность гения преодолевать материал, дышать в него жизнь и душу: живой мрамор, живая бронза, живой холст уже не противостоят жизни. Наоборот, увековечивая жизнь, они противостоят враждебному ей началу — смерти. Таким образом, изобразительные искусства, по самой своей природе, в сознании Пушкина наиболее тесно связаны с глубокой философской проблемой — вопросом жизни и смерти.

Это привело к появлению в творчестве Пушкина устойчивого и исключительно важного для него мотива оживающей статуи. В первой нашей лекции мы останавливались на идее животворящего искусства (не случаен постоянный эпитет «животворная кисть»; Жуковский, приглашая Пушкина позировать, иронически писал: «Ты должен с полчаса посидеть под пыткой его животворной кисти» — XVI, 100). Однако вопрос этот имел и трагический поворот.

В петербургском миражном мире, в мире, где простая жизненная реальность подавлена многообразными фикциями николаевской монархии: бюрократическими мнимостями, показным величием, всем тем, что превращало николаевскую государственность, по выражению маркиза Кюстина, в «империю фасадов»³, — в сознании Пушкина все яснее вырисовывалась идея мнимой жизни. Если жизнь у Пушкина ассоциировалась с движением, а смерть с неподвижностью, то противоестественное соединение смерти и движения — шагающий мертвец, движущаяся статуя — делалось символом всего враждебного человеческому существу.

Мотив оживающей статуи был еще в 1937 году тщательно изучен ныне покойным великим лингвистом Р. О. Якобсоном в статье «Статуя у Пушкина»⁴. Якобсон, в частности, обратил внимание на то, что заглавия «Каменного гостя», «Медного всадника» и «Золотого петушка» построены на противо-

¹ Пушкин А. С. Кипренскому // Пушкин А. С. Т. 3. С. 20.

² Пушкин А. С. Т. 10. С. 582.

³ Кюстин А. де. Россия в 1839 году // Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. М., 1990. С. 70.

⁴ Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 145—180.

336

поставлении неживого материала и идеи живого существа (гость, всадник, петушок). Можно было бы добавить, что антитеза понятий «дама» и «пиковая дама» построена по тому же принципу. Все эти произведения объединены общностью проблемы — конфликта живого и мертвого.

Музыка исполняет увертюру к «Дон-Жуану» Моцарта.

Голос диктора: Сцену III «Каменного гостя» Пушкин снабдил скупой ремаркой: «Памятник командора». Действие происходит на кладбище, где у гроба убитого им мужа, Дон Гуан, назвавшись Диего де Кальвадо, признается в любви Доне Анне и добивается у нее свидания.

Актер (С. Юрский?) читает отрывок III сцены (от слов: «Дон Гуан: Лепорелло! (Лепорелло входит)») до конца сцены).

Ведущий в кадре: Дон Гуан не просто отрицает права смерти и издевается над ней, целуя Лауру над трупом Дон Карлоса, признаваясь в любви Доне Анне на могиле ее мужа и призывая статую командора стоять на часах во время их любовного свидания. Это не просто озорство или кощунство. Он не признает смерть фактом, объявляет ее несуществующей. Когда Лепорелло говорит: «А командор? что скажет он об этом?»¹ — то его устами говорит простонародное суеверие и боязнь мертвецов. Дон Гуан же, подхватывая реплику, говорит о командоре с небрежностью, с которой изъясняется молодой повеса о живом муже своей возлюбленной:

Ты думаешь, он станет ревновать!

Уж верно нет; он человек <человек! — Ю. Л.> разумный...

И следующая фраза подчеркивает остроту ситуации:

И верно присмирел с тех пор, как умер².

Но Дон Гуан сталкивается не с ревнивым мужем, а с ожившей статуей — образом смерти. И торжествует над смертью — последний его возглас Пушкин посвятил любви:

...о, тяжело

Пожатье каменной его десницы!

Оставь меня, пусти — пусти мне руку...

Я гибну — кончено — о Дона Анна!³

Если движение внутренне неподвижной статуи несет смерть, то внутренняя жизнь неподвижной статуи несет жизнь.

Вопросы жизни и смерти, бессмертия, разлитого в природе, бессмертия, создаваемого творческим гением человека, и смерти, рождаемой жесткими законами самой жизни и искусственно порождаемой человеческим обществом, особенно волновали Пушкина в болдинскую осень 1830 года, когда он, окруженный холерной эпидемией, жених, накануне свадьбы, задумывался о таинственных судьбах людей и народов. Здесь были написаны и «Каменный гость», и «Пир во время чумы», и «Моцарт и Сальери», по-разному трак-

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 397.

² Там же. С. 397.

³ Там же. С. 410.

337

товавшие эту тему. Здесь был написан и незавершенный отрывок, смысл которого нам остается неясным. Терцины, которыми он написан, как бы намекают на связь с «Божественной комедией» Данте и, может быть, представляют собой попытку проникнуть в психологию великого итальянского поэта, творчеством которого Пушкин интересовался всю жизнь.

<p>На экране бронзовый бюст Данте.</p>	<p><i>Голос диктора за кадром:</i> Отрывок «В начале жизни школу помню я...» задуман от лица престарелого поэта (в черновых набросках есть строка: Уж плохо служит память мне моя...), живущего на грани средних веков и Возрождения. Воспитанный под строгим надзором, он вдруг видит античные статуи Аполлона и Венеры, считает их изображениями бесов гордости и похоти и сам напуган их воздействием на его душу. Но жизнь, скрытая в античных мраморах, передается ему и будит в нем поэта.</p>
--	--

<p>Общий план зелени и белеющих среди нее статуй (может быть, Павловск?). Затем крупно Аполлон Бельведерский (сначала общий план, затем лицо снизу вверх) и Венера Таврическая (эрмитажная). Лицо расплывается — четко только улыбка. Гневные глаза и лоб Аполлона (резкая светотень) и туманная улыбка Венеры.</p>	<p><i>Чтение артиста в кадре. Затем его голос уходит за кадр:</i> В начале жизни школу помню я; Там нас, детей беспечных, было много: Неровная и резвая семья; Смирненная, одетая убого, Но видом величавая жена Над школою надзор хранила строго. Толпою нашуе окружена, Приятным, сладким голосом, бывало, С младенцами беседует она.</p>
	<p>Ее чела я помню покрывало И очи светлые, как небеса. Но я вникал в ее беседы мало. Меня смущала строгая краса Ее чела, спокойных уст и взоров, И полные святости словеса. Дичась ее советов и укоров, Я про себя превратно толковал Понятный смысл правдивых разговоров. И часто я украдкой убежал В великолепный мрак чужого сада. Под свод искусственный порфирных скал. Там нежила меня теней прохлада; Я предавал мечтам свой юный ум, И праздномыслить было мне отрада.</p>

338

	<p>Любил я светлых вод и листьев шум, И белые в тени дерев кумиры, И в ликах их печать недвижных дум.</p>
	<p>Все — мраморные циркули и лиры, Мечи и свитки в мраморных руках, На главах лавры, на плечах порфиры —</p>
	<p>Все наводило сладкий некий страх Мне на сердце; и слезы вдохновенья, При виде их, рождались на глазах.</p>
	<p>Другие два чудесные творенья Влекли меня волшебною красой: То были двух бесов изображенья.</p>
	<p>Один (Дельфийский идол) лик молодой — Был гневен, полон гордости ужасной, И весь дышал он силой неземной.</p>
	<p>Другой женообразный, сладострастный, Сомнительный и лживый идеал — Волшебный демон — лживый, но прекрасный.</p>
	<p>Пред ними сам себя я забывал; В груди младое сердце билось — холод Бежал по мне и кудри подымал.</p>
	<p>Безвестных наслаждений темный голод Меня терзал. Уныние и лень Меня сковали — тщетно был я молод.</p>

	Средь отроков я молча целый день Бродил угрюмый — всё кумиры сада На душу мне свою бросали тень .
--	---

Ведущий в кадре: Пушкин любил Аполлона Бельведерского, которого он знал по гравюрам и по многочисленным копиям: отличную копию, отлитую в металле, он видел в Павловском парке, прекрасная гипсовая копия в натуральную величину стояла в гостиной Зинаиды Волконской. Были они и в других доступных ему собраниях. «Но мрамор сей ведь бог!..»² — сказано в стихотворении «Поэт и толпа». Но интересно другое: даже в шуточном стихотворении — эпиграмме, написанной по поводу того, что поэт А. Н. Муравьев отломал нечаянно руку у Аполлона в гостиной Зинаиды Волконской, — Пушкин прибегает к своему приему «динамического чтения» статуи. Сюжетно Аполлон Бельведерский посвящен моменту, когда бог огненной стрелой поражает чудовище Пифона. Пушкин превращает статую

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 201—202.

² Там же. С. 88.

339

в рассказ: сначала мы должны обратить взор на воображаемый лук, затем глазами проследить воображаемый же полет стрелы, увидеть «умным зрением» издыхающего Пифона и только потом обратить глаза к торжествующему челу бога:

Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!¹

Однако в стихотворении «В начале жизни школу помню я...» статуи неподвижны и даны в своей статичной целостности. Их динамика внутренняя — «весь дышал он силой неземной». Они не движутся, но приводят в движение. Отталкивая и привлекая, они выводят героя из дремотного равновесия и манят в другой — может быть, губительный, но чарующий мир. В античной скульптуре было принято после Винкельмана подчеркивать гармонию и статику. Пушкин посмотрел на нее глазами средневекового книжника и увидел драматическую коллизию, достойную «свободной и широкой» кисти.

Итак, статуя может символизировать своим движением и смерть, и жизнь. Но в символике пушкинской статуи есть еще одна грань: она каким-то образом оказывается связанной с государственностью (что естественно для городской монументальной скульптуры) и противостоящей стихийным силам. Тема статуи, сверженной стихийными силами, явственно проступает в сознании Пушкина. Так, в письме к Дельвигу осенью 1825 года Пушкин сообщил свои шуточные куплеты, общий смысл которых остается для нас загадочным:

Брови царь нахмурия,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра»².

В 1834 году в Петербурге была выставлена для обозрения картина Карла Брюллова. На Пушкина она произвела сильное впечатление. Он тогда же набросал отрывок стихотворения, посвященного теме картины, делал попытки срисовать отдельные ее детали и через два года вернулся к ней в рецензии на стихи малоизвестного поэта Теплякова.

На экране картина Брюллова.	<i>Голос за кадром:</i> Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя Широко развилось, как боевое знамя. Земля волнуется — с шатнувшихся колонн Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
-----------------------------	--

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 9.

² Там же. Т. 2. С. 316.

340

	Толпамии, стар и млад, под воспаленным прахом, Под каменным дождем бежит из града вон .
--	--

Везувий, конечно, не воспринимался поэтом как прямая аллегория (вообще аллегоризм был чужд его художественному мышлению), но сложно ассоциировался с событиями неаполитанской революции 1820 года. В X главе «Евгения Онегина» революции в Испании и Неаполе описывались так:

Тряслися грозно Пиренеи — Волкан Неаполя пылал...²

Интересно отметить, что Пестель на одной из своих рукописей в 1820 году аллегорически изобразил неаполитанское восстание в виде извержения Везувия.

На экране появляется рисунок Пестеля (по книге: Пушкин и его время. Исследования и материалы. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1962. Вып. 1. С. 135).	
--	--

Ведущий в кадре: В мире монументальной скульптуры у Пушкина было главное произведение, к которому неизменно обращались его помыслы.

На экране книги «Медный всадник» и рукописи Пушкина.	<i>Голос ведущего за кадром:</i> Это была статуя Петра I на Сенатской площади — Медный всадник Фальконе. Не случайно поэма «Медный всадник» собрала все основные черты символики статуи в творчестве Пушкина.
--	--

Ведущий в кадре: Изучению вопросов, связанных с этой поэмой, посвящена поистине огромная литература на разных языках. Пушкину приписывались самые различные мнения от крайне консервативных до революционных: «бунт» Евгения сопоставлялся с восстанием 14 декабря 1825 года (тоже на Сенатской площади!), а наводнение — с народным мятежом. В нашу задачу не входит ни оценивать те или иные мнения исследователей, ни выдвигать новые, поскольку интересующий нас вопрос — почему у Пушкина статуи часто движутся — имеет значительно более узкий характер. Отметим лишь, что, как мы уже говорили, художественное мышление Пушкина абсолютно чуждо аллегориям и однозначным эмблемам. Поэтому искать в тех или иных образах одно какое-либо, скрытое эзоповым языком, значение — бесперспективно.

В поэме, на художественном пространстве Петербурга, действуют три образа: Петр — живой и воплощенный в статуе, — Евгений и Нева. Кон-

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 281. Ю. М. Лотман анализирует это стихотворение в своей статье «Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи» (Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 293—299).

² Пушкин А. С. Т. 5. С. 210.

341

фликт их многозначен. Образ наводнения (Невы) может быть истолкован как проявление любой из возможных стихийных сил: стихия Природы, стихия Народа, стихийные силы истории, времени, пространства, человека. Петр противостоит им как рациональное, волевое, жесткое начало, которое может конкретизироваться и как государственность, и как любое другое проявление жесткого вторжения организующего начала в хаотическую стихию. Евгений же — живой человек (может быть, и народ, но не как стихия, а как личность), попавший между жерновами этих борющихся и единых в своем равнодушии к нему сил.

Доминирующие образы «Медного всадника», как и в «Последнем дне Помпеи» (в пушкинском прочтении картины): стихии — статуи императоров — гибнущий народ. В сюжете Брюллова статуи бессильно падали и город погибал, в поэме Пушкина Петр «неколебим» «над возмущенною Невою» и город не гибнет. Гибнет только Человек. Статуя становится рядом со стихией, как способная помериться с ней силами и победить.

Медный Всадник дан в поэме Пушкина в такой сложной и богатой партитуре планов, ракурсов, монументальной неподвижности и неожиданного движения, с какой не может сравниться ни одна статуя в творчестве Пушкина. В поэме в первый раз появляется он так, как его видит в бурную ночь наводнения Евгений, сидящий на мраморном льве дома Лобанова-Ростовского:

В кадре актер, читающий текст. Со слов «иль вся наша и жизнь ничто» голос актера уходит за кадр. Появляется ночной вид Медного Всадника со спины, затем крупно: простертая рука.	Тогда, на площади Петровой, Где дом в углу вознесся новый, Где над возвышенным крыльцом С поднятой лапой, как живые, Стоят два льва сторожевые, На звере мраморном верхом, Без шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвижимый, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, Не за себя. Он не слышал, Как подымался жадный вал, Ему подошвы подмывая, Как дождь ему в лицо хлестал, Как ветер буйно завывая, С него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры На край один наведены Недвижно были. Словно горы, Из возмущенной глубины Вставали волны там и злились, Там буря выла, там носились Обломки... Боже, боже! там — Увы! близехонько к волнам, Почти у самого залива — Забор некрашенный да ива И ветхий домик: там оне, Вдова и дочь, его Параша, Его мечта... Или во сне
--	--

342

	Он это видит? иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей?
	И он, как будто околдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может! Вкруг него Вода и больше ничего! И, обращен к нему спиною, В неколебимой вышине, Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне .
На экране: Медный всадник спереди в сильном ракурсе снизу вверх.	<i>Голос ведущего за кадром:</i> В памятнике, увиденном глазами Евгения, подчеркивается его недвижимость и мощь на фоне бунтующих и не способных сдвинуть его с места волн. Затем в текст врывается авторская речь, и мы уже видим Медного Всадника как бы глазами Пушкина.
Крупные планы головы и коня.	<i>Голос актера за кадром:</i> Ужасен он в окрестной мгле! Какая дума на челе! Какая сила в нем сокрыта! А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, На высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы?
	<i>Голос ведущего за кадром:</i> Далее, волшебством пушкинского текста, мы как бы получаем двойное зрение: и глазами Евгения, и с точки зрения того, кто рассказывает нам его печальную историю.
Камера объезжает медленно кругом памятника и потом постепенно, робко поднимается к его лицу.	<i>Голос актера:</i> Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державца полумира. Стеснилась грудь его. Чело К решетке холодной прилегло, Глаза подернулись туманом,
На экране актер.	По сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь. Он мрачен стал

¹ Пушкин А. СЛ. 5. С. 388—389.

343

Крупным планом повертывающееся лицо Петра. Непреренно толчками, а не плавно . Движение должно быть механическим и противоестественным.	Пред горделивым истуканом И, зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянный силой черной, «Добро, строитель чудотворный! Шепнул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..» И вдруг стремглав Бежать пустился. Показалось Ему, что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось...
Далее чтение идет под иллюстрации А. Бенуа.	И он по площади пустой Бежит и слышит за собой — Как будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой. И, озарен луною бледной, Простерши руку к вышине, За ним несется Всадник Медный На звонко-скачущем коне...

Ведущий в кадре: Контраст «думы на челе» и внутреннего огня неподвижного, но полного динамизма памятника и механического движения страшного бронзового призрака раскрывает трагическую диалектику пушкинской поэмы.

Силу зловещей выразительности превращения Петра-человека в монумент (живого и подвижного в неживое и неподвижное), а монумента — в скачущий фантом (неживого и неподвижного в неживое и подвижное) ощутили почти все последующие русские писатели, обращавшиеся к теме Петра и Петербурга. Обратимся лишь к одному примеру: Юрий Николаевич

Тынянов в новелле «Восковая персона» (само название соотносено и с трагической иронией противопоставлено «Медному всаднику» Пушкина) в основу сюжета положил трансформацию Петра — живой и реальной человеческой личности — в «восковую персону», заводной автомат, сделанный скульптором Растрелли-отцом.

<p>На экране «восковая персона» (Эрмитаж).</p>	<p>Голос ведущего за кадром: Образ Тынянова соединяет медного всадника Пушкина и градоначальника с органиком в голове Салтыкова-Щедрина. Однако здесь интересна одна подробность: у Тынянова восковая персона снабжена механизмом, встает и садится, делая руками повелительные жесты. В реальной «восковой персоне» Растрелли никакого механизма нет и никогда не было. Сидячая фигура</p>
--	--

¹ В съемках можно использовать гипсовую модель головы Петра для памятника Фальконе (в размере памятника), сделанную М. Калло и хранящуюся в Русском музее в Ленинграде. (Примеч. Ю. М. Лотмана).

² Пушкин А. С. Т. 5. С. 395.

344

	<p>Петра, наделенная жуткой натуральностью, всегда была неподвижной. Крупнейший знаток истории русской культуры и музейного дела, замечательный человек, чья недавняя неожиданная кончина — удар для всей нашей культуры, Владислав Михайлович Глинка рассказывал мне, что Тынянов, когда писал свою повесть, не видел реальной «восковой персоны» и даже не знал, что она сохранилась. Идея движения возникла у него, вероятно, по аналогии с движущейся восковой же фигурой Руссо в Архангельском (в настоящее время механизм испорчен).</p>
<p>Фигура Руссо.</p>	<p>Это именно Глинка, уже после выхода повести, повел Тынянова в хранилище бывшей кунсткамеры, где тогда находилась восковая статуя.</p>

Ведущий в кадре: Однако можно думать, что если бы даже Тынянов знал, что реальная «восковая персона» была неподвижна, он все равно не изменил бы сюжета — сюжета о страшном движущемся мертвце, управляющем огромной империей. Образ этот был завещан русской литературе Пушкиным и глубоко в ней укоренился. Он имел свои философские и — шире — идейно-художественные основания. Но он был связан и с тем особым художественным зрением, особой способностью видеть мир в движении, которой судьба наделила Пушкина. Поэтому для него подлинное искусство было глубоко родственно жизни, ее непрерывному органическому развитию.

<p>На экране парки и статуи, картинные галереи, постепенно выходя из фокуса, расплываются в цветные пятна. На переднем плане выступает край стола и чернильница Пушкина.</p>	
--	--

КОНЕЦ

345

Приложение. Творческая заявка на сценарий по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»¹

Предлагается сценарий полнометражного телевизионного фильма по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Цель фильма: образное раскрытие идейно-художественного смысла повести Пушкина. Повесть Пушкина «Капитанская дочка» не только одно из вершинных, художественно наиболее совершенных, созданий поэта, но и своеобразный идейный итог его творческого пути. Произведение писалось в годы высшей зрелости: оно начало в 1833 году и закончено осенью 1836 года. Под последней строкой рукописи Пушкин поставил знаменательную для него дату 19

октября — дату лицейской годовщины. То, что «Капитанская дочка» была последним законченным крупным произведением Пушкина, вышла в свет в последнем прижизненном номере «Современника» и отмечена «лицейской датой», позволяет рассматривать произведение как «завещание Пушкина». Это очень богатое и сложное произведение.

Между тем, согласно школьной программе, «Капитанская дочка» изучается в седьмом классе, когда ученики ни по возрасту, ни по степени интеллектуальной зрелости еще не подготовлены к восприятию всей глубины пушкинских идей. С «Капитанской дочкой» происходит то же, что произошло с такими произведениями, как «Дон Кихот» Сервантеса: потому, что роман слишком серьезен даже для взрослого читателя, его перевели в разряд книг для детей.

Многолетний педагогический опыт подсказывает единственный возможный выход из противоречия между глубиной авторских идей и степенью подготовленности и возрастом аудитории: объяснение «Капитанской дочки» должно вестись языком художественных же образов.

Наибольшие возможности, как кажется, здесь открывает перевод пушкинского текста на язык искусств, в восприятии которых у современной молодой аудитории имеется наибольший непосредственный художественный опыт, — на язык кинематографа и телевидения.

Таким образом, ставится задача: создать «телевизионный перевод» пушкинской повести. Сложность этой задачи автор заявки прекрасно понимает: с одной стороны, речь должна идти о своеобразном «образном анализе»

¹ Публикуется впервые.

346

«Капитанской дочки». Задача такого анализа — максимальное приближение аудитории к миру пушкинского произведения. Следовательно, все *пушкинское* должно быть максимально сохранено и бережно понято. С другой стороны, кино- и телевизионный спектакль имеют свою специфику, свои законы. Письменная речь пушкинской повести, механически превращенная в устную речь героев фильма, потеряет пушкинскую легкость. Словесная выразительность пушкинского текста должна быть передана языком фильмовой киновыразительности. Буквализм так же губителен, как и отсебятина. Однако автор заявки убежден, что задача эта выполнима. Длительный опыт изучения Пушкина и преподавания его творчества в средней и высшей школе, с одной стороны, и занятия теорией кино, с другой, могут подсказать здесь наиболее правильные решения.

Общую задачу автор заявки видит не в создании фильма «по мотивам» Пушкина, а в художественно-методическом эксперименте: опыте создания фильма, который стал бы в руках учителя-словесника или лектора педвуза средством эмоционально и образно ввести молодую аудиторию в пушкинский мир.

3 февраля 1983

Доктор филологических наук, проф. *Ю. М. Лотман*

Беседы о русской культуре. (Телевизионные лекции)

От составителей

Знаменитая серия телевизионных лекций Ю. М. Лотмана о русской культуре была записана Эстонским телевидением в 1986—1991 годах и затем неоднократно транслировалась различными телеканалами как в Эстонии, так и в России. В 1995 году журнал «Таллинн» начал публикацию текста этих лекций, полученного в результате расшифровки звукового ряда видеоленты. Вступительную заметку к этой публикации написала редактор передач Евгения Хапонен.

Мы приносим глубокую благодарность редакции «Таллинна», любезно предоставившей в наше распоряжение компьютерные версии опубликованных в журнале лекций. Однако для настоящего издания все тексты были подвергнуты повторной расшифровке и заново отредактированы, приводимые Ю. М. Лотманом цитаты сверены с источниками, снабжены соответствующими сносками. Мы старались сохранить все особенности авторской устной речи, свести к минимуму любые редакторские вмешательства, однако ряд преобразований при переводе свободного устного говорения в письменный текст был неизбежен.

Конечно, передать всю полноту впечатления от телевизионных «Бесед о русской культуре» Ю. М. Лотмана настоящее издание бессильно. Зритель видит с экрана живого Лотмана, его лицо, улыбку, слышит его голос, сразу попадая под обаяние его неповторимой интонации. Печатный текст не в состоянии воспроизвести ни выражения лица, ни манеры говорить, ни мимики, ни жестов; кроме того, теряется весь изобразительный ряд, иллюстрирующий то, о чем идет речь. Тем не менее первая полная печатная версия телевизионных «Бесед о русской культуре» даст читателю в руки новый богатый материал, существенно дополнит его знания о лотмановской концепции русской культуры, по-новому раскроет Лотмана-лектора и Лотмана-человека.

* * *

«Беседы о русской культуре». Это название придумал Юрий Михайлович Лотман в 1976 году, когда мы с ним обсуждали предполагаемый цикл его лекций на Эстонском телевидении. Идея предложить такой курс при-

349

шла мне в голову по двум совпавшим обстоятельствам: во-первых, я имела счастье быть его ученицей и слушать его лекции в Тартуском университете, а во-вторых, после окончания учебы я прошла конкурс и была приглашена на работу на ЭТВ. Еще в пору занятий в университете меня, как, впрочем, и всех его учеников, потрясли лекции Ю. М. Лотмана. Он обладал удивительным и крайне редким даром рассказчика, умением в доступной и интересной форме передать тот колоссальный объем знаний, которым владел сам. Мы терялись в своих желаниях, то ли слушать необыкновенно захватывающее повествование Юрмиха (как любовно называли его между собой студенты), то ли записывать то, что он говорит. Очутившись на телевидении, я поняла, что это именно то средство массовой информации, где в полной мере мог бы раскрыться дар Юрия Михайловича для очень большой аудитории.

Педагог по призванию, он согласился с моими доводами, хотя был очень занят в университете. Тогда и был разработан первый цикл лекций «Люди. Судьбы. Быт (Русская культура XVIII — начала XIX в.)». Именно этот цикл был им впоследствии совместно с З. Г. Минц переработан и вышел в 1994 году отдельной книгой в Санкт-Петербургском издательстве «Искусство—СПБ». Но тогда, в 1976 году, лекции так и не вышли в эфир — Ю. М. Лотману было запрещено публично выступать. И первую передачу большого цикла «Беседы о русской культуре» мы записали и показали десять лет спустя — в сентябре 1986 года. Профессор пошутил при этом, что пора отмечать десятилетний юбилей начала лекций.

Итак, в течение шести лет было записано пять циклов его лекций, всего тридцать пять передач: I. Люди. Судьбы. Быт. II. Взаимоотношения людей и развитие культур. III. Культура и интеллигентность. IV. Человек и искусство* V. Пушкин и его окружение¹.

Е. Хапонен

¹ Таллинн. 1995. № 1. С. 59.

Цикл первый. Люди. Судьбы. Быт (1986 г.)

Лекция 1¹ (1986 г.)

Добрый день!

Сегодня мы начинаем серию лекций, посвященных истории русской культуры. Но слово «культура» — слово очень объемное, включает слишком много: и нравственность, и весь круг идей и творчества человека. Эта огромная тема, конечно, не может быть нами охвачена в тот короткий срок, который у нас есть в распоряжении. Мы будем говорить о более узких вещах, но все-таки имеющих важное значение.

Если подумать обо всем том, что я сейчас сказал, — о вопросах этических, художественных, семейных, исторических (все, что входит в понятие «культуры»), то у всех этих понятий будет одно общее — *культура есть память*. Культура складывается и у отдельного человека, и в обществе, когда работает активная память.

Культура всегда связана с прошлым опытом, всегда подразумевает некоторую непрерывность нравственно-интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И в этом смысле, когда мы говорим о нашей современной культуре, мы, может быть сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура прошла. Путь очень большой, он насчитывает тысячелетия, перешагивает через границы исторических эпох, через границы национальных культур. В общем, мы погружены в одну культуру — культуру человечества. Но есть и более узкие, более частные сферы. Есть память человека; у всех у нас есть память детства, без которой мы не были бы людьми. Память нашей жизни, память о жизни наших родителей, семейная память, память города, память народа — это все образует разные этажи, разные сферы культуры. Сегодня начнем разговор об одной области культуры, которая тоже есть память. Это — культура быта.

Мы изучаем литературу и любим читать книжки, интересуемся судьбой героев. Нас волнует Наташа Ростова или Андрей Болконский, герои Золя, Флобера, Бальзака, и мы с удовольствием читаем книги, написанные сто, двести, триста лет тому назад. Мы видим, что эти герои нам близки. Они

¹ Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст публикуется впервые.

351

любят, ненавидят, совершают хорошие или плохие поступки, у них есть честь или бесчестье, они верны в дружбе или являются предателями, и все это нам понятно. И вместе с тем очень многое в их поступках нам непонятно или понятно неправильно, понятно приблизительно. Мы понимаем, что Онегин с Ленским поссорились, но как они поссорились, почему они вышли на дуэль? Почему Пушкин сам подставил свою грудь под пистолет? Мы много раз будем рассуждать, что лучше бы он этого не делал, — ведь мы бы как-нибудь иначе обошлись... Между тем, не понимая обычной жизни той поры, мы на самом деле не понимаем ни искусства, ни людей той поры и в каком-то смысле не понимаем самих себя. Потому что такие понятия, как совесть, честь, духовная жизнь, не рождаются на пустом месте. Знаем мы это или не знаем, хотим мы этого или не хотим, они имеют историю и эта история живет вокруг нас и в нас.

Меняется жизнь, меняется атмосфера, меняются вещи, одежда, обычаи, меняется социальная организация, и люди в чем-то думают по-разному. Все люди любят всегда, но любят по-разному. Вот когда-то, в 30-е годы прошлого века, Гоголь возмутился: во всех романах говорится о любви, на всех сценах изображают любовь, а какая любовь в его, гоголевское, время? Такая ли она, какую на сцене показывают? И Гоголь говорил, что в его время не сильнее ли действует выгодная женитьба, «электричество чина» (слово «электричество» Гоголь употреблял в смысле «магнитная притягательность»), денежный капитал? Оказывается, любовь гоголевской эпохи — это и вечная человеческая любовь, и вместе с тем это любовь Чичикова (помните, как он на губернаторскую дочку взглянул?). Это любовь Хлестакова, который цитирует Карамзина и признается в любви сразу и городничихе, и ее дочке. У него — «легкость в мыслях необыкновенная».

Человек меняется. И для того, чтобы представить себе смысл поступков литературных героев — а ведь мы равняемся на них, и они как-то поддерживают нашу связь с прошлым, — нам надо представлять себе, как они жили. Каков был окружающий их мир, каковы были общие представления, нравственные представления, служебные идеи, обязанности и каковы были у них привычки, одежда, почему они поступали так, а не иначе? Вот это и будет темой нашего краткого разговора, который захватит переломную эпоху русской жизни — от начала XVIII века до приблизительно конца эпохи Пушкина и декабристов. Это я и предложу вашему вниманию.

Сегодня мы поговорим о XVIII веке. XVIII век — особая эпоха. С одной стороны, исторически не так уж и давно — ну что значит для истории двести лет? Это очень мало. С другой стороны, это уже очень давно, потому что мысли и чувства, поступки тех людей от нас очень далеки (хотя что-то будет нам очень близко). И еще XVIII век характерен и интересен тем, что это век перелома.

Жизнь, которая сложилась и имела свои ценности, начала быстро меняться. Люди XVIII века, как всегда бывает с новаторами (а это все были новаторы — люди, которые рвались вперед), о прошлом думать не хотели, прошлое ломали: старые здания разрушали, старыми обычаями гнушались. Не все, конечно (об этом мы будем говорить), а люди, которые разделяли идеи императора Петра I и окружали его, то есть люди реформы. Это была эпоха реформ.

352

Эти люди открыто, сознательно, темпераментно рвали с прошлым, и им казалось, что они создали совсем новую Россию. Например, современник Петра сатирик Кантемир — типичный человек этой эпохи. Сам он сын молдавского князя, отец его, Дмитрий Кантемир, был известный в Европе писатель, написал на латинском языке историю Турецкой империи, потом, как сторонник Петра, должен был бежать из Турции, а сын его уже русский поэт — Антиох Кантемир. В одном стихотворении Кантемир выразился так:

Мудры не спускает с рук указы Петровы, Коими стали мы вдруг народ уже новый¹.

Это слово «новый» казалось просто магическим: все новое хорошо, все старое плохо. Когда Петр I скончался, то человек нового склада, которого Петр фактически поставил во главе русской церкви, архиепископ Феофан Прокопович, говорил в своем «Слове»: Август, римский император, за великую честь себе считал сказать, что обрел Рим кирпичный, «а мраморный оставляю». А наш великий император: «деревянную он обрете Россию, а сотвори златую»². Казалось, что Русь прежде была деревянная, что было, между прочим, совершенно неправильно. Допетровская Россия была украшена каменными строениями, и чтобы подчеркнуть разницу, Петр запретил во всех городах, кроме Петербурга, строить каменные дома. Везде должны были строить деревянные, потому что остальная Россия была для него только как бы материалом, а любимым его «парадизом» был Петербург, — вот он и будет европейским городом, будет каменным. Камень, вода — это Петра очень привлекало.

Итак, появились новые люди и новый быт. Новый быт и новая жизнь складывались с ориентацией на Европу. Петр не только поощрял, но и принуждал молодых людей ездить в Европу учиться. Как вы помните, сам он совершил поездку в Голландию, вообще проехал через всю Северную Европу, хотел обязательно поехать на юг, но в Москве произошел мятеж, и он должен был срочно вернуться. Мы имеем много записок этих молодых людей, которые оказывались в Европе в очень трудном положении. Деньги им отпускали скупно, забывали посылать, языка они не знали, а требовали с них ремесло. Например, Конон Зотов, потом известный капитан флота. Он был сыном дядьки Петра (это такая «нянька» мужского пола) Никиты Зотова, известного тем, что он был человек добрый и запойный пьяница. Отец был запойный пьяница, Петра не воспитывал, потакал ему в разных безобразиях, а сын был очень порядочный человек. Но сын учился в Голландии, голодал там и писал Петру, что не знает, то ли языку, то ли ремеслу учиться. Их бросили — и всё. Но потом эти люди приезжали в Россию и становились «новыми» людьми, приносили новые бытовые привычки, и им казалось, что они — европейцы. Так сложился тот особый быт, который старые люди отвергали и считали каким-то новшеством (он и был нов-

¹ Антиох Кантемир. Сатира II. На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет и Евгений // Антиох Кантемир. Собр. стихотворений. Л., 1956. С. 75.

² Феофана Прокоповича, архиепископа Великого Новаграда и Великих Лук... слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные. СПб., 1760. Ч. 1. С. 113.

353

шеством), и считали его очень западным, но на самом деле он не был очень западным.

Скажу вам только одно: приблизительно в эту пору начал складываться помещичий уклад и оформляться крепостное право. Окончательное оформление крепостного права — это, конечно, исторический грех Петра. Зависимость крестьян, их несвобода существовала и прежде, но оформленная бюрократическая система, когда большинство населения оказывалось несвободным, это, между прочим, плод того, что воспринималось как европеизация, хотя в Западной Европе от крепостного права остались только пережитки, а страны Восточной Европы находились в процессе ликвидации крепостного права. В России оно, напротив, начало усиливаться, приобретать довольно уродливые формы, и это тоже влияло на быт. Хочу привести один пример.

Старая, допетровская, патриархальная православная Русь, конечно, не могла допустить официального или полуофициального существования такого явления, как крепостной гарем, — того, чтобы у помещика в доме находилось много крепостных девушек на положении наложниц. Между тем как в XVIII — в начале XIX века это стало обычным и воспринималось, как ни странно, как черта европейского быта, хотя, конечно, никакого соответствия жизни в Европе не имело. Есть мемуары Януария Неверова, где он очень подробно описывает это явление¹. Девушек брали из деревни, одевали в модные европейские платья, учили французскому языку, они читали стихи. А если какая-то провинилась, то ее одевали снова в мужичье, то есть в неевропейское, платье и отсылали в деревню. Таким образом, пребывание в гареме мыслилось как некоторое приобщение к европейской культуре. Кстати, сам Неверов-мальчик именно среди этих гаремных девушек впервые начал читать Жуковского и других поэтов.

При всем том это, скорее, анекдотические явления, но в культуре происходили некоторые очень серьезные события. Прежде всего, внутренние. Они привели к резкому разделению всего

русского общества на три большие группы: дворяне, которые именно в послепетровскую эпоху образовали замкнутую сословную касту, разночинцы и крестьяне.

Дворяне — это особая группа, она выделялась внешностью. Мужик, крестьянин сохранил и старую допетровскую одежду, и бороду. Борьба Петра с бородами шла очень жестоко, совершенно неоправданно, но крестьян он не тронул. Крестьяне как бы находились вне культуры. Дворянин был бритым, или, как в народе говорили, имел «босое лицо». Уже этим он выделялся. На боку у него была шпага. Шпага, которую носил дворянин, была не только оружием и не столько оружием, она была знаком чести. О чести и придется поговорить.

Тот, кто носил шпагу, оказывался в особом положении: его нельзя было оскорбить. Он был избавлен, хотя и не сразу — законы, определявшие сословное положение дворянства, складывались постепенно, — от телесных наказаний. Понятие чести — это понятие личного достоинства. Вообще

¹ *Неверов Я. М.* Страница из истории крепостного права. Записки. 1810—1826 гг. // Русская старина. 1883. Т. 40. № 11. С. 429—446.

354

послепетровские правительства мало ценили человеческое достоинство или вообще его не признавали и многократно пытались и у дворянина отнять право на особое достоинство. Происходила борьба. Не надо думать, что если в социально-классовом отношении самодержавная власть и дворянское сословие, в общем, опираются на одни и те же корни, то между ними не было противоречий. Противоречия были, и очень острые. Это приводило к тому, что весь XVIII век был заполнен переворотами. Царей, которые как бы должны были быть особыми неприкосновенными, поскольку венчание на царство сопровождалось помазанием лба священным миром, — царей убивали.

В XVIII веке особенно активной стала гвардия, созданная Петром как привилегированное ядро армии, но очень быстро превратившаяся в нечто среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом (как ни говорите!). Гвардия давала и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забудыг. Очень часто в минуты смуты именно пьяные забудыги выходили вперед, как было в 1762 году. Это была очень важная рубежная дата, когда Екатерина II, тогда еще просто императрица Екатерина Алексеевна, свергла своего мужа, Петра III, и воцарилась на престоле с помощью гвардейцев (в значительной мере — своего любовника Григория Орлова и гвардейской буйной шайки). Но очень скоро эти люди, которые не знали, как расплатиться с долгами, и пьянствовали по кабакам, стали графами, князьями, получили огромные имения, даже стали довольно заметными людьми в русской истории и имели военные заслуги. Например, Алексей Орлов проявил себя как великолепный адмирал и выиграл несколько решительных сражений.

Эта сложная, движущаяся жизнь облекалась в особые бытовые формы. Я вам уже сказал, что дворянин был бритым. Он одевался не так, как одевался крестьянин. В допетровской Руси не было резкого отличия в покрое одежды: у боярина была богатая одежда, у крестьянина — бедная, но покрой был традиционный, в общем, он сводился к нескольким фасонам. Бытовая жизнь шла от одного церковного праздника к другому, по общим установленным, веками сложившимся нормам. Крестьянин мог с ненавистью смотреть на боярина, но никогда не воспринимал его как иностранца, между тем как дворянин в XVIII веке для человека из народа начал казаться иностранцем. Об этом писал позже Грибоедов в статье «Загородная поездка», где он говорил: «Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!»¹

Покрой одежды стал иным. Длинные порты заменились короткими французскими кюлотами: это были штанишки до колен, они застегивались на пуговички, ниже шли шелковые чулки и туфли на высоких каблуках. Особые щеголи в конце XVIII века, подражая французским принцам, носили красные каблуки и серебряные или золотые застёжки на туфлях. Верхняя часть мужской одежды состояла из кафтана, под которым был камзол (камзол — это что-то вроде жилета с рукавами). Кафтан и камзол были из тяжелых дорогих материй, особенно кафтан. Камзол часто был шелковый, иногда — бархатный, иногда было несколько камзолов. Щеголи надевали три-четыре камзола, это казалось очень красивым. Дамы носили платья,

¹ *Грибоедов А. С.* Соч. М.; Л., 1959. С. 388.

355

которые народу казались «срамными», поскольку верх платья был сильно открыт, декольтирован.

В допетровской Руси женская одежда была совсем другой, потому что и женщина вела другой образ жизни — не публичный. Хотя не следует думать, что женщина в допетровской Руси была угнетена и не играла никакой общественной роли, но светской жизни она не вела. Широкая нижняя юбка с фижмами, декольтированный верх, обилие украшений, сложные прически создавали совершенно особый вид женского костюма.

Внутренний порядок дома тоже изменился. Изменилась система дворцовых интерьеров. Во дворцах жили немногие, и вообще во дворце жить было неудобно. Парадные комнаты дворца, занимавшие, как правило, бельэтаж (второй этаж), часто вообще были нежилые. Например, сам Петр не любил больших помещений, при высоких потолках спать не мог, и даже в Версале ему натягивали над постелью холщовый полог, чтобы было ниже. Над парадными залами

располагались жилые помещения. Если парадные залы и жилые были на одном этаже, то они резко различались размерами. Например, «табакерка» — комнатка в Царском Селе, где была спальня Екатерины II. Рядом с большими залами, такими, как тронный, а также Серебряный кабинет. Янтарная комната (утраченная потом комната из янтаря), «табакерка» была маленькой, даже крошечной, по тем представлениям.

Жилые комнаты были маленькими. Они уже потому не могли подражать европейским, что в России климат другой — холодно, поэтому большое место в интерьере — в дворцовом и в более скромном, помещичьем, — занимала печь. Печь — вообще вещь старая, связанная со сложными мифологическими представлениями. Печь дает уют, без печи жить нельзя, поэтому ей уделялось много места. В XVIII веке сразу же встал вопрос об изразцах. Их сначала ввозили — голландские ультрамариновые, потом стали делать в России. Но, несмотря на печи, все равно бывало холодно, потому что приехавшие архитекторы (планы зданий брали иностранные) начали строить анфилады. Так построен царскосельский дворец, и так строили и частные особняки — это такое расположение комнат, когда коридора нет, а комната следует за комнатой и они образуют как бы одно огромное помещение (двери, двери, двери — все видно сквозь эти двери). Это было очень удобно в Италии, создавало освежающий прохладный воздух. В России, во время балов, в декабре месяце открывали окна — вентиляции не было, к концу бала свечи горели тускло и лица, находящиеся на другой стороне зала, уже расплывались. Тогда ледяной воздух тянул по всей анфиладе, как по трубе.

Девуц же начинали вывозить в свет с четырнадцати лет. Четырнадцать лет девушка кончала свое образование и была на выданье. Пятнадцать лет, как правило, уже невеста, а в пятнадцать — семнадцать лет выходила замуж. В двадцать — двадцать два года, она, извините меня, уже старая девка, и если не богатая, то мало шансов замуж выйти. Так вот, в этих тянущих холодным воздухом анфиладах девушки простужались, потому что — бал: танцуют, потные, грудь, спина открыта. Девушки умирали. Как для юношей было нормально восемнадцати-двадцати лет умереть, погибнуть на какой-то из бесконечных войн (весь XVIII век были войны), на штурме крепости — это была завидная смерть, так и девушки — тоже, в шестнадцать лет очень часто —

356

чахотка. Зато те, кто выживали, жили лет до восьмидесяти. В XVIII веке еще были большие семьи, женщины рожали по пятнадцать — девятнадцать детей, правда и детская смертность была высокая.

Вот так начал складываться этот новый мир. Но в дальнейшем мы поговорим еще о его внутренней организации и несколько слов скажем о быте, окружавшем этих людей.

Лекция 2¹ (1986 г.)

Добрый день!

В прошлый раз мы начали разговор о культуре XVIII века и затронули внешние условия, одежду, дом. Теперь интересно все-таки посмотреть, каковы же были люди, которые жили в этих домах, носили эту одежду. Были ли они похожи на нас? В чем-то, видимо, похожи, потому что все мы рождаемся, умираем, любим, имеем детей, и это не меняется никогда. Но вместе с тем люди и совсем другие: у них другие цели, другие — в чем-то очень ценные — представления о том, что можно делать, чего нельзя, о долге, о чести. И теперь интересно посмотреть на этих людей.

Начало XVIII века произвело в жизни России большую и, в общем, мучительную перемену. Перемена в чем-то была необходима, но и необходимые вещи бывают очень трудными. Основное сводилось к тому, что образованная часть общества зажила в одном духе, а народ остался при старых представлениях, при своих старых идеалах, и между народом и дворянами пролегла глубокая грань. Я уже вам говорил, что была и внешняя разница: дворянин был бритый, в парике, а народ был с бородой. Позже французская писательница мадам де Сталь, противница Наполеона, которая, спасаясь от его деспотизма, приехала в Россию в 1812 году, сказала, что народ, который при Петре отстоял свою бороду, при Наполеоне отстоит свою голову.

Но мы сейчас будем говорить не о крестьянине, хотя все общественное здание держалось на его плечах, и не думайте, что это был абсолютно другой мир. Крестьянские дети играли вместе с помещичьими детьми. Жизнь их соприкасалась очень близко. Но мы сейчас будем говорить о той образованной части общества, из которой вышли знаменитые писатели и которая, в общем, в XVIII — начале XIX века, до поколения Белинского, составляла интеллектуальную европеизированную среду.

Петровская реформа внесла в русскую жизнь совершенно новые черты. Прежде всего, *понятие службы*, которое всегда существовало в России. Дворянин всегда служил. Этим он в значительной мере отличался от западного дворянина, который имел поместье, имел свою феодальную собственность и мог жить в столице, при дворе, и пользоваться милостями короля, а мог

¹ Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст публикуется впервые.

357

жить в деревне, в своем замке, и быть относительно независимым. В России дворянин служил, но после Петра служба приобрела особые черты. Появилось такое понятие, которое ни на один европейский язык точно не переводится, хотя сам Петр думал, что как раз сделал Россию похожей

на Европу. Это понятие чина. Чин — очень специфическая вещь. Еще Пушкин говорил, что европейцы, которые не понимают, что такое чин, совершенно не понимают русской жизни. Нельзя понять Гоголя, не понимая, почему так важно, что чиновник, у которого ушел нос, — майор. Почему Ковалев имеет один чин, а Акакий Акакиевич — совсем другой. Что здесь меняется?

При Петре все виды государственной службы и все служащие были разбиты на четырнадцать степеней. Служба делилась на военную, которая, в свою очередь, подразделялась на гвардию и армию, а также на сухопутную, артиллерийскую и морскую; на статскую и придворную, о которой можно сейчас не говорить. Каждый человек должен был иметь определенный чин: он мог быть статским советником, действительным статским советником, коллежским асессором (майором), штабс-капитаном. Что бы он ни делал, этот чин как бы шел перед ним. Если он ехал по дороге, у него в подорожной было написано, какого он чина, и те, кто был меньше чином, уступали ему лошадей. Если он входил в залу (это еще по петровским законам), то те, кто были меньше чином, должны были уступать ему место. И жены, и дочери тоже были «чиновными». После Петра даже был специальный указ о том, чьи жены могут носить золотые кружева, а чьи — серебряные, и какой ширины; полковница носит одну одежду, а скажем, генеральша — другую.

Это вводило в общество особый дух, особый стиль чинопочитания. Дух чинов пронизывал послепетровскую жизнь России — XVIII и, по сути дела, до XX века — насквозь. Например, было строго установлено, кого как следует называть. Если вы обращались к императору, то вам надо было на конверте писать: «Его Императорскому Величеству Государю Императору», а в обращении писать: «Августейший монарх» или «Ваше Императорское Величество». Чиновники первых двух классов именовались «ваше высокопревосходительство», третий и четвертый — «превосходительство», потом следовал пятый, который почти всегда был «пустой», потому что там был только чин бригадира, который упразднили еще в XVIII веке, это был «высокородие». Потом шли «высокоблагородие» и «благородие», и спутать их было нельзя. Кроме того, еще были некоторые исключения, скажем, ректор университета при любом чине был «превосходительство», это был знак уважения. Точно так же, как высшее образование давало право носить шпагу, быть дворянином.

Даже священники и епископы как бы делились по чинам. Например, к архиепископу и митрополиту надо было обращаться «ваше высокопреосвященство», «высокопреосвященнейший владыка», а к епископу «ваше преосвященство», «преосвященнейший владыка» и так далее.

Однако чины хотя и создавали служебную лестницу, но не исчерпывали разнообразия жизни. Очень скоро сложилась другая иерархия — иерархия орденов. Система орденов в России была довольно неупорядоченной. Конечно, твердо различались они по степеням — что выше, что ниже; было точно указано, как их надо носить, в каких случаях они снимаются, когда надева-

358

ются. Высшим орденом был Андрей Первозванный, еще Петром учрежденный орден.

Ордена не совсем походили на наши ордена. Во-первых, предполагалось, что они составляют не предметы, которые вешаются на грудь, а группы людей, как бы рыцарские корпорации. При этом атрибуты каждого ордена, особенно высшей степени, состояли из нескольких частей.

Во-первых, орденская мантия. Вот здесь¹ мы видим, что рядом с Куракиным лежит орденская мантия Мальтийского ордена. Павел I взял под покровительство Мальтийский орден, располагавшийся на острове Мальта, объявил себя гроссмейстером Мальтийского ордена, что, конечно, было чудовищно и невозможно, потому что кавалеры Мальтийского ордена давали клятву безбрачия, а Павел был уже второй раз женат. Кроме того, Мальтийский орден был католический, а Павел был православный. Но Павел считал, что он все может (он даже литургию служил однажды!). Он предполагал, что все, что может Бог, может и русский император. Мальтийский орден был его любимым орденом.

Орден высших степеней носился не на груди, а на ленте на боку, на груди носилась орденская звезда. Таким образом, орден состоял из мантии, звезды, ленты и знака ордена (креста).

Куракин — человек ничтожный, но любимец Павла — получил почти все ордена, и на портрете он прямо как выставка орденов. Вот давайте их посмотрим. Это — орденская мантия мальтийского рыцаря. Видите, мальтийский крест, черная мантия. На черной ленте (вот тут чуть-чуть видна черная лента) мальтийский крест Иоанна Иерусалимского первой степени, осыпанный бриллиантами, и здесь звезда Мальтийского ордена. Это был не русский орден, но Павел его очень любил.

Это — самый старший орден Российской Империи — Андрея Первозванного на голубой ленте. Носился орден через правое плечо на левом боку. Иногда, в очень торжественных случаях, он надевался на цепи. Вот вы видите тут у Павла орденская цепь, и тут тот же самый орден. Андреевская лента носилась по мундиру сверху. Иногда можно было *под мундиром* носить владимирскую ленту. Орден Св. равноапостольного князя Владимира был вторым по значению после андреевского. Вот лента, на ленте здесь знак ордена и здесь звезда. Звезда первой степени имела золотые лучи и представляла собой квадрат на квадрате. У второй степени задний квадрат был серебряным.

Это — орден Святой Анны. Но, как вы видите, у Куракина нет боевых орденов — у него нет Георгия. Георгия вы увидите на других портретах.

Были ордена, которые составляли принадлежность чиновничьего мира. У Гоголя был замысел комедии «Владимир третьей степени», в которой чиновник сходил с ума, думая, что он — орден. Он превратился в орден. Человек, живое существо, потерял все, что, по мнению Гоголя, так важно и так ценно для человека, и превратился в вещь.

Но были и такие ордена, как Георгий. Это был особый орден. Он, во-первых, носился не в ряду со всеми, а только ниже Андрея. Во-вторых, звезду его

¹ Имеется в виду «Парадный портрет А. Б. Куракина» (1801—1802) кисти В. Л. Боровиковского. Куракин изображен рядом с бюстом Павла I.

359

никогда нельзя было снимать. И, в-третьих, он давался только за личные заслуги. Так, например, за войну 1812 года Георгия первой степени получил только Кутузов, в 1813 и 1814 годах — Барклай-де-Толли и потом еще Беннигсен.

Александр I один раз участвовал в бою, в Аустерлицком, и имел Георгия низшей степени, четвертой. Андрей давался коронованным особам и членам царской фамилии автоматически, другие награждались, а Георгия надо было заслужить. Только один царь, Александр II, имел нахальство сам на себя возложить Георгия первой степени, хотя никаких боевых заслуг у него не было.

Ордена создавали еще одну иерархию.

Чиновная лестница очень часто противоречила знатности. Знатный вельможа, богатый человек мог служить нестарательно, или же выйти в отставку рано (но все-таки послужить надо было), или служить фиктивно, где-нибудь в придворной службе, или взять отпуск, уехать за границу. Конечно, он мог и быстро получить чины, а мог и «застрять». Старательный же чиновник мог очень «выбиться», получить дворянство, и поэтому в дворянской среде чины немножко презирали.

Другое дело была родовитость. Но и родовитость была разная. Князья — это старый допетровский титул, а графов на Руси не было, их ввели по западному образцу, и уж тем более не было баронов. Баронское звание вообще не вызвало особого уважения, если не считать прибалтийских баронов — они шли особым счетом. — а русский барон это, как правило, был финансист. Финансовая служба не считалась почетной. Почетной считалась только военная служба или дипломатическая. Так складывался мир службы.

Но мир службы еще не был миром культуры, и мир культуры очень скоро начал приходить в конфликт с миром службы. Люди середины XVIII века — такие, как Новиков, а позже Карамзин, — выходили в отставку молодыми и посвящали себя общественной деятельности, литературе. Не служить совсем было нельзя, но можно было рано отвязаться от службы и, как позже скажет один из декабристов, посвятить себя «служению», то есть не службе государству, а служению обществу. Или помните, как скажет Чацкий: «Служить бы рад, прислуживаться тошно»¹.

Очень быстро менялись идеалы. Еще средний человек середины XVIII века, средний дворянин, выше всего ставил чин. Потом это так и осталось для очень многих, для основной массы, но интеллектуальные и передовые люди уже к последней трети XVIII века открыто чинами пренебрегали. Стремиться к чинам стало дурным тоном, стремиться надо было не к чинам, а к заслугам, к знаниям, к военным подвигам, к действию. Очень интересно проследить, как на протяжении существования одной и той же семьи или одного рода меняются идеалы.

Вот передо мной портрет генерала Кутайсова, замечательного человека. Александр Иванович Кутайсов был младшим сыном небезызвестного Ивана Кутайсова, одной из самых одиозных, то есть неприятных, фигур павловского царствования. История, типичная для XVIII века. Казалось бы, служба,

¹ Грибоедов А. С. Горя от ума. М., 1987. С. 35. Далее текст «Горя от ума» цитируется по этому изданию.

360

иерархия (Петр говорил: «регулярное государство»), значит — все по правилам, а на самом деле выдвигаются авантюристы, которые вчера не знали, как и чем расплатиться, а сегодня становятся богачами или через постель императрицы, или другим способом, (какими-нибудь темными махинациями, как граф Калиостро или Сен-Жермен). Приезжают в город нищими, уезжают в золотой карете, наживают миллионы, через три дня эти миллионы проигрывают в карты. Люди взлетают, как ракеты, и падают.

Вот, например, князь Потемкин-Таврический. Провинциальный дворянин, а потом — полновластный хозяин России, дипломат, военный; действительно, блестящий, талантливый человек. Затем звезда его начинает закатываться, и он умирает в степи. Державина потрясла поэтичность этой смерти. Потемкин вышел из кареты, ему стало дурно, его положили на землю, накрыли шинелью, и он умер. Тот, кто держал Россию в руках, умер на голой земле, прикрытый солдатской шинелью. Державин писал:

Чей труп, как на распутьи мгла,

Лежит на темном лоне ночи?

Простое рубище чресла,

Две лепте покрывают очи.

<...>

Чей одр — земля, кров — воздух синь,
 Чертоги — вокруг пустынные виды?
 Не ты ли, счастья, славы сын,
 Великолепный князь Тавриды?¹

Так вот о Кутайсове. Отец Кутайсова был пленным турчонком. Его взяли в плен при взятии турецкой крепости, привезли в Россию, и он стал камердинером тогда еще не императора, а наследника престола Павла Петровича. Имя Кутайсов одну только способность: он брил хорошо, и Павел доверял ему свое горло. Позже, когда Павел стал императором, он решил, что человек, которому он доверяет свое горло, может управлять и Россией. На Кутайсова посыпались милости: сначала барон, потом граф, поместье, награды, все ордена. Человек он был ужасный, интриган, взяточник, что только плохого можно было, все он делал. Очень над ним посмеялся однажды Суворов, когда Павел прислал его к Суворову. Доложили: граф Кутайсов. Суворов сказал: «Кутайсов, граф... А прежде кто был?» — «Прежде барон был». — «А прежде, прежде кто был?» — «Прежде... лакей был, горло брил». Суворов вызвал своего денщика и сказал: вот, Прошка, видишь, ты, дурак, все пьянствуешь, и так и умрешь денщиком. А человек старался и графом стал, и его к Суворову посылают. Таков был Кутайсов-отец.

А сын — молодой человек, скромный, очень способный к наукам, владел всеми европейскими языками, уехал в Париж, учился, стал блестящим артиллеристом, потом выучил и восточные языки. В первый раз он проявил себя под командованием Багратиона в 1807 году и получил сразу Георгия второй степени. Смелость необычайную проявил при Прейсиш-Эйлау, и после этого уехал в Париж, поступил в студенты. Все ордена сняты — простая тужурка,

¹ Державин Г. Р. Водопад // Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 185.

361

он учится математике. Он возвращается в Россию крупным математиком, ему двадцать пять лет. В 1812 году он становится начальником артиллерии и блестяще, героически погибает на Бородинском поле. Это, кстати, был очень сильный удар для русских войск, потому что он, начальник русской артиллерии, погиб в середине дня, по сути дела, в первую половину: так называемую Курганную батарею заняли французы и он лично повел солдат в атаку и погиб. Замечательный человек был.

Или, скажем, Орловы. Отец — из гвардейских буянов, брат любовника Екатерины II, а сын — декабрист. У Пестеля отец — ужасный человек был: сначала управлял Сибирью, не выезжая из Петербурга, и нажил огромные деньги, одновременно был почт-директором и именно он, Пестель, ввел в России тайное распечатывание и чтение писем. Сын был декабрист, из самых блестящих людей эпохи.

И так если пройти по истории семей, то мы обнаружим, что культура, образование имеют свою логику. Они переделывают людей. Если отец еще погружен в поиски денег, наград, рвется ко двору, интригует, то сын уже думает о справедливости, о знаниях, и рождается новое поколение. Оно не упало с неба, оно родилось от тех отцов, которых глубоко презирало, и это было отчасти трагедией этого поколения: они не уважали своих отцов, они видели в своих отцах крепостников, реакционеров. Конечно, поколение — это столько людей, что там есть совершенно разные люди, но вот как все сходится.

Взять, например, биографию Павла Александровича Строганова. Казалось бы, самая обычная семья: отец-вельможа, француз-гувернер и сын, который учится в Париже. Мы как будто ясно представляем себе, что сын — щеголь, отец, конечно, такой, каким мы знаем вельможу по сатирической литературе, а француз-гувернер — это всегда комическая фигура. Всё иначе. Француз-гувернер — это Жильбер Ромм, один из самых замечательных людей XVIII века. Крупнейший математик, герой античного склада, участник революции, потом — монтаньяр, погибший на процессе последних монтаньяров (они, чтобы не попасть на гильотину, все закололись одним кинжалом, передавая его друг другу). Вот такой француз. Он маленького роста, очень некрасивый, но, как ученик Руссо, к воспитанию относится серьезно; когда приехал в Россию, изучил русский язык. А сын Строганов участвует во взятии Бастилии со своим крепостным (этот крепостной, потом вольный, — Воронихин, знаменитый архитектор, который строил Казанский собор в Петербурге). Потом Строганов будет генералом 1812 года.

Это новое поколение, пережившее Французскую революцию, увлечение и разочарование в Наполеоне, героический период войн, было как бы рождено для романтизма. В этом смысле лицо поколения представляет генерал Тучков. Когда вы посмотрите на его портрет, вы сразу поймете, почему Марина Цветаева посвятила ему стихотворение, почему он вдохновил ее. Их было четыре брата, четыре генерала. Он был самый младший, Тучков-четвертый, потому что тогда было принято: если из одной фамилии, то, значит, старший (Павел) был первый, потом шли Сергей — второй, Николай — третий. На Бородинском поле погибли двое, один, тяжело раненный, попал в плен, третий потом поссорился с Аракчеевым и стал знакомцем Пушкина.

362

Так вот об Александре Тучкове, очень типичном для поколения человеке. Он тоже учился в Париже, слушал в Ассамблее выступления ораторов, был даже захвачен в какой-то момент идеей Наполеона и хотел поехать в Египет сражаться в наполеоновской армии. Как люди той поры,

частные письма он пишет по-французски, а между тем полон любви к своему народу. Он возвращается в Россию и принимает участие в сражениях. Причем Тучков-четвертый — командир Ревельского полка, и вся его жизнь связана с Ревельским полком, потом — командир бригады, куда входят Ревельский и Гельсингфорский полки. Полки назывались не только по месту квартирования, но и по составу: там были эстонцы. Этот полк отличился при обороне Смоленска, а затем на Бородинском поле. Но еще до Бородинского поля Александр Тучков — фигура романтическая. Когда он воевал в 1809 году в Финляндии (а кампания была тяжелая, много снега), то его жена Маргарита, переодетая в мужской костюм, как денщик его сопровождала. На Бородинском поле он был у Семеновских флешей разорван картечью на куски, нельзя было потом найти ни одной части тела. На этом месте жена потом построила часовню. На нее вообще падали несчастья: вскоре умер сын, ее родной брат Нарышкин стал декабристом; и она основала монастырь на Бородинском поле, постриглась и была монахиней на том месте, где погиб ее муж.

Это поколение, которое подготавливает декабристов. Это люди, которые еще не поднялись на тот уровень политической мысли, они еще не заговорщики, они все еще горят желанием служить Родине, не отделяя Родины от правительства, но они все уже — не люди чинов. Они — романтики в душе, они в душе — поэты, массово пишут стихи (никогда еще в России не писали так много стихов), пишут дневники, письма. Они — люди культуры, говорят и читают на многих языках, и, главное, они — люди мысли. Они уже не идут по проложенным рельсам, по тому пути, который для них подготовили, они ищут свой путь.

Мы говорили о мужчинах. Это естественно, потому что в государственной политической жизни мужчина был активнее. Но эта эпоха знаменательна и другим: огромную роль в ее жизни играют женщины. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Благодарю за внимание.

Лекция 3¹ (1986 г.)

Добрый день!

Продолжим наш разговор. Мы в прошлый раз говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека XVIII — начала XIX века. Мы говорили «человек», а я все время говорил о мужчинах. Но и женщина той поры не только была включена в этот поток изменяю-

¹ Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст публикуется впервые.

363

щей жизни, но играла в нем все большую и большую роль. Женщина тоже очень менялась. Конечно, женский мир отличался от мужского — прежде всего тем, что женский мир был выключен из государственной службы. Женщины не служили, чинов не имели, хотя государство стремилось как-то распространить чиновный принцип и на женщин: полковница, статская советница, тайная советница. Но это скользило по поверхности. Мир женщины был миром чувств, миром детской, миром хозяйства, однако он тоже не походил на допетровский быт.

Прежде всего, первое последствие реформы — это стремление изменить внешний облик, внешне приблизиться к типу западноевропейской женщины. Меняется одежда, появляется обязательный парик. Парик, кстати, для того, чтобы он хорошо сидел, надевали на остриженную голову. Вы часто видите на картинках красивые женские прически — это чужие волосы. Парики пудрили. В «Пиковой даме», помните, старуха-графиня, хотя действие происходит в 30-е годы XIX века, одевается по моде 70-х годов XVIII-го. И там у Пушкина есть фраза: «...сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы»¹. Действительно, так оно и было.

Платя, вы уже видели, — другие, — другие, и другой образ поведения. В этот период женщина стремилась как можно меньше походить на своих бабушек и на крестьянок. Царица искусственность. Женщины много тратили сил на изменение внешности. Причем моды были разные. Купчихи, например, красили зубы в черный цвет, и в купеческом обществе это считалось красивым: такой низкий или средний вкус. В более европеизированном обществе, конечно, зубы не красили, но на лицо налепляли мушки.

Мушки — это маленькие черненькие штучки, их делали из тафты или из бархата. Куда прилепить — это имело значение. Мушка в углу глаза означала: *я вами интересуюсь*. Мушка на верхней губе: *я хочу целоваться*. Поскольку в руках женщины еще был веер (а веер тоже имел значение — если его резко закрыть, это означало: *вы мне не интересны*), то комбинация мушек и движений веера позволяла кокетничать.

Дамы кокетничали. Они вели в основном вечерний образ жизни, при свечах. Приходилось использовать много макияжа, много краски, потому что при свечах люди бледнеют, да еще в Петербурге с его вредным климатом. Поэтому у дам уходило много — за год, наверное, с полпуда — румян, белил и разных подобных вещей. Красились очень густо — так, как у нас, может быть, только для кино съемки красятся.

В этот период женщина еще не привыкла много читать, еще не стремилась (конечно — в массе, были уже писательницы) к внутренней духовной жизни. Духовные потребности удовлетворялись старым образом: церковь, церковный календарь, посты, молитвы. Конечно, все люди до конца XVIII века, до эпохи вольтерьянства, были верующими. Это было нормально и, в определенном

смысле, создавало нравственную традицию в семье.

Но семья очень быстро подвергалась поверхностному европеизму. Женщина считала нужным, модным иметь любовника. Без этого она как бы

¹ Пушкин А. С. Т. 6. С. 338—339.

364

отставала от чего-то. Кокетство, балы, балет, пение — вот женские занятия. Очень быстро в верхах общества устанавливается обычай не кормить детей грудью (кормят кормилицы), и ребенок вырастал почти без матери. Конечно, не в провинции, конечно, не у какой-нибудь помещицы, у которой двенадцать человек детей и тридцать человек крепостных, а у дворянской петербургской знати. Но и здесь происходят быстрые перемены.

Где-то к 70-м годам XVIII века над Европой пронесится дыхание нового времени. Зарождается предромантизм, и особенно после сочинений Руссо становится органичным стремиться к природе, к естественности. В сознание начинает проникать мысль о том, что добро заложено в природе, что человеческое существо, созданное по образу и подобию Бога, рождено для счастья, для свободы, для красоты. Появляются ампирные платья, которые вы видите. Они просты и не напоминают роскошные юбки с фижмами, корсеты, тяжелые парчовые одежды. Они делаются из легкой ткани: рубашка с очень высокой талией, под грудью. Это представляется естественным. Такая мода начинает проникать после Руссо — как бы смесь крестьянской одежды с античной. Затем ее пропагандирует эпоха революции.

Павел I пытается остановить моду, а мода — очень сильная вещь. На последний ужин (перед тем, как его убили) Мария Федоровна, его жена, приходит в запрещенном европейском платье: простая рубашка, высокая талия, открытая грудь, открытые плечи — «дитя природы». На портрете Лопухиной не случайно вместо привычных нам портрета или бюста императрицы или пышного архитектурного здания — колосья ржи и васильки: девушка на фоне природы. Это платья, которые позже стали называть «онегинскими», но они раньше вошли в моду, как раз на рубеже двух веков. Прическа тоже другая. Женщины (как и мужчины, кстати) в этот период отказываются от париков — в моде естественные волосы. Меньше, гораздо меньше косметики, вообще идеально, чтобы косметики не было, потому что входит в моду бледность.

Красавица XVIII века пышет здоровьем и ценится дородностью, кажется, что женщина полная — это женщина красивая, и крупная женщина настолько считается идеальным образцом красоты, что портретисты некоторым пририсовывают пышные формы. Если женщина худа, а мы это можем установить по профилям или по другим портретам, то на торжественном портрете ей прибавят полноты. Теперь, в начале XIX века, модна и нравится бледность. Здоровье кажется чем-то вульгарным. И Жуковский скажет:

Мила для взора живость цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще — милей¹.

Женщина должна быть бледной, мечтательной. Нравится, чтобы в мечтательных голубых глазах виднелись слезы и чтобы женщина, читая стихи, уно-

¹ Жуковский В. А. Алина и Альсим // Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 2: Баллады. Поэмы и повести. С. 57.

365

силась куда-то в более идеальный мир, чем тот, который ее окружает. В этом много моды, много поверхностного, но очень много было и важного.

Во-первых, стремление к естественности оказало значительное влияние на семью. Женщины — и в этом заслуга Руссо — начали сами кормить детей. Во всей Европе кормить детей стало признаком нравственности хорошей матери. Более того, начали ценить ребенка. До этого ребенка ценили и замечали только как маленького взрослого. Это очень заметно по детскому костюму. Не было детской моды, детей одевали в маленькие мундиры, шили им маленькие взрослые одежды, у детей должен был быть взрослый мир. Само состояние детства — это то, что надо было очень быстро пробежать. Тот, кто задерживается в состоянии детства, тот — Митрофан, недоросль, он глуп. Руссо сказал однажды: жалуются на состояние детства. Мир погиб бы, если бы каждый из нас раз в жизни не был ребенком.

Появляется представление о том, что ребенок — это нормальный человек. Появляется детская одежда, детская комната, мысль о том, что играть — это хорошо. Даже взрослых надо учить играя, и серьезность надутого педанта, учение с помощью розги — это все противоречит природе. В домашний быт вносится отношение гуманности, уважение к ребенку, и вносит это в основном женщина. Мужчина служит, он в молодости офицер и дома бывает редко, наездами, потом он — помещик в отставке и занят по хозяйству или на охоте, а детский мир создает женщина. Для того, чтобы создать этот мир, ей нужно много пережить, ей нужно стать читательницей. Происходит удивительная вещь. Мы можем точно сказать, когда, — в 1770—1790-е годы, в значительной мере под влиянием двух людей — Николая Ивановича Новикова и Николая Михайловича Карамзина — женщина становится читательницей. Я вам приведу один пример.

У меня в руках мемуары известнейшей женщины — Анны Евдокимовны Лабзиной. Лабзина

она — по второму браку, жена очень известного человека, масона, президента Академии художеств. Он был уволен в отставку, потому что когда предложили избрать в академию Аракчеева, Лабзин спросил, какое имеет Аракчеев отношение к Академии художеств. Ему сказали: яко лицо, близкое к государю. Тогда он сказал: а я предлагаю кучера Илью, как лицо ближайшее к государю (Александр I всю жизнь ездил с кучером Ильей). За это он вышел в отставку. Анна Евдокимовна, его жена, была женщина властная, с очень суровым характером. Она оставила мемуары, но мемуары касаются раннего детства и ее первого замужества. Вышла она замуж рано, тринадцати лет. Муж ее Карамышев — очень известный химик (в ту пору было редко, чтобы дворянин был химиком), создатель коллекции минералов, в Сибири очень много занимался, но она этого ничего не заметила. Она видела только, что он играет в карты — он был много старше ее, — что у него любовница, и помнила, что в ответ на ее упреки он ей говорил: заведи себе любовника. Она была воспитана в старинном церковном духе, с матерью жила в провинции, по монастырям, ей это все странно, дико — этот европейский быт. Она говорит: как же так? Он ей отвечает: глупая, я тебя люблю, а любовница мне (как он выразился) — «для натурального удовольствия!». Вот такая странная для нее жизнь, но для нас сейчас интересно другое.

366

Сразу после замужества она, практически девочка, от мужа, который уезжает в экспедицию, переселяется в дом к писателю Хераскову. Херасков — романист, пишет стихи, и вот она вспоминает о том, как она жила. Херасков — масон, человек очень набожный. Здесь она опять начала молиться: муж не давал молиться, говорил, что это только все суеверия. «Живши у моих почтенных благодетелей, все было возобновлено, — замечает она. — Приучили рано вставать, молиться Богу, утром заниматься хорошей книгой...» — и дальше идет: «которые мне давали, а не сама выбирала. К счастью, я еще не имела случая читать романов, да и не слыхала имени сего. Случилось, раз начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман. <...> Наконец, спросила у Елизаветы Васильевны [у жены Хераскова], о каком она все говорит Романе, а я его у них никогда не вижу». Она думала, что это имя человека, что это Роман какой-то. «Тут мне уж было сказано, что не о человеке говорили, а о книгах, которые так называются; „но тебе их читать рано и не хорошо“»¹. А когда в доме Хераскова говорили о романах (романы там были такие невинные и такие скучные, такие нравственные!), то ее, уже замужнюю женщину, выставляли из комнаты.

Это 1770-е годы. Через десять лет мать Карамзина (она умрет рано, молодой) оставит целый шкаф романов. Романы будут наивные, но позже Карамзин будет говорить, что человек, который плачет над судьбой героев, не будет равнодушен к несчастьям другого человека. В наивных, смешных романах сквозила гуманистическая мысль, и они действовали, может быть, лучше, чем нравственные уроки, изложенные в виде проповеди.

Не случайно пройдет совсем немного времени, и Татьяну (она, видимо, родилась около 1803 года, если поэзию переводить на язык хронологии) Пушкин уже называет «мечтательницей нежной»:

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках², —
пушкинская героиня живет в мире литературы:
Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит.

Барышня 1810-х годов, провинциальная барышня (Татьяна живет, видимо, где-то около Пскова), уже — с книжкою в руках. Она переживает, передумает то, что чувствуют и думают герои лучших литературных произведений. Недаром Пушкин скажет: «...и, себе присвоив, / Чужой восторг, чужую грусть...»³ Создается другой тип человека. Это очень хорошо показал Рокотов на одном из первых романтических портретов, портрете Струйской. Я не могу не прочесть Заболоцкого, который по поводу этого портрета писал:

¹ Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной. 1758—1828. СПб., 1914. С. 47—48.

² Пушкин А. С. Т. 5. С. 167.

³ Там же. С. 59.

367

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,

Полувосторг, полуиспуг,
 Безумной нежности припадок,
 Предвосхищенье смертных мук.
 Когда потемки наступают
 И приближается гроза,
 Со дна души моей мерцают
 Ее прекрасные глаза¹.

Пройдет немного времени, и мы увидим, что молодая женщина, девушка окажется способной на то, на что мужчины, связанные с государственной жизнью и службой, смелые мужчины, которые погибают на редуках, окажутся не способными.

Когда на Сенатской площади картечь разгромит каре декабристов и начнутся аресты и ссылки, произойдет, пожалуй, самое страшное. Не аресты и не ссылки будут страшны. Интересно, что те сто двадцать с небольшим человек, которые оказались в Сибири, нравственно и душевно сохранились гораздо лучше, чем те, кто избежал преследований. Они оказались в Сибири, в ужасных условиях, но им не надо было бояться. Самое страшное уже произошло. А те в Петербурге, которые вчера еще вели с этими людьми свободолобивые разговоры и которые знали, что только случайность их защищает от ареста, что еще минута — и все может поменяться: тот, кто сидит в Петербурге в своем кабинете, может оказаться в кандалах на каторге, — пережили десять лет испуга. И общество деградирует. Мужчины начали бояться. Появился совершенно другой человек — человек николаевской эпохи — зажатый. Позже Салтыков расскажет о том, как герою снится, что он спит, а у него на голове выстроена пирамида из людей в мундирах — государство, и эта пирамида раздавила его голову, и голова у него стала плоская.

А женщина не боится. Она пишет письмо Бенкендорфу, как княгиня Волконская, пишет по-французски. Она — светская дама, и он — светский человек, генерал от кавалерии, и он, конечно, никогда не позволит себе обидеть светскую даму. И даже Николай I — тоже джентльмен и тоже не будет требовать от женщины того унижения, которого он требует от своих подданных-мужчин. Женщины оказываются более стойкими. Они — сильнее душой, они не боятся, они едут в Сибирь на ужасных условиях. Их в Петербурге преду-

¹ Заболоцкий Н. А. Портрет// Заболоцкий Н. А. Стихотворения и поэмы. М.; Л. 1965. С. 129.

368

преждают, что все дети, которые будут рождены в Сибири, будут записаны недворянами, то есть в крестьянское сословие. Их страшат тем, что они будут беззащитны от уголовников. Позже декабристки будут вспоминать, что чиновники гораздо хуже уголовников: среди тех есть люди, среди чиновников людей почти нет.

Но это героическое поколение еще впереди, а сейчас — об их матерях, которые «мечтательницы нежные», но без этих матерей не было бы этих дочерей. Говоря здесь, в Тарту, нельзя не вспомнить трагическую и вместе с тем очень характерную судьбу, связанную с нашим городом, — судьбу Маши и Саши, двух сестер Протасовых, потом одна из них будет Мойер, выйдет замуж за дерптского профессора, известного хирурга, учителя Пирогова, замечательного человека. Очень теплые мемуары Пирогов оставил о нем. А другая выйдет замуж гораздо хуже, за профессора Воейкова, увы, нехорошего человека, очень плохого. Но дело не в этом. Это очень интересные биографии. Это биографии, в которых невозможно отличить роман, поэзию и жизнь. Жизнь станет воплощением поэзии, и жизнь будет совсем невеселая, жизнь будет очень трагической. Маша, почти ребенком, влюбится в своего родственника, поэта Жуковского.

Жуковский принадлежит, с одной стороны, к старинной дворянской семье. Его отец — помещик Бунин, видимо, дальний предок писателя Ивана **Бунина**, чем Иван Бунин очень гордился, а мать — пленная турчанка Сальха, на положении как бы крепостной. В общем, то, что тогда считалось «сомнительным происхождением». Он — незаконнорожденный, и фамилия у него ненастоящая, поскольку отец предложил бедному дворянину Жуковскому, который был у него приживалом, дать ребенку свою фамилию. Воспитание Жуковский получает очень хорошее: как равноправный, и более того. В этом большом бунинско-юшковско-протасовском доме — большое культурное гнездо, и все — женщины. Тетушки, кузины — все молодые женщины, а он — один мальчик, всеобщий любимец, и не знает, что у него от рождения на лбу есть печать. До какой-то минуты, пока вдруг ему не открывается, что он не такой, как все, что у него нет тех прав, как у других. Это ему преподносится под благовидными предложениями.

Когда мать Маши узнает об их любви — а история чисто литературная, многократно повторявшаяся, описанная еще Руссо в «Новой Элоизе»: учитель (разночинец у Руссо, но, так или иначе, учитель тогда был социально несколько ниже, чем ученица) влюбляется в ученицу, она влюбляется в него, но брак невозможен, потому что общество имеет свои права, свои предрассудки, — между Жуковским и Машей вырастает стена. Этот гостеприимный дом становится вдруг чужим. С Жуковского мать Маши берет тайное слово, что он будет в доме терпим до тех только пор, пока скрывает свое чувство. Это чувство будет долго, мучительно проходить через всю жизнь, оно будет составлять содержание стихов Жуковского и дневников Маши, их страстной переписки. Затем Саша — вот вы ее видите — младшая резвушка, прелестная, которую в доме называют по имени героини баллады Жуковского — Светлана, выходит замуж за

приятеля Жуковского, дерптского профессора Воейкова, как я уже сказал, плохого человека, и все переезжают в Тарту, в Дерпт. Маша выходит замуж за Мойера. Он — благородный человек, щадит ее чув-

369

ства, глубоко ее почитает. Мойер не только прекрасный хирург, он друг Бетховена, он музицирует. Это не проходимец Воейков, это благородный человек. Создается мучительная романтическая ситуация. Жуковский приезжает в Дерпт. Отношения с Машей всегда свято платонические, но чувства очень мучительные. Затем Маша ждет ребенка и умирает в родах. Она похоронена здесь, в Дерпте, могила ее сохраняется, и тут, на этой могиле, Жуковский ночью написал одно из лучших своих стихотворений:

Ты предо мною
Стояла тихо.
Твой взор унылый
Был полон чувства,
Он мне напомнил
О милом прошлом...
Он был последний
На здешнем свете.
Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна!
Там все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли.
Звезды небес,
Тихая ночь!..¹

Девушка и женщина 1820-х годов в значительной мере создавала нравственную атмосферу общества. Когда мы говорим о том, откуда берутся люди декабристского круга, которых Герцен назвал «поколение богатырей, выкованных из чистой стали», мы находим много причин: и исторические события, и войны, и книги, но еще и детская комната, и гуманистическая атмосфера, которая так неожиданно ворвалась в семейную жизнь. Конечно, не во всю: не следует думать, что таких людей было очень много. Были и дикие помещицы — их было больше; были и милые, тихие люди, совсем неплохие, но весь смысл жизни которых был в солении огурцов и заготовлении на зиму продуктов, — старосветские помещицы, очень уютные, добрые. Но то, что в обществе уже были люди, живущие духом, и в значительной мере это были женщины, создавало совершенно иной мир.

Но несколько слов надо еще сказать и о детях. В этом мире складывалось и особое детство. Детям начали, как я сказал, шить детские кафтанчики, дети начали играть, но очень рано дети читали. Вообще, трудно указать время, когда книга играла бы такую роль, как в конце XVIII — начале XIX века. Книга ворвалась в жизнь. Только в 1780-е годы в России начал выходить первый детский журнал. Его издавал по инициативе Новикова Карамзин вместе с Петровым, а к началу XIX века книга уже была обязательным

¹ Жуковский В. А. 19 марта 1823 // Жуковский В. А. Собр. соч. Т. 1. С. 365.

370

спутником детства, и это были интересные книги. Конечно, дети, как женщины, читали романы. Как правило, женская библиотека, женский шкаф — это было первое детское чтение. Романы кружили голову. В романах были героические рыцари, которые спасали красавиц, служили добродетели и никогда не преклонялись перед злом. И ребенок начинал с книжных впечатлений. Это очень легко соединялось со сказкой, которую он слышал от няни. Одно не противоречило другому. Затем появлялись другие книги — Плутарх для детей¹. Плутарх — известный античный автор, автор биографий. Для детей — потому что это избранные биографии римских и греческих героев. Ребенок, только что переживший первую волну чтения, почувствовавший себя средневековым рыцарем-крестоносцем, воюющим с маврами или же побеждающим колдунов, рыцарем, который борется с великанами (кстати, очень рано в детскую библиотеку вошли Дон Кихот и Робинзон Крузо), принимается за Плутарха.

Молодые Муравьевы — будущие декабристы — уже в школе мечтают уехать на Сахалин, который им кажется необитаемым островом, и основать там идеальную республику Чока. Они собираются начать историю заново. Там не будет ни господ, ни рабов, не будет денег, они будут жить ради равенства, братства и свободы. Но еще большее обаяние для них имеет героический образ римского республиканца. В одних мемуарах есть трогательный рассказ. Будущий декабрист Никита Муравьев, которому шесть лет, на детском балу стоит у стены и не танцует.

Детские балы — это были особые балы, которые проходили в первую половину или в середине дня в частных домах или у танцмейстера Йогеля. Туда привозили и совсем маленьких детей —

шести-семи лет, но там плясали и девочки двенадцати, тринадцати или четырнадцати лет, которые уже считались невестами, потому что пятнадцать лет — это уже возраст замужества. Поэтому — помните, как в «Войне и мире» — на детский бал у Иогеля приходят прибывшие в отпуск молодые офицеры Ростов и Денисов, потому что там — уже барышни, а вместе с тем детский бал веселее. Там все проще, там нет этикета, и поплясать на детском балу очень-очень интересно.

Так вот, маленький Никитушка — будущий декабрист. Когда маман — разумеется, разговор идет по-французски — спрашивает его, отчего он не танцует, то он в ответ спрашивает: маман, а древние римляне танцевали? На что она ему отвечает: конечно, когда были маленькими. После этого Никитушка идет танцевать². Он еще не научился очень многим вещам, но уже знает, что будет древним римлянином и будет героем. Он еще плохо к этому подготовлен: уже знает математику и географию, и разные языки, одного языка не знает — русского. Поэтому когда в 1812 году он, еще мальчиком, решил убежать в армию, чтобы совершить героический поступок, его сразу же мужики поймали и решили, что это французский шпион. Отец

¹ Речь идет о кн.: Плутарх Херонейский. О детоводстве, или воспитании детей наставление. Переведенное с елинно-греческого языка С[тепаном] П[исаревым]. СПб., 1771.

² См. об этом: Декабристы. Летописи гос. Литературного музея. М, 1938. Кн. 3. С. 484.

371

его — известный организатор топографической школы, так сын несет с собой карты и, кроме того, по-русски не говорит. И тут еще случился его гувернер-француз, он его начал по-французски окликать. Хорошо что не убили! Могли убить.

Это — особое детство, которое создает людей, уже заранее приготовленных не для карьеры, не для службы. Людей, которые знают, что самое худшее в жизни — это потерять честь, сделать подлость; это хуже, чем смерть. Смерть — ну что ж, все великие римляне погибали героически, и это завидно! Интересно, когда генерал Ипсиланти, грек на русской службе (ему под Лейпцигом ядром оторвало руку), в 1821 году, в Кишиневе, поднял греческое восстание, Пушкин писал: «Он счастливо начал — и, мертвый или победитель, отныне он принадлежит истории — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! — завидная участь»¹. Все завидно: и то, что уже рука оторвана, — завидно, потому что он уже (а что значит, оторванная рука? Он уже принес жертву ради свободы) будет записан в истории.

Люди живут для того, чтобы их имена записали в историю, а не для того, чтобы выпросить у царя лишнюю тысячу душ. Так в детской комнате создается новый психологический тип.

Благодарю за внимание.

Лекция 4² (1986 г.)

Человек XVIII века жил как бы в двух измерениях. Полдня посвящено было государственной службе, полдня — частной жизни. Петербург пробуждался по барабану, и по этому знаку солдаты приступали к учениям, чиновники бежали в департаменты. Время служебное было точно установлено регламентом.

Мы употребили слово «регламент». На этом и стоит задержаться. Петербургскую, а в каком-то смысле и всю русскую городскую жизнь XVIII и XIX веков создал Петр I. Несколько слов о намерениях этого государя я хотел бы сказать. Идеалом Петра I было, как он сам выражался, регулярное государство, то есть правильное государство. Он полагал, что *правильно* то, что выстроено по линейке, подчинено геометрическим пропорциям, то, что сведено к точным однолинейным отношениям: проспекты — прямые, дворцы построены по проектам, все утверждено, все обосновано. Этот идеал очень быстро начал перерождаться в бюрократический идеал. Если, в каком-то смысле, он вначале имел резоны, о которых мы сейчас будем говорить, то довольно быстро он породил одно из основных зол и вместе с тем основных характерных черт русской жизни: ее глубокую бюрократизацию

¹ Пушкин А. С. Письмо В. Л. Давыдову. Первая половина марта 1821. // Пушкин А. С. Т. 10. С. 24.

² Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст лекции публикуется впервые.

372

и то понятие чина, для которого, по сути дела, ни на одном другом языке нет переводного адекватата. Поэтому, кстати, так трудно, например, переводить Гоголя, еще труднее его понимать людям, находящимся в другой системе отсчета.

Основой Петр считал государственную службу и поэтому регламентировал ее прежде всего. Чины, должности, которые существовали в допетровской России, отменены не были. Например, боярин, стольник. Это все продолжало существовать, но жаловать эти чины перестали, и постепенно, когда старики вымерли, с ними исчезли и чины. Вместо этого введена была новая система, которую долго разрабатывали. В 1721 году Петр подписал указ. Указ был подписан 1 февраля, но еще не вступил в силу, он был роздан государственным деятелям на обсуждение, было много замечаний, но Петр ни одного не учел. Это была его любимая форма демократизма: он все давал обсуждать, а потом делал по-своему. Потом вопрос обсуждался еще в Сенате, потом была создана специальная комиссия. И только в 1722 году этот закон, который получил название «Табели о рангах», вступил в силу. Что же он представлял собой?

Все чины Российской Империи были разбиты на четырнадцать классов по старшинству. Самым старшим был первый класс, самым младшим был четырнадцатый. Кроме того, по вертикали служба делилась по видам: военная, которая, в свою очередь, делилась на морскую и сухопутную; статская, как тогда говорили, *штатская*, и придворная. О гвардии будет сказано отдельно. Какой смысл был в этом? Основная, первая мысль законодателя была, в общем, трезвой. Она заключала в себе идею о том, что люди должны занимать должности по способностям и по их реальному вкладу в государственное дело. Отменялось распределение чинов «по крови» (по знатности), отменялось то, что было большим злом в допетровской Руси, — назначение по роду. Специальный приказ — особая канцелярия — ведал этими вопросами. Это была очень запутанная система, она порождала массу скандалов, шумных дел, судебных разбирательств: имеет ли право данный сын занимать данное место, потому что и отец его занимал такое-то место. Даже в условиях военных действий, накануне сражений очень часто возникали распри между воеводами из-за права занять первое место по сравнению с другим (местничество, как тогда говорили). Начинался счет отцами, дедами — родом. Это была, конечно, для деловой регулярной государственности большая помеха. Первоначальная идея Петра состояла в том, чтобы привести в соответствие должность и оказываемый почет, но очень скоро это превратилось в бюрократическую лестницу, о которой сейчас и пойдет речь.

Учреждая Табель о рангах, Петр полагал, что ранги должны распределяться по реальным государственным заслугам. «Имеют всякое предстательство [то есть имеют превосходство], кто государству службу окажет». Правда, уже вначале была сделана оговорка: это не распространялось на членов царской семьи. Они получали превосходство по рождению.

Как делилась эта Табель о рангах? Четырнадцать классов распределялись следующим образом. Первый класс — это был очень редкий чин, очень мало людей его имели. В армейской жизни это был генерал-фельдмаршал, в статской службе — канцлер. Придворная служба первого класса не имела. Затем

373

шли в военной службе генерал от кавалерии, генерал от инфантерии и генерал-фельдцейхмейстер, то есть артиллерист, а в статской службе — действительный тайный советник. Третий класс — генерал-лейтенант (к третьему классу были приписаны и кавалеры ордена Святого Андрея, этот высший орден давал принадлежность к третьему классу), а в статской службе — тайный советник. Потом шел генерал-майор, который соответствовал в статской службе действительному тайному советнику или обер-прокурору. Обер-прокурор имелся в Сенате и в Синоде. Это была особая должность, которая как бы представляла лицо царя, отсутствующего на заседаниях. На этой ступени к генерал-майору в армии приравнивался полковник в гвардии. Вот сейчас и поговорим о гвардии.

Гвардейских чинов старше полковника вообще не было. Полковником гвардейских полков, как правило, был царь, но это не отменяло того, что в гвардейских полках имелись и другие полковники. Если гвардеец переходил в армию, он получал лишний чин. Значит, тот, кто в гвардии был полковником, то есть особой четвертого класса, как тогда говорили, переходя в армию, должен был стать особой третьего, иногда второго — тут точного закона не было, два чина или один чин прибавлялся... Поэтому, когда я буду говорить об армейских чинах, все время, чтобы высчитать планки гвардейцев, надо прибавить немножко.

Пятый чин — бригадир. Это чин несколько особый: средний между генералом и полковником, он был уничтожен в середине XVIII века и стал предметом насмешек. Слово «бригадир» стало названием для человека, имеющего уничтоженный чин и живущего в отставке. Это объяснит вам название комедии Фонвизина «Бригадир». Бригадир — еще не генерал, уже не полковник, ни мясо ни рыба. Как правило, бригадирский чин выдавался людям, которые достигли своего потолка по службе и генералами никогда не будут.

Далее шли полковник, подполковник, майор (его тоже иногда уничтожали) и так далее, до четырнадцатого класса.

Одновременно с распределением чинов шло распределение выгод и почестей. Бюрократическое государство создало целую лестницу отношений, нам сейчас совершенно непонятных. Вот позвольте напомнить одно место. Все мы читали «Ревизора», и на сцене видели, и все помним, что когда Хлестаков заврался, вошел в раж (он еще не сделал себя главнокомандующим и еще только начинает врать), то он говорит: «Мне даже на пакетах пишут: „ваше превосходительство“». Что это значит? И почему гоголевские чиновники так перепугались и стали говорить: «ва-ва-ва...шество, превосходительство»¹. Что такое? Дело в том, что обращаться к разным особам надо было в соответствии с их классом. Для особ первого и второго класса обращение было «ваше высокопревосходительство». Особая система обращений была к царю, о чем я дальше скажу. Значит, первый и второй классы — «высокопревосходительство», третий, четвертый — «превосходительство». Таким образом, Хлестаков (помните, как его Осип называет, — «елистратишка»?) — коллеж-

¹ Гоголь Н. В. Ревизор // Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. [М.], 1951. Т. 4. С. 50. Здесь и далее тексты Гоголя цитируются по этому изданию.

374

ский регистратор (самый младший, четырнадцатый чин), присвоил себе или же третий ранг (тогда он или генерал-лейтенант, или тайный советник, или кавалер андреевского ордена), или четвертый ранг. Тогда он генерал-майор, действительный статский советник или, что особенно, наверное, напугало чиновников, обер-прокурор Сената. А обер-прокурор — это ревизор сенатский, тот, кого посылают расследовать преступления. Правда, должен (поскольку мы находимся в университетской библиотеке) напомнить, что «ваше превосходительство» надо было писать еще и университетскому ректору, независимо от того, какого чина он был. К университетам было уважение.

Пятый ранг — этот вымороченный бригадир — был «ваше высокородие». Потом шло «высокоблагородие», и последние — с девятого по четырнадцатый класс — просто «ваше благородие». Кстати, «ваше благородие» обращались в быту вообще к дворянину, уже независимо от того, имел он чин или нет.

Целая наука была о том, как обращаться к царю. «Всемиловейший монарх», «Августейший монарх»... На разных бумагах надо было по-разному писать. Даже духовную сферу Петр регламентировал. К митрополиту и архиепископу надо было обращаться «ваше высокопреосвященство», к епископу — «преосвященство». К архимандриту, игумену и благочинному — «высокопреподобие», а к священнику — «ваше преподобие». Это стремление ввести жизнь в строгие бюрократические рамки распространялось и на женщин.

В Табели о рангах было специально подробно оговорено: «...на сопровит того имеют все девицы, которых отцы в 1-м ранге, пока они за муж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5-м ранге обретаются, а имянно, ниже генерала-маэора, а выше брегадира и девицы, которых отцы во 2-м ранге, над женами, которые в 6-м ранге, то есть ниже брегадира, а выше полковника. А девицы, которых отцы в 3-м ранге над женами 7-го ранга, то есть ниже полковника, а выше подполковника, и протчие против того, как следуют ранги. Дамы и девицы при дворе имеют, пока они действительно в чинах своих обретаются, следующие ранги получить»¹. Дальше шли женские ранги. Правда, Петр специально оговаривал, что «сие осмотрение каждого рангу не в таких оказиях требуется, когда некоторые яко добрыя друзья и соседи съедутся, или в публичных асамблеях, но токмо в церквах при службе божиеи, при дворовых церемониях, яко при аудиенции послов, торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, при крещениях, и сим подобных публичных торжествах и погребениях»².

Причем Петр, который, как только вводил закон, сразу же вводил и наказание за его нарушение, установил, что кто будет требовать себе выше ранга или же — что уж совсем смешно — свой ранг уступит (пропустит в дверь человека ниже рангом), платит штраф размером в двухмесячное жалованье. При этом одна треть идет доносителю, а две трети — государству. Бывало, что служили без жалованья. При Петре это было довольно часто. Меншиков вообще отменил чиновникам жалованье, говоря, что они и так много взяток берут. Так тот, кто без жалованья служил, должен был

¹ Табель о рангах всех чинов... М.. 1722. С. 10—11.

² Там же. С. 9.

375

«платить ему такой штраф, как жалованья тех чинов, которые с ним равного рангу».

Потом эти бюрократические ранги разрастались. Позже Вяземский записал в дневнике слова иностранца, который с изумлением говорил, что в Петербурге, на Васильевском острове, на Седьмой линии, он любил даму двенадцатого класса. Все — в цифрах. Так вот, при Анне, при Елизавете было установлено, дамы какого класса имеют право носить золотое шитье на платьях, а какие — серебряное, и какой ширины кружева.

Особенно важным было следующее обстоятельство. В XVIII веке, при Петре, учреждена была регулярная почта. На почтовых станциях имелись лошади, и те, кто ездили по государственной надобности, по подорожной или же на прогонных лошадях, даже по своей надобности, приезжая на станцию, оставляли усталых лошадей и брали свежих. Без очереди вперед пропускались фельдъегери с государственными срочными пакетами. Затем шли чиновники по рангам. Причем особы первого, второго и третьего классов могли брать до двенадцати лошадей, следующие — по восемь лошадей, вплоть до последних четырех классов, которым приходилось довольствоваться двумя лошадьми. Но очень часто бывало так: проехал генерал, забрал всех лошадей, поэтому если у тебя нет чина, то сиди на станции и жди.

Более того, чин обязательно надо было подписывать на любой бумаге. Если вы покупали что-нибудь или продавали, вы должны были писать свой чин, например: «Отставной гвардии поручик». Известный приятель Пушкина князь Голицын — редкий пример человека, который никогда не служил, — подписывался до старости «недоросль». Очень интересно, что создавался и особый ритуал писем. Передо мною очень интересная книжка, она была выпущена в 1825 году профессором Яковом Толмачевым и называлась «Военное красноречие». Она давала образцы заполнения бумаг и разного рода речей, которые «может полководец произнести». Но тут были и очень полезные инструкции, каким образом надо писать бумагу: чистая, ясная рукопись, без орфографических ошибок, и далее говорится, что в военных бумагах никаких постскриптов быть не должно. «Когда старший пишет к младшему, то обыкновенно, при означении звания, чина

и фамилии, он подписывает собственноручно только свою фамилию; когда младший пишет к старшему, то сам подписывает звание, чин и фамилию»¹. Таким образом, если младший пишет старшему (писал, конечно, писарь, пишущих машинок не было) и собственноручно ставит только подпись, это — оскорбление, мог быть скандал. Известен случай, когда сенатор, приехавший с ревизией, обратился к губернатору (а губернатором был один из графов Мамоновых, очень гордый человек) и написал вместо «Милостивый государь» — «Милостивый государь мой», то обиженный губернатор ответил ему письмом: «Милостивый государь мой, мой, мой», этим самым показав, что притязательное местоимение здесь неуместно. Мы сейчас не обращаем внимания на многие вещи. Например, на то, как мы ставим дату в письме. В те времена начальник ставил дату

¹ Толмачен Я. Военное красноречие, основанное на общих началах словесности. СПб., 1825. Ч. 2. С. 120.
376

сверху, подчиненный — снизу, и если подчиненный поставил бы дату сверху, он мог иметь большие неприятности.

Итак, бюрократический принцип быстро разрастался. Появились, как мы бы теперь сказали, типовые проекты, то есть высочайше утвержденные проекты фасадов зданий, какие могли строить частные лица. Те прелестные особняки XVIII века, которые так радуют наш глаз и которые мы так стараемся сохранить (а их разрушают все время), построены, как правило, по типовым проектам. Хочу зачитать один любопытный документ — «Распоряжение частному извозчику» (частный извозчик — тот, кто на своих лошадях ездит по городу). Оказывается, он не имеет права одеться, как он хочет: «Зимую и осенью кафтаны и шубы иметь какие кто пожелает, но шапки русские, с желтым суконным верхком и опушку черною овчиною, а кушаки желтые шерстяные. Летом, мая с 15, сентября по 15 число, балахоны иметь белые, холстяные, а шляпы черные с перевязью желтою стамедною, против данных на съезжей образцов, и кушаки желтые ж». То есть образцы даются в полиции.

Это особенно ярко проявилось в мундирах. Они были учреждены еще Петром, сначала для гвардии. Петр ввел униформу, для Преображенского полка — зеленую, для Семеновского — синюю. Потом вся гвардейская пехота была в зеленых мундирах. Форма была относительно простая, только офицеры имели золотые или серебряные галуны. Некоторая разница существовала в оружии. Вот на рисунке фузилер Преображенского полка (от слова «фузея» — ружье) петровской эпохи. В руках он держит байонет-штык и приделывает его к своему ружью. У него зеленый мундир и португеза через плечо. Далее — унтер-офицеры и солдат Преображенского полка. У унтер-офицеров в руках алебарды — знак унтер-офицера. А вот это — солдат. Гренадер Преображенского полка имел особую шапку, как видите. Помните, у Пушкина: «Сиянье шапок этих медных, / Насквозь простреленных в бою»¹. Дело в том, что простреленные шапки убитых солдат давали как почетный знак другим, и старые заслуженные солдаты носили медные гренадерские шапки с дырками. Или же — офицер лейб-гвардии Семеновского полка. То, что это офицер, мы видим по золотому или серебряному галуно, который пришивался офицерам по шляпе, рукавам и мундиру. Признаком офицера была офицерская трость и, кроме того, галстук. У солдат галстук был суконный, а тут был из полотна. Обратите внимание, офицер нарисован на фоне Ивангорода, и дальше видна Нарва. Вот бомбардир артиллерийского полка на фоне Кремля, у него короткая бомбарда, которая ставилась на алебарды, как вы видите. Бомбардиром Преображенского полка был Петр (под именем Петра Алексева). Вот офицер и рядовой Кирасирского полка, признаком здесь служит кираса. В кирасиры брали рослых молодцов, это была тяжелая кавалерия, и лошади у них были огромные, в отличие от гусар, которые были легкой кавалерией. Там были лошадки степные и люди невысокого роста. Вы видите тут офицера с серебряной кирасой и солдата в вороненой жилетке.

¹ Пушкин А. С. Медный всадник // Пушкин А. С. Т. 4. С. 382.

377

Но постепенно это все усложнялось, и после Павла I превратилось в любимую «науку царей». Александр I, человек образованный, с широкими интересами, занятый большими государственными делами, часами сидел с Аракчеевым и вымышлял ширину канта, цвет оторочки, длину португези, на эту тему следовали непрерывные приказы. У меня в руках книга — «Свод законов». Значительная часть этого тома заполнена распоряжениями и приказами о том, какие изменения вносятся в форму, как форму носить. Вот, например, открываю наугад. «О мундирах кадетского корпуса»: «Во втором кадетском корпусе у генералитета, штаб и обер-офицеров и кадетов переменены быть мундиры и сделаны сообразно двум данным образцам». Дальше идут образцы. Все изменения подписываются лично императором.

И Павел, и Александр, и Николай, и великий князь Константин постоянно заняты мундирами. Это превращалось в настоящую манию. Есть известный эпизод из жизни декабриста Лунина. Великий князь Константин Павлович, живший в Варшаве и командовавший Литовским корпусом и вообще русскими войсками в Польше, был совершенно помешан на мундирах. Он изобрел для улан новую форму с обилием ремешков, шнурков и проч. Декабрист Лунин, который служил в Варшаве в гвардейском Уланском полку и пользовался расположением великого князя, поспорил, что покажет, чего стоит эта новая форма. Он приказал выстроить уланов и скомандовал им: «с

коня!» — все соскочили; затем: «на конь!» — тут же все прыгнули на лошадей, и шнурки все полопались. Константин рассмеялся и сказал: «Наш, все штуки знает!»¹ Это делалось не для войны. Вообще, великому князю приписывают крылатую фразу: «война портит армию». Армия нужна не для войны. Тот же великий князь однажды сказал так: «троих убей, одного поставь». Значит, трех солдат муштруют до смерти, четвертый, который выживет, будет хорошим солдатом.

Так создавалась эта огромная бюрократическая машина с чином как главным стимулом. Чин очень скоро разошелся с реальной должностью и превратился в чистую фикцию. Вот чин, который так мучит Гоголя, он ведь, по сути дела, фиктивная вещь. Сумасшедший Поприщин с основанием говорит о чине: «...не какая-нибудь вещь видимая, которую можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же. как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добаться, — продолжает Поприщин, — отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?»² Чин — это слово-призрак, которое висит над жизнью и ею управляет. Но жизнь есть жизнь, и она всеми средствами сопротивлялась чиновному принципу.

Начнем с самого начала. Петр хотел, чтобы Табель о рангах давала преимущества за действительную службу и, как он говорил, отличала бы тунеядцев и тех, кто государству не служит, от действительно имеющих заслуги.

¹ См. об этом: *Завалишин Д. И. Декабрист М. С. Лунин // Исторический вестник. 1880. № 1. С. 148.*

² *Гоголь Н. В. Записки сумасшедшего // Гоголь Н. В. Т. 3. С. 206.*

378

При этом он установил, что прежде, чем получить первый офицерский чин, надо было и дворянину длительное время прослужить солдатом. Но жизнь очень легко начала обходить эти установления. Напомню вам начало «Капитанской дочки». «Матушка, — пишет Гринев, герой пушкинской повести, — была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук»¹. Так оно и делалось очень часто. Для этого, правда, надо было иметь в столице заступника — родственника, богатого человека — или просто взятку дать в полковую канцелярию. Человек, который таких возможностей не имел, мог, как, например поэт Державин, прослужить весь срок солдатом, прежде чем получить первый офицерский чин. А люди, которые имели защиту, действовали так, как родители Гринева: записывали младенца в службу, и он числился в отпуску. Пока он числится в отпуску, идет его стаж, и когда он являлся четырнадцати лет в полк, он уже получал сразу сержантский чин, а затем ему следовали и другие чины, особенно при наличии заступников.

Жизнь сопротивлялась бюрократическим принципам различными формами злоупотреблений. Казалось, что петровская государственность надежно защитила себя от всяческих случайностей, нерегулярностей системой приказов, указов, законов. Законов издавалось исключительно много — толстые тома. Они не исполнялись, а многие из них и не были рассчитаны на исполнение. Так, в течение царствования Екатерины II несколько раз издавался закон, запрещающий брать взятки. Однако поскольку не было закона, разрешающего брать взятки, то зачем было издавать второй раз точно такой же закон? Потому, что Екатерина прекрасно знала, что ни тот ни другой исполняться не будет. Более того, она смотрела на это сквозь пальцы и могла и посмеяться. Так, известного взяточника Воронцова она назвала «Роман — большой карман», а другому приближенному подарила визаный кошелек — чтобы было куда взятки класть. Но она прекрасно знала, что если одного взяточника убрать, то будет другой. И даже однажды сказала Державину с присущим ей трезвым цинизмом, что этот генерал-губернатор уже наворовался, а другой еще только начнет воровать.

Злоупотребления росли с необычайной силой. Они были неискоренимы, потому что государство как будто бы с ними боролось, а на самом деле государство их и порождало. Рядом с Табелем о рангах тот же Петр породил принцип фаворитизма. При Петре этот принцип не имел такого злокачественного характера: любимцы Петра не были с ним связаны никакими противозаконными связями, это просто были его друзья. Их было не так много, не все они хорошо кончили свою жизнь, но все-таки это были фавориты, которым Петр позволял то, что по закону позволяться не должно было. Потом, когда началось женское правление, фаворитизм стал своеобразным государственным институтом. При Екатерине — Пушкин правильно сказал, — что

¹ *Пушкин А. С. Т. 6. С. 393.*

379

«самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество»¹. Некоторые из ее фаворитов были серьезными государственными деятелями, например Потемкин, а некоторые были просто развратные молодые люди. Одни из них были скромные, то есть довольствовались миллионными подарками, десятками тысяч крестьянских душ, а в политику не мешались. Таков был Дмитриев-Мамонов, таков был Завадовский, а некоторые были с претензиями на

государственную роль, как Платон Зубов — самый последний фаворит и самый отвратительный. Но все воровали. Потемкин — человек бесспорных государственных талантов и широкого ума — был совершенно невозможный вор. Он все делал с размахом, и воровал с размахом. Однажды он украл рекрутский набор за год. Рекруты за год были собраны для армии, а он их повернул в свои деревни. Украл! Это уже такое богатырское воровство у него было... Точно так же на фронте, там, где Суворов жил в палатке, он строил себе мраморный дворец. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» рассказывал, как при Потемкине казенных курьеров гоняли в Петербург за устрицами. А такое дело, как, скажем, пригласить итальянца-скрипача, привезти в действующую армию, чтобы он сыграл один раз, и тут же отправить его назад, — это было простое дело. Злоупотребления, которые на самом деле насаждались тем самым государством, которое с ними боролось, противостояли бюрократическому миру. Но не только они.

Другим противодействующим бюрократии средством был обычай. Жизнь имела свои законы, и законы эти не укладывались в какие-то параграфы и побеждали параграфы. Так, например, в XVIII веке, хотя Петр хотел бы всех распределить по номерам и каким-то рангам, исключительно сильна была сила родства. Когда два человека встречались, первый разговор — счесть родными. Выяснялось, не была ли ваша бабушка сестрой такого-то, а такой-то ведь наш сосед, или же крестил у дедушки детей, или вместе с прадедушкой в полку служил. Эти негласные связи оказывали огромное влияние, и они не всегда были уж такими негативными.

Среди обычаев, противоречащих рангам, был особый и сложный обычай — дуэль. Дуэль была официально запрещена. Петр приказал дуэлянтов вешать, а если кто будет на дуэли убит, то вешать его труп вверх ногами, и секундантов тоже вешать. Закон этот не был отменен, и после каждой дуэли (а каждая дуэль была предметом военного аудиторского суда) аудиторы делали вид, что они обсуждают, нужно ли дуэлянтов вешать. Конечно, никогда об этом речи не было. Все цари — и Екатерина II, и Александр, и особенно Николай — все к дуэли относились отрицательно. Истребить этот обычай нельзя было, потому что кроме распоряжений начальства имелись неписанные полковые законы — законы чести. Они не всегда совпадали с государственными требованиями, но были очень сильны. Нарушив закон чести, нельзя было служить в полку. Офицеры выжили бы товарища, нарушающего внутренние нормы, принятые в данном полку. Могли просто и на дуэли убить. Эти законы внутренней чести не всегда были человеческими, но вместе с тем у них была и определенная положительная сторона. Они создавали

¹ Пушкин А. С. Заметки по русской истории XVIII века // Пушкин А. С. Т. 8. С. 127.

380

некое общественное мнение, некоторые пределы, которые нельзя было нарушить, некоторый нравственный суд. Не случайно Николай I так с этими неписаными нормами боролся.

Для того чтобы дуэль не была убийством, ее надо было провести по правилам. Для этого существовали секунданты: нормы, условия дуэли должны были протоколизироваться. Секунданты должны были следить за тем, чтобы не было таких штук, как у Грушницкого с Печориным, когда один пистолет оказался незаряженным. Вот у меня в руках настоящий дуэльный пистолет. Сюда завинчивался кремь, сюда сыпался порох, потом вкладывался пыж, специальным деревянным молотком забивалась круглая пулька (ее отливали), и с условного расстояния, о котором договаривались, стрелялись.

Можно было бы еще и о других случаях сказать, но, таким образом, мы выделили два направления — бюрократия и жизнь. Они боролись, и в одних случаях побеждало одно, в других — другое, и это создавало облик реальности, в которой находился человек той эпохи.

Лекция 5¹ (1986 г.)

Добрый день!

В прошлый раз мы говорили о том, что жизнь человека XVIII века, погруженного в регулярную империю, созданную Петром I, строилась на противоречии между бюрократическим регулярным государственным порядком и вторгающейся живой жизнью, которая этот порядок старалась разрушить. Наибольшую роль играла сама реальность в ее сложных противоречиях: огромные исторические события, и среди них в наше — интересующее нас сейчас — время следует, прежде всего, назвать войну 1812 года.

Отечественная война 12-го года явилась огромным событием, которое взорвало жизнь всех сословий русского общества, да, собственно говоря, и всей Европы. Войны в Европе не прекращались с 1792 года, вспыхивали то на Рейне, то в Италии, то захватывали Альпы, Испанию, перехлестывали в Египет. Но когда война захватила огромное пространство от Сарагосы до Москвы и на карту была поставлена, с одной стороны, империя Наполеона, а с другой — судьба всех европейских народов, события приобрели такую грандиозность, такой размах, что созданные искусственные перегородки треснули. Армия, которая, создавалась для парадов, армия, которая под бой барабана и звуки флейты должна была, как в балете, вышагивать, подымая ногу, армия, где обсуждались выпушки, петлички, — это была не та армия, которую потребовала история. История потребовала народной армии, огромных массовых усилий, огромных жертв. Парад заменился историческими событиями. Это перевернуло очень многое в жизни, и прежде всего перевернуло

Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст лекции публикуется впервые.

381

духовный мир людей. Человек (а мы с вами занимаемся, по сути дела, человеком, внешними условиями, бытом и его внутренним, духовным ростом), который прошел через этот пожар, стал другим человеком. Для того чтобы понять так часто нами цитируемую фразу, сказанную декабристом Бестужевым: «Мы дети двенадцатого года», надо погрузиться в атмосферу 12-го года. Конечно, все мы знаем по школьным воспоминаниям, по прочтенным книгам, что такое война 12-го года, что такое Бородинское сражение и что такое война 13-го года, и Лейпцигская битва народов, и Бауцен, и Кульм, и потом Монмартр, и взятие Парижа, все это мы помним. Но одно дело посмотреть со страниц учебника, исторических трудов, с нашего исторического расстояния, а другое дело — посмотреть изнутри, взглянуть на события глазами людей той эпохи. Тогда кое-что будет выглядеть иначе. И сегодня, когда мы говорим о людях 12-го года, я хотел бы меньше всего говорить об известных всем генералах 12-го года. Помните, как замечательный поэт Александр Твардовский уже о другой войне сказал: «Города сдают солдаты, генералы их берут»¹. Так вот, солдаты сдают города, солдаты выносят тягость войны. При всем значении и прекрасном звучании этих имен генералов 12-го года, при том что мы можем пройти в галерею 1812 года в Зимнем Дворце и посмотреть на эти лица, о которых, помните, Пушкин говорил:

И мнится, слышу их воинственные клики.

Из них уж многих нет; другие, коих лики

Еще так молоды на ярком полотне,

Уже состарились и никнут в тишине

Главою лавровой² —

это — генералы. Но войну делали не только генералы, войну делали солдаты, а для темы, которая сейчас нас занимает, нам будет интересна молодежь: то поколение молодых дворян, офицеров, которое, собственно говоря, начинало жизнь на полях этих сражений.

Надо себе представить, насколько менялась жизнь гвардейского офицера, попавшего в боевые условия. Во-первых, боевые условия отменяют массу ненужных, но обязательных в мирное время деталей военной жизни: отпали парады, отпали побудки — потому что на войне никого не будят и никого спать не укладывают, этим занимается неприятель. Он регулирует, когда солдат может спать, когда ему нельзя спать. Еще в XVIII веке поэт Третьяковский говорил: «Не торопится сей в строй по барабану»³. Тут никаких барабанов, никакой шагистики, зато — война, настоящее дело. Здесь уже не спрашивают солдата о петличках и о вычищенных сапогах, здесь другие критерии. А главное, что офицерская молодежь оказалась гораздо ближе к солдатам. Когда-то офицер, молодой дворянин, — командир роты или батальона — с солдатом встречался на время учения: приходил к восьми утра и где-то к двенадцати, к часу уходил. Дальше уже занимался фельдфебель. Теперь

¹ Твардовский А. Василий Теркин. Книга про бойца. М., 1976. С. 198.

² Пушкин А. С. Полководец // Пушкин А. С. Т. 3. С. 330.

³ Третьяковский В. К. Стрфы похвальные поселянскому житию // Третьяковский В. К. Избр. произведения. М.; Л., 1963. С. 192.

382

солдат и офицер рядом находятся. И мы увидим, какое огромное это окажет воздействие. Но не только это.

В 1812 году, вообще в ту пору, война была маневренной, окопов не копали. Даже для таких больших сражений, как Бородинское, — лишь наскоро сделанные флешы. Поэтому когда, скажем, Скалозуб в «Горе от ума» говорит: «Засели мы в траншею. / Ему дан с бантом, мне — на шею»¹, то это ирония. Во-первых, там ведь назван день, когда егерские полки не были в сражении, и, во-вторых, «засели в траншею» — значит, это было где-то в тылу. Так вот, война подвижная. Война началась с отступления. По старой Смоленской дороге тянулась Первая, а потом, когда соединились обе, и Вторая армия. Она растягивалась в густую колонну на 30—40 верст. Кавалерист мог проскакать это расстояние за несколько часов, поэтому съездить в соседний полк к приятелю, к брату, к соседу по поместью стало очень просто. Фактически вся молодежь России была собрана на Смоленской дороге. Они все перезнакомились, все стали братьями. Если у генералов, может быть, еще сохранились коляски, денщики и деньги (военные в ту пору питались за свой счет: надо было все покупать; а страна была разорена), то у офицеров очень скоро потерялись коляски, отстали где-то денщики, крепостные повара оказались где-то совсем в других деревнях. Братья Муравьевы — это дневник потом известного генерала Муравьева-Карского — оказались в прожженных шинелях, один заболел. Хаты забиты, раненые лежат, раненых бросают, тяжело, тиф начался, вши появились. И молодые люди, которых воспитывали французы-гувернеры, которые проводили детство в Швейцарии, вдруг увидели Россию. Они увидели народные страдания. Они познакомились друг с другом, получили крещение огнем.

Я хочу привести для начала один пример. В 1812 году исполнилось девятнадцать лет молодому человеку, Александру Чичерину (когда ему исполнилось двадцать лет, он был убит). Он погиб в Кульмском сражении, то есть был тяжело ранен и умер в Праге, в госпитале, и похоронен на русском кладбище в Праге, памятник стоит до сих пор. Этот, собственно говоря, мальчик вел

дневник, и естественно — на французском языке. Воспитателем его был Малерб, довольно известный швейцарский преподаватель в Москве, тот самый Малерб, который был воспитателем декабриста Михаила Лунина. Именно Малерба Лунин называл в числе повлиявших на него людей. И мы сейчас увидим, о чем молодые люди говорят и какие у них впечатления.

Семеновский офицер, которому будет двадцать лет, он — в одной палатке с князем Сергеем Трубечником, будущим декабристом, потом неудачным диктатором 14 декабря и многолетним каторжником, с Якушкиным, тоже будущим декабристом и каторжником; заезжает к ним Михаил Орлов — будущий декабрист, да и сам Чичерин, если бы его не сразила пуля француза из корпуса маршала Вандама, наверное, и он бы в Сибирь попал... Что же пишет этот молодой человек?

«Дневник Александра Чичерина (1812—1813)» начинается сразу после Бородинского сражения. Были и предшествующие дневники, но они потеряны.

¹ Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 43.

383

Он пишет о своих впечатлениях и делает рисунки. После Бородинского сражения до Москвы, как он записывает, «за день я сделал три рисунка и написал две главы». Он не прекращает своей литературной деятельности, и это очень интересно. Интересно потому, что это не книжная, не типизированная, а реальная, бытовая, «случайная» жизнь, которая и есть настоящая жизнь. «После Бородинского сражения мы обсуждали ощущения, которые испытываешь при виде поля битвы; нечего говорить о том, какой ход мыслей привел нас к разговору о чувстве. Броглио <Броглио — это старший брат лицеиста, однокурсника Пушкина> не верит в чувство <...> — Все это химеры, — говорил Броглио, — одно воображение: видишь цветок, былинку и говоришь себе: «Надо растрогаться» и, хотя только что был в настроении самом веселом, вдруг пишешь строки, кои заставляют читателей проливать слезы. Я спорил, возражал ему целый час... Наконец пора было ложиться спать, а на завтра мы прошли через Москву». Следующая запись: «Война так огрубляет нас, чувства до такой степени покрываются корой, потребность во сне и пище так настоятельна, что огорчение от потери всего имущества <он все потерял: денщика, коляску, ничего у него, кроме шинели, не было> незаметно сильно повлияло на мое настроение — а я сперва полагал, что мое уныние вызвано только оставлением Москвы». Этот мальчик хотел бы быть только патриотом, но он еще должен кушать, спать, и это его, молодого романтика, даже огорчает. У него в кармане оказались ассигнации, он их вынул: «В тоске и печали я вертел в руках несколько ассигнаций <...> Я дрожал при мысли о священных алтарях Кремля, оскверняемых руками варваров. Поговаривали о перемирии. Оно было бы позорным <...> Итак, я держал в руке ассигнацию. Взглянув на нее, я увидел надпись: „Любовь к отечеству“». Он очень воспламенился этой надписью на ассигнации, но, повернув ассигнацию, прочел — 50 рублей. «Разочарование было ужасно!»¹

Этот юноша, почти ребенок, через несколько дней после оставления Москвы записывает: «Я всегда жалел людей, облеченных верховной властью. Уже в 14 лет я перестал мечтать о том, чтобы стать государем». Это очень характерно. Что значит мечтать стать государем? Конечно, никакой кадет (а в четырнадцать лет Чичерин был в Кадетском корпусе) не мог мечтать стать императором России. Но у всех перед глазами был Наполеон, армейский офицер-артиллерист, который стал императором Франции и держит в руках судьбы Европы. «Мы все глядим в Наполеоны», — говорил Пушкин. Однако четырнадцати лет Чичерин об этом уже перестал мечтать и начинает мечтать о свободе.

Затем идут интересные записи о Тарутинской битве. Армия вышла из Москвы. О московских впечатлениях мы еще будем говорить. У Чичерина есть интересные записи о том, как, видя Москву, он не может поверить, что ее видит. А затем — Тарутино, фланговый марш, армия вышла как будто бы в тыл французам, остановилась, — короткий перерыв, начинаются разговоры. Вот тут, в палатках («друзья собираются в моей палатке»), во время остановки (около месяца — перерыв в боях) происходит исключительное

¹ Дневник Александра Чичерина. 1812—1813. М., 1966. С. 17—18.

384

умственное созревание. Я прочту еще только одну запись: «Идеи свободы, распространившиеся по всей стране, всеобщая нищета, полное разорение одних, честолюбие других, позорное положение, до которого дошли помещики, унижительное зрелище, которое они представляют своим крестьянам, — разве может все это привести к тревогам и беспорядкам?.. Мои размышления, пожалуй, завели меня слишком далеко. Однако небо справедливо: оно испосылает заслуженные кары, и может быть, революции столь же необходимы в жизни империй, как нравственные потрясения в жизни человека... Но да избавит нас небо от беспорядков и от восстаний, да поддержит оно божественным вдохновением государя, который неустанно стремится к благу, все разумеет и предвидит и до сих пор не отделял своего счастья от счастья своих народов!»¹

Это очень типично. В 1812 году, конечно, ни один человек в России не мог думать о народной революции. Это было бы совершенно не ко времени, и этого не было. Надежды возлагались на государя. Но необходимость свободы и допустимость, в крайнем случае, и революции приходит в голову на старой Смоленской дороге мальчику, которому еще нет двадцати лет. Это — влияние военных событий.

Иначе, гораздо более зрелым, встретил войну другой человек, о котором я тоже хотел бы немножко рассказать. Ему было тридцать лет. Это был профессор нашего Тартуского университета Андрей Сергеевич Кайсаров. У этого человека уже был жизненный опыт. Он родился в 1782 году и тоже погиб в 1813-м, — тот год, в котором был убит Чичерин, стал и его последним годом. Только погиб Чичерин под Кульмом, в Южной Германии, а Кайсаров под Гайнау, гораздо севернее. Кайсаров начал свою сознательную жизнь в кружке молодых свобододолюбцев в Москве, в последние месяцы жизни Павла. Эти молодые люди зачитывались Шиллером, их идеалом был Карл Моор, они все мечтали убить тирана. А затем дороги у них пошли разные. Самый талантливый — Андрей Тургенев — рано умер, другой блестящий: талант — Мерзляков — стал московским профессором (о нем Вяземский позже скажет «...добрая душа. Жаль, что он одурел в университетской духоте»²). Третий участник — Жуковский — нам тоже знаком, и мы в прошлый раз говорили о его связях с Тарту, о Маше Протасовой-Мойер. Вот среди них и Кайсаров.

Кайсаров начинал свой путь человеком, совершенно не стремящимся к научной жизни. Он был военным, молодым офицером вышел в отставку и занялся вначале литературой. Шиллер его увлек, потом Гете, потом Шекспир. Уже он немецкий и английский языки знает, как русский. Он уезжает в Геттинген и поступает в университет. Помните: «...Владимир Ленский, / С душою прямо геттингенской, / Красавец, в полном цвете лет, / и первоначальный вариант: Крикун, мятежник и поэт»³. В Геттингене, у знаменитого Шлецера, Кайсаров изучает русскую историю, экономику, и здесь в 1806 году

¹ Дневник Александра Чичерина. С. 47.

² Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу. 28 февраля 1824 // Остафьевский архив князей Вяземских: В 5 т. СПб., 1899. Т. 3. С. 13.

³ Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 17 т. 1937. Т. 6. С. 557.

385

на латинском языке (уже оказалось, что надо овладеть и латинским языком, — весь диспут идет по-латыни) он защищает диссертацию «De manumittendis per Russian servis», что следует перевести — «О необходимости освободить рабов в России».

Затем Кайсаров уезжает в Англию. В Лондоне и в Эдинбурге он снова учится, в Эдинбурге получает второй университетский диплом. Затем он отправляется по славянским странам и собирает фольклор. Теперь уже он владеет всеми славянскими языками. Затем его избирают профессором Дерптского университета. Он приезжает в Тарту, и, видимо, здесь он произвел хорошее впечатление, потому что уже через год был избран деканом. Он начал курс русского языка, русской литературы, начал работу над словарем всех славянских языков (грандиозный план) и над словарем древнерусского языка. Но тут запахло войной. Еще войны не было, но уже гвардия отправилась в Вильно (Вильнюс), и туда же отправился и император. Из Дерпта (из Тарту) Кайсаров с еще одним профессором послал письмо, предложив организовать в армии типографию. Кайсаров владел уже всеми европейскими языками, а для многонациональной армии Наполеона нужно было готовить пропагандистский материал на разных языках. Кроме того, он предложил издавать первую в истории России полевую армейскую газету. Она вышла, один номер удалось найти, он на двух языках — по-русски и по-немецки. Из Тарту, из университетской типографии, отправился станок, несколько типографских рабочих-эстонцев; к сожалению, имена их узнать не удалось (между прочим, о работе Кайсарова в Тарту исследовательница Малле Салупере собрала очень интересный материал, который, надеюсь, будет скоро опубликован).

Кайсаров начал работу трудную: издание печатной продукции в отступающей армии. Он получил чин майора ополчения, но, когда в армию приехал Кутузов, положение его несколько изменилось. Его брат, Паисий Кайсаров, которого вы, наверное, видели на известной картине «Совет в Филях» — он запечатлен последним, стоящим, — был любимым адъютантом Кутузова. Кайсаров сыграл большую роль в организации типографии штаба. Когда Кутузов умер, и Паисий, и Андрей пошли в партизанский отряд, и там Андрей Кайсаров погиб.

Хотелось бы напомнить еще одну человеческую судьбу — человека более известного, поскольку он был не профессор, которого знают мало, и не мальчик, погибший прежде, чем что-то успел сделать, а знаменитый поэт. Это был Денис Васильевич Давыдов, образ которого очень ярко отражен в «Войне и мире» в Васье Денисове. Конечно, Толстой не копировал Дениса Давыдова, а только типизировал некоторые черты. Денис Давыдов — человек пламенного воображения, профессиональный военный, тактик, человек, слава которого потом распространилась на всю Европу, и портрет его висел над столом у Вальтера Скотта. Денису Давыдову было очень приятно, что знаменитый «шотландский отшельник», так называли Вальтера Скотта, повесил портрет русского поэта и партизана над своим столом.

Денис Давыдов открыл в войне новую страницу. Я только что сказал, что братья Кайсаровы ушли в партизанскую партию. Это не совсем то, что мы сейчас называем партизанами. Сначала так именовались небольшие группы

386

легкой кавалерии. Как правило, это были гусары и казаки, которые отправлялись на коммуникации противника, если они были растянуты, и пресекали доставку необходимых

припасов, а главное — уничтожали фуражиров. Денис Давыдов эту уже известную форму борьбы (небольшие отряды) преобразил, изменив идею, в народную войну. Он предложил Кутузову план так называемой малой войны: отправление небольших партий в тыл неприятеля с учетом поддержки со стороны населения. При этом Денис Давыдов очень интересно писал о том, что народная война потребовала совершенно других навыков.

Когда впервые его гусары показались в деревнях в тылу французов, то мужики их чуть не перестреляли, потому что мундиры (и французские, и русские) — в золотом шитье — всё для мужиков было чужое, мужики их приняли за французов. И Денис Давыдов пишет, что для участия в народной войне он надел армяк, отпустил бороду (это очень важно, потому что после Петра дворянин должен был быть бритым; тем самым он как бы отменил петровскую реформу) и, как он сам писал, вместо ордена св. Георгия повесил на грудь икону св. Николы. Вот в таком народном виде и главное — не говоря по-французски — это тоже было запрещено, отряд Дениса Давыдова начал быстро обрастать крестьянами. Это и послужило сигналом к той народной войне, которая сыграла большую роль в судьбе наполеоновской армии. Но еще большую роль она сыграла в перестройке сознания русского образованного человека. Это слияние с народным началом сам Денис Давыдов воспринимал как романтизм. В своей книге «Опыт теории партизанского действия», которая вышла в свет в начале 1820-х годов (эта книга военная — теоретическая, но в ней много подлинной поэзии), он написал замечательные строки о партизанском действии: «Сие исполненное поэзии поприще требует романического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою, прозаическою храбростию. — Это строфа Байрона»¹.

От мальчика Чичерина до Грибоедова тема 1812 года, тема участия народа в истории, связалась с темой народной свободы, с темой крепостного права. Это и стало реальным наполнением формулы: «Мы дети двенадцатого года».

Благодарю за внимание.

Лекция 6² (1986 г.)

Добрый день!

Мы до сих пор говорили о том, что делали и как жили мужчины в те годы, а сейчас немного поговорим о прекрасной половине человеческого рода, о том, что же делали девушки, женщины и как складывалась их жизнь приблизительно в те же годы.

¹ Давыдов Д. Опыт теории партизанского действия. М., 1822. С. 83.

² Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст лекции публикуется впервые.

387

Еще с начала XVIII века, с царствования Петра I, такой важный в женской жизни вопрос, как выход замуж, связался неожиданно с вопросом образования, поскольку Петр специальным указом предписал неграмотных дворянских девушек не венчать: если девушка не может подписать хотя бы свою фамилию, венчаться ей нельзя. Так что вопрос о женском образовании возник сразу же, хотя пока что и в очень упрощенной форме.

Кстати, не следует думать, что до Петра женщины были неграмотные. Известное понижение культурного уровня произошло, видимо, в XVI, отчасти в XVII веке. Сейчас мы в Новгороде извлекаем из земли берестяные грамоты — на бересте нацарапанные записочки XII, XIII, XIV веков. Эти записки писались не для боярыни, не для игуменьи монастырской. Бытовое содержание свидетельствует о том, что писались они для употребления в обычной семье — крестьянской, купеческой и что женщина в этом кругу была, в общем, уже грамотной.

Но к началу XVIII века — новые требования, новое время и возник уже вопрос о женском образовании. Сразу он был поставлен очень остро. Необходимость этого образования и его характер стали предметом споров и связались с общим пересмотром типа жизни, типа быта. Отношение к грамотности было еще очень напряженным, очень сложным. Так, известный мемуарист Андрей Болотов вспоминает, что одна невеста ему отказала, потому что он читал много книг и про него пустили слух, что он колдун. Когда он с помощью свахи искал себе невесту и обязательно хотел, чтобы она была грамотная, то сваха сказала, что одна и читать, и писать может, а коли мать прикажет, то и книги читает.

Как только встал вопрос об образовании женщины, возник вопрос и об учителях, и об учреждениях, где это образование можно получить. Литераторы, мыслители той поры уже не сомневались в том, что женщина, как и мужчина, должна получить некие культурные, образовательные сведения. Французский писатель епископ Фенелон был автором книги «О воспитании девиц» — той самой, которую читает Софья в «Недоросле» Фонвизина. Стародум, увидев, что она читает (он сам этой книги Фенелона еще не читал), говорит: «...читай ее, читай. Кто написал Телемака <а это Фенелон>, тот пером своим нравов развращать не станет»¹. Кстати замечу, что в той же комедии Простакова возмущена: Софья получила письмо и сама может прочесть. Для Простаковой это падение нравов: «Вот до чего дожили. К деушкам письма пишут! Деушки грамоте умеют!»²

А между тем почти за двадцать лет (чуть-чуть меньше) до того, как Фонвизин написал свою комедию, поэт Сумароков в сатирическом стихотворении «Хор ко превратному свету» рисует

прекрасный образ совсем другого мира, чем в России:

Прилетела на берег синица
Из-за полночного моря,
Из-за холодна океяна.

¹ Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. С. 149.

² Там же. С. 113.

388

Спрашивали гостейку приезжу,
За морем, какие обряды.

И вот синица отвечает, что «все там превратно на свете», то есть все там иначе. Там, конечно, не берут взятки, воеводы там честные, в суде там судят по правде.

За морем того не болтают:
Девушке-де разума не надо,
Надобно ей личико да юбка,
Надобны румяна да белилы.

<...>

Все дворянские дети там во школах...

Кончается картина этого прекрасного утопического мира несколько меланхолически:

Пьяные там по улицам не ходят,

И людей на улицах не режут¹.

Вот в этом прекрасном мире и дворянские девушки тоже учатся.

Учебные заведения для девушек — это была потребность времени — появились двух типов. Возникли частные пансионы, о которых речь будет дальше, но одновременно возникла и государственная система. Государственная система была связана с именем довольно известного деятеля Бецкого, который в эту пору был очень приближен к правительственным кругам и, в общем, выражал настроения императрицы Екатерины II.

Екатерина II хотела, или делала вид, что хочет, перемен и носилась с очень широкими воспитательными проектами, с идеей создания совершенно нового человека. Хотела она создать и новые города. Была, например, такая идея после пожара в Твери — выстроить там новый идеальный город и заселить его новыми идеальными людьми, а для этого надо было создать новую систему воспитания. Так возникло то учебное заведение, которое потом просуществовало довольно долго и называлось по месту, где было расположено, Смольным институтом. Ученицы его назывались смолянками.

Смольный институт в помещении Воскресенского Новодевичьего (Смольного) монастыря, тогда на окраине Петербурга, был задуман очень широко. Предполагалось, что ученицы будут обучаться по крайней мере двум языкам кроме родного — немецкому и французскому (а потом еще в планах писали и итальянский), и физике, и математике, и астрономии, и танцам, и архитектуре. Как потом обнаружилось, все это в значительной мере осталось на бумаге.

Как выглядел в самом деле этот институт? Конечно, он менялся с годами, но если говорить в общем, институт делился на две половины. Одна называлась благородною, дворянскою, а другая — мещанскою, хотя в мещанскую тоже принимали дворянок, но менее родовитых, и детей чиновников. Позже эту обидную кличку сняли, и дворянская половина стала называться Никола-

¹ Сумароков А. П. Избр. произведения. Л., 1957. С. 279—281.

389

евской, а мещанская — Александровской. Но между этими двумя половинами всегда шла вражда, и дворянская дразнила мещанскую за то, что там был меньший срок обучения. Зато девушки из так называемой мещанской половины писали в ответ, что надо бы им выучить басню Крылова «Гуси» — о том, что предки Рим спасли, «а вы, друзья, лишь годны на жаркое».

Все обучение длилось девять лет. Привозили маленьких девочек шести-семи лет, и в течение девяти лет они, как правило, не видели дома. Если родители, жившие в Петербурге, еще могли их посещать (хотя посещения эти специально ограничивались), то небогатые дворяне — нет. В институт принимали в основном небогатых дворянок, это было отличие, привилегия. Девушки из очень знатных семей тоже попадали туда, но, как правило, это были сироты. Если какой-нибудь заслуженный генерал погибал при штурме крепости, то императрица в виде милости могла его девочку взять в институт. Люди более богатые, более знатные предпочитали домашних гувернеров. Тем более что, как мы дальше увидим, в институте были суровые порядки, да и кормили очень плохо.

Состав был смешанный, как после в Лицее, и обстановка отчасти напоминала лицейскую. С одной стороны, в Смольный институт отдают своих детей не очень родовитые семьи, а с другой — он близок ко двору: всех девочек знает императрица. Потом Александр I и Николай I очень любили посещать этот «девишник». И многие вышедшие оттуда — те, которые выходили с отличием (с шифром), — становились фрейлинами двора. Так что это было отчасти почетно. Учились девять лет, как я сказал. Обучение делилось на три ступени по три года. Первая ступень — эти девочки называются «кофейные». Они носят кофейные платья с белыми коленкоровыми передниками, живут в дортуарах по девять человек. В каждом дортуаре есть еще приставленная к

ним дама, кроме того, есть еще классная дама; надзор очень строгий и почти монастырский. Средняя группа — «голубые». Это — «отчаянные». «Голубые» всегда безобразничают, дразнят учительниц, не делают уроков. Это переходный возраст, и сладу с ними нет никакого. Старшая группа называется «белые», хотя они носили зеленые платья, но белые платья у них были бальные, им уже позволяли в институте устраивать балы, где они танцевали «шерочка с машерочкой» и только в особых случаях — с ограниченным числом придворных кавалеров. Приезжали туда и великие князья.

Обучение было очень поверхностным: в основном языки (языки требовали серьезно) и танцы. Танцы тоже были поставлены очень хорошо. Еще — рукоделие. Что касается других предметов, которые так пышно были включены в программу, то они были преподаваемы очень поверхностно. Физика сводилась к забавным фокусам, математика — к самым поверхностным началам. Вот только литературу немножко лучше преподавали, когда преподавателями стали Никитенко — известный литератор и цензор — и Плетнев. Плетнев даже Пушкина читал с этими девицами. И девицы очень краснели, когда он им читал такие строки: «Но *панталоны, фрак, жилет, I* Всех этих *слов* на русском нет»¹. Они говорили: какой ваш Пушкин *indecent*,

¹ Пушкин А. С. Т. 6. С. 21.

390

то есть «непристойный», потому что слово «панталоны» у них вызывало ассоциации...

Те, кто были победнее, учились очень прилежно, потому что занявшие первые места получали при выпуске шифр. Это была такая украшенная бриллиантами монограмма имени императрицы. Окончившие с шифром, особенно если это были хорошенькие девушки, могли стать фрейлинами, что для бедной дворянки было, конечно, очень важно. Девушки из знатных семей, которые и не собирались быть фрейлинами, а хотели, окончив институт, только выйти замуж, учились спустя рукава. Экзамены проводились для показа. Когда присутствовал царь — это был царский экзамен, — билеты давались заранее и девушки их выучивали, но все равно волновались, как свидетельствуют мемуары. Правда, кроме того, был еще более деловой экзамен.

Вообще, обстановка в этом привилегированном учебном заведении была весьма тяжелой. Фактически дети были полностью отданы на произвол надзирательниц. Были хорошие надзирательницы, а некоторые мемуаристки уже в преклонном возрасте вспоминали о настоящих ведьмах. Поскольку родители, как правило, не приезжали, то деспотизм этих надзирательниц довольно сильно сказывался. А главное — сурово содержали. Подъем был в шесть утра. Уроков было каждый день шесть или восемь. Правда, на уроках мало что делали, но все-таки сидели. Играть было запрещено, на это было отведено только строго определенное время. Режим был полумонастырский. Особенно контролировались все контакты с внешним миром. Девушки выходили из института, совершенно не имея представления о внешнем мире. Им казалось, что за стенами института — бал и как только они выйдут, они сразу же будут на балу, на придворном балу. Ничего, кроме этого, они не видели. Нравы были такие, которые складываются в закрытом заведении, — сплетни.

Я сказал, что кормили их плохо. Начальство, особенно эконоом, явно наживалось на этом. Однажды Николаю I, на маскарадном балу, одна бывшая институтка пожаловалась. Он не поверил. Она сказала: вы приходите с парадного крыльца, и за три дня о приходе известно, а вы придите с черного, прямо на кухню. Николай, который любил сочетать чрезвычайную бюрократию с личным контролем — с тем, что он нагрывает, захватит врасплох и наведет порядок (это была его мания), — действительно нагрнул на кухню. Эконоом воровал, и в котле варилось какое-то варево. Он спросил — что это, ему сказали — уха; там оказалось несколько маленьких рыбок. Но в конечном счете эконоом выпутался, и все кончилось благополучно для него. Чуть-чуть лучше было положение богатых девушек. Они, во-первых, могли вносить специальную плату и тогда могли утром пить чай у воспитательницы в комнате, отдельно. Кроме того, они подкупали сторожа, и он бегал в лавочку и приносил им в карманах и даже запиханные за голенищами сапог сладости, и потихоньку они это съедали.

Как только девочки-кофейницы попадали в институт, первое, что им говорили, — что они должны кого-то «обожать». Это была институтская манера. Они должны были выбрать себе предмет любви, как правило, это были девицы из «белой» группы. На вопрос одной простодушной девочки, которая потом рассказывала об этом в мемуарах, что значит «обожать», ей сказали,

391

что надо выбрать «предмет» и, когда он проходит мимо, шептать: «восхитительная, обожаемая, ангел», писать это на книгах и ставить восклицательные знаки, и еще что-то такое. Обожали кофейницы девочек из старшей группы, «голубых» никто не обожал: они дергали за волосы и дразнили. Но в старшей группе обожали, как правило, членов царской семьи (это культивировалось) — императрицу, но особенно императора. При Николае I это поощрялось. Николай был, особенно смолоду, хорош собой: он был высокого роста, с очень правильным лицом (под конец вырос у него живот, а так он был молодец хоть куда!). Причем это была такая истерическая привязанность, хотя обожание имело совершенно платонический характер.

Эта атмосфера обожания становилась почвой для вспыхивавших иногда серьезных романов. Такие романы возникали, но это считалось чрезвычайным преступлением. Даже если дочь

воспитательницы, не находящаяся в институте, завела себе какую-нибудь внебрачную связь, воспитательница или должна была покинуть место, или же это очень осуждалось, считалось уже Бог знает чем. В этом смысле очень характерна и интересна трагическая история любви Тютчева. Федор Иванович Тютчев — поэт, дипломат, петербуржец, две его дочери содержатся в Смольном институте. В институте была одна из уважаемых классных дам, потом выполнявшая директорские обязанности, — Анна Денисьева. У нее — племянница, которая недавно окончила институт, Елена Александровна Денисьева. Елене Александровне было двадцать с небольшим лет, когда Тютчеву было около пятидесяти. Тютчев был женат. И вот тут возникла трагическая, глубокая любовь, которая длилась четырнадцать лет и окончилась смертью Елены Александровны Денисьевой от чахотки. Смоланка Денисьева перенесла на Тютчева эту страстную атмосферу институтского «обожания»: она его называла «мой боженька». Вместе с тем она пала жертвой этой ханжеской атмосферы. Хотя она уже не была институткой, их связь была скандалом, и Денисьева была окружена атмосферой общего остракизма. Ее изгнали отовсюду, да и Тютчев оказался как бы в положении изгнанника. Одна мемуаристка уже позже вспоминала, как Тютчев с Вяземским пришли к Шереметеву, а жена Шереметева, молодая графиня (ей восемнадцать лет, Тютчеву — за пятьдесят), возмущена тем, что Тютчев, с его скандальной репутацией, смеет прийти к ней в дом. Тютчев же — великий поэт.

Это — условная атмосфера института, который близок ко двору и вместе с тем воспитывает куколок, где все — показное. Одна из воспитанниц с горечью потом вспоминала, что когда одна девушка умерла и уже больше не нужна была для придворной игры, никто не позаботился даже крашенный гроб приобрести (а она принадлежала к небогатой семье). Девушки должны были собрать деньги и каким-то образом организовать похороны. Пока они прелестны, эфирны в своих синих платьях на придворном балу, они интересны, их всех императрица знает по именам, государь приветствует ласковым словом. Как только игрушка сломана, она никому не нужна.

Упомянем о Нелидовой, известной фаворитке Павла и женщине, которая потом сама была одной из руководительниц Смольного института. Левицкому были заказаны портреты всех институток первого выпуска, и среди них — Нелидова.

392

Но институт был отнюдь не единственным женским учебным заведением. Возникали частные пансионаты. К концу XVIII века, на проверку, их оказалось несколько десятков в Петербурге, десять с лишним — в Москве, возникали они и в провинции. Пансионаты были иностранные. Между прочим, должен сказать, что первое воспитательное заведение для девушек, работавшее на немецком языке, возникло в Дерпте, в Тарту, еще задолго до Смольного института, еще в 50-е годы XVIII века.

Пансионаты иногда содержались приезжими иностранками, там учили языкам и танцам. У Пушкина в «Графе Нулине», как вы, наверное, помните:

А что же делает супруга
Одна в отсутствии супруга?
Занятий мало ль есть у ней?
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В анбар и в погреб заглянуть.
Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.
К несчастью, героиня наша... <...> ... совсем

Своей хозяйственной частью Не занималась, затем, Что не в отеческом законе Она воспитана была, А в благородном пансионе У эмигрантки Фальбала.

Она сидит перед окном; Пред ней открыт четвертый том Сентиментального романа: *Любовь Луизы и Армана, Иль Переписка двух семей*¹.

Вот так выглядит воспитанница пансиона в деревне. Один из мемуаристов оставил довольно яркую картину воспитания девушек в харьковских пансионатах в начале XIX века. В пансионе француженки Лоранс мадам каждое утро тщательное осматривала девушек. «Ах, милая, — говорила тамапа, осматривая лицо и костюм девушки. — Как ты забываешь мои приказания! Я уже не раз говорила тебе, что это очень неприлично иметь девице усы. А у тебя — посмотри — опять начинают пробиваться усы. Надо их выкатывать мякишем из хлеба». «Простите, тамапа! — робко отвечала сконфуженная девица. — Очень больно вырывать волоски, хотя бы и хлебом». «А что же делать, моя милая? Для того, чтобы быть хорошенькой, можно претерпеть и не такие муки». У мадам Лоранс девушек специально обучали. Они садились после занятий в зале, и мадам говорила: «Ну, милая... в вашем доме сидит гость — молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы это должны сделать?» И девица проигрывала эту сцену:

¹ Пушкин А. С. Т. 4. С. 240.

393

садилась к роялю, начинала играть. Такой театр на дому составлял обязательный элемент обучения. У другой содержательницы пансиона, которая была немка, девочек учили арифметике. И мадам говорила: «Учите сложение и вычитание; без них вы будете плохие жены. Какими вы

будете хозяйками, когда не сумеете сосчитать базара?»¹

Таким образом, вся эта система обучения оказывалась направленной на замужество — на то самое, о чем когда-то говорил Петр. Но между пансионом и замужеством, между первыми годами в доме и потом жизнью где-то в деревне, в Москве или в Петербурге, проходила еще большая полоса, когда девушку вывозили в свет — на балы, когда она вступала в жизнь. Вот об этом мы поговорим в следующий раз.

Лекция 7² (1986 г.)

Добрый день!

В конце прошлой лекции я сказал, что важное место в жизни девушки, да и в жизни молодого человека, пушкинской поры занимал бал. Я сказал «пушкинской поры», но можно было бы сказать несколько и шире. Вы помните, что в «Арапе Петра Великого» одна из центральных сцен происходит на ассамблее, в «Войне и мире» решительная сцена свидания князя Андрея Болконского с Наташей — на балу, в «Анне Карениной» та кризисная сцена, когда Вронский, уже почти жених Кити Щербацкой, вдруг охвачен демонической страстью к Анне, происходит тоже на балу. При этом — не просто на балу. Мы говорим «бал» и представляем себе, что это нечто единое. Но напомним вам одну деталь из «Анны Карениной».

Кити ждет решительного слова от Вронского. Она только что отказала Константину Левийу, который ей делал предложение. Кити чувствует, что Вронский в нее влюблен, и ждет, что он произнесет то слово, после которого они будут обручены и он станет формальным женихом. Она ждет этого на балу. Сначала они танцуют котильон, и, как пишет Толстой, за котильоном серьезного разговора не было, шла болтовня, но от котильона Кити ничего серьезного и не ждала, все должно было совершиться во время мазурки. Как вы помните, на мазурку Вронский пригласил Анну. Почему за котильоном ничего не должно было произойти? Почему такое решительное событие могло произойти во время мазурки? Это все станет для нас более ясным, если мы представим себе, что такое бал.

Дворянин той поры, если он жил в столице, был человеком служилым. Если он был офицером, то с утра находился в полку. Младший офицер должен был быть в полку рано, часам к семи. Если он командовал батальоном

¹ Карпов В. Н. Воспоминания // Карпов В. Н. Воспоминания. Шипов Ник. История моей жизни. М.; Л., 1933. С. 140—141, 145.

² Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст лекции публикуется впервые.

394

или полком, то он должен был быть в полку по крайней мере к девяти утра. Где-то к двум часам служебная жизнь кончалась, начиналась частная, семейная, для холостяка — время ресторана. Вечером, уже после театра, в десять часов вечера в пушкинскую эпоху, начиналось какое-то совершенно особое время. Это было время бала. Бал не был службой, это был отдых, но вместе с тем отдых особый.

В допетровской России люди встречались в церкви, там видели друг друга, там совершали общее соборное действие, когда чувствовали, что они все вместе составляют некое единство. Потом у них были общие праздники. Это были, как правило, календарные праздники, которые были общими и у крестьян, и у дворян: масленица, Пасха, Троица, все большие церковные праздники. Они сопровождались установленными обрядами и гуляньями: на масленицу — ряженные, на святках — гадание и так далее. Человек петровской эпохи от этого всего отвернулся. Конечно, помещик, особенно мелкий, который жил в деревне, переживал это все вместе с крестьянами. Но столичный житель уже не катался на масленице так, как это делалось в деревне. Традиционные крестьянские праздники он уже не отмечал. Вместе с тем потребность в какой-то общей — сословной в данном случае — жизни ощущалась, и эту потребность удовлетворял бал.

Бал был формой общения, формой жизни, формой встреч, разговоров, свиданий. Кстати, разговоров на балу бывало мало. Позже, когда интеллектуальная жизнь начала предъявлять свои права, бал «потеснился» и были введены другие формы, такие, например, как раут в английском стиле, где люди не танцевали, а разговаривали. Раут — это собрание, где, стоя с чашками английского чая в руках, ведут разговоры: дамы сплетничают, мужчины говорят о политике. Это было такое подражание Европе, Англии в частности. В России раут не привился. Он существовал только в петербургском быту, в Москве раутов не было. А бал составил важнейшую черту дворянской жизни от Петра и, по крайней мере, до крестьянской реформы. Потом он, сохранившись, значительно переменял свой облик.

Как же бал возник? На Руси балов не было, но Петр, побывав, уже не первый раз, за границей, в Париже, и вернувшись оттуда в 1717 году, объявил о почти принудительной организации общественных собраний, которые он назвал ассамблеями. Ассамблеи устраивались петербургскими вельможами по очереди. В указе говорилось, что это «вольно», то есть каждый, кто захочет, должен только прибить к дверям объявление, что он такого-то числа объявляет ассамблею. Но Петр не очень надеялся на добровольность и всегда, когда объявлял что-нибудь добровольное, делал это принудительным. Так он поступил и с цехами, и с купеческим самоуправлением. Все это было добровольное, а на самом деле — принудительное. И не ожидая

добровольности, он установил порядок. Первая ассамблея была у царя. Потом Петр составил список, по которому в течение месяца разные вельможи проводили у себя ассамблеи, за исключением постных дней недели — тех дней, когда надо было поститься и праздновать было не принято. Кстати, и позже и в Петербурге, и в Москве во время Великого поста никаких балов не было. Но кроме Великого поста и других малых постов еще были на неделе два постных дня. При Петре в эти дни ассамблей не было.

395

Ассамблея в петровскую эпоху представляла собой зрелище очень пестрое. Туда приглашались люди любого разбора: и царь, и вельможи, и купцы, особенно иностранные купцы, и какой-нибудь английский шкипер. Все это пестрое собрание размещалось в трех-четырёх больших комнатах. На это время, как специально было оговорено в указе, слуг, «для тесноты», переводили в другие комнаты. В одной комнате расставлялось угощение, довольно нехитрое: дамам подавали лимонад и кофий, шоколад считался слишком изысканной вещью. Шоколад за всю петровскую эпоху подавали на ассамблее один только раз — у австрийского посла, и это было специально современниками отмечено. Мужчины пили «романею», то есть красное привозное вино, пиво голландское, пиво русское и водку. Обязательным элементом ассамблеи был кубок Большого орла (что отметил и Пушкин в «Арапе Петра Великого») — большой стеклянный сосуд, который провинившийся должен был осушить. Конечно, выпив такую большую порцию водки, человек тут же терял разум и его за руки и за ноги уносили. Танцевали довольно беспорядочно. Оркестр первоначально был очень простой. Петр любил шумную музыку, и оркестр состоял из литавр и одного рожка. Голландский рожок Петр очень любил и сам на нем играл. Позже принц Гольштинский поразил Петербург, привезя фортепиано, которое называлось тогда «пьянофорто», две скрипки, виолу, тогда на ассамблеях появились струнные инструменты, и музыка стала несколько благозвучней. На ассамблее была отдельная комната, где мужчины курили.

Куриль в XVIII веке считалось очень неприличным. В обществе, где присутствовали дамы, курили только люди очень распушенные. Курить полагалось в отдельной комнате, из трубок с длинными чубуками. Трубки раскуривали слуги. Наше представление, что ассамблея — место, где тут же и пиво пьют, и дым клубится, неправильно. Курили в отдельной комнате. Из игр дозволялись шашки и шахматы. Петр очень любил и хорошо играл в шахматы. Карт он не любил, и карт в эту пору в России в обращении не было, а если и были, то считались уж очень кабацким занятием. Ассамблеи не надолго пережили Петра, потому что в них был определенный элемент и беспорядка, и насилия, и демократизма — такое сочетание трех странных элементов, характерных для петровской эпохи. Бал в более понятных нам формах устоялся при Анне Иоанновне и при Елизавете.

Балы делились на три группы. Во-первых, бал официальный. Он мог быть или государственным — во дворце, в честь какого-то большого события, или же в частном доме. И тот и другой бал отличался тем, что туда приглашали по списку. Такие списки существовали, но, кроме того, еще составлялись от случая к случаю. В XIX веке тот, кто организовывал бал, приблизительно за восемь дней рассылал билетки. Конечно, этот срок мог и нарушаться. Помните, Онегин в постели, а ему приносят билетки:

Бывало, он еще в постеле:

К нему записочки несут.

Что? Приглашенья? В самом деле,

Три дома на вечер зовут¹.

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 14.

396

Но это уже некоторое фамильярное нарушение, и видимо, для полусемейного бала. Вот, помните, у Фамусовых в доме танцуют, но, как скажет Софья: «Мы в трауре, так балу дать нельзя»¹. Это такой танцевальный вечер под фортепиано или с небольшим крепостным оркестром, который расположен на хорах, но не формальный бал.

Официальный, особенно придворный бал предполагает, что за восемь дней присылается билетик, за четыре дня приглашенный наносит визит и благодарит, после бала он тоже через четыре дня должен нанести визит. Но эта процедура очень сокращалась, и можно было, чтоб не терять много времени, просто завести и оставить у швейцара визитную карточку.

Бал начинался, как я сказал, в десять, и срок постепенно «съезжал». В XVIII веке начинали раньше — в шесть, в восемь, а в пушкинскую эпоху — к десяти. Это было время, когда театр кончался. Правда, было исключение. В начале XIX века уже существовали так называемые детские балы — особое и довольно интересное явление. Их устраивали танцмейстеры, например знаменитый Иогель, о котором, как вы помните, в «Войне и мире» говорится. Он устраивал балы для своих учеников и учениц от шести до тринадцати лет, чтобы они тренировались. Но поскольку девочка в тринадцать лет уже считалась на выданье (в четырнадцать-пятнадцать лет уже бывали и браки), то на эти детские балы, где было очень весело, потому что не было ни ритуала, ни каких-то строгих правил, охотно ездила молодежь. Их посещали находящиеся в отпуске молодые офицеры, учащиеся, в Москве студенческая молодежь из университета. Поэтому детский бал начинался рано — в два часа дня — и к пяти кончался.

В петровской ассамблее, в отличие от бала, хозяину запрещалось встречать гостей. Предполагалось, что ассамблея должна быть непринужденной: кто хочет — заходит. Кроме императрицы Екатерины Алексеевны, хозяин никого не встречал и не провожал до кареты. Петр очень сердился, если встречали его. Бал XIX века строился иначе. При начале бала хозяин с хозяйкой должны стоять у двери и, пока наиболее уважаемые гости проходят, должны каждому сказать какое-то ласковое слово перед началом бала. Когда хозяин с хозяйкой отходят от дверей, считается, что бал начался.

Бал начинался торжественным танцем, который, в нашем представлении, был не совсем танцем. Вот загремел оркестр: в XVIII веке бал открывался менуэтом. Как сказал один современник, революция смела старый мир и заодно и менуэты. Затем бал начинали полонезом, который в России называли «польским».

Несколько слов о менуэте. Менуэт — это медленный танец, вся прелесть которого состоит в грации движений. Позже, когда в моду вошли быстрые танцы, в частности вальс, о котором еще будем говорить, то одна из дам старого времени жаловалась, что пропала основная красота — красота рук. Тут у меня есть такая старая схема менуэта известного композитора XVIII века Гретри с обозначением движений.

¹ Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 56.

397

Менуэт начинается: дамы и кавалеры становятся с двух сторон в две шеренги и медленно, грациозно движутся вперед. Затем они поворачиваются лицом друг к другу, мужчины отвешивают поклон, а дамы делают глубокий реверанс. Искусство поклона, реверанса — нам даже не понятно, сколько усилий оно требовало и сколько имело оттенков: как много можно было сказать тем, как делается это движение.

На прошлой лекции мы говорили о Смольном институте и об институтках. Когда они на окончание института получали свои награды, а получали они их (если получали) из рук императрицы, они должны были через каждые три шага сделать реверанс, присесть, и каждый реверанс должен был быть другим. Они должны были выражать разные чувства: радость, почтение, глубочайшую преданность и вместе с тем некоторое чувство собственного достоинства. При этом надо иметь в виду, что от августейшей особы нельзя отходить, повернувшись к ней спиной. Когда Гете был еще режиссером, он в наставлении актерам писал, что к публике никогда нельзя повернуться спиной! Если актеру нужно уйти, он делает сложные маневры, чтобы остаться лицом к публике. Точно так же и к императрице нельзя повернуться спиной. Поэтому сложные менуэтные движения используются в ритуальные моменты жизни.

И вот, глубокий реверанс, затем — так называемый *pa de basque*. Па — это шаг, а «баск» — это от Басконии в северной Испании, но к стране басков он не имеет никакого отношения. Это такой скользкий шаг, а руки придерживают платье.

Вообще надо отметить, что женщина, особенно в менуэте, должна скользить. Она почти не прикасается к полу, и все искусство, изящество состоит в том, чтобы показать, что у нее никакого нет веса. Она — воздушное создание. Это как раз то, что отсутствует в наших современных исторических фильмах. Когда показывают балы и старые танцы, то наши актрисы (очень милые и талантливые, конечно, но привыкшие к спортивной одежде, к спортивному шагу), которые в быту ходят в брюках, они могут надеть платье XVIII века, но не владеют этим искусством скользкого, не прикасающегося к земле шага, когда нижняя часть тела плывет... Этому учили и солдат, и между тем, как учили дам и солдат, было нечто общее. Великий князь Константин, ужасный изувер, который ввел такую страшную поговорку: «Двух убей, третьего поставь», тренировал солдат, ставя на кивер стакан воды. Солдат марширует своим церемониальным шагом, а воду расплескивать не должен. Это противопоставление верхней и нижней части тела было очень важно: верхняя часть порхает — нижняя плывет (у солдата несколько иначе, конечно).

Так вот — па-де-баск: сначала несколько шагов вперед, а потом совершается обратное движение спиной вперед. Вернувшись в исходное положение, снова поворачиваются друг к другу, при этом протягивают руку, и опять — глубокий реверанс. Затем — несколько менуэтных движений, которые, конечно, варьировались. То, что я сейчас говорю, очень грубо: менуэтов и разных способов танца было много. Кончалось опять взаимным поклоном и реверансом.

Но этот изящный медленный танец был заменен сначала «польским» (полонезом), который представлял собой торжественную проходку. Мужчины

398

берут дам за руки, выстраиваются в длинную цепочку, в затылок друг другу, и под торжественную музыку торжественно проходят в зал. При этом передняя пара останавливается, и в конце они под поднятыми руками еще раз проходят. Здесь у мужчины особенно важна гордая посадка головы (опять-таки, в нашем понятии, для танца не совсем важная вещь). В полонезе мужчина должен проявить гордость, мужественность и одновременно легкость ног, а дамы — изящество.

В пушкинскую эпоху полонез еще держался в торжественных публичных балах, но уже значительно уступал двум быстрым танцам (эпоха была другая) — вальсу и мазурке. Вальс — это танец совсем особый. Это простонародный крестьянский танец (венский, тирольский или

немецкий — из этого района). Вальсов было много, отличались они от нашего вальса тем, что танцевались на два счета, были очень быстрыми и воспринимались как плебейские.

Вальс был узаконен при необычном стечении обстоятельств. Когда в Вене после свержения Наполеона собрались все монархи во главе с тремя императорами (австрийским, прусским и российским), то наряду со сложной дипломатией все были заняты бесконечными балами. Сразу же возникли разногласия, сразу же проявилась очень умная и тонкая политика Талейрана, сложная позиция Александра, который еще был окружен ореолом либерала. Помните, как Пушкин писал об этом периоде: «Народов друг, спаситель их свободы!»¹ — потому что именно Александр отстоял две конституции (для Франции и для Польши). За границей он был либералом, в России — нет. И вот, пока шли эти хитросплетения, распри, шли и непрерывные балы. Съехались красавицы со всей Европы, и вот тут вальс вошел в моду. Была пущена шутка, которую приписывали Талейрану. «Конгресс танцует и не движется с места».

Мазурка — тоже бурный танец, но вальс и мазурка отличались друг от друга. Вальс был танец массовый, то есть каждый имел пару и с ней танцевал. Он, так сказать, был изолирован от всех, и поэтому вальс был очень удобным временем для интимных разговоров: вместе, близко, в толпе, как будто бы на виду, и совсем изолированно. Поэтому, кстати, вальс считался не только простонародным, но и неприлично чувственным танцем. Старики говорили, что невозможно представить себе, чтоб молодая девушка, полуодетая (потому что в эту пору как раз в моду вошли легкие платья), бросалась в объятия к молодому человеку и он кружил ее. У нее закружится голова, Бог знает что произойдет!

Мазурка, в отличие от вальса, была танцем с фигурами, с сольными номерами. При этом такие танцы, как контрданс, мазурка, котильон, строились так: в первой паре стояли блестящие актеры, распорядители бала, с дочерью хозяина (она должна была быть). Они задавали сложные пируэты, остальные их должны были повторять. Для того чтобы их можно было задать, распорядители специально тренировались и выдумывали комбинации.

У меня здесь несколько схем из книги конца XVIII века. Так выглядит сложная система контрданса, рассчитанная на четыре, иногда на шесть пар. На этой схемочке черненькие — это мужчины, беленькие — дамы. Они пере-

¹ Пушкин А. С. Была пора: наш праздник молодой... // Пушкин А. С. Т. 3. С. 375.

399

ходят от фигуры к фигуре (это все входит в один танец), меняются, образуют цепочки. Сначала четыре пары стоят в исходном положении. Потом, по одному, кавалеры от каждой пары отходят в угол, затем подходят к другой даме крест-накрест, образуют по радиусу фигурку, потом — круг. Потом круг распадается на пары, и так далее.

В зависимости от выдумки распорядителя бала, все это может образовывать сложные и трудные фигуры. Зато это очень весело и позволяет включать игру, разнообразные импровизации. Так, например, во время мазурки можно подвести к одному кавалеру двух дам или к одной даме двух кавалеров и загадать, как у Толстого, помните: «Память или забвение», «крапива или роза». Отгадывающий должен выбрать. Если одна дама ему приятна, а другая — нет, угадает ли он ее? Это есть и в «После бала» у Толстого.

Танцевали не непрерывно. Во время танца можно было посадить даму, продолжить болтовню, поднести ей апельсин, потом подхватить ее и продолжать танец. Вот это и называлось «мазурочная болтовня». Мазурочная болтовня — совершенно особенная вещь. Это не серьезный разговор, о политике здесь не говорят, но это и не котильонная болтовня. Мазурочная болтовня все-таки нечто более серьезное, и не случайно Кити именно во время мазурки ждала объяснения.

Бал мог затянуться и кончиться далеко за полночь. Иногда он кончался ужином, но могло быть и без этого. Бал был важной формой общественной жизни и, в определенном смысле, противостоял возникающим новым, более серьезным формам общения. Не случайно, когда в бальной зале появился будущий декабрист, этот серьезный молодой человек не отстегивал шпаги. Если молодой человек собирался танцевать, он должен был шпагу отстегнуть, оставить у швейцара или же (если бал не такой большой) поставить в угол. Если молодой человек, офицер, шпагу не отстегнул, значит, он танцевать не будет. Княгиня в «Горе от ума», как вы помните, жалуется: «Танцовщики ужасно стали редки!»¹

О том, что же делали те молодые люди, которые приходили на бал и не отстегивали шпаг, мы потолкуем в следующий раз.

Благодарю за внимание.

Лекция 8² (1986 г.)

Добрый день!

Сегодня мы поговорим о поколении людей несколько особого свойства, и я бы просил вас для начала внимательно посмотреть на их лица. Вот знакомые для вас лица — Рылеев, Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Якубович, Волконский, Трубецкой. Вот — менее знакомые лица: Завалишин (тут

¹ Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 83.

² Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст лекции публикуется впервые.

400

он с бородой, это уже на каторге), Панов. Вадковский, Анненков, Борисов, Тизенгаузен и многие другие. Посмотрите внимательно. Посмотрите и на Бестужевых — братьев Александра и Николая, на Кюхельбекера, вот он — молодой, а вот он — на каторге, вернее, на поселении после тюрьмы. Эти лица имеют что-то общее. Они не похожи на обычные средние лица людей той поры. И понять то, что их так выделяет, мы сможем, если мы подумаем о том, что это были за люди. При этом я не буду говорить о том, что более или менее известно всем вам. О том, что декабристы были революционерами, что у них были политические программы, что они боролись за уничтожение крепостного права, за конституцию в России, участвовали в восстаниях, в заговорах, пошли на виселицу, на каторгу, в крепость, в тюрьму — в этот вот Петровский завод. Это еще не самая плохая тюрьма, но она была выстроена специально для декабристов. А были до этого люди прекрасно обеспеченные, из богатых семей, перед ними открывалась дорога, перед многими открывалась блестящая карьера. И почему-то они ее оставили и избрали этот трудный путь. Но это все более или менее известно.

Я хотел бы поговорить о другом: что это были за люди в человеческом, в обычном смысле. Представьте себе: все мы, как только читаем «Горе от ума» или в театре видим Чацкого, мы сразу чувствуем, что это — человек декабристского плана. А ведь он нам не показан ни на заседании тайного общества, ни среди единомышленников, да и о политике он мало говорит — несколько слов. По сути дела, мы чувствуем, что он ненавидит крепостное право, но он не говорит об этом. И уж тем более он не говорит о политическом деспотизме, потому что Грибоедов хотел эту пьесу ставить на сцене, но и не только поэтому. Мы сразу чувствуем, что это человек какой-то другой. Он и в гостиной у Фамусова ведет себя не так, как другие люди. То, как себя вел декабрист в гостиной, как он разговаривал с дамами, как он беседовал со своими политическими неприятелями, с людьми, которым он не мог доверять, как вообще он жил, — это и будет нас сейчас интересовать.

Это был особый тип людей, но после 1825 года в русской жизни этот тип стерся. Уже через некоторое время он заменился совсем другими людьми. Точно так же, как если в александровскую эпоху в салоне господствовал гвардейский мундир, то в николаевскую эпоху господствовал зеленый чиновничий фрак, да и офицер уже был другой. Не случайно в «Пиковой даме» Германн сделан инженерным офицером, математиком. Потом пошли совсем другие люди, такие, как Белинский, которые были разночинцами, воспитывались на медные гроши, были полны душевного жара, а вести себя в гостиной не умели — им и руки мешали, и ноги мешали, поэтому они всегда стеснялись, а от стеснительности бывали дерзкими. Это — другое поколение.

Мы сейчас вообще уже трудно себе представляем человека декабристского склада. Когда мы читаем и Пушкина, и Грибоедова, и Рылеева, мы очень многого не понимаем, очень многого. Потому что эти произведения обращены, в значительной мере, к единомышленникам, к тем, кто понимает с полуслова. Для того чтобы мы понимали эти произведения, нам надо кое о чем подумать, поговорить. И не только для того, чтобы понимать, но и потому, что это был замечательный тип человека.

401

Мы сейчас говорим об охране памятников, восстанавливаем или сохраняем камни, это очень важно — здания, но культура создает не только здания, картины и книги. Она создает людей. И точно так же, как можно уничтожать, разрушать здания, можно разрушать человеческие типы с их завоеваниями человеческого достоинства, благородства, знаний. Это тоже нуждается в реставрации, в сохранении, в знании, и поэтому нам стоит задуматься над тем, что же это был за человек — человек декабристской эпохи.

Он просуществовал в России относительно недолго, с 1815 до 1825 года, а потом этот тип сохранился в Сибири, потому что каторга, ссылка, тюрьмы — это такой своеобразный холодильник. Когда в 1850-е годы была амнистия и уцелевшие старые декабристы начали возвращаться, то для людей типа Толстого это было целое открытие. Это были совершенно другие люди. Толстой начал писать роман о декабристах. Начинается он с того, что старик и жена его возвращаются из Сибири, пройдя и каторгу, и ссылку, и все. Возвращаются и их взрослый сын, и взрослая дочь. Там есть замечательные слова — то, что поразило Толстого в этом поколении в быту. Толстой заставляет жену сказать своему старому, уже много перенесшему мужу, следующие слова: наш сын, «что он сделает, я могу предвидеть, но ты еще можешь удивить меня». Так она говорит о нем. А вот что Толстой говорит о ней. Совершенно поразительная вещь. Он говорит, что эта женщина, которая перенесла такие тяготы, и была в Сибири (я пересказываю своими словами), о ней никто бы не мог подумать, что она может быть с грязным воротничком (но это мы еще понимаем), она всегда собрана, но далее такая фраза: «нельзя было себе представить... чтобы она спотыкнулась»¹. Вот это уж нам совсем непонятно, поскольку мы не связываем владения своим телом с душевным самообладанием. Для этого поколения — это было так. Они были изящны, умели не только переносить неслыханные тяготы, но сохранять при этом высокое человеческое достоинство.

Позже Сибирь поглотила многих мучеников, да и не только Сибирь. Люди следующего

поколения — поколение Добролюбова, талантливые разночинцы, дети священников. Эти люди очень рано сторели, двадцать пять — двадцать восемь лет — вот их возраст. Они были нищими, и очень многие из них спились, как Николай Успенский, который умер под забором, как Решетников. А декабристы в Сибири, в страшных условиях, не спились. Более того, они принесли в Сибирь культуру, воспитали целое поколение, вокруг себя свет зажгли. Не тьма их поглотила, а они победили тьму. Знаете, как сказано: «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Тьма их не объяла.

Об этих людях стоит поговорить. Но надо иметь в виду, что это были *люди*, со всеми человеческими недостатками, с человеческими страстями, — страстей у них было много, и далеко не все всегда видели в них положительный пример. Вот, вспомним, что говорит Пушкин о Чацком. Очень рано, в 1825 году, еще до восстания, Пушкин отказывает Чацкому в уме. Он говорит, что Чацкий не умный человек, Чацкий — «добрый малый», то есть простой человек. «Первый признак умного человека — с первого взгляду знать,

¹ Толстой Л. Н. Декабристы // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1979. Т. 3. С. 364.

402

с кем имеешь дело». С кем говорит Чацкий, перед кем он расточает свой сарказм, свой протест, свой гнев? Перед Фамусовым, перед Скалозубом? Непростительно!

Это очень интересно. Пушкину уже в 1825 году человек этого типа кажется говоруном. Он слишком много говорит. Правда, это ярче всего проявляется в раннем этапе декабризма, в эпоху «Союза благоденствия». Конspirаторы Северного и Южного обществ уже не ораторствуют на балах, но все-таки декабристы говорят много. Они много говорят между собою, говорят в салонах; в отличие от последующих революционеров, они разговорчивы на следствии. И это не случайно, это их особая черта.

Это люди, для которых слово есть первое дело. Это люди, которые появились в молчащей стране. До этого Россия знала очень просвещенных людей. Но просвещенный человек, даже передовой, вполне либеральный, который знал, что крепостное право — это варварство, который хотел бы жить, как европеец, был твердо убежден: в книге пишут одно, а в жизни — другое. Когда он с пером в руках, он — противник рабства, но когда он в своей жизни организует собственный быт, он знает, что плетью обуха не перешибешь. И у него два стиля жизни: один — высокий, культурный, философский, письменный, европейский (он, как правило, пишет по-французски в этом случае), а другой — когда он разговаривает со своими крепостными. Очень ядовито писал позже Денис Давыдов:

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло;
А глядишь наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужика под пресс кладет
Вместе с свекловицей¹.

Отсюда стремление крепостническую практику заменить изящными словами, как помещик Пеночкин у Тургенева, который не говорит «выпороть», а говорит: «Насчет Федора... распорядиться»². Так возникало двоемыслие. Это поражало европейских путешественников. Они видели в Петербурге, в Москве подлинных европейцев, и вдруг замечали, что в задней комнате — совсем другая жизнь, совсем другой быт и совершенно иное лицо у этих европейцев. Или же те, которые хотели жить по своим убеждениям, быстро ломаются или уезжают за границу, как сын петровского ближайшего человека граф Головкин уехал, говоря, что не вернется, пока в России есть поговорки: «Без вины виноват» и «Все государево и все Божье». Другие становились чудаками. В Москве было много чудаков, которые вели странный образ жизни (один на лошадь очки надел, другой ездил в серебряной карете), чтобы как-то замазать эту разницу между теорией и жизнью.

¹ Давыдов Д. Современная песня // Давыдов Д. Стихотворения. Л., 1984. С. 116.

² Тургенев И. С. Бурмистр // Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем. М., 1979. Т. 3. С. 126.

403

Вернувшись из заграничных походов, молодые люди, которые с детства уже усвоили высокий строй мыслей и высокие жизненные идеалы, с детства хотели быть русскими римлянами (я уже говорил как-то, что Муравьев не танцевал, пока не узнал, что римляне тоже танцевали в детстве), вернувшись, они захотели свои идеи сделать стилем жизни. И первое, что сделалось странным в этих людях, то, что они в быту, в обычной жизни — в салоне, в комнате, разговаривая с дамами, — ведут себя, как римляне. Прежде всего, они говорят все, что думают, и говорят литературно, книжно. Помните, как Фамусов говорит о Чацком: «Что говорит! и говорит, как пишет!»¹ Он говорит, как будто выступает в палате общин, а говорит-то он в салоне у Фамусова, в Москве, среди московских отставных бригадиров — самой отсталой, самой заматеревшей части русского общества.

Декабрист — прежде всего проповедник, с этого начинается. Он говорит в обществе. Федор

Глинка, один из активных и исключительно благородных людей, бесребреник, практически нищий (а гвардии полковник, весь в орденах, боевой офицер, писатель хороший, из семьи Глинок — это была замечательная семья), для себя прямо записывает на листочке: греметь на балу против Аракчеева, военных поселений, нелепых финансовых реформ. Он идет на бал, как на кафедру.

И действительно, молодые люди поразили в 1816, в 1818 году своих современников. Они являлись на балы не затем, чтобы танцевать. Вообще, веселиться им казалось недостойным: не то время, чтобы веселиться в России, пускай танцуют *пустые* люди. Они приходят на бал, не отстегивая шпага: или же в углу говорят об Адаме Смите, или же начинают проповедовать. Княгиня в «Горе от ума» жалуется: «Танцовщики ужасно стали редки»². Помните такую сцену, уже ироническую: Чацкий в жару проповедует, оглянувшись — молодежь усердно вальсирует, старики разбрелись по карточным столам? И игра в карты, и танцы унижают благородного человека.

Уже Пушкину смешно, что Чацкий проповедует. Мы тоже с некоторой улыбкой говорим о том, как Федор Глинка конспектировал, что же он будет проповедовать на балах. Потом мы, меряя следующими этапами революционного движения, говорим, что это была еще детская стадия. Вяземский позже, когда будут судить и приговаривать к виселице за разговоры о том, как поступить с царем после революции (казнить или нет), будет упрекать правительство, потому что все это были лишь слова! Никто же никаких террористических актов не предпринимал. Как можно казнить за слова — *bavardage atroce!* (кровожадная болтовня!), говорил Вяземский, вот и все.

Это была не просто болтовня. Дело в том, что когда среди молчания заговорили, то эта так называемая болтовня была актом создания общественного мнения. Недаром Чацкий говорит: «Да нынче смех страшит и держит стыд в узде»³. Когда человека, который мог бы и сподличать, «держит стыд в узде», это значит, что проповедь не пропадает даром. Действительно, Федор Глинка проповедует на балу, но тут же, на балу, он разглашает случаи

¹ Грибоедов А. С. *Горе от ума*. С. 37.

² Там же. С. 83.

³ Там же. С. 36.

404

крепостнических злоупотреблений. Тут же он организует подписки для выкупа или крепостного поэта, или крепостного скрипача. Он все время занят тем, чтобы как можно больше людей вовлечь в общественную деятельность. И люди опасаются этого слова.

Николаевская эпоха отличалась от декабристской бесстыдством, потому что люди потеряли стыд, потеряли боязнь общественного мнения. Общественного мнения не было. Когда позже Александр II уволил в отставку Клейнмихеля, то он говорил, что вынужден так сделать из-за общественного мнения. Клейнмихель — ужасно подлая фигура — выкормыш Аракчеева, затем пристроился к Бенкендорфу, а затем к самому хлебному делу — к строительству дорог в России, и даже имел отношение к строительству железной дороги Петербург — Москва. Когда он поссорился с известным остряком Меньшиковым и вызвал его на дуэль, то Меньшиков сказал: зачем, граф, стреляться, давайте бросим жребий, кому выпадет смерть, пускай сядет в вагон дороги, которую вы построили, и поедет по дороге из Петербурга в Москву — смерть обеспечена. Клейнмихель был возмущен словами царя: что еще за общественное мнение! Разве у государя своего мнения нет? Зачем общественное мнение — достаточно царского мнения!

Так думали люди николаевской эпохи. И действительно, никогда взяточничество и все виды мародерства не приобретали таких размеров. Белинский говорил, что государство превратилось в огромную корпорацию воров (еще прежде Фонвизин замечал: кто может — грабит, кто не может — ворует). Это бесстыдство явилось следствием задушенности общественного мнения.

А декабристы создавали общественное мнение. Они были насмешливы. Вот Чацкий, он все время смеется, и помните, как старуха Хлестова говорит:

Кто этот весельчак?

Из звания какого?

<...> Какой тут смех?

Над старостью смеяться грех¹.

Он издевается. Он видит вокруг себя людей, которые, как скажет Якушкин, отстали на сто лет, и бросает им в лицо свою бескомпромиссную истину.

Отсюда — любопытная вещь: мы считаем, что политический заговорщик должен прятаться, прятать свои политические взгляды, быть конспиратором. Однако вот, например, молодой Сергей Тургенев. Тургеневых — четыре брата, замечательная семья, старший Андрей рано умер, и старшим остался Александр; следующие — декабрист Николай и рано умерший Сергей. Очень талантливый человек, Сергей сошел с ума, когда Николая приговорили к смертной казни. Николая не казнили, потому что он был в Англии, он эмигрировал. Пронесся слух, что Англия его выдала, и Пушкин написал очень горькие стихи о море:

На всех стихиях человек — Тиран, предатель или узник².

¹ Грибоедов А. С. *Горе от ума*. С. 88.

² Пушкин А. С. К Вяземскому («Так море, древний душегубец...») // Пушкин А. С. Т. 2. С. 331.

405

Но Николая Тургенева не выдали, а Сергей сошел с ума и вскоре умер.

Молодой Сергей Тургенев прямо пышет свободолобием. Именно он впервые подсказал Пушкину идею оды «Вольность», хотя был моложе Пушкина. Сергей Тургенев открыто высказывает свои взгляды. Стоило только Карамзину выразить свои умеренные взгляды, и он уехал в Турцию на свой дипломатический пост, не простившись с Карамзиным. Старший брат, либерал, хороший человек, умеренный, не революционный, уговаривает Сергея быть «потихе»: не нужно так много говорить. А заговорщик, декабрист Николай Тургенев возражает: не затем мы усвоили передовые взгляды, чтобы их скрывать. Их надо выставлять! Пусть *им* будет стыдно. Пусть знают, кто мы!

Декабрист держится вызывающе. Он не прячется, он и прическу особую носит: у него длинные волосы (ну, если он офицер — тогда другое дело). Он ведет себя не так, как должен вести себя заговорщик. И это создает в России особую атмосферу.

Тайные общества до 1821 года, собственно говоря, совсем не тайные. Когда Михаил Федорович Орлов решил жениться, то будущий тесть, генерал Раевский, говорил с ним не о приданом, не о капиталах, а о другом — что если женишься, надо выйти из тайного общества. Но все-таки не спас... Правда, старшая дочь Раевского не пострадала, а младшая, Мария, став женой генерала Волконского, поехала за ним в Сибирь.

Итак, декабрист держится открыто, вызывающе. Это — Чацкий, и не случайно противостоит ему Молчалин, бессловесный:

А впрочем он дойдет до степеней известных,

Ведь нынче любят *бессловесных*¹.

Вы видите фотографию постановки МХАТа. Чацкого играет Василий Качалов (это, видимо, был лучший Чацкий), а Молчалина — Подгорный. В позах вы видите характеры. Чацкий держится непринужденно и насмешливо, Молчалин угодливо изогнут. В их фигурах видны разные темпераменты и разные жизненные установки. Качалов очень хорошо передавал сложное противоречие в личности Чацкого, то есть в личности декабриста: соединение насмешливости, критичности и лиризма, патетического энтузиастического начала. Он был в одном лице и саркастический критик, и утопический мечтатель.

Молчалин же в исполнении Подгорного — чиновник, пока еще маленький, но он «дойдет до степеней известных». Молчалин — фигура, у которой большое будущее и даже имелись некоторые реальные прототипы. Думаю, что Грибоедов имел в виду Сергея Уварова.

Уваров был талантливый человек, очень талантливый и знающий, но сперва без каких-либо карьерных перспектив, хотя имел все, что требуется в александровскую эпоху от бюрократа: «прогрессизм», европеизм, изящество (Александр не любит таких азиатских медведей, реакционеров, — эти не делают карьеры), прекрасный французский язык, вообще знание иностранных языков. Уваров европеец, его можно показать в Европе. Он беспринципен: сегодня он атеист, завтра при дворе мода на благочестие — и он закатывает

¹ Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 27.

406

глаза. Правда, все-таки недостаточно энергично — не выдержал, ушел в отставку. Он женится на пожилой и некрасивой девушке, но отец ее — министр просвещения, и он, молодой человек, делается президентом Академии наук! Затем он — возле Карамзина. Потому что Карамзин бескорыстен, благороден, и все, кто около Карамзина, наверное, думают, что и они тоже бескорыстные и благородные! Уваров — друг Жуковского. Он — в литературных кругах, пока это нужно, а потом вдруг сменилась обстановка, и мы его видим в следственном комитете по делам декабристов. Николай Тургенев — его приятель, а он его приговаривает к смертной казни. И Вяземский рассказывал, что видел петербургской белой ночью фантазмагорическое явление: Александр Тургенев (они с Уваровым — старые друзья) идет под руку с Уваровым по Невскому проспекту и с горестным недоумением смотрит ему в лицо. Потом они разошлись.

Позднее Уваров — министр просвещения при Николае, автор формулы «православие, самодержавие, народность». Затем — враг и гонитель Пушкина, распространяет в салонах разговоры о том, что пушкинская «История Пугачева» — вещь возмутительная. Очень может быть, что он вообще причастен к пушкинской дуэли. В общем, благородный по внешности, европеец по манерам, *грязный* человек. Он сначала — александровский чиновник, потом — николаевский чиновник, а потом, если бы дожил до реформ, наверное, был бы реформатором. Он — чиновник. У него нет убеждений. Это — Молчалин.

У Чацкого есть убеждения, и это тоже новое явление. Но человек с убеждениями не только занимается тем, что пропагандирует свои идеи или дерзко говорит. Он еще и просто живет: читает книжки, любит женщин, женится. И об этом мы немножко поговорим в следующий раз.

Благодарю за внимание.

Лекция 9¹ (1986 г.)

Добрый день!

В прошлый раз мы говорили о декабристе как о человеке, и сейчас мы продолжим этот разговор. То, что человек этой эпохи старался в общественной жизни жить как историческое лицо,

выбирал себе героя, которому стремился следовать, и думал о том, напишет ли будущий историк о нем строчку или целую страницу, и мерил свою жизнь именно этим, это естественно для людей той поры. Они были люди, которые осознавали свое время как историческое. Все они помнили Наполеона, все они помнили войны. Помнили, что может сделать человек, вчера еще неизвестный, а сегодня управляющий миром. Все они не хотели быть обыкновенными людьми.

¹ Передача вышла в эфир в 1986 г. Текст лекции публикуется впервые.

407

Завалишин, один из самых блестящих людей в этом ряду, вспоминая своих соучеников по школе, сказал, что среди них многие не готовились к великому будущему, плохо учились и стали *обыкновенными людьми*. Хуже он и придумать не мог. Сам он считал себя человеком необыкновенным, хотя, между прочим, жизнь его совершенно не удалась. Но стремление занять место в истории свойственно многим — и Пушкину в том числе. Когда он узнал, что его приятель генерал Ипсиланти, которому под Лейпцигом ядром оторвало руку, возглавил греческое восстание, то он писал в письме: мертвый или победитель, отныне он «принадлежит истории — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! — завидная участь»¹. Все завидно, и даже оторванная рука, потому что это обеспечивает место в истории.

Люди этого поколения переносили ту же психологию и в частную жизнь. Точно так же, как они избирали себе образцы, которым следовали на поле боя и в политических заговорах, они строили и свою личную жизнь, и свою любовь. Любовь декабриста — это очень интересная тема. Один из них, Муравьев (правда, он быстро отошел от движения), пишет в своих «Записках», что несколько раз прочитал с большим вниманием «Новую Элоизу», роман Руссо, и его страсть к NN (то есть к дочери адмирала Маклина) еще более усилилась. Он прочитал роман о том, как Сен-Пре любил Юлию Вольмар (Новую Элоизу у Руссо), и любовь его усилилась.

Пушкин в «Метели» пишет (его герой — Бурмин — только что вернулся из похода 1812 года, тоже человек этого поколения): «„Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно... <...> Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...“ (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux)»². Она вспомнила первое письмо из той же «Новой Элоизы».

Это не мешает их чувствам. Это не делает их чувства неискренними. Точно так же, как и пушкинская Татьяна, — помните:

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит
<...> и, себе присвоя.
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...³

В этом смысле особенно интересно любовное увлечение декабриста Каховского. Того самого Каховского, который потом на Сенатской площади так неудачно стрелял из пистолета и за это окончил жизнь на виселице. Того Каховского, которого Рылеев готовил в «русские Бруты», в царевбийцы. Каховский — человек пламенный, большого душевного благородства, исклю-

¹ Пушкин А. С. Письмо В. Л. Давыдову. Первая половина марта 1821 г. // Пушкин А. С. Т. 10. С. 24.

² Пушкин А. С. Т. 6. С. 115.

³ Там же. Т. 5. С. 59.

408

чительно возбуждаемый, переходящий от одного энтузиастического состояния в другое. Сын мелкого провинциального дворянина, он почти нищий. И вот Каховский встречает девицу, Софи Салтыкову. Салтыков — старого, богатого рода, очень либеральный, просвещенный человек, приятель всех арзамасцев, друг Жуковского. Между молодыми людьми завязывается роман. Софи Салтыкова — чтоб вас не томить, я сразу скажу, что Каховский не женился на ней, она потом вышла замуж, очень скоро, за поэта Дельвига, и не принесла ему счастья, — была женщина темпераментная, капризная... Сейчас, в то время, о котором мы говорим, она еще юная девица, и у нее есть подруга, Семенова-Карелина, которая живет на Урале, поскольку муж у нее геолог и географ. Салтыкова подробно описывает ей в письмах свои любовные увлечения. Первое письмо — еще не любовное. Она описывает, как приехал к ним в поместье Кюхельбекер. Кюхельбекер до этого отправился за границу, там выступил в Париже с очень политически острыми лекциями. Александр I передал, что если он немедленно не вернется в Россию (а Кюхельбекер хотел ехать воевать за свободу греков), то ему это никогда больше не будет разрешено. Он вернулся, но некоторое время скрывался — на Кавказе, там Ермолов пригривал таких, как Кюхельбекер. Там он сдружился с Грибоедовым, а потом появился в столице. Тоже нищий, тоже денег у него нету, поэзия в голове.

Софи Салтыкова пишет своей подруге о Кюхельбекере: «Он парит, как выражается дядя (и я

сама стала любить таких людей: я люблю только стихи, проза же мне кажется еще более холодной, чем прежде). У этого бедного молодого человека нет решительно ничего для того, чтобы жить, и он вынужден быть редактором плохонького журнала под названием „Мнемозина"...»¹ Кюхельбекер парит. Но особенно ее воображение приковывает Каховский. Вот что она пишет о нем: «Я знаю твой вкус, и уверена поэтому, что ты страшно увлеклась бы Петром К. [Каховским], если бы его увидела. Он говорит, что ему мало вселенной, что ему все тесно, что он был влюблен уже с семи лет. Теперь ты его знаешь <...> Я расхваливала, между прочим, красоту одной мадмуазель Лярской, а он утверждал, что она не может нравиться, *потому что у нее души нет* (а для него самое главное — душа — он всегда прежде всего ищет душу)». «...Есть люди, лица которых изменяются, когда они испытывают какое-нибудь чувство живое и благородное, и это придает им невыразимое очарование; они не красивы, но в них есть трогательное выражение, которое восхищает. <Это все — запись слов Каховского>, между тем, м-ль Лярская, кажется, никогда не проявляла восхищения перед красотой: *стихи Пушкина, Шиллера, Жуковского не возвышают ее души, — нет, она — без души*».

Итак, прежде всего — душа. И в Каховском Софи покоряет, прежде всего, то, что он любит поэзию, и то, что сам он похож на байронического героя. Правда, ее еще привлекает и то, что «он картавит, что придает ему еще больше прелести; сказав <далее идет цитата из «Кавказского пленника» Пушкина>:

¹ Цит. по: *Модзалевский Б. Л. Роман декабриста Каховского // Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. Избр. труды (1898—1928). СПб., 1999. С. 181.*

409

Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость, —

он сделал замечание: «Как Пушкин хорошо знает сердце женщины! Обманывай, но не разочаровывай! В этой фразе много *p*, и от этого он произнес ее восхитительно»¹.

Но особенно интересно их объяснение в любви. Они гуляют по парку, рядом идет тетушка, и благонравная девица, конечно, не может говорить с молодым человеком о любви. Порядок принят совершенно другой: молодой человек, если он почувствовал склонность к девушке, должен поговорить с ее родителями, получить их согласие и потом уже может объясняться с девицей. Поэтому они о любви не говорят. Они наперебой читают «Кавказского пленника» и превращают его в сцену объяснения. Свои чувства они выражают пушкинскими словами. Вот как это описывается в письме: «...я видела во сне Пьера и проснулась еще более безумно влюбленною в него. Это было 17 августа, воскресенье — чудесный день. Мы отправились втроем на прогулку... <Несколько пропускаю> Он говорил мне в тот день множество стихов, я помогала ему, когда он что-либо забывал; произнеся:

Непостижимой чудной силой Я все к тебе привлечена

<Это — из «Кавказского пленника» Пушкина>. Я едва не сделала величайшего неблагоразумия; если бы я не вышла из рассеянности, то я бы сказала то, что думала в тот момент и погибла бы, — вот что это было:

Люблю тебя, Каховский милый,
Душа тобой упоена...

К счастью, я все-таки выговорила «пленник»; <у Пушкина: «Люблю тебя, невольник милый, / Душа тобой упоена»² он тотчас ответил с сияющим видом и радостным голосом:

Надежда ты. моя Богиня,
Надежда, луч души моей!»³

И дальше все объяснение. Потом, когда выясняется, что им нужно расстаться, то Софи опять говорит со своим возлюбленным стихами из разных поэм:

Бледна, как тень, она дрожала,
В руках любовника лежала
Ее холодная рука...⁴

Они превращают себя в литературных героев и живут чувствами этих героев. Подобно тому как Чацкий говорит, «как пишет», они себе присваивают

¹ Цит. по: *Модзалевский Б. Л. Ук. соч. С. 183—185.*

² *Пушкин А. С. Т. 4. С. 120.>*

³ Цит. по: *Модзалевский Б. Л. Ук. соч. С. 189.*

⁴ Там же. С. 193.

410

высокий строй души. Но, что очень важно, «высокий строй души» — это не просто разученные слова — тогда бы это было лицемерие или же детская игра. Но как пушкинская Татьяна, присвоив себе высокий строй души, построила свою жизнь, так и они строят свою жизнь по образцам литературных героев. Вот пример из мемуаров декабриста Басаргина.

Басаргин — активный член Южного общества, приятель Пестеля, человек очень решительный. У него жена. Восстание еще далеко, до него еще два года (кстати, жена умерла до восстания, и в Сибирь ей ехать не пришлось). Но вот что записывает Басаргин в своих мемуарах: «Помню, что однажды я читал как-то жене моей только что тогда вышедшую поэму Рыльева „Войнаровский" и

при этом невольно задумался о своей будущности. „О чем ты думаешь?“ — спросила она. „Может быть, и меня ожидает ссылка“, — сказал я. „Ну что ж, я также приду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас, так об чем же думать?“¹

Почему «Войнаровский»? Потому что поэма Рылеева рассказывает о Войнаровском, племяннике Мазепы, который сослан в Сибирь, а его возлюбленная, казачка, отправляется за ним, находит его в Сибири, разделяет с ним ссылку и умирает. Поэма кончается тем, что герой Рылеева замерзает на ее могиле.

Еще нет ссылки, еще нет ни восстания, ни крепости, ничего этого нет, но уже решены судьбы. Уже решены будущие жизни, уже даны литературные персонажи, которые потом превратятся и в жизненных персонажей.

Когда восстание было разгромлено и началось мучительное следствие, а затем (собственно говоря, ведь суда не было, только следствие) был вынесен приговор и декабристы отправились в Сибирь, для очень многих из окружающих, членов семей встал вопрос: как быть? Были разные решения. Были люди, которые торопились оборвать родственные связи. Так, мать Волконского в то время, когда его жена Мария Николаевна готовилась бросить ребенка, только что родившегося, и ехать за мужем, не пошла на свидание к сыну и отправилась в Москву (как фрейлина двора она должна была присутствовать на коронации).

У декабриста Чернышева был дальний родственник, по сути даже не родственник, а однофамилец — негодяй Чернышев. В будущем — военный министр Николая I, а сейчас — судья декабристов. До этого он был русским шпионом при Наполеоне, много с Наполеоном разговаривал, прекрасно владел французским языком. Вообще, был ловкий человек. Декабрист Чернышев был очень богат, а этот, хоть и в генеральском чине, был беден. И он немедленно решил, как только сошлют декабриста Чернышева, захватить его имение. Когда Чернышева в кандалах вели в следственный комитет, то Чернышев — будущий министр выскочил из-за стола, обнял его и по-французски сказал: «Et vous, cousin, vous aussi coupable!» Значит: «И вы, кузен, вы тоже среди виноватых!» На что Чернышев-декабрист сказал: «Coupable, peut-etre, cousin — jamais». Значит: «Виноват — может быть, но кузен — никогда». Даже Николай I не мог пойти на такую подлость, чтобы передать имущество

¹ Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск. 1988. С. 76.

411

осужденных их родственникам. Но муж сестры Лунина пытался завладеть его имуществом, были и такие родственники...

Были родители, которые просто жалели своих дочерей, собиравшихся отправиться за мужьями на каторгу. Ведь что ж значит отправиться в Сибирь? Правительство пугало (и не только пугало, но и выполнило свою угрозу), что женщины, переехавшие за Урал, потеряют все права и привилегии дворянки. А что означает в России потерять привилегию дворянки? Это даже не гарантирует от физического оскорбления. Ударить могут, а ударить — это ужасно. Главное — что такое Сибирь? Там же только каторжники, преступники живут! Оказалось, что эти преступники гораздо человечнее, чем чиновники. Все декабристки дружно отмечали, что их окружало сочувствие местных жителей, хотя жители были разные.

Вот такая история. В доме, где декабристов встречали очень радушно, жил богатый крестьянин, уже немолодой человек. Как он оказался в Сибири? Оказывается, в молодости убил девушку, которая ему изменила. Он — убийца, и ноздри у него вырваны, как у убийцы, но он добропорядочный, хороший крестьянин, у него большая семья. Другая была встреча. Декабрист Лорер, чтобы кучер не понял разговора (боялся, что кучер шпион, а осужденных в кандалах гонят на тройках), говорит со своим спутником по-немецки. Кучер оборачивается и отвечает по-немецки. Оказывается, он немец, бывший майор, которого Павел сослал за упущение во время парада. Он осел в Сибири, женился, стал крестьянином и уже двадцать лет по-немецки не говорил. Вот такие разные судьбы.

Сибирь — целый мир, и конечно, отпустить туда дочь страшно. И Раевские (генерал Раевский и его сыновья) стараются не пустить туда Марию Николаевну Волконскую, пускаются на разные ухищрения, особенно братья. Ее удерживает новорожденный ребенок, и все-таки она едет. На портрете, который вы видите, у нее на стене висит портрет отца, генерала Раевского. А генерал, умирая, держал в руках ее портрет, и последние слова его были: «Это самая удивительная женщина, которую я видел в своей жизни». Ребенок, рожденный до восстания, умер. (Пушкин написал исключительно прочувствованные стихи на смерть сына Волконской¹.) Но в Сибири у Волконских родились другие дети.

Итак, ехать в Сибирь страшно, но все-таки едут. Едут жены, но едут — что уж совсем было трудно — невесты. У Ивашева и у Анненкова были невесты, кстати обе — француженки. Камилла ле-Дантю, бедная девушка, едет за своим женихом Ивашевым. Еще венчанную жену Николай мог отпустить, а невестам ехать не разрешали, но все-таки они своего добились.

И вот в Сибири возникает особый мир — мир женщин, которые селятся около острога. Конечно, жизнь очень нелегкая, потому что это всё женщины, которые привыкли совсем к другой жизни, совсем к другому быту. Правда, среди декабристов были очень богатые люди, и им посылали большие деньги (родители Шереметева, Якушкина, Муравьева), а деньги шли все в

общий

¹ См. акварель П. Ф. Соколова «М. Н. Волконская с сыном Николаем», 1826. Имеется в виду стихотворение Пушкина «Эпитафия младенцу», 1828 (*Пушкин А. С. Т. 3. С. 91*).

412

котел. За этот счет оказалось возможным выстроить так называемую дамскую улицу — избы, но все-таки дамская улица около острога. Через некоторое время женатым декабристам разрешили по воскресеньям посещать своих жен.

Сначала было очень трудно, сперва просто виделись через щели в заборе. Потом было распоряжение жен держать в камерах, а камеры были предусмотрены на четырех мужчин — без внешних окон, окно выходило в коридор. Для того чтобы прорубить окно на улицу, причем закрытое решеткой, нужно личное разрешение Николая I. А там еще — двор, уставленный огромными палями, вертикальными бревнами из кедра. Удрать, конечно, невозможно — некуда. Но ходатайство об окне идет через Бенкендорфа, и идет несколько лет: пока письмо доходит до Петербурга, пока проходит через все инстанции... Очень трудно. Но оказывается, что литература — тот высокий полет души — сильнее. И молодые женщины, и девушки, которые выходят замуж уже в Сибири, строят свою жизнь, как литературные героини. Напомню, что Рылеев не только «Войнаровского» написал, еще до восстания он создал думу «Наталья Долгорукая».

Наталья Долгорукая — изумительный человек. Пожалуй, одна из первых женщин-мемуаристок в России. Жизнь ее охватывает первую половину XVIII века. Она — дочь фельдмаршала Шереметева, рюриковича, богача, сподвижника Петра, человека, который так неудачно командовал под Нарвой, а потом очень удачно командовал в других случаях, плавал по Средиземному морю и был мальтийским кавалером. Наталья Шереметева — красавица, самая богатая, самая лучшая невеста в России. А жених ее — Долгорукий — человек взбалмошный. Долгорукие были в фаворе при мальчишке Петре И. Молодой Долгорукий — любимец молодого царя, они вместе целые дни проводят на охоте. И вдруг Петр II умер, у власти — новое правительство, и Долгорукие все сосланы в Сибирь. Наталья Шереметева, теперь уже Долгорукая, отправляется за своим мужем, и там начинается тяжелая жизнь. Еще, как часто бывает в таких случаях, находится мерзавец (какой-то местный ничтожный чиновничек), который начинает требовать от них денег, потом начинает вынуждать Наталью к сожигательству. Она его буквально выгоняет, и тогда он пишет в Петербург донос, что Долгорукие устраивают заговор. Их увозят, мужа Натальи мучительно казнят — четвертуют, а она снова отправляется в ссылку. В сорок три года Наталья Долгорукая принимает монашество и умирает, не дожив до шестидесяти лет. После нее остаются поразительные женские мемуары¹.

Муж ее совсем не был похож на декабриста. Идеи у него не было, он был, конечно, карьерист, но она всю свою женскую душу отдала ему. Ведь ей, при ее родстве, при ее связях, стоило только сказать, что она хочет с ним расстаться, и она опять стала бы придворной дамой. Могла бы вступить и в новый брак, потому что ссыльный считался как бы мертвым, могла снова жить беспечной, прекрасной жизнью. Она же ведет ужасную жизнь. И о ней Рылеев написал думу, поставив рядом с героями русской истории эту героиню-

¹ См.: *Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева*. СПб., 1992.

413

ческую женщину. Конечно, для Марии Волконской, когда она ехала в Сибирь, так же как и для жены Басаргина, героиня поэмы «Войнаровский» и Наталья Шереметева-Долгорукая — образцы. И так жизнь и литература перемешиваются.

Литература создает высокие, благородные типы, которые воспитывают душу людей. Литературные идеи становятся программой поведения; они не остаются в области фантазий и мечтаний, для этого поколения слова есть дела. Мы видим, как то, что создает политического деятеля, героя, который идет на эшафот, создает и героическую женщину, которая выносит, может быть, гораздо большие тяготы. Декабристки в Сибири заводят детей, а что значит заводить детей? Ведь дети все лишены дворянского звания, лишены даже фамилий. Вместо фамилий они имеют отчества отцов, а фамилии получают только тогда, когда Николай I умрет и на престоле будет Александр II, и то не сразу. Потом им вернут дворянские звания, и из них часто выйдут не такие уж замечательные люди. Но уж таков закон: благородство не всегда передается вместе с семейными традициями. Однако нам важно, как мысли, идеи, слова становятся жизнью и создают высокие человеческие типы.

По сути дела, мы подходим к концу нашего сегодняшнего разговора и всех тех разговоров, которые мы вели уже довольно долгое время. Зачем, собственно говоря, нам нужно все это знать? Во-первых, для того, чтобы понимать книги, которые мы читаем. Это — первая, ближайшая, цель. Если мы не будем читать книги, мы останемся на очень низком культурном и человеческом уровне. Но читать мало, надо понимать, а понимать — это значит не просто понимать отдельные слова, это значит понимать чувства и мысли людей, условия их жизни, их быт.

Во-вторых, декабристы были люди, уважающие себя, а это — ценность, которая всегда необходима. Пушкин позже писал, что дом, домашние божества учат главной науке — чтить самого себя. Потому что тот, кто уважает себя, — свободный человек. Он свободен, и он хочет

свободы и для других людей.

Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг;
Счастье умов благородных
Видеть довольство вокруг¹.

Это уже Некрасов. Таким образом, этические ценности не стареют. Они, по сути дела, не меняются. Поэтому когда мы изучаем прошлое, то понимаем, что там были люди — такие же, как мы, с теми же человеческими страстями. И мы видим, что так же, как накапливаются в истории человечества произведения искусства, собираются картины, поэмы, музыка — это все не уничтожается, не должно уничтожаться, — точно так же накапливается и честность, благородство, уважение к себе. Эти высокие чувства тоже не должны уничтожаться. На этом мы заканчиваем.

Благодарю за внимание!

¹ Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. Л., 1982. Т. 4. С. 116.

Цикл второй. Взаимоотношения людей и развитие культур (1988 г.)

Лекция 1¹ (1988 г.)

Добрый день!

Итак, мы продолжаем лекции, которые начаты были в прошлом году, и то, что я собираюсь предложить вашему вниманию сейчас, будет продолжением нашего прошлогоднего разговора, но вместе с тем в некотором новом повороте. В прошлом году мы говорили о культуре прошлого — в основном XVIII — начала XIX века, — касаясь вещей, предметов, которые тогда были в обиходе, и основных обычаев — того элементарного знания, без которого нельзя понимать ни книги той поры, ни поступки людей и в конечном счете нельзя понимать и историю. Но ни книги, ни история не сводятся к вещам каждодневного обихода и к самым элементарным обычаям. Гораздо сложнее и вместе с тем важнее другая сторона дела: как люди в разные эпохи общаются друг с другом, почему они необходимы друг другу?

Конечно, вопрос этот — очень большой и охватить его целиком даже и надеяться нельзя. Люди общаются и в процессе производства, и в самых разных бытовых, социальных, политических ситуациях. Но мы возьмем более узкую сферу: как люди говорят друг с другом? Как люди узнают друг друга? Как они общаются в быту и почему они в быту друг другу необходимы? Какие у них есть для этого обычаи? Это особенно важно для понимания прошлого, потому что меняется психология людей. Люди каждой эпохи в чем-то главном похожи на нас, а в чем-то — *не похожи*, у них есть какие-то общие человеческие психологические черты, а есть и свои, специфические, и нам это важно помнить не только для того, чтобы понимать старые книги, но и для того, чтобы строить нашу нынешнюю жизнь.

Вот один пример. Важной стороной человеческого общения является то, как люди друг к другу обращаются: какие языковые ритуальные формы они употребляют. В нашей каждодневной жизни мы ощущаем утрату этих формул, мы не знаем, как друг к другу обращаться. Незнакомые люди встречаются в автобусе: как обратиться к другому человеку? «Гражданин» — так об-

¹ Передача вышла в эфир в 1988 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1999. № 15. С. 51—56.

415

ращаются очень официальные лица, так милиция обращается; «товарищ» — так обратиться к чужому человеку тоже нельзя. То же самое, насколько я себе представляю, и в эстонском языке: «kodanik»¹ сказать — как-то не принято, «seltsimees»² — тоже, «härta»³ — нужно, наверное, фамилию знать.

Обращение утрачено. Не могу не сказать, что приходится слышать такое уродливое, страшное обращение, как, скажем, «женщина» или «мужчина». Это чудовищно, это свидетельствует о разрушении социального ритуала. Ведь обращение «мужчина» к незнакомому — это из обихода женщин самой позорной профессии, порядочные женщины так никогда не говорили. Между тем это сейчас слышишь везде, и это только один из примеров.

Социальные отношения на таком самом простом уровне — вопрос большой культуры, культурного созидания, и очень важно в этом смысле обращаться и к прошлому, особенно когда время такое динамическое, все меняется и мы часто оказываемся без элементарных средств понять друг друга. Насколько важно друг друга понять, не стоит и говорить.

Итак, мы будем говорить о формах общения, и поэтому, прежде всего, мне хочется вспомнить, как это делалось в XVIII—XIX веках. Обращение и в России, и в Западной Европе в эту пору имело твердо установленные формы. Оно не совпадало в разных странах, но человек, обращаясь к другому человеку, никогда не затруднялся тем, как его назвать и как к нему обратиться. Отчасти это было связано с твердыми социальными установлениями, с тем, что сложилось веками и облегчало людям внешние формы общения. Отчасти это было связано с определенной ясностью идеалов.

Прежде всего, о традиционных вещах. После того, как в России после Петра I установилась система Табели о рангах, утвердилась и система обращений людей друг к другу. Конечно, по-разному обращались люди разных сословий. Обращение к крестьянам, как правило, не включало отчества. Если отчество называлось, то была другая грамматическая форма, скажем — Иван *Филиптов*, а не *Филипович*. Вот этот суффикс *-ич* уже означал некрестьянина. Известно, что когда Петр начал купцов записывать с суффиксом *-ич*, это воспринималось как большая социальная честь, и купцы за это готовы были идти на финансовые жертвы, принимать участие в разных реформированных учреждениях, куда они из-за осторожности не очень охочи были идти.

Но поговорим сначала о дворянстве. Дворянство русское, как мы говорили в прошлом году, было служилым. По указу о вольности дворянской дворянин мог не служить, но это было связано с очень большими жизненными неудобствами. Человек, который не служил никогда и,

следовательно, не имел чина, должен был, например, на почтовой станции получать лошадей в последнюю очередь. Если он покупал что-нибудь, продавал, оформлял официальную бумагу — писаться «недоросль», хотя ему могло быть семьдесят лет. А так бы он писался «отставной гвардии поручик», или «отставной штабс-капитан», или «действительный статский советник». Практически дворянин всегда имел чин. В зависимости от того, каков чин, таково было

¹ Kodanik (эст.) — гражданин.

² Seltimees (эст.) — товарищ.

³ Härra (эст.) — господин.

416

и обращение. Причем были отличия между обращением бытовым и обращением в официальной бумаге.

Сошлюсь на пример. В середине прошлого века вышла такая забавная книжечка. Автор был — граф Тонский, и брошюрка называлась «Как сделаться джентльменом»¹. Там были перечислены официальные обращения. Скажем, на конверте и в письме, которое адресовалось императору, надо было писать: «Его Императорскому Величеству Государю Императору». Бумагу надо было начинать со слов «Августейший монарх» или «Ваше Императорское Величество», а к великим князьям, соответственно, — «Высочество». Дальше шло по чинам: первый, второй — «Ваше Высокопревосходительство», третий, четвертый — «Превосходительство».

Напомню вам, что в «Ревизоре» Гоголя Хлестаков, когда расхвастался, говорил (у нас зрители часто не понимают смысла этого эпизода): «Мне даже на пакетах пишут: „ваше превосходительство“²». Все дело в том, что Хлестаков — чиновник самого последнего четырнадцатого класса, коллежский регистратор — «елистратишка», как его называет слуга Осип. Положено его называть «ваше благородие», а он сразу хватил третий-четвертый класс — «ваше превосходительство».

Должен сказать, что в этом обращении, кроме уважения к чину, имелось отчасти уважение и к знанию. Например, ректора университета, какого бы чина он ни был, называли «ваше превосходительство». Это было исключение. Оно делалось для ректора, для начальников каких-то особых служб (скажем, для прокурора) или же для кавалеров высшего ордена — Андрея Первозванного. Какой бы чин ни имел кавалер Андрея Первозванного, он был «ваше превосходительство». Потом шло по понижающей. В пятом классе военных чинов не было. В XVIII веке был бригадир, Екатерина его упразднила, но был гражданский чин — «статский советник». Это было «ваше высочество». И так далее: до восьмого класса — «ваше высокоблагородие», а затем уже просто «ваше благородие». «Ваше благородие», по сути дела, говорилось при обращении к каждому дворянину, это была уже форма вежливости.

Кроме обращения по чинам — обращения по знатности: к графу или князю — «ваше сиятельство». А еще была такая разновидность титула. В конце войны 1812 года Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, который стал князем Кутузовым-Смоленским, получил особый титул «светлости»: «светлейший князь». И тогда его стали называть «ваша светлость».

Но интересно, что были особые обращения и к лицам духовного звания. Например, для митрополита и архиепископа — «ваше высокопреосвященство», для епископа, архимандрита — «преосвященство», для протоиерея — «высокопреподобие», а для священника — просто «ваше преподобие».

Эти формы имели параллели и в европейском быту — в разных странах по-разному. Обращения по титулам были приняты и во Франции, но Французская революция их отменила, а в остальной Европе так оно и продолжалось.

¹ Тонский Б. Н. Как сделаться джентльменом: С приложением дуэльного кодекса СПб., [1912]. 2-е изд.

² Гоголь Н. В. Т. 4. С. 50.

417

Это создает, между прочим, некоторые особенности. Приведу один пример. В одной интересной статье венгерский лингвист Ференц Папп (он работает в Дебрецене и в Будапеште) написал о том, как переводить кинофильмы. Он с основанием пишет, что переводить бытовую речь — просто, это не составляет трудности, а переводить обычаи бывает очень трудно, потому что адекватное восприятие обычая — в частности, того, как люди друг к другу обращаются, — требует знаний. И он приводит пример демонстрации в Дебрецене советского фильма «Анна Каренина». Перед демонстрацией фильма были проведены зрительские конференции, а роман «Анна Каренина» входил в школьную программу, то есть зрители, в общем, были подготовлены. И вот кадр (Анна — уже любовница Вронского): приезжает ее муж, Алексей Каренин, и спрашивает швейцара, где Анна. Швейцар отвечает: «Занимается с Сергеем Алексеевичем». Речь идет о сыне Анны, мальчике Сереже. В зале возникает хохот, поскольку зритель не обязан помнить и не помнит, как зовут Вронского, как зовут мужа Анны, как зовут ее сына, тем более что имена в венгерском ритуале играют несколько иную роль (не случайно они ставятся не перед фамилией, а после нее). Публика, зная русские формы обращения, зная, что имя-отчество представляет собой уважительную форму, предполагает, что о ребенке такого сказать нельзя. Возникает адюльтерная ситуация: Анна развлекается с Вронским, а тут приехал муж. Публика

воспринимает ситуацию как двусмысленную только потому, что неадекватно переведены формы обращения.

Но самое интересное дальше. Сам Ференц Папп, блестящий лингвист и человек семиотического склада мышления, очень хорошо знающий обычаи и культуры разных народов, вообще интересный человек, предлагает свой перевод: «Анна занимается с его сиятельством, молодым баринном». В венгерском быту это, наверное, было бы нормально, поскольку «его сиятельство» (княжеский титул) в Венгрии, как, скажем, и в Грузии, по сути дела, форма вежливости и не обязательно быть князем, чтобы вас называли «ваше сиятельство», достаточно быть дворянином.

Между тем как в России титулов придерживались очень строго, и очень важно, что Каренин — не титулованный дворянин. Вот Анна в девичестве, конечно, была княжна (ее брат Стива Облонский — князь), и Щербацкие, семья Кити, — это все московская титулованная знать. Каренин — петербургский чиновник, который выбился из мелких людей. Прототип его — Победоносцев, а он вообще был разночинец. И фигура у Каренина, как вы помните, не аристократическая: длинная спина, большие уши — такая демократическая фигура (что очень важно для Толстого). Назвать его сына «вашим сиятельством» по-русски нельзя.

Таким образом, мы оказываемся в центре очень интересного мира. Даже простое употребление местоимений значимо. Совершенно очевидно, что в разных языках и в разных обществах «вы» и «ты» означают совершенно разные вещи. Когда Вронский и Анна уже любят друг друга, но еще не близки физически, их любовь еще не получила окончательного выражения в словах, она только созревает, — оказывается, что им невозможно говорить по-русски, потому что русское «вы» — слишком далекое, слишком холодное, а «ты» — слишком опасное, слишком близкое. Они говорят по-французски,

418

где *vous* — нейтральное, оно не означает отдаленности (потому что можно иногда и в молитве к Богу на «вы» обратиться) и вместе с тем оно не холодное, а *tu* в эпоху Толстого было уж очень интимное местоимение. Сейчас, между прочим, иначе.

Я упомянул, что Французская революция отменила титулатуру, и действительно, в парижском быту в эпоху революции изменение в употреблении местоимений отражало совершенно иное представление об идеале общества. Идеалом стал Древний Рим. Каждый республиканец хотел быть римлянином. Французские республиканцы меняли имена, они становились Гракхи, Катоны, Бруты и переходили на «ты», поскольку в латинском языке в эпоху Древнего Рима это была единственная форма обращения. Вот такой эпизод: когда один из членов Национального собрания обратился к Мирабо на «ты», то Марат запротестовал с очень интересной мотивировкой. Мирабо — не республиканец, он не настоящий римлянин, он только притворяется. На самом деле он маркиз, он любит богатую жизнь, он не настолько хороший гражданин, чтобы его называть на «ты», его надо называть на «вы».

До революции во Франции была создана культура утонченной вежливости. Самым вежливым человеком Франции считался король. Это была его привилегия. Людовик XIV ни с одной дамой, будь она судомойкой или коровницей в Версале, не разговаривал, не сняв шляпу. Вежливость короля — это и есть вершина его величия. Но утонченная вежливость французской аристократии, которая не отменяла грубости нравов и очень сложно с ней сочеталась, была отброшена ради искренности, потому что еще до революции Руссо писал, что вежливость нужна для того, чтобы хорошо лгать, а откровенность не требует изысканных форм.

Таким образом, в начале XIX века скрестились разные формы обращения. Но не только во Франции. Все мы читали фонвизинского «Недоросля» и помним, как Стародум говорил о том, что в эпоху Петра никто не говорил друг другу «вы»: потому что один человек не считался за многих, то есть люди не были эгоистами, тогда все друг другу говорили «ты». Идеал простоты и грубоватой искренности, с одной стороны, с другой — идеал вежливости и утонченности, — оба они присутствуют и как бы сосуществуют. Но официальных форм вежливости, которые были положены по Табели о рангах, было недостаточно.

Я позволю себе зачитать один любопытный отрывочек из мемуаров лексиколога Макарова, который вспоминал о своем детстве — самое начало XIX века. Он жил в небольшом городке Солигаличе. Там, как вспоминает Макаров, богатейший дворянин, помещик, которого называли «солигаличский император», встречал своих гостей по строго разработанному ритуалу. Позволю себе прочесть: «У него было три формы обращения с разными лицами. Дворянам, владеющим не менее 200 душ и более, — он протягивал свою руку и говорил сладчайшим голосом: „Как вы поживаете, почтеннейший Мартемьян Прокофьевич?“ Дворянам с 80 до 200 душ он делал только легкий поклон и говорил голосом сладким, но не сладчайшим: „Здоровы ли вы, мой почтеннейший Иван Иванович?“».

Обратите внимание на одну деталь: разница, кажется, очень небольшая. Дворянам богатым и действительно равным ему он говорил «почтеннейший»,

419

а тем, которые ниже, он говорил «*мой* почтеннейший». Мы бы сейчас не обратили внимания на эту разницу, а между тем она была важна. И так, там, где был «сладчайший» голос, там было

«почтеннейший», там где был просто «сладкий», там был «почтеннейший мой».

«Всем остальным, имевшим менее 80 душ, он только кивал головою и говорил просто голосом приятным: „Здравствуйте, мой любезнейший...“» — между прочим, без имени-отчества. Вот «любезнейший» без имени и отчества — это уже почти обидно. Так обращались к слугам: «Послушай, любезнейший».

«Но при всех трех родах здорованья ласковая улыбка не сходила с его уст»¹. Это тоже существенно. Помните, в «Пиковой даме» Чекалинский ведет большую игру в игорной компании? Чекалинский — фигура несколько сомнительная, он аристократ и, видимо, немножко шулер. Игра идет не на жизнь, а на смерть — огромные суммы, тем не менее Чекалинский (Пушкин это подчеркивает) говорит каждый раз *ласковым* голосом. Это была манера обращения, которой учили и которая тоже была важна.

Можно согласиться с Руссо в том, что здесь было много лицемерия. Но вместе с тем это была и форма, облегчающая общение людей. Люди других сословий тоже знали, как друг друга надо называть, хорошо владели оттенками. Очень важно владеть оттенками для того, чтобы правильно понимать собеседника. Ведь как получалось, когда сталкивались люди очень разных социальных пластов, которые не владели этой условностью: они не чувствовали, где ласка, где обида, и некоторые люди с повышенной гордостью обижались там, где их не хотели обидеть, другие *не* обижались, когда их презрительно третировали. Владение формами ритуального обращения — как бы смазка, по которой едет механизм, и она в значительной мере облегчает общение.

Мы уже вспоминали Французскую революцию и древних римлян. Интересно, что, когда создаются те или иные нормы общения, они всегда ориентируются на какой-то исторический пример. Так, например, когда в эпоху итальянского Возрождения (в эпоху Ренессанса) возникла новая культурная среда, ренессансная интеллигенция и потребовались новые формы обращения, то были вызваны тени античных философов. Возник идеал, который мы видим на знаменитой рафаэлевской фреске «Афинская школа», — идеал общения философов, мудрецов. Ритуальные формы обращения в разговоре и в письме заимствовались у Цицерона, у римских философов, у Сенеки. И точно так же, как люди эпохи революции воображали себя древними римлянами, люди эпохи Ренессанса воображали себя греческими философами.

Между прочим, в годы нашей революции 1917 года ритуал обращения Французской революции очень сильно влиял на быт. Я еще помню поколение людей, которые разговаривали друг с другом только на «ты» и так же, как в годы революции, культивировали грубую простоту обращения и нарочитую искренность. Как всякое обращение, это означало очерчивание некоего

¹ Макаров Н. Мои семидесятилетние воспоминания... СПб., 1881. Ч. 1. С. 23—24.

420

круга. Недавно в одной из статей академик Д. С. Лихачев рассказал, что, когда он слушал в 1920-е годы лекции в университете, все профессора делились на две группы: одни обращались к студентам «товарищи», а другие — «коллеги». И сразу было ясно, какие профессора принадлежат к какой группе. Но и студенты делились: одни входили в группу «товарищей», другие входили в группу «коллег».

Обращение всегда каким-то образом характеризует того, кому говорят, по крайней мере показывает мое представление о нем. Всегда есть некоторое коллективное «мы», которое очерчивается формами обращения. Между прочим, если общие формы обращения у нас сейчас утрачены, то в маленьких коллективах, границы которых очерчиваются языком (студенческий сленг, молодежный язык), они сохранились.

Таким образом, обращение ведет нас к другому вопросу — к диалогу. Диалог — форма языковой взаимности, и это очень важно. Ведь по сути дела мы можем так поставить вопрос: зачем мы говорим? Легко можно сказать, что мы говорим, потому что нам нужно что-то узнать, мы сообщаем какую-то информацию (в узком смысле). Но ведь если взвесить то, о чем мы говорим, записать и перечитать, то обнаружится, что слов гораздо больше, чем информации. Мы говорим очень много, мы фактически значительную часть своей жизни говорим, а конкретных сведений сообщаем мало.

Когда-то, еще в начале 1960-х годов, венгерский ученый И. Фодь измерил избыточность разных разновидностей речи. Избыточность — это величина, которая показывает, сколько лишнего используется. Другое дело, что лишнее — не есть ненужное. Язык обладает каким-то количеством необходимого *лишнего*. Но *лишнего* может сделаться очень много, и тогда речь становится малоинформативной. Оказалось, что наименее информативны и наиболее избыточны газетная передовица (это понятно: бюрократический текст, большие блоки, очень много лишних слов) и разговор барышень, записанный на улицах Будапешта на магнитофонную ленту.

Избыточность измеряется очень просто. Говорится слово, и смотрим, можем ли мы угадать следующее слово. Я скажу «передовики», и вы все знаете, что дальше будет «производства». Значит, слово «производство» уже никакой информации не несет. Когда один человек спрашивает другого: «Ну, как ты живешь?» — очевидно, что ответ абсолютно неинформативен. Знаете, кто такой «зануда»? Это тот, кто на вопрос «как живешь?» отвечает, как он живет.

И все-таки — зачем же мы говорим? Мы устанавливаем сферу общения, и нам не только важно получить какую-то информацию от другого человека, но важно вступить в контакт, и говорение

есть в значительной мере форма контакта. Эти разные формы контакта и будут предметом нашего разговора (не только говорение). Люди контактируют между собой непосредственно, о чем я сейчас говорил, и опосредованно: через книгу, через журнал, через газету, через радио, через телевидение. Это сложные формы контакта, здесь диалог будет скрытым.

Был такой фильм, который снимал Трюффо по роману Бредбери «451° по Фаренгейту». Там изображено тоталитарное общество будущего: огромные телевизионные экраны говорят со слушателем, им слушатель задает вопросы,

421

с ними общается, потому что все люди разрозненны, никакого общения уже нет. На самом деле это фикция общения, потому что вопросы сведены к такой примитивности, что любой «вопрос» уже есть ответ.

На степени крайней примитивизации человека общение делается легким, но бесполезным. Между тем общение бывает очень трудным и вместе с тем очень полезным. Очень важно для человека опосредованное общение с культурным прошлым, не только с людьми. И тут нам придется коснуться вопроса путешествий. В зависимости от того, живут ли люди на месте или движутся, у них разный культурный опыт, у них разные представления. Путешествовать бывает иногда легко, иногда трудно — трудно технически, поскольку существуют запреты. Вот, скажем, император Павел запретил выезды за границу. Это тоже войдет в предмет нашего рассмотрения. Эта обширная область, которая связана с нашим прошлогодним разговором, продолжает его, и будет нас занимать в этом году.

Благодарю за внимание. До свидания.

Лекция 2¹ (1988 г.)

Добрый день!

В прошлый раз мы в нашей вводной лекции к новому курсу говорили о том, что общение, составляющее важную черту человеческого общежития, человеческой жизни и социальной психологии, принимает самые разные формы: и непосредственное общение между людьми, и чтение каких-то стоящих между людьми текстов (книг). В частности, я упоминал и о путешествиях.

При чем здесь путешествия? Дело в том, что, когда люди перемещаются в пространстве и особенно когда они сталкиваются с другой культурой, с другими людьми, сразу расширяется круг знакомств, сразу усложняется сама форма общения. Одно дело поддерживать контакты с близкими — с людьми одинакового опыта, одинаковой культуры, языка, общей национальности. Другое дело — в путешествии, которое ставит человека перед иной землей, иными традициями, иными обычаями. Естественно, здесь необходимость контакта становится более ощутимой, а сам контакт делается более трудным.

Есть много разных интересных документов, которые свидетельствуют о том, как сложно и вместе с тем любопытно оборачиваются столкновения людей во время путешествий. Не случайно, между прочим, в XVIII веке полагали, что для образования, для того, чтобы из мальчика получился взрослый человек, ему обязательно не только пройти какое-то обучение, но обязательно путешествовать.

¹ Передача вышла в эфир в 1988 г. Текст впервые опубликован: Таллинн. 2000. № 16. С. 26—32.

422

Путешествие как элемент образования отмечено было еще в античную эпоху и потом стало обязательным признаком культуры и в средние века. Путешествия бывают разные: путешествия деловые, паломничества к святым местам, военные походы, а в новое же время это, в значительной мере, путешествия по университетам, по местам культуры, знакомство с другими языками. Это важная сторона контактов.

Среди разных книг на эту тему, которые можно было бы указать, есть очень любопытный документ — путешествие японского моряка¹, который совершенно случайно после кораблекрушения (его спасли русские рыбаки в Охотском море) оказался в Петербурге. Он оставил подробный дневник о Петербурге эпохи Екатерины II, — он был принят очень высокими лицами и видел саму императрицу. Очень любопытный дневник, который, между прочим, до середины XX века в Японии был засекречен и считался государственной тайной.

Дневник — особый. Когда моряк вернулся, он был подвергнут допросу, поскольку путешествия из Японии тогда были запрещены, и должен был написать подробный отчет. Там масса интересных сведений, которые никогда не придет в голову фиксировать европейцу. Например, сколько у русских спиц в колесе или же что стоит какая-нибудь вещь, какое расстояние между фонарями в Петербурге, — вплоть до того, сколько стоит женщина в публичном доме, и это он записал. Это очень интересно, потому что многое из того, что ему казалось удивительным (и поэтому он фиксировал), европейцу показалось бы настолько обыденным, что он бы не записал.

XVIII век был веком передвижения. Средние века знали сообщения, но сообщения не были регулярными, и это лучше всего отражается в состоянии дорог. Рим оставил дороги, мощенные каменными плитами. Римские дороги, по сути дела, пересекают южную Европу до сих пор, а на

территории Советского Союза их можно увидеть в Армении — ту самую римскую дорогу, по которой шли римские легионы и где их военные орудия и транспортные средства оставили колеи (до сих пор видны втертые полосы). Средние века не дали таких дорог: дороги зарастали, превращаясь практически в тропинки. Европа была покрыта, с нашей точки зрения, тропинками. Только в эпоху Возрождения началось строительство дорог, может быть чуть-чуть раньше на юге: уже с XII века. Особенно много сделали для этого испанские мавры и рабы. Потом в Европе начали строить первые тоннели, и постепенно Европа стала покрываться дорогами.

Большую роль сыграло то, что на рубеже средневековья были изобретены доменные печи, резко подешевело железо. В раннем средневековье железо считалось драгоценным металлом, а железный гвоздь был большой роскошью. Гвозди делали из крепкого дерева, замки тоже старались делать деревянные. Но на рубеже средних веков железо вдруг подешевело, и появились железные обода на колесах, изменилась система крепления колеса к оси, появились (несколько позже) рессоры, сначала ременные, потом стальные. К XVI—XVII векам в Европе уже были удобные экипажи и относительно удобные дороги.

¹ *Кацурагава Х.* Краткие вести о скитаниях в северных водах («Хокуса Монярку»), М., 1978.

423

В России было несколько иначе — дорог было мало, практически их не было, поэтому передвижение по дорогам шло по сезонам. В зимний сезон, когда устанавливался санный путь, по всем дорогам начинали двигаться обозы с провизией. В Москву, в Петербург везли замороженных гусей, замороженных осетров с Волги, с юга (с Дона, с Украины) — сало. Пока был санный путь, люди торопились навестить друг друга. Если предстояло везти невесту «в Москву, на ярмарку невест», на зимние балы, то тоже надо было дожидаться становления санного пути и быстро ехать. Второй сезон — лето, когда дороги высыхали. Осенью и весной дороги были практически непроходимы.

Правительство, которое было заинтересовано в регулярности коммуникации (не случайно Николай I однажды обронил: «Пространство — это проклятие России»), старалось устроить хотя бы основные, почтовые дороги. Но это приводило к довольно плохим результатам: дороги делали в виде углубления, как бы по профилю корыта, и они заполнялись жидкой грязью. Дороги были проклятием для местных крестьян. Несмотря ни на барщину, ни на оброк, ни на урожай, ни на пахоту, крестьян сгоняли на дороги. За это им или не платили, или платили очень мало, смертность была большая на этих работах. Самые разные правительства, даже такой мягкосердечный человек, как Александр I, с тупой жестокостью заставляли их делать эти канавы, наполненные жидкой грязью. Только в начале XIX века начали делать регулярные шоссе по методу инженера Макадама (они так и назывались «макадамовские») — это были дороги, покрытые битым щебнем. Это было не меньшим открытием, чем через некоторое время — железные дороги.

В начале 1820-х годов два вельможи, М. С. Воронцов и А. С. Меншиков, организовали дилижансное сообщение между Петербургом и Москвой (это было не для денег, а как знак европеизма). Дилижанс — карета на восемь или на двенадцать мест. Можно было купить билет и по новой шоссе дороге относительно быстро проехать из Петербурга в Москву.

Постепенно все-таки техническое состояние дорог улучшалось, улучшалась и безопасность на дорогах. Еще в XVIII веке в дорожной карете обязательно было два места для пистолетов (с двух сторон такие карманчики), и редкий путешественник отправлялся в дорогу без пистолетов и без сабли (и в России, и в Европе). Были специальные дорожные пистолеты с расширяющимся дулом. Их забивали картечью, чтобы прямо из окна кареты во все стороны полетело, потому что разбойники обычно нападают толпой, — вот сразу в толпу и выстрелить. К концу XVIII века опасности на дорогах уменьшились, за исключением некоторых лесистых районов России (Брянский и Муромский районы были опасными); в Италии много было разбойников, особенно в Калабрии, в Абрुцци, в горных районах (конечно, не в Ломбардии). На юге Франции «шалили» — в Швейцарии всегда было тихо; в Богемии бывали разбойники. Но в конце XVIII века на дорогах были и другие препятствия.

По дорогам Европы шла война, Европа вся была в огне. Но это не останавливало движения путешественников. В то время военные действия не так сильно распространялись на мирное население, случалось, что какие-нибудь

424

солдаты и ограбят, но за это их наказывали во всех армиях, мародерство нигде не поощрялось.

Были еще препятствия политические и культурные. Например, в течение долгого времени сообщение России с Западной Европой ограничивалось по религиозным соображениям. Впервые начал поощрять поездки молодых людей на Запад Борис Годунов: он послал нескольких, никто из них не вернулся, и судьба их неизвестна. Но прошло не очень много времени, и уже в XVII веке сообщения России и Запада были довольно регулярными, в XVIII веке они стали обычным делом. При Петре они даже не всегда были добровольными: Петр *понууждал* молодых людей ездить в Европу; и об этом мы немножко поговорим.

Такая легкость людей XVIII века в отношении к передвижению породила другую крайность. В XVIII веке появился особый вид человека — авантюрист, который, как Казанова или Сен-Жермен,

переезжал из столицы в столицу. Может быть, об этих людях мы тоже скажем несколько слов — это характерная черта XVIII века.

Но начать я бы хотел с другого. Вот мы всё говорим о людях, принадлежавших к относительно высокому общественному кругу. А как народ? Простые люди — в России крестьяне, даже крепостные, и в Европе люди из простого народа — были ли они так приклеены к одному месту, как нам может казаться? Видимо, это не так. Уже в начале XVIII века торговые связи, в том числе связи русских и прибалтийских купцов, уводили их и в Швецию, и в Германию. Но еще интереснее другое.

Я хотел бы привести несколько примеров того, как передвижение сводит людей разных социальных категорий. Одним из важных эпизодов восстания декабристов явилось восстание Черниговского полка. Черниговский полк, расположенный в городе Василькове, недалеко от Киева, был втянут в декабристское движение. В Василькове находилась управа Южного общества, возглавляемая Сергеем Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, в дальнейшем оба были повешены. Когда в Петербурге произошло неудачное восстание и Южное общество тоже было уже фактически раскрыто, Черниговский полк, пожалуй единственный, организованно выступил. Пришел приказ, и Сергея Муравьева-Апостола арестовали, но солдатам удалось его освободить, полк поднялся и совершил марш, но в конечном счете погиб. Ему были перекрыты все дороги, он вынужден был наткнуться на артиллерию генерала Гейсмара, попробовал прорваться, артиллерия открыла картечный огонь, и полк был рассеян.

Меня в этом эпизоде интересует вот что. Когда мы просматриваем список солдат Черниговского полка (он опубликован в 1929 году в шестом томе «Восстания декабристов»), то среди тех солдат, которые не убежали, а остались (солдаты легко могли уйти от восставших, не принимая участия в их походе), находим около десяти эстонских имен. Фамилий нет, вместо фамилий — имя отца. Например: Рейн Мати, Юрий Яан, Март Яан, Антс Яан, Яан Индрек, Фриц Индрек — очевидные эстонские имена.

Можно себе представить, каково же было у этих солдат прошлое. Это рекруты из Эстонии. Черниговский полк принимал участие в антинаполеоновской войне. Среди тех, кто участвовал в восстании, многие награждены

425

солдатским военным крестом, который назывался «знак военного ордена» или же «солдатский Георгий». Это был особый крест, учрежденный незадолго до войны 1812 года и дававшийся только солдатам. Вполне можно представить, что эти солдаты, или хотя бы некоторые из них, участвовали в войне 1812 года, прошли через Европу, были в Париже. Теперь они оказались на Украине в Черниговском полку. Это не были люди, которые пассивно пошли за большинством. Когда полковника Сергея Муравьева-Апостола арестовали, надо было проявить инициативу, чтобы его освободить. Надо было вступить в конфликт с теми командирами, которые призывали остаться верными правительству, потом надо было пойти в мятежной колонне, а ведь до последней минуты можно было убежать. В списке указано, кто где уклонился, кто где откололся, — это было расследовано. Потом надо было броситься в отчаянную атаку на картечь. Это все — незаурядные действия, и это люди, которые не плывут по течению. Были очень драматичные эпизоды. Муравьевых-Апостолов было три брата. За несколько дней до восстания приехал младший брат, девятнадцатилетний Ипполит. Во время атаки он был ранен и тут же застрелился. Атака была отчаянная.

Люди, о которых я говорю, все пострадали: их наказывали шпицрутенами, а потом некоторых ссылали в Сибирь. Вот какой надо было пройти путь человеку из народа, чтобы откликнуться на слова русского полковника, сказанные на русском языке, и пойти за ним. Надо было много повидать, о многом передумать.

Еще один пример, уже с русским крестьянином. Есть совершенно поразительная книжка — мемуары крестьянина Николая Шилова¹. Николай Шипов родился в 1802 году и умер в середине XIX века. Его записки — настоящий роман, даже представить себе невозможно, что на одну жизнь крепостного крестьянина выпало столько приключений и что сам он был такой инициативный, способный, талантливый человек. Очень интересно!

Семья крестьянская, деревня не в богатом районе — около Арзамаса, рядом с Мордовией, в Нижегородской губернии. Помещик Салтыков — помещик средней руки; род старый, а помещик не очень богатый. Крестьяне — миллионеры. Вся семья, и соседи, и родственники (а в деревне почти все родственники) отправляются («ездят», как они говорят) к «киргизам», то есть к казахам, покупают там тысячами голов овец и гонят их в Казань. Шипов начинает этот торг мальчиком, ему двенадцать лет, когда он в первый раз едет с отцом. Для такого дела ему, конечно, надо говорить и по-татарски, и по-казахски, да еще по пути встречаются башкиры и калмыки!

Надо обладать общительностью. Он описывает, как это все устроивается, как надо не поспорить с покупателем, потом — как трудно гнать овец своим ходом: бывает, что овцы болеют, бывает, что с калмыками не поладишь, они отобьют овец. Конечно, у них есть и маленькая фабрика салотопная. Это крепостные крестьяне, но у них деньги водятся. Никакой канцелярии, никаких бумаг, никакой отчетности у них нет, все на честном слове,

¹ История моей жизни и моих странствий: Рассказ бывшего крепостного крестьянина Николая

Шилова (1802—1862) // Карпов В. Н. Воспоминания. Шипов Н. История моей жизни. М.; Л., 1933.

426

никогда никто никого не обманывает. Потом, когда Шипов будет от своего помещика бегать, он раздаст десятки тысяч, и никто его не обманет.

Он сватается, и — свадьба. Невеста богато одета, и жемчуг есть на ней, и золото, а тут подбегает помещик с женой, и жена говорит: вот видишь, они у тебя оброк маленький платят, а ходят богаче, чем я! И помещик начинает преследовать этого человека. Сначала он просто увеличивает оброк — вдвое, втрое, но это ничего, можно платить. Главное, помещику обидно, что крестьянин так хорошо живет, и он даже себе во вред начинает крестьянину вредить. А тут еще крестьянин с управляющим поссорился.

Далее начинается настоящий роман — помещик грозит отобрать паспорт. Если отберут паспорт, то уже все дело кончается — разорение, да еще помещик может сослать в другую деревню и сделать пастухом. Сам Николай Шипов любит свободу, он человек предприимчивый, все умеет делать. Он вместе с женою бежит от помещика. До этого он съездил в Одессу под видом каких-то своих дел, договорился со знакомым, что ему сделают фальшивый паспорт, представят паспорт в Харьков. Дальше начинается целая Одиссея. Он бежит, помещик — хоть и бедный, но его «засло» — отправляет сыщиков-крестьян искать его в разные концы России. Шипов приезжает в разные места: куда придет, там просто в руках у него все горит: фабрику сделает сразу, потом — опять у него денег нет. Узнав, что в Одессе есть какое-то парфюмерное производство, поехал в Константинополь с шурином (шурин там умер от чумы), купил розового масла. Правда, ничего у него не вышло — на таможне товар отобрали, потом чиновники его ограбили. Потом он покупает прусский паспорт и делается немецким купцом. Живет в Яссах, в Молдавии, у скопцов, у староверов. Потом снова покупает австрийский паспорт. Опять он богат. Между тем семью в Арзамасе совсем разорили, и дочку держат под караулом, замуж идти не дают. Потом Шипов попал в беду: встретился с человеком (кстати, человек был интересный, но вот с ним плохо поступил) и попал в тюрьму.

Сидит в тюрьме, а тут в Ставрополь должен приехать Николай I. Арестантам выдали новые полушубки, накормили их досыта и пол подмели. Только открылась камера, он упал в ноги: «Ваше величество государь!» — дверь захлопнули, и ничего ему не было. Вышел на свободу. Не царь его выпустил — взятка выпустила. Вышел, через некоторое время опять разбогател, опять его преследуют. Длинная-длинная история...

Наконец Шипов узнает, что есть человек, который может «показать закон». Вот это очень интересно: закон есть, но его никто не знает! и есть такой знаток, который может показать закон — как из крепостного стать свободным. Он его «показывает». Оказывается, очень просто: надо попасть к черкесам в плен, и если не убьют, то из плена убежать, и будешь свободным. Дальше продолжается история. Шипов становится маркитантом, едет под Грозный, под Кизляр, лавка у него. И вот он однажды, как будто бы совсем случайно, вышел из крепости ночью погулять, и черкесы его забрали. Опять история: он в плену — теперь бежать надо! А бежать нельзя — ноги скованы, в яме сидит, и уже завтра к Шамилю поведут, а если к Шамилю, то там не убежишь. Но нашелся один друг — татарин, который когда-то у него был в приказчиках (и до этого, ему помог тоже его бывший приказ-

427

чик-еврей, про которого Шипов сказал: «Хоть он и еврей, а добрый человек, помог»). Татарин дал ему ключик от кандалов. Татарин этот был русский солдат, попал в плен, женился на черкешенке и живет в ауле, и уже никуда не хочет, но Шилову ключик дал. Только предупредил: будут гнаться — бросайся на колени и руки врозь, тогда не срубят голову, а побежишь — срубят голову. Вернулся Шипов из плена и наконец стал вольным человеком, почти перед самым освобождением крестьян. Сорок лет вот так мыкался.

Замечательные мемуары! Он — человек необычайной легкости контактов. Приехал в Молдавию — через год уже говорит по-молдавски; попадает к староверам, хотя он православный — он понимает их веру, не оскорбляет. Попал в плен к черкесам — подружился с ними, хотя он и в кандалах, чтобы не убежал (потому что за таких берут выкуп большой), но со стариком-сторожем играет в карты. Когда Шипов убегает, он вздыхает, потому что ему жалко старика — его могут побить за это. Но он пишет: старика пожалел, но и себя пожалел! Это необычайная контактность, воспитываемая в человеке *недворянской* культуры.

Приходит мне на ум еще один эпизод. Я начал с разговора о том, как эстонские рекруты нашли общий язык с декабристом. Теперь я бы вспомнил другую картину из мемуаров барона Розена. Но тут уже будет наоборот: эстляндский дворянин и русский солдат. Барон Розен — декабрист из Эстляндии, участник тайного движения — сидит в Петропавловской крепости. Солдаты — как немые, им запрещено говорить с арестантами. Они только вносят обед, вносят воду, зажигают или тушат лампаду и уходят.

Все попытки поговорить разбиваются о молчание. И вот однажды Розен от скуки, от одиночества, от тоски запел песню. Запел он романс, сочиненный когда-то Алексеем Федоровичем Мерзляковым, московским поэтом и профессором: «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» Декабрист в одиночной камере поет эту песню, а солдат в коридоре начинает подтягивать, и они

некоторое время поют вместе, а потом солдат приоткрывает дверь и говорит: «Рад я, барин, что сердце у тебя веселое. Не падай духом». И после этого они начинают разговаривать¹. Это нас приводит еще к одной вещи — к тому, какую роль в общении играет искусство.

Искусство — шире, чем социальные границы, и шире, чем национальные границы. И музыка, и живопись вливаются к XVIII веку в общую европейскую культуру. В процессе сложного общения и поиска общего языка — в том, что Пастернак называл «пробиться друг к другу» (помните, как у Пастернака: «А на улице вьюга / Все смешала в одно. / И пробиться друг к другу / Никому не дано»²), — искусство играет огромную роль. Всякое искусство — и народное, фольклорное, и более культивированное. И это тоже будет нас немножко занимать, когда мы будем говорить о разных видах общения.

Благодарю за внимание!

¹ Розен А. Е. Записки декабриста // Верные сыны Отечества: воспоминания участников декабристского движения в Петербурге. Л., 1982. С. 303—304.

² Пастернак Б. Вакханалия // Пастернак Б. Избр.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 449.

428

Лекция 3¹ (1988 г.)

Добрый день!

Мы находимся в рукописном отделе библиотеки Тартуского государственного университета. Здесь сосредоточены многие ценные материалы, и в частности ряд изобразительных материалов по теме, которая нас сейчас будет занимать.

Мы говорили о том, какую роль в развитии контактов между людьми начали играть путешествия, что с XVI века в Европе, с XVIII века в России путешествия вошли в культурный быт и стали обычным явлением. Передвигаться стало легче, появились новые виды карет: рессорные кареты, кареты, рассчитанные на одно семейство, на одного человека, а затем и дилижансы, которые были рассчитаны на публичное использование, с продажей билетов.

Дилижансы ездили в определенные часы по расписанию, по фиксированным маршрутам. В России первый дилижанс появился в середине 20-х годов XIX века. Двум вельможам, Меньшикову и Воронцову, показалось очень важным, чтобы в России, как и в Европе, появились дилижансы. Кстати, этот был тот самый Воронцов, который так много вреда принес Пушкину. Он был человек сложный. Воспитывался в Англии (отец его был послом), потом был храбрым генералом, был ранен на Бородинском поле. Был человеком для своего времени передовым: командуя русским оккупационным корпусом в Париже после падения Наполеона, впервые уничтожил телесные наказания в русской армии и добился, чтобы в его корпусе не было неграмотных. Воронцов был умеренный либерал, а потом стал хорошим карьеристом и бюрократом, но в эту пору он был еще человеком передовым.

Два вельможи организовали сообщение дилижансами между Петербургом и Москвой — коммерческое предприятие, что было очень тогда неожиданно. Меньшиков был князь, Воронцов был граф, и вот два аристократа пускаются в коммерцию.

В Европе дилижансы возникли значительно раньше. Но дело не только в каретах и дилижансах, дело и в дорогах. Вместе с улучшением дорог в Европе наладился тип регулярной торговой связи, а вместе с тем — и человеческой. Люди стали гораздо шире контактировать друг с другом, гораздо нужнее стало знание иностранных языков, потому что прежде если путешествовал ученый монах от монастыря к монастырю, ему достаточно было латыни, если ехал купец по Европе, ему достаточно было двух языков — итальянского и немецкого или голландского. Теперь, с XVII века, путешествует очень много разных людей: дамы, молодые люди.

Студенты, которые прежде ходили только пешком из университета в университет, теперь ездят в дилижансах и в каретах. Вообще, пешее путешествие еще долго будет соперником. Еще в XVIII веке Руссо скажет, что если вы

¹ Передача вышла в эфир в 1988 г. Текст впервые опубликован: Таллинн. 2000. № 19—20. С. 60—66 (как лекция 4), затем повторен: Таллинн. 2002. № 25. С. 4—11 (как лекция 7).

429

торопитесь *прибыть*, то садитесь в карету, но если вы хотите *путешествовать*, идите пешком. Напомню вам, что в XX веке сходные мысли высказывала Марина Цветаева¹, протестуя против автомобильного сообщения. Она считала, что это «ворует» пейзаж: человек включен в сумасшедшую скорость и перестает видеть мир вокруг.

В XVIII веке еще был тип пешехода. Мы будем встречать очень много документов, рассказов о том, как тот или иной молодой человек, поучившись в Геттингене или в Иене, брал котомку, вешал на бок тесак (на случай встречи с разбойниками), иногда брал с собой собаку и отправлялся пешком через Альпы в Италию или же пешком через Страсбург во Францию. Крепкие башмаки тогда равнялись хорошему месту в карете, но все-таки карета вытесняла пеший ход, тем более что одновременно появилось транспортное сообщение: в карету можно было положить тяжелый чемодан.

Развивалась и почта, что очень важно. Почта из системы иррегулярных гонцов превращалась в

регулярный вид связи. Само слово «почта» (post) от латинского «поставлено» (французское «pose») — это нечто полученное, нечто начальством предписанное. «Почтой» называли и регулярное пассажирское сообщение, и регулярное сообщение почтальонов, которые возили письма. Как правило, это делали одни и те же кареты, тот же дилижанс: в него садились люди, а кучер, который назывался «почтальон», брал с собой кожаный мешок с письмами.

В России почтовая связь уже к XVIII веку была в достаточной мере развита. Почтовые станции назывались *ямы*, ямская гоньба была с XVII века вещь довольно регулярной. От Западной Европы Россия отличалась отсутствием хороших дорог, а путешествовали много и чисто по хозяйственным нуждам. В прошлый раз, если помните, я говорил о том, как крестьяне в начале XIX века совершали большие вояжи (а уж дворяне тем более). Да и русские купцы в XVIII веке из Москвы ездили регулярно на лейпцигские и другие ярмарки, и в Нюрнберг ездили. И так, вся Европа, да и не только Европа, но и Евразия, включая Сибирь, — все охвачено было передвижением на лошадях, в каретах, на санях. Люди приучались переписываться, устанавливали деловые, торговые и личные связи. Сфера контактов расширилась, и это привело к тому, что XVIII век можно в какой-то мере назвать веком путешествий.

Я не буду говорить о великих путешественниках, которые с начала Ренессанса пересекали моря, открывали новые земли и очень сблизили мир. Мир не был тогда таким обозримым, маленьким, как сейчас. Уже Чкалов пользовался выражением «катнуть вокруг шарика». Когда земной шар получил уменьшительный суффикс — «шарик», мир уже не был таким огромным, неизвестным, где за пределом знакомого открывалась сказка, таинственная земля, мир духов, подземный мир, где путешествие всегда означало путешествие в «другой мир». Мир стал человеческим, обозримым. И я буду говорить о путешествиях обычных людей по земле в пределах Европы, о том, как из России в XVIII веке разные люди прокладывали дороги в Европу.

¹ См.: Цветаева М. И. Ода пешему ходу // Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. Л.; М., 1994. Т. 2. С. 291—294.

430

Путешествовали всегда. Не следует думать, что до XVIII века люди жили, как устрицы, на одном месте. Люди всегда путешествовали, но путешествия носили другой смысл. Я уже сказал, что путешествие было как бы путем из мира реальности в мир сказки; или же паломничеством к святым землям — путем в мир святости. Или же путешествие могло быть движением в какой-то опасный, греховный, ненормальный мир. Но всегда это происходило на границе реального и нереального.

Напомню один пример. В XV веке два церковных деятеля (один был священником в Новгороде, другой — архиепископом в Твери) спорили на очень важную (вообще важную для человека, а для средневекового человека особенно важную) тему — о том, что же реально. Реальны ли идеи, духи, слова, мысли — все нетелесное? А телесное — это только случайное проявление этой высшей реальности? Потому что понятно, что земная телесная жизнь — и люди, и вещи — все это гниет, разрушается, портится. Мысли, идеи, ангелы, сама божественная структура мира — она вечная, она не портится, значит, она и есть истинная реальность? Но могла быть и другая точка зрения, согласно которой идеи — это только отвлеченные человеческие мысли, как мы говорим — абстракции, а не реальные вещи. Этот спор, который захватывал европейских философов, встревожил и двух клириков, о которых я сейчас говорю.

Спор шел о том, что такое «рай» — это некая идея, некоторая мысль или же это просто страна такая, куда можно съездить? И тверской архиепископ Феодор, человек очень ученый, стоял на точке зрения, близкой теоретическому мышлению, полагая что «рай» — это идея, что реальные вещи свойственны нашему грешному миру, а вечный мир — это мир идей. Но новгородский поп Василий был более практически настроен, и он утверждал, что рай — это как бы такая страна. Разница только в том, что вещи, созданные человеком, разрушаются и портятся, а вещи, созданные Богом, существуют вечно. В другом тексте есть рассказ о том, как некий святой человек, попав живым за свою добродетель в рай, получил там кусочек райского хлеба, и этим хлебом он мог всю жизнь потом питаться и всех кормить, потому что этот хлеб не кончался, он был райский. Так вот поп Василий утверждал, что все, что сделано Богом, все, что божественного происхождения, то вечно, и, в частности, рассказал такую историю.

Его духовные дети-новгородцы путешествовали, много плавали (путешествие — это уже наша тема). Сначала они попали, как мы бы сказали, в район Ледовитого океана. Там были льды, в середине был треск, поскольку, утверждал поп Василий, там огромный червь (ад изображался на иконах всегда в виде змея с открытой пастью). И вот где-то там (по нашим представлениям, в районе полюса) — вход в ад, а ад — это всегда, в вещественных представлениях, место с очень плохим климатом: там ужасно жарко и ужасно холодно. Рай — это место с прекрасным климатом, где теплый ветер, и где не жарко и не холодно.

Однажды новгородцы (три корабля) попали в сильную бурю, два утонули или исчезли куда-то, а один пристал к берегу. Берег был высокий, корабль стал под берегом, и мачта как раз достигала его вершины. С берега, с той стороны, слышалось пение, веселье и смех, и капитан послал моряка влезть

431

на мачту поглядеть, что там делается. Моряк влез, посмотрел, засмеялся, всплеснул руками и убежал туда. Он убежал в рай. Тогда капитан послал второго, но предусмотрительно привязал его веревкой за ногу, и когда тот тоже засмеялся, всплеснул руками и хотел прыгнуть, капитан его сдернул. И он «абие сотворися мертв», то есть «и в ту же минуту умер»: душа у него убежала в рай, а тело было привязано. Из этого поп Василий сделал вывод, что рай существует! Он даже, наверное, не удивился бы, если бы ему на карте показали рай — «на востоце» (на востоке), или же указали, какие реки текут из рая: Евфрат и Тигр.

Всякое путешествие было овеяно дымкой таинственности, а чужое пространство было и опасным, и привлекающим. Вот у Гоголя в «Старосветских помещиках» очень хорошо передана эта психология, когда Пульхерия Ивановна говорит с ужасом о том, что если выехать за пределы их поместья (а до следующего поместья, замечает Гоголь, всего несколько верст), то может и злой человек напасть, и разбойники: там ведь и лес, а лес — это очень страшно. Обжитое, милое, свое пространство — оно вот тут, рядом, а если куда-то ехать, это уже — вступать в неизвестный мир.

Точно так же такую психологию отражает и Гончаров в «Обыкновенной истории». Помните, может быть, рассказ о том, как в помещичий дом приходит письмо, и день за днем, неделю за неделей это письмо бояться распечатывать: Бог его знает, что там есть. А когда распечатают, никак не могут ответить. Контакты подразумевают личное присутствие: можно разговаривать только с тем, кого видишь, общаться с тем, кого знаешь, жить на земле, которую знаешь до мелочей.

XVIII век вводил человека в новое пространство, которое перестало быть сказочным, но которое вместе с тем оставалось незнакомым, интересным и манящим. Посылать учиться за границу, как-то вступать в контакты с Западной Европой пробовали и в XVII веке, даже раньше: еще Борис Годунов послал молодых людей учиться в Европу (никто из них не вернулся, и что с ними стало, мы так и не знаем). Такие регулярные контакты, в общем, начались с эпохи Петра. И здесь уместно вспомнить то, с чего Петр так демонстративно начал свое царствование (начал в очень сложную минуту — шла война с турками, тяжелая и неудачная, был открыт заговор Циклера, положение было очень нетвердым). В это самое время царь, глава государства, отправился путешествовать в Европу. Это вообще было совершенно неслыханно для той поры. Не случайно в народе утвердилась легенда о том, что царя в Европе украли, подменили, что он в Стокгольме (в Стекольном, как говорили) замурован в столб и спрятан, вернулся же совсем не он, а басурман и антихрист. Это находило подкрепление в том, что, вернувшись, Петр сразу же устроил массовую казнь, поскольку пока он был за границей, взбунтовались стрельцы. Петр прервал путешествие (из Вены он, вероятно, собирался еще ехать в Италию), прискакал в Москву и учинил страшную бойню. Но это пока еще впереди, сейчас он отправился в Европу.

Это 1697 год, начало марта. Дело растянулось, а потом очень торопились, чтобы отправиться по зимнему пути. Путь был длинным: из Москвы на Новгород, из Новгорода в Псков, из Пскова заехали в Печорский монастырь, оттуда сразу повернули на Ригу. В Риге задержались, повернули потом

432

в Митаву, к герцогу Курляндскому (нынешняя Елгава). Затем — в Либаву. В Либаве сели на корабль до Кенигсберга, где посольство было принято курфюрстом Бранденбургским.

Конечной ближайшей целью была Голландия. Поскольку это было связано с планами строительства кораблей и найма людей, у Петра была составленная собственной рукой инструкция, сколько нужно капитанов, сколько матросов. При этом Петр оговаривал, что и капитанов надо набирать не тех, которые, как мы бы сказали, по знакомству получили капитанское отличие, а тех, которые навыком и опытом произвелись из матросов в капитаны.

Далее были еще большие планы. Петр съездил в Англию, тоже усовершенствовался в корабельном деле, а затем надо было ехать в Вену, поскольку была тогда дипломатическая идея организовать против турок всю Европу. Этот план не удался, в Европе эта идея не встретила никакой поддержки, и внутренние события смазали эти планы, да они и не были реальными. Но путешествие принесло очень много пользы и лично Петру, и государству.

Посольство было особое. Оно было очень большое, из Москвы выехало около тысячи подвод. В конечном счете послов в посольство входило более двухсот человек. Посольство устроено было так: официальные послы — это были Лефорт и еще несколько доверенных Петру людей — ехали торжественно, как представители Московии. Их сопровождали охрана, команда волонтеров, около тридцати пяти человек, то есть людей, которые как бы добровольно ехали с посольством посмотреть Европу, и еще много разных других лиц. Волонтеры делились на три десятка, и в эти десятки входили особо приближенные к Петру люди, которые скрывали свои титулы, назывались простыми именами, и среди них был и десятник второго десятка бомбардир Петр Алексеев. Это был царь.

Царь отправлялся инкогнито, он долго старался скрывать свое присутствие. Это иногда приводило к неприятностям. Так, например, в Риге, поскольку комендант был уведомлен, что царь не хочет, чтобы его инкогнито было раскрыто, посольство принимали по низкому рангу. А Петр одновременно хотел и инкогнито сохранить, и чтобы ему царские почести оказывали, и он очень обиделся, и потом, в период Северной войны, он еще это коменданту припомнил. В Голландии также произошло некоторое неудобство: пока не знали, что это царь, то высокий человек,

выдающийся ростом, привлекал внимание прохожих. В Саардаме Петр на рынке купил сливы, положил в шляпу и потом раздал голландским мальчишкам. Но тут прибежали еще мальчишки и стали еще просить слив, а у Петра больше не было, и он довольно резко их прогнал. Но мальчишки были голландские, они не привыкли шарахаться, и тем более от незнакомого мужчины (Петр по-голландски хорошо говорил), и мальчишки начали в него бросаться гнилыми фруктами и грязью, а один даже камень ему в спину бросил, очень больно. Петр страшно рассердился, это был небольшой скандал.

Позже, когда все-таки голландцы узнали, в чем дело (многие голландские мастера работали в Москве и они сразу признали Петра), начали собираться толпы. Петр боялся толпы. В детстве его перепугали, у него дергалось лицо; он очень боялся толпы и был болезненно стеснительным. Ему казалось, что он плохо воспитан, что он не умеет себя держать в Европе. Потом он стал

433

увереннее, а сейчас он был еще очень молод, и эти толпы его раздражали, он убежал через заднее крыльцо, прятался все время. Потом купил себе бот, и в то время как голландцы бегали по берегу, он все катался по морю, сам этот бот и перестроил.

Великое посольство явилось первым демонстративным столкновением большого числа русских людей с Европой. Это принесло двоякие плоды. Были наняты многие мастера. Любопытство к европейской технике было сложным. Петр сам учился строить корабли, но не только корабли. Из Митавы князю Ромодановскому, который был объявлен князем-кесарем и остался во главе правительства, Петр прислал «подарочек» — топор для палача, для того чтобы рубить головы. В одном из писем Ромодановский писал Петру, что подарок опробован, — такие «подарочки» тоже были. Правда, это была такая мрачная шутка: Ромодановский был очень жестокий, и позже Петр ему из Голландии писал: «Зверь, долго ли тебе кровь проливать». Но Петр и сам был хорош в этом смысле, вполне хорош.

Одновременно со столкновением с европейской техникой произошли и бытовые контакты, что было, может быть, не менее важно. И в следующий раз мы будем говорить о пути бытового сближения, о том, как люди научаются общаться с людьми, что гораздо, может быть, важнее, чем умение приспособить чужую технику. Что касается этой второй стороны — человеческих контактов и способности людей разных культур, разных традиций преодолевать между собой барьеры, — то очень интересным эпизодом великого посольства является встреча Петра с курфюрстиной Бранденбургской Софией-Шарлоттой и ее матерью ганноверской курфюрстиной Софией.

София-Шарлотта была замечательным человеком, женой бранденбургского курфюрста, довольно заурядного человека, Фридриха Вильгельма III, который был заинтересован в дипломатических связях с Петром и очень пышно его принимал (что противоречило идее инкогнито, но с чем Петр смирился). А София-Шарлотта была женщиной тонкого ума, прекрасно образованной, ученицей философа Лейбница. Молодость ее прошла в Париже, она владела несколькими европейскими языками, была любопытна, знала математику и философию. Известие, что через Бранденбург проезжает этот таинственный царь московитов, ее очень заинтересовало. Она не без труда организовала встречу. Когда наконец ей удалось перехватить великое посольство и пригласить Петра в свой замок, Петр страшно смутился, сказал, что он не посол, что он простой человек. Около часа пришлось его уговаривать: он согласился на то, что встреча будет очень интимная, будут София-Шарлотта и ее мать, два ее брата, несколько спутников Петра и два переводчика. Петр говорил по-голландски, переводчики переводили на немецкий язык.

София-Шарлотта оставила письма об этой встрече. Вообще, посольство очень хорошо документировано. Мы знаем очень много деталей. Во-первых, само посольство вело так называемый *журнал* (дневник), а во-вторых, очень много шпионов было вокруг. Особенно отличались шпионы Венеции, которые добывали каким-то образом сведения о самых секретных разговорах, и переписка венецианских резидентов с дожем — тоже прекрасный источник. Но в основном — все-таки письма Софии-Шарлотты.

434

Ее впечатления о Петре очень интересные, и я некоторые строчки из них прочту: «Моя матушка и я приветствовали его, а он заставил отвечать за себя господина Лефорта, так как казался сконфуженным и закрывал лицо рукой — *ich kann nicht sprechen* («я не могу говорить»), — но мы его приручили; он сел за стол между матушкой и мной, и каждая из нас беседовала с ним наперерыв. Он отвечал то сам, то через двух переводчиков, и, уверяю вас, говорил очень впопад, и это по всем предметам, о которых с ним заговаривали. Моя матушка с живостью задавала ему много вопросов, на которые он отвечал ей с такой же быстротой, — и я изумляюсь, что он не устал от разговора, потому что, как говорят, такие разговоры не в обычае в его стране».

Разговор шел очень живо. София-Шарлотта отметила, что царь пил мало, что с ним редко бывало. Зато всех кавалеров, что она тоже отметила, он заставил выпить по шесть стаканов рейнского вина за здоровье присутствующих дам. Когда начались танцы, царь отказался танцевать, — у него не было перчаток, он «велел их искать по своему поезду, но напрасно». «Моя матушка танцевала с толстым комиссаром», — это был Головин, — «Лефорт в паре с дочерью графини Платен», и так далее.

В другом письме мать Софии пишет, что царь очень любит музыку, и дальше: «Он нам сказал, что сам работает над постройкой кораблей, показал свои руки и заставил потрогать мозоли, образовавшиеся на них от работы». Вообще на образованных дам он произвел очень хорошее впечатление, и София-Шарлотта закончила так: «Это — государь одновременно и очень добрый и очень злой, у него характер — совершенно характер его страны. Если бы он получил лучшее воспитание, это был бы превосходный человек, потому что у него много достоинства и бесконечно много природного ума»¹.

Петр преодолел свою застенчивость, вел разговор живо и даже потом принял участие в танцах. Софию-Шарлотту очень намешало, когда Петр простодушно признался, что он принял китовый ус корсетов у немецких дам за ребра и изумился, что у немцев такие жесткие ребра и почему-то идут сверху вниз. Как ни незначительны эти детали, они важны.

Еще одна маленькая деталь. Один из спутников Петра, мы не знаем, какой, совершил проступок (источники — и письма Софии-Шарлотты, и донесения венецианского шпиона — говорят, что это было тяжелое преступление или проступок), на что Петр сказал ему (опять-таки в двух источниках подтверждено, так что, видимо, правильно): в Московии ты заслужил бы кнута, но мы находимся в стране мягких нравов и поэтому я тебя прощаю.

Вот эта формула: «находимся в стране мягких нравов» — очень важна для понимания той человеческой стороны контактов, которые начали завязываться в эту эпоху.

Благодарю за внимание.

¹ Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии. Л., 1941. Т. 2. С. 116—119.

435

Лекция 4¹ (1988 г.)

Добрый день!

На прошлой нашей лекции мы говорили о значении путешествий для культуры общения, для контактов. И здесь необходимо остановиться еще на одном вопросе. Царь Петр, когда отправлялся в заграничное путешествие, в этот вояж, который получил название «Великого посольства», преследовал очень практические цели. Речь шла о том, чтобы усвоить зарубежную технику, чтобы получить те технические возможности, которыми Россия не располагала.

В Кенигсберге царь усиленно учился стрелять из пушек и получил даже диплом «изящного артиллерии художника», а в Голландии и в Англии он нанимал капитанов, судостроителей и учился разным способам построения кораблей. Его интересовали и паруса, и изготовление канатов, и даже окраска. Он не удовлетворился Саардамом, поехал в Антверпен, оттуда в Англию. Таким образом, речь шла о необходимости чисто технико-экономической. Вопросы культуры, человеческих контактов его очень мало тревожили.

Но человек с практическим умом, при всех своих недостатках, он понял, что заимствовать одну технику нельзя, надо одновременно заимствовать и знания людей, которые умеют управлять техникой. Техника мертва. Одно дело — прессовать из металла топор, чтобы головы рубить, это каждый научится, а другое дело — строить корабль. Петр начал нанимать иностранных мастеров. Нанимал очень широко и платил им хорошо. Но скоро он понял, что это тоже путь временный. Не случайно от каждого мастера-иностранца требовалось, чтобы он обучил своего русского мастера. За этой мыслью пришла другая мысль, что гораздо выгоднее и правильнее посылать своих людей учиться. И далее (это очень важно), что посылать — это тоже еще не выход: вот посылали, а эффекта было мало. Как писал потом очень известный капитан, Конон Зотов, сын Никиты Зотова, дядька Петрова: очень плохо в Голландии, «незнамо, то ли языку, то ли ремеслу учиться». А Петр, повторяю, со своим практическим умом, понял, что важно другое: открыть границу. Не посылать каких-то избранных, как делал Борис Годунов (и все они исчезли), а просто открыть людям возможность ездить, что без этого из рамок отсталости не выскочить.

Таким образом, будучи человеком, в общем, равнодушным к вопросам культуры, он чисто практическим умом пришел к очень важному выводу: о том, что изоляция неизбежно связана с отсталостью, и если хочешь получить даже простой экономический эффект, надо отказаться от изоляции, от китайской стены, от замкнутости в себе. Это означало перебороть очень многое: перебороть и политические запреты, и религиозные представления, и бытовые навыки, да просто боязнь людей, которым предстояло окунуться в совершенно чужой и незнакомый для них мир. Надо было отрешиться от

¹ Передача вышла в эфир в 1988 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 2000. № 17—18. С. 34—40 (обозначена как лекция 3).

436

представления, что этот мир — враждебен. И отрешиться от представления о том, что человек, который иначе мыслит, иначе сидит за столом, говорит на иностранном языке и живет в другой стране, что он — враг, что от него следует ожидать только неприятностей, подвоха или чего-то очень опасного. Вот эта средневековая мысль о том, что сосед — это враг и что человек иного облика, иной веры, иных мыслей — это опасность, от которой следует или убежать, или которой следует очень активно противостоять, вот это психологическое представление должно было перемениться на готовность идти на контакты.

Можно только поражаться, как быстро — в течение нескольких десятков лет, что для истории очень мало, — выработался совершенно новый тип отношения русских людей к Европе, к европейской жизни. Это дало поразительные результаты не только в области культуры, но и в области той же экономики. Еще в начале XX века историк — тартуский профессор, потом знаменитый академик — Е. В. Тарле написал работу под вызывающим названием «Была ли екатерининская Россия экономически отсталой страной»¹. На основании статистики он показал, что Россия в конце XVIII века была первым в Европе экспортером чугуна и экспортировала чугун в Англию; что отсталость наступила позже — в основном в эпоху Николая, перед Севастопольской войной, и это закономерно было связано с той самой изоляцией, в которую, следуя реакционным политическим догмам, Николай I погрузил Россию.

Таким образом, вопросы, о которых мы говорим, касаются культуры, общения людей, но они имеют и очень глубокий исторический смысл. Я хочу остановиться на нескольких судьбах, нескольких людях разного масштаба, разных интересов и продемонстрировать, как изменилась ситуация, насколько эти люди отличались от тех простодушных и вместе с тем грубоватых спутников Петра и от варварских замашек самого Петра.

Я говорил, что из Митавы он прислал топор, а в Голландии Петр, который очень любил разные ремесла, все любил делать руками, вздумал стать хирургом и у своих приближенных силой рвал зубы, если только зуб заболит. В анатомическом музее, когда один из его спутников выразил отвращение к разрезанному, в спирту лежащему препарату, Петр заставил его зубами рвать эти кишки. Человек был, мягко скажем, своеобразный. И вот пройдет очень мало времени, и мы встретим уже совсем других людей — людей, для которых Европа не будет загадкой, которые не будут чужды никакой сфере европейской культуры, людей внутренне свободных, которые не будут уже, как Петр, прятать свои руки и ноги и отвечать только — *ich kann nicht sprechen, ich kann nicht sprechen*.

Прежде всего, несколько слов о небольшой группе молодых людей, которых в середине 1760-х годов послали в Лейпциг, в Лейпцигский университет, в ту пору очень знаменитый в Европе. Приблизительно в то же самое время там и Гете учился. Правда, Гете учился в Лейпциге очень плохо, наделал долгов, влюбился, и родители его забрали в Страсбург. Там же учился в эту пору

¹ Тарле Е. В. Соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 4. С. 441—468.

437

отец декабриста Кюхельбекера, который потом переехал в Эстонию, в Авинурме. В Лейпциг приехала группа молодых людей разного возраста. Они должны были стать юристами, и стали впоследствии. Среди них был и известный в будущем автор «Путешествия из Петербурга в Москву» Александр Николаевич Радищев.

В Лейпциге студенты оказались в довольно обычной для самодержавного государства ситуации. Они были на положении европейских студентов, в достаточной мере свободном. Но одновременно к ним был приставлен бюрократ из Петербурга, немец Бокум, который, как всякий бюрократ (да еще и бесконтрольный начальник — студенты были, в общем, неправы перед ним), сразу же начал делать то, что делают обычно в такой ситуации. — воровать. Он воровал их деньги, держал их на голодном пайке, экономил на дровах, а деньги присваивал себе. И тут произошла совершенно новая вещь — первый в истории России студенческий бунт, первое организованное выражение студенческого протеста.

Студенты сговорились, выразили недоверие своему начальнику Бокуму, организовали общую забастовку и, в общем, добились своего: на их сторону встал посол России в Дрездене (Лейпциг — это же Саксония, главный город — Дрезден) и Бокум был отозван. Следует помнить, это первое студенческое волнение в России, первое выступление молодых людей против самодержавно-бюрократического насилия. Наверное, это было небезразлично для той политической школы, которая затем привела Радищева за письменный стол, за которым он написал знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», а затем, вполне закономерно, в ссылку в Восточную Сибирь, в Илимск, и в конечном счете к тому трагическому дню в сентябре 1802 года, когда он покончил с собой.

Менее трагичным был другой эпизод, о котором тоже хочется вспомнить. Речь идет о молодом человеке из аристократической семьи, о Павле Александровиче Строганове. Сами Строгановы были когда-то купцами — богатыми (сибирскими, уральскими), потом стали именитыми гражданами, а потом получили и титулы. К этому времени Строганов, отец Павла, был уже графом, и сам Павел Александрович был графом, и родство у них было (что в XVIII веке было очень важно) очень аристократическое. Они были в родстве с Воронцовыми, с Трубецкими. В этой среде и появился мальчик, о котором мы будем говорить, — *Поло*, Павел Александрович. В этой же среде, что очень важно, уже у отца Строганова, человека образованного, очень богатого, покровителя искусств, явилась идея о том, что мальчика надо воспитать каким-то особым образом.

Был приглашен из Франции, молодой тогда еще (это был конец 1770-х годов), математик Жильбер Ромм. Несколько слов о Жильбере Ромме и о том, почему вообще такая идея появилась у Строганова. Жильбер Ромм не был приглашен как учитель или как гувернер. Строганов исходил из идеи Руссо — представления о том, что молодому человеку для того, чтобы он был Человеком, надо получить особое воспитание. Окружающий мир — это мир социального зла и

несправедливости, воспитывать в нем ребенка — это значит портить. Ребенка надо изолировать и дать ему идеального воспитателя, как бы превратить ребенка в Робинзона на необитаемом острове и воспитать

438

из него подлинного человека. Но отец не может быть идеальным воспитателем, потому что отец занят и, кроме того, Руссо не строил иллюзий о том, насколько родительские чувства могут быть вредны для ребенка. Идеальным воспитателем не может быть и тот, кто воспитывает за деньги, потому что воспитывать — это нечто настолько важное, что продажный, оплаченный учитель принесет вред.

Идеальным воспитателем должен быть друг — тот бескорыстный, прекрасный, только в литературе, может быть, существующий друг, который пожертвует своей жизнью для того, чтобы из мальчика сделать Человека, и Строганов искал такого друга. Ему назвали молодого математика, поклонника Руссо. — Жильбера Ромма. Жильбер Ромм тоже возгорелся этой идеей. Он, конечно, служил не из-за денег. Его привлекло то, что молодой человек — из России, поскольку сам Руссо был пессимистом и считал, что Франция, и вообще цивилизованная Европа, уже потеряна. Только в какой-то малообразованной стране (он называл Корсику или Россию, а современники Руссо обращали с надеждой взоры на Америку, молодое государство; еще недавно Вольтер написал повесть о молодом индейце из Америки, гуроне, который приехал в Европу) есть свободный человек, потому что он воспитан природой.

Взять мальчика из России, воспитать его в отрыве от всех зол общества и сделать его Человеком — такую цель поставил перед собой Жильбер Ромм, который соединял в себе ум математика, твердую душу римлянина (это был человек, в маленьком теле которого находилась героическая душа) и — мечтателя XVIII века. С этими мечтами он приехал в Россию. Он действительно отдал буквально всю душу молодому графу Строганову. Он выработал особую методику, писал своему ученику анализирующие письма: «жестокий», писал он ему, «неблагодарный», «у Вас каменное сердце», «какой из Вас вырастет человек?», «Вы не будете достойны своего века!» И двенадцатилетний мальчик отвечал ему в таком же торжественном и высоком стиле.

Затем, уже в середине 1780-х годов, Жильбер Ромм со своим юным воспитанником отправился в Швейцарию. Там в течение нескольких лет они проходили очень разнообразный курс наук, поскольку предполагалось, что подлинный человек должен все уметь делать руками: тот, кто пользуется чужим трудом, не только угнетатель, но и раб тех, кого он угнетает. Жильбер Ромм сразу же поставил перед своим еще очень юным воспитанником жесткие требования: никогда не пользоваться помощью слуги, всегда одеваться самому (нам это, может быть, не кажется столь странным, но для молодого графа это были вещи совершенно неожиданные), никогда не бояться физического труда, бегать, плавать, прыгать, ездить верхом. А еще надо было изучать физику, астрономию, математику и юриспруденцию.

Затем Жильбер Ромм и граф Строганов переехали в Париж. Это было начало Французской революции. Ромм, человек книжный и человек крайних взглядов, сразу же стал левым деятелем. Он организовал Общество друзей закона, постоянно посещал Национальную ассамблею, и юный русский граф вел протоколы ассамблеи, — Национальное собрание долго еще не догадывалось вести протоколы своих заседаний. Одновременно Строганов отказался

439

от графского титула и от фамилии Строганов и принял имя *гражданин Очер* — поскольку одно из имений на Урале называлось Очер.

Вместе с *Попо*, с Павлом Александровичем, отец послал учиться во Францию молодого крепостного — это был в будущем знаменитый архитектор Воронихин. Он уже был отпущен на волю, потому что сам старый граф был человек очень гуманный. Воронихин учился вместе с его сыном. И вот такое общество: якобинец-учитель, молодой граф и бывший крепостной. Они посещают Национальное собрание, они пошли в клуб якобинцев и получили диплом, они активные участники событий. Павел Строганов участвует в штурме Бастилии, а тут еще в обществе появилась библиотекарь Общества, знаменитая Дева революции, красавица Теруань де Мерикур, и гражданин Очер в нее влюблен. Это бурное переживание ранних революционных событий — уже совершенно новая биография.

Екатерина II встревожилась и мягко (она не собиралась приказывать отцу вернуть сына), но настойчиво выразила недовольство. Этого было довольно. Чтобы забрать Строганова, в Париж приехал его двоюродный брат Новосильцев и обвинил Павла в неосторожном поведении. Новосильцев — в будущем известный бюрократ, делец эпохи Александра I и Николая I — сыграл очень плохую роль в истории Польши, очень мрачную роль, а в эту пору был такой ловкий молодой человек. Он сказал, что Павел Строганов общается с якобинцами, был несколько раз у решетки Национального собрания, а решетка — это то место, где подавались петиции. Строганов отвечал, что так оно все и было и что он готов за это отвечать, но, поскольку его взгляды несовместимы с тем, что делается у него на родине, он отказывается и в Россию никогда не вернется. Но дело все-таки получило другой оборот. Отец Строганов обратился с личным письмом к Ромму и очень просил, чтобы сын вернулся.

Дальше их пути разошлись. У Ромма будущее было такое. Якобинец, один из виднейших деятелей революции, он, однако, не пострадал в период термидорианской реакции, поскольку никакого отношения к террору не имел: он был деятель культуры. Несколько позже Ромм принял участие в так называемом заговоре последних якобинцев, в Прериальском заговоре, и вместе с группой своих единомышленников был приговорен к гильотине, но не был гильотинирован, поскольку все они в зале суда, по очереди передавая друг другу кинжал, закололись. Он оставил молодую жену и сына, которому было несколько месяцев.

Строганов вернулся в Россию, потом пережил период либеральных надежд, стал другом Александра I, участвовал в его Негласном комитете, потом пережил горькое разочарование. Все-таки впечатления от этого детства и юности, проведенной в атмосфере свободы, для него не прошли даром. Один из современников рассказывал, как граф «чудит»: он иногда делает себе странный отдых — спускается в помещение слуг и сидит вместе со своими слугами за столом, ест их пищу и разговаривает с ними на «ты», а потом возвращается в свой дворец и снова становится графом. Эта двойная жизнь его тяготила. Когда начались наполеоновские войны, Строганов перешел в военную службу. Пережил еще одну трагедию: у него на глазах картечь снесла голову у его сына. Вскоре после этого он умер. Его хоронили в тот день,

440

когда Пушкин вернулся в Петербург, окончив Лицей, и первое, что Пушкин увидел в Петербурге, это были похороны Строганова.

Но судьба Строганова пересеклась в Париже еще с одним лицом. Находившийся в Женеве молодой человек, который собирался стать писателем и потом стал великим писателем, Николай Михайлович Карамзин, для того чтобы в Париже проникнуть в самый центр кипящей революционной жизни, запасся рекомендательным письмом к Ромму. Это письмо было совсем недавно найдено в архиве Ромма. Карамзин из Швейцарии приехал в Париж. Поскольку рекомендательное письмо оказалось в архиве Ромма, значит, оно было передано, и они встретились. И вот в Париже встретилась группа людей: Воронихин (французский историк, перечисляя, недоумевал, кто этот господин Voronikhin? — и он писал: «лицо нам неизвестное»), Ромм, Строганов и Карамзин.

Карамзин — человек, который не был захвачен якобинским порывом, как Строганов, ему ближе Шиллер. Для него очень важен, как и для Шиллера, вопрос о том, какую моральную цену придется платить за революционное насилие. Услышав впервые во Франкфурте-на-Майне о том, что в Париже революция, Карамзин сделал для нас неожиданную вещь. Он кинулся к книжной полке, снял том с драмами Шиллера и открыл драму «Заговор Фиеско в Генуе» на том месте, где заговорщик Фиеско рассуждает, должен ли *он* после революции войти в правительство, должен ли он взять власть? И как пишет Карамзин: «Я вскрикнул: „Не бери ее!“». Не надо власти. Шиллера всегда волновал вопрос: даже за справедливое насилие какую моральную цену придется платить? И он примерял разные случаи: от «Разбойников» до «Дона Карлоса». Это и Карамзина интересовало.

Но, так или иначе, мы видели, что русские люди конца XVIII века уже не были чужими в Европе. Тот же Карамзин посещает Канта и Гердера, беседует с Лапласом и с Бартеlemi, и с академиками, и с якобинцами, он, я думаю, разговаривал и с Робеспьером. Он человек европейской культуры — и это сделалось очень быстро.

Этот процесс, конечно, протекал с трудностями. Когда на престоле оказался Павел I, то он сначала ввел ограничения на французские одежды, а затем пресек все связи с заграницей. Была введена цензура на иностранные книги, путешествия были запрещены. Даже более того, Павел со своим несколько воспаленным умом издал и такой указ: чтобы лошади не смели ездить за границу. Если купцы отправляются на Лейпцигскую ярмарку, то до границы они должны ехать на лошадях Российской Империи, а переезжая границу, должны уже нанимать немецких лошадей. Пример анекдотический, но очень характерный.

После того, как Павел был убит, заграничные путешествия опять стали относительно легкими, хотя уже проходили с некоторыми затруднениями. Но после восстания декабристов Николай I захлопнул эту дверь. Позже известный бюрократ царский министр Валуев (тогда он еще был молод) писал, что не может понять, за какую вину шестьдесят миллионов — а таково тогда было население России — наказаны домашним арестом. И это наказание «домашним арестом» обошлось России очень дорого — оно обошлось возросшей технической отсталостью и в конечном счете севастопольским пора-

441

жением. Вся николаевская империя, «империя фасадов», такая помпезная и такая представительная, пышная и грозная снаружи, оказалась крашеным холстом. Не случайно Александру II пришлось этот «домашний арест» отменить, и уже до 20-х годов XX века Россия была государством с довольно открытыми границами.

Итак, мы посмотрели, как путешествия влияют на искусство людей общаться друг с другом. В следующий раз мы поговорим о кружках и обществах, которые неизбежно возникают для того, чтобы люди как-то находили мосты друг к другу.

Благодарю вас за внимание.

Лекция 5¹ (1988 г.)

Добрый день!

В прошлый раз мы говорили о тех формах контактов и общения между людьми, которые возникают во время путешествия. Но основное, конечно, это те формы общения, которые присущи непосредственному коллективу, в котором человек живет. Общение — одна из важнейших сторон культуры. Человек все время общается с другими людьми, и общение — вещь отнюдь не такая простая. Просто — это когда коллектив, в котором человек живет, сложился давно, существует по традиции, как, например, в деревне когда-то было. Там формы общения уже проверенные, они создавались веками: как обращаться к родителям, как разговаривать с соседями, как объясниться в любви, что сделать, если человек умер, что прилично сказать в одной ситуации и нельзя говорить в другой. Все это достается человеку вместе с бытом, с окружающей жизнью, и он чувствует себя уверенно в этом мире, который сам создал вокруг себя, вернее — создали его предки, и он получил его уже готовым. Готовые формы общения создают уверенность для человека. Он понимает людей вокруг себя, понимает ситуацию, в которой находится, и знает, как ему себя вести.

Но когда история развивается быстро, ситуации меняются, традиции сломаны и создаются новые положения, человек не может общаться старыми способами, а новые даются не так легко. И тогда человеком овладевает неуверенность. Он не знает, как ему выразить свои чувства. Он ищет способ, слова для того, чтобы рассказать о своих мыслях; очень часто он себя чувствует как бы без языка, чужим. Это — разлад с самим собой, очень мучительное чувство. После больших исторических переломов требуется большое культурное усилие для того, чтобы человек создал вокруг себя ту коммуникативную сферу, то пространство, где он опять будет уверенно находить себе партнеров и чувствовать, что его понимают. Значительную роль

¹ Передача вышла в эфир в 1988 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 2000. № 19—20. С. 28—34 (как лекция 5) и повторена: Таллинн. 2002. № 26—27 (как лекция 8).
442

в этом культурном, очень напряженном, процессе играет создание малых коллективов.

В небольшом коллективе, который объединяет людей, связанных взаимной привязанностью, образом жизни, симпатиями, родством, традициями, создаются те нормы, которые потом становятся нормами общества. Такие небольшие центры всегда выступают лабораториями культурной жизни, лабораториями способов общения — будет ли это студенческий коллектив на курсе или это группа людей, связанных профессионально, родственно или же какими-то общими интересами по защите своей культуры. Эти коллективы, по сути дела, держат культуру. Там, где нет малых коллективов, там нет и большой культуры. Там, где какой-то большой уют все выравнивает и где все как будто бы говорят одинаково, на самом деле все — немые. Ведь не случайно такую роль в общении играет поэзия, а поэт — самый индивидуальный из всех. Он, казалось бы, говорит для себя, на своем индивидуальном языке, а потом это становится общим языком. И если нет поэтов, то у народа как бы язык вырван.

В этом смысле и то, о чем мы сегодня будем говорить, имеет отношение к проблемам общения и коммуникации. Это создание небольших коллективов внутри культуры, в частности литературных объединений, небольших групп, литературных и культурных обществ, салонов. Определенная группа людей — как правило, деятели культуры, поэты — создает определенную атмосферу, которая потом выплескивается наружу.

Мы прекрасно знаем, что, скажем, европейский романтизм зародился в нескольких кружках — небольших группах молодых людей. Точно так же и другие культурные явления. В общем, тенденция носителей культуры объединяться в небольшие группы в Европе нового времени начинается с эпохи итальянского Возрождения. Особенно она ощутима с XIV века в Италии. Здесь создается новая культура, появляется новое искусство, и здесь создается настоящий культ небольших групп просвещенных людей.

Гуманисты — они и сами так себя называли, и мы их исторически так называем — это люди разносторонней, высокой культуры: философы, поэты, художники, богословы, знатоки древности, когда-то забытой, а теперь заново воскрешаемой. Но, кроме всего прочего, это люди, которые нуждаются друг в друге и создают подлинную культуру общения. Беседа становится для них таким же важным делом, как для человека средневекового была молитва в храме. Средневековый человек, в первую очередь, общался с Богом. У него для этого тоже были готовые формы. Теперь создается культура человеческая, и надо искать формы общения между людьми. Обращаются к забытой античности, вспоминают платоновскую академию, вспоминают перипатетиков — философов, которые брали своих учеников под руку и, прогуливаясь по саду, учили их, — культуру беседы, диалогическую форму поиска истины — сократическую беседу.

Однако не только вспоминают старое, создается и новое. Это новое предстает приблизительно в таком виде. Люди высокой культуры нуждаются друг в друге. Просвещенная беседа — это и школа мысли, и высшее наслаждение. Люди, собственно говоря, живут для того, чтобы беседовать. Беседа — это занятие мудреца, это высокое призвание, это не безделье и даже не отдых.

443

Беседа приятна, она должна перемежаться посещениями картинных залов, приятным ужином, который тоже — философский ужин, он искрится умными речами. Мы все прекрасно помним «Декамерон» Боккаччо. Группа людей во Флоренции — в городе, охваченном чумой, — удаляется на виллу. Вот уже первая черта — надо удалиться, надо встать чуть-чуть в стороне от других людей. У Боккаччо — чума, а Рабле (другой гуманист) придумает Телемскую обитель — особый *немонастырский монастырь*, где живут гуманисты, где люди проводят время в высоких размышлениях, отдаваясь искусству и свободе.

Свобода, конечно, преимущество, право, прерогатива гуманиста. Гуманист удаляется на виллу. Не обязательно он должен быть богатым человеком. Правда, меценат может вмешаться, но очень часто эта философская вилла оказывается, в общем, простым домом где-нибудь в сельской местности. Там собираются люди разного типа, но высоко ценящие друг друга, владеющие красноречием Цицерона, прекрасно владеющие латынью, — поэты. Так создается кружок. Эти кружки перерождаются в небольшие научные общества, которые в Италии называли академиями, но которые не были похожи на нашу академию, поскольку не были ни государственными, ни должностными организациями. Они часто имели на поверхности шуточный характер. Одна называлась «Академия кошки», другая — «Академия лопаты» (Accademia della Crusca). Кстати, это особая лопата, которой веют зерно, что имело смысл, так как это было общество родного языка, как мы бы сказали: отвеять плохие зерна, мякину и оставить зерна полновесные. Accademia della Crusca существует и сейчас, существует четыреста лет. Сейчас это прекрасно оборудованное — с компьютерами — научное общество во Флоренции, во дворце Медичи, но в зале Accademia della Crusca стоят стулья, спинки у которых сделаны в виде этих лопат, и на каждой «лопате» у каждого члена академии свой герб. Это продолжает старую традицию, соединяя дружескую шутку с очень серьезными занятиями. Сейчас Accademia della Crusca — один из больших научных центров.

Как переживалась утрата этого общения, хорошо видно по одному из писем известного деятеля Возрождения — Никколо Макиавелли. Макиавелли — государственный деятель, политик, сильный и трезвый ум, патриот Флоренции. Биография его полна превратностей. Однажды, в силу разных обстоятельств, он был вынужден бежать и практически находился в ссылке. Он тоскует больше всего даже не по родному городу (хотя он этот город любит — это патриотизм горожанина маленькой коммуны, а Флоренция — маленькая республика, но она великая!), но по обществу просвещенных друзей. Вот как он описывает свое времяпрепровождение: «Я встаю с восходом солнца и направляюсь к роще посмотреть на работу дровосека». (Дальше он описывает свой день.) «Я иду с книгой в кармане, либо с Данте и Петраркой, либо с Тибуллом и Овидием». (Значит, книга стихов — или латинская, или итальянская, «новый сладкий стиль», новый ренессансный язык.) «Потом захожу на постоялый двор». (Несколько пропускаю.) «После обеда я возвращаюсь снова на постоялый двор, где обычно уже собрались хозяин, мясник, мельник и два кирпичника. С ними я провожу остальную часть дня, играя в карты». (Дальше он очень неслестно отзывается об этом обществе

444

и говорит, что его жизнь должна погибать среди этих людей.) «С наступлением вечера я возвращаюсь домой и иду в рабочую комнату. У двери я сбрасываю крестьянское платье — все в грязи и слякоти, облачаюсь в царственную одежду и, переодетый достойным образом, иду к античным дворам людей древности». (То есть он идет в свою библиотеку.) «Там, любезно ими принятый, я насыщаюсь пищей, единственно пригодной для меня, для которой я рожден. Там я не стесняюсь разговаривать с ними». (Этот образ будет долго держаться: книга — собеседник, и если нет просвещенного общества, то моим просвещенным обществом станет книга.) «Я не стесняюсь разговаривать с ними и спрашивать о смысле их деяний, а они, по свойственной им человечности, отвечают мне». *Humanitas* — это и человечность, и вместе с тем гуманитарность, а гуманитарность — это значит все высокое, что есть в человеке. Слово «человечность» чуть-чуть неточно передает этот торжественный смысл. «И на протяжении четырех часов я не чувствую никакой тоски, забываю все тревоги, не боюсь бедности, меня не пугает смерть, и я весь переносюсь к ним».

Это мир культурного общения, который создает ритуал разговора и ритуал переписки: появляется особое искусство частного письма. Между прочим, мы это искусство сейчас в значительной мере утратили, как мы утратили искусство разговора. А дальше мы увидим, как веками европейской культуры создавались эти искусства.

Эта культура выплескивается за стены Флоренции и за пределы Италии и становится достоянием европейской культуры в целом. Она переносится в Германию. Классиком ее делается Эразм Роттердамский. Посещение мудрецом мудреца становится ритуальной формой. Эразм едет к Томасу Мору — они знакомы по переписке, но никогда друг друга не видели. И Томас Мор, говоря с незнакомцем и пораженный его умом, восклицает: «Ты или сам дьявол, или Эразм!» — потому что другого такого мудреца найти нельзя.

Дальше мы можем перейти к следующему этапу, перенестись во Францию. Во Франции появляются общества людей, объединенных духовными интересами и культивирующих искусство общения, которое становится, по сути дела, главным искусством — оно даже выше поэзии, выше

других искусств. Это искусство жизни, оно заполняет целый XVII век. Причем происходит очень интересная вещь. С одной стороны, королевская власть — Людовик-«солнце», а до него еще кардинал Ришелье, как бы предъявляя права на монополию культуры, хотят монополизировать общение. Создается придворная, этикетная культура — этикет, построенный на очень утонченной системе выражений и имеющий свою прелесть. Придворная культура эпохи Людовика XIV сочетается безсловный культ короля с утонченной вежливостью, которая как бы заменяет равенство. Двор привлекает к себе поэтов, особенно театр, но важнее еще другое. По инициативе Ришелье создается Французская академия, которая до сих пор существует и которая является не академией наук, а опять-таки обществом родного языка. Это общество ревнителей родного языка — тех, кто хранит язык, очищает его и создает как бы единую французскую поэтическую, литературную речь, которая достойна единого абсолютного государства. Члены Академии имеют официальные титулы «бессмертных», число их ограничено — сорок чело-

445

век. Все обставлено очень торжественно. Литературное движение идет по этому академическому руслу, и Академия сыграла во Франции огромную роль, но все-таки рядом идет живое литературное общение и в совершенно неожиданном направлении.

В первую половину XVII века (в 1765 году человек, о котором мы сейчас скажем несколько слов, скончался) зарождается так называемый «Голубой салон» маркизы Рамбуи. Салон, который возникает, — явление для культуры новое, хотя и связанное с ренессансной традицией и с литературными обществами Маргариты Наваррской. Что в нем нового? Во-первых, это неофициальное общество и даже оппозиционное. Ришелье на него смотрит очень косо, и у мадам Рамбуи были даже опасные моменты в ее биографии, поскольку страна еще помнит Фронду, и аристократическая оппозиция для правительства — очень тревожная вещь. Но политическая оппозиция не играет большой роли в «Голубом салоне». Это культурная автономия.

«Голубой салон», во-первых, совершенно меняет отношение женщины и мужчины. В центре салона — и это останется чертой салона навсегда — стоит хозяйка, женщина, которая меняет свою культурную роль. Женщина как предмет поклонения, женщина, приравненная к Богородице, культ дамы — это все знало средневековье. При этом превознесенная женщина могла быть выше мужчины, но не могла быть равной ему. Она обладала некоей идеальной властью и реальным бесправием. Женщины из салона мадам Рамбуи получили прозвание прециозниц. Их высмеял Мольер в «Смешных жеманницах», — с позиции двора, он создал пьесу, приятную королю, представив этих женщин в виде уродливых карикатур (правда, потом он сам оправдывался, что имел в виду не их, а только провинциалок, которые им подражают).

Это ученые дамы, они, прежде всего, увлечены наукой. Они хотят интеллектуально встать рядом с мужчиной, изучают латынь, астрономию. Один из современников жалуется, что если перед дамой из салона предстанут воин, изрубленный в бою, щеголь, надушенный и украшенный лентами, и аббат, говорящий по-латыни, то наибольший успех в любви будет, конечно, у аббата, потому что он умеет занять разум. Эти дамы занимаются науками и демонстрируют нежелание становиться предметом поклонения или, по крайней мере, включаться в обычное женское амплуа и считать, что любовь — самое главное в жизни. Они мучают своих поклонников. Например, дочь мадам Рамбуи мучила своего жениха девять лет, не увенчивая его верной страсти, а между тем культ ее процветал, ей посвятили целую книжку — она называлась «Гирлянда» (несколько десятков стихов в ее честь).

Салон — это мир замкнутый. Входя сюда, все меняют имена, и имена берутся из романов. Здесь царствуют поэты, а не воины. Здесь разночинец-поэт Вуатюр находит равное, даже почетное место, а в аристократических кругах его чуть палками не бьют, потому что он не дворянин.

Салон XVII века — это как бы ранняя форма женского движения. Вместе с тем это и форма создания совершенно новой системы отношений между мужчиной и женщиной — системы, основанной на интеллектуальном равенстве и освобожденной от обязательной любви. Представление о том, что кроме любовных отношений между мужчиной и женщиной других отноше-

446

ний быть не может, это и есть то, с чем салон борется. Конечно, мода есть мода, и это прециозное женское движение приобретает очень часто карикатурные и смешные формы, над чем очень смеялись современники — в основном мужчины или же придворные. И содержание салона еще дилетантское, еще как бы общеобразовательное. Но на самом деле это было серьезное движение.

Новый этап — в XVIII веке. XVIII век — век философов. Двор бледнеет и уже не может состязаться в культуре с салоном. Академия приобретает известную автономию; правда, уйдя из-под власти двора, она попадает в когти ужасных дамских интриг. Выбор академика становится настоящей борьбой салонов, столкновением женских интересов, поскольку каждый салон имеет хозяйку и честолюбиво претендует на некое отмеченное положение. Салон становится центром культурной жизни, прежде всего — жизни философской. Меняется облик хозяйки салона. По-прежнему в центре салона находится дама. Но это уже, как правило, дама второй половины жизни, блестящая умом, характером, иногда властью, а не красотой. Вольтер даже однажды ядовито

сказал, что хозяйка салона — типичная женщина, которая вместе с закатом своей красоты приветствует восход своего ума. Но не следует думать, конечно, что салон совсем лишен и прелестных дам.

Тут я бы хотел напомнить одну романтическую историю. В начале XVIII века французский дипломат, гуляя в Константинополе по базару, купил продававшуюся там черкешенку — девочку, ей было, видимо, лет шесть. Она не говорила, разумеется, ни на каком языке, кроме родного, а в Константинополе никто этого языка не знал, и откликнулась на имя Гайде. Он привез ее в Париж, отдал на воспитание своим родственникам. Видимо, как и все молодые девушки, она была отдана в монастырь. Это было обязательное женское воспитание в этом кругу: несколько лет в монастыре, где девочек учили игре на клавесине, вышиванию, пению. Он снова уехал в Турцию, потом вернулся — уже больным — и вдруг вспомнил, что купил ее, и в очень нежных, но настоятельных письмах говорил, что он хочет быть для нее и отцом и мужем одновременно. На самом деле она стала только его сиделкой, потому что он был уже болен и полубезумен. Ее крестили, дали ей имя Шарлотта, но это имя не удержалось, а имя ее во французском произношении стало Аиссе. И вот как мадемуазель Аиссе она вошла в историю. Вскоре она умерла от чахотки, но потом были обнаружены ее письма, которые оказались одним из сокровищ литературного творчества салона.

История ее была романтична. Она полюбила кавалера Эиди, а он был мальтийский рыцарь. Как мальтийский рыцарь он не мог жениться. Любовь их была очень постоянной. У них родилась дочь, хотя и любовь, и существование дочери — все было покрыто тайной. Если бы не ее прелестные письма, которые рисуют прекрасно внутреннюю жизнь салона — сочетание высокой культуры и мелких сплетен (поскольку замкнутый мир одновременно способствует и выработке дифференцированного, утонченного общения, и вместе с тем мельчит интересы), — о ней вряд ли бы вспомнили.

Париж этой поры имел образцы разных салонов. Тут можно назвать и мадам Жоффрен, женщину недворянского происхождения, но вышедшую замуж за аристократа, умную, властную, которой Екатерина II писала письма

447

как сестра сестре, которая в своем салоне пригревала будущего короля Польши Станислава Августа Понятовского. Когда он был избран королем, он писал ей: «Маменька, вот я и король, не сердитесь на меня». Но там бывали и Вольтер, и Дидро. Салон становился территорией, на которой властвовала философия. Философия же была реальным правительством Европы. Короли дрожали перед философией. Вместе с тем здесь создавался, как Пушкин однажды выразился, «разговор высшей образованности»¹ (умение и культивирование точного слова, острого ума). Не случайно человек этого салона получает кличку «l'esprit fort» — «сильный ум».

Но, конечно, салон — это только проходящий этап. Плебей Руссо в салоне не ужился. Следующим этапом будут другие организации. В Париже литературное общение перейдет в кафе, а затем в клубы, а затем в политические общества и в Конвент. Значительная часть деятелей революции — литераторы. В Германии будут создаваться общества, небольшие кружки так называемых штюрмеров — юношей растрепанных и бледных, с горящими глазами, готовых штурмовать весь мир. Как сказал один из героев трагедии Шиллера «Разбойники»: «Германия станет республикой, рядом с которой и Рим, и Спарта покажутся женскими монастырями»², то есть Германией героев.

Тогда же, в XVIII веке, литературные общества начинают возникать и в России. Но в Германии и в Италии, в России и в Венгрии литературные общества приобретают в каждой стране свой характер. Они все развиваются как бы под тенью французского салона. XVIII век — это век Франции, европейская культура говорит на французском языке. Конечно, патриоты осуждают это, но и сами говорят на французском языке. Фридрих Великий, прусский король, который так высмеивал этот *modern Sprache*, этот модный язык, где немецкие слова мешались с французскими, сам не пользовался им по очень простой причине: он все свои сочинения писал по-французски.

Французский язык — язык образованности, но, конечно, не только язык образованности, но и язык шеголя, и пустой головы. Русский сатирик Николай Иванович Новиков напишет о молодом поросенке, который уехал для образования сердца и разума в Париж и вернулся оттуда «совершенной свиньей». *Совершенное* на языке той эпохи значит *законченное* и вместе с тем — образованное. Значит, молодой человек уехал диким поросенком, вернулся образованной свиньей.

И все-таки французский салон остается как бы общеевропейской культурной нормой, хотя нигде в Европе он не повторяется. Салон в таком виде, как я сказал, это чисто французское явление. В России литературные общества отлились в свою, иную, отличающуюся от французской, форму и нашли свой облик не сразу. В XVIII веке литературное общество еще только ищет свои формы, и очень часто это — объединение родственников, поэтов, находящихся в каких-то дружеских и родственных связях. Таков кружок Державина, где объединены поэты, женатые на сестрах или связанные длительной внелитературной дружбой. Иногда в поместном быту играет роль соседство — люди

¹ Пушкин А. С. Рославлев // Пушкин А. С. Т. 6. С. 203.

² Шиллер Ф. Разбойники // Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. М., 1955. Т. 1. С. 382.

448

объединяются по признаку соседства. Иногда объединяются вокруг какого-то центра. Таким центром будет Московский университет.

Идут поиски, и подлинные формы литературного движения выкристаллизовываются только к концу века. Но что очень важно, литературное общество, литературное объединение в России с самого начала будет объединением молодых писателей — писателей, которые еще не обрели известности и которые объединяют свои силы для поисков какого-то нового пути. Как складывается этот новый путь, поговорим в следующий раз.

Благодарю за внимание.

Лекция 6¹ (1988 г.)

Добрый день!

В прошлый раз мы говорили о литературных кружках, салонах, обществах как о тех культурных центрах, в которых вырабатывается система общения, некие коммуникативные нормы, некие идеальные обращения и ритуалы. Ведь если мы посмотрим литературу, даже не столько литературу, а дневники, письма, мемуары, любовные письма начала XIX века, то обнаружим, что люди выражают свои искренние чувства с помощью книг, которые они прочли. Человек, пишущий любовное письмо, чаще всего пользуется выражениями из романов. И это отнюдь не означает, что он теряет искренность. Письмо Татьяны к Онегину дышит искренностью. Помните, у Пушкина: «И в необдуманном письме / Любовь невинной девы дышит»². Однако Татьяна выражает свои чувства готовыми литературными формами. Ведь не случайно Пушкин пишет:

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной
<...> себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть...³

В жизни, в быту мы знаем, что люди находят для себя готовые формы выражения в литературе, и в этом великая роль литературы. Писатель создает идеальные формы общения и как бы дает людям мост от одного человека к другому. Поэтому литературные кружки интересны не только для истории литературы: они отражают историю общества, жизнь людей, их менталитет, их мысли. В этом смысле история литературных обществ представляет очень большой интерес.

¹ Передача вышла в эфир в 1988 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 2001. № 21—22. С. 48—55 (как лекция 5).

² Пушкин А. С. Т. 5. С. 65.

³ Там же. С. 59.

449

Как я уже говорил в прошлый раз, в России литературные общества начали складываться в середине XVIII века, и в основном это были общества молодых литераторов. Характерная для французского салона черта: зрелая, умная, энергичная, философски просвещенная дама собирает вокруг себя философский цвет и украшает свой салон, как букет, такими цветами: тут у нее и Дидро, и Даламбер, и Бюффон, — красноречие, острые ответы. Это не характерно для русского салона. Вообще сам салон еще не сложился. В XVIII веке женщина-литератор в России — очень редкое явление; чаще всего, повторяю, это молодые писатели.

В этом смысле интересно издание, которое выходило в течение 1763 года и называлось «Невинное упражнение». Оно могло бы быть представлено в привычных формах французского салона, поскольку за этим журналом стояло вполне определенное лицо — княгиня Дашкова.

1763 год — это год коронации Екатерины II. В 1762 году произошли несколько неприятные события: дворцовый переворот, убийство законного императора Петра III. Екатерина II взошла на трон, замаранный кровью, и это надо было искупить пышными коронационными торжествами. С коронацией немножко помедлили, чтобы забылось убийство. Коронация, как всегда, проходила в Москве, двор переехал из Петербурга. Вместе с двором переехала и княгиня Дашкова, подруга Екатерины, активная участница переворота, но женщина самолюбивая, очень тщеславная, образованная, но не умная, по-моему, хотя сейчас ее очень любят хвалить и представляют чуть ли не философом в юбке. Она, конечно, была философски образованна, на главных европейских языках говорила и писала. В тот момент она — вдохновитель литературы, претендует на то, чтобы Екатерина ей отдала, так сказать, идеологию на откуп. Они быстро поссорятся. Но, несмотря на то что за журналом стоит княгиня Дашкова и сама публикует в нем без подписи свои произведения, журнал все-таки имеет другой облик.

Это журнал неопытных молодых литераторов, которые совокупными усилиями желают пробить дорогу в литературе. Такие люди, как Ипполит Богданович, который, видимо, и написал предисловие — «Письмо к читателю», начинавшееся словами: «Некоторые молодые авторы, при поступлении своем в письменную республику...» И дальше говорится, что некоторые молодые авторы решили объединить свои силы, представляют свои первые опыты на суд читателя и просят

не беречь их от критики, а напротив — подвергать их суду. Это очень типично. В дальнейшем мы будем встречать такие группы молодых писателей в течение очень долгого времени. И кружок братьев Тургеневых «Дружеское литературное общество», и большинство из декабристских литературных обществ, и «Зеленая лампа», в которую входил Пушкин, и «Арзамас», а потом кружок Станкевича и другие общества — это всё будут общества молодежные. Молодые писатели, ищущие путей, — об этом мы сейчас немножко поговорим.

Среди таких обществ следует упомянуть очень яркое, хотя кратковременное, «Дружеское литературное общество». Оно возникло в Москве из тесного дружеского кружка, который сложился в самом конце павловского царствования, где-то около 1800 года. Время было очень опасное. Однако Павел I, человек взбалмошный, более всего был опасен для тех, кто ему попадался на

450

глаза, поэтому в Москве можно было жить относительно спокойно. Хотя полицейский надзор существовал, но в ту пору он не мог перешагнуть порога дворянского дома. Дворянский дом был настоящей крепостью, и шпион туда доступа не имел. Поэтому иностранцы в павловское время изумлялись: господство террора, пресса совершенно задушена, журналы почти полностью прекратили выход, но за порогом дворянского дома говорят исключительно свободно — никто не стесняется, здесь все свои.

Московская атмосфера поддерживается существованием университета, который тоже представлял собой растущий культурный центр, но центр отчасти официозный. Друзья все связаны с университетом: братья Тургеневы (сыновья директора — тогда в университете был не ректор, а директор), молодой, начинающий академическую карьеру Мерзляков (в будущем блестящий профессор, знаток древних языков), молодой Жуковский, Андрей Кайсаров, Воейков. Это общество уже и потому мы можем упомянуть, что из молодых людей (а их было немного — человек восемь, считая совсем юных) два потом были профессорами в Дерпте. Из этого общества вышли крупные деятели — например, бесспорно гениальный юноша, рано умерший, поэт Андрей Тургенев. Позже в крепости декабрист Кюхельбекер в дневнике записал, что если бы смерть не унесла Андрея Тургенева так рано, он затмил бы Жуковского¹.

В университете имелись официозные литературные объединения, а кружок был дружеский, противоположный официальному. Молодежь предпочитала собираться не в казенном помещении и даже не на директорской квартире под внимательным оком родителей. Родители были строгие. Иван Петрович Тургенев был масон, человек очень высоких моральных требований, и не любил сборищ. У Жуковского вообще не было такого просторного помещения. Собирались у Воейкова. Около Новодевичьего монастыря у него был маленький собственный дом с развалившейся крышей, так что дождь проходил насквозь, но зато там молодежь могла пить пуанш, произносить речи о любви к отечеству. Речи опасные — шел последний период павловского царствования, и говорили не только о патриотизме, но и о свободе, и о необходимости пожертвовать жизнью за свободу, читались стихи. И здесь же высказывались интересные литературные мысли. Сами руководители (чуть-чуть старше других были Андрей Тургенев и Мерзляков) пережили бурное увлечение Шиллером и немецкой предромантической литературой. «Разбойники» и «Коварство и любовь» были их настольными книгами, а затем, созревая умственно, они быстро перешли к Шекспиру. Андрей Тургенев переводил «Макбета». Общество выросло в своих стенах и романтизм Жуковского, и гражданскую поэзию Мерзлякова и рано умершего Андрея Тургенева.

В обществе же выросли и два будущих профессора Тартуского университета. Один оставил по себе очень добрую память, а другой — очень плохую память. Андрей Сергеевич Кайсаров был человек замечательный. Он из Москвы отправился в Геттинген, поступил в университет, быстро выучил

¹ Кюхельбекер В. К. Дневник. 1832. 2 июля // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 153.

451

латинский язык, поскольку это было необходимо, и в 1806 году уже защищал диссертацию «De manumittendis per Russian servis» («О необходимости освобождения рабов в России»). Затем он учился в Эдинбурге, странствовал по Европе, был избран профессором в Дерпте (Тарту), потом погиб во время наполеоновских войн в партизанском отряде своего брата, полковника Кайсарова. Другой — Александр Федорович Воейков, тоже преподаватель русской литературы в Дерпте, — оставил дурную память. Это был умный, злоязычный, исключительно беспринципный человек, сыгравший роковую роль в биографии Жуковского. Но мы о нем еще немножко вспомним, когда поговорим о салоне его жены.

Общества, о которых мы сейчас говорим, имели каждое свое лицо. «Дружеское литературное общество» было романтическим и героическим. Но среди возникших позднее объединений молодых литераторов было заметно и направление веселое, комическое, иногда даже карнавальное, как теперь принято говорить. Оно тоже имело свою традицию. Во Франции XVIII века наряду с салоном существовали и шуточные общества. Их было много, они носили такие шуточные названия, как «Орден мухи в меду», и другие. Самым знаменитым было общество дочери мадам Жоффрен баронессы Ферте-Эмбо, которая основала «Орден рыцарей Лантюрелю».

Основательница его присвоила себе титул «ее экстравагантнейшего величества лантюрелийского, магистра Ордена и самовластной повелительницы всяческих глупостей». Это общество интересно тем, что в него вступил Павел I, тогда еще великий князь Павел Петрович, путешествовавший в Европе под именем графа Северного.

Эти экстравагантные общества имели тоже свою особую окраску. Веселье связывалось с непринужденностью и свободой, с раскованностью. Общество весельчаков окрашивалось, особенно в России, в тона политической независимости. Это заметно в таких обществах, как «Арзамас» и «Зеленая лампа». Оба общества шуточные, оба возникли после наполеоновских войн — «Арзамас» в 1815 году, «Зеленая лампа» — несколько позже. Оба отмечены участием Пушкина, правда в «Зеленой лампе» Пушкин участвовал активно, а в «Арзамасе», кажется, и не был ни разу, а если и бывал, то только раз. Общества эти соединяли литературные интересы и стремление отгородиться от тех, кто их недостоин, — некий дух элитарности, со свободой обращения внутри и с разнообразными шуточными обрядами. В «Арзамасе» члены меняли имена, в обществе они переставали быть Жихаревым, Батюшковым, Дашковым, Жуковским, а становились Светланой, Кассандрой, Ахиллом. Имена брались из баллад Жуковского. И так, шуточные обряды, обязательный ужин, который заканчивался ритуальным поеданием жареного гуся — ибо Арзамас, провинциальный город в Нижегородской губернии, славился на всю Россию морожеными гусями.

Эти шуточные обряды скрывали и серьезную сущность. Они создавали облик литературного мира, независимого от официальности, защищенного весельем и вместе с тем отмеченного элитарностью. Эта последняя сторона раздражала декабристов, которые были люди серьезные, шутить не очень были расположены, и заседания типа арзамасских казались им пустыми. В этом смысле «Зеленая лампа» представляла интересное переходное

452

объединение — отчетливо продекабристские настроения, очень серьезные доклады (там, например, читались утопии, прямо касающиеся будущего строя России) сочетались и с безудержным весельем, и с отчетливой свободой поведения.

Эти общества, а их было много, имели рядом с собой и некую конкурирующую форму литературного объединения. Общества, о которых я говорил, отмечены одной чертой — они не только молодежные, не только литературные, но и мужские. Ни в «Арзамасе», ни в «Зеленой лампе», ни в «Дружеском литературном обществе» нет ни одной женщины, хотя молодые люди имели и романы, и увлечения. Члены «Дружеского литературного общества» все были влюблены и даже пытались одну девицу освободить от деспотического влияния ее матери и похитить, разумеется в высших нравственно-идейных, эмансипационных видах.

Конкурирующей организацией был литературный салон. Он возник в формах для нас уже более привычных — как открытый дом с хозяйкой, с фиксированными днями посещения, с относительно устоявшимся кругом посетителей, но при этом без обязанности являться в дружеское собрание. В обществе ведется протокол, там есть секретарь, там произносятся речи, критики, антикритики — это заседание. Салон всегда имеет свободную форму. Здесь можно было бы упомянуть несколько салонов интересующей нас эпохи.

В Петербурге был знаменит салон Алексея Николаевича Оленина. Оленин — вельможа, даже бюрократ, занимающий много должностей (совместительство для вельможи тогда не считалось грехом, тем более что тогда на своем совместительстве он гораздо более денег терял, чем приобретал). Оленин был и директором Публичной библиотеки, и президентом Академии художеств, а потом возглавлял и Государственный совет. Он был ученый-археолог, правда любитель, но осведомленный, покровительствовал историкам. Оленин, весь «покрытый» орденами, был человек маленького роста, имел незначительную внешность. У него была жена, строгая, крупная, высокая женщина, и очень милые дочери, тоже все маленького роста, так что один злой остряк сказал, что через два поколения их надо будет подбирать с пола, послунявив палец. У Оленина и в Петербурге, в его доме, и особенно в загородной мызе Приютино (Приютинская мыза — это в сторону Выборга от Петербурга) бывали Крылов, Гнедич, Батюшков, актеры, а также поэты, певцы, историки, археологи. Крылов там участвовал в домашних спектаклях, как правило в роли комических старух, иногда выступал с импровизациями. Обстановка была абсолютно свободная. Каждый делал что хотел. Ужинали за маленькими столиками, столик на двоих, так что никакого ритуала. Хозяева подчеркивали, что приходите, уходите, заниматься чем угодно гости могут в любое время. Если приглашались артисты, то не затем, чтобы они выступали. Если кто-то читает стихи, то не потому, что он это должен делать. Артистическая свобода и такой сельский оттенок — дочери Оленина сами доят коров, на стол всегда подаются свежие сливки. Правда, гостей много, и иногда сливок не хватает. Приютинский дом, о котором и Батюшков пишет в стихах, это такая отдушина в бюрократическом, сухом Петербурге.

453

Другая интересная «отдушина» — тоже салон — связан с Тарту. Я говорил о том, что Воейков, по протекции Жуковского и его приятелей (прежде всего Александра Ивановича Тургенева), сменил в Дерпте убитого Кайсарова, принес массу зла Жуковскому и оставил дурную память в

университете. Он был зол, не умел ладить с людьми — насмешник, а жена его была прелестна. Она была сестрой Маши Протасовой, которая не могла соединить свою судьбу с Жуковским, потому что он был беден и, кроме того, был слишком близким ее родственником. Мать не дала разрешения на брак. Маша вышла замуж за очень хорошего человека, за дерптского хирурга, профессора Мойера. О Мойере потом с огромной теплотой вспоминал Пирогов. Мойер был исключительно замечательный, культурный человек, хороший хирург, хороший пианист, исключительно внимательный к своей жене, понимавший сложность ее сердечных переживаний, приятель Жуковского. Жуковский со своим мягким, женственным характером смог стать другом дома, хотя это доставляло ему огромные страдания.

И вот в этом тонком мире людей с нежными душами появилась просто хамская натура Воейкова. Он женился на прелестной Сашеньке Протасовой — Светлане (в балладе Жуковского «Светлана» имеется в виду Саша), переехал в Дерпт и поссорился со всеми сразу. Интриган был ужасный. Но вокруг Александры Воейковой сложился очень милый круг молодых студентов всех национальностей, представленных в Дерпте. Молодые люди были, конечно, в нее влюблены. Влюблены в нее были не только молодые, влюблен был Александр Иванович Тургенев, который так и не женился из-за этого. И молодой Языков, но он, правда, влюблялся во всех по очереди.

Для Языкова Дерпт стал особой страной. Та атмосфера свободы, которую он здесь вдохнул, была в значительной мере связана с салоном Александры Воейковой, которую он не случайно называл своей музой. Именно в Дерпте Языков написал такие стихи:

Свободы гордой вдохновенье!
Тебя не слушает народ:
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает.
Пред адской силой самовластья,
Покорны вечному ярму,
Сердца не чувствуют несчастья
И ум не верует уму.
Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепями, склонивши выю,
Она молилась за царя¹.

Здесь очень интересна фраза «...и ум не верует уму...». Это мысль о том, что в рабском мире нет контактов между людьми, нет возможности общения,

¹ Языков Н. М. Элегия // Языков Н. М. Поли. собр. стихотворений. М.; Л., 1964. С. 124—125.

454

что условием общения является свобода. Такую свободу Языков почувствовал здесь и выразил это в стихотворении «Дерпт»:

Моя любимая страна,
Где ожил я, где я впервые
Узнал восторги удалые
И музы песен и вина!
Мне милы юности прекрасной
Разнообразные дары,
Студентов шумные пиры,
Веселость жизни самовластной,
Свобода мнений, удаль рук,
Умов небрежное волненье
И благородное стремленье
На поле славы и наук,
И филистимлянам гоненье.
Мы здесь *творим* свою судьбу,
Здесь гений жаться не обязан
И Христа ради не привязан
К самодержавному столбу!
Приветы вольные, живые
Тебе, любимая страна,
Где ожил я, где я впервые
Узнал восторги удалые
И музы песен и вина!¹

Атмосфера салона Воейковой, конечно, не только и даже не столько политическая, — она исполнена парящего в воздухе духа влюбленности, и хозяйка салона здесь — не дама на склоне лет в духе французских хозяек салонов XVIII века. Вместе с тем хозяйка салона не может привлекать только прелестью лица. Сашенька Воейкова образованна, чувствительна, она музыкантша, предмет поэтического поклонения и хорошо чувствует поэзию. Атмосфера свободы, любви и поэзии создает тот шарм, который присущ этому салону.

Можно было вспомнить еще один салон, уже за гранью декабрьских событий. Трагические события 14 декабря на Сенатской площади — это разгром литературы (литература фактически потеряла свой цвет) и усиление жандармской слежки. Литературные общества почти исчезают. Младшие братья декабристов, московские философы, известные под названием «любомудров», сожгли все свои протоколы и распустили общество. Жандармские осведомители очень следят и фиксируют, с кем встречаются писатели. Писатели стараются не встречаться, как пишет один из осведомителей, при встречах стараются делать вид, что незнакомы. Даже знакомства опасны.

На этом фоне возникает в Москве салон Зинаиды Волконской (Волконская — по мужу, Белосельская-Белозерская — по отцу). Отец — интересный, но «шалунишка» всю жизнь был, французские стихи писал так, что Вольтер его хвалил, дипломатом пытался быть — все у него получалось боком; такой

¹ Языков Н. М. Поли. собр. стихотворений. С. 166.

455

космополитический дилетант (образованный шутник, деньги все протратил). А дочь была настоящая красавица, образованная, писала по-русски и по-французски — была французская писательница и друг Гоголя, Пушкина, Мицкевича, создавшая в Москве, в своем доме, как бы античный храм, где ее уму и красоте поклонялись и Чаадаев, и Мицкевич, и молодой Хомяков, и Пушкин писал ей стихи. Это был дом, где искусство оттесняло ледяную жандармскую ночь. В салоне в эту пору, конечно, никакой политики не было. Но, слушая свободную импровизацию Мицкевича (Мицкевич импровизировал по-французски и по-польски — образованные русские люди, конечно, знали польский язык в ту пору), его встречали (а он был ссыльный, опальный поэт) как брата. Салон Зинаиды Волконской грел воздух в Москве точно так же, как салон вдовы Карамзина в Петербурге.

Салоны превращаются в оазисы. Таким оазисом делается в Петербурге салон Елизаветы Михайловны Хитрово, дочери Кутузова. Это место, где Пушкин будет отогреваться душой не только потому, что Елизавета Михайловна, замечательнейшая женщина, влюблена в него. Это была одна из немногих женщин, которая не только любила Пушкина (его любили многие), но которая понимала его масштаб и ценила в нем гордость русской, европейской поэзии. Кроме того, ее дочь Долли была замужем за австрийским послом. В доме австрийского посольства — это как бы экстерриториально — Елизавета Михайловна занимала первый этаж, Долли с мужем — второй. Письмо, муж Долли, получал все европейские журналы и газеты без цензуры. Здесь Пушкин, а он был напряженно включен в политику, получал новейшие европейские сведения. Здесь он общался с тем кругом лиц, который действительно был ему в Петербурге интересен, — с европейскими посланцами. Ближайшее пушкинское окружение 1830-х годов — это дипломаты. Очень интересны отзывы дипломатов о нем. Они знают, что Пушкин поэт, но оценить не могут, потому что не читают по-русски, однако видят в нем острого политического мыслителя — человека, который бы с успехом занял место на скамьях любого парламента. Это та сторона, которая, конечно, русскому современнику была неизвестна. Помните, как горько шутил каторжник Лунин: «Теперь в официальных бумагах называют меня: государственный преступник, находящийся на поселении. Целая фраза возле моего имени. В Англии сказали бы: Лунин, член оппозиции»¹. Коротко и ясно.

Таким образом, литературный салон оказывается большой культурной силой, но все-таки постепенно он устареваеет. Он связан с культурой дворянской, аристократической, а она к 1830-м годам уже на своем закате. И опять вперед выдвигается кружок молодежи — молодого Герцена, Станкевича и Белинского. Кружок братьев Сунгуровых — это уже кружок, который приводит своих членов на каторгу; или кружок петрашевцев, где начинается с литературного чтения, но тоже кончается каторгой. И литературное общество превращается в общество политическое.

Благодарю за внимание.

¹ Лунин М. С. Письма из Сибири. № 7. 16 июня 1838 // Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1987. С. 6.

456

Лекция 7¹ (1988 г.)

Добрый день!

Продолжим наши беседы. Мы говорили о разных видах общения, о контактах между человеком и человеком. Но сейчас нам предстоит подумать еще об одном виде контактов, очень существенном. Люди могут общаться, непосредственно видя друг друга и разговаривая. Это общение обладает крупными преимуществами, поскольку мы не только слышим слова, но и видим мимику, жесты. Это очень важно, поскольку слова могут говорить правду, а могут и лгать. Когда мы с кем-то разговариваем, нам очень важно знать, можем ли мы ему верить. Поэтому мы внимательно следим не только за словами, но и за выражением глаз, за выражением лица, и все мы знаем, что если надо скрыть истину, то это по телефону всегда сделать легче, поскольку тот, кто слышит, он слышит только слова и не видит лица. Но существует большая область общения людей, когда они друг друга не видят, когда они находятся в контакте через какое-нибудь посредство, главным образом через посредство письма, какого-то текста. Значительная часть

общения между людьми связана с надписью, бумагой, письмом, книгой, рукописью, а теперь еще и с магнитофоном, с телефоном, с пластинкой, с техническими средствами. Между человеком и человеком оказывается некий посредник. Это коренным образом меняет ситуацию общения, создает и новые трудности, и новые возможности.

Прежде всего, письмо. Человек пишет письмо другому человеку. Он берет лист бумаги, и оказывается, что не все, что можно так легко сказать, можно написать; оказывается, что для того, чтобы написать, чтобы выразить свои определенные мысли и чувства, нужны какие-то навыки, и навыки не совсем такие, которые годятся в разговоре. Письма надо уметь писать. Между прочим, искусство писать письма, которое достигло такого совершенства в XVIII и XIX веках, сейчас в значительной мере утрачено. Мы мало пишем письма. Мы пользуемся телефоном, телеграфом и не привыкли выражать в письмах чувства. Как правило, наши письма сузили свою тему до фактического, практического сообщения, до некой деловой информации. Нам стало как-то неудобно останавливаться в письмах на неделовых вещах, это кажется сентиментальным и неуместным. Это приводит к тому, что значительная часть культуры общения между людьми пропадает. Для этого есть причины, но сейчас будем говорить не об этом.

XVIII и XIX века были в значительной мере веками писем. Это было связано, с одной стороны, с усовершенствованием почтовой техники — усовершенствовались дороги и почтовое сообщение, которое тогда, нужно сказать, достигло большого совершенства, о чем с грустью мы можем только вспомнить, потому что, к сожалению, сейчас не только наша культура письма деградировала, но деградировало и почтовое сообщение. Должен сказать, что письмо из Петербурга в Дерпт шло почти с такой же скоростью, с какой сей-

¹ Передача вышла в эфир в 1988 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 2001. № 23. С. 14—21 (как лекция 5).
457

час идет письмо из Ленинграда в Тарту, хотя тогда его везли на лошадях, а теперь — не знаю — *авиа* или какое-то другое сообщение. Итак, усовершенствование почты. Были, в общем, твердо упорядоченные дни отправления и получения писем: они назывались «почтовые дни» и были два раза в неделю. День отправления писем человек уже заранее планировал и в этот день, как правило, не занимался другими делами. Пушкин, помните, писал: «почтовый день — мой черный день» — надо писать письма. Письма приходили регулярно.

Правда, нужно сказать, что и в России (особенно), и в Европе в целом с XVIII века развилась эта гадкая манера проверять письма на почте. Это называлось «черным кабинетом» и процветало в России. «Черный кабинет» создал почт-директор Иван Пестель, увы, отец декабриста Павла Ивановича Пестеля. Но в Пруссии тоже читались письма, правда не так искусно. Когда один из иностранных гостей пожаловался Екатерине II на то, что его письма приходят распечатанными, и Екатерина сделала выговор Пестелю, то тот отвечал, что это — не «у нас», «мои» распечатывают так, что не заметишь. Но распечатывали письма систематически, и даже великий князь Константин когда писал своему бывшему учителю Лагарпу в Швейцарию, то иногда приписывал: не удивляйтесь, что пишу откровенно, письмо до Берлина пойдет с оказией, а дальше уж писем, кажется, не читают.

Письма читались систематически, поэтому одновременно с почтовым сообщением возникало так называемое сообщение *по оказии*, когда письма везли знакомые, друзья. Пропадала скорость, зато выигрывала безопасность. Пушкину принадлежит каламбур: *живучи в Азии, сходнее по оказии*. Дело, конечно, не только в «черных кабинетах», на которые, в общем, не обращали внимания. Хотя, когда вы заглядываете в бумаги Третьего отделения, в бумаги Бенкендорфа, вы с изумлением видите, что читают не только письма политических деятелей, читают и женские письма. Бенкендорф — в общем, он считался порядочным человеком — делал выписки из них, показывал их государю. Об этом позже Пушкин писал, говоря о глубокой безнравственности правительства: Бенкендорф делает выписки из письма мужа к жене, показывает государю и тот, честный человек, не стыдится в этом признаваться¹. Но это одна сторона дела. Другая касается уже личности, личных чувств тех, кто пишет.

Для того чтобы уметь написать письмо, надо было обладать внутренней культурой. Конечно, необходима была и внешняя, навык, — просто учили, как надо писать письма, учили, как надо обращаться. Это был специальный ритуал: один зачин — в обращении к начальству, другой — к другу, к любимой женщине. Если вы пишете императору, тут особый ритуал, надо знать, как обратиться, иначе это будет неприлично. Иногда одно слово может все испортить. Один вельможа написал другому, в общем равному по рангу, но он был сенатором, а другой — губернатором: «Милостивый государь мой!» Получивший письмо очень обиделся. Надо было писать просто: «Милостивый государь». Можно было написать «милостивый государь мой», но в этом

¹ См.: Пушкин А. С. Дневник. 1834. 10 мая // Пушкин А. С. Т. 8. С. 50.
458

был оттенок превосходства. И получивший ответил: «Милостивый государь мой, мой, мой!» Но это обучение давалось легко. Сложнее давалась наука писать искренние письма, выражающие сердечные переживания, а это было необходимо.

Люди в XVIII—XIX веках не жили так кучно, как сейчас. Сейчас люди, как правило, общаются

с теми, с кем они встречаются по службе, по соседству. Если кто-то из друзей переезжает в другой город, переписка длится некоторое время, а потом затихает. Если какая-нибудь экстренная нужда, то — телефонный звонок или телеграмма, а писание писем вышло из моды. Между тем в ту эпоху люди жили в значительной мере по поместьям, по деревням, в небольших городах. Население совсем не концентрировалось так в больших городах. В большие города — в Петербург, в Москву, за границу — съезжались на какие-то сезоны, а потом разъезжались, а переписку поддерживали. Получение письма — это целое семейное событие. Письма, как правило, читались вслух. Очень часто письма писались нескольким друзьям (двум-трем, иногда даже четверем) на одном листке. Скажем, получивший письмо от Александра Ивановича Тургенева Жуковский читал его, а потом ехал к Вяземскому, и тот читал, а потом это письмо попадало к Пушкину. И это была тоже форма сближения — письмо сближало людей. Этим письмам надо было учиться, и здесь имелся хороший учебник — литература.

Люди черпали арсенал своих языковых средств из книг, объяснялись в любви словами из романов или же из поэм. Мы уже как-то говорили о том, как декабрист Каховский объяснялся в любви словами из пушкинского «Кавказского пленника». У Пушкина в «Метели» герой объясняется героине в любви, и героиня сразу же вспоминает первое письмо Сен-Пре из романа Руссо «Новая Элоиза». Такое искреннее, дышащее непосредственным девичьим чувством письмо Татьяны к Онегину все составлено из литературных цитат. Комментаторы очень легко это обнаруживают, с некоторым даже злорадством, показывая, что Татьяна — книжная барышня и цитирует разных авторов. Злорадства здесь не надо. Литературная цитата в письме не означала неискренности. Точно так же, как мы употребляем слова и нас не тревожит то, что эти слова уже много раз говорились. Если я пишу: «Я вас люблю», меня не стесняет то, что слово «люблю» употреблялось миллионы раз до меня, — оно тем не менее может адекватно выражать мои чувства. То, что литературный герой уже сказал какие-то слова, которые повторяет провинциальная барышня, не означает, что она этого не чувствует. На самом деле это значит другое.

Помните, как у Пушкина: «...и, себе присвоив / Чужой восторг, чужую грусть...»¹ Обычная барышня начинает чувствовать, как литературная героиня. Она не просто употребляет чужие слова, она повышает свой строй духа. Она становится человеком того возвышенного строя душевных переживаний, который подсказал ей Руссо, или Шиллер, или Пушкин, или Рылеев. Когда эти же барышни, эти молодые женщины, воспитанные в атмосфере усадьбы или салона, вдруг все бросают и едут в Сибирь за своими мужьями, это тоже

¹ Пушкин А. С. Евгений Онегин / Пушкин А. С. Т. 5. С. 59.

459

не неожиданно и это тоже подражание высоким образцам культуры. Вообще наша жизнь в значительной мере создается по образцам той культуры, которая была до нас. В этом ничего неискреннего нет, просто мы вбираем в себя предшествующий опыт людей, и наши души делаются выше от этого.

Письма писались большие, писались часто, при этом важно, что пишущий имел перед собой как бы двух адресатов. Он писал своему другу или возлюбленной и одновременно писал сам себе. Когда он создавал письмо, то как бы смотрел на фотографию или в зеркало. Пока перед вами нет этой отражающей пластинки, вы не знаете, как вы выглядите. Когда вы свои чувства или мысли высказываете другому человеку, они становятся реальностью для вас самих, поэтому даже Карамзин однажды не без иронии сказал, что добрым приятелем может быть каждый человек, у которого есть уши. Приятель — это как бы зеркало меня самого. В другом месте Карамзин сказал уже серьезно о своем герое, что он никогда не перестанет — дальше цитата точная — «наслаждаться собой в сердце друга».

«Наслаждаться собой в сердце друга» — это важно. Поскольку мы не пишем писем и очень редко пишем книжным стилем, мы не только не сообщаем о себе другим людям, мы сами себя не знаем. Человек узнает себя, конечно, в своих поступках, но и в своих мыслях, а мысли, не высказанные словами, это еще не мысли. Конечно, высказывание словами уже всегда есть некоторое искажение. Отсюда те муки, которые испытывал, например, Лев Толстой, когда писал дневник. Он хотел писать предельно искренне, и все время получалось, что слова у него... как, знаете, у начинающего велосипедиста велосипед едет, куда сам хочет. Борьба с инерцией слов, борьба с предшествующими клише, которые сначала помогают, — помогают как человеку, который еще не умеет ездить на велосипеде, а человеку, который уже овладел этим искусством, слова, со своей собственной логикой, со своей традицией, начинают быть помехой. И тем не менее, конечно, в писании есть акт самопознания. В этом смысле ни телефон, ни телеграф заменить этого не могут. Когда мы смотрим на контакт только как на техническую проблему и думаем, что любое техническое усовершенствование облегчает и улучшает систему контакта, мы заблуждаемся, и в результате получаем обычную для нас картину. Мы легче технически можем связаться друг с другом, но гораздо труднее можем понять друг друга и уж совсем не умеем и даже не считаем нужным понимать самих себя,

Таким образом, далеко не всегда усовершенствование в области коммуникаций (в области обращения человека к человеку) является реальным успехом человеческой культуры. Вернее,

каждый первый шаг есть потеря: надо новые технические средства еще как-то освоить, еще как-то ввести в культуру, каким-то образом научить их быть не только техникой. Техника остается техникой только на первом этапе, потом она должна стать культурой, превратиться в некоторое действие самопознания человека и общения с другим человеком. А это, по сути дела, одно и то же. Ведь весь смысл нашего разговора в том и был, что нельзя, не общаясь с другим человеком, познать себя, нельзя, не познав себя, общаться с другим человеком. И в этом смысле, конечно, важно не только письмо. Письмо — это только одна из форм. Еще важнее общение с книгой.

460

Книга — это одно из сложнейших достижений человеческой культуры и одно из важнейших, поэтому, кстати, тревожит всякий разговор о том, что книга устарела, и тревожит потеря вкуса к чтению книги. Даже не только утрата вкуса к чтению, но и какого-то, извините меня, молитвенного отношения к книге. Ведь мы сейчас плохо к книгам относимся, ужасно. Когда происходят такие случаи, как пожар в библиотеке Академии наук в Ленинграде, — ну это же катастрофа для культуры в мировом масштабе! Нельзя молчать об этом, это чудовищно! Но мы сейчас мало оцениваем вековое культурное значение книги.

Книга в чем-то напоминает письмо, она всегда есть обращение от кого-то к кому-то. Все написанное всегда имеет две стороны и ставит перед нами вопросы: 1) кто написал, от чьего имени, могу ли я ему верить, кто он такой, почему он пишет, что он думает при этом? 2) К кому обращена надпись, кто ее читает? Когда античная, римская надпись на могиле, как правило, начиналась словами: «Остановись, прохожий», это было обращение от лица того, кто лежит в могиле, к тому, кто проходит мимо, от мертвого к живому, и такое обращение всегда есть.

Вот возьмем такой неприятный и некультурный случай. Мы приходим в парк и на скамейке видим вырезанное сердце и надпись: «Валя и Петя тут сидели». Задумаемся: действие некультурное, но и в некультурных действиях проступают какие-то человеческие потребности. Во-первых, почему они пишут в прошедшем времени, почему они не напишут «здесь сидят», ведь когда они режут эту скамейку, они сидят на этом месте? Но они смотрят на себя глазами кого-то из будущего. Им очень хочется, чтобы этот человек из будущего, этот потомок безымянный, вспомнил о них, знал, что они были, чтобы они не исчезли бесследно в эту существующую для них минуту, когда они тут сидят вместе и по своему настроению готовы вырезать сердце, пронзенное стрелой. Чувства, может быть, не столь глубокие, не столь богатые, но для них важен факт бытия, факт существования. И они обращаются к тому, кто будет после них, конечно сами этого не понимая. Они хотят если не бессмертия, то хоть продолжения этой минуты. Большинство писаний так и обращено — или к современникам, или к потомкам, или к человеку, которого я знаю лично (это будет письмо), или к человеку, мне не известному. Но всегда это будет обращение к кому-то.

И вот в этом пространстве, в этом мире возникает особое обращение, особый вид текста — литературное произведение. Оно написано к тому, кого я, писатель, не знаю, но пишу к нему так, будто бы я его знаю. Отсюда у Твардовского «читатель—друг»¹, отсюда постоянное у поэтов обращение к читателю, как к знакомому лицу. Дальше — обращение к будущему читателю, как к настоящему, — к тому, кто еще не существует, как к лицу реальному. И в этом смысле литература и книга (любая) содержит как бы два послания. Одно — послание ко мне, которое рассказывает мне о каких-то событиях. С другой стороны, это как бы *мое* послание. Я смотрю в книгу, как в зеркало, потому что ведь мы же знаем, что каждый, читающий книгу, стихо-

¹ См.: Твардовский А. Т. За далью — даль // Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 5 т. М., 1967. Т. 3. С. 108.

461

творение, роман, читает ее по-своему. Более того, если вы прочтете роман и потом, через несколько лет, перечтете его, то обнаружите, что это другой роман, он уже изменился. (Не он изменился, изменились вы, изменилась ваша точка зрения; так, когда поезд трогается и движется вдоль перрона, то очень трудно сказать, кто едет, поезд или перрон.) Так создается это послание ко мне от другого человека, которое учит меня сразу двум вещам: общаться с миром и общаться с самим собой. Поэтому, между прочим, книгу так важно уметь читать.

Мы сейчас читаем книгу не совсем так, как ее читали прежде. Само слово «чтение» зафиксировало то, что когда-то нормально было чтение вслух. Это слово в этом значении сохранилось в церковном употреблении: в церковную службу входит чтение определенных мест из Священного писания. Это же сохранилось в научном употреблении, когда мы говорим: «Пушкинские чтения», и это означает, что мы слушаем доклады. Чтение для нас ассоциируется с чтением глазами, мы привыкли читать молча и даже считаем, что если кто-то шепчет, когда читает, то это такая некультурная привычка — надо читать молча. Но ведь стихи читать молча нельзя. Мы на самом деле стихи читаем так, как музыкант слушает партитуру. Он смотрит в партитуру и слышит ее звучание. Точно так же мы смотрим на стихотворный текст, но слышим его звучание. Вообще чтение художественного произведения сродни тому профессиональному для музыканта чтению, когда он глядит на ноты. Мы должны, глядя на этот художественный текст, его и слышать, и видеть. И отсюда — еще одна важная вещь.

Для того чтобы книга была действительно средством общения и познания, ее не следует читать второпях. Над книгой надо мечтать — извините меня за такое несовременное слово. Вот как

Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь»¹. Это нужно отметить, потому что определенные виды чтения: детективы и другие остросюжетные произведения — требуют быстрого чтения. В этом нет ничего плохого. Это жанр, который подразумевает такого рода чтение, поскольку он не настраивает на размышления, это умственный отдых для усталого мозга, типа решения шахматной задачи. Хуже, когда детектив начинает восприниматься как норма для любого литературного произведения и когда к любому произведению читатель применяет облегченное сюжетное чтение, быстрое пролистывание, пропуски того, что кажется скучным и не столь важным, и быстрый переход к тому, «кто кого убил» и «кто на ком женился». Это шаг к тому, чтобы отучиться читать книги. К сожалению, замечу, что наша школьная программа, увы, не противостоит этой установке: чтение в отрывках, чтение в пересказах, настойчивое внушение школьникам, что сюжет это и есть самое главное в произведении, что произведение сводится к тому, про что там.

Произведение не сводится к тому, «про что там». Конечно, одно дело — роман, другое — стихотворение. Все по-разному. Но важно еще вот что. В старину не только книги читали вслух. В старину книги, как правило, перечитывали. Сейчас мы сталкиваемся с некоторым интересным парадоксом.

¹ Пушкин А. С. Элегия (Бездумных лет угасшее веселье...) // Пушкин А. С. Т. 3. С. 178.

462

Книги очень трудно купить. Их раскупают. Выходят книги очень большими тиражами, и то, что этих тиражей не хватает, свидетельствует о том, что их покупают не для того, чтобы читать. Если сопоставить, сколько книг куплено и сколько книг прочитано, я убежден, что это будет разница чудовищная. Вот, скажем, недавно была подписка на «Историю России» Сергея Соловьева, которая шла при ужасном ажиотаже, но интересно узнать, кто же из подписчиков прочел Соловьева. Сейчас торгующие книгами организации с огорчением сигнализируют, что первый том купили, а от второго начинают отказываться — скучно. Потому что покупают по инерции, под влиянием ажиотажа. А книгу надо не только читать. Вот это представление: «купил и не читаю» — это не то, что требуется в культуре. Правильнее: «купил и перечитываю».

Домашняя библиотека — это признак культуры. Домашняя библиотека должна быть! Начиная с эпохи Петра, даже раньше — с Василия Голицына, в России уже есть частные библиотеки, а в Западной Европе они были гораздо раньше. Но библиотека — это всегда подбор, это не то, что я схватил в магазине. Это то, что я ищу, то, что я люблю, и то, что я перечитываю. Вот Гоголь считал, что вообще человеку достаточно двух книг: Библии и «Одиссеи» Гомера — и эти книги надо перечитывать.

Посмотрите на картину Рембрандта «Святое семейство». Богородица держит в руках книгу — это Библия, конечно. Она укрывает одной рукой младенца Иисуса, другой держит Библию. Это книга, которую читали всю жизнь, ее перечитывали, в нее вдумывались, в ней находили новые смыслы. И точно так же надо уметь читать и другие книги — и Достоевского, и Толстого. Это собеседники. Для того чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие. (Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать, я уже поговорил с ним один раз. Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз — удовольствие.) Тогда книги делаются друзьями. Вот этот образ — «книги-друзья» — проходит через всю мировую литературу. Кантемир писал о том, что «для мертвых друзей»¹, то есть книг, можно отойти от веселого общества живых друзей.

В конце XVIII века в Ярославле жил ничем не выдающийся молодой человек дворянин Опочинин. Ему было очень одиноко, и он покончил с собой. Но перед смертью он написал письмо к своим единственным друзьям. Это были его книги. Он написал письмо к своей библиотеке. И Пушкин, умирая, обратился к книгам: «Прощайте, друзья». Когда Александр Блок в 1918—1919 годах, по трудному материальному положению, вынужден был продавать свою библиотеку, он прощался с каждой книгой в отдельности. Это вековая отложившаяся форма нашего общения, наши постоянные собеседники. И письмо, и дневник, и художественное произведение — это есть те, созданные нам культурой, друзья, общение с которыми нас обогащает.

Благодарю за внимание.

¹ Кантемир А. Собр. стихотворений. Л., 1956. С. 59.

463

Лекция 8¹ (1988 г.)

Добрый день!

Итак, сегодня мы как бы подводим итог небольшому нашему разговору о культуре общения, о том, как человек передает себя другому человеку. И сейчас нам стоит подумать о том, зачем это нужно. Мы знаем, что общение бывает трудным и далеко не всегда можно найти слова и найти возможности искренне, глубоко и серьезно передать себя другому человеку. Это одна из сложных проблем для человечества вообще и для человека в частности. Люди разделены языками, национальными традициями, возрастом, полом, культурным опытом, интересами. Жизнь все время нас разводит и как бы ставит друг перед другом такими конфронтующими сторонами.

Очень часто кажется, что нам даже и не надо бы или же слишком трудно пробиться друг к другу. Помните, как у Пастернака: «А на улице вьюга / Все смешала в одно, / И пробиться друг к другу / Никому не дано»². Пробиться друг к другу... И тут, естественно, возникает вопрос: а зачем нам надо пробиваться друг к другу?

Казалось бы, что стоит общаться или в очень простых формах, чтобы общение было легким, или же, если это трудно, мучительно, тяжело, конфликтно, то, может быть, от этого общения отказаться. Но прежде всего о простом общении. Конечно, в некоторых ситуациях людям легко друг друга понять, но это простые ситуации: «Дай мне стакан воды», — и мы друг друга прекрасно поняли. Но как только дело доходит до каких-то глубоких душевных переживаний или же до традиций, до национального, культурного опыта, до необходимости выразить себя на другом языке или же просто даже поговорить (как трудно бывает мужчине объясниться с женщиной, женщине объясниться с мужчиной), это бывает мучительно. И зачем эти муки? Над этим стоит подумать, потому что, по сути дела, вся история культуры есть история навыка общения между людьми.

Почему же нам нужен другой человек? И очень важно: какой другой человек нам нужен? Казалось бы, легче всего ответить так: нам нужен такой человек, который похож на нас. Мне нужен такой человек, с которым было бы легко говорить и который был бы совсем такой, как я. Бесспорно, такое желание во мне все время живет, и поэтому я всегда хочу своего собеседника как бы подчинить себе, уподобить себе. Родители хотят детей воспитать, чтобы они были похожими на них, родителей. Дети требуют подсознательно, чтобы родители были похожи на них. Это, между прочим, источник семейных конфликтов, когда мы с нажимом стараемся друг друга уподобить себе. Это и источник конфликтов национальных, когда нам кажется, что если кто-то думает иначе, чем мы, то нам это даже как-то оскорбительно или же плохо для нас. Но мы убеждаемся на историческом опыте, что если идеальный собеседник совсем такой, как я, то зачем он мне нужен? Зачем мне нужен тот,

¹ Передача вышла в эфир в 1988 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 2001. № 24. С. 33—39 (как лекция 6).

² Пастернак Б. Вакханалия // Пастернак Б. Избр.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 449.

464

кто всегда со мной согласен? Зачем мне нужен тот, кто ничем от меня не отличается? Я фактически останусь в одиночестве: я только буду как бы перед зеркалом.

Работа мысли, работа культуры основана на том, что друг другу нужны разные люди: по возрасту, по полу, по культуре. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с бурным и быстрым развитием культуры, мы имеем перед собою столкновение разных культур. Но столкновение это тоже бывает разным. Бывает столкновение с целью подчинения, оно не плодотворно, бывают столкновения с целью трудного, но контакта, когда мне нужен *другой*, потому что он *другой*, и когда я уважаю эту разницу. Я признаю в *другом* не только право быть на меня не похожим, но вижу для себя пользу в том, что он на меня не похож. Для меня обогащение моей личности и моего опыта, моего культурного багажа состоит в том, что я сталкиваюсь с новым для себя миром и учусь общаться с этим миром. Это трудная наука. Но это, по сути дела, основной позитивный стимул культуры, когда мы понимаем, что и в микрокосме, в семье, и в макрокосме, на этой, в общем, небольшой Земле, мы разные, и мы должны быть разными, и вместе с тем должны друг друга понимать.

Это — искусство сочетания разницы и единства, единства, которое дается некоей включенностью в общую историю мировой культуры, из которой мы уже уйти не можем. Мы все существуем как бы на разных ветках, но одного дерева. Вместе с тем мы не должны превращаться в казарменную массу, потому что как только мы станем номерами в казарме и перестанем быть индивидуальностями, мы станем друг другу абсолютно не нужны. И нет большего одиночества, чем одиночество одинаковых кегельных шаров, одинаковых бильярдных шаров. Они одинаковые, они заменяют друг друга, и они абсолютно друг другу не нужны, им не о чем говорить между собою. Между тем люди потому и нуждаются в общении, что они разные и должны быть разными.

Таким образом, история культурного общения есть история глубокого противоречия, поэтому она и конфликтна. История культуры совсем не работает на то, чтобы люди стали одинаковыми. Представление о том, что с развитием мировой культуры исчезнут национальные языки, выработанное в предшествующей традиции (очень долгой), просто научно не оправдывается. Мы не видим ни стирания, ни исчезновения языков. Если даже мы видим воздействие какого-то языка на другой (скажем, французского на русский в XVIII веке или очень сильное сейчас влияние английского на многие мировые языки), то это отнюдь не приводит к тому, что язык исчезает. Наивно думать, что все люди заговорят по-английски. И фонетика, и грамматика, и лексика чрезвычайно устойчивы — они перерабатывают воздействия и остаются собой.

Итак, один процесс — это углубление специфики. По сути дела, чем богаче личность, тем она специфичнее. Получается сложное противоречие: чем ее труднее понять, тем ее интереснее понимать. Почему нам интересно общаться с произведениями искусства? Потому что их трудно понять, потому что это мощные трудные интеллектуальные собеседники. Общаться с ними — это работа. Напрасно думают иногда, что искусство существует для отдыха. Искусство — это высшая

форма интеллектуальной деятельности, это тяжелая

465

работа. Кстати, когда мы приучаем, в силу недомыслия нашего кинопроката, зрителя к легким фильмам, мы его отучаем от кинематографа вообще. И у нас действительно получается так, что на трудный фильм публика идет меньше. Ну так это и понятно: чем труднее работа, тем меньше желающих. Главное, надо получить вкус к этой работе, надо к ней приучать. Конечно, на симфоническую музыку человек может реагировать, если он получил уже какое-то музыкальное воспитание. Вообще, на все нужно воспитание — и на математику, и на технику, и на музыку, и на кинематограф. Легкое — это только дешевое, это то, что заменяет собеседника псевдособеседником: друга или жену заменяют манекеном. От них уже нечего ждать, никаких неожиданностей, все прекрасно, делают все что нужно, а зачем они нужны? Они не нужны. Они — суррогат. Рядом с культурой всегда идут суррогаты. Суррогаты — очень опасная вещь, потому что люди, которые начинают свой культурный путь, легко принимают суррогаты за подлинные ценности. В этом таится большая угроза.

Итак, один процесс состоит в том, чтобы максимально содержательными сделать человека, национальную культуру, коллектив, любое коллективное «я» или индивидуальное «я». Но второй процесс — в том, чтобы это «я» могло общаться с другим «ты». Значит, усложняя себя, оно должно вместе с тем каким-то образом включить в себя и другой мир. Каким-то образом уметь получить и передать, потому что культура не может жить под стеклянным колпаком, она задыхается. Мы знаем в истории человечества периоды культурной изоляции — это периоды застоя, периоды, когда мысль останавливается, перестают создаваться великие произведения, когда людям дышать нечем. Им действительно в прямом смысле дышать нечем. И вот тут — еще одна интересная вещь. Есть, как ни странно, какая-то прямая зависимость между культурным содержанием личности и ее внешностью (как ни странно!).

Писатель Иван Алексеевич Бунин сделал однажды интересное наблюдение над Чеховым. Чехов был человек, который всю жизнь себя воспитывал. Как он сам в одном месте написал, задумав такой сюжет, — конечно, не совсем про себя, но и не без элемента автобиографизма, — о человеке, который всю жизнь по капле выдает себя из себя раба и вдруг однажды, проснувшись, чувствует себя свободным человеком. И вот Бунин сделал такое наблюдение. Менялось лицо Чехова, пишет он. Вначале это было симпатичное лицо приятного деревенского парня, веселое лицо. По мере духовного роста и самовоспитания это стало лицо интеллигента — одухотворенное, совсем не упитанное, не краснощекое, не удовлетворяющее каким-то примитивным нормам в представлении о красоте, а с горящим внутри огнем. Это очень важно. Мы видим очень многое, если мы научаемся смотреть на людей точно так же, как мы смотрим на картины, как мы слушаем музыку. Мы очень многое можем прочесть по лицам.

Человеческие лица — не только создание природы, это создание культуры. Они зависят от внутренней наполненности. Вот посмотрите, как прекрасны старики Рембрандта. Они совсем не отличаются красотой, у них лица людей много страдавших, лица даже, видите ли, не мыслителей, простые лица. Даже может быть крестьянское лицо, но это лицо и руки (посмотрите!) человека, прожившего огромную жизнь и передумавшего эту жизнь. Портре-

466

ты Рембрандта нас этим и привлекают. Тем, что во внешности выражается внутреннее содержание. Поэтому и не случайно портреты.

Есть одна особенность. Когда вы смотрите на индивидуальные фотографии и когда вы смотрите на групповую фотографию, вы замечаете, что на групповой фотографии лица делаются более стандартными, они более друг на друга похожи. В этом смысле рядом с Рембрандтом хорошо посмотреть на портрет королевской семьи работы Гойя¹. Это групповой портрет, здесь мужчины и женщины — от грудного ребенка до старика, причем они не все родственники (то есть родственники, но тут и муж, и жена, значит, сходства по крови быть не должно): король, королева, а герцог Годой («князь мира») был вообще из другой семьи, из другого рода. И вы легко замечаете, что у них одинаковые лица. Одно лицо отличается — это стоящий в тени, позади, сам художник. Гойя нарисовал свой автопортрет, и этот портрет как бы «вырезан» из группового портрета, хотя что-то общее положено на всех. Когда же Гойя рисовал расстрел повстанцев (герильясов)², то он сделал еще резче. Солдат французских он не только повернул спинами, чтобы лиц не было видно, но дал им одинаковые спины, всем одинаковые!

Вот тут и возникает еще один важный вопрос. Культура связана не только с духовными ценностями, но и с развитием техники, с материальными ценностями, с этой раскрученной огромной машиной, которую в XIX веке считали спасительной, — техническим прогрессом, который сейчас для нас повертывается некоторыми опасными сторонами. И эта машина тоже имеет свою логику, она тоже «делает» человека. Точно так же, как «делают» человека политическая и общественная ситуации. Человек входит в разные группы, и каждая группа тоже имеет свое «я» и претендует на то, чтобы уподобить его себе. Предел здесь — это казарма или лагерь, где насильственно человека «стирают», делают винтиком. Но это, с другой стороны, и определенная черта, от которой уйти нельзя. Скажем, люди одного времени, люди, говорящие на одном языке, люди одной культуры, школьники одного класса — они имеют что-то общее. И это

даже необходимо, потому что это общее обеспечивает им понимание. Все-таки если мы будем все совершенно разные, то нам будет невозможно общаться. Нам нужно, чтобы наша внутренняя индивидуальность вместе с тем не исключала общего языка с другими людьми, языка в широком смысле — общего культурного контекста. Но вот тут возникает очень важный и серьезный вопрос, который я пытался провести через весь курс. Это вопрос о грани между тем, где это общее начинает стирать личность, и тем, где эта личность начинает как-то не вписываться в общее.

Посмотрим, скажем, танцы. Традиционные народные танцы строятся так же, как и балы: народу много, все танцуют один танец под одну общую музыку, но разбиты на пары. Пара есть минимальная единица потребности человека в человеке. Конечно, можно представить себе, что человек сам себе собеседник. Человек может вместить в себя целый мир. Это верно, но это уже более сложный случай. Простой, элементарный, основной случай — это пара. Это люди, которые находятся вместе; идеальный случай, предположим, —

¹ «Семья короля Карла IV». 1800.

² «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Ок. 1814.

467

они любят друг друга. Им хорошо вместе. И все же они, находясь в особых между собой отношениях, находятся и в каком-то общем контакте — в контексте танцующих. Возникает ситуация, которую неоднократно отмечали, когда писали о балах: танцующая пара как бы уединена. Она находится со всеми, и она одна. Она имеет некий микромир, мир интимный, мир исключительно значимый. Вместе с тем она не изолирована от общей атмосферы, она перемещается по залу.

В этом смысле (может быть, тут сказывается мой возрастной консерватизм) мне кажется, что современные танцы, когда люди танцуют в одиночку (большая толпа, и каждый прыгает в отдельности), создают совсем другую ситуацию. Действительно, танцующий создает для себя изолированный мир, если пара — это мир из двух в общем контексте, то тут мир из одного. И ведь нет большего одиночества, чем в толпе... В этом — суть современной культуры, точно так же, как сцены этих массовых, казалось бы, коллективных психозов, типа взвинченности на стадионах или же экстатических состояний во время некоторых видов современной музыки, когда слушатели начинают ломать мебель. Происходит вот что: казалось бы, люди находятся в коллективном эмоциональном состоянии, которое можно сопоставить с тем, о чем когда-то писал Гоголь, говоря о театре, — о том, что художественное чувство преодолевает индивидуализм и сливает всех слушателей в одном порыве к «побасенке»: «А вон стонут балконы и перилы театров; все потянулось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились, как братья, в одном душевном движении, и гремит дружным рукоплесканьем благодарный гимн тому, которого уже пятьсот лет, как нет на свете!». Гоголь имеет в виду Шекспира.

Думаю, что теперь другое переживание — переживание, которое создает уединение в толпе, создает видимость коллективного чувства, на самом деле — при очень большой отъединенности. Есть и еще одна особенность: когда люди доводят себя до такого экстатического состояния, что начинают ломать стулья или произвольно кричать, двигаться очень порывисто, то субъективно они это переживают как момент свободы, раскованности, освобождения от внешних условий. Именно это так привлекало к таким экстатическим танцам французскую молодежь 1968 года. Но ведь это сопровождается упрощением эмоций. Эмоции сводятся к чрезвычайно простым и элементарным, и поэтому происходит нечто противоположное освобождению, как мне кажется. Правда, я тут не судья — я подобные вещи видел только со стороны и никогда лично их не переживал, поэтому могу только говорить как посторонний наблюдатель.

Культурное же переживание состоит в том, что я ищу контакта с *другим*, потому что усложняю свой собственный мир. Получается такая парадоксальная вещь: чем больше я упрощаю свой внутренний мир, тем менее оказываюсь свободным, хотя мне кажется, что я свободен. В частности, когда молодые люди стремятся к очень экстравагантным прическам и одеждам, ничего против этого не имею, но вот что меня поражает. Субъективно — это порыв

¹ Гоголь Н. В. Театральный разъезд после представления новой комедии // Гоголь Н. В. Т. 5. С. 170.

468

к оригинальности, к тому, чтобы не походить на других. Но с другой стороны — они мгновенно как в мундир одеваются: все одинаково стригутся, все не похоже на других людей, но между собой одинаковы. С этим связывается другой процесс, который хорошо знают социологи и который сейчас в мировом контексте даже более ощутим, чем индивидуализм западной молодежи конца 60-х годов. Это стремление вписаться в группу и жажда быть одинаковыми. Это расплата за упрощение чувств, за тот поворот, который имел место и еще продолжается, — поворот от культуры.

С этим надо считаться, это не какой-то, знаете ли, порок (так можно ругать только ребенка, что он не сделал уроки). Это история культуры, а история культуры знает периоды, когда культура как бы сама себе надоела, когда культура отворачивается сама от себя. Мы знаем периоды иконоборчества, когда народные массы разрушали статуи и картины в храмах — вековое

наследие. Мы знаем известное движение Савонаролы, этого проповедника, фанатика, но вместе с тем и народного вождя, который заплатил за свои убеждения костром. Он хотел бы уничтожить всю культуру, все ювелирные изделия, все статуи, все богатые ткани и сделать, чтобы все были одинаково бедными и справедливыми, чтобы не было этого зла, которое связано с культурой. Потому что культура, конечно, приносит с собой и зло; но не только зло.

Во второй трети нашего века мы болезненно отрезвели от оптимизма XIX века. В XIX веке всем казалось, что вот уже пар сменился электричеством, еще немного — и все люди будут счастливы. Один англичанин даже написал такую книгу в 80-е годы прошлого века — о том, как замечательно жить в XIX веке, как прекрасно техническое развитие. Он даже выставлял торпеды и дредноуты, говоря, что хотя это вещи очень неприятные, но это тоже орудия цивилизации. И в конечном счете все дикие народы (имеются в виду колониальные народы) благословят своих цивилизаторов и все будет замечательно. Когда мы отрезвели от этого оптимизма (это было очень горькое отрезвление) и от других иллюзий, естественным был поворот к примитивизму. Но то, что естественно и объяснимо как культурный момент, конечно, не выход.

Когда французские левые объявляли, что язык буржуазен по своей природе и поэтому надо отказаться от грамматики и заменить существительные междометиями, а в междометия включать ту лексику, которую печать традиционно обходит, ибо она свободна от этого эксплуататорского налета, это объяснимо как болезнь момента. Сейчас мы переживаем другой момент: общее тяготение к корням, к истокам — к тому, чтобы, забыв болезненный период надежд, доверчивой веры, а затем горького разочарования, вернуться к чему-то более старому, архаическому и восстановить и старые формы общения, и их культурные традиции. Это, конечно, здоровая тенденция, но при этом надо помнить, что восстановить старое, конечно, тоже невозможно.

Культура будет двигаться вперед, но она будет учитывать эти формы. Будем надеяться (предсказывать будущее нельзя — это не дело людей науки, но надеяться на будущее можно), что мы найдем ту формулу, которая вместит в себя стремление к самобытности, к предельному обогащению и к пре-

469

дельному саморазвитию, к возможности быть непохожим. Как говорил Баратынский о своей поэзии:

Но поражен бывает мельком свет Ее лица не общим выраженьем¹.

Итак, «не общее выражение» каждого человека, каждой национальной культуры, каждой культурной традиции и общее выражение, общечеловеческое — это двойное и всегда мучительное, всегда конфликтное отношение между тем, что мы создаем в себе, и тем, что мы осознаем в себе. Осознать себя можно, только увидев *другого*: только увидев, что он не похож на меня, я могу понять, кто я. Ведь первоначальное и очень упрощенное представление у всех людей, что они говорят на языке, а тот, кто говорит на другом языке, он просто бормочет и сам себя не понимает. И затем наступает второй этап, когда я вдруг понимаю, что у него — тоже язык. Тогда возникают любопытные вещи. Давно уже лингвисты заметили, что первые грамматики пишутся для иностранцев. Первый этап: ну зачем же мне грамматика родного языка, я и так на нем говорю. При этом я думаю, что и все люди так делают, что здесь не о чем думать, здесь все естественно. И следующий этап, когда я думаю, что я — просто человек, не имею каких-то особых признаков, а вот иностранец — он особенный, он — другой. Потом наступает более зрелый этап, когда я начинаю понимать, что и я — особенный, и я — другой.

Сама идея самобытности культуры может возникнуть только потому, что рядом есть другая культура. Если нет контраста, то нет специфики. Если все — зеленого цвета, то вообще никакого цвета нет. Для того чтобы я понял, что я зеленого цвета, нужно, чтобы рядом был кто-то красного цвета или другого цвета. Таким образом и возникает эта сложная, трудная и вместе с тем необходимая проблема общения. Она пронизывает всю нашу жизнь. Она сквозит в мелочах — в том, как мы здороваемся. И сквозит в том, как мы будем дальше жить на Земле: когда мы поймем, что люди могут одно и то же по-разному понимать, что люди имеют право по-разному думать, что люди не должны и не могут чувствовать одинаково и любить одно и то же и что мы заинтересованы в том, чтобы другие люди были бы *другими*. Это — трудный идеал культуры, и одновременно это и есть тот не всегда очевидно высказанный смысл, который я пытался вложить в те лекции, кои предлагал вашему вниманию. И сейчас я за это внимание вас искренне благодарю.

¹ Баратынский Е. А. Муза // Баратынский Е. А. Поли. собр. стихотворений. Л., 1957. С. 142.

Цикл третий. Культура и интеллигентность (1989 г.)

Лекция 1¹ (1989 г.)

Добрый день!

Сегодня мы продолжаем наши предшествующие лекции. В прошлом и позапрошлом годах мы говорили об истории культуры и о развитии некоторых элементарных ее понятий. Это дает нам возможность и основу перейти сейчас к **третьей части** этого связанного общего курса. Мы будем говорить о том, что я бы определил как *культура и интеллигентность*.

Культура — понятие сложное, большое, и употреблять его можно в очень разных значениях. Я не буду касаться всех значений этого сложного явления, мы остановимся на одном — на том, что связано с отношением культуры к человеку. Мы уже довольно подробно говорили о связи культуры с бытом, об историческом прогрессе культуры, о накоплении культурных представлений в разных сферах человеческой жизни. Но теперь надо задуматься вот над чем — нужна ли вообще культура? Каким образом она относится к нам, к людям, к той единственной реальности, которая, по сути дела, для нас важна? Для этого нам предстоит остановиться на некоторых более частных вопросах.

Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что слово «культура», да не только слово, но и понятие, мы будем употреблять не в значении научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс составляет только определенную часть культуры, хотя в очень многих контекстах эти слова употребляют как равнозначные, как синонимы. Для этого есть известные основания, поскольку само слово «культура», восходящее к латинскому слову, означало первоначально «обработанное поле» — то, что сделано руками человека.

Действительно, культура — в определенном смысле — противостоит природе. Природа — это то, что человеку дано, а культура — это то, что человек сделал. Но не все то, что человек сделал, есть культура. Человек создает культуру, и человек ее разрушает. Культура (как мы далее будем употреблять это понятие) — это своеобразная экология человеческого общества. Это та атмо-

¹ Передача вышла в эфир в 1989 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1995. № 1. С. 60—

66.

471

сфера, которую создает вокруг себя человечество для того, чтобы существовать дальше, для того, чтобы выжить. В этом смысле культура — понятие духовное; понятие, связанное с идеями, представлениями, эмоциями, а не с вещами, аппаратами и машинами. Конечно, это две стороны одного вопроса, но стороны эти не механически связаны друг с другом. В истории человечества мы наблюдаем, как развитие науки и культуры идет дружно и научный прогресс вызывает технический и сопровождается прогрессом в культуре, но будем наблюдать и то, как самое развитие науки, особенно техники, будет вызывать регресс культуры, откатывание назад. Мы сами являемся свидетелями этого в XX веке.

XX век подходит к концу. На наших глазах — потому что все-таки XX век у нас перед глазами — произошла огромная, неслыханная научная революция, по сути дела, все науки переменили коренные понятия. Произошла и огромная техническая революция. Но вместе с тем в том же XX веке мы становились свидетелями чудовищных откатов культуры — такого возвращения назад, какого предшествующие века не знали. Но XX наш век не единственный в этом смысле, и предшествующие эпохи знали периоды, когда взрыв научно-технического прогресса сопровождался культурным регрессом. Возьмите XVI — начало XVII века в Европе: исключительное развитие науки, быстрое развитие техники, прогресс в искусствах. Ренессанс — это эпоха Леонардо да Винчи и Шекспира, а между тем это эпоха, когда по всей Европе горели костры, на которых сжигали несчастных женщин, обвиняемых в колдовстве. И это был не один и не два процесса — тысячи людей погибли на этих кострах. Небо Германии было закопчено, в некоторых городах исчезли женщины, потому что именно женщины становились первыми кандидатками в ведьмы. Это происходило одновременно с созданием литературных шедевров, сочинений тончайших философов. Например, замечательный французский философ-гуманист Жан Боден писал исключительно важные философские и юридические трактаты и трактаты против ведьм, где говорил, что тот, кто защищает ведьму, и сам колдун и что адвокатов надо жечь так же, как и обвиняемых.

Таким образом, не стоит винить только XX век — примеры были и в прошлом, однако важно отметить, что между техническим и научным прогрессом, с одной стороны, и культурным, с другой, есть связь, но есть и определенные отличия. Мы будем говорить именно о духовной стороне культуры. Это важно сейчас, когда техника вызывает у нас опасения и даже ужас, настроения, близкие к паническим, что тоже, с одной стороны, имеет основание, а с другой стороны, уже неоднократно бывало в истории. Одновременно мы слышим голоса — порой наигранные, порой искренние, выстрадавшие, — обвиняющие культуру и противопоставляющие ей некое возвращение к архаическому типу жизни. Однако это результат того, что не делается

разницы между техникой и культурой, между материальным успехом и духовным прогрессом. Есть такая русская поговорка: «Осердившись на вшей, да и шубу в печь». Шубу жечь не надо. И поскольку мы будем говорить о культуре как о явлении духовном, как о той духовной, нравственной среде, которую создает человечество, для нас существенным станет тот аспект, который мы и будем дальше рассматривать: аспект отношения культуры и интеллигентности.

472

Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что я употребил не слово «интеллигенция», а слово «интеллигентность». Это не случайно. Попробуем образовать со словом «интеллигенция» некоторые словосочетания. Мы можем сказать «сельская интеллигенция», «городская интеллигенция», «техническая интеллигенция» — это будут правильные выражения. Но мы не можем образовать выражения «техническая интеллигентность», «городская интеллигентность» или «сельская интеллигентность». Видимо, за этими словами стоят разные понятия, хотя мы воспринимаем их как варианты одного понятия. Это важно иметь в виду, потому что говорить мы будем именно об интеллигентности, а не об интеллигенции. Между тем даже наши новейшие словари разницы этой не замечают: «интеллигенция — социальная группа, состоящая из людей, обладающих образованием и специальными знаниями в области науки, техники, культуры и профессионально занимающаяся умственным трудом». Пример: «„советская интеллигенция — неотъемлемая часть народа" (А. Н. Толстой)». Второе значение — собирательное: «люди, принадлежащие к этому общественному слою» — к интеллигенции. Слово «интеллигентность» воспринимается как производное от этих слов.

Мы уже видели, что это не совсем производное и разница здесь очень большая. Когда говорят «интеллигенция», имеют в виду некоторую профессиональную и социальную группу. Можно говорить, что употребляют неточно, неправильно. Выражение «техническая интеллигенция» подразумевает, что речь идет о людях, получивших определенное образование и занимающихся определенным трудом — умственным трудом, как тут сказано. Между тем интеллигентность — это психологическое свойство, которое может быть присуще любому человеку, принадлежащему к любой общественной группе. Попробуем определить, в каких случаях складывается это психологическое свойство.

Мне приходилось встречать исключительно интеллигентных людей физического труда, крестьян. Я помню по своему детству такой тип человека, как старый питерский рабочий. Это был очень интеллигентный человек, гораздо интеллигентнее, чем большинство нынешних «интеллигентов», с которыми мне сейчас приходится сталкиваться. Я это не в укор кому-нибудь говорю, а только хочу подчеркнуть, что дело не в профессии и не в дипломе. Это — другие понятия. Пусть этим занимаются социологи или еще кто-то, а мы сейчас говорим о психологии культуры и об определенном психологическом, нравственном типе, обладающем тем свойством, которое мы будем называть «интеллигентностью».

Если нас всех спросить, что такое интеллигентность, мы скажем, наверное, что это вежливость, душевная чуткость, умение страдать не только от физической боли. Вот Гоголь, например, говорил о людях, которые видят то, «чего не зрят равнодушные очи»¹, и которые страдают не только от физического удара. То есть, наверное, можно сказать: это когда человек чувствует, что у него есть душа. Душа — понятие, казалось бы, не материальное, мы в свое время от него откристились как от идеализма, но когда

¹ Гоголь Н. В. Мертвые души // Гоголь Н. В. Т. 6. С. 134.

473

у человека начинает болеть душа, то он замечает, что она у него все-таки есть. Однако это все какие-то неопределенные и туманные слова. Давайте поступим в этом случае так, как мы имеем право поступать, когда подходим к трудноопределяемому понятию. Попробуем определить, что же ему, этому понятию, противостоит.

Нам очень трудно бывает, например, определить, что такое добро, но мы точно знаем, что такое зло, и тогда мы можем составить какое-то представление о добре. Что же противостоит интеллигентности? Опять повторяю, что речь идет не о социальной и не о профессиональной принадлежности, а о психологическом качестве, которое присуще людям вообще. Точно так же, как культура отнюдь не есть монополия какой-то профессии или какого-то рода занятий, культура есть тоже некая душевная психологическая причастность к той экологии духа, которая обволакивает нас всех. Думаю, что понятием, противостоящим интеллигентности, является *хамство*. Слово не очень приятное, произносить его неприятно, но иногда приходится говорить и о неприятных вещах. Всем нам приходится сталкиваться с грубостью, с хулиганством, с неумением вести себя, с оскорблением другого человека, с разными свойствами, которые мы, в общем, определяем словом «хамство». Это — в проявлении, но давайте подумаем, что же стоит психологически за этим? Прежде всего я попробую использовать цитату.

В 1830-е годы талантливый писатель Павлов опубликовал книгу под общим названием «Три повести». Пушкин в 1836 году отрецензировал эту книгу и оценил ее очень высоко. Особенно Пушкина заинтересовал совершенно новый тип человека, выведенный в этой повести, и он поместил в рецензию отрывок — цитату. «Верьте, что не сметь сесть, не знать куда и как сесть — это самое мучительное чувство!.. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто

попадется. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед чинным богачом?»¹ Пушкин назвал этот психологический тип идеализированным лакейством. И действительно, если говорить о психологической основе хамства — это психология раба. Это психология «идеализированного лакейства». В другом месте Пушкин сказал, что Павлов дал своему герою холопские черты.

Что значит холопство и что значит лакейство? Прежде всего, конечно, и Пушкин, и мы, употребляя это слово, имеем в виду не профессию и не социальное положение, тем более что герой, о котором здесь говорится, достиг социальных верхов. Что стоит за этой цитатой? Это психология человека, которого унижали, который поэтому сам себя не уважает и стремится компенсировать свое внутреннее неуважение, унижая других людей. И то же самое холопство, рабство мы видим в сознании человека, который никогда социально не был холопом.

Были братья Муравьевы: один из них пошел на каторгу, другой — в ссылку, а третий брат, который был очень талантливым математиком

¹ Пушкин А. С. «Три повести» Н. Павлова // Пушкин А. С. Т. 7. С. 324.

474

(мальчиком был уже заметным математиком) и тоже был причастен к декабристскому движению, потом стал генералом и жестоким душителем польского восстания. Когда его спросили, не из *тех* ли он Муравьевых, он сказал: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают». Это ответ Городничего. Это то же самое глубочайшее неуважение к себе! Об этом в свое время Пушкин писал Чаадаеву, не соглашаясь с его общей оценкой русской истории: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. <...> Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние»¹.

Итак, в основе лежит психология униженного человека. Соединение униженности с определенными душевными качествами, главным образом, как мы увидим дальше, с выпадением из культурной традиции, приводит к тому, что желание унижить другого дополняется желанием разрушать. Вот такой комплекс, который мы часто наблюдаем, — бессмысленное разрушение.

Совсем недавно реставрировали памятник Бэру в Тарту на Тоомеяги. Шишечки на ограде были выкрашены золоченой краской — не золотом, а самой дешевой «золотой» краской. Не прошло и двух недель, как их обломали. Чугун обломать — для этого же сила нужна! У кого-то чесались руки разрушить. Опять-таки здесь человек, в основе своей, унижен, он живет серой, скучной жизнью. М. Горький неоднократно подчеркивал, что корень хулиганства — в скуке, а скука порождается неодаренностью. Сочетание неодаренности с социальной заброшенностью, с униженностью порождает «комплекс трущоб» — комплекс разрушительный; он и вырывается наружу в форме хамства.

Есть еще один психологический комплекс. Я бы назвал его «комплексом оккупанта». Был у меня как-то в 1943 году разговор с пленным немцем. Мы сидели в землянке под сильным артиллерийским немецким огнем, который мог убить его так же, как и меня, так же, как нас всех, и разговаривали мы отчасти даже по-товарищески. Мы захватили его в деревне, где женщина рассказывала нам, как немцы стояли в ее доме и как на столе, где крестьяне ели, они давили вшей и, кроме того, не стеснялись при ней ходить голыми. Я разговаривал с этим человеком и узнал, что он учитель и, в общем, человек как бы моего круга, мы довольно легко нашли общий язык. И я его спросил: как же вы могли такое делать? Неужели вы у себя дома *такое* делаете? И он ответил — я не точно помню, не дословно — но смысл таков: «Ну, дома — это совершенно другое дело».

Человек очень средний, он пережил много унижений и дома, и в армии, пока получил ефрейторский чин (об этом он тоже рассказывал), и он попадает как оккупант в чужую страну и становится господином. У него нет достаточной культуры, чтобы справиться с этим новым своим положением, и он выражает его в том, что свою старую культуру вычеркивает — он ее оставил дома. Я ручаюсь, что, вернувшись в отпуск домой, он снова станет культурным человеком. Но то, что он оккупант на чужой территории, сразу освобождает его от культуры. С другой стороны, он попадает в другую

¹ Пушкин А. С. Письмо П. Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г. // Пушкин А. С. Т. 10. С. 872—873.

475

культурную атмосферу, но местной культуры он тоже знать не хочет. Он *свою* вычеркнул, *чужой* не получил, он остался свободным от культуры и этим упивается.

Культура — вещь очень хорошая, конечно, но она нас всех и стесняет: не делай того, не делай этого, это стыдно делать. Ведь с чего начинается культура? Исторически — с запретов. В обществе возникает закон, и первый закон: нельзя жениться на сестре и матери — физически можно, но культура запрещает. Нельзя, скажем, что-то есть, предположим, запрещается, по Библии, есть кроликов. В некоторых странах предписывается есть тухлые яйца, а в других запрещается есть тухлые яйца, но все равно что-то запрещается есть. Видите, какая странная вещь: самые нужные, простые, естественные вещи — еда и секс и на них накладывается запрет. Вот с этого начинается культура. Конечно, чем дальше, тем культура требует больших отказов, больших стеснений, она облагораживает чувства и превращает просто человека в интеллигентного

человека. И поэтому определенным людям, особенно людям малокультурным или угнетенным своей серостью, социальной униженностью, очень хочется сбросить это все. Тогда появляется то, что появилось в XX веке, — истолкование свободы как полной свободы от человеческих ограничений. Это и есть хамство.

Мы теперь подошли к ясному пониманию, что свобода — это не только отсутствие внешних запретов. Отсутствие внешних запретов должно компенсироваться внутренними культурными запретами: я могу соврать, но я не совру, я могу оскорбить другого (я сильный, и у меня есть оружие), но я этого не сделаю. Таким образом, комплекс оккупанта — тоже один из источников хамства. Между прочим, в этом секрет того, что в XIX и XX веках мы видим глобальный расцвет хамства. Почему?

XIX век — такой культурный, милый, в общем, нам он кажется идиллическим. Еще нет мировых войн, войны — более или менее домашние: прусская, например, или севастопольская. Все равно кровь льется, однако все-таки люди еще не думают о том, что гибель человечества — это реальность. У Чапека в пьесе «Мать» перед матерью появляется ее мертвая семья: бабушка не помнит войны, отец был убит на колониальной войне, а дети погибают на гражданской войне. Здесь очень важная вещь. XIX век — это век колониализма и милитаризма. Начали создаваться огромные армии, что и привело к мировой войне. Милитаризм и колониализм начали влиять на дух общества, и особенно это проявилось в XX веке. Тот комплекс оккупантов, который прежде считался нормой поведения в колониях, уже в XIX и особенно в XX веке был перенесен на метрополию. Это урок всем нам, всем народам. Мы думаем, что милитаризация направлена против кого-то, — она направлена против всех.

Мы помним мучительное освобождение Франции от алжирской войны, а до этого — от вьетнамской войны. Мы помним, какой моральный шок испытало французское общество, когда эти молодые люди вернулись во Францию и начали вести себя так, как они себя вели во Вьетнаме и Алжире. Они уже были оккупантами по своей природе. И это пример не единственный. Таким образом, мы можем сказать, что хамство — это не просто грубость, малая осведомленность, не особенная культурность, это социально-

476

психологическая болезнь. Я даже иначе скажу — это симптом болезни, которую надо лечить. И одно из основных лекарств против этого — интеллигентность. Культура выделяет из себя это психологическое свойство, которое является как бы противоядием хамству.

Я закончу письмом Чехова к брату. Брат Чехова, талантливый человек, пожаловался ему на условия жизни и на то, что его не понимают, что он окружен людьми, не очень внимательными к нему. Чехов ответил ему шуточным и вместе с тем очень серьезным письмом, где дал портрет воспитанного человека. Это, по сути дела, то самое, что я бы назвал интеллигентным человеком. Я не буду все читать, но прочту наиболее важные места. «Воспитанные люди, по моему мнению, — писал Чехов, — должны удовлетворять следующим условиям. 1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы». Далее Чехов приводит примеры из поведения брата. «Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних... 2) [Опять серьезно!] Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам». Кстати, что надо быть сострадательными к нищим и кошкам, Чехов даже не оговаривает, он считает, что без этого вообще нет человека, а есть нечто вроде питекантропа. «Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом» — это цитата из Гоголя. «Так, например, если Петр знает, что отец и мать сидят от тоски и ночей не спят, благодаря тому что они редко видят Петра (а если видят, то пьяным), то он поспешит к ним и наплюет на водку. 3) Они уважают чужую собственность, а потому платят долги. 4) Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет его в глазах говорящего».

Вот тут очень важная вещь — *опошляет*. Легко представить себе нашим врагом, противником культуры злодея, убийцу. Такое бывает не так часто, гораздо чаще встречается обыкновенное пошлое зло. Зло каждодневное, которое не думает даже делать зла, а просто так живет. Мы сталкиваемся, например, с таким хамством нашего времени, как бюрократия. Бюрократия психологически построена на хамстве, и то, о чем писал Пушкин, цитируя повесть Павлова, — развалиться, когда перед тобой стоят, грубостью отвечать на вежливость, заставить ждать — это черты бюрократии. Но не потому, что бюрократ — злой человек, не потому, что он преступник или злодей. Это — выражение его социальной нормы. Именно поэтому порождение бюрократии и хамства — отдельного человека — нельзя винить, так же как нельзя винить печень за то, что она выделяет желчь. Это социальная позиция, которая ничего другого выделить не может.

Чехов говорит о том же — о зле обычном, о пошлом зле: «Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие». Это любопытная вещь. Казалось бы, очень второстепенная черта, но мне приходилось иметь дело с людьми, соприкасавшимися с уголовным миром. Меня интересовали эти люди. Я заметил такую черту, очень распространенную, как сентиментальность, повышенную жалость к себе, чрезвычайную готовность

477

поплакаться над своей судьбой. Очень часто это сочетается с жестокостью, даже, более того, она подразумевается. С этим, между прочим, связан фольклор уголовного мира, он всегда сентиментален, всегда рассчитан на то, чтобы вызвать жалость, и поэтому герой его называется, как правило, «бедный мальчонка». Отождествление себя с ребенком и представление обидчика, что он — обиженный, и отсюда обычная норма хамского поведения — то, что в Уголовном кодексе назвали бы превышением меры обороны.

Очень часто, когда разбираешь хулиганский случай или беседуешь по-человечески с людьми, которые совершают такие дела, наталкиваешься на убеждение, что он оборонялся, что все против него. Если он видит человека — предположим, что ему не понравилось, как этот человек одет, — он убежден, что этот человек над ним смеется своей одеждой, и поэтому он имеет право подойти и его оскорбить. Обычная формула. «А что он о себе думает, а что он шляпу надел, а что он в очках?» Сейчас перестали придирается к очкам, а в период моей молодости на улице — в Ленинграде бывали такие улицы, не только знаменитая Лиговка (по сути дела, и все дворы), где царил эта хулиганская атмосфера, — появиться в очках было нельзя. Кажется, чего обидного, почему надо к этому придирается? Но в этой психологии, глубоко ущербной, есть представление о том, что весь мир меня обижает и я на самом деле совсем не нападающий, я — бедный защищающийся.

Чехов коснулся еще одной стороны. Он говорил о том, что такое интеллигентное отношение к любви. В женщине воспитанные люди ценят мать, а не бабу, с которой спят. И дальше Чехов отмечал еще одну вещь: «Они воспитывают в себе эстетику». И пояснял, что значит эстетика в этом смысле: «Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу»¹. По сути дела, Чехов очертил границы понятия интеллигентности. Но за этими простыми и, казалось бы, элементарными, даже упрощенными и полушуточными словами (потому что он пишет близкому и хорошему человеку) стоит очень высокий нравственный идеал. У Чехова был замысел такой — показать человека, который всю жизнь выдавливает из себя раба и наконец чувствует себя свободным.

Итак, интеллигентный человек — это человек внутренне свободный, бесспорно уважающий себя. Пушкин, переводя английского поэта Саути, написал такую строчку о домашних богах. Стихотворение, посвященное дому человеческому, как бы переносит нас в Древнюю Грецию, и они — домашние боги — «науке первой учат: / Чтить самого себя»². Но *чтить самого себя* (Пушкин подчеркнул эту строчку) — это ведь не то означает, чтобы мы могли сказать: Пушкин — эгоист известный. Это означает другое: только тот, кто в себе уважает человека, может уважать и другого человека. И об отношениях себя и другого человека мы будем говорить в следующий раз.

Благодарю за внимание.

¹ Чехов А. П. Письмо Н. П. Чехову. Март 1886 г. // Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974. Письма. Т. 1. С. 223—234.

² Пушкин А. С. Т. 3. С. 158.

Лекция 2¹ (1989 г.)

Добрый день!

В прошлый раз в нашей первой лекции этого цикла мы поговорили о понятии интеллигентности и о том, какие психологические комплексы стоят за теми чувствами и действиями, которые противостоят интеллигентности. И успели сказать о том, что и интеллигентность, и противостоящее ей разрушительное чувство, которое я назвал хамством, порождаются культурой как противоположные полюса — и то и другое постоянно вырабатывается самой культурной атмосферой и существует во взаимном борении.

Но при этом надо учитывать, что силы у них разные. Интеллигентность обладает огромной силой, и дальше мы увидим, что она устойчива и порождается заново в условиях, в которых, казалось бы, никакое культурное явление существовать не может, но зато она не агрессивна. Между тем как разрушительные силы очень агрессивны и в определенном смысле обладают большей активностью, поэтому простое равенство, даже отсутствие защиты и покровительства интеллигентности могут привести к потерям. Точно так же, как, скажем, в экологии, когда природа сталкивается с человеческой, вооруженной техникой, рукой, природа оказывается беззащитной, и если ее не защищать, она оказывается в положении слабого. Меж тем у природы есть огромные резервы: в отличие от нашей техники, у нее в запасе вечность и поэтому в конечном счете она побеждает. Может быть, тем, что нас не будет. Но при всем том в каждой конкретной схватке природа оказывается в положении слабого.

То же самое — очень похожие отношения культуры, интеллигентности, с одной стороны, и разрушительных, враждебных сил, с другой. Силы гуманности и интеллигентности обладают огромным запасом. И это видно из того, что на протяжении человеческой истории если посмотреть, то ни гуманность, которая, в общем, безоружна, ни интеллигентность, о которой мы привыкли говорить, что она мягкотела, все-таки не исчезли. Хотя они, в общем, беззащитны. И дальше мы будем говорить о том, как их истребляли и какие направленные и вооруженные усилия постоянно предпринимались для того, чтобы истребить эти чувства. Они оказываются очень

устойчивыми. Они неизменно порождаются заново. Они лежат, видимо, в природе человека. Между прочим, если нужен образ интеллигентности как высокой социальности, как отношения людей, основанного на взаимном уважении и безусловной любви, то это образ матери с ребенком на руках. Это все иконы Богородицы, и вообще такой символ, идущий через всю историю человечества. И здесь дело не только в любви (хотя, конечно, любовь тут совершенно необходима). Приведу один пример.

Речь идет о более общей вещи, нас всех касающейся, — о вопросе диалога, взаимопонимания. Один американский психолог исследовал отношения матери с еще не говорящим младенцем, и делал он это очень хорошо, техни-

¹ Передача вышла в эфир в 1989 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1996. № 2. С. 78—83.
479

чески обоснованно, снимал фильмы, пускал их замедленно, рассматривал и определял условия говорения. Оказалось, что, хотя мать говорит на одном языке, а недавно, несколько месяцев или всего несколько недель назад, родившийся ребенок говорит на своем — другом — языке, они общаются, однако. И первое условие, которое исследователь выдвинул, — это взаимное желание общаться, понять друг друга. Более того, он сделал очень любопытную вещь — он фотографировал в естественных условиях не позирующих, а обычных матерей, которые кормят, разговаривают с ребенком. Потом, пуская эту ленту очень медленно, он обнаружил, что и мать, и ребенок взаимно как бы меняются языками. Ребенок подражает своей мимикой мимике матери. Он старается воспроизвести выражение ее лица своим лицом, он улыбается, когда она улыбается, произносит звуки, которые произносит она. А что делает мать? Она бросает свой человеческий язык, «взрослый», и переходит на так называемое «гульканье», подражает звукам детской речи. То есть два существа — отдельных, разных существа, — которые связаны любовью и взаимным интересом друг к другу, желанием понять, для того, чтобы войти в чужой мир, меняются языками. Каждый из них оставляет свой язык и переходит на чужой язык, потому что чужой язык — это чужая личность.

В этом смысле перед нами как бы модель всякого диалога. Поэтому я полагаю, что я имею право сказать, что это и модель интеллигентности. Потому что сущность интеллигентности — желание понять другого человека, желание понять, что он имеет право быть *другим*, что он не должен быть таким, как я, что он мне интересен, потому что он *другой*, и что я не хочу его растоптать, одеть в мундир и сделать таким, как я, для того чтобы мне было легко им командовать. Мне интересен его внутренний мир — своеобразный, для меня новый, необычный.

Между прочим, опять вспомню Чехова. Чехов в одном письме говорил о том, что у его идеала, о котором он по-разному высказывался, есть несколько недостатков. Один — то, что он курит, а другой — то, что он не знает иностранных языков. Это неправда. Чехов хорошо говорил по-немецки, даже его последние слова «Ich sterbe»¹ были на немецком языке; очень прилично знал французский язык. Но он не считал этого достаточным, полагая, что знание чужого языка исключительно обогащает, исключительно интересно и важно для интеллигентного человека. Был еще в начале XIX века такой известный полиглот Меццофанти, итальянец, и он взял себе за правило со всеми людьми говорить на их языке. Это, конечно, правило интеллигентного человека, если бы оно было исполнимо полностью, но не каждый обладает такой способностью.

Но вернемся к проблеме диалога и к тому, что понятие интеллигентности связано для нас с понятием интереса к другому человеку и с тем, что в XVIII веке называли словом «толерантность», от французского «tolerer», что значит, по сути дела, «терпеть». Это переводится на русский язык словом «терпимость» и означает вот что — *я уважаю другого человека, я ему позволяю иметь свои убеждения, уважаю его за то, что он оригинален и не похож на меня.*

¹ Я умираю (нем.).

480

Вспоминается любопытный эпизод. В начале XIX века в России произошел один интересный конфликт. Старый (хотя и не такой старый — за пятьдесят лет) историк, знаменитый писатель Карамзин был человеком консервативных взглядов. Молодые либералы, которые требовали свободы, очень его осуждали, критиковали, писали на него эпиграммы (Пушкин писал злые эпиграммы, хотя очень любил Карамзина) и, как, например, декабрист Николай Тургенев, как бы отказывали ему в праве иметь свое мнение — раз его мнение не передовое, то, значит, это очень плохо, что он такое мнение имеет. Жена Карамзина в одном из писем к своему брату, молодому либералу Вяземскому, однажды написала, что эти (вот и Вяземский такой же) свободолюбивые люди не признают в другом человеке свободы думать иначе, чем они. Они хотят, чтобы все были в либеральных мундирах, и для них свобода состоит в том, чтобы снять консервативный мундир и надеть либеральный. Для Карамзина свобода была в том, чтобы быть вообще без мундира, и думать, как хочется, как кажется правильным, и ориентироваться на истину.

Итак, споры эти старые. Мы говорим, что интеллигентный человек стремится понять другого. А как воспринимает *другого* человек неинтеллигентный? Прежде всего, он убежден, что он сам думает правильно. Между тем в самом понятии интеллигентности неизбежно присутствует сомнение. На этом стоит все европейское мышление. Известному французскому философу XVII

века Декарту принадлежит известное высказывание: «Мыслю — следовательно, существую». По сути дела, это то, что мог бы написать на своем знамени всякий мыслящий человек, то есть человек интеллигентный. Декарт не думал, что немыслящие не существуют. Но он считал, что существование без мысли не есть существование. Это нечто совсем другое. Трава существует, но она не знает, что она существует, а человек отличается тем, что он знает, что существует. Вот что означает «*Cogito, ergo sum*» — «я мыслю, следовательно, существую». Но что такое мышление, что значит «мыслю» для Декарта?

Мышление — это право на сомнение, способность раз в жизни подвергнуть сомнению *все*. Это опять-таки не означает негативного взгляда, и наивно было бы думать, что мысль Декарта состоит в том, что ничему не надо верить. Мысль его — в другом. Если я что-то взял без того, чтобы подвергнуть сомнению, то это не моя мысль, это чужая мысль, а я только мешок, в который эту мысль положили. Я ее получил из чужих рук, следовательно, она не стала частью моей личности. Подвергнув один раз сомнению все и потом приняв уже свободным выбором, своим собственным душевным, духовным и умственным усилием определенные идеи, я этим идеям принадлежу.

Отсюда еще одна важная черта, которая отличает интеллигентного человека от неинтеллигентного: он имеет выношенные, свои мысли и строит жизнь в соответствии с этими мыслями. Он может ошибаться, но готов за свои ошибки платить, в том числе и своей жизнью.

Мы часто говорим об убеждениях: у меня такие-то убеждения. Убеждения измеряются очень простой вещью: чем ты готов за них заплатить? Если за эти идеи ты можешь поплатиться тем, что откажешься от чашки кофе, но на большие жертвы ты не согласен, то это уже не идеи. Когда Толстой прибыл в Петербург молодым артиллерийским офицером из Севастополя, попал в редакцию «Современника», там шли споры между либералами и демократами:

481

Тургенев, Дружинин — с одной стороны, а с другой — Чернышевский, уже и Добролюбов был в редакции. Толстой никак не мог понять и спрашивал Некрасова, о чем они спорят. А Некрасов говорил: как о чем? это же убеждения. Какие убеждения, отвечал Толстой. Это слова, а вот убеждения — стою с кинжалом в дверях, подойди! Вот это убеждение. Слова говорить — это не убеждения.

Единство мысли и жизни — это одно из важнейших свойств человека думающего и человека интеллигентного. Конечно, легко говорить. Единство мысли и жизни — трудная вещь, потому что жизнь иногда просто требует способности пожертвовать собой. Но помните, как в прошлый раз мы говорили, цитируя письмо Чехова, что воспитанный (на языке Чехова это то, что мы называем «интеллигентный») человек не лжет даже в малом, тем более в большом, и тем более не занимается самообманом.

Одна из особенностей неинтеллигентного человека состоит в том, что он придумывает себе двойника, который его оправдывает, и всегда получается, он прав. Понять же другого человека он не стремится и не хочет. Это сейчас очень для нас важный вопрос. Во-первых, потому что это вопрос морального будущего нашего общества. Мы совершенно разучились друг друга понимать. Сейчас говорим о том, что надо учиться демократии, учиться спорить. Но не в этом же дело! Что значит учиться спорить? Надо учиться друг друга понимать и уважать. Кроме того, это очень важный вопрос в межнациональных отношениях.

Мы уже говорили о том, что культура, в том числе и национальная культура, вырабатывает как бы два полюса: и интеллигентного человека, и антиинтеллигентного. Вся беда в том, что разные национальные группы сталкиваются как раз чаще всего своими антиинтеллигентными представителями и создают впечатление обо всем коллективе по этому человеку, потому что интеллигентного человека найти трудно, их вообще немного.

Скажем, мне было счастье знать в Эстонии такого человека, как Уку Мазинг¹. Это был образец интеллигента. Человек огромных знаний, тонкой души, человек огромной культуры, для которого и культура Востока, и культура Запада — все это было для него родное. Кроме того, он был действительно интеллигентный человек по своей необычайной скромности. Я бы так сказал — он светился. Достаточно было с ним побыть, чтобы почувствовать себя более благородным. Он был в высшей мере благородный человек.

И конечно, таких, как он, были не единицы. Я не хочу перечислять, но не могу не вспомнить доцента Рихарда Клейса² из нашего университета и Кал-листу Канн³. Это тоже были интеллигентнейшие люди. И конечно, высокоин-

¹ Уку Мазинг (1909—1985) — эстонский поэт, богослов, филолог, блестящий знаток древних языков, переводчик и один из редакторов перевода Библии на эстонский язык. Принимал участие в организованных Лотманом Летних школах по вторичным моделирующим системам, печатался в «Трудах по знаковым системам».

² Рихард Клейс (1896—1982) — доцент Тартуского университета, эстонский историк и филолог, редактор «Эстонской энциклопедии», преподаватель латинского языка и античной литературы.

³ Каллиста Канн (1895—1983) — заведующая кафедрой немецкого языка в Тартуском университете, составитель многих словарей и учебников немецкого и французского языков, тонкий знаток французской, немецкой и русской культуры.

482

телигентные люди есть и в России. Я опять-таки не буду перечислять, но я думаю, что все

знают имя академика Андрея Дмитриевича Сахарова или же имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это люди высочайшего благородства и подлинной интеллигентности. Но ведь в быту, на улице мы встречаемся не с этими людьми, и мы создаем себе представление о целом национальном коллективе по людям, как раз противоположным интеллигентности. Почему?

Во-первых, как я сказал, потому что интеллигентных людей мало. А почему их мало? Вообще мало людей одаренных, еще меньше людей высокоталантливых, а человек гениальный попадает редко. Но дело еще в другом. Интеллигентный человек часто является самой первой жертвой разнообразных репрессий. Мы можем на самых разных примерах видеть, как диктаторские режимы прежде всего убирают именно эту группу людей. Потом очередь доходит и до других, но прежде всего падают жертвами именно эти люди.

Напомню вам, что еще в начале революции, еще после Февральской революции, Алексей Максимович Горький выступил с предостережениями. Он понимал, какое высокое значение для России имеет русская интеллигенция и как ее мало. И он выступил с рядом статей, которые тогда осудили все¹. Очень резко высказался против статей Сталин, который тогда сказал, что Горькому, видимо, захотелось в архив, где уже находится и Плеханов. Сталин уже тогда был груб. Между тем сейчас перечитать эти статьи Горького полезно. Позже, в 1918—1919 годах, Горький, организовав в Петрограде известную КУБУ², занялся как будто совершенно непродуктивным делом: обеспечивал людей интеллигентного труда пайком, калошами, постоянно заступался, потому что ЧК все время арестовывало то того, то другого. Горький писал, что этот — крупный писатель, тот — известный профессор, его расстреливать нельзя, он обладает знаниями, которые надо сохранить и передать. Горькому было в высшей мере свойственно понимание, что отдельные люди аккумулируют национальную культуру. Они выступают как бы как библиотеки и живые лаборатории, поэтому гибель одного человека — это настоящая национальная трагедия, потому что он уносит с собою огромную часть культуры, ибо все записать и передать нельзя.

В начале XV века итальянский гуманист Лоренцо Валла назвал пять условий, которые могут создать гуманиста, то есть человека высокоинтеллектуального и интеллигентного одновременно. На первом месте — общение с людьми высокого образования, он имел в виду — с гуманистами, с людьми возрождающейся культуры, с людьми Ренессанса. На втором месте было наличие книг. На третьем месте — условия места, на четвертом — времени и на пятом — наличие свободного времени, досуга. Правда, при этом он не только поставил на первом месте живое общение. В дальнейшем рассуждении — а это такая высокая ораторская речь, которая сначала дает тезисы, а потом их как бы опровергает, — он показал, что второго, третьего, четвертого, пятого условий у него в жизни не было. Ни свободного времени, ни богатства, ни денег, ни места, ни, кажется, вначале даже библиотеки не было. Но у него было первое и то, что он считал важнейшим: живое общение с людьми круга

¹ Подразумевается цикл статей М. Горького «Несвоевременные мысли».

² КУБУ — Комиссия по улучшению быта ученых.

483

ренессансных гуманистов. И это не случайно, видимо. Это живое общение занимает особенно важное место.

Действительно, выучиться какому-нибудь знанию можно в школе, на лекциях, в крайнем случае — по книгам. Если сохранились книги, если их не уничтожили, то можно восстановить знания. Но передать культурную традицию может только интеллигент. На прошлой лекции, говоря о комплексе оккупанта, я утверждал, что это человек, который отрезал свою культуру и не принял чужую, который приходит как победивший варвар. Напротив, интеллигентность — это всегда связь культурных традиций, накопление материалов. Это живет в человеке и передается от человека к человеку.

Мы знаем, что когда происходит хиротония, то есть когда епископ возводится в сан и на нем должен почить Святой Дух, то нужно, чтобы к нему прикоснулись. Тот, кто уже рукоположен (от этого и выражение — «хиротония», или рукоположение), должен прикоснуться к новому и как бы передать благодать. То же самое происходит и в сфере культуры. Культура требует живого общения, требуется видеть культурного человека, общаться с интеллигентным человеком. А если эта цепь порвана? Если тот, кто мог бы передать, выбыл и передать некому? Тогда то, что могло бы сделаться очень быстро, накапливается опять сотнями лет. Поэтому небрежение к интеллигентности — вещь очень опасная, и перерыв, разрушение здесь — это такая же национальная катастрофа, как гибель библиотеки, — вот то, что произошло в Ленинграде, в Библиотеке Академии наук. Конечно, — национальная катастрофа, не лучше Чернобыля.

Таким образом, мы видим, что эта цепь, с одной стороны, очень крепкая, она зиждется на тех чувствах, которые связывают мать и ребенка, она сидит в человеке. И с другой — она очень хрупкая, ее легко разрушить и сломать. Сейчас мы пожинаем плоды. Мы уже открыто, в печати, с трибун говорим о том, что научно мы отстали, что в науке мы стоим на позорном месте в мире, где-то между странами, которые получили самостоятельность десять лет тому назад. Но почему? Ведь не было так. Здесь огромна вина тех, кто несет ответственность за потери в интеллигентных людях — носителях культуры. Я подчеркиваю — в интеллигентных людях, а не в образованных. Потому что когда мы видим, что такой-то образованный, увенчанный лауреат, академик

подбирает вокруг себя ничтожных карьеристов или же заставляет своих учеников везде ставить на первом месте его имя, даже если к этой работе он не имел никакого отношения (а, увы, у нас это входит в привычку в академических кругах), то это, конечно, не интеллигентный человек. В науке это такой же герой, как и в повести Павлова, — тот же бюрократ.

Бюрократ есть как бы в чистом виде антикультурная фигура. И как человек интеллигентный передает свою интеллигентность, так бюрократ передает свое хамство. Это гены — они плодят себе подобных, там нет нейтрального места. Когда мы вырываем из какой-то цепи человека таланта, интеллигентного, создателя культуры, на это место сядет бюрократ, и он будет штамповать подобных себе. Через некоторое время мы сами с удивлением скажем: почему же у нас так получается, что земля не родит и ничего не работает, и наука, которая была замечательная, куда-то вся подевалась? Это — результат расточительности, такого же экологического преступления. Точно так же, как земля

484

не без конца родит, и народ не без конца выдвигает таланты. И если насиловать землю, то она устанет, и если насиловать народ, то он тоже устанет.

Таким образом, понятие интеллигентности это не есть нечто приятное, но второстепенное. Нам очень важно, чтобы у нас была техника. Если мы сами не можем ее сделать, то мы ее купим или потихоньку как-нибудь добудем нелегальными путями, и думаем, что все будет в порядке. Ничего не будет в порядке! Нужно, чтобы национальный организм был здоровым, чтобы он сам порождал культуру, чтобы он органически порождал свое развитие, а не существовал бы на переливании чужой крови извне. Поэтому необходимо понять, что такие как будто бы чисто моральные качества — толерантность, вежливость, интеллигентность, уважение к человеку — это вопросы жизни.

У нас вошло в обычай словом «интеллигентный» ругаться. Это не случайно, это установка на то, что интеллигенция — наемные лакеи буржуазии, она враждебна, антинародна, мягкотела и все прочее. Это ошибочная и вредная установка.

Итак, мы можем сказать одно: духовный потенциал народа выражается в его творческих силах и в его способности порождать из себя интеллигентность.

Благодарю за внимание.

Лекция 3¹ (1989 г.)

Добрый день!

Мы продолжаем наш разговор на тему «Культура и интеллигентность». Я снова хочу напомнить, что речь идет об интеллигентности как о некотором психологическом человеческом свойстве, я бы сказал, некоей **степени одухотворенности, а не о социальной группе или группе, связанной с образованием, местом работы** и т. д. Это нужно опять подчеркнуть, чтобы у нас не возникало недоразумений. И сейчас надо было бы остановиться на другой стороне вопроса.

В прошлый раз мы говорили главным образом о таких душевных свойствах, как терпимость и доброта. Как вы помните, я даже привел образ, имеющий научное основание, — диалог между матерью и младенцем как модель идеального взаимопонимания и понимания, основанного на любви и доброте. Но доброта не есть единственное психологическое свойство. Более того, в ситуациях, которые нам предлагает история, в сложных и зачастую трагических ситуациях, доброта оказывается вынужденной быть не для всех и не всегда «доброй». И старый образ гуманиста — с мечом на бедре, гуманиста, который способен не только проповедовать, но и защищать свою проповедь, — этот образ имеет основание. Об этом стоит поговорить, потому что у нас

¹ Передача вышла в эфир в 1989 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1996. № 3—4. С. 57—64.

485

бытует представление, будто интеллигентный человек — это человек мягкотелый, нечто вроде манной каши, поэтому в особенно важных и острых ситуациях он как бы и ненадежен, между тем как есть такие железобетонные герои, которые и представляют в подобных ситуациях настоящую опору.

Много было написано произведений о неустойчивом интеллигенте, который легко впадает в панику, которого надо контролировать, поправлять, воспитывать, — особенно воспитывать. Сколько у него было воспитателей! Причем воспитатели эти сами часто нуждались в воспитании и понимали воспитание, скажем так, вплоть до физического уничтожения. И этот миф настолько в нас укоренился, что об этом нужно сказать несколько слов. В этом смысле меня глубоко обрадовала повесть писателя, который принадлежит к не очень многочисленной группе пишущих о войне правду, во-первых, потому, что сами ее знают, а во-вторых, потому, что правдивы. Одно без другого работает плохо — правдивость без знания и знание без правдивости. Я имею в виду Василия Быкова, и все слушатели наши, наверное, помнят повесть «Сотников», по которой был снят фильм, по-моему менее глубокий, чем повесть¹.

Как вы помните, там сталкиваются два героя. Один представляет собой крепкого человека, хорошего старшину, которого в строевой ситуации, в ситуации «нормальной войны», конечно,

следовало бы предпочесть. И другой герой, воплощающий в себе (не в том дело, что у него профессия та или другая) человека высокой духовности и высокой внутренней интеллигентности. Он вначале поворачивается как бы неприятной стороной, чего нет в фильме (там он сразу же — святой, с первого кадра — Христос, и поэтому нет динамики в фильме). А в повести он ведет себя как бы и хорошо, но неумело — он идет в разведку простуженный, из благородства душевного. Однако не всегда душевное благородство уместно. Он фактически своим кашлем проваливает операцию. Но когда они попадают в ситуацию, где уже ни физическая сила, ни умение, ни те качества, которые в обычной жизни дают преимущества человеку типа старшины Рыбака, не востребуются, когда они попадают в ситуацию крайнюю, где можно выдержать только силой духа, только душевным полетом, то оказывается, что такой надежный, такой крепкий старшина Рыбак — пасует. Сотников — интеллигент, человек неумелый, до определенного момента — обуза. Он мешает, когда стоит простая задача украсть барана — его надо украсть для того, чтобы накормить замерзших в лесу партизан, — и умело, спокойно уйти. Тут он плох, тут он провалил, но когда надо вынести то, что вынести нельзя, тут оказывается, что человек физически слабый, не всегда умелый — выше и надежнее.

Есть еще одна повесть другого очень правдивого писателя — Виктора Некрасова. Его «Судак» — без претензий, правдивый небольшой рассказ о лейтенанте Ильине, над которым все тоже как-то посмеиваются. Он — *Судак*, его так называют. На нем форма сидит плохо, он сугубо штатский человек, но там, где надо проявить силу духа, оказывается, что внутренняя интеллигентность — это та крепость, которую взять труднее, чем одолеть физическую силу.

¹ «Восхождение» Л. Шепитько (1977).

486

Поэтому тенденциозные рассуждения о мягкотелости, о слабости интеллигентной души — это разговоры, которым я верю плохо. Мой жизненный опыт тоже свидетельствует о том, что люди сильной души — это люди, которые могут на что-то опереться: одни — на религию, другие — на веру в свой талант, третьи — на чувство своего нравственного долга перед народом, но всегда — на нравственное чувство. Эти люди оказываются способными вынести то, что физическая сторона человека вынести уже не может. И поэтому я думаю, что высокой интеллигентности внутренне присущ героизм. Это подтверждается историей, потому что история человечества дает много примеров героизма, высокого героизма. Как правило, они связаны с людьми высокого душевного полета, которых я называю людьми интеллигентной души.

И это вызывает еще один поворот темы. Человек такого типа неизбежно приходит в конфликт со злом. Он, как правило, борец, и борец в тяжелых ситуациях. Отношения его с властью предрезающими редко складываются идилично. Об этом тоже нужно сказать, потому что у нас бытует и другой миф, который использует социологическое утверждение, но, как очень часто бывает, вульгаризирует его и доводит до примитива. Это представление о том, что интеллигентный человек, как любят говорить, — наемный лакей власти. Это глубоко ошибочное представление. Опять здесь путаются понятия. Люди интеллектуального труда, которые включены или в бюрократическую машину по своим должностям, или в машину управления, администрации, — они могут называться интеллектуалами (их иногда называют интеллигентами), или людьми интеллигентного труда, или еще как-то. Но когда мы переносим это представление — а это делается сплошь и рядом — и на людей, выполняющих в обществе функцию его ума и совести, а совсем не функцию обслуживания государственной машины необходимыми ей теориями, получается совсем иное.

Как правило, люди эти не только неподкупные, но и готовые за свою неподкупность платить, и опять-таки вся история тому иллюстрация. Ни одна из общественных групп не знает и никогда не знала столько мучеников. Поэтому не только глубоко оскорбительно, когда мы всех этих людей приравниваем к лакеям. Это такой же примитив, как когда мы в жару антирелигиозной полемики говорили, что тот или иной мученик, жертвовавший собой на арене римского цирка, обманывал народ для того, чтобы затемнить его сознание религиозными догмами. Такая примитивность — всегда опoшление и всегда не умна, и точно так же мы не умны, когда в высоком самопожертвовании людей интеллигентной души видим какое-то корыстное служение очередному социальному строю.

Более того, чтобы такое явление, как интеллигентность, возникло, нужны люди определенной степени независимости, и общество в разные исторические моменты выделяет такие относительно независимые группы. Часто это бывают люди, выброшенные из общества или же сами порвавшие с ним связи. Всегда будут люди, которые не устроились уютно в данной социальной среде. Их еще нельзя назвать людьми интеллигентной души, но это уже почва, среда, из которой они вырастают.

Мы будем встречать таких людей на разных этапах исторического развития, и автоматически мы никогда не скажем, что это воплощенная интелли-

487

гентность. Но мы скажем: это среда, где она может зародиться. Так, например, в средние века возникают определенные группы — на Руси их называют изгоями. Они как-то не пригреблись в обществе, они в каждой среде — чужие, им неуютно, они — критики. Они, конечно, тоже далеко не всегда идеальны. Точно так же, как разбойный элемент сливается с элементами

антифеодалного крестьянского протеста (это ведь тоже люди, которые не нашли себе места, убежали, — это вольница), точно так же и люди более широкого ума, более напряженной совести, а иногда просто беспокойные, уходят, скитаются, становятся бродягами, часто — интеллектуальными, образованными. Я говорю, например, о тех людях, которых в Европе в XII веке называли вагантами, то есть «бродячими». Это часто были школяры, а школяр в средние века — это, в общем, социальное положение. Пока он числится при том или другом университете или при той или другой монастырской школе, у него есть социальный статус, а потом он переходит из одного места в другое, начинает бродить по дорогам.

Итак, школяры, монахи, члены странствующих или нищенствующих орденов, паломники — то есть люди, которым ходить положено. Они ходят потому, что таково их место на земле. В средние века это отнюдь не редкий случай, потому что земля — вообще место паломничества. Но среди них оказываются люди, которые совсем не идут к святым местам, — они лишь прикидываются благочестивыми странниками, а на самом деле они развеселые, сочиняющие песни и куплеты отнюдь не всегда благочестивого содержания и вносящие в поэзию элементы античной любовной лирики и народной поэзии. Когда в начале XIX века обнаружили эти сборники, то в головах романтиков представления о средних веках были просто перевернуты. Рядом с мечтательным отшельником, благочестивым воином за Гроб Господень появился развеселый эрудит, сочиняющий латинские, довольно вольного содержания, а иногда и просто непристойные, стихи. Это поэт-профессионал или эрудит-профессионал, которому нет места в жизни. Эта среда выделяет из себя отдельных людей более высокого типа. Эта среда — оппозиционная. Но ваганты оппозиционны в определенных пределах, они не доходят до открытого бунта. Они стоят от общества как бы чуть-чуть, на два шага, в стороне и смотрят на него насмешливо, критически, с издевкой (и это нравится некоторым властителям, а некоторым это не нравится), но уже они как бы играют с обществом, стоят вне его.

Такова же позиция людей эпохи Ренессанса. Они сами себя называли гуманистами (от *humanius* — «человеческий»), поскольку высоко ставили и человеческое достоинство, и гуманитарные науки — науки о человеке, и светскую образованность. Это были люди социально очень разные. Там были и высокие иерархи церкви (отдельные гуманисты, как папа Николай V, даже занимали папский престол), они часто были государственными служащими, как Никколо Макиавелли, который долгие годы служил Флорентийской республике. Но при этом они были не просто служащими, не просто иерархами. Они еще образовывали братство людей культуры, особое, не зафиксированное, но братство людей, легко узнающих друг друга. Так, скажем, Томас Мор узнал Эразма Роттердамского, когда тот явился к нему, не представившись. Он продемонстрировал свои знания, и Томас Мор вскричал: «Ты или Эразм,

488

или сам дьявол». Они узнавали друг друга, как тайные заговорщики, и действительно, были в этом мире как бы отдельным телом, заговором людей ума, людей культуры. Но отношения их с властью были сложные, хотя они редко переходили в конфликт. От них можно протянуть ниточку к той республике философов, которая сложилась в XVIII веке в Европе.

XVIII век — век, который сам себя называл веком просвещения и который считал, что он — великий век, потому что он — последний век несчастий человечества. Это век, когда люди, обремененные суевериями, предрассудками, обогранные кровью предшествующей нелепой человеческой истории, увидели свет разума, и теперь — ведь не может же быть, чтобы люди, которые увидели свет, остались бы по-прежнему жить в темноте, — и вот сейчас, на пороге двух веков (они ждали XIX век) происходит великое превращение. Как скажет Карамзин: мы чаяли великого соединения теории с практикой. Философы создавали теорию, а сейчас наступит практика, которая будет воплощена во всеобщем братстве людей, — помните гимн «К радости» Шиллера: «Обнимитесь, миллионы!» И молодой Карамзин мечтал: что, если бы он мог стать на высокую гору и собрать все человечество вокруг себя и сказать: «Братья, обнимитесь», и все бы со слезами друг друга обняли, тогда он мог бы спокойно отдать свою душу Господу. Это мечты юноши. Карамзину придется пережить в них горькое разочарование. Но это мечты эпохи. Герцен позже писал, что никогда еще грудь человеческая так легко не дышала, как в великую весну 1790-х годов. Великая весна 1790-х годов привела отнюдь не к лету, а к кровавым событиям еще не слыханного до того масштаба. Сначала к революции, к террору, а затем к войне, которая с 1792 по 1815 год сотрясала всю Европу от Гибралтара до Москвы.

В этой обстановке ожидания жили философы, а их было немного — около двух десятков человек в разных странах — от Петербурга до Лондона (но столица их была, конечно, Париж). Они были на самом деле такими же людьми, как и все остальные, и так же доступны и человеческим страстям, и зависти, и ревности, были так же раздираемы противоречиями. Вместе с тем они были едины в одном: они себя чувствовали апостолами нового века и искренне верили, что их слово создает новый мир. И этим словом, которое объединяло всех, было слово «терпимость», толерантность. Терпимость, которая противостояла в их сознании средневековой нетерпимости, ненависти, стремлению силой навязать свои взгляды. Но очень скоро эти люди столкнулись с тем, что терпимость, чтобы не превратиться в бессмысленное слово, должна стать словом борьбы. Не случайно их противники бросили им в одной из сатирических песен такую

кликчу: *tolerants intolerants*, то есть *терпимые нетерпимцы* или *нетерпимые терпимцы* — те, кто проповедуют терпимость, а сами нетерпимы.

Это, между прочим, частый поворот дела. Когда враги демократии чувствуют, что они потеряли свои позиции, они начинают взывать к демократии и говорить, что это недемократично подвергать их такой острой критике, что надо быть терпимыми, поэтому само слово «терпимость» ставило вопрос и об энергии этого слова, и о борьбе. И здесь я позволю себе напомнить один эпизод.

Речь идет о Вольтере. Я специально останавливаюсь на Вольтере, потому что многое и в человеческом поведении, и в личности этого действительно великого человека нас сейчас раздражает. Вольтер нам сейчас не кажется таким

489

апостолом истины, и уж тем более его личные свойства, как говорил Пушкин, нуждаются в оправдании. И все-таки я хочу привести в пример его. Речь пойдет о терпимости. Вольтер — проповедник, писатель, философ, прекрасный поэт, драматург, памфлетист неугомонный, человек, который при физической слабости обладал неистощимой энергией духа, не был только тем язвительным насмешником или, как его называли его враги, циничным противником всего старого, он был еще и человеком великой души, и души глубоко интеллигентной. Это, может быть, звучит сейчас неожиданно, — попробую объяснить. Это не идеи, а душа, личность.

Каждый год в годовщину Варфоломеевской ночи Вольтер был болен. Варфоломеевская ночь... С тех пор прошло до эпохи Вольтера почти два столетия, можно было бы и забыть об этом ужасном проявлении взаимной нетерпимости, когда католики, нарушив перемирие, перерезали без сожаления ночью женщин, детей, стариков — протестантов, наводнивших Париж вместе с адмиралом Колиньи. Страшные погромы прошли по югу, в Тулузе, Франция была вероломно залита кровью во имя единства церкви и во имя профанируемой религии. Можно было философски осуждать это событие, можно было критиковать историческое прошлое — это мы все делаем очень легко и даже любим, но быть больным в этот день — это означало нечто другое. Это означало не только идеи, но и совесть, прошедшую через тело, совесть, дошедшую до глубин. И это открыло Вольтеру одну область деятельности, одну сферу, которая для меня составляет самую заслуживающую уважения, — это его деятельность по защите несправедливо обвиненных, особенно обвиненных религиозным фанатизмом.

Все помнят историю Каласа, гугенота. Юг Франции, недалеко от Тулузы — с одной стороны, там много протестантов (гугенотов), но там же очень сильна и фанатически напряжена католическая тенденция. Поскольку за этим уже тянется длинный хвост убийств, предрассудков, городская мещанская масса все время ждет заговоров со стороны протестантов. Происходит такая история. В семье протестанта, старика Каласа, — несчастье: кончает с собой, видимо, в припадке безумия, сын (он повесился). Сначала — городские слухи, сплетни, затем — вмешательство монахов, затем вмешательство городского суда. Суд происходит в обстановке фанатизма, в нарушение всех законов. Отца обвиняют в убийстве сына. Идет слух, что сын хотел перейти в католичество и отец его убил. Следует ужасный приговор. Шестидесятилетнего старика подвергают сначала колесованию, палач ломом перебивает ему руки и ноги, потом его труп сжигают. Дочери его отданы в католический монастырь, семья вынуждена бежать.

Это дело становится известным Вольтеру. Вольтер не просто берется защищать память Каласа, он трепещет, исходит ненавистью и слезами, пишет друзьям, пишет людям, стоящим близко к правительству. Он делает этот вопрос достоянием европейского общественного мнения. Несправедливость в глухом углу южной Франции обсуждается всей Европой — от Петербурга до Лондона, и в конечном счете, правда посмертно, Калас оправдан и дочери возвращены из монастыря, а главное — это победа духа.

Затем еще одна история, очень похожая. Тоже недалеко от Тулузы, у другого протестанта — тоже несчастье. Дочь, видимо не очень умственно креп-

490

кая, попадает а монастырь, где ее с помощью бичевания пытаются обратить в истинную веру, она убегает и, видимо в состоянии безумия, падает в колодезь. Семью, мирную провинциальную, тихую семью Сирвенов обвиняют в убийстве из ритуальных соображений. Семье удается бежать, но все они заочно приговорены к смерти. Если почитать письма Вольтера той поры, они писаны кровью: «Я, старик, я плачу оттого, что принадлежу к этой ужасной нации. Они с площади, где казнят и колесуют, переходят в комическую оперу. Это тигры, обезьяны». Но через некоторое время произошла еще одна история, уже не на юге Франции, а на севере. Молодой человек, Ла-Барр, дворянин, стал предметом ревности, поскольку одна дама, настоятельница монастыря, оказывала ему предпочтение, которое до этого она оказывала одному судейскому. И судейский этот обвинил молодого человека в кощунстве. У него сделали обыск, нашли сочинения Вольтера и еще некоторые вольнодумные романы и обвинили в оскорблении святыни. А тут как раз кто-то на мосту поцарапал распятие. С молодым человеком поступили ужасно: ему вырвали язык, отрубили правую руку, голову и потом труп сожгли.

Таким образом, Вольтер, когда он орудием насмешки боролся с фанатизмом, совершенно не был человеком, который в кабинете спокойно выбирает способы борьбы. Сейчас легко нам, глядя

назад, в середину XVIII века, сказать, что мы бы поступили иначе, чем Вольтер, и, может быть, не впадали бы в его крайности в насмешках. Но он имел перед собой кровожадного и торжествующего врага и боролся с ним всем, чем мог. И не только с религиозным фанатизмом — любая несправедливость поражала его так, будто это с ним совершается несправедливость. Он поднимал много судебных дел. В архивах безгласного, молчаливого суда старого режима накапливалась несправедливость за несправедливостью. Вольтер был старик, он уже был дряхл и последние слова, которые он написал, — будто это несправедливость, проходящая через его сердце, — это были слова, обращенные к человеку (вернее, уже к его наследнику), несправедливо осужденному. Речь шла о французском генерале Лалли, который сражался в Индии, сдал Пондишери англичанам, был обвинен в измене и казнен. Вольтер доказывал, что генерал не виноват, что он — жертва многочисленных злоупотреблений и «козел отпущения». Уже перед смертью Вольтер узнал, что Лалли оправдан. И последнее, что он написал: «Умиравший воскресает, узнав великую весть».

Если человек был настолько поражен несправедливостью мира, что в минуту, когда он покидал этот свет, думал о борьбе с этой несправедливостью, то он заслуживает не только уважения, но и оправдания в своих грехах. Я не думаю, чтобы многие из тех, кто сейчас легко бросает в него камень, могли бы в своей биографии привести такие факты.

Итак, защита толерантности, защита гуманности требует смелости. Действительно смелости, потому что борьба шла отнюдь не в безопасных условиях. И Вольтер — не единственный. Мы еще будем видеть длинную галерею людей совести, людей, для которых борьба с несправедливостью, с торжествующим хамством была более важна, чем личная безопасность и даже личная жизнь.

Благодарю за внимание.

491

Лекция 4¹ (1989 г.)

Добрый день!

Мы продолжаем наш разговор на тему «Культура и интеллигентность». В прошлый раз я говорил, как, может быть, слушатели помнят, о том, что интеллигентность, включающая в себя и глубокую душевную мягкость, и доброту, требует твердости и готовности к борьбе и готовности проявить героизм. Но, кроме того, это требует как бы отстраненного, критического взгляда на действительность, поскольку мыслящий, чувствующий, имеющий совесть человек — человек оценивающий, и потому он оценивает и себя. Но для этого он должен обладать определенной степенью самосознания, иметь силу посмотреть на себя извне, увидеть себя чужими глазами, а не только смотреть, понимая, что мир — это что-то другое, а он — как бы центр этого мира. Умение посмотреть на себя, на свой мир извне, умение посмотреть на свой коллектив, на свою культуру и на свою Родину извне — и изнутри и извне одновременно — создает такую черту интеллигентного человека, как страдающая любовь к Родине.

Свойство интеллигентного человека — быть привязанным к своей культуре, к своему народу и к своей Родине. Но здесь нет и не должно быть того, что французский писатель Стендаль называл «холопским патриотизмом», — некритического отношения. Более того, интеллигентный человек страдает от собственных недостатков, замечает их гораздо острее, чем, может быть, любой, даже неприязненный, взгляд извне. И точно так же он страдает от недостатков своей Родины. Поэтому для людей, принадлежащих к такому поверхностному, а иногда и рабскому чувству любви к Родине, которое всегда связано с безудержным самовосхвалением, — для них человек этого мучительного, интеллигентного, высоконравственного суда над собой и над своим миром всегда кажется чуть ли не враждебным этому миру.

Об этом очень хорошо писал Гоголь — человек, который был болен любовью к Родине, который сгорел в этом пламенном чувстве и вместе с тем как никто чувствовал ее недостатки. Напомню вам то, как Гоголь кончил «Мертвые души». Гоголь предвидел упреки, что в «Мертвых душах» — в романе (поэме, как он называл), в котором он хотел и показал «всю Русь», он не вывел того, чего ждет поверхностный читатель, — положительного, идеального героя — героя, который бы воплотил в себе добро. У Гоголя оказались одни маски, гримасы, и он предвидел, что его обвинят в отсутствии патриотизма. Поэтому, завершая первый том, он писал: «Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капиталы, устраивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех

¹ Передача вышла в эфир в 1989 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1996. №5—6. С. 81—90.

492

углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: „Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше, хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?“».

«На такие мудрые замечания, — писал Гоголь, — особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибавить в ответ. А разве вот что: жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом». Далее Гоголь пишет, что Кифа Мокиевич был занят философскими вопросами, например: почему зверь родится нагишом, а не вылупливается из яйца, и что было бы, если бы слон вылупился из яйца, какое большое яйцо для этого надо было. «Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рождением зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу». Несколько пропускаю. И вот люди стали говорить отцу, — опять Гоголь: «„Помилуй, батюшка барин, Кифа Мокиевич“, говорила отцу и своя и чужая дворня: „что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень!“ — „Да, шаловлив, шаловлив“, говорил обыкновенно на это отец: „да ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости; а человек он честолюбивый: укори его при другом-третьем, он уймется, да ведь гласность-то — вот беда! город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? разве я не отец? Что занимаюсь философией, да иной раз нет времени, так уж я и не отец? Ан вот нет же, отец! отец, черт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце! <...> Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают!“»¹.

Именно об этом и писал Некрасов после смерти Гоголя в стихотворении «Блажен незлобивый поэт» — о том мучительном чувстве самокритики, которое неизбежно включается в понятие интеллигентности. Это чувство самокритики делает человека интеллигентной души всегда одновременно занятым работой над собой и заинтересованным в исправлении дел на своей Родине. И то и другое гораздо мучительнее, чем спокойное житье мещанина. Но жизнь интеллигентной души всегда мучительна.

В прошлый раз мы говорили о некоей среде, из которой выходят люди интеллигентного самосознания. На этом стоит задержаться несколько подробнее. Вопрос этот в достаточной мере сложен и противоречив.

С одной стороны, чувство высокой ответственности и вообще высокие душевные чувства, как правило, вырабатываются в тех социальных кругах, которые прочно связаны с национальными традициями, — в России, да и в других странах, в крестьянстве (в значительной мере), в дворянстве, в тех кругах, которые крепки некоему укладу жизни. Высокий душевный строй возни-

¹ Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Т. 6. С. 243—244.

493

кает исторически, постепенно накапливается, и в мире, который подвержен вулканическим изменениям, он скорее разрушается, чем создается.

А с другой стороны, как вы помните, я говорил о том, что среда вагантов, среда философов-просветителей, среда, как бы оторвавшаяся от массы, от социального монолита, создает условия для выхода этих особенно ярких личностей, составляющих как бы совесть народа и эпохи.

Это — кажущееся противоречие. Вместе с тем это противоречие самой жизни. Действительно, духовные ценности накапливаются в устойчивых, традиционных и медленно развивающихся жизненных механизмах. Но одно дело эмоции, чувства, и конечно, в той же средневековой среде народа и в монастырской средневековой жизни, и в других толщах жизненного традиционного уклада накапливались высокие нравственные ценности. Но вместе с тем между этим внутренним чувством и деятельностью, поведением (тем, что присуще отдельной личности), самосознанием существует известный разрыв. Для того чтобы спонтанное внутреннее чувство интеллигентности стало фактом общественной жизни, оно должно накопиться в народных исторических пластах, а потом перейти к тем людям, которые обладают устойчивой свободой, «отдельностью», к тем кругам, где вырабатывается личность, где вырабатывается самосознание, и тогда эта накопленная народом ценность становится фактом осознанным и превращается в поведение.

Итак, перед нами два связанных и как будто бы контрастных, а на самом деле пересекающихся, друг другу помогающих — и друг другу мешающих — механизма. И это мы очень хорошо увидим на истории русской интеллигенции. Не уходя глубоко, дальше Петровской эпохи, если мы начнем по крайней мере с первой половины XVIII века, то мы увидим как бы два социальных механизма. Они оба уходят корнями в предшествующий культуру — в культуру русскую и в культуру европейскую в целом, поскольку европейский континент всегда имел в каком-то смысле общую культуру (по крайней мере, по контрасту с культурой других регионов), — и вместе с тем они создают новые условия. Сегодня мы поговорим о той среде в XVIII веке, которая была связана с разночинной традицией.

Для начала позволю себе прочесть цитату из Герцена. Статья Герцена, опубликованная в «Колоколе», называвшаяся «Семь лет» — это семь лет царствования Александра II — была вызвана арестом Чернышевского. У Герцена с Чернышевским были сложные отношения, отнюдь не идеальные, — обоюдная настороженность, взаимное непонимание, и вместе с тем когда Чернышевский был выведен на площадь и поставлен к позорному столбу, разногласия кончились. Герцен посвятил этому событию написанную кровью статью. В статье «Семь лет» он дал как бы

исторический обзор культурного лица среды, из которой вышел Чернышевский. Герцен писал о том, как сложилась та среда, которая ему самому была чужда, которую он не понимал до конца и которая его не понимала, но которая была в ту пору средой революционной молодежи.

Я зачту только несколько отрывков «Ей доставалась одна обида сверху и одно недоверие снизу. Ей достается великое дело развития народного быта из неустроенных элементов его — зрелой мыслью и чужим опытом. Она должна спасти народ русский от императорского самовластия и, — Герцен

494

выделил курсивом, — *от него самого*». Это очень важная мысль — спасти народ от народа.

«Ее не тяготит ни родовое имущество, ни родовое воспоминание, в ней мало капиталов и вовсе нет привязанности к существующему. Она стоит свободная от обязательств и исторических пут. Предшественником ее был плебей Ломоносов, могучий объемом и всесторонностью мысли, но явившийся слишком рано. Среда, затертая между народом и аристократией, около века после него билась, выработывалась в черном теле. Она становится во весь рост только в Белинском и идет на наше русское крещение землю на каторгу в лице петрашевцев, Михайлова, Обручева, Мартьянова и пр. Ее расстреливают в Модлине, — Герцен имеет в виду тех русских офицеров, которые отказались стрелять в поляков и были расстреляны, — и разбрасывают по России в лице бедных студентов, ее, наконец, — эту *новую* Россию — Россия *подлая* показывала народу, выставляя Чернышевского на позор»¹.

Вот об этой среде мы и будем говорить, потому что она еще не была тем, что мы называем миром интеллигентного человека, но была тем раствором, из которого выпадали кристаллы, она была той питательной средой, из которой действительно (Герцен прав) между Ломоносовым и Чернышевским сложилось большое культурное дело. Что это за среда в социальном смысле?

Начиная с Петровской эпохи возник вопрос о необходимости образованных людей, а поставлен этот вопрос был государством в чисто практических целях. Новому бюрократическому государству, складывавшемуся в большой административный механизм, нужны были люди нового склада, новых профессий, нового типа образования, — и их надо было откуда-то брать. Возник вопрос об учебных заведениях. Учебные заведения той поры носили отчетливо сословный характер. Мы сейчас не будем говорить о дворянских учебных заведениях — это тема будущего разговора. Разные школы открывались для того, чтобы готовить и канцеляристов, и мастеров разных ремесел, и младших офицеров, и вообще людей, которые могли обслуживать разнообразные возникающие новые профессии — от землемерия до медицины. Для этих школ надо было находить учеников. Дворяне не шли в эти школы. Они предпочитали идти в гвардию и, пройдя через гвардейскую службу, получать чин, а потом или же оставаться в армии, или же выходить в отставку и ехать в свою деревню. (Исключая ту часть дворян, которые фактически, кроме дворянского имени, ничего не имели, — их называли «беспоместными»; по своему социальному быту они тяготели скорее к не-дворянству.) С другой стороны, новая, введенная Петром, перепись населения и подушная подать закрепила огромную массу, в девяносто с лишним процентов всего населения России, на положении крепостных крестьян. Крепостных крестьян тоже не брали в эти учебные заведения. Кто же мог туда пойти?

Была такая категория — «солдатские дети». Солдат служил при Петре всю жизнь. После того, как он первые годы проводил в линейных полках и здоровье становилось все хуже, он делался, как мы бы сказали, *старослужащим* (тогда их называли инвалидами) и его переводили в гарнизонный полк.

¹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 18. С. 243—244.

495

В гарнизонном полку он, как правило, женился и жил зачастую не в казарме, а с семьей, или же семья жила в каком-то приказарменном помещении, и у него появлялись дети.

Солдат (рекрут) в молодости был крепостным, но сын его уже крепостным не был, он попадал в особую категорию солдатских детей. В такую же категорию попадало свободное городское население: дети ремесленников, купцов — всю эту категорию называли одним словом — «разночинцы». И солдатские дети, и разночинцы шли учиться. Менее всего — купцы, особенно богатые, они откупались от военной службы (и это было официально дозволено) и не имели также необходимости отдавать своих детей в учебные заведения. Учебное заведение считалось тоже службой, а человек служащий уже рабом быть не мог. Хотя солдатская служба была очень тяжела, но она приносила свободу — оружие освобождало: человек, который получал оружие, получал как бы и честь. Вспомним известные слова Петра: «солдат — есть имя общее, знаменитое, оно относится и до последнего рядового и до первого генерала». Конечно, это теория, на практике это выглядело гораздо менее импозантно, но все-таки солдатские дети составляли значительную часть студентов и школяров, особенно школяров, и из них вышли многие выдающиеся люди XVIII века.

Другим резервом были дети священников. Священники, духовенство составляли особое сословие, оно не было поверстано в подушный оклад, следовательно, принадлежало к сословию привилегированному, но вместе с тем не принадлежало к дворянству и к новой европеизированной культуре. Между прочим, именно духовенство сохранило в России наибольшую сословную изолированность: браки заключались, как правило, внутри сословия.

Дворянин, совершив путешествие за границу, как писал Куракин в Италии, мог быть «инаморат», то есть влюбиться в некую «изрядную пригожеством читадинку», и мог привезти иностранку домой и жениться на ней. Вообще дворянство в этом смысле было сословием с большими интернациональными выходами, а духовенство было сословием замкнутым, национальным. Дети священников, как правило, шли в духовные учебные заведения, и это имело определенную, чисто экономическую, необходимость. Отец старел, приход был единственным источником дохода семьи, а белое сельское духовенство было очень бедным, очень зависимым от помещиков (и не случайно оно часто давало идеологов крестьянских бунтов). Приход надо было передать сыну, для этого сын должен был отучиться в семинарии и жениться. Но далеко не каждый из поповских детей хотел быть попом. Вдобавок государство все время требовало кадров. Где их было взять? Их брали из семинарии, потому что семинария давала хорошую подготовку в латинском языке, часто в греческом, иногда позже, по крайней мере, с конца 30-х годов XVIII века, и во французском языке, начитанность в классических источниках.

Именно из семинарии и Ломоносов, и Тредиаковский выбирали студентов для первого учебного заведения — так называемого Академического университета, небольшого учебного заведения при Академии наук. Число студентов бывало невелико, несколько десятков, но то, что их отбирали такие люди, как Ломоносов и Тредиаковский, привело к поразительной вещи — почти все студенты стали крупными учеными. Оттуда вышли Поповский, Барков, Кра-

496

шенинников — тот, который описал Камчатку, Румовский — астроном, Барсов — создатель прекрасной грамматики, которую недавно издал профессор Б. А. Успенский из Московского университета¹. Карамзин, который был учеником Барсова, назвал его «великим мужем русской грамматики»². Это целое поколение ученых.

Эта среда давала людей науки, но не только — поэтов тоже. Поповский был прекрасным поэтом. Особенно колоритная фигура Барков — самый любимый, самый талантливый ученик Ломоносова, прекрасный поэт, латинист, прекрасный переводчик, он рано заболел тем, чем болела эта среда, — пьянством. И мы будем дальше часто встречаться с этим трагическим сочетанием: образованный человек, который не только переводит, но и говорит по-латыни (как Ломоносов кричал канцелярскому работнику, любимцу президента Академии наук Шумахеру: ты кто? Разговаривай со мной по-латыни! Если можешь разговаривать по-латыни, тогда ты — ученый, а не можешь, то бюрократ), погибает от пьянства. Это образованные люди с нищим детством, с тяжелыми годами учения. У Ломоносова есть донесения начальству — ужасные. Он зимой в Петербурге преподает в Академическом университете — стекла выбиты, он — в шубе, студенты сидят покрытые фурункулами, голодные, и все это будущие крупные деятели культуры.

Другое учебное заведение, которое давало кадры людей, выходящих к сознанию (я сейчас не о профессии говорю, а о новом уровне душевного строя), — Московский университет. Он был создан усилиями Ломоносова и в значительной мере наполнен выпускниками Академического университета, а также иностранцами. Ни в коей мере не следует поддаваться соблазну и бросать, как сейчас часто делают люди мало осведомленные, камень в адрес иностранцев, которые приезжали с педагогическими целями в Россию. Были среди них, конечно, и Вральманы из «Недоросля», но были и такие великие люди, как Эйлер, Бернулли. Вообще многие из них внесли ценный вклад, огромный вклад в развитие и русской географии, и экономики, и филологии, юридических наук, особенно медицины. Из Московского университета, где были образованы две гимназии, два пансиона — один для благородных, другой для разночинцев (но учились они по одной программе, сидели за одними партами), — вышел большой отряд людей, которые влили в культуру сознание.

Но при этом надо иметь в виду, что университет, который много дал, вместе с тем был в своих возможностях очень ограничен. Правда, у него было крупное преимущество, и наверное, этим мы обязаны Ломоносову, — в университет можно было попасть и сыну крепостных крестьян. Это было трудно, для этого надо было получить отпускную от помещика, — отпускная хранилась в канцелярии университета, как у нас аттестаты хранятся, и выдавалась при окончании. Человек заканчивал университет уже с чином, то есть получал, как правило, личное дворянство. Это был еще один путь, по которому

¹ См.: *Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. М., 1981.*

² См.: *Карамзин Н. М. Великой муж русской грамматики // Вестник Европы. 1803. №7.*

497

народное самосознание выбивалось на поверхность. Но все-таки число крепостных мальчиков, отпущенных в университет, было невелико.

Больше их было в другом учебном заведении — в Академии художеств. Академия художеств создавалась в середине XVIII века и ставила перед собой, в общем, практические задачи. Петербургскому культурному миру нужны были художники, скульпторы, особенно архитекторы и граверы. Это было ремесленное заведение, само слово «художество» означало в ту пору ремесло, и дворяне не шли туда. Позже, когда известный медальер граф Ф. Толстой был назначен президентом Академии художеств (это была уже середина XIX века), вся семья восприняла это

как оскорбление. Для аристократа художество как профессия — это нечто унижительное. Дворянин, конечно, может учиться и обучаться и живописи, и скульптуре, но — как дилетант, а зарабатывать деньги, быть профессионалом-ремесленником — это унижительно. Особенно унижительной считалась сцена. К театральной сцене относились как к сомнительному поприщу еще и по религиозным соображениям.

Академия заполнялась в значительной мере теми же солдатскими детьми и разночинцами, но и детьми крепостных крестьян. И вот судьбы двух человек я хочу назвать. Один — известный портретист Рокотов. О Рокотове мы почти ничего не знаем. Мы даже не знаем года рождения и, что самое поразительное, точной даты смерти. Его личная жизнь нам тоже почти неизвестна. В целом ряде источников глухо говорится, что он был из дворян, но это ошибка — он был сыном крепостного. Происхождение его было темное, но он получил отпускную — может быть, он был незаконным сыном помещика, может быть, кто-то ему помог, и он очень рано стал признанным художником. Я упоминаю Рокотова вот почему. Я не буду много говорить, но достаточно посмотреть на портрет, написанный Рокотовым, портрет Струйской, чтобы увидеть в нем отражение нашей темы. Здесь изображение лица подчинено изображению души. И не случайно позже об этом портрете, будучи в лагере, вспомнил Заболоцкий, который писал в стихах: «Когда потемки наступают / И приближается гроза, / Со дна души моей мерцают / Ее прекрасные глаза»¹.

Иной оказалась судьба Воронихина. Воронихин был крепостной. Правда, он был крепостным высокообразованного, культурного, мягкого — в общем, хорошего человека — Строганова. Воронихин — крепостной мальчик, который получил свободу и поехал за границу с Павлом Строгановым уже не как крепостной слуга, а как товарищ. Вместе с ним проходил обучение наукам в Женеве и в политической школе Парижа 1789-1790 годов. Он стал потом крупнейшим архитектором, и Казанский собор в Петербурге — это памятник его творчества, как и другие прекрасные здания. Он был не только архитектор, он был широко образованный человек, который, по словам Герцена, соединил в себе две среды — среду образованного слоя и среду народа.

Можно было бы еще много говорить о том, каким особым миром являлась система учебных заведений по подготовке лекарей и подлекарей. Медицинское

¹ Заболоцкий Н. А. Портрет // Заболоцкий Н. А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965. С. 129.

498

образование в значительной мере было связано с поповичами, с детьми из семинарии, поскольку для медицины особенно необходима была латынь.

Существовал еще один мир — театр. Театр обслуживался, в общем, людьми низкого происхождения. На сцене — король, королева, а за сценой, за кулисами, в крепостном театре — рабы. В императорском театре — свободный человек, но часто из детей крепостных, да и относились к артисту на государственной службе часто грубо, по-крепостнически. Еще в XIX веке директор театра мог посадить актера на гауптвахту, арестовать, лишить жалованья, накричать на него. Актеры были бесправны, но они принадлежали миру высокого искусства. Короткий срок — вечерами — они были героями трагедий, они соприкасались с идеями самого высокого вдохновения. И кроме того, этот мир был привлекателен для молодых дворян. Не только доступность балерин или же легкие закулисные нравы привлекали молодого дворянина в театр с черного хода. В театре он дышал атмосферой искусства, он уходил из казармы и попадал в мир малонормированный, не всегда образованный. Гениальный актер мог быть плохо образованным человеком. Правда, были актеры, как, например, Дмитревский — люди высочайшей культуры. Но еще в XVIII веке были и такие, особенно женщины, кто заучивал монологи королей «с голоса», потому что не знали грамоты. Некоторые из них, как великий актер Яковлев, были пристрастны к выпивке. Вместе с тем это был мир искусства, мир вдохновения, и он тянул к себе как магнит.

Такова была эта среда, которая в XVIII веке в значительной мере определяла и облик культуры. XVIII век в этом смысле отличается от пушкинской эпохи. В пушкинскую эпоху поэт — почти всегда дворянин, и вообще культура создается дворянами. В XVIII же веке не так: идет как бы диалог этих двух миров — мира дворянской культуры, которая будет вырабатывать свою независимую личность, свое самосознание, и мира разночинной культуры. Они будут влиять друг на друга, и влияние это будет плодотворным. О дворянской культуре поговорим в следующий раз.

Благодарю за внимание.

Лекция 5¹ (1989 г.)

Добрый день!

Продолжаем наш разговор. В прошлый раз мы уже говорили о том, как начала в XVIII веке складываться в России интеллигенция, и остановились на том, как из народа — из податного сословия, из крепостных крестьян и из мещанства — возникла культурная прослойка — люди искусства, люди книги и люди мысли. Но, конечно, не только из народа рекрутировалась интеллигенция.

¹ Передача вышла в эфир в 1989 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1998. № 12. С. 48—56.

499

В XVIII и в первой половине XIX века значительная часть людей умственного труда, людей

пера, людей кисти (кисти — меньше, главным образом пера — мыслителей) происходила из дворянства. Здесь надо сказать несколько слов о роли дворянства. Мы привыкли, как только речь заходит о привилегированных сословиях, сейчас же говорить плохие слова: они только угнетали, эксплуатировали, жили за счет народа, сами не работали. Конечно, социальные конфликты, особенно в XVIII веке, были острыми. Как вы помните, XVIII век был веком революции — от Американского континента до Урала. Так что говорить о социальных идилиях не приходится. Но значительная часть интеллектуальной работы человечества и в Европе, и в России приходится на долю привилегированных сословий. От этого никуда не уйти и отрицать этого факта не следует. Более того, мы увидим, что именно это наложит отпечаток на то, что мы назвали интеллигентностью.

Важная черта — чувство стыда. Когда мы говорим об интеллигентности и о том, что ей противостоит, то нельзя пропускать этого психологического фактора: интеллигентность подразумевает развитое чувство стыда, а отсутствие интеллигентности — столь же развитое чувство бесстыдства. Что такое стыд? Давайте подумаем, что такое психологически стыд. Стыд — это некое чувство, связанное с этическими запретами. Человек в силу своих физических возможностей что-то может сделать: например, может побить ребенка — он сильнее, крепкий мужчина может ударить женщину, человек может пустить сплетню (язык у него вращается для этого!), но он этого не делает. Почему? Потому что ему стыдно. Что же такое «стыдно»? Я не хожу по потолку, и от этого мне не стыдно, потому что я этого не могу делать. Когда же я что-то могу сделать и не совершаю этого, хотя это мне выгодно, хотя это, может быть, мне принесет удовольствие, но — возникает запрет (социальный, культурный): я не делаю, потому что стыдно.

Для людей с интеллигентной психологией регулирующим свойством является стыд, а для людей бесстыдных регулирующим свойством является страх: я не делаю, потому что боюсь. Вот я бы ударил ребенка, но боюсь, что милиционер окажется рядом, или боюсь, что кто-то другой ударит меня еще сильнее. Стыд — это чувство свободного человека, а страх — это чувство раба. И то и другое принадлежит к этическим чувствам, к сфере запретов. Но страх — это принудительный запрет, внешний, а стыд — это добровольный запрет.

Когда люди привилегированных классов поднимаются до уровня высокой интеллигентности и понимают, что они ведут жизнь не такую, какая удовлетворяла бы их умственному и нравственному уровню, им делается стыдно. Их существование направляется чувством вины, вины перед теми, кто их кормит, вины перед историей, перед страной, перед самой собой. Между прочим, развитое чувство стыда — это черта именно дворянской интеллигенции, это одна из лучших психологических черт, которые были созданы культурой.

Очень часто человек, выходящий из народа, был пронизан требовательностью — мне не дали, я добьюсь, вырву, получу, на моем пути стоят преграды. Интеллигентный, высококультурный человек из дворянской среды задумывался, причем очень рано (зачастую — с детства), что это неспра-

500

ведливо, что он пользуется тем, на что не имеет права, и ему становилось стыдно. Чувство стыда регулировало очень многое, как мы увидим. Оно определяло и храбрость людей, идущих на смерть, в частности и воинскую храбрость.

Напомню вам сцену из «Войны и мира»: Бородинское сражение, полк князя Андрея Болконского стоит в запасе. А запас тогда — это в пределах артиллерийского огня, все время падают бомбы и убивают то того, то другого. Солдаты лежат на земле, а офицеры все стоят, потому что офицеру-дворянину лечь на землю под огнем стыдно. И между князем Андреем и молодым офицером падает бомба. Бомба тогда — это чугунный шар, начиненный взрывчаткой, порохом, куда вставлен фитиль, который при выстреле загорался, поэтому ночью бомба летела, как сигара, как окурок. А когда падает ядро, оно вертится. У Пушкина:

Шары чугунные повсюду

Меж ними прыгают, разят,

Прах роют и в крови шипят¹.

И вот падает бомба. Между тем, как она упала и разорвется, есть время — несколько секунд, может быть, полминуты, может быть, минута: можно лечь и спасти жизнь. Молодой офицер присел, — он не лег, он просто присел, и князь Андрей говорит ему: «Стыдно, господин офицер!»² И в эту минуту сам получает осколок в живот. Стыдно! Смерть не так страшна, как стыд. Чацкий же говорил: «да нынче смех страшит, и держит стыд в узде»³.

Мы увидим, что это большое и важное психологическое свойство, которое было потом передано и недворянской интеллигенции и вообще стало чертой интеллигентности, — развитое чувство самокритики, развитое чувство своего долга, необходимости за этот долг платить, погасить этот долг.

Это привело потом и к негативным чертам. Между прочим, отчасти поэтому интеллигенция так легко, может быть, приняла уничтожение ее в сталинские годы (не легко, но все-таки приняла...). Для многих это казалось возмездием за годы крепостного права, возмездием за вину дедов. Не случайно Александр Блок свою неоконченную поэму, которую он думал сделать большим произведением, по весу равным «Евгению Онегину», назвал «Возмездие». Это была

поэма о его роде как о русском дворянском роде.

Итак, мы сейчас будем говорить о том, что же происходило с дворянством, с его мыслящей и имеющей высокий нравственный уровень частью во второй половине XVIII века. Происходили очень интересные вещи. Люди типа Ломоносова видели свое призвание в том, чтобы помогать правительству идти по прогрессивному пути и воспевать дела правительственные, правда с элементом учителя — с тем, чтобы не так хвалить то, что правительство делает, как то, что оно должно было бы делать. Но все-таки они считали себя сотрудниками правительства и шли с ним вместе. Однако та первая черта,

¹ Пушкин А. С. Полтава // Пушкин А. С. Т. 4. С. 297.

² Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1980. Т. 6. С. 262.

³ Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 36.

501

с которой начинается дворянская интеллигенция, была независимость от правительства — стремление занять в жизни, в культуре, в истории народа независимую позицию.

Давайте сейчас подумаем — почему это было нужно? Здесь много причин, и придется сказать несколько слов о нелегком, а иногда и трагическом положении правительства в XVIII веке. Мы тоже привыкли, если речь заходит о правительстве или о Екатерине II, говорить только плохое, а уж те, кто были до нее и после нее, просто сплошные уроды. Конечно, ко всякому государственному деятелю, а тем более государственному деятелю, не ограниченному законами, бесконтрольному, находящемуся в стране с деспотической структурой, можно предъявить очень много упреков. И конечно, здесь будет и вина, и преступления, но не только вина и не только преступления. В частности, все русские правительства понимали необходимость реформ. Когда Петр I умер, он оставил свое дело недовершенным. Вся европейская жизнь быстро развивалась, и естественно, что страна не стояла на месте. Считать, что правительства, например, Екатерины II или Александра I, или даже Николая I только и думали о том, чтобы угнетать, эксплуатировать и все прочее, — это значит очень упрощать дело. Например, вопрос крепостного права занимал и Екатерину II, и Александра, и Николая I — и все они знали, что надо решать этот вопрос, и все они хотели провести реформы (большие реформы!). Но фатально получалось, что ничего не выходит.

Посмотрим бегло, что же составляло после смерти Петра I лейтмотив правительственной деятельности. Петр I умер в тяжелую для него минуту. Пока страна была в трудном положении — шла Северная война, у него все получалось: страна пережила тяжелый военный кризис и вышла из него с победой. Между прочим, в скобках скажу, что недавно в Швеции вышла очень интересная книга о Полтавском сражении, где автор доказывает, что это сражение имело благотворные последствия не только для России, но еще большие для Швеции. С Полтавским поражением, пишет он, кончился шведский империализм, и от этого шведский народ исключительно выиграл. Швеция перестала претендовать на чужие территории, на территории по южную сторону Балтийского моря, решительно сократила свою армию, вступила в период длительного мирного существования, которое продолжается и поныне. Это оказало самое благотворное воздействие и на шведское крестьянство, и на шведскую промышленность. Подобная *деимпериализация* в истории очень часто играет положительную роль. Расширение территории зачастую оказывается мнимой победой, которая влечет за собой перенапряжение экономики.

Но, так или иначе, Петру I удавалось вести сложную государственную организационную работу. Но к 1721 году, может быть, к 1720-му, что-то произошло, вдруг запахло гнилью, как Марцелл в «Гамлете» говорил: «Подгнило что-то в Датском королевстве». Вчерашние сотрудники вдруг пустились в воровство, открытый грабеж, одно за другим срывались дела, законы повисали в воздухе, не выполнялись. Петр I умирал с тяжелым чувством — он ясно видел, что среди его преемников одни мерзавцы. И Меншиков, и Ягужинский, и Долгорукие, и Феофан Прокопович, и даже любимая жена Екатерина Алексеевна — всё казнокрады, мерзавцы, эгоисты. Он так и не решил,

502

кому же передать власть. Его последние слова: «Отдайте все...» — он так и не сказал, кому все отдать, видимо, отдать было некому.

В дальнейшем правительственная деятельность развевалась очень любопытно. Каждый новый царь начинал с того, чтобы обвинить во всех бедах предшествовавшего царя, причем это делалось с неслыханной откровенностью. Когда Елизавета взошла на престол, она опубликовала манифест, в котором с огорчением высказалась в том смысле, что наследие великого царя, то есть Петра I, испорчено. Елизавета была женщина легкомысленная, ей казалось, что сейчас она все быстренько исправит. Она приказала восстановить петровские законы, вернуться к тому, как было при Петре I. Законов была масса, их начали разбирать. Разбирали, разбирали, да так разобрать и не смогли. Пока, наконец, один из очень близких к Елизавете людей, брат фаворита — Шувалов, не заявил, что это пустое дело, что надо провести новую реформу. Реформу задумали, но так и не провели, ничего не получилось.

Елизавета умерла, затем очень коротко царствовал Петр III. 7 июля 1762 года его убили, и уже 8 июля Екатерина II, его жена, объявила указ. Я не уверен, что она была организаторшей его

убийства, я даже допускаю, что Алексей Орлов по пьянке ударил Петра III табакеркой по голове так, что разнес ему голову. А может, это и было инсценировано, — этой тайны мы не узнаем, да это нас не так уж и интересует. Но ясно, что на другой день в Петербурге с барабанным боем, под полосатыми столбами объявлялся указ, где предшествующий император обвинялся во всех грехах. Он сверг страну в ненужную войну, вел разорительную политику, разрушил государственную структуру и даже покушался на православную веру. Все это были запоздалые выдумки. Точно так же Павел начал свое царствование с обвинения Екатерины II, своей матери.

Затем правительство Александра I начало дело так, будто Павла и не было, и в манифесте Александр I обещал править по сердцу и заветам бабки своей Екатерины II, будто он наследовал бабке, а наследовал он отцу. При жизни Александра I не было ни одной панихиды по Павлу. Первую панихиду отслужили в 1826 году, то есть через двадцать пять лет после убийства Павла, уже при Николае I. Николай, в свою очередь, чрезвычайно сдержанно относился к царствованию Александра I, считал его ошибочным, не любил не только либералов, но и Аракчеева ненавидел, считал, что если бы не Александр I, то не было бы для Николая I самого страшного переживания в жизни — 14 декабря 1825 года и т. д. и т. д. Нужно сказать, что как только Николай I перестал дышать, то и неудачную Севастопольскую войну, и нерешенность крепостной проблемы, и нерешенную польскую проблему — все свалили на него.

Почему это делалось? За этим стояло признание того, что государственный порядок в России плох, и каждый из новых царей с чрезвычайной откровенностью об этом говорил. Александр I говорил о «безобразном здании» империи, и отсюда сразу же вытекало обещание реформ. В 1767 году Екатерина II создала Комиссию по выработке нового Уложения, как бы парламент: выборные депутаты от всех городов и от отдельных народов, населявших Россию, и от сословий — настоящий русский парламент. И «Наказ» для нее был написан. «Наказ» очень либеральный, как сама Екатерина II говорила,

503

она «обворовала» европейских философов. Павел тоже начал свое царствование с реформ. Павел провел очень смелую реформу. Он первый попытался ограничить крепостное право — провел закон о трехдневной барщине, то есть крестьяне только три дня могли работать на помещика (три дня на помещика, три дня на себя, воскресенье — для Бога). Казалось, что начинаются реформы. Александр I, как только взошел на престол, собрал своих личных друзей — молодых, это все были либералы (Строганов даже участвовал во взятии Бастилии, воспитателем его был якобинец Ромм). Сами они — царь и его приближенные — называли этот комитет между собой, играя, «Комитетом общественного спасения» (так называлось правительство якобинцев). И ничего не вышло, опять гора родила мышь, опять задуманы были большие реформы — и все ушло в песок.

Через некоторое время — реформы с участием Сперанского. Огромная канцелярская работа, пишутся и переписываются прекрасные проекты — все опять уходит в песок. Даже Николай I, который был окружен уже безликими людьми, «молчаливыми», когда поднял в Сенате и в Государственном совете вопрос о крепостном праве, то — это был уникальный случай — эти старые мешки, члены Государственного совета, забаллотировали мнение царя, как будто Россия чуть ли не парламентское государство.

Так что же происходило? Почему такие благие намерения в руках таких полновластных людей не воплощаются в жизнь? Надо понимать, что все они ощущали (особенно после Французской революции это ни для кого не было секретом), что играть с огнем нельзя. Екатерина II в свое время, когда Людовик XVI еще был жив, иронизировала над его неуклюжестью. Она говорила, что вместо того, что делает французский король, она пригласила бы Лафайета, ввела бы его в правительство и сделала бы его своим сторонником. Пушкин позже огорошил великого князя Михаила на балу, сказав: «Все Романовы революционеры и уравнители»¹. Нельзя сказать, чтобы цари не понимали, на какой пороховой бочке они сидят, и не осознавали бы необходимости реформ.

Почему ж не получалось? Потому что первым условием, с которого начинались все реформы, было сохранение сильной царской власти. Ход мысли (а это не глупая мысль) строился приблизительно так: отмени крепостное право в России, это сразу же вызовет оппозицию справа, помещичью, а оппозиция справа — вещь не бессильная, в России царей убивали дворяне. Рылеев позже сочинил песенку с Бестужевым:

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят².

¹ Пушкин А. С. Дневник 1834 г. 22 декабря // Пушкин А. С. Т. 8. С. 577.

² Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX в. Л., 1970. С. 364.

504

А французская писательница мадам де Сталь сказала, что политический строй России — это

деспотизм, ограниченный петлей. Потому что когда деспотизм переходит свои границы, то можно удавить и царя.

Для того, чтобы сопротивляться такой угрозе, надо сохранить самодержавную власть, то есть усилить бюрократию. Усиление же бюрократии приводит к окостенению правительственной воли. Окостенение правительственной воли сопровождается тем, что общество, которому были обещаны реформы, было разрешено говорить и которое находится в обстановке гораздо более либеральной, чем прежде, но не видит дел, — общество начинает выражать недовольство. Для того, чтобы это недовольство подавить, надо усилить деспотический нажим на общество: все возвращается на круги своя.

Дело в том, что правительство пыталось занять позицию невозможно-промежуточную: не опираться на те реальные народные общественные силы, которые были заинтересованы в реформе, и вместе с тем, опираясь на бюрократию, провести реформу. Это в принципе невозможно. И невозможность этого стала ясна уже в связи с провалом Комиссии Екатерины II. Как только депутаты начали говорить о насущных вопросах, Екатерина II испугалась. Она была готова к либерализму на бумаге, но либерализма подлинного она не могла вынести.

Есть такая сказка о принцессе, которая была кошкой, но волшебница превратила ее в красавицу-принцессу. Но у принцессы была одна особенность: она не могла спокойно видеть мышь, она на нее бросалась. Это судьба реформаторского правительства в России XVIII—XIX веков: оно как бы либеральное, но настоящую демократию не может видеть. Тут в нем, как в принцессе, просыпается кошка, и тут оно не только умом, но и всем инстинктом, кожей чувствует, что это ему не ко двору.

И тогда стало ясно, что правительственная реформаторская деятельность подвержена политической импотенции, хотя играет положительную роль, поскольку позволяет ставить вопросы. Напомню вам, что Радищев в революционной книге «Путешествие из Петербурга в Москву» очень ловко использовал цитаты из «Наказа» Екатерины II и доказывал, что он верный сторонник «Наказа». А «Наказ», который был переведен на все языки Европы, в России потихоньку начали изымать, запрещать, не объявляя об этом официально. Точно так же декабристы на суде очень часто избирали такую тактику: доказывать, что они шли по пути, проложенному либеральным императором. Кстати, и сам Александр I однажды обмолвился своим генерал-адъютанту Васильчикову: «Не мне их судить».

Но как только надо было перейти от слов к делу — к любой деятельности, — тут и требовалась самостоятельность. Самостоятельность эта далеко не всегда означала антиправительственные действия. Здесь происходит интересная путаница. Общество стремится к самостоятельности, например к помощи крестьянам — к филантропической помощи или к распространению знаний, а правительство в этом видит антиправительственную деятельность, поскольку оно привыкло считать, что вся деятельность — его монополия. Но мышление революционное, сознательно противопоставленное правительству, это только один край, одно крыло, и совсем не обязательное крыло того

505

широкого движения, которое было связано с потребностью в независимости. Приведу один пример.

Если вы посмотрите статистику изданий в первой половине XVIII века, особенно при Петре I и вообще до 1750-х годов, то увидите, что правительственные издания составляют основную массу, и большинство среди них — указы, распоряжения, официальная газета или же книги, официально санкционированные правительством: «Приклады, како пишутся комплименты разные» или же «Юности честное зеркало». К 1790 году основная продукция, во-первых, выпускается частными типографиями, а во-вторых, это — романы. Романы, в которых нет никакой политики, есть любовь, нежные чувства, ужасные приключения. Но это — знак независимости, автономии, складывания некоей самостоятельной жизни.

Это чувство независимости требовало и определенного психологического склада — гордости, уважения к себе, сознания того, что унизиться для человека, может быть, хуже, чем пострадать. Как сказал Пушкин Николаю I, когда тот во время первого допроса спросил, как же он втянулся в заговор: «Нас бы назвали подлецами, если бы мы этого не сделали». Чувство стыда, долга перед народом и чувство собственной гордости составляет тот комплекс, который тогда называли чувствами благородного человека, а мы сейчас называем интеллигентностью.

Примером и вместе с тем свидетельством формирования независимого поведения, независимой психологии и независимой деятельности явилась деятельность Николая Ивановича Новикова. Новиков навлек на себя гнев Екатерины II и в 1792 году был на длительный срок посажен в Шлиссельбургскую крепость. За что? Новиков не был революционером. Это был религиозный, мистически настроенный человек, который даже не был врагом крепостного права. Он был человеком гуманным, филантропом и практическим деятелем. Он посвятил себя независимой деятельности на благо общества. Новиков был издателем, который организовал частную, исключительно широко поставленную — как мы бы теперь сказали, на основе частной инициативы — книжную торговлю и книгопечатание. Прекрасный организатор, он привлекал переводчиков, студентов, печатал книги сначала в одной, арендованной у правительства, а потом

еще в двух типографиях, организовал продажу книг в провинции. Все спорилось у него в руках, ничего отрицательного, антиправительственного в его деятельности не было. Это была деятельность по организации просвещения.

В конце 1780-х годов в России последовали один за другим голодные годы, неурожай. Неурожай не был результатом климатически неблагоприятных условий, а были свидетельством социально-экономического кризиса. Правительство растерялось, крестьяне голодали и не получали помощи. Новиков, человек малого чина, отставной поручик (в чем его упрекала потом Екатерина II, называя его плохим патриотом, потому что не служит в армии), частное лицо, одолжил у разбогатевшего сибирского заводчика (тот просто дал, подарил ему) очень большую сумму денег. Потом купил зерно и раздал крестьянам, без единой расписки, но с одним условием — на будущий год вернуть, а кто не сможет вернуть, будет строить амбары из дуба. Появились вокруг Москвы крепкие сараи, хорошо сделанные, засыпанные зерном, и это

506

зерно на следующий год давалось опять крестьянам бесплатно в ссуду. Новиков организовал то, что не могло сделать правительство: накормил целые губернии и организовал крестьянские кооперативы по взаимному обеспечению на основе совести и взаимных обязательств.

Это показалось опасным — отставной поручик, который снабжает Россию книгами, который в Москве открыл бесплатную аптеку, кормит крестьян, организатор, у которого в руках спорится то, что чиновники никак не могут сделать. Конечно, эта деятельность сразу же бросала свет на бессилие бюрократии, но в замыслах Новикова не было этого. И не было стремления унижить правительство или возбудить недовольство. Он хотел помочь народу, но этого оказалось достаточно: он был арестован, брошен без суда в Шлиссельбургскую крепость и должен был бы сидеть долго, но тут ему повезло — через четыре года Екатерина II скончалась. Павел, которого мы знаем таким кровожадным, нетерпимым, начал с амнистии. Он выпустил Новикова, вернул Радищева, а вождя польского восстания великого патриота Тадеуша Костюшко посетил в тюрьме и лично вернул ему шпагу.

Новиков вышел из тюрьмы. Но дело не в этом, а дело в том, что мы здесь сталкиваемся с общественной инициативой, со стремлением общественных сил к самоуправлению. Не случайно племянник Новикова был автором первой республиканской конституции среди декабристов и был тем, кто принял в общество Пестеля. Ему тоже повезло особым везением, которое Некрасов называл «русским везением», — он умер до восстания и поэтому не попал ни на каторгу, ни в крепость. Но между идеей независимости, идеей самодостаточности общественной инициативы, и последующим развитием освободительного движения, конечно, связь была.

Однако нас сейчас интересовало другое — формирование такой важной черты интеллигенции, как общественность, стремление к самостоятельности, самостоятельности мысли, чувств и деятельности.

Благодарю за внимание.

Лекция 6¹ (1989 г.)

Добрый день!

Продолжим наш разговор об интеллигентности как культурном явлении. В прошлый раз мы говорили о формировании психологического склада человека, наделенного интеллигентностью, и выделили такие свойства, как наличие стыда — социального стыда, который порождает невозможность участия в несправедливости. Отсюда и развитое чувство справедливости, и вместе с тем вторая черта, о которой мы говорили, — чувство независимости, в частности социально независимая позиция по отношению к власти и спо-

¹ Передача вышла в эфир в 1989 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1999. № 13. С. 14—19.

507

собность отстаивать эту независимую позицию. Эту последнюю черту надо особенно выделить, потому что мы привыкли к другому.

Путая понятие «человек, наделенный интеллигентностью как неким психологическим культурным свойством», с понятием «человек, занятый нефизическим трудом», мы любим говорить о том, что раз интеллигенция не класс, а прослойка, она находится на службе у господствующего класса. И мы, когда надо и когда не надо, говорим о дипломированных лакеях и исключительно примитивно думаем, что если человек каким-то способом получает вознаграждение за свой труд, то он уже и проданся. Такой упрощенный взгляд приводил к непониманию сущности дела. Когда смотрели на врача как на какого-то корыстного сторонника болезни (ему выгодно, чтобы люди болели!), это приводило к трагическим последствиям в истории России, к тому, что врачей убивали. Напомню вам очерк Николая Лескова, связанный с холерными эпидемиями конца XIX века: врачи думают, что надо убить микроб, а народ думает, что надо убить врача. Какое настороженное отношение к умственному труду! Но сейчас речь будет идти о другом.

Я говорю не о людях умственного труда и вообще не о профессиях, а об особом психологическом складе, который не прикреплен к профессии и может быть свойством и человека

физического труда (и очень часто это бывает). Это свойство интеллигентности как некое культурное достижение человечества, которое принадлежит человечеству в целом. Нельзя такие чувства, как стыд, совесть, расписывать по классам и говорить — этот класс стыдливый, а этот бесстыдный. Это будет грубое упрощение. Точно так же и здесь: нельзя эти вещи решать так спеша, очень просто — на первый взгляд и очень опасно по существу.

Итак, мы говорили о чувстве независимости, и в связи с этим возникал для дворянства, в частности, в России очень сложный вопрос. Дворянин традиционно со средних веков и потом, после петровской реформы, в России назывался «служилый человек». Дворянин — это тот, кто служит, и еще до Петра I феодальное сословие делилось на вотчинников — потомков феодалов самостоятельных, которые имели наследственные земли (поэтому они и назывались «отчины» и «дедины»: служу на своей отчине и дедине), и дворян. Дворянин был тот, кто за службу получает землю: пока он «тянет службу», он пользуется поместьем, он «помещен на земле» (от этого слово «помещик», оно означало как бы временное помещение на земле). Если он не может служить, например он изранен на войне, то московское правительство поступало очень жестко. Если он служит, он имеет землю: земля должна служить (у великого князя Московского земли было не так много, чтобы он мог ею раскидываться). А если не может служить или убит на войне, осталась вдова, то перед нею вставала очень жесткая альтернатива — или выйти замуж или выдать дочь за того, кто может «тянуть службу», а если нет, она должна была отдать поместье.

Таким образом, с самого начала дворянин был тот, кто служит. Особенно это стало ясным, заметным после реформы Петра I. Он сравнивал помещиков и вотчинников, все стали дворянами, все стали «служильными». И Петр I представлял себе службу как обязательную — тот, кто не служит государству, тот тунеядец. Поэтому он все думал, как бы пристроить к делу монахов, и мона-

508

хов называл «долгие бороды, кои по тунеядству своему ныне не в авантаже обретаются», и полагал, что очень хорошо, скажем, монастыри превратить в госпитали, заставить монахов ухаживать за ранеными солдатами, или в богадельни. Куда деть раненых солдат? В монастырь! Петр искал способов, чтобы и монахи служили не Богу, а государству и государю.

Итак, дворянин служил. Правда, по указу о вольности дворянской 1762 года, изданному Петром III и подтвержденному позднее Екатериной и потом еще раз подтвержденному в 1780-е годы, дворянин мог и не служить. Вольность дворянская состояла в том, что дворянин мог не служить, жить в поместье, мог свободно уехать за границу и свободно вернуться; он мог вступить за границей в службу, скажем офицером в иностранную армию, и, вернувшись, должен был быть принят, если хотел, в русскую армию тем же чином.

Таким образом, служба делалась как бы необязательной — не обязательной юридически, но практически она была обязательна, поскольку со службой связывалась честь дворянина. Тот, кто сидит дома, это, действительно, как бы никуда не годный человек, он за зайцами только может охотиться, топтать крестьянские поля, и ему уважения уже не ждать. В любом обществе он пропускает в дверь вперед себя всех, кто служит, и всех, у кого есть чин: раз он не служит, то и чина у него нет, а в России без чина нельзя. И лошадей на станции он получит в последнюю очередь, а может, и вообще не получит. Любой офицер заберет лошадей, а он — сиди жди, и если ему надо подписать бумагу (купчую, завещание), он должен подписываться «недоросль такой-то руку приложил». Хотя он, может быть, уже седой старик, он — недоросль, у него нет чинов.

Но кроме того, это казалось бесчестным. Честь требовала службы, и настоящей службы. Прятаться в придворных чинах можно было, но считалось, по неофициальному счету, вообще бесчестным. Дворянин должен быть военным, должен лезть на стены крепостей, быть изранен — и тогда он заслужил честь. Но как же совмещалось требование независимости от правительства и требование службы?

Я уже в прошлый раз говорил, что Николай Иванович Новиков вышел в отставку поручиком. Это был вызов. И позже, когда Екатерина его отправила в крепость, то на следственном деле она написала, что рано вышел в отставку, не выполнил долг гражданина. Между тем появлялось поколение, которое не хотело служить, как отцы, в гвардии, при дворе, в армии, в канцелярии, а хотело служить обществу. Молодой писатель Николай Михайлович Карамзин вышел в отставку очень рано, тоже поручиком, и уехал за границу. Вернувшись, уже в службу не вступил и даже дерзко писал в «Послании к женщинам» — тоже не без вызова, — что посвящает свою музу не государыне, не России даже, а женщинам и любви:

Вложил свой меч в ножны («Россия, торжествуй, — Сказал я, — без меня!»)... и, вместо острой шпаги, Взял в руки лист бумаги¹.

¹ Карамзин Н. М. Собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 170.

509

Он свой дворянский отцовский меч повесил на стену, взял в руки перо и всю жизнь был «приватным» человеком. Позже, когда Александр I, будучи личным другом Карамзина, предлагал ему очень заманчивые карьеры — место министра, место государственного секретаря, то Карамзин неизменно отказывался — никогда больше он не служил.

Так как же можно было совместить независимость и службу? Перед этой альтернативой, как

вы помните, встал и нас поставил Чацкий у Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Служба государству — отказ от независимости, это уже не служба, а «прислуживание». Первый шаг — отделить государство от личности царя, от личности вельможи, от личности министра и служить абстракции государства. Тот же Чацкий говорит: «Кто служит делу, а не лицам...» Помните, на это Фамусов кричит: «Строжайше б запретил я этим господам / На выстрел подъезжать к столицам»¹. Поскольку в самодержавном государстве дело и лицо — личность царя и государство — не отличаются, то служба государству подразумевает личную привязанность к царю. Помните, Николай Ростов у Толстого в «Войне и мире», человек патриотического монархического чувства, влюблен в Александра I, как гимназистка может быть влюблена в учителя гимназии. Конечно, без этого монархического чувства быть не может. И когда просвещенный человек пушкинской эпохи, эпохи декабристов, отделяет лицо от должности — это уже значительный шаг к освобождению от привлекательности, от колдовства службы.

Но надо иметь в виду, как сильно было для этого поколения это колдовство. Людям поколения Некрасова уже не приходилось делать этого выбора, для них вся очарованность служения государству давно была вычеркнута из сознания. Но люди пушкинской эпохи еще служили, все декабристы были служащими людьми, они все были офицерами, и офицерами хорошими. Они были не только заговорщиками, политическими конспираторами, которые только и думали о том, как бы царя уничтожить, они хорошо знали то, что тогда называлось «царей науку», то есть фрунтовую науку, муштру: они умели вести солдат в бой и умели готовить их для парада. Когда Пестель получил последний, расхлябанный Вятский полк, он его привел в образцовое состояние, и на смотре Александр I, который не любил Пестеля, должен был признать, что полк в образцовом состоянии. А знаменитый вольнодумец Михаил Лунин соревновался в знании строевой службы с таким поэтом фрунтмании, как великий князь Константин. Когда была придумана для уланов новая форма с ремешками, петличками, застежками, очень красивая на параде, но не пригодная для службы, Лунин показал — на спор, на пари — великому князю непригодность этой формы: он скомандовал своим уланам «с коня», и как только они встали на землю ногой — «на коня». Когда они вскочили в седла, все полопалось. Константин сказал: «Свой брат, все штуки знает». Лунин знал все «штуки». Таким образом, они умели служить, неслужащих среди них не было.

В этом смысле, пожалуй, совершенно уникальный человек Пушкин, который к службе относился с самого начала презрительно. Он служил после

¹ Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 37.

510

Лицея по Министерству иностранных дел и был приведен к присяге в один день с Грибоедовым. Но Грибоедов и считал себя дипломатом, и готовился к этой службе, и очень серьезно к ней относился, а Пушкин считал, что это как бы стипендия для писания стихов. Попав на юг, он уже прямо писал, что считает свое жалованье пайком ссыльного, и после больше уже не служил, если не считать принудительного камер-юнкерства, которое навязал ему Николай I.

Еще один уникальный персонаж — это Евгений Онегин. Посмотрите: среди знакомых Пушкина (а мы знаем знакомых Пушкина — есть прекрасный справочник Черейского¹, где все они перечислены, все биографии есть) нет ни одного неслужащего человека. А Евгений Онегин, видимо, не служил ни одного дня. Вся его биография перед нами:

Сперва Madame за ним ходила,

Потом Monsieur ee сменил <...>

Monsieur l'Abbe, француз убогий...²

Потом Онегин в свете, потом в деревне. Это совершенно «белая ворона» среди людей той поры. Мы говорим, что он «типичный представитель» (такие мы слова говорим!). Он — типичный «нетипичный», он — очень особенный человек, и это, конечно, не случайно. Это было заметно читателям той поры.

Так как же совместить все-таки службу государству и службу обществу? Этот вопрос перед поколением декабристов стоял очень остро. И слово нашел Иван Пущин, лицейский друг Пушкина. Когда он, приехав в Михайловское, полупризнался в том, что он член тайного общества, и, по собственному свидетельству, сказал Пушкину такие слова: «Не я один поступил в это новое служение отечеству»³. Вот тут эта как будто незначительная стилистическая разница очень важна: государственная *служба* — общественное *служение*. Если служба — это неизбежно служба лицам, а не делу, то для того, чтобы служить делу, надо перейти к служению, а служение — это добровольное подчинение своих задач, своей личности, своего человеческого облика чему-то большому и важному. Слово «дело» приобретает в декабристских кругах особое значение, и потом это сохранится на протяжении всей истории русской *интеллигентности*. Слово «дело», которое пишется как бы с большой буквы, означает нечто святое — это всегда Дело не для себя. Служба — это погоня за чином, а служение чаще всего приводит на каторгу. И отсюда и еще одна черта, которая входит в интеллигентность, — жертвенность, готовность к жертве.

Жертва здесь не самоцель и не стремление поиграть опасностью, а готовность заплатить за свои идеалы самую дорогую цену. Это тоже очень важно, поэтому появляется, с одной стороны, понятие бескорыстности (которое

¹ См.: Иерейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1976.

² Пушкин А. С. Т. 5. С. 10.³ Пушин И. И. Записки о Пушкине // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 108.

511

в XIX веке играет важную роль в интеллигентной среде). Уже в XVIII веке в новиковском кругу развивается понятие бессребреничества, оно противопоставит сребролюбию (тем тридцати сребреникам, за которые Иуда продал Христа). Бессребреничество — это равнодушие к деньгам. Когда московский губернатор захотел подарить своему адъютанту, масону и другу Новикова Семену Гамалею, триста душ крестьян, тот отказался: «Я не знаю, что с одной душой, со своей душой делать». И хотя среди декабристов были очень богатые люди, презрение к богатству и бессребренический аскетизм были очень распространены в декабристском кругу. Например, Федор Глинка — полковник, гвардеец, боевой офицер, весь в орденах от ворота до колен, и писатель известный, и адъютант петербургского главнокомандующего Милорадовича (очень большая должность!) — бессребреник: крестьян у него нет, жалованье гвардии полковника только кажется большим, ведь жить и вести светскую жизнь в Петербурге очень дорого. Он — инициатор многих филантропических мероприятий: только он услышит, что есть какой-нибудь крепостной скрипач или крепостной поэт и его надо выкупить, он организует подписку. Он инициатор гласности: услышит, как какой-то помещик издевается над крестьянами, и придает это известности. А сам, когда надо выкупить крестьянина, отказывается от чая и пьет кипяток, потому что чай дорог; покрывается ночью шинелью и с гордостью несет свою бедность. Позже Гоголь говорил, что возлюбил свою бедность.

В отличие от светского круга, государственного круга, где уважают богатство, в этом кругу уважают бедность. И это служение, бессребреническое, бескорыстное, связанное с жертвой, вызывает, конечно, знакомые ассоциации. Все эти люди регулярно бывают в церкви, они воспитаны на житиях святых — образы мучеников и этика жертвы придает интеллигенции, особенно вступившей на путь борьбы, черты христианского мученичества, и это будет очень устойчиво. Позже Некрасов напишет о Чернышевском:

Его еще покамест не распяли, Но час придет — он будет на кресте: Его послал бог Гнева и Печали Рабам земли напомнить о Христе¹.

Чернышевский — материалист и, как многие выходцы из духовной среды, не любит духовную среду, но для описания его жертвы Некрасов находит образы из христианской традиции.

Итак, мы видим, что в этический идеал входит жертва, входит готовность расплатиться за убеждения дорогой ценой. Но идеал служения означает не просто отказ от эгоизма. Дело в том, что от эгоизма можно по-разному отказываться. Позже, после славянофилов, особенно в XX веке, будет распространено стремление смириться и признать свою вину перед народом настолько, чтобы отказаться и от своей личности. Эпоха, о которой мы говорим, подразумевала служение народу одновременно с высоким уважением

¹ Некрасов Н. А. Пророк // Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 3. С. 154.

512

к себе. Это очень важно, потому что потеря уважения к себе — одно из величайших национальных несчастий. Там, где человек не уважает самого себя и думает, что если он позволит себя унижить, то это не препятствует его высоким представлениям и даже может означать, что он уж настолько любит свой народ, что жертвует и своим достоинством, — это представление глубоко ошибочное.

Карамзин в свое время оказался в трудной ситуации: приехал в Петербург, привез восемь томов своей «Истории» и должен был получить у царя разрешение и деньги на печатание, у него самого денег не было. При дворе его приняли очень радушно великие княгини и великие княжны, он читал «Историю», ему делали комплименты, а государь Александр I не принимал, потому что Карамзин был горд и на поклон к Аракчееву не шел. Карамзину давали стороной понять, что пока он не сходит к Аракчееву, царь его не примет. Карамзин ждал, время шло, Александр I, как писал Карамзин жене, «душит меня на розах». Дальше он говорит жене, что не может пожертвовать своим достоинством, потому что его достоинство принадлежит и ему, и его жене, и его детям, и России, и если он позволит унижить себя, он совершит преступление перед культурой. Этого допустить нельзя. И это нам объяснит интересные стороны во взглядах Пушкина.

Пушкин в 1830-е годы, прочтя трактат Чаадаева «Философические письма», во многом с Чаадаевым не согласился. Его представление об истории России, истории Европы не совпадало с чаадаевским. «Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы», — писал он Чаадаеву по-французски¹. Но в одном он с ним согласился: общественная жизнь печальна — «...это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной...»². Без собственного достоинства каждого отдельного человека не может быть ни демократии, ни культуры. И демократия не может возникать там, где человек не уважает сам себя. Это объясняет нам некоторые пушкинские строки.

В конце 1820-х годов Пушкин начал переводить стихотворение английского поэта Саути, подражание античности, гимн домашним богам. У греков и у римлян одним из важнейших

божеств были Лары, Пенаты — домашние боги, которым ставились в домах алтари и которые покровительствовали дому. Пушкин переводит гимн домашним богам:

Они меня любить, лелеять учат
Не смертные, таинственные чувства.
И нас они науке первой учат:

*Чтить самого себя*³.

«Чтить самого себя» — отсюда высокое уважение к домашней жизни. Служба противоречит этому уважению — служба царям. Служение идеалам подразумевает уважение к дому, к потомкам, а потомки представляются

¹ Пушкин А. С. Т. 10. С. 838.

² Там же. С. 872—873.

³ Там же. Т. 3. С. 158.

513

не абстракцией, а своими детьми и внуками, как у Пушкина во «Вновь я посетил...»:

Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит¹.

Или же:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как.....пустыня

И как алтарь без божества².

Первый вариант, который Пушкин вычеркнул, звучал еще сильнее: на нем, на чувстве дома, «...основано отвеса / По воле бога самого / Самостоянье человека, / Залог величия его»³.

«Самостоянье человека» — это и было для Пушкина тем, что связывает человека с его корнями, — сейчас это очень актуальный вопрос. Что такое корни? Для Пушкина это не абстракция, это — дом отцов, кладбище, на котором похоронены предки. Это — реальность. Но вместе с тем — и это важная черта этого поколения — это не противоречит гораздо более широким чувствам. Люди конца XVIII — начала XIX века, воспитанные на идеях Просвещения, принципиально чужды исключительности. Они пронизаны тем чувством, в которое в XVIII веке просветители во Франции включили слово «терпимость», «толерантность», — то чувство, которое продиктовало Вольтеру слова, адресованные им своему противнику: «Я ни в чем с вами не согласен, сударь, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели возможность высказать свои мысли». Вот это очень важно.

Таким образом, уважение *к себе* есть уважение *к другому*. Оно не включает рабского подавления своей личности, рабского смирения, но не включает и рабской агрессивности, потому что подавление чужой личности и отсутствие уважения к своей — это, по сути дела, две стороны одной медали. В этом смысле — уже на уровне национальных организмов — высоко назначение интеллигентности.

Интеллигенция в национально угнетенных странах закономерно становится во главе национального движения, движения за независимость своего

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 346. ² Там же. С. 214. ³ Там же. С. 468.

514

народа. Интеллигенция в угнетающих странах закономерно становится во главе освободительного движения.

Мы так привыкли бросать камень в интеллигенцию, говорить о ней пренебрежительно, и еще очень любим говорить, что она оторвана от корней, что она не национальна. Кто же не «национальный» — Пушкин не национальный? Пушкин «оторван от корней»? Достоевский, Толстой, Чехов? А кто же тогда — корни и, простите, на чьих корнях мы растем? Неужели же считать тот путь, который, действительно, до сих пор составляет нашу гордость, ошибкой и тупиком? И, как мы дальше увидим, само отрицательное отношение к интеллигенции родилось в недрах интеллигенции как самокритика, как порождение высоких требований к себе. Но очень часто (как, например, вы помните, чем кончается «Гамлет») по ходу поединка противники меняются шпагами и отравленная шпага попадает не в те руки. Это выработанное интеллигенцией понятие высокой требовательности было позже повернуто против интеллигентности как раз теми, кто не был заинтересован в сознательности, в высоком нравственном культурном цветении народной жизни.

По крайней мере, мы знаем, что всякий раз, в тех или иных условиях — как правило,

авторитарные правительства — уничтожали интеллигенцию. Между прочим, это еще восточная практика — восточные цари, завоевывая другое государство, в первую очередь уничтожали жрецов и грамотных людей, потому что тогда поработить народ гораздо легче. То же самое мы наблюдаем не только на древнем Востоке. И шпага эта была повернута против интеллигенции уже теми, кто не хотел бы более высокого нравственного уровня, кто принадлежал к силам самого, я бы сказал, мрачного свойства.

Но мы сейчас говорили только о начале пути, мы как бы оставляем русскую интеллигенцию перед порогом революционного движения. Она еще не перешагнула ту черту, которая отделяет независимость от идеи борьбы против государственного порядка. Это мы постараемся осветить в будущем.

Благодарю за внимание.

Цикл четвертый Человек и искусство (1990 г.)

Лекция 1¹ (1990 г.)

Добрый день!

Сегодня мы приступаем к продолжению нашего уже длительного время развивающегося курса о значении и месте культуры в том мире, в котором мы живем, — в современном мире. Но поскольку «сегодня» всегда опирается одной рукой на «вчера», другой — на «завтра», то мы неизбежно будем говорить о том, каково место культуры в прошлом и что мы можем от нее ждать в будущем. Это очень серьезный вопрос, и, как мы увидим, далеко не всегда прогнозы здесь бывали оптимистическими.

Итак, что же мы можем ждать от культуры? Но сегодня мы будем говорить об одной части этого вопроса — об искусстве. Вопрос, с одной стороны, как бы простой и даже, кажется, немножко глуповатый. Спросите: зачем нужно искусство и можем ли мы без него обойтись? Естественно, каждый ответит: искусство очень нужно, без него плохо. Мало найдется смелых людей, которые скажут: нет, оно не нужно. Это будут или невежды, или же очень глубокие философы. И те и другие высказывали такую мысль, — об этом мы еще будем говорить. Но гораздо труднее ответить на вопрос: почему? Если мы спросим, почему нужно, или чуть-чуть передвинем вопрос: зачем нужно? какую пользу нам оно дает? Помните, у Пушкина в стихах читатели спрашивают поэта, какую пользу приносят его стихи. Поэт у Пушкина как бы уходит от ответа.

На этот трудный вопрос отвечали много и по-разному, но чаще всего говорили о пользе искусства как о некоем помощнике: искусство помогает просвещению. Для того чтобы обучать разным скучным вещам, удобно прибегать к полезному, приятному, поэтическому, красивому искусству, как сказал один поэт конца XVIII века, сравнив искусство с лекарством. Оно как бы подбавляет сахар в неприятное лекарство истины:

Так врач болящего младенца ко устам Несет фиал, сладьми упитан по краям:

¹ Передача вышла в эфир в 1990 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1997. № 7. С. 81—90 (ошибочно указано название цикла).

516

Несчастный ослеплен, пьет сладкое спасенье.

Обман дарует жизнь, дарует исцеленье¹.

То есть если, например, просто воспитывать нравственность, то это будет скучно: дети не будут слушать, средние люди не привыкли слушать философские политические истины. Мы им подадим это в красивых стихах и обманем их для их же спасения. Это очень старый взгляд. Он высказывался еще в античности, и в разных формулах он все время повторяется. Искусство полезно для педагогики, искусство полезно для нравственности: мы воспитываем людей на хороших примерах. Не случайно до сих пор, когда мы проходим художественную литературу в школе, нет-нет да и говорим ученикам: видите, этот герой достоин подражания, он — хороший, он — патриот или он — мыслитель, он — философ, он — герой. А этот — отрицательный персонаж, не поступайте, дети, как он. Между прочим, над этим не нужно смеяться. Действительно, искусство употребляется и для педагогики, и для воспитания, и для пропаганды нравственности, и для политических целей. Когда говорит оратор, аудитория лучше воспринимает его идеи, если они выражены в образах. Он прибегает к художественным средствам, потому он и оратор.

Но ведь все время здесь искусство *для чего-то*. Оно как бы хороший помощник, слуга, учитель, но все время оно служит кому-то другому. Это, между прочим, неплохо, и освободить искусство от этих добавочных целей нельзя, даже если бы мы решили. Все попытки создать искусство, отделенное от неискусства, никогда не приводили к успеху — этого просто нельзя сделать. Но все-таки это другие задачи, все-таки это — использование искусства как средства.

А является ли искусство целью? На это отвечали часто, и был такой ответ: есть искусство, которое не имеет никакой цели и само себе служит. Мы часто осуждали, говорили, что это эстетизм, что это чистое искусство. И действительно, очень часто такой взгляд имел оттенок отстранения от политики, отстранения от науки, отстранения от пользы, а между тем подобный взгляд имеет некоторые более глубокие основы.

Тут нам придется немного поговорить как будто бы о другом вопросе, но вопросе очень важном, который поднимался давно: а нравственно ли искусство? И на него в истории философии и в истории мысли есть тоже два

¹ Ю. М. Лотман цитирует по памяти первую песнь поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» в переводе А. Ф. Мерзлякова (М., 1828. Ч. 1. С. 2). Ср. у Мерзлякова:

Так врач болящего младенца пред устами
Склоняет, по краям напитанный сладьми,
Фиал, где горький сок, обманутый пьет,
И жизнь ему обман невинный сей дает!

Эти стихи дважды цитировал В. Г. Белинский в собственной интерпретации, и строки,

приведенные Лотманом, близки к варианту Белинского. Первые два стиха совпадают, далее ср.:

Счастливец обольщен, пьет горькое целенье,

Обман ему дал жизнь, обман ему спасенье!

(Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 68; ср.: Там же. Т. 1. С. 136).

517

ответа. Один ответ таков: искусство, художество, мастерство, прекрасное не связаны с нравственностью. Нравственность — важная вещь, но она использует искусство как орудие и стоит вне искусства.

У этого вопроса есть очень серьезный аспект: религия и искусство. Религия, нравственность имеют самостоятельную ценность без искусства, но используют его. Опять перед нами искусство как средство. Оно кому-то служит, и, с этой точки зрения, искусство может служить нравственному, но может служить и безнравственному. Тут мы и подходим к вопросу очень важному: искусство может быть очень опасно. Это оружие, оно стреляет. А куда стреляет? Это уже зависит от того, кто берет его в руки. Очень многие мыслители с давних пор с осторожностью смотрят на искусство. Назовем античного философа Платона, к которому мы сейчас вернемся, и такого мыслителя, как Лев Толстой. Это не дети, не неграмотные люди, эти люди видят сильное оружие и видят, что оно может попадать в разные руки.

Есть и другой ответ. Говорят, что искусство может попадать только в нравственные руки, что, оказавшись в безнравственных руках, оно перестает быть искусством. Об этом говорил Кант, об этом вообще говорили многие люди.

Однако важно, что искусство, когда оно изображает плохое, совсем не агитирует за плохое. Наивно думать, что мы, увидев плохие действия, преступления — в кинематографе или на сцене, — сейчас же станем плохими людьми, а что хорошими людьми становятся только те, которые смотрят «хорошие картинки».

Мы оказываемся перед еще одним сложным и трудным вопросом: имеем ли мы право тратить такие средства на искусство? И много раз люди отвечали: человечество страдает, голодает, не имеет самого нужного, оно невежественно, необразованно, жестоко, у него мало средств, а мы будем писать стихи! И ведь кто пишет стихи? Искусство — вещь второстепенная, это — отдых, как сказал Державин в XVIII веке:

Поэзия тебе любезна,

Приятна, сладостна, полезна,

Как летом вкусный лимонад¹.

Приятно выпить лимонад, но можно обойтись без него. И сам Державин, великий поэт и очень неудачный политик, считал, что потомки ему простят стихи за его политику.

За слова — меня пусть гложет,

За дела — сатирик чтит².

На это Пушкин ответил очень остро: «Слова поэта суть его дела»³. Поэзия — деятельность, а не только, как говорил Гамлет, «слова, слова, слова...».

¹ Державин Г. Р. Фелица // Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 101.

² Державин Г. Р. Храповицкому (Храповицкой! дружбы знаки...) // Там же. С. 248.

³ Это высказывание Пушкина известно по свидетельству: Гоголь Н. В. Т. 8. С. 229. Жуковский В. А. О поэте и современном его значении // Жуковский В. А. [Проза поэта]. М., 2001. С. 155.

518

Итак, значит, еще один вопрос: имеем ли мы право заниматься искусством, когда люди голодны, несчастливы и больны? И отбирать на это в «бедном богатстве» людей (талантливых людей не так много, и энергичных людей тоже не так много) — и вот из этих талантливых людей отбирать самых энергичных, инициативных, чтобы они писали стихи, а не занимались бы нужным — не кормили и лечили... И это тоже совсем не простой вопрос.

Между прочим, в Древней Греции, и не только в Греции, вообще на фольклорном этапе у многих народов, поэты, как правило, — слепцы. И реалистически мыслящие ученые прошлого столетия рассуждали так: вот это разумное основание — слепой человек ничего полезного не может делать, и он — поэт. Вот Гомер — слепой, ни воевать, ни торговать, ни по морю плавать он не может, он сочиняет песни. Это кажется разумным. Но это взгляд человека XIX века, взгляд позитивиста. Для людей же античной эпохи слепой — это не тот, кто не может техникой заниматься, а тот, кто с Богом говорит. И его слепота для людей есть высокое зрение для Бога. Как Бог говорит через святых, так он говорит через поэтов. Поэтому то, что Гомер — слепой, не означало, что он никуда не годный (только стишки писать!), а означало, что он предназначен для высшего — для того, что не будет доверено тем, кто хорошо торгует, хорошо плавает по морям и прекрасно машет мечами и копьями.

Итак, искусство как бы нужно, но все-таки мы все время уходим от вопросов. То, что оно нужно, мы чувствуем, но зачем? И если дело только в том, что нам без него будет скучно, — ну так, может быть, пусть будет скучно? Ведь, в конце концов, не все же: «Ты все пела — это дело! Так пойдй же попляши», не все же развлекаться!

Но опять, как очень часто бывает, мы пока не можем объяснить, а сошлемся на факты. Факты — тоже доказательства. Сколько мы знаем историю человечества, мы сталкиваемся с фактом искусства. Мы не знаем ни одного случая, чтобы люди сначала делали бы практические дела, а

потом занимались бы искусством. Более того, общества без искусства не существует и не было. Есть, конечно, конкретные случаи больных обществ, обществ умирающих. История такова, что умирающее общество может переродиться и снова омолодиться — не все умирающие общества исчезают. Но могут и вовсе исчезнуть. И вот эти трагические моменты коллективной социальной смерти — это, действительно, моменты без искусства. Как сказано в Библии, горе народу, истребляющему своих пророков. А то, что поэты — пророки, это уже старая мысль, она неоднократно повторялась.

Но вы опять скажете: это же пример, а не доказательство. Я только указал, чего не было, но не сказал, почему не было, почему этого не может быть. Действительно, перед нами большой вопросительный знак. Постараемся все-таки разобраться.

Прежде всего, подумаем о том, как было бы, если бы мы убрали искусство. Такие опыты были. И в этом смысле вот блестящий пример великого античного философа Платона, который обрисовал структуру идеального общества. В этом идеальном обществе он — нельзя сказать, что он исключил искусство, — но он сделал с искусством очень интересную вещь.

Платон — глубокий мыслитель (понимаете, можно приклеить к нему разные слова — «идеалист», еще разные слова, но Платон один из самых глубо-

519

ких мыслителей в истории человечества). Хотя то, что я буду говорить, мне представляется — ну, как бы сказать?.. Смешно сказать, что я не согласен с Платоном, — это просто комедия, но я могу объяснить, почему он *так* думает, а раз я могу объяснить, значит, я уже стою как-то в стороне от этих мыслей. Тем не менее он один из величайших мыслителей. В одну из своих работ, в книгу, которую Платон назвал «Законы», в первую часть, он включил — в обычной своей манере диалога — рассуждения о том, нужно ли искусство. Один из участников диалога рассказал о прекрасном обществе. Платон назвал это общество «Древним Египтом» — на самом деле он создал, как часто с ним бывало, утопию. В этом идеальном обществе к искусству относятся как к очень опасному оружию. «Древние египтяне» сделали, по словам Платона, так: они собрали самых мудрых, самых авторитетных людей, которые отобрали лучшие произведения искусства. Ими оказались народные песни. И — «закрепили» эти песни, и запретили делать что-нибудь другое. Все, что нужно, все потребности в художественном люди удовлетворяют этими древними песнями. Как пишет Платон, нельзя (не для энергичного слова, а в самом деле нельзя, говорит он) отличить у «египтян» то, что написано тысячу лет назад, от того, что написано сегодня, фактически ничего нового не пишется вообще.

Это существенная мысль. Это попытка остановить движение: ведь мы не знаем, куда оно идет (движение в «никуда»). Мы находимся на очень быстром поезде, который несется с необычной скоростью. Куда он несется? Всякий раз, когда мы говорим: «мы знаем, куда он несется», и даже когда мы говорим: «мы им управляем», «мы за рулем», то очень скоро оказывается, что мы вовсе не за рулем, мы только держим веревочку, привязанную не понять к чему. Куда же он несется?

Это нас не должно удивлять. Наука — фактически — для того, чтобы постигнуть, должна перейти из изучаемого во внешнюю точку зрения, а мы находимся внутри этого мира. Я не хочу сказать, что мы не можем сказать, *куда несется*, но это настолько трудно, что до сих пор, вероятно, мы еще этого не говорили достаточно глубоко.

Поэтому и была сделана попытка заменить движение по прямой движением по кругу. Платон не против движения, он только хочет, чтобы оно повторялось так же, как повторяется погода: у нас есть вечные песни, как есть вечные зима, лето. Они всегда новые и всегда — те же самые. Мы ведь не говорим каждый раз, что опять лето, что уже в прошлом году было лето. Точно так же платоновские герои будут петь песни, которые пели тысячи лет тому назад, и не скажут: опять эти песни! Ну и что ж, что «опять»? Они будут жить в циклическом мире. Этот мир, по мнению Платона, остановит человечество от безумного движения в «никуда».

Мысли Платона вряд ли реальны. Почему — я сейчас попытаюсь сказать. Но они имеют основание. Мы можем определить историческую сущность эпохи, которая породила Платона, но мы должны заметить, что он, может быть, первый встревожился тем, чему долгое время люди не удосуживались удивиться и, может быть, испугаться. А «удивиться» и «испугаться» — это уже моторы науки. Это уже те стимулы, которые нам дают возможность действий и поэтому, может быть, надежду. Если мы летим неизвестно куда и не

520

знаем этого, то мы в положении трагическом. Но если мы осознали, что наш разум — активная сила и что он потому и разум, что имеет выбор (и выбор есть всегда — об этом мы и будем говорить, это будет одной из наших главных проблем, главных мыслей), а раз есть выбор, то есть и надежда. Нет выбора — нет надежды. Вот тут мы сделаем следующее сравнение.

Люди совершают очень много разных действий: играют, забавляются, работают, едят, рожают, организуются в общества. Очень многие из этих функций имеют параллели у животных. Представление о том, что животные — глупые, животные — не говорят, — это представление детское. Когда ребенок хочет себя утвердить, он выдумывает другого, который хуже, чем он. Он кричит: «я сильный, я большой, а ты — маленький», даже если он смотрит на огромного дядю, «ты глупый — я умный, я все знаю». И наше отношение к животным долго строилось по

принципу отношения детей к другим людям. Животные обладают интеллектом, культурой, животные обладают многими очень ценными качествами, которые мы потеряли. И единственное, что я хочу сказать, — относиться к ним надо с уважением. Главное — их очень интересно изучать. Интересно и очень полезно.

Животные — как бы идеальные герои Платона, и это не должно унижать Платона. Животные имеют и танцы, и игры, и язык, и поступки — я имею в виду, конечно, не всех животных (это другой вопрос). Мы будем говорить о высших млекопитающих — это то, что нам легко наблюдать, то, что мы можем понять. Сможем ли мы вообще понять насекомых — это очень большой вопрос, и я просто сейчас не хочу его касаться.

Вот знакомый нам мир — высшие млекопитающие. Они как будто бы очень нам параллельны. Но они поступают идеально — «по Платону». Они мыслят циклически и действуют циклически. Очень важно и то, что у животных есть малопредсказуемые моменты поведения и есть моменты поведения, которые выучены, как балльные танцы, которые предсказуемы в очень сильной степени. Так вот, оказывается, что совсем не так, как у нас.

У нас, когда происходит что-то важное, мы можем совершить что-то неожиданное. Животные именно в важные моменты неожиданного не делают. Любовные сцены, драки в брачный период, воспитание детей, драки между собой — ритуализованы. Как правило, они совершаются по строгим, почти как балет, правилам. Мы видим, какое действие делает один участник, и сразу же можем предсказать другое действие (очень легко поэтому контакты животных описать как танцы, как балет).

Между прочим, описан такой случай. В каком-то регионе есть хищники, и у каждой группы есть своя территория, где они чувствуют себя на своей земле, и тут их поведение очень предсказуемо. Но вот в этот район вторглись люди. Вообще люди ужасно вредят животным: то, что животные делают безумными, истерическими, опасными, — это из-за вторжения человека. Вторгся человек и какого-то хищника выбил из его места. Он ищет свое новое место и попадает к тому, который находится на своем месте. Между ними возникает конфликт, и конфликт этот, между прочим, очень редко кончается дракой. Он протекает как демонстрация сил. Один демонстрирует свою силу и свою решимость, показывает, что голоден и будет биться до последнего, а другой — сыт. Или наоборот: один демонстрирует, что это его

521

земля и он будет биться до последнего. Тогда тот, другой, поджмивает хвост и уходит. Конечно, при этом учитывается не только настроение, но и сила — они говорят жестами и прекрасно понимают друг друга. Но очень важно, что животные на чужой земле непредсказуемы или малопредсказуемы: они становятся безумными, делают несоциальными, у них нарушена правильная повторяемость поведения.

Не известно, что произошло с «предчеловеками». Был ли это успех или была это генетическая катастрофа, но произошла очень важная перемена, которая нарушила предсказуемость поведения. Оказалось, что наименее важные части жизни как бы более предсказуемы. Вернее, получилось чуть-чуть иначе. И тут появилось то, что мы называем человеческим разумом и что, в свою очередь, означает, что мы знаем условия, но не можем точно предсказать результат.

Замечательный ученый Илья Пригожин, лауреат Нобелевской премии, фактически сделал переворот в современной науке, поскольку занялся непредсказуемыми ситуациями — в химии, вообще — в естественных процессах. (Он сейчас живет в Америке, а так он бельгийско-американский ученый, но родители его русского происхождения, сам он по-русски говорит с очень большими ошибками, а английский и французский для него естественны). Пригожин довел свое изучение до насекомых (как видно из тех работ, которые опубликованы до сих пор), и вообще до того, что традиционно из науки исключалось.

Казалось, что наука занимается тем, что повторяемо. Это был один из основных принципов науки: наука не изучает случайного. Все делилось на закономерное — то, что повторяется правильно, то, что можно предсказать, и на случайное, которое не повторяется и которое предсказать нельзя. А как же мы тогда смотрели на историю?

Мы видели в ней совершенно железно повторяемости и говорили, что свобода — это осознанная необходимость. Мы можем понять то, что объективно должно произойти, — вот вся наша свобода. Но выбора, чтобы сказать: из этой точки можно пойти сюда и туда и никто не знает, куда мы пойдем, — этого сказать нельзя было. Тогда действительно мы получали фатальную линию движения человечества. Оно имеет начало, и по этому началу мы можем высчитать все до конца. Если мы не «высчитываем», значит, у нас недостаточно информации. Надо собрать еще больше, а если мы будем, как Господь, знать все, то мы скажем, как Эйнштейн: «Господь в кости не играет». Для Него случайностей нет.

Взгляд, о котором я сейчас говорил, — пригожинский — скорее представит нам Бога как экспериментатора, который наблюдает мир и познает себя. Педагог знает результаты эксперимента, а ученый — не знает. Для ученого эксперименты, результаты которых известны, уже не эксперименты. С этой, пригожинской, точки зрения, Бог — не педагог, а ученый и мир Ему нужен потому, что он таинствен и непредсказуем.

Вернее. Пригожин (то, что я сказал, это очень приблизительно — не только потому, что я

популярно хочу говорить, а просто в силу неполноты моих знаний) видит, что в истории — он имеет в виду историю природы, историю не человеческую, а естественную — в ней сменяют друг друга предсказуемые

522

процессы — медленные. А потом наступает точка, когда движение вступает в непредсказуемый этап, и в эту минуту оно оказывается на распутье минимум двух, а практически, конечно, огромного числа дорог. Раньше мы сказали бы: можно высчитать вероятность, по которой из этих двух дорог оно пойдет. В том-то и дело, что, по глубокой мысли Пригожина, в этот момент и вероятность не срабатывает, а срабатывает случайность.

Когда мы смотрим вперед — мы видим случайности. Как только мы смотрим назад — эти случайности становятся для нас закономерностями. Историк как бы все время видит закономерное, потому что он не может написать ту историю, которая не произошла. На самом же деле, с этой точки зрения, история есть один из возможных путей. Реализованный путь есть потеря других путей. Мы все время обретаем — и мы все время теряем.

Это не так удивительно. Посмотрите на более понятный нам процесс — на движение человека от рождения к старости. Человек все время движется вперед и все время теряет выбор, и каждый шаг вперед есть потеря. Как-то мы ехали в поезде, мальчик, глядя на каждую дорожку, которую мы пересекали, спрашивал: а по этой дорожке мы пройдем? Дороги, которые мы пересекли, — по ним мы не пойдем. А проходить непройденными дорогами нужно, потому что иначе опыт человеческий, сознание теряют огромные резервы. И тут первое, с чем мы сталкиваемся, — с необходимостью искусства. Оно дает опыт прохождения непройденных дорог — не только того, что случилось, но и того, что не случилось. А история *неслучившегося* — это великая и очень важная история. Только с этой точки зрения мы увидим, что человечество, которое на сумасшедшем поезде летит неизвестно куда, может положить руку на руль. Оно еще для этого не созрело, но, может быть, успеет созреть. Может быть, успеет.

И тут мы подходим к очень важному вопросу. Вот с этой точки зрения мы можем сказать, что искусство — уже не «летом вкусный лимонад», а возможность пережить непережитое, возможность приобрести опыт там, где нет опыта. Ведь жизнь нам фактически не дает опыта, потому что мы не можем второй раз переиграть жизнь. Новый случай — это уже другой случай. Наша постоянная и большая ошибка состоит в том, что мы все время будущее воспринимаем через прошлое.

Мы говорим: у меня есть опыт — в этой ситуации этого делать нельзя, а я сделал, но теперь я не сделаю. Однако «теперь» не будет этой ситуацией, мы обманемся, если скажем, что это та самая ситуация. Искусство же дает эту возможность. Оно есть вторая деятельность и огромная вторая жизнь, огромный опыт. И тогда мы скажем: тот человек, который важнейшие действия совершает впервые и один раз навсегда, не имея опыта, этот человек нуждается в искусстве. Оно есть опыт — опыт того, что не случилось, или того, что может случиться. Оно расширяет наши возможности.

Это первый шаг, но это не все. Кроме того, искусство включает еще один момент. Человек находится, как и животные, в стихийном мире, но, в отличие от животных, он этот мир осознает, создает себе модель этого мира, поэтому может совершать выбор.

Я говорил, что животные в обычной жизни имеют выбор. Любая кошка может пойти в эту сторону, может пойти в ту, может прыгнуть, может — нет.

523

В этом случае она — свободна. Но когда она совершает важные поступки — встречается с котом в определенное время года или вступает в драку, — тут свобода кончается. Здесь начинаются ритуально-театральные жесты — строгое осуществление поведения. С этой позиции нам только кажется, что они будто бы танцуют и что это — искусство. Здесь искусства не будет — нет выбора и нет возможности поступить иначе.

Когда поступает человек, то у него есть выбор. Что же такое выбор? Вопрос очень важный. Когда мы говорим, что свобода — это осознанная необходимость, что нам только кажется, что у нас есть выбор, а выбора у нас нет, тогда у нас нет и ответственности. Там, где есть выбор, там есть ответственность. Тогда возникает другой вопрос, о котором мы будем говорить в следующий раз, — искусство и нравственность.

Лекция 2¹ (1990 г.)

В прошлый раз мы говорили о том, почему искусство необходимо и почему оно не составляет некоторого приятного, но не обязательного приписка к социальной, культурной и просто физической жизни человечества, а является одной из тех основных черт, которые и делают человечество человечеством, каждого члена этого коллектива делают человеком.

Но если все-таки вернуться к человеку и говорить о нем как о мыслящем существе, то возникает один существенный вопрос — вопрос ответственности. Мы говорили в прошлый раз о том, что само мышление человеческое неотделимо от выбора, от возможности в одной заданной ситуации совершить не только одно действие. Я обратил ваше внимание на известную идею ученого Пригожина, который разделил поведение высших животных и — более широко —

поведение всей природы на периоды, где каждое состояние однозначно предсказывает следующее и поэтому каждый новый шаг предсказуем, и на периоды, когда развивающаяся система оказывается перед моментом непредсказуемости и выбора из какого-то набора равновероятных возможностей. И этот момент и есть то особое **переходное состояние, которое несет самую большую информацию.**

В конце прошлой лекции я обратил ваше внимание на то, что когда в эту систему мы вводим человека, мы кардинально ее меняем. Теперь система не просто оказывается в непредсказуемом состоянии, она оказывается в состоянии выбора — во-первых, а раз выбора, то значит оценки — во-вторых и ответственности — в-третьих. Эти вопросы — выбора, оценки и ответственности — и составляют то чрезвычайно своеобразное, что и отличает существо, называемое человеком. Эти качества в достаточной мере сложны.

¹ Передача вышла в эфир в 1990 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1997. № 8—9. С. 89—96 (было неверно обозначено название цикла).

524

Надо иметь в виду, что все не так просто: существо, ставшее человеком, не перестает быть и существом, включенным в дочеловеческий мир. Человек — не только человек, он и животное, он и кусок материи, он подчинен и их законам, поэтому выбор у него ограничен. В определенных, значительных и часто очень важных сторонах своей жизни он лишен выбора. Но, в отличие от других существ, он эти состояния переживает не как отсутствие выбора, а как *лишение выбора*, как минус-выбор, как то, чего он не имеет, но должен был бы иметь. Поэтому, скажем, человек может возмущаться, горевать над проблемой смерти.

Почему человеку трудно умирать — труднее, чем животным? Хотя и животные не так просты, как мы думаем, и их интеллектуальный мир сложен, своеобразен и во многом нам просто остается неизвестным. Но все-таки человек потому так трудно переживает смерть, что он может себе представить ее отсутствие. Поэтому смерть превращается в проблему понимания. Как Пушкин сказал о жизни: «Я понять тебя хочу. / Смысла я в тебе ищу...»¹

Имеет ли смерть смысл? Между прочим, значительная часть человеческой культуры состоит в том, чтобы привнести смысл в то, что вне человека не имеет смысла. Зачем я живу, какой это имеет смысл? Зачем я умираю? Что я этим хочу сказать? Кому я говорю, кто услышит? Какой смысл в этом? Или смысла нет? Как сказал возмущенный пушкинский герой Евгений, у которого в наводнение погибла без всякой цели, смысла и правды — утонула возлюбленная:

...иль вся наша

И жизнь ничто, как сон пустой,

Насмешка неба над землей?²

Действительно, в чем смысл жизни? И можно ли жить, не решив этого вопроса? Разные люди по-разному мыслят. Все мы включены в процессы, которые определяют принадлежность человека к другим единицам мировой системы, и поэтому мы далеко не всегда и не только ищем смысла. Но — как люди — мы ищем смысл, и иногда это бывает даже смешно.

Вот трогательно-смешной эпизод из жизни Белинского. В окружении молодых писателей (Тургенев там был) он спорил о смысле жизни, а жена Белинского, женщина довольно-таки простая, позвала их обедать. Белинский, человек наивный, очень искренний, не понимая, что это может быть смешно, прямо со слезами крикнул: «Мы еще не решили вопрос о бессмертии души, а ты зовешь нас обедать». Конечно, здесь можно улыбнуться, потому что вопрос о бессмертии души не решило человечество на протяжении всей своей истории и надеяться решить его до того, как идти обедать, конечно, наивно. Но в этой наивности есть свойственная Белинскому огромная сила духовной жизни, сознание, что реальная материальная жизнь не имеет смысла без духовной жизни и ею нельзя жить. Она не может существовать без жизни духа.

¹ Пушкин А. С. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы // Пушкин А. С. Т. 3. С. 197.

² Пушкин А. С. Медный всадник // Там же. Т. 4. С. 388.

525

Отсюда мы опять возвращаемся к нашему вопросу. Без искусства, которое есть важнейшая часть духовной жизни — не единственная, но важная (конечно, не «летом вкусный лимонад»), — как вообще без духовной жизни, без искусства жить нельзя. Почему же так? Что же искусство добавляет такого человеку? Мы сказали — выбор.

Есть известная немецкая поговорка, которая в переводе звучит так: «У кого выбор, у того и страдания». Совершенно правильно. К этому можно добавить — «у того и ответственность». И поскольку мы — люди — оказываемся в мире выбора, то оказываемся и в мире ответственности. Но человек обладает многими проявлениями, и живет он — в этом его отличие от героя любого романа — одновременно очень многими жизнями и не может иначе жить. Когда мы читаем романы или показываем пьесу, смотрим кино, мы видим только одни стороны жизни человека. Некоторые стороны просто неприличны, их как будто нельзя показать — это биология (но ведь без них мы не живем!).

Наша жизнь многофункциональна, мы сразу подчинены очень многим законам, и эти законы далеко не всегда друг с другом совпадают, они конфликтуют: *хочу* и *могу*, *люблю* и *должен*, *не хочу* — *не буду*, *не хочу* — *но заставлю себя*. Эта сложность жизни образует ту особую черту,

которой занимается нравственность. И искусство причастно нравственности. Оно не совпадает с ней, но имеет с ней очень важную общую черту: нравственность всегда выбор, то есть всегда эксперимент. Там, где нет эксперимента, там нет выбора. Где нет выбора, как мы сказали, нет нравственности, там есть только механическое, машинное поведение.

Человек находится с миром в сложных связях. Во-первых, он есть отдельное существо и, во-вторых, входит в большую группу. Как отдельное существо он как будто бы имеет больше свободы и больше ответственности, а в группе он может сказать: *я же не сам, все так поступают*; или: *что вы с меня спрашиваете, нас было так много...* Это естественный ход мысли, и тогда как бы получается так: когда человек берется отдельно, он включен в законы нравственности, а когда он в коллективе, то включен в законы необходимости. Это очень упрощенно. Если было бы так, то коллективное поведение не могло бы быть «плохим» или «хорошим». На самом деле все сложнее. Но нам очень хочется думать так, и нам всегда легче, когда свою вину мы можем перекинуть на кого-то и сказать: *у нас так принято, так все поступают, чего вы ко мне пристали, что я — лучше других?*

Отношение личного поведения и общего имеет несколько сторон. Первая — личное поведение всегда включает большую личную ответственность и его связь с нравственностью более прямая. Коллективное поведение опосредовано, и человек свою собственную свободу как бы ограничивает обычаями, нормой, приказом.

Как вы знаете, все античные законы утверждали, что раба судить нельзя — он не отвечает за свои поступки. Поэтому рабом быть очень тяжело, очень неприятно — это лишение гражданских прав. Зато это и некоторая выгода — его не судят. За поведение раба отвечает хозяин: его будут судить, если раб совершает преступление.

В истории часто бывают случаи, когда люди не выдерживают свободы. Это только издали кажется, что свобода — это сплошные булочки, пирожки

526

и веселая музыка. Свобода — очень тяжелая вещь. Это почти положение того античного героя. Атланта, который держал на себе Землю — лично на себе. И когда человек говорит: «Я не могу так жить не потому, что мне плохо, а потому, что это несправедливо», когда он берет на себя эту страшную огромную ответственность и говорит, что лучше перенести индивидуальную личную смерть, отдать свою единственную (другой не будет!) жизнь, но жизнь в атмосфере зла для него не жизнь, то это уже то высокое существование, когда человек поднимается до уровня очень глубокой нравственности. И естественно, что эта сторона наиболее активно проявляется в искусстве.

Искусство поступает с нами очень интересно. Оно все время показывает нам отдельного человека и все время его ставит в ситуации отдельного существования, но при этом он одновременно и не отдельный человек (то, что в реальной жизни человеку как бы не дано, — быть одновременно таким, как все, и таким, как никто другой). Конечно, это можно пережить в жизни, очень глубокие люди переживают.

Один из величайших людей человечества — французский философ Жан-Жак Руссо, бесспорно, величайший человек, и то, что он много раз говорил противоречия, ошибался, иногда даже говорил просто глупости, это его не унижает. Он был и оставался великим человеком. Я думаю, что каждый из нас был бы счастлив один раз в жизни быть так глуп, как Руссо. Руссо одну из своих книг (потрясающую книгу, такой книги, собственно говоря, в истории человечества нет) посвятил рассказу о себе.

Но мало ли, вы скажете, книг, где люди рассказывают о себе? Сколько людей пишет автобиографии! А что значит писать автобиографию? Перед Руссо встал вопрос, который перед людьми мелкими не возникает: о чем я *не буду* говорить? И он ответил: я буду *обо всем* говорить, я расскажу самые стыдные свои поступки — не большие преступления, в которых легко признаться даже с гордостью, не великую добродетель, а мелкие гадости, выйду — как он написал в виде эпиграфа — «без кожи и в коже», то есть сдери кожу и покажу все¹.

Говоря, что он такой, как все, Руссо начал «Исповедь» словами: «...я не похож ни на кого на свете»². Вот это очень глубокая формула — я такой, как все, поэтому интересен вам, и вы можете меня понять, я — не великий человек (Руссо был великим человеком, но никогда не считал себя таковым и подчеркивал, что он — простой человек), и — одновременно — я ни на кого не похож.

И тут возникает очень важный вопрос — вопрос общения, и этот вопрос опять подводит нас к необходимости искусства. «Я такой, как все». Естественно, если я такой же, как вы, то вы меня понимаете и мы можем себя друг другу объяснить. Для того, чтобы люди друг друга понимали, они должны быть друг на друга похожими. Самое простое — у них должен быть общий язык. Причем языком я здесь называю не только эстонский, русский, французский, китайский языки, но и язык поведения, жеста.

¹ Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 683.

² Там же. С. 9—10.

527

Мы знаем, что в азиатских странах улыбка значит совершенно не то, что в западных странах. Если вы помните японские кинофильмы, то вам, наверное, хорошо запомнилась улыбка

жестокости. Понимать мимику, внешность — все это образует такое множество языков, которым в школе не учат. Кстати, зря не учат, потому что владеть языком, не владея поведением, не знать, что принято, что не принято, где можно махать руками, а где это неприлично, и т. д. и т. д., — это не значит владеть языком как культурой.

Предположим, у нас один язык, общая культура и мы прекрасно друг друга понимаем. Очень хорошо, правда? Никаких проблем нет, нет страданий, нет несчастливой любви — я пришел и сказал «я тебя люблю», ты меня поняла, и все в порядке. Хорошо? Чудно? Скучно! Каков будет идеал, если убрать все, что нам затрудняет понимание друг друга? Первое, что мы скажем: люди разного возраста, разной внешности, разной культуры понимают друг друга по-разному. Сделаем им одну внешность, одну культуру, сделаем, чтобы все были на одно лицо. И много было разных утопистов, которые предлагали, чтобы все были одинаковыми (равенство!), — все одинаковые, в одинаковых костюмах, как в Китае, с одинаковыми прическами, с одинаковыми лицами, с одинаковыми характерами — мы их воспитаем.

Между прочим, когда господствует такая точка зрения, то начинается перечеркивание полового отличия, потому что оно как бы мешает. Женщины начинают носить мужские одежды, иногда — правда, реже — у мужчин появляется женственность, но, как правило, единство формируется по мужскому образцу. Женщины носят мужские костюмы, мужские прически (иногда мы наблюдаем другое: у мужчин — женские прически; тоже бывает), и прекрасно: мы уже таким образом до минимума свели половую разницу! А что будет идеалом?

Идеалом будут тогда шары, которые все одинаковы, они друг друга понимают, одна беда — им незачем разговаривать. Что ты мне скажешь, если ты абсолютно такой, как я, если между нами нет разницы? Такой мир, который был бы сделан из сто раз умноженного одного человека, вымер бы очень быстро. И то, что у нас разные лица, — это не недостаток природы, это не то, что у нее техника плохая, что у нее не хватает приборов нас сделать одинаковыми. Это — величайшее изобретение природы. Она вносит в однообразие разнообразие, потому что без этого не было бы любви, не было бы дружеских связей (в общении между шарами нет эмоций), — все наши эмоции построены на том, что мы разные.

Но вы мне скажете: хорошо, вы так защищаете различия, вы так защищаете эмоции, однако от этого рождаются трагедии. Ведь одинаковые кегельные шары никого не любят, но они не вешаются и не топаются, они не ревнуют, у них все хорошо. Но люди так вымрут.

Вторая сторона общения: рядом с пониманием — необходимость непонимания. Все это звучит парадоксально, и я представляю, что слушатели могут возмутиться, но это так: необходимость непонимания. И непонимание надо уважать, и надо уметь им пользоваться.

Когда неподготовленный человек берет произведение искусства — роман — и говорит: «Я этого не понимаю», это означает, что он сказал: «Это

528

плохо, зачем это напечатали?» Но когда он возьмет книгу по математике и скажет: «Я этого не понимаю», ему ответят: «Почувствуй, твое непонимание не принижает математики, оно принижает тебя, значит, твой механизм не весь включен. Ты — человек, ты можешь развиваться; не понимаешь — работай, и будешь понимать».

То же самое и общение между людьми: одной стороной оно должно облегчаться, другой стороной должно затрудняться. И чем труднее общение, тем оно ценнее, и поэтому у людей создаются разные языки. Старая утопия о том, что общество будущего будет обществом с одним языком, давно уже наукой отброшена. Языки устойчивы, и главное, мы можем решать насчет них все что угодно, но они сами решают и нас не спрашивают. Уничтожить язык практически не дано никому, разве что истребить весь народ. История показывает, что так называемые мертвые языки оживают, так называемые диалекты делаются языками, приобретают статус. А между прочим, кто их делает языками? Не законы. Не то, что соберутся министры и скажут: этот язык мы сделаем языком. — Поэты. Если появляется великий художник и создает великое — сначала национальное, потом общечеловеческое — произведение на этом языке, язык уже живет, он уже не исчезает.

Тут мы оказываемся перед очень важным вопросом. Опять мы обращаемся к искусству, чтобы решить наши страдания, наши муки и, в частности, чтобы свести воедино этот, собственно говоря, несомещающий конфликт: *я один* и — *я как все*. *Я понимаю всех*, и — *меня не понимают*. Нельзя сказать: *тебя не понимают — ты виноват*. А мы понимаем великого поэта? Нет. Мы его понимаем настолько, насколько он для нас открылся, но там осталось еще и для наших детей, и они будут еще искать и найдут новое — то, что им нужно, то, чего мы не видали.

Произведения искусства живут тысячелетиями, и их читают, и они все время дают что-то новое. Это очень сложные машины. Произведение искусства — это самая сложная машина, которую когда-нибудь создавал человек, кроме самого человека. Когда человек создает человека, он создает нечто еще более сложное. Но насколько он не понимает человека, который ему кажется простым! Если он изучил в школе анатомию, то он полагает, что уже понимает человека; если на уроке литературы выучил несколько стихотворений, то он уже знает, что такое искусство. Это распространенное заблуждение, но это глубокое заблуждение.

Искусство — это большая, если хотите, машина, если вы хотите сказать иначе — называйте

организмом, жизнью, но это нечто саморазвивающееся. И мы находимся внутри этого развивающегося явления и все время поддерживаем с ним разговоры. Оно с нами общается. Здесь очень любопытная вещь — одна важная особенность в произведении искусства. Писатель написал книгу. Писатель — человек, и он умер. Кажется, и книга поставлена на полку, стоит и всё: что писатель в нее вложил, то мы можем взять. Практически возьмем чуть-чуть меньше, потому что мы забыли эпоху, мы забыли те намеки, на которые писатель нам указывает, и т. д. Значит, чем дальше стоит на полке произведение, тем оно делается беднее, тем больше оно теряет? На самом деле есть и другой процесс: книга, сочинение мертвого писателя, продолжает развиваться, продолжает жить и продолжает умирать.

529

Простой пример. Все вы помните имя Рылеева. Поэт пушкинской эпохи, один из руководителей заговора декабристов, приговоренный к смертной казни и повешенный молодым человеком, не успевшим кончить свою вторую поэму. Он написал одну поэму и фактически один сборник стихов, и еще несколько десятков отдельных стихотворений — всё. Важно не это, важно то, что Рылеев в пушкинскую эпоху воспринимался как очень средний поэт.

Пушкин вообще считал его плохим поэтом, а Пушкин был очень внимателен, терпелив, совершенно не знал, что такое зависть (абсолютно не знал!), и был прекрасный любитель поэзии. Когда Рылеев создал новый жанр — думы, современники спорили, откуда эти думы взялись. Одни говорили, что думы — это жанр украинской поэзии, другие говорили, что польской поэзии. Пушкин в одном письме зло сострел, что думы — не с польского, а с немецкого и происходят от слова «Dum», то есть «глупый»¹.

Действительно, рядом с Пушкиным, Жуковским, Дельвигом, Баратынским (великим поэтом), рядом с десятками других поэтов (а еще в это время в Европе — Байрон, Европа полна стихами, это эпоха стихов) Рылеев выглядел довольно незначительно. Но вот произошло чудо. Рылеева казнили, и он — не то чтобы его стали иначе оценивать — он *стал* великим поэтом. И он действительно сейчас один из величайших русских поэтов. Почему? Потому что... вот тут мы подходим еще к одному вопросу, где искусство пересекается с истиной.

Мы имеем много книг. Книги хорошие, книги плохие. Книг так много, что их не перечитать в жизни: и то нравится, и это нравится... Особенно сейчас, когда мы привыкли к тому, что книги можно достать. И главное — где мы читаем книги? В метро, чтобы не пропадало время, или когда едем в электричке, или уже когда все дела кончены. Читаем мало, читаем для отдыха. И естественный вопрос, когда это стихотворение я хочу оценить (считать ли его хорошим или плохим, великим или ничтожным), тогда я спрашиваю: а что поэт заплатил за него? Вопрос кажется нелепым. Если я покупаю мебель, я не спрашиваю, сколько заплатили столяру, я смотрю — хорошая мебель, мне нравится, плохая мебель — мне не нравится. А с искусством иначе: заплатил жизнью за это, и тогда это великое произведение, потому что здесь — не вещь, здесь — слова, а словам можно верить или нет. Искусство нуждается в том, чтобы ему верили. Как сказал Пастернак, «Не читки требует с актера, / А полной гибели всерьез»².

Поэтому такая парадоксальная ситуация: там, где писателям живется хорошо и их никто не преследует, их влияние в обществе гораздо ниже. Конечно, каждый из нас хотел бы, чтобы хороший писатель хорошо жил. Кто не мучился оттого, что Пушкин погиб молодым? Но Пастернак имел смелость сказать, что Пушкин сделал правильно. И когда литературоведы жаловались, что Пушкин так рано погиб, что, по их мнению, лучше бы он дожил до ста

¹ Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому и Л. С. Пушкину 25 мая и около середины июня 1825 г. // Пушкин А. С. Т. 10. С. 149.

² Пастернак Б. О, знал бы я, что так бывает... // Пастернак Б. Избр.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 329.

530

лет, Пастернак иронически говорил: и женился бы на каком-нибудь из литературоведов. Конечно, по-человечески жалко, но — «полной гибели всерьез». Платить по полной цене, и только тогда искусство делается слитым с нравственностью, и в этом пример Рылеева.

Искусство обладает странными особенностями — оно живое. Это не книжки стоят (точно так же, как фотография, которая на стеночке, — это не человек, а только фотография его). Искусство — это не отдельное стихотворение, это жизнь, которая выражается в стихотворении. Один только пример, которым, может быть, сегодня и кончим.

У Пушкина в «Евгении Онегине» Ленский перед дуэлью ночью пишет стихи, и эти стихи «полны любовной чепухи». Несколько иронически Пушкин смотрит на этого романтического юношу. Стихи Ленского «звучат и льются», он читает их «вслух в лирическом жару, / Как Дельвиг пьяный на пиру»¹. «Как Дельвиг пьяный на пиру» — сравнение, сравнивают Ленского с Дельвигом.

Что такое сравнение? Какое-то неизвестное явление я сравниваю с известным. Я говорю: Иван Петрович совершенно такой же, как мой брат. Ивана Петровича вы не знаете, моего брата знаете — вы получили представление об Иване Петровиче. Кто такой Ленский, мы не знаем, но мы узнали, что он — «как Дельвиг пьяный на пиру». Это Пушкин нам объяснил. А каков Дельвиг пьяный на пиру? Откуда мы знаем? Это знают только те, кто знают Дельвига.

«Евгений Онегин» же писан не для тех, кто знает Дельвига, а для всех читателей. Но и друзья Дельвига тоже не знают его таким. Дело в том, что когда Пушкин писал эти стихи, Дельвиг уже не молодой (то есть для нас еще молодой, но по тогдашнему времени — юность прошла, значит, не молодой), несчастливо женат, трагический человек. И люди, которые познакомились с ним во вторую половину 1820-х годов, никогда не видали его улыбающимся и «пьяным на пиру». К кому же Пушкин обращается? К пяти-шести лицеистам, которые когда-то вместе с Дельвигом — веселые мальчишки — устраивали детские пиры, и «Дельвиг пьяный на пиру» читал всю ночь стихи.

Зачем же Пушкин это пишет — этого же никто не знает? Он делает вот что: вы — мои читатели (икс, игрек), я никого не знаю. Давайте сыграем в такую игру. Вы — мои лучшие друзья. Вы пережили со мной всю жизнь, вместе со мной были в Лицее, видели то, что я видел в Лицее, и все, что я понимаю, вы понимаете. Пушкин сделал тысячи читателей (даже больше!) как будто личными друзьями, и все мы имеем тот опыт, ту память, которые он имеет, и все помним Дельвига лицейского. Он переделывает нас!

И искусство обладает этой последней, гуманной и важной особенностью. Мы говорили о том, что жизнь все время отнимает возможности, отрубает дороги, а искусство открывает возможности, открывает дороги, и поэтому мы можем сказать, что искусство — не «летом вкусный лимонад», а воздух, которым мы дышим.

Благодарю за внимание.

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 127.

Лекция 3¹ (1990 г.)

Добрый день!

Мы сегодня продолжаем наш разговор, и напоминаю, что мы говорили о том, почему же в нашем сложном мире, неизменно раздираемом противоречиями и экономическими трудностями, находит свое место искусство. В прошлый раз мы говорили о том, что искусство во многих других сторонах жизни служит помощником, учителем, советником, что к нему обращаются те, кто, в общем, сами не являются деятелями искусства, иногда даже к нему равнодушны: скажем, используют его для пропаганды.

Какую же цель имеет искусство само, если не связывать его с теми полезными, а иногда и не очень полезными областями жизни, которые используют и нанимают его? Есть ли какая-то область жизни, которая нуждается в искусстве не как в добавке, не как в десерте, а которая без искусства не может существовать? Даже поставим вопрос иначе: может ли вообще человечество существовать без искусства? Мы уже об этом говорили, но ответа пока что дать не пытались. Сегодня мы, может быть, об этом подумаем.

Представим себе некую ситуацию: человек задает вопрос, и он заинтересован в том, чтобы получить однозначный и точный ответ. Действительно, на некоторые вопросы можно дать однозначные ответы: «да», «нет», то есть сказать то, что безусловно всегда правильно. Например, математические истины всегда правильны. Но как ни странно, далеко не все важные области жизни — практической нашей жизни, окружающей — могут быть сведены к ответу по формуле «да» — «нет».

Приведу вам один маленький пример. Из очень далекой области, из области, извините меня, совсем не мирной — артиллерии. Представьте себе, что вы — артиллерист и вам надо выстрелами попасть в цель. Но цель находится за горой, и вы ее не видите. Что вы тогда делаете? Допустим, что у вас ни самолетов, ничего нет. Вы выносите свои приборы: один — налево, другой — направо; чем больше между ними расстояние, тем лучше. И направляете на цель, — и тот, и этот. Пересечение этих двух точек зрения указывает вам то место, в которое вы хотите попасть.

Оставим артиллерию, Бог с ней. Но для того, чтобы что-то понять, надо смотреть как минимум с двух точек зрения, и чтобы эти точки зрения были разными. Чем дальше наши точки друг от друга, то есть чем больше между ними угол, тем точнее будет пересечение (это вы легко по школьному курсу геометрии можете себе представить), и вы увидите нечто. Из этого можно сделать далекий от этих артиллерийских примеров вывод: для того чтобы понять сложные вещи, нужно на них взглянуть с нескольких точек зрения. Между прочим, это объясняет нам очень многое в нашей жизни. Например, почему нам недостаточно, чтобы у нас был один очень мудрый человек. Это то же самое, что наблюдать с одной точки зрения. А нам нужно, чтобы

¹ Передача вышла в эфир в 1990 г. Лекция впервые опубликована: Таллинн. 1998. № 10. С. 55—62 (было неверно обозначено название цикла).
532

люди были разные. Не так важно, чтобы они были очень мудры — это, конечно, очень желательно, — но важно, чтобы у них были разные взгляды на жизнь.

Между прочим, поэтому представление о том, что нужно сделать всех одинаковыми, — это губительное представление. К счастью, это невозможно. Сама природа позаботилась, обеспечив нас, людей, отличиями — хотя бы половыми (мужчина и женщина — уже разница). Чем больше разница между теми, кто думает, тем объемнее общая их мысль. И вот мы оказываемся как бы перед двумя видами познания.

Один вид познания, скажем математический, исходит из некоей абстрактной истины, которая помещается как бы в одной точке, и наблюдатель — как бы один великий мыслитель. А вторая точка зрения дает не одного совершенного наблюдателя, а хотя бы двух или больше разных наблюдателей, и мы получаем объемное сознание.

Фактически мы вступаем на этот путь всегда, когда выходим за пределы тех наук, которые сами создают свой предмет (вот математика сама создает свой непротиворечивый предмет). Но как только мы переходим к реальной жизни, мы вступаем в мир, где необходимо не освобождаться от противоречий и не считать, что противоречия — это ошибка, а понимать, что противоречие — это наше сокровище. И то, что мы все разные, это величайшее благодеяние для человечества. Именно на этом основана его устойчивость.

Но если все разные, то для них нужен и совершенно другой тип познания. Человек обладает как бы двумя сущностями:

— он одинаков с другими людьми. Эту сторону он удовлетворяет математическими и прочими абстрактными знаниями;

— он отличен от других людей, дает им что-то такое, чего у них нет, и получает у них что-то такое, чего у него нет. В этой области он выражает себя и говорит с другими людьми на языке искусства.

Искусство — это язык, на котором мы говорим с *другим*. Логика — это язык, на котором мы говорим с *таким же, как я*. А поскольку жизнь дает нам сочетание того и другого, то жизнь без математики невозможна, но жизнь и без искусства невозможна, поскольку это — как бы два глаза.

Кстати, почему у нас два глаза? Я вам приводил пример с наблюдательными пунктами. Но вот наш собственный наблюдательный пункт — глаза. Казалось бы, можно было великолепно обойтись одним глазом. Но даже такая небольшая разнесенность точек зрения, которую обеспечивают два глаза, уже дает многое. У нас же не только точки зрения разнесены, у нас «разнесено» сознание: в нас фактически два сознания, и они говорят на разных языках. То же самое делает искусство. Художники — разные, и тем более художники и поэты, художники и музыканты. Люди вообще говорят на разных языках, и поэтому разного рода утопические фантазии, которые хотят свести все к одному языку, — смертоносны, но, к счастью, нереализуемы.

Искусство обладает великим свойством: противоречием. Возьмем целый ряд разных произведений искусства. Они будут очень меняться. Почему меняется искусство — это важный вопрос, но это другой вопрос. Мы берем искусство разных эпох, разных людей. Мы привыкли смотреть на произве-

533

дения искусства точно так же, как мы смотрим на чужое лицо: оно нам кажется целым куском. На самом же деле художник знает, что глаза имеют одно выражение, а лицо у живого человека — это как бы оркестр. Посмотрим на живопись — мы увидим, что рисунок всегда таит в себе внутреннее противоречие.

Известный ученый, энциклопедист, математик, физик, электротехник, семиотик, великий богослов, священник отец Павел Флоренский — автор замечательных работ по искусству — обратил внимание на то, что на иконе Богородицы мы воспринимаем ее лицо как единство. Мы видим в нем одно выражение и некую высокую духовную насыщенность. Но если смотрит на него исследователь, то он обнаруживает, что, как правило (в разных школах по-разному), у Богородицы лицо — подбородок и верхняя часть лица — женщины разного возраста. Навивный детский подбородок и трагические глаза. Подбородок девочки, а глаза — матери, приносящей в жертву сына. Это противоречие и создает единство и внутреннюю динамику.

Посмотрим на самые разные произведения живописи. Я сознательно начинаю с живописи, потому что показать противоречивость образов в поэзии очень легко. Но в живописи мы смотрим на лицо, мы смотрим на картину — нам кажется, что все это как бы отпечаток жизни. Между прочим, тут проходит черта между живописью (портретом) и нехудожественной фотографией. Нехудожественная фотография не может показать в лице разные лица (мастерская фотография — может), а дает один зафиксированный момент. Поэтому обычная нехудожественная фотография всегда немножко мертва.

Мы посмотрели на Богородицу, посмотрим на другие произведения совсем других художников. Возьмем западную традицию — Ван Эйка. Сначала — большая икона, Гентский алтарь, который хранится в церкви св. Бавона в Бельгии. Я покажу его не весь — это, как вы знаете, сложная композиция, и в нее входит целый ряд отдельных икон. Посредине — Бог Саваоф, по бокам — Богоматерь и Иоанн Креститель, а сверху Адам и Ева. Вот мы сейчас сосредоточимся на частях, на лицах Господа Вседержителя и Адама и Евы.

Сейчас отвлечемся от того, что сам алтарь в целом — это не только рисунок, это как бы огромный спектакль. В нем есть и разные надписи, причем надписи, полные смысла. Отвлечемся и от последовательности этих надписей. Оставим это. Будем смотреть только на то, что нарисовано.

Вы видите Господа в одежде, которая украшена драгоценностями. Между прочим, расположенное рядом изображение Богородицы включает в себя в короне живые цветы, которых нет у Вседержителя. И цветы эти тоже символичны, это белые лилии, которые означают чистоту,

и красные розы, которые означают веру. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что нарисованное можно видеть как *нарисованное*. Если вы не знаете символики, вы смотрите и видите красиво нарисованные цветы или красиво нарисованную корону. Но вы можете знать и то, что цветы имеют обозначение, и все цвета имеют обозначение. Красный цвет на одежде Бога-Отца — это цвет всемогущества и власти.

Обратим внимание на лицо. Если нужно к этому лицу подобрать адекватное слово, то это слово — самодостаточность. Он все в себе содержит, Он все

534

знает, Он ни в чем вне себя не нуждается, Господь сам себе достаточен, Он — весь мир. И поэтому — жест, который не подразумевает изменения, лицо, которое как бы застыло.

Между прочим, эта самодостаточность лица для высшего божества свойственна не только иконе. Я покажу вам изображение Будды, и вы увидите ту же самодостаточность лица, которая кажется как бы отсутствием выражения, а на самом деле означает то, что все здесь есть — в этом лице. Между прочим, не следует это приписывать мнимой неподвижности индийской, а в данном случае — японской скульптуры, потому что рядом вы видите (в той же традиции) динамические изображения.

Так вот, вернемся к Богу-Отцу. Он включает в себя весь мир, и поэтому лицо Его полно спокойствия, оно как бы не имеет выражения. А теперь сопоставьте его с двумя другими изображениями того же алтаря — Адама и Евы. Это — люди. Конечно, не просто люди — это люди, которые в себя вобрали человечество, это — первые люди. Но это не боги. И не нужно одежды, вы видите по лицу — у Адама бесконечное устремление в мир: печаль, неполнота его без *другого*. И у Евы — бесконечная любовь, она тоже не полна без *другого*. Человек нуждается в *другом*.

А вот Христос — рембрантовский. Это — Всечеловек, то есть Христос, приносящий себя в жертву миру. Он уже не обладает ванэйковской самодостаточностью. Он обращен к миру. Но сравните его с Адамом: Он обращен к миру, но ничего нового для Него в мире нет. Он полон к миру жалости, а Адам полон любопытства. Мы видим, что живопись много говорит, потому что говорит разными языками.

Я приведу иллюстрации еще на нескольких текстах. Вот тоже Ван Эйк, но совсем другая картина. Это семейный портрет богатого горожанина с женой¹. Но портрет этот очень сложный. Кажется, что может быть проще: мужская фигура, женская фигура, внизу собачка, все помещено в комнату. Как будто бы художник для нас сделал фотографию — сфотографировал семью, и не о чем рассуждать.

Но первое, что нас немножко привлекает, — вид этого странного предмета сзади — зеркала. Зеркало — особое. Если вы посмотрите внимательнее, то вы увидите, что, во-первых, рамка его украшена мелкими изображениями сцен из жизни Христа. А само зеркало отражает — что же оно отражает? Оно отражает этих самых людей, но со спины.

Таким образом, первое, что сделал художник, — он нас обманул. Мы смотрим на картину, и мы знаем, что картина — плоская, а он нам показал то, чего на картине как будто нельзя видеть: одни и те же фигуры спереди и сзади одновременно. Но в зеркале есть еще что-то. Что же? А те, кто стоят на том месте, где мы стоим. Он (художник) вышел не только из зеркала, он вышел из полотна и показал нам — нас. Об этом мы еще будем говорить. И таким образом, он взял как будто простую вещь — комнату, обычную городскую комнату богатого горожанина, и вдруг показал в ней массу противоречий: уже то, что одновременно мы смотрим сразу с двух точек зрения.

¹ «Портрет супругов Арнольфини», 1434 г.

535

Но не только это. Посмотрим на этих людей — они стоят в определенной позе. Жена беременна, она как бы представляет собой продолжение жизни. Лицо мужа — он тщательно выбрит — лицо застывшее. Они как бы выражают разные духовные начала. Но и это еще не все. Мы не только видим мир с разных точек зрения, не только видим разные человеческие характеры, не только проецируем это на судьбу Христа (которая тут у нас перед глазами) и на будущее матери, которая в этом контексте приобретает совершенно иной смысл. То есть перед нами оказывается совсем не фотография семьи, а целый рассказ о Жизни, о ее смысле и о будущем этих людей. Итак, мы оказываемся опять перед противоречием: мы видим не только то, что мы видим.

Но посмотрим дальше. Обратимся к портретам художников другой школы. Мы будем, наблюдая совершенно разные явления живописи, видеть одну особенность: рисуется нечто более сложное, чем рисунок. Все мы знаем Рубенса — художника, хорошо представленного в Эрмитаже (одно из лучших собраний!), и поэтому мы себе представляем Рубенса с его массивными голландскими фигурами — обилие красивого тела. Но эрмитажное собрание Рубенса не полно. Если мы посмотрим Рубенса в европейских собраниях — в основном в Голландии, Бельгии и Германии (в Мюнхене прекрасное собрание), — мы вдруг увидим неожиданную вещь.

Своих внушительных дам Рубенс как бы вешает в воздухе — они не стоят на земле, они плывут. Он рисует вознесение Богородицы и вокруг нее — святых: мощные фигуры, как будто полные тяжести, но они висят в воздухе. Более того, он любит это. Он нарисовал огромные

полотна (они в Мюнхене есть), такие, как «Страшный суд», — весь мир наполнен летающими тяжелыми телами. Рубенс, который так любит рисовать тело, даже — мясо, рисует его воздушным, то есть опять включает в противоречие. Его фигуры не стоят тяжелыми ногами на земле, они — в противоречии со всем миром — летят.

У Веласкеса — уже другое, но опять противоречие, опять нарисовано будет то, чего нельзя рисовать. Веласкес очень любит рисовать нарисованное, и, таким образом, мы будем все время оказываться в мире, про который мы не сможем сказать: он настоящий или же нарисованный. Вот он рисует работниц, которые делают ковры: на первом плане — сильные женщины, а за ними — ковер¹. Нарисованный ковер вторгается в тот мир, который мы видим. Но более того — между женщинами и ковром находятся покупательницы. Они такого же роста, что и фигуры на ковре. Таким образом, то, что живо и движется, и то, что изображено, сливаются.

Это особенно заметно на знаменитой картине Веласкеса, изображающей семью короля и самого художника, который рисует королевскую семью². При этом мы оказываемся в странном положении — мы видим художника, который рисует картину, а картина между тем перед нами. Где картина — там, где он ее рисует, или то, на что мы смотрим? На картине мы видим зеркало, а в зеркале отражаются король и королева, которые стоят на том месте, где

¹ «Пряхи», 1657 г.

² «Менины», 1656 г.

536

мы стоим. Они видны только в отражении, а дальше в стене дверь, которая ведет неизвестно куда. Мы знаем, что живопись — это краски на полотне. Но перед нами оказывается совсем другое. Перед нами как бы театр или даже сама жизнь. Опять нечто такое, что противоречит само себе.

Не могу удержаться, чтобы не вспомнить еще несколько веласкесовских картин. Замечательны его портреты. Не буду говорить о его портретах короля и принцесс — страшных и полных противоречий. А вот портреты, в которых художник выразил то, что было ему близко. Вот перед нами портрет Эзопа. Несмотря на то, что имеются античные бюсты (но они условны), лица Эзопа мы не знаем. Веласкес рисует поэта-раба, поэта-нищего, поэта, который ему близок. Огромная человечность — в бедности. И с этим портретом как бы соотносится целая серия его портретов карликов — умные, грустные, трагические лица на смешных изуродованных телах: человек, который сохраняет человеческую красоту при безобразии. Или же нарисован прекрасный стройный человек, умное, почти рыцарское лицо, но он — карлик, то есть шут. Это показано тем, что рядом с ним поставлена собака, которая почти с него ростом¹. Веласкес вводит нас в прекрасный ужасный мир, который прекрасен — и ужасен, который красив — и отвратителен, он вводит нас в мир противоречий. И это делает искусство.

В этом же не только живопись находит свою сущность, в этом находит свою сущность и музыка, и театр, и, конечно, искусство слова. От этого — особые судьбы искусства. Мы все восхищаемся картинами, мы любим поэтов и читаем стихи, но с одной особенностью — мы любим мертвых поэтов, мы читаем стихи, которые были написаны давно и о которых нам еще в школе сказали, что это великие произведения. Мы смотрим с большим уважением на живопись прошлых веков. Это не потому, что мы глупые, это — судьба искусства.

Искусство — его противоречие — всегда для нас неизвестный язык. Мы вступаем в мир, где говорят на языке, который мы можем выучить, но который мы еще не выучили. И всегда для нас первое чувство — «непонятно», и это нас раздражает.

Кстати, культурный человек от некультурного отличается многими чертами, но есть один такой хороший бытовой признак: приведите некультурного человека в помещение, где люди говорят на неизвестном ему языке. Он обидится или испугается. Ему покажется, что это что-то против него сочиняют. Приведите культурного человека в мир, где говорят на непонятном языке, — он заинтересуется, ему захочется понять, он увидит, что другие люди обладают некоторым богатством, которое и ему интересно. А человек некультурный сразу же подумает — не мои ли это враги, не задумали ли они что-то против меня, да что я, дурак, что ли, что я не понимаю?

Вот когда мы сталкиваемся с новым искусством — а ведь искусство на самом деле только и бывает новым (мы можем понимать старое искусство, только если мы понимаем новое), — мы злимся, почему мы, грамотные, культурные люди, его не понимаем. Обидно.

¹ «Дон Антонио — Англичанин».

537

Нам вот сейчас непонятно, почему такое раздражение вызывали у современников Байрон и Пушкин. Мы выучили в школе, что Пушкин — великий писатель и что Пушкина все всегда ценили. Это неправда. Пушкин систематически сталкивался с непониманием. В период своего лучшего, высшего творчества он вообще почти перестал печатать свои стихи, а начал печатать прозу и даже, более того, исторические труды. Стихи, даже величайшие, такие, как «Памятник», он при жизни не напечатал. Они остались в рукописях после его смерти.

Да что говорить — «современники не понимали». Другом Пушкина был великий поэт Баратынский — один из лучших до сих пор русских поэтов, да я думаю, что и в ряду мировых поэтов он занял бы не последнее место. После смерти Пушкина Жуковский позвал Баратынского

посмотреть пушкинские рукописи. И Баратынский писал жене, что прочитал неизвестные пушкинские стихотворения. «Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? — пишет он жене. — Силою и глубиной». Друг Пушкина, сам великий поэт, умный человек, считал, что Пушкин сочиняет легкие, хорошие стихи, а уж в уме глубоком, философском ему Бог отказал. Но Баратынский имел мужество признаться в ошибке. Правда, после смерти это всегда легче. И он закончил письмо жене словами очень правильными: «Он только что созрел»¹.

Мы привыкли, когда поэт умирает, считать, что это — как в романе: кончилось, значит, все уже сделано — герой женился или же его на дуэли убили и роман закончен. А в жизни — обрывается в полете. Пушкин, конечно, только еще созрел. Но не это сейчас важно, а важно то, что современникам этого не видно. Они не имеют языка для этого.

Отсюда очень важный вывод: нужно не только научиться понимать старую поэзию. Когда мы говорим о современной поэзии, в ней надо уважать надежду, как хорошие педагоги уважают детей. Мы видим, что ребенок ведет себя для нас странно, но мы уважаем в нем надежду. Хороший педагог видит не только то, что есть сейчас, но то, на что можно надеяться, — что будет.

Вот почему искусство нам нужно. Оно дает нам другое знание — знание, которого мы не получаем за его пределами. Однозначное знание имеет дело с искусственными моделями жизни, а искусство дает противоречивое знание, то есть более адекватное жизни.

Но старой пищей мы не сыты, и научиться на всю жизнь нельзя. Нельзя думать, что если мы в школе прочли хорошие книжки, то получили на будущее сведения. Надо уважать будущее, его непредсказуемость, его неожиданность. Этому тоже нас учит искусство, и поэтому оно наш, на всю жизнь данный нам, учитель.

Благодарю за внимание.

¹ Баратынский Е. А. Письмо А. Баратынской от 6 февраля 1840 г. // *Летопись жизни и творчества Е. А. Баратынского* / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 359. 538

Лекция 4¹ (1990 г.)

Добрый день!

Продолжим наши лекции. В прошлый раз мы говорили о том, что искусство, воссоздавая образы жизни, дает нам несколько иное знание, чем то, которое дает наука, и знание столь же необходимое. Дает знание с многих сторон одновременно и заменяет точную однозначность научного текста богатством противоречивости и поэтому широким охватом действительности. Я говорил о том, что наука и искусство — это как бы два глаза человеческой культуры. Обладая одним глазом, человечество бы обладало, как и одноглазый человек, неким плоским и однолинейным знанием; именно «разносортность» и «разнооснованность» искусства и науки и создают объемность нашего знания.

Таким образом, — мы в прошлый раз говорили — искусство нельзя отнести к области забав или же наглядных иллюстраций к каким-нибудь высоким моральным идеям. Искусство — форма мышления, без которого человеческого сознания не существует, как не существует сознания с одним полушарием.

Наше мышление подразумевает внутреннее двойное противоречие, и искусство выполняет в этом огромную роль: во-первых, потому что оно дает знание, противоречащее однозначно-логическому, а с другой стороны, оно внутри себя всегда внутренне противоречиво и, таким образом, создает как бы «выброшенную», многонаправленную точку зрения на мир. Мы смотрим на мир одновременно с очень многих точек зрения, очень разных, и, как всякая точка зрения, каждая в отдельности дает какую-то истину и противоречит другой. Диалог — всегда немножко сражение. Потому что если диалог — не сражение, если наш оппонент или, скажем лучше, соучастник нашего диалога думает абсолютно точно так, как и я, то мне его легко понимать, но он мне совершенно не нужен. А он мне нужен как заинтересованный собеседник и одновременно как обладающий иным взглядом на мир. Это богатое огромное знание составляет ту значительную сферу, которая у нас связана с искусством. Но при этом возникают большие сложности.

Всякое знание, как и вообще всякая человеческая деятельность, для того чтобы быть информативным, то есть иметь какой-то смысл и ценность, должно иметь альтернативу. Добра без зла не существует, и если мы полностью уничтожим зло, то мы уничтожим и добро. Добро всегда существует как антитеза злу, и север существует как антитеза югу. Как бы нам ни нравился, скажем, прекрасный север, если бы мы (что, к счастью, невозможно) уничтожили юг, то уничтожили бы и север. Противоречие состоит в наличии обеих сторон. И в частности, противоречие добра и зла — это есть творческое противоречие, которое включает и борьбу добра со злом, но — отсюда — и наличие зла. Идеальный мир, где не было бы зла, мы можем себе вообразить,

¹ Передача вышла в эфир в 1990 г. Текст впервые опубликован: Таллинн. 1998. №11. С. 65—70. 539

но в пределах человеческого материального существования это вещь в принципе невозможная, поскольку необходима альтернатива. То же самое происходит с искусством.

Искусство свободно, как всякая мысль и всякое творчество. Что значит «свободно»? Камень, падающий вниз, не свободен. Он подчинен законам, которые однозначно несут его по какой-то предсказуемой линии. Но тот, кто может выбрать между двумя хотя бы самыми простыми поступками, свободен. Свобода связана с выбором, причем с выбором непредсказуемым. (Если мы сможем высчитать, что одно состояние перейдет в другое с такой-то долей вероятности, то это будет вероятность ограничения свободы.) В настоящее время, особенно после исследований замечательного ученого Пригожина, бельгийско-американского физика русского происхождения, мы можем говорить о принципиальной непредсказуемости движения, происходящего в мире в определенные моменты: моменты предсказуемого сменяются взрывами, результат которых непредсказуем. Особенно это важно для человеческой истории, где вторжение сознания резко увеличивает степень свободы, то есть непредсказуемости.

Таким образом, там, где мы имеем добро, мы обязательно будем иметь и опасность, потому что добро есть выбор. И искусство — одно из высших творческих начал — в этом смысле таит в себе опасность. Как вы помните, известная библейская легенда об Адаме тоже связана с этим — он получил выбор, которого у него не было, и получил возможность преступления, возможность греха. Таким образом, сфера искусства связана с этими вопросами, и связана очень тесно. Человек как мыслящее существо (конечно, не только человек, но мы сейчас о человеке говорим) обладает выбором, но степень выбора резко повышается, когда человек вступает в сферу искусства.

Искусство обладает совершенно чарующими свойствами, которые настолько важны, что без них не может быть сознания. Жизнь, например, не дает нам возможности вернуться назад и сказать, что «этот проступок я переиграю». Жизнь все время отнимает у нас возможности. Человек начинает жизнь с огромным выбором путей и постепенно этот выбор исчерпывает, его возможности выбора уменьшаются, а раз уменьшаются возможности выбора, то уменьшается и информация. Чем дольше человек прожил, тем легче предсказывать, что с ним будет дальше. Искусство как бы позволяет вернуться в тот момент, когда выбор еще не сделан. И ставит нас в положение обладающего свободой выбора. Между прочим, поэтому искусство и обладает высочайшей нравственной силой.

Нравственную силу искусства часто понимают очень поверхностно, и об этом мы сейчас поговорим. Обычное представление — такое: человек прочитал хорошую книгу — и стал хорошим, человек прочитал книгу, где герой поступал плохо, и он стал делать плохо. И мы говорим: «эти книги детям не давайте — они опасны», «плохие книги лучше не читать». Это приблизительно то же самое, что не делать людям прививок или же говорить: не знайте, что такое плохие поступки, а то вы начнете их делать. Незнание никого никогда не спасает. Сила искусства — в другом: оно дает нам выбор там, где жизнь выбора не дает. И поэтому мы можем полученный в сфере искусства выбор перенести в область жизни — так же, как мы делаем с прививками.

540

Но возникает очень серьезный вопрос, который всегда останавливал моралиста, и останавливал с основанием: что искусству позволено, а что — нет? Искусство — не учебная книга и никогда не было каким-то практикумом по морали. Мы говорим, что современное искусство очень опасно, — там очень много пороков. Возьмем Шекспира. Что мы читаем в его трагедиях? Убийства, преступления, кровосмешительство, ужасные действия на сцене. В одной трагедии вырывают глаза (это «Король Лир»), в другой — вырезают язык и обрубают руки изнасилованной героине — все это чудовищно. Но в искусстве это почему-то оказывается возможным, и никто у нас никогда не обвинит Шекспира в безнравственности. Правда, было время, когда обвиняли. Еще немецкие романтики, переводя Шекспира на немецкий язык, эти сцены убирали. Еще молодой Жуковский, в будущем, как он сам называл себя, «отец всех чертей в русской поэзии», советовал своему другу — гениальному, но рано умершему Андрею Тургеневу — выбросить в «Макбете» сцену с ведьмой. Разве просвещенный человек в начале XIX века может на сцене увидеть ведьму? Это просто варварство, невежество, это мог дикий Шекспир в свое дикое время так писать, а кто после Вольтера будет писать такие вещи — все со смеху умрут.

Но романтики, а позднее и сам Жуковский, поняли, что фантазия, ужас, страх, преступление могут быть предметами искусства. Но почему? Почему предмет искусства — преступление — не делается агитацией за преступление? Хотя наивно думать, что это — правило морали, изложенное в стихах или в прозе. Греки, трагедии которых были наполнены преступлениями (Еврипид, например, — сплошные убийства, ужасно!), были, однако, отнюдь не безнравственными писателями. Почему? По одной очень важной особенности. Искусство стремится быть похожим на жизнь, но искусство не есть жизнь, и никогда мы их не путаем.

Известен анекдот, который повторялся в разных источниках, — анекдот о том, что когда в Америке (еще в XVIII веке) на сцене шел «Отелло», часовой, стоявший у ложи губернатора, выстрелил в Отелло со словами: «Никто не скажет, что при мне черномазый похитил белую женщину». Это — не торжество искусства, это — непонимание того, что такое искусство. Хотя очень часто именно так воспринимается торжество искусства. Известен рассказ, греческая легенда, про двух художников, которые явились на состязание, принесли картины. Один принес нарисованные фрукты, к нему слетелись птицы и начали их клевать, и все закричали, что он уже заслужил первую премию. Второй нарисовал на полотне кусок тряпки и повесил свою картину.

Тогда его противник, посмотрев, сказал: «Ну, сними свою тряпку, покажи, что ты нарисовал». И второй художник победил, потому что сам противник принял нарисованную картину за тряпку.

Это — легенды, основанные на наивном представлении о том, что такое искусство. В XVIII веке был специальный жанр — такие художественные фокусы — картины, на которых рисовали висящие вещи, чтобы их можно было спутать с реальными. Но опыт знает, что искусство в принципе не путается с жизнью.

Искусство — похоже, оно — вторая жизнь, но разница здесь очень велика. Искусство — модель жизни. Поэтому преступление на картине — это есть

541

исследование преступления, изучение того, что такое преступление, а преступление в жизни есть только преступление. В одном случае — изображение вещи, а в другом случае — сама вещь. И все многочисленные легенды о том, как художники создавали не отличимое от жизни или заменяли искусство жизнью (существует такая легенда о Микеланджело — якобы он для того, чтобы нарисовать Христа, мучил приговоренного к смерти преступника), возникают из-за наивного взгляда на искусство.

Но искусство охватывает огромную сферу, и рядом с ним есть полуйскусство, чуть-чуть искусство и совсем неискусство. Особенно это заметно в наше время с развитием техники, с развитием печати, с необходимостью огромного числа «не совсем искусства»: обложек для книг, разнообразных реклам — всего, что заставляет взять в руки кисть, карандаш, писать стихи, делать фотографии (ведь как трудно бывает отделить художественную фотографию от нехудожественной). Вся эта огромная сфера как бы перетекает из искусства в неискусство и играет свою роль: оно как бы похоже на искусство.

Посмотрим на эти фотографии обнаженных женщин. Обе они имитируют определенную живопись — живопись конца XIX века. На одной — лежащая женщина, а сверху — картина, изображающая лежащую обнаженную женщину, причем картина очень похожа на нее, так что при невнимательном взгляде можно подумать, что это зеркало. На другой фотографии — тоже фигура обнаженной женщины и рядом, со спины, мужчина в костюме. Сама композиция очень напоминает французскую живопись второй половины XIX века. И все-таки это не искусство, и даже более того, это довольно низкая его имитация. Потому что искусство таит в себе некую тайну, оно представляет собою воспроизведение с какой-то позиции: чье-то мнение, чей-то взгляд. Оно не может быть пересказано одним словом. Попробуйте пересказать сонату словами. Невозможное требование.

Между тем как здесь — все понятно. Здесь есть обнаженная женщина и нет смысла обнажения. Поэтому здесь обнаженная женщина изображает обнаженную женщину, в то время как на картине обнаженная женщина может изображать красоту, разврат, преступление, благородство, может изображать разные эпохи, разные смыслы. Изображение является знаком, и мы можем сказать, что оно означает. Когда мы смотрим на обнаженную фигуру, нарисованную или высеченную из камня, на экране кинематографа или даже на художественной фотографии, то мы можем сказать, что это обозначает. Мы можем поставить вопрос: что этим автор хотел сказать нам? И это его к нам обращение будет не в одном слове — нам будет стоить труда понять его и выразить. Но если, как здесь, мы видим просто сфотографированную женщину без одежды, то сказать, что она нам говорит, можно только если мы уж очень «художественно» настроены.

Знаете известный комический анекдот: стоит человек, вдруг пробегает другой, ударяет его по лицу и бежит дальше. Человек долго думает, а потом говорит: «Не понимаю, что он хотел сказать». В театре это, действительно, было бы сообщение, но в жизни сама жизнь есть материал для сообщения, а не сообщение. И отсюда — принципиальная разница. Мы можем взять искусство XX века с его стремлением к фотографии, со стремлением к точ-

542

ности, но — как ни странно — чем выше имитация, подражание, тем выше условность, тем больше отделяется само искусство от того, что оно изображает.

Позволю себе несколько примеров. Если вы смотрите рисунки замечательного австрийского художника Климта, то видите, с какой чрезвычайной схожестью — иначе не сказать, — с каким овладением жизнью он изображает в основном женское тело. Но женское тело для него совсем не только женское тело. И в этом смысле особенно интересны его полотна. Вы видите замечательную вещь: лицо и руки выписаны с необычайной выпуклостью, трехмерно, а погружены они в платье, которое нельзя отличить от фона, — оно линейно, оно плоское, и таким образом пересекается трехмерность с двухмерностью, чрезвычайное подражание жизни с необычайным от нее отличием. И чем выше подражание жизни, тем сильнее от нее отрыв.

В этом смысле искусство конца XX века, достигающее огромной степени приближения к жизни в силу огромных технических возможностей, одновременно вырабатывает и чрезвычайное отличие. Это очень заметно на прозе. Проза конца века чрезвычайно напряженно имитирует жизнь: имитирует неправильное говорение, имитирует отсутствие сюжетов, случайность кусков, но при этом чем сильнее имитация, тем больше отличие. Идеал античной легенды о том, что человек не мог отличить тряпки, наброшенной на картину, от изображения этой тряпки, — это совсем не идеал искусства.

Но как же быть с тем, что находится рядом с искусством? Мы видим, что в высоком искусстве слияние с жизнью вызывает противодействие (как введение в тело некоторой инфекции). Чем больше искусство стремится к жизни, тем оно оказывается условнее. Между тем мы видим прямое подобие искусства жизни. Во-первых, техническое. Когда в искусство еще в XIX веке ворвалась фотография и потом появились первые технические возможности кинематографа, то у людей искусства возникла настоящая паника: казалось, что искусство погибло, вместо подобия жизни в него ворвалась сама жизнь. Еще больший шок вызвало звуковое кино. Основные деятели искусства, великие работники кинематографа, испугались этого.

Фактически звук в кино был техническим достижением, а отнюдь не художественной потребностью. Немое кино достигло очень больших художественных высот, и звук в кино был воспринят враждебно, в частности такими великими людьми, как Чарли Чаплин, который полагал, что звуковое кино погубит кинематограф. И он в этом смысле стал действовать очень смело: свои первые звуковые фильмы он сделал как антизвуковые. Например, он давал своим актерам речь на несуществующем языке. Они пиликали, бормотали, квакали — они говорили, но на языках, которых нет. Только очень постепенно Чаплин освоил звук как художественное средство.

То же самое происходило и в России — в Советском Союзе, где группа очень талантливых кинематографистов во главе с Эйзенштейном встала перед этим вопросом, не прячась от него, и сделала очень смелый вывод: искусство кинематографа допускает звук, но этот звук не должен быть реальным звуком. То есть если шаги даются звуком, то звук надо дать *до* или *после* шагов на экране, ни в коем случае не вместе. Если речь дается словами, она не должна совпадать с губами, то есть она должна быть сдвинута, ибо сдвиг

543

в искусстве создает новый мир. Искусство всегда не кусочек органического старого мира, а создание его.

Но эти страхи были побеждены. Мы получили звуковой кинематограф, который, конечно, переделал весь кинематограф. Между прочим, это была не только прогрессивная переделка. Кинематограф перенес звук, как тяжелую болезнь, из которой он вынес выгоды и потери. Но каждый раз приближение к жизни есть болезнь. Жизнь мало технически внести в искусство — это надо художественно освоить.

Каждое новое открытие для искусства — болезнь роста, но оно обогащает и ставит новые трудные задачи. Таким образом, искусство каждый раз движется, как, знаете, в легенде о божественной птице феникс, — сгорает в собственном огне и воскресает заново.

Но рядом с искусством живут другие формы деятельности, которые используют искусство, а искусством могут и не быть: реклама, разнообразные виды *околоискусства*. Трудно сказать, что такое *неискусство*. Весь XX век научил нас быть осторожными в этом. Когда-то, в XIX веке, никто бы не стал делать музей детских игрушек или же народных картинок, неуклюжих, как тогда говорили, неумелых, — это считалось плохой живописью. Сейчас у нас сфера искусства очень раздвинулась.

Я еще помню поколения, когда кинематограф искусством не считался. Культурные люди, конечно, в кинематограф ходили — но было не принято признаваться в этом: культурные люди ходят в оперу, культурные люди ходят в филармонию, иногда позволяют себе пойти в оперетту, но в этом не очень признаются, а уж в кино, или, как тогда говорили, *в киношку*, культурные люди не ходят. Блок начал ходить в кино после революции, когда он осваивал демократический образ жизни, когда он впервые перестал ездить на извозчике и зашел в трамвай — и был поражен. Это был для него новый мир, и он писал: как только войду в трамвай да надену кепку — так хочется толкаться. Совершенно другое поведение. И кинематограф — другое поведение. Он вошел в искусство.

Значит, происходит очень любопытная вещь: с одной стороны, искусство все время как бы застывает и превращается в какую-то прикладную технику, уходит из сферы искусства. Плохие кинофильмы, неудачные постановки имитируют искусство — прогрессивное или реакционное, искусство, заказанное «сверху» или заказанное «снизу» или «сбоку», — это неважно. Но они — имитации. Они разрастаются, они имеют двойную судьбу. Отчасти они не вредны, как не вредны азбуки и учебники, — они понятны (ведь не всем же можно сразу слушать сложную симфоническую музыку). Это полезно, но это и опасно. Одновременно они учат дурному вкусу и подсовывают вместо подлинного искусства имитации. Имитации усваиваются легче — они понятнее, а искусство — не понятно и потому оскорбительно. Поэтому массовое распространение искусства — а еще не так давно мы считали, что искусство и меряется тем, насколько оно массово. — всегда опасно.

Но с другой стороны, откуда же берется новое высокое искусство? Оно ведь не вырастает из старого высокого искусства, как еще в XVIII веке один мыслитель говорил: «вчерашней пищей не живы». И искусство, как ни странно, выбрасываясь в пошлость, в дешевку, в имитацию, в неискусство, в то,

544

что портит вкус, вдруг неожиданно оттуда начинает расти. Помните, как писала Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда»¹. Искусство редко вырастает из

рафинированного, хорошего вкуса, обработанной формы искусства — оно растёт из сора.

Так вдруг неожиданно вырос кинематограф — из довольно низменного развлечения он стал в нашем веке искусством номер один. Сейчас он, кажется, потерял это место, но приблизительно с 1920-х годов до последней четверти века он был действительно первым искусством века. Он нашел то неожиданное соединение массовости и высокой проблемности, какое в конце XIX века имела опера. Опера, которая была чем-то очень периферийным, вдруг вырвалась вперед в эпоху Вагнера и Чайковского, стала искусством номер один и заняла место рядом с романом.

Искусства как бы обгоняют друг друга, и в какой-то момент какое-то из них, казалось бы запоздалое, вдруг выходит вперед и обязывает всех ему подражать. Традиционно таким искусством в XIX веке был роман: когда живопись и театр — все подражали роману. Потом вдруг роман в эпоху символистов отошел на второй план и вперед вышла лирическая поэзия. Все время какой-то жанр вперед вырывается, происходит постоянная сложная работа.

Пошлость — это яд, но этот яд тоже необходим для развития. Чистота, последовательность, высокое благородство — это цель. Но, завоевав победу, эта цель делается часто бесплодной. Как для продолжения рода необходимо хотя бы два пола и нельзя, чтобы все было чистым, так в искусстве чистая вещь прекрасна в нравственном смысле, но у нее нет детей.

Это — живая, сложно организованная мысль, и нам ее трудно понять, потому что мы находимся внутри этой мысли. Мы можем понимать то, что наблюдаем снаружи: как легко нам описывать иностранные языки и как трудно описывать свой родной. Мы находимся внутри искусства, мы с ним родились, оно в нас и мы в нем. И когда мы говорим, что мы вне искусства, это только один из жанров искусства. Выйти из искусства нельзя, как нельзя выйти из языка: даже когда мы молчим, мы молчим на каком-то языке.

Поэтому искусство — это мы. Оно нас пронизывает. Оно, конечно, больно, так и мы больны, особенно в наш век. Мы больны, и мы жалуемся, что у нас больное искусство. Знаете поговорку: не пеняй на зеркало, коли рожа крива. Но искусство обладает способностью заново оживать, и это вселяет и нам надежду.

И этой надеждой я хотел бы закончить лекцию, поблагодарив вас за внимание и терпение.

¹ [Ахматова А. А. Творчество // Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1979. С. 202.](#)

Цикл пятый. Пушкин и его окружение (1991-1992 гг.)

Лекция 1¹ (1991 г.)

Добрый день!

Когда мы выбирали вместе с коллегами по телевидению тему для этого цикла лекций, мы подумали, что надо и интересно будет напомнить о творчестве, об облике, о человеческом характере того, кто всегда находится в центре нашего внимания, когда мы говорим о русской культуре, — Пушкина. Но при этом мы подумали, что интересно не повторять знакомое большинством зрителей, а показать нашего героя в своеобразном зеркале.

Каждый человек отражается в отзывах своих современников, в тех людях, с которыми он сближается или от которых он отталкивается, в своих друзьях и в своих врагах. Поэтому нам показалось интересным дать зрителям некоторое представление о людях, окружавших Пушкина, — самых разных; о людях, с которыми его сталкивала судьба — не всегда приятным для него образом, и о его друзьях, упомянуть о женщинах, которые занимали в жизни Пушкина большое место.

Мы решили, что закономерно и правильно будет начать наш разговор с человека, сыгравшего в жизни Пушкина очень большую и сложную роль и отношение к которому Пушкина тоже было сложным. Начать надо с императора Александра I.

Пушкин сказал однажды, что он императору Александру «подсвистывал» в течение всей его жизни. Действительно, отношения у них были сложные. Но они не укладываются в простую форму борьбы или отталкивания, вражды, они были в достаточной мере противоречивы. И Пушкин был человек сложный, творческий и, следовательно, человек сильных перемен в настроениях, и Александр I был загадочным человеком. Не случайно его западноевропейские современники отзывались о нем как о «северном сфинксе» — так его называл человек проницательный — Наполеон Бонапарт, который пережил и личные встречи, и долгие разговоры, и, наконец, трагический финал в их отношениях. Эти слова Наполеон произнес уже в ссылке, на далеком острове

¹ Передача вышла в эфир в 1991 г. Текст лекции публикуется впервые.

546

Св. Елены. Это — правильные слова, в том смысле, что до сих пор Александр для нас остается загадкой.

Мы имеем много версий о нем: от самых отрицательных и упрощенных (таким он предстанет нам в дерзких пушкинских эпиграммах) до того облика, который не случайно привлекал Льва Толстого. Может быть, мы начнем с самого конца.

Лев Толстой был увлечен до сих пор не разгаданной для нас легендой о загадочном, таинственном человеке, который появился в Сибири под именем Федора Кузьмича как раз в то время, когда Александр, давно уже умерший, вдруг как-то стал актуализироваться в памяти современников.

Что мы знаем о Федоре Кузьмиче? Мы знаем, что в Сибири появился человек, который был окружен некоей таинственной атмосферой, потом возникли две версии. Одни считали, что это Александр I, и я скажу, кто были сторонниками этой версии. Другие называли имена нескольких исторических лиц, исчезнувших при неясных обстоятельствах приблизительно в ту же эпоху. Лев Толстой верил, что Федор Кузьмич — Александр. В защиту этого мнения выступает группа историков. Вообще историки по этому вопросу расколоты: одни считают, что это действительно Александр, другие решительно это отрицают. Я остановлюсь на скептической точке зрения: у нас нет оснований так или иначе решить этот вопрос. Но для нас сейчас важно другое — что такая легенда возникла. Даже если это легенда.

Сторонником этой легенды был известный историк искусства — барон Врангель, брат политического и военного деятеля, ставшего потом участником Гражданской войны в России. Барон Врангель — искусствовед, историк — доложил о своих выводах Николаю И. который сказал ему: «Ты это знаешь, и я это знаю, и чтобы больше никто не знал». Такая версия, конечно, должна быть рассмотрена. Она не является юридическим доказательством, если бы мы перенесли дело в серьезный суд, он бы не смог на основании этого вынести решение. Это устная версия (на каких документах она основывалась, мы не знаем) — рассказ о том, что когда старец Федор Кузьмич умер, то тело его привезли в Петропавловскую крепость, где могилы царей, и вскрыли гроб Александра I. Гроб якобы оказался пустым, и туда положили привезенное тело. Этот рассказ восходит к старику, который в это время был часовым у могил в Петропавловской крепости. Потом всех этих солдат наградили деньгами и перевели в провинциальные сторожевые службы.

Есть несколько подобных легенд и исторических фактов. Есть и противоположные, достаточно аргументированные исследования. У нас есть подробные записки врача Александра I, который присутствовал при его смерти. У нас есть свидетельства жены Александра I, которая сама вскоре скончалась, но которая присутствовала при смерти императора. Никаких намеков на то, что

смерть — фиктивная, не поступило ни от братьев Александра, ни от его матери... я не буду дальше перечислять. Я только скажу, что Александр остался для нас загадкой, даже в своей смерти. И загадкой он был в своей жизни.

Он родился в 1777 году. Это был год большого петербургского наводнения. Александр дожил до 1825 года. Царь в последние годы старался не

547

бывать в Петербурге. Он все время проводил в путешествиях, в дороге, постоянно меняя направления, и делал это отчасти потому, что на дорогах выстраивались крестьяне с жалобами и просьбами. Он предпочитал объезжать эти дороги. Пути его были всегда наполовину секретными. Когда он умер, то по Петербургу пошла эпитафия: «Всю жизнь провел в дороге, / А умер в Таганроге». Когда в 1824 году осенью он заехал в Петербург — после длинной поездки, — он неожиданно попал на наводнение.

О поведении царя во время наводнения есть несколько версий. Пушкин потом к ним вернется с тем, чтобы в «Медном всаднике», рядом с мощным образом Петра, который противостоит буре, создать отчасти человеческий, но жалкий образ:

...В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел¹.

Кстати, Пушкин тут не совсем точен. Он показал бессилие Александра. Исторические материалы дают другое свидетельство. Как только вода сошла немножко, Александр отправился по тем улицам, где можно было проехать. Его окружила толпа, которая, стоя на коленях, молилась, и старик сказал ему: «Наши грехи», на что Александр ответил совершенно неожиданно: «Не ваши — мой грех Господь карает». Конечно, царь в эту пору был уже настроен очень мистически. Но эти настроения идут сквозь всю его жизнь и, действительно, придают ему некоторую загадочность. Но в том-то и сложность Александра, что он все время разный: в нем как будто бы много людей, и нельзя описать одно лицо.

Вот, скажем, он — покаянный, страдающий. Кстати, когда, по описаниям современников, тут, на залитой водой улице Петербурга, Александр заплакал, современники думали, что он плачет от жалости к народу. Это чувство было совершенно ему чуждо. В тот же день он написал письмо Аракчееву, в котором ни капли жалости не было (Аракчеев жалел царя за то, что тот так волнуется в это время). Нет, чувство жалости ему не было свойственно. Александр плакал от обиды и бессилия: все его обидели и Бог его обидел. И Бог тоже унизил его, потому что петербургское наводнение это, конечно, страшное унижение и бессилие.

Ведь не случайно даже в «Медный всадник», в свою героическую поэму, Пушкин сначала вставил комический эпизод после того места, где речь идет о царе, правда потом его выбросил. В окончательном тексте:

Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным,
В опасный путь средь бурных вод¹
¹ Пушкин А. С. Т. 4. С. 387.

548

Его пустились генералы.
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ¹.

К этому месту («Его пустились генералы») Пушкин дал примечание: «Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф». А дальше у Пушкина в черновиках был совсем комический эпизод. Говорили о том, что один из сенаторов проспал наводнение и утром, выйдя к окну, увидел, что по улице плывет Бенкендорф, а рядом — в стороне — Милорадович. Позвал слугу и спросил: «Ванька, кто плывет?» Тот ответил: граф Милорадович. «Ну, слава Богу, я думал, что я с ума сошел».

Пушкин включил этот эпизод:
Со сна идет к окну сенатор
И видит — в лодке по Морской
Плывет военный губернатор.
Сенатор обмер: «Боже мой!
Сюда, Ванюша! Стань немножко,
Гляди: что видишь ты в окошко?»
— «Я вижу-с: в лодке генерал
Плывет в ворота, мимо будки».
— «Ей-богу?» — «Точно-с». — «Кроме шутки?»

— «Да так-с». — Сенатор отдохнул
И просит чаю: «Слава богу!
Ну! Граф наделал мне тревогу,
Я думал: я с ума свихнул»².

Таким образом, Александр даже в этой героической, в общем, поэме — как только рядом появился Петр — оказался для Пушкина жалким и немножко смешным. Но это отнюдь не все, что мы можем сказать об Александре. Очень коротко все-таки вспомним его судьбу.

Александр был, конечно, талантливый человек и среди русских царей, этой самой Романовской династии, был человеком уникальным. Во-первых, он был очень хорошо образован, прекрасно знал иностранные языки. По-французски, по-английски, по-немецки говорил совершенно свободно, по-французски и по-английски — как по-русски. Он читал много, был в курсе современной мысли. Вообще, он не был, как я уже сказал, лишен талантов, но очень рано в нем появилось то, что так отталкивало его воспитателя, о котором мы еще будем говорить: двойственность. В разных комнатах царскоесельского дворца он был как будто бы разным человеком. Начало этому положило то обстоятельство, что, как первый родившийся внук Екатерины II, он сразу оказался в центре борьбы между отцом и бабушкой. Павел и Екатерина ненавидели друг друга. Екатерина обрадовалась рождению внука и открыто говорила, что внук унаследует трон. Она собиралась лишить Павла престола, и Павел знал это. Между сыном и отцом сразу сложились двусмысленные отношения.

¹ Пушкин А. С. Т. 4. С. 387—388.

² Там же. С. 539—540.

549

Для Александра Екатерина выдумала специальное, в духе философов просвещения, ритуальное поведение. Он был первый, кому отменили пеленки, поскольку Руссо высказывался против пеленок. Он был один из первых, кому привили оспу, потому что прививка оспы была знаком просвещения. Он должен был стать идеалом. Но этот идеал сразу же был погружен в атмосферу лицемерия и был убежден, что для того, чтобы выжить, надо в одной комнате быть одним, в другой — другим. И это сложилось у него очень скоро. У Александра был воспитатель, швейцарец Лагарп, благородный человек, и в комнате воспитателя он — философ. В комнате бабушки он — играющее дитя, живущее по законам Руссо, а у отца — он уже маленький солдат.

Александр очень легко менял эти одежды. И все же главное его чувство в этот период — страх. Он боится отца, как и брат его Константин, человек тоже талантливый, но сумасшедший в прямом смысле слова. Сумасшедший не от безумия, а от полного неумения сдерживаться. Из-за его диких «шуток» от него убежала жена. Они оба были очень молоды — Екатерина, следуя философам, венчала своих внуков почти детьми, чтобы избавить их от разных детских пороков. Так, например, однажды Константин пришел с большой трубой (самой низкой, она называется бас) и будил жену тем, что приставлял этот бас к ее уху и дул изо всех сил. Вот такие дикие у него были «шуточки». Александр от него отличался. Он не был дикарем, как Константин, зато он и не писал своему учителю Лагарпу, как Константин: «Ваш осел Константин».

Лагарп не стеснялся, он считал, что ребенка надо воспитывать в обстановке равенства, и воспитывал царского сына и внука императрицы так, как будто у него на руках простой ребенок, доверенный ему для воспитания. Позже Крылов написал басню «Воспитание льва» — о том, как воспитывали царского ребенка: решили, что лучше всего сможет воспитать орел, потому что он тоже царь зверей. Когда львенок стал наследником, он решил всех зверей осчастливить тем, чтоб научить их вить гнезда.

Александр боялся отца, как я сказал, и это вызывало у него двойственное поведение. С одной стороны, он был либерал и окружил себя либеральными молодыми людьми. Правда, это были все дети из аристократических семей, но втайне они называли себя якобинскими терминами и говорили о будущей свободе, которой они осчастливят Россию. Это было одно. Но одновременно Александр выполнял и государственные обязанности. Именно он должен был утром и вечером докладывать отцу, как обстоят дела в столице, — как лицо, ответственное за порядок в Петербурге. Доклад Павлу — это было непростое дело. Надо было вставать в пять утра, много трудиться. Тут Александр обрел неожиданного помощника — Аракчеева.

Грубый и трусливый, отвратительный, один из самых отвратительных людей в русской истории, ставший потом символом, в будущем — граф Аракчеев, а тогда офицер, который добровольно выполнял у Александра роль преданной собаки. Утром он приносил уже подготовленный отчет, когда наследник, еще молодой, спал с женой в постели (она пряталась с головой под одеяло). Наследник мог еще доспать.

В дальнейшем отношения Александра и Аракчеева менялись и были сложными. Александр знал, что Аракчеев — негодяй, знал, что Аракчеева ненавидит вся Россия, но знал и то, что тот ему предан как собака. И отноше-

550

ние было сложным: то, что Аракчеев негодяй, для не верившего никому Александра отчасти хорошо. Уже когда он стал императором, он считал, что все люди негодяи, это было его глубочайшее убеждение. Поэтому то, что Аракчеев негодяй и его все ненавидят, только убеждало

Александра в том, что ему некуда убежать и он его не предаст. Кроме того, Александр находил особое удовольствие в подтверждении своего презрения к людям. Он был очень надорванный человек.

Это получилось не сразу. Конечно, страшным ударом для Александра была необходимость участвовать в убийстве отца. Павел — особенно последние месяцы и уж точно в последние недели жизни, — чувствуя, что готовится трагедия, был на грани помешательства. Он подозревал всех. И именно в силу своего подозрения оказался слепым по отношению к подлинному заговору. Граф Пален — один из руководителей заговора — чуть было не попался. Павел схватил его и сказал: ты предал меня! ты — в заговоре. Пален — хладнокровный человек, не растерялся: да, государь, я — член заговора... Заговор существует, и я специально в него вошел и скоро вам все доложу. Он ускорил убийство. Александр находился на краю пропасти. Отец уже готовил для него по крайней мере крепость, поэтому наследник должен был войти в заговор. Но он боялся и взял слово, что Павла не убьют. Тот же Пален дал это слово, но, отойдя, даже не дав себе труда сказать тихим голосом, громко и не глядя на Александра, произнес: «Кто хочет съесть яичницу, должен разбить яйцо».

Когда Александр узнал, что отец убит, он разрыдался. Правда, те, кто знали его, никогда не могли быть уверены в искренности его чувств. Кстати, Александр был великолепный актер. Это тоже отметил Наполеон, подчеркнув, что Александр на фоне великих актеров XVIII — начала XIX века был бы величайшим актером. И плакать он мог, когда это было ему нужно. Но в данном случае он рыдал. И Пален, может быть, тут попался. Он считал, что перед ним действительно мальчишка. Он подошел к рыдающему Александру и сказал грубо: хватит рыдать! ступайте царствовать! По-французски это звучало как команда: марш царствовать! Александр этого ему никогда не забыл. Как только он стал императором, Пален получил приказ уехать из столицы и никогда больше ни в Петербурге, ни в Москве не бывать. Правда, Александр еще с ним встретился, мы сейчас поговорим, при каких обстоятельствах.

Царствование Александра началось в счастливых, с точки зрения человеческих отношений, обстоятельствах (я не говорю сейчас о политике). Все были раздражены Павлом, все радовались молодому, красивому Александру. Александр был действительно красив, хотя имел физические недостатки: был немножко глуховат и близорук. Глухота делала его очень подозрительным; позже ему начал казаться, что все над ним смеются, — как гоголевскому колдуну из «Страшной мести». Но в эту пору он был красивый, молодой, полный сил, и на него смотрели действительно с надеждами. Этот период сопровождался либеральными опытами, а эти либеральные опыты для Александра — вещь очень серьезная.

Существующая расхожая идея, что он смолоду — либерал, а потом реакционер, неправильна. Александр, по сути дела, никогда не менялся. И смолоду-

551

ду Аракчеев был около него, и после, и все вообще было несколько сложнее. Но что правильно, — то, что вначале он был очень популярен, а в конце — очень непопулярен. Довольно скоро политическая обстановка начала резко меняться, менялось и направление государственной деятельности Александра.

План реформ был задуман при участии либеральных деятелей, и определенную роль здесь играли молодые друзья Александра, потом выдвинулся быстро делавший карьеру и получивший власть молодой талантливый разночинец Сперанский. Но внутренняя политика резко столкнулась с международными делами. Наполеон разбил Австрию, и его власть быстро росла. Александр оказался втянутым в антинаполеоновский лагерь. Участие в войне 1805 года не было государственной необходимостью. Война происходила очень далеко от русских границ, а Австрия была почти всегда дипломатическим и политическим противником России. Их интересы сталкивались на Балканах, а определенные политические интересы скорее сближали Россию с Наполеоном. Но личные интересы Александра шли по другой дороге. Александр уже заметно начал путать государственные и личные интересы, что с ним и позже бывало, вернее — приравнивать свои личные интересы к государственным.

Так или иначе, Россия вступила в войну. Александр самонадеянно решил сразиться с Наполеоном во главе большой коалиции, в которую входили и достаточно коварно державшаяся Австрия, и Пруссия, которая только что была Наполеоном разгромлена и военной силы не представляла. На Аустерлицком поле армия союзников потерпела ужасный разгром. Это был страшный удар лично для Александра. По сути дела, на долгие годы он отошел от военного командования, хотя в наполеоновское время авторитет правителя в народе во многом определялся его военным авторитетом.

Аустерлиц был страшным унижением, и Александр вышел из него лично оскорбленным. Затем ему было нанесено еще одно оскорбление. Началась следующая война с Наполеоном — уже более мотивированная, потому что Наполеон тем временем вошел в Пруссию и война подошла к тогдашним русским границам. Правда, в народе и эта война не вызвала ни чувства опасности, ни сочувствия. Шла длинная и очень кровавая война: скверная погода, дождь со снегом, армии — и наполеоновская, и русская — застряли в грязи. Начались новые сражения. Ведь даже Аустерлицкое сражение, кровопролитное для России, было сражением быстрым и в

наполеоновском стиле. Это означало: французская армия наносит неожиданный удар и быстро разбивает противника; еще палят пушки, а уже в Париж скачет гонец с донесениями о новых великих победах.

Вторая война с Наполеоном была медленной, очень кровавой и без решительных успехов. Она закончилась мирными переговорами, которые велись на реке Неман. Чтобы участники были в равном положении, императоры встретились на воде, на специально выстроенном плоту. Правда, Наполеон схитрил. Он подъехал к плоту на несколько минут раньше и, пройдя на восточную сторону, подал выходящему из лодки Александру руку как хозяин. Это было унижение. Не только это, но и вся встреча в целом.

Александр подписал невыгодный Тильзитский мир. Россия вошла в континентальную блокаду, разорвала торговые отношения с Англией, что было

552

очень невыгодно. Царь потерял значительную часть своего авторитета. Вскоре началась Отечественная война. Позже Пушкин писал:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал¹.

Двенадцатый год принес славу народу, армии и страшное унижение царю. Александр так это и переживал. Своей сестре, с которой у него были более чем братские отношения и которая тем не менее писала ему очень грозные письма, он отвечал, что разве можно презирать человека (он имел в виду себя) за то, что в нем нет таланта? Это же от Бога. И добавлял, что ему приходится воевать с гениальным человеком! Это — Наполеон, а у него армия — пьяница Кутузов да сумасшедший дурак Багратион...

Действительно, авторитет Александра был абсолютно потерян. Дошло до того, что в самом начале войны руководство армии заставило царя покинуть фронт, покинуть армию. Александр ускакал, это было большим оскорблением. Даже Аракчеев высказался за то, чтобы царь оставил армию, правда в таком стиле: когда ему сказали, что судьба России требует, чтобы государь оставил армию, Аракчеев ответил: чёрта ли мне Россия, скажите, государь в опасности? Ему подтвердили, что в армии на войне никому гарантировать безопасности нельзя. Аракчеев решительно выступил за то, чтобы царь покинул армию. Это типично для него: «чёрта ли мне Россия, государь в опасности!».

И последующие тяжелые победы, когда наполеоновская армия, которая отступала, и русская армия, которая наступала, потеряли почти равное число убитыми (что, в общем, противоречит разуму), воспринимались Александром в том же ключе. Двенадцатый год и впоследствии никогда его не вдохновлял. Кстати, Александр, который объездил все провинциальные городки России, никогда не был на Бородинском поле. Он не заезжал туда. Он постарался забыть двенадцатый год.

Правда, тут судьба ему улыбнулась. Война перешла на территорию Германии, германских княжеств, а затем двинулась дальше на запад. Формально союзниками командовал старик, австрийский фельдмаршал Шварценберг, но практически руководства он не осуществлял. Однажды чисто случайно Александр возглавил сражение и блестяще его выиграл. И произошла странная вещь: он вдруг сделался талантливым полководцем, хотя и ненадолго, действительно осуществив один блестящий маневр.

Когда армия союзников вошла во Францию, положение было сложное. У Наполеона была большая, правда состоявшая из почти детей, но полная желанья драться, армия. Наполеон был еще силен, и он оказался в очень выгодном положении, зайдя, после нескольких кровопролитных сражений, почти в тыл русской армии. Тут Александр и принял решение, которое может принять только дилетант, и выиграл. Он начал быстрый поход на Париж, имея обнаженный тыл и Наполеона в тылу. Париж капитулировал, Наполеон

¹ Пушкин А. С. На Александра I // Пушкин А. С. Т. 2. С. 360.

553

оставил армию, отправился в Фонтенбло и подписал отречение. Таким образом, был сделан неграмотный шаг, но ведь на самом деле и Наполеон выигрывал потому, что имел смелость быть «неграмотным». А вот австрийские генералы действовали по точным предписаниям военной науки...

Однако более Александр никогда не занимался военными действиями, зато отчаянно предался фрунту, парадом, и этому есть свое объяснение. Александр боялся стихии. Он боялся жизни. Солдаты на учении, на маневрах — фигурки, управляемые голосом командира. И тогда он их не боится. А война — другое дело (Александр на самом деле не верил в Бога, он не верил никому — хотя был в эти годы очень мистически настроен — он был охвачен страхом). И вот теперь, после войны, Россия, превращенная в армию, была выстроена на парад. Это связывало Александра с Аракчеевым. Он знал, что Аракчеев непопулярен, что Аракчеев — мерзавец, но он обеспечивал «порядок». Порядок же для охваченного ужасом Александра делался какой-то заменой живой жизни (хотя, конечно, в действительности все не сводится к такой простой схеме).

Возьмем два факта. Александр заводит военные поселения, которые ненавидело все общество,

в том числе декабристы. Ужасная вещь! Крестьян превращают в солдат: двойная жестокая система подавления, полное лишение свободы. Аракчеев отвратительно-умильным тоном писал, что дети любят мундирчики и проводят свои игры так: идут по плацу друг другу навстречу и когда встречаются, друг друга приветствуют. Вот, дети так играют, а крестьяне пахут землю, и потом они идут на военные учения. Но ведь в это же самое время вводится реформа крепостного права в Прибалтике. Александр хотел, чтобы в Прибалтике было уничтожено крепостное право. Он боялся крестьянского бунта, и для него были как бы две возможности: там, где он меньше боялся народа, там можно освободить крестьян, а где он больше боялся — загнать народ в казармы. Но в обоих случаях — чтобы не было помещичьей власти: помещики договорятся и царя убьют. Революционеры — все помещики. С другой стороны, крестьяне могут договориться и устроить пугачевщину (тоже опасно!). Казарма одних успокоит, зажмет, а другие будут, как в Европе, фермерами (и это хорошо).

Я думаю, что у Александра созрел в голове большой миф. Частью этого мифа были военные поселения: он осчастливит Россию, заменив армию военными поселениями, освободит таким образом крестьян, но только сам. Он даст народу волю, но не утратит даже ниточки своей власти.

Вот это было вечное в России противоречие. Правительство хочет все сделать, ничего не делая. Хочет дать свободу, но так, чтобы свободы не было. Без свободы опасно — будет бунт, со свободой — страшно. Значит, во-первых, никакой инициативы. Все будет сделано правительством. Во-вторых, все будет сделано так, чтобы ничего не сделать. Не так чтобы обмануть! Александр обманывает сам себя, верит, что все сделает, но сделать ничего нельзя, потому что эта система такая: вырви одну ниточку — все развалится. Поэтому надо что-то делать, надо — Россия гибнет! — но ниточку вырвать нельзя. Ничего нельзя.

Положение, действительно, трагическое. И тут Александру сообщают, что в России существует тайное общество. Нашелся один молодой человек, кото-

554

рый донес: он вступил с провокационной целью в тайное общество и сообщил об этом. Вообще, царю начали попадать в руки сведения — фактически он уже очень много знал, но тут еще, как всегда в истории, вмешалась случайность.

У Аракчеева была любовница, отвратительная баба, которая мучила своих крепостных, жгла девок горячими утюгами, вырывала брови и т. п. Кончилось тем, что девчонка (ей было неполных пятнадцать лет) ее убила. Аракчеев занялся палаческой деятельностью: он засек насмерть почти всю деревню. Но при этом произошло следующее: он забыл про государство. Александр уехал в Таганрог с больной умирающей женой, а Аракчеев забросил государственные дела. Доносы остались без внимания.

В это время в Петербурге был устроен банкет, на котором присутствовали декабристы. Знаменитый писатель декабрист Бестужев заметил, что смелый поступок пятнадцатилетней девки спасает Россию. Этим высказыванием был как бы подведен итог царствования Александра. В то же время в этом выразился и наивный взгляд декабристов на историю: пока все молчат — плохо, но стоит одной пятнадцатилетней девке преодолеть страх, и Россия будет спасена.

Но нас Александр I, как он ни интересен (а он очень интересен), занимает не сам по себе, а как человек, судьба которого переплелась с судьбой Пушкина. Об этом мы поговорим в следующий раз.

Лекция 2¹ (1991 г.)

Добрый день!

Продолжим нашу беседу. Общая тема, которую мы избрали, это образ Пушкина в пересечениях с судьбами его современников. В качестве первого лица, которое бросает свет, и неожиданный свет, на образ Пушкина и на которое Пушкин смотрит как-то специфически, был нами выбран император Александр Павлович. На прошлой лекции мы очень коротко, сжато остановились на противоречиях его человеческой личности, на том, что историки, да еще и современники, называли «загадкой» Александра. И я не старался дать какой-то новый и быстрый ответ. У меня его нет, и думаю, что ни у кого нет, думаю, что Александр так и ушел загадкой. Так его воспринимали и Толстой, и другие проницательные наблюдатели — современники, историки, и таким он, по сути дела, остается для нас.

Но Александр нас интересовал не сам по себе — иначе пришлось бы слишком много и долго говорить о нем, — а в его отношениях с Пушкиным. Отношения их были сложными, хотя в целом я бы так сказал: если говорить не об общих политических идеях, а о человеческом отношении, то Пушкин был обижен на царя.

¹ Передача вышла в эфир в 1991 г. Текст лекции публикуется впервые.

555

Дело в том, что лицеисты, особенно лицеисты первого выпуска (а Пушкин был лицеистом первого выпуска), были как бы на положении людей, каким-то образом связанных с двором. Их взяли в Лицей, когда Лицей был окружен обещаниями. Их готовили не к определенной, ясной, но, предполагалось, к блестящей будущности. И дело даже не в этом: царь их знал лично, и они знали царя лично. Отношения эти вначале напоминали отношения детей к очень взрослому, но все-таки

не очень далекому человеку.

Александр всех лицеистов, конечно, запомнил на всю жизнь в лицо, следил за ними, и, кстати, в тех гонениях, которые потом он очень щедро обрушивал на Пушкина, я думаю, была и некоторая личная обида. Царь считал, что лицеисты навсегда должны быть ему благодарны, навсегда должны быть чем-то вроде его пажей. Между Пушкиным и царем очень рано установилось не столько непонимание, сколько раздражение. Очень важно отметить, что это было взаимное раздражение людей, которые оба считали, что с ними недостойно обращаются, что они заслужили какого-то лучшего отношения.

Первые пересечения судеб Пушкина и царя имели обычный характер столкновения лицеистов с придворным кругом. Лицей находился в Царском Селе, во флигеле дворца. Встречи были, конечно, многократными и имели случайный характер. Не только постоянные встречи в парке, где лицеисты обязаны были гулять строем и, кроме того, многократно гуляли не строем и где прохаживался царь, взяв под руку Карамзина. Так, например, однажды одна придворная дама, уже совсем немолодая, пожаловалась царю, что лицеисты совсем отбились от рук, нельзя пройти. Она шла по задней лестнице дворца, и какой-то молодой человек кинулся ее целовать. Это был Пушкин. Александр выслушал ее, а когда дама ушла, он сказал по-французски, что в переводе звучит так: старая женщина, наверное, была польщена и обрадована ошибкой молодого человека. Это пустяки, но они как-то создают атмосферу.

С этим периодом связаны и первые стихотворные отклики Пушкина. Заказная ода, которую читали по заказу Марии Федоровны, матери Александра, в ее дворце, вряд ли выражала особые чувства Пушкина, но заказная ода — что ж, и Державин их писал, это была как бы дань поэтике XVIII века. Для такой поэтики не требовалось особенной искренности, а требовалось соблюдение некоторых принятых форм. Это было хорошее стихотворение. Стихотворение лицеиста вызвало одобрение при дворе. Но у Пушкина были в этот период совсем незаказные отклики, как-то связанные с придворным кругом. Так, например, он написал мадригал любовнице Александра:

Прекрасная! пускай восторгом насладится

В объятиях твоих российский полубог.

Что с участью твоей сравнится?

Весь мир у ног его — здесь у твоих он ног¹.

Обычный мадригал, написанный уже недетской, твердой рукой, но опять-таки особых индивидуальных чувств здесь, пожалуй, не следует искать.

¹ Пушкин А. С. На Баболовский дворец // Пушкин А. С. Т. 1. С. 296.

558

Отношение Пушкина к царю приобретает более глубокий и более личный характер в следующий период, когда, окончив Лицей, поэт оказывается в Петербурге, в том сложном мире формирующегося политического протеста, формирующихся раннедекабристских настроений, где отношение к царю становится центральным пунктом. Отношение к власти в сознании будущих декабристов не отделяется от отношения к носителю власти, а вопрос о политическом строе неизменно перерастает в вопрос об отношении к носителю этой власти. С другой стороны, личное отношение к царю переливается в общеполитические вопросы.

Опять-таки, мы с трудом проникнем в психологию этих людей, если будем в них видеть только идеи — то, что мы видим на страницах книг. Надо иметь в виду, что если Пушкин — лицеист, то его новые друзья — офицеры, и как правило, офицеры гвардейских полков, притом еще и привилегированных: Семеновского, Преображенского, Лейб-гвардии гусарского. Это люди, которые связаны с дворцом очень тесно. Во-первых, гвардия — это как бы личное войско императора. Император не только всех офицеров, но и старых солдат тоже знает по именам. Вообще, он немножко этим гордится и отчасти бравирует. Гвардейцев он, конечно, знал всех, и очень хорошо, но любил показывать, что и в армии всех офицеров знает.

Так, например, известен эпизод: почти уже в самом конце своей жизни, в 1824 году, не в Петербурге, не в Москве, а в провинциальном городе Александр увидел во встречавшей его толпе людей старушку, которая с большим энтузиазмом на него смотрела. Это подлинный случай, он зафиксирован в мемуарах. Он узнал ее фамилию и кто она, оказалось — мать погибшего на войне, в двенадцатом году, офицера. И император разыграл, будто бы он ее вспомнил. Подошел, сказал, что видеть мать столь доблестного офицера ему приятно, поцеловал ее ручку. Старушка была страшно смущена, это была совсем небогатая помещица, у нее было-то тридцать человек крестьян. Но Александр любил разыгрывать такие сцены.

В гвардии ему не надо было даже играть. Гвардейцы — и на учениях, и на парадах, и на балах, и просто прогуливаясь по Невскому проспекту или по набережной Невы — постоянно встречали государя. Александр не был каким-то восточным правителем, которого можно, прожив всю жизнь поблизости, не увидеть. И поэтому ненависть к нему приобретала личный характер. Оскорбления с его стороны — не только политические, но и человеческие — не забывались.

Например, знаменитый декабрист Якубович, который так двусмысленно повел себя 14 декабря, а потом очень хорошо вел себя на каторге. Он был страстный человек, любил эффекты, носил картинную черную повязку, хотя в повязке не было никакой надобности. Якубович любил говорить, что он личный враг царя и будет или же драться с ним на дуэли, или убьет его. Он не

дрался на дуэли, это было, конечно, невозможно, и царя не убил. Но я это рассказываю затем, чтобы показать, что отношения с царем были личными, а не только политическими.

Это очень окрашивало и пушкинские отношения с Александром. Он сразу втянулся в общее русло декабристских идей. Нужно сказать, что я с неохотой употребляю слово «декабрист», потому что оно означает «участник восста-

557

ния 14 декабря». Никто из них до Сибири себя так не называл, и никаких «декабристов» в 1821, 1822, 1823, 1824 годах не было и быть не могло, еще не было «декабря», — это первое. Они называли себя либералами, просвещенными, свободолюбивыми людьми, по-разному называли, но слова «декабрист» не было.

Второе: *слова* не было еще и потому, что это не была некая единая гвардия борцов, — это легенда. Она восходит к Герцену, который говорил о воинах из чистой стали, — это герценовский взгляд. Потом, уже в тридцатые годы XX века (отчасти и в двадцатые), декабристы были очень «подтянуты» под норму представлений о политической борьбе, которая возникла у историков этой эпохи. Даже очень полезная работа Милицы Васильевны Нечкиной «Движение декабристов», два капитальных тома, все время как-то сбивается на «Краткий курс истории ВКПб». По этой книге, декабристы все время заняты тем, что выясняют пункты, параграфы устава и программы. Между тем как еще в свое время декабрист Лунин, известный дуэлянт и франт, эксцентрический человек и человек героической жизни и героической смерти, сказал раздраженно, уже на каторге: я участвовал не в Тугенбунде, а в бунте!

Декабристы, коли уж приходится пользоваться этим словом, — но я прошу не забывать оговорки, — декабристы были очень разными. И Пушкин после Лицея оказался в этом «кипящем» кругу людей с очень отличающимися друг от друга характерами, судьбами и взглядами.

Члены тайных обществ, члены «Союза благоденствия» начали буквально осаждать царя проектами, конституционными планами, предложениями, письмами; возникла целая литература. Было как бы два направления: надо воспитывать царя и одновременно надо воспитывать просвещенное дворянство. Воспитывать надо через литературу — не только через литературу, но в том числе и через нее. «Союз благоденствия» был довольно глух к эстетическим требованиям и искусство ценил как некое педагогическое явление. Это было уже коренное отличие от Пушкина. Для Пушкина поэзия была — цель, а для них — средство. Но их влияние на Пушкина было очень сильное. В первую очередь, Николая Тургенева, Чаадаева, Федора Глинки.

Под влиянием «Союза благоденствия» Пушкин написал ряд стихотворений. В частности, «Деревню» — стихотворение, резко осуждающее крепостное право, но представляющее уничтожение крепостного права как правительственный акт:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный,

И рабство, падшее по манию царя...

«По манию царя» — то есть по указанию, по желанию, по воле царя.

Между тем слава Пушкина распространялась, и Александр однажды выразил желание познакомиться со стихами своего лицеиста. Тогда, через друзей Пушкина, декабристов (решающую роль сыграл Чаадаев), «Деревня» была передана Александру. Александр ознакомился с ней и остался очень доволен. Он не увидел ничего опасного для правительства в резких картинах крепостного права. Помните:

558

Здесь барство дикое, без чувства, без закона

Присвоило себе насильственной лозой

И труд, и собственность, и время земледельца¹.

Это царя нисколько не испугало, даже более того: он посчитал, что стихотворение находится в русле прогрессивных идей, а он сам был прогрессист, и выразил Пушкину свое одобрение. Он попросил Васильчикова — видного деятеля, близкого к нему, командира отдельного гвардейского корпуса — выразить Пушкину благодарность. А благодарность от царя всегда означала подарок. Если это была не очень значительная благодарность, то это был перстень с бриллиантами. Был такой обычай: кто-то работал ряд лет над книгой, когда она была издана, автор переплетал красиво экземпляр и через адъютантов подносил царю, а ему передавали перстень от царя. Это было минимальное. Если что-то более важное, то могли быть и более крупные подарки. Вот такой перстень был передан Пушкину. Это была, конечно, формальная связь, но такая связь была.

Но более важными были стихотворения, которые Пушкин писал для того, чтобы воздействовать на читателя. В тургеневском кругу, под влиянием «Союза благоденствия» и лично под влиянием Николая Тургенева, была написана «Вольность». Стихотворение было начато на квартире у Николая Тургенева, где через окно виднелся дворец Павла, покинутый уже и пустовавший в это время. Пушкину была задана тема — Павел I. Так зародилась ода «Вольность». Она тоже попала в руки Александру. Отношение здесь было уже сложным. Во-первых, Александр получил оду «Вольность» вместе с доносом на Пушкина. Уже это задавало определенное отношение. Во-вторых, в оде «Вольность» была сомнительная, с императорской точки зрения, часть.

В общем, «Вольность», как и другие стихотворения в русле «Союза Благоденствия», никаких

особо революционных идей в себе не содержала. Идеи были конституционные, которые вполне могли бы вызвать одобрение Александра:

Владыки! вам венец и трон
Дает закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон.

Это идея «Союза благоденствия», но она не была чем-то запрещенным. В подобных пределах вполне можно было высказывать мысли, тем более в стихах. Но в оде «Вольность» был намек на убийство Павла.

Дело в том, что, как мы говорили в прошлый раз, Александр — хотел он этого или не хотел — был вовлечен в убийство своего отца, и тема эта была абсолютно запретной. Касаться гибели Павла вообще было невозможно. Между тем Пушкин этой темы коснулся. Он не обвинил Александра прямо — да Александра и нельзя было обвинить как преступника, как соучастника, но в стихотворении содержалось упоминание смерти, убийства Павла:

¹ Пушкин А. С. Т. 1. С. 360—361.

559

Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
И потом неясные стихи, которые для нас темноваты:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу.

Это, конечно, риторика, и я думаю, что Пушкин тут вообще не имел в виду реального политического лица. По одной версии это — Наполеон. Однако там же есть такие строки: «Твою погибель, смерть детей / С жестокой радостью вижу»¹. У Наполеона был один только сын, который был еще жив. Нет, это — риторика. Но риторика, которая дошла до какого-то опасного края — опасные, неожиданные намеки, которые можно было истолковать как намеки на Александра. Вообще в оде «Вольность» непосредственная патетика была сильнее, чем реальные политические рифмованные идеи. По рифмованным идеям это довольно умеренное стихотворение, но политический пафос, который перехлестывал политическую программу, привел к тому, что у читателя стихотворение возбуждало революционные настроения.

Но важно отметить, что Пушкин был вовлечен и в разные оттенки декабристских идей, которые, так или иначе, подвели его к определенному отношению к императору. Так, например, Пушкин сблизился с Федором Глинкой. Федор Глинка — поэт, полковник гвардии, был человеком очень маленького роста, но очень смелый офицер. Он был увешан орденами от подборodka до колен, и его называли «маленьким иконостасиком». Он был очень смел и гражданственной смелостью.

Все Глинки были благородны, как древние римляне. Они были бедны. Мы наивно думаем, что если гвардии полковник и еще знаком и с царем, и с великими князьями, то он прямо как сыр в масле катается. Вся семья Глинок была очень бедная. Тот же Глинка, о котором мы сейчас говорим, был филантроп и раздавал деньги нуждающимся, больным, поддерживал актеров, поэтов, а сам накрывался шинелью, потому что у него не было одеяла. Он тратил деньги на филантропию. Но кроме того, он был и политический заговорщик, хотя тоже особый, очень умеренный: никогда не голосовал за республику, был сторонником ограниченной конституционной монархии. Но суд потом продемонстрировал, что такое разница между громкими фразами в дружеском кругу и политической выдержкой. Очень умеренный Федор Глинка — правда, повторяю, смелый офицер — на следствии держался блистательно. Он сумел, никого не поставив под удар, и себя обелить настолько, насколько было возможно. Вся его развернутая тайная деятельность осталась тайной и для следствия. Он был одним из немногих наказан мало, то есть был отправлен не на каторгу, а сослан в Петрозаводск и оставлен там на службе. Это было малое наказание, особенно при том большом значении, которое он имел в тайном обществе.

¹ Пушкин А. С. Т. 1. С. 322—323.

560

В ту пору, о которой мы говорим, Федор Глинка задумал свести с трона Александра и посадить на трон его жену. Жена императора — Елизавета — пользовалась в декабристских кругах симпатией. Князь Вяземский специально перевел свою очень бунтарскую оду на французский язык и поднес ей, говоря: пусть она знает, что делается в этой России, управляемой из почтовой коляски. Александр — уже в прошлый раз мы говорили — носился с места на место, ему было беспокойно в своей стране.

Федор Глинка задумал политическое стихотворение, которое должно прославить императрицу. После восстания, по плану, страной будет управлять регент, назначенный тайным обществом, само общество возьмет власть в свои руки, и либеральная императрица будет царить, как английская королева. Таков был план. И вот Пушкин написал стихотворение, которое часто цитируется. Из него вырываются строчки, например: «И неподкупный голос мой / Был эхо русского народа» — или же такие: «Я не рожден царей забавить / Стыдливой музою моей». Но в

контексте это звучит иначе. А звучит оно так:

На лире скромной, благородной
 Земных богов я не хвалил
 И силе в гордости свободной
 Кадилом лести не кадил.
 Свободу лишь умея славить,
 Стихами жертвуя лишь ей,
 Я не рожден царей забавить
 Стыдливой музою моей.
 Ну, прекрасно, прямо для учебника. Но дальше идет следующее:
 Но, признаюсь, под Геликоном,
 Где Касталийский ток шумел,
 Я, вдохновенный Аполлоном,
 Елисавету втайне пел.
 <...>

Любовь и тайная свобода
 Внушали сердцу гимн простой,
 И неподкупный голос мой
 Был эхо русского народа¹.

Значит, смысл такой: «я не рожден царей забавить» и никогда не писал стихов царям, но Елизавету я прославил, и этот гимн мне внушила свобода; и мой голос — это голос всего народа.

Между прочим, выражение «тайная свобода» применительно к Пушкину и из Пушкина стало потом любимым выражением Александра Блока. Помните:

Пушкин! *Тайную свободу*
 Цели мы вослед тебе!²

¹ Пушкин А.С. К Н. Я. Плюсковой // Пушкин А. С. Т. 1. С. 340.

² Блок А. А. Пушкинскому дому // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 377.

561

Так вот — «тайная свобода». Между тем атмосфера все более накалялась. И отношение Пушкина к царю не только становилось более резким, но эта резкость как бы соединяла политическую остроту и личную неприязнь. Как мы увидим дальше, последствия этой личной неприязни не заставили себя ждать.

Пушкин написал несколько эпиграмм. Эпиграмма — традиционный жанр короткого, насмешливого, осудительного стихотворения. Жанр очень распространенный, но в этот период подвергшийся изменениям. До сих пор, вплоть до конца 1810-х — начала 1820-х годов, в России господствовала литературная эпиграмма. Теперь все больше начала развиваться политическая эпиграмма, и здесь, конечно, первым голосом был Пушкин. Именно он изменил этот жанр.

Эпиграмма была опасным ударом для правительства. Дело в том, что политическая эпиграмма не предназначалась для печати. А в России уже сложилась традиция: то, что не для печати, то особенно интересно. Пушкин писал в «Послании цензору»:

Барков шуточных од тебе не посылал, Радищев, рабства враг, цензуры избежал, И Пушкина стихи в печати не бывали; Что нужды? их и так иные прочитали¹.

Борис Викторович Томашевский думал, что тут имеется в виду дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин. Я думаю, что он не прав, я думаю, что Пушкин здесь говорит о себе.

«И Пушкина стихи в печати не бывали» — именно в таких стихах он опять начал пересекаться с Александром. Появился ряд эпиграмм и принесшее Пушкину особую славу стихотворение «Noël». Ноэль — это особый жанр французской поэзии, стихотворений, которые исполнялись на Рождество, — специальный рождественский жанр — и имели отчетливый сюжет. Некие лица, которых осмеивали, изображались как люди, которые пришли на Рождество поздравлять родившегося Христа, а младенец говорил им какие-нибудь насмешливые слова. В ноэлях высмеивались разные вельможи, это был злой жанр и очень популярный.

Пушкинский ноэль имел одного героя — Александра — и был действительно злым. Мария качает младенца Христа, к ней является Александр и говорит:

«Узнай, народ российский,
 Что знает целый мир:
 И прусский и австрийский
 Я сшил себе мундир. О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен; Меня газетчик прославлял; Я ел, и пил, и обещал —
 И делом не замучен.

¹ Пушкин А. С. Т.2. С. 123.

562

После этого царь давал ряд либеральных обещаний, после чего следовало:

От радости в постеле
 Распрыгалось дитя [то есть Христос]:
 «Неужто в самом деле?»

Неужто не шутя?»

А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;

Пора уснуть уж наконец,

Послушавши, как царь-отец

Рассказывает сказки»¹.

Это было очень злое стихотворение и уже совершенно выходящее за границу дозволенного. С этого момента отношения Пушкина и Александра приняли характер непримиримой вражды.

Особенно она обострилась в связи с тем, что на Пушкина все время шли к Александру доносы. Доносы шли из Петербурга, а затем отношения еще более ухудшились, когда Пушкин на юге оказался у либерального вельможи Воронцова. Но до Воронцова еще в этой истории было несколько эпизодов. Южной ссылке предшествовало событие, которое наложило на политическое сознание Пушкина тяжелый отпечаток.

Известный человек той поры, известный в прямом смысле слова, как герой он фигурирует и в «Горе от ума» Грибоедова. Помните, там есть такие строчки:

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,

И крепко на руку нечист;

Да умный человек не может быть не плутом².

Это был Толстой-американец. О нем мы еще будем говорить специально, но сейчас отметим только, что «американцем» его называли потому, что во время морской экспедиции его за невозможное поведение высадили с корабля (по слухам, которые он сам про себя распространял) на необитаемый остров в Тихом океане. Его родственник Лев Николаевич Толстой называл его привлекательным преступным типом. Он был знаменитый бретёр и стрелял великолепно. Вот этот человек посчитал своим удовольствием, своей забавой распространить про Пушкина позорные слухи. Он распространил слух, что Пушкина, который был отправлен в ссылку (а Пушкин этим гордился), до этого был тайно выпорот в полиции. Это было ужасно, мы не можем себе представить, что значит такой слух. После этого можно было только покончить с собой или убить человека, который так говорит: на дуэли так на дуэли, без дуэли — так без дуэли, но оскорбленный человек не может с этим жить.

Нам надо переселиться в психологию, быть может, для нас далекую. Мы думаем, что дуэль — это драка, что там можно сделать больно (ну, по морде дадут). Нет, дуэль — это испытание чести, и честь гораздо важнее, чем жизнь.

¹ Пушкин А. С. Т. 1. С. 342—343.

² Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 115.

563

Жизнь дело не такое уж важное: что ж, молодые люди погибают или на войне, или на дуэлях. А бесчестье выбрасывает человека из жизни. Он — изгой, он кончен, его — нет. Ему не только не подадут руки, от него не примут даже пули. Это было ужасно.

И Пушкин был действительно в отчаянном положении. Драться с Толстым он не мог, он должен был отправиться в ссылку, да и Толстого не было в Петербурге. Пушкин потом, между прочим, долгие годы готовился к дуэли с Толстым и завел себе железную палку, чтобы рука развилась, не дрожала, и каждое утро начинал день с того, что стрелял в бубнового туза. Потом Толстой, когда Пушкин женился, держал над его головой венец, потому что Толстой был человек поразительный — талантливый, блестящий, развратный, и он сумел с Пушкиным помириться. Но это произошло гораздо позже.

Сейчас они — непримиримые враги, и Пушкин в отчаянии. Пушкин дошел бы до крайности, если бы не нашелся человек, который протянул ему руку. Это был Петр Яковлевич Чаадаев — замечательный человек, политический деятель. Чаадаев внушил Пушкину гордость и внушил, что на оскорбления подлого человека надо отвечать презрением. И Пушкин в послании к Чаадаеву писал:

Уж голос клеветы не мог меня обидеть:

Умел я презирать, умея ненавидеть.

Правда, здесь же он отвечал и Толстому, и очень резко. Там были такие слова:

...философа, который в прежни лета

Развратом изумил четыре части света,

Но, просветив себя, загладил свой позор:

Отвыкнул от вина и стал картежный вор¹.

Именно в этот период отношения Пушкина с Александром приобрели новый смысл. В отношениях Пушкина с Чаадаевым есть некая странная нота, из которой можно заключить, что Пушкин с Чаадаевым вместе обсуждали в этот период план убийства царя. Отметим, что Чаадаев только одним краем примыкал к движению декабристов. Он был слишком индивидуалистом, но в какой-то момент был заговорщиком.

По крайней мере, позже, рассорившись с отцом, уже в Михайловской ссылке, Пушкин написал царю страшное письмо, которое, к счастью, не отправил. Желая, чтоб его убрали из Михайловского хоть в крепость, он вспоминал свое отчаяние по поводу клеветы и дальше писал по-французски: «...я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить...» — дальше

идет большое V — Votre Majeste, то есть Ваше Величество². Таким образом, Пушкин в письме к царю писал, что был момент, когда он, под влиянием отчаяния из-за распространенной клеветы, хотел себя оправдать перед миром, как древний римлянин, совершив великий подвиг царевубийства.

¹ Пушкин А. С. Т. 2. С. 52.

² Там же. Т. 10. С. 183, 788.

564

Это, кстати, может быть, проливает некоторый свет на загадочные строчки из первого послания «К Чаадаеву». Там сказано:

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!¹

А почему, если будет великое изменение в жизни России, напишут имя Пушкина? Что Пушкин сделал? Написал «Руслана и Людмилу»? Ну, скоро будет еще отпечатан «Кавказский пленник». Вот и все. Это же не историческое событие, Пушкин еще никому не известен как политический деятель. Чаадаев — герой. А Пушкин что? Почему потомки будут его помнить? Это не очень понятное нам место.

Но на этом история Пушкина с царем не кончилась. В Михайловском он написал шуточное, но очень злое произведение — «Воображаемый разговор с Александром I», которое кончалось так: «Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы [то есть император] рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кучум», разными размерами с рифмами»².

Отношения Пушкина с царем оставались сложными. Смерть Александра Пушкин, как он сам считал, предсказал в стихотворении «Андрей Шенье». И все же в двух сходных стихотворениях он добавил другую ноту. Так, в Михайловском в стихотворении к лицеистам «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...») Пушкин писал:

Полней, полней! и, сердцем возгоря.

Опять до дна, до капли выпивайте!

Но за кого? о други, угадайте...

Ура, наш царь! так! выпьем за царя.

Но после этого шли замечательные слова, которые показывали, что можно выпить за царя и остаться свободным человеком. Дальше идет:

Он человек! им властвует мгновенье.

Он раб молвы, сомнений и страстей;

Простим ему неправое гоненье:

Он взял Париж, он основал Лицей³.

Это не царь должен простить Пушкина, а Пушкин — простит царя. «Простим ему неправое гоненье».

Высокую оценку Александра Пушкин повторил в одном из последних своих стихотворений — «Была пора: наш праздник молодой...»:

Вы помните, как наш Агамемнон

Из пленного Парижа к нам примчался.

Какой восторг тогда пред ним раздался!

¹ Пушкин А. С. Т. 1. С. 346.

² Там же. Т. 8. С. 71.

³ Там же. Т. 2. С. 277.

565

Как был велик, как был прекрасен он,

Народов друг, спаситель их свободы!¹

Эти два лица Александра, и еще третье, о котором мы в прошлый раз говорили: доброго жалкого человека, каким он является нам в «Медном всаднике», явились попыткой Пушкина как бы поставить ко многим лицам Александра много зеркал.

Так отразился облик царя в поэзии Пушкина.

Благодарю за внимание.

Лекция 3² (1991 г.)

Добрый день, дорогие слушатели!

Мы продолжаем нашу серию бесед «вокруг Пушкина». Беседы имеют целью охватить широкий круг знакомых, друзей, врагов Пушкина — тот человеческий мир, в котором он был вынужден жить, в который был погружен. Наш замысел — дать живые лица: не иконы, не юбилейные портреты, а живые лица очень разных людей. Мы будем поэтому включать и людей, замечательных своим благородством, и людей совершенно противоположного типа поведения, людей разного социального круга, мужчин и женщин. Пушкин, человек живой, полный интереса к жизни, не выбирал себе узкого круга знакомств. Он был погружен в жизнь; его окружала жизнь, и он любил это окружение, очень любил разных людей. Мы постараемся воспроизвести в наших

разговорах эту атмосферу разнообразия человеческих лиц, поведений, характеров, ту реальную атмосферу, в которую был погружен Пушкин.

Мы посвятили прошедшие лекции одному из самых загадочных и интересных людей — императору Александру I, отношения которого с Пушкиным были сложными, и у Пушкина отношение к нему было противоречивым. Теперь нам будет интересно, по контрасту, посмотреть, как сложились отношения Пушкина с людьми совсем другого круга. Для этого разговора мы избрали Тургеневых.

Я надеюсь, что слушающие понимают, что речь идет не о всем известном писателе Иване Сергеевиче Тургеневе, а о его дальних родственниках — семье Тургеневых. Это была замечательная семья. Поскольку люди из этой семьи были не очень богаты, они служили, были всегда связаны с государственными должностями, а поскольку семья была образованная, талантливая, то они занимали высокие должности. Это была семья людей с высокой совестью, с европейским кругозором, с широким умом, семья либеральная, и некоторые ее члены были видными деятелями декабристского движения.

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 375.

² Передача вышла в эфир в 1991 г. Текст лекции публикуется впервые.

566

Главное для нас, что эта семья сыграла, как мы увидим, в пушкинской жизни очень большую роль.

Мы будем говорить об Александре Ивановиче Тургеневе. В ту пору, о которой мы вспоминаем, он — старший среди братьев, хотя у него был тоже старший брат, очень талантливый, но тот рано умер, и Пушкин его не знал.

Прежде чем мы начнем говорить об Александре Ивановиче, мы вспомним, что его право быть упомянутым в нашем разговоре, в частности, обусловлено тем, что именно он уговорил семью Пушкина отдать будущего поэта в Лицей и способствовал приему. Именно он был единственным человеком, которому Николай I разрешил сопровождать тело убитого Пушкина из Петербурга до места захоронения. Таким образом, А. И. Тургенев как бы начал и завершил пушкинскую биографию. Но не только эти примечательные — и, я бы сказал, символические — моменты жизни, но и вся его личность, как и личность других братьев Тургеневых, дает право на то, чтобы вспомнить их в нашем разговоре.

Не будем говорить о далеких предках Тургеневых. Это были люди из старого дворянского рода — рода небогатого и поэтому служилого. Они всегда были на государственной службе. Мы начнем с того, что скажем два слова об отце братьев Тургеневых — Иване Петровиче. Это был замечательный человек, прекрасно образованный, друг Новикова, член образованного кружка москвичей конца XVIII века, масон и вместе с тем очень набожный человек. Жена его, мать братьев Тургеневых, о которых мы говорим, была женщиной практически неграмотной. Она была властной помещицей, очень хорошо управляла имениями (поместья были средние и находились они в районе Саратова, то есть там, где в XVIII веке поселялись относительно новые помещики). Мать ведала финансами и всем хозяйством. Отец — тонкий, очень добрый человек — был назначен, после того, как преследования Новикова и его друзей завершились, директором Московского университета. Я не оговорился — тогда во главе университета стоял директор, а не ректор. У него было четыре сына, дочерей не было. Старший — Андрей — блестящий, наверное, гениальный юноша, друг Жуковского (Жуковский был моложе), собравший дружеский кружок молодых талантливых людей, очень рано умер. Его замечательные литературные произведения, в основном, потеряны. Его интереснейший дневник не опубликован до сих пор, но позже декабрист Кюхельбекер, сидя в крепости, вспомнил его со словами: несчастная Россия! Гениальный юноша — Андрей Тургенев — умер до того, как успел созреть. Кюхельбекер — человек парадоксальный, очень умный — был прав. Андрей Тургенев был, конечно, человеком масштаба Пушкина. Но мы его почти не помним.

Следующий по возрасту брат — Александр — был человеком другого типа. Александр родился в 1784 году. Когда у отца начались неприятности (отец был вынужден уехать в ссылку, в поместье), он был еще мальчиком. Потом он кончил Московский университет, затем учился в Геттингене (и начал поколение «русских геттингенцев»). Помните, у Пушкина — а Пушкин именно этих людей имел в виду, когда писал:

По имени Владимир Ленский,
С душою прямо геттингенской.
Красавец, в полном цвете лет... —

567

и дальше у Пушкина было в первом варианте — «крикун, мятежник и поэт». «Он из Германии» (мы знаем: «из Германии туманной»), у Пушкина сначала было: «из Германии свободной»¹. Итак:

Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты.
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь

И кудри черные до плеч².

Это тоже правильно. В то время, как люди более умеренные стриглись на английской манер, либералы, чтобы их не спутали, носили длинные кудри. Помните:

Вот мой Онегин на свободе:

Острижен по последней моде;

Как *dandy* лондонский одет³.

Онегин умереннее, чем Ленский.

Но вернемся к Александру Ивановичу Тургеневу. Он окончил Геттинген. А Геттингенский университет был совершенно особый университет. Германии, как таковой, как единого государства, еще не было. Это было большое собрание разных княжеств. Геттинген находился на английской земле, на земле, принадлежащей английскому королю, и там действовал *Habeas Corpus Act*, то есть английская конституция. Представляете, в Германии той поры, где господствовали мелкие и довольно деспотические князья, имелся уголок английской конституции. И там собрались либеральные профессора, — не случайно Пушкин именно туда послал учиться своего героя, Ленского. Там Александр Иванович Тургенев начал изучать русскую историю под руководством великого Шлецера, знаменитого исследователя русской истории, который провел долгие годы в России, блестящего ученого, фактически основателя научного изучения русской истории. Тургенев был учеником Шлецера, а Шлецер был еще и либерал, он выделялся даже в либеральной геттингентской среде. Потом Тургенев вернулся и сразу же начал делать быструю карьеру.

Он был человек такого характера, который в александровскую эпоху как раз очень подходил к тому, чтобы делать карьеру. Он был хороший чиновник, образованный, уже в эту пору говорил и писал на четырех европейских языках абсолютно свободно. Для нас, историков, дневники братьев Тургеневых — это настоящая мука. Они переходят, не предупреждая, с языка на язык, и конечно, разбирать это иногда трудно, да еще и почерк не очень хороший. А почерк не очень хороший понятно почему — это барская черта, потому что бумагу все равно переписут писари, и языки знать — это господская черта. Александр Иванович делал прекрасную быструю карьеру, но карьера эта не сделала его бюрократом. Он смолоду, хотя был всегда очень

¹ Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. 1937. Т. 6. С. 267.

² Пушкин А. С. Т. 5. С. 38.

³ Там же. С. 10.

568

крупный, даже толстый человек, очень любил танцевать, и днем был в департаменте, ночью танцевал на балах, в промежутке посещал друзей. Он уже в эту пору жил в основном в карете. Пушкин писал о нем в стихотворении, к нему обращенном:

Один лишь ты, любовник страстный

И Соломирской, и креста,

То ночью прыгаешь с прекрасной,

То проповедуешь Христа.

К слову «крест» Пушкин сделал ироническое примечание: «Креста, сиречь не Анненского и не Владимирского, а — *честного* и животворяшаго»¹.

Тургенев действительно был всю жизнь человек очень набожный, но смолоду был не чужд и вполне законных веселостей и любил проводить время на балах, но еще больше любил общественную деятельность. Я вам перечислю его службу — а служил он одновременно в трех местах (это в ту пору было возможно) и во всех трех был большим начальником и получал большие деньги. Братья Тургеневы принципиально не хотели выжимать деньги из крестьян. Вступив в конфликт с матерью, они перевели крестьян на довольно легкий оброк и зависели от службы. Александр Иванович служил в трех местах — директором Главного управления духовных дел иностранных исповеданий (он ведал неправославными верующими, разного рода сектами и другими вероисповеданиями, и делал это очень гуманно). Кроме этого — в Комиссии по составлению законов и статс-секретарем в Государственном совете, и еще занимал целый ряд ответственных должностей. Он еще председательствовал в огромном числе негосударственных общественных организаций: в Обществе по просвещению женщин, в медицинских и разного рода гуманитарных организациях. Потом это стало чертой его жизни.

Таков был в эту пору старший брат. Отношения между братьями были патриархальными, младшие его называли «Александр Иванович» и были с ним на «вы», а он — хотя разница в возрасте была не так велика — называл их «Николаша», «Сережа» и был на «ты». Он как бы заменял им мать. Кстати, из-за этого он, между прочим, не женился. Ну, конечно, отчасти и из-за своих собственных колебаний. Он несколько раз делал попытки жениться, но для московской знати он был не очень завидный жених. Высокая должность — но ценились не должности, а крепостные души, земли. Кроме того, все-таки либерал. Да и сам Александр Иванович несколько раз, уже как будто договорившись, как гоголевский герой, «выпрыгивал в окно». Так и остался он руководить братьями.

А что же делали другие братья?

Николай Иванович, родившийся в 1789 году, был человеком совершенно другого типа.

Александр Иванович был, как я уже сказал, немножко грузный, веселый, подвижный и очень терпимый: он легко переносил людей других взглядов. Николай был другим человеком. С детства он слегка хромал — от болезни, которая тогда называлась «золотуха», а теперь мы бы употребили другие, современные названия. Итак, он немножко хромал, поэтому не мог

¹ Пушкин А. С. Тургеневу // Пушкин А. С. Т. 1. С. 316.

569

служить в военной службе. Но он тоже прошел Геттинген, тоже защищал очень прогрессивную диссертацию. Диссертацию, конечно, писали по-латыни и, между прочим, защищали по-латыни: весь диспут шел на латинском языке. (Представляете, если бы мы учредили такой порядок сейчас?) Диссертация была посвящена финансам, тоже у Шлецера писал, но фактически она посвящена была путям уничтожения крепостного права.

Потом в России он напечатал книгу «Опыт теории налогов» (весьма редкая книга, это — второе издание). В первом издании он продемонстрировал незнание русского быта, думая, что в России крестьяне находятся в том же положении, как и в Германии, он доходы за книгу решил передать крестьянам, которые за неуплату налогов заключены в тюрьму. Когда ему сказали, что в России крестьян за это не сажают в тюрьму, а порют, то во втором издании он изменил, и вот это у меня второе издание, где сказано, что доходы от него переданы семьям нуждающихся. Эта либеральная книга только добавила штрихи к его общественной репутации.

Николай Тургенев в войну сделал хорошую карьеру. Тургеневы все продвигались по службе очень хорошо, но и служили хорошо. Он, молодой человек, был эмиссаром русского правительства в Пруссии. А во главе прусского правительства в эпоху борьбы с Наполеоном стоял известный государственный деятель фон Штейн. Это был либерал, который хотел на волне антинаполеоновской патриотической мысли создать в Германии умеренно конституционный порядок: сохраним-де короля, но с введением парламента. Потом эти все надежды лопнули, но Штейн так и остался другом и идеалом Николая Тургенева на всю жизнь.

Когда Николай Тургенев вернулся в Россию, он тоже занял довольно ответственные государственные посты. Но уже не это его интересовало. Еще, видимо, в Германии он стал членом тайного общества. По крайней мере, когда он вернулся, он уже был видным деятелем одного из ранних декабристских объединений, вернее — того общества, которое сам организовал. Это общество потом имело довольно сложную судьбу. В конце концов, оно влилось в движение декабристов, и в эту пору Николай Тургенев был уже дружен с Михаилом Орловым и с другими виднейшими деятелями декабризма.

Если Александру Ивановичу Тургеневу Пушкин посвятил стихи, в которых рисовал симпатичный портрет либерала, который и на балах танцует с дамами, и проповедует, покровительствуя бедным, то с Николаем Ивановичем у Пушкина были другие отношения. С Николаем Пушкин познакомился после выхода из Лицея и сошелся очень близко. Пушкин был моложе, тянулся к людям, которые имеют политический и жизненный опыт. Его окружают люди, которые уже воевали или имели твердые политические взгляды. Пушкина тянет к ним, а люди эти к Пушкину строги, они совсем не склонны считать, что если хорошо пишешь стихи, то уже и все в порядке. Александр Иванович мечтает о том, чтобы Пушкина увезти в Германию, посадить на жидкий немецкий суп и обложить книгами, чтобы он кончил университет. У Николая Ивановича другие на Пушкина виды.

Николай Иванович к Пушкину строг. Он не прощает никаких ошибок, и однажды (а Пушкин очень горяч) дело даже чуть не дошло до вызова на дуэль. Но это было бы смешно: не стал бы Николай Иванович стреляться

570

с талантливым мальчиком, который кипит без всякого основания. В доме Николая Тургенева Пушкин прикоснулся к декабристскому окружению. Я уже говорил, что мы плохо себе представляем декабристов, когда думаем, что они были конспираторы, которые прятали свои идеи и таинственно обсуждали их где-то в закрытых комнатах. Николай Иванович везде проповедовал. А когда ему замечали, что это неосторожно, то он писал брату Сереже: не для того мы принимали либеральные идеи, чтобы делать уступки *хамам* (а хамами он называл крепостников). Это было демонстративно. Так крепостники называли крестьян: «хамово отродье», «хамы» (от имени одного из сыновей Ноя — Сим, Хам и Иафет). А Тургенев называл крепостников хамами и считал для себя унижительным перед ними маскироваться. Это был суровый человек, не очень гибкий, очень твердый в своих убеждениях, прямая противоположность мягкому старшему брату.

Жили Тургеневы в доме министра просвещения и духовных дел на Фонтанке, так что из окон их квартиры был виден дворец — тот самый, который мы теперь называем Инженерным замком. Этот дворец Павел I выстроил для себя, для того, чтобы отгородиться от страны, которой он боялся. Вокруг дворца было сделано все как вокруг крепости: ров, подъемные мосты, часовые. Ничего не помогло. Заговорщики прошли через все препятствия и убили его. Сын Павла Александр тотчас же переехал в старый — Зимний дворец. И в первый день нового царствования, когда вельмож начали вызывать к императору, они, еще не зная — к какому, ехали в новый дворец, и когда им с дороги кричали: нет, нет, в старый, — они поняли, что Павла уже больше нет.

Потом только на верхнем этаже пустого брошенного дворца жила старая фрейлина и собирався

кружок мистиков; виднелись огромные темные залы. Это страшное зрелище вызвало у Пушкина вдохновение, и он, глядя на этот дворец, написал программное декабристское стихотворение — оду «Вольность», где восклицал:

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказания, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.

А что же надо? Нужна конституция:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона.
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Это — программа Николая Тургенева, но проникнутая впечатлением от увиденного из окна тургеневской квартиры:

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец

571

На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец.

Как вы помните, может быть, дальше Пушкин осуждает убийц Павла. Это тоже взгляды Николая Тургенева. Дворцовый переворот декабристов не устраивал.

Идут убийцы потаенны.

На лицах дерзость, в сердце страх¹ —

это не был идеал для Николая Тургенева. Он был проникнут одной идеей, которую пронес через всю жизнь: освобождение крестьян. Это была его клятва. Взгляды его менялись. От идей конституционной монархии он шел влево, и однажды даже сгоряча бросил фразу, «президент без разговоров!».

Тут надо восстановить ситуацию. Мы берем книгу и читаем то, что читали судьи, когда они собрали все данные для обвинения. Это все опубликовано, и мы видим бумагу, и в ней сказано: такой-то говорит то-то. А надо представить себе ситуацию. Собираются молодые люди, вечером или ночью, они разговаривают о политических делах, они кипят, пьют шампанское, один говорит одно, другой перебивает, тут никто не боится сказать более решительно, более смело. Напротив, боятся сказать умеренно. И никто не думает, что через пять лет на бумаге это будет решать его судьбу. Мы не видим этой атмосферы, а именно в этой атмосфере, когда голосовали, что же будет в России — республика или монархия, Николай Тургенев, подражая деятелям французской революции, произнес: «Un president sans phrases», то есть «президент без разговоров»: слова, произнесенные при обсуждении казни Людовика XVI. Ну и все — за эти три-четыре слова он потом очень поплатился. Но он не был республиканцем, он был умеренным монархистом, английский порядок его бы вполне устроил, однако, конечно, в той кипящей атмосфере можно было сгоряча сказать и другое.

Время шло, движение декабристов развивалось и быстро шло влево. То, что начиналось так весело, помните у Пушкина:

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико...

Лафит — это столовое вино, Клико — шампанское. Лафит пьют в начале обеда, шампанским кончают, значит, речь идет о застольных разговорах:

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов.
Забавы взрослых шалунов.²

¹ Пушкин А. С. Т. 1. С. 323—324.

² Там же. Т. 5. С. 213.

572

Но время шло, и заговор делался все серьезнее, все опаснее, все больше пахло кровью. Правительство все более замыкалось на реакционных позициях. А главное, возникал вопрос: ведь легко начать революцию, но кто же возьмет ответственность за ее дальнейшие шаги?

Не случайно перед самым разгромом движения, когда оно достигло напряженной точки,

Пестель говорил, что он сделает революцию, а потом уйдет в монастырь. Он не войдет в правительство! Еще Шиллер говорил в «Заговоре Фиеско в Генуе», что революцию можно сделать благородно, но благородно взять власть в руки уже нельзя. И это прекрасно понимали декабристы. Это останавливало гораздо больше, чем правительственная угроза. Мы сейчас задним числом, через много десятилетий, очень легко все решаем. Но как начать проливать кровь, когда нет гарантий, к чему это приведет?

Когда близкие друзья пригласили старика Суворова участвовать в заговоре против Павла, он заткнул им рот: молчи, молчи — кровь граждан. Как же проливать кровь *своих*? Это было трудное время, и это было время, когда в декабристское движение входили новые люди, а старые основатели движения от него отходили. Потерял решительный пыл и Николай Тургенев. Он, о котором Пушкин написал в десятой главе «Евгения Онегина»:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян¹.

Между прочим, несколько забегая вперед, скажу, что Тургенев, который был уже изгнанником из России, от этих пушкинских стихов отнюдь не пришел в восторг, а очень обиделся и писал брату, что Пушкин — хам, то есть реакционер, крепостник. Но это было после пушкинских стихов о польском восстании. Пушкин хам, и не ему судить о прогрессивных идеях. Я чуть-чуть переиначил цитату, но мысль передаю точно. Однако Александр Иванович не согласился с братом и сказал, что Пушкин правильно оценил ситуацию.

Восстание 14 декабря Николай Иванович встретил за границей. На требования правительства приехать, то есть приехать и — в лучшем случае — пойти на каторгу, он ответил отказом. Но по Петербургу пошел слух, что англичане его выдали и что его везут в Россию, закованного в цепи. Тогда Пушкин написал одно из самых горьких своих стихотворений. Пушкин в эту пору жил в Михайловском, а Вяземский жил на даче в Эстонии. И Вяземский прислал Пушкину стихи о Нарвском водопаде и о море. Пушкин на это ответил следующим стихотворением:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 212.

573

Не славь его. В наш гнусный век Седой Нептун земли союзник. На всех стихиях человек — Тиран, предатель или узник¹.

Тот, кого чуть позже Николай Тургенев назвал хамом, написал при известии о его аресте одно из самых горьких своих стихотворений и одно из самых горьких стихотворений в русской поэзии вообще. Представляете, что сказано? «На всех стихиях человек — / Тиран, предатель или узник».

Но мы совершенно упустили третьего брата, Сергея. А он был самый молодой и очень талантливый. Он родился в 1792 году. Был очень способный, проделал ту же образовательную дорогу, что и братья, и поступил служить в министерство иностранных дел. В 1820 году был отправлен в посольство в Константинополе — как раз когда отношения с Турцией стали опасными в связи с греческим восстанием. Турки в эту пору придерживались не очень европейских представлений, и если отношения со страной портились, они членов посольства в лучшем случае сажали в крепость. Это еще было, так сказать, снисходительно. Но молодой Сергей Тургенев проявил поразительную твердость души и высказался очень характерно вообще для Тургеневых и для себя тоже. Когда друзья начали беспокоиться о нем, он сказал, что когда так страдают народы, стоит ли думать о нем.

Если вспомнить, что это говорил, во-первых, молодой человек, а во-вторых, человек, которому действительно угрожала опасность, то это не пустые слова. Ему же принадлежит еще одно замечательное высказывание. Еще во Франции из писем братьев он узнал о талантливом новом поэте Пушкине и записал в дневнике следующее: «Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность и вместо оплакиваний самого себя пусть первая песнь его будет: Свободе». Это было как раз тогда, когда Пушкин писал оду «Вольность». Таким образом, он как бы неожиданно «подсказал» Пушкину эту идею, которую, конечно, в сознание Пушкина ввел средний брат, Николай.

К сожалению, Сергей рано умер. Братья Тургеневы — трое холостяков, трое политических деятелей, разных оттенков, но решительных, убежденных (такие мужские характеры!) — были нежно друг к другу привязаны. Смерть младшего брата — он первым ушел — потрясла Александра Ивановича не меньше, чем смертный приговор для среднего брата.

Кстати, смертный приговор для Николая — это была личная месть Николая I. Умеренный Николай Тургенев по всем установкам следствия и суда не мог получить такого страшного приговора. Если считать по тому, что получили другие декабристы, ему угрожало лет двадцать каторги. Но то, что он не захотел вернуться в Россию и получить эти двадцать лет, лично обидело

Николая I. И Николай отомстил ему заочным смертным приговором. Хотя приговор был заочный, он поразил Николая Тургенева. Причем долгое время, пока не удалось добиться определенных французских гарантий, после июльской революции в Париже, до этого он не мог выехать из Лондона.

¹ Пушкин А. С. К Вяземскому // Пушкин А. С. Т. 2. С. 331.

574

Для Тургеневых теперь началась как бы новая жизнь. Александр Иванович пытался каким-то образом защитить брата и подавал правительству прошения, доказывая, что Николай Тургенев совсем не был декабристом, что он попал в общество случайно. Но Николая I провести было нельзя, Александр Иванович регулярно получал отказы. Тогда он вышел в отставку. Кстати, по счастью, материальное положение Тургеневых все-таки было гарантированным. Дело в том, что, когда русское правительство захотело конфисковать имущество Николая Тургенева, как приговоренного к казни государственного преступника, выяснилось, что правительство прозевало: Тургеневы передали управление и гарантии видным банковским домам, в частности Ротшильду и власть русского императора ударила о власть европейских банкиров и ничего сделать не могла. Но моральное положение было очень сложным.

Это заставило Александра Ивановича выбрать новый тип жизни. Он стал скитальцем. Он не сидел на одном месте больше нескольких недель. Когда вы смотрите на имена тех, с кем он переписывался, то вы получаете энциклопедию интеллектуальной элиты Европы. Вы там найдете и Мериме, и Бальзака, и Гете, и крупнейших политических деятелей, философов, и прекрасных дам. Список его знакомых — а он со всеми говорил интересно, записывал их речи, создавая огромные фонды материалов, — это был коллективный портрет талантливой Европы. Он как бы открывал для России новую Европу. Постепенно он начал эти материалы печатать. В русских журналах начали появляться заметки о европейской — не о «революционной», не о «прогрессивной», а о живой — культурной жизни. Он снабжал ими журналы, которые хотел поддержать.

Так, еще до восстания декабристов появился новый журналист, Николай Полевой, который начал издавать совершенно новый журнал, «Московский телеграф», журнал массовый, интересный, богатый, и Тургенев начал там печататься. Когда Пушкин начал издавать журнал «Современник», у него возникли широкие планы публикации целой подборки материалов о своих встречах с выдающимися людьми эпохи. Тургенев посылал их Вяземскому, а тот редактировал и публиковал в журналах. Так возникла очень интересная серия статей «Хроника русского», а также создавался большой литературный круг.

Новые удары посыпались, когда сначала был закрыт журнал «Европеец». Молодой энергичный писатель Киреевский, который в будущем станет славянофилом, в эту пору издавал журнал, парадоксально именованный «Европеец». Это был действительно европейский либеральный журнал. Журнал был блестящим, но вышли только первые номера, после чего издание было задушено. Затем Александр Иванович публиковался в пушкинском журнале. Смерть Пушкина оборвала и эту возможность. Круг сжимался.

Не сидел сложа руки и Николай Тургенев. Он издал интереснейшую книгу «Россия и русские», которая была первым опытом истории декабризма. Таким образом, Тургеневы как бы продолжали участвовать в русской общественной жизни. Но это становилось все труднее. Позже, когда Николай Иванович скончался, некролог написал дальний родственник и однофамилец Иван Сергеевич Тургенев. Он рассказывал, что когда в России произошла

575

крестьянская реформа, русские крестьяне получили свободу, то в Париже в русской церкви состоялась благодарственная служба, и он увидел человека, который у стены горько, неутешно и непрерывно рыдал. Это был Николай Тургенев. Его клятва дожить до свободы крестьян была исполнена, но он уже потерял обоих братьев.

Семья Тургеневых — это яркая страница в той книге, которую в русскую историю вписал мир окружения Пушкина. В следующий раз мы попробуем поговорить о другой странице в этой книге.

Лекция 4¹ (1991 г.)

Добрый день!

Продолжим нашу беседу о людях, окружавших Пушкина. В прошлый раз мы говорили о семье Тургеневых, замечательной семье, которая дала и декабриста, и культурного, образованного, чуткого либерала — друзей Пушкина. До этого говорили о сложной и трагической фигуре — об императоре Александра I. Но жизнь людей — это не только встречи с теми или иными историческими лицами и, что самое главное, это не только встречи мужчин между собой. Отношение к женщинам составляет, с одной стороны, очень важную часть мужской жизни, а с другой стороны, это и особый тип культуры в целом. Далекое не всегда отношения к женщине — это отношения, скажем, любовные, семейные. Это могут быть отношения *к человеку*.

Напомню суждение умного и очень чуткого, хорошо знавшего Пушкина друга, Вильгельма Карловича Кюхельбекера, человека блистательного ума и, что особенно редко и интересно, ума парадоксального. За это в Лицее над ним очень часто смеялись, и Пушкин смеялся. Кюхельбекер

говорил всегда неожиданные вещи. Он был в этом смысле, как Руссо. Но парадокс — неожиданная, странная мысль — очень часто прямой путь к истине. Позже ведь Пушкин написал:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг².

Кюхельбекер был друг парадоксов. По совершенно непонятной причине он долгие годы отсидел в крепости в одиночном заключении, когда гораздо менее заслуживающие снисхождения руководители движения декабристов уже находились на поселении или даже на каторге, но ведь и каторга все-таки легче, чем одиночное заключение в крепости. Видимо, про него просто забыли.

¹ Передача вышла в эфир в 1991 г. Текст лекции публикуется впервые.

² Пушкин А. С. Т. 3. С. 161.

576

Так вот, получив в крепости последние главы «Евгения Онегина», он записал в дневнике парадоксальные слова. Я процитирую неточно — мне важно мысль передать: для человека, который знает Пушкина так, как я, ясно, что Татьяна — это он. Парадоксальная и на самом деле очень точная мысль. Он не сказал, что Татьяна — любимая героиня Пушкина. Он сказал, что Татьяна — это Пушкин. Это, может быть, не вся истина, но согласитесь, что это неожиданное высказывание кое-что нам открывает. И открывает очень важную сторону в отношении к женщинам: можно женщин любить, но можно видеть в женщине человека, с которым не связан интимными любовными переживаниями, можно видеть в ней себя, можно видеть в ней друга. Это я подчеркиваю потому, что выбрали мы нашу сегодняшнюю героиню не случайно.

Когда мы слышим: «Пушкин и женщины», сейчас же у нас возникает определенный стереотип. Стереотип этот не очень высокого полета, и он, в общем, был исчерпан, когда Пушкин однажды в шуливой атмосфере и немного заигрывая и веселясь с дамами, в частности с Ушаковой, к которой испытывал некое, оказавшееся не очень долгим, чувство, написал ей в альбом свой так называемый донжуанский список, где перечислил дам, которыми был увлечен.

«Донжуанский» — почему так называется? Потому что в опере Моцарта Лепорелло — слуга Дон-Жуана — ведет список его возлюбленных и перечисляет их в знаменитой моцартовской арии, которую все знали: там сотня француженок, гречанок девяносто, ну а испанок, наших испанок так тысячи три! Такое комическое перенесение своего образа на образ Дон-Жуана, составление этого списка, это, конечно, игра. Слишком серьезно погружаться в эти забавы, шутки не стоит. Конечно, вообще отношение Пушкина к любви — это вещь серьезная, и мы еще, если сложится благоприятная ситуация, к этому вернемся.

Но сегодня мы взяли образ такой женщины, которая сыграла в пушкинской судьбе и в русской культуре своей эпохи большую роль. Между тем она не была влюблена в Пушкина никогда, и он никогда в нее влюблен не был. Но если ему надо было кому-нибудь читать стихи, он приходил к ней. И об этом мы еще будем говорить.

Речь идет о женщине с несколько неожиданной судьбой. Фамилия родителей и ее до замужества — Россет, иногда у Пушкина — Россети, рифмуется с «дети»: «Полюбуйтесь же вы, дети... / Черноокая Россети / <...> Все сердца пленила *эти*»¹. Мы говорим «Россет», но потом она вышла замуж за Смирнова, и дальше мы будем ее называть до замужества именем Россет, а потом так, как она часто именуется в пушкинских материалах: Смирнова или Смирнова-Россет.

Александра Осиповна Россет-Смирнова — красавица, ярко выделяющаяся на петербургском фоне: черные волосы, черные глаза, эти глаза будут воспеты в стихах Вяземского: «Южные звезды! Черные очи! / Неба чужого огни!»² Женщина, которая принадлежала биографии Пушкина, Лермонтова,

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 213.

² Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1953. С. 209.

577

Вяземского, Гоголя, Тургенева, — по сути дела, весь круг замечательных людей был с ней связан дружбой, уважением, перепиской. Но в этом кругу мы находим и Николая I, который через нее передавал Пушкину свои замечания; в частности, загадочна вся история с пушкинскими строфами, связанными с движением декабристов, которые будто бы передавались через нее. Это не очень ясно. Женщина, которая стоит как бы в центре культурной жизни.

Кто она по национальности, кто же ее отец? Иосиф Россети был швейцарец, но семейная легенда возводила его к французскому графскому роду Россет. Александру Осиповну считали итальянкой по пылающим черным волосам и выразительным черным глазам, поэтому она в пушкинском кругу и называлась Россети. Мать ее имела очень сложное происхождение. С одной стороны — грузинка и родственница грузинских князей, с другой стороны — немка. Немецкая история такая. У Петра III среди разных других государственных дел было и такое: игрушечная армия — солдатики, башни, пушечки, он очень этим занимался. Он выписал немца, офицера, и подчинил ему эту «службу». Однажды, придя в свою подчиненную «военную часть», тот обнаружил, что крысы съели «солдат». Он понял, что дело его плохо, тут же сел в коляску и уехал куда глаза глядят, на Украину. Там он женился, и отсюда произошла вторая линия этой семьи.

Кстати, именно по этой линии, немецкой, Россети-Смирнова была племянницей декабриста Лорера. Она не только не отказалась, в отличие от многих дам, от своего родственника, когда он стал государственным преступником и был отправлен на каторгу, но имела смелость разговаривать и защищать его перед Николаем I, с которым она не очень церемонилась.

Но и Николай немножко по-особому к ней относился. Напомню один маленький эпизод. Став уже Смирновой, Александра Осиповна рожала довольно много детей, и главное, рожала тяжело. Один раз она родила двойню, у нее были страшные разрывы, а тогда лекарство от разрывов было одно: женщину привязывали к доске. Это, конечно, варварское, ужасное средство. И вот она лежала, привязанная к доске, когда ее посетил император Николай. Что же нашел нужного Николай сказать женщине в таком положении? Он сказал ей: я могу все, но вылечить тебя даже я не могу. Император был захвачен идеей того, что может все, но на самом деле он был очень не уверен в себе. Это была компенсация, но от этого подчеркивание своего всеисилия было показным, напыщенным и рассчитанным на зрителя. Но я это вспомнил затем, чтобы немножко очертить круг, в котором находилась Россети.

До замужества она — фрейлина, сначала императрицы-матери, потом, после ее смерти, сохраняет фрейлинское место при царствующей императрице, а когда выходит замуж за Смирнова, она — жена дипломата, потом генерал-губернатора, то есть занимает положение достаточно высокое, хотя богатства оно не давало. Положение светское тоже было и очень высокое, и не очень прочное, но сейчас нам важно другое. В этом светском и придворном мире она была как бы посланцем литературы. Когда нужны были небюрократические, неканцелярские связи, когда по какой-то причине государю надо было обратиться к Пушкину не через Бенкендорфа, он обращался через

578

Россети. Жуковский был учителем наследника, и все-таки в напряженную минуту он предпочитал пользоваться помощью Россети. Это был особый мир, и в этом мире оказался и Пушкин.

Итак, из небогатой семьи, с иностранными связями, которые не очень гарантировали положение в России, Александра Осиповна обладала самосознанием, несколько неожиданным в ту пору. Она — француженка, итальянка, немка, грузинка — считала себя украинкой. Она выросла на Украине, очень любила Украину. С удовольствием говорила на народном языке, и некоторая печать юга на ней сохранилась навсегда. Это делало ее положение особым и весьма характерным. В петербургском обществе она была как бы и *своя* и иностранка одновременно. Не из Великороссии, а из Украины. Конечно, и внешность, и поведение, и богатство ума очень важно. Среди фрейлин были образованные женщины, были хорошие женщины, были разные, но особенно ярких, умных женщин в ту эпоху мы там не находим. Это довольно-таки бледный мир.

Она была очень умна. Потом жена Пушкина — Наталья Николаевна — не без ядовитости или, по крайней мере, обиды говорила, что ей Пушкин своих стихов не читает, а читает Александре Осиповне. И в воспоминаниях современников того периода, о котором мы будем сейчас говорить, рисуется такая картина: Пушкин работает на втором этаже, жена на первом этаже читает книгу или скучает, а когда приходит Александра Осиповна, она говорит: пройдите на второй этаж, он — там. Притом ни капли ревности здесь не было.

Так вот, поговорим все-таки об этой женщине. Она поступила в Екатерининский институт — в привилегированное учебное заведение для дочерей не очень богатых, не очень знатных, но все-таки отмеченных двором, как правило, заслуженных военных. Кончила блестяще, со вторым отличительным знаком, и была оставлена при дворе. Здесь она встретила, в первую очередь, с Жуковским и с широким кругом образованных людей. Приблизительно в 1830 году имя ее начинает мелькать в пушкинских делах. Особенно сблизились они летом 1831 года.

Лето 1831 года Пушкин проводил в Царском Селе. Он был молодоженом, это был короткий период его подлинного счастья. Пушкины снимали, как я уже говорил, небольшой двухэтажный домик, Пушкин занимал кабинет на втором этаже. Жуковский жил в Александровском дворце. В Царском Селе, как вы помните, больших дворцов два — Екатерининский — место, где жила императорская семья (рядом через закрытый переход располагалось здание Лицея), и Александровский, который использовался для придворных, которые проводят лето при дворе, но все-таки на некотором расстоянии. Жуковский жил в Александровском дворце, Россет, вместе с императрицей, в Екатерининском, а Пушкин — в снятом доме, и вот в этом треугольнике происходило постоянное общение.

Пушкин был весел. Как правило, дамы, в частности Смирнова (то есть тогда еще не Смирнова, а Россет), заезжали к нему утром. Пушкин любил холод, жару и дождливую погоду, он не выносил только весну. Весной его мучило напряжение крови. Он был слишком энергичен для весны. Он встречал дам с еще мокрой после ванны головой, и если работал, то садился

579

в своей комнате, ему не мешало ни присутствие Россет, ни даже присутствие жены. Действительно гениальный, великий. Пушкин был очень простой человек. Он никогда не усваивал пошлой позы поэта, который закатывает глаза и говорит, что он сейчас общается с богами и чтобы ему не мешали люди, которые в своей прозаической суете не понимают его возвышенности. Но

обычно когда приходили дамы, то все отправлялись гулять. Как правило, ехали на двуколке. Дамы сидели на диванчике, а Пушкину там не было места, и он садился спереди, верхом на перекладину, которая по ходу двигалась. И тогда он бывал особенно весел, повернувшись к дамам лицом, чуть-чуть боком. Потом встречались еще и вечером.

В Царском Пушкин много работал, и, что с ним бывало редко, работал хорошо, хотя был не один. Здесь он, между прочим, вместе с Жуковским писал сказки. И Россет вспоминает многое из бытовых подробностей этого периода. Пушкин, принимая у себя прекрасную, умную, хорошую, но все-таки придворную даму, не мог удержаться от того, чтобы ее не дразнить. Например, когда они катались, он начинал вслух, громким голосом декламировать сатирические песни Рылеева:

Царь наш — немец русский —

Носит мундир узкий.

Ай да царь, ай да царь.

Православный государь!¹

Это далеко уже не были его идеи, это все было пережито, ушло в прошлое, но напомнить придворной даме, что независимость дороже всего, он считал нужным. Кстати, ей же Пушкин первой, видимо, прочел «Сказку о попе и о работнике его Балде» — произведение, которое при его жизни выйти не могло, а после смерти вышло с цензурными заменами. Упоминание попа было изъято, и он был заменен купцом.

Этот веселый период был временем интенсивных отношений Смирновой с пушкинским кругом. Но отношения эти тут не оборвались. Далее Смирнова, как я сказал, оказалась как бы пушкинским послом в придворном мире. Но не только пушкинским. И Вяземский, и затем другие литераторы входили в ее окружение и привлекали внимание этой действительно замечательной женщины.

Так, например, ее имя, ее личность входят в биографию Лермонтова. Лермонтов очень сложно относился к придворному миру. Материалы, которыми мы сейчас располагаем, в общем, говорят о том, что Лермонтов бывал довольно близок к этому миру и отношение к нему было сложным. Связи бабушки Лермонтова — это старые, придворные связи. В ранний период атмосфера вокруг Лермонтова была даже доброжелательная (жест со стороны Бенкендорфа), но Лермонтов был неугомонен, он рвался на конфликты, делал все, что могло раздражить императора. Отношения, в общем, довольно быстро стали тяжелыми. Они напоминали отношения начальника к хорошо ему известному и очень неприятному человеку, которого все-таки приходится терпеть. Так что постепенно накапливалось раздражение. Лер-

¹ Рылеев К. Ф. Поли. собр. стихотворений. Л., 1971. С. 256.

580

монтов между тем менялся очень сильно, и менялся — в пушкинскую сторону. Притяжение к пушкинскому кругу стало для Лермонтова особенно важным и острым, когда он начал как бы новый этап своей поэтической жизни.

Лермонтов испытывал сильное влияние Пушкина на протяжении всего своего творчества, но влияние своеобразное. Когда мы просматриваем произведения Лермонтова до середины 1830-х годов, до «Маскарада», мы находим очень заметные отпечатки пушкинских следов, но каких? Молодого Пушкина-романтика. Пушкин давно уже оставил этот этап, уже он совсем другой — иначе пишущий и создающий новые произведения писатель. Лермонтов же все еще видит *того* Пушкина. В середине 30-х годов, когда Лермонтова начинает интересовать правда жизни, ему вдруг открывается опять Пушкин:

Пускай слыву я старовером,

Мне все равно — я даже рад:

Пишу Онегина размером;

Пою, друзья, на старый лад¹.

«Старый лад» — это вторжение жизненной правды, которая не отменяет романтизма и создает нового Лермонтова. Совсем не случайно в этот период Лермонтов ищет знакомства и сближения со Смирновой, и знакомство это было не очень легким, как все знакомства Лермонтова.

Вспомним, как он тяжело сходилась с Белинским, как он надевал маску, раздражающую собеседников. Лермонтов на самом деле был очень беззащитный человек. Знаете, когда вы видите зверя с толстой шкурой или с панцирем, как черепаха, так он потому окружен твердым, что он очень мягкий, что его очень легко повредить и он, чтобы выжить, отрачивает такую крепкую «маску», которую надевает. То же самое было с Лермонтовым. И совсем не случайно, что в тот период, когда его потянуло к прозе, возникло желание сбросить маску, сойтись с людьми, перед которыми не надо быть Байроном, его потянуло к Смирновой. Он тоже не без труда сблизился с ней. Лермонтов зашел однажды к Смирновой, когда ее не было дома, и оставил на столе написанное только что стихотворение. Там есть знаменитые строки:

Без вас — хочу сказать вам много,

При вас — я слушать вас хочу:

Но молча вы смотрите строго,

И я, в смущении, молчу!

И кончается строчками:

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно².

¹ Лермонтов М. Ю. Тамбовская казначейша // Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1955. Т. 4. С. 118.

² Лермонтов М. Ю. А. О. Смирновой // Там же. Т. 2. С. 163.

581

Несмотря на то что это комплиментарное стихотворение, оно очень точно отражает и болезненную мучительность, с которой Лермонтов сходил с людьми, и некую простоту, располагающую к доверию, которая исходила от Смирновой.

Другое длительное знакомство Смирновой — это Вяземский. Князь Петр Андреевич Вяземский, ближайший друг Пушкина, был человеком не того круга, к которому Пушкин принадлежал вначале. Он был из старинного рода — Пушкины тоже были из старинного рода, но Вяземские были богаты. Вяземский был очень богат, и, отчаянно играя в карты, по крайней мере в первую половину жизни, он «прокипятил», по его собственному выражению, свое наследство. Он, конечно, «прокипятил» миллионы, но все-таки такой пушкинской заботы о деньгах (а Пушкин всегда, всю жизнь нуждался в деньгах) у Вяземского никогда не было. Вяземский получил прекрасное образование. Его сестра была второй и очень любимой женой Карамзина. Первая жена Карамзина умерла вскоре после родов, и он увидел сон, в котором его покойная жена соединяла его руку со своей подругой. Карамзин женился. Это был долгий и счастливый брак. О нем стоит вспомнить, потому что потом, в исследовательской литературе, с легкой руки Юрия Николаевича Тынянова, создалась легенда, что Пушкин был влюблен в Карамзину.

Тынянов был блистательный ученый. Если об ученом можно сказать «гениальный», то он был гениальный ученый. Но в последние годы жизни он испытал некоторое разочарование в возможностях науки. Он понял, что жизнь не отражается полностью в документе, что документ дает только отрывочки жизни, а выдумывать документы нельзя. Поэтому он решил, что художественное творчество может больше правды сказать. Можно выдумать то, что, как он убежден, должно было быть. Это опасный путь — даже для гениального человека. Он убедил себя в том, что Пушкин был влюблен в жену Карамзина. Для этого предположения есть одно основание.

Пушкина мы, как нам кажется, изучили всего, и тот донжуанский список, о котором мы говорили вначале, мы сто раз читали, комментировали, но Пушкин не все там написал. В одном месте он поставил черту. Дальше — еще одна вещь. Пушкинское стихотворение — очень интимное — о том, что ночью он думает о своей жизни:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная.
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк постыдных не смываю.
Тут он оборвал, дальше не публиковал, а дальше шли очень интимные строки. О том, что в эту минуту к нему приходят два видения:
Встают два призрака молодые,
Две тени милые, — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут... и мстят мне оба.

582

И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба¹.

Мы знаем только одну мертвую любовь Пушкина — Ризнич. А кто вторая? Мы не знаем. Надеюсь, что никогда не узнаем. Не нужно слишком много знать, особенно в таких вопросах. Попытка Тынянова «заткнуть» эту дыру чем-то, и почему-то Карамзиной, — это все неубедительно.

Между тем если вернуться к Россет, то для Вяземского, как и для Пушкина, она заполняла то пространство, играла ту роль, которую для Пушкина играла и Карамзина: образованного друга-женщины. Карамзина была для Пушкина другом. Не случайно, умирая, с раной, с пулей, он позвал Карамзину. Из этого тоже делают вывод, что он так ее любил... Нет, у каждого человека есть свой опыт. Мой опыт был довольно тяжелым, я видел, как люди умирают. Как правило, если это солдаты, они ругаются, пока думают, что еще будут жить, а последнее слово всегда — «мама». Сколько людей умерло с этими словами! Потому что люди возвращаются в детство, в беззащитность. А Пушкин был холоден к матери. У нее не было к нему материнского чувства, и у него не было к ней сыновнего. Он вспомнил Карамзину, которая была много старше его. Но вернемся к нашей героине.

В жизни Вяземского Россет сыграла огромную роль. Еще вспомним Гоголя. Вот у нас уже были Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Жуковский, который писал ей забавные стихи. Теперь — Гоголь. Гоголь оказался в столице провинциалом. Может быть, его тянуло к Россет, потому что он тоже чувствовал себя украинцем. Они были связаны, конечно, с некоей особой культурой —

культурой европейско-русской цивилизованной среды русскоязычной Украины. Душой — украинской, душой, привязанной к этим местам, к этому пространству. Но особенное сближение Гоголя со Смирновой произошло позже.

Смирнова — придворная дама, а потом — жена губернатора, женщина с известным общественным положением, женщина сильная, бурная. Когда однажды в ее присутствии Вигель попробовал вольнодумствовать, она его выгнала. Чтобы понять это — маленький комментарий. Вигель — мы о нем, может быть, еще будем говорить — забавный человек, автор интереснейших мемуаров; если нужно представить эту эпоху в мемуарах, надо брать Вигеля. Но человек запятнанный, злой, он был очень реакционен в 20-е годы, однако когда Николай I умер, он позволил себе в присутствии Смирновой грубо о нем отозваться. При Смирновой, которая могла быть даже резкой с государем, но не могла позволить другим поносить государя, уже скончавшегося; и вопрос был решен: она выгнала Вигеля из дома. Вот эта женщина оказалась для Гоголя тоже важной и в особых условиях.

Гоголь — уже известный писатель, автор повестей и «Ревизора», автор первого тома «Мертвых душ» — человек измученный, тоже скиталец (то в Европе, то в России). Человек, который гордится тем, что все свое имущество он запикивает в маленький дорожный пакетик. Он без денег, но зато —

¹ [Пушкин А. С. Воспоминание \(Когда для смертного умолкнет шумный день\) // Пушкин А. С. Т. 3. С. 60. 459.](#)

583

он скиталец, приезжает к знакомым и там живет. Это даже иногда вызывает упреки. Ему нужен дом. и вместе с тем он все время — в чужом доме. У Смирновой он оказывался как бы в некотором суррогате своего дома. Это привлекало, но еще больше его привлекало другое. В этот период, 40-е годы, Гоголь работал над той книгой, которая принесла ему очень много страданий, — над «Выбранными местами из переписки с друзьями».

Почему Гоголь взялся за эту книгу, от которой он потом сам отрекался, которую так ругал Белинский и ругали все? Славянофилы тоже ругали, по сути дела, никто не поддержал его за эту книгу. Гоголя все обвиняли. Белинский говорил обидные вещи. Он говорил, что когда в Европе на человека находят религиозное безумие, он начинает обличать власть, а у нас если находят такое безумие, то человек так подластит властям предрержащим, что уж и им тошно. Это было несправедливо. Но Гоголь знал, что Белинский умирает от чахотки, и ответил ему, по сути дела, очень дружеским письмом.

Гоголю было в эту пору очень нелегко. Но почему он начал писать такую книгу, бросив художественное творчество? Потом считал, что это ошибка, и очень в ней каялся. Но это не было для него случайной ошибкой.

Гоголь был искренним христианином. Хотя христианство его не было очень ортодоксальным, и Белинский это заметил: разве верующий человек будет так бояться дьявола? Нет, не Божье слово, а испуг грешника говорит вами, страх дьявола. Белинский ударил по больному месту. В позиции Гоголя был момент манихейства, представление о силе дьявола. Ведь дьявол, по ортодоксальным представлениям, только допущение, некоторое испытание, он совсем не равен Господу по своей силе. Это был сложный вопрос, и Гоголь очень страдал. Он решил, что сейчас, *в это время*, надо противостоять темным силам. А какое же это время, почему сейчас?

Понимаете ли, настоящий писатель напоминает прибор, который измеряет потрясения земли. Еще не было ни Февральской, ни Октябрьской революции, ни мировой войны, еще не было страшного XX века, а Гоголь слышал подпочвенные удары. Он видел страшную дорогу и понимал, что надо что-то делать, неясно, что делать, но нельзя ждать, нельзя писать хорошие романы, когда впереди такой ужас. И он написал *не роман* — обращение к читателям, вопль: как сделать, чтобы не скатиться вниз. Предложения были очень наивными, но страх был настоящим. Эта книга, которую так обругали, была воплем человека, видящим дальше других. Знаете, в гомеровских легендах говорится о том, что когда Троию взяли, то прорицательница (Кассандра) стала пленницей у Агамемнона. Она видела будущее и все преступления, но боги наказали ее тем, что никто ей не верил. Она предсказывала будущее, а ей не верили. Нечто похожее случилось с Гоголем.

Но для нас сейчас важно вот что: в этой странной книге он дважды упоминал Смирнову-Россет и включил два письма к ней. Письма были наивные. Он надеялся, что женщина спасет Россию. Поскольку он верил в роль государства — потом очень смеялись над ним, — он предположил, что это должна быть светская женщина, жена крупного государственного деятеля. То есть надеялся на влияние на мужа и вместе с тем на женское начало, в котором

584

Гоголь видел некоторую надежду России. Вот ход его рассуждений. Все зло в России отчего? Почему воруют государственные деньги? Потому что жены у чиновников — модницы. Как люди могут перестать совершать преступления? Если им будет стыдно перед женами. Женщины — нравственное начало. И такое нравственное начало Гоголь преподал своему читателю устами Смирновой-Россет.

Россет была замечательным человеком — замечательной женщиной и замечательным

человеком. Она оставила яркий, ничем не заменимый след в русской культуре.

Благодарю за внимание.

Лекция 5¹ (1991 г.)

Добрый день!

Продолжим наш разговор о людях, которые в своих жизненных дорогах пересекались с Пушкиным и так или иначе оказывали воздействие на него и часто испытывали на себе его воздействие, отражались в его творчестве или письмах. Это разговор о людях, которые составляют как бы фон, на котором мы более ясно, более выпукло видим те черты поэта, которые иначе для нас остаются только строчками в книге. Среди этих людей мы уже называли и женщин, и мужчин. Были люди, дружески с Пушкиным связанные. Были люди, отношение которых к Пушкину было сложным. Еще мы будем говорить и о врагах Пушкина. Сегодня мы поговорим об интересном человеке, который был и врагом, и другом Пушкина: одновременно одним из предметов напряженной пушкинской ненависти, острых, злых его эпиграмм, и вместе с тем потом стал очень близким другом и принимал участие в важных для Пушкина торжественных событиях — таких, как свадьба с Натальей Николаевной. Речь идет о графе Федоре Толстом.

К первой своей романтической поэме, «Кавказский пленник», Пушкин перебрал несколько эпиграфов. Поэтика эпиграфа была для него всегда важна. Это был как бы вывод, как бы подготовка и суммирование основного образа для читателя. Готовя поэму к печати, Пушкин взял эпиграф из стихотворения своего приятеля князя Петра Вяземского:

Под бурей рока — твердый камень!

В волненьи страсти — легкий лист!²

У Вяземского эта очень важная характеристика относилась к человеку, который был Пушкину уже знаком, — к графу Федору Толстому. Эпиграф не попал в печать, Пушкин снял его. Почему? Вот об этом сейчас придется поговорить.

¹ Передача вышла в эфир в 1991 г. Текст лекции публикуется впервые.

² Вяземский П. А. Толстому // Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1958. С. 114—115.

585

Я думаю, что большинство помнит повесть Льва Николаевича Толстого «Два гусара». Лев Николаевич Толстой — внучатый племянник Толстого-американца, как называли нашего сегодняшнего героя. Почему так, мы еще будем говорить. В одной из ранних своих повестей, «Два гусара», автор столкнул два образа: гусара старого времени, о котором сейчас и пойдет речь, — пьяницу, дуэлянта, развратника, но щедрого, благородного, соединяющего в себе несоединимые человеческие черты — и гусара нового для Л. Толстого времени — европеизированного эгоиста. В этом старом гусаре графе Турбине Толстой соединил свои впечатления о личности человека, о котором сегодня пойдет речь.

Позволим себе одну небольшую цитату. Как вы, вероятно, помните, повесть «Два гусара» начинается с того, что в гостинице говорят о том, что должен приехать знаменитый гусар. Один из жителей этого провинциального города в среде местных помещиков слышет лихим гусаром. Потом мы узнаем, что он никогда не был гусаром, что это его фантазии, что он только хотел быть гусаром, лихим кавалеристом, романтическим дуэлянтом, и ничем не стал. Но тем не менее в душе своей он переживает эту свою несостоявшуюся фантастическую биографию. И тут происходит разговор о прибывшем в провинциальную среду общероссийском герое, человеку совершенно необычного поведения: «Мигунову кто увез? — он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар-душа, уж истинно душа»¹.

Толстой-американец действительно был известный игрок, и играл далеко не всегда честно. Например, когда Грибоедов включил в «Горе от ума» строки:

Ночной разбойник, дуэлист,

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,

И крепко на руку нечист;

Да умный человек не может быть не плутом...² —

то Толстой-американец попросил его исправить вместо «Крепко на руку нечист» — «картешки на руку нечист», чтобы не подумали, что он ворует носовые платки. Воровать носовые платки для графа и дворянина постыдно, а не очень честно сыграть в карты — это допустимо.

Толстой, который получил прозвание «американец», заслужил его следующим образом. Он отправился в кругосветное путешествие и на корабле повел себя, видимо, совершенно недопустимо. По крайней мере, Пушкин писал о нем:

В жизни мрачной и презренной

Был он долго погружен.

Долго все концы вселенной

Осквернял развратом он.

Но, исправясь понемногу,

¹ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1979. Т. 2. С. 242.

² Грибоедов А. С. Горь от ума. С. 115.

586

Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу —
Только что картежный вор¹.

В послании к Чаадаеву, в более серьезном жанре, Пушкин писал о «философе» иронически:

...философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:

Отвыкнул от вина и стал картежный вор?²

«Картежный вор» — это было, конечно, страшное оскорбление, потому что перевернуть в карты можно было, но замечать это было нельзя, и тем более нельзя было называть это своим — таким оскорбительным — именем. Но об отношениях Толстого-американца к Пушкину еще будет своя речь.

Итак, привлекательный и преступный тип. Между прочим, Лев Николаевич Толстой в начале повести, о которой мы говорили, ввел одну, может быть, незаметную для читателя, но очень важную черту. Когда его герой, которой только воображает себя лихим кавалеристом и отчаянным сорви-головой, рассказывает о своих былых проказах и о том, как он якобы тоже сражался на дуэлях и похищал девушек, он, как описывает это Толстой, сел верхом на стул, раскинув ноги, выставив нижнюю челюсть, и заговорил низким голосом. Это все не случайно. Особенно интересно — «сел на стул — спинка вперед».

Я напому вам одну деталь. У Пастернака в романе «Доктор Живаго» есть эпизод. Офицеры на фронте Первой мировой войны узнают о революции в Петрограде и, энтузиастически обмениваясь известиями о том, какая сейчас начнется жизнь, меняют позы. Как отмечает Пастернак, никто не сидит на стуле правильно. Один сидит именно так, как описано у Толстого: спинкой к животу, свесив ноги. Другой садится на приступочку. То, как человек сидит, как он ходит, — не случайно (между прочим, об этом будет упоминаться и у Льва Толстого: особая кавалерийская походка). Это — жесты свободы. Это жесты выхода за пределы строгого, затянутого в мундир стиля поведения, который присущ парадному Петербургу:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит³.

Этому противостоит удаль, нарушение правил. И нарушение правил приобретает характер какой-то дикой бытовой поэзии.

Это, конечно, дикость, когда герой повести Толстого вывешивает своего противника за ноги через окно. Да и, помните, дальше в повести Толстого, когда Турбин играет в карты, крупно играет, и вдруг замечает, что молодой

¹ Пушкин А. С. Т. 2. С. 21.

² Там же. С. 52.

³ Там же. Т. 3. С. 79.

587

человек, совершенно еще не оперившийся офицер, который едет с казенными деньгами, играет с шулером. Шулер обыгрывает его, так что у молодого человека одно будущее — пуля в лоб. Он проиграл казенные деньги. Конечно, честь не позволит ему пойти под суд, быть разжалованным, одно только и остается. И гусар, который вмешивается в ситуацию, требует, чтобы шулер играл с ним. Он сам — шулер, и он обыгрывает любого шулера. Но шулер не хочет играть — он знает, с кем имеет дело. Тогда гусар решает дело просто: он бьет его по голове и забирает деньги, не играя. Он ворует. При этом он тут же похищает женщину. Вернее, проводит с ней бурный роман, который длится только несколько часов, но который остается для нее на всю жизнь памятью. Вот это сложное сочетание разгула, разврата, безудержного выхода за пределы нормы и вместе с тем некоей широты, поэзии и привлекало к Толстому, которого называли американцем.

Как я вам сказал, называли его американцем за отнюдь не похвальные вещи. Он, как мы уже цитировали Пушкина, «развратом изумил четыре части света», и настолько, что Крузенштерн — известный мореплаватель Крузенштерн, на корабле которого он путешествовал, вынужден был его посадить непонятно где. По одной версии, это была Камчатка, а по другой версии (есть и такая), это была Северная Америка. Толстой, получивший за это прозвание американца, чем очень гордился, появился в Петербурге и окружил себя целой легендой о своих похождениях. При этом и разврат, и дикая удаль были для него отнюдь не чем-то таким, что он готов был скрывать. Это была его поэзия. Он сам про себя рассказывал дикие истории: якобы он где-то, как американец, на каких-то островах, женился на обезьяне, а потом съел ее. Эти фантастические, явно «автоклеветнические» истории он про себя рассказывал. И это было возможно только в том мире, где ореолом была окружена поэзия Байрона, которая тоже поэтизировала преступника.

Вспомните, какие герои у Пушкина: братья-разбойники. Пушкин даже однажды иронически перечислил героев романтических поэм: цыганы, воры, разбойники, ну и честная компания! А

позже о герое поэмы «Езерский» Пушкин писал:

Хоть человек он не военный,
Не второклассный Дон Жуан,
Не демон — даже не цыган,
А просто гражданин столичный¹.

Все эти романтические герои («второклассный Дон-Жуан», демон, цыган) — это было очень поэтично. И в дикости Толстого-американца была смесь из готовности к преступлениям и готовности к благородству, к необычайной широте натуры. Перед войной 1812 года Толстой был разжалован за дуэль и сослан. Когда Наполеон подошел к Москве, Толстой поступил в армию простым солдатом, в Бородинском сражении проявил чудеса храбрости и выслужил офицерский чин.

Напомню, как Вяземский, друг и приятель Толстого-американца, человек штатский, перед Бородинским сражением вступил в ополчение и исполнял

¹ Пушкин А. С. Т. 4. С. 347—348.

588

обязанности адъютанта при Милорадовиче. А надо иметь в виду, что адъютант в те войны — это не то, что мы себе представляем, то есть некий офицер, который при генерале исполняет мелкие поручения. Радио нет, телефона нет, и адъютант — это тот, кто отвозит приказы в самые опасные участки боя. В Бородинском сражении перебили большое число адъютантов. Вяземский проделал этот бой, а после, когда Наполеон занял Москву, решил, что война проиграна, вспомнил, что у него беременная жена, скинул мундир, уехал в свое поместье. Вот это соединение свободы с нежеланием подчиняться дисциплине — это второй полюс. На другом полюсе крайняя дисциплина, крайняя военная упорядоченность, и одно порождает другое.

Итак, Толстой-американец был высажен на некие острова, а потом через всю Сибирь добирался до столицы. По пути он тоже имел приключения. О некоторых он рассказывал, и особенно любил рассказывать о встрече с «мужичком», как он говорил. «Мужичок» очень хорошо пил, но еще лучше пел. И одна из песен запомнилась Толстому своим припевом:

Не грусти, не плачь, детинка,
В рот попала ягодинка,
Авось, проглочу.

При словах «авось, проглочу» он начинал плакать и говорил: «Можете ли вы, граф, оценить это чувство: авось, проглочу».

Нагруженный этими легендами и слухами, Толстой вернулся в столицу и оказался в кругу, составляющем окружение прогрессивной молодежи. По крайней мере, Грибоедов счел возможным отождествить этих людей с членами тайного общества. Когда он говорил, что есть люди, которых «на черный день пасем», то среди них появлялся и «ночной разбойник, дуэлист...». И тут же, как бы извиняя: «Да умный человек не может быть не плутом». Для нас сейчас «умный человек» ничего не означает. Но если мы заглянем в пушкинские рукописи, мы увидим, что, задумав роман, в который войдут декабристы, Пушкин назовет его «Круг умных людей». Сам герой Грибоедова будет о декабристах говорить: «сок умной молодежи». Вспомним и заглавие — «Горе от ума». Умные люди — это прогрессивные люди. По крайней мере, в эпоху «Союза благоденствия» в это верят. И Толстой уж как угодно, но не дурак. Правда, для «Союза благоденствия» было типичным требование, чтобы ум соединялся с высокой нравственностью. Но не все отвечали этим критериям. Толстой, оказавшийся в Петербурге, не менял своего поведения.

Толстой с Пушкиным познакомились в Петербурге. Знакомство это, видимо, произошло в 1819 году и, наверное, было обычным знакомством молодых людей. Встреча с Толстым — это почти всегда означало участие в каком-то кутеже. Толстой не был врагом алкогольных напитков. В его биографии есть и такой эпизод. Однажды Толстой по одному из поводов — Вяземский не указывает, по какому поводу, но предположить можно, — дал зарок больше не пить. И в компании с Денисом Давыдовым и другими известными собутельниками, которые всю ночь пили, он сидел, выдерживая свое слово. Под утро они сели на узенькие дрожки, Денис Давыдов взял Толстого за талию, потому что иначе на дрожках ехать неудобно, и они поехали по морозной снеговой улице. Вдруг Толстой обернулся и сказал: «Денис, голубчик,

589

дыхни!» Пить не пил (он дал слово), но хоть дыхнули бы на него... К этому анекдоту вспоминается и другой. Толстой вообще был окружен анекдотами. Однажды после большой пьяной ночи хозяин посоветовал Толстому закусочку. Сказал: «Ты ее пожуй, и сразу весь хмель отойдет». «Ну, уж брось, — сказал Толстой, — для чего я всю ночь работал?»

Так вот этого человека, который вел в Петербурге разудалую и отнюдь не нравственную жизнь, который проигрывал большие деньги, который был в кругу, близком к декабристам, пересекавшегося с Катениным, Пушкин считал своим приятелем. В характере Пушкина была необычайная доверчивость. Он был совершенно беззащитен против коварства, а Толстому доставляло удовольствие участвовать в разного рода коварных штуках. Потом Пушкин, который писал в одном из писем, что Толстой явится у него в «Онегине» во всем блеске, не реализовал своего обещания и в соответствующую главу Толстого не ввел, потому что роман «Евгений

Онегин» был для него вещью гораздо большего значения, чем личные счеты. Но черты Толстого вошли в образ Зарецкого:

Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман... —
как вы помните, судьба его иная, чем у Толстого:
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого сваяясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!¹

Это не биографические подробности из жизни Толстого. Но характер похож. Зарецкий фактически устраивает дуэль Онегина с Ленским. И Онегин потому и дерется, что:

«...в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист...
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов... —
и дальше Пушкин включил цитату из Грибоедова:
Но шопот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мнение!²
Не случайно, что вместе с Толстым в пушкинскую память вошел и Грибоедов.

Но это было позже, а в Петербурге Толстой оклеветал Пушкина. Пушкин узнал об этом уже на юге, когда ответить немедленной дуэлью он не мог. Толстой же был не только герой различных похождений, но и знаменитый бретер. Когда потом у него одна за другой умирали дочери, то

¹ Пушкин А. С. Т. 5. С. 120—121.

² Там же. С. 124.

590

он вел подсчет, сколько он человек убил на дуэли. Когда число умерших дочерей и число убитых людей сравнялось, он сказал: «Теперь я с Господом квит».

Драться с Толстым — это была почти верная смерть. Но Пушкин к этому готовился. Как мы знаем, еще на юге Пушкин завел себе железную палку, которая должна была развивать мускулы на руке, чтобы рука не дрожала. Попав в Михайловское, он каждое утро стрелял в туз, в карту, тренируясь для дуэли с Толстым. К счастью, судьба сложилась иначе.

Пушкин оказался в Москве в 1826 году, его привезли сразу после коронации нового императора, и состоялась знаменитая встреча Пушкина с Николаем I. После разговора с царем Пушкин тут же послал близкого друга вызвать Толстого на дуэль. События приближались к катастрофической развязке. Но, к счастью, были люди — общие друзья и Пушкина, и Толстого, среди них князь Вяземский и другие, и удалось врагов помирить. Удалось, видимо, добиться того, что Толстой произнес какие-то слова. Мы не знаем, какие, но без этого примирение было бы невозможно. Ведь не только Пушкин написал на Толстого эпиграмму, но и Толстой отплатил Пушкину эпиграммой, в отличие от пушкинской, написанной без поэтического вдохновения, но очень злой:

Сатиры нравственной язвительное жало
С пасквильной клеветой не сходствует нимало.
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл,
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.
Примером ты рази, а не стихом пороки,
И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки!¹

Это было еще одно оскорбление. Но, так или иначе, все удалось замазать, и уже в конце 1820-х годов Пушкин встречается с Толстым. Толстой слушает чтение одной из поэм Пушкина — «Полтавы». Затем именно Толстой начинает переговоры с родителями Натальи Николаевны Гончаровой и привозит Пушкину известие о том, что родители невесты согласны на брак. Более того, в церкви, когда происходит венчание, он держит над головой Пушкина венец. В этом, правда, как мы теперь видим ретроспективно, было некоторое злое предзнаменование. Но, так или иначе, все очень типично для графа Федора Толстого-американца — человека без границ, с необычайно быстрым переходом из одного состояния в другое. Такова была и личная жизнь этого бурного человека.

Свои многочисленные романы, дуэли Толстой соединил с очень сильной любовью. Но любовь его была тоже необычная: он женился (законно) на цыганке. Причем в серии анекдотов о нем есть и такой, что после долгой ночи непрерывного пьянства он ставил ее на стол и, взяв в правую и левую руку по пистолету, не целясь, простреливал два каблука у нее под пятками. Стрелял он, как вы видите, достаточно хорошо и в пьяном виде. У него были две взрослые дочери, одна из которых обладала замечательным поэтическим талантом, но рано умерла.

¹ Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX века. Л., 1975. С. 750.

591

В кругу пушкинских друзей и пушкинских врагов Федор Толстой-американец составляет

яркую и неповторимую личность и вместе с тем лицо, связанное с эпохой. Не случайно Лев Николаевич Толстой в «Двух гусарах» отнес этот тип к типу ушедшему. Во вступлении к этой повести Толстой перечислил черты быта отцов и дедов. Для Льва Николаевича это уже ушедшее поколение, современники Пушкина и Дениса Давыдова, люди, которые для того, чтобы подать даме платочек, прыгали из одного угла комнаты в другой, которые убивали друг друга на дуэлях. Это та поэзия европеизированной азиатской жизни, которая была создана Петром и которая уходила в прошлое. Когда на престоле появилась гораздо более прозаический Александр II, когда вперед выступили вопросы крестьянской реформы и новое поколение, поколение разночинцев, заменило людей пушкинской эпохи, наступила эпоха, казавшаяся людям пушкинского времени лишенной поэзии. Толстой-американец был созданием этой эпохи и сам эту эпоху создавал.

Благодарю за внимание.

Лекция 6¹ (1992 г.)

Добрый день!

Мы продолжаем нашу серию бесед о людях, окружавших Пушкина.

Пушкин был человеком, щедрым к дружбе. Он легко, доверчиво знакомился с людьми, был доброжелателен, но на самом деле не был быстрым и расточительным на то, чтобы открывать глубины своего сердца. Он был сдержанным в этих вопросах. Даже несмотря на бурную молодость, в отношениях дружеских (а дружба была для него большой жизненной темой) в нем было некоторое целомудрие, которое соединялось с доверчивостью. Поэтому Пушкину приходилось сталкиваться и с разочарованиями в дружбе — очень горькими в период юности. В этом пестром и разнообразном кругу пушкинских друзей Иван Иванович Пущин занимает совершенно особое место. Не случайно Пушкин, обращаясь к нему, уже находящемуся на каторге, писал:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

Действительно, это был первый пушкинский друг. Пушкин в раннем детстве был одиноким мальчиком. Он не пользовался особой симпатией матери. Отец, человек добрый, но легкомысленный, старшим сыном, по сути дела, не занимался. Пушкин в этот свой первый период — ребенок среди книг, как правило французских и совсем не рассчитанных на детское чтение, книг из отцовской и дядиной библиотеки, иногда вытаскиваемых тайком, запрещенных для ребенка. Отсюда, между прочим, в конечном итоге получилась очень

¹ Передача вышла в эфир в 1992 г. Текст лекции публикуется впервые.

592

широкая осведомленность Пушкина во французской литературе. И вместе с тем — ребенок, который присутствует при разговорах взрослых, а взрослые на него не обращают внимания. Они не замечают, как он слушает и что он слушает. В доме бывает Карамзин, почти постоянно бывает дядя Василий Львович Пушкин, идут разговоры литературные в первую очередь, но идут разговоры и светские, не всегда рекомендуемые для детских ушей, потому что мужской разговор той поры — это разговор довольно свободный (и политически, и в других отношениях тоже). Вот, по сути дела, мир Пушкина-мальчика.

Не случайно, пожалуй, из ранних его впечатлений о литературе — впечатление о полемике его дяди. Вообще значение дяди для первых шагов Пушкина несколько заслонено для нас тем, что в дальнейшем Пушкин относился к нему со своеобразной добротой, настоенной на чрезвычайной иронии. Василий Львович был действительно смешон в бытовом поведении, в своем желании быть на равных другом людей, гораздо моложе его, и часто делался предметом шуток, почти похожих на издевательства. Но для мальчика этот человек, который обладал одним свойством — чрезвычайной добротой (он одинаков был с племянником-мальчишкой, совершенным ребенком, и с литераторами), это было первым впечатлением. И я не случайно, прежде чем перейти к Пущину, говорю о дяде.

Пущин был, по сути дела, первым ребенком в пушкинском окружении, почти одного с ним возраста. Пущин был на год старше. Вообще, в раннем возрасте год значит много, и в отношениях Пушкина и Пущина навсегда сохранилось и равенство дружбы, и некоторый оттенок заботы старшего о младшем, что поддерживалось и особенностями личности. Характер Ивана Ивановича Пущина был характером взрослого человека, очень рано ответственного и заботливого. Пушкин, с его чрезвычайной вспыльчивостью и эмоциональностью, быстрыми переменами настроения, длительной неуверенностью в себе, был очень ранним. Возбуждение и веселье, особенно детское, имеет один опасный момент: когда ребенок, считавший, что вызывает всеобщий восторг, вдруг замечает, что он смеется один, и видит вокруг холодное внимание, — это тяжелая минута. И Пушкину такие минуты доставались. И поэтому равный и вместе с тем чуть-чуть более взрослый по характеру и, главное, выдержанный, спокойный и преданный друг был очень нужен.

Эти свойства — выдержанность, преданность, спокойствие — остались для Пущина определяющими чертами на всю жизнь. Он стал как бы поэтом дружбы, человеком, для которого отвести себе вторую роль и выдвинуть вперед человека, которого он любит, стало естественным. Вообще Пущин был очень естественный человек. В нем никогда не было ничего показного, чем он, между прочим, тоже отличался от Пушкина. Пушкин шел к естественности и шел трудно,

ушибаясь и переживая раскаяние. Вообще периоды вспышек и самоудовлетворенности у Пушкина сменялись искренним и глубоким раскаянием. Пушкину это было все чуждо, он был ровен — как мы увидим, ровно смел, ровно мужествен. Он был высокого роста и был избавлен от сомнений и того, что мы теперь иногда называем комплексами. Это было ему совершенно чуждо. Вместе с тем он был очень умен. Отсутствие сомнений и неудовлетворенности собою иногда бывает результатом не очень большого

593

ума, не очень ярко развитой личности, но Пущин был умен, ярок, красив, высок. В общем, он обладал всеми качествами для того, чтобы нравиться дамам, быть первым героем, первым в ряду декабристов или же первым в ряду прекрасно делающих карьеру офицеров. Перед ним были открыты самые разные дороги, и на любой из них он мог претендовать на роль лидера. Но у Пущина было еще большое величие души. Он рано понял, что совсем не так обязательно быть первым, что есть более высокие ценности. Вот этим ценностям он, по сути дела, и отдал жизнь.

С Пушкиным Пущин сблизился в первый же день, когда они были приняты министром. Затем в разных высоких инстанциях утверждались списки, кто из кандидатов принят в Лицей, а кто нет, а Пущиных было двое — двоюродные братья Иван и Петр. Их представлял министру дед, испытанный и заслуженный адмирал. Они оба имели право быть принятыми. Но дедушка избрал Ивана Ивановича, потому что семья у будущего пушкинского друга была гораздо больше, и было много девочек. Хотя дед был боевой адмирал, в орденах, израненный, но денег было мало. Он был человеком екатерининской эпохи, дослуживал в Кронштадте главным командиром Кронштадтского порта и генерал-интендантом флота. На жалованье в Петербурге и в Кронштадте было не очень хорошо жить. Поместий больших тоже не было, а потом начались внуки и внучки, и надо было мальчиков пристраивать, а девочек выдавать замуж.

Когда объявили прием в Лицей, никто ведь не знал, что это такое. Лицей — звучное античное название. Предполагалось вначале, что там будут учиться братья императора Александра, потому что либеральное окружение Александра, молодых либералов, пугало, что Александр не имел прямого потомства. У него была внебрачная дочь, но она никаких прав на престол не имела, да и умерла вскоре. Между тем речь шла о будущем императоре. Многие люди задумывались, какими вырастут младшие великие князья, растущие в изоляции при своей матери (которая превращалась как бы в хранительницу павловских традиций), воспитываемые по образцам мелких немецких княжеств. Эти великие князья — какими они будут императорами? О том, что императором будет Константин, не думали. Константин, хотя официально и был наследником, уж очень не хотел быть царем в России.

Так или иначе, Лицей должен был стать местом, где будут воспитываться великие князья. Это обещало в будущем связи, влияние, и к Лицею потянулись родители, которые желали устроить своих детей. Но вскоре выяснилось, что великие князья в Лицей не пойдут, что состав будущих лицейцев совсем не такой уж лестный. В основном это небогатое дворянство, как правило хороших старинных родов, но не те, кто сможет потом оказывать покровительство будущим сановникам. И в Лицей начали попадать дети из семейств «второго ряда». Вот и адмирал Пущин привез туда своих внуков. Пока это все решалось, Пущин и Пушкин стали посещать друг друга. (Между прочим, надо иметь в виду, что в ту пору было принято называть друг друга по фамилиям. В этом был свой оттенок, который сейчас совершенно утрачен.)

Итак, два молодых человека, два мальчика, — с близко созвучными фамилиями, с перспективой в будущем учиться в одном закрытом учебном

594

заведении, а учебное заведение было изолировано от Петербурга, расположено в Царском Селе, и свидания лицейцев с родными были ограничены и затруднены, — познакомились еще до того, как они попали в Лицей. А в Лицее Пущин уже стал близким и доверенным другом Пушкина. Их сближала и разница характеров. Характеры у них действительно были разные, но сближение Пушкина и Пущина было много раз потом подчеркнуто и искренне засвидетельствовано и Пушкиным в его стихах, обращенных к Пущину, и Пущиным, который написал воспоминания о Пушкине, уже отбыв каторгу. При этом надо иметь в виду, что воспоминания Пущина — это самые достоверные и самые лучшие для исследователя, да и просто для читателя, мемуары о Пушкине.

Вообще в Лицее Пущин не блистал. Пущин не блистал никогда. Не блистал ни на лицейских вечеринках, мы не находим его среди авторов на страницах лицейских журналов. Среди лицейцев было модно писать стихи. Кстати, Пушкин далеко не сразу выдвигается среди лицейских поэтов. А Пущин не пишет стихов. Пущин обладал прекрасным слогом, это видно по его письмам и мемуарам, но никогда не избирал для себя завидной участи литератора. Пущин не участвовал и в некоторых лицейских проделках. По крайней мере, в историях амурного характера, которые встречаются в лицейской биографии Пушкина, мы упоминания Пущина тоже не находим. Это не значит, что Пущин был как бы бесцветен.

У него была уже в эту пору очень яркая область интересов, которую он скрывал даже от Пушкина. Причем Пущин не был скрытен, он был очень доверчивый человек, но был умен и не находил удовольствия в болтовне. Несколько забегая вперед, скажем, что на каторге, а потом в

ссылке он получил прозвище Маремьяны-старицы. Это было конечно, смешно: красивый, высокий, мужественный мужчина с женским именем Маремьяна. Но Маремьяна — заступница, святая, которая защищает слабых, Пущин и был такой Маремьяной. И этот человек — близкий друг Пушкина, вместе с тем уже от Пушкина отделен чертой. Он — член тайного общества, а Пушкина в тайное общество не берут.

То, что общество существует и что оно тайное, знали все. Это была такая тайна, что когда Михаил Орлов сватался, потом женился, то отец невесты, генерал Раевский, потребовал от будущего жениха не приданого (а Орлов был богат), не чинов, а того, чтобы тот вышел из тайного общества. Значит, вопрос о тайном обществе обсуждался, как приданое при женитьбе. Раевский был, конечно, человек бесспорного благородства, ему, конечно, доверяли, но все-таки тайное общество есть тайное общество. Оказывалось, однако, что оно не совсем тайное. Это была скорее атмосфера мнимой таинственности, приемлемая сразу после Отечественной войны, еще и в 1816—1817 годах, потому что это была теория. Это были разговоры «между Лафитом и Клико». Общество быстро увеличивало свои ряды и одновременно как бы совсем выходило на поверхность, отказывалось от немедленных «кровавых» действий. Но и это был шаг вперед. Заговорили о том, что Россия для революции не готова, что готовить ее надо лет пятнадцать, а может быть, двадцать, и готовить просвещением. Общество оставалось революционным — в конце, в идеале они видели революцию.

595

Надо, кстати, иметь в виду, что слово «революция» ведь тоже имеет разные значения. Впервые оно было использовано французскими астрономами в знаменитой книге «*Revolution du globes*» — то есть «вращение планет», и обозначало резкие географические перемены, и поэтому когда заговорили о революции применительно к Французской революции, то это была метафора. Естественнаучное название, которое обозначало явление природы, употреблялось для обозначения резких перемен в человеческой жизни. Предполагалось, что природа и есть норма. Все были руссоистами, все знали, что человек рожден, чтобы жить по законам природы, а природа создает революции. Поэтому слово «революция» не означало еще ни большой крови, ни каких-то эксцессов, тем более отнюдь не означало столкновения честолюбий, партийной борьбы, этической грязи — того, что потом станет так мучительно для следующих поколений, когда окажется, что проблемы этики и политики совсем не так хорошо сходятся, а иногда оказываются несовместимыми. Этого всего не было.

Это была веселая молодость людей, которые только что победили империю великого императора — Наполеона и теперь готовы были победить невежество, отсталость, реакцию. Ведь даже Александр I сказал: «С внешними врагами покончено (имея в виду Наполеона), возьмемся за врагов внутренних». Имел он в виду (это позже «внутренними врагами» стали называть либералов) взяточников, государственных воров, вельмож — как у Грибоедова:

...Старух зловещих, стариков,

Дряхлеющих над выдумками, вздором¹.

Вот что имел в виду тогда еще молодой и очень популярный император Александр. На этом этапе для декабристов было совсем не чуждо представление о том, что они начнут революцию и Александр к ним присоединится. Когда Александр получил очень подробные данные о тайном обществе, он все-таки — это достоверно — произнес: не мне их карать, я это затеял.

Но вера в царя гасла. И тогда встал вопрос о том, что надо готовить реальные политические изменения. А как? Просвещением. Надо увеличивать число членов общества. Надо приглашать, затягивать, приручать, привлекать популярных генералов или же людей, близких к руководству страной. Ведь молодые люди были в маленьких чинах, совсем молоденькие, не очень богатые, влияние у них небольшое. Значит, больше членов надо. «Союз благоденствия» становится либеральным, почти легальным обществом.

Пущин занимает в нем видное место, он — на новом этапе. Но период «Союза благоденствия» проходит. Во-первых, потому что очень скоро сведения проникли к царю, к Александру. «Союз» стал слишком заметным. Орлов, который в эту пору имел под своим командованием дивизию и которому угрожала потеря дивизии, требовал решительных действий. Все это кончилось тем, что «Союз» как бы самозакрылся, то есть объявил о роспуске, потому что знали, что правительство имеет о нем сведения.

Последнее собрание было тяжелым, потому что члены общества привыкли верить друг другу, и вдруг оказалось, что среди них есть доносчик,

¹ Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 134.

596

а кто — неизвестно. Тогда объявили общество распущенным, а на другой день отменили решение и втайне начали создавать общество заново. Но этот процесс шел очень мучительно и не сразу дал плоды. На севере он вообще затянулся больше чем на полтора года и привел к еще одной особенности: сменился возраст членов. Те, кто основывали первое общество, отошли на второй план. Отошел в эту пору Чаадаев. По сути дела, Николай Тургенев оказался как-то на периферии, появились молодые люди. И опять среди активных членов мы видим Пущина.

При этом потребовались не просто новые люди. Стало ясно, что нельзя ограничиться только

военными связями. Нельзя, чтобы заговор включал в себя только людей в мундирах. И еще важно: Россия стонет от злоупотреблений, особенно в суде. Суд кажется черной ямой, поэтому честные люди не идут в судебные должности, там служат гоголевские герои-взяточники. Благородные молодые люди идут в гвардию, где их ждут сражения, дуэли, смелость, благородство, романтика, а также богатые родственники, потому что в гвардии служить дорого. Человек в штатском — человек презренный. Пушкин, забыв, что он сам в штатском, писал Бестужеву, что Грибоедов должен был сделать Молчалина еще и трусом: «Штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом мог быть очень забавен»¹. Пушкин забыл, что Чацкий — тоже штатский, правда очень недавно, помните:

И в женах, в дочерях к мундиру та же страсть! Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!²

Штатский среди военных будет смешон! Пушкин мучается, что он штатский, а Пущин переходит из военной в штатскую службу и сознательно надевает фрак. Кстати, фрак в эту же пору надевает и Рылеев. В дальнейшем именно Рылеев станет во главе Северного общества. Пущин со свойственной ему скромностью уступит Рылееву эту роль и уедет в Москву.

Пущин — в штатском, он служит в суде, то есть на самой неуважаемой должности, потому что считает, что надо облагородить, надо поднять престиж гражданской службы, ибо именно она соприкасается с народом. Именно оттуда идет главное оскорбление для народной массы. Как всегда, свои убеждения он закрепляет личным примером. Кстати, штатский фрак Рылеева и Пущина — разный. Рылеев поступает в Российско-Американскую компанию — это тоже принципиально. Развитие промышленности, торговли входит в декабристскую программу. Но это служба не позорная, она даже модная, а Пущин берет позорную должность.

Затем дело резко закручивается. Предполагалось, что восстание будет не скоро. И вдруг оказывается, что оно будет очень скоро. Во-первых, резко ухудшаются отношения между правительством и обществом. Все накалено, авторитет Александра потерян. О том, что необходимо переходить к решительным действиям, начинают говорить все более громко. В эту пору Пущин оказывается опять видным деятелем, но опять на вторых ролях. Затем мы сталкиваемся с ним 14 декабря 1825 года. Здесь он занимает особое место.

¹ Пушкин А. С. Т. 10. С. 121.

² Грибоедов А. С. Горе от ума. С. 49.

597

На Сенатской площади собрались далеко не все члены общества. Трубецкой спрятался у матери жены, не явился. Почему так, мы не знаем. Официальная версия — что он был болен. Но на площади нет руководителя. Заметьте, что, несмотря на мороз, офицеры без шуб, в мундирах, и Пущин по старой военной привычке тоже, но во фраке. И одна из решительных минут: на площадь начинают прибывать войска и нельзя сказать, на чью сторону они прибывают. Так, Алексей Орлов приведет свой полк, и он станет ударной силой защиты императора. За это Алексей Орлов потом получит на всю жизнь доверие Николая I. Но двинутся и в сторону восставших. Не разобравшись в толчее, в беспорядке, без командования, восставшие открывают огонь. Надо остановить огонь. Офицеры растерялись, не могут подать команды, команду подает человек в штатском — спокойный Пущин. Он спокоен и на площади.

Восстание разгромлено. Он спокойно уходит с площади, залитой кровью (потому что по восставшим стреляли картечью). На другой день его спокойно арестовывают. Он оказывается в Петропавловской крепости, в Алексеевском рavelине, в седьмой камере, там, где когда-то был заключен несчастный царевич Алексей.

Начинается новый этап, наверное самый тяжелый. Не случайно потом декабристы, писавшие многочисленные мемуары, менее всего вспоминали этот период. Они готовы были к каторге, готовы были к казни. Что такое казнь, поэтическая казнь? Толпа народа, гордый человек, эшафот. Другое дело, когда идут длительные допросы, неделями надо ждать в темной камере, без какой бы то ни было связи, известия о том, как идет процесс. А затем выводят в зал, где сидят судьи, или генералы, или бог их знает кто, формального суда-то в России и не было тогда. Приводят друга, Кюхельбекера, и он в полубезумном состоянии. Кюхельбекер — поэт, вдохновенный, очень не стойкий. В глаза Пущину он дает свидетельства, которые могут привести на эшафот. Пущин помнит, что это его друг. Он не возмущается, только твердо повторяет свое показание и отрицает правдивость показаний Кюхельбекера. Потом Кюхельбекер будет рыдать от раскаяния — он был почти безумен.

Пущин был из немногих, сохранивших полное хладнокровие во время следствия. Получил он ужасный приговор. Он был приговорен к смертной казни, по первому разряду. Но все приговоры выносились с таким расчетом, чтобы потом император мог проявить милость. И смертная казнь была заменена Пущину пожизненной каторгой. Каторга длилась десять лет. Затем — ссылка. Ссылку он пережил с необычайным благородством. Опять, как Маремьяна, заботился о других.

В декабристских мемуарах ему неизменно отводится особое — второе, но первое по благородству место. Сохраняя ум и самообладание, Пущин сохранил себя и физически. Он дожил до конца ссылки, вернулся и написал тогда воспоминания о Пушкине.

В списке декабристских имен и в списке друзей Пушкина Пущин занимает особое место. Это — эталон благородства, человек, с честью проживший такую жизнь, которую немногие могли бы

выдержать. И в окружении Пушкина — это верный, неизменный «первый друг».

Благодарю за внимание.

Ю. М. Лотман — собеседник: общение как воспитание

И гений, парадоксов друг...

А. С. Пушкин

Настоящее издание, где впервые собраны научно-популярные, публицистические и мемуарные статьи и выступления Юрия Михайловича Лотмана, ставит перед всеми, кто интересуется его жизнью и творчеством, новую научную задачу — осмыслить эту грань деятельности всемирно известного ученого.

Наследие Ю. М. Лотмана (28.II 1922—28.X 1993) — филолога, историка, семиотика — изучено еще недостаточно, его вклад в исследование истории русской литературы, а также в становление и развитие семиотики и культурологии описан еще не в должной мере. Уместно ли отвлекаться от этой первоочередной заботы и сосредоточиваться на казалось бы маргинальной области его наследия? Однако такого рода работы составляют не менее пятой части (то есть около ста)¹ его печатных трудов. Имеются в виду публицистические выступления, интервью, газетные заметки, в том числе юбилейные или некрологические, статьи в научно-популярных журналах². Мы не включаем в

¹ По нашим не очень точным подсчетам, количество первопубликаций трудов Ю. М. Лотмана (исключая перепечатки и переводы на другие языки) составляет примерно 500—520, окончательные подсчеты пока невозможны, потому что публикация его наследия продолжается. См.: Список трудов Ю. М. Лотмана / Сост. Л. Н. Киселева // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3-х т. Таллинн, 1993. Т. 3. С. 441—482. Дополненный (но далеко не полный) вариант существует в электронном виде: <http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/bibliowin/txt>

² В настоящий том включены далеко не все газетные заметки, не говоря уже о юбилейных статьях и некрологах. Составители исходили не из принципа полноты, а из стремления предоставить читателям наиболее значимые работы в «популярном» жанре. Иногда довольно трудно определить и саму грань между «популярными» и собственно научными статьями. Однако такой «синкретизм жанра» отражает, на наш взгляд, важную особенность наследия Лотмана.

599

этот перечень написанных Лотманом научно-методических статей, школьных учебников¹ и энциклопедических статей, а также рецензий, редакционных заметок, опубликованных в научных изданиях.

Популярные статьи создавались Ю. М. на протяжении *всей* научной деятельности — с начала 1950-х годов до 1993 года (последнее интервью — июль 1993 года). К концу жизни Лотман стал одним из «властителей дум», сопоставимым по известности и воздействию на самые разнообразные круги интеллигенции на всем советском и постсоветском пространстве с такими «культовыми фигурами», как Д. С. Лихачев и А. Д. Сахаров. Несколько лет назад Т. Д. Кузовкина проанализировала отклики зрителей на телевизионные «Беседы о русской культуре», присланные их автору в форме личных писем. Учителя и инженеры, школьники и студенты, пенсионеры из столичных городов и из провинции трогательно благодарили Ю. М. за то, что он стал для них нравственной опорой в трудное время общественных перемен. Однако не только массовый читатель и зритель нуждался в Лотмане как учителе жизни. Участники международного конгресса, посвященного восьмидесятилетию со дня рождения Ю. М. Лотмана (Тарту, 2002 г.), крупные современные ученые — филологи и семиотики, не сговариваясь, повторяли в интервью эстонской тележурналистке Евгении Хапонен одну и ту же мысль: нравственное воздействие Лотмана оказалось решающим фактором в их становлении как ученых, именно оно, по их мнению, составляет главный «секрет» лотмановской школы².

Таким образом, говоря о Лотмане-популяризаторе науки и публицисте, мы не отвлекаемся от главной задачи — осмысления наследия Лотмана-ученого, но помогаем ее решать.

Одна из важных особенностей книги — ее неожиданная «автобиографичность». Собранные здесь материалы раскрывают нам не житейскую биографию и, конечно, не всю сложную личность автора³, а научное и человеческое credo Лотмана. Разумеется, опосредованно оно выражено во всех, в том числе и сугубо специальных, трудах ученого. Об этом писал и сам Ю. М.: «Суще-

¹ В России был недавно воспроизведен текст учебного пособия, написанного в начале 1980-х гг. для 9-го класса эстонской средней школы: *Лотман Ю. М. Учебник по русской литературе для средней школы. М.: Языки русской культуры, 2000. Издатели не сочли нужным пояснить, что этот учебник был ранее издан на эстонском языке: Juri Lotman. Vene kirjandus. Orik IX kl. Tallinn, 1982. В результате у современного российского читателя создается (как явствовало из рецензий) совершенно неверное представление об этой книге, о чем можно только сожалеть. Всего Лотманом, полностью или частично, было написано два учебника и один учебник-хрестоматия по русской литературе для эстонской школы, а также пособие для учителя (оно частично воспроизведено в указанном издании 2000 г.) и целый ряд методических статей. Ю. М. Лотман являлся одним из авторов концепции литературного чтения (преподавания русской литературы на русском языке в иноязычной школе) как средства обучения русскому языку как иностранному.*

² Ссылаемся на передачи из серии «В профиль и анфас»: «Лотман — 80» и «Лотман и его школа», показанные по ЭТВ 17 марта и 14 апреля 2002 г.

³ Нам хотелось бы подчеркнуть, что мы совсем не стремимся представить настоящее издание как исчерпывающий источник представлений о биографии и внутреннем мире Лотмана во всем его богатстве и неизбежной противоречивости.

600

стывает глубокая и вполне закономерная связь между трудами автора и его личным, человеческим обликом. Вдумчивый историк по трудам ученого восстановит его лицо с такой же точностью, с какой реконструируется тип эпохи по дневникам или письмам» («Николай Иванович Мордовченко...»)¹. Однако если в специальных трудах *credo* нуждается в читательской реконструкции, то в публицистике оно прямо формулируется самим автором. Думается, что материалы этой книги помогут читателям и исследователям Лотмана прояснить для себя подтекст многих его специальных работ.

Уже неоднократно отмечалось, что Пушкин или Карамзин, описанные Лотманом, это *его* Пушкин и *его* Карамзин. Спорить с этим очевидным утверждением нет никакой необходимости. Статьи, включенные в настоящее издание, проясняют «автобиографическую составляющую» трудов Ю. М. об этих писателях. Однако они выявляют и то обстоятельство, что сам автор осознавал подобный «автобиографизм» как дискурсивную проблему и сформулировал ее как одну из закономерностей научного творчества.

Рассуждая о подходе Томашевского к биографии Пушкина, Лотман напоминает: «В пространстве научных исследований гуманитарные наиболее связаны с личностью автора. Академик А. С. Орлов однажды заметил, что исследователи невольно передают изучаемым ими писателям глубинные черты своего собственного характера. <...> Чтобы изучать творчество писателя, даже при сознательном стремлении к предельной объективности, ученый должен найти в нем нечто созвучное себе, некое зеркальное пространство, в котором он сможет сам отразиться» («Двойной портрет»). И тут же, развивая мысль, говорит об опасности подобного самоотожествления и пытается найти возмозный, хотя и не идеальный, выход: «Ограничив себя узкой сферой изучения <...> исследователь может увлечься „самоотражением“ в материале; расширение же изучаемого пространства <...> невольно внесет коррекцию, предохраняющую от субъективизма» (там же). Здесь ярко вырисовывается одна из особенностей жизненной стратегии Ю. М. Лотмана, которая отразилась во всех его трудах и поступках: сформулировав проблему, стремиться найти ее решение, но не абсолютизировать его, а оставить простор для дальнейшего ее обсуждения.

Нетрудно убедиться, что в случае самого Лотмана одним из естественных способов выхода из «субъективизма» был его глубинный интерес к очень разным авторам, его умение восхищаться *другим* — теми писателями и деятелями культуры (а в жизни — теми известными ему людьми), которые отличались от него самого характером, темпераментом, порой даже взглядами. Весьма знаменательно, что два постоянных полюса притяжения составляли для него Пушкин и Карамзин.

Что касается Пушкина, переключка с его личностью для тех, кто знал Лотмана, была очевидна даже и до выхода в свет в 1981 г. «биографии писателя»². Конечно, книгу о Пушкине следовало бы включить и в настоящее

¹ Здесь и далее, помещая в скобках название статьи или интервью, мы ссылаемся на настоящее издание.

² См.: Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: «Искусство—СПб», 1995.

601

издание (предлагаем читателям мысленно это сделать). Биография Пушкина — прекрасный образец лотмановского подхода к популярному жанру. «Тайная современность» и «автобиографичность» книги, равно как и ее подлинная научность, не нуждаются в специальном объяснении.

Однако не менее привлекал его сдержанный, внешне холодный и «размеренный» Карамзин. Конечно, и в Карамзине Лотман выделял, в первую очередь, то, что было близко ему самому (то есть одновременно то самое, что роднило и с Пушкиным). С одной стороны, игровое поведение, творческая свобода, а с другой — независимость и честь, преданность своему делу, следование долгу, уважение к человеку. И все же Ю. М. умел восхищаться тем, что было весьма далеко от его собственного характера и стиля жизни: неукоснительным соблюдением режима дня, неизменной чашкой вареного риса за обедом — об этих деталях карамзинского быта Лотман говорил с нескрываемым энтузиазмом.

Не менее характерен и эпизод из собственной биографии Ю. М. Лотмана: мы имеем в виду выбор Лотманом-студентом научного руководителя. Ожидалось, что им станет блестящий и популярный профессор Г. А. Гуковский, но Ю. М. предпочел сдержанного и неброского Н. И. Мордовченко. Тогда это могло быть воспринято как стремление к «самостоятельности» (так, собственно, и описывает свой поступок сам Лотман в «Не-мемуарах»). Однако нам кажется, что в этом выборе проявилась и та отмеченная нами способность восхищаться *другим* и, что еще важнее, этому *другому* учиться.

В лекторской манере Гуковского, описанной Лотманом в «Не-мемуарах» и в «Двойном портрете», легко усмотреть сходство с его собственным стилем. Это была блестящая вдохновенная импровизация (конечно, хорошо подготовленная всем предшествующим

исследовательским и педагогическим опытом). Про Мордовченко же Ю. М. рассказывал с неподдельным восхищением, что тот всегда читал только по написанному тексту, а однажды, забыв дома конспект, отменил лекцию. Ясно, что ничего более отдаленного от опыта самого Лотмана, у которого никаких конспектов лекций, к сожалению для истории науки, не бывало, представить себе невозможно.

Но вот в 1973 году Лотман публикует статью о своем учителе и выделяет в творческом методе «чистого эмпирика» Н. И. Мордовченко «теоретическую доктрину», скрытую от невнимательного глаза «в надежной толще фактических разысканий, многочисленных, концентрированно сообщаемых читателю документальных данных». Лотман видит метод Мордовченко — в опоре «на тщательно организованный материал», в идее «перекрестного допроса документа, поисков необходимого контекста, который раскрыл бы его глубинный смысл», в умении «*обнаруживать значение*» цитаты», расставлять нужные акценты через организацию повествования (см.: «Николай Иванович Мордовченко...»). Эту блестящую и очень важную статью можно было бы назвать манифестом историко-литературного метода самого Ю. М. Лотмана, хотя форма реализации этого метода в его трудах была совершенно иной и от «теоретических деклараций» он, в отличие от Мордовченко, не отказывался. Статья лишней раз демонстрирует всю условность границ «научного» и «популярного» жанров у Лотмана и то, как он умел привлекать внимание к неочевидному, видеть «свое» в «другом» и уважать в «другом» его своеобразие.

602

* * *

Популяризаторская деятельность Ю. М. Лотмана органично выросла из педагогической. Он сложился как педагог в стенах Тартуского университета, куда его неожиданно забросила судьба в 1950 году после окончания университета в родном городе, который сам Лотман называл Питером, но который тогда назывался Ленинградом, а университет — Ленинградским государственным университетом имени А. А. Жданова. Вспоминая в «Не-мемуарах» антисемитскую кампанию, развернувшуюся в стране в конце 1940-х годов и сыгравшую переломную роль в его судьбе, Ю. М. писал о том, что смысл происходящего до него, поглощенного тогда работой над Карамзиным и журналом «Вестник Европы» 1802—1803 годов, долго не доходил. Однако когда, несмотря на все усилия, он так и не смог найти работу в Питере, он уехал в Тарту, где его все-таки приняли на преподавательскую должность, сначала в Учительский институт, а потом и в университет. И здесь в полной мере проявилась личность Лотмана — его готовность принимать вызов обстоятельств, потребность самому строить свое культурное и этическое пространство. Он не боялся «черной работы»¹, умел находить единомышленников среди учеников и коллег, заражать их энтузиазмом, чувством миссии, но неизменно возлагал на себя ответственность за созданное им научное и человеческое сообщество — кафедру, студенческое содружество, научную школу. В силу этих особенностей характера Лотман из Тарту так и не уехал.

Как-то, отвечая на вопрос журналиста, нравится ли ему Тарту, Ю. М. сказал: «Я не хотел бы жить ни в каком другом городе. Побывать мне хотелось бы во многих других городах, но жить только в Тарту. Мне кажется, что здесь самый воздух помогает работать и думать» («Жить только в Тарту»). Почти через десять лет он уточнил в другом интервью: «То, что моя жизнь привела меня в Тарту и связала с Тарту не только как с городом, не только как с географическим пространством, но и как с культурно-человеческим пространством, это случайно, как всякая удача. Это случайно, как большое счастье» («О судьбах „тартуской школы“»). В одном из последних интервью Лотман еще раз вернулся к этой мысли («Город и время»).

Итак, в Тартуском университете Ю. М. Лотман проработал сорок три года — с 1950 по 1993-й. Здесь он, по его собственному выражению, «открыл» в себе способность по ходу чтения лекции «прийти к принципиально новым идеям»: «К концу занятий у меня складывались интересные и не известные мне вначале концепции» («Не-мемуары»). В результате университетские лекции стали для него не препятствием в научной работе, а подспорьем и стимулом. Ю. М. читал в университете историю русской литературы, начиная с древнерусской и кончая серединой XIX века, введение в литературоведение и теорию литературы, анализ художественного текста, методику

¹ Его трудолюбие, уважение к труду, как и его работоспособность были поразительны. Ср. его высказывание о «черновой» филологической работе: «Надо любить работу всякую. Вы переписываете цитату за цитатой <...> накапливаете карточки, выписки, а потом вдруг оказывается, что они никуда в дело не пойдут. И что же? Если вы сторонитесь такой работы, если она для вас не в радость, не содержательна, я сомневаюсь, способны ли вы вообще к труду» («О ценностях, которым нет цены»).

603

преподавания литературы, а также множество специальных курсов. Это были «устные монографии» о творчестве Пушкина, Гоголя, Карамзина, Лермонтова, Баратынского, Тютчева и других авторов, об отдельных произведениях (например, «Евгений Онегин», «Письма русского путешественника»), по истории кружков и салонов в Европе и России XVIII—XIX веков, движению декабристов или же теоретические разработки основ структуральной поэтики, теории кино, теории прозы, поэтики бытового поведения. По лекциям Ю. М. Лотмана всегда можно было безошибочно судить о том, над чем он сейчас работает, что волнует его как ученого¹. Он щедро

делился со студентами своими размышлениями, делал слушателей не просто свидетелями, но и соучастниками творческого процесса. Он умел овладеть аудиторией, добиться ощущения полета — того волшебного состояния «отключения от реальности», когда лектор и аудитория полностью углублены в тему и составляют как бы единое целое. Недаром лекции Лотмана вызывали у слушателей ощущение праздника. То, что образовательный уровень студенческой аудитории не всегда был (и даже, как правило, не был) высок, не мешало Ю. М. относиться к сидящим перед ним молодым людям как к будущему науке. Формулы «как вы, конечно, помните», «всем известно, что» были не только риторическими фигурами в устах опытного лектора. Он стремился незаметно, не обидным для слушателей образом, раздвинуть границы их скромных сведений, указать на должный уровень знания, стимулировать самостоятельный поиск.

Можно сказать, что «популяризаторская» деятельность Ю. М. Лотмана являлась экстраполяцией того, что происходило в университетской аудитории, на широкий круг читателей и телезрителей. Он строил общение с ними, как со студентами-коллегами². Наверное, один из главных «секретов» огромного воздействия Лотмана на любую аудиторию — это его уважение и доверие к собеседнику, что исключало даже малейший оттенок халтуры, который чуткая аудитория всегда ощущает, даже если не может уличить в нем лектора. Лотман требовал «бескомпромиссного знания».

«Популяризация — трудный жанр, — говорил Лотман в одном из своих интервью. — Очень сложно упростить тип разговора, не упрощая содержания. Ломоносов однажды заметил: ясно говорят, когда ясно понимают. С массовым читателем может говорить только очень квалифицированный автор. Я долго считал себя не готовым к такой работе. И пришел к ней во многом через исследования специального характера, предназначенные для малотиражных изданий» («Патриотизм есть стремление быть лучше»).

Получается, что в разговоре профессионалов между собой Лотман готов допустить дискурсивные и даже мыслительные издержки, а популяризация —

¹ Ту же особенность можно проследить по его работам в «популярном» жанре. Те, кто хорошо знакомы с научным наследием Лотмана, могут довольно точно датировать его газетные и журнальные публикации, даже не справляясь с указанием на время их выхода в свет. Он говорит с широким читателем о том же, чему в это время посвящает свои специальные труды. В этой краткой статье мы не имеем возможности проследить переключки между «научной» и «популярной» составляющими наследия Ю. М. Лотмана — это задача будущих исследований.

² Слово «коллеги» служило постоянным обращением Ю. М. Лотмана к своим студентам.

604

это для него та же высокая наука, только уже достигшая «прекрасной ясности». Поэтому на вопрос одного корреспондента, как он относится к «народной пушкинистике». Ю. М. ответил достаточно резко: «Есть народная любовь к Пушкину, есть желание узнать о нем больше, но нет народной пушкинистики, как нет народной ядерной физики или народной грамматики. В той мере, в какой стремление сделать посильный вклад в изучение Пушкина сливается с фольклористикой, краеведением, народоведением <...> педагогией — это нужное и почтенное занятие. Его надо приветствовать и ему надо помогать. Но в той мере, в какой под этими словами понимают противоположное науке (в этом случае прекрасное слово „академическая“ произносится с необъяснимым оттенком превосходства), то это просто шит для дилетанства. Научное мышление требует критического отношения к напечатанному и ответственности за него, а эпитеты „народное“ или слова типа „гипотезы“, „предположения“ и проч. — лишь самозащита от критики» («О современном состоянии пушкинистики»).

Высокие требования, которые предъявлял Лотман к науке и к ученым, он считал залогом существования самой науки, культуры в целом и — в конечном итоге — человеческого общества: «Когда существует ядро ученых высшего класса, бескорыстной преданности науке, широкой эрудиции, глубокой внутренней интеллигентности (а я убежден, что есть такая высота науки, которая достигается только при чистоте помыслов и душевном благородстве и, напротив, даже малый привкус карьеризма, корысти, „шариковщины“ пресекает научный путь даже способному человеку), то вокруг него складывается самовоспроизводящийся механизм науки. Но уберите этих несколько человек и посадите на их место бюрократов с учеными степенями — и пройдет немного времени, как наука исчезнет, заменившись ведомственной возней и склоками карьеристов, облеченных в одежды „научных“ проблем. Серость плодит серость не по злему умыслу, а по самой своей природе. Поэтому серость в творческой сфере отнюдь не безобидна. Она агрессивна» (там же).

Именно поэтому Ю. М. Лотман так много писал о проблемах школы, образования, придавал такое огромное значение воспитанию, точнее, обучению как форме воспитания. Процесс обучения являлся для него «воздухом культуры», залогом и условием ее существования, естественной формой духовной жизни. Недаром для обозначения научных встреч семиотиков, как и для обозначения самого научного сообщества, было избрано именно слово «школа». Ученые, которые составили получившую всемирную известность Тартуско-Московскую *школу* семиотики, собрались в 1960-х годах, по инициативе Ю. М. Лотмана, на Летние *школы* по вторичным моделирующим системам в Кяэрику — местечке в южной Эстонии, на спортивной базе Тартуского университета. Это была Школа в высоком смысле слова — содружество

единомышленников, где все участники (крупные лингвисты, литературоведы, фольклористы, искусствоведы, философы) являлись одновременно и учениками и учителями. Поэтому когда Лотман пишет или говорит о *средней школе*, он говорит об идеальном месте общения, где осуществляется преемственность культурного делания.

Итак, обучение-воспитание для Лотмана — это, в первую очередь, форма общения: «Всякое общение есть воспитание, так как те, кто хочет общаться,

605

должны настроиться на общую волну, стремиться к взаимопониманию <...> Взаимопонимание между людьми <...> — всегда чудо. И чтобы это чудо произошло, необходимо доверие учеников учителю. Часто одно фальшивое слово, нарушенное обещание, некрасивый недобросовестный поступок убивают доверие и воздвигают стену между учителем и классом. Ученики оценивают не только то, что говорит учитель, а всю его личность, и именно своей личностью, человеческим обликом как в классе, так и за его пределами, учитель оказывает основное воспитательное воздействие на учеников» («Воспитание души»).

В данном высказывании присутствует мысль, которая очень важна для Лотмана-теоретика культуры: общение — это всегда диалог, взаимодействие («работа вместе» — как сказано в статье «Чему же учатся люди»), основанное на терпимости и любви. Педагог призван к тому, чтобы создать вокруг себя атмосферу культуры («Учитель на пороге XXI века»).

И еще: общение как динамический процесс естественным образом подразумевает для Лотмана творчество. Именно поэтому он придает такое большое значение творческой свободе педагога (как и творческой свободе писателя, свободе человека). То, что он пишет о роли литературы как учебного предмета в школе, можно соотнести с его рассуждениями о роли искусства в жизни человека¹. Уроки литературы, по мысли Лотмана, должны дать ученику «привычку искать в сочинениях писателей ответы на серьезные жизненные вопросы» («Итоги олимпиады»). Однако, как правило, процесс обучения в школе ориентирован на заучивание, а не на «выявление у школьников навыков самостоятельного мышления», способности «размышлять, сопоставлять факты, делать выводы» («Учитель на пороге XXI века»). Отсюда и закономерный вопрос, который задает автор: «Что же мы даем школьникам? Вооружаем ли их для трудной, но необходимой борьбы за самостоятельный жизненный путь или вкладываем им в головы готовые решения, удобные для ответов и сочинений, но бесполезные в трудных жизненных ситуациях?» (там же).

Обратим внимание на это местоимение «мы»: «Что же *мы* даем...». В критических высказываниях Лотмана в адрес школьного и университетского образования никогда нет отстраненности, в них — боль человека, чувствующего свою причастность к делу образования и свою ответственность за него. «Школа — это особый механизм, который отбрасывает тех, кто пытается работать не по стандарту, кто пытается внести в процесс обучения что-то творческое, — с горечью писал он. — <...> Педагогический труд имеет свои профессиональные болезни, свои специфические травмы. С одной стороны, педагог бесконтрольно командует детьми, с другой — им бесконтрольно командует начальство. Он угнетатель и угнетенный в одном лице. Не случайно в нем развиваются различные комплексы и вместе с тем — чрезвычайное самомнение. Последнее — компенсация за ложное положение...» («Беседы с профессором Лотманом»).

¹ В концентрированной форме идеи Лотмана изложены им в телевизионных лекциях «Беседы о русской культуре» (особенно см. цикл четвертый), а также в статье «Как говорит искусство?» и др.

606

Противоядием от профессиональной болезни педагогов Лотман считал, в первую очередь, творчество, но также и уважение к личности учителя, к его труду со стороны общества и, с другой стороны, критическое отношение педагога к себе, его постоянное стремление к профессиональному (и, следовательно, человеческому) самосовершенствованию: «Необходим и психологический перелом, отказ от представления о том, что учитель „уже все знает“ и все заботы следует свести лишь к тому, *как* преподавать. Знание *что* преподавать он якобы раз навсегда получил вместе с дипломом. Необходимо сломать представление о том, что наука — дело для учителя чужое, лишний груз», — писал Лотман в статье «Учитель на пороге XXI века».

И в этом смысле характерно, что критический взгляд Ю. М. Лотман обращал и на современную ему «высокую» науку¹. Говоря о состоянии гуманитарной науки, Лотман не раз касается темы «кризиса науки»² или отдельных ее областей (например, пушкинистики)³. Однако ему гораздо ближе были рассуждения о перспективах ее развития, о необходимости вовлечь как можно большее число заинтересованных людей в сферу науки и культуры.

К 1960—1970 годам относится целый ряд статей Лотмана, популяризирующих новую тогда науку — семиотику. В конце 1980-х — начале 1990-х годов ему уже приходится подводить итоги деятельности Тартуско-Московской семиотической школы эпохи расцвета, намечать пути ее развития (см.: «О судьбах „тартуской школы“»). От него, создателя и главы теоретической школы, явно ожидали разговора о новых теориях и методах. Но Ю. М. начал свои размышления с необходимости раздвинуть пределы человеческого знания: «Сейчас <в начале 1990-х годов. — Л. К.> назревает большой переворот, который требует очень многого. Он будет определять — опять, как тогда <подразумевается конец 1950-х — начало 1960-х годов. — Л. К.>, резкое расширение знаний. Просто знаний... Начиналось с того, что достаточно взять простую модель <...> и получить

простую разгадку сложных явлений. Я думаю, что теперь мы будем пробовать свои инструменты на сложных, неясных, очень размытых механизмах, например на русской культуре. Она опять приобретает новый общенаучный смысл в силу ее способности оставаться собой, становясь другой, в ее нежесткости и в постоянном самоощущении себя, как находящейся на границе двух миров <...> это делает этот материал в общенаучном смысле очень трудным и очень показательным» (там же).

В последние годы жизни, в процессе работы над своими итоговыми книгами «Внутри мыслящих миров», «Культура и взрыв», Ю. М. Лотман много

¹ Ср. вместе с тем и его высказывания о собственной деятельности: «Наука — дело живое и устойчивое. Она сама отсеивает мякину, оставляет зерна. Совершенно очевидно, я не строю никаких иллюзий, и в моей работе есть мякина. Хочется надеяться, что время, отсеив мякину, что-то оставит. А пока что каждый должен делать свое дело так хорошо, как он умеет» («О ценностях...», 1982). В одном из последних интервью он говорил корреспонденту, своей бывшей студентке: «Не знаю, оставите вы эти слова или нет — но если бы вы знали, какой я невежда»; «с грустью должен сказать, что моя компетенция гораздо уже, чем мои интересы» («Нам все необходимо...», 1993).

² См., например, статью «Этот трудный текст...».

³ См., в частности: «Пушкиноведение: вернуться к академизму»; «История культуры: движение в будущее».

607

размышлял о феномене культуры, и русской культуры в частности. Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что ученый, посвятивший всю жизнь исследованию русской литературы и культуры, пишет об этом. Однако интересно, что именно выделяет он как ее конструктивные особенности: сложность, изменчивость, непредсказуемость и одновременно устойчивость, наличие адаптационных возможностей, способности к самоорганизации¹. Противоречивость видится в этом контексте не как порок системы, а как условие ее существования.

Принцип противоречий (когда-то исследованный им на материале «Евгения Онегина»), как и тезис о сложности мира, обращен автором в его популярных статьях на поведение человека, на проблему выбора, необходимости выработки самостоятельной жизненной позиции (в конечном итоге это рассуждения о свободе и ответственности, которые проходят через все статьи настоящей книги). Лотман постоянно указывает читателю и слушателю на необходимость меняться, не теряя при этом внутренней цельности, принимать вызов обстоятельств. Недаром он так любил статую Вольтера работы Гудона и так часто возвращался к ней в своих рассуждениях². Среди любимых цитат Ю. М. были строки из позднего стихотворения Пушкина «Была пора: наш праздник молодой...»

Не сгуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вокруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?³

Задачу «создания личности, способной жить в новых, неожиданных для нее обстоятельствах» («Учитель на пороге XXI века»), он приписывал не только школе, но и науке и культуре в целом. Мифологизацию истории, догматизм мышления, неспособность к открытому, непредвзятому восприятию действительности (что свойственно массовому сознанию) Лотман считал результатом невежества, невоспитанности и внутренней несвободы⁴. В процессе познания он видел способ обретения свободы. Поэтому критическое мышление, присущее науке, как и игру, множественность точек зрения, присущие искусству, Ю. М. считал важным условием формирования творческой личности или же — в его понимании — человеческой личности, как таковой.

Вот еще одна из любимых лотмановских цитат:

¹ Мы сейчас не будем обсуждать вопрос о том, в какой мере эти особенности являются исключительной принадлежностью русской культуры, в отличие от культур других народов. Полагаем, что и Ю. М. не абсолютизировал этого тезиса, так как идея «исключительности» (в которой всегда есть оттенок ксенофобии) была ему чужда, чему читатель найдет множество доказательств в статьях настоящего тома. Скорее, русская культура виделась Лотману тем демонстрационным полем, которое позволяло эффективно изучать общие свойства человеческой культуры.

² См. статьи «В мире гротеска и философии», «Пушкин притягивает нас, как сама жизнь», а также «Беседы о русской культуре».

³ Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. 3. С. 341.

⁴ Отсылаем читателя к третьему циклу телевизионных лекций — «Культура и интеллигентность».

608

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель¹.

Внимание к внутренне противоречивым явлениям культуры, как и парадоксальность

мышления, было в высшей мере характерно Лотману-ученому, однако и в своих популярных статьях он любил высказывать парадоксы — «мнимые противоречия», которые были свойственны Карамзину и которые так привлекали в нем Лотмана-исследователя.

Требуя от науки результатов, достижений, Ю. М. вместе с тем писал: «В области науки и культуры победа — самое опасное. Потому что она всегда создает возможность и искушение подавить чужую точку зрения» («Тут надо быть 1000 раз осторожным»). Опасность видится ему в застое, самоуспокоенности, в той агрессивной пошлости и серости, в которую легко вырождается всякая удовлетворенность достигнутым.

Постоянное движение, отсутствие готовых решений, право на ошибку (см.: «Чем длиннее пройден путь...») — вот, по Лотману, условия динамики — в жизни отдельного человека и в культуре в целом. Отсюда и его постоянные «колебания» в определении современной научной ситуации: высокие похвалы ученым прямо перетекают в критические суждения и в рассуждения о кризисе.

В одном из последних своих интервью Ю. М. так сформулировал свое понимание задач человека, стремящегося к выбору осознанной жизненной позиции: «Соединить способность одновременно быть близоруким и дальноруким, соединить две точки зрения воедино значит дать объемность, непредсказуемость, размытость. За счет этого мы можем ориентироваться в неоднозначном, тоже размытом, имеющем разные голоса мире...» («Нам все необходимо...»).

Публицистика Лотмана, как и его педагогика, подчинена строгим нравственным установкам. Он не боялся быть «моралистом», не боялся показаться «банальным». Он говорил «тривиальные истины»² о добре и зле, о жизни и смерти, о страдании, о совести и ответственности, о честности, интеллигентности, порядочности как человеческой норме, о высокой цене таланта. Он принял на себя роль учителя жизни, понимая всю неблагоприятность и опасность такой роли. «Моралисты оказались осмеянными», — прямо говорил он в интервью после кончины А. Д. Сахарова («Реабилитация совести»). И тут же подробно обосновывал свое понимание его заслуг: «И потому главное, что я вижу в личности Сахарова <...> это реабилитация совести как основного принципа жизни. И это очень важно потому, что традиционно наука как

¹ Пушкин А. С. Т. 3. С. 153.

² Ср.: «„Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...“ — говорила Ахматова. И главное когда мы цитируем, мы „сор“ понимаем, а тут ведь есть глубокая мысль — бесстыдность истины. Она не стыдится быть тривиальной, не стыдится быть банальной. Такой сложный механизм, который все время меняет позиции...» («О судьбах „тартуской школы“»).

609

бы отделилась от морали. И даже предполагалось <...> что мораль — это для священников, а у науки — объективные законы. <...> С того момента, как <...> мы отделились от религиозного обоснования в нашей деятельности и оценках <...> мы отнесли этические ценности или же к области лицемерия, или же к области наивности» (там же).

Хотя Ю. М. не прилагал к собственной деятельности религиозных обоснований, вера в непреложность нравственных законов человеческого бытия была ему свойственна. Он был вдумчивым исследователем механизмов стыда, страха и чести в истории культуры, и слова «совесть» и «честь» недаром принадлежат к числу наиболее частотных в его публицистике.

Мы уже говорили о том, что Ю. М. Лотману была присуща активная жизненная позиция, и в своих «популярных» выступлениях он не просто излагал те или иные идеи, но пытался с их помощью воздействовать на читателей, хотя бы в малых пределах изменить мир к лучшему. Его не останавливала мысль о наивности и утопичности попыток такого рода. Он мог подтрунивать над своим неисправимым, «неумеренным» оптимизмом, даже сердиться на свою привычку отвлекаться от серьезных научных трудов, но все-таки не прекращал писать для широкого читателя, считая это своим долгом. При этом его заботила сама возможность нарушить чужую свободу мнения и выбора, но, как и в университетской аудитории, ему помогала органическая привычка ученого — делать основной акцент на поиске истины, видеть главный смысл в постановке вопросов, а не в их однозначном решении.

Долгие годы, в силу обстоятельств, активность Лотмана проявлялась лишь в сравнительно узкой специальной сфере, а популярные статьи печатались только в Эстонии и в основном на эстонском языке. В 1970-х — в начале 1980-х годов возможность выступать в широкой печати была для него вообще резко ограничена. Вот один из многих примеров: после обыска, произведенного сотрудниками КГБ в его квартире в 1970 году, не была напечатана его статья «Семиотика и сегодняшний мир». Посланная в редакцию эстонской газеты «Rahva Hääl», она была отклонена явно по указанию «сверху» (впервые публикуется в настоящем издании). Доступ к телевизионному экрану был Лотману и вовсе закрыт¹. Однако с середины 1980-х годов ситуация изменилась, и в конце 80-х — начале 90-х от желающих взять интервью, заручиться статьей Ю. М. Лотмана для своей газеты или журнала буквально не было отбоя. Лотмана стремились вовлечь в актуальные политические дискуссии, услышать его мнение о сегодняшнем дне. Он всегда старался сохранить взвешенную позицию, увидеть правду различных, иногда противоборствующих, сторон.

На вопрос корреспондента: «Каков скрытый смысл наших дней?» — Ю. М. ответил очень

характерным для себя образом: «Как каждый человек, я не могу об этом не думать. Но как историк я запрещаю себе об этом говорить. <...> Я всегда старался быть в жизни участником и, конечно, имею мнение. Но не могу сказать, что мнение меня-участника есть мнение меня-ученого. Тут, к сожалению, я перехожу в другую сферу. Но зато я получаю право

¹ См. свидетельство Е. Хапонен во вступительной заметке к телевизионным «Беседам о русской культуре».

610

говорить от лица одного из многих, высказывать «мнение другого» <...> Только не имею права сказать: пускай это мое мнение будет твоим мнением» («Нам все необходимо...»).

Эта последняя мысль составляла основу основ его мировоззрения. Идее терпимости, уважения к *другому* посвящена статья Лотмана о Вольтере («В мире гротеска и философии»), об этом же — уже от своего лица — он говорит в статье «Мы живем потому, что мы разные»: «Общество человеческое держится на различии между людьми, на том, что никто сам по себе не составляет даже части истины, а все мы вместе составляем путь к ней. <...> Надо научиться ценить в другом человеке другого человека, и надо обеспечить ему это право — быть другим»¹.

Пессимизм, жалобы на обстоятельства, на «трудное время» Ю. М. Лотман относил к иждивенчеству, которого не выносил. Поэтому он неустанно подчеркивал в Пушкине способность к «принятию жизни и в ее трагических проявлениях», «сопричастность здоровью» («Пушкин притягивает нас, как сама жизнь»).

Реакция Лотмана на современные политические события проявлялась и в его «научных», и в его «популярных» статьях, как правило, в «скрытой» или прикровенной форме. Это, на наш взгляд, было вызвано не недостатком гражданской смелости, а стремлением быть «тысячу раз осторожным», чтобы не навредить, не вызвать ненужной конфронтации, не навязывать своей позиции. Лишь в чрезвычайно редких случаях острая реакция выплескивалась у него наружу. Это были моменты, когда казалось, что общество стоит на пороге катастрофы, гражданской войны, которую надо предотвратить всеми доступными средствами. В июне 1991 года Ю. М. Лотман решительно осудил события в Карабахе, однозначно выразив свою симпатию Армении. В статье «Мир соскальзывает в безумие» он с болью писал о «клиническом безумии ненависти», охватившем целые народы, но одновременно предупреждал об опасности и недопустимости насилия, называя сторонников насилия трусами, которые «мстят за свою трусость и за свои унижения». Солдат Второй мировой войны, остро чувствовавший свою сопричастность истории, Ю. М. предостерегал равнодушных к чужой беде интеллигентов, равно как и деятелей, стремящихся к политической выгоде за чужой счет: «Колокол никогда не звонит по кому-нибудь другому, как бы нам этого ни хотелось, — он всегда звонит по мне. <...> Нет, никто не поможет тому, кто сам себе не помогает. Мюнхенская капитуляция не спасла Запад от второй мировой войны. Договор Молотова — Риббентропа не спас Россию от самой страшной войны в ее истории».

Не только чувство личной ответственности за происходящее, но и важнейшая для Лотмана-ученого идея культуры как памяти приобретает в контексте этих рассуждений новый смысл.

Прошло почти десять лет с того момента, когда Ю. М. Лотман дал последнее в своей жизни интервью. Изменилась политическая карта планеты, мир «вкруг человека» продолжает вращаться, да и сам человек не остается

¹ Ср. также статью «Мы выживем, если будем мудрыми».

611

недвижим. Однако люди разных возрастов и профессий продолжают нуждаться в Лотмане как в нравственном ориентире.

Секрет современности и «нескучности» размышлений Лотмана в том, что он говорит исходя из своего жизненного и научного опыта, говорит «воспитательно», но искренне и подтверждает подлинность своих убеждений собственной жизнью. Веря в силу слова, в силу культуры, Ю. М. не уставал видеть в науке, искусстве и других проявлениях человеческого духа ответ на жизненные (не «житейские»!) вопросы. Такого рода вопросы актуальны всегда, хотя и по-разному, с разными акцентами. Не на все из них можно найти ответы, и Лотман — «парадоксов друг» — смело и открыто ставит аудиторию перед неразрешимыми проблемами и требует размышления над ними (не решения, а размышления!).

* * *

Пытаться в короткой статье дать анализ всех работ, собранных в этой книге, равно как и всех идей, в них высказанных, невозможно и бессмысленно. Мы выделили то основное, что, с нашей точки зрения, составляет неотъемлемую часть личности Ю. М. Лотмана и его credo. Другие выделяют другое. «Особенность глубоких вещей <...> в том, что каждый берет от них столько, сколько может вместить. Так было и будет всегда», — писал Лотман в статье о Пушкине («Пушкин притягивает...»). Пусть каждый читатель обретет в текстах Лотмана *свое*, в *свою* меру.

Л. Киселева

Указатель имен

Абакумов В. С. 40
Абрамов Ф. А. 38
Абрамович С. Л. 122
Аввакум (Петров) 119
Август (Кай Юлий Цезарь Октавиан) 352
Аверинцев С. С. 187
Адамс В. Т. 45, 49
Азадовский К. М. 38
Азадовский М. К. 12, 52, 63—65, 125, 136
Акимов Н. П. 57
Александр I, российский император с 1801 г. 138, 194, 196, 222, 318, 319, 359, 365, 377, 379, 389, 398, 405, 408, 423, 439, 501—504, 509, 512, 545—565, 570, 575, 593, 595, 596
Александр II, российский император с 1855 г. 359, 404, 413, 441, 493, 591
Александр III, российский император с 1881 г. 188, 591
Александр Македонский 202
Алексеев М. П. 140
Алексей Петрович, царевич 597
Аль Д. Н. 57
Альгаротти 203
Анна Иоанновна, российская императрица с 1730 г. 193, 375, 395
Анненков П. В. 132, 134, 215, 411
Анненский И. Ф. 323—325
Анциферов Н. П. 257
Аракчеев А. А. 197, 361, 365, 403, 404, 502, 512, 547, 549—554
Арина Родионовна 133
Аристотель 201
Ахматова А. А. 130, 154, 274, 275, 277, 310, 544
Бабкин Д. С. 38
Багратион П. И. 194, 195, 360, 552
Байрон Дж. Г. 332, 386, 529, 537, 580, 587
Балухатый С. Д. 125, 136
Бальзак О. де 350, 574
Баратынская А. Л. 227, 537
Баратынский Е. А. 226, 227, 282, 320, 321, 331, 332, 469, 529, 537
Барбюс А. Л. 19, 27
Барклай-де-Толли М. Б. 193—195, 332, 359
Барков И. С. 495, 496
Барсов А. А. 496
Бартелеми О. М. 440
Басаргин Н. В. 410, 413
Батеньков Г. С. 35,
Батюшков К. Н. 61, 63, 451, 452
Бах И.-С. 242
Бах Р. Р. 310
Бахтин М. М. 83, 92, 240
Бейль П. 208
Белинский В. Г. 37, 41, 60, 62, 72, 73, 83, 132, 193, 322, 356, 400, 404, 455, 494, 516, 524, 583
Белосельская-Белозерская З. А. см. Волконская З. А.
Белый Андрей 62
Бем А. Л. 125, 136
Бёме Я. 121
Бенкендорф А. Х. 367, 404, 412, 457, 548, 577, 579
Беннигсен Л. Л. 359
Бенуа А. Н. 343
Бердников Г. П. 38, 42
Бердяев Н. А. 264, 268
Берков П. Н. 12, 43, 58, 59
Бернулли Д. 496
Бернштейн С. И. 136
Бестужев А. А. 70, 381, 400, 503, 554, 596
Бестужев Н. А. 222, 400
Бестужев-Марлинский А. А. 71
Бестужев-Рюмин М. А. 281
Бестужев-Рюмин М. П. 281, 424
Бетховен Л. ван 369
Бецкой И. И. 388
Билинкис Я. С. 42, 45, 105
Благой Д. Д. 123, 140
Блок А. А. 12, 41, 126, 132, 133, 136, 240, 255, 276, 277, 327, 462
Богданович И. Ф. 449
Богословский М. М. 434

Боден Ж. 471
Боккаччо Дж. 443
Болотов А. Т. 387
Бонди С. М. 123, 126, 136, 140
Бор Н. 259
Борисов П. И. 400
Боровиковский В. Л. 358
Бредбери Р. 420
Брессон Р. 272
Броглио С. Ф. 383
Бродский И. А. 49
Бродский Н. Л. 91
Бромс Г. 116
Брюллов К. П. 339, 341
Булгаков М. А. 46, 293
Булгакова Е. С. 46, 47
Бунин А. И. 368
Бунин И. А. 257, 368, 465
Бурсов Б. И. 66, 67
Бухарин Н. И. 57
Быков В. В. 485
Бэр К. Э. фон (Карл Максимович) 474
Бюффон Ж. Л. Л. 449
Вагнер Р. 544
Вадковский Ф. Ф. 400
Валла Л. 482
Валуев П. А. 440
Вандам И.-Д. 382
Вановская Т. 42
Варнек А. Г. 138
Васильчиков И. В. 504, 558
Вацуро В. Э. 139
Веласкес Д. 535
Венгеров С. А. 125, 135
Вергилий Марон Публий 198
Вересаев В. В. 135
Верн Ж. 108, 175, 300
Веселовский А. Н. 65
Вигель Ф. Ф. 582
Виллман Ч. 228, 230
Винер Н. 98, 111
Винкельман И. И. 339
Виноградов В. В. 123, 140, 248
Винокур Г. О. 140
Воейков А. Ф. 196, 368, 369, 450, 451, 453
Воейкова А. А. 368, 453, 454
Войнаровский А. 410
Волконская З. А. 338, 454, 455
Волконская М. Н. 367, 405, 410, 411, 413
Волконский 399, 405, 410
Вольперт Л. И. 197
613
Вольтер (М.-Ф. Аруэ) 85, 197—214, 226, 264, 276, 314, 438, 446, 447, 454, 488—490, 513, 540
Воронихин А. Н. 361, 439, 440, 497
Воронцов М. С. 423, 428, 562
Воронцов Р. И. 378
Воронцова Е. К. 139
Ворошилов К. Е. 8
Врангель Н. Н. 546
Вуатюр В. 445
Вяземский П. А. 70, 313, 330, 375, 384, 391, 403, 406, 458, 480, 560, 572, 574, 576, 577, 579, 581, 582, 584, 587, 588, 590
Галаева А. 124
Галюмерян Х. 40
Гамалея С. 511
Гаспаров Б. М. 51, 101, 122
Гашек Я. 27
Ге Н. Н. 10
Гегель В. Ф. 148, 149, 151, 211, 278, 279
Гейзенберг В. 259, 261
Гейне Г. 143, 145
Гейсмар 424
Генрих IV 201
Гераклит 232
Гердер И. Г. 440
Герман А. Г. 271
Герцен А. И. 162, 193, 197, 298, 369, 455, 488, 493, 494, 497, 557

Герций Л. 235
Гессен С. Я. 225
Гёте И.-В. 231, 292, 300, 306, 384, 397, 436, 574
Гинзбург Л. Я. 67
Гиппиус В. В. 91, 123, 136, 140
Гиршман М. 105
Гитлер А. 10, 17
Глинка В. М. 127, 137, 344
Глинка С. Н. 196
Глинка Ф. Н. 403, 511, 557, 559, 560
Глушковская Л. Ф. 298, 305, 306
Гнедич Н. И. 9, 325, 452
Гоголь Н. В. 10, 49, 62, 87, 89, 145, 166, 184, 187, 189, 198, 351, 357, 358, 372, 373, 377, 416, 431, 455, 462, 467, 472, 476, 491, 492, 511, 517, 577, 582—584
Годой М. 466
Годунов Б. Ф., русский царь с 1598 г. 424, 431, 435
Гойя Ф. 466
Голицын В. В. 462
Голицын С. Г. 375
Головин Ф. А. 434
Головкин А. Г. 402
Гольштинский принц (Карл Фридрих, герцог Гольштейн-Готторпский, отец Петра III) 395
Гомер 462, 518
Гончаров И. А. 266, 431
Гончарова Н. Н. см. Пушкина Н. Н.
Горбаневская Н. Г. 47—49
Горбачев М. С. 143, 278
Городецкий С. М. 125
Горшман А. М. 138
Горький Максим 184, 474, 482
Гофман М. Л. 136
Гофман Э.-Т. 113, 301
Грабарь-Пассек М. Е. 275
Гретри А. Э. М. 396
Грибоедов А. С. 54, 249, 354, 359, 382, 386, 396, 399, 400, 403—405, 408, 500, 509, 510, 562, 585, 588, 589, 595, 596
Григорьев 15
Григорьев Ап. А. 132
Григорьев В. 105
Гудзий Н. К. 91, 140
Гудон Ж.-А. 214, 226, 314
Гуковская-Долинина Н. Г. 13
Гуковский Г. А. 9, 12, 13, 37, 38, 42, 52, 55—63, 68, 69, 91, 123, 126, 130, 136, 140, 248
Гумилев Н. С. 125, 136, 138, 264
Гутенберг И. 175
Давыдов В. Л. 371, 407
Давыдов Д. В. 334, 385, 386, 402, 588, 591
д'Аламбер Ж. Л. 206, 449
Данилевский А. С. 10
Данте Алигьери 198, 337, 443
Дантес Ж. 53, 185, 290
Дарвин Ч. 301
д'Аржан 203
д'Аржансон 200
д'Аржанталь 205, 206
Дашков Д. В. 451
Дашкова Е. Р. 449
Декарт Р. 207, 208, 480
Делакруа Э. 104
Дельвиг А. А. 188, 222, 227, 296, 339, 408, 529, 530
Дементьев А. Г. 263
Денисьева А. 391
Денисьева Е. А. 391
Державин Г. Р. 59, 300, 311, 312, 360, 378, 447, 517, 555
Державин Н. С. 67
Дживелегов А. К. 319
Дидро Д. 209, 447, 449
Диомидова Г. 228, 230
Дмитревский И. А. 498
Дмитриев И. И. 319
Дмитриев-Мамонов М. А. 379
Добролюбов Н. А. 132, 162, 212, 401, 481
Долгорукая Н. Б. 412, 413
Долгорукие 412, 501
Долгорукий И. А. 412
Долженко О. В. 168
Долинин (Искоз) А. С. 13, 125, 136

Долинин К. 13
Дольст К. 15, 16, 30
Достоевский Ф. М. 9, 11, 46, 62, 84, 85, 87, 88, 122, 134, 217, 218, 242, 243, 246, 265, 271, 275, 278, 291, 462, 514
Доу Дж. 332, 334
Дружинин А. В. 132, 481
Дудышкин С. С. 132
Дымшиц А. Л. 58
дю-Деффан М. де Виши Шамро 207
Дюма А. 48
Евлампиев И. 84
Егоров А. 17, 18
Егоров Б. Ф. 38, 45, 50, 51, 115, 239, 255, 266
Екатерина I, российская императрица с 1725 г. 396, 501
Екатерина II, российская императрица с 1762 г. 186, 187, 191, 193, 198, 214, 314, 354, 355, 361, 378, 379, 388, 422, 439, 446, 449, 457, 501—506, 508, 548, 549
Екатерина Алексеевна *см.* Екатерина I
Елизавета Алексеевна, жена императора Александра I 560
Елизавета Петровна, российская императрица с 1741 г. 193, 375, 395, 502
Ельмслев Л. 116
614
Еремин И. 91
Ермолов А. П. 334, 408
Есенин С. А. 73
Ефим Григорьевич, школьный учитель Ю. М. Лотмана по литературе 9, 10, 12
Ефремов И. А. 228
Жирмунский В. М. 38, 52, 136, 248
Жихарев С. П. 451
Жолковский А. К. 51
Жоффрен М. Т. 446, 451
Жуков Г. К. 11
Жуков Д. И. 9
Жуковский В. А. 61, 196, 227, 303, 335, 353, 364, 368, 369, 384, 406, 408, 450, 451, 453, 458, 517, 529, 537, 540, 566, 578, 579, 582
Заболоцкий Н. А. 366, 367, 497
Завадовский П. В. 379 Завалишин Д. И. 377, 399, 407
Зайончковский П. А. 77
Зайчикова О. 43
Замков 125
Западов А. В. 39
Зенова Е. 11
Золя Э. 350
Зотов К. 352, 435
Зотов Н. 352, 435
Зубов П. А. 379
Иванов Вяч. Вс. 50, 92
Иванова Л. 13
Ивашев В. П. 411
Игнатъев М. 115
Измайлов А. Е. 222
Измайлов Н. В. 55, 123, 136
Ильф И. А. 51
Ингарден 83
Иогель П. А. 370, 396
Иоффе А. А. 253
Ипсиланти А. К. 371, 407
Исаков С. Г. 82, 160, 238, 255
Ицкович Д. 275
Кадастик Х. 228
Казанова Дж. 424
Кайсаров А. С. 49, 193—197, 384, 385, 450
Кайсаров П. С. 195, 385
Калас Ж. 204, 205, 207, 489
Калас М.-А. 204
Калас П. 205
Калиостро 360
Калло М. 343
Каменская В. А. 40, 41
Камю А. 258
Канн К. 481
Канова А. 312
Кант И. 440, 517
Кантемир А. Д. 352, 462
Кантемир Д. К. 352
Каракозов Д. В. 187
Карамзин Н. М. 37, 70, 89, 216, 219—225, 243, 249, 260, 261, 299, 351, 359, 365, 369, 405, 406, 440, 455, 459, 480, 488, 496, 508, 509, 512, 555, 581, 592

Карамзина Е. А. 455, 480, 581, 582
Карамзина Е. И. 581
Карамышев А. М. 365
Карлейль Т. 255
Карпов В. Н. 393, 425
Катенин П. А. 589
Каховский П. Г. 407, 408, 458
Кацурагава Х. 422
Качалов В. И. 405
Качурин М. Г. 41
Каширская В. 255
Кашницкий С. 231
Кейт Дж. 203
Кекелидзе Э. 287
Кипренский О. 335
Киреевский И. В. 331, 574
Кирилл 76
Киселева Л. Н. 52
Клейнмихель П. А. 404
Клейс Р. 481
Клеман М. К. 136
Клемент Ф. Д. 43, 45, 49, 50
Клеопатра Египетская 216
Климт Г. 542
Коварский Л. А. 125, 136
Кожин В. В. 105
Колиньи Г. де Ш. 489
Колумб Х. 171
Комаров М. 224
Комарович В. Л. 125, 136, 140
Кондорсе Ж.-А. 205
Конечный А. М. 257
Константин Павлович, великий князь 194, 377, 397, 457, 509, 549, 593
Конт О. 98
Конти, принц 200
Короленко В. Г. 96, 257
Корреджо (Антонио Аллегри) 312
Костюшко Т. 506
Коцебу О. Е. 138, 139
Крашенинников С. П. 495
Крузенштерн И. Ф. 587
Крылов И. А. 57, 242, 249, 260, 267, 452, 549
Кузовкин Д. Э. 129, 141, 165, 180
Кузовкина Т. Д. 52
Кукулевич А. М. 9, 10, 42
Куль И. 100
Кумпан К. А. 257
Куприн А. И. 188
Куракин А. Б. 358, 495
Кутайсов А. И. 359, 360
Кутайсов И. 359, 360
Кутневич Ф. П. 133
Кутузов М. И. 195—197, 359, 385, 386, 416, 455, 552
Кюстин А. де 225, 335
Кюхельбекер В. К. 70, 222, 400, 408, 437, 450, 566, 575, 597
Ла Мот де, епископ 206
Ла-Барр 206, 490
Лабзин А. Ф. 365
Лабзина А. Е. 365, 366
Лагарп Ж.-Ф. де 457, 549
Лакаева Л. 41
Лалли 490
Ламеттри Ж. О. де 203
Лаплас П. С. 440
Латынина А. 267
Лафайет М.-Ж.-П. де 503
Лафарг П. 92
Лафатер И. К. 119
Лахман Б. 10, 11
Лев М. С. 53
ле-Дантю К. 411
Лейбниц Г. 176, 207, 210, 433
Ленин В. И. 253
Леонардо да Винчи 471
Лермонтов М. Ю. 61, 73, 118, 236, 241. 266. 291, 576, 579—582
Лернер Н. Н. 134
Лесков Н. С. 507

Лефорт Ф. 432, 434
Линцбах Я. 99
Лихачев Д. С. 105, 122, 243, 248, 257, 259, 313, 326, 328, 420, 482
Лобачевский А. В. 133
Логановский А. В. 323, 325
Ложье Ц. 195
Лозинский М. Л. 125
Локк Дж. 110, 208
Ломоносов М. В. 60, 126, 183, 190—193, 249, 265, 284, 494, 495, 496, 500
615
Лопатто 125
Лопухина Е. 364
Лоранс 392
Лорер Н. И. 411, 577
Лотман В. М. 67
Лотман Л. М. 8—10, 13, 14, 42
Лотман М. Ю. 24, 44, 47, 52, 84
Лотман Ю. М. 5, 6, 8, 13, 17, 44, 47, 52, 55, 67, 76, 84, 105, 107, 129, 141, 146, 149, 156, 157, 160, 162, 168, 170, 181 — 183, 197, 199, 202, 204, 205, 220, 228, 230, 231, 235, 240, 241, 254—256, 268, 269, 271, 275, 280— 282, 287, 294, 296, 298— 300, 302, 304, 305, 329, 332, 340, 348, 349, 481, 516
Лунин М. С. 53, 377, 382, 411, 455, 509, 557
Лысенко Т. Д. 124, 265, 266
Людовик XIV, французский король 444
Людовик XV, французский король 199, 206, 207
Людовик XVI, французский король 503
Люмьер Л. и О., братья 272
Ляльская 408
Ляскоронский В. П. 134
Мазинг У. 481
Мазепа И. С. 410
Макаров Н. 418, 419
Макиавелли Н. 443, 487
Макогоненко Г. П. 42, 59, 62
Максимов Д. Е. 41
Максимов Л. П. 133
Малерб Ф. 382
Мамоновы 375
Марат Ж.-П. 418
Маргарита Наваррская 445
Мария Федоровна, российская императрица с 1796 г. 364, 555
Мария-Терезия 187
Марков М. 105
Маркс К. 80, 92, 111, 204
Мартьянов П. А. 494
Марченко Н. А. 138
Маршак С. Я. 154
Маслов В. И. 13
Маслов Г. В. 125, 136
Матезиус В. 76
Маяковский В. В. 39, 40, 54, 75, 162, 236, 241, 256, 264
Медведева И. Н. 140
Мейер З. 204
Мейлах Б. С. 55
Мельес Ж. 272
Менделеев Д. И. 184, 259
Меншиков А. Д. 501
Меньшиков А. С. 404, 423, 428
Меньшикова Т. 241
Мережковский Д. С. 278
Мерзляков А. Ф. 70, 384, 427, 516
Мерикур Т. де 439
Мериме П. 574
Мефодий 76
Меццофанти 479
Мечников И. И. 126
Микеланджело Буонарроти 541
Милорадович М. А. 511, 548, 588
Мильтон Дж. 244
Минц З. Г. 8, 39—41, 43, 45, 46, 48, 50, 51
Мирабо О.-Г.-Р. 418
Мирикс Ф. ван ст. 331
Михаил, великий князь 503
Михайлов М. Л. 494
Михайловский-Данилевский А. И. 196
Мицкевич А. 455
Модзалевский Б. Л. 135, 140, 408, 409

Мойер И. Ф. 453
Мойер М. А. 368, 369, 384, 453
Молдавский Д. 39
Молотов В. М. 49, 286
Мольер Ж.-Б. 445
Монин А. 230
Монтескье Ш. 212
Мопертюи П. Л. М. де 202, 203
Мор Т. 444, 487
Мордовченко Н. И. 37, 38, 41, 68—73, 91, 123
Морева Л. 84
Моррис Ч. 154
Моцарт В.-А. 216, 310, 336, 576
Мукаржовский Я. 83
Муравьев А. Н. 338
Муравьев А. П. 194
Муравьев М. Н. 407
Муравьев Н. М. 370, 403, 411
Муравьев-Апостол И. И. 425
Муравьев-Апостол С. И. 399, 424, 425
Муравьев-Карский Н. Н. 382
Муравьевы 370, 382. 473, 474
Мяль Л. 100
Надеждин Н. И. 72, 188, 189
Наполеон Бонапарт 193, 194, 278, 356, 362, 380, 383, 385, 398, 410, 428, 545, 550— 553, 559, 569, 587, 588, 595
Нарышкин М. М. 362
Наумов Б. И. 9, 39
Невердинова В. Н. 82
Неверов Я. М. 353
Незеленов А. И. 133
Некрасов В. П. 485
Некрасов Н. А. 185, 193, 413, 481, 492, 506, 509, 511
Нелидова Е. И. 391
Немирович-Данченко К. К. 144
Нечкина М. В. 557
Никитенко А. В. 389
Николай I, российский император с 1825 г. 38, 167, 187, 191. 214, 367, 377, 379, 380, 389—391, 406, 410— 413, 423, 426, 436, 439, 440, 501—503, 505, 510, 566, 573, 574, 577, 582, 590, 597
Николай II, российский император с 1894 г. 546
Николай V 487
Новиков Н. И. 221, 223—225, 359, 365, 369, 447, 505, 506, 508, . 511, 566
Новосильцев В. Д. 439
Нурмекунд П. 100
Ньютон И. 75, 154, 175, 198, 208
Образцова Н. Ю. 47, 49
Обручев В. А. 494
Овидий Публий Назон 443
Огрэнс В. 250, 254
Одоевский В. Ф. 113
Ойстрах Д. Ф. 24
Оксман Ю. Г. 68, 123, 136, 140
Окуджава Б. Ш. 52, 53
Оленин А. Н. 452
Опочинин И. М. 462
Орлов А. С. 55, 354, 502, 597
Орлов В. Н. 65, 70
Орлов Г. Г. 354
Орлов М. Ф. 196, 382, 405, 569, 594, 595
Орловы 361
Осетров Е. 220
Островский А. Н. 123, 134, 218, 219, 275
Островский Н. А. 185
Павел I, российский император с 1796 г. 87, 187, 216,
616
358, 360, 364, 377, 384, 391, 411, 421, 440, 449, 451, 502, 503, 506, 548—550, 558, 570—572
Павлов Н. Ф. 473, 476, 483
Паламетс Х. 104
Пален П. А. фон 550
Палиевский П. В. 92
Панов 400
Папп Ф. 417
Пастернак Б. Л. 51, 56, 137, 219, 279, 427, 463, 529, 530, 586
Перевошиков Н. 17
Пестель И. Б. 361, 457
Пестель П. И. 340, 361, 399, 410, 457, 506, 509, 572
Петр I, русский царь с 1682 г., российский император с 1721 г. 13, 87, 88, 119, 186, 192, 216, 278,

290, 291, 309, 314, 340, 341, 343, 351 — 357, 360, 371, 372, 374— 380, 387, 393—395, 415, 418, 424, 431—436, 462, 494, 495, 501, 502, 505, 507, 508, 547, 548, 591
 Петр II, российский император с 1727 г. 412
 Петр III, российский император с 1761 г. 354, 449, 502, 508, 577
 Петрарка Л. 443
 Петров А. А. 369
 Петров В. М. 58
 Петров Е. П. 51
 Пиксанов Н. К. 67
 Пименов Н. С. 323
 Пирогов Н. И. 453
 Пирс Ч. 154
 Писарев Д. И. 132
 Писарев С. 370
 Платон 260, 261, 517—520
 Плетнев П. А. 227, 296, 389
 Плеханов Г. В. 482
 Плутарх 370
 Пнин И. П. 39
 Победоносцев К. П. 417
 Погосян Е. А. 8, 17
 Подгорный Н. А. 405
 Полевой Н. А. 186, 574
 Польшвиг 203
 Пономарева Г. М. 255
 Пономаренко 31
 Понятовский Август Станислав 447
 Поповский Н. Н. 495, 496
 Посадский И. В. 133
 Потемкин-Таврический Г. А. 360, 379
 Правдин Б. В. 45
 Предтеченский А. В. 43, 225
 Пригожин И. 521, 522
 Прокопович Ф. 352, 501
 Пропп В. Я. 12, 13. 52, 63— 65, 125. 136
 Протасова А. А. *см.* Воейкова А. А.
 Протасова М. А. *см.* Мойер М. А.
 Прошка, денщик Суворова 360
 Прутков Козьма 237
 Пустыгина Н. Г. 279
 Пушкин А. С. 10, 16, 17, 52— 56, 60—62, 66, 73, 75, 80, 85, 104, 118, 123, 124, 126— 141. 145, 149, 150, 164— 167, 180—182, 184—189, 191, 193, 197, 213—221, 223, 224, 226, 227. 229, 233, 235— 237, 241—243, 248, 249, 259, 264, 266, 273, 275, 278, 281, 289, 290, 296, 299, 300, 305, 308—346, 348, 351, 357, 361, 363, 366, 371, 375, 376, 378, 379, 381, 383, 384, 389, 392, 395, 398, 400—404, 406—409, 411, 413, 419, 428, 440. 447— 449, 451, 455, 457, 458. 461, 462, 473, 474, 476, 480, 500, 503, 509, 510, 512—515, 517, 524, 529, 530, 537, 545, 547, 548, 552, 554—582, 584—594, 596, 597
 Пушкин В. Л. 312, 561, 592
 Пушкина Н. Н. 187, 289, 290, 335, 578, 584, 590
 Пушин И. И. 167, 505, 510, 591—594. 596, 597
 Пушин П. И. 593
 Пфуль (Фуль) К. Л. А. 194
 Пыльдяэ Я. 101
 Пыпин А. Н. 134
 Рабле Ф. 212, 443
 Радищев А. Н. 37, 38, 55, 60. 193, 205, 216, 379, 437, 504, 506
 Раевская М. Н. *см.* Волконская М. Н.
 Раевские 54, 411
 Раевский А. Н. 139
 Раевский Н. Н. 315. 334, 405, 411, 594
 Раков Л. Л. 57, 58
 Рамбах 193, 196
 Рамбуйе К. де 445
 Рамо Ж. Ф. 311
 РаSTOPчин Ф. В. 195
 Растрелли Б. К. 314, 343
 Ревзин И. И. 50, 99
 Ремарк Э. М. 14
 Рембрандт Харменс ван Рейн 462, 465, 466, 534
 Репин И. Е. 104
 Решетников Ф. М. 401
 Риббентроп И. 10. 49, 286
 Ризнич А. 582
 Рифтин А. П. 12
 Ришелье А. дю Плесси 444, 445
 Робеспьер М. 139, 222, 440
 Роган, де 200, 201
 Роден О. 323

Розен А. Е. 427
Рокотов Ф. С. 366, 497
Ромм Ж. 361. 437—440, 503
Ромодановский Ф. Ю. 433
Россети И. 577
Россини Дж. 310
Ротшильд 574
Рубенс П. 330, 331, 535
Рубинштейн 16
Румовский С. Я. 496
Руссо Ж.-Ж. 166, 198, 200, 209, 210, 212, 276, 320, 344, 361, 364, 365, 368, 407, 410, 418, 419, 428, 437, 438, 447, 458, 526, 549, 575
Рыков А. И. 10
Рылеев К. Ф. 71, 222, 299, 305, 399, 400, 407, 412, 458, 503, 529, 530, 579, 596
Рятсеп Х. 100
Савонарола Дж. 468
Садуль 272
Салтыков М. 408
Салтыкова С. М. 408
Салтыков-Щедрин М. Е. 113, 134, 218, 260, 278, 285, 343, 367
Сальери А. 216
Сальха 368
Сандомирская В. Б. 132
Сахаров А. Д. 141—144, 259, 482
Свифт Дж. 103, 111, 208, 212
Святополк-Мирский Д. П. 125, 136
Себеок Т. 100
Семенников И., помощник машиниста дизель-поезда 107
Семенова-Карелина 408
Сенека Луций Анней 419
617
Сен-Жермен 360, 424
Сен-Ламбер 201
Сервантес М. де 345
Серов В. А. 104
Сидяков Ю. Л. 48
Симоно А. 101
Симонов К. М. 46, 65
Сирвен 205—207, 490
Скотт В. 385
Слонимский А. Л. 125, 136, 140
Слэйгл Дж. 231, 232
Смирнов Н. М. 576, 577
Смирнова-Россет А. О. 576— 584
Смит А. 403
Смуул Ю. 235
Соболевский С. А. 311
Соколов П. Ф. 326, 411
Сократ 165
Солженицын А. И. 45, 47
Соловьев С. М. 462
Соссюр Ф. де 76, 82, 99, 115, 116
София-Шарлотта, курфюрстина Бранденбургская 433, 434
Софокл 242
Сперанский М. М. 35, 503
Спиноза Б. Б. 210
Сталин И. В. 15, 17, 65, 129, 268, 482
Сталь Ж. де 356, 503
Станкевич Н. В. 455
Старк В. П. 138, 139
Старкопф А. 238
Стендаль (А.-М. Бейль) 124, 125
Стоюнин В. Я. 133
Строганов А. С. 437—439
Строганов П. А. 361, 437— 440, 497, 503
Струйская А. П. 366, 497
Суворин А. С. 182
Суворов А. В. 360, 379, 572
Сумароков А. П. 60, 387, 388
Сунгуровы 455
Суперфин Г. Г. 49
Сюлли, герцог 200, 201
Талейран Ш. М. 278, 398
Тарле Е. В. 436
Тарник А. 43
Тассо Т. 516
Татищев В. Н. 192

Твардовский А. Т. 23, 26, 236, 267, 381, 460
Тепляков В. П. 339
Тибулл 443
Тизенгаузен В. К. 400
Тимирязев К. А. 126
Тимошенко С.К. 15
Толмачов Я. 375
Толстой А. Н. 472
Толстой И. И. 9
Толстой Л. Н. 9, 11, 41, 62, 94, 95, ПО, 122, 143, 151, 162, 217, 226, 242, 243, 266, 272, 385, 393, 399,401,417, 418,459, 462, 480, 481, 500, 509, 514, 517, 546, 562, 585, 586, 591
Толстой Ф. П. 331, 497, 562, 563, 584—591
Томашевич А. 36
Томашевский Б. В. 52—56, 58,59,61,91, 123, 130, 131, 136, 140, 248, 561
Томбу Б. 228, 230
Тонский Б. Н. 416
Топоров В. Н. 92
Торвальдсен Б. 318
Тороп П. 146, 155
Тредьяковский В. К. 59, 381, 495
Трубецкой Н. С. 76
Трубецкой С. П. 382, 399, 597
Трюффо Ф. 420
Тургенев Александр И. 220, 384, 404, 406, 453, 458, 566—569, 572—574
Тургенев Андрей И. 384, 404, 450, 540, 566
Тургенев И. П. 450, 566
Тургенев И. С. 134, 162, 215, 218, 275, 295, 402,481, 542, 546, 574, 577
Тургенев Н. И. 330, 404—406, 480, 557, 558, 568—575, 596
Тургенев С. И. 404, 405, 573
Тургеневы 449, 450, 565— 568, 570, 573—575
Тури Т. 248
Тух Б. 102
Тучков А. А. 361, 362
Тучков Н. А. 361
Тучков П. А. 361
Тучков С. А. 361
Тучкова М. М. 362
Тынянов Ю. Н. 40, 59, 68, 69, 83,91, 123, 125, 126, 130, 136, 140,239,343,344,581, 582
Тютчев Ф. И. 57,73, 138, 221, 241, 391
Уваров С. С. 405, 406
Успенский Б. А. 100,496
Успенский Г. И. 134, 142, 184
Успенский Н. В. 401
Ухтомский Г. А. 138
Ушакова Е. Н. 576
Фадеев А. А. 35, 65
Фальконе Э. 314, 320
Федор Кузьмич *см.* Александр 1
Федоров В. 105
Фенелон Ф. 387
Феокрит Мосх Бион 275
Ферте-Эмбо М.-Т. 451
Фет А. А. 306
Фикельмон Д. Ф. 455
Фикельмон Ш.-Л. 455
Флобер Г. 350
Флоренский П. А. 318, 533
Фодь И. 420
Фомин А. Г. 125, 136
Фонвизин Д. И. 373, 387, 404, 418
Франс А. 151
Фрейганг 203
Фридрих П. прусский король с 1740 г. 198, 201—203, 447
Фридрих Вильгельм III, курфюрст Бранденбурга 433
Фуатье 139
Фуко М. 117
Халабаев 136
Хапонен Е. 348, 349
Хемингуэй Э. 11, 14
Херасков М. М. 366
Хераскова Е. В. 366
Хитрово Е. М. 455
Хичкок А. 22
Хлебников В. 75, 125
Хомяков А. С. 268, 455
Цветева М. И. 54, 130, 277, 361,429

Цивьян Ю. Г. 269
Циклер 431
Цицерон Марк Туллий 419, 443
Цявловская-Зенгер Т. Г. 139, 140
Цявловский М. А. 123, 126, 135, 140
Чаадаев П. И. 138
Чаадаев П. Я. 138, 220, 268, 455, 474, 512, 557, 563, 564, 586, 596
Чайковский П. И. 544
Чапек К. 87
Чаплин Ч. С. 542
618
Чатадзе Ш. 133
Чегодаев А. 246
Черейский Л. А. 510
Чернов И. А. 101, 151
Чернышев А. И. 410
Чернышев З. Г. 410
Чернышевский Н. Г. 132, 162, 225, 244, 481, 493, 494, 511
Черчилль У. 295
Чехов А. П. 182, 186, 188, 217, 243, 257, 259, 465, 476, 477, 479, 481, 514
Чехов Н. П. 476
Чичерин А. В. 382—284, 386
Чкалов В. П. 429
Чухрай Г. Н. 314
Шазо 203
Шалиев 15
Шамиль 426
Шаныгин А. М. 44
Шатле Э. дю 199, 201, 210
Шатру, г-жа 199
Шахматов А. А. 80
Шварценберг 552
Шекспир У. 110, 159, 160, 178, 232, 240, 384, 467, 471, 540
Шеннон 111
Шепитько Л. 485
Шереметев Б. П. 412
Шереметев С. Д. 391, 411
Шереметева Е. П. 391
Шереметева Н. Б. *см.* Долгорукая Н. Б.
Шиллер Ф. 384, 408, 440, 447, 458, 488, 572
Шипов Н. Н. 393, 425—427
Шкловский В. Б. 126
Шлецер А. Л. 191, 384, 567, 569
Шолохов М. А. 184
Шостакович Д. Д. 66
Шоу Б. 295
Шоу Т. 141
Шпенглер О. 276
Штейн фон 194, 569
Шубина Т. 255
Шувалов И. И. 191, 502
Шумахер И. Д. 496
Щеглов Ю. К. 51
Щеголев П. Е. 123, 126, 135
Эдисон Т. 273
Эзоп 536
Эйдельман Н. Я. 77, 78, 220
Эйзенштейн С. М. 57, 542
Эйк ван Я. 533, 534
Эйлер Л. 496
Эйнштейн А. 75, 117, 142, 154, 173, 235, 236, 259, 521
Эйхенбаум Б. М. 37, 38, 52, 58—61, 66—69, 91, 123, 130, 136, 140, 248
Эль-Греко 104
Энгельгард Б. М. 125, 136
Энгельс Ф. 92, 204
Эразм Роттердамский 444, 487
Этиоль (маркиза де Помпадур) 199
Юрский С. Ю. 336
Юсупов Н. Б. 311, 312
Ягужинский П. И. 501 Языков Н. М. 164, 453, 454
Якобсон Р. О. 74—77, 116, 335
Яковлев А. С. 498
Яковлев М. 67
Яковлев Н. В. 140
Якубович А. И. 556
Якубович Д. П. 123, 136, 140, 399
Якушкин В. Е. 134, 382, 411

Ямпольский М. 269
Eimermacher K. 81
Jakobson R. 74
Lotman Y. M. 146
Pushkin A. S. 146
Rolf-Dietrich Keil 81
Shaw Th. 141
Shishkoff S. 81
Tороp P. 146

Содержание

От составителей	5
ВОСПОМИНАНИЯ. БЕСЕДЫ. ИНТЕРВЬЮ	
Творческая индивидуальность ученого	
Не-мемуары	8
Двойной портрет.....	52
Николай Иванович Мордовченко. <i>Заметки о творческой индивидуальности ученого</i>	68
Последний экзамен, последний урок. <i>Несколько слов о Романе Осиповиче Якобсоне</i>	74
[О Натане Эйдельмане]	77
«У всех была разная война...»	78
«Жить только в Тарту»	79
Город и время	84
Наука в современном мире	
Ответы на анкету «Вопросов литературы»	91
Семиотика и литературоведение	92
Семиотика и сегодняшний мир	98
Как говорит искусство?	101
Этот трудный текст.....	105
Люди и знаки	107
Что дает семиотический подход?.....	113
Объект семиотики — культура	115
Разговор о пространстве	117
Ответы на вопросы корреспондента «Литературной газеты».....	121
[О современном состоянии пушкинистики]	123
Тревоги, надежды, работа.....	128
Пушкиноведение: вернуться к академизму	129
Пушкин 1999 года. Каким он будет?	131
Реабилитация совести	141
«Чем длиннее пройден путь, тем меньше вероятностей для выбора»	144
О судьбах «тартуской школы».....	146
«Будем работать для будущего!»	
Воспитание души.....	158
Итоги олимпиады	160
Готовимся к новому приему.....	162
Два слова новым студентам	163
Чему же учатся люди.....	165
Университет, учитель, НТР.....	168
Учитель на пороге XXI века	174
620	
Неюбилейные признания	180
Беседы с профессором Лотманом	183
Великие собеседники	
Поэт, ученый, патриот	190
Профессор, издатель и партизан. <i>К 150-летию Отечественной войны 1812 года</i>	193
В мире гротеска и философии	197
Замыслы гения	214
Размышления в юбилей Карамзина.....	219
«Пушкин притягивает нас, как сама жизнь»	226
«Нам все необходимо...»	
Угол зрения.....	228
Восприятие мира	230
Азбука судьбы	231
О ценностях, которым нет цены	235
История культуры: движение в будущее	241
Патриотизм есть стремление быть лучше.....	248
«Тут надо быть 1000 раз осторожным»	250
География интеллигентности: эскиз проблемы	255
«Попытки предсказывать интересны в той мере, в какой они не оправдываются...».....	269
«Говоря о современности, я скажу вот что...»	275

Мы живем потому, что мы разные.....	282
Мир соскальзывает в безумие	285
«Нам все необходимо. Лишнего в мире нет...»	287
Мы выживем, если будем мудрыми	296
На пороге непредсказуемого	298

В МИРЕ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА ГЛАЗАМИ ПУШКИНА

Сценарий телевизионного фильма

Авторская заявка	308
Сценарий	309
Творческая заявка на сценарий повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»	345

БЕСЕДЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Телевизионные лекции

От составителей	348
Цикл 1. Люди, судьбы, быт	
Лекция 1	350
Лекция 2	356
Лекция 3	362
Лекция 4	371
621	
Лекция 5	380
Лекция 6	386
Лекция 7	393
Лекция 8	399
Лекция 9	406
Цикл 2. Взаимоотношения людей и развитие культур	
Лекция 1	414
Лекция 2	421
Лекция 3	428
Лекция 4	435
Лекция 5	441
Лекция 6	448
Лекция 7	456
Лекция 8	463
Цикл 3. Культура и интеллигентность	
Лекция 1	470
Лекция 2	478
Лекция 3	484
Лекция 4	491
Лекция 5	498
Лекция 6	506
Цикл 4. Человек и искусство	
Лекция 1	515
Лекция 2	523
Лекция 3	531
Лекция 4	538
Цикл 5. Пушкин и его окружение	
Лекция 1	545
Лекция 2	554
Лекция 3	565
Лекция 4	575
Лекция 5	584
Лекция 6	591

Л. Н. Киселева. Ю. М. Лотман — собеседник: общение как воспитание ... 598

Указатель имен..... 612

Л80

Лотман Ю. М.

Воспитание души. — Санкт-Петербург: «Искусство—СПБ», 2005. — 624 с.

ISBN 5-210-01575-0

Последний, 9-й том сочинений Ю. М. Лотмана представляет его удивительный талант педагога и просветителя. В книге впервые собраны публицистические выступления, автобиографические тексты. С Лотманом-драматургом знакомит сценарий телевизионного фильма о Пушкине. Впервые полностью публикуется текст телевизионных лекций — «Беседы о русской культуре».

УДК 316.7 ББК 71/79

Научное издание

Юрий Михайлович Лотман

ВОСПИТАНИЕ ДУШИ

Редактор *Н. Г. Николаюк*

Компьютерная верстка *С. Л. Пилипенко*

Компьютерный набор *С. И. Долгоруковой, Г. П. Жуковой, Е. Р. Уссар*

Корректор *Л. Н. Борисова*

Подписано в печать 02.09.05. Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура

«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 50,70. Усл. кр.-отт. 51,03. Уч.-изд. л. 46,73.

Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 2768.

Издательство «Искусство—СПб». 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, оф. 8.

Отпечатано с фотоформ в ФГУП «Печатный двор» им. А. М. Горького

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Электронная версия книги: [Янко Слава](#) (Библиотека [Fort/Da](#)) || <http://yanko.lib.ru> ||

<http://yanko.ru> || Иср# 75088656 || Трекер: <http://tvtorrent.ru> ||

Номер страниц – вверху

update 03.03.12
